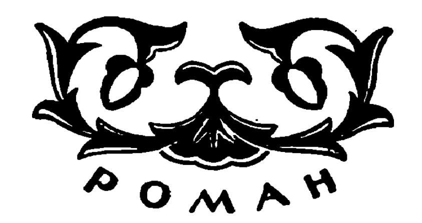
Пал Сабо



Пал Сабо

НОВАЯ ЗЕМЛЯ



РОМАН

Перевод с венгерского
А. ГЕРШКОВИЧА, О. ГРОМОВА,
И. САЛИМОНА и Ю. ШИШМОНИНА

Редакторы
Б. ГЕЙГЕР и А. ГОЛЬДМАН

И * Л

ИЗДАТЕЛЬСТВО
ИНОСТРАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва, 1955

SZABÓ PAL

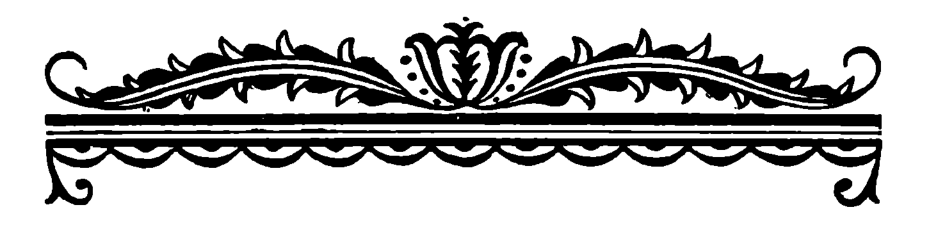
ÚJ FÖLD

BUDAPEST, 1954

КНИГА ПЕРВАЯ

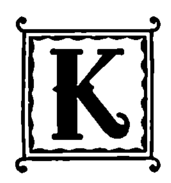
СЕЯТЕЛИ





Глава первая

1



ак-то под вечер в первых числах сентября тысяча девятьсот сорок девятого года Лайош Бердеш пас свою козу у придорожной канавы на восточной околице села.

День выдался погожий и безветренный; только изредка, проезжая по сельской улице, поднимает клубы пыли грузовик.

По краям канавы растет густая зеленая трава. Коза пасется на привязи — длинной, стершейся от времени веревке. В те времена, когда Бердеши еще жили на маленьком степном хуторе, этой веревкой поднимали ведра из колодца. Такими веревками когда-то торговали цыганки. Конечно, они не сами их сучили, но кто этим занимался, так и оставалось неизвестным,— цыганки только меняли их на муку, хлеб, сало, свинину. Все течет — все изменяется: и люди, и вещи. Ведь и Бердеш никогда раньше не пас козу ни у обочины дороги, ни где-нибудь в другом месте. И веревка, отслужив свой срок у колодца, потом висела натянутой для сушки белья, а теперь — вся в узлах — доживает свой век на шее козы.

Коза с жадностью щиплет траву. Но когда перед ней неожиданно возникает кротовая норка, она с изумлением таращит глаза на маленький холмик, возвышающийся рядом с норкой. Это самая обыкновенная грязно-белая коза, ничем не примечательная, кроме своей рыжей бородки, напоминающей струйку крови. Перейдя на другую сторону канавы, животное, опустив голову, продолжает щипать траву.

— Тебе так нравится, чорт тебе в брюхо? — бурчит Бердеш и дергает за веревку.

Коза сползает вниз, прочесывая копытцами в траве маленькие бороздки, и так жалобно блеет, что прямо за душу хватает. Но вскоре, как ни в чем не бывало, принимается снова безмятежно щипать траву.

Успокоившись, Бердеш ослабляет веревку, садится на обочине дороги и, опустив руки на колени, в раздумье смотрит вдаль на расстилающуюся перед ним широкую дорогу.

Дорога эта — старый-престарый, заброшенный тракт. На расстоянии выстрела отсюда высятся тополя, бросавшие некогда тень на веранду корчмы, где странники, купцы и бетяры * распивали вино, пока отдыхали их лошади. Дорога, словно русло высохшей реки между двумя высокими берегами, тянется вдаль и исчезает за горизонтом. Ее углубили колеса повозок, вытоптали ноги людей и животных. Бердеш задумчиво смотрит перед собой, прикидывая в уме, на какую же можно было бы забраться высоту, если уложить наподобие рельсов — один за другим — все следы проехавших здесь подвод? Пожалуй, удалось бы влезть на самое небо, а может, и повыше. Сколько людей прошло по дороге, сколькими дождями ее размывало, сколько пронеслось над ней гроз! Большое дело — дорога. Без нее человеку не податься ни вперед, ни назад.

По обеим сторонам дороги расположились выделенные из помещичьих земель участки «новых хозяев» *; дворы и сады, дома, крытые черепицей или камышом. Встречаются, правда, среди них и домики, крытые осокой, видать, хозяину не хватило денег ни на черепицу, ни на камыш. На полях и огородах — всюду виднеются высохшие стебли картофеля, укропа, мака да поникшая ботва тыквы; одна только морковь все еще зеленеет. На южной стороне села за огородами, поближе к прудам, выстроились в ряд тополя и ольхи. В небе пролетают косяки диких уток. К селу медленно движется груженная подсолнечником подвода... Вот и все, что видит Бердеш. Тишина вокруг бесконечна, как и синева неба. И в эту тишину вплетается тончайшая паутина, какая и не снилась ни одному пауку: это чуть слышно шуршат шины мчащегося по дороге велосипеда.

Бердеш с тревогой посматривает то на приближающийся велосипед, то на козу, потом отбрасывает в сторону привязь, встает и, заложив руки за спину, прихрамывая, отходит прочь, прикидываясь, будто он здесь только посторонний наблюдатель.

Велосипедист тормозит, но заднее колесо еще некоторое время продолжает скользить по мелкой, рыхлой пыли. Он молодцевато спрыгивает на дорогу, некоторое время бежит рядом с велосипедом и, наконец, останавливается.

— Здравствуйте, дядюшка Лайош. Козу пасете?

— Я? Что ты...— поворачивается к нему Бердеш.

— А чья она?

— Да леший ее знает, чья эта коза. Пасется себе, ну и пусть пасется.

Велосипедисту отлично известно, что коза принадлежит Бердешу,— только тот стесняется в этом признаться, к тому же еще и пасет-то он ее сам. Велосипедист делает вид, будто ни о чем и не подозревает.

— Вижу, у вас опять разболелась нога, дядюшка Лайош. А жаль, нам именно сейчас нужна ваша помощь!

— Долго она болеть не будет, скоро все пройдет. Нынче утром кум Бири приложил к ней повязку с машинным маслом, авось поможет. Думаю с завтрашнего дня заняться делом. Ну, а что нового в Чахоше?

— С нами пока трое. Остальные, как разборчивые невесты, заставляют себя упрашивать.

— Опять их кто-то настраивает против нас. Эх, скорее бы мне выбраться из дому!..

— Очень вас ждем, дядюшка Лайош. Не знаю, как мы сегодня проведем без вас партсобрание.

— Почему без меня? Я непременно приду. На карачках приползу, а буду.

— Ну, в таком случае там и встретимся. Сабадшаг *! — протягивает на прощанье руку секретарь местной партийной организации Имре Шаркези.

— Сабадшаг, сынок! — говорит, пожимая руку секретаря, старик.

Шаркези садится на велосипед и нажимает ногой педаль, словно точильщик, приступающий к работе. Колесные спицы начинают кружиться все быстрее и быстрее, они мелькают и блестят, шины приглушенно шуршат по дорожной пыли.

Тем временем коза успела перелезть через канаву и забрести в горох, принадлежащий Беле Деаку. Вот она уже шелестит стеблями, с хрустом поедает стручки.

«Я и не знал, что коза любит горох»,— думает Бердеш, медленно идя за козой. Но Бела Деак уже спешит по борозде к месту происшествия, крича и грозя кулаком. Бердеш наступает на конец веревки и легонько тянет ее к себе. Коза блеет, горестно глядя на удаляющийся от нее горох, упирается копытцами в поросший травой склон канавы, но, несмотря на все свои усилия, оказывается на пыльной дороге. Бердеш концом веревки стегает ее по бокам и гонит домой. Прибежавший на свой участок Бела Деак стоит в растерянности: ругаться и кричать ему уже не на кого.

Жилище Лайоша Бердеша — небольшой, ладный новый дом: просторная комната, кухня и кладовая. Вдоль одной из стен тянется большая веранда. Два широких окна смотрят на улицу, через которую проходит старый тракт. А сад Бердеша простирается до самых прудов. Перед домом ложится тень от большого абрикосового дерева, которое сохранилось еще от помещичьего фруктового сада.

Шестьсот квадратных саженей имеет усадьба Бердеша — было из чего выделять участки в сорок пятом году. А какой дом построил Бердеш! Оконные рамы зеленые, крыша красная, стены белые, а завалинка выкрашена в светлосерый цвет. Калитка и ворота, как полагается, дощатые. На забор, правда, досок не хва-

тило, и участок попросту обнесен сухими стеблями подсолнечника, верхушки которых подрезаны под шнурок.

Удивительное это растение — подсолнечник, ничего не скажешь! Самое скромное, самое благодарное на свете. С одного хольда * земли имеешь масла, разумеется, подсолнечного, по крайней мере не меньше, чем сала с шести откормленных свиней. Вылущенную от зерен шапку очень любит скотина, стебли — незаменимое топливо зимой: они горят жарким пламенем, почти не оставляя золы. Хороши стебли подсолнечника и для ограды; беда только, что ее приходится каждый год подновлять: уж больно быстро стебли подгнивают в почве. Однако, несмотря на все это, Лайош Бердеш, получив в сорок пятом году землю, начал вести хозяйство не с выращивания подсолнечника. Что говорить, немало он всего перепробовал, прежде чем остановился на этом чудесном растении.

Освобождение застало Бердеша кучером в имении, но уже без помещика, без шестерки лошадей, с пустым каретным сараем, где одиноко стояла большая черная колымага. Прожив большую часть жизни в имении, Лайош все же продолжал считаться сельским жителем: там у него оставалась семья, родственники, кумовья, зятья. Много пришлось перенести Бердешу, пока он дослужился до выездного кучера,— это было для него большой удачей.

Осенью сорок четвертого года Бердеш был в селе на виду; вечно чем-то занятый, всегда куда-то спешил, держал высоко голову и разговаривал громким голосом. Его то и дело видели на улице беседующим то с одним, то с другим старым приятелем или школьным товарищем, вроде Лайоша Кошут-Киша, Сито, Шерфезе, Бени Гуяша, Михая Бири и многими другими — всех не перечесть.

Лайош Бердеш отличался могучим телосложением и в ту пору был еще мужчиной в расцвете сил. В начале сорок пятого года, после неразберихи в селе, которая, правда, длилась всего две-три недели, он взял бразды правления в свои руки. Сначала, разумеется, разделил между крестьянами землю, а затем уже стал вовлекать их в коммунистическую партию.

На долю Бердеша выпали все хлопотливые сельские дела, и он с головой ушел в них. Тем не менее у него оставалось еще время, чтобы заняться своим небольшим земельным участком и обзавестись всякой живностью. Но в сорок седьмом году его постигла неудача, и он с трудом перебился до нового урожая. А произошло это вот как.

В сорок шестом году Бердеш ездил в столицу в качестве руководителя делегации по делу о сносе барского дома. Столица в те времена пестрела яркими, красочными плакатами, призывавшими окрестных крестьян выращивать овощи. Плакаты изображали такие кочаны капусты, такую свеклу, редиску, петрушку, морковь, что буквально глаза разбегались. И у Бердеша при виде всей этой прелести голова пошла кругом. По возвращении домой он целые

два хольда земли засадил савойской капустой. Жена и дети все лето ухаживали за ней. Савойская капуста удалась на славу. Беда только в том, что она не нужна была никому на свете и так и сгнила в земле.

В сорок восьмом году Бердеш опять занял почти два хольда земли, но теперь уже под бахчу,— ведь арбузы-то наверняка раскупят,— это вам не савойская капуста. Но и тут получилось неладно. Во-первых, арбузов в том году уродилось видимо-невидимо, а во-вторых, всем известно, что мужик, хоть и любит арбузы, но не любит выкладывать за них денежки. Бердеш посылал сына торговать ими на все рынки; арбузы кое-как распродали, но ни о каком барыше, конечно, не могло быть и речи. Бердеш даже самолично отправился как-то с полной подводой по деревням, крича во всю глотку:

— Эй, кому арбузы! Кому арбузы!

Крестьяне толпами высыпали на улицу, но арбузов никто не покупал. А семья Бердеша, в особенности жена, всю надежду возлагала на эти арбузы: авось не подведут, авось дадут возможность одеться к зиме! Но из этой затеи тоже ничего не вышло. Правда, Бердеш возвратился назад с пустой подводой — не тащить же обратно арбузы на позор себе.

Тогда со свойственным ему усердием Бердеш принялся за агитационную работу, без конца выступая у сельской управы или в помещении партийной организации, но и тут чуть было не попал впросак. Дело в том, что не только Лайош Бердеш объявил себя коммунистом, нашлись и другие. Но и это еще ничего — ведь не может быть секретаря партийной организации без членов партии. Объявил себя коммунистом и Андраш Киваго, а был он в селе гораздо более популярен, чем Бердеш. Вместе ходили они в школу, вместе гуляли в молодые годы, но Бердеш ушел служить конюхом в имение, а Киваго всю жизнь проработал поденщиком, землекопом и испольщиком. Сильный человек, старательный мужик — Киваго! Ко времени освобождения он уже стал хозяином, и желания у него теперь оказались совсем другие, чем у Бердеша.

А Бердеш хотел того же, что и все село: снести барский дом в Чахошском имении, чтобы от него и следа не осталось. Сравнять его с землей хотели и коммунисты, и члены крестьянской партии, и члены партии мелких сельских хозяев * — до такой степени все ненавидели и бывшего помещика и его имение. Бердеш считал для себя величайшей честью добиться сноса барского дома — даже ездил по этому делу с делегацией в Будапешт и не возвратился домой до тех пор, пока не получил разрешения.

Но этого-то и не хотел Киваго; по его словам, помещичий дом мог еще пригодиться крестьянам. Он поссорился с Бердешем, а тем временем подводы возили из имения в село бревна, кирпич, черепицу, и, по мере того как в помещичьей усадьбе растаскивали постройки, общественное мнение села снова заметно склонялось на сторону Киваго... Бердеш теперь уже мог только вспоми-

нать о своей былой популярности, которая начала походить на мираж, а он, как известно, манит путников то в одну, то в другую сторону.

Больше двух недель в селе существовали две партийные организации; секретарем одной был Бердеш, другой — Кеваго. К Бердешу примыкали бывшие батраки, Кеваго поддерживали малоземельные крестьяне, имевшие свои домишки.

В это время в село приехал новый секретарь уездного комитета партии Ласло Кульчар. Бердеша и его сторонников он оставил, а группу Кеваго распустил. «Партия одна,— сказал он,— значит, и секретарь должен быть один. Всякий настоящий коммунист это поймет и присоединится к Бердешу».

Хлопот с этим вышло немало; по предложению Бердеша, народная полиция собиралась даже арестовать Кеваго. Вот тут-то и выяснилась его популярность! Все село вышло к управе, так что даже Кеваго поразился, увидев, как поднялись на его защиту крестьяне. После этого он отошел от общественной деятельности, а Бердеш, хотя и не очень успешно, продолжал укреплять партийную организацию.

С ним остались сознательные члены партии, но таких оказалось немного: всего-навсего человек десять да еще его личные друзья и знакомые. Эти люди и составили ядро партийной организации.

Ряды коммунистов то пополнялись, то редели. Члены партии произвели раздел земли, помогли крестьянам в тягле и семенах и не побоялись за все это взять на себя ответственность. В сорок седьмом году их стало больше, но в следующем году, когда Бердеш поднял на партийном собрании вопрос о создании производственного кооператива, коммунистов значительно поубавилось, а нынешней весной число членов партии еще уменьшилось. Бердеш спохватился: он понял, что не справился с работой, но было уже поздно.

Тогда в село снова приехал секретарь уездного комитета партии Кульчар, а за ним и секретарь областного комитета Фонадь. Провели партийное собрание, и Бердеша освободили. Вместо него секретарем был избран зять старого Фаркаша, Имре Шаркези.

Другой человек это тяжело переживал бы, но Бердеш несколько дней ходил, понурив голову, а затем заявил и дома и в партийной организации:

— Вели мне партия ложкой вычерпать воду из Береттьо, я взялся бы и за это! — И он действительно сделал бы все, что в его силах.

На прошлой неделе, осматривая в поле кукурузу, Бердеш наступил на острый стебель конопли, и вот теперь, вместо того, чтобы разговаривать с людьми и агитировать их за создание кооператива,— ковыляет вслед за козой.

А коза эта ненавистна ему, как смертный грех. Он был бы несказанно рад, если бы кто-нибудь ночью ее украл. Но во всем

селе, а может и во всей округе, не найдется человека, который сейчас или когда-нибудь вообще позарился бы на козу: не стоящее это животное, им занялись только во время войны, да и то поневоле.

Бердеш отводит козу в хлев и, прихрамывая, идет к веранде, где его жена Рожи, урожденная Калара, чистит картошку.

— Что ты опять собираешься стряпать? — ворчит Бердеш, с ужасом поглядывая на миску с картошкой.

— А чего мне стряпать? Наварю вот картофельный паприкаш *.

Бердеш любит все кушанья на свете, но терпеть не может картофельный паприкаш. Сам не знает почему, а не выносит: сколько ни силится, а проглатывает его с таким трудом, словно у него парализована глотка. Жене это отлично известно, и тем не менее она намерена приготовить именно это блюдо! В чем же дело?

— Чего уставился? Чем недоволен?

— Чем же мне быть довольным? Что это ты делаешь?

— Как, что? Готовлю вам ужин. Ведь надо же что-нибудь сварить,— отвечает жена.

Со стороны Рожи это уже почти извинение. Женщина она вполне самостоятельная и готовит картофельный паприкаш только в тех случаях, когда почему-либо сердится на мужа. Она только что видела, как Бердеш на дороге разговаривал с Шаркези, с которым, как известно, они организуют производственный кооператив. Ей же эта затея не совсем по душе. Вся семейная жизнь Рожи проходила в постоянных переездах с одного хутора на другой, и она мечтала, наконец, спокойно жить в своем доме. Но говорить с таким человеком, как ее муж, бесполезно... И вот в порыве злости она выдернула из земли несколько кустов картофеля: как муж, так и она! Она отвечает на свой лад: готовит картофельный паприкаш, который так не любит Бердеш.

Жена чуть моложе Бердеша, пожалуй на каких-нибудь два-три года. Она прожила тяжелую жизнь. Шестерых детей произвела на свет — ораву не малую; и каждый из них появился на другом хуторе, и крестили их целых шесть попов. Несмотря на все это, она выглядит достаточно молодо, у нее сохранились все зубы.

Да, Рожи есть о чем вспомнить! В прежние времена жених из бедняков должен был подрядиться в батраки, только тогда он получал согласие на брак. Так Рожи и стала женой батрака. Чего только не выпадало на долю батрацких жен! В молодые годы гонялись за ними и управляющий, и приказчик, и его помощник — все были до них охотники! Но жена Бердеша, живя в степи, умела отваживать назойливых поклонников — а это кое-что да значит.

Как-то (давно это было) жена Бердеша собралась за покупками. Когда она шла по дороге, ее догнал на двуколке приказчик, тоже направлявшийся в село. А двуколка, как известно, рассчитана на двух седоков.

— Садись, молодуха! — крикнул приказчик, остановив лошадь возле амбара.

Рожи сначала подала ему кошелку, затем села сама. Приказчик дернул вожжи, и, казалось, не двуколка стала удаляться от хутора, а хутор поскакал от нее вспять. Что уж там произошло по дороге, так никто никогда и не узнал, не исключая и самого Бердеша, но примерно в километре от села лошадь неожиданно понесла, двуколка перевернулась, а приказчик сломал себе шею. Когда жандармерия расследовала это дело, молодая женщина показала, что лошадь напугал внезапно взлетевший фазан. Следствие было произведено не потому, что приказчик был такой уж важной особой, а только по той простой причине, что — ничего не поделаешь — надо же внести пометку о причине смерти в книгу метрических записей! Вот почему все нашли возможным поверить свидетельству Рожи.

Благодаря этому случаю добрая слава жены Бердеша еще больше укрепилась и на хуторе, где она с мужем в то время жила, и в самом селе.

Переезд Бердешей на жительство в село тоже оказался не простым делом! Ведь нелегко вжиться в сельский быт так, чтобы составить с ним одно целое. Не обошлось и без происшествия. Тогда же — это было в сорок пятом году — средний сын Рожи, Лаци, как-то лил дробь из свинца. Дело нетрудное: свинец плавится почти так же, как воск, но он куда горячее. Мать, сидя на лавке, пряла, а Лаци возле нее возился со своим свинцом; прялка весело жужжала, свинец плавился. Вдруг одно неверное движение — и расплавленный свинец прожег сапог матери. Колесо прялки сделало еще несколько оборотов, затем прялка с грохотом отлетела в сторону. Обожженная нога продолжала дергаться, будто все еще вертела колесо. Рожи схватилась за голенище, застонала от боли и вскрикнула:

— О боже!..

И это воскликнула женщина, которая с самого венчания ни разу не была в церкви. Какие же слова вырвались бы у нее, если бы она посещала церковь постоянно?

Обо всем этом вспоминала Рожи, пока, наконец, очистила картошку и загремела печной вьюшкой.

Ковыляя с места на место, Бердеш смотрит на жену колючим взглядом. Коза уже в хлеву; дела на сегодня закончены. Только бы Рожи не задержала его с ужином, и он смог во-время прийти на собрание!

2

Имре Шаркези тем временем уже мчится на велосипеде вдоль сельской улицы, взгляд его скользит по выстроившимся по обе стороны домам.

За последнее время он частенько стал присматриваться к ним, заглядывать во дворы. Но дворы безмолвствуют, окна домов оста-

ются глухи, ниоткуда не слышно ни ответа, ни привета. Трудно быть в этом селе секретарем партийной организации...

Дома в селе по большей части старые-престарые, с широкими, просторными дворами. Вдоль улицы тянутся ряды акаций и тополей. Глядя на них, кажется, что не деревья растут в селе, а само оно расположено в каком-то лесу.

Сто лет назад здесь еще царило крепостничество, но и освобождение от крепостного права не намного изменило жизнь села: кое-где под камышовые стрехи были пристроены веранды, а кое-кто заменил камыш черепицей; но обычаи, любовь, рождения и смерти — все это оставалось прежним. Остались прежними даже стены жилищ. И сейчас еще здесь встречаются дома, ни в чем не изменившиеся со времен средневековья: ни во внешнем облике, ни во внутренней жизни семьи. Встречаются и дома, слепленные из глины, самана и камыша, но и они стоят веками. Однако после освобождения, начиная с сорок пятого года, крестьяне все чаще строят новые большие дома в четыре-пять окон на улицу, с жалюзи и кирпичными колоннами, возвышающимися среди старых, понурых лачужек. О, этот кирпич! Прежние мастера выжигали на нем герб помещика, и вот с сорок пятого года и по нынешний день крестьяне, ломая помещичьи постройки, непрерывно перевозят кирпич к себе в село. Даже во время инфляции кирпич оставался незыблемой ценностью, и сейчас он стоит недешево.

Обо всем этом думает Шаркези, проезжая по главной улице села, которая выходит в поле, где вдали виднеются разбросанные хутора.

Хутора — это цитадель крестьянской инертности, а следовательно, источник сил, препятствующих движению вперед.

На днях Шаркези пришлось услышать от одного из наиболее передовых и смышленых хуторян такую фразу: «На хуторе рождается хорошая лошадь и глупый мужик». В этом утверждении немало правды, потому что поселение на хуторе — это не что иное, как бегство от реального мира. Хуторянин не нуждается ни в электричестве, ни в артезианском колодце, ни в газете, ни в книге, ни в радио. По сути дела, ему ничего не нужно, лишь бы только всходило и заходило солнце и была у него сверкающая лаком легкая бричка с желтым кузовом, на которой можно с шиком прокатиться на ярмарку в Уйфалу или в Дебрецен. Кроме того, хуторянину неплохо иметь красивую жену, держать огромных собак, разводить породистых лошадей и резать откормленных, жирных свиней. И еще, разумеется, на хуторе необходимо держать батрака, поденщика да исполу отдавать на прополку кукурузное поле: одна часть урожая издольщику, пять частей хозяину... Да, это хуторянам по душе. Само собой разумеется, что при таком положении хозяев должно быть мало, а издольщиков много — тогда во время прополки, уборки урожая и молотьбы всегда можно найти крепкого и дешевого работника.

То, что крестьяне получили землю и располагают теперь оди-

наковыми возможностями — еще ничего не означает: большинство все равно с ней не справится. Что ж, тот, кто не справится, возьмет на плечи мотыгу и пойдет наниматься богатеям.

Шаркези хорошо все это понимает, но пока ему не остается ничего другого, как нажимать на педали да поглядывать на выстроившиеся в ряд дома.

Вот тут живет Ласло Рожа, с сорок седьмого года «образцовый хозяин» *. Из года в год он собирает на своих девяти хольдах все больший урожай, а следовательно, больше сдает государству. Один из его сыновей руководит отделом в Министерстве земледелия, другой — передовик труда на одном из будапештских заводов, дочь в прошлом году вышла замуж за офицера — политрука. Имре не раз уже вел со старым Рожей беседу о кооперативе, а тот все нет да нет. «Вы действуйте, а я тем временем подумаю»,— таков его неизменный ответ.

Напротив стоит дом Калары, откуда в свое время взял себе жену Бердеш. В нем сейчас живет самый младший сын старого Калары, теперь он уже в летах. Хозяин он неважный, с трудом перебивается, а говорить с ним невозможно: уж очень глуп, непроходимо глуп.

Рядом с ним дом Михая Макры, отца большого семейства. В старые времена его часто назначали присяжным заседателем. Хозяин он хороший, но здорово пьет и — чего греха таить — напивается до белой горячки.

А тут проживает Янош Форраш, лет сорока с небольшим. Его дом сгорел во время войны, но он сумел натаскать из помещичьей усадьбы столько добра, что сейчас его жилище стало лучше прежнего. «С этим, пожалуй, поговорить можно»,— думает Шаркези.

А вот здесь стоит хатка Гергея Матэ, прежде землекопа, а нынче владельца восьми хольдов земли. Рачительный он человек! Одна беда — приверженец Андраша Кеваго... Эх, Андраш Кеваго! С ним-то можно сколотить производственный кооператив! Но... или Кеваго, или Бердеш. Они между собой враждуют...

«Что поделать? Столько желаний!» — думает Шаркези. Но дело, конечно, не в ближайших планах и намерениях. Беда в том, что каждому из хозяев хотелось разодрать этот мир в клочья и в то же время оставить его таким, как он был. К сожалению, большинство крестьян думает так: «Пусть каждый преуспевает как умеет. Отставший пусть отстает, у кого мало сил, пусть надрывается,— совсем как раньше бывало на уборке чужого урожая или на земляных работах». «Времена изменились, а люди почти не сдвинулись с места...» — и Шаркези снова нажимает на педали.

В это время он проезжает мимо дома, где раньше была мелочная лавка Берната, погибшего со всей своей семьей в Освенциме.

Дом этот купил старый Топа у дальних родственников Берната в тысяча девятьсот сорок седьмом году на деньги, вырученные от продажи риса. Сейчас в нем живет старший из трех сыновей Топы — человек неиссякаемой энергии и трудолюбивый, как мура-

вей. «Но и он, очевидно, не будет первым, кто вступит в производственный кооператив,— думает Шаркези.— А кто же в таком случае войдет в кооператив? Очевидно, его ядро пока что составят приверженцы Бердеша...»

А вот дом Балажа Пенадя. В сорок пятом году он предлагал сельской управе вешать на месте преступления тех, кто и после освобождения будет продолжать заниматься воровством. Вступит ли он в кооператив?..

За его усадьбой следуют дома Йошки Пуцици-Киша, Антала Речеге-Киша. Дальше богатый дом, в котором обитает вдова Антала Кокаша, а возле него двор Барны Надя... Отсюда и до самой церкви — дома богачей.

Если взять на учет все дома и живущих в них людей,— на каждом из них какая-нибудь отметина или царапина, вроде оспин на побитой дыне. Нельзя забывать, что большинство жителей села в прошлом имели свои собственные домики да несколько хольдов земли и жили как умели, на собственные скромные доходы. В урожайный год ели больше, в недород — меньше или просто голодали. В такие трудные годы они скашивали пшеницу низко, будто под машину, по стерне сгребали колосья и солому до того тщательно, что даже птице нечем было полакомиться. Доходили до того, что со стола собирали хлебные крошки, но в то же время уверяли, что не любят молока и сала. Бывали времена, когда батраки и поденщики жили куда лучше таких бедных хозяев. Вот они-то, эти хозяева, и не желают теперь вести коллективное хозяйство. Они не только сами ни за что не вступят в кооператив, но и будут всячески ставить ему палки в колеса. Они сеют смуту, шушукаются, распускают всевозможные слухи... А по вечерам, собираясь группами в каком-нибудь доме, слушают «Голос Америки». «Нет ничего удивительного,— думает Шаркези,— что Бердеш не справился с партийными обязанностями и не сумел организовать производственный кооператив. Да, нелегко иметь дело с такими людьми!»

По дороге навстречу Шаркези движутся три груженые подводы. На одной полова с тока, на другой солома, на третьей подсолнечник. Кто рано посеял, тот и рано убирает. На переднем возу по пояс в полове восседает сын Барны Надя — Пишта. Полова с обеих сторон воза то и дело осыпается на дорогу; но парень в рубашке и шапке, какие носили левенты *, с горделивой надменностью высоко держит вожжи. Ему не жалко половы — хватит и того, что останется. По следам проехавшего воза сразу же устремляются гуси, которые к сентябрю уже успели набраться жиру. Грузно переваливаясь с боку на бок, они с радостным гоготом набрасываются на полову, выискивая в ней зерна.

Под косыми лучами солнца улица словно просвечивается из конца в конец, тени удлиняются и отдаляются от плетней. Шаркези замедляет ход, спрыгивает на землю и внимательно глядит на идущие гуськом подводы. Возчики посматривают сверху на

Имре со смешанным выражением любопытства и подозрительности — обычное отношение возницы к пешеходу. Так почему им не смотреть настороженно и на велосипедиста? Человек, находящийся наверху воза,— пусть и лошаденка у него совсем никудышная, а порой даже просто упряжка из двух коров,— поглядывает на землю с таким видом, будто он забрался на самое небо!..

«То, что Шаркези секретарь коммунистов,— это бог с ним. Но чтобы здесь, в селе, решились организовать производственный кооператив...— нет, этому не бывать!» — думают возчики.

— Н-о-о-о! — и Пишта Надь со злостью стегает лошадь.

Есть люди, которых никогда не замечают и никто не принимает их в расчет. Таков второй возница, зовут его Иштваном Кишкути-Тотом, и ни разу еще не случалось, чтобы кто-нибудь спросил его мнение или обратился к нему за помощью в каком-нибудь деле. Поэтому-то и Шаркези не принимает его всерьез. Но зато третий возница — совсем другой человек... Это Иштван Сито, один из родичей Бердеша. В свое время он женился на богатой невесте. После освобождения прочно стал на ноги, хорошо вел хозяйство, и лошади у него теперь, как драконы.

Шаркези пристальным взглядом провожает подводы, словно взвешивая их на невидимых весах. У Сито такой вид, будто он желает только одного: поскорей миновать эти невидимые весы. Он дергает вожжи, направляет лошадь на обочину дороги, затем останавливается. Оглянувшись, он привязывает вожжи к люшне, спрыгивает на землю и, весело щелкая кнутом, направляется к Шаркези.

— Сервус *!

— Сервус!

— Как дела в Чахоше?

— Трое с нами, остальные раздумывают.

— А ну их!..

Дальше следует крепкое словцо и щедрая, забористая брань. Сито поносит обитателей Чахоша на чем свет стоит. Шаркези с некоторой тревогой посматривает по сторонам.

— Послушай, Иштван! Я должен тебе сказать...

Но Сито словно комар укусил; он все еще никак не может успокоиться.

— Ну, в чем дело?

— Хочу тебя предупредить... Отвыкни ты, наконец, от этой безудержной ругани.

— Это еще зачем?..— и он не преминул снова выругаться.

— Видишь ли, во-первых, ты коммунист, во-вторых, один из зачинателей нашего кооператива. Мы, коммунисты, обязаны вести себя прилично.

— Хорошо. Но сначала выслушай меня, Имре. Ведь я всю жизнь имел дело со скотом, а попробовал бы ты вежливо обращаться с волами, коровами и свиньями! Живи я среди бумаг, был бы таким же кротким и тихим, как они...

И Сито хохочет во все горло, глядя своими голубыми глазами на Шаркези. Невольно смеется и тот.

— Неплохое сравнение: волы... и бумаги... Тем не менее попробуй все-таки себя сдерживать.

— Попробовать можно...— и Сито возвращается к интересующему его вопросу.— Значит, из Чахоша с нами только трое.

— Только. Не беда, по всему селу на первых порах нас наберется человек тридцать. Но ты, Пишта, тоже поднажми.

— Будь покоен! У меня давно руки чешутся... Скучаю по настоящему делу.

Он снова чуть не выругался, но во-время спохватился, нахмурившись, уселся на воз, отвязал вожжи и тронул лошадь.

По дороге приближается еще одна груженая телега. Шаркези смотрит на нее и выжидает. Навалены на ней не солома и не полова, а тыквы. До самого верха громоздятся на ней красноватые бугристые тыквы, на которых восседает Болдижар Чер. Сбоку, несколько позади, сжав между колен большую тыкву, сидит его дочь. Крупная, рыжеволосая девушка поглядывает на Шаркези с неменьшей тревогой, чем отец. Оба они боятся коммунистов, как огня. И далеко не без основания, ибо, когда Бердеш еще в сорок шестом году был секретарем партийной организации, по его предложению Болдижара Чера арестовали. Целых восемь месяцев старик был на принудительных работах, пилил бревна для нового моста. А почему все это произошло? Были на то причины...

Болдижар Чер играл роль связного между сельскими кулаками и управляющим Чахошским имением. Он агитировал против раздела земли, говоря, что следует, мол, соблюдать осторожность, а то его высокоблагородие может еще вернуться и тогда всякому, кто притронулся к его земле, свернет шею, как цыпленку.

Кое-кто испугался этих угроз. Например, батрак-табаковод Лайош Модьороши или бывший тракторист в помещичьей усадьбе Шандор Катона и другие. Однако, чтобы Чер замолчал, понадобилось восемь месяцев принудиловки. Правда, Модьороши и ему подобные остались без земли.

«Все, что бы ни произошло в селе, оставляет неизгладимый след. Ведь у Чера многочисленная семья и большая родня: двоюродные братья и сестры, кумовья, свояки, зятья... Вряд ли он смирился»,— думает Шаркези.

Он снова садится на велосипед и едет дальше.

В доме, который недавно принадлежал помещичьему приказчику, сейчас живет Бела Хайду. Выехал приказчик, въехал крестьянин — и все изменилось. Только попрежнему неизменно и однообразно струится вода из артезианского колодца, расположенного возле каменной ограды. Несколько женщин да кучка детей — девочек и мальчиков — возятся у колодца.

Шаркези едет медленно, сейчас он приглядывается к женщинам. Одна из них — вдова Дани Петака. Бедна она — дальше некуда, а все не устает чесать языком да ругать коммунистов. Разу-

меется, не сейчас, когда мимо проезжает Шаркези, но всегда, когда это только возможно. Рядом с ней у колодца — вторая жена сапожника Лайоша Тержек-Вига, появившаяся в этих краях в сорок пятом году. Она вроде как бы интеллигентка... Тут и жена Шандора Катоны; муж недавно ушел от нее.

Шаркези сходит с велосипеда и ждет, пока женщина наполнит ведра и понесет их домой.

— Остановитесь-ка на минутку, дорогая Катона!

Женщина поднимает на Шаркези свои большие грустные глаза, которые сразу наполняются слезами.

— Я уже больше не жена Катоны, товарищ Шаркези,— говорит она. Слова ее прерываются плачем. Некоторое время она стоит, не отрывая взгляда от своих босых широких ступней, затем, поставив ведра на землю, смотрит на Шаркези.

— Я знаю... слышал об этом.

— О, дорогой товарищ Шаркези... Он бросил меня с двумя малышами и бедной старушкой матерью. Отняла его у меня эта... вдова Антала Кокаша. Скажите, товарищ Шаркези, чем она лучше меня? Что же это делается, когда одна женщина отбивает у другой мужа, отца ее детей? Скажите, товарищ Шаркези!

Шаркези молчит. Он понимает, что жена Катоны хватается за него, как утопающий за соломинку, но ни она, ни муж, который ее бросил, не члены партии. Что он может сделать?

— Я не всемогущ, голубушка. Скажу одно: приходите к нам, к коммунистам, и мы попытаемся стереть печаль с вашего лица.

— Если бы я только была вам нужна!..

— Как же иначе! Нам нужны честные люди. Мы пригласим вас сначала на открытое партийное собрание...

— А о чем там будут говорить?

— О производственном кооперативе. Мы собираемся созвать учредительное собрание. Придете?

— Как не прийти? Обязательно приду.

И, взяв в руки ведра, женщина идет к дому. И снова воцаряется тишина и попрежнему светит солнце, и уже никто не может сказать, что только что здесь прошла заливающаяся слезами женщина.

3

В Новой слободке, по дороге к Чахошской пустоши, вечер совсем другой, чем в старом селе. В селе при лунном свете дома и деревья словно вырастают, а дворы будто сжимаются. Здесь же, наоборот, все как бы раздается вширь. Свет луны струится по домам и оградам, капли росы дрожат на листьях деревьев, скатываясь на землю, когда поднимается ветер. Листья осины волнуются, трепещут то горестно, то радостно. Неверно, будто они рассказывают какую-то сказку: нет им никакого дела до жизни людей. Когда глядишь в бесконечную даль, свет луны ка-

жется сверкающе-желтым, будто она из золота, а небо из чистого серебра.

Если бы в эту минуту кто-нибудь, проходя по поросшей травой дороге, остановился и прислушался, он не сразу определил бы, что именно нарушает тишину сентябрьского вечера. Правда, изредка брякнет ложка, зазвенят тарелки, но не это привлекло бы внимание прохожих. Явственно слышится, как дружно чавкают люди,— это семья Бердеша ужинает на веранде. На стене висит трехлинейная керосиновая лампа, хотя луна и светит куда ярче ее; однако листва абрикоса несколько затемняет свет луны.

В семье всего девять человек: самый старший сын служит в армии, два помоложе пока еще дома, три дочери, сам Бердеш, его жена да еще теща. Кому нашлось место, сидят вокруг стола, остальные устроились в сторонке, где придется: один на пороге, другие на срубе колодца. Хлебают овощной суп, на ужин все-таки приготовлен не паприкаш из картошки. Что-то произошло между Бердешем и женой, но откуда кому знать, что именно? Во всяком случае, когда сварилась картошка, ссоры как не бывало. А суп получился отличный. Что ни говорите, жена Бердеша стряпать умеет.

В еде, как и положено, старый Бердеш показывает пример. Наполнив ложку до краев, он подносит ее к губам, зажмуривает глаза и открывает рот. Но не засовывает в рот сразу всю ложку, а только прикасается к ней краешком губ. И вдруг жидкость вместе с овощами, словно по команде, исчезает во рту. При этом возникает удивительный звук, громкий и свистящий.

Сын Бердёша Лаци — уже совсем взрослый парень — и тут, как и во всем прочем, старается подражать отцу. Но это ему удается с трудом. Много еще супа предстоит ему похлебать, чтобы сравняться с отцом.

Аппетит у всех хороший; у покойного отца Бердеша даже в момент смерти рот был набит галушками с капустой. Но зато и трудятся все прилежно. Теща Бердеша и та целый день работает не покладая рук, словно кто-то ее подгоняет. Сегодня, например, собрала в огороде всю сухую фасоль.

— Да перестаньте вы так громко чавкать, на улице слышно,— прикрикивает мать, и тут же сама смачно опорожняет полную ложку.

Лаци хохочет. Его смех заражает сестер, и вмиг тишина вечера оглашается веселым раскатистым смехом.

— Ну, чему смеетесь? — сердится мать.

— Да как же не смеяться, когда и вы, мамаша, тоже чавкаете!

— Я? Ну уж такого от меня вы не услышите...

И Рожи старается есть как можно аккуратней и изящней, подражая тому, что ей довелось видеть в доме управляющего и в других господских домах. Но при этом она неожиданно вспоминает приказчика, который хоть и ел по-господски, а сломал себе шею, перевернувшись со своей двуколкой, и улыбается своим мыслям.

После овощного супа, будто нынче праздник, на второе подаются блины с творогом. Правда, всего только с козьим, но зато блины, а ведь все дело в них, а не в твороге. Он только для того накладывается, чтобы блины были побольше да попышнее.

Жена Бердеша ставит блюдо на середину стола с таким видом, будто на нем не блины, а букет цветов, и с некоторой гордостью отходит назад. Затем все медленно, неторопливо протягивают руки к блюду, нерешительно задерживаясь в ожидании, пока отец возьмет свою порцию.

Вот Бердеш берет блин. Раз откусил, и половины как не бывало. А они не так уж малы, эти блины. Рожи жарила их на противне и по старинке повертывала щепой.

— До чего вкусный творог! Пожалуй, жаль продавать козу,— произносит Бердеш, собираясь проглотить вторую половину блина.

— Уж не рехнулся ли ты, что вздумал ее продавать? — удивленно спрашивает жена.

— Ей-ей, продам!

— А что потом? Как мне накормить все эти рты без козы?

— Куплю корову, в крайнем случае телку. Не оставаться же мне в своем приусадебном хозяйстве с одной козой!

Жене Бердеша кажется, будто на ясную луну вдруг нашла туча.

— А ну тебя! Что тебе ни говори, ты все равно не успокоишься.

«Не угомонюсь до самой смерти, мать,— хочется сказать Бердешу.— Чтобы ни начал, все нужно с честью довести до конца». Но он не может произнести ни слова, а только мычит: забил себе рот блинами.

Что между ними было вечером, сказать трудно. Но одно ясно: ничем нельзя нарушить заключенный сегодня мир.

— Уж если ты ввязался в это дело... да если и дети заодно с тобой, я не возражаю. Мне все равно, будем мы в производственном кооперативе или нет. Но работать на общественном поле я не буду, так и знай! Так поздно досталась нам земля, что я и на своей уже не в силах полоть, разве что могу только копаться на огороде. Нет, не буду я работать в кооперативе!

— Не волнуйся, мать!.. Ты только корми нас, а уж в поле трудиться будем мы. Не так ли, ребята? — И Бердеш смотрит на детей.

Они не прочь принять участие в чем угодно, лишь бы это было нечто новое. Над ними не довлеют сельские традиции, а хуторская жизнь не успела окончательно засосать их; они всегда поддерживают отца, потому что беспредельно ему верят.

Воспользовавшись благоприятным моментом, Лаци украдкой берет себе еще один блин. Правда, это уже пятый, но блинов много — малышам всего не съесть.

— Восемью пять — сорок,— подсчитывает самая младшая — Шари, намекая, что, если все съедят столько же, сколько Лаци, понадобится целых сорок блинов.

А мальчик постарше — он уже учится в седьмом классе — производит дальнейшие подсчеты:

— Пятьдесят два на сорок... это будет две тысячи восемьдесят блинов. Вот сколько придется напечь в год, если каждую неделю съедать по сорок штук!

Бердеш встает, наливает воды в жестяную крышку от бидона и выпивает ее одним духом. Затем осматривается, стараясь разглядеть при лунном свете, что делается на дворе. И, наконец, просит младшую дочь подать ему сапоги. Хотя на больную ногу сапог натянуть невозможно, но другую-то все-таки обуть можно — пусть знают, что сапоги у него есть.

Ведь, что ни говори, человеку, который в сорок пятом году был председателем Комитета по разделу земли, а затем секретарем партийной организации, да и теперь не собирается уходить на покой, нужно следить и за своей внешностью, тем более, что идет-то он не куда-нибудь, а на партийное собрание.

Партком помещается напротив сельской управы и занимает одну из выходящих на улицу комнат в большом крестьянском доме. Хозяин дома, хотя формально и не кулак, на самом деле хуже любого кулака. Земли у него всего-навсего восемь хольдов, но зато ему принадлежит этот большой дом. Сам он живет не здесь, а в одной дальней деревушке, где работает заведующим сельпо. В прошлом же он был лавочником, вот и сумел построить себе такой большой дом, поэтому до сих пор руками и ногами держится за свою профессию. В доме он поселил своего бедного родственника с семьей. Человек этот слыл когда-то зажиточным, но, решив сменить крестьянскую жизнь на торговую стезю, вскоре обанкротился и остался у разбитого корыта. Земли в сорок пятом году он не получил (Бердеш сказал ему, что ведь землю-то он имел, незачем было ее разбазаривать), и вот теперь этот человек живет кое-как и то за чужой счет.

Две комнаты в доме, обе с большими окнами, выходят на улицу. Одну из них получила парторганизация. Мебели в этой комнате мало; посредине — дубовый стол на ножках в виде козлиных, по сторонам его — лавки без спинок, у стены — несколько стульев. Единственная ценная вещь в комнате это письменный стол — тяжелый, резной, из орехового дерева. Его приобрел Бердеш сразу же, как стал секретарем парторганизации. Тогда же он достал и старинные часы, сделанные в Англии еще в семнадцатом столетии. Они отмечают минуты, часы, дни и месяцы, показывают и фазы луны, а, если верить Бердешу, даже предсказывают затмения солнца. Но со времени освобождения никто не интересовался солнечными затмениями. Ясно, что часы перекочевали сюда из господского дома, но там их не так высоко ценили, как здесь. Жига Виг, мастер по починке резиновой обуви и часовщик, ждет не дождется, когда они сломаются, чтобы иметь возможность их починить. Но, пожалуй, эти старинные часы никогда не сломаются. В помещичьем доме они неумолимо показывали прибли-

жение последнего часа их хозяев. Здесь, у новых хозяев, на них глядят, как на некое сокровище.

Каждый, кто пришел на партийное собрание, сразу понимает, что сегодня речь пойдет не о повседневных делах. Стена напротив двери украшена красными и трехцветными национальными лентами. Вокруг портретов вождей — красные флажки. В комнате горят две лампы: одна на стене, другая на столе.

Члены партии собираются молча, взволнованно и несколько торжественно приветствуя друг друга. Затем рассаживаются по местам. За столом, напротив двери, спиной к окну сидят Бердеш, Шаркези, Сито, Бенце и Пап — иными словами, все учредители будущего кооператива. Здесь же присутствует и секретарь уездного комитета партии Кульчар да еще старый Бири.

Бердеш, прищурив глаза, смотрит на собравшихся, словно оценивая: вот этот — его человек, того он сам рекомендовал в партию, а того привел с собой новый секретарь Шаркези... Как-никак парторганизация создана. Но что будет с производственным кооперативом?

— Кого еще не хватает, товарищи? — спрашивает Шаркези, считая про себя собравшихся. Счет он ведет не по одному, а сразу по пять, по десять человек.— Двадцать пять... тридцать пять... сорок два мужчины и две женщины.— Действительно, члены партии явились почти все, пришло даже несколько беспартийных. Жена Катоны, уронив руки на колени и склонив на бок голову, выжидающе смотрит на Шаркези.

— Кто хотел, тот и пришел,— басит Бердеш.

Не хватает двух человек, как раз из тех, кто обещал к ним присоединиться. Ну, если не пришли, значит раздумали.

— Кто душой и телом за кооператив, тот пришел, товарищи! — говорит Бердеш, поднимаясь с места и указывая на бумаги, лежащие на столе.— На повестке дня согодняшнего партийного собрания один вопрос: отчет комиссии по организации производственного кооператива и вступление в него коммунистов. От имени организационной комиссии считаю необходимым заявить, что свою работу мы рассматривали как предварительную разведку боем, как агитацию за идею производственного кооператива. Конечно, в какой-то мере мы также и вербовали членов будущего кооператива, но на этом не настаивали. Можно утверждать, что, несмотря на враждебную пропаганду, дело с производственным кооперативом обстоит у нас неплохо. Имеется немало беспартийных, которые наверняка вступят в кооператив, поэтому мы, коммунисты, должны подать им пример. Но никого, в том числе и членов партии, не собираемся к этому вынуждать.

Бердеш на минуту умолкает и с еле заметной улыбкой смотрит на присутствующих, словно проверяя впечатление от своих слов. Сама идея коллективного ведения хозяйства еще недостаточно овладела умами крестьян. Затем Бердеш без всякого перехода обращается к собравшимся:

— Товарищи, кто хочет вступить в кооператив, прошу поднять руку!

Тишина. Люди продолжают сидеть молча, словно воды в рот набрали. Кое-кто слегка подергивает плечом, будто собирается поднять руку, но что-то ее удерживает. До этой минуты вопрос о производственном кооперативе был ясным и понятным, но сейчас людям кажется, что они еще не все окончательно выяснили. Сосед робко посматривает на соседа, каждый про себя думает: «Он руку не поднимает, и я не подниму».

— Не обязательно всем сразу, товарищи, можно и по одному,— встав, говорит Шаркези и закуривает сигарету.

Один из присутствующих, наконец, медленно поднимает руку, но до того медленно, будто держит в ней что-то очень тяжелое. Он был коммунистом еще в восемнадцатом году, но, получив в сорок пятом землю, целиком ушел в собственное хозяйство. Сразу же за ним поднимают руки еще четверо или пятеро, но, наоборот, делают это очень торопливо, словно боясь опоздать.

«Самое трудное начать»,— успокаивает себя Шаркези, но не садится, а, выжидая, продолжает стоять и курить. К нему наклоняется секретарь уездного комитета партии.

— Дайте-ка мне слово, товарищ Шаркези!

— Товарищ Кульчар хочет что-то сказать. Пожалуйста, товарищ Кульчар,— и Шаркези садится.

Кульчар встает и, широко расставив локти, опирается на стол.

— Дорогие товарищи, нас очень удивляет, что только некоторые члены партийной организации изъявили желание войти в производственный кооператив. Как же мы можем ожидать вступления беспартийных, если сами сторонимся?

— Мы не сторонимся, но и не очень хотим! — громко заявляет Карой Ханадь и так смотрит на Кульчара, будто впервые его видит.

— Не очень хотите?

— А почему нам этого хотеть? И так неплохо. Мы производим столько, сколько требуется. Государству нужно больше? Пусть требует больше. Что ему нужно от крестьянства? Пшеницу? Кукурузу? Сахарную свеклу? Хлопок? Пусть скажет, что именно. Мы дадим все, что потребуют, но в остальном пусть нас оставят в покое.

— Вот это дело! Вот это верные слова! — восклицают двое сразу. Оживляются и другие, перешептываются, что-то говорят, объясняют.

Кульчар продолжает стоять, испытывая такое чувство, будто у него уходит из-под ног земля. Он ощущает вокруг себя какую-то пустоту, и ему хочется коротко, в нескольких словах, привести самые убедительные, самые веские доводы в пользу социалистического сельского хозяйства. Он понимает, что эти доводы существуют не только в теории, в книгах и брошюрах — они вошли в жизнь, заполняют души людей, становятся достоянием истории...

Вот обо всем этом и следует сказать. Кульчар сразу меняет тон и после только что наспех сказанных слов произносит складную речь о расцвете крестьянской жизни, о мире во всем мире, о социалистическом преобразовании сельского хозяйства. Заканчивает он свое выступление так:

— Перед нами великий, неопровержимый пример — сельское хозяйство Советского Союза. Жизнь крестьянина в СССР находится на несравненно более высоком уровне, чем в любой другой стране. Мы хотим идти по этому великому пути и поэтому создаем производственный кооператив.— И с сознанием выполненного долга Кульчар садится.

Но присутствующие снова начинают переговариваться и приводить друг другу различные доводы за и против, словно секретарь ничего не сказал. Больше всего судьба кооператива беспокоит Бердеша, дальше молчать он не в силах.

— Вы обращайтесь ко всем, вместо того, чтобы переговариваться с соседом,— призывает он к порядку Кароя Ханадя.

Тот вскакивает с места.

— Могу и всем это сказать. Еще неизвестно, может, то, что хорошо для русского крестьянина, плохо для венгерского!

— Позвольте мне ответить! — Кульчар подает знак Шаркези и обращается к собранию.— Товарищи! Земля — во всем мире земля. Мужик — всюду мужик. То, что один крестьянин говорит по-венгерски, другой по-китайски, третий по-русски, а четвертый по-немецки,— не имеет значения. Когда я был в прошлом году в Болгарии, то понял, что разницы между венгерским и болгарским крестьянином нет. Только, разумеется...

Ему не дают договорить; все сразу начинают шуметь; теперь люди уже по-настоящему волнуются, размахивают руками. Карой Ханадь что-то кричит, но за шумом ничего нельзя разобрать. Гул все нарастает. Кульчар поворачивает голову то в одну, то в другую сторону и никак не может понять, из-за чего они кричат.

— Здесь мудрить нечего, товарищ,— тихо говорит ему Шаркези.

— А что же делать? Снять вопрос о создании кооператива?

— С какой стати? Создадим, будьте уверены.— Шаркези поднимается.— Разрешите, товарищи, и мне... Я хочу сказать...— Он несколько секунд выжидает, пока уляжется шум, который будто висит в зале, как в засуху пыль над деревней.— Я хочу сказать, что даже пшеничные зерна и те — каждое на свой манер. Как не бывает двух одинаковых снежинок, так и не могут быть и два во всем одинаковых человека. Даже цветок, и тот — один красный, другой желтый, или, скажем, белый. Мы венгры только потому, что родились ими, а не румынами или немцами. Но и мы, венгры, не все одинаковы. Вот к примеру: Лайош Бердеш хороший венгр, Лайош Кошут-Киш — тоже хороший венгр, и Карой Ханадь неплохой венгр, но один хочет, чтобы был производственный

кооператив, а другой не хочет. Как по-вашему, товарищи, почему мы не можем понять друг друга? Почему не можем дружно взяться за дело?

И Шаркези чувствует, что он нашел нужные слова.

Да, вот этот дело говорит! У всех дыхание захватывает; кажется, сейчас начнется настоящий разговор. Даже Сито, человек молчаливый, вдруг решает, что, наконец, пора и ему высказаться.

— Потому что... Карой Ханадь осел!

Присутствующие устремляют недоумевающие взгляды на Сито. Затем раздается взрыв смеха, смеются все без исключения. Расплывается в улыбке даже сам Карой Ханадь; ведь лучше всего посмеяться над шуткой. Не станет же он бросаться с кулаками на Сито.

— Ничего смешного здесь, товарищи, нет! Настоящий коммунист не будет говорить, как Карой Ханадь,— продолжает Сито.

Ханадь смущен. Выходит, раз он не желает вступать в производственный кооператив, то не может быть и хорошим коммунистом? Значит, хорошим коммунистом может быть только тот, кто думает, как все остальные? Но, очевидно, не в этом дело. Главное в том, что представляет собой смысл и суть коммунизма: человек больше никогда не будет эксплуатировать другого человека. И если он, Ханадь, не вступит в кооператив, то неминуемо пойдет против этого великого закона, против самой цели и смысла жизни. А кого так эксплуатировали, как его, Кароя Ханадя? Ведь никогда он не мог целиком уплатить налог, в каждом квартале у него истекал срок одного, двух, а то и трех векселей.

— Я такой же хороший коммунист, как и вы,— говорит он, окончательно потеряв прежний пыл.

— Ну, если такой же, садись рядом с нами! — насмешливо бормочет в ответ Бердеш.

Карой Ханадь встает и некоторое время пристально смотрит перед собой, испытывая такое чувство, будто просроченные и непросроченные векселя, предупреждения, опротестования, притязания адвокатов, счета больницы тянут его назад. Затем собирается с силами и быстро идет к столу президиума, словно обрывая за собой невидимые, но поэтому тем более ощутимые нити. Подойдя, садится на краешек скамейки и поглядывает на свое прежнее место.

— Правильный ты человек, сервус! — протягивает ему руку Бердеш.

Оставшиеся на своих местах не без удивления смотрят на Ханадя, и лишь некоторое время спустя Лайош Кошут-Киш говорит:

— Мы бы тоже пошли, только... хоть бы разок взглянуть, какой из себя настоящий производственный кооператив!

— Если захочешь, можешь увидеть. В стране таких уже есть немало.

— Разве что на луне есть! — кричит кто-то из задних рядов, но это уже не производит должного эффекта. Люди разговаривают все оживленнее, спорят, рассуждают.

— Товарищ, не давай им болтать всякую чушь,— шепчет Кульчару Бердеш.

— Почему? Пускай каждый выскажет, что у него на душе. Пусть говорят, дядюшка Лайош!

Решили вступить в кооператив уже около трети присутствующих, несколько человек беспокойно ерзают на своих местах,— они и хотят и не хотят, но есть и такие, кто все же упорно отказывается.

— А теперь что делать, товарищ Кульчар? — спрашивает Шаркези.

Бесконечные разговоры, волнения — все это, казалось, несколько выбило его из колеи, ему неясно, что же в результате — успех или неудача?

— Надо в ближайшие дни провести учредительное собрание кооператива.

— Проведем. Ты приедешь, поможешь нам?

— Как же иначе? Не только я, наверно, приедут и товарищи из областного комитета.

У Шаркези от усталости болят глаза. Мысли его то проясняются, то снова путаются. Он объявляет короткий перерыв и обращается к Кульчару:

— Ну, а что мне делать?

— Тебе? Будешь работать в производственном кооперативе, оставаясь секретарем сельской партийной организации. После создания кооператива классовая борьба сразу же обострится, для этого и причин искать не надо, они достаточно ясны. Только теперь у вашей парторганизации и начнется настоящая работа. Ты должен оставаться на своем месте и подготовиться к событиям, которые могут произойти неожиданно, как обвал.

— Боюсь, трудно будет мне.

— Конечно. Но тяжелый труд и упорная борьба закаляют человека, делают его сильным и твердым... Сейчас нам нужно разделить всех участников собрания на две части. Учредители кооператива пусть соберутся где-нибудь в другом месте, а остальные останутся здесь. Я пойду с нашими первыми кооператорами, а ты оставайся.

— О чем мне с ними говорить?

— Если не возникнет новых вопросов, разъясняй, что партия и в дальнейшем будет делать то же, что до сих пор: организовывать сельскохозяйственное производство, помогать в своевременном проведении полевых работ, стоять на страже выполнения директив правительства. Словом, деятельность партии остается неизменной, только теперь еще прибавилась ее ответственность за производственные кооперативы. Да что тебе об этом толковать, ты и сам все знаешь!

— Конечно, знаю...

— Так за чем же дело стало?

— Товарищ Кульчар, товарищ Кульчар! — наклоняется к секретарю ликующий Карой Ханадь.

— В чем дело, товарищ Ханадь?

— Есть одно предложение, товарищ Кульчар!

— Пожалуйста.

— Я предлагаю тех, кто не вступил в кооператив, исключить из партии.

Ханадь уже успел забыть, что и сам он вступает с большой неохотой. Ему кажется, что раз он решился, те, кто отказывается войти в производственный кооператив, недостойны дышать с ним одним воздухом.

Кульчар смеется от всей души; вот теперь этот человек заговорил по-настоящему. Выйдет, выйдет из него борец за новую жизнь, такой же настойчивый, каким он был, пока мытарствовал в одиночку. Но, разумеется, принять его предложение по меньшей мере неразумно.

— Да разве можно их исключить, товарищ Ханадь? Во-первых, нас меньшинство. А это значит, что большинство, хоть и несправедливо, но могло бы исключить нас. Во-вторых, парторганизация должна остаться такой же единой и крепкой.

Но Ханадь не в состоянии сразу уяснить себе все.

— Что же это получается? Значит, коммунисты они, а не мы?

— Почему не мы? Мы — сознательные коммунисты, а они станут ими позже. Как только оформится производственный кооператив, в нем будет и своя партгруппа; выберете секретаря, который будет связан с сельской партийной организацией. Со временем все станет на свое место, товарищ Ханадь.

Разговор Кульчара с Ханадем слушали и Бердеш и Шаркези. У обоих отлегло от сердца. То, над чем они ломали голову почти целый вечер, секретарь уездного комитета растолковал в нескольких словах.

Но шум и крики не затихали. Споры до того разгорелись, что, казалось, весь дом дрожит.

— Потише, товарищи! — стучит карандашом по столу Кульчар.

Шум постепенно затихает, подобно удаляющемуся топоту босых детских ножек. Люди выжидающе смотрят на секретаря.

— Прошу товарищей, выразивших желание вступить в производственный кооператив, пойти с нами для обсуждения организационных вопросов,— продолжает Кульчар. Потом поворачивается к Бердешу: — Где бы мы могли сейчас поговорить?

— Ближе всех живет товарищ Сито. Думаю, у него.

— В таком случае идем к нему. А остальных товарищей прошу остаться здесь. С вами еще кое о чем побеседует товарищ Шаркези.

На сей раз воцаряется глубокая, ничем не нарушаемая тишина.

Будущие кооператоры неторопливо, чуть ли не на цыпочках, выходят, искоса поглядывая на оставшихся. А те, в свою очередь, смотрят вслед уходящим, причем вид у них такой, словно тем и другим уже не суждено никогда больше встретиться. Почти у каждого из них мелькает мысль: «А вдруг правы не они, а те, что уходят? Вдруг именно сейчас упускают они настоящее, большое дело, восстановить которое им уже никогда не удастся?» Тем не менее люди эти продолжают сидеть не шевелясь, как бы ожидая какого-то осязаемого доказательства.

— Сколько хороших дел совершили мы вместе! — громко вздыхает Янош Форраш, уносясь воспоминаниями в прошлое. Перед ним снова встает и раздел земли, и все хлопоты и трудности, в которых рождалась новая жизнь села, без господ. Еще более шумный вздох вырывается из его груди.— Они уходят, а мы остаемся...

— Все зависит от вас, товарищ Форраш,— мягко замечает Шаркези.

Вздыхающий Форраш переносит взор с прошлого на настоящее, то есть на Шаркези.

— Ты прав, товарищ Шаркези. Целиком и полностью. Беда только в том, что прав и я, иначе не сидел бы здесь, не слушал столько болтовни, а сам отправился бы вместе с теми. Но не могу я сделать так, как бы мне хотелось!

— Не понимаю, почему, товарищ Форраш.

— Не понимаешь, товарищ Шаркези? Тогда, стало быть, придется объяснить. Есть у меня двенадцать хольдов земли, семь из них я получил в наследство от отца, остальные пять от тестя. Но получил при одном условии: я обязан содержать стариков до самой смерти. В год отмеряю им десять центнеров пшеницы, пять центнеров кукурузы в початках и ежедневно даю по литру молока. Старикам — одному семьдесят два года, другому шестьдесят восемь. Старушкам немного меньше. Но они ведь и не думают помирать. Что же мне теперь остается делать? Желать им смерти? Не могу и не хочу... Ладно, ладно, мне известно, что в производственном кооперативе старики не окажутся на собачьем положении. Но дайте же им по крайней мере возможность самим увидеть, что с ними станется, убедиться, что они попрежнему будут обеспеченными. Но увидеть это, убедиться в этом пока они еще не могут. Так вот теперь и скажи, что я должен делать?

Шаркези знает, что в словах Форраша правды только наполовину. Он намеренно усложняет вопрос о стариках с единственной целью выискать причину, чтобы не вступать в кооператив. Ведь старики еще трудоспособны, в селе таких немало, и они могут заткнуть за пояс многих молодых. Шаркези медленно оглядывает всех присутствующих. Ему доподлинно известно семейное и имущественное положение каждого. Оно не тяжелее, чем у тех, кто решил вступить в кооператив. Но вполне очевидно, что у каждого

найдется немало доводов против. Представляя заранее все эти возражения, Шаркези делает вид, что они ему совершенно неведомы.

— Разговор искренний и честный, товарищ Форраш. Ты прав: обещание, которое сразу успокоило бы четырех стариков, живущих за счет одного работника, я сейчас дать не могу. Но придет время — оно не за горами, — когда я буду в состоянии это сделать. А пока скажу одно: целиком и полностью понимаю твои опасения. Но не беда. И в нашей партийной организации дела хватит с избытком, нам тоже нужны крепкие боевые товарищи,— и повысив голос, будто он до этого додумался сам, а не услышал впервые от Кульчара, уверенно говорит: — Потому что, товарищ Форраш, наступит время, когда все, кто не верил в классовую борьбу или недооценивал ее, узнают на деле, что она собой представляет. Когда мы создадим кооператив, злоба и ненависть богачей обрушатся на нас, как лавина. И вот тогда нам будет очень нужна помощь членов партии, понадобишься и ты, товарищ Форраш. Да и вы, товарищи, не останетесь в стороне. Я не буду сейчас обращаться к вам с призывом вступать в производственный кооператив, все равно рано или поздно каждый из вас это сделает. Но раз мы собрались вместе, давайте внесем ясность во все вопросы, чтобы потом к ним не возвращаться. Почему, собственно, вы не хотите вступать в кооператив?

Один из присутствующих — на вид ему можно дать и тридцать и пятьдесят лет — встает.— Сабадшаг! — оглядываясь по сторонам, приветственно произносит он, поднимая руку. Затем, не переставая переминаться с ноги на ногу, начинает говорить:

— Легко тому, товарищи, кто может взять с собой все, что у него есть. Правильно ставит вопрос товарищ Форраш,— а что делать, например, такому человеку, как я? Жена меня бросила еще в сорок шестом году. Девочку забрала с собой, а двух малышей оставила на моей шее. Да и земля записана на ее имя, а не на меня. Писал я ей: «Откажись, мол, от земли». Отвечает: «Не откажусь». Тогда я пишу: «В таком случае позаботься насчет ее обработки». Такой же ответ: «Не стану заботиться». Так что же мне с этой землей делать, ну ее ко всем чертям! А детей ведь кормить нужно.

— Куда уехала ваша жена? — спрашивает Шаркези.

— Она из Пешта, чорт бы ее побрал. Туда и уехала.

Те, кто поближе знаком с историей Винце Торни, улыбаются. В былые времена он, будучи бравым солдатом, привез с собой в село будапештскую девушку. Она принесла кое-какое приданое и купила землю. Однако все получилось не так, как она себе представляла. Оказалось, любила она бравого солдата, а не бедняка-крестьянина. Теперь, конечно, ей хочется продать землю, а не передавать ее в кооператив.

— Да, вопрос сложный, товарищ Торни. Но не волнуйтесь, мы поможем его уладить.

Шаркези обводит всех внимательным взглядом. В комнате двадцать девять человек, и каждый по очереди начинает излагать свои беды.

Один строит дом; но он еще не закончен, на стройку должны уйти все силы, все деньги, весь ожидаемый доход от скотины и урожая. Вдобавок приходится и самому работать: мазать, рештовать, трамбовать. Ведь постройка дома дело не простое, это не то, чтобы кое-как положить бревна, навесить двери да окна, и делу конец... Другого крестьянина сманивает к себе чабаном госхоз. Правда, он еще окончательно не решил, как ему быть,— надо посоветоваться с женой... Третий посеял в прошлом году люцерну, а косил всего один раз...

Сколько доводов, сколько разнообразных причин для отказа от вступления в кооператив! И Шаркези понимает, что все они свидетельствуют о чисто крестьянской привязанности к частной собственности: получили землю, полюбили свое хозяйство, и теперь горестно с ним расставаться. Да, чтобы взошли новые всходы, нужно время. Как для воды, которая не сразу впитывается в почву.

После такой откровенной беседы с членами партии Шаркези забывает об усталости.

— А теперь, товарищи, позвольте перейти к текущим делам. Мы получили два письма, на которые необходимо ответить... Командование Народной армии запрашивает наше мнение о двух молодых односельчанах, которые хотят остаться в армии на сверхсрочной службе, чтобы стать офицерами. Родители их беспартийные. Один из этих юношей — младший сын Ласло Рожи, другой — Бени Гуяша, что живет на краю села. Дело это важное — как всегда, когда к нам обращаются с просьбой дать правдивый отзыв. Ведь от него будет зависеть дальнейшая судьба этих двух молодых людей,— объясняет Шаркези и, шаря в своей сумке, достает оттуда письма.

А время позднее, вероятно, за полночь. Точно не определишь — напрасно Шаркези то и дело поглядывает на часы. В суматохе он забыл их завести, и они остановились.

Примерно в это же время заканчивают разговор коммунисты в доме Сито.

— Хочу сказать вам, товарищи, одно... С этого дня — не смотреть по сторонам, а только вперед! — говорит, как бы отдавая команду, Бердеш и незаметно отпускает ремень на брюках, который весь вечер жал ему живот. Затем поворачивается к Кульчару: — Хорошо тебе, товарищ, сел в машину, глядишь, и дома! Куда скорей, чем я доберусь к себе в слободку. Пока доковыляю...— И с напускной злостью машет рукой.

— Охотно подвезу вас, дядюшка Лайош.

— Ну, если я хоть раз сяду в машину, никогда больше из нее не вылезу! — ловит Кульчара на слове Бердеш, с торжествующей улыбкой поглядывая на окружающих. Они тоже смеются. У всех сегодня приподнятое настроение.

Глава вторая

1

Три часа дня. Имре Шаркези сидит за столом у себя в комнате и пишет статью в «Вихаршарок» *.

Статья уже много недель, точнее, с тех пор, как они начали создавать производственный кооператив, не дает ему покоя. Теперь он, наконец, решился сесть и написать. Многое познал он за это время. Временами ему кажется, что никто другой так глубоко не проник во все вопросы, никому не удалось так близко заглянуть в души людей. По мнению Шаркези, нужна такая статья, которая ясно, понятно и неопровержимо доказала бы, что для крестьянина производственный кооператив гораздо лучше и выгодней единоличного хозяйства. С другой стороны, в статье следует указать, как должны агитировать за производственный кооператив секретари парторганизаций и активисты. Нередко многие партийные работники допускают ошибки, это он понял по выступлению Кульчара на прошлом собрании. А между тем Кульчар хороший коммунист, пользующийся большой популярностью. Что же в таком случае сказать о членах партии, по своей подготовке стоящих намного ниже Кульчара?

Однако как тяжело писать статью! По мере того как Шаркези работает, он все яснее видит, что одно делал плохо, а другое — хоть и хорошо, но мог бы сделать лучше.

В самом деле, получается нечто удивительное: уже судя по началу статьи, Шаркези понимает, что пишет совсем не о том, что задумал, о чем собирался сказать. И, тем не менее, продолжает писать, потому что это доставляет ему удовольствие, в процессе письма перед ним шире раскрывается мир.

С тех пор как он стал секретарем парторганизации, все больше времени уходит у него на ответы уездному комитету то по одному, то по другому вопросу. Затем вдруг чем-нибудь непосредственно заинтересуется и областной комитет, и опять Шаркези пишет и пишет. А хозяйством занимается семья. Но переписка, это еще куда ни шло! Помимо нее, он по горло завален сельскими делами: тут и полевые работы и госпоставки. Кроме того, не только у членов партии, но еще больше у беспартийных множество всяческих личных неполадок, и люди чаще всего идут с ними к Шаркези. У одного неправильная запись в трудовой книжке, другой хлопочет о пенсии по старости, с третьим приключилась какая-нибудь напасть. Если возможно, Шаркези все улаживает. А в результате по селу расходится молва, что одному он устроил то-то, другому то-то, и не успевает он оглянуться, как опять по уши завяз в хлопотах. Можно было с этим примириться, если бы люди приходили к нему только в помещение парторганизации. Но они не оставляют его в покое и дома, приходят с разными, подчас самыми невероят-

ными вопросами... А вопросов столько, сколько людей. Уладить беды каждого в отдельности немыслимо, необходимо сломать прежнюю крестьянскую жизнь, похоронить старое и начать жить по-другому, по-новому. Каждому этого не объяснишь, а именно об этом следовало бы написать статью.

— Пошла вон! — доносится с крыльца окрик тестя, явно относящийся к какому-то животному.

Шаркези прислушивается. Во дворе старик треплет коноплю, мимо с хрюканьем пробегает свинья и утки-кряки спасаются от нее. Имре сразу вспоминает, что все еще не собрался поправить дверь в хлеву, чтобы свинья не могла вылезать во двор и гоняться за утками. Но тут же соображает, что одной починкой двери ему не обойтись: придется ремонтировать и стенку, иначе свинья все равно вылезет через пролом в стене. В этом нет ничего мудреного, раз в стене не хватает бревна, а в двери — доски. Но, допустим, он починит и стенку. Свинья в таком случае будет постоянно сидеть в хлеву, грязи там скоро наберется столько, что придется делать бетонный или кирпичный пол. Если бетонировать, понадобится мастер, а если пустить в ход кирпич, можно справиться и самому, но кирпича потребуется много: ведь ставить его надо на ребро, чтобы свинья не могла подрыть. Но и это еще, пожалуй, не все... Словом, одно тянет за собой другое.

Ну, разве не ясно, что крестьянская жизнь вовсе не состоит из одного только «цоб-цобе!». Крестьянин — подлинный раб своего небольшого приусадебного хозяйства; никогда он не в силах привести его в такой порядок, при котором не нашлось бы еще какого-нибудь дела. А как же в таком случае управиться с полевыми работами? Передышка наступает только зимой, когда все вокруг покрывается, вернее, заметается снегом. Только тогда крестьянин может думать, интересоваться тем, что происходит в мире, читать, заниматься самообразованием, обучать своих детей. Но... и в эту пору он не утерпит, придумает что-нибудь: то кого-либо из семьи пошлет на маслобойку с оставшимся подсолнухом, то сам повезет в поле навоз...

Имре Шаркези пришел в село из соседней деревни. Она расположена в трех с лишним километрах, но околицы обеих деревень почти сливаются друг с другом. Поэтому-то, еще будучи холостым, Имре знал село, в котором живет сейчас, не хуже, чем свою родную деревню.

В шестнадцать лет Имре Шаркези весил ровно сорок шесть килограммов, но уже работал на уборке и молотьбе как взрослый издольщик. В покосе юноша пытался идти наравне со всеми косарями: вместе с ними вставал, клепал косу, вместе кончал работу и отправлялся домой. Несмотря на то, что Имре весил только сорок шесть килограммов, у молотилки он поднимал тяжеленные мешки с зерном и подавал без конца снопы. Когда старый Бири запивал и был уже не в силах устоять на ногах возле молотилки, Имре помогал заводить движок. В ту пору он как-то раз с лег-

костью поднял одну совсем молоденькую девушку, которая впоследствии стала его женой. Однажды эти его сорок шесть килограммов чуть было не раздавил копытами своей лошади помещик за то, что Имре осмелился возразить ему при раздаче поденщикам сала. И раздавил бы, непременно раздавил, но юноша убежал от него через поле, зигзагами, как заяц, которому угрожает дуло ружья.

Владельцы имений не считались с тем, где проходит граница одной деревни, где другой. Размеры собственных угодий определяли и границу их мира. Но и поденщики с этим не считались: шли работать туда, где лучше платили и где был спрос на рабочие руки. Часто крестьяне разных деревень встречались на уборке, молотьбе или земляных работах. Вот почему и получилось, что Имре Шаркези встретился у молотилки с молоденькой девушкой из другой деревни, а затем женился на ней.

Огромной силой обладает человек, пока он молод. Таким сильным был и Имре Шаркези. Но даже со всей своей силищей он так и не смог подняться... Если клочок земли давал хороший урожай, семья жила лучше. А когда случался недород, все зависело от того, насколько сам Имре был в состоянии помочь семье поденщиной, приработком. Сколько сил пришлось ему вложить в эту жизнь! Сколько раз надежда сменялась отчаянием! Сколько повседневного труда, сколько хлопот в своем маленьком хозяйстве!..

Семья, то есть старики, имели четыре хольда земли, а Имре Шаркези, их зять, в сорок пятом году заявил, что лично ему земля не нужна. Таких, кто в ней нуждается, много, пусть она им и достанется. Сказал-то он именно так, а думал несколько иначе: считал, что ему нет нужды браться за самостоятельное хозяйство; ведь он же собирается устраивать свое будущее совсем по-другому,— так, чтобы вокруг не было ничего, что могло бы тянуть его назад. Обработка четырех хольдов и та отнимает у человека безмерно много времени. А уборка урожая? Выйти в поле утром — час, обратно — столько же. Потом надо свезти урожай домой, ухаживать за скотиной, удобрять поле навозом. Все это еще полбеды, если можно собрать потом полный воз. В упряжке у него не лошадь, а пара коров, и частенько бредут они, таща почти пустую телегу: что уродилось, то и везут. Так вот и приходится гонять целую подводу за какой-нибудь тачкой тыкв, кукурузы, проса или фасоли. Не станешь же рубить воз на части. А время не ждет: какой бы ни был урожай — убирать надо. Двум коровенкам приходится и пахать, вернее, только царапать землю — такую работу никак нельзя назвать вспашкой,— и в то же время давать молоко. В результате или удой ничего не стоит, или вспашка никудышная.

По этим и многим другим причинам Шаркези давно хотел заменить единоличное хозяйство коллективным, а полную превратностей и неопределенности крестьянскую жизнь — постоянной,

твердой уверенностью в завтрашнем дне. Ах, если бы он сумел изложить все эти доводы в одной-единственной статье, чтобы ее мог прочесть любой крестьянин! Как это было бы хорошо! Насколько легче стал бы путь сплотившихся в кооперативе крестьян! Но Шаркези не удается это написать, хотя так приятно водить пером по бумаге... Еще нужно написать о том, что женщины почти все лето пасут гусей — каждая свой десяток на лугу или жнивье. А те, у кого нет даже гусей, целыми днями просиживают у себя на пороге, судача с соседками... Ему хорошо это известно: рядом с ним живет одна женщина. С самой ранней весны устраивается она у себя на пороге: тут и ребенка грудью кормит, и картошку чистит, и фасоль лущит, и кастрюли моет. Если кто-нибудь проходит в дом, она только немного подвинется, но ни за что не встанет с места. Да, женщины... но об этом следовало бы раньше посоветоваться с женой, а потом уже писать.

Имре поднимается и выходит.

На веранде, спиной к улице, на низеньком стуле сидит тесть. Возле него с одной стороны лежат семена конопли, а с другой — стебли. Перед ним — поставленная на ребро доска, а возле нее и под ней — кругом семена. Запах конопли заполняет всю веранду, весь двор. Он до того силен, что кажется, будто в нем смешались сотни различных ароматов! Человек ощущает его не только носом, но и горлом, грудью, легкими. Тесть Шаркези, старый Фаркаш, возится с огромным стеблем конопли. Отрывает от него отдельные веточки, и каждую тщательно вытрепывает, в то же время испытующе, вопросительно поглядывая на вышедшего из кухни зятя. «Что же будет с нами, стариками?» — спрашивают его глаза. Спрашивают не в первый и не в последний раз, но все чаще по мере приближения срока учредительного собрания кооператива.

Имре и сейчас, как, впрочем, всякий раз, когда ему приходится писать, очень весел — будто выпил легкого белого вина. Он знает, чего опасается старик, и поэтому спрашивает о другом:

— Ну, как урожай, хорош?

— Неплохой, сынок. Только знай, если конопля так уродилась, быть долгой зиме. Сколько раз я это замечал!

— Не беда, станем топить,— весело откликается Имре и направляется на огород.

Теща, маленькая старушка, возле колодца вальком выбивает мокрый мешок и тоже поглядывает на зятя. Но ей Имре ничего не говорит, только кладет руку на ее вылинявший платок. От этой ласки старушка расчувствовалась. Схватив уголок платка, подносит его к глазам, но Имре уже возится с калиткой.

Жена Имре Шаркези, урожденная Рожи Фаркаш, вместе с тремя дочками копает на огороде картошку. Старшей, Рожике, скоро исполнится восемнадцать, той, что помоложе, Жужике, пятнадцать, а самой маленькой минуло только пять лет.

Жена Шаркези — сравнительно молодая женщина, хотя у нее

и трое детей. Замуж она вышла семнадцати лет, но хорошо сохранилась; таковы уж все у них в роду. Нельзя сказать, что в ней есть что-то необычайное, какая-то бросающаяся в глаза красота или миловидность. И все же, кто бы с ней ни повстречался, не оторвет глаз. Волосы у нее скорее темные, чем светлые, кожа смуглая, черты лица тонкие и волевые, взгляд строгий, в движениях и походке нечто пленяющее всякого, будь то мужчина или женщина. Особенно любят ее и всем сердцем тянутся к ней дети. Частенько возле калитки и во дворе у Шаркези собираются ребята почти со всей улицы.

Рожика вся в мать, а Жужика — вылитый отец. Волосы ее светлые, как спелый лён.

— Какие красивые дети, чем только их кормят? — недоумевают соседи.

А ведь они немало трудятся. Старшая дочь — Рожика летом работала в поле, потом перешла к молотилке, и, как видно, это ей на пользу.

Тесть Имре, старый Фаркаш, всегда слыл порядочным человеком, жил честно, не становился другим поперек дороги. Даже в молодости, работая поденщиком, никогда не вступал в пререкания ни с приказчиками, ни с товарищами, а брал свой инструмент и ожидал, пока другие спорили и договаривались о работе и расценках. Когда же все приступали к работе, брался за дело и он. Если нужно, колол дрова или перетаскивал их. Только однажды вышел он из себя. А было это так: подрядился он в одной артели подавать снопы на молотилку. Ребята о чем-то заспорили с приказчиком. О чем могут спорить поденщики с приказчиками? Слово за слово — бросили работу. А неподалеку стояли в ряд три упряжки волов, на подводы начали уже грузить мешки с зерном. Но работа и здесь остановилась. Приказчик свою пролетку оставил в стороне, а сам размахивал кулаками перед носом у поденщиков. На плече его висело ружье, на зеленой шляпе красовались три пестрых перышка. Гончая сидела на задних лапах подле хозяина и, высунув язык, смотрела на крестьян.

— Мы так не рядились. По уговору мы не должны таскать на спине бочку, извольте позаботиться о питьевой воде! — уже не кричал, а орал во всю глотку старшина артели Лайош Кошут-Киш.

— Еще чего захотели? Вы что, собираетесь вместо того, чтобы заниматься делом, плескаться в воде, как утки? Хотите пить — вот бочка. Воду носите сами!

Люди подняли такой шум, словно кого-то из их товарищей пырнули ножом. И в тот же миг Карой Фаркаш, поплевав себе на ладонь, с размаху всадил вилы в гончую. Все сразу смолкли. Собака только взвизгнула, медленно повернулась назад, будто хотела на что-то взглянуть, но тут же распласталась на земле и замерла. Приказчик широко открыл рот, как бы собираясь чихнуть, и побежал к своей пролетке. Лайош Кошут-Киш и тогда,

и позже, и даже сейчас не перестает утверждать, что приказчик, убегая, наделал в штаны.

Авторитет Кароя Фаркаша после этого случая чрезвычайно возрос. Значит, он мог всадить вилы и в самого приказчика! Но у него все же хватило ума этого не делать. Показал ему свою силу и удаль — только и всего. Ведь за собаку он отсидел в каталажке всего три недели, а убей он приказчика — кто знает, сколько бы пришлось гнить в тюрьме! Словом, верно одно, что Карой Фаркаш до самой смерти проживет, окруженный славой. Может быть, из-за славы отца молодой Имре и загляделся на его дочку — Рожи. И вот теперь, уже спустя много лет, она вместе с тремя своими дочками копает на огороде картошку.

Мешок наполняется за мешком. Их насыпают не доверху, а только наполовину, чтобы легче сносить картофель на веранду для просушки и затем уже в погреб. Рожи орудует лопатой, Рожика и Жужика подбирают картошку и складывают в мешок, самая младшая девочка путается у них под ногами. Она, как щенок, роется в теплой, мягкой земле и резвится, радуясь солнечному дню.

Средняя дочь держит мешок, старшая сыплет в него из кошелки картошку. Остается легонько встряхнуть мешок, чтобы он не падал; девушки делают это не сразу, потому что мешок высокий, а Жужика маленького роста.

— Раз-два, взяли! — командует Рожика.

Но Жужика опять опаздывает. Мешок валится на бок и давит ей на грудь.

— Мама! Рожика не ждет и подымает первая! — кричит Жужика.

— А ты не опаздывай! А ты, Рожика, не спеши! — поучает их мать.

Рожи кажется, что каждая из дочерей права, или, пожалуй, не правы обе, потому что мешок, в конце концов, снова падает на землю и картошка высыпается. Девушки бросают негодующие взгляды друг на друга, обе одновременно нагибаются к нему и стукаются лбами. Тут они садятся на землю и начинают хохотать.

Выкопанная картошка, взрытая земля, оборванные плети тыквы — все это пахнет с такой силой, что кажется, будто запах проникает даже сквозь кожу. А звонкий девичий смех разносится по огороду, словно это звенит послеполуденный солнечный свет сентябрьского дня.

Шаркези подходит к дочерям и садится на землю между ними. На своих маленьких ножках к ним устремляется младшая дочурка; наконец и мать, воткнув в землю лопату, присоединяется к семье. Она садится, слегка раздвинув колени, и малютка бросается ей в объятья, словно в теплую воду.

Шаркези собирался посоветоваться с женой, что следовало бы написать в статье о женщинах, но сейчас он не в состоянии выдавить из себя ни одного слова. Просто сидит и любуется семьей.

Своей семьей! Не женой и не каждой дочкой в отдельности — это, мол, младшая, это старшая,— а всеми сразу. Он скорее ощущает, чем понимает,— пожалуй, еще никогда не чувствовал с такой силой,— что семья — это самое важное в мире... Не мешало бы написать статью о семье...

«Нужно написать о том, что семья в целом — это больше, чем отец, чем мать. Ее величие заключается в самых чистых чувствах души. Жить и работать ради семьи — высочайший смысл человеческой жизни.

Но как жить, как лучше работать ради нее? Этот огород со всем, что на нем растет, вовсе не гарантирует безмятежной жизни семьи. Дело не в том, что он не дает достаточно хлеба, овощей и фруктов, ведь, собственно говоря, «не единым хлебом жив человек». То есть это еще не самое главное. Главное — это чувство спокойной и полной уверенности, сознание, что человек со своими болезнями, с тысячью всевозможных превратностей своего существования не обречен на одиночество. Нужно создать такую жизнь, на которую могу положиться и я сам и моя семья, как на корабль, уверенно входящий в тихую гавань. Что же может быть для меня таким кораблем? Коллектив, иначе говоря, социалистическое общество.

Если бы только суметь все это написать так же ясно и понятно, как чувствуешь. Это была бы самая лучшая статья во всей Венгрии».

Мать, две старшие дочери и маленькая Ева, словно составляя одно целое с Имре, так же как он, предаются чарам мягкой рыхлой земли и ласкового послеобеденного солнца. Маленькая дочурка, смеясь, шалит на коленях у матери; Жужика, высунув кончик языка, просеивает сквозь пальцы песок. В ней вновь просыпается раннее детство, когда ребята еще играли в мельницу: руки и ноги — это мельница, песок — мука. Старшая дочь Рожика лениво потягивается, от этого движения старая линялая блузка лопается подмышками. Что поделать! Ведь ей уже восемнадцать лет!

— Сосед согласен? — спрашивает Рожи, кивая в сторону Кароя Ханадя, который стоит с лопатой у себя на огороде, выслеживая крота. Эта охота стала у него манией. Когда выдается свободное время, Ханадь берет лопату и отправляется на огород бить кротов. Бывает, ему приходится неподвижно выстаивать так целых полчаса, если не больше.

Шаркези смеется, затем отвечает:

— Согласен. Но сначала накричал на нас... Видишь ли, мать, этот человек, защищая свой клочок земли, свою горемычную долю, понятия не имел, что он, собственно, защищает. А ведь и сам Карой и его семья недоедают, они всегда голодны. Чего доброго, совсем отвыкнут от пищи, ничего другого им не останется. В хозяйстве у них нет даже порядочной корзины: корм в хлев носят в мешковине, топливо... хотя с тех пор, как сломали дымоход, они

и вовсе не топят. То есть топят, но только плиту во дворе. Поэтому в комнате у них только и тепла, что со двора проникает... Вилы ступились до отказа, зубья на них не больше моего пальца. Простой тачки и той нет. Во дворе всего две коровенки, худая свинья с заморенными поросятами, три-четыре тощие гусыни, несколько вечно голодных кур, которые постоянно снуют у кухонных дверей. Чуть лучше Карою становится только осенью, когда он режет поросенка или свинку. Зиму он кое-как перебивается, а весной опять начинает худеть, как убывающая луна. И так продолжается до новой осени.

Однако не он один, многие так живут. Ханадь еще сравнительно молод, а уже успел переболеть всеми болезнями: то его скрючит ревматизм, то он кашляет так, что можно подумать, будто стадо свиней возвращается с пастбища, то на руке вскочит чирий, а не успел он зажить — глядишь, человек распорол себе лемехом ногу. И ни врача, ни лекарств. Если не можешь стерпеть боль, единственное лекарство — кричи! И Ханадь кричит, да так, что сотрясается не только его дом, но и наш. Так вот какую жизнь защищал этот осел.

— Но ты все-таки не говори ему этого, Имре!

— Я-то молчу. А Сито вот сказал,— посмеивается Шаркези.

— Бедные, они видят только то, что есть сейчас, однако не представляют себе, что будет завтра. Но ничего, поймут. А ты, Имре, все-таки не сердись на них,— защищает соседа жена.

— Это верно. Скоро они узнают,— решительно говорит Шаркези, даже не ей, а себе.

— Наш сосед, правда, не преуспел, зато другие после освобождения разбогатели.

— Как же! Все начали одновременно в сорок пятом году, получили землю, обзавелись хозяйством, но многие с ним не справились. Вот и наш сосед отстал и при этом безнадежно. А почему так получилось? Разве Ханадь не старается, как и все, кто преуспевает? У него столько же ума, если не больше, чем у других; что же в таком случае помешало ему разбогатеть? То, что другие корыстолюбивее, хитрее, то, что среди них есть и такие, которые с самого сорок пятого года не то что делом, а даже советом не помогли человеку...— объясняет Шаркези жене, и слова у него так и льются прямо из души, словно полая, весенняя вода, перед которой открывают запруду.

Шаркези думает, что все это он говорит только своей жене, а по сути дела он уже мысленно отбирает и то, что скажет на учредительном собрании, и то, что прибережет у себя в мыслях. Потому что все это ему легче сказать, чем написать: для этого у него не хватает смелости.

— Идемте, дети, а то мы так никогда не кончим,— говорит мать. Она поднимается с места и несколько мгновений смотрит на заходящее солнце, которое как бы застряло между веток акаций и тополей, растущих вдоль огорода.

2

В середине сентября погода испортилась, пошли обильные дожди. В первый ненастный день крестьяне хорошо выспались. Вечером, потягиваясь, выходили на улицу, курили, поджидая стадо, и громко зевали. Женщины раньше подоили коров, раньше вымыли ноги и готовили ужин. Были и такие, что садились на веранде лущить фасоль или устраивались на улице, ожидая, пока соберутся соседки, и посматривали на темнеющие дворы, где кое-кто выбивал семена подсолнечника. Откуда-то издали доносилось девичье пение. В некоторых домах готовились ко сну. Иные женщины уже застилали разобранные постели не одеялом, а периной — кто знает, не похолодает ли?

Этой ночью дождя не было, перед рассветом небо даже прояснилось. Но подул ветер, и к восходу солнца небо заволокло тучами, а когда зазвонили к заутрене, дождь уже лил как из ведра. К полудню село буквально раскисло: мокли крыши, дворы, огороды и деревья, мокли заборы и улицы, мокла земля и лежащее за деревней поле. Но главное — на току близ околицы мокла люцерна, а молотить нельзя: котел полон пара, машина шипит и дождевые капли, падая на ее горячие бока, мгновенно куда-то исчезают. Возле молотилки стоят две нагруженные телеги; с их бортов стекает вода. Лошади из телег выпряжены и отведены домой.

Механик Михай Бири, уже считающий себя членом производственного кооператива, сидит тут же около тока в фургоне, что-то скребет напильником, то и дело выглядывая наружу. Очков он не снимает, а смотрит поверх них. Оглядевшись, он снова скрывается в своем фургоне и продолжает пилить, делая вид, что страшно занят работой.

Кочегар, устроившись под брезентовым навесом, ремонтирует выбойник.

Каждый раз, как Бири высовывается из фургона, кочегар тоже показывается из-под навеса, тихонько посмеиваясь.

«Сосет под ложечкой у старика»,— думает кочегар. Ему хорошо известно, почему Бири не сидится на месте. Старому механику хочется послать его за вином, хотя, решив вступить в кооператив, он дал себе зарок больше не пить.

Но старый Бири всерьез собирается отказаться от выпивки. Не так уж много известно ему о том, что происходит в мире; собственно говоря, немного знает он и о том, что изменится, когда он станет членом производственного кооператива. Он понимает только одно: произойдет какая-то перемена, а следовательно, придется кое в чем перемениться и ему самому. Иначе ведь с людьми старых привычек новый мир не построить; это старик уяснил себе твердо. А в чем ему меняться? И как это сделать? Всю жизнь ему приходилось иметь дело с машинами. На взгляд Бири, даже и в наше время паровик — это и есть настоящая машина. А трактор он ни во что не ставит.

Машины не могут меняться, разве что износятся и пойдут на лом, а их место займут другие. Одну приходится тащить на буксире, другая идет своим ходом, но настоящая — только та, что приводится в движение паром. Зато человек может менять свой образ жизни, обновляться. Только как? Например, он, Бири, не дотронется больше ни до вина, ни до палинки, ни до чего подобного на свете.

Правда, пока он, по сути дела, еще не член производственного кооператива — ведь кооператива-то еще нет,— можно и пропустить пол-литра вина с содовой, чорт бы побрал это зелье! Своего слова он этим не нарушит.

— Ступай-ка, принеси пол-литра вина да бутылку содовой! — командует старик, высунув голову из фургона, но тут же скрывается в нем и начинает пилить с таким остервенением, что кажется, будто скрипят оси фургона.

Кочегар выходит из-под навеса, бросает взгляд на оставленную работу, вытирает замасленные руки и отправляется в село, ругая про себя Михая Бири самыми последними словами. Он уже до того разошелся, так поносит старика, что того гляди зарычит, но все же довольно ласково обращается к корчмарю:

— Дайте пол-литра и бутылку содовой для господина механика Михая Бири.

Чикоштот с готовностью подает вино и содовую воду, приписав их стоимость на счет механика, а сам тем временем думает, что, пожалуй, ему удастся по дешевке заполучить семена люцерны. Правда, молотилка принадлежит не старому Бири, а Яношу Васнаш-Надю, у которого, кстати, имеется и трактор... Трактор сейчас занят на вспашке, поэтому молотилку приводят в движение паровиком и, что поделаешь, машина иногда рассыпает зерно. То из одного отверстия мешкодержателя, то из другого... Васнаш и не заметит убыли в несколько килограммов, а заработок у механика небольшой: нужно и ему чем-нибудь промышлять.

Содовая с пол-литром вина проделывает путь от винной бочки до тока. Некоторое время в фургоне стоит тишина, потом снова раздается скрип напильника. Старый Бири пилит с таким усердием, словно, если в конце концов прекратится дождь и выглянет солнце, без этой его работы нельзя будет завести машину. Но дождь льет не переставая и солнце не выглядывает.

На третий день неожиданно начинают зеленеть поля, на убранных участках оживают плети тыкв, концы их зацветают, и не сегодня-завтра появятся новые маленькие тыковки. Польза, правда, от них невелика, разве что замариновать. Но неужели только в этом польза от сентябрьских дождей? Они хороши для пашни, неплохи для капусты, моркови и картофеля, могут, пожалуй, в последний раз поднять люцерну. Косить ее, конечно, не придется, но, по крайней мере, за зиму не вымерзнут корни, не погибнут дремлющие почки.

Мокнет все кругом, мокнет земля, мокнет село.

Под шум дождя в кузнице звенит наковальня, и кажется, что все село — один сплошной и упругий кусок стали... Занятный все-таки человек этот кузнец! Пристукивая и насвистывая, он бьет по наковальне и только на четвертый или пятый раз ударяет по железу.

Карой Жила привел подковать лошадь. Он держит ее левую заднюю ногу, а кузнец примеряет подкову. Из-под крыши выбивается дым, перемешанный с паром, пахнущим горелым копытом, и дождь сразу же прибивает его к земле, в грязь. Пять-шесть любопытных стоят рядом и, переговариваясь, смотрят на работу кузнеца. О чем беседуют люди в кузнице в дождливый сентябрьский день тысяча девятьсот сорок девятого года?

— Слыхал я, кум, что и вы вступаете в производственный кооператив,— обращается Ференц Тарнок к Шенебикаи, хотя и знает, что в этом нет ни крупицы правды. Но уж такая у него манера вызывать человека на беседу, как говорится, пускать блоху за воротник.

Хотя Шенебикаи и понял шутку, но человек он серьезный, медлительный и в словах и в поступках. Поэтому некоторое время он стоит, уставясь глазами в землю, затем степенно и обдуманно произносит:

— Пока не собираюсь, но поговаривают, что они в самом деле организуют кооператив.

— Кто они? — спрашивает Йошка Риго.

— Насколько мне известно, это Бердеш — раз, Шаркези — два, Сито — три и Йошка Пап — четыре. Хватает этих организаторов! — информирует Тарнок не столько немногих присутствующих, сколько все село. Ибо то, что сказано здесь, сразу же становится достоянием всех.

— Свинство все-таки устраивать у нас колхоз! — недовольно ворчит кузнец. Впрочем, окружающие только могут предполагать, что он произнес именно эти слова, так как речь кузнеца вообще понять невозможно. Во-первых, он говорит так же быстро, как и невнятно, а во-вторых, голос у него такой, будто он полощет рот квасцами.

У кузнеца нет ни ученика, ни помощника. Поэтому очередной заказчик сам раздувает меха и зачастую бьет молотом по железу. Но, разумеется, никакой скидки за это не получает. Ведь каждый крестьянин, умеет он или нет, всегда охотно возьмется за любое ремесло.

Неся перед собой в больших клещах раскаленную подкову, кузнец направляется к горну. Тарнок спешит вслед за ним и принимается за меха. Стучать по железу он не любит, а вот раздувать меха ему нравится. Сейчас он как раз этим и занят. Меха вздыхают, словно только что прирезанное огромное животное.

Кузнец роется щипцами в раскаленных углях, поспешно выхватывает оттуда горячую подкову и описывает ею в воздухе шипящий полукруг, скороговоркой произнося при этом:

— Если мы допустим в нашем селе колхоз, сам бог не спасет нас от коммунистов!

Разумеется, и эти слова далеко не всем удается понять. Даже Тарнок и тот только догадывается о них, но все же считает, что обойти молчанием замечание кузнеца неловко.

— Это не колхоз, а производственный кооператив,— поправляет он.

— Хрен редьки не слаще...— вздыхает Жила, потому что он готов на все, лишь бы не было производственного кооператива.

Жила — барышник: одного коня продает, другого покупает и при демократии продолжает жить, можно сказать, как рыба в воде. Он еще толком ничего не знает, но предчувствует, что, если производственный кооператив завоюет село, его вольготной жизни придет конец.

— Если во главе кооператива будет Бердеш, это не страшно,— говорит один из крестьян.

— Я говорю не об одном Бердеше. Там есть еще Шаркези и другие,— откликается Тарнок.

— Пусти козла в огород! Шаркези!.. Кто, собственно, такой этот Шаркези? Чужак. Пришел сюда в зятья, так знай: раз ты чужая собака, то сиди поджав хвост! — разглагольствует Жила и вздыхает еще громче.

Буланка у Жилы плохо тянет в упряжке, сгибается, как кошка, да вдобавок есть подозрение, что у нее запал.

— Чужак? Почему чужак? Он теперь уже здешний. Тут родились и выросли его дети. А потом... он, видишь ли, порядочный человек. В молодые годы ходил я с ним на заработки. Бывало другой и голоса подать не посмеет, а он всегда свое скажет. Не бросал артель на произвол судьбы. Что правда, то правда,— говорит Тарнок.

— Правда? Умер король Матяш *, не стало и правды,— отшучивается Жила.

Но теперь в беседу вступают и остальные. Разговор о правде — дело серьезное; беда только в том, что представление о правде у всех разное, каждый судит о ней по-своему. Можно сказать, сколько людей, столько и правд...

«Хорошо бы мы выглядели,— думает Тарнок,— если бы стали слушать каждого и создавать мир по его желанию. Что если бы наша страна стала такой, как ее хочет видеть Жила? Нет уж, пусть лучше мир станет таким, как он представляется мне самому...»

— Король Матяш умер, но могла же остаться хоть малая толика правды, чтобы такой человек, как Йошка Пап, не был коммунистом! — высказывает свое мнение Шенебикаи, поразмыслив о делах мира сего.

И на его слова находит ответ Тарнок:

— Почему? Он всегда был партийным. Еще при жизни отца Йошка считался коммунистом.

— А Сито? Нынче стать коммунистом — легкое дело!

— И Сито тоже им был. Помнится, раз, когда и он еще маялся в бедняках, мы с ним в имении канавы рыли. А туда приехали гости. Автомобиль в те годы был еще в диковинку. Мы, конечно, поразевали рты, стоим, глазеем. А Сито возьми да и ляпни: «Увидите, придет и наше время, когда такие машины станут плуги тягать и землю пахать!» А ведь пришло это время — вот оно. Сито всегда был умным, поэтому он и коммунист.

Воцаряется тишина. Люди молча наблюдают, как кузнец прилаживает Буланке выхваченную из огня подкову. Всем, конечно, хочется еще вдоволь поговорить, но нить беседы утёряна. А во всем виноват этот Тарнок, вечно затягивает не ту песню.

Кузнец возится с копытом лошади, уголком глаза из-под козырька кожаной фуражки посматривая то на одного, то на другого. Потом выходит из кузницы и поднимает глаза к небу.

— С юга проясняется, лапоть погружается,— говорит он.

Но никто его не понимает,— сам чорт не разберет, что он там бормочет. Ни один человек не улавливает смысла его слов, только отдельные слоги доходят до сознания людей, подобно искрам, на мгновение отскакивающим от раскаленного железа. Но пользы и от того, и от другого не много. Поэтому люди молчат, только смотрят то на лошадь, то на Жилу, то на кузнеца, который гвоздями прибивает Буланке подкову.

В кузницу входит низенький человек с поникшими плечами и начинает сбивать налипшую на сапоги грязь. Делает он это так, будто в злобе топает на кого-то ногами. Подмышкой у него тонкий железный лист. Сдвинув шляпу на затылок, он швыряет железо на землю и смотрит на него так, словно жалея, что это сделал.

Кузнец проворно трет копыто Буланки рашпилем, затем лошадь опускает ногу на землю, а кузнец с безразличным видом снова глядит на небо. Возвратившись к горну, он кладет в огонь другую подкову, а Тарнок изо всей силы раздувает меха. И вот снова поет наковальня, словно сразу зазвучали тысячи стальных струн. А немного погодя уже раздается одна только частая дробь молота — это кузнец монотонно постукивает по железу.

Под вечер дождь прекратился, все равно от него мало толку. Но зато в ненастье у крестьян, по крайней мере, есть время управиться со скотиной, сходить к сапожнику, к парикмахеру. Разве в ясную погоду кто-нибудь в будний день станет брить бороду, если только не надо идти на похороны? Нет, пусть уж растет от субботы до субботы.

Парикмахер Шербалог уже не молод, он сильно сутулится от того, что при бритье вечно сгибается; как говорят на селе: «грудь у него сзади».

«Или он горбат от природы, или кто-то дал ему по спине»,— размышляет, сидя на скамейке и искоса поглядывая на парикмахера, Ференц Тарнок. От кузнеца он зашел в корчму, пропустил

там пару стопок и сейчас, как всегда, когда слегка подвыпьет, весьма склонен к философии.

В парикмахерской сидит не один Тарнок, здесь собралось человек пятнадцать — и молодые и старые,— но все они настолько обросли, что трудно определить их возраст. Разместились они в ряд вдоль стены, на лавке и на стульях, а некоторые попросту переминаются с ноги на ногу, выжидая, не освободится ли местечко.

Тот, до кого доходит очередь, молча поднимается. Шербалог с прищелкиванием переворачивает кожаную подушку, и два человека — тот, кого побрили, и тот, кого собираются брить,— меняются местами. Не может быть и речи, чтобы кто-нибудь из постоянных посетителей ушел домой раньше полуночи. Нет такой местной или мировой проблемы, которую бы не обсуждали в этом заведении. Беседа порой становится до того шумной, что начинает казаться, будто на улице идет проливной дождь. Иногда же воцаряется глубокая тишина, и слышно только пощелкивание ножниц Шербалога. Стòит одному начать разговор, как все сразу подхватывают; как только замолчит один, умолкают остальные. Однако с уверенностью можно сказать, что говорят здесь больше, чем молчат.

О чем же могут беспрерывно беседовать эти люди, сидя в парикмахерской?

Кое-кто, например, пытается связать даже смерть своего деда с ходом мировых событий, а в последнее время все чаще с производственным кооперативом. О чем бы ни заходил разговор, он неизменно переходит на эту тему.

— Если бы не Бердеш и не Шаркези, никогда не бывать у нас колхозу! — говорит Балаж Пенадь, тот, кто в сорок пятом году предлагал вешать воров.

Тарнок, до этой минуты погруженный в раздумье, встрепенулся. Для него это тема! Как же не поговорить?

— Чего вы хотите от них? Разве они сами все это делают?

Балаж Пенадь соображает очень медленно; лишь после долгой паузы он отзывается:

— Боюсь, эти коммунисты такое натворят в селе, что мы все пойдем по миру.

В разговор вмешивается третий — сам он, правда, не коммунист, но его младший брат член партии, да и жена состоит в Демократическом союзе венгерских женщин.

— Почему пойдем по миру? Если бы все сделали для села столько добра, сколько коммунисты, мы бы жили припеваючи.

Теперь уже каждому хочется вставить слово. Один — за коммунистов, другой — против. Балаж Фюрес, только что защищавший коммунистов, старается перекричать остальных и еще решительнее утверждает, что, не будь коммунистов, господа и поныне сидели бы на шее у крестьян, а тогда ни о каком разделе земли и речи не могло быть.

— Чего ты кричишь? Может, будучи в плену, сам стал коммунистом, а? — сразу набрасывается на него Пенадь.

— Нет, я не коммунист, но поддерживаю их, как всех, кто хочет нам добра.

Кажется, конца не будет этому спору,— один замолкнет, другой начнет. Будто в карты режутся козырь на козырь или словно словами пытаются в стужу растопить печь.

Шербалог точит, правит бритву, делая вид, что не обращает никакого внимания на происходящее. Затем поворачивается к клиенту, который терпеливо сидит на шатком и скрипучем вращающемся кресле, словно жертвенный барашек, ожидающий, что сейчас жрец перережет ему горло.

Очередь доходит до старого Сильвы. Он плотник и каменщик; у него собственный дом. Сегодня после обеда он вместе с Тарноком выпивал в корчме. Сильва сидит в кресле и, пристально уставившись в испещренную черными точками поверхность старого подслеповатого зеркала, слушает разглагольствования посетителей парикмахерской. Шербалог сначала стрижет его, а потом бреет; за этим занятием проходит немало времени, и старый Сильва успевает заснуть. Но спит он с открытыми глазами. Только отдельные слова в споре с запозданием доходят до его сознания. И вдруг все обрывается. Для усталого человека такое состояние может показаться раем.

Шербалог смывает с его лица мыльную пену и опрыскивает его разведенным спиртом, который почему-то называет одеколоном, снимает с шеи старика салфетку и, отойдя в сторону, смотрит на спящего Сильву.

— Дайте-ка ему по спине,— выкрикивает Тарнок, но, конечно, никто и не думает этого делать, все смотрят на старика и смеются.

Шербалог уголком салфетки разок-другой щекочет старика по носу. Но тот только отмахивается, и на его лице постепенно проступают синие и лиловые жилки. Тогда Шербалог из салфетки делает целое веретено и просто-напросто впихивает его в нос Габору Сильве. Старик вскакивает, даже вытягивается, как по команде «смирно», с удивлением глядя в зеркало на свое отражение. Затем, быстро повернувшись, произносит совершенно невероятное ругательство. Это вызывает новый взрыв хохота. Смеются на разные голоса: кто пискливо, кто басом, кто прерывисто, кто раскатисто.

Открывается дверь и входит Йошка Пап. В тот же миг в парикмахерской воцаряется гробовая тишина. Все молчат, будто никогда и не смеялись.

— Сабадшаг! — запросто приветствует всех Йошка Пап. С сорок пятого года он никогда, ни при каких обстоятельствах не здоровается иначе.

— Сабадшаг! — отвечает ему Сильва. Старый ремесленник относится с одинаковым почтением ко всем. Католическому патеру

он говорит: «Да прославится имя господне!», реформатскому пастору: «Дай бог доброго дня!», а коммунистам: «Сабадшаг!» В сорок пятом и в сорок шестом годах он употреблял еще и другие приветствия. Представителям партии мелких хозяев желал вина, хлеба и согласия, а какому-нибудь социал-демократу говорил: «Баратшаг *!» По мнению старого Сильвы, никому еще никогда не шло во вред почтительное приветствие. Только однажды ему самому влетело от жандармов, когда он поздоровался с двумя нилашистками из имения, изменив в слове «Китарташ» * первые две буквы на «б» и «е».

Собравшиеся в парикмахерской в разнобой отвечают на приветствие Йошки. Нисколько не смущается при его появлении только Тарнок.

— Сабадшаг, братец! Так, значит, и у тебя уже успела вырасти борода?

— Выросла! Я как раз только что думал... А что, друзья, если бы люцерна походила на бороду?.. Коси тогда ее раза два, а то и три в неделю...

И, поскольку вертящееся кресло в эту минуту оказывается свободным, Пап, не дожидаясь очереди, усаживается в него и начинает рассматривать себя в зеркале.

Все натянуто улыбаются. Не такой уж страшный человек этот Йошка Пап, хотя и коммунист. Но как он посмел без очереди сесть в кресло?

— Мне не к спеху,— говорит старый холостяк Мишка Шара только для того, чтобы дать понять Йошке, что сейчас его очередь. Но Йошка, не обращая на это внимания, прислушивается к тому, что рассказывает Тарнок.

— Был у меня, слышь, когда-то клин люцерны в Сёррете, вот это да!..

И снова начинается общая беседа, но на этот раз исключительно об урожае и посеве, о косовице и скотине, словно никто никогда и не заикался о политике, словно в селе и не думают создавать производственный кооператив и коммунисты не противопоставляют разноречивой правде селян свою правду, свою справедливость. Эти люди точно так же прячут сейчас свои сокровенные чувства, как они это делали в прежние времена, когда среди них вдруг появлялся секретарь сельской управы, поп или другой представитель власти. Все будто спрятали свое подлинное лицо в карман и поспешили натянуть другое, пригодное для данного случая; сказался горький и жестокий многолетний опыт. Люди могут ссориться между собой, нападать друг на друга, но немедленно сплачиваются воедино, как только в их среду попадает человек, которому не нравится прежняя крестьянская жизнь и который стремится к новой. Даже в своем кругу они не решаются открыто выступать против производственного кооператива, побаиваясь, что это и есть первые шаги социализма, о котором тоже немало говорилось в селе. Как им выступать против

этой идеи сейчас, когда среди них коммунист? Они вмешиваются в разговор, лишь бросая отдельные слова, делая кое-какие двусмысленные, но прозрачные намеки.

Словом, в присутствии Йошки Папа его односельчане о политике не говорят. А между тем Йошка исконный житель села: здесь родились и его отец, и дед, и прадед, и все предки со стороны матери. Сам он женился на местной девушке, у него большая, широко разросшаяся родня — даже и сейчас здесь, в парикмахерской, присутствует один из его родственников. Но все это не имеет значения, потому что Йошка Пап уже больше не принадлежит к их кругу — он коммунист.

Но дело не только в этом. Ведь в присутствии других коммунистов люди все же чувствуют себя более или менее свободно, даже при старом Бердеше нет-нет да что-нибудь и скажут. Только перед Шаркези и Йошкой Папом никто не осмеливается пускаться в откровенность.

Йошка Пап еще молод. Ему всего двадцать семь лет, но он уже опытный хозяин. После смерти отца, который так и не стал зажиточным, осталось семеро детей. Имущество они поделили, Йошке достался дом и около семи хольдов земли. Осенью сорок пятого года он посадил на двух хольдах сад, все больше яблони. Что он замышлял с этим садом, никто не знал: ведь он уже и тогда был коммунистом. В нынешнем году яблони дали хороший урожай; Йошка собрал около ста двадцати центнеров. Если посчитать по сто форинтов * за центнер, и то это составляет целых двенадцать тысяч форинтов... Почему же в таком случае ему хочется создать производственный кооператив? С семьей живет хорошо, жена у него отзывчивая, двое детей, собственное хозяйство, лошади, коровы, быки, свиньи... Уж не спятил ли он? Или, может, коммунисты просто заставили его? И впрямь, ничего подобного свет не видел!

Йошку Папа действительно знает все село. Один человек, куда ни шло, может ошибиться в оценке другого, но все село? Этого не бывает.

Мать Йошки погибла молодой, когда старший из троих ее детей был еще подростком.

Однажды летом семья молотила во дворе ячмень. Отец Йошки, Миклош, не стал дожидаться, пока к нему пригонят во двор молотилку и взялся за обмолот сам. Лошадей на току погоняла жена. Стояла страшная жара, мухи не давали лошадям покоя, и пристяжная, у которой запуталась шлея, сбилась с круга. Жена замахнулась на лошадь кнутом. Пристяжная лягнула женщину копытом в живот, и через два дня мать Йошки умерла. Горько рыдали на похоронах дети и родичи. Миклош Пап стоял возле могилы, потеряв от горя рассудок.

Есть трагедии, которые никогда не изменишь, но нет таких, которые нельзя похоронить в земле или в душе человека. Можно сказать, что человеческая душа — куда более обширное и безжа-

лостное кладбище, чем земля. Человеку, раз уж он появился на свет, надо жить. И вот Миклош Пап женился во второй раз. Это произошло следующим образом.

Как-то раз был он шафером на свадьбе в соседней деревне и встретился там с очень недурной, сравнительно молодой и весьма разбитной женщиной. После ужина все развеселились, и Миклош Пап, как и подобает шаферу, уже во второй раз принялся отплясывать с этой самой красавицей. О чем они говорили, так и осталось тайной, но спустя полгода муж этой женщины умер, а еще через полгода она, Ребекка Надьтороняи, стала женой Миклоша Папа. Миклош записал на ее имя пять хольдов земли с условием, что до смерти мужа этот надел не будет выделен из всего участка, а если она умрет раньше, эту землю получат по наследству ее дети. У самого Миклоша Папа было трое детей, да молодуха привела с собой двоих, а потом родились еще двое. Таким образом, в семье стало их семеро от троих родителей. Тут-то и началась беда.

Вторая жена даже для самого хорошего мужа милей, чем первая, а это обычно не нравится детям от первого брака. К тому же сам Миклош Пап вовсе не собирался умирать раньше своей супруги и оставлять наследство чужим детям. Один из них, Петер, женился и не давал матери покоя, заставляя ее выпросить у старика пять хольдов земли, хотя бы исполу, если нельзя иначе. Миклош, пожалуй, и дал бы, но на это не соглашались дети от первой жены. В общем споры длились до тех пор, пока однажды Миклош Пап не заболел.

Мучился он страшно, врачи никак не могли разгадать причину его недуга, возили его из одной больницы в другую, но все напрасно. Промаялся он девять дней, а на десятый умер. За несколько часов до смерти Миклош попросил положить его на землю. Йошка вместе с младшим братом положили отца на земляной пол и не спускали с него глаз. Остальные дети тоже смотрели, как он мучился. Жена стояла позади всех, ухватившись обеими руками за дверь.

Для Миклоша Папа пришел, стало быть, конец. Лежал он плашмя на голой, холодной как лед земле и видел перед собой только белый потолок да устремленные на него глаза семерых детей. Он раскинул руки, словно земля для него была крестом, к которому его пригвоздили. Старик думал о том, почему ему суждено так нелепо и бессмысленно умереть, недоумевая, почему именно так сложилась его жизнь. Затем внезапно мысли, муки, недоумения прервались... И всему наступил конец.

Дети плакали, жена, Ребекка Надьтороняи, взвизгивая, ударяла ладонями по двери. Но все напрасно... Один мертвец сразу изменил судьбу восьмерых живых. Но какая ужасная жизнь настала после этого в доме!

После смерти отца осталось довольно большое хозяйство, и теперь каждому хотелось получить свою долю. Но мать не собира-

лась оставить с пустыми руками и тех детей, что родились от Миклоша. Вот почему ей пришлось ссориться не только с пасынками, но и со своими сыновьями от первого брака. Бранилась она с каждым в отдельности и со всеми вместе — и всегда по-разному.

Йошка был в ту пору почти взрослым парнем. Однажды ему невольно пришлось выслушать с начала до конца доносившуюся из кладовой ругань мачехи с ее старшим сыном. Тут-то Йошка и узнал, что его отца сжила со света сама мачеха. Она отравила Миклоша, как отравила и своего первого мужа, когда задумала выйти замуж за исправного и зажиточного хозяина, каким был Пап. Отравой послужил мышьяк: она ежедневно понемногу вымачивала в супе и кофе мухоловку.

Йошка не донес на мачеху. Хотя она и была ему не родная мать, хоть и сгубила отца, но после нее осталось бы двое несовершеннолетних детей — его братьев. Целыми неделями раздумывал Йошка, боролся с самим собой и все-таки не донес. Так могилу отца и не вскрывали; все равно ничего нельзя было исправить.

С той поры Йошка очень изменился: всех сторонился, все время просиживал за книгами, думал, всматривался в людей, наблюдая за их жизнью, словно искал ответа на какой-то большой и страшный вопрос. Ни с кем он не дружил, редко ходил в гости. Никто не слыхал, чтобы он когда-нибудь смеялся, был весел. Чего только не пережил этот человек, пока в сорок пятом году не присоединился к коммунистам! Как много раздумывал он над смыслом человеческой, и в особенности крестьянской, жизни! Сколько раз анализировал сложные семейные отношения, связанные с имуществом, с землей, сколько раз вспоминал страшную агонию отца!

Как стремился Йошка к такому крестьянскому существованию, где нет столкновений, за которыми следует нож или мышьяк, где семейная жизнь чиста, как поле в утренней росе, как звездное небо, где мужчина и женщина любят друг друга только за человеческие качества, а не за землю, где если в семье и окажется мачеха, то она не станет попирать грязными ногами могилу первой жены! Как часто он возвращался к мысли о гнойных нарывах семейной жизни! Как много думал он о том, что означает для человека, для семьи имущество, земля, аренда, наследство!.. «Если бы лошадь не убила мать, если бы молотили ячмень машиной, если бы отец не женился вторично и не переписал на жену эти самые пять хольдов земли, если бы его сводный брат, Петер Юхас, не требовал их, если бы...»

Какое это слово «если»! Только начни человек перебирать по косточкам трагедию собственной семьи,— глядишь, он доберется и до чужих трагедий. Вот в третьем доме от них живет одна старушка, ей уже скоро восемьдесят лет. Невестка соглашается жить с ней под одной крышей, только если бабка перепишет на нее каких-то там два с половиной хольда... Напротив жил пожилой вдо-

вец со своим младшим сыном. Невестка соглашалась кормить его, только если он перепишет дом на сына. Но старик не уступал; он не хотел остаться нищим. Как-то на троицын день молодайка нажарила пончиков и поставила их на стол; от пончиков так и валил пар. Старик сидел на стуле и жадно смотрел на пончики. «Небось, охота отведать, а? — стала дразнить его невестка.— Перепишите на нас дом, иначе не видать вам пончиков как своих ушей! Чорт бы вас побрал!»

Старик попрежнему молчал, только смотрел печальными глазами на дымящиеся пончики. Потом тяжело вздохнул и встал. Еще раз оглядел кухню, заглянул в комнату, вышел... И повесился в хлеву.

Только адвокаты и судьи наживаются на крестьянских раздорах из-за имущества; оно порождает горькие слезы, скорбные рыдания, заглушаемые подушкой. Вот из-за всего этого и еще многого другого Йошка Пап и отдает в производственный кооператив свой фруктовый сад, своих лошадей, свою землю.

Но в эту минуту он попросту сидит у парикмахера и, за неимением лучшего, тоже глядится в испещренное темными точками зеркало, хотя почти ничего в нем не видит.

— Жена! Где ты там? Принеси лампу! — зовет Шербалог голосом, который мог бы сойти за окрик. И еще ближе нагибается к Йошке, словно что-то нашептывает ему на ухо.

Жена Шербалога была когда-то красавицей. Она и теперь еще входит в комнату легкой поступью уверенной в своей неотразимости женщины. Повесив на место лампу, она уставилась на Йошку Папа.

Вот именно «уставилась»! Сколько горечи причиняло это Шербалогу за всю их супружескую жизнь! И зачем только рождаются женщины с таким взглядом, право, зачем?.. И Шербалог почти со злобой срывает с Йошки Папа салфетку, почерневшую от потных крестьянских шей.

Глава третья

1

Где же собраться организаторам производственного кооператива? Во всем селе не находится им места. В корчму идти нельзя, потому что там так же нетерпеливо ожидают новостей, как голодная курица — ягоду с шелковицы. В партком тоже не пойдешь, так как большинство членов партии не на стороне производственного кооператива. Поэтому они собираются в доме Шаркези, где на их стороне даже женщины.

В этот вечер за столом сидят четверо: Шаркези, Бердеш, Сито и Бенце; семья Шаркези расположилась на кухне. Старуха варит

картошку для свиней, Рожика моет посуду, Жужика подбрасывает в огонь паклю, старый Фаркаш, чем-то обиженный, сидит на скамейке и курит трубку. Он всего на каких-нибудь пять-шесть лет старше Бердеша, и все же Бердеш участвует во всяком новом деле, а он остается в стороне. Жена Шаркези суетится в кладовой и в сенях, затем идет в комнату и вскоре возвращается на кухню.

— Отец, зайдите к ним,— обращается она к старику.

Фаркаш теперь уже разозлился окончательно. Значит, его соблаговолили позвать только сейчас, когда уже успели порешить какие-то важные, секретные дела.

— Кто звал? — хмурясь, спрашивает он.

— Имре. Да и все остальные,— отвечает Рожи и, взяв ложку, выходит в кладовую.

Старик медленно встает, потягивается и входит в комнату. Сидящие там, лишь мельком взглянув на него, продолжают прерванный разговор.

— Где мог так долго задержаться Йошка Пап? Подождем или начнем без него? — спрашивает Шаркези.

— Начнем, конечно. Почему он до сих пор не идет? Невелика шишка! — ворчит потерявший терпение Бердеш.— Раз собрались, давайте начинать, нечего тянуть!

— Все-таки подождем. Без Йошки Папа решать не стоит,— пытается урезонить его Сито.

— А почему не стоит? Потому что он середняк? — язвит Бердеш.

— Вовсе не потому, а...— вступает в спор Сито.

Шаркези поглядывает то на одного, то на другого и следит, чтобы размолвка не перешла в ссору. Не только Сито и Бердеш, а вообще все раздражительны и вспыльчивы. Так будет продолжаться, пока окончательно не создастся производственный кооператив.

Во дворе лениво тявкает собака, потом слышно, как на крыльце кто-то счищает грязь с сапог. Вот хлопнула входная дверь, и в комнату доносятся голоса. Входит Йошка Пап. Его приветливо провожает жена Шаркези. Бердеш снова начинает злиться — вишь, как предупредительно встречают Йошку, а когда приходит он, Бердеш, никто слова не скажет...

— Сабадшаг! — запросто и приветливо здоровается Йошка Пап. Он щурит глаза от света лампы, стараясь разглядеть присутствующих.

— Сабадшаг! — отвечает ему Шаркези.— А мы только что тебя вспоминали. Садись.

— Тебя только за смертью посылать! — негодует Бердеш. Но такова уж у него натура, свою злость он всегда прикрывает шуткой или поговоркой.

Йошка Пап садится. Шаркези перелистывает устав, в котором ясно сказано, чем должны заниматься производственные кооперативы. Когда Шаркези перечитывает устав, ему все кажется ясным

и простым. Правда, жаль, что устав имеет в виду только два типа крестьян: тех, что хотят вступить в кооператив, и тех, что не хотят, а колеблющихся в расчет не принимает.

«...Членом производственного кооператива может быть каждый трудящийся крестьянин, признающий Устав производственного кооператива, не судившийся за кражу, поджог или другие подобные преступления. За исключением, разумеется, кулаков, эксплуатирующих чужой труд...» — за этими буквами и словами вырисовываются понятия и люди. Он не в первый раз читает эти строки и не раз будет возвращаться к ним. Особенно в последнее время он все чаще достает устав, чтобы вновь почувствовать, что они — зачинатели кооператива — не одни в стране, что и многие другие идут на штурм застывшей в мертвой неподвижности деревни, чтобы повести крестьянина по пути, на котором его действительно ждет полноценная человеческая жизнь.

— Я тоже прочел его раза три, но ни на грош не поумнел,— говорит Бердеш, показывая на устав.

— Нельзя писать уставы для каждого в отдельности, товарищ Бердеш.

— Знаю, что нельзя. Мы и без уставов знаем, кто чем дышит.

— Однако надо же разграничить, кто кулак, а кто нет, товарищ Бердеш! — вставляет свое слово Сито.

— Что же, по-твоему, нам должны подсказать это? Мы знаем кулаков лучше, потому что живем среди них. Напрасно здесь пишут, что тот, у кого чистый доход составляет двести пятьдесят золотых крон * в год,— кулак, а у кого меньше — тот не кулак. А вот вам, к примеру, Гашпар Эсеньи...

— Эсеньи? Почему бы тебе не начать с Барны Надя?

— С Барны? О нем мы еще поговорим. Будьте покойны.

— Уж извините, товарищ Бердеш...

— Пока что мы намерены говорить не о кулаках,— прерывает нарастающий спор Шаркези,— а о производственном кооперативе.— И, только сейчас заметив тестя, обращается к нему, испытывая некоторые угрызения совести: — Да вы садитесь, отец.

Старик облегченно вздыхает и усаживается возле Йошки Папа, на дальнем конце скамейки.

Сколько ни говорили раньше о кооперативе, а разговорам все еще нет конца. Сколько уже высказано и сколько еще надо сказать! Тщетно пытается каждый, особенно Шаркези, не отвлекаться от основной темы, тем не менее все отклоняются от нее. Им кажется, что необходимо немедленно выложить все, что накопилось в душе, рассказать о всех своих мыслях и надеждах.

— Пора уж нам, наконец, решить вопрос о кулаках,— снова возвращается Сито к тому, что так волнует многих.

Йошка Пап попрежнему молчит. По мере того, как кто-нибудь из присутствующих называет ту или иную фамилию, Пап старается себе представить этого человека дома, в хозяйстве, в семье. Тогда ему кажется, что он силой каких-то чар будто вызвал их

всех сюда; вот они стоят перед ним на расстоянии протянутой руки: Барна Надь, Гашпар Эсеньи, Ференц Вираг, вдова Кокаш, богач Гербеди, Янош Васнаш-Надь... Он мысленно видит не только их самих, их семьи, но и зримо ощущает, как они вросли в село, в округу, как, подобно дереву, пустили глубокие корни в земле. Свояки, кумовья, родственники... Правда, среди этих родичей есть и бедняки; например, один из зятьев Яноша Васнаш-Надя такой же труженик, как и любой другой, да, пожалуй, даже победнее. А земли в сорок пятом году не получил — тесть-то у него ведь богач!

— Скажи и ты что-нибудь насчет кулаков, товарищ!

Услышав голос Шаркези, Пап вздрагивает.

— Я? Да что мне сказать?.. Дело это, что ни говорите, довольно сложное. Крестьяне живут больше чутьем, чем разумом. Они видят в кулаке обыкновенного крестьянина, которому счастье улыбнулось больше, чем другим, и он разбогател. А каким путем идут некоторые новые хозяева? Тем же самым. Еще несколько лет, и они ничем не будут отличаться от прежних кулаков: ни жадностью, ни скупостью, ни богатством.

При этих словах зашевелился, наконец, и Бенце, до сих пор сидевший молча.

— У Бито Богараса шестнадцать хольдов земли, а дом построил какой! Шесть окон на улицу!

— Не шесть, а пять,— поправляет его Сито.

— Ну, пусть пять. Один чорт!

— Пять или шесть — большая разница.

— Разницы большой нет. Но... Как ты думаешь, товарищ Пап? Можем ли мы хоть на минуту забывать о кулаках? — и Шаркези поворачивается к Йошке Папу.

— Я вовсе так не думаю. Мы должны смело выступить против кулаков и обезвредить их; нам ничего не удастся, если мы будем действовать во вражеском окружении. Самое главное — создать производственный кооператив, хотя бы потому, что они пока еще выжидают, но потом все равно нападут на нас. И тогда без подсчета их доходов сразу выяснится, кто кулак, а кто нет.

— Правильно! — и Шаркези, удовлетворенный ответом Йошки, откидывается на спинку стула.

Йошка Пап — отпрыск зажиточной крестьянской семьи, и Шаркези не виноват, что не может ему безоговорочно доверять, как, например, Сито, Бердешу, Бенце или другим. Он не виноват, что разными глазами смотрит на того, кто гнул спину на помещичьей земле, и на того, кто хоть и крестьянин и всю жизнь трудился, но понятия не имеет, что такое нищета. А Йошка Пап и впрямь не знал нищеты. Поэтому при каждом удобном случае Шаркези задает ему подобные вопросы, стараясь узнать его сокровенные мысли. Теперь насчет Йошки он уже спокоен. И Шаркези, чтобы чем-нибудь занять руки, снова перелистывает устав, хотя он ему сейчас совершенно не нужен.

— А теперь, товарищи, прежде чем созвать учредительное собрание, я думаю, мы должны откровенно и не таясь выложить друг перед другом, почему же, собственно, мы решили создать производственный кооператив? Выяснение этого вопроса, мне кажется, будет полезно и для нас самих и для нашей дальнейшей работы. Прошу высказываться, товарищи! — и, откинувшись на спинку стула, ждет, что скажут другие.

Бердещ молча смотрит на лампу. Сито косится на стенку, Бенце разглядывает свои пальцы. Йошка Пап берет со стола зажигалку Шаркези и вертит ее в руках.

«А что если сейчас рассказать о трагедии отца и о своей собственной? — думает Йошка Пап.— Если поведать о нечеловеческих страданиях отца, о его бессмысленной гибели, о жестоком убийстве, совершенном мачехой, о постоянных ссорах между братьями и сестрами от разных отцов, о хозяйстве, о пресловутых пяти хольдах земли? Нет, лучше промолчать. Либо ему не поверят, либо его не поймут. Ведь не у каждого травят отца мышьяком... Стало быть, причины, по которым он, Йошка Пап, вступил в кооператив, его личные».

— Но вы же, товарищи, знаете, почему плоха прежняя крестьянская жизнь,— наводит их на мысль Шаркези.

Люди попрежнему сосредоточенно молчат. Конечно, они отлично понимают, почему хотят объединиться, почему старое было таким плохим, но какая большая разница — знать и уметь это высказать. Они настолько сжились с мыслью об организации кооператива, что не нашли времени подумать, как выразить это словами.

— Я за производственный кооператив, чтобы помочь нашей партии построить в Венгрии социализм,— говорит, наконец, Сито. Но он и сам чувствует, что слова его звучат недостаточно убедительно. Не это у него сейчас на душе.

— Не совсем так, товарищ Сито. Слова твои верны только наполовину. Но, по крайней мере, ты хоть высказался. А вы, дядюшка Бердеш?

— Я-то? Я хочу этого, чтобы не я, а чорт с рогами пас паршивую козу!

— А коза-то все-таки ваша? — смеясь, ловит его на слове Шаркези.

Все смеются. Весело хохочут и сидящие на лавке обе дочери Шаркези. Они уже давно забрались в комнату и с широко раскрытыми глазами следят за происходящим.

Все сразу почувствовали себя свободно, из уст так и несутся пылкие слова, до сих пор камнем лежавшие на сердце. Да, Бердеш знает, что нужно сказать!

— Производственный кооператив,— продолжает он,— это именно то, что нам надо. Не побьет больше градом мою пшеницу — ведь нам будет принадлежать вся округа, а не было еще такого случая, чтобы на большом земельном участке град мог по-

бить весь урожай. Я решил вступить в производственный кооператив еще и потому, что, ведя единоличное хозяйство, крестьянин может преуспевать только за счет других, иначе его сомнут самого! А это уж никуда не годится! — убежденно выражает старик то, что подсказывает ему сердце.

Слушая Бердеша, у каждого возникают свои доводы.

— В мелком единоличном хозяйстве земля не дает и третьей доли того, что может. А работая сообща, мы сумеем организовать свой труд так, чтобы вспахать землю как следует,— толкует Бенце.

— Да, дело обстоит именно так,— подтверждает Шаркези.— Все доводы на стороне производственного кооператива, потому-то мы и должны агитировать за него. Я предлагаю в следующее воскресенье, после обеда, провести учредительное собрание. Что вы на это скажете, товарищи?

— Обязательно! А нам помогут провести собрание?

— Конечно. Приедут товарищи из уездного и областного комитета партии.

При этом сообщении мнения снова разделились. Бердешу кажется, что никакой помощи не нужно. Если они не справятся сами, не поможет и господь бог. А Сито твердит: «Пусть приезжают!» Йошка Пап тоже считает, что представителям уезда и области непременно следует присутствовать на собрании. Случись какая беда, все равно придется к ним обращаться.

Шаркези мысленно оценивает проделанную работу. Сколько провел он бесед, сколько высказал доводов; недаром он целыми днями не слезал с велосипеда, ночи напролет просиживал за работой. И вот, наконец, в воскресенье наступит день, когда он пожнет плоды своих трудов.

«А что если вдруг окажется, что он кинул зерна на ветер и они не дали всходов?»

2

В воскресенье, едва начали спускаться сумерки, крестьяне заспешили в корчму. Были среди них и такие, что шли по другой стороне улицы, делая вид, что им нет до всего этого никакого дела, и переходили дорогу только у самой корчмы. Другие, громко разговаривая, шагали толпой по самой середине улицы. Они демонстративно поглядывали по сторонам — пускай, мол, вся страна, весь мир видит, что они сейчас решились на большое дело. Находились и такие, которые шли нерешительно, крадучись. Останавливались поблизости на мосту, скручивали цыгарки и молча искоса поглядывали на тех, кто уверенно и не задерживаясь входил в помещение корчмы, откуда внутренняя дверь вела в большой зал, где было назначено собрание. Правда, в зал можно было попасть и со двора, но по воскресеньям ворота во двор запирались на замок.

Снаружи было еще светло, но в корчме уже сгущались сумерки, и Чикоштот зажег лампу. Он видел достаточно хорошо, но

хотел получше разглядеть, кто же именно создает кооператив, если вообще что-нибудь выйдет из этой затеи.

Посматривая на входящих, корчмарь расставляет стаканчики, звякает графинами. Если уж они пришли и все-таки хотят создать кооператив, пусть сначала выпьют по стаканчику вина.

Но люди не пьют. Только дымят цыгарками и швыряют окурки. Корчму-то убрать недолго, а вот с большим залом дело обстоит куда хуже, привести его в порядок не так легко. Многие сразу же направляются в зал, другие продолжают слоняться здесь, пока их не увлекают за собой вновь прибывшие.

Чего только не предпринимал в жизни Иштван Чикоштот, лишь бы стать корчмарем! Но удачи ему долго не было; счастье улыбнулось только после освобождения. А по мнению Чикоштота, эта профессия — самая лучшая в мире; корчмарю легче всех живется на свете.

«На каждом стакане и графине стоит метка — это, мол, стопка, это — стакан, это — пол-литра и литр, так что никогда не ошибешься. Метка эта выгравирована на стекле, так предписывал закон. Закон и жандармы всегда охраняли интересы корчмаря. А мужик пускай пьет, пока не отдаст богу душу»,— так думает Чикоштот, такова его философия.

Но что в самом деле сталось с крестьянами? Почему они не пьют?

— Эй, люди! Кто хочет выпить, пусть пьет сейчас! Начнется собрание, тогда никому не дам ни глотка! — объявляет он во всеуслышание.

Но желания выпить так ни у кого и не появляется. Старый Бири подошел было поближе к стойке, уставился на нее, но тут же быстро направился в зал. Он с огорчением подумал, что пьет с тех самых пор, как начал зарабатывать себе на хлеб. А кому от этого была польза? Корчмарю, вот кому! Чикоштот построил себе дом, завел добрых коней, дети его одеты, как в былые времена барчуки... чорт бы его побрал со всеми потрохами! Нет, Бири больше не станет пить.

Пробившись сквозь толпу, на прилавок облокачивается Тарнок.

— Дай-ка стаканчик!

Тарнок взволнован, как напавшая на след лягавая.

— Как думаешь, создадут они кооператив? — спрашивает он у Чикоштота.

— Собрание проведут, а дальше... не знаю...— Дзинь! — и графин звякает о стопку. Корчмарь ставит ее перед Тарноком.

Чикоштот крепко сжимает губы, только бы ничего не сказать — ни за, ни против. Лишь таким способом может он скрыть свои подлинные чувства. Не он сам, Чикоштот, а его профессия — враг коллективного хозяйства. Будь здесь вместо него кто-нибудь другой, и тот думал бы точно так же; это вернее верного.

— Входите в зал, товарищи! — останавливается на пороге Шаркези и, осмотревшись, снова исчезает.

Стоящие возле самой двери сначала опускают глаза, словно опасаясь, что достаточно им сдвинуться с места, как они обязательно на что-нибудь наступят. Затем нерешительно и неохотно переступают порог зала.

Взволнованный Тарнок сжимает в руках стопку, подносит ее к губам и пьет, закрыв глаза.

— А ну-ка еще одну да побыстрей! — обращается он к Чикоштоту, указывая на опустевшую стопку, снова выпивает и вслед за людским потоком устремляется в зал.

Зал довольно просторный и удобный. Обычно в нем показывают кинофильмы, устраивают танцы, проводят выступления художественной самодеятельности. В конце зала сооружена хорошо оборудованная сцена. Сейчас на ней стоит длинный стол, позади и по бокам его — стулья. Против сцены расставлены скамейки, стулья, на которых могут рассесться человек четыреста; и поэтому кажется, что присутствующие — восемьдесят-сто человек — как бы растворяются в этом зале. Хоть бы уж все сели! Но люди не спешат. Правда, первые ряды заполняются мгновенно, но большинство все еще стоит, прислонившись к стене, а есть и такие, что никак не решаются отойти от двери.

На сцене разместилась организационная комиссия. Тут же за столом занимают места секретарь уездного комитета партии Ласло Кульчар, уполномоченная по культурно-массовой работе Бежи Кадар и секретарь областного комитета партии Габор Фонадь.

— Говорил я вам, что этот зал окажется для нас велик,— шепчет Бердеш Сито.

— Не беда! По крайней мере, все поместимся,— пытается отшутиться тот, но ему это плохо удается. Ни ему, ни Бердешу не до шуток.

— Что же, больше никто не придет? — нагибается Фонадь к Шаркези.

— Повидимому... Но ведь в здешних местах никогда еще не бывало такого собрания, чтобы на него сошлось все село,— утешает его Шаркези, пробуя сосчитать присутствующих.

Собралось всего восемьдесят шесть человек, считая и трех женщин, которые стоят возле двери и о чем-то разговаривают. Вообще женщин пришло мало, это сразу бросается в глаза. Их платья пестрят лишь в первых рядах, это по большей части родственницы членов организационной комиссии. Пора начинать, как-нибудь обойдется. Шаркези поднимается и еще раз окидывает взглядом собравшихся.

С сорок пятого года ему приходилось выступать на многих собраниях, даже на таких — особенно в сорок пятом и сорок шестом,— где присутствовал почти весь уезд. Случалось ему говорить и на собраниях, где было всего-навсего десять-двенадцать человек. Но на кооперативном собрании до сих пор выступать не доводилось.

Шаркези тщательно продумал свою краткую речь, казалось,

помнил из нее каждое слово, и все же теперь сомневается, скажет ли то, что глубоко западет всем в душу? Удастся ли ему правдиво и убедительно рассказать, что означает для крестьян производственный кооператив? Когда дома в тишине он писал свою статью, все казалось предельно понятным, ясным, как кристалл. Но здесь, в этом освещенном керосиновой лампой зале, ему представляется, что все его прежние доводы и рассуждения в сущности мало значат по сравнению с тем, что нужно сказать в защиту производственного кооператива. Лучше сказать короче, но убедительными словами, чем говорить долго, но плохо. Поэтому начинает он так:

— Дорогие товарищи! Разрешите открыть учредительное собрание производственного кооператива. Но сначала давайте споем «Интернационал!»

Все сидящие встают, а те, что оставались стоять, выпрямляются и сосредоточенно смотрят на сцену.

Не раз в этом зале собрания открывались пением «Интернационала», но обычно пели вяло, нестройно: люди больше стояли и слушали, словно боялись открыть рот. Некоторые же только широко раскрывали рот и делали вид, что поют, напоминая этим работающую вхолостую мельницу. У самого Шаркези голоса нет, петь он не умеет, и поэтому сейчас ему не остается ничего другого, как положиться на собравшихся. Голос Бердеша годен на что угодно, кроме пения. Счастье еще, что здесь Йошка Пап! Он, стало быть, и начинает. Йошке подтягивает Кульчар, а к ним, словно постепенно расходящийся дождь, мало-помалу присоединяются остальные.

Ференц Тарнок, стоящий в конце первого ряда, складывает на животе руки и, уставившись глазами в потолок, подхватывает слова гимна; голос его вырывается из общего хора. Поет Тарнок неплохо, но кажется, что вот-вот сорвется, обронит песню, и она разобьется, как стекло. Но вдруг торжествующе и звонко всех перекрывает незнакомый молодой и свежий мужской голос. И теперь, широко расправив грудь, уже поют все. Шаркези с изумлением ищет глазами обладателя прекрасного голоса. Да ведь это Лаци! Лаци Бердеш!

Голос у него чарующий. Он вызывает в памяти обнимающиеся с солнечным восходом дали. Кажется, именно такие звуки слышатся в отголосках далекого колокола. Этот голос так действует на людей, что они стоят, сложив по-кальвинистски руки на груди, и эта поза свидетельствует об их покорности несущимся над залом звукам. Только один Лаци не понимает всей силы воздействия своего голоса. Он весь отдается пению. Как будто именно для этого случая приберег он всю красоту своего сердца, будто сейчас он не здесь, в зале, а где-то там, в вышине.

— Этакий щенок!..— с невыразимой гордостью ворчит старый Бердеш и высоко поднимает голову.

«Интернационал» уже пропели, но мелодия его все еще звучит у каждого в сердце. Люди садятся. Теперь лишь один Модь-

ороши подпирает дверной косяк да какая-то женщина стоит возле стены, словно никого не знает в этом зале.

Шаркези продолжает свою речь.

— Дорогие товарищи! — говорит он.— Итак, разрешите учредительное собрание производственного кооператива считать открытым. Все вы хорошо знаете, что всякое начало, а в особенности организация производственного кооператива, дело нелегкое...

И тут как-то сразу в душе Шаркези с полной силой раскрывается вся правда написанной им на днях статьи, и он без запинки продолжает говорить дальше. В зале стоит напряженная тишина, все внимательно слушают. Это хороший признак. Шаркези и сам чувствует, что ему удалось затронуть сердца этих людей. Он говорит их устами, отвечает на все давно возникшие у них вопросы. Он заканчивает свое выступление в тот момент, когда, как ему кажется, он вызвал наибольший интерес у слушателей.

— Вот все, что я хотел сказать. Правда, для вас в этом нет ничего неизвестного; ведь я уже со многими беседовал. А вот представители из области и уезда, я уверен, расскажут нам много нового. Попрошу выступить товарища Фонадя, секретаря областного комитета партии,— говорит Шаркези и садится на место.

Теперь он уже и сам не в состоянии определить, помог ли он делу своим выступлением. В глазах людей нельзя прочесть ничего: ни хорошего, ни плохого. В зале раздаются сначала жидкие аплодисменты, но постепенно они немного усиливаются; эти хлопки не нравятся Шаркези, они не от всей души, в них нет пыла и силы... Или, может, его собственный слух стал чересчур требовательным? Но Фонадь уже встал и ожидает наступления тишины. Затем начинает говорить.

Ему не раз приходилось выступать при основании производственных кооперативов в области. Вопросы социалистического преобразования сельского хозяйства ему знакомы и близки. Однако он понимает, что в каждой деревне люди мыслят и чувствуют по-своему.

Что же в таком случае помогает ему хорошо разбираться в этой пестрой, трудно познаваемой крестьянской массе? Уж во всяком случае не приспособленчество к людям, нет, его оружие — неотразимая и ясная логика партии, искренность и правда. Нет нужды в ораторском красноречии, необходимо только правдивое, идущее от чистого сердца слово. Надо им сказать, что переход сельского хозяйства на путь социалистического развития — не только желание партии, нет, этого требуют интересы крестьян, их будущее. Таков закон исторического развития.

Благородное побуждение — само по себе уже большой успех; Фонадю аплодируют, и — Шаркези это ясно видит — действительно от всей души.

— Ну как, ничего? — садясь на место, спрашивает его Фонадь.

— По-моему, хорошо. Мне кажется, ваша речь всем очень понравилась.

В самом деле у многих даже лица посветлели.

— А теперь попросим товарищей задавать вопросы,— предлагает Фонадь.

Шаркези чуть приподнимается и обращается к собранию:

— Если у кого есть вопросы, прошу задавать, не стесняясь. Мы постараемся на них ответить.

Собрание заволновалось. Один наклоняется вперед, другой пересаживается назад, третий отодвигается в сторону; у всех сразу же возникают вопросы. Бердеш с решительным видом поглядывает по сторонам. С той минуты, как его сын спел «Интернационал», старик ощутил в душе еще большую ответственность за производственный кооператив. Взгляд его задерживается на Тарноке, высоко поднявшем руку.

— Пожалуйста, Ференц Тарнок! — с некоторым беспокойством объявляет Шаркези.

Секретарь не любит Тарнока, считает его ненадежным, взбалмошным. Но как знать? А вдруг он поумнел?

— Мне бы только хотелось узнать, товарищи, что станется со стариками? — кротко спрашивает Тарнок с выражением такой тревоги, словно самому ему не тридцать лет, а целых сто.

— Разумный вопрос. Он волнует почти всех крестьян. Но, может быть, мы выслушаем сначала все вопросы, а потом сразу на них и ответим? Прошу, товарищи!

Лайош Модьороши, который до освобождения работал в помещичьем имении табаководом, потом нанимался то к одному, то к другому богачу и часто болел, а теперь работает кем-то вроде издольщика у кулака Гербеди, говорит, так и не отходя от двери:

— Скажите, а что... так сказать, будет с больными?

Поднимается такой шум, будто ветер раскачивает шелковицу, и в этом шуме вопросы звучат, словно стук града по черепичной крыше.

— А с детьми?

— А с людьми слабого здоровья?

— Что будет?.. Что будет со всей крестьянской жизнью?

Но весь этот шум, весь поток вопросов перекрывает один голос:

— А как будет с лодырями, кто не любит работать? Что же, и они станут зарабатывать столько же, сколько мы?

Шаркези внимательно слушает и быстро записывает вопросы. Слово «мы», как никогда раньше, приятно поражает его слух, и он разыскивает глазами того, кто это сказал. Ведь этот человек уже считает себя полноправным членом кооператива!.. И, найдя его, Шаркези поражается: да это же не кто иной, как Андраш Кеваго! Неужели и Андраш Кеваго придет к ним одним из первых?

Бежи Кадар взволнованно обращается то к секретарю областного комитета, то к Шаркези:

— Товарищ, товарищ! Разрешите мне ответить на вопросы! Товарищи, разрешите!

— Сейчас, сейчас... Подождите только, пока их наберется побольше.

У Бежи Кадар есть жених Дюрка Боди, сын бывшего вице-губернатора; сейчас он работает писарем в сельской управе. Бежи Кадар неглупая девушка, она понимает, как трудно в наше время иметь женихом сына бывшего вице-губернатора. Вот теперь представился, наконец, случай, когда своим выступлением в защиту интересов кооператива, своими знаниями и своим партийным билетом она сможет снять пятно со своего жениха. Нет ни одной опубликованной в Венгрии советской книги, которую бы она не прочла. Нет брошюры, которую бы она не изучила. Ради партии, а может... ради Дюрки... Уж очень она его любит...

— Пожалуйста, товарищ Кадар,— говорит Шаркези, пододвигая к ней список вопросов.

Приятно посмотреть на хорошо одетую, упитанную и холеную, хоть и не такую уж молоденькую девушку! Некоторые при виде ее думают: «Гляди-ка, и эта — коммунистка! Такая же коммунистка, как бедный, изнуренный крестьянин с землистым лицом! Но до чего же отличаются люди один от другого! Неужели когда-нибудь мир настолько изменится, что каждый будет так одет, как товарищ Кадар?» Но людям невдомек, что жених этой девушки — сын бывшего вице-губернатора.

А Бежи Кадар уже встала и говорит:

— Товарищи! В кооперативе вы забудете о всей тяжелой и горькой прежней крестьянской жизни. В прошлом старики были только в тягость, мешали молодым. В крестьянских семьях для них жалели не только куска хлеба, но даже места, которое они занимали в доме. Старики — члены кооператива, потеряв трудоспособность, получат пенсию и проживут на нее в достатке и покое свою старость...

При этих словах в зале проносится гул. Будь здесь не собрание крестьян, можно было подумать, что разразился скандал.

Тарнок, вперив в Бежи Кадар колючие глаза, складывает на груди руки, откидывается назад и выкрикивает:

— Мало у нас было до сих пор пенсионеров! Так начнем теперь их разводить!

Опасная реплика, Бежи Кадар с трудом находит на нее ответ.

— Но, товарищ, ведь должны же мы, наконец, разрешить вопрос о стариках!

— Спасибочко вам! — иронизирует Тарнок.

— А может, вы нам скажете, что станут делать женщины? — доносится из задних рядов.

Отвечать на ранее записанные вопросы становится все труднее; ясно, что сейчас будут возникать все новые и новые... Похоже, что собрание решило провалить бедную Бежи Кадар.

— Женщины тоже будут работать в поле и ухаживать за скотом...

— А кто же будет стряпать? — выкрикивает Модьороши.

— Как кто? Те женщины, которые не заняты на других работах. На их обязанности и будет варить обед, готовить ужин, чтобы вы могли, товарищи, вернувшись с поля, усесться за накрытые белыми скатертями столы!

— Как? Нам придется держать кухарок? — переспрашивает пораженный Тарнок.

— Это не кухарки... да ведь все равно, как их называть...

— Только однажды в молодости довелось мне есть стряпню кухарки, да и то проклинал себя потом, как та собака, что принесла сразу девять щенят! Нет, не желаю! — заявляет Тарнок.

Он встает, нахлобучивает на голову шляпу и, засунув руки в карманы, пробирается вдоль стены к выходу.

А все разгорающаяся дискуссия идет своим чередом.

— В общих котлах станете варить? — злорадно спрашивает Модьороши.

Бежи Кадар уже понимает, что пришла беда. Но нужно продолжать говорить, разъяснять, спорить. Ведь молчание равносильно смерти.

— Нельзя же для такой массы людей готовить в маленьком горшке!

С сорок пятого года эти стены не были свидетелями подобной бури. Одни вскакивают с мест и размахивают кулаками, другие, продолжая сидеть, изо всех сил орут, так что ничего нельзя разобрать. Балаж Фюрес ожесточенно жестикулирует. В шуме Бердешу кажется, что он говорит против кооператива, но на самом деле тот выступает за.

Секретарь обкома партии посматривает на Шаркези, потом поворачивает голову к Кульчару. Бердеш взволнован: он то встает, то садится. Шаркези чувствует, как у него все тело немеет. Ему нестерпимо хочется вскочить, но разум подсказывает: подожди, пусть сначала утихнут страсти.

Бежи Кадар все еще продолжает стоять. Сердце ее учащенно бьется.

«Дайте же мне договорить!» — пытается она крикнуть, но не может произнести ни единого звука и с трудом сдерживает слезы.

От волнения ее начинает трясти. С умопомрачительной быстротой и ясностью девушка мысленно спорит с Дюркой, чувствуя, как краска заливает ее лицо. Набухшие от слез веки моргают все чаще и чаще. И вот она не выдерживает. Беспомощно опустив руки, она плачет надрывно и горько, и крупные слезы одна за другой катятся у нее по щекам.

Но собравшиеся этого не замечают. Мало-помалу они уходят из зала сразу по пять-шесть человек. Только Модьороши, несмотря на давку и толчею, все еще продолжает стоять у двери,

ожидая, не произойдет ли еще что-нибудь из ряда вон выходящее. Но ничего больше уже случиться не может.

— Пора и мне отсюда смываться,— разочарованно говорит он и исчезает за дверью.

Дверь в корчму со всех сторон облепили любопытные. Но сейчас они стремглав бросаются в разные стороны, делая вид, что и не думали подслушивать; нет, мол, ничего в мире, что могло бы их заинтересовать. А между тем они подслушивали, подкрадывались к окнам, к обеим выходящим во двор дверям. Но, разумеется, им так и не удалось ничего толком разобрать. Значит, это все? Значит, больше ничего и не будет?

Хлынувший из зала людской поток растекается по улице. Люди молча расходятся в разные стороны, спеша домой.

— Ох, Кадар, Кадар!.. Что же ты наделала, что с тобой произошло? — укоряет Бежи секретарь обкома.

Девушка бессильно опускается на стул и словно в забытьи смотрит на Михая Бири, который, выпрямившись, будто шест проглотил, сидит на своем месте. Как бы ей хотелось сейчас придвинуться поближе к этому старому ремесленнику, взять его под руку, спрятаться ото всех у него на груди, как цветок прячет свою головку под старый куст.

Шаркези торопливо подсчитывает оставшихся в зале. Их всего-навсего двадцать один человек — не больше десяти-одиннадцати семейств. Почти столько же, сколько было, когда они начали агитировать за кооперативное хозяйство. Стало быть, собрание ничего не дало.

— Не грусти, товарищ Шаркези. Не бывает у нас, коммунистов, таких слов, которые произносятся на ветер! — ласково обращается к нему Фонадь, который понимает, что его нужно утешить, а Кадар пожурить.

Кульчар обращается к Кадар уже несколько мягче, надо ей, бедняжке, сказать хоть одно теплое слово.

— Оплошность была допущена большая, это верно. Но... как говорится: «Не ошибается тот, кто ничего не делает». Конечно, бывают роковые ошибки, но надеюсь, товарищ Кадар, что все обойдется благополучно. Однако пусть этот случай впредь будет тебе уроком. Знай, мы создаем производственный кооператив, а ты стала объяснять, что такое трудовая коммуна.

— Да к тому же плохо объяснять,— замечает Фонадь.

Бердешу надоедают эти разговоры. Он нетерпеливо топчется на месте.

— Глупо было сейчас ожидать большего! Самое главное, мы организуемся. Теперь эта весть разнесется повсюду, будьте покойны!

— Значит, кооператив будет? — нерешительно, с выражением благоговения и надежды спрашивает Бежи Кадар.

— А как же иначе? Но сначала давайте перейдем в партком и там продолжим собрание. Нас мало — незачем оставаться в этом большом зале.

Сразу оживился и Сито.

— Да, да, идемте, нечего терять время. Составим протокол...

— Ну как, товарищ Кульчар, товарищ Шаркези? — спрашивает Фонадь.

Кульчар обращается к Шаркези:

— Уездный комитет окажет вам помощь всем, что только в его силах. Дайте знать, и в любое время я буду здесь.

Шаркези отходит в сторону, опустив глаза, словно внимательно изучает пол, потом переводит взгляд на лампу. Все это время он напряженно думает: «Правда, здесь их мало. Но те, что остались,— настоящие люди. К тому же их поддерживает партия». И он решительно говорит:

— Товарищ Сито прав. Пойдемте в партком, создадим кооператив из тех, кто остался, и составим протокол. Конечно, я ожидал от собрания большего, но что поделать, в нашем селе еще много отсталых крестьян, и сразу нам их не переделать.

— А тебе известно, что вы в уезде первые? Вам нужно действовать наверняка,— говорит Фонадь.

— Как же мне этого не знать?

— Берешь на себя ответственность?

— Беру! Пошли, товарищи!

Чикоштот теперь то и дело наливает и стаканы и стопки. Если не пили до собрания, охотно пьют после. Тарнок осушает уже вторую стопку. Модьороши тоже облокотился на угол стойки, но ничего не пьет, так как у него нет ни денег, ни кредита. Остается лишь открывать широко рот да глотать слюну.

На минуту все стоящие возле стойки словно замирают, когда мимо проходят те, что оставались в зале. Чикоштот не отваживается даже взять графин, чтобы не нарушить тишину. Тарнок тоже застывает с поднесенной к губам стопкой: только бы не шелохнуться, ничего такого не сделать, чтобы они чего-нибудь не подумали.

Ведь одно дело, когда человек просто уходит с собрания, и совсем другое, когда люди шествуют вот так: дисциплинированно, сплоченно, торжественно.

По одному они спускаются с крыльца; под шагами каждого ступеньки издают разные звуки: под ногами одного трещат, другого гудят, третьего скрипят...

«Вот и походка у людей не одинакова,— думает Шаркези.— Что же в таком случае говорить об их мыслях».

В парткоме всех охватывает какое-то странное веселье, будто они только что возвратились с ярмарки и повесили вожжи на люшню. Никому не хочется садиться. Собираются группами по два-три человека. У всех сразу находится о чем безотлагательно нужно рассказать друг другу. Сито, этот великий молчальник, оживленно рассказывает Бежи Кадар и старому Бири о какой-то истории из времен своей молодости.

— В годы, когда я был еще безусым юнцом, товарищ Кадар,

мужчины носили широкие полотняные шаровары. Вот поехал я как-то поездом в Варад... по дороге решил сойти в Эши. И вдруг... хочу встать, а не могу! Какая-то барыня уселась на мои шаровары. Я и говорю ей: «Пардон, мадам, вы изволили сесть на мои шаровары!»...— И он так, от всего сердца, заливается смехом, что, глядя на него, нельзя не расхохотаться. Бежи Кадар хохочет до того, что из глаз ее катятся слезы. По существу, ее веселит не эта незатейливая историйка Сито, а то, что наступил конец ее страхам и опасениям. Даже в воздухе этого помещения чувствуешь какую-то уверенность. В этих людях живет никогда ранее не изведанная сила, и Бежи готова броситься на шею любому из них: старикам, молодым, мужчинам и женщинам — всем без исключения. Душа ее до краев наполняется каким-то добрым и счастливым чувством, лицо ее сияет. Бежи кажется, что она видит чудесный сон, которому не будет конца.

Жена Шандора Катоны, у которой такая безрадостная жизнь, сейчас что-то весело рассказывает Кульчару. Бердеш возится с лампой. Лаци, почти вплотную подойдя к Бежи Кадар, чересчур пристально смотрит на ее грудь под наброшенным наспех красным болеро. Старшая дочь Шаркези, Рожика, что-то объясняет Сито. Вообще все чувствуют себя удивительно легко и приятно.

— Занимайте места, товарищи! Давайте приступим к делу,— говорит Шаркези и садится.

Он ждет, пока все рассядутся, и продолжает:

— Предлагаю производственный кооператив считать организованным и решить, как его назвать.

Всякие крестины — дело серьезное, тем более такие крестины. Несколько мгновений слышно только шарканье ног да скрип стульев. Люди рассаживаются дольше, чем полагается, только бы протянуть время и отсрочить свое выступление. Но кому-то нужно начать!

— «Новая жизнь»,— предлагает Бердеш.

— Не так плохо,— замечает Фонадь, смотря на Шаркези.

— Не плохо, но... Почему бы не выбрать, раз есть возможность?

— «Новый хлеб»! — выкрикивает Сито.

— «Новый хлеб»? Очень хорошо. Нет ничего лучше нового хлеба. Но еще подумаем.

Снова воцаряется тишина. Все напряженно думают. Каждому приходят в голову самые красивые слова на свете. Раз коллективных хозяйств еще немного, пусть название их производственного кооператива будет запоминающимся и красивым.

— «Надежда»! — предлагает жена Катоны; совершенно очевидно, что этим словом ей хочется скрасить свою безнадежность.

— «Вперед»! — внезапно выкрикивает Бердеш и ударяет кулаком по столу, словно ставя свою печать.

— Еще, товарищи, еще!..

Йошка Пап погрузился в раздумье. Тут нужно такое название, которое не только говорило бы о будущем, но и подвело итог прошлому, всему, что еще занимает такое большое место в жизни человека. Но Бенце — тот, что из мельников,— опередив Йошку, поднимает руку.

— «Имени Петефи»!

— Петефи? — с любопытством переспрашивает Фонадь.

— Петефи?.. Что ж, это тоже хорошо. Но почему именно Петефи?

— Потому, что с именем Петефи связана свобода и... все прочее...

— А ты что скажешь, товарищ Пап?

— «Свобода»! — совсем просто произносит Йошка.

И всем сразу становится ясно, что «Свобода» — это лучшее название для кооператива. В этом слове заключено все, что предлагалось до сих пор: и Петефи и все прочее.

— Товарищи, кто за то, чтобы дать нашему производственному кооперативу имя «Свобода», прошу поднять руки!

В слове «Свобода» будто скрыта какая-то чудодейственная сила: одновременно поднимаются все руки.

— Итак... «Свобода»,— и Шаркези снова записывает это слово только для того, чтобы еще раз убедиться, до чего же приятно его писать.

— Но вам, товарищи, сразу же необходимо уяснить,— говорит Кульчар,— что организовали вы не кооператив, для которого вас еще слишком мало, а всего-навсего производственную группу. Между ними та разница, что кооператив — это самостоятельная организация, построенная на началах самоуправления, а производственная группа, насчитывающая небольшое количество членов, находится под непосредственным руководством уездного сельскохозяйственного отдела.

— Это все равно! Скоро мы станем самостоятельным кооперативом! — отвечает Бердеш.

— Несомненно. Я только хотел вам разъяснить. Продолжайте, пожалуйста.

Шаркези несколько мгновений смотрит на присутствующих.

— А теперь, товарищи, пусть каждый из вас продиктует для протокола свое семейное, имущественное и партийное положение. Пиши-ка, товарищ Сито, у тебя красивый почерк.

Сито пишет. Постепенно список приобретает следующий вид:

1. Лайош Бердеш, член партии, пятидесяти четырех лет, семья из девяти человек. Одиннадцать хольдов земли, две лошади, телега, плуг, борона, тачка. (Да еще одна коза, чорт бы ее забрал!)

2. Йожеф Пап, член партии, двадцати семи лет, семья из четырех человек. Восемь хольдов земли, из них два под садом, две дойные коровы, две лошади, годовалый жеребенок, две телки, полный хозяйственный инвентарь, одиннадцатирядная сеялка, триер, опрыскиватель и т. д.

3. Бени Гуяш, член партии, семья из пяти человек. Семь хольдов земли, одна дойная корова, одна свиноматка.

4. Балинт Шерфезе, член партии, семья из четырех человек. Шесть хольдов земли, одна дойная корова, одна свиноматка.

5. Жужи Катона, беспартийная, семья из четырех человек. Ни земли, ни скота.

6. Мартон Мари, беспартийный. Ничего не имеет (кроме жены).

7. Михай Бири, член партии, семья из четырех человек, но один сын служит в армии, другой работает в Дебрецене на заводе.

8. Мартон Бенце, член партии, семья из трех человек. Три хольда земли. До освобождения был мельником.

9. Бени Киш, беспартийный. Ничего не имеет (кроме жены). Но зато еще совсем молодой.

10. Иштван Сито, член партии, семья из пяти человек. Девять хольдов земли, две лошади, телега, полный хозяйственный инвентарь, две дойные коровы.

11. Винце Гашпар, член партии, семья из шести человек. Четыре хольда земли (записаны на стариков), дойная корова, две телки, два кабанчика, три поросенка летнего опороса.

12. Имре Шаркези, член партии, семья из шести человек. Четыре хольда земли (записаны на стариков), одна дойная корова, две телки и два кабанчика.

13. Карой Ханадь, член партии, семья из пяти человек. Два хольда земли. Две коровы с упряжкой, плохонькая телега, старый плуг, ветхая борона.

Вот и весь личный состав и все имущество производственной группы.

Остается избрать руководство.

Председателем единогласно выбирают Бердеша, бухгалтером Сито, казначеем Йошку Папа, культоргом Рожи Шаркези, членами правления... Но тут уж выходит, что все члены группы одновременно и члены правления.

— Чего еще нам не хватает, товарищ? — спрашивает Кульчара Бердеш, почувствовав вдруг такую усталость, словно уже неделю не спал.

— Еще многого не хватает. Но вы справитесь с этим уже в ходе работы. А главное сделано.

— Время — уже час! — говорит Фонадь, вынимая часы. Он действительно ошибся на самую малость: через пять минут будет час.

3

В селе около двух тысяч восьмисот жителей, две церкви, корчма, да не одна, а целых семь, баптистская молельня — словом, это обычное село. В прошлом в округе было два крупных помещика; их земли крестьяне поделили между собой, а в большем поместье

снесли барский дом, хутор, вырубили парк. На этом месте уже в сорок шестом году посеяли ячмень.

Барские хоромы поменьше, похожие скорее на простой одноэтажный дом, тоже начали было сносить, но потом одумались. Дом этот расположен на краю села, возле мощеной дороги. Когда крестьяне забрались на крышу и начали сбрасывать черепицу, как раз мимо проезжал Михай Гуяш, заместитель председателя Областного комитета по разделу земли, инвалид — одна нога у него парализована, и поэтому он ходит с палкой. Гуяш направлялся в уезд по служебным делам.

— Стой! — сердито крикнул он возчику, и тот остановил лошадей.

Посмотрел Михай Гуяш на людей, копошившихся на крыше дома, потом вылез из повозки и бегом к усадьбе. Размахивает палкой, будто ворон гоняет с пашни... Словом, этот дом уцелел.

Когда-то в селе жили одни реформаты, а в начале десятых годов в связи с избранием нового священника село разделилось на два лагеря: богачи хотели одного кандидата, а беднота — другого. Однако верх взял пастор, за которого стояла беднота. Тогда богачи перешли из реформатской в католическую веру — им, дескать, не нужен бог, у которого на службе такой поп. Да еще — о ужас! — он на стороне бедноты!

Однако прежде чем дело дошло до полного раскола, кое-кто одумался. Не так ведь это просто — отступиться от одного бога и переметнуться к другому. Тем более, что новому богу надо строить и новую церковь, содержать при ней патера, а ему нужна квартира, нужен хлеб и мясо, не говоря уже о вине. Часть богачей все же не изменила своего решения, назло всем! Двадцать пять — двадцать шесть семейств перешли из реформатского вероисповедания в католическое. Янош Васнаш-Надь предоставил католической церкви участок — у него в центре села было четыре хольда земли, которые он купил у помещика, когда у того пошатнулись дела,— и этим на веки веков выполнил свой религиозный долг жертвователя.

Как строилась на этом месте высокая и действительно нарядная церковь — к нашему повествованию не относится. Достаточно только сказать, что католиков в селе становилось все больше и больше, потому что из далеких краев приходили сюда всякие мелкие арендаторы, исповедовавшие эту религию, и мало-помалу стали оседать в селе. Они устраивались на его окраине и уже в первом поколении пытались слиться с местным населением. Однако и по сей день чужакам не удается во всем походить на местных старожилов. Мужчины носят яркие рубашки с настолько высоким и узким воротом, что голову им приходится держать так, будто у каждого сзади на шее чирий. Да и фамилии у них какие-то странные: Перзе, Шике, Селиг, Торма, Гайари, Кукк, Прос и еще множество таких, что сразу и не вспомнишь.

И эти пришельцы и местные старожилы живут безбедно. Земли

всем хватает, поголовье скота приумножилось; одних коров да быков столько, что пасут их тремя стадами. Налоги крестьяне платят во-время, аккуратно сдают госпоставки. Во всей стране это село одно из первых: государству дает что положено,— так оставьте же его в покое с этим производственным кооперативом!

Иными словами, те, кто задумал организовать здесь кооператив, взялись за трудное дело. Но это лучше известно им самим. Они уже отослали прошение о размежевании земли, а теперь сразу подавай кооперативу «Свобода» и дом и усадьбу. Нужны конюшни, склад, амбар, дом для правления. Но как и где его приобрести?.. Вот если бы в сорок пятом не снесли барскую усадьбу, если бы... Хоть бы этих «если» не было на свете!

— На наше счастье осталась еще усадьба Барань. Давайте выселим капитана Дьери и въедем сами,— предложил Бердеш членам кооператива, как-то утром собравшимся у него во дворе.

У каждого до начала рабочего дня своих дел по горло, однако члены кооператива стараются где-нибудь собраться. Сейчас вот к Бердешу пришли Шаркези, Сито, Йошка Пап и Кетелеш, который только вчера вступил в кооператив.

Шаркези в раздумье мнет сигарету.

— Пожалуй, это неплохо, но пока несвоевременно. Ведь этот дом далеко, а мне кажется, что нам сейчас нельзя еще выходить из села. Если мы отсюда уйдем, за нами сразу, как вода, сомкнется брешь, которую мы уже успели проделать. Позже — можно, а сейчас нам надо подыскать дом в самом селе.

— Тогда давайте остановимся на каком-нибудь доме кулака, хозяина выселим и займем помещение,— выразительно жестикулируя, продолжает рассуждать Бердеш.

— Да, если нет другого выхода, придется... Что ты на это скажешь, товарищ Пап? — спрашивает Шаркези.

Йошка Пап отходит в сторону и, заложив руки, смотрит в землю.

— Никудышная затея. Где найдется такой кулак, который сам, по своей воле, согласится отдать нам свой дом? Выгонять его из дому мы по закону не имеем права. А нам следует строго соблюдать законы, иначе мы рискуем расшибить себе лбы.

Делать нечего, приходится, стало быть, искать другой выход.

Уже около восьми утра, дети Бердеша готовятся идти в поле собирать кукурузу. Лаци точит секач, его старшая сестра наливает воду в кувшин, другая — собирает пустые мешки. Жена Бердеша завязывает торбу с едой, искоса поглядывая на мужчин. «До чего же они беспомощны, эти умники! Не успели тронуться с места, а уже ни тпру ни ну!»

— А о старой мужской школе забыли? — бросает она грубо, будто сердясь. Но она только притворяется сердитой.

Бердеши не спали всю ночь, ссорились, и помирились только на рассвете. Ну ладно, раз так повернулось дело, пускай все они будут в кооперативе, она и сама готова состоять в нем. Но

все-таки представляла себе это иначе. Думала, что сразу же вся жизнь семьи изменится: у дочерей появятся новые, красивые платья... и вообще... Она и сама толком не знает, как все должно быть. А вместо этого хлопот и неурядиц стало еще больше, чем раньше. Вечные разговоры, собрания, а заработка никакого.

— Вот именно! Старая мужская школа! — радостно переглядываются мужчины.— Такой дом и двор днем с огнем не сыщешь!

— Верно! Сам бог создал этот дом для кооператива! — восторженно говорит Бердеш.

— Не слишком восторгайтесь. Ведь этот дом старик Сильва строил, когда еще был совсем молодым!

— Так или иначе, идем смотреть!..

Старая мужская школа стоит на площади, где село разветвляется на три улицы. Напротив нее с одной стороны сельская управа, с другой — реформатская церковь и дом пастора. По обеим сторонам Большой улицы стоят красивые дома богачей. Впрочем, их достаточно и на других улицах, они сразу бросаются в глаза и составляют подобающее окружение церкви и сельской управе.

Конец сентября — время, когда у всех много дел: рубят и убирают кукурузу, подсолнечник, копают сахарную свеклу, да можно уже и пахать под озимые. Крестьяне — мужчины и женщины — спешат в поле, кое-кто берет с собой детей. Еще не все знают, что накануне вечером создан производственный кооператив. Поэтому большинство молча поглядывает на Бердеша и его спутников. Прохожие, робко здороваясь с ними, оборачиваются вслед: что это снова коммунисты задумали?.. Повстречался бы хоть один из них, это еще ничего — один человек не в счет. Но когда их столько — это не спроста.

А Бердеши — как называют в селе организаторов кооператива,— шествуя посередине Большой улицы, останавливаются напротив школы — невысокого, но массивного, хорошо сколоченного здания. На улицу выходят пять окон. Ворота вделаны в кирпичную стену, из кирпича выложена и вся идущая вдоль улицы ограда.

— Кто здесь теперь живет? — спрашивает Шаркези.

— В этом доме? Лайош Тержек-Виг,— неспеша отвечает Сито.— Но здание принадлежит не ему, а церкви.

— Неужели? В самом деле, церкви?

— Совершенно точно, ей. Здесь было много хозяев, но только на бумаге. В действительности же поп никогда не выпускал этот дом из своих рук.

— Ну, тогда пошли к попу! А там посмотрим,— теряет терпение Бердеш.

— Что ж, пойти можно...

И они отправляются к пастору.

Возле дома пастора, в церковном саду на старом шесте водружен государственный флаг. Шест вставлен в цементный пьедестал со ступеньками и перилами, чтобы ораторам в праздничные дни

в пылу речи было за что держаться. На пьедестале вырезаны фамилии солдат — уроженцев села, павших в годы мировой войны. Но время уже успело смыть с надписей позолоту. На нескольких густо исписанных строках запечатлено множество имен: около двухсот. Мужчины останавливаются возле этого камня, и если даже не читают надписей, то все-таки отдают почтение умершим.

— Лежал бы я... читал бы ты,— медленно и как-то растроганно говорит Бердеш.

Он ведь тоже участвовал в первой мировой войне, стало быть, и его фамилия могла быть увековечена на этом пьедестале, и тогда не он, а его спутники стояли бы здесь, читая фамилию Бердеша в перечне погибших.

Однажды проснувшуюся человеческую мысль не так-то легко предать забвению. Мысли идут чередой, и человеку приятно убаюкивать себя в их быстром потоке. Ни один из стоящих здесь не хочет признаться, что задерживается только затем, чтобы оттянуть время. Потому что хоть и есть в селе поп, которого хотела беднота, все же никто из них никогда с этим попом и словом не обменялся. Ведь в церковь-то они не ходят, о чем же разговаривать с попом? Бердеш, например, с той поры, как перестал ходить в школу, только дважды был в церкви. Впервые — когда сам венчался со своей женой, и второй раз — когда справлял свадьбу его кум. Но последнего посещения он и не помнит, забыл о нем сразу же, на следующий день. Дело в том, что прежде чем отправиться в церковь, он изрядно подвыпил, и хотя пошел туда на собственных ногах, но оттуда его уже вынесли.

Такие мысли роятся в голове Бердеша. А другие ни о чем не думают и только молча разглядывают памятник. Все они хорошо знают, что этот монумент соорудил все тот же старый Сильва.

На открытие его из Будапешта приехал главный идеолог ирредентизма *, некий трансильванский барон. Барон этот сначала у себя на родине растранжирил все состояние, а потом приехал в Венгрию спасать то, чего уже не было. Он писал краткие, примитивные передовицы для одной либеральной газеты, получал за свои легковесные статьи тяжеловесные сотенные, а газета — тысячи новых подписчиков.

По селу ходили тогда слухи, что на открытие памятника приедет из Англии великий покровитель венгерского ирредентизма, над произношением фамилии которого месяцами трудились венгерские филологи. Крестьяне же произносили это имя — если только у них появлялось такое желание,— буквально так, как оно пишется по-английски, то есть «Rothermere» *. Однако этот «Ротхермере» не приехал, а только прислал телеграмму, которую прочел великий трансильванский муж. Первым выступил пастор, вторым говорил барон... Большое было празднество!.. Резали баранов, ели, пили, танцевали. Разумеется, плясала молодежь, а старики только любовались. Великий муж то чокался со стари-

ками, то плясал с молодыми. И вот вдруг он увидел, как какой-то парень дал такую оплеуху сельскому старосте, с которым его сиятельство успел познакомиться, что тот свалился в угольный ящик, стоявший возле печки.

Великий муж не на шутку перепугался. Ведь староста, валяющийся в угольном ящике, как куча тряпья,— зрелище не из приятных. Об этом празднестве была написана передовица, но уж, конечно, о парне, о старосте и о ящике с углем в ней ни слова: барон был нем, как могила...

— Девять часов, товарищи. Пошли! — сказал наконец Шаркези.

— Пошли,— поддержал его Бердеш,— нечего зря время терять...

И он посмотрел на солнце, которое, высоко взобравшись на небо, заливало своим сиянием улицу.

4

У его преподобия Эрне Пепи приятный баритон и низкие подстриженные бакенбарды. Когда он надевает свою мантию, то так и кажется, что живет он не в середине двадцатого века, а во времена реформации.

Пастор достаточно уважаемое лицо в селе и, чтобы не лишиться популярности, считает своим первейшим долгом каждое утро выглядывать в окно и смотреть, в какую сторону колышатся листья на деревьях — иначе говоря, откуда дует ветер. Человеку, пока он живет на бренной земле, для спокойной жизни достаточно и этой ориентации.

Пастор — человек во цвете лет, скорее молодой, чем старый; но сколько ему на самом деле, для нас значения не имеет. Довольно сказать, что после первой мировой войны он решил приобщить к цивилизации крестьян своего прихода. И он не сумел придумать ничего иного, как внедрить здесь слово «сексепил», причем в точности так, как оно объяснено в словаре Горовица.

Но вот Европу захлестнула зловонная волна фашизма. Пастор, как рьяный приверженец цивилизации, повернул против ветра. Как далеко и в какую сторону,— флюгером служили ему в этом шелестящие по утрам листья. Когда село оказалось в руках эсэсовцев, майор, командир роты, в сопровождении соответствующего эскорта нанес ему визит и, поскольку пастор занимался хозяйством, а урожай сена в том году выдался хороший, потребовал:

— Сена лошадям!

— Сено нужно мне самому,— просто ответил пастор.

— Что такое «самому»? Всегда и во всем на первом месте должна быть немецкая армия! В продовольствии, в сене, в человеческой жизни! Сейчас армии нужно сено, понятно?

Его преподобие господин Эрне Пепи приосанился и на отличном немецком языке заявил:

— У кого нет фуража, пусть не воюет!

То, что произошло в следующую минуту, и по сей день осталось в памяти его преподобия. Он вспоминает об этом в особенности по утрам, когда просыпается, а частенько и вечером, ложась в постель, и нередко даже тогда, когда с амвона проповедует пастве вечную истину. Эти воспоминания связаны с ударом кулака, которым майор запросто угостил служителя церкви, да так, что тот, падая, задел туалетный столик и зеркало с треском свалилось ему на голову.

Это событие с самого сорок пятого года уж сколько раз помогало ему выходить из всевозможных затруднений. После освобождения коммунисты заинтересовались церковным приходом и самим пастором. А кто был избит до полусмерти эсэсовцами, если не он, Эрне Пепи? Хотели отобрать церковные земли... Кто, как не он, лично выступил против фашистской армии? Где были в ту пору крестьяне — все эти Бердеши, Шаркези и прочие?..

И все-таки в конце концов стряслась беда. Линия горизонта кругом становилась все ясней и определенней, лишь в одном направлении колыхал ветер листья на деревьях церковного сада. А что если история на этом и успокоится, то есть социализм утвердится? На славе, заработанной от кулака эсэсовского майора, вечно не проживешь, а полагаться на щедрость верующих — равносильно жалкому прозябанию, если еще, чего доброго, не придется самому браться за мотыгу. Как же себя вести, чтобы хоть в чем можно сохранить прежнее беззаботное существование духовного пастыря?.. Надо говорить, агитировать, склонять крестьян в лоно церкви. Если даже все пойдет прахом, они не перестанут содержать своего пастора. А тем временем следует в качестве первоочередной помощи взять на себя получение и распределение американских посылок среди «достойных и нуждающихся».

В этот день в приходском доме царила суматоха. С утренней почтой прибыла из Америки посылка, извещение о которой пришло еще на прошлой неделе.

Посылка, уже распакованная, лежит на столе в столовой. Пастор стоит, опершись обеими руками об угол стола. Он нагнулся вперед и внимательно следит за женой, которая выкладывает в самом деле очень красивые и ценные вещи. Двадцать килограммов!.. Боже правый, чего тут только нет! Созерцает вещи и младшая сестра пастора, супруга одного дебреценского учителя. Нащупав найлоновые чулки в целлофановой обертке, пасторша откладывает в сторону уже третью пару. Какао, кофе, сухое молоко, манная крупа, изюм, чай — все, все извлекает она из посылки. Далее следуют два мужских костюма. Правда, скроены они не на пастора или кого-нибудь из «достойных», но не велика беда: за несколько форинтов местный портной их подправит. Уж не раз добряк Агарди производил подобные операции. После костюмов появляется женский утренний капот и изумительное кружевное белье. Жена пастора, словно чародейка, извлекает из гофрирован-

ной коробки на свет божий самые разнообразные комбинации и трико.

Возле курительного столика сидят двое мужчин — один постарше, другой помоложе — и курят уже добытые из посылки сигареты «Лаки стрейк».

— Недурны,— говорит тот, что постарше. Он глубоко затягивается и, как бы ухмыляясь, цедит сквозь зубы дым.

— Больше того, хороши,— с невозмутимой серьезностью подтверждает молодой, стряхивая пепел.

Мужчина постарше — это капитан Дьери, что живет в усадьбе Барань. Другой — Дюрка Боди, сын бывшего вице-губернатора. То, что Дюрка пронюхал о получении посылки, понятно: ведь он работает в сельской управе. Но откуда узнал об этом у себя в усадьбе Дьери, остается тайной. Однако факт, что оба они сейчас находятся здесь и делают вид, будто происходящее их вовсе не интересует.

Капитан Дьери в годы первой мировой войны был скромным и безвестным молодым учителем. В семнадцатом году его призвали на военную службу, вскоре он стал лейтенантом. А перед самой революцией * Дьери получил звание старшего лейтенанта. Но носить петлицы старшего лейтенанта ему почти не довелось, их сразу же пришлось срезать, иначе восставшие солдаты сорвали бы их на какой-нибудь станции. Дьери поспешил снять их сам, но лишь на время, пока не прибыл в Сегед, где вокруг Хорти собирались потерявшие родину и почву под ногами офицеры. В военной форме, с орлиным пером на шапке, он уже в чине капитана сопровождал Хорти в Будапешт, служил даже в так называемой «Национальной армии» *, но затем отправился с секретным поручением в Вац, навстречу королю Карою *, откуда и дал тягу. Ему с трудом удалось оправдаться, однако особых неприятностей не произошло: он просто был переведен в запас и только не получил пенсии. Стать снова учителем Дьери уже не считал для себя возможным. Но в таком случае на что жить?.. Впрочем, за капитана Дьери беспокоиться нечего. Раза два-три он совещался с графом Иштваном Бетленом * и сразу же после этого получил разрешение на издание еженедельной крестьянской газеты.

Однако поддерживающая правительство крестьянская газета вряд ли может существовать за счет подписчиков, поэтому либо Бетлен должен был выделить ей субсидию, либо газета перешла бы на сторону оппозиции. Бетлен денег не дал. В результате газета стала настолько оппозиционной, что граф готов был уже с радостью назначить субсидию, но оказалось поздно. Дьери пятиться назад не пришлось — деньги повалили от подписчиков. Делом заинтересовалась прокуратура, затем последовал приказ об аресте капитана Дьери, но он уже был за пределами страны и вскоре дал о себе знать из Америки.

В тридцать девятом году Дьери снова оказался дома; он прибыл в большом сером авто, в сопровождении личного секретаря.

Но сорок второй год застал его уже на фронте. Он участвовал в великом бегстве с Дона. В сорок пятом году Дьери стал депутатом парламента от партии мелких сельских хозяев, в сорок седьмом — депутатом от партии Баранковича *, а в сорок восьмом купил себе дом у господина витязя * Барань.

И вот он сейчас сидит у пастора.

Пасторша, мать троих ребятишек — причем двое из них близнецы,— несравненно моложе мужа. Как вообще все женщины церковного прихода, она довольно упитанна. Сейчас она натягивает на руку чулок и, растопырив пальцы, осматривает его у окна против света. Дюрка поднимается, гасит сигарету и подходит к ней.

— Правда, красивые? — спрашивает у него пасторша, показывая чулок.

— Красивые. Но почему бы вам не посмотреть, как они выглядят на ноге?

Она улыбается мужу еле заметной улыбкой, потом свободной рукой снимает сандалию и через несколько мгновений чулок уже переходит с руки на ногу.

Жена пастора принадлежит к разряду женщин, в жизни которых по неизъяснимым причинам возникают порой моменты, когда им хочется кинуться навстречу буре или хотя бы вызывающе заглянуть в глаза мужчине. Такой момент как раз сейчас и наступил. Женщина вытягивает правую ногу и, приподняв капот выше колена, демонстрирует новый чулок.

— Нравится? — спрашивает она.

Разгоревшиеся взгляды троих мужчин устремляются на ногу. У каждого возникают свои мысли. Но, пожалуй, лучше, если они оставят их при себе.

— Что ни говорите, они там умеют...— мучительно выдавливает посеревший Дюрка; он не в силах отвернуться и отойти в сторону, даже если бы и попытался это сделать.

— Сумеем и мы,— с оттенком некоторой грусти замечает пастор. В последнее время в нем все больше проявляется склонность говорить двусмысленно.

Пасторша только сейчас по-настоящему чувствует себя женщиной. Поудобнее усевшись, она изящным жестом натягивает второй чулок, затем встает и, откинув полы капота, показывает обе плотно сжатые ноги.

Мужчинам уже трудно владеть собой. Они подыскивают в уме красивые слова, чтобы, подобно цветку, преподнести их женщине.

В этот миг раздается удар грома. Пожалуй, даже гром это пустяк по сравнению с грохотом сапог пяти мужиков, неожиданно ввалившихся в столовую. Правда, стучат сапогами не все; у одного из них нога повязана тряпкой, а поверх еще холстиной.

Словом, гром по сравнению с этим стуком — сущие пустяки. Ну, громыхнет разок — расколется шкаф, слетят со стены часы, и все кончено. Пожалуй, бóльшая беда, если обвалится потолок. Но

приход в дом этих мужчин — явление куда более грозное, чем даже обвал.

Всю необычность и опасность этого трудно выразить словами. Хоть сюда иногда и заходят крестьяне, но то люди совсем другого склада: члены церковного совета или другие постоянные посетители церкви,— они входят в дом смиренно, уже на лестнице начинают смахивать носовыми платками пыль с сапог. В сорок пятом, сорок шестом, правда, приходили сюда и другие крестьяне, грязные, оборванные, но ведь сколько воды утекло с тех пор?! В конечном счете, теперь церковь и государство пришли к соглашению по всем вопросам, и между ними установились хорошие отношения. Но если мужики врываются в жилище священника, какой смысл в этой договоренности и хороших отношениях?

Вошедшие крестьяне отлично видят, как оторопели при их появлении хозяева, однако упорно продолжают стоять на месте. Они забыли договориться, кто из них и с чего начнет разговор, и поэтому чувствуют себя несколько неловко. Бердеш демонстративно нюхает воздух — ах, чорт их подери!..

Пастор, наконец, приходит в себя и, хотя дрожит от злости, приветливо встречает посетителей.

— Добро пожаловать! Садитесь, пожалуйста! — и по очереди сует каждому руку.

Его жена испуганно, с застывшим выражением лица, смотрит на происходящее. Капитан Дьери от волнения закуривает новую сигарету. Дюрка ухмыляется и потирает руки. Золовка убегает в соседнюю комнату.

Крестьяне молча пожимают пастору руку.

— Да садитесь, пожалуйста!

— Покорно благодарим, но садиться мы не будем,— медленно произносит Шаркези.

За последнее время он ни разу не был так смущен: стыдно, что он, секретарь партийной организации, так явственно обнаруживает робость на глазах у пастора и его семьи. И Шаркези, пожалуй, несколько нарочито приосанивается и, отвернувшись, смотрит в окно. Ему неприятно видеть открытые ноги пасторши. Правда, зрелище это длится всего одно мгновение — капот опускается на ноги подобно непроницаемой пелене дыма.

— В таком случае, я к вашим услугам.

Йошке Папу кажется, что прежде всего следует объяснить внезапность их появления.

— Простите, что мы так ворвались,— говорит он,— но ни в кухне, ни в передней никого не было.

— Ох, уж эта Рожи, эта Рожи!.. Куда она опять запропастилась? — И пастор машет рукой.— Я вас слушаю, товарищи, зачем пожаловали?

Шаркези прислушивается, нет ли в словах пастора насмешки, но не ощущает даже тени ее. Что ж, и он может быть вежливым! И Шаркези говорит с должным почтением:

— Вот мы за чем пришли, ваше преподобие!.. Нам понадобилось старое здание школы. Чье оно, нам не известно. Кому оно принадлежит — церкви или Лайошу Тержек-Вигу, который там живет?

Пастор задумчиво смотрит на Шаркези. «Потолок-то и в самом деле обвалился...»

— Здание принадлежит церкви.

— Ну что ж, так даже лучше. Своего жильца церковь может устроить и на другой квартире.

— Бог с вами, где же?

— Да хоть бы здесь, в приходском доме. Сколько у вас комнат?

Пастор широко раскрывает рот.

— Но это... неслыханно! Это... это... открытое нарушение мира между церковью и государством! — произносит он с таким пылом, что изо рта у него вылетает, как заводная, вставная челюсть. Пастор едва успевает правой рукой подхватить ее в воздухе. Отвернувшись, он, как бы в задумчивости, нагибает голову, делает несколько шагов в сторону и снова возвращается обратно.

«Смотри-ка, он уже успел поставить ее на место, ну и ловко!» — думает Бердеш. Жена пастора тем временем приподнимает подол своего капота, словно собирается перейти лужу, и убегает в спальню.

— Стало быть...— продолжает пастор, стараясь как можно дружелюбнее глядеть на крестьян.

— Стало быть, слово за вами, ваше преподобие. Плату, которую вы получаете сейчас, мы тоже будем вносить.

— Я не намерен в дальнейшем сдавать дом! — решительно заявляет его преподобие.

— А что же вы предполагаете с ним делать? — с угрозой в голосе спрашивает Бердеш.

— У женщин — сторонниц евангелического движения * — нет помещения для собраний. В церкви они собираться не могут — это храм божий...— разъясняет пастор с такой напускной важностью, как будто евангелическое движение представляет собой по крайней мере филиал Демократического союза венгерских женщин.

Мужики слушают. Но Шаркези, не дожидаясь конца его речи, перебивает:

— Мы посмотрим этот дом, тогда и решим. Пойдемте, товарищи! Всего хорошего...

Крестьяне направляются к выходу, а пастор трусит за ними и с нескрываемой тревогой спрашивает:

— Да благословит вас господь бог, но зачем вам, собственно говоря, понадобился этот дом?

Шаркези, уже стоя в дверях, отвечает:

— В селе создан производственный кооператив «Свобода», ему необходимо помещение для конторы,— и выходит вслед за остальными.

Пастор несколько минут неподвижными глазами смотрит им вслед, потом возвращается к своим гостям и, словно ища у них поддержки, восклицает:

— Ну и ну!.. Слыхали что-нибудь подобное?

Дюрка Боди молчит. Он чистит ногти и думает, что после всего происшедшего ему уже ничего не удастся получить из американской посылки. Капитан Дьери тоже смотрит на посылку и, верный своему прошлому, дипломатично заявляет:

— Вообще-то, во всем этом нет ничего неожиданного, в особенности, если никто ничего не предпринимает против...

Достав новую сигарету, он закуривает и краем глаза посматривает на пастора.

Его преподобие опускается на самый кончик стула. Так садился он на скамью в далекие школьные годы. Сейчас ему предстоит выдержать еще один экзамен... придется отвечать!..

5

Во дворе старой школы под кустом сирени притаилась рыжая кошка, горящими глазами алчно следя за веселыми, круглыми, жирными воробьями. Кошка до безобразия тоща, шерсть ее вылиняла пятнами, а отрастить новую не хватает сил. До чего же худа эта кошка, и как жирны воробьи в нынешнем сентябре!

Кошка в волнении перебирает передними лапками, готовясь к прыжку, а ничего не подозревающие воробьи без умолку чирикают. Внезапно кошка прыгает. На несколько мгновений воцаряется напряженная тишина, лишь насмешливо колышутся ветки на деревьях. Опять неудача! Веселая стайка воробьев проносится над двором, вихрем кружится возле акации, но не садится на нее, а, описав причудливую дугу, опускается на дикий виноград, разросшийся вокруг веранды с каменными колоннами, и качается на них, напоминая гроздья крупных спелых ягод.

Рыжая кошка озирает двор, поднимает трубой хвост и медленно бредет по направлению к лестнице. Зажмурив глаза, она на миг задерживается возле ступенек, затем быстро взбегает на веранду, неспеша проходит по ней, останавливается возле кушетки, на которой вот уже несколько недель подряд лежит Лайош Тержек-Виг, и трется боком о ножку кушетки. Воробьи резвятся среди ветвей винограда, словно радуясь своему существованию. Но кошку не всегда обманешь, на этот раз она даже не смотрит на них.

Лайош Тержек-Виг лежит на спине. Одной рукой он тянется погладить кошку, а другой хотел бы приласкать и расшумевшихся воробьев. Эх, до чего же хороша жизнь, пока человек еще дышит! Вот именно, пока дышит. Потому что после все уже пойдет прахом! Болен Лайош Тержек-Виг, ей-ей серьезно болен. А совсем еще недавно какой он был живой и энергичный человек. И как его уважали на селе!

Когда-то, будучи еще молодым мастеровым, Лайош Тержек-Виг переехал в это село. Здесь он женился, стал руководителем объединения ремесленников всего уезда, попал в кумовья к владельцу мельницы, а позже оказался членом церковного совета. Он не нажил никакого состояния, зато ходил всегда в хорошей одежде, как подобает мастеру: щеголял в добротных костюмах с накрахмаленными манишками и воротничками, носил черный галстук и шляпу-котелок. Никто не знал ни семьи, ни родственников Лайоша Тержек-Вига, хотя он вечно носил по ком-нибудь траур: черную повязку на рукаве или на шляпе. Находились, правда, люди, утверждавшие, что все это выдумки и притворство,— никто у него не умирал.

Лайош Тержек-Виг был мужским и дамским сапожником и славился своим мастерством по всей округе. Ходила молва, что таких легких туфель, как он, никто не умел делать. Один сапожник из соседней деревни сшил, правда, госпоже Барань шевровые туфельки весом всего в двести пятьдесят граммов, но чем же ответил, по вашему мнению, на это Лайош Тержек-Виг? Он сделал для супруги его преподобия Эрне Пепи туфли весом в сто шестьдесят пять граммов. Пусть кто-нибудь попробует с ним состязаться! Пока Лайош Тержек-Виг был здоров, его руки приносили ему золото. К чему же Тержек-Вигу земля и прочая собственность?

Правда, после освобождения он даже собирался купить вот этот самый дом. Но все получилось не так, как ему хотелось: ведь что только не меняется в жизни человека! Во-первых, никто уже больше не интересовался, сколько граммов весят туфли. Теперь каждому важно только, прочны ли они, хороши ли в носке. А если так, то давайте их сюда! Последним художественным произведением Лайоша Тержек-Вига были сшитые в сорок шестом году ботинки для русского полковника. «Он таких никогда в жизни не носил»,— до сих пор не перестает утверждать сапожник. А несколько раньше, опять-таки в художественном порыве, Тержек-Виг сшил себе кожаную шапку — совсем такую, как видел когда-то в молодости на обложке журнала «Толнаи вилаглапья» *, где она украшала голову французского якобинца. В этой шапке в бытность членом церковного совета он и произнес пятнадцатого марта * в приходском саду свою знаменитую речь, из-за которой его чуть не убили. Тержек-Вигу досталось таких два удара по голове, что... Но каковы бы они ни были, он их, во всяком случае, пережил. Чего только не перенесет человек!

Жена Лайоша Тержек-Вига, хоть и в летах, еще весной сорок четвертого года сбежала с одним старшим лейтенантом — эсэсовцем, и с тех пор он ее больше никогда не видел. Даже слухи о ней не доходили до него. А жизнь Тержек-Вига сложилась так, что одна женщина ушла и ее место заняла другая. Произошло это следующим образом. Однажды в сорок шестом году, когда Лайош как-то стоял без дела у сельской управы, от сельпо к нему навстречу по дорожке шла какая-то незнакомая женщина.

— Лайош?.. Сервус, Лайош!—радостно воскликнула она и, заключив его в объятия, поцеловала в губы и повисла у него на шее.

Сердце Лайоша Тержек-Вига учащенно забилось от этого прикосновения. В душе всплыло какое-то далекое воспоминание о родной деревне, о тех местах, где еще и по сей день разорившиеся дворяне пользуются своими привилегиями. Бедность — не порок, а дворянин все-таки дворянин, и ему полагается уважение, авторитет, чинопочитание. Такие же обедневшие отпрыски дворянского сословия и сам Лайош и эта женщина. Только, разумеется, много воды утекло с тех пор, как он в последний раз видел ее. Он помнил Шари Фейер еще совсем девчонкой, когда и сам был молодым парнем, но кое-что слыхал о ней и впоследствии: сначала Шари училась в гимназии, а потом стала артисткой. На этом все сведения о ней кончались. Да и эти отрывочные данные доходили до него случайно.

— Сервус!.. — ответил Лайош, внимательно всматриваясь в лицо женщины.

Да, это она, Шари Фейер. Шари Фейернеки-Фейер. У нее тоже двойная фамилия, как у многих из его родной деревни, из Ванчода. У Шари пышные, огненно-рыжие волосы, а кожа белая, как чистый, нетронутый снег на восходе солнца. Черты маленькой знакомой когда-то Тержек-Вигу девочки полностью сохранились в этой женщине уже не первой молодости.

— Что ты здесь делаешь, Шари?

Женщина тихо засмеялась и пытливо посмотрела на Лайоша Тержек-Вига.

— А тебе хочется знать, да? Ну что ж, потом расскажу. Где ты живешь?

Лайош показал в сторону старой школы.

— В таком случае пойдем. Я расскажу тебе все.

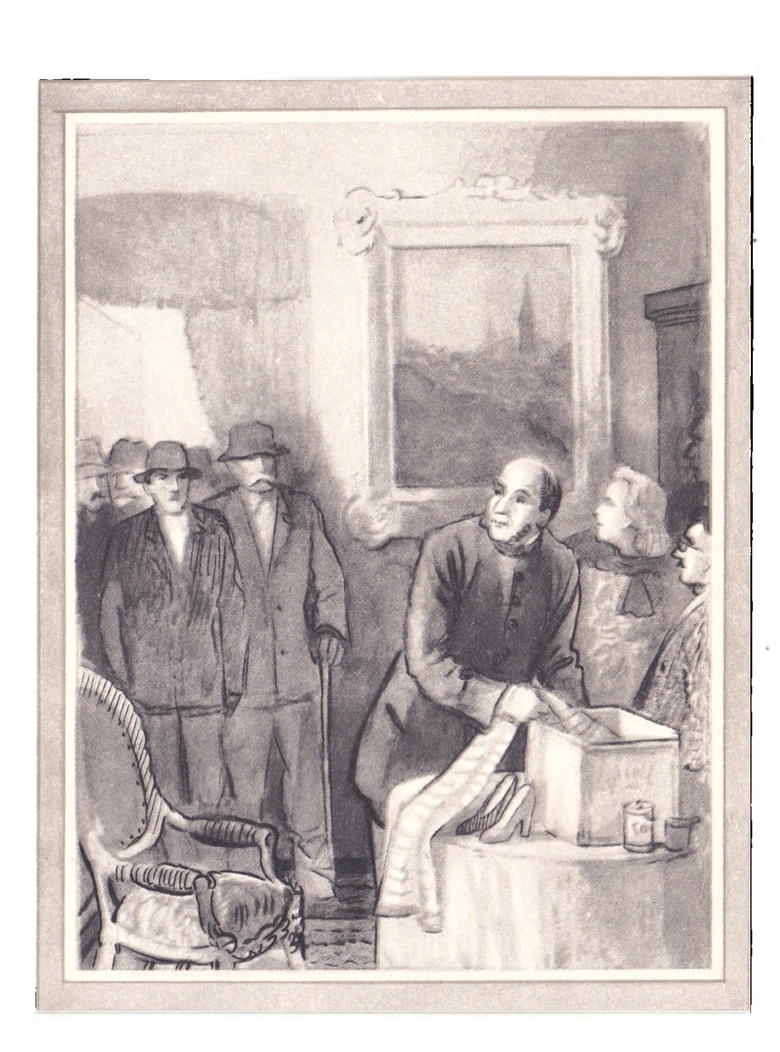
И Шари сразу же направилась прямо к дому.

Эта женщина прошлого, как и многие другие, в период освобождения страны оказалась совершенно одинокой. Такие женщины кочевали с места на место, из города в город, из деревни в деревню, одинаково радостно встречали как знакомых, так зачастую и вовсе незнакомых. Пристала ли в конце концов Шари к какому-нибудь берегу — это еще не известно. Пока что она идет впереди Лайоша Тержек-Вига, перебирается через канаву и подходит к дому.

— Хорошо ты живешь, Лайош! — говорит она, осматривая здание школы.

В ответ Лайош только неопределенно мычит.

Не прошло и часа, как Шари стояла на кухне у плиты и жарила яичницу из шести яиц. С тех пор, как была приготовлена эта самая яичница, минуло три года. И Лайош Тержек-Виг нисколько не жалеет, что они стали мужем и женой. Как будто Шари Фейер только для этого и родилась, росла, стала красивой, но совершенно бездарной провинциальной актрисой в Дебрецене, Сегеде, и сама



уж не помнит, где еще. Какая она хорошая, какая чудесная! Стареющий мужчина куда больше, чем молодой, ценит и понимает женщину...

Но теперь Лайошу Тержек-Вигу придется умереть. Ему предстоит покинуть Шари, оставить ее на произвол судьбы! И сознание этого причиняет ему невыносимую боль.

Правда, человек умирает только раз. Лишь старый Балинг Харангозо, говорят, умирал дважды... Но если можно, умирая, забрать с собою всю боль, печаль и лишения, чтобы ничего из них не осталось на долю Шари, милой Шари...

— Шари! Где ты, Шари? — пытается крикнуть Тержек-Виг, но голос его звучит так, будто в диком винограде не воробьи чирикают, а ссорятся две старые вороны. Заслышав эти хриплые звуки, воробьи сразу же смолкают, а рыжая кошка, распушив шерсть, с изумлением оглядывается по сторонам.

На зов мужа из передней выходит Шари. Рукава ее блузки закатаны до плеч, обе руки в тесте, вместо передника вокруг бедер повязан белый платок, волосы на затылке стянуты лентой. Так в старину, во время богатого урожая, перевязывали снопы.

— Что случилось, Лайошка? — подходит к нему Шари и кончиками пальцев поправляет одеяло, словно своим прикосновением хочет придать ему здоровья.

— Ты не знаешь, кооператив уже создан?

— И да, и нет.

— Я тебя не понимаю.

Шари присаживается на край кушетки, поднимает руки в тесте над головой, будто вокруг темно и она собирается посветить ими.

— Сначала все шло хорошо, но на учредительном собрании Бежи Кадар произнесла до того нелепую речь, что бóльшая часть присутствующих разбежалась. Вот и не знаю теперь, создали кооператив те, что остались, или опять будут агитировать?

— Бежи Кадар?

— Ну да, этакая простофиля!

— Тогда, значит, ее непременно сменят... У тебя ведь образование не меньше, чем у нее...

— А если и так, что мне с этого?

— Как что?.. Станешь уполномоченной по культурно-массовой работе. Потому что, видишь ли, я умру и...

— Как ты можешь так говорить? Не умрешь ты, не умрешь!

И женщина припадает к больному, словно хочет передать ему всю силу своей любви.

Снаружи щелкает засов на калитке, слышится шум голосов. Кто-то входит по бетонированной лестнице и сразу же возвращается назад, даже не обратив внимания на Лайоша и Шари.

— А вы приметили, какая квартира у пастора? — спрашивает Сито у своих спутников.

— Еще бы! Пожалуй, не хуже, чем у самого короля,— отвечает Бердеш.

— На Балканах были когда-то такие маленькие короли... как бишь их звали? — переносится в историческое прошлое Сито.

— А чорт их знает! — отзывается третий, повидимому, Йошка Пап.

— Зогу, последний король Албании,— бросает с веранды Шари Фейер и отходит за угловую колонну.

— Вот именно, Зогу, дьявол его возьми!.. Здравствуйте! — приветствует хозяев Бердеш и поднимается на веранду.

Шари с тревогой смотрит на входящих мужчин.

— Здравствуйте...

Но они, лишь мельком взглянув на нее, подходят к кушетке, где лежит больной.

— Доброго здоровья, господин Виг... Что с вами, господин Виг? — спрашивает Шаркези, протягивая руку.

Тержек-Виг обеими руками хватается за нее. Сейчас, в это мгновение — между жизнью и смертью,— для него не существует ничего, кроме прикосновения этой живой и сильной руки.

— Что со мной?.. Что со мной?.. Такие дорогие гости... Шари, принеси стулья! — и он тщетно пытается сесть, но не может.

Пока Шари в передней громыхает стульями, мужчины беспомощно смотрят на муки борющегося с болезнью человека. Новая попытка приподняться, и новая неудача: Лайош Тержек-Виг падает на постель.

— Нет у меня никакой особенной болезни,— говорит он,— только... больше мне уж не подняться, товарищи.

— Что вы, что вы, господин Виг! Еще поправитесь! Ведь человек только затем и болеет, чтобы выздороветь.

— Мне? Мне выздороветь? Конечно, будь у меня деньги на больницу, я мог бы надеяться...

— Да, для больницы действительно нужны деньги. Но ведь вы, господин Виг, член церковного совета? Разве церковь не располагает какой-нибудь больницей?

— Церковь? Да, у нее есть больница. Но она только для священников. До остальных верующих им дела нет, им все равно, как мы живем и умираем. Больше того: чем чаще умирают люди, тем доходнее для церкви и для звонаря.

Никогда еще не ощущал с такой остротой Лайош Тержек-Виг жестокую обреченность церковного уклада, как сейчас, когда его жизнь идет к концу, когда его тело совершенно изнурено болезнью.

— Так что же все-таки с вами, товарищ Виг? — сочувственно спрашивает Бердеш.

— Я и сам толком не знаю. Только вот совершенно не могу есть.

— Как же так?

— Не знаю... попросту не в силах ничего проглотить.

— А вы закройте глаза и попытайтесь.

Бердеш не может себе представить, как это живой человек — и вдруг не в состоянии принимать пищу.

— Сколько вам лет, господин Виг? — спрашивает больше из вежливости Шаркези.

— Скоро исполнится пятьдесят семь

— Ну, в таком случае никакой беды нет. Вы еще такие сапоги нам сошьете, господин Виг!.. Мы сейчас зашли к вам узнать, кому принадлежит в настоящее время этот дом. Пастор, у которого мы только что побывали, сказал, что он церковный.

— Этот дом? Начну с того, что он мой.

— То есть как?

— А так... Я купил его в сорок четвертом году. Мы уже собрались подписывать договор, когда приблизился фронт. Задаток мой пропал, пастор до сих пор или не хочет или не может мне его вернуть, но и не намерен переводить дом на мое имя. Судиться я с ним не могу, так как Янош Фоно, которого можно было бы выставить свидетелем, умер. До чего нескладно все получается,— умирают как раз те, кому следовало бы жить...

— Вы еще поживете. Все складывается великолепно! С вами, господин Виг, мы скорее договоримся, чем с пастором. Можно осмотреть дом?

— Почему нет, товарищи? Разумеется, можно. Шари! Куда ты пропала, Шари! Покажи товарищам дом.

Шари немедленно появляется на веранде. В ее наряде ничто не изменилось, только руки теперь уже не в тесте да рукава блузки она опустила до локтей.

Школа, которую сейчас осматривает руководство кооператива «Свобода», переходя в сопровождении Шари Фейер из комнаты в комнату, очень старое здание с толстыми кирпичными стенами и массивными сводами. Высокая крыша покрыта мелкой черепицей, которая еще в начале столетия сменила дранку на кровлях барских домов. Перекрытие сделано из тяжелых бревен, поэтому так стойко и по нынешний день переносит груз времени.

Сюда ходили учиться мальчики со всего села, пока единая церковь не разделилась на две. Тем временем школы перешли в ведение государства, и это здание осталось пустым, только пастор каждый год извлекал из него все большую прибыль. А между тем, многие крестьяне с удовольствием вспоминают этот дом... В нем когда-то жил почтенный, очень популярный среди населения учитель, которого крестьяне из уважения называли ректором, поскольку он за свою жизнь обучил грамоте несколько поколений ребят. Детей в селе и тогда было так много, что учителю приходилось обучать одновременно не менее ста восьмидесяти — двухсот школьников.

Учитель занимал три комнаты, выходившие окнами на улицу. С одной стороны к ним примыкала прихожая, с другой — кухня. За кухней была аудитория, вместительная кладовая, а за ней, немного наискосок, проходил коридор.

Поскольку учитель был последователем революции сорок восьмого года, он носил бороду а-ля Кошут. Семья его состояла из жены и трех взрослых дочерей, которые, хоть и были по-своему красивы, но пока никак не могли выйти замуж и жили здесь. Особенно хороша была самая старшая, Вильма: черноволосая, с белым личиком и розовым шрамом на левой стороне подбородка.

По утрам, до половины десятого, школьники видели одних только этих девушек, сновавших взад и вперед по широкой, выложенной кирпичом веранде с такими лицами, будто они задумали что-то недоброе. Когда с высоко поднятой головой, звонко постукивая каблуками, красавица Вильма спускалась по лестнице, держа в вытянутых руках фарфоровую ночную посудину, это не было секретом для окружающих.

Так вот, несет, значит, Вильма ночной горшок, каблуки ее туфелек громко постукивают, ребятишки глазеют на нее в окно, а в это время звонит колокол. Школьники, толкаясь, царапаясь и наделяя друг друга тумаками, бросаются к своим местам. Затем по команде старшего, иначе говоря, лучшего ученика: «На молитву!» — складывают набожно руки и тотчас затягивают: «Отче наш, иже еси на небесех»... Во время молитвы входит учитель и начинается урок, вернее, порка определенной части школьников.

Вскоре школа оглашается звуками совсем другого рода: криками, визгом, плачем, смехом и хлесткими ударами розги. Среди мальчишек всегда находился какой-нибудь озорник, запрятавший под штанишки аккуратно вырезанную дощечку, по которой розги барабанят так, что любо слушать. Конечно, учитель немедленно обо всем догадывался, и проказнику доставалось еще больше. Но это нисколько не останавливало шалунов. Находились среди них и такие, что заранее привязывали к штанам целых полкирпича. Вот тут-то и начиналась настоящая беда: кирпич оказывался настолько тяжелым, что еще по дороге шнурок на штанишках обрывался.

Учитель не уставал попеременно бить и обучать школьников, пока не состарился и внезапно не сошел с ума. О пенсии или о чем-либо подобном не могло быть и речи. Его отвезли в Варадскую больницу. Никогда больше не довелось ему вновь увидеть село, как никогда крестьянам — увидеть его. Дочери учителя разбрелись по белу свету, а в школу прибыл новый учитель и одновременно новый пастор — Эрне Пепи. С тех пор старое здание меняло хозяев, как меняют белье. Поистине, оно изнашивало людей.

А теперь представители кооператива, присматриваясь ко всему, расхаживают по двору... Конюшня довольно просторная. Есть сарай для дров, свинарник. И что самое главное — большой и просторный двор.

— Вот это да! Местечко для нас в самый раз!

— А что мы станем делать с Лайошем Тержек-Вигом? — в недоумении спрашивает Бердеш и задумчиво смотрит на Шари

Фейер, которая с готовностью сопровождает мужчин, по возможности стараясь отвечать на все их вопросы.

— С господином Вигом? Авось он все-таки поправится. А потом... все равно ведь нужно иметь кого-то в доме...— Шаркези уже думал об этом и сейчас останавливает взгляд на женщине.

— А не потеснились бы вы, скажем, в одной комнате, пока мы найдем или вы подыщите для себя что-нибудь получше?

— О, мы!.. Мы в каждой комнате держим какие-нибудь вещи, только чтобы помещение не пустовало. У нас уже был об этом разговор с Лайошем... Дом наш, распоряжаемся им мы, и мы готовы отдать его производственному кооперативу, если он только будет здесь создан. А раз кооператив организован, ничего другого нам не остается...

— Да, выходит так... Может, вы согласитесь убирать во всем доме?

— А почему бы нет? Ведь я и без того здесь убираю.

— Ну, тогда еще проще!

Конечно, проще. У Шари Фейер позади большая, тяжелая жизнь. И сейчас ей кажется, что она стоит на краю света и не свалится в бездну до тех пор, пока этот больной человек в состоянии смотреть во двор сквозь ветки дикого винограда.

Члены кооператива, осмотрев и обсудив все, теперь по очереди утешают Тержек-Вига.

Наступает полдень. В церкви звонит колокол. Его близкие раскаты глухо гудят во дворе. Воробьи, слетевшиеся кто знает откуда, уже вспорхнули и летят на дальние дворы. Рыжая кошка долго глядит им вслед, пока они не скрываются, затем, разлегшись, начинает облизывать свои лапки.

Глава четвертая

1

Организация кооператива взбудоражила все село. Такого волнения не было в нем со времени последнего большого наводнения.

Не успели Бердеш и его друзья покинуть дом пастора, как снова на дверях веранды загромыхала щеколда.

— Взгляни-ка, матушка, кто там опять? — говорит его преподобие жене; у него такое испуганное выражение лица, будто через несколько минут наступит конец света. Неужели опять вернулись мужики? Что будет? Прямо катастрофа!

Но это не Бердеши, а Балинт Эсеньи, председатель производственной комиссии сельской управы. Он нерешительно останавливается в дверях.

— Желаю здравствовать! — приветствует Эсеньи присутствующих, с недоверием поглядывая на капитана Дьери.

— Доброго здоровья, Эсеньи. Входите. Садитесь, пожалуйста,— услужливо придвигает ему стул пастор.

— Я, должно быть, помешал вашему разговору...

— Нет-нет, что вы! Какие новости принесли, почтенный Эсеньи?

— Хороших новостей маловато, собственно, почти и нет... Случилась беда, ваше преподобие!

— В таком случае, ради бога, рассказывайте.

Но Эсеньи незаметно кивает в сторону гостей.

— На их счет можете быть спокойны, господин Эсеньи. Наши гости — наши друзья, при них можете говорить вполне откровенно.

Эсеньи неторопливо усаживается, подбирая в уме слова для предстоящей беседы. Он не торопится начать разговор. В это время через церковный сад входит вдова Кокаш. Бросив взгляд в окно, его преподобие замечает на улице богача Гербеди,— и он направляется сюда.

Наконец все рассаживаются.

Председателю производственной комиссии Балинту Эсеньи лет сорок пять. Земли у него с прежних времен осталось всего несколько хольдов, зато он шурин богача Гербеди. А у того земли целых сто двадцать хольдов, два хутора, трактор и молотилка.

Вдова Антала Кокаша владеет ста восемьюдесятью хольдами, тремя хуторами и трактором.

Ференц Тарнок, у которого с грехом пополам наберется несколько хольдов тощей земли на солончаках, в сорок пятом году приобрел в Трансильвании двух буйволов; теперь он на них разъезжает.

Здесь же, в этой теплой компании, капитан Дьери, Дюрка Боди и, наконец, сам его преподобие с женой и золовкой.

— Мне с вами никак нельзя.— И Дюрка Боди нерешительно поднимается с места. Он вынимает пачку американских сигарет и закуривает, искоса поглядывая на гостей.

— Иди, иди, Дюрка! Твое место там,— успокаивает его пастор.

Дюрка Боди почтительно прощается со всеми за руку. Лицо у него до того страдальческое, словно он испытывает в душе жгучую боль за весь мир.

— Канцелярист,— шепчет жена пастора золовке.

Дюрка уходит, теперь уже остаются только свои — вся компания единомышленников.

— Создан производственный кооператив! — плачущим голосом объявляет кулачка Кокаш, едва за Дюркой успевает закрыться дверь.

— Не кооператив, а производственная группа,— поправляет ее Тарнок.

— Вот именно. Я тоже собирался сказать это,— вставляет свое слово богач Гербеди.

И снова воцаряется молчание. Пастор злобно переводит взгляд с одного на другого. Ишь, явились к нему только теперь, чтобы

пожаловаться на свое горе. Где они были раньше? Если бы в сорок пятом году они не допустили раздела земли, беднота не пробралась бы в сельскую управу!.. Эх, плюнуть бы сейчас на все! Пусть каждый справляется со своей бедой как может. А разве его собственное горе меньше? Не ограничится кооператив старой приходской школой, у церкви еще имеется сто шестьдесят хольдов земли, завещанных актрисой Иреной Надь...

— Мне об этой организации уже известно. Не скажете ли вы, почтенные господа, что нам теперь делать? — спрашивает пастор.

Анна Кокаш — католичка. Сюда она пришла только потому, что в настоящее время больше доверяет его преподобию, чем своему патеру.

— Святой отец, земли у вас столько же, сколько и у меня... Стало быть, беда у нас общая...

— Ваше преподобие! — неодобрительным тоном поправляет ее Гербеди.

— Ну, ваше преподобие. Не все ли это равно, когда нависло такое несчастье.

— Разговору много, а толку мало! — бросает Эсеньи. И, чтобы успокоить свою совесть, начинает рассуждать про себя: бог видит его душу. Он, дескать, на стороне демократии и даже больше — он за раздел земли. Но чтобы перепахали все межи в округе — на это он не согласен.

— А что, между прочим, скажешь ты, Ференц? — неожиданно обращается он к Тарноку.

Тарнок мигает своими плутоватыми глазками, придвигает стул поближе к остальным и, вытянув вперед ноги, глядит на свои тяжелые башмаки. «В селе действительно что-то назревает,— думает он.— Вопрос только в том, какую от всего этого можно извлечь пользу».

— На всякую болезнь есть лекарство,— тихо говорит он.

— Тут не лекарство нужно, а совсем другое! — обрушивается на него Гербеди.

— А если в лекарстве нет надобности, считайте, что я ничего не говорил! — И Тарнок, демонстрируя перед всеми оскорбленное самолюбие, пожимает плечами и резко отодвигает стул.

Воцаряется тишина. Все напряженно думают. С безнадежным выражением смотрит на Эсеньи пастор. В его голове сразу возникают самые разнообразные мысли. Он думает об Ирене Надь и завещанных ею церкви ста шестидесяти хольдах земли, об американских посылках, к которым не приложено никаких указаний о порядке их раздачи. Неожиданно ему кажется, что он обрел в себе такую же моральную силу и право, как в тот момент, когда раздает просфоры, причащает верующих и отпускает им грехи. Ему кажется, что собравшиеся здесь будут покорны ему, как мухи, тонущие в сметане.

Капитан Дьери тоже вспоминает свою богатую событиями

жизнь. Ему только и остается, что утешать себя воспоминаниями,— на будущее надежда плохая.

— Я готов на все. Умру на своей меже, а землю в кооператив не сдам! — грозит Гербеди.

— Умереть — дело легкое, жить — куда трудней,— замечает пастор.

Наконец вступает в разговор капитан Дьери.

— Только трусы так легко отказываются от жизни. Борьба, собственно говоря, теперь и начинается. На нашей стороне почти двухтысячелетняя культура. Кроме того, с нами старая, испытанная интеллигенция, да и земля в наших руках. При таком соотношении сил никак нельзя проиграть.

— Что же мы должны делать? Пойти против них, а потом...

— Нам самим ничего делать не нужно, за нас должны действовать другие. Делать самим или заставлять других — большая разница.

«Тут можно поживиться!» — думает Тарнок и снова придвигает стул поближе.

Его преподобие тоже испытывает некоторое облегчение. Кулаки, и те как будто глядят веселее.

— Как же ты себе все это представляешь, милейший? — спрашивает пастор капитана.

Но отвечает Тарнок. Он чувствует, что наступило его время предложить выход — стало быть, крепче держи вожжи в руках!

— Дело это проще пареной репы!

Однако пастор совсем не так легковерен.

— Время покажет, почтенный Тарнок,— говорит он и поворачивается к капитану.— Если бы все обстояло так просто: одни за кооператив, другие против! Но ведь есть колеблющиеся, сомневающиеся. А их немало...

Теперь отвечает уже капитан:

— Я не верю, что большинство крестьян стоит за производственный кооператив. Вот мы и не должны допустить, чтобы это случилось. Они создали кооператив? Ну что ж, пусть будет так; может, это даже к лучшему. Не стоит задевать их. В крайнем случае, мы всегда найдем способ дать им понять, что не одни они на свете,— злобно говорит он.— Но позволить им стать на ноги нельзя. Необходимо прощупать все село, но свои силы не сплачивать на виду, а держать рассредоточенными. Так им труднее будет узнать, откуда дует ветер. Мы их окружим, обнесем настоящим рвом! Да неужели мне нужно вас этому учить? В конечном счете, я всегда был настроен демократически. К тому же, я не владею таким состоянием, чтобы мог за него бояться. Если нам удастся изолировать зачинщиков от массы, ручаюсь — у них все провалится. Только скомпрометируют самую идею. Тогда им крышка!

— У всех у нас есть родственники, близкие друзья...— повышает голос Эсеньи. Но его преподобие показывает рукой на окно:

— Потише, потише, уважаемый Эсеньи.

Тот поворачивает голову к окну и повторяет уже почти шопотом:

— У каждого из нас есть родные, друзья. Стоит только поговорить с ними: сначала с одним, потом с другим...

Все почувствовали облегчение. Анна Кокаш незаметно заглядывает в большое трюмо и нерешительно поправляет прическу. Из спальни бесшумно выходит жена пастора. Она на ходу штопает чулок, будто желая этим доказать, что в доме царит бедность, заставляющая хозяев с замиранием сердца ждать американские посылки.

Ференц Тарнок несколько мгновений не сводит пристального взгляда с дырявого чулка в руках пасторши. «К чорту все это! Ишь, чего придумали: чужими руками жар загребать! А впрочем... весь вопрос в том, сколько мне удастся на этом подработать».

2

Как обычно в предвечерний час, на улице не заметно особого оживления. Разве только изредка медленно проедет возвращающаяся с поля подвода, груженная кукурузой, тыквами или просом, или пройдут пешеходы с заступами и секачами на плечах. Девушки и женщины направляются к артезианскому колодцу. Прислонившись плечом к косяку, чтобы не мешать желающим войти, стоит в дверях своего заведения корчмарь Чикоштот. Он заглядывает в глаза прохожим.

— А ты тоже вступил? — спрашивает он у Балажа Фюреса, который тащит к колодцу ведра.

— Я?.. Пока нет.

— А собираешься?

— Пока ни да, ни нет,— отвечает Балаж Фюрес и старается побыстрей пройти мимо.

Он здорово задолжал корчмарю — так загулял после возвращения из плена, что и по сей день с ним не расплатился. И вот теперь не знает, как бы сказать Чикоштоту, чтобы тот еще немного подождал с долгом...

— Что ж, вступай, раз считаешь нужным. По крайней мере, если побьет градом вашу пшеницу, то всю разом,— бросает ему вслед Чикоштот, не разжимая рта, словно у него болят зубы.

Мимо корчмы проходит Гашпар Чер. Чикоштот заговаривает и с ним, но Фюрес уже далеко и не слышит их беседы.

Возле артезианского колодца собралось много народу. Из трубы медленно, капля за каплей, течет вода. Все с таким видом окружили колодец, будто разглядывают на базаре товар. Фюрес останавливается, дожидаясь своей очереди.

Сейчас набирает воду жена богача Гербеди. Вот она ставит на землю полное ведро и на подставку пустое. Фюрес не верит своим глазам: на женщине надета старая, поношенная блузка. Да и

юбка потрепана... Богачка вышла к колодцу босиком, шлепает по осенней грязи своими белыми, как молоко, ногами...

— У вас не мерзнут ноги, госпожа Гербеди? — с удивлением спрашивает ее одна из женщин, обутая в тяжелые мужские башмаки.

— О, где им мерзнуть! Они у меня привычны. Да и что поделаешь, если даже мерзнут? Ботинок у меня всего одна пара, не могу же я их носить каждый день, нужно приберечь хоть на воскресенье,— отвечает кулачка, поспешно забирая ведро. Осторожно скользя по грязи, она отходит от колодца. Взглянув на Фюреса, замедляет шаг.

— Добрый вечер, Балаж, давненько мы тебя не видели. Намедни муж говорил, что с тех пор, как ты вернулся из плена, нас обходишь. Почему бы тебе не заглянуть к нам?

Балаж Фюрес в ответ бормочет что-то невнятное. В сорок первом и сорок втором году он немало поработал на Гербеди. Что сталось вдруг с этой женщиной? Неужто она так изменилась? Ведь раньше готова была душу вымотать у бедного человека.

Да, конечно, она сильно изменилась. Вернее, все больше и больше меняется, как луна в небе. Сегодня, к примеру, она совсем не та, какой была до организации производственного кооператива. А в этот вечер ее прямо не узнать: держа в руке половник, вертится по кухне вокруг трех поденщиков. Следит, не опорожнилась ли у кого тарелка, чтобы снова ее наполнить.

— Ешьте, Лайош, Шани и вы, Йожи! Ешьте, голубчики, не жалейте хозяина! Не такие уж мы плохие, хоть нас и зовут кулаками.

— А фасоль-то как хороша! Очень хороша,— говорит сам Гербеди, сидя в конце стола. Он придвигает жене почти пустую тарелку. До этого вечера он не садился за стол со своими работниками и никогда не ел с ними из одного котла.

— Самая лучшая на свете фасоль — настоящее мясо! — шутит Модьороши, делая вид, что пытается подцепить в миске огромную кость.

На дворе гремит цепью собака, слышен злобный лай, кто-то идет к дому. Кулачка ставит горшок на стол и выходит на веранду. «Должно быть, Балаж Фюрес»,— думает она. Но это не он, а шурин хозяина.

— Сервус! Твой дома?

— На кухне ужинает. Что нового?

— Больших новостей нет. Объединились окончательно, но если у них так пойдет дело и дальше, все кончится пустяками.

— Так-то оно так, да только нам теперь зевать не следует. Заходи же! — И, шагая впереди брата, хозяйка входит в кухню.

Так уж повелось испокон веков, что люди в осеннюю пору ходят друг к другу в гости. Нынче, правда, они собираются не затем, чтобы скоротать время. Есть другой предлог. И в самом деле, в селе почти нет такой улицы, где бы в четырех-пяти домах не говорили о производственном кооперативе.

На следующее утро Лайош Модьороши уже совсем в другом настроении запрягает лошадей во дворе богача Гербеди. Хоть и наелся он вчера до отвала и ушел домой веселый, сейчас от него нельзя добиться ни слова, сколько ни суетятся вокруг него Гербеди с супругой. За всю ночь Модьороши почти не сомкнул глаз. А вдруг прав Бердеш, а не богач Гербеди? В сорок пятом году поверил он богачам, не явился на раздел земли и основательно за это поплатился. Нынче опять очутился между богачами и Бердешами. Что из этого выйдет?

Лайош в школу не ходил, читать и писать почти не умеет, вырос в помещичьих сараях для сушки табака. Никогда еще он не стоял на собственных ногах. А ведь у него семеро ребятишек, и уже два года болеет жена.

— Веди себя с умом, и мы останемся хорошими друзьями,— внушает ему хозяин, гладя ладонью круп пристяжной.

Модьороши молчит. Он усаживается на подводу, берет в руки вожжи и кнут. На воз поспешно садятся еще два молодых работника, и хозяйка отворяет ворота.

— В полдень я к вам загляну,— напутствует их хозяин.

Батраки богача Гербеди отправляются убирать кукурузу.

На улице не заметно ничего из ряда вон выходящего. Только как будто побольше, чем обычно, людей без дела стоят у калиток, словно только недавно мимо прошло свадебное шествие. Все о чем-то говорят между собой, провожая глазами подводу Гербеди. В католической церкви звонят к заутрене, две старушки, шаркая ногами, входят в храм божий. Позади церкви стоят несколько человек; один из них, размахивая кулаком, что-то громко объясняет. Но все это пока пустяки, у кого из крестьян не бывает какой-нибудь беды!

Перед старой школой собралось столько народу, что пробраться вперед можно только с большим трудом. Люди толпятся на улице, возле управы. Лишь вблизи самой школы образовалась широкая прогалина, словно тут пашня с посевом и на нее не хотят ступать. Модьороши с возрастающей тревогой направляет лошадей прямо на толпу, которая неохотно и неторопливо расступается и, пропустив подводу, вновь смыкается. Стоит всеобщий гомон, люди что-то объясняют друг другу, с любопытством поглядывая на школу.

Модьороши сразу замечает прибитую к стене школы доску с надписью:

ВЕНГЕРСКАЯ НАРОДНАЯ РЕСПУБЛИКА

ПРАВЛЕНИЕ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО КООПЕРАТИВА
«СВОБОДА»

Лайош прячет голову в воротник, по очереди стегает коренников и огревает кнутом пристяжную. При этом он оглядывается с таким испугом, словно только что спасся от грохочущего позади поезда. Люди, подпрыгивая, как блохи, отскакивают в сторону от мчащихся лошадей.

Непрерывно позванивая, появляется на своем велосипеде Имре Шаркези. Машина его довольно много послужила на своем веку, зато звонок на ней установлен совершенно новенький. Шаркези едет быстро и не собирается тормозить. Рукава рубашки у него закатаны, к багажнику привязан небольшой узелок. В толпе образуется брешь наподобие тропинки. Только жена Тарнока не двигается с места, и велосипед чуть не задевает ее.

— Смотрите-ка, этот зверь еще, того гляди, наедет! — кричит она. В эту минуту жена Тарнока похожа на фурию с картинки на старом календаре, которая взирает на ангела счастья.

Начинаются толки о Шаркези. Но они, пожалуй, касаются скорее не самого Шаркези, так как люди говорят о многих. Их занимает не столько Шаркези, сколько привязанный к багажнику его велосипеда узелок. Тут опять кроется какая-то тайна, разгадать которую никто заранее не может.

Женщины белят известкой стены старой школы; теперь это уже дом кооператива «Свобода». Они с живейшим любопытством снимают с велосипеда узелок: что в нем такое? А между тем, он не заключает в себе ничего особенного: всего-навсего новую щетку, малярную кисть, два килограмма охры и тому подобное.

Шаркези смотрит на веселых смеющихся женщин, и в душе у него рождается такое чувство, будто они принадлежат к его собственной семье... Хотя все они разные и по внешности, и по возрасту. Одна из них — его жена, Рожи Фаркаш, другая — жена Лайоша Бердеша, третья — жена Папа, четвертая — Шари Фейер, супруга Тержек-Вига.

Какие они все сейчас красивые и милые! Правда, жена Бердеша одета до безобразия неряшливо — ведь для такой работы принято надевать самую ветхую одежду,— к тому же, она босая. Зато на жене Йошки Папа изящные маленькие сапожки с блестящими твердыми голенищами. Она сегодня оделась так, будто пришла не работать, а выполнить особый обет или, по меньшей мере, на праздник. Шари Фейер, у которой вещей вообще-то не так уж много — какие-нибудь два-три платья,— явилась в своей обычной одежде. Она никогда раньше, и тем более в прежние времена, не занималась побелкой и теперь только учится. Шари вся в известке — руки, плечи, лицо и даже подол платья. Как ни старается она сохранить опрятный вид — ничего не получается.

Женщины водят кистями по стенам. Пустая комната звенит от смеха и болтовни, солнечные лучи свободно льются с улицы внутрь помещения. В это время в раскрытое окно заглядывает женщина.

— Белите колхоз, красавицы? — с издевкой спрашивает она, шныряя глазами по комнате.

Женщины сразу прекращают работу. Кисти, словно пики, выстраиваются в боевую позицию. Шари Фейер, не раздумывая, поднимает кисть и мажет ею по лицу насмешницы.

Кисть, похожая на ободранную, грязную кошку, молнией сверкает перед глазами обидчицы. Женщина быстро хватается за по-

доконник и откидывает голову. По ее подбородку и груди течет известка. Попав в рот, известь кажется сначала сладковатой на вкус, потом кислой и, наконец, терпкой и горькой, как сок болиголова. Женщина в ужасе — ей кажется, что пришел конец света, что она ослепла. В глазах такое ощущение, будто их вырывают из орбит. Ничего не видя, с замазанным лицом, непрошенная гостья спрыгивает с окна и, причитая, бежит наугад, сама не зная куда.

— Шари, зачем ты так? Еще глаза ей выест! — с тревогой укоряет ее жена Йошки.

— Да что ты! — возражает тетушка Бердеш.— Сколько ни живу на свете, ни разу еще не видела, чтобы кто-нибудь ослеп от известки. А этой так и надо, пусть не лезет!

Шаркези тоже с опасением выглядывает в окно, как бы не случилось беды. Ему кажется, что Шари перехватила через край. Но кругом ни души; Шари своей кистью словно вымела всю улицу. Ротозеи, крикуны и зубоскалы бесследно скрылись.

Работа спорится. Кисти быстро скользят: двое белят потолок, двое мажут стены. Шаркези с любопытством смотрит, как Шари Фейер держит в руках кисть. Нельзя сказать, чтобы она хорошо это делала; берет она не столько умением, сколько величайшим старанием. А для таких женщин, как Шари Фейер, это много значит. Нет-нет да и глянет она одним глазом на работу соседок, однако вскоре убеждается, что так не научишься, каждый мазок кисти ложится по-своему.

В одном месте стены требуют одной отделки, в другом — иной... Этому необходимо упорно учиться, иначе дело не пойдет... Сначала она выводит по стене затейливые фигуры и дуги, стараясь, чтобы ее непослушные руки составляли одно целое с деревянной ручкой кисти. Вкус и ритм работы Шари воспримет лишь много позже: не сразу проникает в душу человека незнакомая музыка, но если уж он почувствовал ритм, остальное придет само.

— Дело идет на лад, Шари! — говорит довольный Шаркези.

В ответ Шари только смеется. Затем снова поворачивается к стене, и ее кисть опять скользит взад и вперед.

— А что поделывает господин Виг? — спрашивает Шаркези.

— Господин Виг?.. Можете себе представить, сегодня утром съел вот такую гренку,— показывает руками Шари,— а потом еще выпил целую чашку чаю.

— Ну вот видите...

И Шаркези идет проведать Тержек-Вига.

Лайош Тержек-Виг уже не лежит, а сидит на кушетке, опираясь спиной на каменную колонну. Колени его подняты, он что-то подсчитывает на бумаге.

— Доброе утро, господин Виг! Чем вы тут занимаетесь?

— Да вот прикидываю, товарищ, на кого может опереться производственный кооператив и на кого он не должен рассчитывать... А многие, как вы знаете, ни туда ни сюда, ни да ни нет.

— Это как раз то, чего доподлинно сейчас не узнаешь.

— Точно не узнаешь, но учесть это необходимо. Вот, к примеру, в усадьбе Барань живет важный господин. Земли у него немного, но расположился он в большом помещичьем доме, может, даже купил его. Во всяком случае, живет и здравствует, а стало быть, стоит нам поперек дороги. Затем в селе имеется двенадцать кулацких дворов, три церкви, считая баптистскую молельню, семь трактиров, двенадцать ремесленников, сто восемьдесят старых хозяев... Времени у меня теперь хватает. Вот я от нечего делать и подсчитываю...

Шаркези с удивлением смотрит на Тержек-Вига: он и не думает умирать. Да, оказывается, и человек он интересный. Чего только не делал Тержек-Виг, чтобы удержаться на поверхности, сохранить свой котелок и крахмальную манишку. За свою жизнь он прошел огонь и воду: в юности участвовал в рабочем движении, затем вступил в ремесленную корпорацию, а от нее пришел к церкви. И вот сейчас, еще не успев оправиться от болезни, с головой окунулся в самый водоворот всего происходящего в селе. Очевидно, из этого человека еще может кое-что получиться.

— А с чего бы вы начали, будь это в вашей власти?

Лайош Тержек-Виг чешет затылок.

— С чего бы я начал, товарищ? Во-первых, закрыл бы, по крайней мере, пять трактиров, потому что трактир — рассадник человеческой глупости. А затем сменил бы здешнего реформатского попа.

— Не забегайте вперед. Насчет трактиров можете не беспокоиться, судьба их предрешена. Но кому быть пастором — это внутреннее дело церкви, и мы в него вмешиваться не можем. Конечно, до той поры, пока для этого не будет основательной причины... Как же можно принять ваше предложение?

— Жаль, что мы не имеем права вмешиваться.

— Согласен. Однако с этим ничего не поделаешь. Но что вы еще скажете?

— Ах, если бы я был в состоянии сразу все сказать... Но одно знаю: нам нельзя медлить, надо стать на ноги, и притом как можно быстрее. Иначе кулаки соберутся с силами и придавят нас, как обвалившаяся стена — мышь.

Шаркези все это хорошо знает и сам, ему известно значительно больше,— стало быть, Тержек-Виг не сказал ничего нового. Тем не менее секретарь задумывается. Вот перед ним человек с совершенно запутанным прошлым, только-только оправившийся после болезни. Но он так же верно анализирует положение в селе, как это сделал бы любой секретарь партийной организации, и, пожалуй, даже лучше. Например, Бердешу не так ясны все эти взаимосвязи, но Бердеш суров и решителен, а Тержек-Виг кажется хоть и умным, но мягкотелым человеком. И все же для кооператива люди, подобные Тержек-Вигу, очень ценны. Нет у них ничего, что тащило бы их вспять, назад им идти нельзя, только вперед!

Но, с другой стороны, от безземельных, неимущих людей пользы для кооператива все-таки будет мало.

— Хорошо, товарищ Виг.— Нелегко ему назвать Вига товарищем, но Шаркези чувствует, что это льстит Тержек-Вигу, и ему хочется сделать приятное этому человеку.— Мы подумаем над тем, что вы сказали. Если возникнет какая-нибудь новая мысль или идея, прошу сообщить мне. Будем помогать друг другу как можем.

3

Шумные протесты против производственного кооператива вспыхивали, как только люди в свободные минуты собирались вместе. А на следующей неделе во вторник — это был базарный день — дело чуть не дошло до драки. Произошло это так.

Бердеш и Шаркези спешили в партком. Утром обещал приехать Кульчар, и они собирались обсудить с ним вопрос о размежевании земли. Вопрос этот назрел давно, время не ждет, пора сеять. Со времени организации кооператива Бердеш и Шаркези не в первый раз шли вместе по селу, не впервые слышали у себя за спиной злые словечки, издевательские выпады и двусмысленные угрозы. Однако они твердо решили не вступать ни с кем в перебранку, по возможности терпеть все. Если их начинают расспрашивать и при этом говорят такое, на что невозможно смолчать, они отвечают спокойно и сдержанно, ни при каких обстоятельствах не позволяя, чтобы дело доходило до открытой ссоры.

На базар привозят обычно то, что хочется продать: редиску, яблоки, помидоры, связки веников, молоко, сметану, творог, масло, цыплят, жирных уток и гусей — словом, все, чем богат сельский житель. Сегодня на базаре мужчин мало, больше торгуют женщины. Они раскладывают на широкой обочине возле канавы в два ряда свои товары и без конца болтают и шумят. Базар тянется от дома, где помещается партком, почти до церкви. Вдоль этих торговых рядов проходят Бердеш и Шаркези.

В самом конце ряда вдова Дани Петака, муж которой был при жизни свинопасом, продает жареную тыкву. Увидев приближающихся к ней мужчин, она сплевывает в сторону и кричит:

— Вот идут два злодея! Это они продали село. Это они заводят здесь на нашу голову кооператив!

Бердеш становится красным, как перец, Шаркези, наоборот, бледнеет. Но делать нечего, остается продолжать путь дальше. А базар уже гудит, как улей, многие начинают даже выкрикивать непристойности. Некоторые из женщин грозят кулаками и поднимают невообразимый шум, словно спугнутые на насесте куры.

Бердеш сегодня впервые надел на больную ногу сапог и потому слегка волочит ее — сапог еще не разносился и немного жмет. Старик держит в руках палку с таким видом, будто находится на далеком степном хуторе, среди злых собак.

— Которую огреть по голове? — осклабясь, спрашивает он у Шаркези.

— Ни одну, дядюшка Лайош. Ко всем этим выходкам придется привыкать. Это только цветочки, а ягодки впереди.

— А вот задам я им перцу! Покажу им... так их растак!..

— Ведь товарищ Кульчар предупреждал об этом... Но мы все же думали, что в нашем селе классовой борьбы не будет. А выходит, мы в ней увязли по самое горло.

Бердеш теперь ругается про себя. Пусть, дескать, думают, что его совершенно не задевают все эти выкрики.

На углу близ парткома стоит какой-то мужчина, держа подмышкой веник. Он молча вслушивается в нарастающий шум, затем так же молча присоединяется к Шаркези и Бердешу. На ходу он здоровается с обоими спутниками.

— Сабадшаг! — произносит этот человек, пожимая им по очереди руки.

— Сабадшаг!

Это Лайош Кошут-Киш, в прошлом человек известный во всей округе. В девятнадцатом году крестьяне под его началом впервые вспахали для себя помещичьи поля. Тогда румынские королевские войска * угнали из имения волов и всю скотину, и крестьяне за треть урожая засеяли помещичьи земли. Бывшего приказчика Лайош потом назначил управляющим имением, а себя именовал правительственным комиссаром. Впрочем, на это у него имелся документ от правительства Венгерской Советской Республики. Осенью крестьяне действительно убрали и свезли к себе богатый урожай. За это Лайош Кошут-Киш потом отсидел полтора года в тюрьме. После заключения он еще время от времени подавал голос, но мало-помалу принужден был притихнуть, не имея сил спорить с властями. Сейчас дети его выросли, расправили крылья и разлетелись в разные стороны, а Лайош Кошут-Киш одиноко живет в селе со своей старушкой.

Еще по дороге он начинает утешать Бердеша и Шаркези:

— Не слушайте их, товарищи. Собачий лай в раю не слышен.

— Я устрою им такой рай!..— злится Бердеш.

Но ему приятно узнать, что такой человек, как Лайош Кошут-Киш, хоть и не вступил в кооператив, все же на их стороне.

Шаркези открывает дверь.

— Скажите, дядюшка Лайош,— спрашивает он,— мыслимо ли, чтобы такая бедная женщина, как вдова Дани Петака, на всех перекрестках с такой злобой высказывалась против нас?

— А вы разве не знаете, что она собой представляет? Ведь ваш первейший долг хорошенько присмотреться к каждому человеку. Эта женщина в прежние времена была приживалкой у богачей и сейчас кормится на их счет.

— Вот позвоню сейчас по телефону Канья-Кишу... Посмотрим, как она будет кричать, очутившись в полиции,— грозится Бердеш.

Но Шаркези на этот счет другого мнения.

— Многие из тех, кто сегодня наши враги, дядюшка Бердеш, завтра будут в наших рядах.

— Жди, пока-то она будет с нами!

— Речь идет не о ней одной, о всех таких бедняках, дядюшка Бердеш.

— Хорошо. Время покажет, кто из нас прав.

Все трое входят в дом.

Ключ от комнаты парткома находится у Шаркези. Он несколько дольше обычного возится с замком. «Да,— думает он,— положение день ото дня усложняется».

— Попрошу вас сказать старосте, товарищу Хедье, чтобы он принес все дела,— говорит он Бердешу.

— Староста будет здесь в девять, как раз к тому времени, когда понадобятся бумаги. Все бы так справлялись со своими обязанностями, как товарищ Хедье...

И действительно, ровно в девять часов появляется староста.

— А где товарищ Кульчар? — спрашивает он, входя.

— Его пока нет, но он сейчас приедет. Принесли?

— Принес. Вот, взгляните!

Придвинув стул к большому столу, Хедье садится, раскладывая перед собой бумаги.

Гашпар Хедье — мужчина в летах, слывет шутником, за что его все любят. Веселое настроение почти никогда его не покидает. Как-то раз в слякоть Хедье был на земляных работах. Плечи его прикрывал облезший, поношенный зипунишка. Человек мерз так, что его не могла согреть даже нагруженная доверху тачка, которую он толкал. Тогда Хедье принялся насвистывать залихватский чардаш и, наконец, сам пустился в пляс по насыпи. После освобождения Хедье — в прошлом крестьянин-бедняк — вступил в коммунистическую партию и, начиная с сорок седьмого года, работает сельским старостой.

— Все данные имеются?

— Все. Разумеется, только относительно тех, кто сдает землю в аренду. Вот Янош Васнаш-Надь... У него сто шестьдесят хольдов. Сам их не обрабатывает. На его земле шесть мелких хозяев. Арендная плата у всех разная. Один обрабатывает двадцать четыре хольда и платит Яношу ежегодно по три центнера пшеницы с хольда. Кроме того, к новому году обязан дать свинью весом в сто шестьдесят килограммов, на святки — десять индюков. Вы думаете, это все? Нет, к концу ноября от него требуется восемь откормленных гусей и ежегодно двести штук яиц да подводу на три ездки: один раз в Чабу, другой — в Дебрецен и третий — куда-нибудь еще. Другой арендатор платит за каждый хольд земли по три с половиной центнера пшеницы. Да и свинью он должен отдать потяжелее, весом в сто восемьдесят килограммов, и гусей и индюков побольше. И у других то же самое...

— Такова обычная арендная плата в нашем селе,— в раздумье замечает Шаркези.

— Именно. А теперь перейдем к самому главному, товарищи. У Васнаш-Надя и Анны Кокаш свои тракторы,— это в порядке вещей. Владеют тракторами также Гербеди и Ференц Вираг. У них земля только частично сдана в аренду. И вот, послушайте... В договоре сказано, что арендатор обязан каждую осень вспахивать землю трактором, причем именно трактором хозяина, уплачивая за вспашку одного хольда земли сто форинтов. Вы понимаете, что это такое? Здесь-то и зарыта собака!

Хотя присутствующим хорошо известно, что дело обстоит именно так, они с удивлением поднимают глаза на Хедье. Все выглядит по-одному, когда факты преподносят в обобщенном виде, и совсем по-другому, когда они подменяются отрывочными сведениями, основанными только на слухах.

Входит Сито. Он останавливается у дверей и оглядывает Хедье и своих товарищей.

— Ну, а налоги... и прочее? — спрашивает Лайош Кошут-Киш.

— Что касается налогов, то они тоже разделены на две равные части,— отвечает староста Хедье.— Одну уплачивает арендатор, другую — хозяин. Но это еще пустяки; послушайте, что происходит дальше. Вот вам земля попа, завещанная церкви артисткой Иреной Надь. Тут дело куда сложней; я говорю о так называемом «капустном огороде». Вся его площадь разбита на клочки, по двести квадратных саженей в каждом. Арендуют их самые бедные, у которых хоть и имеется кое-какая землишка, но нет огорода или если есть, то совсем крохотный. Конечно, можно назвать и таких арендаторов, у которых есть пять-шесть подобных участков. Все они сначала тоже оплачивали аренду натурой, но вот уже год, как она заменена деньгами. Плата эта неодинакова и устанавливается в зависимости от расположения участка — на возвышенности он или в низине... Но в обоих случаях арендная плата составляет большую сумму.— И Хедье вопросительно поглядывает на товарищей.

— Сколько приблизительно? — спрашивает Шаркези.

— Приблизительно... двести шестьдесят — двести восемьдесят форинтов за хольд. Кроме того, арендаторы вносят и все налоги, а также выполняют государственные поставки. А поп, или церковь, или еще чорт его знает кто, тот ничего не платит. Все, что получает поп,— его чистый доход.

— Ну, дядюшка Бердеш! Что я вам говорил? Сами видите, земли здесь хватает с излишком! — обращается Шаркези к Бердешу.

У того сначала поднимается одна бровь, потом другая. Опустив их, старик замечает:

— Да. Но, хоть это и кулацкие земли, прикасаться к ним, сынок, нельзя.

— Нет, они уже не кулацкие, а земли мелких арендаторов. Это точно установлено законом еще год назад. Впрочем, приедет товарищ Кульчар, он разъяснит, на что мы имеем право.

В дверь заглядывает пожилая женщина. Озираясь по сторонам, она обращается к Кошут-Кишу:

— Поди-ка сюда!

Лайош Кошут-Киш молча выходит. Появляются Бенце и Михай Бири. Одновременно на улице раздается автомобильный гудок: это приехал Кульчар.

— Сабадшаг! — входя, весело приветствует он присутствующих и по очереди пожимает всем руки.— Стало быть, приступим к размежеванию?

— Приступим, товарищ секретарь. Пока не поздно, надо начинать сев.

— Разумеется. А что вы подготовили? Чем располагает кооператив?

— У членов-учредителей есть пятьдесят девять хольдов. Затем вступил Кеньереш, он сдал двенадцать хольдов. Итого, значит, семьдесят один хольд.

— Маловато. Нужна еще земля.

— Взять бы крупные участки, которые сдаются мелким арендаторам,— говорит Хедье.

— Сколько там приблизительно?

— Если хотите знать точно...— староста подсчитывает не на бумаге, а в уме,— у них около пятисот хольдов.

— Пятьсот — для вас многовато. А кто хозяева этих участков?

— В основном три кулака да пастор. С тех пор, как я себя помню, их земли всегда арендовали бедняки. Я думаю, их можно будет получить для кооператива.

— Конечно, можно. Только следует установить арендную плату, разумеется, не такую высокую, какая была до сих пор. На мой взгляд, она поистине ростовщическая.

— Ростовщическая?.. Пожалуй, еще хуже.— И Хедье снова начинает перечислять суммы, выплачивавшиеся за тот или иной земельный участок.

— Как в средние века,— задумчиво замечает Кульчар.— Но правительственный декрет, наконец, разрешил и этот вопрос. Закон ясно устанавливает, какие арендованные земли при размежевании отчуждаются в собственность производственных кооперативов. Кстати, земельный реестр и карты имеются? — спрашивает секретарь.

— А как же иначе? Хранятся в сельской управе,— отвечает Хедье.

— Сейчас пойдем туда. Скорей бы уже приехал этот землемер. Фонадь звонил, что посылает его сюда прямо из области.

В партком приходят все новые и новые посетители. Тут не только крестьяне, вступившие в кооператив. Сюда, как к себе домой, заходят и те, кто пока еще не вошел в него. И вот сейчас те и другие, собравшись вместе, чувствуют себя несколько необычно. Члены кооператива с памятного дня учредительного собрания ведут себя совсем иначе. Им сейчас кажется, что они уже

прошли большое расстояние, а люди, сидевшие дома на печке, волей-неволей отстали и не могут с ними сравниться ни в знаниях, ни в силе.

Янош Форраш останавливается то около одного, то около другого и вздыхает, словно хочет напомнить о себе: «Поймите же, наконец, до чего я страдаю. Но что же, добрые люди, прикажете мне делать с четырьмя беспомощными стариками?..»

— Мы с вами, товарищи. Скажите слово, и мы вам поможем,— обращается он к присутствующим, но его высказывания никого не интересуют: сейчас дело идет о вещах куда поважнее, чем пустая болтовня.

Землемер приезжает на машине Фонадя. Он собирается предварительно ознакомиться с обстановкой. Вместе с ним все отправляются в сельскую управу, а оттуда в помещение кооператива.

Базар уже заканчивается. Вдова Петак со злостью увязывает в фартук непроданную жареную тыкву — торговли не было никакой. Непонятно... У других на огороде тыкв почти нет, у нее их полно. Казалось, на ее долю выпала особая удача и тыквы будут в цене. А вышло совсем не так... И она решает зайти к пастору: не удалось распродать, хоть подарит.

Окно в доме пастора то открывается, то закрывается. Когда оно закрыто, трудно узнать, что происходит на улице. Но вот в дом входит тетушка Петак; она, между прочим, и без того нередко захаживает к пастору постирать, погладить или сварить мыло. Она передает новость: скоро, мол, начинается размежевание земли.

Пасторша, стоя на коленках, раскладывает в шкафу белье. Во время разглагольствований тетушки Петак она продолжает заниматься своим делом, мельком посматривая то на мужа, то на крестьянку, и молчит: пусть муж поступает как знает.

Пастор, конечно, все уже понял и сразу принимает решение: безотлагательно нанести визит патеру.

Последнее время оба священнослужителя встречались редко. Это объяснялось тем, что они люди совершенно различных характеров. То, что один — слуга реформатской, а другой — католической церкви, не препятствовало их дружбе; расхождения между ними возникли отнюдь не по религиозным вопросам. Эрне Пепи любит находиться в кругу семьи и шумной компании; ему нравятся пышные ужины, он привык, чтобы крестьяне ходили к нему на поклон. Карой Пинцеш, наоборот, человек иного склада: он живет уединенно в богато убранной квартире, собирает дорогие книги. Однако в настоящий момент обоим священникам нужно предпринять что-то сообща: беда-то ведь общая.

Патер еще совсем молодой человек. Отец его был каменщиком и работал в далеком городе. В один погожий весенний день, ремонтируя церковную крышу, он свалился с нее; мать овдовела, и будущий патер остался сиротой. Карою в то время было не больше шести лет. Хорошо еще, что церковь не оставила на произвол судьбы вдову и ее сына. Мать стирала белье, убирала в приход-

ском доме, а маленький Карой был отдан в начальную школу. Затем его послали учиться в семинарию. Всему этому он был обязан церкви. Так из него и вышел патер.

Испокон веков существует обычай, что личная библиотека священника после его смерти переходит в библиотеку епископа. Как известно, попы тоже смертны, и стоило кому-нибудь из них покинуть бренный мир, как уже в деревне запрягали лошадей, укладывали на подводу принадлежавшие покойнику книги и увозили их в город. Крестьянин останавливал лошадь перед епископатом и сбрасывал книги в подвал. Там собирались их целые горы, и Карой Пинцеш в течение летних каникул занимался тем, что разбирал и сортировал их.

В летнюю пору из окон библиотеки, которые находились на одном уровне с тротуаром, виднелись разгуливавшие по улице люди, вернее их ноги и ботинки. Всех их — мужчин и женщин, девушек и юношей — тянуло в теплые вечера на улицу. Они проходили перед окнами то в одиночку, то парами, то группами, весело болтая. Шли рядом влюбленные — одни держась за руки, другие под руку, третьи легонько прижимаясь друг к другу. Топ-топ-топ отбивали такт сандалии, туфли, ботинки, а Карою Пинцешу казалось, что самый ритм движущихся ног рождает музыку. Никогда в жизни не доводилось ему видеть столько ног, подолов, ботинок, туфель, коленок, лодыжек, чулок, слышать столько смеха! Казалось, все эти разноцветные — шелковые и бумажные — чулки горели и переливались всеми цветами радуги; были среди них и такие, которых не отличишь от цвета тела. И семинарист Карой Пинцеш, прильнув к окну библиотеки, жадно впивался глазами в женские ножки, проходящие мимо дома по благоухающей цветами улице.

Он вспоминал иногда своего отца, который упал с крыши, и мать, тоже навсегда ушедшую из его жизни, как и эти люди, проходящие мимо его окна. Неужели весь смысл бытия заключен только в том, что люди приходят и уходят? О, хоть бы раз кто-нибудь нагнулся к его окну, на мгновенье встал на колени перед ним и, прижавшись лбом к стеклу, заглянул в глаза Кароя! Сколько мужчин, сколько девушек! У каждого и у каждой есть хоть кто-нибудь на свете: отец, мать, возлюбленная. А у него нет никого! Только книги! Отсыревшие, ветхие, слипшиеся от сырости, холодные, даже в самый жаркий летний день! И юноша знал, что в этих книгах нет ни тени пощады, ни капли милосердия. Они свалены в беспорядочные груды, над ними витает пропахший ладаном дух умерших священников. Так думал молодой Карой... Словом, вот каким образом Карой Пинцеш стал патером.

От реформатского прихода до католической обители дорога не так уж длинна. Однако Эрне Пепи все же имеет время подумать, какой тон принять ему в разговоре с Пинцешем. Тот ли, который присущ священнослужителям, когда они беседуют по церковным делам, или тот, каким они разговаривают между собой по делам мирским? А может быть, вести с ним беседу так, как это

должен делать реформатский пастор, имея дело с католическим патером? Или, может быть, говорить с ним учтивым языком, как по всему свету ведутся беседы между благородными людьми? Да, именно между благородными людьми! Их язык — самый богатый, истинно международный; естественно, что люди разных вероисповеданий легче всего могут объясняться именно на нем, говорил он себе. И в памяти Эрне Пепи тотчас всплывают правила произношения иностранных слов по словарю Горовица.

Дом католического священника приветливое, уютное на вид здание. Два широких окна на его южной стороне выходят на улицу. Это окна жилого помещения. Вход в приходскую канцелярию со двора; большое окно канцелярии смотрит на восток; под окном разбит цветник. Между канцелярией и жилыми комнатами вклинилась прихожая; на западной стороне здания находится кухня, а за ней небольшая кладовая. Маленькая, но широкая веранда частично открыта, частично застеклена. Вот, собственно говоря, и весь дом.

Сейчас десять часов утра, и Карой Пинцеш находится в столовой. Он занят серьезным делом: сидя на стуле орехового дерева, маленькими ножницами срезает ноготь на большом пальце ноги. На нем китайский халат, какие носили во времена троецарствия * мандарины. Щелкают ножницы, срезанные кружочки ногтя отлетают далеко в сторону.

Открывается дверь из прихожей, и в нее заглядывает экономка.

— Карой!

— Сейчас... Минутку...— А ножницы продолжают щелкать.

— Пришел господин пастор.

— Да продлит господь годы его жизни. Пусть войдет.

Ножницы исчезают, на ноги надеваются домашние туфли, патер встает.

Эрне Пепи готовился к этой встрече, будто к очень важной проповеди, но приступает к разговору совсем иначе, чем предполагал.

— Начну с того, чем должен был кончить. Тебе известно, что у нас появился производственный кооператив и в скором времени произойдет размежевание земель?

— Разумеется, известно. Значит, размежуют твои сто шестьдесят хольдов? — спрашивает патер.

— Не мои, а церковные. Но они не посмеют этого сделать!

— Ну, хорошо, хорошо... Посмеют или нет, когда-нибудь все равно очередь дойдет и до твоей земли.

— Я старше тебя, однако пришел...

— Постой, погоди! Ты увидел, что пришла беда, только когда оказались в опасности эти сто шестьдесят хольдов? У католиков было их не сто шестьдесят, а в тысячу раз больше. В руках церкви земля — это орудие борьбы, а если церковь утратит землю, она должна найти другие средства, но не прекращать борьбу.

— А разве ты безразлично смотришь на все происходящее?

— Да. Я только наблюдаю. Иногда наблюдение важнее любых активных действий. Возможно, теперь именно такое время. Ты этого не думаешь?

Эрне Пепи вовсе об этом не думает. Ум его занят совершенно другим. Весьма вероятно, у этих католических патеров имеется особый секрет или специальные указания, иначе они не взирали бы так спокойно на происходящие события. Может быть, это исходит из Рима, от папы?

— Вот изволь... Да садись, пожалуйста,— говорит Карой Пинцеш, направляясь к буфету, в котором стоит всевозможная посуда, стопки, графины для вина. Он продолжает говорить таким тоном, словно произносит перед невидимым собранием проповедь.

— Размежевывают или не размежевывают... Какие это в наше время пустяки...

Мысли Кароя снова обращаются к матери, к своему сиротству, к епископской библиотеке, ко всей своей вконец испорченной юности. Ему хочется крикнуть в лицо этому пастору, да так, чтобы услыхал весь мир, что он, Карой, никогда не стремился стать священником, ему больше всего хотелось быть каменщиком. Но теперь уже поздно, все в прошлом, назад дороги нет, но и будущее ему не известно. История как бы подхватила его и покатила с собой, подобно пустой бочке. Он и сам толком не знает, катится ли теперь с горы, или поднимается в гору? Он даже не ощущает дороги и только чувствует, как на ухабах ударяется о землю его бренное тело.

Одним словом, сам он уже ни во что не верит. Но у него, однако, не хватает сил бросить все это — и церковь, и прихожан, и свою профессию — на произвол судьбы и попробовать встать на собственные ноги.

4

История ста шестидесяти хольдов земли реформатской церкви могла представить большой интерес, если бы стоило сейчас ею заниматься. Но, пожалуй, не будет лишним все же отметить одно обстоятельство.

Жил когда-то в селе писарь по фамилии Надь, он работал у нотариуса и впоследствии стал его преемником. Умирая, писарь оставил своей дочери Ирене в наследство сто шестьдесят хольдов земли. А дочь к тому времени стала актрисой и жила в Пеште. Полученную от отца землю она сдала в аренду крестьянам, так как это было куда более надежно, чем договор с Национальным театром. Артистка дожила до глубокой старости. Эрне Пепи, чувствуя приближение смерти — разумеется, ее, а не своей, так надоедал госпоже Ирене разговорами о церкви, о спасении души и о вечной жизни, что актриса и на самом деле пожертвовала землю церкви с одним непременным условием: ее славное деяние будет увековечено для грядущих поколений на мраморной доске, установленной на стене приходского дома. Ирена Надь, очевидно,

полагала, что если ей не удалось обессмертить свое имя как артистки, пусть это сделают ее сто шестьдесят хольдов. Вот почему в настоящее время земля находится во владении церкви, а мраморная доска на стене гласит: «Великая актриса Ирена Надь, уроженка этого села, которая...» и т. д.

Пастора волнует предстоящее размежевание потому, что, если оно затронет и церковную землю, мраморная доска на стене приходского дома попросту превратится в пустую табличку. Она представляет собой ценность только до той поры, пока за церковью сохраняется земельный участок в сто шестьдесят хольдов. Без земли мемориальная доска ровно ничего не стоит. Для его преподобия совершенно ясно, что сама по себе доска без земли не сможет обеспечить бессмертия Ирены Надь. Это его беспокоит, пожалуй, даже больше, чем неудача с Кароем Пинцешем.

Патеру легко рассуждать, за его спиной стоит сам папа римский. А кто стоит за спиной у Эрне Пепи? Разве только эти сто шестьдесят хольдов... Да еще прихожане, приверженцы евангелического движения! Но ведь они составляют в селе меньшинство.

А село почти ничего не знает о душевных переживаниях своего пастора, о всех его размышлениях.

* * *

— Эй, кум! Размежуют нашу земельку! — кричит Тарнок (он чуть ли не каждого четвертого называет «кумом»), обращаясь к Жиле, который бродит возле кузницы, намереваясь договориться с кузнецом, когда тот сможет подковать лошадь,— его рыжая опять расковалась.

— Размежуют? Я, брат, свою тронуть не позволю, это уж как есть! — кричит в ответ Жила.

— Почему же? Вместо нее дадут другую. Земля вся одинакова,— говорит Тарнок с явным намерением выведать, что думает Жила о размежевании. Узнать об этом не мешает, авось, и тут получится какая-нибудь прибыль.

О размежевании думает не только Тарнок, но, за малым исключением, почти все село. Кому придет теперь в голову говорить о создании кооператива? Вопрос о размежевании куда интересней. Вряд ли, конечно, все село выступит против него; об этом не может быть и речи. Есть тут один,— у него под Чоклапошем свой хуторок,— тот прямо во всеуслышание заявляет каждому встречному:

— Раз уж речь пошла о размежевании, делать нечего! Так, значит, и должно быть. Хватило бы только у них, по крайней мере, ума начать с Чортова лога! И земля там хорошая, и не так далеко...

Так-то оно так... Но как раз те, с кем он говорил, владели землей именно у Чортова лога!

— Зачем с Чортова лога? — возражали они.— Вы что, белены

объелись? Как оттуда возить урожай, ежели пойдут дожди? Лучше уж Соколиная лощина... Пусть ее и размежевывают.

Словом, каждый стремился отвлечь внимание от своего поля. Но во всей округе среди одиннадцати тысяч хольдов земли нет такого поля, в котором не был бы заинтересован кто-нибудь из сельских хозяев: любой участок кому-нибудь да принадлежит. Вот почему благодаря всем этим разговорам и спорам вскоре сложились отдельные группы крестьян, пытавшиеся заранее повлиять на будущее размежевание земли. А некоторые хозяева и вовсе были против него: не стоит, мол, допускать, надо во что бы то ни стало воспрепятствовать этому; и у них находились сторонники.

Вербовка сочувствующих той или иной группе происходила повсюду: за работой, во время завтрака и обеда, но главным образом вечером, когда возвращались с поля домой. Известно, что в эту пору люди голодны, а потому, как правило, злее.

— Ты им хочешь помешать? Ты? — кричит Тарнок, встретив Бени Поса.— Кому за всю жизнь ты хоть раз помешал? Откуда у тебя силенок набралось? — насмешливо добавляет он.

— А почему бы и нет!.. Если мы все объединимся...

Участок Поса находится на верхнем поле. Оно расположено близ села, недалеко от мощеной дороги, да и земля там хорошая, жаль только, что это место чересчур любят сорняки.

— Для какой радости нам с тобой объединяться? Чтобы не размежевали твое верхнее поле? Мне-то что за дело до него? Не беспокойся, они сумеют выбрать то, что нужно, раз будет такая возможность.

К предстоящему размежеванию некоторые относились, как к игре в шахматы: каждый по своему разумению и выгоде находил землю для производственного кооператива в любом месте, только не в районе своего участка. Но, наконец, серьезно взвесив, порешили: пусть, мол, кооперативу достанется верхнее поле. Правда, там участки точно так же, как и по всей округе, частично принадлежат беднякам, но общее настроение хозяев такое, что если необходимо кем-то пожертвовать, то уж лучше именно бедняками: Фюресом, Бодоком и им подобными. Верно, среди них и Лайош Кошут-Киш, старый коммунист. Но ведь надо же кого-то принести в жертву, раз другого выхода нет!..

Многие рассуждали, между прочим, так: размежевание вовсе не новинка. Оно уже проводилось в тридцать девятом году. Тогда множество мелких участков было слито в более крупные. Сколько тогда было ссор и раздоров! Никто не хотел получать землю там, где ему отводили. Если он отдает свой старый участок, то получить по качеству такой же ему мало. Стало быть, все это размежевание не имеет никакого смысла! Надо, чтобы новая земля была лучше, а главное, чтобы ее стало больше! Сколько все это принесло в свое время неприятностей, а теперь опять хлопот полон рот. И в те времена находились люди, стремившиеся помешать этому делу, только ничего у них не вышло. Правда, тогда против

размежевания выступали бедняки, которые цеплялись за свои клочки земли, а теперь размежеванию мешают кулаки, потому что не хотят расставаться со своими крупными земельными владениями, хотя сами чувствуют, что у них ничего из этого не выйдет. Однако если размежевания не миновать, пусть уж пойдет в раздел верхнее поле!

— А почему не нижнее? — недоумевает Дани Лазар, сидя вечером в парикмахерской Шербалога.

В заведении Шербалога сегодня полно народу. У сплетников сейчас самая пора для активной деятельности: есть о чем судачить.

Шербалог бреет своего клиента одной рукой. Большим пальцем другой руки, как обычно, он собирает с бритвы мыльную пену, переходя с левой стороны кресла на правую. Одновременно он придвигает ногой плевательницу, ибо Дани, разговаривая, имеет привычку плеваться во все стороны.

— Потому не нижнее,— говорит один из посетителей,— что оно кооперативу не подойдет. Вам кажется это так просто? Тяп-ляп и готово!

— А почему не подойдет? — И Лазар сплевывает прямо на пол, мимо плевательницы.

Шербалог начинает злиться не на шутку. Вот бы сейчас сюда уездного санинспектора, он бы задал Лазару, чтобы тот не плевал куда попало!

— Почему да почему!.. Вы, чорт возьми, даже не знаете, что такое «тяп-ляп и готово». А еще рассуждаете!..— неожиданно вмешивается в разговор парикмахер.

Все смеются. Но не над Лазаром, а скорей над тем, какие двусмысленные речи говорит этот самый Шербалог. Разные бывают парикмахеры!

А на следующее утро люди видят перед домом, где помещается партком, целых три автомашины — зрелище достаточно интересное. Тем, кто не видел, когда они прибыли, кажется, что стоят они здесь уже с вечера или, по меньшей мере, с ночи. Двое шоферов уселись рядом в одной из машин, а третий, облокотившись на дверцу, спит в своей машине, как сурок в норке. По середине улицы с грохотом проезжают подводы, шагают прохожие, а шофер спит, словно он один во всем селе или, к примеру, в поле под стогом сена.

Люди идут и от сельской управы,— одни проходят мимо, другие пересекают улицу и заходят в партком. Кое-кто спешит сюда из правления кооператива «Свобода», другие, наоборот, направляются в кооператив. А шофер попрежнему спит как убитый.

В парткоме сейчас Кульчар, прибывший из министерства инженер-землеустроитель, который будет проводить размежевание земель, землемер и машинистка из области. Все они люди молодые, полные сил. Тут же присутствуют представители кооператива Бердеш и Сито, староста Хедье, Лайош Кошут-Киш и еще несколько человек.

— Надо избрать комиссию по проведению размежевания,— говорит Кульчар.

— Из кого должна она состоять? — спрашивает Бердеш.

— Из заинтересованных лиц. Во-первых, в ней должен принять участие кто-нибудь от парторганизации, затем от кооператива «Свобода» и, наконец, от единоличников. В комиссию должен войти и товарищ Хедье как староста, а председателем я предлагаю кого-нибудь из пользующихся авторитетом беспартийных хозяев. Смогли бы вы выдвинуть такого человека?

— Несомненно. Вот, например, Ласло Рожа. Он вполне подходит,— предлагает Бердеш.

Но Шаркези не нравится эта кандидатура.

— Андраш Кеваго подошел бы лучше, дядюшка Бердеш.

Против Кеваго, в свою очередь, возражает Бердеш.

— Что ты носишься с этим человеком, сынок?.. Такой, как Андраш Кеваго, вряд ли годится для этого дела!..

И он сердито отходит в сторону, словно наступил на колючку.

— Должны же вы понять, дядюшка Бердеш, почему я предлагаю Кеваго.

— Я должен понять? Прекрасно понимаю! Это предложение направлено против меня.

— Почему против вас?

— Ты ведь отлично знаешь, что Кеваго готов меня утопить в ложке воды.

— Не такой уж он зверь. Небось такой же человек, как и все.

Бердеш продолжает ворчать, негодовать, наконец, бормочет себе под нос:

— Хорошо, сынок. Но на твою ответственность!

Представители из Будапешта и из области молча слушают оживленный спор. Они не знакомы ни с Кеваго, ни с Ласло Рожей, их задача разобраться в планах, законах и земельных участках, и поэтому им хочется скорее приступить к делу. Но это не так легко: необходимо раньше договориться о составе комиссии, согласовать этот вопрос с партийной огранизацией, с кооперативом «Свобода», с местными властями и побеседовать с единоличниками. Затем нужно установить, сколько земли подлежит размежеванию и где отвести участки вместо отчужденных.

— На первых порах, пожалуй, достаточно и двухсот хольдов,— высказывается Сито. Вопрос этот они уже обсуждали в кооперативе.

— А по-моему, многовато,— замечает Лайош Кошут-Киш, впрочем, больше для того, чтобы что-нибудь сказать. Он предчувствует, что его четырем хольдам грозит опасность.

Кульчар отзывает в сторону Шаркези, желая узнать его мнение. Да, двести хольдов можно смело отводить. Поскольку размежевание коснется многих, очевидно, количество членов кооператива увеличится.

Пока все еще остается нерешенным вопрос, где же, собственно,

проводить размежевание. На нижнем поле или на верхнем? Как известно, большинство стоит за верхнее, и это вполне понятно. Ну что ж, верхнее так верхнее!

Однако такое решение кольнуло Лайоша Кошут-Киша в самое сердце.

— Подите-ка сюда! — зовет он Шаркези и Кульчара, отходит с ними к окну и облокачивается на подоконник.

— Что вы хотите, дядюшка Лайош?

— Хочу у вас спросить... Разве непременно нужно размежевывать верхнее поле?

— Непременно, дядюшка Лайош. Другого выхода нет.

В душе Лайоша Кошут-Киша поднимается буря негодования, но он молча стоит, облокотясь на подоконник. Шаркези и Кульчар чувствуют себя несколько неловко и вопросительно смотрят на него. Ведь этот человек в течение многих десятилетий вел неравную борьбу с окрестными помещиками и их управляющими, да и со всеми властями. В девятнадцатом году он был деревенским вожаком, полтора года отсидел в тюрьме, у него и по сей день с девятнадцатого года хранится печать сельского совета. А вот сейчас он становится им поперек дороги!

Бердеш, потеряв терпение, подходит к ним и спрашивает:

— Что вы тут мудрите, почему не идете к нам?

Лайош Кошут-Киш отвечает ему с печалью в голосе:

— Ты бы тоже на моем месте мудрил. Сколько пришлось мне вытерпеть, пока я дожил до теперешних времен. Состарился уже. Дети мои разбрелись кто куда, оставили нас вдвоем со старухой. Но я не жалуюсь, мне уже не жить их жизнью. За эти долгие годы я устал. Такое чувство, будто оглох и плохо слышу, что происходит вокруг меня. Мне сейчас семьдесят лет, но это не беда. На покосе я еще могу с любым молодым поспорить. Вся загвоздка в том, что я очень уж полюбил свою землю. Можете вы это понять? А земля моя находится как раз на верхнем поле!

— Я тоже люблю землю, Лайош. Поэтому и вступил в кооператив,— пытается урезонить его Бердеш.

— Не понимаете вы, о чем речь. Земля, она везде земля; разница только в том, что это будет другая земля, другое поле, не те у него склоны, не так оно расположено. Словом, не могу я жить без своей земли... Хоть не так ее уж много: два хольда дали вы да два хольда я получил после прошлой войны, только мне сначала пришлось еще отсидеть в кутузке. Вот и вся моя земля.

— Выходит, дядюшка Лайош, у вас на верхнем поле всего два хольда?

— Вот именно. Их-то и люблю я больше всего на свете. Выйдешь утром в поле, перейдешь мостик через реку — за спиной у меня село, а впереди свет и сияние... Зачем вы гоните меня оттуда?

— Мы возместим вам эти два хольда в хорошем месте, можете не беспокоиться.

Лайош Кошут-Киш молча переводит взгляд с одного на другого. Потом энергично выпрямляется.

— Раз нельзя, значит нельзя.— И снова пристально смотрит на Шаркези и Кульчара.

— Почему вы, дядюшка Лайош, не понимаете одной простой вещи,— спокойно говорит Шаркези.— Ведь если сейчас не трогать верхнего поля и взять вместо него другое, все равно клочок вашей земли не может быть вечно обособленным. Рано или поздно мы, коллектив, доберемся до него. Как же тогда?

— Видите ли... Я вам сказал, что мне семьдесят лет. Может быть, я проживу еще пять-шесть лет. Ну десять... Хотя отец мой умер девяносто четырех, а мать девяносто шести... До моей смерти вы к моей земле еще не доберетесь.

— Нынешнее размежевание только начало, и закончено оно будет тогда, когда в округе не останется ни одного обособленного клочка земли. Вся земля должна быть едина,— объясняет Шаркези.

— Тогда, значит... Чорт с ней, с землей! — всердцах говорит Лайош Кошут-Киш и выходит.

Шаркези и Кульчар смотрят ему вслед.

— Что вы на это скажете, дядюшка Бердеш?

— Я, сынок? Ничего не скажу. Но признаться откровенно, жалко мне старика.

— Но ведь Лайош — он из Кошутов...

— Его прозвали Кошутом, потому что он умел красиво говорить речи, как сам Кошут,— поясняет Бердеш и резко взмахивает рукой.

5

Андраш Кеваго чинит сруб колодца, сложенный из акации. Доска, которой обшит сруб, обветшала, стала трухлявой, а гвозди поржавели. Старый гвоздь... Даже сам Кеваго не помнит, сколько раз приходилось его выпрямлять. Но он с таким упорством постукивает молотком по гвоздю, словно в мире не существует ни новых досок, ни новых гвоздей. Тем временем ему на ум приходят самые разнообразные мысли. Например, он вспоминает, что Бердеш и его компания все-таки проводят размежевание. При этом Кеваго испытывает даже чувство горькой зависти. Какой бы там ни был человек сам Бердеш, но размежевание большое дело, оно совсем изменит облик округи, преобразует хозяйство... А он даже пальцем не пошевельнул ради этого. Все сделал Бердеш. Но, может, он раньше не понимал, что собой представляет Бердеш? Может, не такой уж он никудышный человек, каким его считал Кеваго? А что если и впрямь тут вышла ошибка? Конь о четырех ногах и тот спотыкается. Почему бы не споткнуться и тому, у кого их всего две? Кеваго ударяет по шляпке гвоздя, но гвоздь гнется посредине; не любит он дерева, как лошадь цыгана палку. Кеваго тянется за топориком, подкладывает его под гвоздь и выпрямляет молотком изогнутое место.

Солнце еще светит, но на землю уже ложатся длинные тени от деревьев. В вышине собираются барашки облаков и плывут по небу, и между ними, словно тусклое медное блюдо, появляется и исчезает луна, готовясь, когда наступит вечер, ярко засиять на небосклоне.

Открывается калитка, во двор входит Шаркези.

— Добрый вечер, дядюшка Андраш. Сруб подновляете?

— Добрый вечер, сынок. Подновляю... Выдалась свободная минута, вот я и стараюсь ее использовать.

Кеваго стыдно за гвоздь, который никак не хочет входить в дерево. Он загибает его. Гвоздь боком вдавливается в доску. Кеваго бросает молоток в ящик для инструментов и подходит к Шаркези.

— С какими новостями пришел, сынок?

— Ни с какими, дядюшка Андраш. Я пришел вас кое о чем попросить.

— Только не проси денег, сынок, их у меня нет.

— Не о деньгах речь. Дело, видите ли, в том, что мы собираемся проводить размежевание и просим вас, дядюшка Андраш, взять на себя обязанности председателя комиссии по размежеванию.

Кеваго торопливо берет в руки щипцы и пытается вытащить гвоздь, который только что загнул. Ему известно, что размежевывать будут верхнее поле, но он хочет услышать подтверждение от Шаркези.

— Какое поле?

— Верхнее.

От приятного сообщения у Кеваго срываются с гвоздя щипцы. Его участок находится на нижнем поле. Но сейчас он только для виду проявляет озабоченность.

— Как же я могу быть председателем там, где есть уже один председатель — Бердеш?

— Бердеш действительно председатель, но он в кооперативе «Свобода». А при размежевании нужен человек, который одинаково беспристрастно судил бы об интересах и членов кооператива и единоличников.

Кеваго едва заметно улыбается.

— Да, не вредно будет держать ухо востро, раз на стороне одних Бердеш. Поручи овечек волку!

И, нагибаясь, он постукивает молотком по срубу.

Шаркези не находит сразу что ответить.

— Мне непонятно, почему вы и дядюшка Бердеш недолюбливаете друг друга? — спрашивает он с недоумением.

Кеваго, размахивая молотком, объясняет:

— Почему?.. Совсем не потому, что мы не могли договориться в сорок пятом... Я вот только что подумал: приходилось ошибаться и мне, и другим, и Бердешу. Я не завидую его успехам. Все дело в том, что в бытность свою секретарем парторганизации он допустил разгром Чахошской усадьбы; конюшни, хлевы, словом, все

имение сравнял с землей. Я послал тогда в Областной комитет по разделу земли письменное предложение взять имение под опеку и ничего не сносить, потому что придет час, когда мы переселимся туда, там будет правление кооператива, и нам не придется ломать голову над тем, что в первую очередь строить. А теперь там не из чего строить — все растащили. Что же вы станете делать, сынок, если у вас появится хоть пара лошадей или телок, куда их поставите?

— Сносить господский дом хотел не только Бердеш, а все село.

— Верно. Но вместо того, чтобы воспрепятствовать этому, он был первым зачинщиком.

— Тогда нельзя было поступить иначе. Учитывая ваши прежние заслуги, мы и просим вас, дядюшка Кеваго, быть председателем комиссии и в самом зародыше пресекать всякое беззаконие.

Кеваго убирает инструменты.

— Тогда не звали, а теперь зовете!

— За то, что произошло, меня не корите, дядюшка Андраш. От меня тогда ничего не зависело... А теперь кое-что зависит, и поэтому я вас приглашаю.

— Если это исходит от тебя, сынок,— хорошо, я не возражаю. Но что скажут остальные?

— У нас демократия. Спросим и членов кооператива, и сельскую управу. Я думаю, все согласятся.

Вечереет. С пастбища гонят свиней. К дому Кеваго подбегает свинья, она трется у калитки, потом ломится в ворота. Закудахтали куры-молодки, закрякали утки. С веранды, держа в руках корзину, сходит жена Кеваго. Она бросает птицам пригоршню зерна и бежит открывать калитку.

В соседнем дворе визжат поросята. Соседка кричит во всю глотку: «Прочь! Вон отсюда! О господи боже...» Что-то ломается, с грохотом и звоном падает на землю, слышен крик разбегающихся гусей и уток.

На одном дворе вечер начинается так, на другом по-иному, но над всем селом неудержимо сгущаются сумерки.

Если бы весть о размежевании обладала способностью светить, то этот вечер сиял бы ярче ясного дня. Но, хоть это и большая новость, на небе светит только луна. Сейчас она уже не похожа на поблекшее медное блюдо, а сверкает, подобно золоту, освещая село и всю округу. Немного найдется домов, где бы в сегодняшний вечер не говорили о размежевании.

Жена Балажа Фюреса ставит на стол тертое тесто с картошкой, приготовленное на ужин. Ее мать сажает на колени ребенка и кормит его. Молодая хозяйка ужинает вместе со всеми, но она не садится за стол, а ест стоя, держа в одной руке тарелку, а в другой — ложку.

— Ешь, отец! Почему ты не ешь? — обращается она к мужу.

— Погоди с едой. Дай подумать,— отвечает Балаж, маши-

нально опуская ложку в тарелку. Он не ест, а задумчиво смотрит перед собой.

Старуха наблюдает за ним краем глаза, хотя делает вид, будто целиком поглощена ребенком и на всем белом свете ничего, кроме этого, ее сейчас не интересует. Она и всегда была такой: интересовалась только тем, что в данное время делала, но за что ни бралась, вкладывала в это всю душу. Она и муж были еще сравнительно молоды, когда арендовали участок земли у помещика. Пока был жив муж, она не знала горя. Совсем иначе стало после его смерти. Фактически за двенадцать лет работы на чужой земле только и хватило средств купить этот домик. На одной половине живет она и дочь со своим мужем, на другой — вторая дочь с мужем и четырьмя ребятишками. В одном только повезло вдове: дочки у нее выросли пригожими и скоро вышли замуж за парней, которые были им вполне подстать.

Первый зять Балаж Фюрес — человек, про которого даже враг не мог бы сказать ничего дурного. Трезвый, старательный, рачительный. Кому требовался хороший работник, лучшего не сыскать. Как же могло случиться, что этой семье до сих пор так и не удалось добиться счастья в жизни?

А все произошло потому, что на второй год после свадьбы Балажа призвали в армию и отпустили домой только через полтора года. Побыл он дома год, затем в сорок втором снова призыв — и уже на этот раз Балаж застрял надолго. На фронте его взяли в плен, и только в начале сорок седьмого года он вернулся домой. Поэтому ему ничего не досталось: ни приусадебного участка, ни кирпича от снесенного барского дома, ни пашни. По возвращении дали ему немного земли и то лишь потому, что Бердеш в свое время оставил кое-какой резерв для военнопленных.

Пока Балаж находился вдали от дома, его молодая жена, Веронка Кешерю, вела себя пристойно и помогала матери, благодаря которой не ощущала особой нужды. Мать ее хоть и ничего не нажила за это время, но ухитрялась сводить концы с концами, когда другой на ее месте давно бы умер с голоду. Даже нынешним летом и то она умудрилась собрать сто пятьдесят охапок пшеницы. Да еще таких, что двумя руками не обхватишь! С одной охапки получилось добрых два килограмма зерна, а сто пятьдесят охапок — это без малого три центнера! Сами-то они засеяли пшеницей тысячу квадратных саженей, и с них уродилось тоже около трех центнеров, да и старуха собрала столько же. Конечно, не на собственном жнивье, а на чужих участках. Сколько колосков, столько зерен! Сколько раз приходилось ей нагибаться за каждым колосом! Склонится над стерней, схватит стебелек на два пальца ниже колоса, приложит его к остальным, да еще пальцем прижмет, а глаза ищут другой. Так и бродит она по полю из края в край, переходя с одного участка на другой. А всего за день побывает, может, и на десяти участках. На сжатых полях, в степном просторе всякому прохожему издали видна ее фигура. Правда, тогда старуха делает

вид, будто только переходит жнивье. Зато никогда она не трогала снопов в крестцах, а собирала только колосья на стерне. Можно было предположить, что после стольких поклонов старуха сгорбится. А между тем и сейчас она стройна, как камыш. Откуда берется у этих женщин столько силы!..

— Ну, отец, ешь же, наконец,— снова повторяет жена и садится на скамейку так, что супруги почти касаются друг друга.

— Ем. Не видишь? — ворчит под нос Балаж Фюрес и, торопливо схватив ложку, принимается за еду. Но в этот вечер у него явно нет аппетита.

— Ешь... Мир не перевернется оттого, что проведут размежевание,— говорит жена.

Оба они воспринимают это событие по-разному.

— Вы же заранее знали, что так будет. Почему сразу не вступили в кооператив? — вмешивается старуха. Теперь, когда ребенок накормлен, она может принять участие в разговоре.

— Почему да почему...

Но Фюрес и сам толком не знает, почему он этого не сделал. Правда, как ни тяжела аренда, на своем участке он был сам себе хозяин. Но в то же время на своих двух хольдах чувствовал себя так, словно его заперли в клетку или связали по рукам и ногам. С этой землей у Балажа Фюреса получилось, как у человека, который сделал неудачную покупку: сначала она ему не нравится, но потом он к ней привыкает.

— Тогда не к чему было брать эту землю,— замечает жена.

— Раньше надо было поступать по-одному, теперь по-другому,— отвечает Фюрес, вставая и надевая шляпу.

— Куда собираешься?

— Пойду... Взгляну, что делают наши добрые католики.

Жена беззвучно смеется.

— Никак вздумал стать настоящим католиком?

Фюрес тоже смеется и пьет воду.

— Я всегда завидовал кальвинистам,— говорит он.— Как они поддерживают друг друга! Попробуем последовать их примеру, вдруг и у нас что-нибудь получится?

Фюрес уходит.

Собаки встречают его на улице лаем, а те, что не сразу приметили прохожего, только тявкают вслед. Стоит тявкнуть какому-нибудь псу, как другие начинают ломиться в запертые ворота, а третьи — грызть от злости забор.

6

В этот вечер в селе стоит тревожная тишина, как на фронте перед битвой. Люди сидят дома, прислушиваясь к малейшему шороху, ко всякому уличному шуму, будто чего-то ждут.

У Иштвана Керекеша, тестя Чикоштота, как обычно, несколько человек слушают «Голос Америки». Но сегодня они слушают ра-

диопередачу с особым вниманием, словно ожидая каких-то советов по поводу размежевания — как поступить: примириться или что-то предпринять? Сами они ничего не делают. Им хочется, чтобы «Голос Америки» провозгласил на весь мир нечто такое, отчего присланный из центра землеустроитель сбежал бы куда глаза глядят, а компания Бердеша бросила свою затею, и все осталось как прежде.

Что они за люди? Прямыми врагами их назвать нельзя, и все-таки они враги. Чикоштот, например, в свое время был почти готов совершить убийство, лишь бы стать корчмарем. Правда, в сорок пятом году он получил трактир, но той прибыли, которую он загребал вначале, теперь не стало. Сейчас больно строгий контроль, и Чикоштот, можно сказать, на жалованье у государства. Среди них есть и такие, что в прошлом готовы были перебить всех господ до единого и требовали раздела земли, а после того, как получили землю, не сумели ее как следует использовать.

В этот же вечер под видом заседания церковного совета собрались люди и у пастора Эрне Пепи обсудить положение. Шли они к нему с тяжелым сердцем, будто на похороны, и пока ничего радостного для себя не придумали. А пастор все ждал, что крестьяне сами заговорят об интересующем их вопросе, но они рассуждали о том, о сем, так и не решаясь высказаться прямо. Откровенная беседа произошла только по окончании заседания. В это время пришли капитан Дьери, Дюрка Боди и кулаки Гербеди, Вираг, Эсеньи и другие.

— В истории изоляции наших врагов начинается новая глава,— говорит капитан Дьери.

— Что такое? — поднимает голову Вираг.

На этот раз он, как и всегда на вечерних сборищах, делает вид, будто дремлет. На самом деле, закрыв глаза, Вираг внимательно прислушивается к каждому слову.

— Видите ли,— говорит капитан,— с размежеванием для виду придется согласиться. Но мы должны подобрать хотя бы с десяток таких хозяев, которые не захотят молчать. Пусть они протестуют и доказывают, а мы посмотрим, что из этого получится.

— Вот это правильно.

Вираг делает вид, что просыпается. Он открывает глаза и вытягивает ноги. Мысль его напряженно работает: с кем из арендаторов верхнего поля можно об этом поговорить?

— Карой Жила — раз,— словно читая по записке, произносит Гербеди.

— Ференц Тарнок — два,— добавляет Вираг. У него в уме уже список всех, кто подходит для этой затеи.

— Тарнока впутывать нечего. Оставим его в резерве для более важных дел,— возражает пастор.

Называют и другие фамилии. Вспоминают, как в былые времена кулаки вели за собой крестьян, что не мешало им при этом высасывать из мужиков последние соки. Сейчас история повторяется.

К полуночи разобрали всех по косточкам, записали нужные фамилии и разошлись. Капитан Дьери отправился домой, предварительно поставив свой пистолет на боевой взвод. Остальные пошли к тем, на которых, как им казалось, можно было положиться.

Но не одни кулаки бодрствовали этой ночью. Не спали и члены кооператива «Свобода».

У каждого из них имелся зять, старший или младший брат, двоюродные братья, сестры и соседи. Им-то накануне размежевания и надо было доказать свою правоту. И в самом деле, уже поутру в кооператив вступил старший сводный брат Йошки Папа, Петер Юхас. У Йошки Папа теперь такое ощущение, будто Петер своим поступком несколько смягчил трагедию их семьи. Вступил в кооператив и Балаж Пенадь, предлагавший, как известно, в сорок пятом году вешать воров, и еще двенадцать или тринадцать семей. Но все же самым крупным событием было то, что на рассвете в окно к Бердешу постучался Балаж Фюрес.

— Кто там? — проворчал сонный Бердеш и, приподняв голову с подушки, уставился в окно.

— Я! — послышался во дворе голос Фюреса.

— Кто «я»?

— Я, Балаж Фюрес! Откройте дверь!

— Она не заперта. А что тебе вдруг понадобилось?

— Это я скажу, когда вы ко мне выйдете или впустите меня.

— Ну, входи. Сейчас зажгу лампу...

Вспыхивает спичка. Бердеш сидит на краю постели, зевает и почесывает ногу. Он недавно улегся — всего часа полтора назад, голова его гудит. Бердеш видит в дверях Балажа Фюреса, смотрит на него во все глаза и тем не менее не узнает. Ему кажется, что это вовсе не Фюрес, а кто-то другой.

А Фюрес продолжает неподвижно стоять, не смея даже оглядеться по сторонам: ведь комната полна спящих. Вот и жена Бердеша приподнимается на локтях, и Пирошка, старшая дочь, тоже поднимает голову с противоположной кровати да кто-то еще шевелится на кушетке...

— Садись же... Давай закурим,— говорит Бердеш, встает, надевает штаны и медленно подходит к столу. Он зевает и, нащупывая табак, садится.

— Я потому вас поднял, товарищ Бердеш, что сейчас, пожалуй, можно привлечь в кооператив арендаторов, так сказать, на католической основе.

— Что значит «на католической основе»? — удивляется Бердеш; он не настолько знаком с католицизмом как религией и не имеет представления о том, что хочет сказать Фюрес.

— А значит то, что и коза будет сыта и капуста уцелеет.

— По мне пусть сыта коза, я все равно не люблю капусту,— морщится Бердеш, вдруг вспоминая, как он на своих двух хольдах в былые времена разводил савойскую капусту...

В эту минуту его сон как рукой снимает. Что ни говори, в селе немало католиков. До сих пор многие из них арендовали землю у помещиков и кулаков; предложение Фюреса заслуживает внимания.

— Ты думаешь, они могут к нам присоединиться и все-таки останутся верными католиками?

— Я не знаю — совместимо ли это...

— Конечно, пусть остаются католиками. Не становиться же им назаретянами или баптистами!

— Один чорт! — кивает головой Фюрес.

— Сколько их?

— Тех, кто арендует землю... семей двадцать пять. В сорок пятом они получили землю кулаков. Им ведь не под силу так дорого платить за аренду; долго они не выдержат.

— Мы все равно заберем часть арендованной ими земли. Не так ли?

— Совершенно верно. И они это знают.

— В таком случае поговори с ними, ты ведь католик.

— Им бы хотелось послушать кого-нибудь другого. Хорошо бы послать к ним Шари Фейер. Она ведь убежденная католичка.

— Что ж, Шари Фейер для этого очень подходит.

Бердеш поспешно натягивает сапоги. Через несколько минут оба уже быстро шагают по сельской улице.

Утром, незадолго до того, как зазвонили колокола, вдова Кокаш была уже в доме патера.

— Говорю вам, святой отец еще спит,— не впускает ее экономка.

— Пусть поднимется! Беда!

Кулачка пробирается бочком к спальне патера и берется за ручку двери.

— Да нельзя же туда, нельзя! — злится экономка, становясь в дверях и закладывая назад руки.

Двери быстро распахиваются, и экономка чуть не вваливается в комнату.

— Что за шум? — раздраженно спрашивает патер Карой Пинцеш.

— Святой отец... Сегодня начинается размежевание...

— Из-за этого не стоило поднимать меня с постели.

— Но ведь часть прихожан хочет вступить в кооператив!

Патеру на мгновение кажется, что он стоит на затерявшемся в далеком океане острове и бурные волны вот-вот снесут его в пучину. Он чувствует, как почва ускользает у него из-под ног, но старается держаться.

— Кто именно?

— Балаж Фюрес, Пос, Шике, словом, те, кто победнее.

Священник равнодушно смотрит на еще молодую, статную женщину. Мысли его заняты только своими прихожанами и без

того достаточно немногочисленными. Правда, от бедняков церковь получает мало пользы: они ее не посещают, церковного налога не платят, а теперь и подавно платить не будут.

— Что ж,— говорит он,— прикажете мне их уговаривать? Почему вы, хозяева, сами не держите их в руках? — И патер раздраженно захлопывает дверь.

Ему не известно, что эти самые бедняки как раз в данную минуту договариваются с Шари Фейер «на католической основе». Хотя они и не были особенно набожными прихожанами, но сейчас, когда предстоит принять важное решение, в их душах пробуждается какое-то чувство к церкви. Не то, что богачи! Те, как только придется туго, не задумываясь, продадут за десять хольдов земли не только церковь и свою родину, но и всю Европу.

Анна Кокаш продолжает несколько мгновений стоять перед закрытой дверью, затем, не простившись с экономкой, уходит. Она решает навестить Яноша Васнаш-Надя, ставшего после раскола католиком и недавно подарившего церкви земельный участок.

А Шари Фейер уже второй час ведет переговоры со старым Шике и его товарищами-католиками. Фюрес и Бердеш чуть ли не стащили ее на рассвете с постели. Вначале она упиралась.

— Я, конечно, католичка, не отрицаю. Но только и умею что креститься,— оправдывается она.

— Вполне достаточно. Они хотят говорить с католиком.

— В таком случае за мной дело не станет.

И Шари, высунув ноги из-под одеяла, с укоризной смотрит на Бердеша и Фюреса, затем встает и приводит в порядок постель. Только тогда она с некоторым опозданием обращается к мужчинам:

— Ну, выйдите же отсюда или отвернитесь, пока я оденусь, слышите?

Фюрес смущенно отходит в сторону.

Через пятнадцать минут Шари входит в дом Шике, следом за ней идет Фюрес.

— Да славится имя господне! — бодро и приветливо здоровается Шари, отыскивая глазами в углу икону святой Марии, и крестится.

Дом Шике полон народу. В эту ночь никто не ложился спать. Лица у всех помятые, небритые, бледные, только старик Шике красен, как пион.

— Как поживаете, дядюшка Шике? — протягивает ему руку Шари Фейер.

— Спасибо, Шари, так себе... Даже молодею: ноги, как железные, совсем не гнутся...

Все, в том числе и Шари, смеются. Она усаживается на лавку. В комнате низко стелется дым от сигарет и почти ничего не видно. Шари своими веселыми, ясными глазами пытается рассмотреть присутствующих. Но это бесполезно: дым до того густой, что хоть топор вешай.

— Чего вы не потушите лампу? — спрашивает она, нагибаясь к столу и задувая лампу.

Кто-то подходит к окну и раздвигает занавеси. Брезжит рассвет. В эту пору к солнцу стягиваются бурые облака, и сквозь них прорываются огненно-красные лучи. Мужчины жадно смотрят на озаренную утренним светом Шари.

У этих арендаторов, издольщиков, поденщиков, за небольшим исключением, жены хороши собой только до первого ребенка. Родила — и завяла красота. А дети появляются на свет один за другим. Первенца ждут не дождутся, как первого погожего весеннего дня, а затем уже все идет само собой, хочется им этого или нет. Горячие взоры и нежные ласки бесследно изчезают в первые же месяцы супружества. Есть даже такие мужья, которые после рождения ребенка ни разу не поцеловали свою жену. Остальные дети появляются на свет без всяких поцелуев, почти случайно,— как неожиданно обрывается ведро в колодце или негаданно в поле вырастает ореховое дерево. В тяжелом труде и лишениях женщины быстро изнашиваются; они уже не столько жены, сколько помощники в работе и товарищи в беде.

И вот сейчас все в доме Шике испытывают приятное ощущение, видя в своем кругу стройную, красивую Шари Фейер. Они, конечно, знали, что такие женщины существуют, но никогда не сталкивались с ними так близко. При первых лучах восходящего солнца Шари кажется еще красивее. Сколько ей может быть лет? Двадцать пять, тридцать или все сорок? Каждый думает посвоему. Но на всех без исключения присутствие здесь Шари, ее обаяние, действует благотворно.

— Ну что ж, товарищи, давайте потолкуем,— говорит Шари Фейер.— Как вы думаете, зачем, собственно говоря, меня стащили с постели?

— Только для того, дочка, чтобы... Не знаю, впрочем, как вас величать...— смущается старый Шике.

— Называйте меня товарищ или просто Шари. Ведь мы теперь в одном коллективе. Не так ли?

— Пока не совсем так. До вашего прихода именно об этом шел разговор. Мы многое передумали. Вступить в кооператив, пожалуй, следовало бы, да вот все оттягиваем... А теперь надо решать.

— А раз надо решать, так за чем же дело стало? — говорит Шари.

— Это верно, ничего другого не придумаешь.

— Ну, вот что я вам скажу! Порвите вы с прошлым. Приходите к нам, будем вместе создавать новую, хорошую жизнь.

Так начался разговор. Вначале отвечал и задавал вопросы один Шике, затем постепенно в беседу включились и другие. Когда колокол прозвонил к заутрене, Шари Фейер поднялась с места и потянулась. Она устала, ей казалось, что у нее не нашлось для них ни одного умного слова.

— Кто не придет к нам сегодня, придет завтра, послезавтра или позже. Но обязательно придет,— говорит напоследок Шари.

— Беды тут никакой нет, дочка.— Встает и старый Шике.— После заутрени мы еще поговорим на этот счет с патером. А потом...

Уставшая Шари Фейер бессильно опускает руки. «Ну вот,— думает она,— говорила с ними битых три часа, а они — к священнику. Что же делать?»

— Вы знаете, кто такой Петефи?— неожиданно спрашивает она.

— Как же нам не знать! Он был поэтом, одним из лучших поэтов Венгрии,— замечает кто-то из присутствующих.

— Так вот! Сто лет назад не кто иной, как Петефи, сказал, что там, где заговорит поп, правда распята!— И, не прощаясь, Шари быстро уходит.

Балаж Фюрес стоит несколько секунд в нерешительности, затем поднимается и идет за ней. Остальные молча смотрят на дверь и поднимаются со своих мест. Никто не говорит; у всех на лицах глубокое раздумье. Они топчутся, не зная, что предпринять. Немного погодя один из юношей произносит:

— В клетке высоко не взлетишь. А мы до сих пор жили, как в клетке: куда ни обернешься, всюду натыкаешься на глухую стену. Это не жизнь. Пойду-ка еще поговорю с Шари Фейер.

Юноша берет с кровати шляпу, нахлобучивает ее и быстро выходит. Старый Шике качает головой, но идет за ним.

7

Утром комиссия по размежеванию приступила к работе. Основная трудность заключалась отнюдь не в том, чтобы из окрестных земель выкроить какой-то массив для кооператива. Дело было значительно сложнее: отчужденные участки следовало заменить другими. Ну, да что там! Землемеры — люди достаточно опытные, как-нибудь разберутся и с крестьянами и с их участками.

В большом зале сельской управы заседает комиссия. Три стола поставлены в ряд. Прямо против двери сидит молодой человек, уполномоченный министерства, рядом с ним — секретарь уездного комитета партии Кульчар и председатель комиссии Андраш Кеваго, а чуть подальше два землемера; они непрерывно разворачивают и сворачивают карту, тянутся за красным карандашом, откладывают его, берут зеленый. Всюду линейки, циркули, бумаги. У края стола расположилась молоденькая машинистка со своей пишущей машинкой. В конце стола сидит Шаркези. Здесь же и начальник областного сельскохозяйственного отдела; он еще совсем молод. Столько молодежи, что в ее среде и старики чувствуют себя молодыми. Да это и в самом деле так: все они свежевыбриты, на них новая одежда и начищенные сапоги. Йошка Пап приглашает в зал членов комиссии и вызванных крестьян. Они

входят, садятся на лавку и ждут. Тишину нарушает машинистка; она часто сморкается, от сильного насморка у нее слезятся глаза. Михай Бодок, молодой крестьянин, вместе с другими сидит на лавке, но тут же встает, так как сидя говорить не умеет. Михай мнет в руках шапку, будто ищет в ней опоры.

— Но, если так... Что же будет с мужем моей... матери? — спрашивает он с отчаянием в голосе.

— С кем? — удивляется уполномоченный министерства.

— С мужем моей матери, с моим родителем. Видите ли, три хольда записаны на нас четверых. Они, собственно говоря, находятся вовсе не на верхнем поле... Это старая земля, она лежит по эту сторону, ближе к селу. В сорок пятом году поле изрезали на стежки...— Бодок неожиданно смущается, смолкает и испуганно смотрит на свою шапку, которую успел уже измять до неузнаваемости.

«Муж моей матери...» — повторяет уполномоченный министерства, еле сдерживая смех. Но, соблюдая необходимую для его положения серьезность, он берет себя в руки. Ведь речь идет об очень важных вещах.

В зале присутствует и Тарнок. Очередь до него, правда, еще не дошла, но он засел здесь с самого раннего утра.

— Ну и осел! — говорит он Михаю Бодоку.— Разве для тебя родной отец — муж твоей матери, а?

— А как же иначе? Именно так! — негодующе отвечает, поворачиваясь к нему, Бодок. Он-то знает, как разговаривать, если уж приходится стоять перед учеными людьми. Надо им показать, что и крестьянин умеет объясняться.

Тарнок продолжает издеваться над Бодоком, хохочет и покачивает головой. Но смех у него какой-то невеселый, напоминающий звук цепи, которая волочится по грязи.

Однако все присутствующие, кроме Тарнока, видят, сколько терпения и понимания проявляют эти молодые люди, уполномоченный министерства и начальник областного сельскохозяйственного отдела. С грехом пополам им все же удается, наконец, урезонить Бодока: он сдаст свои три хольда, а возле Чортова лога получит вместо них три с половиной. Немало потребовалось времени, чтобы он это понял.

После Бодока комиссия беседует с вдовой Дани Петака. Земли у нее всего-навсего полтора хольда, да и те получены в сорок пятом году, но сейчас она ни за что не хочет меняться. Этого и следовало ожидать. К тому же она кричит и разражается грубой бранью.

— Поймите же вы, наконец, тетушка, что мы не собираемся отнимать у вас землю. Мы только предлагаем обмен! — успокаивает ее уполномоченный министерства. Но тетушка Петак непреклонна.

— Обменять мою землю? Мою землю? — кричит она и бьет себя в грудь.— Меняйте вы...— дальше следует непристойное ругательство.

Не обращая внимания на ее поведение, члены комиссии приводят новые доводы, находят новые убеждающие слова... Здесь победителем выйдет тот, у кого больше выдержки. Уполномоченный министерства вынослив, да и Кульчар умеет терпеть. Что касается землемеров, они не обращают внимания ни на Петак, ни на кого другого, а делают свое дело, будто одни во всей вселенной. Только Кеваго приходится сдерживать себя. С какой радостью схватил бы он эту женщину за шиворот и выкинул отсюда, как негодную тряпку!

Шаркези стоит молча. Он курит сигарету и все с большей грустью смотрит на вдову Петак. Кто эта женщина? Что с ней происходит? Шаркези задает себе этот вопрос вовсе не потому, что не может на него ответить. Просто ему хочется найти в ее душе такие черты, которые дали бы ему возможность сказать: в этом она права, а в этом ошибается. Но тетушка Петак во всем неправа, и нет у нее, по мнению Шаркези, причин так глупо и с таким озлоблением цепляться за свой прежний участок.

— Послушай, Ребекка, или как тебя зовут,— вмешивается, наконец, Андраш Кеваго,— перестань сквернословить. Берешь полтора хольда у Чортова лога? Отвечай: да или нет? Или у Соколиной лощины? Да или нет? Или, наконец, у Сухого ручья?

Вдова оторопела. Одно, когда имеешь дело с коммунистами! Но если уж так заговорил Андраш Кеваго!..

— Возьму, если вместо полутора хольдов вы дадите мне два с половиной,— соглашается, наконец, она.

Уполномоченный министерства вопросительно смотрит на Кеваго. Но тот даже бровью не повел.

— Слушай-ка ты, Ребекка! — продолжает Кеваго: — Резервная земля у нас есть, и, если бы ты разговаривала иначе, мы, может быть, дали тебе что-нибудь в придачу, потому что эти участки расположены далековато. Но теперь не дадим ни борозды. Разговор окончен. Можешь уходить... Значит, запишем...— обращается он к уполномоченному министерства: — тетушке Петак предложены в трех местах такие же участки... Пошли дальше. У нее есть время подумать, пока придет пора пахать.

Женщина оторопела. Землемер записывает, машинистка стучит по клавишам. Все должны признать: решение правильное. Иначе поступить было нельзя. Андраш Кеваго обводит глазами присутствующих, затем заглядывает в список.

— Карой Жила.

— Здесь! — отзывается Жила.

По его виду наперед не скажешь, что он собой представляет. Но как раз с ним-то и пришлось повозиться по-настоящему! Потому что Жиле, видите ли, нужна только своя земля и никакая другая. Уговаривать его принимаются все: и уполномоченный министерства, и землемеры, и Шаркези. Но все тщетно. Кульчар смотрит на Жилу, слушает его и все больше бледнеет.

— Скажите, когда вы получили эту землю? — спрашивает он.

— А когда же я мог ее получить? Известно, в сорок пятом году! Если хотите, можете отобрать, но добром я не отдам.

Жила не кричит, но тон у него решительный. Настропалил его кто-нибудь или сам он таков — разобраться невозможно.

— Стало быть, не отдадите?

— Нет, не отдам!

— Семья у вас есть?

— Есть. Жена и приемный сын.

— И сколько же у вас земли?

— Два хольда.

Кульчар раздумывает и смотрит на Жилу. Тот хорошо одет, хоть платье на нем и не праздничное, упитан, побрит. Стало быть, он не из тех, что в будни ходят ободранные и только по воскресеньям надевают черный костюм и начищенные сапоги, то есть не из тех, кто еле-еле перебивается. «Здесь что-то не так. Но что именно?» — напряженно думает секретарь.

— На какие же средства вы живете и содержите семью? — внезапно задает он вопрос Жиле.

— Я ведь вам сказал, что у меня два хольда земли на верхнем поле.

— Но это всего два хольда. А что вы делаете в то время, когда не пашете и не косите?

У Жилы сразу пропадает его высокомерный, наглый тон. Он, словно извиняясь, объясняет:

— Я... я ухаживаю за больными лошадьми.

— Короче говоря, вы коновал?

— Да, вроде как коновал.

Все присутствующие, кроме уполномоченного министерства, знают, что это неправда.

— Барышник он, вот кто, чорт бы его побрал! — с презрением бросает Андраш Кеваго.

— Значит, в сорок пятом году вы получили землю, а сейчас промышляете лошадьми! Ладно, можете идти! — говорит уполномоченный министерства.

— То есть как идти? Мне? — в полном замешательстве спрашивает Жила.

— Конечно, вам! Не мне же. Или вы думаете иначе?

Опустив в раздумье голову, Жила медленно бредет к двери.

— Видите, товарищи! Такие люди, как он, отхватили землю, а сейчас пытаются ставить нам палки в колеса. В чем тут причина, как по-вашему?

— Чорт его знает! — пожимает плечами Бири.

— Ну, если вы не знаете, то я и подавно. У меня только возникли некоторые подозрения. Трудно предположить, что он сам решил так упираться. Его, как и тетушку Петак, подговорили. Но кто?

Вопрос, поставленный Кульчаром, вызывает дальнейшие споры, но, очевидно, сразу тут до истины не доберешься. Тем не

менее люди склонны спорить и гадать на кофейной гуще хоть до позднего вечера. Почти у всех разные точки зрения. Лишь Тарнок не произносит ни единого слова, молчит, словно воды в рот набрал.

— Я предлагаю, товарищи, прекратить обсуждение этого вопроса,— прерывает спор уполномоченный министерства.— Переходим к предложениям. Что же делать с этим человеком? Отберем у него эти два хольда? Барышнику земли не полагается. Что вы на это скажете, товарищи?

— Я согласен,— отзывается Кеваго.

— А я не согласен,— возражает Шаркези.— Когда Жила получал землю, он не был барышником. Правда, он никогда и не был порядочным человеком, но к данному вопросу это не имеет отношения. Он еще молод, авось поумнеет. Отбирать у него землю не следует. Но я предлагаю обменять его участок на другой такого же размера. Он может отказаться, но это уже другой вопрос. Мы до поры до времени будем держать этот участок в резерве.

Таким образом, с Жилой покончено.

— Лайош Какиш! — вызывает уполномоченный министерства.

На лавке сидят пять или шесть мужчин и одна женщина, но никто из них не двигается с места.

— К вам обращаются, дядюшка Лайош! — толкает старика локтем в бок Тарнок.

— Ко мне? Я не Какич. Какич — это шелудивый пес!

— Простите,— говорит уполномоченный министерства,— я сказал Ка-киш.

— А я и не Ка-киш.

— Так как же?.. Что здесь написано? — обращается уполномоченный министерства к Кеваго.

— Написано «К. Киш». После буквы «К» стоит точка, а это значит, что речь идет о Лайоше Кошут-Кише, а не о Лайоше Какише.

— Это дело другое,— отзывается Кошут-Киш и, встав с места, подходит к столу.

— Итак, дядюшка Лайош Киш... Нам нужны и ваши четыре хольда. Комиссия по размежеванию, обсудив предварительно вопрос, предлагает вам вместо них предоставить четыре хольда пятьсот квадратных саженей у Чортова лога или четыре хольда восемьсот квадратных саженей у Гладкого озера. Что вы хотите выбрать?

— Ни то, ни другое. Я со своей землей и на верхнем поле и у хутора Топпанто вступаю в производственный кооператив «Свобода».

Все поражены. Какое-то мгновение они молча смотрят на старика. Затем Шаркези, облокотившись на стол, рассматривает план земельных участков.

В это время входит Бени Гуяш и, отыскав глазами Шаркези,

подходит к нему. Он сует секретарю клочок бумаги, но делает это так, словно поданная им записка — значительнейший в мире документ. Шаркези разворачивает ее и читает:

«Немедленно иди в контору. Лед тронулся. К нам хлынули католики. Твой Лайош».

Слова эти набросаны наспех. Шаркези хорошо знает привычку Бердеша: иногда случается, что он даже с одного конца стола на другой посылает записки. Но ни разу Шаркези еще не получал от него такой хорошей и действительно важной вести, как сейчас. В какую-то долю секунды сердце его буквально переполнилось радостью. «Стало быть, теперь нас будет не так мало, не такие уж мы горемыки. Да к тому же не удалось попам окончательно одурманить народ».

— Я оставлю вас на несколько минут! — обращается он к сидящим за столом членам комиссии и быстро выходит. Бени Гуяш с торжественным лицом следует за ним.

В конторе кооператива собралась большая толпа крестьян. Перед ними у стены стоит Шари Фейер, напротив за столом сидит Бердеш и возле него, облокотившись на стол, Балаж Фюрес и старый Шике. Они диктуют Бердешу фамилии, называя при этом количество хольдов земли у каждого.

— Нужна земля, сынок! И притом немало! — весело восклицает Бердеш, обращаясь к входящему в контору Шаркези.

— Земля есть. А сколько вступило в кооператив?

— Пока четырнадцать семейств с семьюдесятью хольдами. Но это еще не все.

— Надо сообщить об этом Кульчару.— И Шаркези возвращается в сельскую управу.

В это время землемеры наносят на план новые участки после размежевания.

— Прервем совещание, товарищи! — предлагает Шаркези, входя в комнату.

— Почему? В кооператив вступили новые люди? — спрашивает уполномоченный министерства.

— Да, и притом целых четырнадцать семейств. Теперь тем более необходимо включить в размежевание сто шестьдесят хольдов Ирены Надь. Правда, принадлежат они реформатской церкви, но фактически в течение многих лет этой землей распоряжался пастор и получал доход от аренды.

— Ага! «Капустный огород»! — говорит уполномоченный министерства. Он мысленно повторяет различные министерские распоряжения и параграфы, которые относятся к отчуждению земель в пользу народа. Хоть он и так знает их хорошо, но не мешает вспомнить.— Я предлагаю принять предложение товарища Шаркези. Оно вполне реально. Более того, это предписывает закон,— и он открывает огромный земельный реестр.

Тарнок прислушивается к каждому слову, присматривается к каждому жесту; на лице его написана трусость, он похож на

зайца. Затем он встает, притворно потягивается и медленно, очень медленно выходит.

В коридоре ждут люди. Некоторые разговаривают, другие уставились на доску объявлений, делая вид, что читают. Жила вертится неподалеку от двери.

— Не бойтесь, не заберут вашу землю,— говорит ему Тарнок, сам не зная, к чему он это сказал. Такая уж у него натура. Ему хочется всем сказать что-нибудь приятное, пожелать благополучия, но больше всех и прежде всего себе. С последней ступеньки он еще раз оглядывается на Жилу, как бы обнадеживая и ободряя его взглядом, затем уходит.

Жила смотрит на Тарнока, потом на дверь и в раздумье спускается с лестницы.

А на часах уже около девяти.

8

Что бы ни происходило в местной партийной организации или в сельской управе, какие бы ни поступали туда секретные распоряжения, Дюрка Боди узнавал об этом сразу, раньше всего от своей невесты, но, правда, не всегда от нее. Работающие в сельской управе члены партии как ни секретничали, не могли ничего утаить от Дюрки. Приедет кто из уезда или области, уши Дюрки, подобно фильтру, процеживали каждое слово, каждую фразу. Понятно поэтому, что и поп с его компанией обычно сразу бывал осведомлен обо всем, что касалось размежевания.

То, что говорили Эрне Пепи крестьяне, не было лишено пристрастия: одни стояли за коммунистов, другие — против. Дюрка же старался быть внешне объективным. Но беда заключалась в том, что он не был крестьянином и потому не мог понять крестьянской психологии.

Зато, по мнению пастора, прекрасно разбиралась в крестьянской душе тетушка Петак. Она, как известно, приходила в приходский дом стирать, гладить, помочь, когда режут свинью, и вообще всякий раз, когда что-нибудь нужно было сделать в квартире или на кухне. А на кухне у пасторши всегда немало хлопот. Соберется у пастора совещание или еще какое-нибудь сборище,— людей придет уйма и едят они много.

Выйдя из сельской управы, Тарнок направился к пастору. Войдя в дом, он останавливается в прихожей и оглядывается. Нет никого. Тогда через коридор он идет к кухне и заглядывает туда. Ему хорошо видно, как находящийся там звонарь шарит в печке. Но дверь открывается, и он делает вид, что просто прикуривал.

— Никого нет? — спрашивает Тарнок.

— Никого. Все в комнате. Ступай и ты, чего здесь слоняешься,— отвечает звонарь.

Тарнок возвращается в прихожую. Здесь три двери: на улицу, в столовую и спальню.

В Тарноке столько хитрости и лукавства, что хватило бы на троих. В самом серьезном и даже трагическом он не раз подмечал смешное. В данный момент Тарнок полагает целесообразным пройти прямо в столовую, но тем не менее подходит к двери спальни, немного приоткрывает ее и заглядывает внутрь. И вот что он видит: тускло поблескивают спинки двух сдвинутых вместе кроватей из орехового дерева. На них, как снежные сугробы, высятся подушки и перины, и обе кровати покрыты красным бархатным покрывалом. У выходящего в сад окна стоит жена пастора. В одной руке она держит веник, в другой — пыльную тряпку. А капитан Дьери целует ее. Из детской комнаты, что за кухней, доносятся голоса, но в спальне тихо. Капитан Дьери с жадностью припал к женщине; оба они, увлеченные поцелуями, даже не слышат, как приоткрывается дверь.

— Пардон! — почтительно бормочет Тарнок и медленно закрывает дверь.

До слуха влюбленной пары доходит только это слово. Они не видели Тарнока, но поняли, что кто-то открыл дверь.

— Господи боже мой!..— взволнованно произносит пасторша и бросается на кучу перин. Капитан оторопело смотрит на нее.

Жена Эрне Пепи слывет порядочной женщиной. И вот случился с ней грех! Если бы все осталось в тайне, она, разумеется, попрежнему пребывала бы в ранге чистых и непорочных. Тут ведь важны не факты, думает она. Весь вопрос в том, узнают ли об этом люди. Муж пожилой, намного, на целых двадцать лет, старше ее! Кто же в этом виноват? Кто виноват, что дереву, хочет оно того или нет, дано из года в год цвести, пока не наступит пора тления. В чем же вина Эржи Пепи, урожденной Теглаш, если она еще в цвету и ей хочется цвести не только раз в год, как цветет дерево, а постоянно? Почему женщины, с сожалением думает она, не могут уподобиться деревьям? Сторонники евангелического движения, главным образом женщины, думают, что пасторша такая же «обращенная», как и они, то есть после смерти вместе с ними, рука об руку вознесется в рай, так же просто, как человек заходит прямо с улицы в церковь. Им и невдомек, что пасторша относится к тем женщинам, которые с неутолимой жаждой ждут от жизни все новых и новых даров. Пусть прибудет из Америки посылка! Пусть ее навестит капитан Дьери, как раньше навещал Дюрка Боди! Пусть снесет лишнее яйцо курица! Словом, пусть, как из рога изобилия, на нее сыплются все новые и новые радости!

А Тарнок, попавший вместо столовой сюда, возвращается в коридор. Здесь он встречает служанку Рожи, которая натирает пол. Она пристально смотрит на Тарнока.

— Послушай, ты! Где хозяин?

— В столовой.

Тарнок подходит к двери и открывает ее. Но тут же, пораженный, останавливается. За столом сидят человек шесть-семь. Во главе стола, как и подобает, восседает хозяин.

— Добро пожаловать, почтенный Тарнок! Садитесь! — спешит к нему навстречу пастор.

— Покорно благодарю...

Здесь собрались Барна Надь, богач Гербеди, Гашпар Толвай. Среди них он видит и католика Яноша Васнаш-Надя.

— Садитесь же, наконец! Что хорошего вы нам принесли, почтенный?

Тарнок опускается на стул с таким видом, словно не собирается вставать до позднего вечера, и по привычке широко расставляет ноги.

— Я зашел сказать, ваше преподобие, что комиссия по размежеванию с утра уже работает. Да вы, может, об этом знаете?

— Как же, как же. Об этом мы и беседуем.

— Ну, так вот... А известно ли вашему преподобию, что подлежат отчуждению и ваши сто шестьдесят хольдов?

— Как мои?..— Его преподобие от неожиданности широко раскрывает рот.— Разве это законно отчуждать на местах церковные земли, когда в центре церковь и государство пришли к соглашению?

— Какое это имеет для них значение? — с горечью заявляет Гербеди и машет рукой.

«Подобно тому,— думает он,— как отстукивает, удар за ударом, сердце, так один за другим отчуждаются земельные участки. Вчера отобрали землю у Анны Кокаш, сегодня у пастора, завтра у него, Гербеди, послезавтра у Васнаш-Надя, если к тому времени кооператив не захватит все сразу».

Каждый спешит высказать все, что у него наболело. Как может терпеть село, чтобы несколько человек водили всех за нос!..

Тарнок поглядывает на них, в этот момент у него закрадывается сомнение. Положа руку на сердце, он скорей сочувствует тем, которые проводят размежевание, чем этим, земли которых размежевывают. Он смотрит на них почти со злорадством: хороша компания, когда они здесь все, в одной куче! Тут же он вспоминает, что, пока поп вместе с богачами переливает из пустого в порожнее, жена его находится в объятиях Дьери, и где? В собственной спальне пастора! Ко всеобщему удивлению он начинает громко хохотать.

— Позвольте, почтенный Тарнок! Что с вами? Как сейчас у человека может быть такое веселое настроение? — недоумевает пастор.

Тарнок мгновенно приходит в себя. Резко сдвинув колени и поджав под себя ноги, он нагибается вперед и обеими руками хватается за край стола.

— Я смеялся, потому что...— он старается подыскать объяснение своему поступку,— то, над чем вы, почтенные, горюете, не стоит и выеденного яйца! Я пришел сюда только для того, чтобы сказать вам это... А теперь могу уйти!

И Тарнок встает.

— Нет, не уходите! Останьтесь, прошу вас, ведь церковные дела для вас так же близки, как, например, для Гербеди и его почтенных друзей,— обращается к нему пастор.

Тарнок снова садится и смотрит на попа, как бы прикидывая в уме, сколько у того за душой и сколько из него можно выжать. Но пастор неожиданно вскакивает с места; он вспоминает Ирену Надь, сто шестьдесят хольдов земли, мраморную доску, вечную славу и то несметное количество поцелуев руки этой дряхлой старухи, которую незадолго до смерти он убедил завещать свою землю церкви.

— Неужели ничего нельзя против этого предпринять? — произносит он, с чувством мольбы и надежды смотря на кулаков.

Но те не слишком спешат с утешением. Раз дело дошло до поповской земли, их собственные участки точно так же могут подвергнуться размежеванию.

В дверях появляется капитан Дьери. Он прижимается спиной к косяку с таким видом, будто уже давно находится здесь и вовсе не думал прижиматься к жене его преподобия.

— Нужно покончить с пассивным сопротивлением,— тихо говорит он.— Пора объявить «великий поход».

У богача Гербеди сразу зачесалась ладонь. Он начинает озираться, словно ищет, где стоят вилы.

— Если мы будем сидеть сложа руки, еще не то произойдет!

В голове Эрне Пепи воскресают мудрые слова священного писания: «Поднявший меч от меча и погибнет». Но, может быть, этот закон древнего христианства уже не имеет силы при народной демократии?» — думает он.

— По-моему, браться за косы или вилы — не выход из положения,— говорит пастор.

Тарнок соображает с молниеносной быстротой. Теперь под влиянием слов Гербеди он снова колеблется. Нужно похоронить кооператив, который создал Бердеш. Может быть, для него, Тарнока, это будет наиболее доходным. Но как это сделать? В такой спешке ему ничего не приходит на ум.

— Необходимо объяснить крестьянам, что таким людям, как Бердеш и ему подобные, нельзя доверять, нельзя отдавать землю. Вдруг случится неурожай? Что тогда делать? Ведь все село с голоду подохнет! — толкует Ференц Вираг, по привычке похлопывая себя по коленям.

— Жаль, не можем мы созвать все село на сходку! — сокрушается пастор.

У Тарнока мгновенно возникает предложение.

— Село-то нельзя. Но кто мешает нам расклеить листовки на стенах, заборах и углах домов! Совсем так, как это делают они. Пусть не говорят, что мы у них не учимся.

Предложение действительно дельное. Настолько дельное, что не вызывает ни одного возражения.



— А вы, почтенный Тарнок, могли бы взять на себя это дело? — спрашивает пастор.

— Взять на себя или подрядиться — это два различных понятия. Одному с таким делом не справиться, нужно, по крайней мере, человека три-четыре. Надо раздобыть большие листы бумаги, сделать на них надписи, а потом развесить

Его преподобие громко вздыхает:

— Эх, будь у церкви деньги! — и пристально смотрит на богачей.

Но те отводят глаза в сторону. Один уставился на носок собственного сапога, другой разглядывает ладонь, третий созерцает портрет Кальвина, думая о том, какая же у Кальвина хитрая образина!.. Тарнок крякает, вытягивает ноги и прячет кулаки в карманы штанов.

— Что поделаешь, даже гроб Иисуса Христа охранялся за деньги,— констатирует пастор.

Что правда, то правда. И до того непререкаемая, что богач Гербеди решает раскошелиться.

— Я дам трехмесячного поросенка!

— Вот теперь уже можно разговаривать! — откликается Тарнок.

Языки постепенно развязываются. Находят средства и другие. У одного имеются только двухмесячные поросята, но зато он даст двоих. Другой согласен уплатить деньгами. «По крайней мере будут и деньги»,— думает Тарнок.

— Только листовки должны быть такие, чтобы сама земля покраснела от стыда! — требует Ференц Вираг.

— Его преподобие собственноручно напишет текст! — кивает Тарнок в сторону пастора, но тот отвиливает.

— Я напишу! Мне это раз плюнуть,— предлагает свои услуги Янош Васнаш-Надь.

Таким образом, все приходят к соглашению, и Тарнок встает.

— Были бы свиньи, а уж остальное поручите мне.

Пастор наспех подсчитывает, сколько налицо хозяев, иными словами, сколько поросят достанется Тарноку.

— Может, несколько многовато для одного человека, почтенный Тарнок?

— Свиней-то немного, а работы хватит. Понадобятся три человека, но у меня уже кое-кто есть на примете. Положитесь на меня, ваше преподобие!

Правда, на примете у него только Кари Вереш, а тот уже подыщет себе напарника.

Кари Вереш — сирота. После освобождения он работал у кулаков, а в прошлом году женился. Все, что он до сих пор получал от жизни, исходило от богачей, которым он отдавал свою молодость и силу. Он даже не предполагал, что в мире существует какая-то другая жизнь. Кари нигде не бывал дальше окрестностей собственного села. Последнее время после женитьбы жизнь стала

предъявлять новые требования; то, что он зарабатывал, им вдвоем с женой не хватало. И жене пришлось работать то у одного, то у другого кулака. К тому же Кари любил винцо больше, чем ему бы полагалось, и поэтому пользовался в селе дурной славой.

На закате солнца Кари и Тарнок встречаются в корчме. Кари не говорит ни слова и слушает Тарнока.

— Три поросенка — и делу конец,— заявляет он.

— Два,— торгуется Тарнок.— Ведь мне придется и другим давать.

— Что ж, два поросенка... могут сойти и за троих поменьше,— рассуждает Кари.

Он наверняка не знает, а только догадывается, что Тарнок, собственно говоря, подрядчик, который взялся что-то сделать, а нанимает на эту работу другого. До сих пор Кари соглашался на любую работу — разве не все равно, лишь бы только за нее платили. Но с этим ему еще никогда не приходилось иметь дела. Ему как-то не по себе: он не понимает, что может быть написано в этих листовках. Буквы и бумага нагоняют на него страх. Кари считает эту работу до крайности необычной. Но напрасно наседает он на Тарнока и требует объяснить, что там, в сущности, будет написано. Тарнок отговаривается тем, что ничего и сам не знает.

— А тебе не все равно? Бумага, и все... Важно только, чтобы она была расклеена. Да чтобы ни один человек не видел, кто ее расклеивал. Эй, кум, налей-ка еще по стопке! — И Тарнок протягивает корчмарю оба стаканчика.

Кари Вереш несколько успокаивается и залпом опорожняет стопку.

Глава пятая

1

На рассвете следующего дня по всему селу были расклеены написанные от руки листовки. Каракули на больших листах толстой оберточной бумаги гласили:

Бердеши растащили Чахошскую усадьбу, а теперь собираются наложить руку на все окрестные земли! Не отдавайте землю христопродавцам!

Были листовки и другого содержания. О Шаркези, например, говорилось, что в селе будет благоденствовать человек, который никогда даже ломаного гроша не имел за душой, а о руководителях кооператива писали, что они вообще не крестьяне: один мельник, другой механик. И таких, мол, начальников вы собираетесь слушаться?

Село просыпается в одно время; люди встают, идут кормить скотину, ладят возы, в общем готовят то, чем нужно будет заняться в этот день. Кое-кто поднимается раньше, чтобы принести

воду из колодца. Вот они-то первыми и увидели расклеенные на стенах домов, на воротах и у артезианского колодца листовки. Достаточно всего десяти-двенадцати штук, чтобы о них знало все село.

Сын Андраша Кеваго, Андриш, встал, пожалуй, раньше всех на улице Текмата. Еще с вечера мать наказала ему принести два ведра воды до того, как семья уйдет в поле. И вот Андриш, размахивая ведрами, идет вверх по узкому переулку. На углу, за домом Богданя, стоят двое — женщина и мужчина — и, задрав голову, таращат глаза на стену. На востоке небо еще облачно. Где-то на Большой улице скрипит колодезный журавль. На одном окне только что открыли ставни. Мужчина и женщина стоят неподвижно и попрежнему глядят на стену. Увидев приближающегося Андриша, они ухмыляются и, не дожидаясь, чтобы он с ними поздоровался, расходятся в разные стороны. Удаляются они поспешно, то и дело оглядываясь.

Андриш подходит к стене, видит листовку. Прочитав ее, краснеет — до того поражает его прочитанное. Листовка гласит: кому-де нужен такой председатель кооператива, который сожительствует с родной дочерью! Но таков лишь ее общий смысл. В действительности листовка составлена в непристойных, мерзких и грубых выражениях. Андриш уже не мальчик, ему исполнилось двадцать четыре года, и все-таки он беспомощно смотрит на этот листок. Еще ни разу в жизни он не сталкивался с такой поразительной подлостью. В уме оживают образы старика Бердеша, его жены, Лаци, Пирошки, всей семьи... что за вопиющая гнусность! Правда, его отец и старый Бердеш не особенно ладят и даже часто ссорятся, но это другой вопрос. Андриш ставит на землю ведра, подымается на цыпочки, сдирает со стены бумагу и, сложив, кладет ее в карман. В переулке слышны приближающиеся шаги... да и по Большой улице кто-то идет, и вон там...

Очевидно, листовка была вывешена и возле артезианского колодца, но ее уже кто-то успел сорвать. Чуть подальше, на самой середине улицы, стоят трое. Они о чем-то разговаривают, то и дело оглядываясь в сторону колодца, но слов их не слышно.

Пока Андриш наполняет свои ведра, он думает о том, что оказался свидетелем чего-то ужасного. Если в селе узнают, что написано в листовке, которую спрятал у себя Андриш, на семью Бердешей ляжет пятно позора. Но куда же теперь девать листовку? Что с ней делать?

Возвращаясь домой, Андриш встречается с Бердешем. В руках у того, как обычно, большая палка, но на этот раз она повернута ручкой книзу, словно для удара. Старик тяжело дышит, будто разъяренный бык. Очевидно, и там, в слободке, уже узнали о расклеенных ночью листовках. Казалось, большое село, а до чего оно, в сущности, мало! Еще солнце не успело взойти и облака на горизонте еще такого цвета, словно их тронула ржавчина, а о листовках, видимо, знают уже многие. Бердеш быстро прохо-

дит мимо Андриша, едва пробормотав что-то в ответ на его приветствие.

— Дядюшка Лайош! Остановитесь на минутку! — окликает Бердеша парень, ставя ведра на землю.

— Чего тебе? — хмуро бормочет старик, но все же останавливается.

Андриш роется в кармане.

— Вот, возьмите. Я только что сорвал со стены на углу переулка.

Бердеш разворачивает листовку, заглядывает в нее и начинает неистово ругаться.

— А не твой ли дражайший папаша это написал? А? — рычит он на парня.

Андришу кажется, что кровь застывает у него в жилах.

— Да как вы смеете такое говорить!.. Как вы могли подумать!

Он подходит совсем близко к Бердешу. Не потому, что собирается его ударить, он просто опешил — до того поразили его слова Бердеша.

— От него всего можно ожидать! — бросает Бердеш и шагает дальше.

Он, конечно, прекрасно знает, что сделал это вовсе не Кеваго! Но ведь кого-то нужно обвинить, причем немедленно, чтобы сорвать свою злость.

И вот теперь оба — старик и юноша — чувствуют, какой невыразимой горечью наполняется душа от такой несправедливости, и сознание этого причиняет им боль. Юноша с самыми лучшими намерениями сорвал со стены эту мерзкую листовку, а у старика, которого обвиняют в грязном и непристойном поведении, просто ум за разум зашел. От таких обвинений даже нельзя защищаться, даже нет возможности объясниться.

Ох, если можно было бы кого-нибудь избить, вложив в это весь гнев своего сердца, всю силу своих рук! Но кого? Взору Бердеша мало-помалу открывается утренняя панорама села. Оно кажется ему какой-то адской кухней; у Бердеша такое впечатление, будто он шагает по топкому болоту.

В этом могучем человеке кипит злость. А что он может сделать? Старику хочется выбить подряд все окна, поломать все заборы. Но вместо всего этого он направляется к Шаркези.

Шаркези весть о листовках принесла его дочь Рожика, одна из первых ходившая за водой. Она прочитала листовку, но сорвать ее не посмела. И вот Шаркези уже собирается пойти и лично выяснить, в чем дело. Он чистит сапоги, когда в кухню врывается Бердеш.

— Читай! — говорит вместо приветствия старик, протягивая листовку.

Шаркези молча берет листовку и пробегает ее глазами. Читает раз, другой, потом осматривает ее со всех сторон.

— Да скажи хоть что-нибудь! — злится Бердеш.

— Сказать?.. Да, разумеется... Не легко сразу сказать. Дело серьезное. Хватили через край!

— Наконец-то. Теперь ты и сам прозрел?

— Что значит «прозрел»? Уж нам-то ссориться нечего, дядюшка Лайош, в особенности сейчас, когда размежевание в самом разгаре.— И он медленно, в глубоком раздумье, отходит в сторону.

— Но что предпринять? Если молча стерпеть подобную грязь, выйдет, что я сам наплюю себе в лицо.

— Стерпеть? Об этом не может быть и речи. Не только вы, но и я не должен и не буду терпеть. Это дело не личное, дядюшка Бердеш, оно касается партии, потому что здесь затронуто человеческое достоинство. Как на это ответить?

— Давай сообщим уездному или областному комитету партии, затем полиции, и человек пять-шесть посадим за решетку. Тогда образумятся и остальные.

— Знай мы, кто это сделал, так и следовало бы поступить. Виновники, действительно, заслуживают кары, хотя сейчас, когда идет размежевание, нам это может только повредить. Нужно придумать что-то другое. Постойте!..

Шаркези закуривает и некоторое время молча дымит сигаретой. Потом медленно, взвешивая каждое слово, начинает говорить, причем с таким видом, будто Бердеша здесь нет и он вслух рассуждает сам с собой.

— Мы что-то сделали не так, что-то упустили из виду. Говорили о врагах, а к нападению не подготовились. А ведь Кульчар предупреждал об этом. При создавшемся положении на нас могут напасть в любой момент. Сейчас наша первоочередная задача — создать в кооперативе партийную группу, да такую, которая была бы крепка, как сталь. Если на нас вздумают напасть, мы так ударим по нашим врагам, что они, как пыль, разлетятся во все стороны. Мы не станем ждать нового нападения, а сами перейдем в наступление.

— Против кого, сынок? — непонимающе спрашивает Бердеш.

— Против кого? Против кулаков! Вирага, Толвая, Гербеди, Анны Кокаш, Барны Надя. Отберем у них землю, всю, до последней борозды.

И Шаркези сразу же выходит из комнаты. Бердеш следует за ним.

— Надо все-таки подумать, сынок. Особенно о земле Барны Надя. Если как следует раскинуть умом, этот Надь, может, и не кулак.

— То есть как это не кулак? Сами не видите? Может быть, он и писал эти мерзкие листовки. Как вы думаете? Пойдем в комиссию, еще раз просмотрим план размежевания и подумаем, как быть с кулаками.

Бердешу ничего не остается, как покорно следовать за Шаркези.

Солнце уже высоко в небе, когда они приходят в сельскую управу. По улице гонят стадо свиней. Стоящие тут мужчины и женщины весело приветствуют Шаркези и Бердеша, щелкают кнутами, перекидываются ничего не значащими словами. Все делают вид, будто им ничего не известно о расклеенных ночью листовках. Тарнок у своего дома переговаривается с соседом.

— Крепка, слышь, твоя рыжая кобыла, сват! — говорит он, но, увидев Шаркези и Бердеша, направляется к ним навстречу.

— Куда, товарищи, в такую рань? — спрашивает он.

— Дел по горло! — отвечает Бердеш, хотя его так и подмывает ударить Тарнока палкой по шее. Он пристально смотрит на Тарнока, но лицо последнего ничего не выражает.

2

Семья Кари Вереша живет за селом, на краю глиняного карьера. Здесь улица кончается, и дальше идет еле заметная тропа. Тут даже не растут деревья — сплошь солончаки. Бедное это место, что правда, то правда. А дом еще бедней, хоть и выстроен совсем недавно. Хозяин его живет в Пеште, а Вереш за аренду платит ежемесячно двадцать форинтов.

Кари стоит во дворе и воспаленными от бессонницы глазами смотрит на завалившийся забор из стеблей подсолнечника. Из сеней выходит жена и останавливается возле него. Она смутно догадывается, чем был ночью занят муж, но определенного ничего не знает.

Кари Вереш молча смотрит на жену. После сегодняшней ночи он не может ей сказать ни слова. Ему хотелось бы сейчас заплакать, разрыдаться.

Пока не вышел из головы хмель, все было в порядке: в разных местах он наклеивал по две листовки, но, когда дошел до улицы Текмата, холодный предрассветный ветер выдул из его головы последние остатки пьяного дурмана и он с трудом прочел гнусную листовку, которую только что наклеил.

Ведь эти листовки клевещут на таких же бедняков, как он сам. Осознав это, Кари с такой мучительной болью чувствует всю подлость своего поступка, что, уже не сдерживая рыданий, бежит домой, падает на незастланную кровать и, уткнувшись в подушку, плачет навзрыд.

Жена входит и склоняется над ним.

— Что ты натворил, Кари? — спрашивает она с дрожью в голосе.

Кари Вереш рассказывает ей всю историю с поросятами и листовками с самого начала.

— Во-первых, поросят тебе никогда не видать. А во-вторых, дело это очень скверное, Кари. Я считаю,— говорит жена,— что ты должен немедленно отправиться в кооператив к Бердешу и рассказать все, как было. Ведь они честные люди, Кари!

Верешу кажется, будто с плеч его свалился большущий-пребольшущий камень.

Когда Бердеш и Шаркези приходят в сельскую управу, их встречают четыре человека, одновременно приподнимающие шляпы.

— Сабадшаг! — произносят они все разом.

— Сабадшаг! — почти грубо отвечает Бердеш, пристально глядя на них. Шаркези не произносит ни слова. Ему кажется, что он даже не в состоянии пошевелить губами. Во рту сухо, как после приступа лихорадки.

— Мы поджидаем вас здесь, товарищи... хотим вступить в кооператив,— говорит Кари Вереш.

У него широкие, желтоватые скулы и маленькие, как горошины, глаза.

Шаркези не отзывается и теперь. Молчит и Бердеш. В конце концов спрашивает: — Как это вы решили? Так вот сразу?

— Да. Так сразу и решили.

Бердешу приходит мысль, что в ответ на ночное происшествие следовало бы их всех исколотить. Бить по голове, пока не сломается палка. Может быть, кто-нибудь из них причастен к этой грязной истории. Но тут ему начинает казаться, что лучшим ответом на вылазку кулаков будет все-таки вступление этих людей в кооператив. «Нас станет больше на четыре человека»,— думает Бердеш.

— Что ты на это скажешь, сынок? — спрашивает он Шаркези.

Шаркези отвечает настолько глухо, что даже сам не узнает своего голоса. В этом не его вина: обстоятельства заставляют быть осторожным.

— Ладно. Зайдите в канцелярию.

В канцелярии уже собрались оба землемера, уполномоченный министерства, начальник областного сельскохозяйственного отдела и Кульчар. На столе разложены карты, бумаги, протоколы. Кеваго сидит на своем обычном месте, откинувшись назад. Здесь ничего не может произойти, о чем бы он не знал, чего бы не видел. Кеваго был здесь и вчера до полуночи, и сегодня с шести утра снова тут как тут; он внимательно разглядывает карту, высказывает свое мнение о людях и земле.

Карта!.. На этих листах бумаги обозначена вся округа. На них начерчены поля, луга, участки, колодцы, рвы, канавы, а также извивающаяся по краю поля река. Нет ни пяди земли, которая не имела бы хозяина. Каждый уголок, ров, берег, луг кому-нибудь да принадлежит. Одни участки окрашены в красный цвет, другие в белый, зеленый, и на каждом поле проставлены цифры, которые вписаны и в земельный реестр.

А в реестре сказано, кому принадлежит тот или иной участок. Карта — это замечательное творение человеческого разума. Линии, изгибы, углы, цифры выведены на ней с удивительной точностью. Наряду с цифрами имеет значение и раскраска. Напри-

мер, красный цвет означает зёмлю кооператива «Свобода», зеленый — участки мелких хозяев, а белый — землю богачей.

Кеваго основательно вошел в роль председателя комиссии и кое-чему здесь научился: он уже умеет разбираться в карте и земельном реестре без помощи землемера. Правда, кое-какие познания в этом он приобрел еще раньше, работая землекопом.

Входят Шаркези и Бердеш в сопровождении крестьян.

— Сабадшаг! Доброе утро! — здороваются они с каждым за руку. Кульчар с нетерпением ждет окончания этой церемонии и тотчас отзывает Шаркези и Бердеша.

— Вам известно, что произошло ночью? — спрашивает он.

— Да. В основном известно.

— У вас есть какие-нибудь сведения о том, кто это сделал?

— Пока нет. Достоверно лишь одно: это дело рук хорошо организованной банды.

Кульчар, несмотря на свою молодость, опытный партийный работник. Борьба для него — это жизнь. Но с такой формой классовой борьбы он встречается впервые. К тому же человек он не деревенский, отец его с восемнадцатого года был коммунистом и работал в Эгере кузнецом.

— Что же вы предлагаете? Чем ответить на эту вылазку? — спрашивает Кульчар.

— Вот четыре человека, которые желают вступить в производственный кооператив! — говорит Шаркези.— Это и есть наш ответ. И, кроме того, мы до последнего клочка отберем все земли, сдаваемые в аренду. Это тоже наш ответ.

— А не перегнем ли мы? — робко спрашивает уполномоченный министерства.

— Перегнем? Нет, достаточно мы до сих пор терпели их наглость! Позволяли издеваться над нами. Так вот, отныне мы терпеть больше не будем! Товарищи землемеры! Посмотрим, сколько земли кулаки сдают в аренду.

— На удар ответим ударом! — кивает головой Сито.— Можно прямо начать с Барны Надя, его земля возле Сторожевого холма...— И Сито склоняется над картой.

— Я говорил — оставим в покое Барну Надя! — ворчит на него Бердеш, отирая лицо и лоб. Ему жарко; тут позор с этими листовками... да еще Барна Надь...

Землемеры недоуменно пожимают плечами. Шаркези с удивлением поворачивается к Бердешу. Впрочем, пусть его! Придет время, разберутся они и с этим Барной Надем.

В коридоре раздается шум; это собираются вызванные на сегодня в комиссию крестьяне.

3

Размежевание закончилось, а мир и не подумал обрушиться. И за околицей не видно сколько-нибудь заметных следов происшедшей перемены. Межи пока сохранились, ветер весело гонит по

полю опавшую осеннюю листву и сгибает стебли полыни. Нет в этих краях такого сорняка, который не рос бы здесь на межах всюду — и на холмах, и в низинах. Межи — они в метр шириной — порастают осокой, столоном, ежевикой, орешником, подорожником, бересклетом, пушистой спаржей, татарником, вьюнком, окопником, волчьей ягодой. Здесь находят убежище черви, гусеницы, насекомые и полевые мыши. Сколько таких межей! И каждая из них ежегодно исключается из посевной площади. А сколько людей размозжило друг другу мотыгами головы из-за какой-нибудь спорной межи!.. Итак, межи пока сохранились. Но землемеры уже врыли в землю столбики из камня на фундаменте из битого кирпича. Может, столбики эти кто-нибудь и попытается переставить на другое место, но из этого ничего не получится; кирпичная кладка будет доказательством при возможных спорах и судебных разбирательствах.

Гораздо яснее, чем в поле, заметны результаты размежевания на картах и в земельном реестре, а еще отчетливее — в сердцах людей.

Все было закончено в субботу вечером, а в воскресенье, с самого утра, толпы людей вышли за околицу. Одни — чтобы хозяйским глазом осмотреть новые участки, другие — чтобы увидеть, где сливается с общим земельным массивом его маленький надел.

Правление кооператива «Свобода» предварительно намечает, где пахать и сеять. Богачи же снуют туда-сюда, каждый около своего старого участка, который теперь отошел к кооперативу, словно вода, переливающаяся то в одну, то в другую сторону на дне казанка.

В селе ровно в семь часов утра начинается перезвон колоколов в католической церкви; кажется, словно маленький колокол вызывает на состязание большой. В девять часов, наконец, начинает гудеть и большой колокол — или спокойно и не спеша, или, наоборот, тревожно и грозно, в зависимости от того, как душа каждого отзывается на этот звон.

А в поле уже весело светит солнце, грязи как не бывало, но мягкая земля еще густо налипает на сапоги. Кто стоит на месте,— мерзнет, а тому, кто шагает по полю,— жарко. Да и стоять на месте не время, пора решать, что лучше посеять тут, что там...

Свой план есть у всех: и у богача, и у крестьянина-единоличника, и у производственного кооператива. Без плана крестьянину нельзя и шагу ступить.

Но какой план может быть сейчас, после размежевания, например, у Яноша Васнаш-Надя? Что это, собственно говоря, за человек? Как он жил до сих пор, на чем разбогател?

Яношу Васнаш-Надю шестьдесят семь лет; когда-то, в молодости, он был такой же бедняк, как и остальные. Сирота Янош в детстве батрачил у богатеев. У своего последнего хозяина он обольстил дочку, и волей-неволей пришлось ее выдать за него замуж. С тех пор началась новая жизнь Васнаш-Надя. Когда-то

он не имел даже собственного домика, и все его богатство состояло из двух лошадей. Это давало ему возможность заниматься извозом. Затем после смерти тещи ему досталось наследство. Так приобрел он дом и землю. Потом умер тесть, его хозяйство тоже перешло к Васнаш-Надю. С тех пор его помыслы сосредоточились на том, как бы разбогатеть еще больше.

Когда он уже слыл богачом, имел много свиней и овец, случилась засуха и не хватило кормов. Чем же было Васнаш-Надю кормить столько свиней? Ведь до новой стерни еще далеко, и хотя урожай обещал быть хорошим, но надо было продержаться, тем более, что к осени свиньи должны подорожать.

Однажды утром испольщик принес весть, что на рассвете свиньи поели почти всю птицу. А раз выяснилось, что свиньи любят птицу, не обязательно в засуху кормить их кукурузой, можно и мясом. А где же его взять? Правда, в округе полно замореных лошадей; ведь это же мясо! Даже наши предки, придя сюда через Верецкий перевал, питались кониной. И в конюшне Васнаш-Надя тоже была одна никудышная кляча. Свиньи съели сначала эту захудалую лошаденку, а за ней и всех больных кляч в селе.

Свиньи росли, жирели, расстались с косматой шерстью, хвосты их завились кренделями, и так они дожили до косовицы, когда, наконец, пришла пора убирать ячмень и их можно было выгонять на пастбище. Но тут произошла беда. Мальчишка-свинопас выводил свое стадо на одно пастбище, а чабан пас овец на другом. Привыкшие к мясу свиньи набросились на овец. Тщетно оба пастуха разнимали их: свиньи в этот раз наелись вволю. Словом, основательно перепортили отару. Такой убыток из жалованья пастухов не покроешь.

Однако и в дальнейшем напасти не прекратились. Свиньи сожрали индюков, кур, а в середине августа напали на четверку запряженных в плуг лошадей. Счастье еще, что лошади были в теле. Они порвали сбрую и только тем и спаслись.

Были у Васнаш-Надя свои странности. Например, когда был помоложе, он любил разговаривать со своей землей. Собственно, говорил-то он, а земля молчала.

Сыну его исполнилось двенадцать лет, когда Васнаш-Надь уже был богачом и владел большими участками земли. Мальчик часто сопровождал его при обходе полей. И на этот раз, как обычно, Васнаш-Надь обратился к земле:

— Этот участок я купил четыре года назад. Как следует удобрил, осенью глубоко вспахал, и пшеница уродилась такая, лучше которой у нас не бывало. А много ли ты мне дашь, земля, если я и теперь тебя снова засею пшеницей? — остановился он посреди поля, словно ожидая от земли ответа.

Но земля безмолвствовала. Зато сын, робко следовавший за отцом на расстоянии нескольких шагов, сказал:

— Можете говорить ей что угодно... Ведь это же земля!

Васнаш-Надь, преисполненный великой жадностью к своей земле, очень разозлился за его вмешательство.

— Ты-то чего лезешь? Мало того, что ты вовсе и не мой сын! Твоя мать ходила воровать виноград, а сторож поймал ее... Так он и стал твоим отцом...— резко сказал Васнаш-Надь и грубо выругался.

Мальчик слушал отца со все возрастающим отвращением. За эти несколько минут в душе его навеки умерла не только сыновняя любовь, но вера и мораль, которая каждому внушается с детства.

Вот каков, стало быть, этот богач Васнаш-Надь!

Не лучше и другие богатеи. У каждого из них своя история.

Гербеди, например, считает себя порядочным человеком. В прежние времена, до освобождения, он долго был старостой, относительно честно, как он думал, выполнял свои обязанности, но никогда не поделился ни с кем даже пшеничным зернышком. Даром не давал ничего! На это у него была своя поговорка: «Дрянной тот человек, кто ждет от кого-то помощи даром». Давать взаймы он тоже отказывал: пусть, мол, никто меня не проклинает, когда придется отдавать долг.

Гашпар Толвай унаследовал от отца мельницу. Правда, ветряную, но он ее перестроил на паровую и занимался помолом пшеницы до тех пор, пока не намолол ее столько, что смог на вырученные деньги купить около двухсот шестидесяти хольдов земли. Тогда он продал мельницу — зачем возиться с глупыми людьми, которые привозят на мельницу зерно? Куда лучше быть землевладельцем, особенно, если можно сдавать участки в аренду, получая за это по три-четыре центнера зерна с хольда, в зависимости от того, кто арендатор и какова земля!

Что же делают эти богачи сейчас, после размежевания? Каковы намерения Ференца Вирага, Яноша Васнаш-Надя, Анны Кокаш?

У Анны Кокаш размежевали все поле до последней борозды, предоставив ей десять хольдов в другом месте. Она, правда, пыталась утверждать, что земля ее, собственно говоря, не в аренде, а сдана на обработку за треть урожая. Но, разумеется, это была ложь, и ничего доказать ей не удалось.

Яношу Васнаш-Надю пока кое-что оставили, хотя и его земля вся была сдана в аренду. У Гербеди тоже сохранилась часть участка. Комиссия решила на первый раз не отчуждать всю землю, которую он сдавал в аренду.

Больше всех кричал Васнаш-Надь. Он заявил, что не позволит забрать землю, подаст в суд, дойдет до верхов! Вираг заметил, что смеется тот, кто смеется последним, и сказал это таким тоном, словно знал секрет, который скоро перевернет теперешний строй вверх тормашками. А Гербеди отправился к пастору — ведь он первый человек в селе и должен знать, что нужно делать.

«Куда сначала зайти: в столовую или на кухню?» — раздумывает Гербеди, пытаясь заглянуть через застекленную дверь в при-

хожую, которая вполне могла бы сойти за оранжерею. Здесь стоят олеандры и другие южные растения, висит люстра, хотя электричества и нет. Затем он поворачивается и по бетонированной дорожке, на которой ветер вихрем вздымает пожелтевшие листья, идет на кухню.

В кухне пасторша занята детишками. На ней тяжелый бархатный халат, под глазами темные круги,— повидимому, ночью она плохо спала.

— Доброе утро, дядюшка Гербеди! Заходите, его преподобие еще в спальне,— говорит она.

Пастор одевается; одной рукой застегивает подтяжки, другой поспешно убирает со стула целый ворох предметов дамского туалета.

— Прошу садиться, дядюшка Гербеди. Что так рано встали?

— Рано? Я вовсе не спал. А сейчас зашел только за тем...

— Почему же, в таком случае, вы пришли сюда вместо того, чтобы отправиться прямо в церковь? Вы что, дядюшка Гербеди, не желаете ходить в церковь?

— В церковь? Сейчас? Когда у меня отняли почти всю землю?

Пастор удивленно смотрит на Гербеди. У него такое ощущение, будто он только что пробудился от долгого, длившегося несколько недель сна.

— Ну, конечно, конечно... Вот видите, как хорошо было жить по-старому и просыпаться с легким чувством, зная, что сегодня ясное, светлое воскресенье. А теперь все это в прошлом. Смиримся с этим, дядюшка Гербеди, делать нечего. Я уже начинаю думать, что артистка Ирена Надь и не помышляла оставить приходу свои сто шестьдесят хольдов.

— Не могу я так думать! Ведь мою землю отец оставил мне навечно. Посоветуйте, ваше преподобие, что нам всем делать? За что не беремся, все идет прахом. Казалось, эти листовки расшевелят село, а оно и не обратило на них внимания. Да еще этот, как его там... Кари Вереш — мразь этакая — вступил в кооператив. Ночью расклеивает листовки, а утром идет на поклон в кооператив! Неужели все окончательно рехнулись?

Пастор вздрагивает, но разговора о листовках не поддерживает. Он умеет не обращать внимания, когда речь заходит об опасных вещах, и сейчас делает вид, будто не слыхал, что сказал Гербеди. Между тем «великий поход», как его назвал в тот вечер капитан Дьери, уже начался. Но в другой раз они поступят иначе! Ничего не будут обсуждать открыто, на людях. Пресловутый «великий поход» был организован таким образом, что за него могут арестовать только одного человека, Тарнока, который взял на себя роль исполнителя. Да и с самим Тарноком говорил не пастор и даже не Гербеди, а его шурин Балинт Эсеньи, который как председатель производственной комиссии в сельской управе вне всяких подозрений. Пастор очень спокойно говорит об этом Гербеди.

— До поры до времени и вы, дядюшка Гербеди, ничего не сможете поделать. А что собираются предпринять люди, которые лишатся земли, арендованной ими у хозяев? Если бы они зашевелились, то возможно... Они ведь бедняки. Для них эти несколько хольдов земли — вопрос жизни, дядюшка Гербеди. Если бедняки позволят, чтобы их согнали с этой земли,— нам действительно нечего делать. То, что мы предпринимали до сих пор, было и в их интересах. Если этого оказалось мало, то сейчас мы без всякой пользы только поможем распять себя на крестах...

В десятом часу утра у патера встречаются Васнаш-Надь и Анна Кокаш. Правда, с тех пор, как Васнаш-Надь подарил церкви участок, он почти не бывал там и не разговаривал с Кароем Пинцешем. Но какое это имеет значение? Он и сейчас пришел к патеру не как к духовному отцу, а как к человеку, который, во всяком случае, умнее его.

— Что происходит на белом свете, святой отец? — спрашивает он, входя в комнату и даже позабыв поздороваться.

— Где? На этом свете, почтенный Васнаш-Надь? — переспрашивает патер.— Вы лучше знаете жизнь — ведь вы постарше.

— Так-то оно так... Но скажите мне: существует ли еще на свете независимый венгерский суд, который может защищать справедливость?

— Какую справедливость имеете вы в виду, почтенный Васнаш-Надь? Ведь каждый человек прав по-своему.

— А вот какую... Мою землю размежевали, а меня выгнали к Сухому ручью и дали десять хольдов, которые отрезали у Анны Кокаш.

Вдовушка Кокаш молчит, она разглядывает книги, чинно стоящие в ореховом шкафу. Зато отвечает Карой Пинцеш:

— Пути господни неисповедимы, почтенный Васнаш-Надь. Мы никогда не можем знать, каковы его предначертания и что совершает господь бог для нашего счастья. Смиритесь с этим!

— Пусть чорт смиряется!

— Поверьте, лучше подчиниться злу. Почему вы не ходите в церковь? Там вы найдете утешение.

Васнаш-Надь колючими глазами оглядывает патера.

— Чтобы я... в церковь?..— произносит он так, словно думает вслух.

И, подняв голову, ищет на ощупь дверную ручку. Потом выходит, так и не попрощавшись.

А патер садится верхом на стул, словно какой-нибудь озорник, раз-два, и он оказывается напротив Анны Кокаш. Женщина часто моргает, редкие, но крупные слезы скатываются ей на грудь.

«Так вот она какая, эта кулачка! На протяжении целого поколения ее растили в покое, довольстве и изобилии! Она никогда не видела нужды ни у матери, ни у бабушки, в детстве родные оберегали ее сон, а затем разодетую в шелка и кружева повезли в желтом тарантасе венчаться, хотя церковь была совсем рядом и до

нее, как говорится, рукой подать! В девичестве Анну защищали даже от дуновения ветерка, немедленно исполняли любое ее желание, и была она поистине создана для поцелуев и объятий. Затем Анна успела похоронить двух мужей, а сейчас, оставаясь вдовушкой, добивала Шандора Катону. Сильная женщина! Прелюбодейка! — думает патер.— Может быть, поэтому бог и лишил ее детей. Но у нее сто шестьдесят хольдов земли, полный хозяйственный инвентарь, молотилка, косилка, трактор... И какая женщина! Есть в ней что-то пленительное и чарующее, чего не выразить словами, нечто напоминающее огонь, притягивающий бабочек и жуков».

Карой Пинцеш сидит перед женщиной и пристально смотрит ей в глаза.

— А теперь расскажите мне, дорогая Анна, как все это было?

— Что тут рассказывать? Если уж понадобилась моя земля, пусть так и будет. Пусть забирают треть, половину!.. Но что мне делать с десятью хольдами, которые я с трудом вымолила?

— Десять хольдов это много, очень много, поверьте мне. Вы умная женщина, и к тому же молоды. Почему вы должны зависеть от земли? — спрашивает патер.

Кокаш с недоумением слушает его.

— А что мне делать? Пойти в кухарки? Я ведь ничего не умею делать. Конечно, со своим хозяйством я управляюсь. Для него я родилась, ради него и хочу жить. И не уступлю! Нет, нет и нет!..

— Послушайте,— пробует успокоить вдовушку патер и кладет ей руку на колени. Анна Кокаш бросает на него печальный взгляд и в то же время осторожно снимает руку со своих колен.

— Но, святой отец...

— Да погодите же! Во-первых, хочу вам сказать, что я человек. Более того, я молод. А что касается этого самого, то у меня всегда были любовницы, с тех пор как...

Женщина вскакивает, стул с грохотом опрокидывается. Затем снова раздаются какие-то странные звуки. Если бы кто-нибудь подслушивал за дверью, что происходило затем в кабинете духовного отца, ему показалось бы, что какое-то огромное и тяжелое животное топчет в саду опадающие лилии и вянущую резеду.

4

Партийная группа кооператива, наконец, создана. Парторгом выбран Сито. На первом собрании группы все согласились, что самая неотложная задача — созыв собрания членов производственного кооператива для обсуждения дальнейших планов.

Через два дня было проведено такое собрание, но до чего же оно отличалось от предыдущих! Раньше люди робко жались, будто им было холодно, и только теперь впервые чувствовали себя совершенно свободно. Ведь это их контора, а скоро им будет принадлежать и все село, вся округа.

— Даже жена Йошки Папа явилась,— шепчет Бердеш на ухо Шаркези и начинает оглядывать собравшихся.

Зал уже почти полон. Лайош Тержек-Виг сидит в первом ряду. Он в белой манишке и в черном костюме. Возле него Шари Фейер, разодетая, словно она пришла не на собрание, а на свадьбу. Рядом с ними восседает Лайош Кошут-Киш. Он то и дело приподнимается, словно хочет что-то сказать. Потом вдруг встает и идет на сцену, вернее помост, как ее называют Бердеш и другие старики. Кошут-Киш настолько кажется себе значительной персоной, что, не дожидаясь приглашения, садится за столом правления. Бердеш бросает вопросительный взгляд сначала на Шаркези, потом на Кульчара. Но Кульчар не понимает, в чем дело, а Шаркези только весело улыбается.

«Ну что ж... Пусть Кошут-Киш сидит здесь, раз ему так нравится...»

Место Кошут-Киша в первом ряду пока остается пустым, но не надолго. Кари Вереш, только что вступивший в кооператив, сидел раньше в третьем ряду у самого края... Увидев свободное место, он поднимается и переходит в первый ряд, но по пути нечаянно задевает Шари Фейер, бормочет какое-то извинение и садится рядом с ней. Лицо у него становится таким же красным, как и его фамилия *; он похож на вареного рака.

В зале царит тишина, лишь кто-то крякает и сопит, а в задних рядах сморкаются и раздается чей-то смех. Кари Вереш краснеет еще больше. Ему сейчас кажется, что любой шорох и даже шелест — это укор за роковую ошибку, которую он совершил в ту памятную ночь... Если человек сам не старается загладить свою вину, как же можно ожидать, что другие это забудут?

— Все собрались? — вставая, спрашивает Бердеш. Он посматривает по сторонам, как будто проверяет всех взглядом. Никто ему не отвечает. Кого здесь нет, тот и не может ответить.— Ну что ж,— продолжает он,— в таком случае начнем, закроем дверь и не будем больше никого ни впускать, ни выпускать!

Кто-то идет к двери, повертывает ключ и снова возвращается на свое место. Бердеш тем временем объясняет сидящему рядом Кульчару, что теперь он больше никому не верит и никто его уже не проведет, даже если притворится святым.

Кари Вереш испуганно оборачивается. Уж не означает ли это предостережение Бердеша, что сейчас от него потребуют ответа за расклейку листовок?

Бердеш поднимается с места.

— Прежде чем открыть собрание, предлагаю спеть «Интернационал»,— говорит он.— Лаци? Где ты, Лаци?

Лаци, конечно, здесь; сидит в самом конце зала. Он, как полагается, встает вместе со всеми, но ждет, пока начнут остальные. Едва только послышалась первая фраза партийного гимна, как голос Лаци мощно ворвался в хор и зазвучал так, словно Лаци поднял над головой сверкающую блеском, вибрирующую сталь-

ную ленту, демонстрируя ее перед собравшимися. У каждого из присутствующих такое чувство, будто откуда-то из светлого и ясного края течет чистый ручей, и вот он уже здесь, в зале,— разлился так, что перехлестывает через стены и крыши домов, и люди, которых он застиг на своем пути, бредут в потоке по самые колени.

— Ох, и хорошо же поет, молодец!..— Бердеш смотрит на Лаци, и крупная слеза скатывается у него по щеке. Как и большинство крестьян, старик души не чает в своей семье. Сейчас он с особой остротой ощущает всю силу своей любви к сыну. Любит он и Пирошку, и среднюю дочь, и самую младшую, и старшего сына... Любит всех вместе и каждого в отдельности, любит свою старуху... Не часто Бердеш способен так расчувствоваться, как сейчас, во время пения «Интернационала». И такую благородную, чистую, великую человеческую и отцовскую любовь пытались изгадить эти мерзавцы!..

Гимн кончается. Все садятся.

На первый взгляд, все подобные собрания кажутся одинаковыми, а между тем как они непохожи одно на другое. На последнем собрании люди готовились к размежеванию, теперь же если они и начнут с этого, то кончат совершенно другими вопросами, другими решениями.

— Начнем, дядюшка Лайош! — подает Шаркези знак Бердешу.

Тот еще раз смотрит на секретаря, как будто в голову ему пришла какая-то важная мысль. На самом деле он попросту думает, что ничего толкового все равно сказать не сможет. В эти последние дни он был словно в лихорадке и не успел по-настоящему собраться с мыслями и продумать свою речь. А ведь он председатель, ему нельзя ударить лицом в грязь.

— Дорогие товарищи! — начинает Бердеш.— В повестке сегодняшнего собрания, во-первых, отчет правления о размежевании и, во-вторых, обсуждение заявлений о приеме в кооператив новых членов...

В этот момент Бердеша прерывает чей-то голос с места:

— Кари Вереш только в четверг ночью расклеивал против нас листовки, а сегодня он уже сидит здесь, с нами.

Собрание заволновалось, словно камыш во время грозы.

— Кто это сказал? — спрашивает Кульчар у Шаркези.

— По голосу как будто... Фюрес... Разрази его гром!

— Неужели это в самом деле правда?

— Вполне возможно.

Бердеш некоторое время продолжает стоять молча, затем громким голосом обращается к сидящему в первом ряду Кари Верешу:

— А ну, встань! Не слышишь, о тебе говорят!

Кари Вереш встает и тут же поворачивается назад, делая вид, что разыскивает того, кто заговорил о нем. На самом деле он бо-

рется с собой: ему стыдно смотреть в глаза Бердешу. В его мозгу молниеносно проносятся все события последних дней: встреча с Тарноком в корчме, расклейка листовок, разговор с женой и решение вступить в кооператив. Почему человек — такая трусливая козявка? Ведь Кари пошел в правление кооператива с твердым намерением очистить свою совесть и рассказать все откровенно. Но, увидев Бердеша и Шаркези, сразу лишился дара речи; чувствовал тогда, что не в состоянии выжать из себя ни единого слова. Что же теперь может он сказать здесь всем этим людям?.. Кари продолжает неподвижно стоять, смотрит в угол зала и, наконец, опускает голову.

— Товарищи! — срывается с его уст.— В тот день, когда я повстречался на улице с Тарноком, он зазвал меня в корчму. Потом... я пил, не отрицаю... Но... ведь пил я и раньше, а все-таки ничего не случалось. Я не знаю, что в тот день со мной было... Я рос сиротой, и, может, никогда ни у кого так не болела душа, как у меня. Мне негде было даже преклонить голову. Пока я не подрос, каждый хозяин помыкал мной, издевался как хотел. А теперь вот я женился. Как я мог противиться Тарноку, который так ласково говорил со мной и поил на свой счет? Я понятия не имел, что будет написано на тех бумажках. Мне казалось, что это просто работа, как всякая другая... Да что взять с малограмотного сироты, бедного, как собака? Его радует, если можно где-нибудь подработать... Но к утру, протрезвившись, я кое-как прочел листовку, которую сам наклеил, но... уже не посмел ее снять, потому что к колодцу сходились люди. Придя домой, я ни на минуту не сомкнул глаз. Ждал с нетерпением часа, когда в сельскую управу придет товарищ Бердеш или кто-нибудь другой, чтобы покаяться и заявить ему о своем решении вступить в кооператив. И вот я здесь. Не гоните меня, товарищи!..

И Кари Вереш заплакал, как ребенок.

В зале воцарилась мертвая, но в то же время грозная тишина.

— Стало быть, ты получил задание расклеить листовки от Тарнока? — сурово спрашивает Бердеш.

— Да.

— А Тарноку поручил это дело поп или богатеи. Нечего сказать, в хорошую компанию ты попал. Я не уверен, что бандит может стать порядочным человеком: негодяй останется негодяем. Но наш долг помочь человеку выйти на правильный путь. Я, со своей стороны, прощаю тебе.

Однако Михай Бири никак не может с этим согласиться.

— Чорт бы тебя побрал! — обращается он к Верешу.— В дальнейшем веди себя как следует, иначе тебе не поздоровится.

— Ну как, товарищи? — спрашивает Шаркези.

Собрание молчит. Тогда встает Балаж Фюрес.

— Кари Вереш еще молод. Действительно, ему пришлось пережить немало напастей. Давайте простим его, авось исправится.

Собрание загудело. Слышатся выкрики:

— Верно!

— Попробуем!

Кари Вереш садится на место в таком состоянии, словно его только что сняли с креста. Он щупает левую ладонь — пока он говорил, она совершенно онемела.

Все с облегчением переговариваются друг с другом. Одни ругают Тарнока, другие — богачей и пастора. Бердеш стучит по столу, и он хочет, повидимому, вставить слово. В нарастающем шуме встает с места жена Катоны и нетерпеливо поднимает руку. Все думают, что она хочет что-то сказать по поводу Вереша.

— Товарищи, да выслушайте меня наконец! — с отчаянием восклицает она.

— Волос долог да ум короток! — с иронией в голосе уничтожающе бросает кто-то с места.

— Хорошо, потом,— говорит ей Шаркези.— А сейчас послушаем, что хочет сказать председатель!

— Поймите, товарищи, я должна рассказать вам все, что узнала! Ведь пока мы здесь переругиваемся друг с другом, по селу собирают подписи против размежевания! — изо всех сил выкрикнула она и заплакала.

Это первые женские слезы в производственном кооперативе; все мгновенно стихают. Нет тут ни одного человека, который не испытал в своей жизни горечи женских слез. И вот сейчас эта обманутая, покинутая мужем женщина плачет о них всех! У каждого в этот момент появляется такое чувство, будто судьба навеки неразрывно связала их и собрала сюда. А там, в темном, словно притаившемся, селе повсюду, везде за ними следит враг. Они же вместо того, чтобы бороться с врагом, только спорят друг с другом. И все начинают понимать, что их первейшая обязанность не возмездие, не кровная вражда, не месть по отношению друг к другу. Там, где нужно, они должны простить, быть человечными, но зато врагов уничтожать без всякой пощады.

Тем не менее заявление жены Катоны приводит собрание в замешательство. Людям кажется, что над ними нависла серьезная опасность, которая не позволяет им ни шагу сделать вперед.

— Кого заставляют подписываться? — спрашивает Бердеш.

— Бог их знает. Каждого, кто пожелает.

— Кто этим занимается?

— Тарнок был у Андраша Кеваго. Андраш сам сказал мне об этом.

Бердеш в недоумении смотрит на Шаркези.

— Пусть кто-нибудь сходит в корчму и там все разузнает.

— Избить всех их, как собак! — кричит Фюрес.

— Может быть, этого и не следует делать. Но уж если доведут нас до крайности — изобьем! — откликается кто-то.

Йошка Пап и Сито изъявляют желание пойти в разведку. Они проходят по залу, словно идут через брод, вода впереди расступается и снова смыкается. Жена Катоны теперь успокоилась. Она

снова садится, несколько раз всхлипывает, потом судорожно и прерывисто вздыхает.

Наконец можно начать собрание. Но уже поздно. Девятый час... когда же оно кончится?

«Успеем»,— думают многие. Самое важное сегодня — отчет правления. Из него собрание узнает, что в настоящий момент кооператив располагает восемьюстами шестьюдесятью хольдами земли; в кооперативе уже сорок две семьи. Но со скотом еще многое неясно. Один говорит, что скот входит в приусадебное хозяйство, а это значит, что каждый может владеть двумя коровами, содержать их в своем хлеву, а не приводить в кооператив. Другой считает, что следует сдавать весь скот.

Сколько различных точек зрения! Сколько разных замыслов! Состоять в производственном кооперативе и в то же время вести дома свое хозяйство, словом, богатеть... Есть только один вопрос, на котором все сходятся и притом с энтузиазмом: это сев. Размежевание проведено, теперь пора непосредственно приступать к севу. Чтобы начать его, сначала надо составить примерный план посева на восьмистах шестидесяти хольдах. Счастье еще, что Бердеш и Шаркези заранее подготовили по этому вопросу кое-какие предложения. Зерно для посева, семена и сельскохозяйственный инвентарь в кооперативе уже есть, за это можно быть спокойным.

Если будет решено весь скот сдать в кооператив, понадобится больше кормов. В таком случае придется засеять побольше люцерны — семена ее, как известно, на вес золота.

Кульчар слушает все эти споры и предложения и курит одну сигарету за другой. У него в кармане лежит письмо для кооператива от областного комитета партии. Но ему дано указание передать письмо лишь в том случае, если начатое дело окажется вполне надежным. Дело в том, что областной комитет партии тщательно следит, как расходуются государственные средства, а письмо, которое привез Кульчар, имеет к этому непосредственное отношение. Кульчару то кажется, что письма передавать не следует, то он с трудом удерживается, чтобы не достать его из кармана. Тем не менее обстановка постепенно проясняется. Небольшая перепалка возникает только при обсуждении посевного плана, но и она благополучно ликвидируется.

Часть членов кооператива за то, чтобы посеять побольше пшеницы, пусть будет вдоволь хлеба. Другие доказывают, что нельзя же ограничиваться только пшеницей.

— А разве у самого правления нет по этому поводу никаких предложений? — спрашивает Шерфезе.

— Правление полагает, что пшеницу надо посеять на половине нашей земли. И не для того, чтобы все съесть... Земли у нас, правда, немало, но, если сплошь посеять пшеницу, возникает опасение, справимся ли мы с ней весной? Мы предлагаем, товарищи, засеять пшеницей только четыреста хольдов,— говорит Шаркези.

Противники пшеницы только сейчас соображают, что, если

сажать другие культуры, придется много возиться с прополкой. Поэтому они умолкают. Пусть уж лучше будет четыреста хольдов пшеницы.

— Хорошо. Но чем мы будем пахать эти четыреста хольдов? — спрашивает Лайош Кошут-Киш, предлагавший сеять поменьше пшеницы и побольше кукурузы.

— Есть предложение. Мы потребуем у производственной комиссии, чтобы нам выдали четыре кулацких трактора. Кроме того, четыре наших конных упряжки будут бороновать и подвозить зерно для посева. А упряжки с коровами, которые удастся собрать, займутся подвозом горючего к тракторам.

Слово «трактор» всех воодушевляет. Люди буквально хмелеют, словно после стакана вина.

— Так-то оно так!.. А дадут ли кулаки свои тракторы? — сомневается Балаж Фюрес, видимо, больше для того, чтобы окончательно убедиться, что кулаки действительно их дадут.

— Мы станем просить не у кулаков, а у производственной комиссии,— отвечает Шаркези.

— Если хорошенько поразмыслить, председатель производственной комиссии, этот Эсеньи, порядочная дрянь.

— Сейчас нам это не важно. Мы уладим все сами.

— Если не разводить свиней, никакой прибыли не будет! — начинает совсем о другом Карой Ханадь. Это уже новый вопрос, но ему хочется сразу узнать все и гарантировать себя во всех отношениях.

Снова начинается обсуждение, выдвигаются всяческие предложения, будто здесь торг и каждый старается что-то выгадать для преуспевания кооператива «Свобода».

Кульчару и Шаркези трудно задержать внимание людей на одном вопросе, чтобы обсудить его со всех сторон. Тем не менее Кульчар чувствует: пришло время исполнить наказ областного комитета партии.

— Товарищи, прошу минуту внимания! Хочу сообщить, что по просьбе областного комитета партии министерство отпускает кооперативу на развод восемьдесят свиноматок мангалиц. Они останутся собственностью государства, но приплод безвозмездно получит кооператив.

Собрание бурно аплодирует. Этого не знал даже Вердеш, а Шаркези только догадывался. И оба они, как по уговору, тотчас принимаются подсчитывать будущий приплод.

— Восемью шесть — сорок восемь. Иными словами, сразу четыреста восемьдесят поросят, считая по шесть штук на одну свиноматку!

Это сообщение настолько важно, что его стоит обсудить отдельно, как следует еще раз обмозговать. Не успокаивается только один Карой Ханадь. Если государство в состоянии дать столько, то почему бы не попросить у него еще больше!

— Мы, конечно, благодарны за это государству,— говорит

он.— Но я предлагаю, товарищи, просить, чтобы нам построили и птицеферму!

— Ура! Золотые слова! У кого-кого, а у Кароя ума хватает!

Здесь сейчас легко завоевать популярность. Но Кульчар быстро сбивает общий пыл.

— Государство, товарищи, не бездонный колодец. Если оно раздаст все, что имеет, то останется ни с чем. Предложение насчет птицефермы толковое, но построить ее нужно вам самим. Только подумайте: государство дает вам восемьдесят свиноматок, да к тому еще и зерно для посева!..

Ах, и зерно для посева! О нем никто не решался заговорить первым, потому что вопрос этот щекотливый. Конечно, посевное зерно для своей земельки нашлось бы у каждого, но раз землю сдали в кооператив, уж очень трудно вывозить хлеб из собственных закромов, хотя бы потому, что его и без того не хватает, а с отчуждением кулацких земель зерна на посев не прибавилось... Но если государство подумало и об этом...

— Да, товарищи, государство предоставляет вам взаимообразно посевной материал, притом без всяких процентов. Здраво рассуждая, большего желать не приходится.

Ханадю кажется, что за такую помощь приличествует поблагодарить особо.

— Да, товарищи, большего и желать нечего. Покорно благодарим за помощь. Но хорошо, если бы государство порекомендовало нам банк, в котором можно получить ссуду. Дело ведь такое... для свиней необходим свинарник. Есть тут заброшенная пристройка, но, чтобы привести ее в порядок, нужны деньги.

— Разумеется, без денег нельзя и шагу ступить... Чуть не забыл сказать: государство, кроме всего, предоставляет вам ссуду в десять тысяч форинтов,— сообщает Кульчар.

Восторг, охвативший в эту минуту присутствующих, трудно передать словами. Карой Ханадь то вскакивает, то снова садится. Жена Катоны от радости прослезилась. Старый Бири причмокивает и изо всех сил потирает руки.

Но тут появляется Йошка Пап и следом за ним Сито. Они входят в зал и молча садятся с таким видом, будто что-то узнали.

— Что делается в селе? — спрашивает их Бердеш.

— Что делается?.. Тарнок заставляет недовольных размежеванием подписываться под прошением. Человек двадцать пять из тех, кто арендовал землю у кулаков, подписались.

— Я же говорил, что Тарнока следует просто-напросто прибить, как собаку! — шипит Фюрес.

— Он свое получит! — успокаивает его Бердеш.

— Но чего они, собственно говоря, добиваются? — спрашивает Кульчар.

— Хотят поднять село против производственного кооператива,— отвечает Шаркези.— Таким прошением они и впрямь могут этого добиться. Виновен в этом не один Тарнок и не те, что

подписываются под жалобой. Трудно сказать, кто истинный зачинщик: реформатский поп или католический священник, хотя наверняка — это дело их рук. Но они ведут себя так, чтобы против них не было улик.

— Не станем больше терпеть! — шумит народ.

— Конечно, не станем. Только надо найти способ, как с этим покончить.

— Выходит, у вас в селе живут одни враги и реакционеры? — недоумевая, спрашивает Кульчар.

— Что вы! Об этом и речи быть не может. Большинство наших крестьян — сторонники нового строя. Пока дело идет о том, чтобы покончить с помещиками и разделить землю, они все единодушны. А дальше — кто проворен, тот и доволен,— отвечает Шаркези.

— А что вы скажете о попах?

— Их слушаются потому, что полагают, будто в их силах не допустить в селе коллективного хозяйства. Но такое хозяйство, как видите, создано. И оно будет расти.

— Разве эти люди не понимают, что, защищая свое мелкое индивидуальное хозяйство, они поддерживают кулаков?

— Именно не понимают. За кулаков у них голова не болит. Но кулаки дали им землю, правда, за большую арендную плату... Словом...

— Словом, надо умно поговорить с мелкими арендаторами! Пусть сохраняют верность земле, а не кулакам и вступают в кооператив,— предлагает Кульчар.

— Мы уже говорили об этом и продолжаем их убеждать. С ними все будет в порядке, хотя на первых порах и придется повозиться. Товарищ Пап, вам и Сито надо будет понаблюдать за Тарноком.

— Само собой разумеется! Я уже предлагал товарищу Сито: подстережем этого мерзавца сегодня вечером возле сельпо, надаем ему тумаков, отберем лист с подписями и все... Но Сито не согласен.

— Это надо сделать более толково,— возражает Сито.— С Тарноком следует расправиться, но так, чтобы другие не могли изобразить из него безвинно пострадавшего. Надо выставить его в смешном виде, а там видно будет...

Но Бердешу уже надоели эти разговоры; ему хочется реальных действий.

— К чертям! Есть две возможности: или передать Тарнока народной полиции или подстеречь его и силой забрать прошение с подписями. Так, по-моему, будет верно и справедливо.

— Справедливость, дядюшка Бердеш,— это вопрос терпения.

Да, справедливость! Но настоящая справедливость так просто не рождается. Для членов производственного кооператива она рождается в бою, когда одной рукой приходится сеять, а другой защищаться от клеветы, козней и нападений.

5

Тарнок взялся собрать от бедняков, арендующих землю у богачей, подписи под заявлением на имя министра земледелия. Пусть министр поймет, что нельзя же оставлять столько семейств без хлеба. Лучше снизить высокую арендную плату, чем передавать землю производственному кооперативу «Свобода». Пастор считал такое прошение вполне законным и не стал бы отрицать своего участия в нем. Ведь и церковь заинтересована в судьбе своих ста шестидесяти хольдов.

Пастору известно и то, что Тарнок со всех подписавшихся собирал по одному-два форинта на «покрытие расходов». Одного только не знал пастор: Ференц Тарнок брал «на расходы» не один-два форинта, а сколько дадут — три, четыре и даже пять. Он наговорил людям с три короба, сулил, что, мол, и то будет, и это... Мелкие арендаторы подписывались и давали деньги — кто меньше, кто больше.

Когда Тарнок посчитал, даже сам удивился: на руках у него оказалось девяносто шесть форинтов. Вот это да! Он и не мечтал, что можно так легко заработать деньги. Сколько же их будет, если он начнет обращаться не только к мелким арендаторам, а ко всем крестьянам? Конечно, только к абсолютно надежным, умеющим молчать, как могила, и, разумеется, к тем, кто против кооператива. А главное, к таким, которые не поскупятся израсходовать три, а то и пять форинтов!

Тарнок стал действовать. Количество подписей быстро увеличивалось. А чтобы не просчитаться, он стал собирать «на расходы» сразу по пять форинтов. Такой подход давал возможность торговаться и в случае необходимости уступать. Деньги в жизни Тарнока всегда играли большую роль: он любит выпить, стало быть, денег ему нужно больше, чем любому смертному. Теперь для Тарнока открылись широкие возможности, недостатка в деньгах не будет.

Не может быть и речи о том, чтобы прошение подписало все село, ведь в кооперативе «Свобода» уже больше сорока семейств. Тарнок внимательно присматривался, к кому безопаснее подойти на улице, к кому в парикмахерской, в корчме или в кузнице. Но с одним человеком он все-таки попал впросак. Это был Андраш Кеваго.

Тарнок полагал — да и не слишком в этом ошибался,— что Кеваго недруг Бердеша. Если уж кто подпишет, так именно он. Но Кеваго задал ему головомойку.

— Ты еще смеешь смотреть людям в глаза? Сеешь смуту в селе? И тебе не стыдно? Мало у нас раздоров, так тебе еще надо?

Тарнок растерялся и сразу даже не знал, что ответить.

— Если не хотите, дядюшка Андраш, ну... не беда. Только никому не говорите...

— Не желаю быть соучастником твоих грязных дел. Убирайся-ка отсюда ко всем чертям!

— Да я и ухожу... Только мне думалось... Вы же человек умный... Сами понимаете, рано или поздно отберут и вашу землю.

— А ты разве жалеешь свою землю? Ты? Который ни разу в жизни на ней не потрудился как следует?

Короче говоря, тут Тарнок здорово просчитался. И, выйдя на улицу, поневоле задумался, действительно ли Кеваго никому не скажет о сборе подписей? Да нет, не скажет. Конечно, не скажет! Андраш Кеваго человек с характером. То, что он не оправдал надежд Тарнока, в счет не идет. Зато в других людях Тарнок хорошо разбирается и видит их дурные и хорошие стороны.

Кеваго и в самом деле человек с характером. Но это не значит, что он готов потворствовать всяческим козням. После ухода Тарнока зашла к нему жена Шандора Катоны. У нее заболел ребенок и понадобилось немного молока. Она и раньше к ним захаживала, чаще всего за молоком. Кеваго и сказал ей: «Передай этим, то бишь правлению, что против них опять что-то затевается».

Жена Катоны взяла молоко, поблагодарила за сообщение, пришла на собрание и все рассказала.

А Тарнок шел дальше, присматриваясь к каждому дому, прикидывая, где подпишут, где нет.

Тут он вспомнил, что живет в селе один крестьянин, лет ему уже немало, люди говорят, что он любит совать нос в чужие дела. Человек этот в плохих отношениях с Эрне Пепи, поэтому пастор не оказывает на него никакого влияния. Тем не менее он заклятый враг коммунистов, а следовательно, и кооператива. Он не богат и не беден, с грехом пополам живет на то, что имеет. Земли ему не дали, потому что у него уже было ее достаточно. Зовут этого человека Иштван Керекеш. Он тесть корчмаря Чикоштота. У Керекеша имеется мощный радиоприемник. Поскольку в селе электричества еще нет, он работает от батарей. Когда батареи разряжаются, вскладчину покупают новые.

В этот вечер дом Керекеша полон народу: Тарноку это обстоятельство хорошо известно, и он направляется прямо туда. Там, если будет удача, он пожнет богатый урожай... И Тарнок вновь нащупывает у себя в кармане прохладные, приятные на ощупь форинты.

Слушание радио у Керекеша — это отнюдь не какое-то тайное собрание. Чикоштот по своей профессии нуждается в известиях со всего мира, а тесть помогает ему в этом, но раз уж на то пошло, заодно просвещает и всех интересующихся.

Тарнок приходит сюда не в первый раз. Люди здесь размещаются всюду: на краю кроватей, на скамейке, на лавке, на стульях, а один даже попросту устроился на полу возле печи, подложив под себя шапку. Лицо у него небритое, худое, зато живые глаза так и сверкают, устремляясь на каждого вновь прибывшего.

И вовсе не для того, чтобы узнать, кто чем дышит. Ведь его-то самого ни здесь, ни в другом месте ни во что не ставят. Он существует, как существует, например, трава, дерево, земля. Но что поделаешь, ему все же приходится где-нибудь коротать время.

— Тише... кончайте болтовню! — говорит Богдань, человек с большой лохматой головой и непомерно широким подбородком.

Короче говоря, все эти люди регулярно, в восемь часов, слушают «Голос Америки». А стало быть, расчеты Тарнока оправдались. Едва радио умолкло, он, правда, не снимает шапку — выкладывайте, мол, свои денежки,— а только протягивает список.

— Слышали? — спрашивает он.— Скоро все у нас пойдет вверх тормашками. Вопрос только во времени. А до чего хорошо, когда каждый знает свою межу!.. Не нужно спорить, не нужно платить землемеру...

Человек, сидящий на своей шапке, не только отказывается подписывать прошение, но даже открыто смеется Тарноку в лицо. Каким бы простачком ни казался он с виду, а, видимо, не так уж глуп.

— Ты совсем, как летучая мышь: днем мышь, а ночью птица!— кричит на него Богдань, но человек остается тверд: нет и нет! Пусть не дает денег, лишь бы подписался, а он и этого не хочет. Да еще с пренебрежением смотрит на остальных, которые толпятся под висячей лампой, проставляя свои фамилии на измятых, грязных листах.

Тарнок обладает удивительно острым чутьем. Ни с того, ни с сего он неожиданно хватает со стола листы, деньги и прячет их. Потом поспешно садится на край лавки, складывает руки и начинает нервно вертеть огромными пальцами, неподвижно уставившись на дверь. Откуда он мог почувствовать, что кто-то идет? А между тем так оно и есть. Во дворе слышны шаги. Стоящие возле стола неуклюже переминаются, озираются вокруг и посматривают на Керекеша.

Дверь открывается. Входит зять Керекеша, Чикоштот. Он оглядывает комнату, насколько позволяет клубящийся дым от сигарет.

— Добрый вечер! Слушаете радио?

Корчмарь опускается на лавку рядом с Тарноком, который снова неспеша выкладывает на стол подписные листы.

6

В воскресенье незадолго до того, как зазвонили к обедне, дома у Тарнока уже все прибрано — и комната и двор. Старый Чорба, которому вот-вот исполнится восемьдесят семь лет (между тем в прошлом году он еще собирался жениться), сидит на скамейке, пыхтя зажатой в зубах глиняной трубкой. Этот дряхлый старик — тесть Тарнока.

Сам Тарнок восседает за столом. Перед ним куча мелких монет: форинтов, двухфоринтовиков, пятифоринтовиков, но изредка

попадаются и более мелкие. Тарнок подсчитывает: ладонью отодвигает форинты в одну сторону, остальные монеты в другую. Жена стоит напротив, облокотившись на стол. Она кусает губы и не спускает глаз с денег.

Старшая дочь Тарнока — девушка на выданье — одевается за шифоньеркой, собираясь в церковь.

— Скорей ты там! Сейчас зазвонят! — не меняя позы, обращается к ней мать.

— Сейчас!..

Слышно, как девушка откусывает зубами нитку. Очень уж она сердита сегодня. Ей хотелось так нарядиться, чтобы выглядеть в церкви лучше всех, но и сегодня вряд ли это удастся. Девушка выходит из-за шифоньерки, глядится в зеркало, вертясь во все стороны, даже, поскольку это возможно, пытается посмотреть на себя сзади. При каждом повороте ее чересчур развитая грудь колышется под платьем. Именно это больше всего и беспокоит ее. Походка у нее такова, что при каждом шаге груди трясутся, а стоит переменить шаг или пойти быстрее, они начинают раскачиваться.

— Ведь говорила же я вам — купите мне лифчик,— с горечью говорит она.

— Лифчик для крестьянской девушки? — раздраженно отзывается мать.

— На, вот! Купи ей лифчик! — великодушно пододвигает к жене кучку денег Тарнок.

— Сколько тут?

— Сто двадцать, купи все, что захочешь,— шопотом, чтобы не услышал тесть, отвечает Тарнок.

— Не будет этим деньгам божьего благословения, слышь! — ворчит старик и с возрастающим усердием пыхтит трубкой.

— Типун вам на язык, дедушка! — огрызается внучка, с торжествующим видом прихорашиваясь перед зеркалом. Будет у нее, наконец, лифчик, о котором она так мечтает.

— Ну... а что ты собираешься делать с остальными, Фери? — интересуется жена, продолжая широко раскрытыми глазами глядеть на деньги.

— С этими, мать? Это уж мое дело...

Тарнок сгребает деньги и прячет их в карман. Затем встает, надевает шляпу, оправляет пиджак, вытягивая при этом шею, будто его мутит. И, наконец, выходит.

Только он очутился на улице, как зазвонил колокол. Тарнок ускоряет шаг, почти бежит, чтобы успеть перехватить пастора до того, как он отправится в церковь. Одновременно Тарнок испытывает и некоторую неловкость. Пастор наказывал ему собирать подписи только у мелких арендаторов... Но что тут поделаешь?.. Разве не лучше, если подпишется больше людей?

Приближаясь к дому пастора, Тарнок с трепетом бряцает в кармане деньгами. Что ему о них сказать? Ведь осталось... при-

близительно еще триста двадцать форинтов... Сто двадцать он отдал жене и дочери, стало быть, всего собрано четыреста сорок форинтов... Ну, что ж, сотню придется вручить попу, пусть делает с ними что хочет. Даже гроб Христа никто не охранял даром.

Когда он подходит к приходскому дому, ему кажется, что на углу стоят и разговаривают Йошка Пап и Сито. Направляющиеся в церковь женщины обходят их то с одной, то с другой стороны. Тарнок входит в дом.

В прихожей он встречает выходящего от пастора капитана Дьери. Они чуть не сшибают друг друга с ног и в замешательстве останавливаются. И, странное дело, Тарнок снова чувствует, что ненавидит вот таких капитанов.

— Еще ждет, свинья, чтобы я поздоровался? — говорит Тарнок достаточно громко, чтобы капитан, если захочет, мог его услышать. И шагает дальше.

В спальне пастора шум, визг, крики.

— Куда вы опять девали мой пояс от штанов? — злобно спрашивает пастор.

Жена что-то отвечает ему, но пастор кричит еще пуще, почти вопит:

— Не тот! Мой из найлона!

«Эге!.. Вишь как! Уже без найлонового пояса и проповедь сказать не может»,— думает Тарнок, входя в спальню.

— Доброе утро, ваше преподобие!

— Доброе утро,— отвечает на приветствие пастор с таким видом, словно ему только что вырвали зуб.

Штаны уже надеты, но в них заправлена лишь ночная сорочка. Поэтому Эрне Пепи мечется из стороны в сторону, то хватает одну принадлежность одежды, но тотчас ее отбрасывает, то берется за другую. Жена, как привидение, мгновенно исчезает, оставив пастора наедине с его проблемами, поясом и только что пришедшим мужиком.

— Садитесь, почтенный Тарнок. Что нового? — и пастор переходит на дружественный тон.

— Ну, значит, я пришел... Хотите поинтересоваться, как идут дела?

— То есть какие дела?

— А вот такие... Получайте подписи...

— Какие подписи?

— Да те самые, о которых мы с вами говорили. Чтобы мелкие арендаторы да еще...

Пастор с нарочито оскорбленным видом смотрит на Тарнока. Что, в сущности, этот тип сделал? Да ничего. Кто хотел, тот подписался, но втихомолку, чтобы можно было в любой момент отказаться. Пастору обо всем хорошо известно. Каждый подписал прошение с непременным условием, что сам ничего делать не будет. Пусть этим займутся другие. Поэтому-то все это выеденного яйца не стоит. Другое дело, если бы уже успела сгореть старая

школа или оказались выбитыми стекла у Бердеша и других активистов, если бы все село поднялось, как один человек, если бы... Чего только не ждал Эрне Пепи от этого сбора подписей! И он со злостью говорит:

— Послушайте, почтенный Тарнок, меня-то вы к этой игре не припутывайте. Я не согласен выступать против существующего общественного строя, я придерживаюсь... как бы вам сказать... священного писания: «кесарю — кесарево, богу — богово». За церковь мне бояться нечего, она устояла и перед гораздо большими бурями. Раз этот режим от бога, почтенный Тарнок, все усилия напрасны, ничего сделать нельзя. А если режим этот от человека, то он рухнет и без нашего вмешательства, даже в том случае, если мы и пальцем для этого не шевельнем,— поясняет пастор и тем временем находит свой найлоновый пояс, продевает его в штаны, снимает ночную сорочку,— словом, ведет себя так, как будто в комнате и нет никого.

«Поп явно врет,— думает Тарнок, преисполненный крайнего изумления,— заварил кашу, а теперь отлынивает». Ни о чем больше, кроме слов пастора, он уже думать не может.

В комнате воцаряется тишина. Лишь копошится пастор да звучит резкий, скорбный голос колокола.

Тарнок не помнит, как выбрался из квартиры пастора и очутился в церковном саду, где желтеющие осенними красками деревья одно за другим медленно сбрасывали с себя багряные листья. Тарнок стоит на узенькой песчаной дорожке и видит сквозь кусты, как спешат в церковь женщины. Видит он и свою дочь, горделиво шествующую с двумя подругами. А что если пойти туда и ему и высыпать все деньги в церковную кружку?

Да, в его бесчестном поступке это было бы самым честным решением. Но как трудно расставаться с уже попавшими в карман деньгами! Несколько запоздалых прихожанок входят в сад как раз в ту минуту, когда он направляется к выходу. Тарнок и сам не понимает, зачем он идет по улице в противоположном направлении от своего дома и все-таки продолжает свой путь.

На углу около сельской управы все еще стоят Йошка Пап и Сито. Тарнок, приподняв шляпу, здоровается с ними.

— Добрый день!

— Здорово, Ференц. Куда спешишь?

— Есть небольшое дельце в этих краях, в Коцеге...— Тарнок показывает на ближайший поворот.— Вы не домой?

— Как раз собирались. Ну что ж, пошли вместе!

— Пошли, пошли! — воодушевляется Тарнок.

Удивительный он человек. Ясно чует беду, которая уже вьется вокруг него, и все-таки льнет к этим двоим. Никто другой не сможет вызволить его из беды, кроме тех, против кого он, собственно говоря, и строил козни.

— Пошли,— обращается к нему Сито и, подняв голову, втягивает в себя воздух.

По дороге Тарнок начинает рассказывать историю, которая произошла с ним в сорок четвертом году, когда в селе еще стояли немцы. Во время отступления вместе с другими погнали и его с подводой. Но он старался ехать как можно медленнее, пока не дождался внезапно появившихся русских...

— Один эсэсовец поднял автомат и выпустил по мне целую очередь,— говорит Тарнок.— Но попала только одна пуля, вот сюда, в шею,— и Тарнок действительно показывает шрам.

Пап и Сито переглядываются, потом смотрят на шею Тарнока и медленно идут дальше. Вскоре они оказываются за селом, возле корчмы, на зеленой вывеске которой красуется красная надпись: «Надежда». Ни больше, ни меньше!

К перилам каменной лестницы приставлен чей-то велосипед. На скребке видна застарелая грязь: каждый, входя в корчму, тщательно счищает с сапог грязь, чтобы позже, на обратном пути, залезть в нее по уши. И вдруг Йошка Пап, не говоря ни слова, берется за поручни и начинает усердно очищать свои сапоги, хотя они у него совершенно чистые.

— Зайдем, выпьем по маленькой,— предлагает он.

— Можно и зайти,— неохотно соглашается Сито, поглядывая на Тарнока.— А ты, Ференц, еще не отвык от выпивки?

— Где там! Нам только и остается, что поесть да выпить,— отвечает Тарнок, глядя на вход в корчму. И сразу берется за ручку двери.

Как долго тянется время с девяти часов утра до часу ночи! И все же как оно быстро проходит! Часов в девять вечера Тарнок уже распевает:

Плещется в небе свет луны голубой,
Грустно бетяру в чаще леса густой,
Опершись на топорик, он ругает себя:
— Эх, зачем я ворую и граблю всегда!

Последнюю строку Тарнок выводит с грустью в голосе, словно плачет.

Достаточно сказать, что такого грандиозного кутежа корчма не видела давно — пожалуй, уже лет восемь, когда в последний раз выбирали секретаря сельской управы. В десять часов заиграли на скрипках цыгане, корчма переполнилась людьми, пили все, кому только не лень.

В полночь Тарнок, склонившись на плечо к Йошке Папу, икнул и заладил:

— Дрянной я человек, дрянной я человек!

В половине первого корчмарь начал поторапливать посетителей: пора расходиться, заведение закрывается. Тогда Тарнок швырнул оставшиеся деньги цыганам, а около часу ночи выложил на стол и все листы с подписями. Йошка Пап набросился на них, как орел на добычу.

— Пошли! — хмуро обратился он к Сито, который тоже начал было заводить песни, грозно поглядывая на цыган.

Тарнок был совершенно пьян. Ежеминутно делая попытки подняться и произнести речь, он тем не менее ничего не мог сказать, кроме того, что всегда был человеком левых убеждений и стоял на стороне бедноты... После чего с грохотом упал на дубовую скамейку.

Несмотря на поздний час, народу в корчме хоть отбавляй. Все почуяли, что можно вволю выпить на даровщинку. Йошка Пап и Сито с трудом пробились сквозь толпу и вышли на улицу. Глотнув свежего воздуха, Пап прижался головой к забору: его рвало.

— Чорт бы побрал этого злодея! — с трудом выговорил он.— Я уж начал подумывать, что не он, а мы вот-вот свалимся с ног...

Голова у Папа закружилась, но он, превозмогая слабость, достал подписные листы и разорвал их на мелкие клочки.

Пап и Сито удалялись от корчмы, а следом за ними, как хлопья снега, кружились белые обрывки бумаги.

7

Председатель производственной комиссии ежедневно ровно в восемь часов утра садится к письменному столу и до девяти часов вечера, как он сам говорит, вершит сельские дела. Иными словами, договаривается с хозяевами, когда и что нужно делать, какими культурами и сколько хольдов требуется засеять. Работа это нелегкая. Крестьянин не любит, чтобы кто-нибудь посторонний вмешивался в его дела, решал за него: чего и сколько сеять, к какому сроку кончать сев, пахоту, начинать молотьбу.

— Поймите, товарищи! Государство работает по плану, и именно в наших интересах...— доказывает Балинт Эсеньи и, нужно отдать ему справедливость, делает это неплохо.

Эсеньи чуть больше пятидесяти лет; он не только сейчас, но и в прошлом нередко бывал должностным лицом. Не может быть в стране такого строя, которому Эсеньи не сумел бы служить. Будучи постоянным приверженцем правительственной партии, он в то же время неизменно находился в оппозиции — вещь, казалось бы, почти невозможная, но Балинт Эсеньи так разрешал это противоречие, что к нему нельзя было придраться. На выборах депутата в парламент он всегда голосовал за правительственную партию, но, едва выборы заканчивались,— снова присоединялся к оппозиции, и никто так хлестко не ругал правительство, как он.

Эсеньи объяснял свое поведение тем, что, собственно говоря, он жертвует собой ради всех крестьян, как Титус Дугович *, принесший подобную жертву для венгерского войска. Ведь кому-то обязательно нужно голосовать за правительственную партию, хоть этим он и подвергает себя всеобщему презрению! Ну что ж, он так поступает, потом терпя за других все последствия. Ведь кто-то должен поддерживать правительство, ибо не было еще в мире правительства, которое бы кто-нибудь да не поддерживал. Вот он и осуществляет такую поддержку. О некоторых своих за-

работках во времена избирательной кампании и иных подачках он из осторожности умалчивал. Правда, все о них знали, но... Что за удивительное существо — человек! Эсеньи открыто, с краской возмущения на лице доказывал то, что ему было выгодно, хотя это и противоречило действительности, до тех пор, пока за беспрестанными разглагольствованиями его бесчестная двуличность не становилась еле уловимой.

Двуличным он был, пожалуй, с самого детства. Больше всего кричал так, ни с того, ни с сего, а когда у него случалось, к примеру, расстройство желудка, молчал, как рыба. Не изменился он и со времени освобождения: в сельской управе попрежнему выполнял свой долг перед государством, а на улице охотно зубоскалил с недовольными, а иногда даже разражался бранью. Да еще какой! Самой отборной! Если хорошо поел, отпустит ремешок на животе на одну-две дырочки и давай ругать правительство на чем свет стоит. Зато, когда кто-нибудь приезжал из уезда или области с докладом об успехах трехлетнего плана,— никто так усердно ему не рукоплескал, как Эсеньи.

Но сейчас он не аплодирует. И даже не ругает правительство. Сидит у себя за столом, хмурит брови и слушает, что рассказывает ему сторож сельской управы.

— Еще вечером, когда я проходил возле колодца, ведро было на месте. А утром его уже нет.

— Словом, ведро пропало. И ты, Михай, так просто об этом докладываешь: вечером было, утром нет! Или ты думаешь, Михай, что у общественного добра нет хозяина? К чему же тогда сторож, зачем тебе платить жалованье, да еще надбавку на многосемейность, пособие по болезни?.. Чтобы ночью пропадали ведра, расхищалось государственное имущество?

— Что мне прикажете делать? Спать возле колодца? — пытается оправдаться сторож.

Тут Балинт Эсеньи не выдерживает:

— Не спать, а прыгать в него...— и он непристойно ругается.— Разве я не велел тебе приковать ведро к цепи, а цепь приковать к журавлю? Тогда бы не украли. Тогда вор, если бы ему вздумалось поживиться ведром, крал бы его вместе со всем колодцем! Разве я тебе этого не говорил?

Эсеньи размахивает кулаком перед самым носом сторожа, тот все отступает, пока внезапно отворившаяся дверь не ударяет его в спину. Но зато в это мгновение он успевает выскочить в коридор.

В комнату входят Бердеш и Шаркези, а сторож сломя голову бросается вниз по лестнице и бежит без оглядки до самого поля.

Вслед ему несется раскатистый смех Бердеша.

Эсеньи сразу становится чрезвычайно приветливым, даже слащавым; лицо его расплывается в улыбке.

— Сабадшаг, товарищи! Какие новости?

— Какие там к лешему новости! Ничего хорошего. А вот сторож, как вижу, что-то у тебя унес.

— Не унес, а проморгал. Кто-то украл ведро с колодца. Но я удержу с него стоимость. Это как дважды два четыре. Садитесь же, товарищи!

Шаркези и Бердеш молча садятся, посматривая на Эсеньи. Затем Бердеш приступает к делу.

— Мы собираемся сеять, Балинт.

— Что ж, время приспело. Сколько хольдов намерены засеять?

— Около четырехсот.

— Большой будет клин.

— Да, немалый, километра два в длину. Я его измерил собственными шагами. Кончается он у бывшего участка Ирены Надь.

— Семена уже в пути. Вы об этом знаете?

— Конечно, знаем. Но мы пришли вот зачем... Вы учли в посевном плане тракторы кулаков?

— А как же. Они будут пахать тем, кому мы сочтем нужным.

— В таком случае считайте нужным, чтобы с сегодняшнего дня они пахали для нас. У нас еще мало тягла; надо помочь кооперативу.

Эсеньи покашливает, делая вид, что простудился. На самом деле он с молниеносной быстротой соображает.

— А не лучше ли, товарищи, если тракторы будут пахать на тех участках, к которым они уже прикреплены, а для кооператива мы выделим все упряжки хозяев? Этим мы и не нарушим посевной план и поможем кооперативу.

— Нет! — решительно заявляет Шаркези.— Если бы хозяева упряжек стали пахать за деньги, как они это делали раньше, можно было согласиться. Но за деньги они не пойдут. Поэтому остановимся на тракторах. Когда мы можем начать?

Эсеньи неглупый человек, он знает: раз нельзя, значит, нельзя. В конечном счете, ему не стоит портить отношений с членами кооператива.

— Я вовсе не настаиваю. Пожалуйста, пусть работают тракторы. Я не возражаю, но посмотрим, успеют ли они вас обслужить.

Эсеньи, продолжая говорить, в раздумье листает календарь.

— Известно ли вам, товарищи, что это не бесплатно? Правда, горючее вы можете получить в кредит, но трактористам придется платить наличными.

— С ними-то мы рассчитаемся, можешь на нас положиться, Балинт! — говорит Бердеш со всей дружелюбностью, на которую он только способен.

Дело пока идет довольно гладко. Старик доволен Эсеньи. Но Шаркези все кажется до подозрительности простым и легким. Неизвестно почему, но он ожидал, что Эсеньи будет упираться и отвиливать. Или впрямь Балинт стал порядочным человеком? Впрочем, скоро все станет ясно. Время покажет...

А Эсеньи уже говорит по телефону с уездом, договаривается

относительно тракторов. Уезд дает согласие: и кооператив выйдет из затруднительного положения и посевной план не пострадает.

— Ну, товарищи,— оборачивается Эсеньи к Бердешу и Шаркези,— стало быть, все в порядке. Сегодня же распоряжусь, чтобы тракторы были готовы во-время.

Глава шестая

1

Октябрь начался ясной, солнечной погодой. Дни стояли светлые, погожие, только вечерами становилось прохладно и к утру стога соломы и крыши домов покрывались инеем. Именно сейчас нужна хорошая погода, работы скопилось много. Еще убирают позднюю кукурузу, повсюду рубят стебли, копают сахарную свеклу, пашут, сеют. Многие даже не знают, за что прежде взяться.

В семь часов утра первого октября Анна Кокаш стоит под высокими колоннами своей террасы и смотрит на рокочущий во дворе трактор. Затем переводит взгляд на тракториста Шандора Катону, который в этот момент вытирает руки и внимательно разглядывает мотор. Чего это он уставился? О чем думает?

— Шандор, пойди-ка сюда на минутку! — ласково зовет его вдова и входит в прихожую.

Шандор Катона бросает тряпку и, отряхиваясь, молча направляется вслед за хозяйкой. Анна берет его за руку, поворачивается и прижимается к его груди.

— Ты меня любишь, милый Шандор? — спрашивает она, пристально заглядывая ему в глаза.

— Еще бы! Ведь ради тебя я бросил двоих ребятишек, законную жену... честь свою...

— Так-то оно так, но... А что ты получил за это, Шандор? Понимаешь, что получил?.. Беззаботную жизнь... И такую женщину, о которой не смел и мечтать, которую можешь любить в любой час дня и ночи! Тебе это известно, Шандор Катона?

— Известно... Как же мне не знать?

— Ты не раскаиваешься, Шандор?

— Если бы раскаивался, меня бы здесь не было,— медленно, словно выдавливая из себя слова, отвечает Шандор. Лицо у него бесцветное, серое, словно он только оправился от лихорадки.

— Если хоть капельку любишь... сделаешь, Шандор? Ты должен сделать...— мурлычет хозяйка.

Тишина. Ни один звук не долетает сюда. Шандор Катона с великим трудом, наконец, произносит:

— Не могу...

Женщина обнимает его.

— Ты должен, Шандор. Пойми, должен!

— Оно, конечно, так... А вдруг машина сломается настолько, что ее уже никогда не починишь?

— Ну, что ты? С чего бы? Потом отдадим в ремонт. Сейчас важно одно: не дать им посеять.

— Остаются еще три трактора. А что если они будут работать?

— Вряд ли... Ты об остальных не беспокойся. Только сам сделай, что надо, Шандор. Ведь всякая машина может сломаться. И кроме того... Отвечать будешь не ты, а я.

— Неужели ты могла подумать, что я оставлю тебя в беде?

— До этого дело не дойдет. Ведь известно, что машины ломаются. Что-нибудь испортится, вот и готово... Сделаешь, а?

Шандор Катона горько вздыхает, но все-таки соглашается:

— Сделаю.

Женщина притягивает его к себе, целует в губы. Но Шандор чувствует, что поцелуи не радуют его, и на душе становится тревожно. Он отчетливо ощущает, что эта женщина гнетет его, словно грех.

Он находит в кухне кувшин с водой и жадно, как загнанная лошадь, пьет. Затем, не оборачиваясь, выходит во двор. Женщина следует за ним чуть поодаль. Они снова останавливаются под колоннами, где стояли раньше.

В распахнутые настежь ворота входят Шаркези и Лаци Бердеш. Лаци назначен ответственным за трактор Анны Кокаш.

«Вот он, значит, какой — этот двор кулака!..» Шаркези окидывает быстрым взглядом все вокруг: вместительный амбар, просторное стойло и голубятню, такую большую, что в ней вполне мог бы жить человек, сараи, риги, стога и огромное количество глиняных кувшинов, которые сушатся на сучках ветвистого дерева. Здоровенный пес громыхает цепью у амбара. Шаркези снимает шляпу и здоровается.

— Доброе утро. Поедем? — спрашивает он Катону и подходит к трактору.

— Поедем,— отвечает Шандор Катона, поднимаясь на трактор. Мотор начинает ликующе гудеть, трактор срывается с места и выезжает со двора.

Шаркези и Лаци следуют за ним. Но Анна попрежнему стоит на месте. Из-за садов появляется солнце, обливая светом террасу, дом, двор и женщину.

Октябрьским утром солнечный свет белый, словно молоко, а горделивая кулачка в этих утренних лучах красива, как садовая астра. Сейчас ее мысли заняты одним: двор опустел, нет больше трактора. А ведь он стоял здесь для того, чтобы, когда нужно, выезжать на пахоту. И как часто рокот мотора будил ее по утрам, или, вернее, убаюкивал. Гул, завывание и ликующий рокот прочно вошли в ее жизнь, как воздух и хлеб, как этот большой дом и сто восемьдесят шесть хольдов земли... как и Шандор Катона... а до него — другие... Никогда эта женщина никого не

любила, по-настоящему любит она одну себя. Во всем, что ей принадлежит, находит она для себя радость и наслаждение: в ста восьмидесяти шести хольдах земли, в большом дворе, в конюшнях, хлевах, амбаре, доме, тракторе и в Шандоре Катоне. В ее богатстве — начало и конец мира, а все, принадлежащее другим, в расчет не принимается. За чертой ее владений пусть все пропадет пропадом,— это не ее мир, ей до него нет никакого дела. Только записи в земельном реестре, купчие на скот, договора на аренду служат ей компасом для определения частей света; все, что находится за пределами этих понятий, ее не интересует. Даже Шандор Катона, этот третий по счету мужчина в ее жизни, тоже всего только вещь из ее имущества, в которой она нуждается, вроде туфель или платка,— им и всеми этими предметами она распоряжается, как ей вздумается.

Но вот пришла беда. Страшная беда. Пропали сто восемьдесят шесть хольдов земли! Правда, остались дом и сад... Но это чуть побольше дольки дыни, откушенного кусочка яблока,— малюсенький клочок мира. А теперь и трактор угоняют со двора! Если бы хоть он пахал по ее воле. Ведь богатство остается богатством не только когда оно окружает человека, как цыплята наседку. Оно всегда должно служить хозяину, всегда должно приносить своему владельцу прибыль.

Вдова не была в состоянии воспрепятствовать тому, что у нее отобрали сто восемьдесят шесть хольдов земли, как не могла помешать и тому, что ее трактор ушел со двора. Но зато она сумеет сделать так, что он не будет пахать тем, кто ей не по душе. Если суждено погибнуть ее удивительно хорошо устроенному маленькому мирку, пусть, по крайней мере, он погибает при ее участии. Лучше пусть этот мир разрушит ее собственная рука, чем чужая.

Солнечные лучи заливают Анну Кокаш с головы до ног, она пробует взглянуть на солнце и не может. Внезапно женщина резко поворачивается и входит в дом.

Рокот трактора слышится теперь уже издалека. Может быть, он проезжает возле сельпо или еще дальше. Эхо этого гула похоже на дробный стук падающих с неба градин. Это продолжается до тех пор, пока трактор не выезжает за околицу. Сейчас его рокот напоминает далекие удары гонга.

На быстро двигающийся трактор засматриваются прохожие, Шари Фейер из окна машет ему вслед платочком.

Но вот снова нарастает гул: это движется трактор Яноша Васнаш-Надя. Тарахтенье и рокот слышатся также и где-то впереди, там, на поле. Грохот движущихся на некотором расстоянии друг от друга тракторов разрывает утреннюю тишину.

Дорога к землям кооператива «Свобода» идет через мост над рекой. На противоположной стороне, слева у моста, высится статуя святого Яноша Непомуки. Ее поставили после того достославного дня, когда произошел раскол среди реформатов. Это

единственный католический святой не только в селении, но и во всей округе; ведь раньше этот район был кальвинистским. Но почему новые паписты выбрали именно этого святого, мог бы, пожалуй, ответить только Янош Васнаш-Надь. Ведь он больше всех пожертвовал для новой церкви и поэтому имел право высказать свое мнение и при выборе святого. Лично ему нравился именно этот, отчасти потому, что Непомука, как ему казалось, мужицкий святой, отчасти и потому, что об этом святом Васнаш-Надь помнил еще со времен своей молодости, когда он бывал в Кишкуншаге. И вот стоит здесь этот святой и в хорошую и в плохую погоду. Одеяние на нем желтого цвета: ежегодно к пасхе женщины окрашивают его охрой. На голове у него черная шляпа, напоминающая головной убор скитающегося без места чабана,— женщины обычно красят ее сажей.

Два трактора уже находятся в поле, другие два медленно следуют друг за другом по мосту. На одном ответственным — Лаци Бердеш, на другом — Балаж Фюрес. Лаци — кальвинист, Фюрес — католик. А святой Непомука так строго смотрит на того и другого, словно оба они католики. Но Лаци даже глазом не ведет, зато Фюрес исподтишка оглядывается по сторонам, потом украдкой приподнимает шляпу. И тут же озирается, будто хочет сказать: смотрите, мол, товарищи, я только почесал затылок.

За тракторами бегут люди, большей частью члены производственного кооператива. Они направляются в поле, как на прогулку, а не на сев. Ведь что там ни говори, а сделано большое дело: только что создан кооператив, только что проведено размежевание, и вот уже тракторы пашут землю!

Поодаль тарахтят подводы с семенами и прицепленными к ним сеялками. Тут не только подводы кооператива; единоличники перемешались с кооператорами и яростно стегают лошадей, чтобы как-нибудь прорваться вперед. Но все их старания напрасны: дерн по обочинам дороги размок, и, сколько ни напрягаются лошади, выехать из общего потока им не удается. Приходится то и дело вновь втаскивать возы на дорогу. Поэтому со стороны кажется, будто и кооператоры и единоличники шагают вслед за трактором.

За Новой слободкой дорога расширяется. Свет играет и переливается в степной дали. Изгибаясь широкой дугой, она идет через Дикое урочище, взбирается наверх, некоторое время бежит прямая как стрела и, наконец, разветвляется. Левая дорога ведет к верхнему полю, правая — к нижнему. Передний трактор останавливается. Отсюда начинается земля кооператива «Свобода».

В вышине летят гуси. Клин их так велик, что, кажется, охватывает весь горизонт. Передний гусь, вожак, с криком ведет клин к югу. Крестьяне, сгрудившись, смотрят вверх. Там гогочут гуси, а внизу рокочут тракторы.

И на поле, в этом шуме и гаме правление еще раз проверяет свой посевной план. Вот здесь, вдоль межи, будет посеяна пше-

ница; непрерывной широкой полосой, чуть изгибаясь, она протянется до самого Сторожевого холма. Иными словами, длина этого участка составит почти два километра. Такого пшеничного поля никто еще не видывал в округе.

— Начнем, сынок! — говорит Бердеш тоном капитана только что спущенного на воду корабля.

Шаркези вспоминает все, что сделано за последнее время, и пытается определить, что было хорошего, что плохого. Но сейчас он неспособен отделить хорошее от дурного. «Надо взять себя в руки!» — думает Шаркези. Он взволнован, как это бывает с молодым актером, впервые выходящим на сцену.

— Конечно, начнем. На какую глубину будем пахать?

— Я так думаю... Йошка Пап! Где Йошка?

Пап пробивается к ним. До сих пор он стоял позади: у него такой характер, что лезть вперед он не любит.

— На какую глубину пахать? Ты-то ведь знаешь — ты же хозяин,— чуть язвительно бросает Бердеш, но, тут же пожалев о своих словах, старается смотреть на Йошку со всей приветливостью, на какую только способен.

Йошка Пап переводит взгляд на поле. Один клин раньше был здесь под кукурузой, другой под ячменем, третий под пшеницей. Есть участок, на котором до сих пор не вырублены кукурузные стебли, хотя хозяина специально по этому поводу вызывали в сельскую управу. Прежде чем по полю пойдут тракторы, необходимо его продисковать и только потом пахать. А чужие стебли никто вырубать не хочет. На скрещивающихся межах повсюду весело цветет дикий цикорий, шелестит ковыль, грустит живокось, шуршит сушняк. Сколько межей! Можно сказать, тут для каждого участка нужна особая вспашка.

— Лучше всего определить какую-то среднюю глубину. В некоторых местах не мешало бы вспахать поглубже, а кое-где и совсем глубоко. Весь вопрос в том, какая культура была посеяна на участке и как его пахали весной, а еще важнее — в прошлом году. Но этого, конечно, мы знать не можем. Поэтому давайте пахать в среднем приблизительно на четырнадцать-пятнадцать сантиметров. Может попасться такой участок, где и на этой глубине плуг начнет выворачивать целинный слой, но на посеве это не отразится. В крайнем случае, придется хорошенько нагрузить сошники, чтобы они поглубже входили в почву,— разъясняет Йошка Пап, изредка кидая взгляд на Бердеша, которому уже хочется загладить свою недавнюю язвительность.

— Хорошо, Йошка. Мы на тебя надеемся. Тебе лучше знать.

— Надейтесь не на меня, товарищи. Вы ко мне обратились, я вам ответил. Можете спросить и любого другого. Где товарищ Сито? Позовите сюда Сито!

Подходит Сито, как и Йошка Пап, пригнавший на поле сеялку. Он подтверждает, что Йошка прав.

Обыденные, мелкие все это дела, и разговоры серые... Но на-

прасно стал бы кто-нибудь ждать здесь ярких, блестящих историй. Редко они случаются в этих краях.

Но вот Бердеш уже поднимает руку и подзывает трактористов.

Подходят четыре тракториста, молча останавливаются перед кооператорами; лица их ничего не выражают.

— Меньше чем на четырнадцать-пятнадцать сантиметров пахать не разрешается. Понятно? — обращается к ним Бердеш.

— Понятно. Чего тут не понимать! И у нас на это ума хватит,— обижается Шандор Жила, младший брат барышника Кароя Жилы.

— Посмотрим. Но глубже чем на пятнадцать сантиметров тоже нельзя. Надеюсь, тоже понятно?

— Нет, так дело не пойдет. Отрежь, мол, столько-то сантиметров, будто плуг — это пила.

— А ты приблизительно!

Жила пожимает левым плечом, правое у него парализовано. Он утверждает, что якобы был ранен на фронте, но люди, которые знают его с детства, говорят, что это у него с рождения.

— Пошли! Заводите моторы! — командует Бердеш и направляется к полю, которое, кажется, уходит в бесконечность.

Четыре трактора один за другим вгрызаются в землю, плавно и ровно проходят между межами, немного приподняв носы, затем с ворчанием на миг останавливаются, как бы для того, чтобы легче перемахнуть через препятствие. Развороченные межи напоминают лесную вырубку, только, конечно, поменьше.

— Чистая работа, сынок! — весело восклицает Бердеш, обращаясь к Шаркези, который тоже шагает рядом с последним трактором.

Секретарь что-то кричит в ответ и продолжает идти дальше. В поле работают и все четыре имеющиеся у кооператива упряжки, а их хозяева готовят бороны и семена. Другие члены кооператива шагают за тракторами, идут и смотрят на разверзающуюся под плугом землю.

Шандор Катона то и дело поглядывает назад, переводит глаза с борозды на следующий за ним трактор, пытаясь угадать, какой же наказ дал его водителю — Жиле — богач Гербеди? Потому что нет никаких сомнений, что все трактористы получили наставления от своих хозяев. Сам он, пожалуй, обойдет один-два круга, а потом... Катона размышляет, как сделать, чтобы трактор на несколько недель вышел из строя, но не слишком повредить при этом мотор? Может, переключить его на ходу? Тогда шестерня рассыплется в прах... Но в таком случае трактор нельзя будет во-время починить. Кулачка Кокаш может остаться этим довольна. Или сразу затормозить, одновременно переключив на задний ход?.. Однако на ум приходят только такие приемы, которые должны загубить трактор сразу, здесь же, на борозде. Эти приемы до того отчетливо и ясно представляются ему, будто он

ничего другого в жизни и не делал, как только ломал тракторы. Занятый этими мыслями, он почти достиг конца поля, то есть прошел с добрый километр, и только тогда почувствовал, как у него щемит и болит сердце, словно его ежеминутно прокалывают тонкой и острой иглой. Шандору неожиданно становится жарко, он сдвигает на затылок фуражку, тяжело вздыхает и произносит вслух:

— Бог с ней, с этой дрянной бабой!..

И, дойдя до самого конца поля, поворачивает назад. Теперь он уже знает, что с его мотором ничего не случится, и тем не менее продолжает соображать, как его можно испортить, чтобы об этом никто не узнал и чтобы трактор не вышел окончательно из строя.

За Катоной движется трактор Гербеди, его ведет Жила. Он уже почти у самого конца поля, но вдруг останавливается. Жила делает вид, будто ничего не произошло,— сейчас, мол, двинемся дальше. Он нагибается к машине то с одной, то с другой стороны, хватается поочередно за все рычаги, наконец, спрыгивает на землю и лезет в мотор. Возится там, потом достает инструменты. А тем временем позади него останавливается третий, а за ним и четвертый трактор. Совершенно очевидно, что, пока Жила не управится с поломкой, надо ждать: объехать его невозможно. Но авось он скоро тронется с места.

— Что у тебя случилось, Жила? — издалека кричит Бердеш и бежит к трактору.

Все мгновенно поворачиваются в эту сторону и застывают на месте. Шаркези некоторое время провожает взглядом удаляющийся трактор Шандора Катоны, затем быстрыми шагами направляется к Жиле. Но Бердеш уже тут.

— Что случилось? — еще раз спрашивает он.

Жила обтирает рукавом пиджака какой-то винт и краем глаза поглядывает на Бердеша.

— Ничего не случилось. По крайней мере, я надеюсь, ничего серьезного...

Он прилаживает винт где-то в глубине мотора, отставив назад левую ногу и упираясь рукой о радиатор.

Люди сбегаются к неподвижному трактору и смотрят, как Жила возится с мотором. Затем Жила взбирается на трактор, снова пытается его завести, но мотор даже ни разу не чихнет. Покачав головой, тракторист слезает на землю, заходит с другой стороны машины и возобновляет молчаливую возню в моторе. У Бердеша лопается терпение.

— Говори же, в чем дело? Ты что, онемел? Что произошло с машиной?

— Что могло произойти? Трактор такой, что на нем нельзя пахать, его давно пора сдать на слом. Я об этом сколько раз твердил хозяину, и все без толку...

Но тут появляется старый Бири. Он приосанивается и подходит к Жиле.

— Немедленно заводи мотор, сопляк! — кричит он.

Жила смотрит на него злыми глазами.

— Заводить?.. А как же его завести? Заводите сами!

Он швыряет на землю инструменты, достает из кармана сигарету и закуривает.

— Вот беда, что всю жизнь я имел дело только с паровыми машинами, — вздыхает Бири.

— Тогда нечего здесь распоряжаться! — огрызается Жила.

Шаркези продолжает молча смотреть на остановившийся трактор. Невольно он вспоминает и Эсеньи, и всех богачей, и барышника Жилу, и этого, второго Жилу. Ему кажется, будто он завяз в болоте, один берег остался далеко позади и до противоположного неблизко, а вокруг полно невидимых врагов. Вот и приходится вслепую наносить удары во все стороны. Почему мотор этого трактора заглох уже в самом начале работы? И что будет, если остановятся все? Эсеньи последнее время что-то уж чрезмерно любезен, и успокоившийся было Шаркези считал, что человек этот должен ненавидеть богачей, иначе он не был бы председателем производственной комиссии. Неужели секретарь парторганизации допустил тут промах? Что, если Эсеньи, действительно ненавидя богачей, точно так же, а может еще сильней, ненавидит и их, членов кооператива «Свобода»? Но как угадать его действительные намерения и планы?.. И вдруг Шаркези ясно и отчетливо представляет себе, словно кто-то посветил ему лампой и он прочел по бумажке: Эсеньи легко согласился предоставить кооперативу кулацкие тракторы, заведомо зная, что кулаки приведут в негодность свои машины. Таким образом, его действия причинят ущерб и тем и другим. Шаркези с ужасом оборачивается назад, где ожидают два других трактора, не решаясь объехать сломавшуюся машину и не зная, что предпринять.

— Объезжай! Объезжай! Пошли дальше! — кричит Шаркези, размахивая руками.

Оба трактора один за другим выходят из борозды и, объехав неподвижную машину, глубоко врезаются плугами в землю, опахивая ее подобно тому, как это делается, когда в летнюю пору спасают от пожара поля пшеницы.

— Смотри, Жила! Если ты что-нибудь натворил с машиной, тебе не сдобровать! Можешь мне поверить! — угрожающе говорит Шаркези.

— А что я мог натворить? Да и какая в этом нужда? Трактор и без того основательно изъезжен,— отвечает Жила, продолжая раскуривать сигарету.

Бердеш уже совсем лишился дара речи, но Шаркези не сдается.

— Заводи немедленно, иначе будет плохо!

— А мне что? Какое мне до этого дело? Неужели кто-нибудь воображает, что эту рухлядь можно завести?

— Если трактор сейчас же не пойдет, я вызову народную полицию,— грозит Бердеш.

— Можете, пожалуйста! Мне и самому любопытно поглядеть, сумеет ли его завести народная полиция!

«Ну, с этим ничего не поделаешь. Но скоро молодые трактористы будут так же бороться за кооперативное хозяйство, как сейчас эти стараются для своих хозяев... Какое же тогда наступит чудесное время!» — такие мысли возникают в голове Шаркези. Он отворачивается и смотрит на борозду, проложенную тракторами через кукурузные и картофельные поля, через пестрые межи. Но в этот момент из трактора, принадлежащего Яношу Васнаш-Надю, вырываются черные клубы дыма и языки пламени. Тракторист спрыгивает с машины и сломя голову бежит через поле, но не прямо, а наискосок, по направлению к сельской околице.

— Смотрите, товарищи! — издалека кричит Сито.

Два трактора окончательно заглохли на борозде. Они стоят неподвижно, словно завязшие в мелкой луже большие животные.

2

Через час заглох и третий трактор. Напрасно обступили его члены кооператива, напрасно грозил трактористу Бердеш, напрасно увещевал его Шаркези, напрасно Лайош Кошут-Киш кричал, что это саботаж. Тракторист же подхватывает последние слова:

— Саботаж, так оно и есть. Мотор саботирует.

И тем не менее тракториста нельзя наказать. Больше того, если механик не отремонтирует машину, никогда этому трактору не сдвинуться с места!

— Это мы установим с помощью специалистов! — говорит Бердеш.

— Пусть проверяют хоть сто специалистов! Они не скажут больше, чем я. Нужны новые поршневые кольца, кроме того...

Тракторист может перечислить все неполадки... А может быть, он прав?

— Вы что же думаете, товарищи? Или я дурак? Ведь мне тоже хочется подзаработать, живу ведь я на то, что выколочу во время пахоты.

Как бы то ни было, машина не двигается ни туда, ни сюда. Только трактор, принадлежащий Анне Кокаш, один обслуживает четыреста хольдов, ходит взад и вперед, объезжая заглохшие машины, как человек обходит встречную лужу.

— Задержись-ка на минуту, браток, — поднимает руку Бердеш.

Шандор Катона останавливает трактор и выжидающе смотрит на старика.

— Скажи нам по чистой совести, Шандор, мыслимо ли, чтобы сразу сломались три трактора?

Катона некоторое время словно ждет подсказки, внимательно

прислушивается, осматривается по сторонам, потом тихим голосом отвечает:

— Разумеется... может. Мало ли для этого причин. Конечно, можно поломать трактор и преднамеренно, но может это случиться и по ошибке, или по халатности, или, наконец, по забывчивости.

— Но именно сейчас, когда тракторы пашут кооперативную землю?..

— Что ж поделать, если именно сейчас на них нашла дурь.

— А почему твой не сломался?

— Мой? Ну, уж это... Мой и не сломается, головой отвечаю!

И Катона трогается с места. Ликующе и победно гудит мотор, а лемехи с такой легкостью прокладывают борозду, словно под ними не земля, а вода, которая бурлящим потоком устремляется вслед за трактором.

Шандор Катона не знал, не мог знать, какой наказ получили от своих хозяев остальные трактористы. Ему известно только то, что приказала его хозяйка. И вот даже сейчас Шандору кажется, будто глаза Анны Кокаш следят за ним, и это заставляет его порой испуганно оборачиваться назад. Но сзади никого и ничего нет, кроме все убывающих межевых полос и далекой музыки работающей вдалеке сеялки.

«Эх, Анна, Анна!..» — горько вздыхает Шандор. Он уже твердо знает, что теперь его трактор не остановится до самого позднего вечера. А утром снова начнет и будет продолжать вспашку до тех пор, пока не проведет последнюю борозду, хотя бы его застал здесь снег.

Анна Кокаш — урожденная Анна Тимар... или эта машина?.. Надо выбирать между ними. Но Анна Тимар не его, она никогда и не была его. Ведь, собственно говоря, семью он покинул из-за машины — женщина досталась как бы в придачу. Шандор Катона влюблен в машины. Он только ради того и женился на дочери помещичьего механика, чтобы оказаться поближе к машинам. А теперь не стало ни имения, ни машин... И он остался со своей женой один на один. Потом перебрался к богатой вдове, куда его сманила опять-таки машина. Катона подрядился в трактористы. Пахал день, другой и до того полюбил свой трактор, что не мог с ним расстаться. Неужели он его уничтожит по воле Анны Тимар?.. И не подумает! Чтобы у него опять ничего не осталось, кроме женщины? Ему хочется стонать от боли — почему у него не может быть и того и другого: и женщины и трактора? Он никогда не занимался политикой, даже не сумел бы сказать, что это за штука, а сейчас вот с отвращением думает о своих товарищах, о тех троих,— трактористы обычно хорошо знают друг друга, даже если они из дальних краев. Что же наделали его товарищи? Зачем? Он, конечно, понимает, что моторы испортились не случайно, что они еще не изношены. Но как бы ни презирал он этих людей, все же он не считает для себя воз-

можным доносить на них. Пусть их отдадут в руки полиции, пусть ведется следствие, пусть специалисты проверяют моторы, но он сам содействовать этому не будет. С одной стороны, здесь, на поле, стоят богачи, с другой — бедняки... К кому же примыкает он сам? Конечно, к беднякам! Но беда в том, что Анна Тимар не с ними, а с теми, у кого есть земля, тракторы, там, где поп и все приверженцы старого мира. Нет, так дальше продолжаться не может!.. Нужно принимать решение, после которого все станет ясно.

Но вот снова собираются на меже люди, снова Бердеш поднимает руку. Шандор останавливает трактор.

— Скажи-ка мне, братец, как можно остановить машину, чтобы она потом не сдвинулась с места? — по-новому задает вопрос Бердеш, надеясь таким образом ближе подойти к истине.

— Как вам сказать?.. Это можно сделать по-разному. Например, если на ходу переключить скорость или резко затормозить, можно раздробить шестерню. Этот прием более верный, потому что поломку удастся починить только в большой мастерской.

— Вот видишь, Шандор, ты и впрямь мастер своего дела! — говорит Бердеш, качая головой.

— Но все это можно сделать и по ошибке, без злых намерений. Именно поэтому я и говорю... с машиной нужно обращаться честно и по совести.— И Катона трогается с места.

Люди снова сходятся на меже. Один говорит, остальные слушают. Но слова не доносятся до Шандора Катоны. В его ушах звенит лишь пение мотора да резкое поскрипывание лемехов. Заглохшие тракторы остаются в стороне, в глубине вспаханного поля, словно кто-то неведомый оглушил их. Полоса поднятой земли между ними и Шандором все расширяется. Он испытывает такое чувство, будто все эти борозды прокладывает своим собственным телом; они тянутся, как нитка из челнока, как полотно из ткацкого берда. К полудню Шандор вспахал добрую половину клина. Ее уже можно бороновать, засевать.

Крестьяне, пришедшие с тяглом, остаются в поле, остальные один за другим возвращаются в село. Зачем стольким людям смотреть на один трактор? Но спешащих домой уже обогнала весть о том, что произошло с тремя тракторами: старались, мол, и так и этак... Некоторые говорят: «Так им и надо, зачем носятся со своим производственным кооперативом!» Другие, наоборот, вовсю ругают кулаков: «Они сами все подстроили!» А третьи утверждают, что трактористы — это бродяги, люди без роду и племени, они во всем и виноваты. Однако большинство жителей села все же на стороне членов производственного кооператива. Они ведь хотели добра и себе, и селу, своим семьям и государству. Мыслимо ли, чтобы сразу встали три трактора? Следовало бы повесить виновников за ноги, вниз головой! Когда говорили о виновниках, представляли их себе в виде каких-то двуликих существ: с одной стороны, тракторист, с другой — Янош Васнаш-

Надь. Эти двуликие существа представлялись им в том виде, как они изображаются на лезвиях бритв «Янус».

Весть о происшествии с тракторами быстро разнеслась не только по селу, но и по всей округе. Крестьянский ум вообще не постигает, как может найтись человек, который решился бы умышленно поломать такую дорогую машину. Разве может крестьянин самолично покалечить лошадь или корову? Как же может человек вывести из строя машину? Разве ему не жалко ее? Однако выходит, что такие озверелые люди все-таки существуют. Их надо просто гнать из села!

Анна Кокаш все чаще выглядывает на улицу или посылает тетушку Петак, которая пришла к ней сегодня постирать белье и сварить мыло, сходить за чем-нибудь в лавку, а главное, разузнать для нее все новости. И тетушка Петак действительно приносит их; в первый раз сообщает: «Заглох трактор Гербеди». А через полчаса, сбегав за дрожжами, возвращается с новой вестью: «Во время пахоты взорвался трактор Ференца Вирага».

Конечно, сведения эти неплохи, но Анне было бы приятнее услышать от тетушки Петак что-нибудь о своем собственном тракторе. Но та о нем ничего не знает. Значит, эта свинья (иными словами, Шандор Катона) не слушается хозяйки, не любит ее, значит, она пригрела на своей груди змею. Так вот, выходит, какого человека она возвысила до себя, какому человеку отдала свою любовь! Ну, погоди же ты, подлец, погоди!

И теперь, вглядываясь в окружающий ее мир привычных вещей и предметов, Анна начинает видеть все в другом свете. Зачем только она связалась с этим Шандором Катоной! Он как бы наложил свой отпечаток на мебель, на стены; Анна невольно вспоминает о нем, куда ни взглянет: вот он умывался в этом тазу, вытирался этим полотенцем. На ночном столике лежит серебряный портсигар, оставшийся после смерти второго мужа, которому она в свое время купила его. Недавно она сама подарила этот семейный сувенир Шандору. В ночной тумбочке, возле стены, лежат красивые, шевровые сапоги Шандора, в которых он гулял по воскресеньям. Разозленная, она с силой выбрасывает их в прихожую, и они падают на пол с таким грохотом, будто взрывается фейерверочная петарда. Но здесь им тоже не место — Анна бросает их на террасу. Однако тут Шандор легко сумеет найти их, поэтому она снова хватает их и швыряет в амбар.

— Чорт бы тебя побрал! — злится она.

Вечером на подводе возвращается ее батрак Петер Кеттеш. Пока он выпрягает лошадей, Анна разглядывает его и думает, не придутся ли этому Петеру по ноге сапоги Шандора Катоны?

Наступает вечер. Вечер в селе, вечер в поле. А Шандор Катона все еще продолжает пахать. «Нужно закончить этот круг, а потом еще один...» — думает он.

Медленно надвигается на него октябрьский вечер. Возле нет никого, кроме старого Бири, который, сопровождая трактор, на

ходу знакомится с двигателем внутреннего сгорания. «Эх, был бы я лет на десять моложе! Сразу пошел бы сдавать экзамен на тракториста! Показал бы тогда всем этим бродягам-предателям!»

На меже лежат несколько бочек с горючим, — так обычно в старых иллюстрированных журналах изображались орудийные снаряды. Трактор, наконец, останавливается. Шандор кончает работу. В крови у него еще играет музыка мотора, от которой окружающая тишина кажется странной и даже страшной. Дикие гуси, как и утром, снова косяками летят над ним. Самого косяка, правда, не различишь, слишком темно. О нем можно лишь догадаться по шуму крыльев и гоготу.

— Пора домой, братец,— говорит старый Бири.

— Пока не придет кто-нибудь охранять ночью трактор, уходить нельзя.

— Для охраны назначены два члена кооператива. Пойдем, мы их встретим по дороге.

— Нет, я машину не оставлю.

— Ну тогда ступай домой, братец, а я останусь, — предлагает старый Бири.

Шандор Катона продолжает возиться с машиной, а на самом деле старается оттянуть время. Он страшно проголодался, так как среди утренних треволнений забыл захватить с собой еду и целый день ничего не ел. А на ужин надежда плохая. Да еще вдобавок он принадлежит к тем людям, у которых вера в жизнь возникает не на пустой желудок, а после хорошего обеда или ужина. Но ничего другого не остается, надо идти домой. Авось как-нибудь обойдется.

Войдя в село и проходя мимо правления кооператива, Шандор встречается с начальником народной полиции Канья-Кишем и полицейским.

— Вот во-время встретились! Можно с вами откровенно поговорить? — спрашивает Канья-Киш.

— Со мной только откровенно и можно.

— Тем лучше... Скажите мне, в таком случае... они умышленно остановили тракторы?

— Этого я не знаю. Я отвечаю только за себя. Но уж отвечу, чорт побери! Верно только одно: бывает, что машина иногда шалит и без причины. А человек смотрит, возится с ней без толку и — господь ему судья — не сразу догадывается, в чем тут дело. Был раз со мной случай, еще в имении...

И Шандор вспоминает происшедшую с ним историю. Он рассказывает о себе, о первом тракторе, на котором работал. Говорит он долго, но полицейским невдомек, что все это он делает с единственным расчетом как можно позже прийти к своей хозяйке.

Пока он добрался домой, успела взойти луна и осветила весь двор. В лунном свете каменные колонны кажутся мраморными,

а керамические плитки отливают серебром. Даже крыша и та словно посеребренная. Листья на деревьях буквально горят. Удивительное дело, никогда еще не оглядывал он двор так внимательно, как сейчас. Но надо же когда-нибудь войти в дом, разрубить, наконец, этот узел!

Окна глухи, бесцветны. Только в нижней части стекол поблескивают расплывчатые серебристые круги, похожие на тарелки или на горячие блины. Шандор до того голоден, что лунное сияние, упавшее на стекло, представляется ему и тарелкой и блином одновременно.

Он нажимает ручку — не поддается. Ему кажется, что дверь не просто заперта, а наглухо заколочена гвоздями, и ее уже больше никогда не удастся открыть. И вместе с ней будто заколочена и его жизнь. Шандор стоит снаружи, а мысли его внутри дома; безвозвратно погубил он самого себя и свою жизнь. Все, что происходило до сих пор, было лживым и грязным. Теперь оно могло стать чистым и правдивым, но уже поздно. Он тащит свое прошлое, как скотина ярмо. Ведь не он подошел сейчас к окну, а та дорожка, по которой катится вниз его жизнь, привела его сюда. Не он постучал в окно, а его голодный желудок.

— Анна! Это я, Анна!

И для большей убедительности еще раз стучится в окно. Никакого ответа. Блин луны, сверкая, все увеличивается на стекле.

— Анна, открой дверь! Анна!..

Кто-то отвечает... нет, это часы отбивают десять ударов.

Шандор ждет еще немного, затем усиленно кашляет, будто простудился. Но и это делает не он, не его легкие, а желудок. О, чего только не делает желудок, не считаясь с волей человека! Ломает трактор, пашет, поет, плачет, хохочет, грустит и вечером, в десять часов, заставляет человека стучаться в окно к Анне Тимар, хотя знает, что оно никогда уже для него не откроется.

— Чорт бы побрал эту прорву, этот проклятый желудок!..— скрежещет зубами Шандор и, шатаясь, отходит от окна.

Устрашающе и грозно обрушивается на него действительность: нет ужина, нет завтрака, нет крыши над головой, ничего нет больше. Свою жену он бросил, а другая сама выгнала его, как прогоняют со двора шелудивую собаку. И вот он остался таким одиноким, таким осиротелым, что по сравнению с ним только мертвец может быть более покинутым и одиноким.

«Пойду посплю в конюшне»,— подсказывает Шандору опять-таки не ум, а голод и бездомность. И он идет в конюшню.

Но на дверь наложен большой железный засов и повешен огромный, как тыква, замок.

Шандору становится стыдно. Будь он собакой, опустил бы глаза, поджал хвост и убрался со двора. Так вот, значит, какова честь женщины? Вот, значит, как недолговечна женская верность? Целый вихрь мыслей, сменяющих одна другую, проно-

сится в его мозгу: «А как ему самому говорить о верности, о чести, когда среди бесчестных он всех бесчестнее? Не будь до него в мире измен, он, уйдя от жены, положил бы им начало. Анна Тимар была не виновницей, а соучастницей. Даже единственное, ради чего он живет на свете — трактор,— и его он оставил в поле на попечение другого! А вдруг кто-нибудь пристукнет ночью старика и расправится с этим трактором так же, как с остальными тремя?

Шандор потеет, как лошадь под чрезмерно тяжелым грузом, выскакивает на улицу и бежит к полю. Ему представляется, что у въезда на мост святой Янош Непомука грозит своей клюкой, и Катона продолжает бежать. Под ним глухо звенит сухая, растрескавшаяся земля, и ему начинает казаться, что звенит все поле, залитое лунным светом, и где-то далеко-далеко жалобно отзывается эхо.

Но никакой беды не произошло. Балаж Фюрес и Карой Ханадь в трех-четырех шагах от трактора развели костер и жарят на нем тыкву.

На некоторых отчужденных кооперативу участках земли еще сохранились стебли кукурузы и других растений. Хозяева до последней минуты не хотели их убирать, думая, что, если они затянут уборку, может быть, из размежевания ничего и не выйдет: ведь, собственно говоря, когда на поле что-нибудь осталось, значит над ним еще есть хозяин. Но получилось совсем не так. Пришлось убирать, иначе все бы запахал трактор. Сегодня после обеда начали возить вовсю, но тем не менее на поле осталось много тыкв. Вот они издали и белеют.

После полуночи Фюреса и Ханадя сменяют двое других сторожей. Приближаясь к костру, они слышат, как Шандор Катона рассказывает:

— Бог создал человека не для того, чтобы он тащил на себе тяжелое бремя, а чтобы весело жил. Даже и осла сотворил он не затем, чтобы тот таскал тяжести, а просто — пусть, мол, и он живет... Мало ли на свете всякой твари... — и Катона уплетает горячую тыкву.— Все пошло по-иному с тех пор, как Иисус Христос, направляясь в Иерусалим, сел на осла,— продолжает Шандор.— Посмотрели на это люди и поняли: «Да ведь осел и тяжести может таскать». С тех пор стали до того навьючивать эту скотину, что осел и по нынешний день мучается, бедняга. Если бы Христос шел до Иерусалима пешком, все сложилось бы для людей совсем по-другому. От чего только не зависит человеческая судьба!..

Катона смолкает: двое подходят к костру.

— Добрый вечер! — здороваются они, как по команде, и садятся на землю.

Карой Ханадь палкой ворошит угли в костре, достает по куску тыквы для вновь прибывших. Те мгновенно откидывают назад головы и, словно по уговору, втягивают в себя соблазнительный запах тыквы.

3

На закате в правлении неторопливо, по одному, собираются члены кооператива, будто остатки разгромленной армии. Куда девались утреннее веселье, уверенность, праздничное настроение? Все увязло в земле вместе с заглохшими тракторами.

С понурым видом входит в контору Лайош Кошут-Киш. За письменным столом, обхватив руками голову, сидит Бердеш. Шаркези звонит по телефону, Йошка Пап молча курит, а Сито связывает найденные в кармане веревочки, чтобы эти короткие куски не завалялись.

— Что?.. Немедленно выезжаешь?.. Мы все в сборе. Ждем...— говорит в трубку Шаркези и тут же кладет ее на рычаг.— Кульчар сейчас выезжает,— сообщает он и садится напротив Бердеша.

Несколько мгновений все молчат. Из прихожей и с веранды доносятся какие-то неопределенные звуки.

— Да, пусть приезжает, не оставляет нас в беде,— говорит Лайош Кошут-Киш и тоже садится. При этом он так громко вздыхает, что, будь перед ним куча половы, от такого вздоха половина ее тут же бы разлетелась. Он стонет и тяжело опирается руками на колени.

— Что с вами, дядюшка Лайош? — в недоумении спрашивает Бердеш.

— Эх, Лайош, Лайош! Ну, вот скажите, что же будет дальше? — спрашивает Кошут-Киш с горечью в голосе.— Отдал я вам свою земельку, и теперь нет мне ни посева, ничего...

— Почему ничего? Мы уж, пожалуй, засеяли больше, чем весь ваш бывший участок. Сколько у нас получилось, товарищ Сито?

— Пять хольдов.

— Ну, вот видите. А теперь давайте разберемся. Свою землю вы отдали не нам; она такая же ваша, как и наша. А наша земля, в свою очередь, настолько же принадлежит вам, как и нам, то есть она и ваша, и наша.

— Что такое пять хольдов по сравнению с четырьмястами?

— Вот именно. Вот это разговор! Что бы ни случилось, человек должен мерять не пятью хольдами, а сразу масштабом четырехсот, тысячи хольдов...

— Это понятно. Если с пятью хольдами столько бед, что же тогда говорить о тысяче хольдах! Мне бы и раньше надо было мыслить в таких масштабах, еще в девятнадцатом году, когда я принял хозяйство в имении!

— Потерпите. Может, завтра с утра все образуется.

— Как же это!.. Ведь с утра надо уже сеять.

— Мы и будем сеять, будьте уверены. Так вот, товарищи, давайте решим, с чего начинать,— говорит Бердеш, шаря по столу и раскладывая бумаги.

— Как я только что сказал, надо взять на строгий учет весь наш скот и позаботиться о коровьих упряжках. Две коровы —

одно ярмо. Телка и молодой конь — тоже одно ярмо. В сорок пятом году и этого не было, и все-таки посеяли. Не оставлять же нам землю пустой! — объясняет Сито.

Но Шаркези не считает это дело таким простым.

— В сорок пятом мы сеяли как могли и собрали сколько уродилось. А сейчас нам нельзя собрать меньше, чем те, кто хорошо пашет и во-время сеет.

— Так что же делать? Не засевать?

— Об этом не может быть и речи. Вот приедет товарищ Кульчар, он нам поможет.

— Посевное зерно, восемьдесят свиней, десять тысяч форинтов ссуды! Не думаю, чтобы нам удалось получить больше. Говорю вам, надо серьезнее взяться за кулаков; они должны ответить за поломку тракторов.

— Этим делом уже занимается Канья-Киш.

— Но что-то уж больно медленно...— возмущается Сито и вновь развязывает веревочки: составленная из нескольких кусков веревка кажется ему длинноватой; если она на что-нибудь понадобится, все равно придется резать.

Люди продолжают сидеть, как намокшие птицы, и напряженно думают. Даже Шаркези поддается общему настроению. Он чувствует себя до крайности усталым. В голове бродит множество мыслей, но, как только ему начинает казаться, что он может привести их в порядок, как-то сформулировать, они распадаются и вновь возникают перед ним уже в виде разрозненных обрывков. Ему нужно за что-то уцепиться, от чего-то оттолкнуться. Думы о партии приходят к нему непрестанно: партия при любой опасности требует выдержки, непреклонной уверенности. Сейчас задача состоит в том, чтобы засеять четыреста хольдов земли. А сев можно провести только, когда есть чем пахать. По спине у него пробегают мурашки от одной только мысли, что, может быть, придется принять первый совет Эсеньи: выгнать на вспашку всю скотину.

Будь у них в руках обещанные государством десять тысяч форинтов, они, пожалуй, справились бы с пахотой, использовав все тягло. Но нет, уже слишком поздно! Кроме того, еще неизвестно, пойдут ли единоличники сеять за деньги, как это практиковалось прежде, при других обстоятельствах. И какого можно после всего этого ждать урожая? Он не в состоянии ничего придумать! Тут уж действительно может помочь только Кульчар!..

Снаружи доносится шум автомобиля. Вот он остановился, хлопнула входная дверь, в передней слышны приветствия, и в комнату входит Кульчар, на ходу снимая желтое кашне.

— Сабадшаг! Что, собственно говоря, случилось?

— Сабадшаг! Многое случилось. Три трактора стали, один еще пока пашет. А у нас всего только четыре упряжки. Что делать? Ведь речь идет о четырехстах хольдах, время не ждет.

— Действительно, случилось многое. Пожалуй, начнем по порядку. Тракторы починить можно?

— Где старый Бири? Он в этом лучше разбирается. Здесь Бири?

— Здесь, здесь,— входя, говорит старик. Он только что пришел прямо с поля; его сменили сторожа.

— Скажите, товарищ Бири, что вы думаете об этих тракторах?

— Что я думаю? Всю жизнь, правда, мне приходилось иметь дело с паровичками, но все-таки настолько я еще смыслю... Их поломали так, что и не починить.

— Что же с ними сделали?

— Я вечером говорил с Шандором Катоной; многое узнал от него. Как он объясняет, мотор легко испортить. Очевидно, в одном раздробили шестерню, другой просто подожгли, а третий сломали, переключив рычаг на задний ход.

— Да ведь это явное вредительство! С виновными быстро разделаются.

— Канья-Киш уже ведет следствие по этому делу.

— Нужно немедленно арестовать всю компанию: трактористов, их хозяев, всех!

Бердеш подается вперед, опускает руки и неожиданно резко говорит:

— Чего мы этим добьемся? Все равно тракторы не сдвинутся с места.

Все с недоумением смотрят на него. Ведь старик не привык быть слишком покладистым и уступчивым, каждый раз его приходится удерживать, чтобы он, того и гляди, не натворил беды.

— Как вы можете так говорить, товарищ Бердеш? Поломка тракторов в этих условиях сама по себе преступление.

— А преступление ли это? Кто может наверняка установить, что если не все три, то, по крайней мере, один или два трактора остановились не потому, что отработали свое время? А тогда и выйдет, что мы осудим безвинных людей.

— Суд во всем разберется, товарищ Бердеш,— отвечает ему Кульчар.

— Для нас сейчас самое главное — как можно скорее засеять четыреста хольдов земли, потому что от этого зависит, быть или не быть производственному кооперативу,— продолжает Бердеш.

Кульчар после минутного раздумья встает и смотрит на стенные часы.

— Уже поздно,— задумчиво произносит он, направляясь к телефону. Он вызывает уездную производственную комиссию. К счастью, там еще все на местах; зачастую работают и до десяти часов вечера. Он спрашивает, как и когда можно в спешном порядке отремонтировать три заглохших трактора.

— Отремонтировать? Это тяжело. Пока нет машинно-тракторной станции, ремонтные мастерские в руках частников. Положение с ремонтом таково, что раньше двух-трех недель нечего и надеяться.

Кульчар кладет трубку и задумывается.

— Ну, товарищ Бердеш, предлагайте что-нибудь поумнее.

— Поумней? Сейчас...

Чувствуется, как Бердеш мучительно придумывает что-нибудь «поумней».

— Вот что я предлагаю, товарищи. Вызвать при помощи Канья-Киша всех кулаков, и пусть Канья-Киш объявит им, что если в течение трех-четырех дней тракторы не будут на ходу, то и хозяев и трактористов отдадут под суд. Поумней ничего придумать не могу.— Он приосанивается, уже вполне успокоившись, садится на место и с видом превосходства оглядывает присутствующих.

— А в самом деле, это неплохо...— переглядываются люди.

— Хорошо. Пожалуй, это лучший выход. Ну, тогда немедленно пойдемте в полицию,— предлагает Кульчар и встает.— Пошли, товарищ Шаркези! И вы, дядюшка Бердеш!

— Пошли!

Уже довольно поздно, но в беде человек не замечает времени. На улице в эту пору нет прохожих, в некоторых домах даже потушен свет. На восточной окраине села всходит луна и с любопытством заглядывает на улицу и во дворы. Как раз в этот момент Шандор Катона стучится в окно к Анне Тимар, но люди, идущие в полицию, об этом ничего не знают. Как не знает и Шандор об их делах. А ведает обо всем этом одна только луна.

Кульчар с Шаркези и Бердешем молча идут по середине улицы; у каждого в голове роятся тысячи мыслей. Нарушает молчание Кульчар:

— А теперь, товарищ Бердеш... Мы сейчас одни... объясните, почему вы возражаете против немедленного ареста кулаков?

Бердеш необычно тихо отвечает:

— Ведь я уже сказал почему... Так у нас хоть есть надежда, что тракторы заработают. Стало быть, мы не провалим сев...

— Может быть, вы и правы. Но не сердитесь. Должны же вы почувствовать, что и я, и Шаркези к вам очень хорошо относимся. Вам это известно, дядюшка Бердеш?

— Конечно, известно! Как же иначе! Не дурак же я, чтобы не понимать!

— Вот видите! Именно поэтому мы заслуживаем, чтобы вы были с нами до конца по-настоящему искренни и откровенны, как наш близкий друг.

А я и есть ваш друг. Да к тому же еще и старший товарищ, и все прочее...— отвечает Бердеш, останавливаясь, чтобы передохнуть.

Кульчар и Шаркези, сделав несколько шагов, тоже останавливаются и одновременно поворачиваются к старику.

— Не сердитесь на нас, дядюшка Бердеш. Но... нам кажется, будто вы от нас что-то утаиваете.

— Что ж, верно, утаиваю,— с грустью подтверждает Бердеш,

искоса поглядывая на луну. Сколько раз в своей жизни он смотрел на луну... И сколько еще придется, если долго проживет!..

— Видите, дядюшка Бердеш! Почему бы вам все-таки нам не рассказать? Поверьте, самому тогда станет легче.

— Хорошо, сынок, расскажу.— И он начинает свое признание таким печальным голосом, что Кульчару и Шаркези становится жаль старика.

— Трактор Ференца Вирага на самом деле принадлежит ему и Барне Надю. Кто такой Барна Надь, вам хорошо известно. По крайней мере, ты знаешь, Имре. Кулак!.. И все-таки он не кулак: у него семья, трое детей, а земли всего двадцать шесть хольдов. Владеет он только половиной трактора. Чорт с ним, с этим трактором! Дело здесь совсем в другом. Если Ференца Вирага посадят, пострадает и Барна Надь. А уж этого-то я никак не хочу.

— Интересно получается... Значит, вы, дядюшка Бердеш, будучи председателем производственного кооператива «Свобода», по-разному оцениваете кулаков? — изумляется Кульчар.

Старик громко и горестно вздыхает.

— Эх, сынок! Легко это говорить вам, молодым. А попробовали бы вы быть коммунистами в восемнадцатом и девятнадцатом году! А я уже в те времена был коммунистом. Это может подтвердить Кошут-Киш. Короче говоря... был он тогда, этот самый Кошут-Киш, вожаком на селе, председателем сельсовета. Но вот пришли румыны, за ними белые, и Кошут-Киш скрылся. А когда почти через год вернулся домой, его, конечно, арестовали. Но к тому времени все уже немного утихомирилось, и он отсидел в тюрьме только полтора года. Я не скрывался — куда мне было идти? — и белые забрали меня как зачинщика. Когда они вошли в село, старостой стал Барна Надь, который, к слову сказать, еще в школьные годы был моим закадычным другом, шесть лет подряд сидел со мной за одной партой. Он всегда был первым в классе, а я вторым. Ну так вот... Дружбу мы поддерживали и позже, хотя встречались редко. Но когда меня забрали, он заступился. Жандармы привели меня в наручниках в сельскую управу, где вершил дела какой-то капитан. Барна Надь сначала слезно просил его за меня, а потом как стукнет вдруг по полу своим жезлом старосты — жезл так в щепки и разлетелся. Хоть и поломали о мою голову канцелярскую мебель, но все-таки выпустили. Только два года кряду приходилось мне каждое воскресное утро являться в жандармерию.

— Как, как вы говорите... поломали мебель о голову?

— Да, вот так... Голова моя тогда была, как шар для игры в кегли. Меня до тех пор били головой о шкаф, пока он не сломался. А затем пустили в ход и книжную полку... Какой был треск, грохот! Стоит закрыть глаза, я и сейчас его слышу. Но я все-таки выдержал, по крайней мере, хоть не повесили... Здравствую и поныне. И только потому, сынок, что своей жизнью я обя-

зан Барне Надю. Я чувствовал бы себя неблагодарной свиньей, если бы хоть на минуту забыл об этом. Но это еще не все. В те времена лечиться было не так просто, как теперь. Сейчас стоит кому-нибудь заболеть, к нему сразу приходит врач. Однажды заболел мой старший сын, Лайош,— он тогда еще был подростком. До железной дороги от нас было далеко, да и поезда ходили редко. Словом, моего больного Лайоша Барна Надь отвез на подводе за тридцать шесть километров в больницу. Между прочим, Барна был его крестным отцом, стало быть, он так и должен был поступить. Значит, и мой сын, офицер, который теперь учится в военной академии имени Кошута в Пеште,— как раз на днях получил от него письмо — тоже обязан жизнью Барне Надю. Ну, что же еще сказать, сынок?

Бердеш закуривает и продолжает путь, заложив руки за спину. Шаркези и Кульчар следуют за ним.

Имре Шаркези не знал подробностей прошлой жизни Бердеша; в восемнадцатом-девятнадцатом году он был еще совсем ребенком. И он вспоминает свою юность; в ней нет ничего, что тянуло бы его к прошлому: никогда ни от кого он не получал никакой помощи, никто не заботился об его здоровье, не интересовался, что он ест. Все крупнейшие события жизни только толкали его на вечную, никогда не прекращающуюся борьбу со всем, что высасывает из человека соки, погружает его в беспросветную темноту, в грязь, в невежество. Шаркези стало жаль старика. И одновременно он с большой силой почувствовал, до какой степени сам он, Шаркези, абсолютно свободен; какое неоценимое сокровище (такого не приобретешь ни за какие деньги) его прошлое, за которое он никому ничем не обязан.

А Кульчар размышлял совсем о другом. С каким теплым чувством вспомнил он в эту минуту рассказы об отце, который работал кузнецом на окраине Эгера. В девятнадцатом году отец его был коммунистом, затем скрывался, приходил из виноградников домой только ночью, крадучись, лишь бы поцеловать своих детей — брата и сестру Лаци Кульчара. (Теперь его сестра стала депутатом парламента.)

Окраинная улица Эгера, где дома строились редко, постепенно превращалась в зеленый поселок. Здесь, напротив их дома, жил богатый крестьянин, доносчик недавно созданной жандармерии. Однажды на рассвете отец собирался уходить. Жена готовила ему кое-что с собой, дочь — тогда ей было лет одиннадцать — укачивала младшего братишку, а отец смазывал ружье. Внезапно возле окон и дверей появились жандармы; они окружили дом и никого оттуда не выпускали. Что это был за ад, какой ужас! Жандармы перевернули вверх дном всю комнату. Они били по лицу мать; дети плакали. Не найдя отца в комнате, жандармы бросились искать его в чулан.

— Сдавайся, Бени Кульчар! — кричал один из жандармов, стоя посреди кухни, готовый в любую минуту прижаться к стене.

Он даже не заметил того, как другой жандарм, лязгая зубами, прятался за его спиной.

Дверь из чулана тихо, без скрипа приоткрылась, в ней показалось дуло манлихера. Один из жандармов хотел было кинуться на веранду, а другой как раз в эту минуту собирался войти в чулан. Вдруг раздался выстрел, за ним другой, и оба жандарма рухнули на пол. Те трое, что стояли на улице, бросились кто куда.

О, что это был за рассвет, что за солнечный восход!

Дети плачут так, что слышно во всем селе. Жандармы лежат — один на кухне, другой на веранде, и вид у них такой, словно они нахлебались красного вина и опьянели. Проживавший напротив доносчик наблюдает, облокотясь на забор. Сюда сбежалась вся городская окраина, все смотрят издалека, прислушиваются, некоторые из женщин даже приподняли юбки, словно у них под ногами с ревом мчится бешеный поток. А солдаты избивают мать, толкают, чтобы она шла вперед, к центру города. Затем мать заключают в концлагерь в Хаймашкере, а детям остается нищенская жизнь на чужих хлебах.

Проходят годы, пока семье вслед за отцом удается эмигрировать в Париж. Лаци родился уже за границей. Но весной сорок пятого года семья уже снова была на родине, чтобы вновь взяться за работу, которую начали в девятнадцатом году их отцы. Старый Кульчар теперь директор машинно-тракторной станции в Бекешской области. Сам он, Лаци, здесь в уезде, а мать поочередно то у детей, то у мужа. Человеку с таким прошлым трудно понять Лайоша Бердеша.

Но вот все трое подходят к зданию полиции. Кульчар останавливается и говорит Бердешу:

— Необходимо, наконец, порвать нити, которые связывают наши чувства и мешают идти правильным путем к настоящей цели. Мы не должны принимать близко к сердцу, если даже приходится обидеть того или другого человека. Иначе мы окажемся в плену собственных чувств, а это — страшнее болотной тины.

— Чорт бы побрал все эти, как их там, чувства и тому подобное! Но вы за меня не беспокойтесь! Если бы, помимо всего прочего, Барну Надя не считали порядочным человеком, тогда еще куда ни шло... Но в том-то и дело, что он вовсе не плохой, больше того — порядочный человек. Что же в таком случае делать?

— Посмотрим! Конечно, мы решим все по справедливости... А теперь пойдем в полицию.

4

Здание, в котором разместилась народная полиция, было необычным для села: оно больше напоминало виллу. Сейчас в доме везде горели огни, словно по случаю праздника ожидались гости. Кульчар часто бывал в этих местах, но почему-то только

сегодня с удивлением подумал, кому понадобилось выстроить в селе такое здание.

Со слов Бердеша выяснилось, что дело обстояло очень просто.

Не так давно, точнее, в начале тридцатых годов, в селе жил некий майор в отставке, которого сама судьба закинула в эти края; у него была невеста, весьма привлекательная особа. Во время правления Бетлена эту красавицу послали в Америку для продажи тамошним миллионерам изделий венгерского рукоделия: вышивок, скатертей с национальным орнаментом и других произведений прикладного искусства. Выручку от их продажи правительство намеревалось использовать для благотворительных целей, оказывая помощь сельскохозяйственным рабочим, которые в то время особенно бедствовали в районе Матё. Но невеста майора посылала выручку не правительству, а своему жениху на постройку красивой виллы, где она могла бы найти пристанище после того, как распродажа вышивок и скатертей «обогатит» венгерских бедняков.

Виллу построили, а майор после войны застрял где-то на западе. Теперь в этом здании отделение народной полиции.

Временами здесь появляются жильцы, которых тщательно охраняет полиция. Взять хотя бы ее нынешних обитателей: Гербеди, Васнаш-Надя, Ференца Вирага и обоих трактористов — третий дал тягу, должно быть, и по сию пору бежит, бедняга, если его еще несут ноги.

Заложив руки за спину, Канья-Киш в раздумье расхаживает по комнате, где выстроились в ряд арестованные. Другой полицейский сидит за письменным столом. Перед ним лежит лист бумаги; время от времени он что-то пишет. Конечно, он не заносит в протокол, что товарищ начальник ходит взад и вперед по комнате с заложенными назад руками, зато точно записывает следующие его слова:

— Допустим, вы не разбираетесь в моторе — это дело трактористов. Но, в таком случае, расскажите... кто обещал дать по поросенку тем троим, что взялись расклеить известные вам листовки? Напомню: это было десятого сентября ночью или на рассвете.

— Я и свиней не держу с тех пор, как...— срывающимся голосом пытается выгородить себя Васнаш-Надь.

— Так. Стало быть, не держите?

— Держать-то держу, но только...— и голос Васнаш-Надя снова срывается. По сути дела, он даже не соображает, что говорит: только шевелит губами и невнятно бормочет, словно маятник от испорченных часов, который продолжает раскачиваться, хотя механизм давно уже вышел из строя.

— Видать, от вас толку не добьешься. Придется передать дело в чрезвычайный трибунал. Что вы на это скажете, господин Ференц Вираг?

Ференц Вираг отнюдь не кажется надломленным. Он высоко держит голову.

— А мне-то что говорить? О листовках я узнал лишь на следующее утро. Ребячество — и только! Больше того — глупость!

— Ну вот, видите! То-то и оно что глупость. С вами, по крайней мере, хоть говорить можно. Скажите, сколько вы обещали трактористу за то, что он выведет мотор из строя?

Ференц Вираг еще больше вытягивает шею, потом, повернувшись к Винце Бокору, спрашивает его:

— Что я тебе сулил за порчу трактора?

Винце ерзает, хочет высморкаться, но не находит носового платка — срам да и только. Он ловит суровый взгляд хозяина, тот самый взгляд, которого частенько побаивались работники.

— Ничего он мне не обещал... Только так, беседовал о том о сем.

— Ага! Значит, беседовал! — резко перебивает его Канья-Киш.— О чем же он с вами беседовал?

— Да вот... дескать, чтоб сгинул этот трактор! Лучше бы его и на свете не было, коль хозяин не может им распоряжаться!.. Ну и все такое...

— И вы приняли его слова за чистую монету?

— А как же иначе? Я своего хозяина понимаю с полуслова.

— Ну, разумеется. Что же вы сделали потом? Как вывели из строя мотор?

— С мотором всегда что-нибудь случается.

— А вы сами с ним ничего не делали?

— Что я мог сделать? Ничего и делать не требовалось. Разве это машина? Это старый тарантас! — всячески изворачивается Винце, повторяя то, о чем уже говорил раньше.

Канья-Киш в задумчивости шагает по комнате. В этот момент появляется дежурный, молча передает ему пакет и тут же выходит. Канья-Киш, прочитав бумагу, по очереди оглядывает арестованных: сначала Вирага, потом Васнаш-Надя, затем бросает взгляд на Гербеди, на Жилу и, наконец, на Бокора. При этом Канья-Киш думает: «Как бы хорошо одним ударом разрубить этот запутанный клубок. Да, одним, хорошо рассчитанным ударом!» Но нет, надо действовать постепенно и осмотрительно. Он бросает презрительный взгляд на Васнаш-Надя и других сельских богатеев, словно говоря: «С вами я покончил!». Затем поворачивается к трактористам, подходит к ним почти вплотную, снова заглядывает в бумагу, которую держит в руках, и спокойно спрашивает:

— Зачем Эсеньи вызывал вас позавчера в сельскую управу?

Ему отвечает Жила:

— Договориться, когда начать пахоту. И сказал, чтобы мы выполняли указания правления кооператива.

— Ложь. Но ничего, в свое время мы выясним и это.— Затем обращается к полицейскому, ведущему протокол:

— Товарищ Вичке, вызовите Эсеньи.

Полицейский молча поднимается и выходит из комнаты. Канья-

Киш продолжает говорить, как бы думая вслух, при этом он по очереди загибает и отгибает пальцы.

— Значит, все — и хозяева, и трактористы — желали, чтобы моторы вышли из строя. Этого хотел и Эсеньи. В результате такого единодушного желания моторы и на самом деле сломались. Если так — а это действительно так,— давайте до прихода Эсеньи еще потолкуем. Скажите, о чем во время размежевания земли вы как-то вечером беседовали с пастором?

Тишина. Никто не отвечает ни слова.

— На этом собрании были вы, господин Васнаш-Надь, и вы, господин Гербеди, да и вы, господин Вираг. Чего же вы молчите?

Первым нарушает молчание Вираг. Он говорит, как всегда, обиняками:

— Послушайте, товарищ начальник. Не проще ли спросить об этом самого пастора? Он человек образованный, у него и котелок лучше варит, он вам объяснит все, как надо.

— Не беспокойтесь, мы и его спросим... Если не мы, то суд. А сейчас расскажите все, что вы знаете по этому поводу.

Сельские богатеи и их трактористы испуганно смотрят друг на друга. Выходит, здесь известно все, что делается в селе. Стало быть, от народной полиции ничего не утаишь. В таком случае, какой смысл стоять здесь истуканами? И Вираг решает говорить.

— Я член церковного совета; беседовать со священником — моя обязанность. Первый раз мы говорили о том, что отчуждать сто шестьдесят хольдов церковной земли несправедливо. Церковь и так бедна, и, кроме того, из-за этого лишаются земли много мелких арендаторов. В другой раз речь шла о том, что нет смысла больше противиться. На что мы могли рассчитывать? Только на то, что, собрав подписи под жалобой, нам удастся хоть немного помешать укреплению кооператива...

Вираг не успевает закончить свою речь, так как в комнату входит запыхавшийся полицейский и сообщает, что Эсеньи повесился.

Все так и застыли на месте. Что означает для них смерть одного человека, если они сами попали в беду? Зато Канья-Киш озадачен. Из-за мелких преступлений человек не может повеситься. Здесь скрывается что-то большее. «А что если Эсеньи — зачинщик? Наверное, тракторист, который сбежал, мог бы дать важные показания... А что если это дело его рук? А что если?.. Сколько неясных вопросов, сколько сомнений! Если Эсеньи унес с собой тайну на тот свет, то ничего нельзя будет раскрыть».

— Можете закурить. Я сейчас вернусь,— тихо и несколько задумчиво говорит Канья-Киш и выходит в соседнюю комнату. Раньше в ней помещалась столовая, а теперь она служит приемной. В ней сейчас сидят Кульчар, Бердеш и Шаркези.

— Сабадшаг! Вы слышали об Эсеньи, товарищи?

— Только что узнали. Чорт бы его побрал! — всердцах выругался Бердеш.

— Его-то уже побрал. Да, трудновато теперь будет распутать эту историю с тракторами.

— Ничего, все это выяснится... Мы пришли к тебе потому, что надо сеять, во что бы то ни стало сеять. Может быть, подстрекателем всей этой истории был Эсеньи, а возможно, и сами хозяева тракторов. Но дело не в этом. Сейчас главное — провести сев. Поэтому вот о чем мы хотим тебя просить, товарищ... Они здесь?

— Здесь. Только толку от них мало.

— Словом, мы просим, дай им, скажем, два-три дня сроку: ежели они сами исправят тракторы — дело против них ты прекратишь, а если нет — тогда пусть пеняют на себя.

— Ну, что ж... Я не против. А как твое мнение, товарищ Кульчар?

— Я — за. Мы уже это обсудили.

— Тогда так и сделаем. Я отпущу их на все четыре стороны и займусь этим самоубийцей, как его... Эсеньи.— И Канья-Киш даже жалеет, что Эсеньи нет в живых. Какая беспокойная ночь!

Луна совершает свой однообразный путь над землей. Задолго до рассвета в селе, как обычно, кукарекают первые петухи.

5

В тысяча девятьсот сорок пятом году в селе появился новый участковый врач: небольшого роста, невзрачный на вид молодой человек, блондин. Звали его Элемер Барна. Он был женат, имел троих детей. Доктор обслуживал три деревни; в грязь и слякоть он объезжал их на мотоцикле, а в хорошую погоду на велосипеде. С утра до вечера он был на ногах, зачастую ему приходилось бодрствовать и по ночам. Одному господу богу известно, как он справлялся с такой огромной работой, но всегда и всюду поспевал. Года полтора назад соседний участковый врач вызвал его на соревнование, и Элемер Барна не отставал от него. Да не только от него, но и от врачей, которые работали в уезде и даже в области. Барна добился немалых успехов на поприще здравоохранения: например, за полтора года на его участке не было ни одного случая детской смертности. А ведь только в прошлом году на свет появились тридцать семь новорожденных и до октября нынешнего года немногим меньше — двадцать три молодых гражданина. Всего, стало быть, шестьдесят ребят. И все живы-здоровы!

Значительно сократилась смертность и среди взрослого населения: никто не хочет помирать! А насчет тестя Ференца Тарнока, которому восемьдесят семь лет, на прошлой неделе прошел слух, будто он даже собирается жениться и ездил в Дебрецен свататься. Старик во всеуслышание заявил, что такому никчемному человеку, как его зять, он ни в коем случае не хочет оставлять наследство. Правда, никакого отношения к брачным намерениям старика доктор не имел, но все-таки тот проживал на его участке

и, стало быть, доброе здоровье старика так или иначе ставилось в заслугу врачу.

Всего лишь несколько минут назад доктор Барна вернулся домой из поездки в соседнюю деревню, куда его вызывали на роды. Только он собрался поужинать и, как обычно, взявшись одной рукой за краешек тарелки, другой открыл крышку кастрюли и, заглянув в нее, вытянул губы и причмокнул, как вдруг кто-то, громко крича, забарабанил в дверь приемной. То была жена Эсеньи; она прибежала за доктором — ее муж повесился. Услышав вопли женщины, Барна вскочил, впопыхах опрокинул стул, нахлобучил на голову шляпу, схватил свой саквояж и выскочил из дому, как пробка из бутылки. Велосипед его стоял у стены. Доктор, не сходя с крыльца, перекинул ногу через седло и, оттолкнувшись, покатил. Не слезая с велосипеда, он ловко открыл на ходу калитку и нажал на педали.

К месту происшествия доктор примчался раньше, чем жена Эсеньи. Виновник его лежал на полу конюшни, около лошадей. Вокруг собрались соседи, тут же стояли дети. Бездыханное тело уложили под петлей, с которой его сняли. Обрезанная веревка свисала с перекладины и извивалась в воздухе, будто разрубленный заступом червь.

Доктор на ходу сбросил куртку, засучил рукава и опустился на колени перед Эсеньи. Достаточно одного мгновения, чтобы приложить ухо к груди — немножко выше, немножко ниже. Доктор как по команде поднял руки самоубийцы, потом опустил их — словом, начал делать искусственное дыхание.

Кони апатично жевали сено из яслей и лишь изредка то один, то другой косил глазом на толпу. Доктор безостановочно продолжал свое дело. В уме его иногда мелькала мысль, что он напрасно тратит свои силы: если этому человеку надоела жизнь, то и чорт с ним! Но, несмотря на такие коварные мысли, врач продолжал приводить Эсеньи в чувство. Лишь изредка он останавливался, прислушиваясь к биению сердца, но ничего не улавливал. Доктор пытался прощупать пульс, потом снова прикладывал ухо к груди и опять принимался за работу. Ему не было дела до того, почему этот человек хотел умереть, врача интересовало только, чтобы жизнь восторжествовала над смертью. Стараясь привести самоубийцу в чувство, Барна сознавал, что он выполняет свой долг и делает все, что зависит от врача. Какой-то странный лихорадочный жар охватил все его существо; он сам себе напоминал картежника, который первую партию играет только скуки ради, чтобы поразвлечься, но затем все больше и больше приходит в азарт.

В дверях со стенаниями причитала хозяйка, рядом с ней стояли двое детей — парень и девушка на выданье. Они всхлипывали от горя и ужаса. Уставшая от напряжения соседка едва держалась на ногах; кое-кто из мужиков уже запыхтел трубкой. Врач к этому времени взмок от пота. И вдруг — доктор и не заметил, спустя сколько времени это произошло,— Эсеньи приоткрыл глаза и так

глубоко вздохнул, что грудь у него сперва низко запала, потом высоко поднялась, словно он пытался сбросить с себя какую-то страшную тяжесть.

— Наконец-то!..— облегченно произнес доктор Барна и сделал рукой знак, чтобы Эсеньи унесли.

Двое соседей подняли Эсеньи и потащили его, словно мешок.

В это время года светает поздно. Было уже утро, когда доктор снова сел на велосипед и, нажав на педали, направился в обратный путь. Перед его домом уже стояла подвода из соседнего села. Крестьянин отпустил постромки, накинул на коней попону и, закурив, уставился на окна докторского дома.

Что за ночь выдалась сегодня! Какое утро пришло ей на смену! Но все это не могло пойти в сравнение с тем, что приключилось на следующий день.

Этот день начался по-разному для каждого. Шандор Катона утром очнулся на двух распушенных снопах кукурузных стеблей. Сверху он был прикрыт тремя такими же, но еще не развязанными снопами. Проснувшись, он тупо уставился на тлеющий рядом костер. Шандор Катона никак не мог понять, где он, как сюда попал и вообще на каком он свете. Ему чудилось, будто он только что родился и теперь впервые видит этот мир. Потом он посмотрел на трактор, стоявший в поле без движения. Рядом с трактором на земле лежали бочки, вокруг были разбросаны тыквенные корки. Со всех сторон расстилалась ожидающая вспашки земля. Вдали он приметил двух людей, удаляющихся в сторону села. Это они были здесь ночью.

«Надо доставить сюда фургон»,— подумал про себя Шандор и попытался вылезть из-под кукурузных снопов, покрывшихся инеем и ставших тяжелыми, как гора. Он встал, размешал золу в костре и докопался до тлеющих угольков, сразу закурившихся тоненькой струйкой дыма. В пепле показался какой-то почерневший, обуглившийся предмет, с первого взгляда похожий на обгоревший кусок дерева. Между тем это было не дерево, а большой ломоть печеной тыквы, который бросили, так и не дождавшись, пока он изжарится. Шандор достал тыкву, стряхнул с нее золу, сдунул пепел и разломил ее пополам. Тыква запеклась, как жареный каштан. Она оказалась не слишком горячей, но и не очень холодной — для Катоны как раз по вкусу. Стоит только отведать это блюдо, как потом не скоро захочется есть. Катона в два счета проглотил тыкву: хоть и сытно он вчера поел, но, переночевав в поле, любой зверски проголодается.

Двое людей, чьи спины только что виднелись вдали, уже успели исчезнуть, но вместо них на пригорке показалась чья-то приближающаяся одинокая фигура.

Подойдя к Шандору Катоне, этот человек передал распоряжение пригнать все три трактора в село.

— Кто это велел?

— Кто же как не председатель, товарищ Бердеш!

— Ну, если Бердеш, тогда... Помоги-ка мне собрать, что нужно.

Над далекими лесистыми холмами взошло солнце. Через полчаса трактор Шандора, весело пыхтя, взял на буксир трактор Гербеди. Выглядело это так, словно одно чудовище тянет за собой другое.

Грохот и скрежет тракторов на сельской улице нервной дрожью отдавался в окнах домов. Через каменный мостик тракторы завернули к дому Гербеди.

— Отворяй ворота! — заорал Катона, но во дворе было все тихо.

— Эй, отворяй! — крикнул он еще раз и медленно повел машину на ворота. Он знал, что в таких случаях происходило: либо в последний момент хозяева отворяли ворота с внутренней стороны, либо возчики или трактористы с силой толкали их концом оглобли или радиатором машины с улицы. На этот раз никто не подошел. По-мудреному устроены ворота сельских богатеев! Их когда-то смастерил старик Сильва за два центнера пшеницы, не считая стоимости кузнечных работ. Хотя изнутри ворота заложены поперечным брусом на железных скобах, под напором машины они стали постепенно выгибаться, затем вдруг раздался страшный треск, грохот, и... трактор по обломкам досок и бревен въехал во двор.

Сначала из кухни выбежала хозяйка, за ней сам Гербеди. Из хлева выскочил Модьороши. Все они застыли на месте, словно окаменели.

6

Винце Бокор — тракторист у Вирага — починил мотор раньше, чем Катона успел взять его трактор на буксир. Больше всех, как видно, пострадал трактор Васнаш-Надя, и его тоже пришлось взять на буксир.

На следующий день трактор Гербеди уже вышел в поле, но у Васнаш-Надя и на третьи сутки машина не двигалась с места. Со всей округи созвал он специалистов, знающих толк в машинах. Сам. хозяин совсем взмокший вертелся около трактора, не обращая внимания на холодный северный ветер. Но все было напрасно. Трактор не шел. Никогда еще, пожалуй, не произносилось здесь столько бранных слов по адресу машины, как теперь. Кажется, нет таких деталей в тракторе, которых здесь не склоняли бы на все лады.

Трое суток Канья-Киш провел возле трактора, а мотор никак не заводился. Вокруг только и разговоров: сцепление... втулка... привод... свеча, головка цилиндра, карбюратор, магнит... коробка скоростей, коленчатый вал... И странно, Канья-Киш, сам не заметив, быстро разобрался в названиях частей и деталей. Особенно ему понравился термин «разобщитель».

Канья-Киш принадлежит к числу таких людей, которые стре-

мятся во что бы то ни стало доискаться до самой сути. Теперь он охвачен сомнением: если у трактора столько разных деталей, мудрено ли им испортиться? А из этого следует, что, возможно, тут и не было злого умысла. Правда, Эсеньи говорил вдове Кокаш: «У кого голова на плечах, тот знает, что нужно делать». Однако, несмотря на эти слова, трактор Анны Кокаш не был выведен из строя и продолжал безотказно работать в поле. Вдова же на допросе все отрицала. Единственным ее показанием на следствии были эти слова Эсеньи. Да и то она рассказала об этом только после очной ставки с перепуганной вдовой Петак, которая и выдала ее. Изобличенный этими показаниями, Эсеньи повесился. Правда, доктор вернул его к жизни. Но для следствия это уже не имело значения: важен самый факт — попытка к самоубийству. Что же касается трактора Васнаш-Надя, то вряд ли удастся его починить.

— Ну, как, господин Васнаш-Надь, скоро пойдет трактор или вообще не пойдет? — спрашивает Канья-Киш.

Янош Васнаш-Надь за эти четверо суток похудел на целых шесть килограммов, спускал регулярно полтора килограмма в день. Он и без того не был слишком толстым, а теперь слонялся возле трактора с таким видом, что, казалось, вот-вот рухнет на землю. Силы покинули его, ноги подкашивались; от него остались только кожа да кости.

— Тронемся. Теперь уж, как пить дать, пойдем...— говорит Васнаш-Надь, имея в виду себя и трактор.

Но ни в этот день, ни на следующий, ни даже через пять дней трактор так и не двинулся с места. У Васнаш-Надя был внук, который с тех пор, как появился на свет божий, не обмолвился со своим дедом и десятью словами. Теперь он, как любитель-мотоциклист, тоже явился на место происшествия, больше интересуясь трактором, чем судьбой деда. В селе насчитывалось не меньше двадцати мотоциклистов, знавших и друг друга и машины, как свои пять пальцев. Если в чьей-либо машине барахлил мотор, об этом тотчас же узнавали остальные, приходили поглядеть, посоветовать, а если надо, то и помочь. Вот почему, следуя примеру других любителей техники, приходивших посмотреть на трактор, заявился к деду и внук. То, что у мотоцикла и у трактора совсем разные моторы,— это не важно. Все моторы своего рода братья, как, к примеру, утки: пестрая ли, белая ли — все одно утка...

— Да-а... вот ведь негодяй, загубил мотор,— доверительно говорит внук Васнаш-Надя, обращаясь к Канья-Кишу, с которым он на дружеской ноге. О своем деде он и не вспоминает: кому-кому, а ему хорошо известно, какой дрянной человек этот старый Васнаш-Надь.

— Как звали этого негодяя?

— Прос. Йошка Прос. Не здешний он... И где только старик подобрал его?

Закон, правосудие, справедливость трудового народа — все го-

ворит за то, что виновные в преднамеренной поломке тракторов кулаки должны поплатиться тюрьмой. Но... интересы кооператива, интересы государства требуют и своевременного проведения сева. Если дожидаться, пока тракторы отремонтируют в дебреценских мастерских, можно прождать и до рождества. А так, хоть кулаки и на свободе, зато три трактора безотказно работают на полях. Так несколько необычно закончилась эта история: кулаки сами исправили то, что они прежде испортили... Ну, а что произойдет дальше, там видно будет.

Прекрасная, тихая погода попрежнему стоит на дворе. Летние дожди уже прошли, а пора осенних еще не наступила. Самое подходящее время для полевых работ.

Назначенный вместо Эсеньи новый председатель производственной комиссии взял на себя руководство пахотой, севом озимых и уборкой кукурузы. Хотя Эсеньи и остался в живых, хоть и расхаживал по двору из конца в конец и вскоре даже показался на пашне, но после того, как его вынули из петли, он уже не такой, как раньше: чего-то в нем не хватает.

После памятной ночи Эсеньи долгое время не выходил из дома. Потом позволил себе дойти до свинарника, обходя стороной конюшню, на которую не мог даже смотреть. Затем мало-помалу освоился, а однажды даже вошел в конюшню. Через пару дней он добрел до плетня, выглянул на улицу — так постепенно во второй раз за свою жизнь знакомился Эсеньи с внешним миром. Но этот мир уже никогда не станет для него таким же широким, как прежде, до петли. Сын, дочь, жена — все они трудятся, как и раньше, а он остекленевшими глазами боязливо озирается по сторонам.

После происшествия с Эсеньи Тарнок первое время пробовал вести себя как обычно. Старался балагурить с приятелями, пытался поддерживать со всеми добрые отношения, без умолку рассказывал в парикмахерской разные истории, охотно помогал кузнецу раздувать меха, но... все тщетно. Если люди и не избегали Тарнока, то все же с опаской поглядывали на него, а за глаза и осуждали. Тарнок пробовал наведываться к пастору, но тот явно сторонился его; в лучшем случае, если Тарнок его о чем-нибудь спрашивал, тот нехотя что-то бурчал в ответ. Теперь же Тарнок злорадствовал, что Эсеньи тоже попал в беду.

— Эх, кум... а верно, что повешенному чорт мерещится? — с ехидством вопрошал он Эсеньи, когда тот как-то рано утром бросал зерна кукурузы к воротам, чтобы выманить свиней на улицу, где свинопас уже гнал стадо в поле.

Тарнок еще раньше проводил свою свинью и теперь решил заглянуть к Эсеньи. Он собирался продать двух буйволов и вместо них приобрести бычков, которые, как он знал, имелись у Эсеньи. Но вначале надо было прощупать, как обстоит дело.

И без того багровый, Эсеньи от слов Тарнока еще больше покраснел. Понурив голову, он отрезал:

— Перестань дурить!

— А что? Ведь это дело нешуточное, кум. Говорят, когда человек залезает в петлю, перед ним появляется бес с раскаленными вилами и выкалывает ему глаза. Повешенный закидывает назад голову, петля вокруг шеи затягивается, и он задыхается... Вот я и думаю, дай-ка спрошу, как там насчет беса?

— Не мели языком. Лучше позаботься вернуть людям деньги, которые пропил в корчме.

Теперь уже Тарнок почувствовал себя задетым за живое.

— Деньги-то я верну. Бо́льшую часть уже выплатил. Человек грешен, кум: сегодня — я, а завтра, глядишь,— кто-нибудь другой. Рано или поздно до каждого дойдет черед, куманек,— по обыкновению философствует Тарнок, ударяя кнутом по навозной куче и оставляя на ней глубокие полосы.

Послышалась дудка свинопаса. Эсеньи выгнал на улицу свиней, и те, медленно переваливаясь с боку на бок, пошли вперед, навстречу восходящему солнцу. Одна за другой стали открываться калитки, и на улицу вылезали свиньи — то одна, то пара, а то и целый выводок. Стадо росло от дома к дому. Вот оно уже заполонило всю улицу, головные свиньи вырвались далеко вперед, а задние, подгоняемые кнутом свинопаса, двигались плотными рядами. Вдали показался автомобиль. Он замедлил ход, но это не помогло: машине пришлось остановиться, ибо свинья такое животное, которое ни на что не обращает внимания.

Поросята почесываются о крылья машины, подлезают под нее, хотят перебраться на ту сторону, но свиноматка тревожно хрюкает, и ее детеныши, оглушительно визжа, устремляются обратно к матери. Словом, приходится переждать все стадо. Шофер, городской житель, беспомощно и одновременно зло оглядывается по сторонам. Его так и подмывает тронуться с места и разогнать стадо... Года два назад ему приходилось перевозить на грузовике гравий, и как-то вечером он на полном газу врезался в гусиное стадо, раздавив при этом тридцать шесть гусей. Из-за них машина чуть не свалилась в канаву. С трудом удалось ему тогда затормозить на самой обочине дороги. Нагрянули крестьяне с вилами и едва не прикончили шофера... Вот и сейчас он хочет тронуться раньше, чем следовало бы, но сидящий рядом с ним человек резко его одергивает:

— Еще не научились уму-разуму? Смотрите, если что случится...

Его пассажир не из тех, кто угрожает понапрасну, и все же счел сейчас необходимым вмешаться. Видно, не так легко воспитать из этого шофера сознательного человека.

Автомобиль останавливается перед правлением кооператива «Свобода», из него выходит Кульчар.

На кооперативном дворе оживление. И следа не осталось от безделья и уныния последних дней. Йошка Пап грузит на подводу мешки с зерном и подбрасывает их с такой легкостью, будто они

набиты не отборным семенным зерном, а пухом. Шаркези же стоит на телеге и принимает тяжелые мешки так, словно в них не зерно, а солома. Работа кипит! Кто распиливает бревна на доски, кто разбирает забор, кто ремонтирует старые надворные постройки. Посреди двора стоит сутулый Сильва с раскрытым метром в руках, и кажется, будто он не мастер плотницкого дела, а дирижер, стоящий на возвышении и управляющий большим оркестром. Несколько человек выкорчевывают старую акацию. Звенят топоры, летит в стороны щепа, взвизгивает и поет пила. Шари Фейер, стоя на ступеньках крыльца, ополаскивает только что вычищенные горшки и кастрюли. Рукава ее блузки засучены; вылив воду, она окидывает взглядом двор и уходит в дом.

— Сабадшаг! — весело здоровается Кульчар.

— Сабадшаг, товарищ Кульчар! — раздается со всех сторон. Йошка Пап вместо приветствия с еще большей силой подбрасывает мешок, который Шаркези, схватив на лету, с размаху укладывает на место так, словно груз и сам туда метит.

— Как сев? — спрашивает Кульчар.

— Сеем... Вот семена,— говорит Шаркези и, так как подвода уже нагружена доверху, соскакивает с нее и подходит к Кульчару.

— Ну, а как Шандор Катона?

— С ним нам повезло.

— Остался в кооперативе?

— Его теперь от нас и палкой не прогонишь!

— Неужели?

— Да, чудеса и только! Так сдружился с машиной. Работает он замечательно, а двое других трактористов берут с него пример, стараются изо всех сил. Прямо удивительно!

— Ничего удивительного! Все ясно: люди будут чураться коллективного труда до тех пор, пока не испробуют его, не отведают его вкуса. Вот, по-моему, так и случилось с Шандором Катоной.

— Любопытный он человек. Любит свою машину и ничего другого знать не хочет.

— Скоро у вас появятся и другие машины: крупорушка, еще кое-что...

— А что будет с этими тракторами?

— Они останутся на вашем попечении, пока весной не организуем здесь машинно-тракторную станцию.

— Вот это хорошо. По крайней мере, успеем провести весеннюю пахоту.

— Пожалуй. А сейчас пойдем взглянем на сев озимых. Где старик Бердеш?

— Обычно в это время он уже бывает здесь, но сегодня что-то запоздал. Пирошка! Пирошка! — зовет Шаркези.

Из двери высовывается аккуратно причесанная голова девушки; затем показывается свежее личико, до блеска вымытое душистым мылом.

— Отец дома? — спрашивает Шаркези.

— Дома. У него... зуб болит,— шепчет она.

— Да ну? Неужто и он с зубами мучается? Надо его навестить.— И Шаркези уходит вместе с Кульчаром.

Шофер засовывает истрепанную книгу в матерчатый карман дверцы машины, с чувством собственного превосходства оглядывает двор и, не дожидаясь, пока пассажиры как следует усядутся, дает газ. Не спеша ведет он по селу машину, направляясь к Новой слободке.

Крестьяне, занятые сегодня на полевых работах, ушли на пашню. Сельская улица тиха, и легкий ветерок прибивает к земле дым от печных труб. «Это либо к туману, либо к дождю»,— думает Шаркези. Тускло светит солнце, и в его блеклых лучах листья придорожных тополей кажутся золотисто-желтыми, а листва акаций уже стала бесцветной и худосочной. Куда девалась летняя буйная пышность деревьев? В канавах плещутся гуси, распластав по земле широченные крылья. Огромный гусак, грозно вытянув длинную шею, поворачивается к идущей машине и лишь в последний миг, взмахнув крыльями, сходит с пути. Автомобиль выезжает из села, проскакивает мостик и, спустившись в лощину, несется по шоссе.

В Новой слободке царит тишина. Дома здесь стоят далеко друг от друга, и движение по дороге далеко не такое оживленное, как в самом селе. У придорожной канавы пасется коза; она привязана длинной веревкой к вбитому в землю колу. Животное с недоумением смотрит на остановившуюся поблизости машину.

— Коза дядюшки Бердеша...— усмехаясь, говорит Шаркези, вылезая из машины.— Конфузится из-за нее старик!..

— А что? Чем плохая коза? — весело замечает Кульчар и направляется к дому.

Коза глядит им вслед, будто о чем-то размышляя и беспрерывно что-то жуя. Нижняя ее челюсть движется влево, верхняя — вправо, и весь вид козы таков, словно она чем-то глубоко обижена.

Тявкает собака. Из кухни выходит жена Бердеша в поношенной, местами изорванной блузке и линялой юбке. На голове у нее косынка, завязанная сзади узлом. В руках еще дымящаяся кочерга, которую она окунает в кадушку с водой, стоящую под жолобом.

— Добрый день, кума! — приветствует ее Шаркези.— Что поделываете?

— Доброе утро, Имре. Да вот собралась хлеб печь. Входите, входите. Лайош в горнице.

Они входят в дом. В комнате беспорядок, как это обычно бывает, когда пекут хлеб. Средняя дочь Бердеша, Кати, которой еще нет шестнадцати лет, в одной рубашке, заправленной в коротенькую юбчонку, месит тесто. Старая осиновая бадья стоит на низких козлах, и тесто в бадье такое же свежее, как эта девушка. Это сравнение мимолетно и почти машинально проносится в уме

Кульчара. Но в чем здесь сходство? И то и другое — жизнь, сама жизнь.

Бердеш сидит за столом с непокрытой головой — что с ним случается весьма редко — и, облокотившись о край стола, орудует во рту клещами, которые крепко сжимает обеими руками. Клещи то и дело лязгают, Бердеш зажмуривает глаза, напрягаясь, морщит лоб, будто обгладывает огромную кость.

— Что вы делаете, дядюшка Бердеш? — спрашивает пораженный Шаркези.

Но Бердеш только косится в его сторону и еще туже сжимает клещи.

— А-а-а...— стонет он, затем во рту у него что-то хрустит, и огромные кулаки, сжимавшие клещи, опускаются на стол.— Вот он, пес проклятый! — с облегчением говорит Бердеш и показывает клещи с зажатым в них коренным зубом. Делает он это с таким видом, как обычно поступает кузнец с куском раскаленного железа. Желтый коренной зуб такой величины, словно он принадлежал не человеку, а десятигодовалому мерину.

Шаркези хохочет. Кульчар в ужасе отступает назад.

— Почему вы не обратились к врачу, дядюшка Бердеш?

— К врачу? А зачем? Ничего другого он мне не сделал бы. Тоже вырвал и все. Дай-ка стакан с водой, доченька!

Кати оглядывается, счищая с рук налипшее тесто.

— Вот, на комоде стоит.

— Так и заражение крови нетрудно получить,— замечает Кульчар.

— У меня и без того кровь злая. Особенно, когда зубы болят.— И Бердеш берет стакан с водой, полощет рот, затем через открытое окно выплевывает во двор.— Чорт бы его побрал!.. Столько пришлось вытерпеть неприятностей, что даже в зуб ударило. Ну, ничего, теперь давайте потолкуем. Зачем пожаловали? Сдается, не для того, чтобы на меня поглядеть.

— Не совсем за этим. Вот товарищ Кульчар хотел посмотреть, как идет сев. Поедете с нами, дядюшка Бердеш?

— А как же! Коли речь о севе — я мигом!..

— Обождите, пока я поджарю коржики! — кричит из кухни хозяйка.

— Да, это было бы неплохо, кума! — отвечает ей Шаркези.

— Тогда садитесь! — распоряжается Бердеш.

Кульчар нисколько не жалеет, что приходится ждать, пока нажарят коржей. Ведь любой человек охотно проведет лишнюю минуту в доме, где в двух шагах от тебя месит тесто молоденькая девушка, которой пошел всего лишь шестнадцатый год.

7

Стоит только свернуть вправо от старого большака, в степь, как сразу попадаешь на проселочную дорогу. Здесь — топь. Шо-

фер все с более мрачным видом старательно объезжает то, что можно объехать: выбоины, лужи, кочки; задние скаты машины отбрасывают мутную воду так, словно они специально для этого и предназначены. А кругом еще зеленеют поля, хоть выгоняй пастись скот; но зима уже не за горами. В низине, на лугу, сумрачно; туман клубится между вербами и мелким кустарником; солнце светит, но не греет. Бердеш торопливо лезет в карман за платком: от сырости у него начался насморк. Тем временем машина останавливается, так как идущая вверх дорога разворочена тракторами.

— Здесь сойдем,— говорит Бердеш и громко сморкается, оглашая воздух трубными раскатами.

Заглушив мотор, шофер снова достает потрепанную книгу и погружается в нее. Он читает, облокотясь на открытую раму дверцы кабины. А над полем, высоко в небе, беспрерывной чередой летят дикие гуси — с севера на юг. Сколько их? Тысяча или десять тысяч?

Гусиный гогот достигает земли так мягко, словно это падают перья птиц, блестящие и пестрые.

Три человека стоят на меже двух делянок — верхней и нижней. Верхняя пашня принадлежит кооперативу «Свобода», на нижнем поле хозяйничают единоличники, а в самой лощине, под Сторожевым холмом, стоит хутор Барны Надя.

От гула тракторов содрогается воздух и все окрест кажется беспокойным и тревожным; даже туман не может или не хочет задержаться в этих местах. Один трактор идет к ним навстречу, другой удаляется, третий разворачивается вдали. Люди идут вверх по пашне; за их спиной уже остался обширный участок зяби, а они все идут, приближаясь к краю засеянного поля.

Уже исчезли и перепаханы межи и борозды, в один цвет окрасилась вся земля. Сеялки оставили на ней такие ровные и прямые следы, какие оставляет гребень на свежевымытых волосах девушки.

У кооператива есть четыре конских упряжки, но только три сеялки. Одна — которая принадлежала Йошке Папу, вторая — Иштвану Сито, а третью пригнал с собой Карой Ханадь. Но одна из них застряла сейчас посреди поля. Около нее копошатся Ханадь, Балаж Фюрес и Лайош Кошут-Киш.

— Доброе утро, товарищи! Что у вас стряслось? — подойдя к ним, спрашивает Бердеш.

— Да ничего особенного... Трубки вышли из строя, зерно разбрасывают. То ли пружины не действуют, то ли еще что...— объясняет Сито.

— Это бывает... Пружина отказала...— говорит Кульчар и склоняется над машиной, ощущая, как в нем поднимается какое-то теплое чувство: ведь и он может помочь товарищам на этом безбрежном поле, и ему нашлась здесь работа, в которой он знает толк. Если уж не починить, то, по крайней мере, дать совет.

— Чорт его знает, что там случилось, но... сеять так нельзя. Сейчас вроде незаметно, а весной все выйдет на поверхность. Летом же, когда придет время уборки, и совсем неладно получится.

— Сейчас поглядим...— и Кульчар ощупывает привернутую к спирали стальную пластинку. Ее надо снять, раскалить на огне до красно-фиолетового оттенка и опустить в машинное масло. Но где здесь найдешь масло? У шофера, пожалуй, не хватит. В селе тоже не сыщешь. А что если вместо масла да в воду? Конечно, вода не может заменить масла, но ведь сталь и железо обычно закаляют в воде; почему же нельзя сделать это и со стальной пластинкой? Надо знать только структуру металлов, а ему, Кульчару, она известна. Итак, значит, надо прежде всего разогреть металл. Если раскалить стальную пластинку до голубовато-золотистого оттенка, то есть еще на несколько градусов выше, пожалуй, можно обойтись и одной водой. Ну, а если, паче чаяния, не удастся, шофер съездит в уезд, в кооперативную кузницу.

И Кульчар приступает к работе. Стебли и корни подсолнечника дали жаркий огонь, нашлась поблизости и вода. Люди окружают Кульчара и глядят, как он, засучив рукава, мастерит. Решив, что огня уже достаточно, он быстрым движением погружает пластинку в воду.

Операция эта, конечно, не из простых, но, если удалось сделать одну пластинку, почему не получится и другая? Ну, конечно, все вышло на славу. Он снова привертывает пластинки к спиралям, и пружины начинают работать, как новые.

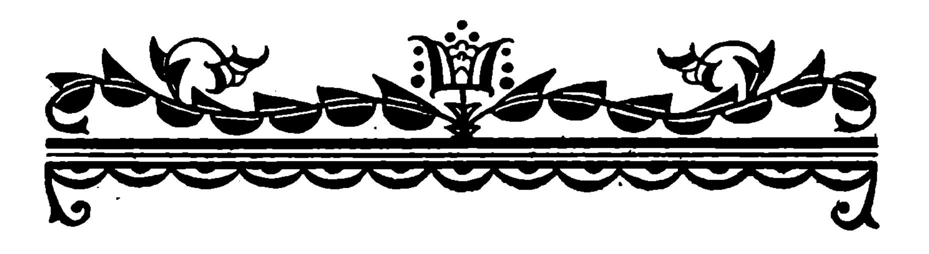
Авторитет Кульчара благодаря этому сильно возрастает. Секретарь уездного комитета партии, который не только разбирается в политике, но и умелец в ремесле — вот это да! Этот, по крайней мере, может работать не только головой, но и руками.

Да и сам Кульчар с каким-то новым удивительным чувством шагает теперь вслед за сеялкой Ханадя, погружаясь по щиколотку в рыхлую землю. Балаж Фюрес что-то насвистывает, сеялка, двигаясь, приглушенно скрипит, подобно лягушкам весной на дальнем озере. А когда сеялка натыкается на корень или на комья перепаханной межи, она издает такой звук, словно сотни певчих птиц с ликованием неожиданно взлетают в воздух.

КНИГА ВТОРАЯ

ОДНОГО БОГА МАЛО





Глава первая

1

Пришла зима. Порывистый северный ветер нанес снег еще в декабре, но в начале января он вдруг растаял, пару дней на дворе стояла слякоть, затем опять подморозило и снова выпал снег. И люди и домашний скот забрались под крышу.

На улице уже не увидишь шатающихся без дела: торопливо пройдет прохожий, засунув руки в карманы, втянув голову в поднятый воротник и глядя прямо перед собой на снежную дорожку, будто измеряя ее взглядом.

В кузнице непрерывно звенит наковальня. Дверь, как обычно, открыта — кузнец прикрывает ее только при порывах ветра.

Парикмахер Щербалог также правит свои бритвы, как осенью или летом. Ведь они и зимой и летом одинаково тупятся. У Щербалога всего пять бритв. Из них можно пользоваться лишь тремя, а две висят на стене в большом кожаном футляре просто для украшения.

День клонится к вечеру, печь остыла, в парикмахерской ни души. Входит Тарнок и, потирая щетинистый подбородок, оглядывается. У Тарнока тяжело заболел тесть (а еще в прошлом году старик собирался жениться!); если он помрет, неудобно, пожалуй, будет показываться небритым на похоронах.

— Ни хозяина, ни хозяйки? — громко спрашивает он.

Никто не отвечает. Дверь, ведущая в жилую половину, закрыта наглухо, будто она никогда и не открывается.

Тарнок смотрит на бритвы в футляре, затем рот его медленно кривится в усмешке, он подходит к стене, вынимает одну за другой все бритвы и проводит лезвием по краю печи. Раз туда, раз обратно, одно мгновение — и все пять бритв водворяются на прежнее место. Тарнок откашливается, как бы в последний раз давая о себе знать, потом неслышно выходит на улицу.

А бритвы поблескивают ему вслед так, будто с ними ничего и не случилось.

Снег падает крупными хлопьями. В эту пору темнеет рано. В открытом поле маленькая юркая «шкода» пробирается к селу. Еще километр, другой, и уже приветливо мелькают по обеим сторонам первые дома на сельской окраине. Пустынная, сумрачная дорога раздается вширь, и вот машина уже перед зданием правления кооператива «Свобода». Шофер дает протяжный гудок, и автомобиль поворачивает к парикмахерской. Из машины выходит Кульчар.

Осенью в уезде образовались два новых кооператива, и у Кульчара прибавилось столько дел, что временами ему некогда даже побриться.

Шербалог на корточках сидит у печи. На стене горит лампа. Он оборачивается на шум шагов и, увидев Кульчара, с готовностью спешит ему навстречу. Он хочет поздороваться, но в замешательстве бормочет что-то невнятное. Он одновременно хочет сказать и «Сабадшаг!», и «Ваш покорный слуга!», и вообще — чего только не хочется ему сразу выпалить! Нет человека, чье имя в последнее время так часто произносилось бы в этих стенах, как имя Кульчара. А сколько уже здесь прозвучало имен! Шербалог из той породы людей, для которых авторитет человека определяется его популярностью. И каждый раз, слыша фамилию секретаря уездного комитета, Шербалог представляет себе Кульчара воплощением непререкаемой истины и авторитета.

— Не смогли бы вы меня побрить, товарищ? — спрашивает Кульчар, снимая пальто.

— Отчего ж не побрить, пожалуйста, присаживайтесь, товарищ! — и Шербалог легко и изящно протягивает руку к футляру, достает свою лучшую бритву, привычным жестом раскрывает ее, подходит к висящему на стене ремню и неистово ее правит. Затем взбивает мыльную пену, намыливает лицо своего клиента и начинает рассказывать самый интересный случай из своей жизни, исходя, вероятно, из правила, что большого человека, когда он бреется, положено развлекать наиболее занимательными историями; достоверны они или нет — это не имеет значения. Из его рассказа следует, что, будучи еще юнцом, он брил «великого изменника родины» Артура Гёргеи *, которого охраняли с обнаженными саблями четыре гусара, предупредившие молодого цирюльника, что при порезе клиента все четверо тотчас же отрубят брадобрею голову.

— Как? Сразу четверо? — искренне рассмеявшись, спрашивает Кульчар.

— Нет, нет. Видите ли, дело такого рода...— произносит Шербалог и, эффектно взмахнув бритвой, решительно проводит ею по щеке Кульчара. Но лезвие соскальзывает со щеки так, словно это не сталь, а ивовый прутик. Парикмахер непонимающе и оторопело смотрит на лезвие.— Одну минуту,— говорит он и тут же, закрыв бритву, кладет ее на место и берет другую.

Вторая бритва тоже оказывается испорчена, третья — тоже...

Больше бритв нет; остальные годятся только, чтобы занимать места в футляре.

— Ну, товарищ парикмахер, если у вас всегда такие бритвы, Гёргеи нечего было опасаться, что вы ему перережете горло,— и Кульчар уже не смеется, а оглушительно хохочет. Он вытирает лицо и, посмотревшись в зеркало, решает: «Ничего, если вчера сошло, и сегодня как-нибудь обойдусь без бритья».

Кульчар уходит. Шербалог, молча кланяясь, провожает его до порога. Он страшно смущен. В уме его бродят догадки: кто мог оказаться таким смертельным врагом? Ведь умышленно затупить лезвие бритвы значит нанести парикмахеру такое оскорбление, которое можно смыть только кровью.

Веселое настроение не покидает Кульчара и тогда, когда он подъезжает к правлению кооператива «Свобода». Здесь кипит работа. Сейчас в правлении сравнивают данные о количестве скота и инвентаря, имевшегося у крестьян ко дню вступления в кооператив, с тем, что они фактически внесли в общий котел. В целом эти данные сходятся, но обнаруживаются и некоторые расхождения. Так, например, выясняется, что несколько хозяев до вступления в кооператив говорили, что у них есть скот и инвентарь, а вступили в него с пустыми руками.

— Никак не пойму, зачем люди заявляли, что у них есть то, чего не было,— досадует Бердеш.

— О ком идет речь? — подходит к нему Сито, до этого разговаривавший у окна с Йошкой Папом.

— Да вот Фюрес раньше говорил, что у него есть тельная корова, а потом выяснилось, что ее и в помине нет. Что он мог с ней сделать, продал что ли?

Сито усмехается.

— Он хотел купить корову. Думал, что приличнее вступать в кооператив не с пустыми руками. И деньги у него имелись, но бабы отговорили: лучше, мол, справить себе теплую одежду, а то у него вечно поясница болит. Он так и сделал, да и хозяйку одел. Это он мне сам рассказал. Не знал, куда деваться от стыда.

В комнате полно людей, но никто не сердится на Фюреса.

— Ежели человек беден, ему благие намерения ни к чему,— изрекает Михай Бири.

— Лучше уж благие намерения, чем ничего,— отвечает ему Сито.

— Читали позавчерашний номер «Сабад неп»? В нем напечатано решение политбюро нашей партии о необходимости создать в каждом кооперативе первичную партийную организацию. Не читали? — спрашивает Кульчар.

— Как не читали? — отвечает Бердеш, хотя сам он и в глаза не видел газеты. Но зато ее успел прочесть Шаркези.

— Читать — читали, да только думали, что сначала надо укрепиться, прочно встать на ноги. Но теперь и сами видим, что тянуть с этим делом дальше нельзя.

— А зачем тянуть? Без своей партийной организации вам не обойтись... Ну, я поехал. Я ведь к вам только на минуту. Меня ждут в Иглоде... там учредительное собрание,— говорит Кульчар.

— Новый кооператив?

— Да, четвертый в нашем уезде.

Кульчар уходит, а люди продолжают беседу. Они вспоминают о своем прошлом, чтобы не было недомолвок и неясностей в их новой жизни. Все они теперь входят в одну большую, сплоченную семью, заботятся друг о друге, чувствуя и зная, что борьба только начинается.

Партгруппа сразу нашла свое место в жизни кооператива и начала неплохо работать. В самом начале большинство хотело избрать парторгом Шаркези: с ним свыклись и сдружились. Но Шаркези приходилось уделять много времени работе в партийной организации всего села; поэтому парторгом выбрали Сито, и, надо сказать, он с честью справлялся с порученной ему работой. В партгруппу вошли такие испытанные люди, как Бердеш, Шаркези, Йошка Пап, Михай Бири, Карой Ханадь, Бени Гуяш, Шерфезе, Гашпар. Из новичков — Балаж Фюрес и Пал Кеньереш. Собирались они даже слишком часто, но на дворе стояла зима и времени хватало. Вот придет лето, тогда будет недосуг заседать.

2

Февральская ярмарка в Уйфалу славится по всей округе. Одни хозяева пригоняют сюда перезимовавший скот в расчете получить за него к весне большие деньги. Другие, не купившие скотину осенью — то ли потому, что не хватало фуража, то ли из нежелания возиться с ней всю зиму,— тоже приходят на ярмарку, если не покупать, то, по крайней мере, присмотреться. А многие объезжают все сельские ярмарки в области, осматривают и ощупывают скот, выспрашивают про цену, но... ничего не покупают. Находятся среди них и такие, кто даже торгуется и так бьет хозяина по ладони, что только треск стоит, и все-таки сделка не совершается, потому, видите ли, что продавец не хочет уступить последние пять-шесть форинтов. Ему расчет продать подороже, а покупатель хочет заполучить товар подешевле. Как говорится в старой притче,— в деревне нашелся только один дурак, который предложил цену бóльшую, чем с него запросили. Но человек этот не умел ни читать, ни писать, да и считать он мог только до десяти, пока на руке хватало пальцев. «Отдам за девятнадцать!» — сказал этому дураку хозяин теленка. «Больше двадцати одного не дам!» — заупрямился покупатель и протянул руку опешившему хозяину. Такого дурака еще свет не видывал! Нынче таких людей, как в этой притче, нет и в помине, хотя народу на ярмарке — море.

Кооператив «Свобода» тоже послал на ярмарку свою подводу: ее тянула старая кляча, которую Йошка Пап выходил за зиму. Теперь ее решили продать, а вместо нее купить коня помоложе.

Не беда, если у нового хозяина кляча окачурится. Что поделаешь, надо соображать, когда покупаешь. Главное, во-время сбыть ее с рук. Ну, а если не успеть? Так тоже бывает. Еще как бывает! Кувшин ходит по воду, пока не разобьется. Лошадь гоняют до тех пор, пока она не падет.

Раз едут на ярмарку, Бердеш решает прихватить с собой и козу. На рассвете ее связали за ноги и бросили на подводу. Рога привязали к борту — пусть, дескать, глядит, как убегает вспять под колесами дорога.

Пока Сито и Йошка Пап будут продавать лошадь, Бердеш тем временем сбудет с рук козу и купит теленка, о котором мечтал еще с осени. Странное создание человек! Один хочет освободиться от козы, а другой только и думает, как бы ее приобрести. Какой-то тщедушный крестьянин все ходит вокруг бердешевой козы: то отойдет, то приблизится, потом облокотится на бетонный барьер для скота, снова обойдет кругом и все глядит, глядит. Одет он в донельзя истрепанную сермягу, сзади до самой спины всю забрызганную грязью. Оно и немудрено: на полях лежит снег, а на дорогах грязное месиво от множества проехавших колес.

— Ну, земляк, отдашь за сто двадцать? — спрашивает он так тихо и кротко, что кажется, на всем белом свете не найти более смирного мужика.

— Сто тридцать — и бери! — равнодушно, сквозь зубы цедит Бердеш, словно у него дома есть еще, по крайней мере, дюжина коз.

Худой крестьянин снова хлюпает по грязи, обходя козу со всех сторон.

— А молоко... дает она?

— Молоко? Где ж ты видел дойную козу без молока?

— Сколько дает?

— Леший ее знает. Доит хозяйка, а не я,— говорит Бердеш и продолжает равнодушно что-то жевать. Сырая, пронизывающая до костей погода хуже лютого мороза. Бердеш уже выпил две стопки палинки и теперь голоден, как волк.

Щуплый крестьянин, не говоря ни слова, поворачивается и уходит, с замиранием сердца прислушиваясь, не окликнет ли его сердитый хозяин козы. Но тот и не думает этого делать. Он сказал свое слово: «Хочешь — бери, а не подходит — гроша не уступлю. Тут и дурак поймет, что дело стоящее».

Покупателю ничего не остается, как уйти, но через некоторое время он возвращается обратно в тот самый момент, когда другой такой же худощавый крестьянин отсчитывает в руки Бердешу сто тридцать форинтов. И теперь первый покупатель стоит возле них с таким разочарованным видом, словно Бердеш продал его собственную козу, и он чувствует себя обманутым и обворованным. Крестьянин оглядывается по сторонам, но в ярмарочном гомоне, на всем этом пестром и шумном базаре нет никого, кто посочувствовал бы его горю.

А Бердеш тем временем кладет деньги в карман, передает веревку от козы в руки нового хозяина и решает пройтись по базару, присмотреться к рогатому скоту.

Для разных животных на ярмарке отведены специальные места: отдельно для лошадей, для крупного рогатого скота, для свиней и прочей мелкой живности. Лишь козы оказались обиженными — для них на ярмарке нет определенного места. Торгуют ими и на участке, где продаются свиньи, привязывают и к стойке, у которой стоит рогатый скот, а Бердеш сбыл свою козу на конском рынке.

От конской ярмарки до места, где продают рогатый скот, долгий путь: не потому, что это далеко, а потому, что на каждом шагу наталкиваешься на друзей-приятелей. Тут и односельчане, и знакомые мужики из соседних деревень. Бердеш — видный мужчина, на целую голову выше всей толпы на базаре, к тому же он как-никак председатель кооператива «Свобода». Его со всех сторон окликают, с ним здороваются.

— Что, не узнаешь бедняков, товарищ Бердеш? — останавливает его какой-то незнакомец, становясь перед ним навытяжку.

— Как не знать? Узнаю, узнаю, товарищ. Ну, как у вас дела дома? — на ходу спрашивает Бердеш, не давая встречному опомниться. Вот как следует выходить из затруднительного положения! А пока тот придет в себя, Бердеш уже здоровается с другими.

Приятно греться в лучах собственной популярности, вот только время бежит. Бердеш договорился с Йошкой Папом и Сито встретиться в половине второго возле своей телеги, а теперь уже ровно час. А тут как назло рядом с трактиром повстречался ему один старый знакомый. Вместе отбывали они солдатчину в первую мировую войну, вместе в девятнадцатом году на областном совещании выступали за организацию крупных обобществленных хозяйств, и вот сейчас старый дружок зазывает Бердеша в трактир, где, как ему кажется, играет на скрипке знаменитый Пицула. Одним словом, уже давно минуло два часа, когда Бердешу, наконец, удалось привязать к задку телеги поводок купленной телки.

— Вас только за смертью посылать, дядюшка Лайош! — подтягивая постромки, ворчит Сито и в то же время исподлобья косится на телку.

— Время идет, чорт бы его побрал! И не заметишь!

— Да... Теперь придется поспешить. А то скоро начнет смеркаться. Сколько отдал за телку?

— Двести двадцать.

— Ладная телка.

— Ну, да, ежели вырастить...

Йошка Пап взбивает сено в телеге, чтобы удобнее было сидеть, потом подходит к купленному коню, разговаривает с ним, похлопывает по шее. Бердеш, как старый кучер, знает толк в лошадях.

— Где такого отхватили? — спрашивает он.— Породистый! Если не ошибаюсь, английская полукровка.

— Достали тут у одного мужичка. А, знаете, мать этого коняги из конюшни самого барона Чискеи! Вот как! Еще увидите, каким он у нас станет! Клад, эй, Клад! Вот для тебя узда!

Когда крестьянин собирается в дорогу, у постороннего наблюдателя возникает странное чувство, будто телегу собрали из бог весть откуда взятых частей. Нет на свете такой телеги или упряжки, у которой в последнюю минуту не нашлось бы что подправить. Йошка берет в руки вожжи и кнут, но Сито останавливает его.

— Обожди малость! — и, спрыгнув с телеги, начинает что-то поправлять в упряжи Клада.

Усаживаются так, что Йошка и Сито глядят вперед на дорогу, а Бердеш пристроился к ним спиной, чтобы не упускать из виду телку.

Какая-то молоденькая девушка в легком пальтишке, довольно опрятно одетая, подходит к телеге, берется рукой за борт и спрашивает:

— Вы не в Инанд?

— Хотим туда, дочка, а вот попадем ли — это другой вопрос,— шутя отвечает Бердеш.

Девушка смущается, а потом спокойно говорит:

— Мне тоже надо туда. Подвезите, пожалуйста.

— Спроси лошадей, если кони подвезут, я не возражаю.

Она робко косится на лошадей и отходит от телеги.

— Ну, уж ладно, садись живее, а то скоро совсем стемнеет.

Сито и Йошка Пап с любопытством поглядывают на девушку, которая неловко взбирается на телегу, держа перед собой сундучок. Бердеш, подвинувшись, взбивает рядом с собой сено, Йошка Пап покрикивает на лошадей, телка сначала упирается, а потом, как бы смирившись со своей участью, мотая головой, мелкими шажками трусит за телегой.

Где-то неподалеку громко на весь базар заржала лошадь. Мычат коровы: и те, которых успели продать, и те, что остались у старых хозяев. Они ревут все беспокойнее, по мере того, как сгущаются предвечерние сумерки. Повозки одна за другой покидают базар, бесшумно двигаясь по разбитой колесами дороге, покрытой снегом и грязью. Только на мощенных камнем участках слышен стук колес и цоканье подков.

Путники поглядывают на купленную лошадь, всматриваются, как она идет в упряжке, как ставит ноги, как держит голову. Все важно знать о новой лошади! На девушку же пока никто не обращает внимания.

— Мать этой коняги получила первый приз на бегах у барона,— вдруг объявляет Сито.

— А ее бабушку привезла сюда из Англии знаменитая кинозвезда Лилиан Харвей! — обернувшись, говорит Бердеш.

— Какая кинозвезда? — усомнился Сито.

— Как какая? Известно какая — английская! У нее было имение в пятьсот хольдов, в Шаррете. Она проводила здесь каждое

лето,— рассказывает Бердеш, который в бытность свою кучером был хорошо осведомлен в такого рода делах. И Бердеш тут же вспоминает одну из историй с Лилиан Харвей.

— Этот шалопай, то бишь мой старший сын Лайош, вы знаете, был парень хоть куда. Да он и сейчас такой. Одним словом, заявился он как-то к ней, кажись, летом сорок второго года и говорит: «Слыхал, вы ищете конюха». А она ему в ответ: да, дескать, ищу человека, который ухаживал бы за двумя скакунами и сопровождал меня на прогулки. Видать, мой щенок пришелся ей по вкусу. Она его угощала и сигаретами, и коньяком, разговоры разные вела... Вроде договорились, но сынок мой так к ней больше и не заявился.

— Почему это? — в один голос спрашивают Сито и Пап.

— Да потому... хм... дело в том, что мой сынок часто видел ее в кино, ну и решил, что она в жизни тоже писаная красавица... А на поверку вышло не так. Вся в морщинах, худющая такая, пигалица...— Бердеш умолкает, о чем-то думая и тихо посмеиваясь про себя.

Улыбаются и его собеседники. Потом снова завязывается неторопливый разговор о кино, об актрисах, разумеется, в той степени, в какой крестьяне осведомлены об этом. А незнакомая девушка, удобно устроившись на сене, с удивлением слушает этих крестьян, которые беседуют об английских кинозвездах. Вот так крестьяне! Но еще интересней ей узнать, что же это за село, где живут такие крестьяне? И девушка начинает думать о том, куда она попадет и среди каких людей ей предстоит жить.

— Собственно говоря, ты к кому едешь, дочка? — внезапно спрашивает ее Бердеш.

— В прислуги нанялась, к аптекарю.

— К аптекарю? Ничего, неплохой человек. Правда, не ахти какой хороший, но и то ладно, что неплохой.— И только теперь Бердеш внимательно сбоку разглядывает девушку. Видно, он вполне удовлетворен осмотром, так как заботливо закутывает ее ноги суконным одеялом, которое до этого времени лежало у него на коленях.— Подвигайся ко мне, не бойся. Правда, пока еще не морозит, но эта сырая погода до костей пробирает.

Они выезжают за городскую черту. Дорога становится свободней, скопления повозок больше нет. Йошка Пап натягивает поводья. Наши путники снова приглядываются к лошади, обсуждают ее качества. В сознании девушки проносится вереница мыслей: обрывки слов ее попутчиков о лошадях, киноактрисах, односельчанах. Она едет в незнакомое село, и лишь одно чувство все сильнее овладевает ею: как хорошо и спокойно находиться среди этих суровых, крепких духом крестьян, как хорошо чувствовать себя под защитой мужественного и сильного соседа, о котором она, собственно говоря, ничего не знает, даже имени.

— Как тебя зовут, дочка? — спрашивает ее Бердеш.

— Эстер Мольнар.

— Красивое имя.

Она ждет, что он еще о чем-нибудь ее спросит, но Бердеш уже обернулся к Йошке Папу. Девушка осторожно, почти боязливо откидывается назад и касается спины Йошки.

С заходом солнца поднимается слабый ветер, и вокруг начинают кружиться снежные пушинки.

Хорошо бы подстегнуть лошадей, но этого нельзя делать: телке и так трудно поспевать за телегой. А путь еще долог. Но это не страшно — важно попасть домой, а когда — это дело второстепенное.

Дома с нетерпением ждут их возвращения. Особенно беспокоится жена Бердеша. Обычно на ярмарку они всегда ездили вместе, и теперь она опасается, как бы муженек без нее не натворил там каких-нибудь глупостей.

Она была более или менее спокойна, пока не стемнело. Но вот наступил вечер, она все чаще выбегает на шоссе и, остановившись у моста, прислушивается. Когда издалека доносится топот лошадей или скрип колес, она ждет, что телега направится в ее сторону, но вскоре все затихает — видать, завернули на чужой двор.

Уж не раз снимала она с плиты ужин и снова ставила его разогревать, все пережарилось. Очень уж это обидно, но что поделать? Она отставляет кастрюлю на край плиты, зажигает фонарь и снова выходит на дорогу.

Наконец из темноты показываются две лошади. Ни стука колес, ни скрипа телеги. Хозяйка становится на обочину шоссе, и при свете фонаря перед ней медленно проплывает пара лошадей, телега, сидящие на ней люди и... телка. Взгляд женщины прикован к ней. Высоко подняв фонарь, она ступает вслед за телкой. Пока все в порядке. Она еще ничего не замечает.

Беда приходит, когда телка уже водворена в хлев, и Бердеш пучком соломы принимается счищать с нее грязь.

— Ты... ты кого купил, Лайош? — вне себя от изумления спрашивает жена.

— А что такое? — опешив, отзывается Бердеш.

— Да ведь ты бычка купил, а не телку!

Бердеш, будто обжегшись, роняет из рук пучок соломы и украдкой, чтоб не заметила жена, бросает взгляд под живот бычка.

— Бычок, говоришь!.. Ну, конечно, бычок... Раз бычок, значит не телка! А знаешь, какие у меня на этот счет планы? Возьму и выращу его... В хозяйстве пригодится... Погоди, я еще за него первую премию получу, как пить дать,— говорит Бердеш с таким воодушевлением, будто он и в самом деле так задумал.

— О, боже милостивый! — восклицает жена и, размахивая фонарем, стремительно идет к выходу.

Ошарашенный всем происшедшим, Бердеш молча плетется за ней; кажется, он ничего не слышит и не понимает.

Вторая беда приходит, когда Бердеш уже сидит за столом и видит на своей тарелке опять паприкаш из картошки.

— Ты чего настряпала? — с отвращением спрашивает он.

— Известно чего — паприкаш!

— Вижу, паприкаш, а с чем?

— А с чем прикажешь его делать, когда свинью еще не закололи? Не может ведь на столько ртов хватить прошлогодней свинины.

Бердеш ворчит, с недовольным видом ковыряет вилкой в тарелке.

Как бы там ни было, но напряженная обстановка, создавшаяся в доме, несколько смягчилась. Хозяйка постепенно свыклась с мыслью о том, что и в самом деле, почему бы им не вырастить доброго быка, если они нынче в цене. Когда вся семья весной и летом дружно поработает в поле, можно будет прикупить и телочку, а то, глядишь, и корову. Она быстро поджарила мужу яичницу из трех яиц. И, таким образом, вечер и ночь прошли тихо и спокойно.

Наутро выпал снежок, и его тонкий слой покрыл вчерашний буро-желтый, перемешанный с грязью снег. На востоке зажелтел небосклон, взошло яркое солнце. С крыши свисают сосульки.

Бердеш стоит посередине двора и глядит, как жена задает корм двум свиньям, которых она откармливает на убой. Одна весит уже не меньше ста восьмидесяти килограммов, а вес другой тоже перевалил за центнер. В нынешнем году свиней начали откармливать с опозданием. Еще осенью они никак не могли встать на ноги, и местный ветеринар долго возился с ними, делая прививки, пока удалось их вылечить. Жена Бердеша рассчитывает держать свиней до марта, а потом обеих разом заколоть.

Из дома выходит Пирошка с полным тазом в руках, споласкивает его и выливает воду на двор.

— А ну-ка, Пирошка, принеси большой нож! — кротко просит отец.

— Сейчас...— Дочь возвращается на кухню; слышно, как она там стучит кухонной утварью. Дети привыкли, что отец часто просит их принести из дома то одно, то другое — молоток, нож, клещи,— и естественно, что Пирошка, ничего не подозревая, с готовностью выносит отцу нож. Даже жена ни о чем еще не догадывается. Она спокойно продолжает подбрасывать кукурузные зерна в кормушку, ибо считает, что свиней надо кормить понемножку: тогда и еда им не надоест и жиреть они будут лучше.

Бердеш подкрадывается сзади к свиньям и, что-то прикидывая в уме, проводит пальцем по острию ножа. Затем, улучив момент, когда большая свинья поворачивается к нему задом, Бердеш, как хищник, набрасывается и садится на нее верхом. Свинья отчаянно визжит и кидается в сторону вместе со своим седоком. При этом ноги Бердеша волочатся по земле, оставляя за собой длинный след. Но тут он с размаху вонзает нож в горло свиньи.

— Несите миску, скорей! — кричит он.

Пирошка в испуге выпускает из рук таз, полный талого снега, мать громко охает, свинья визжит и в предсмертном храпе падает наземь у самых ворот.

— Я тебе покажу, как стряпать пустой паприкаш! Я тебе покажу каждый день паприкаш! — скрежещет зубами Бердеш и загоняет кулаком рукоятку ножа еще глубже, чтобы свинья не изошла кровью. Ведь из всех сортов колбасы самая лучшая — ливерная с кровью.

Вот как случилось, что в тот день у Бердешей по случаю убоя свиньи был задан пир.

3

Свинья обычно приносит многочисленное потомство: по восемь, а то и десять поросят. И при этом даже два раза в году. Так что наверняка у Бердешей от заколотой свиньи кое-какое потомство осталось. Если кто-нибудь из членов кооператива до настоящего времени толком не знал, насколько плодовиты свиньи, то теперь он в этом убедился. Одна за другой свиньи начали пороситься, и это было в порядке вещей. Пришлось позаботиться о новом помещении для молодняка, иначе не справиться с приплодом.

Старый плотник Сильва, он же каменщик, меряет шагами кооперативный двор вдоль и поперек. За ним следом идут Бердеш и Йошка Пап. Перед временным свинарником стоит Шари Фейер; ее окружают визжащие и хрюкающие поросята.

Господин Тержек-Виг сгребает вилами навоз. Йошка Пап на ходу пытается починить старый, потрепанный складной метр. Навстречу ему, через двор, по грязи шагает Сито.

— Места хватит? — громко спрашивает Шаркези, показываясь в калитке.

— Нет... для всех не хватит,— уверенно отвечает старый Сильва и, откашлявшись, спокойно плюет через плетень на улицу.

— Эй, осторожней, заплюешь! — кричит с улицы Балаж Фюрес. Перемахнув через изгородь, он появляется во дворе и оглядывается.

— Сабадшаг!

— Сервус! — отвечает ему отеческим тоном Бердеш и снова погружается в свои мысли. Чем все это кончится, чорт побери?

— Вот в усадьбе Барань вдоволь места. И помещение там есть. Пошли туда! — выпаливает Фюрес. Ведь он спешил только для того, чтобы поделиться своим планом.

Да, усадьба Барань! Еще осенью возникала эта мысль, но тогда в кооперативе вообще не было свиней. Но теперь, когда государство передало на попечение кооперативу восемьдесят свиноматок, было бы преступлением держать их в таком неприспособленном помещении. Но почему же сразу не разместили свиней в приусадебных постройках? Об этом, правда, между собой не говорили, но каждый понимал, что в ту пору этого не следовало делать.

Пусть, дескать, вся округа видит, с чего начинает хозяйничать кооператив. Ведь столько свиней в одном хозяйстве раньше можно было найти только у очень богатых помещиков.

Люди переминаются с ноги на ногу, разглядывают стадо. Приятно смотреть на этих животных, особенно когда знаешь, что скоро каждая свиноматка принесет приплод. Все дело теперь в умелом уходе. Свинья свое даст, но все-таки хозяйствовать надо умеючи, с головою.

Правда, свинарка Шари Фейер говорит, что и этого еще недостаточно: животных, мол, надо любить, а не только понукать...

— Словом, товарищи, особой беды нет. Свиньи здоровы и выдержат, пока мы их перегоним на новое место. А теперь пошли, осмотрим усадьбу,— предлагает Бердеш.

— Запрягать? — спрашивает Йошка Пап.

— Пожалуй... Чего зря грязь месить! К тому же еще надо нанести визит капитану Дьери. А к нему заявляться пешком не солидно.

Усадьбу Барань крестьяне испокон веку называли дворцом, хотя она отнюдь не была им. Это — обыкновенный одноэтажный барский дом, с ионическими колоннами, поддерживающими крышу просторной террасы. К ее ступенькам в прежние времена подкатывали экипажи, автомобили, и на террасу входили дамы и господа. Владелец усадьбы господин Барань еще в 1944 году бежал в Будапешт, а в сорок седьмом продал свою усадьбу вместе с огородом и надворными постройками за двадцать пять тысяч некоему капитану Дьери. Паспорт с заграничной визой у господина Барань был заготовлен заранее, и он на законном основании укатил на запад. Да, но откуда у простого капитана оказалось столько денег? Он имел бриллиантовый перстень, который ему удалось сбыть за сорок две тысячи. Возможно, он его раздобыл на войне — в Киеве или где-нибудь в другом месте. Словом, один барин уехал, другой — въехал. Один получил деньги за усадьбу, другой заплатил за нее. Леший их разберет, как это у них там вышло. Ведь и капитан Дьери тоже мог получить заграничный паспорт. Впрочем, простым людям трудно разобраться в господских делах.

Капитан Дьери — холостяк. У него горничная, которую он привез с собой из Будапешта, да еще старый слуга-крестьянин, доживающий свой век на господском дворе. В летнюю пору он копошится на небольшом огороде или в саду, где ему помогают и сам капитан Дьери и горничная. Они поливают из артезианского колодца посадки, собирают овощи, фрукты, отправляют их на базар. В общем, даже для барина не такая уж плохая жизнь...

Дряхлый крестьянин остался здесь как наследие от старых времен, когда у бывшего хозяина усадьбы было триста хольдов земли. В сорок пятом землю разделили между крестьянами, батраки — их было не так уж много — разбрелись кто куда, но старик остался, потому что его судьба была связана скорее с господским домом, чем с помещичьей землей.

Весной, летом и осенью обитатели усадьбы еще кое-как находят себе занятие — целый день слоняются по двору, и если кто ненароком забредет сюда, то и барин и горничная сразу берутся за мотыгу: «работаем, дескать!» Этим они пытаются доказать свое право на жизнь. Но что же они делают зимой?

В зимнее время горничная прибирает пятикомнатный дом и обслуживает капитана. Сам капитан Дьери спит, затем, проснувшись, бреется, завтракает, потом просматривает газеты, присаживается к окну и глядит на дорогу, ведущую в село. Если он не отправляется навестить пастора (а эти посещения становятся все реже), тогда наступает время обеда, затем — послеобеденного сна... И так все вращается в вечном круговороте. Разумеется, постольку, поскольку можно назвать вечным нынешний образ жизни капитана.

В барской конюшне стоит низкорослая лошадка. На ней обычно отправляют на рынок овощи и фрукты, а раньше возили со станции пассажиров.

В это утро старый крестьянин, по имени Тодьер Монок, стоит у конюшни и глядит на дорогу. Из села в их сторону движется телега. Это не предвещает ничего доброго. Кто сюда заявится — неизвестно, но вряд ли это к добру. А тут еще на телеге полным-полно мужиков! Счистив грязь с сапог, вскинув вилы на плечо, Тодьер спешит доложить барину.

Но это излишне. Капитан Дьери, как обычно, сидит на своем месте, читая газету и время от времени поглядывая в окно. Даже сквозь туман он уже видит едущую по грязи телегу и сидящих на ней мужиков. Тяжело вздохнув, он встает и кладет газету на край стола таким образом, чтобы всякий, кто войдет, видел ее название: «Сабад неп». Потом он открывает шкаф, достает оттуда белый халат, облачается в него и подходит к мольберту, стоящему в углу комнаты так, что свет от крайнего восточного окна падает на полотно. Взяв в левую руку палитру, а в правую — кисть, Дьери отступает на шаг и любуется своим творением.

На мольберте закреплено полотно размером 120×80 сантиметров. Картина кажется почти законченной. Но художник что-то подправляет на ветке тополя. Что за тополь? Что за картина?

Общий тон пейзажа таков, будто в этот уголок никогда не заглядывало солнце. Суровый холодный край и уходящая куда-то в бесконечность железнодорожная насыпь. По обеим ее сторонам растут тополя, но какие! Таких деревьев на всем свете не сыщешь. Между шпалами насыпана галька, похожая на белые, ноздреватые кукурузные зерна, поджаренные на решете. Почему-то рельсы на картине получились красные, словно от крови погибших под колесами поезда людей.

Повсюду на стенах — картины. Сколько картин! Сколько несуществующих в природе пейзажей, людей и деревьев, трав и цветов!

В разнообразных позах изображается какая-то молодая женщина. Капитан Дьери знает, что это его горничная, и горничная

знает об этом, но никто другой никогда не догадался бы. Как должен быть извращен вкус у этого человека, если он мог так обезобразить женский образ! Женщина на этой новой картине откуда-то пришла, на растрескавшейся, высохшей почве еще видны следы ее ног, скорее похожие на крупные капли крови. На переднем плане нарисована она сама. Суставы на ее ногах — словно багровые пионы, две груди, как пара пышных булок, колени похожи на какие-то уродливые чудовища...

Но вот в комнату вбегает горничная.

— Идут! — выпаливает она так, словно в следующую минуту должен наступить конец света.

Капитан Дьери делает вид, будто на него именно в эту минуту нашло вдохновение.

— Впустите их,— спокойно говорит он.

Горничная пятится к двери, за стеной слышно покашливание, шарканье ног. Сначала входит Шаркези, за ним — остальные крестьяне.

— Добрый день!

— День добрый... А... видать, сам бог послал товарищей... пожалуйста, садитесь! — Хозяин откладывает в сторону кисть и палитру, моет руки в маленьком тазу, все время приговаривая: — Садитесь, пожалуйста, садитесь, товарищи... Я... сию минуту... Вот только...

Недолго думая, Бердеш опускается в стоящее у маленького столика кожаное кресло и щупает его. Мягкая кожа! Пожалуй, вышло бы из нее пары три туфель для девчат. Сито разглядывает огромный камин, выложенный изразцовыми плитами, а Йошка Пап с изумлением и ужасом смотрит на мольберт.

— Присаживайтесь. Я к вашим услугам,— говорит капитан, придвигая им стулья.

Все садятся.

— Чем обязан вашему приходу, товарищи? Думается, не для того, чтобы на меня посмотреть, хе-хе-хе...— смеется он, как-то неловко и натянуто.

Шаркези в раздумье наблюдает за капитаном. Поди, каким важным он был там, у Дона, или где-нибудь в другом месте, и каким ничтожным стал нынче. А может быть, и не такой уж он ничтожный? Сейчас увидим.

— Да, вы правы, мы пришли не только на вас посмотреть. Вот товарищ Бердеш сейчас все объяснит,— взглянув на председателя кооператива, говорит Шаркези.

Бердеш, откашлявшись, начинает:

— Нам требуются подсобные помещения вашей усадьбы. Они все равно пустуют... К тому же запущены... Мы приведем их в порядок. Думаю, договоримся с вами.

После небольшой паузы Дьери отвечает:

— Ну, разумеется, конечно. Стало быть, для кооператива «Свобода»?

— Вот именно. Но пока мы еще не совсем кооператив, а только производственная группа... Кроме того, мы нуждаемся в подходящем помещении для конторы. Хорошо бы здесь, в доме, выделить нам комнату с отдельным входом,— говорит Бердеш и выжидающе смотрит на капитана.

Капитан Дьери одобрительно кивает головой.

— Понимаю. Собственно говоря, здесь может идти речь о двух комнатах с отдельным входом, правда с заднего двора. С этой стороны я бы закрыл дверь, для моих картин достаточно и двух комнат. Горничная все равно живет на мансарде. В общем, я, товарищи, не возражаю. Люди будут входить со двора, а моей будет эта сторона. Вот и договорились. По этому поводу надо чокнуться! — Он открывает буфет и вынимает оттуда бутылку и маленькие стаканчики.

Крестьяне с удивлением взирают на капитана и никак не могут его понять. Почему он так легко отдает им свой дом? Что за всем этим кроется? А может, и в самом деле он порядочный и понимающий человек? Значит, выходит, не всегда все господа враги социализма?

Каждый вдруг вспоминает кого-нибудь из бывших господ. Все они по-разному кончили свой век. Когда-то вот в этой самой усадьбе жил старый барин, предшественник его благородия господина Барань, некий Корнель, который дошел до полного разорения. Надеясь поправить свои дела, он держал уйму свиней,— авось, мол, они выручат его. Но в самую жару на свиней напал мор. Как паслось стадо на жнивье, так одна за другой и оставались на поле свиные туши. А барин верил во всемогущество господа и думал, что бог наслал мор на его свиней только затем, чтобы свести счеты с Корнелем. Сколько ветеринар ни делал свиньям прививок, ничего не помогало. Они падали, как мухи осенью. Однажды господин Корнель выехал в поле на своей бричке, сошел на землю и, взяв одного из дохлых поросят за ноги, подбросил его несколько раз в небо, выкрикивая при этом:

— На, боже! Жри!

Так вот, этот барин сначала разорился, а потом сошел с ума; больше он уже не кидался в небо дохлыми поросятами. Особенно хорошо помнит этого барина Сито.

А Бердеш тем временем вспоминает, как в бытность свою кучером он замечал, что некий барин слишком часто наведывался к его хозяйке; видать, был в нее влюблен, да и она, должно быть, его жаловала. И, несмотря на это, дело кончилось тем, что барин в отхожем месте пустил себе пулю прямо в сердце.

И до чего же странный народ эти господа!

Но вот капитан уже чокается с ними, слегка прикасаясь краем своего стаканчика к стаканчикам гостей. На мгновенье к сердцу Бердеша приливает какая-то теплая благодушная волна: вот хорошо жить на земле, чтобы не было ни господ, ни мужиков, а только человек, просто человек...

— Кхм... кхм...— покашливает Бердеш. Палинка оказалась крепкой, и он даже поперхнулся.— Мне думается, господин капитан, что мы сумеем ужиться друг с другом. Аренду мы вам заплатим, а ежели в чем другом потребуется наша помощь, всегда ее окажем.

— О! Вы очень любезны, товарищи... Сердечно вам благодарен.

— Ну что ж! А теперь, если позволите, мы хотели бы осмотреть постройки.

— Прошу вас, пожалуйста. Я бы тоже пошел с вами, но...— он тонко улыбается,— как видите, на меня сейчас нашло вдохновение. Это у художников бывает...— И он делает широкий жест рукой, указывая на мольберт.

— Ну, тогда пошли, товарищи! — говорит Бердеш.

— Пошли.

Когда крестьяне вышли, капитан Дьери бессильно упал в кресло. Он почувствовал себя утомленным, разбитым, словно после долгой и тяжелой дороги. В душе его не осталось места ни злобе, ни ненависти к людям, только жалость к самому себе, безутешная, бесконечная жалость. Он так полюбил эту тихую обитель, что ему уже казалось, здесь его и настигнет неизбежный для каждого человека конец — смерть. За спиной его лежал длинный, запутанный жизненный путь. То, что он сейчас уступил крестьянам часть своей усадьбы,— не беда, но он знает, что это только начало. А ведь история никогда не останавливается на полпути. И ему не миновать грядущего... А может быть, и миновать? Он, пожалуй, смог бы... Вот, например, Шари Фейер — тоже вполне интеллигентная дама,— а всем известно, что теперь она активный и полезный член кооператива. Почему, подобно ей, не стать и ему членом кооператива «Свобода»?

Нет, для него это невозможно! Его жизнь загублена навсегда. Самое лучшее сейчас — это пуститься в путь в те края, которые запечатлены на его картинах, добрести до железнодорожной насыпи, положить голову на рельсы и ждать, пока промчится скорый поезд. А проще всего подойти к реке — до нее рукой подать,— и ледяной поток разом решит все. Но на это у него не хватит силы воли. Собственно говоря, у него ни на что никогда не хватало воли. Но даже будь у него и сила, и разум — это не помогло бы: ведь он не хозяин самому себе — им управляют другие так, как им заблагорассудится.

На дворе тем временем крестьяне внимательно осматривают все постройки. Протекавшую в хлеву крышу придется кое-где заделать черепицей. Не хватает яслей, перегородки во многих местах разобраны.

По сравнению с бывшей Чахошской усадьбой эта — не более как маленький хутор; тем не менее весной сорок пятого года и ее начали растаскивать. Старый Михай Гуяш, бывший в то время заместителем председателя Областного комитета по разделу земли,

как-то побывал в этих краях и прекратил беспорядки. Лишь благодаря ему усадьба сохранилась: остался в целости дом для батраков, правда, без дверей; уцелел свинарник, оранжерея. С ледника лишь сняли тростниковую крышу, дожди размыли земляную насыпь, и обнажившаяся кирпичная кладка напоминала скелет какого-то допотопного животного.

Люди молчаливо разглядывают постройки одну за другой. Вдруг Бердеш спрашивает:

— Ну, что вы скажете про нашего капитана? Что-то уж очень легко он уступил нам усадьбу.

— Мне это подозрительно,— замечает Сито.

— А ты что думаешь, Шаркези?

— Думаю, что товарищ Сито ближе к истине, чем он предполагает. Капитан, как змея,— извивается туда-сюда, покуда ее не пришибешь мотыгой.

— Да, с него глаз спускать нельзя. Ну, ладно, давай покамест прикинем, как нам здесь лучше разместиться!

В конце оранжереи есть довольно просторная, опрятная комната с двумя окнами, где прежде, повидимому, жил садовник. В дверях ее сейчас стоит старый Тодьер Монок и с недоверием поглядывает на пришельцев.

— Как поживаете, дядюшка Монок? — спрашивает Сито.

— Да так, живу помаленьку.

— Это хорошо, когда человек живет. А знаете ли вы, где родился Лайош Кошут?

— Нет, откуда мне знать?

— Как? Даже вы не знаете? Кому же тогда знать? Так знайте же, в Моноке, в области Земплен! Потому-то вас и зовут Монок, что вы родом оттуда,— балагурит Сито.

— А что нам делать со старым Моноком? — спрашивает Бенце.

— Как что? Он у нас будет хорошим ночным сторожем. И так по всему селу только и разговору, что в кооперативе старикам придется плохо. Вот и сделаем его сторожем. Будет охранять усадьбу, скотный двор,— дел ему хватит. Контору поместим частью здесь, а частью оставим в селе. В два счета проведем телефон. Все наладится, дядюшка Бердеш, вот увидите. Для конторы пока достаточно одной комнаты. А в другую сейчас же надо поселить человека, чтобы присматривал за здешним хозяйством. А еще кто-нибудь переедет в бывший барак для сезонных рабочих. Весной мы его подремонтируем, женщины выбелят стены...

Собравшись вместе, крестьяне мирно беседуют, строят планы. Беседа не прерывается и тогда, когда вся группа направляется через двор в другой конец оранжереи.

Приусадебный парк занимает всего четыре-пять хольдов. От цветочных клумб и извилистых дорожек осталось одно воспоминание, но деревья все целы. Ель, береза, каштаны, липа. Сколько веков стоят они на этой земле? Кое-где еще сохранились следы

планировки парка. Березовая кора почернела от времени. Вековой каштан согнулся и касается кроной самой земли; его приникшие к земле ветви в свою очередь пустили корни и образовали целую каштановую рощу. Высокие липы вытянули свои вершины чуть не до самого неба, а рядом с ними вздымаются сиротливые ели. Настоящее царство деревьев! Вот раскинулась гигантская акация, похожая на причудливое сказочное дерево. Кусты руты, зеленеющие даже в эту пору, напоминают собой стога сена. Вокруг — плющ, вьюны, разросшийся кустарник, будто все это произрастает не в бихарском крае Венгрии, а где-то в тропиках, у экватора. И хотя крестьяне хорошо знают эти места, но сейчас они глядят на все это совсем другими глазами, чем прежде. Одно дело видеть парк мельком, со стороны, и совсем другое — любоваться им вблизи.

— Чорт бы побрал этого капитана Дьери! — вдруг восклицает Бердеш и, остановившись под огромным дубом, любуется его широко раскинутыми, могучими ветвями.— Можно понять, почему он так любит это место. Жалко, что мы еще летом сюда не перебрались. Представляешь: жара, а под деревьями — прохладно.— И Бердеш расстегивает пальто, словно ему и сейчас жарко.

— Как-то раз в сорок пятом пришли, помню, сюда, но... сердце не позволило вырубить этот парк,— вспоминает Сито, но умалчивает, что тогда им в этом помешал Михай Гуяш.

— Да, было бы жаль...— соглашается Шаркези, подходя к старым березам с почерневшей корой. Березы здесь растут семьей в пять-шесть деревьев. У самой земли кора их совершенно черная, а чем выше — тем светлее; и у самой макушки она молочно-белая. На одном из деревьев виднеется старая, полусгнившая дощечка; на ней — надпись, которую Шаркези тщетно пытается прочесть.

Ни он, да и никто другой, даже капитан Дьери не знает, что когда-то было написано на этой дощечке. А надпись гласила, что под этими деревьями писал свои лучшие стихи Ференц Кельчеи *. Песней и стихом поэта овеяны ветви этих деревьев, и близко уже время, когда его творения оживут в человеческих сердцах.

4

Если предположить, что капитана Дьери когда-нибудь причислят к лику святых, то в календаре этот день будет отмечен так: «Смирение капитана Дьери». В чем же тут дело? Какова действительная причина этого чудесного «смирения»?

Накануне того памятного дня, когда Дьери посетили представители кооператива, радиостанция «Голос Америки» начала свою утреннюю семичасовую передачу со следующего объявления:

«Внимание! Внимание! Внимание! Б-22-33 немедленно явитесь к 14-210-210! Повторяю. Внимание! Внимание! Внимание! Б-22-33 немедленно явитесь к 14-210-210!»

Это объявление повторялось неоднократно на протяжении всего дня.

Капитан Дьери долго сидел, тупо уставившись в замолкший радиоприемник, словно желая выпытать у него свою дальнейшую судьбу. Но из заглохшего аппарата доносился только свист и треск в эфире, и капитан Дьери, может быть, впервые за свою жизнь преисполнился неизъяснимой тоской и грустью. В этой тревожной тишине прошлое давило на него с особенной тяжестью, страшной, как смерть.

Он успел полюбить этот парк, этот край, привык к этому дому. Как хорошо отдохнуть здесь на старости лет! Смотреть на восходящее солнце и слушать в летнюю пору, как стрекочут кузнечики между деревьев, где еще некогда хаживал Кельчеи, а зимой слушать завывание ветра и метели. Но — увы! — это невозможно. Выхода нет. Для него нигде на свете нет приюта. С ним случилось нечто непоправимое. То ли это было в первую мировую войну? То ли потом в Сегеде? Или под Вацом, когда ждали короля Кароя? А не тогда ли, когда он примкнул к оппозиции против Бетлена? А может быть, там, в Америке? Не Имреди * ли всему виной? Сколько вопросов в жизни этого человека!

Когда вчера к нему пришли крестьяне и Дьери в замешательстве подошел к мольберту, он почувствовал себя уже совсем не тем человеком, как прежде.

Он сразу как-то весь обмяк, и неиспытанное прежде чувство слабости охватило его, дойдя до самых глубин души. Если бы ему в тот момент сказали: «Сними рубашку»,— он, несомненно, тут же повиновался бы. Если бы у него потребовали самую любимую картину, он без малейшего сопротивления отдал бы ее. Как же ему не отдать дом, если он уже не принадлежит ему? Но не так просто даже уйти. Дело не только в том, чтобы исчезнуть, надо найти вместо себя преемника. Об этом он знал и раньше, с первого дня, как поселился в усадьбе. Вначале он пытался привлечь пастора, но тот оказался неподходящим для этого дела. Тогда его выбор пал на Дюрку Боди, которого, возможно, вскоре удастся завербовать. Отец его был вице-губернатором, мать — по женской линии — баронесса; словом, Дюрка Боди больше всего подходил для этого.

Боди жил в доме сельской управы, в крохотной комнатушке, где прежде обычно останавливался табунщик, приводивший на период случки с поля в село племенных жеребцов. Комната была размером не более трех шагов в длину и двух в ширину. В ней стояла кровать, ночной столик, на стене была прибита вешалка. Дверь комнаты никогда не запиралась, да и замка в ней не было.

Как-то утром Дюрка, проснувшись, увидел, что капитан Дьери сидит на кровати и пристально глядит на него. Дюрке все это показалось чрезвычайно подозрительным. Он почуял какую-то беду, которая вот-вот над ним разразится, стоит только открыть глаза.

— Спишь, Дюрка? — шопотом спрашивает капитан.

Молчание. Дюрка плотнее жмурит веки.

— Проснись! — уже громко будит его капитан.

Но Дюрка не откликается. Он лежит неподвижно, как мертвый.

Капитан резко поднимается с кровати.

— Перестань ребячиться! Вставай! Нужно поговорить с тобой,— и срывает с него одеяло.

Позавчера Дюрка Боди виделся со своей невестой Бежи Кадар, и она немногословно, но очень настойчиво предупреждала его остерегаться капитана Дьери. Но как тут остеречься, когда он сдирает с тебя одеяло? Никогда еще прежде Дюрка не ощущал с такой силой довлеющего над ним тяжелого груза: тут и прошлое отца и вдобавок эта дружба с капитаном Дьери. Либо он сразу сумеет сбросить с себя этот невыносимый груз, либо вовек от него не избавится. Дюрка подскакивает к столу и, так как в комнате под рукой нет ничего другого, кроме стоящего на тумбочке заржавленного будильника, хватает его и, словно это булыжник, запускает в капитана. Но Дьери в свою очередь поднимает двумя руками тумбочку и заносит ее над головой Дюрки Боди.

В это время по двору проходит пастух. Сначала он слышит звон и грохот, затем мимо него пробегает растерянный капитан Дьери, держа в руках пистолет.

Через час Дюрка Боди явился в местное отделение полиции и рассказал, как он выгнал из своей комнаты капитана Дьери.

— А за что? — полюбопытствовал Канья-Киш.

— Я спал, вдруг... он сорвал с меня одеяло, потом... Я, значит, того...

— И здорово ты его разукрасил?

— Не знаю, он убежал.

— Не беспокойся, жалоба на тебя еще не поступала.

Дюрка Боди и не беспокоится. Он пошел в полицию только затем, чтобы отогнать от себя даже тень капитана.

А капитан в самом деле пропал. Его с тех пор так в селе больше и не видали. Исчезновение Дьери имело значение только для тех, для кого он был олицетворением старого мира. Пока капитан находился здесь, прошлое, казалось, еще не совсем покинуло порог их домов.

— Значит, теперь всему конец! — с печалью в голосе сказала кулаку Гербеди вдова Кокаш.

Гербеди тоже не очень верил в то, что жизнь можно снова повернуть вспять, но считал, что, пока попы еще на своих местах, есть какая-то, хоть небольшая, но надежда.

— Остается одно — ждать лучших времен, а коли нет выдержки, лучше сразу повеситься,— угрюмо проговорил он.

Анна Кокаш отнюдь не собиралась вешаться. Какое там! Она замахала кулаками над головой и разразилась проклятиями.

Иные настроения вызвало внезапное исчезновение капитана Дьери в местном сельпо.

— Господин капитан вызван,— шопотом сообщил корчмарь Чикоштот бухгалтеру.

Бухгалтер задумчиво откинулся на спинку стула. Глаза его продолжали смотреть на столбцы цифр, но мысли витали уже далеко отсюда.

Очень уж темное прошлое у бухгалтера сельпо. В молодости он был студентом, потом стал парикмахером. Известно, что однажды он за шестьсот форинтов согласился заключить фиктивный брак с некоей учительницей, но после свадьбы отказался дать ей развод,— словом, это великий ловкач. Теперь ему было необходимо обсудить создавшееся положение со своими единомышленниками: с продавцом, корчмарем и заведующим сельпо. Вначале в их тайную компанию входил и Тарнок, но, начиная с осени, когда он растранжирил деньги, ему перестали доверять и стали вершить свои дела, насколько возможно, без него.

— «Где-то здесь, где-то там шепчут люди по углам...» — грустно вздыхая, повторял бухгалтер запомнившуюся еще со школьной скамьи стихотворную строчку. А вечером, после работы, обращаясь к своим дружкам, собравшимся в конторе за закрытыми ставнями, он держал примерно такую речь:

— Господа, мы накануне краха нынешнего режима. Перед нами, как истинными мадьярами, стоит святая задача: во что бы то ни стало сохранить для себя имущество сельпо, чтобы дождаться лучших времен. Господин капитан Дьери, который... но, нет, господа, есть вещи, о которых даже нам между собой нельзя говорить вслух... Даже если нас поведут на плаху, и то об этом следует молчать... Словом, у нас есть уже горький опыт. Неужели мы сейчас упустим случай? Поэтому предлагайте, как быть, чтобы...— последующие слова он произнес почти шопотом.

Каким бы изворотливым ни был бухгалтер, он все же не усвоил простую истину: если о тайне знает хоть один человек, то нет полной гарантии, что она сохранится. Тем более, когда о ней знают многие! Стоило, к примеру, бухгалтеру под покровом темноты отнести домой рулон полотна или Чикоштоту проделать то же самое с отрезом шерсти на мужской костюм, как об этом сначала узнали домашние, а из дома — даже если бы двери были заколочены! — это просочилось наружу. Наверное, поэтому уже на следующее утро можно было на улице услышать такой разговор двух деревенских кумушек:

— Слыхала, Юлиш, говорят, сельпо скоро в трубу вылетит? — спросила Юлиш первая.

— Да ну? Не мели ерунду! Кто тебе сказал? — откликнулась Юлиш вторая.

— Ой, да ведь уже все село об этом говорит — одна ты не знаешь!

— Бог ты мой!.. Этак и деньги того и гляди обесценятся,— в голосе Юлиш второй почувствовалась тревога.

— Деньги? Да нынче самый счастливый человек тот, кто вовсе не имеет денег.

Но у Юлиш второй как на грех водились деньжата: она недавно продала на ярмарке тельную корову.

По мере того как время приближалось к полудню, селяне толпами стали направляться в сельпо за покупками.

В полдень Шари Фейер медленно расхаживает по комнате и, куря сигарету, учит правила ухода за поросятами, как некогда, будучи актрисой, разучивала роль: на ее плечах теперь лежит вся забота о поросятах. В одной руке она держит дымящуюся сигарету, в другой — брошюру. Затягивается, прочтет строчку-другую, останавливается и о чем-то думает.

Ее нынешнее жилище представляет собой странное смешение будуара актрисы и мастерской сапожника. Необычно выглядит эта комната. Лайош Тержек-Виг перестал сапожничать, и на полках, где раньше стояли сапожные колодки, сейчас можно видеть книги — не техническую, а сплошь художественную литературу: томики стихов, романы. Комната захламлена, должно быть, ее редко убирают: повсюду разбросаны платья, хотя не так уж много одежды у обоих супругов. Когда Шари Фейер идет к своим питомцам, она надевает брюки и старый жакет. Так она одета и сейчас. Этот наряд ей к лицу, как иной раз мужская одежда идет женщине.

В дом входит Лайош Тержек-Виг, держа на руках пятнистого поросенка. Поросенок тихонько похрюкивает, видно, он уже смирился со своей участью. Он не визжит, не вырывается, а только жалобно повизгивает, будто стонет.

— Что с этим замарашкой? — спрашивает Шари, откладывая в сторону книжку. Глубоко затянувшись табачным дымом, она подходит к поросенку и ласково гладит ему уши.

— Понос у него.

— Ай-ай, бедняга! Брюшко заболело, да? Я уже звонила по телефону ветеринару. А он меня высмеял. Это, говорит, бывает, особенно когда поросят много. Велел класть свежую подстилку. К тому времени, когда придет пора отнимать от свиноматки, он либо поправится, либо околеет. И это называется ветеринар! Я как-то случайно разговорилась об этом с товарищем Кульчаром. Он обещал разузнать, чем можно помочь, и сказал, что сообщит мне по телефону. Погоди-ка, может, нам пока потеплее укутать поросенка?..— И она оглядывает комнату, но — увы! — где мало одежды, там не найдешь и тряпки. В конце концов поросенка заворачивают в мохнатое полотенце. Большая корзина, с которой Шари Фейер обычно ходит в лавку, превращается в удобное ложе для больного. Корзину с выглядывающим оттуда поросенком ставят у печки.

— Шари! К телефону! — приоткрыв дверь, зовет Бердеш.

Погасив сигарету, Шари выходит. Оказывается, ее вызывает Кульчар.

Да, он узнал, чем можно помочь: советуют давать сладкий крахмал.

— Сладкий крахмал? Это, пожалуй, можно.

— Вот и попробуйте.

Бердеш слушает весь разговор — он как раз в это время подсчитывает рост свиного поголовья в кооперативе. Не сегодня-завтра приплод достигнет трехсот поросят.

— Вы лучше позаботьтесь о других поросятах, Шари, а этого сосунка бросьте ко всем чертям,— говорит он.— Еще чего не хватало, кормить свиней сладостями! Лучше побережем их для ребятишек.

— Ребятишки и так их могут есть, сколько влезет. А меня сейчас беспокоит этот поросенок. Зачем ему погибать, если можно его выходить?

Бердеш вступил в спор только потому, что он сегодня не в духе: много неполадок. Чем дальше растет кооператив, тем больше прибавляется хлопот. И он раздраженно отмахивается:

— Оставьте меня в покое с этим, как бишь его... сладким крахмалом, да и с вашим поросенком...

Находящийся здесь же Сито, наоборот, внимательно прислушивается к разговору и поглядывает на возмущенную Шари.

— Ладно, Шари, действуйте! Постарайтесь достать крахмал. Одним поросенком больше или меньше — для нас тоже важно. Для нас все важно.

Шари Фейер с минуту еще задерживается в правлении, затем молча выходит. Она немного обижена. Подумаешь: «Оставьте меня в покое!» Придя к себе, она снимает брюки и жакет, быстро облачается в платье, одергивает его на боках, поправляет перед зеркалом прическу, набрасывает на голову свою видавшую виды клетчатую шаль и выходит на улицу. Надо заглянуть в сельпо.

В этот день в сельпо небывалый наплыв. Шари едва удается протиснуться сквозь толпу к прилавку. Она бегло оглядывает покупателей: кто рассматривает платья, кто выбирает посуду. Видать, не из-за мелочей пришли сюда эти крестьяне. Но откуда взялось у них столько денег, да еще зимой? Правда, говорят, за молочных поросят на базаре дают большие деньги — по четыреста, а то и пятьсот форинтов за пару. Словом, есть на что делать закупки. Если продать полдюжины поросят на рождество, то на вырученные деньги можно приобрести немало. Значит есть смысл выходить захворавшего поросенка? А председатель все недоволен: дескать, не приставайте ко мне! Она стоит, задумавшись, будто что-то выжидая, и с любопытством наблюдает за публикой.

Непонятно! Сколько народу набилось в лавке, словно хотят разнести сельпо.

— Цепи для скота есть? — спрашивает кто-то.

— Нет. Только для волокуш.

— Давай для волокуш — все одно,— соглашается покупатель и отсчитывает на ладони деньги.

Какая-то женщина пришла купить медную ступку с пестиком, но так как ступок нет — еще утром забрали последнюю,— то она

покупает пять пакетов древесного угля для утюга. Купить, что угодно купить,— и уйти! Словно кто-то стоит и громко объявляет: «Все продаем — ничего не оставляем».

Шари озадаченно наблюдает за толчеей в лавке, не понимая, что стало сегодня с людьми. Хотя молочные поросята и в хорошей цене, но ведь каждый день не будешь их продавать, да к тому же нельзя так транжирить деньги.

Толпа увлекает ее к прилавку, и размышлять уже нет времени.

— Прошу сто граммов сладкого крахмала,— обращается она к продавцу.

Тот бросает на нее беглый взгляд и тут же обращается к другому покупателю, кидая ей в ответ:

— Нет.

— Как так — нет? — поражается Шари.

— Очень просто: нет и все. Что вам? — спрашивает он уже следующего.

Шари еще мгновение смотрит на продавца. Она допускает, что сладкого крахмала, возможно, и в самом деле сейчас нет, но ей вообще все это не нравится: толчея, безудержный напор покупателей; не нравится ей и сам продавец, настолько он ей противен, что так и хочется залепить ему пощечину.

— Попрошу жалобную книгу,— хмуро говорит она.

Продавец сразу меняется в лице. Он нервно тянется к весам, роняет гирю, которая со стуком падает сначала на прилавок, а затем скатывается на пол. Продавец нагибается за ней и, не глядя, достает из-под прилавка вместо гири... большой пакет сладкого крахмала.

— И в самом деле... Оказывается, еще осталось немного,— заискивающе произносит он и с нежностью глядит на Шари.

А Шари выходит на улицу, не помня себя от возмущения. То нет крахмала, то он вдруг появляется... толчея... этот продавец!.. Нет, в этом ей одной не разобраться.

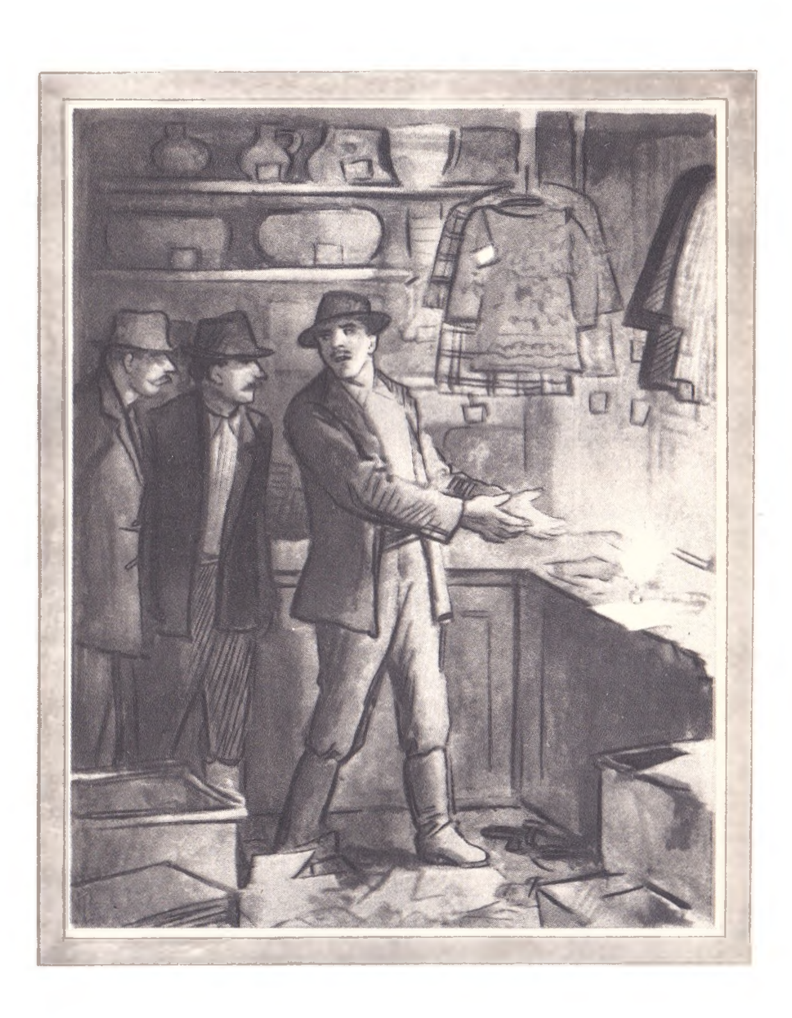
В первую минуту она подумала, что, может быть, продавец в самом деле забыл о крахмале. Это еще куда ни шло — ведь он тоже человек и у него уйма забот: не удивительно, что он мог запамятовать. Но почему столько народу нахлынуло вдруг в сельпо? В этом вся загвоздка. Это-то ей и не нравится.

Она покормила поросенка сладким крахмалом, что оказалось не таким уж легким делом. Потребовалось немало терпения, но его у Шари хоть отбавляй.

Однако паника в сельпо никак не выходит у Шари из головы. Она доверительно, с глазу на глаз, делится своими сомнениями с Бердешем.

— У людей завелись деньжата, вот они и покупают,— успокаивает ее Бердеш.

— В чем дело? — оборачивается к нему старый Бири, целыми днями сидящий у печи с газетой в руках. Прочитав ее от корки до корки, он начинает все сначала.



— Да вот, в сельпо столько народу набилось, что чуть не передавили друг друга,— объясняет Шари.

— Ну и что же, ярмарка в Уйфалу только что прошла,— откликается он и продолжает читать «Сабад неп»; делает он это с таким усердием, что некоторые статьи может рассказать наизусть.

Шари беспомощно опускает руки, в глазах у нее блестит крупная слеза, одна единственная, как обычно у тех женщин, которые редко плачут. Шари с нетерпением ждет, пока в правлении появится парторг Сито.

Сито приходит вместе с Йошкой Папом, весь забрызганный грязью, страшно усталый. Все утро он провел в поле, исходив земли кооператива вдоль и поперек. Кто-то пустил слух, что озимые залило водой, но это оказалось неправдой. По крайней мере, дело обстояло не совсем так, как говорили. Действительно, в низинах скопилась вода, но Сито с Папом проложили канавки и вода ушла. Теперь они, стоя на крыльце, сбивают с сапог налипшую грязь. Шари решает подойти к ним.

— Товарищ Сито, я никак не пойму, что происходит в сельпо.

— А что случилось?

— Столько народу, что яблоку негде упасть. Мне это не нравится.

Сито внимательно смотрит на Шари, затем делает рукой жест, словно собирается погладить ее по голове, но быстро одергивает руку и только говорит:

— Хорошо, что сказали, Шари. Мы сейчас же этим займемся.

Сито входит в контору. Йошка Пап — за ним. Подойдя к телефону, Сито крутит ручку, немного выжидает, а затем говорит:

— Партийный комитет? Товарищ Шаркези? Я только хотел узнать, ты у себя? Сейчас зайду к тебе.— И, повесив трубку, идет к дверям.

Спустя четверть часа телефон снова звонит: на этот раз Шаркези вызывает Йошку Папа.

Шари беспокойно ходит по комнате, не находя себе места, и, проводив взглядом ушедшего Йошку, говорит:

— Классовая борьба обостряется, товарищ Бердеш.

Бердеш недоумевающе смотрит на нее, словно она говорит не по-венгерски.

Тем временем в партийном комитете обсуждается довольно неприятное дело. Местный портной Йошка Ваци, сильно подвыпив, устроил вчера в корчме дебош. Ваци почему-то недолюбливает Шаркези, хотя у него для этого нет никаких причин. Но для пьяного в такой же степени безразлично, на ком выместить злобу, как и все равно, обо что опереться: о косяк калитки или о колючую акацию. Если бы Ваци ограничился нападками на Шаркези, это было бы еще полбеды, а он такое наговорил, что дальше ехать некуда.

Йошка Ваци сравнительно молод. Но на беду у него хороший голос. Из-за него-то он и пристрастился не только к пению, но и к

выпивке. Если в корчме вывешивают объявление о том, что вина, пива и других спиртных напитков сегодня нет, то Ваци, когда ему приспичит, ничего не стоит отправиться за ними даже в соседнюю деревню. У Ваци четверо детей — мал мала меньше — и высохшая, измученная жена. Но, несмотря на это, вчерашний скандал оставить без последствий уже невозможно: он получил слишком широкую огласку. Тем более, что Ваци сам явился в партийный комитет к Шаркези. Как этот протрезвившийся человек умеет просить и умолять о снисхождении!

Канья-Киш спрашивает у Шаркези, как быть с Йошкой Ваци; ведь у него на плечах все-таки четверо детей да жена... Но и для Шаркези дело Ваци представляет немалую головоломку.

— Слушай-ка, Ваци! — наконец говорит он.— Сейчас я тебе ничего не могу обещать. Надо было раньше думать. Вместо корчмы ты бы лучше вчера зашел к нам. Ну, что с тобой делать? Приходи часам к пяти, поговорим.

Помятую шляпу Ваци решается надеть на голову, лишь выйдя на улицу, очевидно, думая хотя бы этим актом вежливости смягчить свою вину за вчерашний дебош.

— Что этот дурень опять вчера натворил? — глядя ему вслед, спрашивает Йошка Пап.

— Действительно дурень. Как с ним быть, ума не приложу. Да, вот еще дело: вы видели Шари Фейер? О чем она рассказывала?

— О том, что и я говорил. Того и гляди, сельпо разнесут,— отвечает Сито.

— Пойдем-ка посмотрим...

— Нет, сначала лучше я пойду один,— предлагает Йошка Пап и направляется к двери, на ходу поясняя: — Чтобы не бросалось в глаза...

Пока Йошка Пап отсутствует, Шаркези и Сито шагают по комнате, молча поглядывают друг на друга и снова погружаются в свои мысли. Пусть по-разному, но думают они об одном: как прав был Кульчар, когда предупреждал, что враги не сложили оружия, а, наоборот, оттачивают его. Возможно, эта лихорадка в сельпо только кажущаяся, но это отнюдь не означает, что кооперативу больше не угрожает опасности.

Не все идет как по маслу. Враги обязательно попробуют подкопаться под коллективное хозяйство, если не здесь, то в другом месте. И кооператоры всегда должны быть готовы отразить любую вражескую вылазку. Не исключено, что и ночной дебош, учиненный Йошкой Ваци, тоже связан с происками врага. А может быть, и нет? Послушаем, что расскажет Йошка Пап.

Спустя немного времени возвращается Йошка и сообщает, что слухи о панике в сельпо подтверждаются целиком и полностью — народ словно угорел.

С минуту Шаркези и Сито вопросительно смотрят на него, затем Шаркези спрашивает:

— Что значит «словно угорел»?

— А то, что скупают все нарасхват. Повидло, мышеловки, оберточную бумагу, ситец, купальные трусы, да чорт их разберет, что еще. В общем все! Я постоял, постоял, дай, думаю, и сам куплю что-нибудь. Во, гляди, складной метр...— смеясь, показывает Йошка Пап.— Если так дело пойдет дальше, то за пару дней раскупят все подчистую,— говорит он, сразу становясь серьезным.

— Да... кутерьма... Ты ведь входишь в ревизионную комиссию, товарищ Шаркези. Неужели при проверке вы ничего не обнаружили? — спрашивает Сито.

— Входить-то в комиссию я вхожу. Но, по правде говоря, следить за этим делом, как полагается, просто невозможно. Будь у человека вместо одной — две головы, да вместо двух — четыре руки, может быть, тогда что-нибудь и получилось бы, а так... Вот на прошлой неделе приезжал сюда ревизор... Мы с Ласло Рожей вызвали его, но он ничего не нашел. И мне, и товарищу Роже все эти люди подозрительны: и бухгалтер, и продавец, и корчмарь. А вот ревизор проработал почти целую неделю и ничего не обнаружил. Либо этот пройдоха бухгалтер уж очень хитер, либо ревизор не знает своего дела. Что нам сейчас предпринять? Самое лучшее — закрыть лавку. Но тогда все село взбудоражится, и не без оснований. Оставить так — весь товар раскупят. Ну что ж, пускай берут за наличные: когда-нибудь кончатся у них деньги... Давайте, товарищи, присядем, разберемся, что к чему.

Шаркези садится за стол, напротив усаживаются оба собеседника. Он закуривает и угощает сигаретами товарищей, которые тоже начинают дымить. Некоторое время все трое хранят молчание, затем Шаркези продолжает:

— Итак, вспомним все по порядку. Мы поехали в усадьбу Барань, чтобы договориться с капитаном. Он принял нас уж чересчур учтиво, был настолько предупредителен, что согласился на все, о чем мы его просили. После этого капитан наведался в село к Дюрке Боди. Тот его как следует отдубасил, хотя я нисколько не удивился бы, узнав, что эта драка затеяна только для отвода глаз. Покамест будем считать, что они поссорились всерьез. Далее... Тут же вслед за этим началась кутерьма в сельпо. Можно ожидать, что не сегодня-завтра разыграются новые события. Вот что для меня ясно. А дальше — теряюсь. Давайте подумаем вместе.

— Вполне возможно, что все одно к одному,— допускает Йошка Пап,— но, по-моему, самое главное сейчас позвонить по телефону в областную потребительскую кооперацию, чтобы немедленно прислали сюда любые товары, какие только у них залежались на складе. Если у сельпо увидят грузовик, нагруженный доверху товарами, настроение сразу изменится.

— О каком настроении ты говоришь?

— Забыл вам сказать, что бабы шепчутся, будто деньги скоро ничего не будут стоить, сельпо прогорит, разразится война и тому подобное...

— С этого и надо было тебе начинать, товарищ Пап.

— Надо было, да вот только теперь к слову пришлось.

Шаркези порывисто встает и снова шагает по комнате.

— Капитан Дьери... Ясно, это дело его рук. А ты прав, товарищ Пап, надо затребовать товары из области. Это — первое. Второе — товарищу Сито поручается мобилизовать членов партии. Они должны пойти в сельпо за покупками для того, чтобы поговорить с народом. А я сейчас свяжусь с товарищем Хедье, Канья-Кишем и председателем ревизионной комиссии Ласло Рожей.

Сито и Йошка Пап переглядываются.

— Ну, товарищ Сито, мы с тобой Тарнока вытянули за ушко да на солнышко. А ведь он куда хитрее Чикоштота и его компании. Что скажешь на это, друг? — говорит Сито, обращаясь к Папу.

— Ну, если говорить о хитрости, то у этой шайки ее хватает с избытком. Но мы ведь тоже не лыком шиты. В общем, ясно, пора и этих мерзавцев вывести на чистую воду.

Заперев письменный стол, Шаркези с товарищами направляется к выходу, но на пороге натыкается на Ваци.

— Можно вас на минутку, товарищ Шаркези?..— обращается Ваци.

— Говорили тебе — приходи вечером! — сердито отрезает Шаркези и сходит со ступенек.

Ласло Рожа живет в самом конце села. Несмотря на резкий северный ветер, он чинит изгородь. На его дворе чистота и порядок; длинные кукурузные снопы, дважды — сверху и снизу — перехваченные бечевой, аккуратно лежат ровными штабелями, будто их сложили умелые мастеровые. На хозяине старая, видавшая виды тужурка, затянутая узким ремешком.

Шаркези подходит к нему и здоровается.

— Что поделываете, дядюшка Ласло? — спрашивает он.

— Весна на носу, братец, вот и дел прибавляется. Каким ветром тебя сюда занесло?

— Хотел бы с вами перекинуться парой словечек!

— Это можно... заходи...— И он вместе с Шаркези направляется к дому. На ходу Рожа отстегивает ремень, вешает его на гвоздь, а пока они доходят до кухни, успевает снять старую тужурку и тоже аккуратно повесить ее. Каждое его движение рассчитано, все в его хозяйстве имеет строго определенное место. Шаркези здоровается с хозяйкой, которая возится у плиты с только что вылупившимися цыплятами, затем входит в горницу, где Ласло Рожа шарит в ящике комода, ища сигареты.

— Закурим, братец, и потолкуем,— говорит хозяин, присаживаясь к столу. Он предлагает Шаркези стул, подает сигарету, которую Шаркези, думая о чем-то своем, машинально мнет в руках.

— Я хотел бы поговорить насчет сельпо. Вы строго их контролируете, дядюшка Ласло?

— Что от меня зависит, я все делаю. Мы же вместе с тобой

вызвали ревизора. Тот никакой недостачи не обнаружил. Неполадок тоже вроде нет.

— Никаких подозрений у вас не было?

— Как не было? И сейчас есть. Но или там слишком ловко обделывают свои дела, или я ошибаюсь сам. А почему ты спрашиваешь? Слышал чего или что-нибудь заметил?

— Да вот, понимаете, подозрительно... Сегодня с самого утра в сельпо повалил народ. Раскупают все, что есть.

— Ну и что ж? Разве до сих пор не покупали? Ведь у нас одежды, и то не напасешься. Не беда! По-моему, это скоро кончится: либо истратят все деньги, либо наберут столько барахла, что самим надоест. Дело не в этом, а кое в чем другом.— Он задумывается, разминает пальцами тонкую сигарету, которой почти не видно в его больших, натруженных руках, затем, подавшись грудью вперед и смотря прямо в глаза Шаркези, говорит:

— Осенью, когда вы только еще организовывались, кулакам не удалось вас задушить. При размежевании они тоже не сумели вставить вам палки в колеса; что бы они ни предпринимали, ничего им не удавалось. Вот теперь они и хотят добиться того же, но другим способом. Сейчас они выступают против вас не прямо, а в обход. Хотят подорвать весь строй, народную демократию. Кто-то исподтишка пустил слух,— вот он и разнесся по всему селу, как степной пожар. Не успеет он потухнуть, как на смену ему возникнет другой, третий... Бывают слухи, которым никто больше одного раза не поверит. А бывают и такие, что не сходят с уст; ну, вроде нынешнего, будто скоро начнется война. А раз так, то, мол, нет никакого смысла вступать в кооператив. Деньги в кубышке держать — тоже нет смысла, все равно, мол, пропадут. Вот поэтому и не идут к вам в кооператив. Потому-то в сельпо все и раскупают нарасхват.

Шаркези, косясь на стену, разглядывает висящую в рамке под стеклом почетную грамоту, полученную Ласло Рожей за то, что он уже четвертый год образцово ведет свое хозяйство.

— Мне точно известно, что тесть Чикоштота — а это все равно, что сам Чикоштот,— распускает по селу эти слухи. И чего только терпят в сельпо такого негодяя?

— Пока мы его не поймаем с поличным, с ним ничего не поделаешь. Посмотрим, что будет дальше. А тебе я вот что скажу: хоть на вас сейчас нападают и меньше, чем прежде, но врагов у вас стало больше. Так что советую быть настороже всегда и во всем!

— А вы-то сами, дядюшка Ласло, почему к нам не идете? Ведь сочувствуете нам, все наши дела к сердцу принимаете...

Старик, выпрямившись, облокачивается на стол.

— Почему, говоришь? Не такое простое, братец, это дело. Мне недавно стукнуло шестьдесят шесть. Не только внуков — правнуков имею... Я вам всю свою семью отдал: сыновья, зятья — все работают в кооперативе, и с честью. А мне на старости лет, ду-

маешь легко начинать новую жизнь? Поверь, братец, трудно мне разобраться в вашем большом хозяйстве! Собственный клочок земли я знаю, как свои пять пальцев. Никакая непогода меня не застанет врасплох. А на ваших полях, которые и взглядом не окинешь, в мои годы уже трудно освоиться. Вот что я скажу тебе: земля эта — жестокая земля. Одного бога для нее мало. Здесь два бога надобно: один — чтоб поливал, а второй — чтоб прогревал... Нет, мне такое хозяйство не под силу. Я знаю, что вам только первые десять лет будет тяжело, а потом станет куда легче. Но все дело в том, что для вас эти десять лет будут только началом, а для меня они — конец. Нет уж, оставьте меня доживать свой век по-старому. А в чем надо помочь, я и без того помогу.— И Ласло Рожа умолкает. Затем снова угощает Шаркези сигаретами.— Бери, сынок, от курева голова проясняется.

«Два бога надобно»...— тревожно выстукивает сердце Шаркези. В селе живут два священника; каждый из них проповедует свою религию, своего бога. Но ясно, как день, что Ласло Рожа имел в виду отнюдь не этих богов. Он думал о тех, кто смело преобразовывает землю, чтобы крестьяне всегда, при любых обстоятельствах были спокойны за урожай.

— Сердце у вас, дядюшка Ласло, чувствует одно, а язык говорит другое. Я уверен, что вскоре мы с вами встретимся в кооперативе.— И Шаркези встает.

— Ну что ж, дай бог!

— Какой же бог? Тот, который поливает, или тот, что прогревает? — смеясь, спрашивает Шаркези.

Тут уж и Ласло Рожа не может удержаться от смеха:

— Нет, совсем другой. Третий, если он только вообще существует. Сбудется твое пожелание, тогда я его и признаю.

Они еще немного стоят, перешучиваясь, затем Шаркези прощается и уходит.

Он пришел в этот дом озабоченным и выходит отсюда тоже с тяжелыми думами. Снова и снова отзываются в его душе слова Ласло Рожи: «Два бога надобно...» Как он прав! Зéмли здесь где солончаковые и болотистые, а где жирные и черные, как смоль. Добрая треть всех полей — полузаболоченные почвы: в дождь здесь не проехать, колеса вязнут в грязи, а в засуху ветер носит сыпучую пыль, словно снег зимой. Значит, партия, кооператив должны выйти победителями не только в классовых битвах, но и в поединке с природой.

Затем его мысли снова возвращаются к сельпо, но сейчас он уже рассуждает несколько спокойнее. Если Йошка Пап и Сито взялись за это дело, они успешно доведут его до конца.

А Пап и Сито, неторопливо беседуя, идут вниз по улице. Чем ближе они подходят к сельпо, тем больше крестьян встречается им на пути. То и дело они дружески отвечают на приветствия.

— Я так полагаю, что если сразу начнем у всех выспраши-

вать, мы толку не добьемся. Самое лучшее — взять за горло этого вьюна Тарнока и все у него выпытать,— предлагает Сито.

— Да, пожалуй, так лучше,— после небольшого раздумья отвечает Йошка Пап.— Он наверняка что-то знает.

— Заглянем раньше к нему.

Они сворачивают в узкую уличку, где живет Тарнок.

Узнав, что разыскивают ее мужа, хозяйка всполошилась:

— Нет, нет его дома,— скороговоркой выпаливает она,— ушел ни свет ни заря,— и разводит руками, словно и сама жалеет об отсутствии мужа.

— Наверное, в корчме! — замечает старшая дочь, которая катает белье на огромном сундуке.

— Нет, нет, что ему там делать? — вступается за Тарнока жена.— Он бросил пить, ни капли в рот не берет.

— У Чикоштота его нет,— подтверждает Йошка Пап, но тут же ловит себя на мысли, что в селе есть и другие питейные заведения. В этом у них недостатка нет; вот, например, недалеко отсюда стоит корчма под необычным названием «Шесть титек».

Свое название корчма получила уже после сорок пятого года, когда хозяйкой в ней стала тетушка Мокуца. Муж этой полной, дородной женщины огромного роста скончался два года назад. При ней жили две взрослые дочери; одна из них, пожалуй, слишком засиделась в девицах.

Итак, в корчме — три женщины, все трое обслуживают гостей и втроем же выставляют за дверь всякого, кто ненароком хватил лишнего. Разумеется, они действуют втроем, когда с подобным посетителем не может справиться одна из девиц. Вчера ночью, например, Йошку Ваци сумела вытолкнуть младшая дочь без всякой посторонней помощи. Она локтем распахнула дверь, правой рукой взяла за шиворот подвыпившего Йошку и вышвырнула его на улицу. Ничего не скажешь, хороши девчата! Очень милые девицы! Деньги сыплются к ним, как из рога изобилия.

Стало быть, свое название корчма получила в честь трех особ прекрасного пола. А ведь всем известно, что трижды два это шесть... Достаточно лишь мимолетного взгляда на полный стан всех трех хозяек, чтобы без всякой арифметики понять и по достоинству оценить, как метко и удачно селяне прозвали это питейное заведение.

Вдова Мокуца и обе дочери весь день проводят в корчме; тут они и завтракают, и обедают, только что не ночуют. И умываются они дома, но причесываются чаще всего здесь же, за прилавком, не смущаясь присутствия кого-либо из гостей. Вот и сейчас младшая дочка Теруш в пестром халате сидит у стола рядом с печкой и расчесывает волосы. Напротив нее пристроился Тарнок, перед ним — стопка палинки, которую он уже давно потягивает, смакуя, мелкими глотками.

— Налить еще? — спрашивает Теруш, нахмурив брови от того, что гребень застрял в волосах.

— Нет, что-то не хочется,— отвечает Тарнок, хотя на самом деле у него просто нет денег. Он знает, что эти девицы приветливы до тех пор, пока у них не попросишь в долг.

У Теруш густые черные волосы и белая кожа, как и подобает хозяйке корчмы. Положив гребень на газету, она обеими руками поправляет прическу, держа в зубах заколку. Тарнок поглядывает то на гребень, то на газету, то на девушку.

— Дай-ка сюда, на минутку! Дай скорее,— быстро говорит он и тут же тянется за гребнем.

Теруш удивленно протягивает его Тарноку.

— Вот-вот, гляди! — И Тарнок подносит еще теплый от волос девушки гребень к бумаге. Гребешок притягивает к себе бумагу, как магнит железо. Некоторое время лист висит в воздухе, а затем падает на стол.

— Пора тебе замуж выходить,— неожиданно говорит Тарнок, кладя обе руки на стол и опуская голову.

В этот момент открывается дверь: входят Йошка Пап и Сито.

— Две стопки палинки! — еще на ходу бросает Сито и садится рядом с Тарноком. По другую сторону устраивается Йошка Пап.

Тарнок откидывается назад, в полной растерянности глядит то на одного, то на другого, лихорадочно вспоминая, что он мог опять натворить. Но так и не может ничего припомнить: за последнее время он никакой гадости, кажется, не сделал.

— И мне заодно закажите. А то, видите, пустая.— И Тарнок отодвигает от себя порожнюю стопку.

— Тогда не две, а три,— распоряжается Сито.

Теруш как была с распущенными волосами, так и встает с места, берет бутыль с палинкой и наливает в стопки. Надув губы, она снова начинает прихорашиваться: как это так, на нее никто не обращает внимания, словно она и не существует на свете.

Из задней комнаты выходит тетушка Мокуца, здоровается, но посетители не удостаивают ее даже взглядом. Склонившись друг к другу, они о чем-то вполголоса беседуют. Обиженная вдова садится у печки на плетеный стул, и с этого момента начинает казаться, что не она сидит на стуле, а стул каким-то странным образом держится под ней.

— Что знаю, то и расскажу. Я ведь всегда жил в дружбе с коммунистами,— говорит Тарнок, и в данную минуту он, кажется, сам в это верит.

— Вот потому мы к тебе и пришли. Зачем нам браться за хвост, когда можно ухватиться за гриву? — отзывается Йошка Пап.

Тарнок озирается, хотя ему хорошо известно, что других посетителей в корчме еще нет.

— То, что все скупают — это ерунда... А вот сегодня ночью что-то затевается... Давайте лучше выйдем, а то, чорт знает, на чьей стороне эти девки...— И они втроем выходят.

А на улице все идет своим чередом: одни возвращаются из

сельпо со свертками, другие еще только направляются туда. Всю вторую половину дня люди лихорадочно делают закупки.

Вместе с Тарноком Пап и Сито обошли уже три корчмы, а затем направились к Сито, где закусили яичницей с колбасой. Как бы между прочим Йошка Пап заикнулся о том, что он непрочь, пожалуй, отведать винца у Сито.

Наступил вечер, обычный сельский вечер. В окнах домов один за другим погасли огни, в урочное время закрыли сельпо. Продавец со стуком захлопнул железные ставни, их лязг разнесся далеко в вечерней тишине. Одинокие пешеходы еще изредка сновали по улице, потом всюду воцарилась такая тишь, словно этот покой никогда ничем не может быть нарушен.

Поздно вечером посередине улицы шествовал человек. То был Тарнок. А несколько поодаль шли еще двое, стараясь не приближаться к нему, но и не слишком отставать. Это были Сито и Йошка Пап. Перейдя через мостик, Тарнок оглянулся вокруг, потом подошел к сельпо, нагнулся и приник к замочной скважине. Внезапно выпрямившись, он вдруг неистово замахал руками. Двое других подбежали к нему.

— Смотрите! Взгляните туда!

Сито и Пап по очереди прильнули к скважине.

На прилавке горела свеча, вокруг были раскиданы обрывки бумаги, тряпки. Было ясно, что это сделано нарочно, чтобы устроить в лавке пожар.

— Товарищ Сито, беги в полицию! А ты, Тарнок, давай сюда ключ! Он у тебя?

— Откуда у меня ключ?

— Тогда тащи топор! Скорей!

Когда Сито побежал в полицию, Тарнок тотчас же исчез; недаром он знает окрестные дворы, как свои пять пальцев. Не прошло и нескольких минут, как он снова появился с большим топором в руках. Хозяин топора теперь может искать его до самой своей кончины.

Первый удар Йошка Пап нанес по ставням, потом попытался их взломать. Раздался грохот, лязг железа. В окнах ближайших домов замигали огоньки. Яростно залаяли и завыли псы. Послышался топот ног.

Дом Анны Кокаш напротив. Хозяйка выбежала на улицу в одном исподнем, видать, выскочила из постели.

— Что там? — спросила она, лязгая от страха зубами.

— Это все «Голос Америки»,— громко сказал Йошка Пап.

Наконец замок поддался. Вдвоем они подняли покареженные по краям железные ставни, остановились на пороге, увидели ярко горящую свечу, и сразу в нос им ударил запах керосина, которым злоумышленники облили деревянный прилавок и разбросанную вокруг бумагу. Их намерения были ясны и определенны: как только свеча догорит, бумага вспыхнет, огонь перебросится на прилавок, а затем пламя охватит весь дом.

Какая выдалась ночь! Народная полиция оцепила сельпо. Канья-Киш, по очереди обходя дома, арестовал корчмаря, бухгалтера, заведующего сельпо и продавца. Рано утром из областного центра прибыли два ревизора, которые пытались разыскать бухгалтерские книги, но напрасно — их и след простыл. Вскоре приехал начальник уездного отделения полиции. Вначале он наводил только справки, а в полдень уже вплотную приступил к делу. Его особенно интересовал капитан Дьери, но тот, как известно, успел скрыться. Были допрошены Дюрка Боди и свидетель происшествия — пастух. Однако, как выяснилось, нити преступления пока не шли дальше круга служащих сельпо.

В селе царило возмущение. Оно нарастало по мере того, как Чикоштот и его единомышленники шли под конвоем полицейских по улице, неся подмышкой отрезы шерсти и рулоны полотна, которые пытались припрятать дома.

— За ноги их надо повесить! — кричали вслед крестьяне. Но дело работников сельпо оказалось не таким простым. Трибунал прежде всего занялся вопросом: имел ли место поджог? И придя к выводу, что горящая свеча еще не свидетельствует о факте поджога, передал дело на рассмотрение народного суда.

Чикоштот получил четыре года, остальные — по три, два и одному году заключения.

Глава вторая

1

На судебном заседании Чикоштот и его сообщники твердили, что капитан Дьери систематически пичкал их слухами об американских войсках, готовящихся якобы к высадке на европейском континенте. В то же время обвиняемые упорно обходили молчанием действия деревенских богатеев. Те слишком хитры, чтобы самим ввязываться в темное дело. Они и в прошлом любили загребать жар чужими руками, заставляя других работать на себя, следя за тем, чтобы батраки и испольщики ни минуты не оставались без дела. История с сельпо и вызванная этим буря в селе пронеслась над головами богатеев, даже не задев их. И вскоре жизнь потекла по своему обычному руслу.

В начале марта вдруг снова похолодало, земля окоченела, подул северный ветер, пошел снег — сначала как бы нехотя, а потом все плотней и чаще.

Крыши домов сразу стали тяжелыми, стога сена, кучи соломы, штабеля кукурузных стеблей — все как бы выросло. Празднично принарядились бедные крестьянские дворы. Но не было ничего прекраснее тополей, яблонь, акаций, тутовых и ореховых деревьев. Смотрит на них человек — красота такая, что слова не вымолвишь, даже самые тонкие веточки покрыты слоем пушистого снега. Ветви деревьев гнутся, будто отягощенные обильным урожаем.

По дворам хозяева деревянными лопатами прокладывают в снегу дорожки к колодцам, к хлеву, к стогам соломы и сена — повсюду, куда изо дня в день вынужден ступать человек.

Звонят на колокольне, но звон нынче не тот. Он глухой, напоминающий звук шлепнувшегося оземь снежного кома, а не раскатистый, как в другие времена года. Под погребальный перезвон по главной улице медленно движется к кладбищу траурная процессия. Впереди, пробивая дорогу в снегу, бредет хор мальчиков. На ходу ребятишки завывают тонкими голосками, словно забравшиеся в щели комары:

> Не уходи, отец, постой,
> Не удаляйся на покой!
> Останься здесь, средь чад твоих,
> Не покидай так рано их.[1]

«Отец», которого сейчас хоронят, не столько отец, сколько дед — тесть Ференца Тарнока, старик Чорба. Еще в прошлом году он ездил свататься в Дебрецен к одной вдовушке, хотя ему уже и тогда было далеко за восемьдесят. Не очень он жаждал «уходить на покой». Но что поделаешь, несут!

Мальчуганы притаптывают снег и тянут заунывные псалмы. За ними шествует певчий, который, однако, оказывается не мужчиной, как полагается в каждом порядочном селе, а женщиной. Она получила это место по рекомендации его преподобия господина Эрне Пепи. Голосистая крестьянская девушка, она вышла замуж за богатого дебреценского купца, но вскоре возвратилась в родное село, разодетая на господский манер. С тех пор она так и застряла здесь. Сначала всех уверяла, что приехала только погостить на лето, но лето сменилось зимой, потом снова наступило лето и опять зима: видать, богатый купец окончательно отрешился от брачной жизни. Позднее выяснилось, что он вовсе не был богат, а женился потому, что рассчитывал на ее приданое. Так они и надули друг друга. На память о прежней жизни у нее ничего не осталось, кроме поношенной шубы из крашеной кошки, линялой муфты и меховой шапки. Чтобы как-нибудь устроиться, она прошла шестинедельные курсы церковных певчих в Пеште. А почему бы и нет? Если коммунисты могут на курсах готовить из женщин бухгалтеров и прочих специалистов, почему же этого не может сделать церковь? Во всяком случае, ее вот подготовили.

Бок о бок с певчей по проторенной дорожке ступает его преподобие господин Эрне Пепи. В руках у него псалтырь, на плечи наброшена мантия. Пастор не поет. Ему не приличествует драть глотку на улице. Он шествует с важным видом, как и подобает священнику. За то, что он сопровождает до кладбища гроб с телом усопшего, ему положено особое вознаграждение. Глядишь, этот плут Тарнок отсчитает все пятьдесят форинтов, но, возможно, не даст больше тридцати... Пастор отгоняет от себя эту мысль, но она назойливо преследует его. Но разве в этом виноват священнослу-

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе Д. Самойлова.— *Прим. ред.*

житель? Ведь даже гроб Христа, и тот не охранялся даром: после той печальной ночи в Иерусалиме стражи поделили между собой все, что нашлось ценного в христовом гробу.

За селом, у самого кладбища, ветер усиливается. Ребятишки кашляют, лица их багровеют, как красный перец. То один запоет, то другой подтянет, ну впрямь жеребята в упряжке,— все в разнобой! Те из крестьян, кто гундосил, заунывно подпевая мальчишкам, сейчас и вовсе замолкают. Только певчая, несмотря на ветер, продолжает петь, но голос ее пропадает бесследно, как по словам иудейского царя Соломона, пропадает след змеи на скале... орла в небе или след от поцелуя мужчины на теле женщины.

Похоронная процессия вступает в кладбищенские двустворчатые ворота, которые сохранили лишь одну свою половину, а вторую кто-то стащил на дрова или на доски для сарая. На изувеченных воротах написано: «Воскреснем!»

«Воскреснем — чорта с два!»... злобно думает Тарнок, вступая на погост. И без того эти похороны обошлись ему в копеечку, а сколько пришлось бы еще потратиться, ежели — не приведи господь — старик вдруг воскреснет и его снова придется хоронить!

От ворот до могильной ямы снег еще утром разгребли лопатами, но сейчас дорожку снова покрыло толстым снежным саваном. Певчая, как тяжкую ношу, волочит по снегу свою длинную кошачью шубу, словно это не одежда, а ее собственная шкура. Снег все идет и идет, кружится вихрем, будто пыль от ветхой стены, готовой вот-вот рухнуть. Звонарь в последний раз ударяет в колокола, и гул их доносится сюда так, будто где-то далеко забивают в землю сваи.

Каждый раз, когда хоронят покойника, провожающие ждут, что сейчас произойдет нечто необычное: может быть, кроме слез, причитаний и песнопений найдется кто-нибудь, кто сумеет утешить живых. Но этого еще ни разу не случалось. Всегда одна и та же картина, одно и то же разочарование. Певчая, закончив свой заунывный псалом, прочищает горло, молча поворачивается и уходит, волоча за собой длинную кошачью шубу. Пастор поправляет мантию; сколько он сейчас получит: тридцать или пятьдесят — вот вопрос, который его особенно волнует. Затем он рысцой догоняет певчую и они вместе возвращаются домой.

— Приходите сегодня на религиозный вечер,— говорит ей пастор.

— Сегодня? Когда?

— После молитвенного собрания. В половине восьмого.

Певчая перебирает в уме сегодняшний день: с утра похороны, после обеда, часов в пять-шесть, молитвенное собрание, а тут еще в половине восьмого этот религиозный вечер; не слишком ли много для одного дня? Хорошего понемножку. Хотя все же на вечер она должна пойти: ведь его устраивает сам пастор.

Религиозные вечера формально доступны для всех, но совершенно исключается, чтобы туда мог проникнуть кто-либо, не при-

надлежащий к кругу новообращенных. Каждого новичка — будь то мужчина или женщина — уже заранее подготовляли в соответствующем духе другие посвященные. В чем смысл всего этого религиозного суемудрия? Вернуться к евангелию, внять его заветам, жить замкнутой общиной в лоне церкви. Не пьянствовать, не сквернословить, не красть, а денно и нощно петь псалмы, усердно молиться. Помогать нуждающимся, заботиться о несчастных, но, разумеется, только о тех, кто принадлежит к секте. А до остальных им дела нет! Пусть живут или подыхают. И, что самое главное, каждый новообращенный давал обет: при всех обстоятельствах быть преданным чадом церкви.

Вот где собака зарыта! А преданность эта выражается раньше всего в том, чтобы ни при каких обстоятельствах не покидать своего пастыря.

Новообращенные должны называть друг друга братьями, по улице ходить не иначе, как под руку, подчеркивая этим, что они посвящены в великие таинства, ибо им принадлежит загробный мир. Никаких иных практических преимуществ пастор предоставить своей пастве не мог, за исключением, правда, того, что пасторша вновь обращенных крестьянских девушек и женщин называла на «ты» (хотели они этого или нет). Этим не ограничивались преимущества новообращенных. Когда сестра по духу вступала в брак, путь в церковь для нее устилали цветами, она стояла у алтаря под цветочным дождем и, выйдя из церкви, снова ступала по цветам... Правда, зимой цветов нет. Но ведь вовсе не обязательно выходить замуж именно зимой!

На религиозных вечерах пастырь вдоль и поперек толковал библию. Церковная служба предназначалась для всех, а вечерние собрания — только для избранных. Для тех, о ком после смерти будут говорить, что он почил в бозе и на том свете пребывает в вечном блаженстве.

Справедливость требует отметить, что пастор сам никогда серьезно не верил в то, что новое религиозное движение в лоне реформатской церкви может, подобно степному пожару, распространиться по всей стране и помочь в борьбе против коммунистов. Нет, для этого у него хватало ума. Но тогда зачем же ему понадобилась вся эта затея?

Прошли те времена, когда крестьян заставляли платить церковный налог. Даже местные богатеи, и те только изредка приносят более чем скромные подношения. А с этого не проживешь. Сто шестьдесят хольдов церковной земли прирезали кооперативу. Если духовному пастырю своими красноречивыми проповедями удается пробудить совесть верующих, случается, что какая-нибудь старушка принесет ему курочку или крынку молока. Но это имеет смысл только, если такие подношения поступают сверх обычного дохода.

В былые времена немалый барыш приносили крестины и похороны. Но нынче и это пошло прахом. Во-первых, теперь реже крестят детей, а во-вторых, стали меньше умирать. Вот, например,

сегодняшний покойник — первый с начала года, да и тот отошел в лучший мир из-за того, что ему давно перевалило за восемьдесят пять. Тарнок закатил торжественные похороны с попом только затем, чтобы хоть отчасти замолить свои грехи, разумеется, не перед всевышним, а перед односельчанами. Собственно говоря, за такие пышные похороны священнику причиталось бы пятьдесят форинтов. Но так как пастор хорошо знает Тарнока, он рад и тридцати.

Таковы уж по своей природе материальные заботы; они не оставляют человека в покое и вызывают в нем все новые и новые думы. Если евангелическое движение пустит корни в селе, это даст ощутимые результаты для пастора: верующие добровольно понесут пожертвования.

«Да,— думает пастор,— иного выхода нет: надо проповедовать, убедить людей в том, что в загробном мире их ждет блаженство. Легче всего это сделать весной, в пору, когда пробуждается природа и человеческие души становятся мягче и податливее».

2

Мартовский снег неожиданно выпадает и так же быстро исчезает. Перестает дуть ветер, ночью вдруг ударяет мороз, все леденеет, но после восхода солнца с юга приходит теплый ветерок, с крыш каплет, и уже к полудню лишь кое-где с северной стороны, под самыми заборами, остаются почерневшие снежные сугробы.

В такие дни у крестьян еще мало работы, но завтра или послезавтра ее может оказаться столько, что люди не будут знать, за что раньше взяться.

В правлении кооператива «Свобода» полно людей — и в прихожей и в конторе. Даже в комнате Шари Фейер сидят трое крестьянок.

— Надо вывесить объявление, что мест нет,— предлагает Кари Вереш и от всей души хохочет над собственной шуткой.

— В тесноте, да не в обиде,— заключает Балаж Фюрес, боясь, как бы разговор не перешел на другую тему, лишив его удовольствия продолжить свой рассказ о самом значительном событии его жизни: пребывании в плену. Он рассказывает об этом группе крестьян, удобно расположившихся на лавке у стены. Фюрес стоит перед ними, сопровождая свое повествование жестами и мимикой.

— Вот, везет, значит, нас поезд на север. Ночь темная, мороз трескучий. Едем — мерзнем, да это еще куда ни шло, только бы знать, куда нас везут. Кто говорит так, кто — сяк. Словом, решился я бежать. Замечаю, чем дальше к северу, тем меньше охрана. Было часов десять вечера, когда наш состав остановился на какой-то станции... Кругом — темень непроглядная, только снег поблескивает. «Ну,— говорят ребята,— наверное, здесь нас накормят ужином!» Сразу загромыхали котелки. И впрямь: отворяется дверь и караульный кричит: «Ужин!» Стали мы выбираться

из вагона и вышли к большому освещенному вокзалу. Вокруг суетятся конвойные с автоматами. Нас выстраивают, и мы в два ряда идем в конец платформы. Я присматриваюсь, как бы улизнуть. Откуда ни возьмись, мимо нас прогромыхала моторная тележка с багажом. Конвойный посторонился и отбежал вперед, а мы вчетвером подались назад. Тут только меня и видели! Как прыгну в сторону, гляжу — кругом пассажиры готовятся к посадке. Стою, меня со всех сторон толкают — оказывается, я всем мешаю. Ну а что дальше? Куда податься? Двинулся наугад, в город. Иду, глазею на дома, а куда постучаться, не знаю. Мерзну. Живот от голода подвело. Высмотрел я себе небольшой такой аккуратный домик; ну, думаю, Балаж, здесь ты сегодня поужинаешь... Короче говоря, вхожу в этот дом. Только переступил порог кухни — передо мной молодая женщина; уставилась на меня и глаз не отводит. Как могу, показываю ей, что, дескать, голоден и замерз, а она вдруг как заголосит! Ну, вижу, пока не поздно, надо отсюда сматывать удочки. Выскочил я на улицу; куда идти? Если в маленьком домике не удалось, дай-ка попробую в большом. Иду дальше. Высмотрел я себе большой красивый дом: громадные окна, все в огнях, перед домом такой приветливый палисадник. Стучу наугад в первую же попавшуюся дверь. Вот тут мне и повезло. Дверь открывает молодой офицер и впускает меня в дом. Жена у него — красивая такая; смотрят оба на меня, а я объясняю и по-венгерски, и по-румынски: замерз, мол, и хочу есть. Офицер сказал что-то жене, а мне показывает — садись, дескать. Сажусь. Он угощает меня сигаретами и спрашивает: «Австрия?» — «Какой там австрияк,— отвечаю ему,— мадьяр, венгерец!» — «Ах, венгерец!» — говорит. Беседуем мы с ним, а я одним глазом на молодую хозяйку поглядываю, что она там готовит? Поджарила она яичницу из шести яиц, ставит передо мной на стол и показывает: ешь, мол! Что мне оставалось делать? Приступил я к еде, а хозяева все смотрят на меня. Когда я поел, офицер накинул шинель и говорит: «Пошли!» Ну, думаю, держись, Балаж, кто знает, куда он тебя поведет на ночь глядя...

— Балаж Фюрес, зайди-ка! — зовет его Сито из комнаты, где заседает правление.

Балаж, весь еще погруженный в воспоминания, обеспокоенно смотрит на своих слушателей.

— Пардон! — говорит он таким тоном, словно всю жизнь именно так извинялся за прерванную речь, и выходит.

Крестьяне молча глядят на захлопнувшуюся за ним дверь. Трудно сказать, о чем каждый из них сейчас думает. Большинство из них считает дела кооператива своими: они ежедневно приходят сюда, не дожидаясь особого приглашения, беседуют, помогают по двору, если потребуется — работают в хлеву, в конюшне, а закончив, возвращаются в правление. Вот и теперь все смотрят на дверь комнаты, где идет заседание, и думают: вот сейчас произойдет то, чего они так долго ждут.

О том, какую работу можно выполнять сейчас, зимой, никто особенно не раздумывает, хотя, например, не мешало бы вырубить деревья на кооперативном дворе, тем более что срочно потребовался лес для строительства. Осенью кооператоры приступили было к вырубке, но потом все забросили. Можно возить навоз на поля, но его очень мало. За два-три дня набирается пара возов, и его тотчас же вывозят на пашню. В короткие зимние дни за перевозку трех возов начисляется один трудодень, который бухгалтер Сито сразу записывает в расчетную книжку,— эти книжки члены кооператива всегда носят с собой. Само по себе это правильно, но дело в том, что у одних членов кооператива записи трудодней быстро прибавляются, у других их очень немного, а у большинства в книжках еще вообще нет никаких записей. Пока это небольшая беда, ибо и тот, кто уже успел заработать трудодни, еще ничего не получил. Платить не из чего. Правда, ходят слухи, будто кое-кто, например Шандор Катона да старый Бири, все же урвал себе деньжат. Как это могло получиться? Выходит, потворствуют именно тем, кто скорей ремесленник, чем крестьянин? Об этом никто пока прямо не говорит, но иногда в тесном кругу намекает Балаж Фюрес. И вот теперь его вызвали в правление... Наверное, зададут головомойку!

Со двора в дом вошли старый Бири и Шандор Катона, принеся с собой запах хлева,— они помогают Шари Фейер ухаживать за свиньями. Катона с осени уже совсем переселился в помещение правления. Шари набила соломой матрац, который Катона на ночь стелит возле печки, а утром сворачивает и уносит в чулан. У Шари он и столуется. Катона полезный человек: осенью трудно было бы без него справиться с озимыми.

— А ну, кто угостит табачком? — спрашивает Бири таким повелительным тоном, что ему нельзя отказать. Кари Вереш лезет в карман за кисетом. Бири, чуть взглянув на него, протягивает руку, а сам уже заговаривает с другими:

— Немало свиней я видел на своем веку, но такой, как эта кучерявая рыжуха, не встречал.

— И порода-то не мангалицкая,— замечает Кари Вереш и отсыпает в ладонь старика добрую щепоть табаку.

— Что ты? Самая настоящая мангалица, хоть и рыжая. Но я не об этом хочу сказать. Главное, что она...— и Бири заводит разговор о достоинствах рыжухи: как она бережно относится к поросятам, как осторожно встает и ложится, чтоб их не придавить...

Мало-помалу разговор переходит на другие темы. Крестьяне так увлекаются беседой, словно и не думают закончить ее до позднего вечера. Они обстоятельно все обсуждают, во всем докапываются до корня, и вскоре атмосфера уже напоминает ту, какая бывает обычно около горячей печи в момент, когда хозяйки пекут пироги.

Тем временем в соседней комнате идет заседание правления. Там накурено, душно, воздух такой, хоть топор вешай. За письмен-

ным столом восседает Бердеш, на краю примостился и что-то подсчитывает Шаркези, тут же Сито, Йошка Пап, Лайош Кошут-Киш, Бенце.

— Так вот, товарищ Фюрес, правление решило организовать бригаду по свиноводству. Мы собираемся предложить общему собранию твою кандидатуру в качестве бригадира. А Кари Вереша назначим твоим заместителем, он будет отвечать в первую очередь перед тобой, а ты — перед товарищем Папом; в его ведении должно находиться все животноводство. Решили поговорить с тобой заранее, чтобы это известие не застало тебя врасплох. Думаю, общее собрание с нами согласится. Ну как, возьмешься?

Фюрес растерян.

— Чем я заслужил, что мне поручается такое большое дело?

— Пока ничем. Еще никто ничего у нас не заслужил, товарищ Фюрес. Мы тебе доверяем; ты человек, правда, молодой, но толковый, бывалый. Вот и покажи сейчас, на что ты способен. А теперь попроси сюда Кари Вереша.

Фюрес уходит. В комнате появляется Верещ. У него такой озабоченный вид, словно он боится, что его сейчас выгонят из кооператива за эту старую историю с расклейкой листовок. Бердеш бросает на него долгий, пристальный взгляд.

— Ты мог бы взяться помочь Фюресу на свиноферме?

— Я, товарищ, могу за все взяться.

— Речь идет не о всем, а только о свиноферме! Это очень важно, понимаешь?

— Чего там не понять? Я свиней знаю, как самого себя,— в замешательстве выпаливает Вереш.

— Ну, а как поживают поросята, которых тебе обещали осенью? — не без ехидства спрашивает Бердеш.

Вместо Вереша отвечает Шаркези:

— Оставим это дело, дядюшка Лайош.

Члены правления долго беседуют с каждым крестьянином в отдельности. Ведь это первый серьезный шаг в организации коллективного труда. Назначаются ответственные и за птицеферму, и за молочный скот, и за лошадей. Сколачиваются полевые бригады.

Как бы ни был хорош план, но, пока его не утвердит общее собрание, он остается лишь проектом. Однако и составление плана потребовало немалой работы. А сколько еще осталось нерешенных важных вопросов? Как быть, например, с кормами для скота? Чем платить за трудодни, когда наступит страдная пора и закипит работа?

Оказывается, Йошка Пап уже думал об этом и даже подготовил предложения. По его подсчетам, в кооперативе сейчас пятьсот десять поросят; за пару молочных поросят на рынке дают пятьсот форинтов. Вот и надо продать двести штук, на вырученные деньги купить свиней для откорма, заключить на них контрактационный договор с государством и получить в счет его столько денег, чтобы выдать аванс на трудодни, а также выстроить новую свиноферму.

План довольно сложный, но если кто-нибудь имеет другие предложения, пусть изложит их здесь или на общем собрании.

Общее собрание назначили на четвертое марта, в четыре часа дня. На нем в торжественной, как принято в таких случаях, обстановке готовились принять в кооператив четырех новых членов. Одним из новичков был Бодок, затем еще один молодой хозяин и двое пожилых. Но вот уже четыре часа, пора открывать собрание, а тех, кого должны принимать в кооператив, еще нет.

— Подождем малость? — спрашивает Бердеш у Шаркези.

— Да, надо подождать. Все-таки без них неудобно.

Четверть пятого, половина пятого; в зале поднимается шум; это не протест против опоздания — так обычно бывает перед началом любого собрания.

— Они не придут! — кричит с места Фюрес.

— Откуда ты знаешь?

— Не знаю, а думаю. Видать, этот старый хрыч Керекеш отговорил их.

— Верно. Ведь он тесть Чикоштота.

— Вот именно. Говорят, Керекеш будто сказал: раз его зятя посадили, кооперативу будет крышка!

— Ну, уж этого ему не добиться! — ерзает на своем месте Бердеш и снова вглядывается в зал: не появились ли эти четверо?

Будущий бригадир полеводческой бригады Лайош Кошут-Киш тоже волнуется.

— Если они не придут, мой план сорвется!

Видимо, и он кое-что подготовил к собранию. В общем, договорились, что и где сеять в нынешнем году. Таким образом, правление уже теперь знает, сколько людей потребуется для прополки, косовицы и других работ.

Бердешу дело представляется куда проще: не хотят — ну и не надо, чорт с ними!

— Начнем! — решительно говорит он.

Шаркези в знак согласия кивает головой и глубоко задумывается. Капитан Дьери скрылся, шайку Чикоштота арестовали, осенью местное кулачье получило основательный урок. Неужели не будет конца вражеским проискам?

Но вот встает Балаж Фюрес и обращается к собранию с сообщением:

— Считаю своим долгом рассказать вам, товарищи, что реформатский поп опять бегает по всему селу и обивает пороги каждого дома. Он снова пытается сколотить кружок по изучению библии или как он там еще называется... В общем, поп опять взялся за то, что ему не удалось осенью. Может, наши новички потому сегодня и не явились, что поп завербовал их.

И хотя многие уже знают о поповских происках, но в зале сразу поднимается невообразимый шум, слышатся возмущенные голоса:

— Пора вывести его на чистую воду!

— Сам себя выведет! — кричат люди. Среди общего гула выделяется голос Кари Вереша:

— Товарищи! Я предлагаю, чтобы кто-нибудь из нас нарочно вступил в поповский кружок. Изнутри лучше видно, что там делается!

Вереш сказал это на свою беду. Со всех сторон на него заорали:

— Что, опять свою прыть проявляешь? Видать, история с листовками тебя ничему не научила?..

Кари Вереш втягивает голову в плечи.

Только Лайоша Кошут-Киша ничего не волнует, кроме своих новых обязанностей полевода.

— Если мы не привлечем для прополки еще хотя бы двадцать семей, вся сахарная свекла пропадет; сорняки забьют,— озабоченно говорит он.

Но Бердеш не выносит нытиков:

— Еще снег не сошел, а у тебя уже от прополки поясница болит,— напускается он на Кошут-Киша.

Как обычно, много речей, споров. Семь часов. Издалека доносится колокольный звон, зовущий верующих в церковь.

Четверо новичков так и не явились. Члены кооператива переходят к распределению работ. Собрание одобряет предложения правления с той лишь поправкой, что Кари Вереш будет приставлен к лошадям, а не к свиньям, как предполагалось раньше. Вместо него помощником Фюреса на свиноферме собрание утверждает Шерфезе, который до этого работал конюхом. Говорят, он виноват в том, что недели две назад у него вырвалась из упряжки лошадь. Стало быть, нельзя ему доверить лошадей!

Протокол общего собрания в ту же ночь оформили и, приложив к нему план весенних полевых работ, отправили в уезд.

3

Усадьба Барань для животноводства, а особенно для разведения свиней, оказалась превосходным местом. Здесь есть где расти поголовью. Период опороса в этом году немного затянулся и закончился только в конце февраля. Но поздний молодняк за лето сможет выправиться. Теперь наконец-то в усадьбе началась нормальная жизнь. В приусадебных постройках разместили и лошадей, и коров, и свиней; в старой оранжерее временно устроили небольшую птицеферму.

Старшей птичницей работает жена Шандора Катоны. Знают толк в своем деле и конюх Кари Вереш и Бени Гуяш на молочной ферме. Свинофермой заведует Балаж Фюрес, которого со всей семьей вселили в барский дом: во-первых, потому, что в селе он ютился в жалкой комнатушке у тестя, а во-вторых, в надежде, что его жена сумеет поддерживать порядок во всем доме. Из четырех комнат с подсобными помещениями Фюресу выделили одну ком-

нату, кухню и чулан. Остальные комнаты стоят нетронутыми. Старик Монок попрежнему обитает в усадьбе, сторожит ее не только ночью, но и днем. Михай Бири ведает фуражом, работы здесь немного, и он частенько ходит по конюшне и по ферме с заложенными назад руками. Он задумчив, молчалив, не бранится и не хвалит, только иногда остановится, чтобы понаблюдать за работой. И это действует сильнее, чем похвала или ругань.

Хотя в усадьбе живут только Фюресы и Монок, но кажется, что на дворе стало многолюдно. Жена Фюреса выбелила кладовую, для которой отгородили место в коровнике. Здесь, когда выдается свободная минута — это чаще всего бывает вечером,— собирается народ. А ночью в ней коротают часы дежурные по скотному двору. Старик Бири тоже побелил себе уголок в сарае, где раньше хранился всевозможный сельскохозяйственный инвентарь.

Вчера погода уже была совсем хорошая, но сегодня вдруг небо затянуло тучами, подул резкий северный ветер, и мелкий сухой снег крупой посыпал на землю.

— Превратись эта крупа в кукурузную муку!..— пытается сострить Шерфезе, стоя с Моноком в дверях свинарника и глядя на небо.

— Или хотя бы в жмыхи,— подхватывает старик.

— А ячменные отруби для свиней — и того лучше! — не уступает Шерфезе.

— Ну уж если на то пошло, то лучше пшеничных отрубей не сыскать...

— Тоже неплохо, но сами по себе они жидковаты,— и Шерфезе сплевывает с таким презрением, что, кажется, сама непогода должна была на него обидеться. Странный человек Шерфезе. Ведь он знал, что с лошадьми ему не справиться, а все-таки взялся за это дело. Что бы ему ни поручалось, он за все берется. На конюшне они работали вдвоем, но старшим конюхом считался Шерфезе. С лошадьми ему приходилось иметь дело очень давно, в бытность свою солдатом. Ему там досталась кобыла с норовом, и однажды фельдфебель застал его врасплох, когда он, боясь подойти к лошади, чистил ее скребницей через перегородку.

Шерфезе хочется, чтобы ни один завистник не мог придраться к вверенным ему свиньям; как известно, свиньи не лягаются, не убегают и не переворачивают телег. Но что делать, если не хватит кормов, да и погода не установится? Хоть бы скорее выгнать их на пастбище!

Ненастье и связанная с этим судьба свиней волнует не только Шерфезе и старика Монока, но все правление и даже Шари Фейер, хотя она теперь перешла на работу в правление. Нынче утром она вошла в контору и сразу спросила:

— Товарищи, когда же, наконец, мы получим жмыхи?

В это время члены правления совещались о том, как привлечь в кооператив новых людей. Они несколько растерянно взглянули на Шари, затем Сито ответил:

— И впрямь. Еще позавчера должны были получить. А до сих пор ничего нет. Может быть, из-за этого Кульчар к нам и не показывается.

— Это не так просто делается! — замечает Бенце.

— Будь у него свой склад, тогда другое дело...

— Все будет в порядке,— пытается успокоить их Бердеш.

Но тут разговор прерывает Шари:

— Забыла вам сказать, что утром звонил товарищ Кульчар и сказал, что приедет в полдень.

— Вот видите! — восклицает Бердеш.

И действительно, ровно в двенадцать в село приезжает Кульчар.

За последнее время он все чаще стал сюда наведываться. И люди привыкли к тому, что каждый раз с его приездом связываются какие-то события в их жизни. Сразу же после образования кооператива Кульчар обещал восемьдесят свиноматок и сдержал свое слово. Потом он добился кредита в десять тысяч форинтов, а теперь кооператоры с нетерпением ожидали, привезет ли он только жмыхи или что-нибудь еще.

Кульчар входит в правление и вместо приветствия говорит:

— Сорок центнеров жмыхов и двадцать — отрубей! — Скинув с шеи новое кашне, он засовывает его в карман и снимает пальто. Только после этого здоровается:

— Сабадшаг!

— Сабадшаг! — отвечают ему присутствующие.

— Небось, ждете не столько меня, сколько фураж? Будут, будут корма. Все в порядке. Надеюсь, до нового урожая перебьетесь.

Загибая пальцы, Бердеш молча что-то считает в уме. Но Йошка Пап опережает его:

— Обойдемся. Рано посеем горох, после него пойдет ячмень, уберем ячмень — используем стерню, а там и кукуруза подоспеет... Но деньжата все равно нужны.

— Ну, конечно, без денег ничего не обходится. На помощь кооперативным хозяйствам деньги у государства всегда найдутся. Дело только в том, что многие в самом начале поступали легкомысленно: не задумываясь, брали у государства взаймы, а потом плохо хозяйничали, считая, что можно не возвращать долги: государство, мол, потерпит. Знаю одного такого председателя, который задумал покутить и, играя в кегли, вынул из бумажника сотенную: «Кто хочет поставить сотню на три бабки?» Деньги беречь надо, товарищи!

Бердеш чувствует себя обиженным этими словами:

— Какой же это председатель? Это не председатель. Его и человеком нельзя назвать.

— Ну, ладно, ладно, я ведь без намеков. Но советую не увлекаться государственным кредитом. Есть старая истина: ценится только то, что добывается с трудом. Если взяться за дело умеючи,

вы сможете многого добиться. Командирую к вам представителя сельскохозяйственного отдела, с ним и обсудите план летних работ. А теперь хочу рассказать, зачем я приехал. Двадцать пятого марта состоится общевенгерский съезд производственных кооперативов. Надо и вам послать на съезд своих представителей. С товарищем Фонадем мы уже об этом говорили. Уездный комитет полагает, что вам следовало бы избрать делегацию из трех человек, в том числе одну женщину.

— Женщину?.. Можно. Чего-чего, а этого добра у нас хоть отбавляй,— откликается Бердеш.

— Не так уж много. У нас в кооперативе всего две женщины,— вмешивается в разговор Сито,— Шари Фейер и жена Шандора Катоны.

— Что ты ерунду мелешь? И у тебя есть жена, и у меня — у всех жены.

— Да, но тут нужна такая женщина, которая активно работает в кооперативе.

— И зимой? Не беспокойся, лето придет — все женщины выйдут в поле.

Кульчар понимает, что спорят они только для того, чтобы оттянуть время. Сообщение Кульчара застало всех врасплох, и сейчас им надо обмозговать это новое и необычное для них дело. По-человечески вполне понятно и благородно, что каждый прежде всего подумал о своей жене. Как было бы хорошо и приятно поехать на съезд в Будапешт вместе со своей хозяйкой! Особенно упорно об этом думает Бердеш — ведь его жена всегда делила с ним и радость и горе. В семье ничего не делалось без того, чтобы они вдвоем заранее не посоветовались: один никогда ничего не решал без другого. Они были настоящими мужем и женой. Почему бы и теперь им не отправиться на съезд вместе? Так подсказывает ему сердце. Но разум говорит его устами совсем другое:

— Ежели в делегацию обязательно нужно включить женщину, то это может быть только жена моего друга Шаркези.

Сито тоже глубоко вздыхает, будто его жена уже собралась в дорогу, но — увы! — опоздала на поезд.

— Да, жена Шаркези самая достойная,— замечает он.

— А вы как думаете, товарищ Пап, товарищ Бенце, дядюшка Лайош?

— Правильно, пускай едет она,— разом отвечают они.

— Ну, а тебя мы и не спрашиваем, товарищ Шаркези. Значит, одним из членов делегации будет жена Шаркези. Как ее девичья фамилия?

— Фаркаш.

— «Рожи Фаркаш»...— и Кульчар вносит это имя в список.

Есть чувства, которые человек переживает, но не может выразить словами. Поэтому самое лучшее в такую минуту заговорить о чем-нибудь другом, дать выход своему чувству. Так и сейчас крестьяне ощущают потребность сказать Кульчару что-то

очень приятное, радостное. Ведь сказать ему доброе слово — значит выразить признательность тому, кто так помогает им, заботится о них и кто сейчас, кроме всего прочего, хлопочет о том, чтобы кооператив «Свобода» послал своих делегатов в столицу на общевенгерский съезд.

В одно мгновение собрание преобразилось,— все заговорили разом. Старик Бири твердит, что, дескать, пусть летом посмотрят, каким станет их кооператив. Сито вскакивает с места и, возбужденно шагая взад и вперед по комнате, то и дело выглядывает в окно и озабоченно спрашивает Кульчара, не простыл ли он в дороге: ведь на дворе собачий холод! А Бенце, бывший мельник, предлагает угостить чем-нибудь шофера, пусть Шари хотя бы поджарит ему яичницу. Даже Бердеш, и тот расчувствовался, словно выпил легкого белого вина.

— Видали, товарищи, что бывает в жизни: только думали-гадали, что нам делать, а теперь на радостях не знаем, чем отблагодарить...

Йошка Пап порывается что-то сказать, видно, очень хорошее, человечное, идущее из глубины души. Ему хочется поведать о трагической гибели отца и о своих светлых надеждах на новую жизнь, но у него не хватает слов. Ведь он не ходил в лохмотьях, не нищенствовал, как эти люди, сидящие вокруг; и теперь он будет жить в достатке, ибо близкий расцвет кооператива у него не вызывает никаких сомнений. Дорогу к этой новой жизни он видит яснее тех, кто все время находился в нищете. Они тянутся к лучшей жизни, побуждаемые мечтой, но не знают этой жизни, ибо ни разу еще не вкусили, не изведали ее по-настоящему.

— Конечно, товарищи, посоветуйтесь еще с членами кооператива. Если они захотят послать других, разумеется, надо будет уважить их волю. Ясно одно: следует выбрать самых достойных.

— Посоветоваться, конечно, можно. Мы это и сделаем,— отвечает Бердеш.— Хотя, по правде говоря, если в таком деле не доверяют правлению, то зачем оно вообще нужно?

— Вы неправы, товарищ Бердеш. Каждый человек вносит свою лепту в общее дело. Значит, надо прислушиваться к голосу каждого. Выясните мнение всех товарищей и сообщите мне по телефону,— говорит Кульчар.

Затем он снова поднимает вопрос о фураже, который дня через два должен быть в селе, интересуется, как идет дело с привлечением в кооператив новых членов. К сожалению, по этому вопросу правление пока не может сказать ничего утешительного.

— Никак не пойму, в чем здесь загвоздка?

— Загвоздок много. Агитация против нас не прекращается. Используют все средства. А мы пока не можем противопоставить всему этому ощутимых результатов своей работы,— объясняет Шаркези.

— А пятьсот двадцать поросят — это тебе пустяк? — восклицает Бенце.

— Пустяк не пустяк, но ведь всем известно, что свиноматок дало нам государство. Стало быть, здесь хвастаться нечем.

— Ничего, результаты скоро скажутся. А сейчас самое главное — хорошо подготовиться к севу,— подбадривая кооператоров, говорит Кульчар и, попрощавшись, уходит.

На следующий день вечером состоялось общее собрание членов кооператива по вопросу о выдвижении кандидатов на съезд. На собрание пришли все, даже те, кто жил в усадьбе, за исключением старика Монока. И опять здесь повторилась та же история, что и на заседании правления: почти каждый прежде всего подумал о себе и своей жене. При этом никто, разумеется, не считал себя более достойным кандидатом, чем Йошка Пап или сам председатель кооператива,— просто каждый мечтал о том, как хорошо бы вдруг ему попасть в Будапешт. И если уж не самому, то, по крайней мере, хоть послать жену! Но раз на съезд могут поехать только трое, то среди них, конечно, должен находиться председатель, затем Йошка Пап — душа всего кооперативного животноводства и к тому же толковый, умный человек. Что касается Рожи Фаркаш... И теперь каждый в зале впервые подумал об этой женщине: на одну чашу весов мысленно положил ее добродетели, на другую — поездку на съезд. И все пришли к выводу — она достойный кандидат.

4

Легко было решить на общем собрании послать на съезд жену Шаркези, но как ее уговорить? Ведь она за всю свою жизнь не выходила без мужа даже за околицу. Да и в самом селе жила тихо, незаметно, держалась скромно и в кооперативе и в партгруппе. За что бы она ни бралась, все делала как бы ради мужа, ради его доброго имени и авторитета. И теперь вдруг ей надо ехать прямо в столицу, на съезд кооператоров!

— Зашли бы к нам, дядюшка Бердеш,— попросил Шаркези, возвращаясь с ним после собрания домой.

— Хозяйки своей боишься? — рассмеялся Бердеш и завернул вслед за Шаркези в проулок.

Было около семи часов вечера. Семья уже отужинала. Обычно домашние не дожидались Шаркези, когда он задерживался: неужели всей семье надо проглядеть глаза, пока он, наконец, явится. Зачем же томиться! Раз подошло время — садитесь за стол, ешьте. Ожиданием все равно не поможешь. Если один голодает, пусть хоть будут сыты остальные.

Хозяйка Рожи уже собрала посуду со стола, бабка, как всегда, уселась на лавке, старшая дочка Рожика нагрела воду для мытья посуды. Тут же суетится Жужика — ей, видите ли, захотелось мыть посуду. Самая маленькая вертится под ногами у старших: ей тоже вздумалось стать судомойкой. Между девочками возникает спор, а он как всегда сопровождается визгом. Старик Фар-

каш, примостившись у стола, нарезает на дощечке табачный лист. Входят двое мужчин.

— Живо собирай чемодан и едем в Пешт! — прямо с порога гремит Бердеш. Подойдя к Рожи, он наклоняется, потирает руки и пытливо смотрит ей в глаза.

— Все подшучиваете, дядюшка Лайош...

— Ничего подобного. Как говорю, так и есть,— и Бердеш отходит от нее.

Хозяйка вопросительно смотрит на мужа.

Шаркези добродушно улыбается.

— Не то, чтобы сразу, сию минуту... Но и впрямь тебя выбрали делегатом на съезд.

— Меня? — спрашивает изумленная Рожи.

— Ну да, тебя.

— На какой такой съезд?

— Общевенгерский съезд производственных кооперативов.

— Подумайте только... Вы что, с ума спятили? — ужасается Рожи, растерянно опускаясь на лавку рядом с матерью.

Бердеш хитро ухмыляется, Шаркези тоже едва сдерживает улыбку, а двое стариков растроганные молчат. Девочки моют и вытирают посуду, но теперь делают это так, что не производят ни малейшего шума.

— Наверное, хватили лишнего? — с укоризной говорит Рожи.

— Какое там хватили, мать! Правление выдвинуло тебя, а общее собрание единодушно проголосовало. Выходит, придется ехать.

А хозяйка все сидит, не отрывая взгляда от настольной лампы. Трудно догадаться, о чем она думает. Вдруг из ее глаз скатывается слеза. Лицо Рожи постепенно светлеет, словно яркий цветок, раскрывающий свои дивные лепестки. Вся прошлая неприметная жизнь вдруг расцветает на ее лице, и кажется, что к ней вновь вернулась былая девичья краса. Неужели и правда, она, Рожи Шаркези, будет представлять на съезде в Будапеште всех женщин кооператива «Свобода»? Она знала о съезде из газет, которые выписывает муж. В этой вечной гонке их не успевал читать ни Шаркези, ни Бердеш, зато она прочитывала все — от первой до последней страницы. Рожи представляла себе, что на съезд соберутся самые умные и знатные люди страны. Не будет ли она там выглядеть несведущей, серой и никчемной? Что, собственно говоря, она принесет на съезд? Что может она рассказать о своем кооперативе? Почти ничего. В лучшем случае, что муж приходит домой только ночевать, а все остальное время пропадает на работе.

— Не бойся, дочка, я тоже там буду,— подходит к ней Бердеш и широченной ладонью гладит Рожи по щеке.

Начиная с этого вечера и до самого отъезда время бежало незаметно. Рожи втихомолку готовилась в дорогу; частенько прини-

малась разбирать свои платья, прикидывая в уме, какое из них надеть, каким платком повязаться... В селе уже давно не носили национальной одежды, и крестьянки одевались в городские платья, правда, несколько упрощенных фасонов. Это повелось с тех пор, как обшивать женщин начала жена сельского мясника. Она научила их одеваться со вкусом, дешево и экономно. И Рожи теперь знает: стоит ей надеть именно это платье, которое она сейчас рассматривает, как на съезде обязательно ее приметят. Лицо Рожи мгновенно покрывается румянцем: уж не потому ли посылают ее на съезд, что у нее привлекательная внешность? При этой мысли ей становится неловко. И изредка, чтобы дочери не заметили, она нет-нет, да и взглянет в зеркало.

— Послушай, отец,— шепчет она ночью на ухо мужу.— Теперь ты мне скажи, почему именно меня посылают на съезд? Ведь я уже и не красивая, и не молодая...

— Глупая ты! Почему бы нам тебя не послать?

— Посылают же всегда за какие-нибудь заслуги. Я и в партийной организации не ахти как работала, чтобы на меня пал выбор, да и в кооператив не очень... втянулась... Так почему же, а?

— Вот затем, чтобы втянулась... Отправляйся спокойно. Когда вернешься, потолкуем,— успокаивает ее Шаркези и сразу засыпает.

Ей ничего не остается, как в темноте прислушиваться к его дыханию и думать, думать о съезде. Как это все будет выглядеть?

Наконец наступило время отъезда. В напутствиях и советах не было недостатка. Дочки опасались, как бы мать в дороге не простыла, а бабушка беспокоилась, что при пересадке Рожи попадет не в тот поезд. Отец тревожился, как бы она ненароком не заблудилась в столице, ведь он — мужчина, и то, помнится, однажды там заплутался. А муж все объяснял, как она должна вести себя на съезде. Ни в коем случае не выступать, даже если ее попросят. Удерживать от выступления и Бердеша. Им, членам кооператива «Свобода», пока еще нечем бахвалиться, а старик, как известно, любит прихвастнуть. О трудностях тоже не следует говорить, трудностей, верно, и у других хватает. В общем, все трое должны молчать и старательно записывать все, что услышат.

— Тогда надо захватить с собой и тетрадки, да, Имре?

— Там все получите. Хозяин, который вас будет принимать, нынче такой, какого еще никогда не было.

— Кто это? Министр, да?

— Он, верно, тоже там будет. Но я говорю о стране, о народе.

На рассвете, в четыре часа, Шаркези проводил жену к перекрестку, где условились встретиться все делегаты. Сюда пришел и Йошка Пап, которого провожала жена. В ожидании повозки Бердеша две супружеские четы вполголоса беседовали, прислушиваясь к молчанию еще темных улиц; каждый, даже самый тихий звук четко отзывался в предутренней тишине. Шаркези обратился к Йошке:

— Ты там посматривай за Бердешем. Он, правда, особенно не пьет, но знаешь ведь, с каждым может случиться. Кроме того, я уже говорил жинке, чтобы вы не давали ему там произносить речи. Лучше записывайте все, чему можно поучиться, и постарайтесь познакомиться с теми, у кого больше опыта.

— Разве за председателем уследишь?

— Там он вам не председатель. Просто делегат съезда. А ты несешь политическую ответственность за всю делегацию.

— Хорошо. Все, что от меня зависит, сделаю.

— Конечно, сделаешь, а как же иначе? Уверен, что все будет в порядке.

Все смотрят на дорогу. Наконец подъезжает повозка. Сито натягивает вожжи, лошади останавливаются. Люди на обочине дороги начинают прощаться. Шаркези берет Рожи за руку и, отведя ее немного в сторону, притягивает к себе и целует:

— Сервус!.. Береги себя,— эти тихие, нежные слова звучат для нее, будто эхо ее девичества.

Потом Шаркези подходит к Йошке Папу, сначала протягивает ему руку, а затем неожиданно обнимает и целует его. Какая-то теплая волна приливает к его сердцу. Йошка застенчиво отвечает на дружеские объятия, порывисто хватает дорожную сумку, на какой-то короткий миг прикасается к щеке жены, и вот он уже шагает по дорожной грязи напрямик к повозке. Бердеш, не слезая, протягивает руку Рожи. Еще минута — и Сито подхлестывает лошадей, которые несут повозку, как ветер — легкое перышко.

На перекрестке остаются Шаркези и жена Йошки Папа. Они вместе глядят вдаль, на восток, где в темных тучах пробивается утренняя заря. По мере того, как разливается рассвет, небо становится удивительно чистым и прозрачно синим.

— Вот и уехали,— с грустью произносит жена Йошки.

— Да, уехали. День — туда, день — обратно, два дня съезд, всего четверо суток: это пустяки. И, задумавшись, Шаркези смотрит на молодую женщину, которую до сих пор так мало знал. Иногда она появлялась на собраниях, но никогда не выступала.

— Ну, до свиданья... Сабадшаг! — тихо говорит крестьянка, и Шаркези чувствует по ее голосу, что такая форма прощания для нее непривычна.

— Погодите минуту. Я тоже в вашу сторону... Домой уж не пойду, загляну в правление...— И Шаркези идет следом за женщиной по пешеходной дорожке вверх по улице. Издали доносится стук колес повозки, завернувшей на повороте, потом и он, удаляясь, затихает. Еще некоторое время слышится цокот копыт, то глухо, то неожиданно звонко, когда кони бегут по камням, но вскоре замолкает и он.

Так начался путь делегации в столицу, на съезд.

...А уже на следующее утро поток делегатов поднимается по мраморной лестнице, устланной алым плюшем, в зал съезда. Для Рожи все кажется чудесным сном; прервись он — все кончится,

и это утро будет таким же, как обычно: старшая дочка Рожика уже встала, умывается. Жужка копошится в углу, муж чистит щеткой сапоги, мать подметает кухню... Но сон не проходит. Значит, все это она видит наяву. Делегаты съезда все идут и идут вверх по красному ковру, и она сама — лишь капля этого живого людского потока. Наверху, с потолка льется свет сотен и сотен ламп, сверкая и струясь по позолоченной лепке, украшающей своды и арки вестибюля. Свет льется двумя струями, чистыми и сверкающими, как прозрачный хрусталь. В этом лучезарном сиянии и подымающемся волнами людском потоке Рожи ощущает себя неразрывной частичкой всей этой массы, где нет уже ни молодых, ни старых, как нет и разных по возрасту капель воды, а есть лишь единый поток, на который так походит вся эта движущаяся вверх масса.

Она иногда думала, что там в селе, у себя дома, они — коммунисты и кооператоры — борются в одиночестве, на отшибе. Несомненно, те люди, что сейчас вокруг нее, каждый в своем селе, тоже боролись, спорили, доказывали, так же как и она, если не больше. И как их много, как они чисты и благородны, словно позади и в помине не было никакой подлости и происков врага!

Сколько перечувствовала эта женщина, поднимаясь по ступенькам, пока перед ней не раскрылись своды громадного зала.

Все, что со времен освобождения ей приходилось видеть и слышать о народной демократии, все то, что она узнавала дома от мужа о социализме, о равноправии женщин,— все это сейчас, именно здесь, представилось ей наиболее четко, выпукло и наглядно.

Для каждого делегата отведено специальное место, на нем дощечка с указанием фамилии; приветливые молодые девушки и юноши с готовностью провожают делегатов через лабиринт рядов и проходов к своим местам; они хлопочут вокруг них, словно это старые и добрые знакомые.

Но вот съезд открылся. Для каждого делегата на кресле были заранее приготовлены блокнот и карандаш. И натруженные, огрубевшие на работе руки с трудом орудовали сейчас тонким карандашом. Одни только мысленно пробовали писать на белоснежной гладкой бумаге, другие даже не представляли себе, что можно дотронуться до этих сверкающих белизной листков. Но, заметив, что остальные пишут, и они взялись за карандаш.

Делегаты от кооператива «Свобода» вначале не делали в своих блокнотах никаких заметок. Затаив дыхание, они слушали выступления. Первые ораторы говорили только о трудностях, которые им пришлось преодолеть при первых же шагах коллективного ведения хозяйства.

Куда там их мелкие неполадки в сравнении с тем, что они здесь услышали! Имеет ли вообще какое-нибудь значение то, что в их селе расклеивали листовки, направленные против кооператива, что их обливали грязью, ругали предателями родины, что им загубили



тракторы во время пахоты? Все это нельзя сравнить с тем, что здесь говорили. В своих речах делегаты приводили вопиющие факты о вылазках врага, о сговоре церковников и кулачья, о проповедях священников с амвона, о кулацких выступлениях,— словом, вначале казалось, что, кроме жалоб, делегаты ничего не привезли на съезд. Не имело смысла записывать эти сетования.

На съезде, как и на всяком другом совещании, эти выступления создали определенное настроение у слушателей, которое не изменилось, пока не схлынули вызванные ими волны. Затем, после короткого затишья, поднялись новые волны, но они уже вызвали у делегатов совсем другие настроения и чувства. Тогда-то и началось настоящее деловое обсуждение. Делегаты стали выкладывать свои успехи и достижения, словно штабеля полных мешков на току, у молотилки.

Теперь есть, что записывать. Йошка Пап то и дело заносит в блокнот суть речей делегатов... Количество хольдов, центнеров и так далее. Еще тщательнее стремится все записать Рожи. Но ей это не удается, она все время отстает. Бердеш, немного подавшись вперед, пристально глядит на выступающих, и Йошка Пап тревожно думает: «Ну вот, сейчас того и гляди председатель вскочит и попросит слова!» Но его тревога напрасна. Лишь временами Бердеш подается плечом вперед: он настолько вживается в речи выступающих, что ему уже кажется, словно на трибуне не очередной оратор, а он сам.

Один за другим берут слово представители всех областей страны — Чонграда, Бекеша, Хевеша. Делегат области Хайду Шандор Болгар из села Элек говорит о том, что в нынешнем году их кооператив выращивает двенадцать разных сельскохозяйственных культур, а в будущем году их будет не менее тридцати.

— Слышишь? — обращается Бердеш к Йошке Папу.

— Слышу, товарищ Бердеш, слышу.— И Йошка тут же записывает.

Какой-то оратор рассказывает, что они готовы целый год терпеть лишения, но твердо решили обратить сто тысяч форинтов на развитие кооперативного хозяйства.

— Ну и ну... сто тысяч форинтов!.. Да я сам готов проходить круглый год в одних портках, если это только поможет нам собрать сто тысяч,— шепчет Бердеш на ухо Йошке. Затем, обернувшись к Рожи, говорит:

— Слыхала? Это и к тебе относится... Смотри, больше не мучай своего Имре, этого, мол, нет, того нет...

Выступают простые крестьяне, такие же, как и Бердеш с товарищами. Некоторые говорят прямо с места. Кончив речь, оратор садится, ему хлопают; тут же поднимается следующий. Между тем Бердеш уже приметил, что желающие выступить что-то записывают и в перерыве относят листок к столу президиума. Бердеш понимает, что ему следует прежде посоветоваться если не с Рожи, то, во всяком случае, с Йошкой Папом. Но он отдает себе отчет и

в том, что если обратится к ним, то уже не выступит — его отговорят. Вот почему в перерыве, нацарапав на клочке бумаги свою фамилию, Бердеш незаметно приближается к столу президиума и вместе с другими протягивает свою цыдулку.

Перерыв. Что такое перерыв на таких совещаниях? Это перекур, беседы в коридорах, в тех самых кулуарах, где прежде дармоеды — графы и всякие там джентри, стряпчие, помещики — протирали бархатные диваны и опустошали буфеты. А теперь здесь знакомятся между собой простые труженики полей. Далекие края и области страны протягивают друг другу руки, обмениваются мыслями и думами, словно живыми письмами.

Но вот и конец перерыва. Трещит звонок, и каждый торопится занять свое место.

Председательствующий объявляет о продолжении заседания. Слово для выступления предоставляется делегату кооператива «Свобода» товарищу Лайошу Бердешу.

В зале оживление, головы людей поворачиваются то в одну, то в другую сторону, ища глазами человека, которого зовут Лайош Бердеш.

— Гляди-ка... Не пускай его!..— ужасается Рожи, обращаясь к Йошке. Ее испуг замечает соседка и шопотом говорит:

— Ну уж отговаривать не следует...

— Иисус, Мария! Что это будет? — испуганно восклицает Рожи, но Бердеш уже поднялся и ничего не слышит. Он стоит уверенно и твердо, как утес. Очки сползли на кончик носа, двумя руками он крепко держит листок бумаги и, не моргая, глядит на него. Где-то поблизости хлопнуло сиденье кресла, кто-то кашлянул, но затем воцаряется глубокая, ничем не нарушаемая тишина. Лайош Бердеш вскидывает голову и начинает:

— Дорогие товарищи,— говорит он и прислушивается к звуку собственного голоса, который с какой-то особой силой проносится по огромному залу и снова эхом возвращается к его обладателю.

Овладев собой, Бердеш продолжает речь: ведь он волновался только до тех пор, пока себя не услышал.

— Дорогие товарищи... Я, как председатель производственного кооператива «Свобода», мог бы в свою очередь начать с перечисления наших трудностей и недостатков. Из собственного опыта могу признать, что нашей самой крупной ошибкой является то, что мы до сих пор не вовлекли в работу женщин. Большая часть наших крестьянок попрежнему не выходит за порог своего дома, стряпает паприкаш или галушки — когда как, а потом сложа руки, дожидается, пока муженек не притащит из кооператива мешок денег за трудодни. Я верю, что наши женщины...— говорит Бердеш, все более распаляясь. И весь зал слушает его с таким напряженным вниманием, как, кажется, ни одного из ранее выступавших. И почти все делегаты что-то записывают в свои блокноты.

Йошка Пап сначала побледнел, как мертвец, но затем к его лицу, а потом и к сердцу подступила какая-то горячая струя, и вот он уже не чувствует ничего другого, кроме гордости за своего председателя. Необычное воодушевление охватывает и Рожи Фаркаш. Она еще ни разу не выступала на собраниях, но теперь начинает понимать, как это, должно быть, приятно. Ее так и подмывает попросить слова вслед за Бердешем.

Бердеш заканчивает речь, раздается буря аплодисментов, он не садится, а продолжает стоять на месте и, немного наклонив голову, смотреть вперед.

— Про галушки могли бы и умолчать! — обращается к нему Рожи, но глаза ее блестят от слез радости, и она не перестает хлопать Бердешу.

— А что, неправда? — коротко бросает он и пожимает чью-то руку, протянутую ему в знак поздравления за удачную речь.

Успех Бердеша, несомненно, большой. Его снимают фоторепортеры, к нему подходят корреспонденты газет и просят текст выступления. Бердеш, на ходу объясняя одному из делегатов преимущества вовлечения женщин в кооперативное хозяйство — об этом, между прочим, он узнал в свое время от Шаркези,— машинально протягивает журналисту небольшой листок бумаги. К сожалению, невозможно полностью воспроизвести, что на нем нацарапано. Но примерно следующее:

Женщины женщины
В зеленой пшенице водится пестрая змея
сбор кукурузного стебля... прополка пшеницы
*за двадцать филлеров * соли и уксуса*
возиться с клушками если не кончит квохтать...
сунь ее в кадку и облей водой — чорт бы ее побрал!

Корреспондент растерянно глядит на бумагу и держит ее обеими руками, точно так же, как незадолго до этого — Бердеш. Он таращит глаза то на бумагу, то на Бердеша. Затем, видимо разочарованный, на цыпочках отходит в сторону. Потом снова воодушевляется, но попрежнему теряется в догадках, как можно по этому конспекту симпровизировать такую хорошую речь?

Два дня — не такой уж большой срок, но вполне достаточный для того, чтобы каждый крестьянин, у кого есть что сказать, мог бы всласть наговориться. Делегаты многому научились друг у друга; взять хотя бы выступление председателя кооператива «Свобода» — ведь он затронул исключительно важный вопрос о вовлечении женщин в работу коллективных хозяйств!

Говорили на совещании и о выращивании риса, что, в свою очередь, чрезвычайно интересует кооператоров из «Свободы», о хлопководстве, что представляет большой интерес для всех, о молочном скоте, о свиноводстве — словом, всякий, кто к этому стремится, мог здесь набраться ума-разума. Но это еще не

все. Самым большим событием для делегатов, в том числе и для посланцев кооператива «Свобода», явилось выступление Матиаса Ракоши.

Матиас Ракоши появился неожиданно и, идя по узкому проходу, тепло улыбался делегатам. В этот момент выступал молодой крестьянин; он неожиданно запнулся и вдруг радостно зааплодировал. Все головы повернулись в сторону Ракоши, глаза заблестели, и движимые единым порывом делегаты поднялись со своих мест. По залу прокатилась овация. Матиас Ракоши приветствовал всех дружеским кивком. Казалось, он вошел в зал не сию минуту, а присутствовал на съезде все эти два дня.

Аплодисменты постепенно смолкли, сменившись напряженным ожиданием. Матиас Ракоши начал говорить. Он ясно и просто подвел итоги работы съезда, проанализировал достигнутые успехи и наметил путь на будущее. В конце своей речи он сказал:

— Что принесет нам будущее? Нет никакой необходимости особо подчеркивать, что мы и впредь всеми силами будем поддерживать здоровое и все более крепнущее кооперативное движение. Мы будем всячески ему помогать, в первую очередь машинами. Товарищи знают, что в декабре прошлого года мы уже выпустили 330 тракторов и в последнем году пятилетки намечаем предоставить для социалистического сектора сельского хозяйства 6600 тракторов. Чтобы использовать богатый опыт колхозного строительства в СССР, мы собираемся обратиться к советскому правительству с просьбой принять нашу новую крестьянскую делегацию в составе по меньшей мере двухсот трудящихся крестьян для непосредственного ознакомления с новейшими достижениями социалистического земледелия.

В прошлом венгерские крестьяне, когда им нужно было всем вместе выразить одобрение или недовольство, кричали что есть мочи. Лишь в последние годы у них вошло в обычай выражать свои чувства не только глоткой, но и ладонями. Вот и теперь нахлынувшие чувства вылились в овацию. Ладони сидящих в зале жестки и грубы, словно они из ржавого железного листа. Долго еще звучали аплодисменты, выражая чувства, переполнявшие души людей. Рожи, которая никогда в своей жизни так не хлопала,— разве только на свадьбе или крестинах, когда в танце в такт музыке поворачивала ладони, сверкавшие, будто маленькие зеркальца,— теперь горячо рукоплескала, как бы высказывая то, о чем хотело сказать ее сердце.

После съезда Совет министров устроил в здании парламента прием в честь делегатов. И Рожи снова воочию убедилась в том, что они — кооператоры «Свободы» — не одиноки. На приеме вместе с ними присутствовали ученые, художники, писатели и видные общественные деятели, которые знакомились с крестьянами и оживленно беседовали с ними. В украшенном колоннами зале играл военный оркестр. Крестьяне чувствовали себя здесь в центре внимания. Они были уважаемыми сынами своей отчизны. У каждого

из них было что рассказать и о чем спросить; их интересовали не только большие, общегосударственные дела, но и маленькие радости жизни. У всех блестели глаза, расцветали лица, словно в этот вечер каждый — и крестьянин, и академик, и писатель, и рабочий-передовик — раскрыл друг перед другом свое сердце. Рожи уже давно позабыла о треволнениях, беспокоивших ее дома: молодо ли она еще выглядит, какое платье ей больше к лицу; это осталось далеко позади, ведь вокруг нее все так просто и естественно. Она чувствовала себя неотъемлемой частицей этого удивительного большого собрания людей и, когда ее окружили делегаты, ощутила гордость от сознания того, что все интересуются не столько ею, сколько ее родным селом и кооперативом «Свобода».

Затем делегаты собрались у накрытых столов, возле которых суетились приветливые официанты, предлагая закуски и напитки,— а их здесь было вдоволь. Посреди зала стояли длинные ряды столов, украшенных цветами, уставленных закусками, тортами и фруктами. Глаза людей, отдавших всю жизнь тяжелому крестьянскому труду, радостно засверкали при виде почестей, оказываемых им — простым труженикам полей.

Бердеш, отнюдь не пьяница, сейчас осушал бокалы один за другим, но они удивительным образом снова и снова наполнялись вином. Просветленным взглядом он смотрел вокруг, и было в его взоре нечто и от гостя, и от хозяина на этом пиру. Словом, он все больше чувствовал себя как дома.

— Ради бога, дядюшка Лайош, следите за собой, не пейте больше...— умоляюще прошептала Рожи.

Бердеш был явно в приподнятом настроении, но тем не менее в полном порядке, и захмелел он не столько от вина, сколько от всей этой торжественной, необычной обстановки.

— Не беспокойся, дочка! Вино меня никогда еще не валило с ног, да и теперь этому не бывать, ручаюсь.— И тут же залпом опрокинул еще бокал.

Рожи с ужасом продолжала следить за Бердешем, но, оглянувшись на дверь, увидела входящего в зал Матиаса Ракоши. Он остановился у крайнего стола и поочередно весело и приветливо пожимал руки присутствующим. Что будет, если вдруг он подойдет сюда и заговорит с Бердешем?!

Разумеется, Бердеш тоже увидал Матиаса Ракоши и сразу оправил на себе пиджак, пригладил волосы.

— Может, пойдем домой? — встревоженно обратилась к нему Рожи.

— Домой? Да ты что! Я только сейчас вхожу во вкус!

Прошли минуты, может быть, мгновенья, и вот товарищ Ракоши уже у соседнего стола. Рожи готова провалиться сквозь землю. Вдруг Бердеш, не дожидаясь, пока Ракоши подойдет к их столу, поднялся с места, устремился к нему и пожал своими большими мускулистыми руками руку Ракоши.

— Желаю вам, товарищ Ракоши, сил и здоровья на многие-многие лета!

— Спасибо, товарищ Бердеш, и вам желаю того же! — приветливо ответил Матиас Ракоши.

Тут Рожи окончательно растерялась: во-первых, потому, что в зале раздались громкие рукоплескания, и, во-вторых, из-за того, что товарищ Ракоши знает Бердеша по фамилии. Словно через закрытую дверь, доносились до нее слова беседы. Матиас Ракоши расспрашивал Бердеша о делах кооператива «Свобода», интересовался, как живут члены кооператива, сколько у них земли, скота... Потом товарищ Ракоши заговорил с другим делегатом, с третьим, четвертым... а Бердеш оказался уже против Рожи — гордый, с блестящими глазами.

Теперь Рожи откровенно гордилась своим председателем, этим грубоватым и немного резким человеком.

До самой полуночи в залах танцевали под звуки военного оркестра. Ритм музыки охватил и Рожи, и чувство какого-то необыкновенного подъема овладело ею.

— Станцуем и мы, что ли, дочка? — обхватил ее за талию Бердеш и повел в самую толпу.

Оркестр гремел, зал был полон звуков, и бурный вихрь танца заставлял учащенно биться сердце. И только тогда опомнилась Рожи, когда увидела, что, переходя из рук в руки, она танцует с незнакомыми мужчинами.

— Нет, нет, спасибо, хватит...— и, смущенно отказав очередному партнеру, она отошла в сторону. Рожи поправила платок и начала искать глазами Бердеша, но тот уже отплясывал вовсю перед самым оркестром, похлопывая себя по голенищам сапог.

Глава третья

1

Делегация еще не вернулась со съезда, и жизнь в кооперативе «Свобода» идет своим чередом. В воздухе уже чувствуется весна, многих поросят отняли от маток, и стадо выгнали на пастбище. Михай Бири с Шандором Катоной мастерят крупорушку. Других новостей нет, разве только, что местный врач, доктор Элемер Барна, тоже подал заявление в кооператив.

Руководители кооператива довольны — как тут не радоваться,— но находятся в некотором раздумье. Оно, конечно, хорошо, одним членом кооператива станет больше, но ведь его не поставишь в ряд с другими, не скажешь — давай, мол, работай в поле, иначе дело у нас не пойдет!..

Доктор молча смотрит на членов правления. Его взгляд перебегает с Сито на Лайоша Кошут-Киша, с Лайоша на Бенце и, наконец, останавливается на Шаркези. Доктор знает, что слово Шар-

кези, как секретаря партийной организации всего села, имеет немалый вес.

— Конечно, мы очень рады, товарищ доктор, но... не пойму, как вы себе это представляете...

— Не понимаете? Сейчас объясню. Во-первых, я буду бесплатно принимать всех членов кооператива, а во-вторых, в усадьбе Барань мы откроем медицинский пункт. Я распределю свое время так, чтобы два раза в неделю с пяти до семи вечера принимать больных и там. Что вы на это скажете?

— Вот это да! Это разговор! — восклицает Бенце. Рука его невольно ощупывает поясницу. И надо же! Сколько времени ныла, а сейчас, когда появился врач, боль как рукой сняло... Прямо обидно.

— Очень хорошо, товарищ доктор! Большое дело! — говорит Шаркези, смотря на доктора уже другими глазами.

— Ну, большое не большое, а кое-что да значит. Каждый день бывать в усадьбе я, конечно, не смогу, но два раза в неделю, как обещал, буду. Только вот что... надо бы переменить название усадьбы.

— Зачем? Разве так плохо звучит: «усадьба Барань»? — спрашивает Лайош Кошут-Киш.

— Это место историческое. Когда-то здесь было родовое имение семьи Кельчеи. Поэт написал там много прекрасных стихов. Почему бы не назвать усадьбу именем Кельчеи? Вы ведь знаете, кто был Кельчеи?

Присутствующие когда-то что-то слышали о нем, больше других знает, разумеется, Шаркези, но и он точно не помнит, что же, собственно, написал Кельчеи: национальный гимн или «Призыв» *? Поэтому и он благоразумно молчит. Лучше замять...

— Вы ведь знаете, доктор,— говорит Шаркези,— капитан Дьери сбежал, так что места у нас там достаточно. Дадим на выбор любую комнату, какая больше понравится.

— Вот и прекрасно. Принимать больных я буду, конечно, бесплатно, только, покуда не урегулируем вопрос с собесом, за лекарства придется кое-что платить. Но я постараюсь устроить так, чтобы вышло подешевле.

Крестьяне все явственнее ощущают значение и пользу этого дела. Какая великолепная агитация для всего села! Сито, немного поразмыслив, живо восклицает:

— Ну, поехали! Поглядим на месте.

— Почему так сразу?

— А чего ждать? Заложим лошадей — и марш! Через четверть часа будем там...

Обитатели усадьбы все в сборе; сидят в дежурке, в коровнике. Михай Бири, расположившись у стола, читает газету, но он плохо видит.

— А ну, опустите кто-нибудь фонарь! — покосившись на свет, просит он и продолжает читать дальше.

Балаж Фюрес не спеша подходит к фонарю, немного опускает его и затем степенно шествует назад к своим слушателям. Все это он проделывает с таким видом, словно он вовсе и не разглагольствует в дежурке, отгороженной от стойла дощатой перегородкой, а выступает на сцене. Балаж продолжает прерванный рассказ:

— Пожимает мне, значит, офицер руку и, оставив меня в комендатуре, уходит. Ну, Балаж Фюрес, говорю я себе, теперь держись! Дежурные звонят по телефонам туда-сюда, на меня то и дело поглядывают, о чем-то переговариваются. Потом один встает, надевает шинель, опоясывается ремнем, вешает на него пистолет и говорит мне: «Давай!» Пошли, значит... Что ж, пошли так пошли, делать нечего; куда ни поведут, идти надо. Миновали мы одну улицу, другую, подходим к какому-то большому зданию, вроде фабрики. У ворот с обеих сторон часовые. Мой провожатый что-то им сказал, нас впустили. Оказалось, привел он меня в лагерь для румынских военнопленных... Сдал коменданту, поговорил с ним и ушел. А я рад до смерти, что меня хоть дальше на север не отправят. Так оно и получилось. Переспал я ночь на нарах, в комнате было нас человек двадцать, на другое утро команда: «Подымайсь, выходи на работу!» Иду, будто всю жизнь так вот и прожил. К счастью, я хорошо говорю по-румынски, узнаю, что идем мы в лес, недалеко от лагеря. Рубим деревья, пилим их, колем на дрова. Ага, говорю себе, вот что мне нужно, а не социал-демократические выборы с тайным голосованием. Одним словом, дело идет. Разложили мы большой костер, немного погодя подвезли харчи: шестьсот граммов хлеба на день, к нему приварок — густой пшенный суп, без жижи. Наелся я, свернул цыгарку, и вдруг стало мне грустно. И зачем я должен рубить эти здоровенные деревья здесь, а не дома, где у меня семья? Правда, в наших краях нет таких больших и высоких берез, сосен и всяких там еще деревьев, но не в этом дело. Взяла меня тут тоска, и затянул я песню, да такую жалобную... Ударю топором раз — пою, ударю второй — опять пою. Да... Пел я, как сейчас помню, эту песню, знаете: «Не желает мое стадо на лугу пастись...» Тут подошел ко мне конвоир, остановился, слушает. Подошел второй, тоже встал, молчит. Эге, говорю я себе, теперь надо приналечь. Тут я всю душу в песню вложил. Скоро все конвоиры, сколько их было, собрались вокруг меня. Послушали и говорят: «Положи, парень, топор, давай пой дальше». Ну, я, значит, топор в сторонку, сел на камень, подпер руками голову — вот этак — и начал, да так печально, чтобы песня за душу брала:

> Мелкий дождик моросит, мокрая стерня,
> Эй, голубка, помоги сесть мне на коня!
> Не могу я сесть в седло — ранен, еле жив,
> Серый конь копытом бьет —
> Он нетерпелив...

Слова песни Балаж Фюрес не просто выговаривает, а поет. Поет так хорошо, так жалобно, будто он и теперь еще там, в да-

леком северном лесу. Михай Бири растроган; он откладывает в сторону газету и поверх очков смотрит на Балажа Фюреса. Люди слушают его рассказ с таким благоговением, словно они в церкви, а не в коровнике. За стенкой позвякивают цепями коровы, со двора доносится собачий лай. Все эти звуки, как бы отражаясь от стен, звенят в комнате, переоборудованной под дежурку из фуражного закрома. И дневальному по коровнику, и его сменщику — ему заступать на дежурство только в полночь, но ложиться что-то не хочется, да уже и не сто́ит — и Шандору Катоне, и старому Бири, которые сидят здесь потому, что тут тепло, горит свет и можно спокойно беседовать, и Тодьеру Моноку — всем им кажется, будто Балаж поет так, как никто на свете. Будто этот Балаж Фюрес такой человек, который своим голосом все может сделать. Кажется, стоит ему захотеть, его песня и сквозь землю проникнет и до неба достанет.

Но вот замирают последние слова песни, и Балаж Фюрес продолжает свой рассказ.

— И так я хорошо пел, верите ли, даже сам прослезился. Подошли ко мне тогда русские солдаты, похлопали по плечу, один даже обнял... Не стоит, мол, расстраиваться... С того дня я уж больше за топор не брался, а только поддерживал в лесу костер да распевал наши песни. Иной раз так звенел заснеженный лес, будто не дерево, а весь лес под пилой стонет...

Во дворе заливается лаем собака, и Балаж умолкает. Добрый пес, сам Балаж Фюрес привел его сюда сторожить усадьбу — кругом глухомань. Балаж пробует угадать по лаю, действительно ли кто-то идет или пес брешет просто так, с испугу. Остальные тоже прислушиваются. Если и в самом деле кого-то принесла нелегкая, Балажу Фюресу и на этот раз не удастся досказать до конца историю о том, как он был в плену. А уж он столько раз ее начинал с тех пор, как вернулся домой! Но кто же виноват, если история у него такая длинная, что всякий раз, как только он примется рассказывать, непременно что-нибудь случается, и ему приходится прерывать ее на полуслове.

— А ну, выйдите поглядите, кто там,— бурчит, подняв на секунду глаза от газеты старый Бири.

Балаж Фюрес сдвигает шапку на затылок, берет прислоненные у притолоки железные вилы и выходит.

На дворе из повозки вылезают доктор, Шаркези и Бенце. Луч электрического фонарика в руке доктора, скользнув по земле, упирается в дверь коровника.

— Добрый вечер! — весело говорит доктор.

Балаж Фюрес распахивает перед гостями дверь. Они входят в комнату; в ней девять квадратных метров, два окна — одно на восток, другое на юг, напротив — внутренняя дверь, ведущая в коровник. В углу небольшая чугунная печка. Перед ней просыпавшаяся зола; здесь тепло, даже жарко, люди расположились удобно, будто в уютной гостиной.

— Сабадшаг, товарищи! Что поделываете? Газету читаете? — здоровается доктор и втягивает в себя воздух. Табачный дым, горьковатый запах стойла вперемежку с ароматом свежевыбеленных известкой стен... Все, как обычно.

— Что поделываем? Да вот, беседуем... Присаживайся, товарищ доктор,— отвечает старый Бири и подвигается на лавке, освобождая врачу место.

— Нет, нет, спасибо. Мы приехали выбрать помещение для врачебного кабинета. Что ж, посмотрим? — обращается доктор к Шаркези.

— Да, пойдемте... а то поздно,— отвечает Шаркези, взглянув на часы. Ему не терпится: ведь Бердеш с товарищами, должно быть, сейчас уже едут со станции домой!

— Наши делегаты, должно быть, уже подъезжают...

— Пора бы,— замечает Шаркези и прислушивается. Шоссе недалеко, рукой подать, не слышно ли стука колес по камням?

Они выходят во двор и идут к бывшему господскому дому. Балаж Фюрес с фонарем в руках шагает впереди. На дворе темнота, ветер дует с востока и относит звуки далеко к западу. Не удивительно, что в усадьбе не слышно стука колес.

А делегаты и в самом деле спешат домой; они уже миновали первый поворот.

— Не холодно, дочка? — спрашивает Бердеш у Рожи. Ветер дует им теперь в лицо.

— Да нет, ничего,— отвечает Рожи, но все же поплотнее укутывает ноги и поворачивается к ветру боком.

Кари Вереш покрикивает на лошадей, и на козлах снова начинает раскачиваться фонарь. Желтое пятно света мечется из стороны в сторону. Вот оно упало на пашню справа от дороги, потом слева, на луг, опять на пашню.

— Как там дома? Что-то поделывают мои доченьки?..— говорит или, скорее, вздыхает Рожи. На съезде она почти о них не вспоминала: некогда было.

— Да уж не мух ловят, наверное...— с лукавой усмешкой откликается Бердеш и раскатисто хохочет.

Фонарь качается как будто веселее, лошади прибавляют шагу и нетерпеливо взмахивают гривами. Кари Верешу приходится все сильнее натягивать вожжи. Но вот развилок, и лошади так резво поворачивают, что повозка кренится.

— Эй, эй, куда правишь? — пытаясь ухватиться за вожжи, восклицает Бердеш.

Шоссе разветвляется — одна дорога подымается по косогору к кооперативу «Свобода», вторая бежит вниз, к Новой слободке.

— Сюда, товарищ Бердеш!.. Сюда... Должно быть, все уже в сборе. Ждут не дождутся... как евреи Мессию,— отвечает Кари Вереш, немного отпускает вожжи, и лошади переходят на крупную рысь.

Делегатов и впрямь ждут. Тут почти все члены кооператива.

Их окружают, жмут руки и сразу, с места в карьер, забрасывают вопросами. А вопросов столько же, сколько присутствующих!

Возвращается и повозка, ездившая с доктором в усадьбу. Пассажиров в ней теперь стало больше. Жители усадьбы тоже хотят послушать своих делегатов.

— Товарищи, да не наседайте все сразу, другие ведь тоже хотят кое-что узнать! — кричит Балаж Фюрес, но, конечно, только потому, что сам никак не может протиснуться поближе. Один Шаркези стоит в сторонке и не сводит глаз со своей жены, а та, поймав его взгляд, вспыхивает, глаза ее загораются. Ничего, они еще успеют наговориться!

— Товарищ Бердеш! Залезайте-ка на помост и скажите товарищам несколько слов,— говорит он Бердешу.

— Пусть говорит Рожи Шаркези! Хотим ее послушать! — раздается со всех сторон. Особенно стараются несколько женщин, которые тоже пришли встретить делегацию.

Рожи встревоженно ловит взгляд мужа, но взгляд его ясный и ободряющий. С каким удовольствием она просто рассказала бы каждому из присутствующих все, что видела и слышала в Будапеште, но говорить перед всем народом... с трибуны, как на съезде... Нет... Делать, однако, нечего. Говорить надо. И она поднимается на помост.

В эту минуту Рожи кажется, что она вовсе и не дома, в правлении своего кооператива «Свобода». Слова, которые она сейчас скажет, она будет говорить съезду, народу, всей стране. И вместе с тем Рожи понимает, что отныне, с этой минуты, у нее уже не будет слов, которые принадлежали бы ей одной, ее домочадцам или соседям. Каждое ее слово — всем крестьянам, всему селу.

Люди смотрят на нее, и в их глазах столько одобрения, столько любви, что она просто не может молчать.

— Дорогие товарищи, мне хочется сказать несколько слов нашим мужчинам. Говорят, только женщина может понять женщину, но это неправда. Нет, именно мужчины лучше всего нас понимают. Ну и мы их, конечно, не хуже. В общем скажу вот что... Пробыть два дня на таком съезде, конечно, мало; но главное мы поняли и уяснили: наше настоящее и будущее зависит только от нас самих. Если каждый из нас поймет, что от его работы, от его усердия и старания, от его совести зависит благополучие нашего кооператива, все будет в порядке. Поверьте, для того, чтобы дела кооператива «Свобода» пошли в гору или, наоборот, покатились под гору, нужна самая малость. Вся наша жизнь — хороша она будет или плоха — зависит от этой самой малости, которая чуть побольше зернышка. Потому об этом зернышке никогда нельзя забывать. В чем состоит эта малость? Сегодня делать чуть больше и чуть лучше, чем вчера, завтра больше и лучше, чем сегодня. Вот в чем это зернышко! Это все, что я хотела сказать...— Рожи сходит, вернее соскакивает, с помоста прямо в толпу, протискивается к мужу и припадает к его груди.

Люди аплодируют, лица их сияют, глаза блестят, и Шаркези ласково гладит по волосам свою Рожи. Но еще должен выступить и Бердеш. Он, разумеется, обращается уже к женщинам. После него Йошке Папу тоже надо сказать свое слово.

Когда собрание окончилось и люди расходились по домам, время уже близилось к полуночи. Некоторые шли молча, другие, наоборот, живо обсуждали то, что слышали от Бердеша и Рожи Шаркези. В непроглядной темноте ночи казалось, будто удаляющиеся обрывки фраз и восклицания доносятся откуда-то с небосвода, словно крики ночных птиц.

В доме Шаркези все уже спят; старики в маленькой пристройке, переоборудованной еще осенью из клети, обе старшие дочери на кровати в горнице, младшая дочурка одна на лежанке (ее устроили поудобней, ведь она самая маленькая).

Кровать, на которой спят Шаркези с женой, тоже постелена, перина взбита и откинута, как привыкла делать мать. Рожи подходит к плите и, шаря рукой, находит на привычном месте, в духовке, спичечный коробок. При свете вспыхнувшей спички она оглядывает комнату, словно не была здесь бог весть сколько времени. Но вот на столе зажигается лампа. Девочки пошевелились во сне, затем, поворочавшись с боку на бок, садятся на постели и с минуту сонно смотрят перед собой, еще ничего не понимая, потом выпрыгивают из кровати, кидаются к матери, обнимают ее, целуют.

— Мама!..

— Мамочка!..

Холодок ночи от одежды матери веет на их разгоряченные лица, охватывает их бодрящей прохладой.

— Ну, ну, баловницы!.. Как вы тут? А ну, сейчас же в кровать, простудитесь!..

Девочки послушно забираются обратно в постель и, положив голову на руки, безмолвно разглядывают мать.

— Вот я и дома, Имре! — Рожи стоит перед мужем, в глазах мелькают веселые искорки, лицо у нее счастливое; ни тени, ни следа усталости.

— Милая... Поешь, ведь, наверное, проголодалась.

— Еще как! Сейчас поищу. Пожалуй, съем пару яиц...

Дочери еще слышат, как потрескивает огонь, шипит на сковородке сало, но больше ничего — сон берет свое. Изжарить яичницу — минута-две, не больше. Что они значат в этой долгой, бесконечной, зимней ночи? И вот, супруги — секретарь партийной организации Имре Шаркези и его жена Рожи, урожденная Фаркаш,— сидят за столом. Оба молчат, смотрят в глаза друг другу. Дети спят, чуть посапывая во сне, в их мерном дыхании, изредка вздохе, чудится что-то сказочное, прекрасное, как музыка; в горелке неяркой лампы как бы слышатся свистки, постукивание колес, шум мчащихся вдаль поездов, но приглушенно, чуть слышно.

— Спать не хочешь, мать?

— Нет, что ты!.. У меня голова полным-полна, я даже не знаю, смогу ли теперь уснуть.

— Ну, тогда рассказывай.— Шаркези оглядывается на спящих дочерей, потом тянется через стол и кладет свою ладонь на руку жены.— Рассказывай!

— О господи боже мой, если б я только могла рассказать все, что у меня на душе!

— А ты попробуй. Как-нибудь начни, дальше само пойдет.

Рожи молчит. Руке ее под ладонью Имре становится жарко, и кажется, что его кровь вливается в ее жилы, бежит по ним, переполняя сердце невыразимой радостью, счастьем, и вдруг потоком слов вырывается на волю.

— Имре! Я так люблю мою партию...— Она растроганно смотрит на мужа.

— Как я рад это слышать, мать... Но ведь ты...— такая перемена ошеломляет его.

Рожи овладевает собой. Она продолжает, и голос ее теперь спокоен, говорит она сдержанно и деловито:

— Теперь я могу сказать прямо: до сих пор я шла за партией только из-за тебя. И верила я не в партию, а в тебя. Только теперь я поняла, что значит быть членом партии.

У Шаркези язык словно присох к нёбу. Его ли это жена? Нет, нет, это другая женщина, совсем не та, которую четыре дня назад он провожал на съезд. Глаза, губы, лицо — все такое же, как у той, и все же она другая, совсем другая. Как-то значительнее, правдивее, человечнее... И в то же время он чувствует, что вот такая, новая, она для него ближе, роднее, желаннее, чем когда-либо.

— Ты такая чу́дная, мать. И я этому очень рад. Да, партия это настолько великое, что я не могу даже выразить словами.

— Знаешь, Имре, там, на съезде, я вдруг подумала... все, к чему мы до сих пор стремились, все, чего хотели, это только первые шаги. Мы начали, а потом дело пошло само собой. Сделали первое — надо сделать второе, сделали второе — наступил черед для третьего. Одно как бы подсказывает другое. Когда мы соберемся и определим, что же надо сделать в нашем кооперативе на долгие годы вперед, только тогда и начнется настоящая работа. Одним словом, надо работать по плану, чтобы в марте, например, знать, за что браться в мае... Каждый должен знать, что он делает и для чего...

— У нас такой план есть на всю весну, Рожи.

— Что ж, хорошо. Но я думаю, в этом плане должно быть записано не только о полевых работах и животноводстве, но и о каждом члене кооператива, о всех нас...

— Погоди, не спеши. Давай по порядку. Скажи лучше, как на съезде выступил дядюшка Бердеш? Не оплошал?

— Куда там! Ему так хлопали, только держись! Но и сказал он толково. О том, что ты всегда о нас, женщинах, говоришь.

— А я боялся, как бы он там не ляпнул какую-нибудь глупость. Но, видно, обошлось. Именно с этого мы и должны начинать. Нам нужно к весне организовать и вовлечь в наше дело женщин.

— Правильно, но, пожалуй, еще важнее сплотить молодежь. Об этом многие говорили на съезде, и они правы, Имре... Возьми хотя бы наших девочек, ведь они кончают школу, им пора уже заняться делом. Я слышала, будто намечается перестройка молодежных организаций по всей стране. И правильно, от нынешних мало толку, не оправдали они себя. Может быть, нашему кооперативу и сделать почин. Как ты думаешь, Имре?

Шаркези внезапно встает из-за стола и начинает шагать, вернее топтаться, на узеньком, метра в два, свободном пространстве.

— План у нас, собственно, почти готов, но... ты права. Мы можем сделать больше...

За окном уже поют первые петухи, напоминая о том, что и завтра будет день, что за одну бессонную ночь не переговорить всего и не решить всех насущных дел. Рожи вдруг чувствует усталость; перед глазами начинают вертеться красные огненные круги, то пропадают, то появляются снова. Сладко зевнув, она смотрит на мужа, и сердце ее заливает горячая жалость. И зачем она его так... беднягу? Не надо было сразу всего выкладывать! Лучше бы, пожалуй, постепенно: сегодня одно, завтра другое. Ведь ему так нужно выспаться! Но что делать, она не виновата: ее сердце полно до краев, и нужно, просто необходимо поделиться с мужем хотя бы частью своих впечатлений.

2

Первое мартовское воскресенье началось с чудесного яркого утра; спозаранку над землей по садам клубится легкий туман, весеннее солнце пригревает, и не только на завалинках у стен домов, у заборов, но и в поле.

— Ну вот, сосед, выгнало солнышко последний мороз из земли! Наконец-то! — кричит через изгородь крестьянин соседу, который стоит под ореховым деревом и счищает с лопаты толстый налет ржавчины. Так уж положено: прежде чем воткнуть заступ в землю, надобно его поскрести, хоть для порядка.

— Выгнало-то выгнало... Только пшеницу мороз все-таки успел прихватить! — отвечает сосед с таким кислым видом, словно у него болят зубы.

— Э-э, пустое, сосед! Пшеница крепкая, как железо,— возражает первый.

Вот и извольте понять! Услышь этот разговор человек нездешний, наверняка не знал бы, чему верить — вымерзла пшеница или не вымерзла?

— Как перезимовала пшеничка, господин Гербеди? — спрашивает пастор Эрне Пепи, встретившись после заутрени с Гербеди,

который в последнее время, как и все, впрочем, хозяева побогаче, начал усерднее обхаживать пастора.

— Как перезимовала? Да так, ваше преподобие... не очень. Хорошо, если нашему селу придется перепахать четвертую часть всего клина под пшеницей, а то, гляди, и побольше.

— Ваша правда. Волен господь в судьбе нашей, что говорить. А не знаете, как у кооператива?

— Я особенно не приглядывался. С тех пор, как они прирезали себе мой участок, мне туда и ездить, собственно, незачем... Но ведь и у них от мороза прививок нет.

— И праведникам, и грешникам — всем господь бог дарует одинаковую погоду, воистину так. Весь вопрос в том, откуда государство возьмет теперь новые семена?

— Откуда же ему взять? У нас, конечно. Мы, чай, хлебец-то растим,— уныло отзывается Ференц Вираг.

На этом разговор об озимых прерывается. Тем более, что церковные дела, ради которых и собрались у пастора после заутрени эти люди, гораздо важнее. Но какие же это дела? А вот: к примеру, погребение усопших. В самом деле, до сих пор село хоронило своих покойников — и зажиточных праведников, и бедных грешников (последних, конечно, всегда было больше) — на кладбище, которое с незапамятных времен принадлежит церкви. Теперь пора с этим покончить; поблаженствовали, хватит. Пусть каждый платит за свою могилу, как это делается в Дебрецене, в Будапеште и в других порядочных местах. Сегодня церковному совету и предстоит решить, сколько же форинтов брать за могилу? Нынче у церкви, кроме кладбища, других земель нет. Но его-то уж никак не прирежешь к кооперативному клину.

Вот за этим-то и собрались сейчас члены церковного совета — все из хозяев побогаче. Обсудить или, вернее, утвердить то, что предложит пастор, записать в протокол, а потом довести до сведения властей... Обсуждение идет своим чередом, но новость, только что сообщенная Гербеди, у каждого на уме и довлеет над разговором. Стало быть, придется перепахивать четвертую часть всех земель, и в том числе четыреста хольдов озимой пшеницы кооператива «Свобода»... Неплохая весть для пастора, дорого бы он дал за эту новость, будь у него деньги. Беда только в том, что денег нет. Поэтому-то и заседает церковный совет в полном составе. Здесь же и певчая: во-первых, по должности — она ведет протоколы совета, во-вторых, потому, что финансовое положение церкви очень даже ее касается. Ей полагается четыреста форинтов жалованья в месяц, но она ни разу еще не получала их сполна. Один месяц пятьдесят, другой — шестьдесят пять, третий — сто... Если и нынче совет не сумеет обеспечить ей постоянного жалованья, она бросит это дело. Певчая уже не раз подумывала, не лучше ли ей переметнуться к кооператорам счетоводом?

— Ввиду столь плачевного положения дел пресвятой церкви обращаюсь к церковному совету с просьбой утвердить расценки на

могилы на нашем кладбище. Предлагаю установить: по левую сторону от большого тутового дерева — двадцать форинтов за могилу, по правую — десять форинтов.

Члены совета молчат, напряженно соображая.

— Это может вызвать волнение в селе,— наконец произносит кто-то.

— Подумаешь, ведь это такая мелочь! За нынешний год всего один человек и помер. Ну, сколько это выйдет?

— Год еще не кончился, господин Гербеди.

— А может быть, назначить подороже? Вместо двадцати форинтов, ну, скажем, сто? — высказывает мнение певчая, расстегивая свою кошачью шубенку. Весеннего пальто у нее нет, приходится ходить в зимнем, а когда станет теплее, шубу и вовсе можно скинуть.

Слова певчей вызывают шум. Члены церковного совета недовольны. Не потому, что им самим дорого обойдется собственное погребение, а потому, что в селе непременно поднимется такая заваруха, что по сравнению с ней даже бурные события сорок пятого года покажутся сущей безделицей.

Все отлично понимают, что затея с могилами — не выход из положения. Нужно придумать что-то другое, но что?

Уделять больше внимания евангелистам? Пестовать их до тех пор, пока благодарные прихожане с радостью и смирением щедрой рукой не воздадут дани царю небесному, чтобы прокормить и пастора и певчую, то бишь пресвятую церковь? Пожалуй... И пастор уже задумывается над тем, что он скажет прихожанам на религиозном собрании евангелистов. Но членов церковного совета это не очень-то интересует; вымерзла пшеница, вымерзла кооперативная пшеница — вот вокруг чего вертятся все их мысли. И, расходясь по домам под звон колокола, возвещающего полдень, они несут с собой эту весть во все концы села.

3

«Да, великое дело — план!» Каждое утро просыпается Шаркези, вспоминая слова жены, хотя с тех пор, как они говорили об этом, прошло немало времени. Конечно, план у кооператоров есть, но он их не устраивает — нужен другой, который с первого взгляда был бы понятен всем. Такой, чтобы как гвоздь засел у каждого в мозгу, да так, чтобы никакими клещами его оттуда не вытащить. Такой план, который можно повесить в правлении, чтобы он оставался в памяти у каждого, где бы человек ни работал: за сеялкой, за плугом, с мотыгой в руке,— всегда неотступно стоял перед его глазами план... Везде и всегда...

— Ну, мать, я договорился с правлением, сегодня еду в уезд,— одеваясь, говорит Шаркези жене.— Знаешь, насчет плана...— как всегда, он делится с ней своими мыслями.

Рожи одобрительно кивает головой.

Шаркези возвращается к вечеру. На другой день он снова уезжает, а на третий, в понедельник, возвращается уже не один. С ним Кульчар и инженер-геодезист.

Инженер располагается в правлении, чертит план земель кооператива; весь пшеничный клин, все четыреста хольдов,— как на ладони, красиво выкрашены в светлозеленый, отливающий серебром цвет. Такой бывает пшеница, когда цветет. Затем на плане появляются другие цветные квадратики: здесь будут яровые, там сахарная свекла, здесь горох, ячмень, кукуруза, люцерна. На плане красивым, четким почерком инженер выводит буковки, цифры — где сколько чего, сколько хольдов и квадратных саженей, все до последнего вершка.

От любопытных нет отбоя — видеть план хотят все. Посмотреть, это еще куда ни шло. Но расспросы! Что, да как, да почему? Почему север там, а не здесь? Инженер сидит у стола возле окна, лицом к югу, и некоторые никак не могут сообразить, каким образом у него на плане север получается наверху? Почему? Особенно недоверчив Лаци Ходош, который вступил в кооператив вместе с мелкими арендаторами и сразу же был избран в ревизионную комиссию. Еще служа солдатом, он где-то раздобыл компас, и сейчас, притащив с собой, пытается пристроить его к карте. Куда покажет стрелка, уж не ошибся ли инженер? Надо проверить.

— Брось мудрить, приятель! Тут все на месте,— урезонивает его Лайош Кошут-Киш. Недаром он четыре года был матросом — разбуди его среди ночи, даже в непроглядной темноте он всегда точно покажет, где север и где юг.

Масштаб плана сильно увеличен, его с максимальной точностью снимают с топографической карты, затем штрихуют разноцветными мелками, и вот он, наконец, готов. Инженер выводит надпись: «Владения производственного кооператива «Свобода» — и, повернув бумагу к свету, показывает ее кооператорам.

— Шари, Шари Фейер! Скажите ей, пусть раздобудет кнопок,— говорит Шаркези.— Покуда приколем прямо так на стену, а потом соорудим для него рамочку.

Шари Фейер проталкивается вперед, в руке у нее зажато несколько кнопок.

«Вишь ты, какая! Всегда у нее все ко времени! Ну, скажите на милость, у кого бы нашлись кнопки, если не у нее?» — думает Шаркези.

Инженер, уже немолодой человек, рассматривает на стене свое произведение с наслаждением, словно художник, которому удалось, наконец, изобразить в своей картине прекраснейший уголок земли и неба. Кооператоры же смотрят на план по-другому: они только моргают да помалкивают. Оно, конечно, красиво, ничего не скажешь, но какой из этой картинки толк? Они-то ведь и без нее знают, сколько и где у них в округе земли, так на кой чорт все это вешать на стенку? Только зря деньги платить... А у кооператива и так большие расходы...

Шаркези знает этих людей, как самого себя. Он знает, что недоверчивые взгляды относятся не к плану, висящему теперь на стене, а к тому, что будет дальше. Что ж, скажем и об этом.

— Ну, давайте продолжим. Говори, товарищ Бердеш!

Перед Бердешем на столе груда бумаг. Он не спеша перебирает их. Затем, будто у него вдруг запершило в горле, откашливается.

— Так вот, дорогие товарищи... Из министерства нам прислали проекты и сметы строительства. Как вы помните, мы их запросили, когда общее собрание утвердило предложение о перестройке усадьбы Барань, то бишь Кельчеи. Так вот, по этим проектам получается... Впрочем, вот они, смотрите сами, я уже на них нагляделся.— Бердеш откидывается на спинку стула, вытаскивает сигареты и похлопывает себя по карману, ища зажигалку.

Люди безмолствуют. Правда, общее собрание проголосовало за перестройку усадьбы, но... Тогда они считали, что лучше будет так, а теперь... пожалуй, лучше оставить все по-старому. «Куда спешить, над нами не каплет,— думают кооператоры.— Кто мог предположить, что мы так скоро получим проекты?»

— Сколько это будет стоить? — спрашивает Лайош Кошут-Киш.

— Сколько? Сейчас подсчитаю... Вот... Постройка молочной фермы на сорок коров и на столько же телят всего... двести тысяч форинтов. Постройка свиноводческой фермы на тысячу голов свиней... сто двадцать тысяч. Всего триста двадцать тысяч форинтов.

У присутствующих перехватывает дух. Тишина, все сидят, не двигаясь, словно в оцепенении.

— Так, значит. Только начали подниматься, а выходит, надо уже шкуру дьяволу закладывать,— наконец выдавливает из себя Карой Ханадь.

— Я, что ли, виноват? Вы сами так хотели,— отзывается Бердеш.

— Это мы-то хотели? Я хотел? А ну-ка, скажите, товарищи, кто из нас носился с этим строительством, кто чуть ли не силком навязывал его общему собранию? Кто? — негодует Ханадь.

Бени Гуяш тоже входит в раж.

— Кто же, как не товарищ Шаркези! Он уговаривал собрание, факт! Пусть скажет теперь, нечего отмалчиваться!

— Думаете, мы дураки? Или у нас деньги ворованные, что ли?

— Да таких денег никто еще на свете и не видывал!

«Значит так: правление против. Ишь как взбеленились!» — мелькает в голове у Шаркези. Стало быть, он со своим предложением остался в одиночестве. Ему обидно, что Бердеш не поддержал его. Сумеет ли он сам объяснить все, как следует?

— Что-то я не пойму, товарищи! Кто предлагал этот план? Вы, правление. Кто за него голосовал? Общее собрание, опять-таки по предложению правления. Так в чем же дело?

— Никто не думал сразу начинать строиться.

— А мы пока и не начинаем. Но так или иначе, проекты нужно было заказать и заранее обсудить!

— Триста двадцать тысяч... Шутка ли! Откуда мы их возьмем?

— Откуда? Из будущего урожая, от продажи скотины, птицы.

— Ну да... выходит, все лето задаром работать?

— Почему задаром! Вот послушайте, что я вам скажу. Во-первых, все это обойдется гораздо дешевле...— объясняет Шаркези.

Его прерывает Бердеш:

— Не сердись, братец, но ты тут перехватил... Думаешь, у тебя ума больше, чем у инженеров, которые составляли эти проекты?

— Больше не больше, вернее, даже меньше... Только ум у меня... другого сорта. Я такой проект разработать не могу, зато инженер, который составлял проект, ни за что не осуществит его на те деньги, на какие собираюсь сделать это я.

— Как же ты хочешь с этим справиться?

— Как? Своими силами...

Члены правления недоверчиво переглядываются. Но Бердешу, повидимому, эта мысль начинает нравиться.

— Ты полагаешь, так обойдется дешевле?

— Я думаю... раза в два-три.

— Над этим стоит поразмыслить,— говорит Бердеш. Задумываются и члены правления.— Предположим, что черепицу, строительный лес, доски, обшивку, цемент, известь нужно купить. Песок найдется на месте. Но сколько всякого добра понадобится еще, кроме этого!

— Если бы в сорок пятом году товарищ Бердеш не решил разобрать Чахошскую усадьбу, кирпича наверняка хватило бы! — говорит Карой Ханадь.

Но на это уже и у Балажа Фюреса находится, что возразить.

— Кирпич? Эко дело! Сами с этим справимся. Чем мы хуже других?

— Это, брат, уметь надо! — насмешливо бросает ему Бени Гуяш.

Кульчар только теперь по-настоящему вникает в трудовые процессы в сельском хозяйстве. Но уж если речь заходит о ремесле, будь то клепка парового котла или обжиг кирпича, здесь он — знаток.

— Правильно, не боги горшки обжигают, да и кирпичи тоже. Раздобудем мастера, он нас живо выучит,— отвечает Фюрес.

В ответ на это у Бенце, в прошлом мельника, вспыхивает нечто похожее на чувство чести у разбойника.

— Это что же получается, товарищи? Красть у мастера его мастерство? Вот как это называется!

— Ишь, сказал! Красть! Грош цена такому мастерству! Если поразмыслить, наука для того и наука, чтобы один передавал ее другому. В свое время этот мастер научился ремеслу от другого, старшего мастера. Так вот и я когда-то изучил

токарное дело, а вы все выучились пахать, сеять, косить и всему прочему. Мастер от этого не обеднеет, пусть у вас об этом голова не болит,— заключает Кульчар.

У Шаркези есть по этому поводу особое мнение, но ему не хочется спорить ни с Бердешем, ни с Сито, поэтому он ограничивается вопросом:

— Ну, товарищ Сито, товарищ Бердеш, как вы скажете?

— Что ж, возьмемся,— отвечает Сито.

— Не спешите, обдумайте хорошенько, товарищи. Не следует браться за такое дело, которое потом не вытянем. Хоть сам господь бог на небесах пожелает, если не можем — значит, ничего у нас не получится,— говорит Бердеш, переводя взгляд с одного члена правления на другого.

— Значит, не видать нам в этом году ни молочной фермы, ни свинарника, одним словом, ничего,— с грустью говорит Шаркези.

Но теперь он уже не один — в лице Сито у него надежный союзник.

— Да много ли среди нас наберется таких, которые не знакомы с кирпичным делом? И я, и товарищ Шаркези не раз работали на обжиге. Организуем строительную бригаду, подберем хорошего бригадира, разыщем мастера, соберем со всех понемногу дров, соломы, кизяка — и за дело, а то весна уж на носу!

— Тебе бы только бригадира назначить!

— И правильно, с бригадира и надо начинать. Бригадир всему голова.

— Можно выдвинуть на это дело женщину, не обязательно мужчину,— замечает Кульчар.

Это уж никак не умещается в голове у Бердеша.

— Бабу? На обжиг кирпича? Да где это слыхано?

И действительно, предложение настолько необычно, что повергает в смущение едва ли не всех присутствующих. Даже Сито растерянно глядит на Шаркези. А тот, с минуту поразмыслив, негромко говорит:

— И верно, Рожи, моя жена, наверняка взялась бы за это дело.

Но, повидимому, Бердеш знает больше мужа:

— Едва ли, братец. Что-то мне не верится, возьмется ли она?

— Почему же нет? И ей ведь чем-то заниматься надо.

— А кто будет за хозяйством смотреть? Ведь семья у вас немалая: старики, дочери.

— Ну, дочерям дело найдется. А по дому старики справятся. Этак мы сразу убьем двух зайцев и заодно ответим на вопрос, который волнует все село: «Что же станется в кооперативе со стариками?» А вот что: будут сидеть дома, стряпать, смотреть за курами, гусями, утками, кормить поросенка, ходить за коровой либо телкой. Вот вам и ответ.

— Товарищи, дел у нас еще много, давайте не тратить времени попусту,— говорит Кульчар.— Я предлагаю принять пред-

ложение товарища Шаркези. Утвердим Рожи Шаркези ответственной за строительство — и за дело.

— Ладно. Будь по-вашему,— сдается Бердеш.— Если не вытянем, бросить всегда успеем.

Остальные тоже одобряют такое решение, а Шаркези наклоняет голову, чтобы скрыть улыбку. Не вытянем, бросим... и всякое такое... Уж если Рожи возьмется, она-то справится...

С улицы доносится шум, громкие голоса. Раздается стук в дверь. Входит Шерфезе. Сапоги его в грязи, брюки тоже не лучше. В руке дубинка; и она также чуть не до половины залеплена грязью.

— Сабадшаг! Я пришел сказать... надо бы взглянуть на пшеницу...

— Что, морозом прихватило? — в тревоге спрашивает Шаркези. Он вскакивает, за ним остальные. Они ведь и послали в поле Шерфезе, чтобы он там все осмотрел.

— Не то чтобы прихватило, но пройтись по зеленям не мешало бы.

— Бороной?

— Ну да. А может, и катком.

— Рановато вроде. Надо съездить и посмотреть.

Кульчару не терпится поскорее взглянуть на всходы.

— Давайте поедем сейчас же. Лучше перенесем обсуждение на вечер.

— Ну что ж, сейчас так сейчас! — соглашается Бердеш и, встав из-за стола, берется за шапку.

— Сейчас все телеги заняты, навоз возят в поле,— сообщает Сито.

— Неважно, мы сверху сядем. Идемте!

— Сколько туда километров? Может, доедем машиной?

— Да недалеко, до крайней межи километров пять-шесть. Только машиной сейчас не доберемся.

— Что ж, на телеге так на телеге,— соглашается Кульчар, встает, складывает в папку бумаги и проекты и вручает ее Сито. Тот запирает папку в ящик стола.

4

По центральной, Большой улице гуськом, одна за другой, тянутся подводы, груженные навозом, а сверху восседает все правление кооператива. Люди провожают их удивленными взглядами, колеса бодро погромыхивают по камням мостовой, и седоки, повернувшись боком, стараются как-нибудь спастись от встречного ветра. Солнце хотя и греет, да и ветер не очень холодный, а все же пробирает изрядно. У моста на них глядит святой Янош Непомука. Перезимовал, значит, и он. И посох в его деснице так же, как и в прошлом году, поднят кверху, словно святой грозит проезжающим.

— Чего здесь торчит этот святой отец, как его там звать? — оглядываясь на статую, сердито ворчит Бердеш.

— Непомука,— коротко отзывается возница и, подняв воротник, прыскает в кулак. Хоть сам он и кальвинист, но достаточно разбирается в другой религии, чтобы знать хотя бы имя святого.

Телеги с грохотом перекатываются через мост, дальше идет проселочная дорога, стук колес глохнет в сырой земле. Лошади сильней натягивают постромки, стараясь поскорее преодолеть трудный участок пути.

Большие хмурые облака путешествуют по небу, подгоняемые ветром, но сегодня и они стали словно белее и прозрачнее. Одним словом, это уже весна. Ранняя весна, когда под молодой луной в сумеречный час дорожная грязь еще застывает твердыми катышками. Лишь изредка под колесом в ухабе плеснется вода. Кругом тишина, только шумит ветер. Уже не слышно карканья ворон, но и жаворонки еще не завели свою песню.

Вот и приехали. Телеги, не останавливаясь, тянутся дальше, люди соскакивают на ходу; каждый старается ступать по кочкам, весь луг покрыт лужами. Справа — уходящие в бесконечную даль поля, вспаханные под пар или покрытые ранними всходами пашни, слева — поблескивающий зеркалами талых вод луг. Прямо перед ними — раскинувшееся на целых четыреста хольдов поле пшеницы. Их поле. И они стоят и смотрят, не двигаясь с места, лишь изредка переминаясь с ноги на ногу. Шаркези трогается первым и молча идет прямо по бороздам, разглядывая молодые, зеленые всходы, пиная носком сапога рассыпающиеся от удара комки земли. Остальные нестройной группой двигаются за ним.

Пожелай кто-нибудь из этих людей слово вымолвить — не получится, оно застрянет в горле. Разве можно высказать то, что видит глаз, что чувствует сердце? Ширина полосы добрых триста шагов, длина ее — не меньше двух километров, и этот простор вселяет в людей ощущение бескрайности, безграничности. Словно горизонт упирается где-то в это зеленое поле, да и само солнце будто поднялось отсюда. И чем дальше они идут, тем больше им кажется, что вокруг, в целом свете нет ничего, кроме этого зеленеющего поля.

Пшеница уже поднялась, ее нежные листочки чуть курчавятся, земля рассыпчата, хоть не черная, а темнобурая, как давняя ржавчина. Миллионы, миллионы нежнозеленых ростков, словно бойцы, выстроились ровными рядами. Порывами набегает ветер с юго-востока; то притихнет, то снова зашумит, но всходы не обращают на него внимания, стоят себе как ни в чем не бывало, едва колышутся. Ряды их сейчас, точно след от гребня в волосах у девочки.

На распаханных межах земля вздымается волной, видны еще следы сеялки, которая слегка подскакивала, переезжая через них, и борозды мягко стелились, словно провожая сеялку до следующей, третьей... десятой межи только затем, чтобы еще и еще повторять эту игру. Большое белое облако проплывает над головой,

затянув на миг синее-синее и, кажется, такое звонкое от синевы небо. Застыло оно в бездонной высоте, и люди все идут и идут по зеленым всходам под этим синим небом.

— Эх, настанет время, будет у нас тысяча хольдов в одном клине! Вот бы дожить!..— не в силах больше молчать Бердеш. Он растроган. И хоть суровый и закаленный он человек, но здесь, в это мартовское утро, под веселым ветром, посреди поля в четыреста хольдов зеленеющих всходов, даже он расчувствовался. Можно ли его за это винить? Да и Шаркези с трудом удается стряхнуть с себя навеянное Бердешем настроение.

— Всходы добрые. Однако будем решать, как с ними быть. Надо что-нибудь сейчас делать или пусть еще постоят?

— Как не надо? Бороновать сейчас же, немедля! — откликается Сито.

Разбредшиеся было по полю люди сходятся вместе — ведь и впрямь надо решать. Один советует одно, другой — другое. Дескать, надо бы повременить, слаба еще пшеница, бороновать рано...

— А что ты скажешь, товарищ Пап?

— Я-то? Бороновать немедля. Товарищ Сито прав.

— А может, раньше очистить от жнивья тот участок, где в прошлом году была кукуруза?

— Одно другому не помеха. Время упускать нельзя. Борона все зацепит.

Пока они добираются до края поля, выясняется, что срочных дел хоть пруд пруди, одно важнее другого! Горох надо сеять — и немедленно! Но для этого надо и пахать и бороновать. Ячмень тоже ждет очереди, а пашня под него не готова. Но на чем пахать, если в кооперативе всего четыре упряжки лошадей? Предположим, можно запрячь в ярмо коров, но что тогда будет с молочной фермой? Получится, как у журавля на болоте: хвост вытащит — нос увязнет, нос вытащит — хвост увязнет.

Кульчар тоже разбирается в сельском хозяйстве, если не из опыта, то по книгам.

— Так ведь зябь перепахивать не надо!

— Где не надо, а где это и не лишнее. Там, где почвы разные или попадаются солончаки, непременно нужно. Пусть не глубоко, хоть на ладонь, а нужно.

Сколько было всяких планов, всю зиму проспорили, а теперь вот, извольте, весна на носу, назад ее не отодвинешь, и все дела навалились сразу.

— А что слышно про МТС, товарищ Кульчар? — спрашивает Бердеш таким укоризненным тоном, будто от одного Кульчара зависит, будет ли в округе машинно-тракторная станция или нет.

— Не от меня это зависит, товарищ Бердеш. По плану МТС у нас должна быть, но пока еще очередь не дошла. Три трактора у вас налицо, надо их только привести в порядок. А тракториста и горючее постараюсь прислать вам из уезда.

— Тракторист у нас свой есть... Шандор Катона.

— Тем лучше! Тогда один трактор можно пустить хоть завтра!

Руководители кооператива уже зашли довольно далеко вглубь полей, кто-то из них забрался даже на гребень плотины у реки, и издалека кажется, будто это не человек, а аист вышагивает голенастыми лапами. Ведь под солнцем очертания далеких предметов искажаются, становятся неправдоподобными, призрачными.

Неподалеку от плотины возчики сваливают с телег навоз. Один из них поет, ветер далеко разносит песню.

Пускай костер мой ярче прогорит,
Весь мир пускай что хочет говорит!
Пылай костер! Не пожалею я огня!
Собачий мир пусть лает на меня!
Мне всё равно!

— Ишь ты, хорошо с утра поется! — восклицает Бердеш.

Растянувшаяся по полю группа людей поворачивает к телегам, откуда доносится песня, словно сигнал к сбору.

И вот они уже снова сидят на телегах и трогаются обратно в село, чтобы продолжить обсуждение.

Но, как говорится, «кошка за дверь, мыши в избу» — в конторе кооператива полно народу. На стене висит план. Владения кооператива обозначены на нем красным и зеленым мелками, остальные поля вокруг села — белые, отмечены лишь проселки и хутора. Все это выглядит на плане так, словно кооперативные поля обжитая, цивилизованная территория, а остальные белые пятна — пустыня, которую еще предстоит завоевать и освоить. Шари Фейер с кнопками стоит возле плана. Кроме нее, здесь и Лайош Тержек-Виг и бывшие мелкие арендаторы. Все взоры прикованы к плану. А инженер объясняет. Редкий случай, когда между ним и крестьянами нет никого из местного начальства: ни председателя, ни парторга, ни других ответственных товарищей. И инженер полагает, что он обязан вместо них обучать, просвещать крестьянина. Да и план этот, собственно, составлен с той же целью.

— Как вы видите, товарищи, территория, занимаемая полями вашего кооператива, составляет едва восемь с половиной процентов от всей площади земель, принадлежащих селу. А это значит, что...

Продолжить ему не удается — подводы уже заворачивают во двор: шум, крики, восклицания, и члены правления показываются в дверях. Задержавшись у порога, они с минуту рассматривают план на стене.

— Красота! Куда лучше, чем малевал, бывало, этот... как его... капитан Дьери,— восхищается Бердеш, подходит ближе к плану и разглядывает его. Любопытствующие, теснясь, несколько отступают.

Но надо приступать к делу, распределять людей. А это не так легко. Кажется, чего проще — столько-то человек направить сюда, столько-то туда. А на поверку выясняется, что установить это можно только, когда все начнут работать, каждый на своем месте.

Но, с другой стороны, объем работы надо определить заранее. Что знают эти люди? Думают только о своем трудодне: сколько я выработал, накосил да накопал. А с планом куда сподручнее, знаешь с чего начать, и не одному, а всем. Но как ни ломают себе голову члены правления, бригады, которая занялась бы формовкой и обжигом кирпича, пока выделить не удается. Тут Лайоша Кошут-Киша осеняет мысль.

— Послушайте-ка, товарищи! Ведь полеводы наши с чего начнут? С прополки. С этим могут справиться и женщины! А мужчин на это время можно поставить на формовку кирпича!

Что ж, дельное предложение. Однако кое-кто из членов правления сомневается. Ему-то, Лайошу, легко предлагать. На что годна его старуха? Ни на что. Разве только дома сидеть да кое-как приготовить обедишко или ужин.

— Что ж, наши жены тоже могут пойти... Так ведь, товарищ Сито? — обращается Йошка Пап к Сито. Тот озадачен. Все, что у него было — двух коней, телегу, хозяйственный инвентарь,— все он отдал кооперативу, и теперь не знает, что скажет жена, узнав, что после всего этого ей самой еще нужно идти работать на кооперативном поле. Но вот Йошка Пап отдал куда больше, а сам предлагает взять на работу жену...

— Могут? Не только могут, а пойдут, будь уверен! — восклицает Сито. Хотелось бы ему посмотреть, как это его жена станет отказываться.— У меня и сын пойдет. Ему вот-вот стукнет шестнадцать. Ну, а как ваши, товарищ Бердеш?

Оно, конечно, ораторствовать на съезде по поводу роли женщин в кооперативе Бердеш сумел, там речь у него получилась хоть куда. Но говорить речи — одно, а на мартовском ветру полоть в поле — другое. Что ему скажет жена, если он заикнется о том, что вот, мол, так и так, давай завтра в поле? Но делать нечего, и Бердеш тоже одобряет это предложение. Авось, если другие женщины поймут, в чем дело, и его супруга уразумеет.

Но кончится прополка, придется рыхлить и окучивать, а там, глядишь, и жатва подоспеет. Этак женщины все лето не освободятся. Но если даже они как-нибудь управятся со всем, для кооператива это не выход, все равно не хватает мужских рабочих рук. Нужно больше народу... Да, этот вопрос надо как-то решать.

— Значит, опять начнем агитацию, товарищи,— решительно говорит Кульчар.

Агитировать сельчан? Опять, как осенью, ходить из дома в дом? От одной мысли об этом мурашки пробегают по коже.

— Покуда все коммунисты не войдут в кооператив, проку от этой агитации не будет! — откликается старый Шике, который вступил в кооператив вместе с другими католиками.

— А мы беспартийные, что ли? — удивляется Лайош Кошут-Киш.

— Не о вас речь. Я говорю об остальных. Придешь, толкуешь хозяину — вступай, мол, к нам, а он тебе в ответ: «Ежели у вас

в кооперативе так сладко, отчего же тогда к вам не все коммунисты пошли?»

Кульчар молчит, слушает. Не легко разобраться, когда столько разных мнений! Он вопросительно смотрит на Шаркези.

— Если кто-нибудь объявил себя коммунистом, это еще не значит, что он действительно коммунист. Не все люди на один лад,— отвечает Шаркези.— Вот получил человек землю или своей была малая толика и так к ней прирос, что не хватает сил оторваться. Но всему свое время. Надо беседовать, агитировать, разъяснять! Где у нас старый список, товарищ Сито?

Сито, покопавшись в ящике стола, вынимает лист бумаги. На нем список жителей села, разбитый по улицам, по дворам. Его составил Лайош Тержек-Виг, когда вступил в кооператив. Против имен и фамилий значки: кто понадежней — галочка, богатеи-кулаки и их подпевалы — крест, кто особенно нужен — черта. Значки эти Тержек-Виг ставил по своему разумению.

Работа большая, что говорить. Но доверять оценкам одного Тержек-Вига все же нельзя. Поэтому Сито читает список вслух, по порядку. Бердеш, Йошка Пап, Шаркези и Бири после каждой фамилии вставляют свои замечания: этот, пожалуй, вступит, а вот тот — едва ли, будет выжидать, куда ветер подует. Каждый человек им хорошо известен: кто знает одного, а кто — другого.

Собственно говоря, они делают сейчас почти то же, что инженер делал с полями. Разница только в том, что промеривают они не пашни и огороды, а людей, семьи, дворы и результаты не наносят сразу на план, а пока записывают на бумаге, чтобы легче найти путь к душам людей.

Глава четвертая

1

В селе происшествие, и немаловажное... Слух о нем ходит по всем дворам. У Шари Фейер сбежал поросенок. Всю зиму откармливала она своего Йонаша сладким крахмалом, а он сбежал. Наконец Шари настигла его в церковном саду. Поросенок было остановился, затем, насмешливо подмигнув хозяйке, хрюкнул и скрылся в кустах.

— Йонаш, Йонаш, иди ко мне,— зовет Шари. Из куста вновь появляется знакомое рыльце. На этот раз в зубах у него какая-то белая тряпица. Йонаш делает несколько шагов, роняет ее, волочит пятачком по земле, снова подхватывает и с виноватым видом удирает в калитку, словно зная, что напроказил.

— И какая тебя муха укусила, Йонаш? — уже с досадой говорит Шари Фейер.

Раннее утро, только что выгнали скотину, и позевывающие у ворот хозяйки и их дочери с любопытством наблюдают за сценой,

которая разыгрывается между Йонашем и Шари Фейер. Наконец поросенок выскакивает из-под проволочной ограды памятника павшим солдатам, пугается зрителей, роняет тряпицу и улепетывает домой.

Жена Кароя Ханадя, возвращаясь с колодца, ставит на землю ведра и, ухватив двумя пальцами белую тряпицу, поднимает ее и разглядывает.

— Ах, чтоб тебя, окаянного!.. Да ведь это бабьи штаны...

— Панталоны и есть! — подтверждает соседка. Рот ее растягивается в улыбке и становится похожим на молодой месяц, как его рисовали в старинных календарях.

Жена его преподобия господина пастора, опершись на локоть, выглядывает из открытого окна, но, увидев в руках женщины панталоны, исчезает тихо и незаметно, как тень. Через секунду так же тихонько прикрывается окно.

Женщины знают, что вчера вечером в доме пастора был религиозный вечер евангелистов, куда больше ходит молодежь. А теперь, нате вам, полюбуйтесь — женские панталоны...

Шари Фейер хохочет своим рассыпчатым смехом и убегает за Йонашем. А женщины собираются в кружок — надо обсудить это чрезвычайное происшествие.

В тот же день о случившемся толкует все село, кто так, кто этак — всяк по-своему. Но в деревне всякое событие перестает быть новостью, если только его сменяет другое, посвежее. На этот раз оно не заставляет долго ждать — ходят по дворам кооператоры. Опять, видно, пытаются убедить крестьян в том, что лучше их «Свободы» нет ничего на свете и если трудиться сообща, жизнь станет куда лучше.

— Может, оно и так. Только ты покажи какой-нибудь результат от вашей затеи,— говорит Гашпар Болдижар Кари Верешу.

— Могу показать. Разве четыреста хольдов посеянной нами пшеницы не результат? А пятьсот двадцать поросят, которых скоро будем переводить на откорм, не результат?

— Э-э, была бы земля, на ней и дурень посеет. И с поросятами невелика заслуга: свиноматок-то вы получили от государства... Нет, вы мне такое покажите, что сами своими силами сделали!

— И покажем! Только надо еще малость обождать.

— Вот я и говорю, обождать! Обожду малость, а потом приходи, милости просим!

Кари Вереш уходит ни с чем. Рука его теребит в кармане бумажку, а надежды постепенно гаснут. На бумажке — список крестьян, с которыми он должен поговорить. «Не выходит, вот досада,— думает Кари,— и все потому, что не умею доказать!»

Но и Балаж Фюрес в эту минуту, если и не слово в слово, но думает то же, что и Кари Вереш. Он сидит перед старым Петером Посом, тем самым, который в свое время не вступил вместе с другими католиками в кооператив. Старик распекает Фюреса на все лады.

— И как тебе, Балаж, не совестно? Как ты, католик, мог затесаться в это протестантское гнездо?

— Почему бы и нет? Они такие же люди, как и мы.

Старого Петера это окончательно выводит из себя.

— Что-о? Реформаты такие же люди, как и католики? А ну, поворачивай оглобли, не то...

Балажу Фюресу ничего не остается, как убраться восвояси. А Шаркези в это время беседует с Ласло Рожей, и у него, надо сказать, получается совсем иначе.

— Как вы мне последний раз сказали, дядюшка Ласло?.. Встретимся, мол, еще на кооперативном дворе?

— Если господь бог того пожелает! Вот как я сказал. Но, видать, пока не желает...— и хозяин дома лукаво посмеивается.

— Жаль. А то бы в самый раз. Очень вы нам нужны, дядюшка Ласло!

Ласло Рожа с минуту раздумывает.

— У кума Кеваго ваши-то уже побывали?

— Если еще не были, то завтра непременно будут. Но я с ним говорил.

— Так, так. Всякому овощу свое время, побольше терпенья... Да, вот что... Где вы решили хлопок высевать?

— По ту сторону Сухого ручья.

— Добре, добре. Место не плохое. Землица отличная, в низинке, там и в засуху трава хорошая. Что ж, дело у вас должно пойти,— в заключение говорит дядюшка Ласло и пускается в длиннейшие рассуждения о хлопке, которого он, правда, и в глаза никогда не видел, но слыхать слыхал, и в книгах о нем читал. Все, что касается сельского хозяйства, его живо интересует. Такой уж он человек. И хотя Шаркези отлично знает, что весь этот разговор он затеял сейчас только ради того, чтобы не давать определенного ответа — вступать ему в кооператив или не вступать, но слушает внимательно. А поговорить дядюшка Ласло умеет, и слова у него умные и ясные.

— Дайте срок, зацветет наш богом обиженный край. Привьется и у нас великое множество новых культур; хлопок только начало. Ведь сколько еще есть на свете всяких полезных растений, которые могут произрастать и на нашей земле? А его преподобие хочет народ, у которого такая вот чудесная земля, прельстить небесами. Теперь ему, вишь ты, пришло в голову, что у крестьянина, кроме пары рук, которые столько лет работали на его преподобие и других господ, еще и душа имеется. А еще несколько лет назад он, небось, разговаривал иначе. Росло у него тогда на заднем дворе прекрасное тутовое дерево. Как-то раз двое мальчишек облизывались-облизывались, смотря на него через забор, а потом не выдержали — и к пастору: «Позвольте, ваше преподобие, полакомиться ягодами». Пастор позволил. Впустил их во двор, дерево толстое, сучья высоко, ребята влезть не могут. Дал он им лестницу, забрались они — и ну уплетать за обе щеки. Набили

животишки, стали вниз спускаться, а его преподобие тем временем лестницу унес да и сам ушел из дому. Так двое малышей и прокукарекали на дереве до самой ночи. Только церковный звонарь, отзвонивший вечерню, снял их оттуда.

История эта не так уж интересна, однако Шаркези хохочет, хотя смех у него получается не слишком веселый, ибо дядюшка Рожа тут же, без передышки, начинает новую.

Да, разговоров и историй хоть отбавляй! Сколько всякой всячины припомнит и расскажет Ласло Рожа, лишь бы только не нужно было высказать трех заветных слов: вступаю в кооператив...

В этот же час многие члены кооператива сидят в других домах и беседуют с их хозяевами. Одного агитатора в этот момент провожают до калитки, другой только вошел в дом, остальные ходят по селу из края в край.

Есть среди хозяев и такие храбрецы, которые, узнав, что у соседа агитатор, и не желая с ним встречаться — ведь открыто отказываться от кооператива не очень-то приятно,— решают попросту улизнуть. Забрался на чердак, и делу конец.

— И куда мой хозяин подевался, ума не приложу, голубчик,— умильно, с притворным сожалением оправдывается хозяйка.

— Не беда, милая тетушка, мы с вами и без него поймем друг друга,— возражает Шерфезе младший и, не дожидаясь, пока хозяйка предложит ему сесть, сам усаживается на скамью.

— Понять-то поймем, только... не разбираюсь я в этой вашей политике, сынок.

— Не велика беда, разберетесь. Только вступайте в наш кооператив.

Хозяйка, до сих пор приветливая, теперь и вовсе тает.

— И рады бы, голубок, но не можем... Никак не можем. Мы люди истинной веры, евангелисты, где уж нам.

«Чорт бы побрал этого попа! — чертыхается про себя Шерфезе.— Тут, что ни толкуй, все прахом». И как могло случиться, что эти люди слушают попа, а не его, Шерфезе? Ведь как-никак хозяйка ему, хоть и далекая, а все-таки родня. Уж он-то надеялся, что наверняка сумеет ее убедить, а не выходит. Шерфезе не сдается и продолжает стоять на своем. Но ничего у него не получается.

Не получается и у другого, и у третьего. Начинает казаться, будто кто-то только что до их прихода обошел все дворы и специально восстанавливал крестьян против кооператива: люди уклонялись, виляли, переводили разговор на любые другие темы, только бы не давать прямого ответа, либо, по примеру милой тетушки, ссылались на свою верность евангелию.

— Эх, и горек наш хлеб! — выйдя на улицу, вздыхает Бенце. К кому теперь? Он оглядывается по сторонам. Там, где от улицы ответвляется переулок, стоит дом Гергея Матэ, за ним Шенебикаи, немного поодаль — Андраша Кеваго. Увы, Бенце пока еще не удалось убедить ни одного человека, ни единого! А что если попробовать поговорить с Андрашем Кеваго? То-то был бы богатый

урожай. Правда, в памятной записке фамилия Кеваго не значится, но... он один стóит десятка других. Надо попытаться, тогда Бенце единым махом исправит все свои неудачи.

А Андраш Кеваго в эту минуту находится в самом дурном расположении духа. Его сын Андриш, выкорчевывая утром во дворе корни акации, сломал рукоятку кирки, и Кеваго старший теперь строгает новую.

— Кто ж рукояткой от кирки корни выворачивает? Этак, что хочешь пополам треснет,— ворчит он.

— Чорт их выворачивал, а не я! Не может ведь рукоятка держаться вечно,— оправдывается Андриш.

— Ну вот, готово. Черенок добрый, из сухой акации. На, только гляди в оба,— и Кеваго протягивает кирку сыну.

Андриш ощупывает новую рукоятку, пробует ударить киркой. Рукоятка и впрямь хорошая, только груба и шероховата, об нее и мозоли натереть недолго.

— Подшлифовали бы еще немного стеклом, отец!

— Ничего, о твои ладони оботрется,— отвечает тот, ибо, вопервых, не знает, где раздобыть подходящий осколок стекла, а вовторых, он просто не в духе.

По понятиям Кеваго, порядочный человек все на свете должен делать добротно, на всю жизнь, поэтому каждую вещь нужно беречь. Ведь одна из тайн крестьянской жизни, которая как-то облегчает ее, и состоит в том, что человек без нужды не перетруждает ни землю, ни скотину, ни инструмент, ни самого себя. Бывают в крестьянском хозяйстве инструменты, которые служат не только одному хозяину, а целым поколениям. А тут, извольте видеть, является такой желторотый юнец и, не долго думая, ломает рукоятку от кирки!.. От той самой кирки, которая верой и правдой служила Кеваго еще на хортобадьских солончаках.

Андриш тоже злится на отца. Сказать, что твердая, как камень, рукоятка отшлифуется об его, Андриша, ладони!.. Это вместо того, чтобы найти осколок стекла и как следует хорошенько пройтись по ней! Чорт бы взял и эти корни, и эту кирку!.. Андриш и сам бы, конечно, мог найти стекло, эка невидаль, но... Вот если бы отец обошелся с ним по-другому, может, он бы и сам отшлифовал. Только даст ли ему отец? Он ведь смотрит сам за инструментом, считает, что один умеет мастерить всякую всячину. А сыну только и достается, что гнуть спину на работе.

Да, именно гнуть, как только под силу человеку. Взять хотя бы эти чортовы корни. Не он ли выкорчевывает их из земли, словно легендарный Пал Кинижи *, который один корчевал целый лес... Этому Палу Кинижи приходилось легче — он деревья валил целиком, с листвой, с сучьями; туда-сюда качнешь, сами падают. А тут копайся в земле! Когда рубили эти акации, корни корчевать сразу нельзя было — над ними стоял соседский свинарник, пришлось так и оставить. А теперь сосед перенес свинарник в другое место.

Размышляя таким образом, Андриш шагает назад к яме, затем, постояв с минуту, с размаху вонзает кирку в пень, хлопает в ладоши, отряхивается и направляется в кухню.

Кеваго старший полагает, что сын просто захотел напиться воды. Ему не приходит в голову, что Андриш, как это с ним уже не раз случалось, вдруг во время работы что-то надумает, умоется, переобует сапоги, натянет праздничный костюм, вскочит на свой велосипед, нажмет на педали и, не сказавшись никому,— был таков, поминай, как звали!

Кеваго аккуратно убирает под навес топорик и скобель (всему здесь свое место), затем начинает собирать стружки.

В этот момент на пороге кухни появляется Андриш. Он уже успел переодеться; шляпа, штаны, сапоги — все на нем другое. Он закуривает сигарету и склоняется над велосипедом.

Кеваго старший только хотел сказать, что не рано ли, мол, сынок, собрался, до вечера еще ой как далеко, но в этот миг отворяется калитка, и в ней появляется Бенце.

— Эко чудо! Только что ушел Йошка Пап — даже часу не прошло — и тут еще один! Или, может, вы с ним в прятки играете? — обращается Кеваго к входящему Бенце.

— Ах, он уже был? Ну, тогда извините за беспокойство, дядюшка Кеваго.

— Какое тут беспокойство, сынок!.. С ним я потолковал, могу потолковать и с тобой, если хочешь. Ну, заходи во двор, чего стоишь? Пройдем на кухню, что ли...

Бенце входит. Кеваго следует за ним, но в дверях оглядывается — Андриш в этот момент скатывает велосипед с крыльца. Велосипед весело позвякивает. Кеваго вздыхает, выражая этим сожаление по поводу пошатнувшегося отцовского авторитета, и переступает порог кухни.

В кухонной печи пылает огонь, под печью клохчет наседка, поучая свой выводок уму-разуму. Жена Кеваго что-то жарит на огне, дочь Мария гладит белье. Обе, подняв глаза, отвечают на приветствие и, как ни в чем не бывало, продолжают заниматься каждая своим делом.

— Присаживайся, братец. Закурим? Как бы там ни было, не к чужому пришел, ведь я с твоим отцом дружил до самой его смерти. Да ты его, должно быть, и не помнишь?

— Не помню. Когда он умер, я еще мальчонкой был.

— Да, рано умер, мог бы еще пожить. В молодости был он у нас в селе мельником, потом подался в Салонту, на паровую мельницу. А там сорвался привод и так его хватило, что из бедняги дух вон!.. И как только после этого ты решил пойти по его стопам?

— А что было делать? В то время для меня один путь был — впрячься в отцовскую лямку. Убило отца — его должен заменить сын. Вот я и начал работать на той же мельнице, а теперь, как знаете,— в кооперативе. Если бы освобождение ничего нам не дало, кроме возможности свободно выбирать себе путь в жизни,— и то

это великое дело. Вот зачем я пришел к вам, дядюшка Кеваго. Думали ли вы сами над этим? То есть не хотелось бы вам... избрать для себя другую дорогу, чем та, по которой вы шли до сих пор?

— Не так это, братец, легко. Я уже тут Йошке Папу объяснил подробно. Но могу и тебе сказать. Я все это дело представлял себе совсем иначе.

— А как же, дядюшка Кеваго?

— А так, как оно должно быть. Как оно и будет.

— Но ведь мы начали только прошлой осенью. За такое короткое время многого не успеть... Надо вам, дядюшка Кеваго, к нам вступать, тогда дело пойдет куда лучше.

— Не могу, сынок. Начали уж больно плохо. Так плохо, что не родился еще на свет человек, который мог бы все это поправить. И всему виной ваш Бердеш, он один.

Бенце растерян. Он тревожно ерзает на стуле, затем спрашивает:

— Что-то не пойму... Чем у нас так плохо?

— Скажу и об этом. Мог бы и раньше сказать, но меня не спросили. Меня вообще никогда не спрашивали. А если кто-нибудь во всем селе и относится к вашему делу доброжелательно, так это Андраш Кеваго. Сказали мне: Кеваго, возьми на себя размежевание земли, будь председателем комиссии. Я согласился. Бывало, кто-нибудь заартачится, я его мигом утихомирю. Так-то... А беда, братец, в том, что у вас к кулакам подходят по-разному. У этого мы, мол, землю отрежем, а тому оставим. Но главное даже не в этом. Главное в том, что почему-то вышли сухими из воды закадычные дружки самого Бердеша.

— Это кто же?

— Не дури, Бенце! Будто не знаешь. Например, Барна Надь, вот кто.

Бенце пытается найти в защиту своего председателя какие-то доводы, ибо считает, что, пока Бердеш председатель, он обязан его защищать перед всеми, кто не член кооператива. А это значит, что разговора у него с Кеваго не выйдет. Так и есть. В самом деле, как только он, Бенце, мог понадеяться, что сумеет найти аргументы более веские, чем Йошка Пап?

2

Жена Шандора Катоны — Жужи — не ходит, как другие агитаторы, по дворам, а, захватив два ведра, рано поутру спешит к артезианскому колодцу. Попадется навстречу подходящий человек — можно остановиться, поговорить.

Дойдя до колодца, Жужи продолжает свое дело. Ведра ее стоят пустые, зато разговоров хоть отбавляй. Женщины подходят одна за другой, поговорят, уходят. Но толку от этого немного. Разве только вот Лайош Модьороши, который в это время выливает в свою бочку два ведра воды. Лайош спешит в поле пахать, но дол-

жен еще успеть за водой к колодцу, как это делает каждое утро. Правда, у его хозяина Гербеди всего-то и осталось десять хольдов, но и этого достаточно, чтобы попрежнему держать у себя Модьороши в батраках, да и платить ему даже больше прежнего.

— Доколе ты будешь на него спину гнуть? — спрашивает Жужи Катона.

— Пока мне будет угодно! — с задором отвечает Модьороши.

— Оно и видно! Скажи лучше, пока угодно Гербеди! Чего тут греха таить?

Чем человек беднее, тем легче задеть его самолюбие. Жена Катоны знает это по себе, ведь и она бедна, как мышь. Поэтому-то она и затрагивает эту струнку у Модьороши. Он споласкивает свое ведро и снова ставит его под струю.

— Сегодня вечером дома будешь?

— Буду...

— Я зайду,— говорит он почти шопотом, словно боясь, что его услышит Гербеди.

«Ну, один есть»,— отмечает про себя Жужи Катона, набирает воду и ставит ведра поодаль.

К колодцу спешит женщина — это тетка Чер. С этой не спесишься — они говорят на разных языках, им друг друга не понять. Но вот идет еще кто-то... Ага, это новая служанка аптекаря. Она сирота... Да, да, она, Жужи, ее хорошо знает.

Аптека неподалеку, совсем рядом, и поэтому — а может быть, и потому, что у аптекарши нет другой посуды для воды,— девушка тащит большущее эмалированное ведро. На дворе хоть и тепло, но не настолько, чтобы бегать в таком легком платьишке. Девушка выше среднего роста, стройная, как тополь, волосы у нее каштановые, даже чуть светлее; короткие рукава синего в белый горошек простенького платья едва прикрывают руку там, где поблескивают следы от привитой в детстве оспы. Она всего недели две как приехала в село, но Катона знала ее раньше.

— Смотрите-ка... да это Жужи! Как поживаете, тетушка Жужи?

— Здравствуй, Эстер. Живу помаленьку. А как ты?

— Спасибо... хорошо. Только, пожалуй... не совсем. Знаете, я уже жалею, что приехала сюда. Я думала, что мне здесь будет хорошо, а оказалось не очень. Скажите, тетушка Жужи, почему так в жизни получается?

— Разве аптекарь и его жена плохо к тебе относятся?

— Нет, этого сказать нельзя. Только они... хозяева, а я служанка. Вот и все...

Жужи Катона смотрит на девушку. Она знала и отца ее и мать... давно это было. Вместе батрачили в одном поместье, далеко отсюда. С Эстер она познакомилась позже. Да, с этой девушкой у нее один язык: ведь обе они одинаково бедны.

— Ты думаешь, если отсюда уйдешь, на другом месте лучше будет?

— Не знаю. Но так мне кажется, а это уже кое-что значит.

— Жалко мне тебя, Эстер, а потому вот что скажу — не уходи ты никуда.

— Но что же мне делать? Спрашивала я у аптекаря в Уйфалу вот об этих,— девушка кивает головой в сторону аптеки,— говорил, люди хорошие.

— Отойдем в сторонку, Эстер, поговорим,— предлагает Жужи Катона, выливает из ведер воду и не спеша отходит к изгороди. Девушка следует за ней. Катона продолжает: — Видишь ли, Эстер, для тебя есть выход. В кооперативном хозяйстве всякий бездомный находит себе дом. Так поступил Бенце, бывший мельник, так собирается сделать Лайош Модьороши, батрак Гербеди; там обрели кров и я, и старый Бири, и другие. Попробуй и ты, Эстер. Чем ты рискуешь?.. Если тебе у нас не понравится, такого аптекаря или другого ты всегда найдешь.

На плитах артезианского колодца позвякивают ведра, вода без конца напевает свою монотонную песенку и бежит, не замечая куда — в ведро или мимо,— бежит, словно торопится поскорее вырваться из глубины земли.

Вот идет женщина, за ней девушка, мужчина, мальчик, одни подходят, другие уходят, унося ведра, а эти двое все стоят и беседуют возле ограды. Мимо них идут прохожие, одни замедляют шаг, другие перебегают улицу, третьи просто проходят мимо, а Жужи и Эстер все не могут наговориться. По чуть подсохшей мостовой медленно едет на велосипеде Андриш Кеваго. Он оглядывается по сторонам, изредка здоровается,— разумеется, с теми, кто этого заслуживает. Взгляд его падает на двух женщин, беседующих у ограды. Шляпу Андриш не снимает, только почтительно наклоняет голову. Отъехав, он несколько раз оборачивается.

— Кто это? — спрашивает Эстер.

— Это? Андриш, сын Кеваго. Сорви-голова, первый сердцеед! Сейчас за фельдшерицей увивается.

Что-то легонько кольнуло Эстер в сердце.

— Богатый?

— Нет, совсем нет. Вот если бы его отец вступил в кооператив!..— И Жужи начинает рассказывать о старом Кеваго, что он за человек и почему в ссоре с их председателем Бердешем, и почему...

Нельзя сказать, слушает ли ее девушка... Глаза ее провожают удаляющуюся фигуру Андриша. Тот еще раз оглядывается и сворачивает на мостик, ведущий к аптеке. Будто это что-то означает, будто этим он хочет что-то сказать, будто они не чужие, а давно знакомы друг с другом. Наверное, он вовсе и не ухаживает за этой фельдшерицей... И Эстер неожиданно начинает думать о фельдшерице. Эстер ее знает — она довольно часто заходит в аптеку. Маленькая, суетливая, рыженькая бабенка, с глуповатой улыбкой на лице, пропадающей только, если к ней обращаются или она сама кого-нибудь окликает.

— Тетушка Жужи, приходите сегодня после восьми ко мне на кухню! Придете?

— Приду, милая, с удовольствием.

Эстер гремит ведром у колодца, а Жужи вступает в разговор с подошедшей женой Антала Речеге-Киша, и девушка, подхватив свое ведро, уходит не прощаясь.

Андриш понятия не имеет, что ему, собственно, надо в аптеке, он даже наверное не знает, имеет ли девушка, которую он увидел у колодца, какое-нибудь отношение к аптекарю; он только слышал от фельдшерицы, что у аптекаря новая служанка.

Андриш входит. В аптеке никого, виднеется край белого халата — это аптекарь шарит под прилавком. Услышав скрип открывшейся двери, он выпрямляется.

— Добрый день!

— Добрый день, Андриш! Уж не болен ли кто у вас? — спрашивает аптекарь. Он хорошо знает Кеваго младшего. Особенно с тех пор, как фельдшерица все чаще упоминает его имя.

— У нас-то? Да нет, как будто все здоровы. Вот только я... лодыжка у меня на левой ноге... ноет...— Андриш приподнимает ногу и, подержав ее на весу, опускает.

— Это не страшно. Но показать врачу надо.

— Верно, верно...— поддакивает Андриш, не отдавая себе хорошенько отчета, что он говорит. Вот незадача! Прийти вот так ни с того ни с сего, даже не придумав какого-нибудь повода! Но это не в его правилах.

Открывается внутренняя дверь, на пороге появляется жена аптекаря.

— Что этой девчонки Эсти все еще нет? — спрашивает она.

«Ага, ее зовут Эсти»,— отмечает про себя Андриш. Правда, эти сведения слишком скудные. Что поделать, не спрашивать же о ней у аптекаря!

— Пожалуй, пойду к врачу,— роняет он и выходит из аптеки.

Андришу Кеваго двадцать шесть лет, в семье он единственный сын, кроме него, есть еще сестра — Мария. Он такой же обыкновенный крестьянский парень, как и другие, с той лишь разницей, что и в самом деле ухаживает за фельдшерицей. Сейчас за ней, а прежде за другими; одно время поговаривали, будто очень уж бегала за ним местная почтмейстерша, дама в опасном возрасте. Зимой сорок пятого года он три месяца учился в организованном тогда Народном колледже, а в сорок шестом вместе с группой сельской молодежи ездил в Данию, куда послало их на полгода тогдашнее коалиционное правительство * якобы с целью изучения сельского хозяйства. Прибыв на место, он тотчас же послал письмо в «Магветё» *, в котором писал, что это не изучение, а просто-напросто самая откровенная эксплуатация большой группы молодых венгерских крестьян. Ведь навоз они и дома могли бы возить, а пахать, сеять да копать канавы им тоже учиться нечего, одним словом, расписал, как полагается, что за порядки они

встретили в Дании. Газета опубликовала письмо, и в датском посольстве началась такая суматоха и трескотня по телефонам, какой давно не было! В результате положение венгерских ребят сразу изменилось к лучшему — их перестали загружать тяжелой физической работой, и у них оказалось больше времени, чтобы оглядеться и посмотреть, что и как. Затем Андриш чуть было не женился на девушке датчанке; все уж было сговорено, но потом разладилось. Разумеется, не по вине девушки, а по его собственной: он не смог достаточно сильно и глубоко полюбить ее. Андриш представлял себе любовь, как знойное лето; она, как ему казалось, без остатка заполняет человека, все его помыслы и желания. Однако в себе Андриш этого не почувствовал. Точно так же, как не почувствовал, встречаясь в Народном колледже с одной преподавательницей, потом с почтмейстершей, а затем и с фельдшерицей. Но что же он чувствует сейчас, увидев у колодца эту девушку?

Может быть, это и есть любовь? Нет, это не любовь. Ведь он только мельком на нее взглянул.

Но почему эта мимолетная встреча так тревожит и волнует? Куда ни взглянешь — перед глазами встает ее лицо, платье, фигура. Даже не перед глазами, а в памяти она возникает перед ним, как живая.

И прежняя жизнь кажется ему вдруг лишенной всякого содержания, серенькой и бессмысленной. Народный колледж, Дания, дом, даже отец — все сейчас словно отодвинулось куда-то далеко-далеко...

Андриш не помнит, сколько раз он съездил уже на своем велосипеде домой и обратно к аптеке. И сейчас, прислонив машину к стене сельпо, он без всякой цели стоит под акацией и безотрывно смотрит на аптеку. Дверь иногда открывается, кто-нибудь входит или выходит, но девушка не показывается. Ведь служанке выбраться из кухни почти так же трудно, как покойнику из могилы.

Андришу приходилось встречать служанок и раньше — у пастора, у секретаря сельской управы, у врача, у учителя. Бедные девушки! Они похожи на цветы шиповника у края дороги. Человек пялит на них глаза, мнет колесом, их топчет скотина, треплет ветер, пыль оседает на лепестки. Они — падчерицы у мачехи-жизни. И эта девушка одна из таких.

— Эй, Андриш, ждешь кого-нибудь? — остановившись на секунду, спрашивает знакомый парень, завернувший за чем-то в сельпо.

— Нет, никого. Так... прогуливаюсь...

Смеркается, молодой щербатый месяц висит в небе, словно он зацепился за голые сучья акации, и темные канавы точно какие-то причудливые письмена резко выделяются на посеребренном лунным светом поле. От артезианского колодца доносится неугомонное журчание воды.



— А мне показалось, что ты... — приятель, видимо, непрочь поболтать, но Андриш, не дослушав, вдруг одним прыжком перемахивает через канаву, где густеет прихваченная предвечерним холодком грязь, и шагает прямо к колодцу: в двери аптеки показалась девушка, в руке у нее ведро.

Андриш останавливается у кирпичной ограды, рядом с колодцем; какая-то ветхая старушка, погромыхивая ведерком, опасливо косится на него, но это пустяки. Все на свете пустяки, кроме одного — сюда идет эта девушка, она все ближе, ближе, вот она уже рядом. Старуха отходит, девушка занимает ее место и подставляет ведро под струю. Взгляд ее мельком скользит по лицу Андриша, снова перебегает на ведро, в котором, бурля, все выше поднимается вода.

— Нехорошая здесь вода, ржавчиной отдает,— произносит Андриш без всякого вступления.— В другом колодце гораздо лучше.

— Это в дальнем-то? — отзывается девушка и нагибается, намереваясь снять ведро с бетонной подставки. Но рука парня опережает ее — он хватает ведро и, недолго думая, выплескивает воду на землю.

— Он чуть подальше, это правда, зато стоит прогуляться, поверьте мне.— Раскачивая ведро в руке, он делает несколько шагов и выжидающе смотрит на девушку.

Та в полном смущении неподвижно стоит у колодца с пустыми руками. Такого с ней еще никогда не случалось, хотя, признаться, немало пришлось испытать этой девушке в простеньком синем платье!

— Но как же так?.. Вы хотите...

— Чтобы вы пошли со мной к тому колодцу... к дальнему...

— А ну-ка, посторонитесь, живо! Нечего тут шуры-муры разводить, ишь, место нашли! — прикрикивает на них тетка Болдижар и ставит свое ведро на бетонную плиту у колодца.

Девушка и парень переглядываются и вдруг, весело рассмеявшись, направляются к дальнему колодцу, держась за перемычку пустого ведра, словно оно и впрямь тяжелое. Они идут рядом. И Эстер чудится, будто молодой месяц напевает ей какую-то незнакомую, необычную песенку.

Второй, дальний, как его назвала Эстер, артезианский колодец и впрямь хорош, воды в нем много, она чистая и вкусная. К этому колодцу ходят все, кто живет поблизости или кто уж очень привередлив. Правда, от аптеки до него добрых полтора километра. Полтора туда, полтора обратно — значит, всего три. Даже если поторопиться — и то больше получаса, а если идти не спеша? Никак не меньше часу. Уже и месяц скрылся за горизонтом, свет от него брезжит на краю неба, точно за далекими холмами пожар, а парень и девушка не прошли еще и половины пути. Теперь они говорят, говорят без умолку. Нелегко было начать, первые слова давались Эстер с трудом — она произносила их едва слышно, зато

теперь так и льются одно за другим, блестят, переливаются, словно россыпь мелкого жемчуга. Эсти никогда не думала, что говорить так приятно. Слова эти, конечно, о пустяках и всяких глупостях: об аптеке, о хозяевах — нет в них ни ладу, ни складу,— но Андриш ловит каждое из них с такой жадностью, словно от этого зависят судьбы мира.

— Ах, что это я!.. Не даю вам слово вымолвить! — вдруг спохватывается девушка. Они останавливаются на мостике, под ними журчит, спешит вечная путешественница — вода, а сверху мириадами светящихся глаз смотрит темное вечернее небо.

— Да ведь я, собственно... С той самой минуты, как увидел вас... Будем на «ты», хорошо?

— Хорошо...— чуть поколебавшись, отвечает девушка.

— Спасибо...— Рука Андриша невольно поднимается, но по пути хватается за ведро, чтобы, чего доброго, не опуститься на плечо девушки.— Я ведь с той самой минуты не перестаю спрашивать себя: «Андриш, Андриш, Андриш Кеваго, что с тобой случилось?» Вот и сейчас, когда мы вместе, это только кажется, что я молчу. На каждое твое слово у меня свое... Но если бы только это! Ты говоришь, а мне чудится, будто мое сердце говорит твоими устами. Что я сейчас могу еще сказать?

«Это любовь, это любовь»,— думает девушка. Она поражена:

— Но ведь ты меня совсем не знаешь!

— Знаю, даже лучше, чем ты думаешь.

— Нет, не знаешь,— настойчиво повторяет она.— Не так легко узнать другого человека.

— Скажи, кто ты, откуда и как сюда попала?

— Попала, как видишь. Об этом трудно рассказать.— Вдруг в ней вспыхивает тревога.— Боже мой! Ведь меня ждут с водой, пора ужин подавать! — Она хватается за ведро.

— Да, да, ужин хозяевам...— мрачно отзывается Андриш. В эту минуту он ненавидит аптекаря с супругой лютой ненавистью.

А в доме аптекаря Эсти, то есть Эстер Мольнар, дожидается не только хозяйка, но и Жужи Катона.

Счастье еще, что так. Не застав Эстер дома, Жужи Катона разговорилась с аптекаршей и без дальних слов взялась помогать на кухне, так что хозяйский гнев, казалось, смягчен.

Эсти входит, понурив голову, как человек, сознающий свою вину. Но нравоучения ей не избежать.

— Так не годится, Эсти. Если это повторится еще раз, у нас с тобой дружба пойдет врозь,— говорит возмущенная жена аптекаря.

У Эстер мелькает мысль: а не рассказать ли об Андрише, о молодом месяце, таком чудесном, о тихом вечере, но тут же лицо ее мрачнеет. Нет, нет, ничего она ей не расскажет. Хозяева поужинали, и на кухонном столе громоздится грязная посуда, растет все выше, словно сугроб в метель. Тарелка на тарелку, чашка на

чашку, вилки, ложки — целая гора! Не беда, зато, перемывая посуду, она сможет поговорить с Жужи Катоной.

— Скажите, тетушка Жужи, бывало ли раньше, чтобы у вас в селе какой-нибудь видный парень взял в жены бедную служанку?

— Бывало ли? Да сколько угодно, еще и похлеще случалось. Вот, когда я еще была девочкой, а отец работал механиком у Тихамера Балога, наш барин женился на своей поварихе. А его мать, урожденная баронесса, вышла замуж за простого гуртовщика. Знаешь, как об этом в песне поется:

Стадо барышни одной на лугу пасется,
Сама барышня за ним по пятам крадется,
Еще издали кричит: «Янчи-гуртоправу,
Постели-ка, милый мой, свой кафтан на траву!»

Хорошая песня... Только не для служанок. О них ведь другие песни поют.

Жужи Катона кое о чем догадывается. Ну да, конечно, это Андриш Кеваго! И потом, где еще Эсти могла так задержаться! И Жужи, позабыв о цели своего прихода, заводит разговор совсем о другом. Говорит, рассказывает, убеждает. Как ей хотелось бы, чтобы эта бедная сирота нашла свое счастье! Ведь и ее мать, и она сама так и не сумели его найти. Стрелки часов уже близятся к одиннадцати, когда она, спохватившись, наконец спрашивает:

— Ну, как же насчет кооператива? Подумала о том, что я тебе говорила? Вернешься в Уйфалу или пойдешь к нам, в кооператив?

Эстер Мольнар задумывается: если она вступит в кооператив, что скажет на это Андриш Кеваго, этот красивый, гордый парень?

— Я еще не думала, тетушка Жужи. У меня мысли были о другом. Но как только мы встретимся, обязательно вам отвечу, хорошо?

— Хорошо-то хорошо, только торопись, скоро у нас общее собрание. А потом, если у тебя завелись секреты с этим Кеваго или еще что, ты от меня не таи... Можешь мне довериться, Эсти!

— У меня нет никаких секретов, тетушка Жужи! — отвечает Эстер и краснеет.

И все-таки ей приятно ласковое слово тетушки Катоны. По крайней мере, она теперь не так одинока в этом большом, незнакомом селе.

3

Агитационная кампания прошла почти впустую. Из всех сельских коммунистов, еще не вступивших в кооператив, заявление подал один Марци Хедье, племянник старосты. А этого слишком мало. Нужно оглядеться, найти ту точку опоры, с которой можно будет начать все сызнова. Одной из таких отправных точек мог быть ДЕФОС — Общевенгерский союз сельскохозяйственных рабочих и трудящихся крестьян. Шаркези уже имел разговор с пред-

седателем местной организации Кароем Чергете, и тот, хотя сначала было упирался, все же созвал совещание руководителей союза вместе с членами правления кооператива, пригласив на него и Шаркези.

Бердеш доложил о положении дел в кооперативе, рассказал о планах на будущее. Не умолчал и о том, что для проведения в жизнь этих больших и хороших планов в кооперативе не хватает рабочих рук.

— А потому,— закончил он,— мы просим ДЕФОС тоже начать агитацию, чтобы достойные кандидаты вступали в наш кооператив.

Представители ДЕФОСа, конечно, имеют кое-какой вес, но отвечает за всех председатель. Должно быть, они предварительно договорились между собой. Это сразу стало ясно.

— Мы, товарищи, принимаем активное участие во всех общественных мероприятиях, но нам думается, что для коллективного хозяйства время еще не приспело,— говорит Карой Чергете.

Бердеш не дает ему закончить:

— Ах, так? Ты что думаешь, Карой? Для чего тебя народ выбрал председателем ДЕФОСа?

— Для чего? А для того, чтобы я как председатель защищал интересы членов ДЕФОСа. А интересы эти ясные, о них прямо говорится в самом названии союза — «Союз сельскохозяйственных рабочих и трудящихся крестьян»,— парирует тот.

— Ты мне голову не морочь! Выходит, по-твоему, наш кооператив состоит не из трудящихся крестьян, а из лодырей, так что ли?

— Этого я не говорю. И вы трудящиеся, только на другой манер, чем мы,— уклоняется от прямого ответа Чергете.

Представители кооператива не знают, что и думать: то ли этот Чергете в самом деле глуп, то ли прикидывается дурачком. Как бы то ни было, первое совещание сорвалось из-за упрямства этого самого Чергете. Однако это привело к тому, что, несмотря на мнимую победу, авторитет председателя ДЕФОСа сильно пошатнулся, и не только среди кооператоров, но в первую очередь среди самих членов ДЕФОСа. И не из-за того, что он отказался договориться с кооперативом «Свобода», а потому, что не сумел доказать, почему это нецелесообразно. Руководство ДЕФОСа тоже было против соглашения, но им хотелось, чтобы председатель высказал такие доводы, которые раз навсегда отвадили бы кооператоров. А Карой Чергете их не нашел, хотя известно, что председателю полагается иметь больше ума, чем другим...

Так из этой затеи ничего и не получилось, если не считать того, что кооператоры с досады обозвали Кароя «сундуком», и это прозвище, как всегда бывает, быстро разнеслось по всему селу. Даже внукам его придется отзываться на эту кличку, пока время не сотрет память о ней.

А кооперативу, между тем, приходится пополнять свои ряды не

столько теми, кого удалось привлечь в результате бесед и уговоров, сколько за счет кандидатов Жужи Катоны.

— Антал Речеге-Киш, Марци Хедье, Лайош Модьороши, Иштван Кадар, Эстер Мольнар...— зачитывает список кандидатов Бердеш и кладет его в папку вместе с тоненькой стопкой заявлений.

— Из-за этих и не стоило обивать пороги,— недовольно говорит Лайош Кошут-Киш.

— Да, прибыль не велика,— соглашается Бердеш. Он никого не может упрекнуть за неудачу. Ведь он и сам не сагитировал ни единой души, и Шаркези, и Сито... Один только Йошка Пап принес заявление от Хедье, да и тот гол как сокол: на дворе у него вошь на аркане да блоха на цепи. Да и остальные не лучше.

— Так что же будем делать с заявлениями? — резко спрашивает Бердеш, обернувшись к Шаркези.

— Что делать? Предоставим решать общему собранию. Надеюсь, у членов кооператива хватит разума, чтобы их принять. Если новые товарищи ничего не принесут в кооператив, кроме своих рук, и то неплохо. Работы хватит для всех. Однако давайте рассмотрим каждое заявление в отдельности!

— А чего их рассматривать? Модьороши мужик хворый, Гербеди из него все силы высосал. Семь душ детей, мал мала меньше, один только постарше. Имущества никакого. Хедье тоже со здоровьем не в ладах; трое ребят, на дворе хоть шаром покати, даже куренка нет. Антал Речеге-Киш человек без совести, темными делишками занимался... Ребята у него, правда, взрослые... Еще эта самая, как ее... Эстер Мольнар — служанка у аптекаря... Вот какие кандидаты.

Тишина. Все молчат, не решаясь заговорить.

— А сколько, собственно, людей нам надо в строительную бригаду? — отзывается, наконец, Лайош Кошут-Киш.

— По расчетам Рожи Шаркези, да и по моим, двенадцать душ.

— Двенадцать! Зачем так много? Когда еще мы увидим, что они там наработают, а людей подавай им сейчас!

— А затем, чтобы к молотьбе был новый коровник, а к уборке кукурузы и свинарник.

— Что ж, тогда попробуем использовать и этих людей.

— Не нравятся они мне,— решительно заявляет Бердеш.

— Ну, а что скажут другие товарищи? Бенце, Пап, Сито?

— Чего греха таить... Скажу прямо, много проку от них не будет. Но принять, по-моему, можно,— запинаясь, говорит Сито.

— Ладно, на собрании разберемся. А теперь проверим, как у нас с зерном для посева. Это, пожалуй, важнее...— И Бердеш окидывает взглядом висящий на стене план. На нем ясно обозначено, сколько и чего предстоит посеять, и это невольно наводит председателя на мысль о том, какие же у них запасы в амбаре... И то и другое нужно сопоставить, все наперед подсчитать, а там уж можно выезжать в поле с тракторами и сеялками.

Погода день ото дня все яснее, но ветер дует не переставая то с юга, то с юго-востока, иной раз вдруг набежит и с севера, однако нет в нем прежнего холодка; солнце пригревает уже совсем по-весеннему, озимые зеленеют вовсю, горох отсеяли, уже высевают ячмень, женщины и девушки убирают жнивье кукурузы; только мало женщин еще выходит в поле на работу. Да, трудно будет сколотить из них хорошую бригаду.

На молочной ферме отелились две коровы — великая новость, что и говорить,— тем более, что других новостей пока нет. Вот разве только то, что в воскресенье будет общее собрание.

В субботу вечером Шаркези не успел дома побриться, а сегодня, в воскресенье, идет прямо в парикмахерскую; он садится в кресло (в то самое знаменитое кресло, которое осталось здесь после прежнего парикмахера; он в девятьсот двадцатом году скрывался в селе, но жандармы, разгадав, кто он такой, выследили его и били до тех пор, пока он однажды куда-то не исчез) и подставляет щеку под кисточку Шербалога. В этот момент на пороге появляется старый Сильва.

— Сабадшаг! — увидев в зеркале изображение Шаркези, здоровается он.

— Сабадшаг, дядюшка Сильва! Что, не подрядились еще на работу?

Повидимому, старик сегодня проснулся в добром настроении.

— А зачем работать, мы и так проживем, хе-хе-хе!

— И то правда. Выходит, значит... в этом году работать не собираетесь?

— Как не собираюсь? Без работы скучно жить на свете, еще помрешь, пожалуй. У меня шестьдесят лет за плечами. Что же делать такому старику, как я, если не работать? Для меня сидеть без дела — это самое суровое наказание, ей-ей! — посмеивается старый мастер, присаживаясь на край скамейки.

— Еще нигде не начали?

— Работы хоть отбавляй. Да заказчики тянут... Вот хотя бы можно наняться к церковникам. Только чорт не видел еще такого скупердяя, как его преподобие пастор! Ему и работу подавай, и чтоб за нее не платить ни гроша.

— А что у них за работа?

— Хотят амбар приспособить для какого-то девичьего хора или кружка, леший их разберет...

Тут в разговор вмешивается сам Шербалог, предварительно облизав губы и втянув в себя слюну,— такая уж у него привычка.

— Одно бревно вкось, другое вкривь, доску сверху, и поросенку хлев готов!

— Хе-хе-хе! — смеется старый Сильва.— Однако его преподобие не поросят, а девок задумал в нем держать! Что ж, поживем — увидим.

— Конечно... А не могли бы вы, дядюшка Сильва, порекомендовать нам мастера по кирпичному делу?

— Почему не порекомендовать, это можно. Значит, и вы строитесь? — и с забившимся от волнения сердцем Сильва весь обращается в слух. Таковы уж эти старики-мастеровые: как заслышат о какой-нибудь стройке, настораживаются, словно бывалый охотник, чующий приближение стаи диких гусей.

— Надо строиться, тесновато нам стало.

— Гм... И чертежи у вас есть? — еще с большим волнением спрашивает старик. Ведь чертежи — больное место всех деревенских строителей. Они в них разбираются или, вернее сказать, когда-то разбирались, но все их знания пропадают даром — крестьянину чертеж ни к чему. А настоящая работа ведь только по чертежу и делается. Но что возьмешь с мужика? Отмерит шесть шагов вдоль, пять поперек, вдавит каблук сапога в землю — «вот по сих пор!» — и строй!

— Да, есть и чертежи. Из министерства прислали, и даже бесплатно, дядюшка Сильва. Правда, мы их немного подправили — выход для телят оказался слишком узок. Это еще куда ни шло, но и вся постройка немного тесна. Надо строить шире, по крайней мере, на полметра. А так вообще план хороший, ничего не скажу. Еще вот, правда, спланировали колоду шириной в сто двадцать сантиметров — тоже маловато,— всю скотину разом не напоишь. Потом силосная яма близко расположена, придется отнести метра на два... Но главное не в этом, главное — кирпич. Вот почему мы ищем мастера.

— Неужто собираетесь строить из кирпича? — У старика перехватывает дух, ибо второй великий вопрос для деревенского мастера — кирпич или саман? Учились они своему делу на кирпиче, но всю жизнь строят из самана. Откуда крестьянину взять деньги на кирпич? Хорошо еще, если наскребет на фундамент пять-шесть рядов кирпича, а дальше обходится саманом. И так, мол, неплохо, саман тепло держит, чорт бы его взял!

— Непременно из кирпича. Из кирпича и из бетона. Кормушки вдоль стен и сточные желоба будем делать из бетона. Только прежде всего, как я уже сказал, нам нужно наладить производство кирпича. Сами будем его формовать, сушить, обжигать, все сами.

— А сколько надо кирпича?

— Сколько? Сейчас припомню... Да этак... тысяч сто восемьдесят или двести.

Двести тысяч! Вот это да! Старый Сильва от изумления не может выдавить из себя ни слова. Если бы ему когда-нибудь довелось выложить столько кирпича, он простил бы себе все то несметное количество проклятого самана, которое пропустил через свои руки за долгую жизнь. Чем больше лет отсчитывал он по своему жизненному календарю, тем больше ему приходилось иметь дело с этим саманом. И тем сильнее он его ненавидел.

— Хорошо, мастера я вам достану,— решительно заявляет Сильва. И тут же начинает перебирать в памяти всех своих зна-

комых. Да, он знает в округе, по крайней мере, трех таких мастеров. Первый не подходит — пьет так, что иной раз допивается до белой горячки. Второй тоже не лучше. Получит задаток, выкопает яму — и был таков, ищи ветра в поле! Вот третий, пожалуй, подойдет... Грехов за ним как будто не водится, одна беда: куча детишек. Но это уж его дело. А зовут его Лазар Цинцер... Надо будет сегодня же написать ему письмо.

4

Стоит остановиться в селе какой-нибудь автомашине, как первый встречный уже задает себе вопрос — что это может значить, уж не случилось ли чего? Правда, так думают только те, кто не имеет отношения к «Свободе». Сами кооператоры уже привыкли к тому, что появление машины действительно что-то значит, но чаще всего только для них самих. А с маленькой юркой машиной «шкода», на которой приезжает Кульчар, они свыклись так, словно она их собственная. Ведь, кроме Кульчара, на ней никто не ездит.

Вот и сейчас малолитражка стоит около правления. Воскресенье, полдень. Шофер поглощен чтением очередного приключенческого романа, какого по счету, одному богу известно. На ярко-желтой обложке большими буквами название: «Мистер Мукс наводит порядок». Судя по выражению лица шофера, порядок мистера Мукса и в самом деле свирепый.

— Что это там опять у кооператоров? — любопытствуют одни, и если не останавливаются возле машины, то, во всяком случае, замедляют шаг, а поскольку в конторе ничего такого не видно, разглядывают хотя бы зачитавшегося шофера.

— Общее собрание созывают,— отвечают другие,— будут новых членов обсуждать.

— Неужто они даже это обсуждают?

Толки, гаданье на кофейной гуще...

Жужи Катона еще раз обегает всех своих кандидатов, напоминая, что собрание в три часа дня, не забыли бы. С Эстер Мольнар она встречается на крыльце дома аптекаря.

— Смотри, не задерживайся, Эсти! Собрание ровно в три, помнишь?

— Помню, помню... Тетушка Жужи, будьте так добры, передайте Андришу вот это письмо...— Эсти достает из кармана передника маленький клочок бумаги и сует его в руку Жужи.— Только сейчас же, тетушка Жужи, хорошо?

— Хорошо, хорошо, будь покойна. Так смотри, не забудь...

— Не забуду, тетушка Жужи,— отвечает Эсти и уходит.

Кеваго старший помогает сыну запрягать лошадей. Андриш собирается ехать на Дикое урочище. Еще с прошлого года там осталось про запас три-четыре копны отавы. Думал, пойдет лошадям на корм, а нет — пригодится на растопку. Вот и понадобилась, решил привезти... В эту минуту появляется Жужи Катона.

— Добрый день! — здоровается она за руку с обоими мужчинами и незаметно оставляет в ладони Андриша записочку от Эстер.

Андриш прикрепляет постромку, потом, отойдя за лошадей, читает: «Сейчас же приходи к дальнему колодцу. Э.».

Андриш мнет бумажку и, сунув руку в карман, прямехонько шагает к крыльцу, где его дожидается, словно всегда оседланный и взнузданный боевой конь, велосипед. Он скатывает велосипед по ступенькам во двор, садится на него и жмет на все педали — ворота раскрыты настежь.

— Эй, эй, ты куда? — кричит ему вдогонку отец, но Андриша и след простыл.

Кеваго старший с минуту стоит как вкопанный, глядя перед собой, затем лезет на козлы, со злостью хватает кнут, вожжи и, оглянувшись, в телеге ли вилы, трогает со двора. Выехав на улицу, он все еще покачивает головой. Ну и ну!..

Так, собственно, случалось и раньше, даже довольно часто. Взбредет вдруг Андришу что-то в голову, бросит инструмент, вскочит на велосипед и — фьють! — нет его! Но так, как сегодня, когда уже запряжены лошади и открыты ворота, вдруг удрать, бросив все на свете,— такого еще никогда не бывало!

Уж не потому ли он выкинул такой фортель, что сегодня в кооперативе собрание? Кеваго пытается найти связь между запряженной телегой, появлением Жужи Катоны, собранием в кооперативе и внезапным исчезновением сына.

Что если бы он в свое время выкинул такое со своим отцом? Уж тот бы ему прописал! Правда, сегодня воскресенье, но что с этого, ведь корм для скотины все равно привезти надо — это главное. Что поделаешь, меняется мир, меняется и молодежь. И Кеваго лишь удрученно помахивает кнутом...

Эстер уже возвращается, не дождавшись Андриша, когда тот, нагнав ее, спрыгивает с велосипеда.

— Сервус!..

— Сервус!..

— Уж не случилось ли чего, Эсти? — спрашивает парень и боится, что Эстер вдруг исчезнет, как ласточка в небе.

— Нет. Ничего особенного. Только я еще раз хотела с тобой поговорить. Ведь сегодня после обеда общее собрание, и я думаю, меня примут.

Андриш, задумавшись, несколько шагов идет молча.

— Самое лучшее, Эсти, нам с тобой пожениться. Сегодня же, сейчас.

Эстер заливается румянцем, затем бледнеет.

— Нам с тобой? Разве ты меня настолько хорошо знаешь, Андриш? А вдруг я плохая, вдруг я тебе не пара, что тогда?

— Я думал обо всем. Судьба служанок мне известна, но почему твоя судьба не может сложиться иначе? Мне до твоего прошлого дела нет. Я смотрю на настоящее и на будущее, Эсти.

И оно мое. Только отныне я могу спрашивать у тебя отчет за каждый твой шаг, Эсти!

Девушке хочется броситься ему на шею, но, увы, они на улице, это невозможно.

— Ты... ты такой милый, такой добрый, Андриш!

— Я и хочу быть для тебя таким всегда. И буду. Ну вот, и давай поженимся.

— Вот так, как стоим? Без ничего?

— А не все ли равно?

— Ты прав, все равно. Но твои родители! Ты их спросил?

— Если я женюсь, они возражать не станут.

— Даже если ты женишься на служанке?

Андриш озадаченно молчит. Затем, после долгой паузы, произносит:

— Моя мать очень добрая женщина. Ту, кого люблю я, полюбит и она.

— Нет, Андриш, нам нельзя обманывать друг друга. Для твоих родителей не очень-то приятно иметь невесткой какую-то служанку, я их понимаю. Именно поэтому я не хочу стать твоей женой, пока я служанка. Я смогу быть ею, когда кем-то стану в жизни, так что придусь по душе и твоим родителям. Это нужно не только для них, но и для меня самой. Понимаешь меня, Андриш?

Андриш понимает,— как ему не понять,— он и сам знает, что отцу с матерью трудно согласиться на этот брак. А село? Оно не простит ему такого шага. Село наверняка станет на сторону фельдшерицы, которую все знают, и с ней не так-то легко будет порвать прежние отношения...

— А что если собрание тебя не примет? — с тревогой спрашивает он.

— Тогда... тогда я уеду из села, пусть мое сердце разорвется на части, все равно уеду! — отвечает девушка и, взяв ведро в другую руку, медленно идет дальше, не глядя на Андриша. Затем тихо добавляет: — Когда-нибудь, если тебе это в самом деле интересно, я расскажу все: кто я такая, откуда и зачем приехала сюда.

— Расскажи сейчас, Эсти!

— Сейчас нельзя, слишком мало времени.

— Но все-таки скажи хоть несколько слов.

— Нет, нет. Это длинная история... Целый роман. Примут меня или не примут, все равно я расскажу тебе все, Андриш. По крайней мере, хоть вспомнишь меня, если я все-таки уеду из села.

Андриш встревожен не на шутку. Ведь решать нужно сейчас же, немедленно.

— Почему же не примут, если они сами тебя звали?

— Никто меня не звал, одна только тетушка Жужи советовала мне попытаться.

— А у аптекаря ты не могла бы жить?

— Нет. Там много такого, что...

Сказать о том, что аптекарь пристает к ней и день ото дня все наглее? Нет, ни к чему. Что это даст?

— Ну, идем Андриш,— грустно говорит она.

И Андриш чувствует, что никогда и никто не произносил еще его имени так ласково, как она; может быть, только мать, да и то в детстве.

В назначенное время начинают собираться кооператоры. Члены правления то о чем-то шепчутся, наклоняясь друг к другу, то расходятся в разные стороны, точно забыли сделать еще какое-то важное дело.

— Все готово? — спрашивает у Бердеша Кульчар.

— Думается, все... Как у вас там, братцы, все в порядке? — спрашивает Бердеш Сито и Шаркези. Если он что-нибудь забыл, пусть подскажут.

— Что ж, пора начинать.

Члены правления занимают места за столом президиума. Шари Фейер еще раз заботливым взглядом окидывает помещение — всем ли хватило места — и пристраивается с краю стола, где лежат ее папки и тетради с записями. Бердеш встает и, вытянув шею, высматривает кого-то в зале.

— Эй, Лаци, ты здесь?

Лаци здесь, где ж ему быть,— он сидит в последнем ряду возле какой-то незнакомой девушки.

— Я тут, отец! — несколько встревоженно отвечает он и встает.

— Споем «Интернационал», товарищи! — предлагает Бердеш.— Лаци, начинай!

Раздается звонкий голос Лаци. Все подхватывают и, стоя, поют гимн. Затем, откашлявшись, садятся.

— Вновь вступающие пришли? — спрашивает Кульчар у Шаркези.

— Все здесь.

— Тогда, пожалуй, начнем.

— Открывайте собрание, дядюшка Бердеш,— негромко говорит Шаркези.

Бердеш берет папку для бумаг, подарок делегатам съезда кооператоров, и встает.

— Дорогие товарищи, собрание считаю открытым. Прошу об одном — с мест ничего не выкрикивать, а потом, когда будем обсуждать отчет правления, каждый сможет высказать все, что ему захочется. В повестке дня первый вопрос — сообщение председателя, то есть мое, о положении дел в кооперативе на сегодняшний день. Итак, в настоящее время мы имеем: земли — восемьсот шестьдесят хольдов, из них под озимой пшеницей — около четырехсот, под ранним горохом — тридцать, под ячменем — двадцать, оставлено под сахарную свеклу сорок хольдов, под хлопок — двадцать, под люцерну — десять, под вику — двадцать, десять хольдов под турнепс, остальное под кукурузу. Задолженность коопера-

тива государству — десять тысяч форинтов и семенной фонд. С отдельными членами кооператива мы не рассчитались за шестьсот двадцать пять трудодней. Наличных денег в кассе... сколько там у нас, товарищ Сито? — нагибается он к Сито.

— Об этом, пожалуй, я доложу,— шепчет тот в ответ.

— Ладно! Тогда, значит, из последующих выступлений членов правления товарищи узнают об остальных наших делах. Прошу товарища Кошут-Киша доложить по вопросам полеводства.

Лайош Кошут-Киш своим привычным, неторопливым говорком рассказывает по порядку о насущных нуждах полеводства. Сколько чего и когда предполагается посеять и когда окучить, сколько для этого потребуется рабочих дней. Затем он объясняет, сколько раз надо мотыжить кукурузу, сколько раз хлопок, сахарную свеклу, и, наконец, называет, сколько нужно трудодней для проведения всех этих работ. Цифра эта ошеломляюще велика. Люди невольно переглядываются — как справиться с такой пропастью дел?

— А нас так мало...— вырывается у Дьюри Бодока.

Бердеш не может удержаться, чтобы на него не прикрикнуть.

— То есть как мало? У нас в кооперативе уже шестьдесят две семьи! Если считать в среднем по три работника на каждую, и то сто восемьдесят шесть душ. А кое у кого не по три, а по пять.

Следующий отчет — Йошки Папа, бригадира по животноводству. Он докладывает: государство отсрочило на целый год возврат свиноматок. Их у нас восемьдесят, из них трех надо выбраковать — либо поставить на откорм, либо вернуть государству, если примут. Сверх того имеется двести шестьдесят пять поросят, в среднем трехмесячного возраста, шестьдесят свиней на откорме, двенадцать дойных коров, девять телят, восемь лошадей, три жеребенка. На птичнике шестьдесят кур, два петуха, да сверх того Жужи Катона недавно посадила на яйца двенадцать наседок.

Теперь на очереди самый сложный вопрос: Сито отчитывается о финансовом положении кооператива. И хотя его отчет из всех самый короткий, он-то непременно взволнует народ. Дело в том, что после продажи поросят и получения от государства аванса по контрактации, в кооперативной кассе лежит сейчас сорок одна тысяча сто тридцать форинтов. Правление предполагает выдать авансом членам кооператива, но не по трудодням, а по количеству душ — по сто форинтов на человека вступившим в кооператив до первого января и по шестьдесят тем, кто вступил позже. Всего, значит, получается, считает Сито, три тысячи двести и тысяча восемьсот... пять тысяч форинтов. Этот аванс будет зачтен при окончательном расчете по трудодням после нового урожая.

— А до тех пор, значит, нам ни гроша? — не унимается Дьюри Бодок, и в голосе его звучит отчаяние.

— Почему ни гроша? Потом каждый из нас получит все, что выработал. Оставшуюся сумму правление намерено израсходовать на уже начатое строительство, а также для других работ.

В зале тишина. У всех в голове одно — сорок с лишним тысяч форинтов! Такая уйма деньжищ, и так мало из нее получит каждый! А на трибуне уже бригадир строительной бригады Рожи Шаркези. Ее доклад не длиннее предыдущего. Ведь они, собственно, только на днях начнут работу. По всей вероятности, в первых числах апреля будет заложено сорок тысяч штук кирпичей в первую печь, а к тому времени просохнет вторая, закончат и третью. В первую печь на топливо пойдут сухие корневища и стебли с поля, а также оставшаяся в усадьбе Кельчеи солома. Как только будет изготовлена первая партия кирпича, строительная бригада тотчас же начнет закладку коровника под руководством мастера, должно быть, старого Сильвы.

«Плакали наши денежки, все на коровник ухлопают»,— с горечью думает Бени Гуяш, но помалкивает. Он подсчитывает в уме, сколько же придется на его долю, если считать и аванс в сто форинтов? Двести двадцать форинтов. Разве это деньги? Капля в море. А как он беден! Когда же настанет конец этой тяжелой жизни, если уже теперь кооператив берется за такие стройки, словно у него в сундуке все сокровища царя Дария?

А Рожи Шаркези закончила свой отчет и выжидающе смотрит на участников собрания. Раздается несколько жидких хлопков, но это преимущественно жены членов правления. В зале поднимается рука — кто-то просит слова.

— Я уже сказал, выступать в конце собрания! — рявкает Бердеш. Рука опускается.

О положении на птицеферме говорит Жужи Катона, затем — тоже очень кратко — отчитывается Бенце, председатель ревизионной комиссии. Из его доклада вытекает, что в целом в действиях правления по сей день никаких непорядков и неполадок не обнаружено.

«Ишь ты, не обнаружено! — опять думает Бени Гуяш.— Будь я на его месте, уж я бы кое-что обнаружил!» Но высказаться он все же не решается. У него вдруг мелькает мысль об усадьбе, о тех, кто там хозяйничает, и о Балаже Фюресе, который, по его сведениям, немалую толику кооперативных жмыхов переправил в село для своих поросят.

— Теперь можешь высказаться! — говорит Бердеш крестьянину, раньше поднявшему руку. Это коммунист, и вступил он в кооператив в конце января.

— Я хотел только задать один вопрос... Что делает в усадьбе товарищ Михай Бири? Свиньями он там, я знаю, не занимается, коровами тоже. Тогда к чему же он приставлен? — спрашивает он и садится на место.

— К чему приставлен? К усадьбе, конечно, к чему же еще,— уклоняется от прямого ответа председатель, хотя знает, что этот вопрос волнует не только того, кто его задал, но и многих других. Но он не может пока прямо сказать, что главное достояние кооператива «Свобода» — это свиньи и коровы и Михай Бири тот чело-

век, который головой отвечает за все, что делается в усадьбе. Покуда он там, до тех пор все будет в порядке, это уж точно. Во время осеннего сева кооператоры имели возможность убедиться, на что способен и как может вредить враг.

Шаркези и Кульчар чувствуют, что, хотя отчет правления прошел довольно гладко, что-то таится в душах людей, но не может вырваться наружу. Пока они не слышали ничего, к чему можно придраться; однако следует быть настороже.

— Одобряет ли собрание отчет правления, товарищи? — задает вопрос Бердеш. Взгляд его скользит по всему залу, затем останавливается поочередно на каждом из присутствующих.

Собрание вначале нерешительно, но затем все же единодушно отвечает гулом одобрения.

— Тогда разрешите перейти к следующему вопросу... Обсуждение кандидатур товарищей, подавших заявление в кооператив. Недавно проведенная кампания по вовлечению новых членов закончилась... не очень успешно... всего шесть человек,— он раскрывает папку в коленкоровом переплете и, покопавшись в ней, вынимает тоненькую стопку бумажек.— Первым идет... Лайош Модьороши... Батрак у Гербеди. Модьороши здесь?

— Тут!

В задних рядах подымается тощий, как скелет, Модьороши и почти умоляюще смотрит снизу вверх на Бердеша.

— Почему ты решил вступить в кооператив, Лайош Модьороши?

— Потому... потому, что я окончательно отошел от кулачья...

— Отошел, значит. Так, так... А осенью, когда мы только начали сколачивать наше хозяйство, ты небось держался за них обеими руками!

— Да нет, не в этом дело... я только хотел убедиться, что...

Бердеш не дает ему продолжить.

— Помню, помню, как ты разглагольствовал на учредительном собрании. Помогал своим хозяевам провалить наше дело, хотел, чтобы ничего у нас не вышло! Или не так?

Модьороши шевелит губами, пытаясь, повидимому, сказать что-то в свое оправдание, но Бердеш и бровью не ведет.

— Ставлю вопрос на голосование. Товарищи, кто за то, чтобы принять Модьороши в члены кооператива, прошу поднять руки!

— Как бы не так! Чтобы нас стало на одного больше, чтобы мы за него работали, а денег на каждого пришлось еще меньше? — шепчет Бени Гуяш своему соседу и куму Шерфезе.— Голосовать за Модьороши? Как же, дожидайся!

Все же поднимается несколько рук. Это главным образом женщины, но большая часть собравшихся пока никак не выражает своего отношения к этой кандидатуре. Кульчар не знает Модьороши, он только раз и видел этого человека на учредительном собрании, зато его отлично знает Шаркези.

— Товарищи! Надо подходить к вопросу серьезно... Если кто-

нибудь по своему происхождению и социальному положению достоин быть в кооперативе, то это Лайош Модьороши! — пытается он убедить собрание.

— Он же хворый! На кой он нам? Только одним ртом больше будет,— склонившись к нему, тихо говорит Бердеш.

— А хоть бы и так? И что вы только думаете? Забыли, сколько нам понадобится людей, когда придется мотыжить? Или до этого никому дела нет?

— Мотыжить, мотыжить,— недовольно ворчит Бердеш, но собрание хоть и не слишком охотно, но все же голосует «за». Модьороши принят.

— Коли так, иди сюда, хоть поздравлю тебя, что ли,— обращается к нему Бердеш. Тот кое-как выбирается из рядов и подходит к столу. Бердеш протягивает ему свою ручищу.

— Ну вот, значит... теперь ты, товарищ Модьороши, наш человек! Как ты сам видишь, теперь мы совсем не те, что были прошлой осенью. Тогда мы за тобой ходили, чуть не упрашивали, а ты на нас... одним словом, ноль внимания. Ну да ладно, в добрый час. Хорошо сделал. Давай теперь друг друга уважать, тогда и дело у нас пойдет.

Бердеш, словно желая подчеркнуть каждую свою мысль, так крепко встряхивает руку Модьороши, что у бедняги трясется не только рука, но и все его щуплое, слабое тело. Он настолько смущен, что не может вымолвить ни слова.

При виде этой сцены настроение у собрания несколько повышается, Модьороши даже провожают аплодисментами. Но при обсуждении следующей кандидатуры разражается гроза. Достаточно председателю назвать имя — Антал Речеге-Киш, как ему уже не дают продолжать. Со всех сторон слышится брань, поднимается такой невообразимый шум, что Кульчар с тревогой озирается по сторонам, не понимая, что происходит в зале.

Речеге-Киш мужик рослый, широкоплечий и, хоть с виду ему за пятьдесят, здоров, как буйвол. Он столбом стоит посреди зала, лишь изредка отмахиваясь руками налево и направо, словно волк в степи, настигнутый разъяренными овчарками.

— За что они его так? Что он им сделал? — шопотом спрашивает Кульчар у Шаркези.

— Ничего и вместе с тем много. В сорок пятом году он вздумал предложить свои услуги в качестве палача, но, так как в палачах никто не нуждался, его с позором выгнали, тогда он запил, стал безобразничать. А всю жизнь полушки не имел. Но тут дело даже не в нем, а в том, что наша агитация не увенчалась успехом. Вот теперь наши люди и хотят показать селу, что новые члены нам, собственно, и не очень-то нужны. Брать, мол, берем, только с большим разбором. Не знаю, может, они и правы.

— Что ж, как метод это неплохо. Слух, что кооператив берет к себе не всех, кого попало, разнесется по селу. Пусть знают, по крайней мере, что у вас человека оценивают со всех сторон.

Бердеш ставит кандидатуру на голосование. Речеге-Киша проваливают.

Третий на очереди — Марци Хедье. И хотя этот невзрачный худощавый человек, казалось, не вызовет никаких сомнений, и тут не обходится без шума. Но при голосовании он все же получает большинство.

Следующая кандидатура — Иштван Кадар. Бердеш называет его имя, Кадар встает. Взгляды всех присутствующих устремляются на него. Если сейчас спросить, кто же предложил ему подать заявление, никто не отзовется, хотя, бесспорно, кто-то с ним говорил. Одет он прилично, на вид — хозяин с достатком, хотя все знают, что у него ни гроша за душой. Кадар появился в селе незадолго до прихода советских войск, пригнав с собой отару овец в сто шестьдесят голов. Откуда он пришел, почему здесь остановился, никто не знает. Это один из тех кочующих чабанов старого склада, у которых никогда не было ни дома, ни земли — одни только овцы. Без овец для него нет жизни. Он арендует под пастбище пустошь, ставит там на скорую руку загон для овец,— в нем поселяется и сам с семьей, а уходя, грузит на телегу вещи что поценнее и перекочевывает на другое место. Теперь у него, разумеется, нет даже захудалой овечки — все пропало во время войны.

У Бердеша начинает работать воображение: «Ведь рано или поздно, а дойдет очередь и до овец, заведем свое стадо!» — мечтает про себя председатель. И обводит грозным взглядом собрание,— а ну, кто там против, только попробуй! Таких не оказывается. И тот, кто завербовал Иштвана Кадара, облегченно вздыхает. Кадар принят. Но вот на очереди пятый кандидат.

— Эстер Мольнар! — вызывает Бердеш и сдвигает очки на лоб. Встает девушка, сидевшая рядом с Лаци.

— Я здесь,— просто отвечает она.

Все головы поворачиваются к ней. Люди разглядывают стройную, красивую девушку.

— Почему ты решила, дочка, идти к нам в кооператив?

— Потому, что я хочу... хочу жить среди людей, самой быть человеком, и я думаю, что... смогу принести пользу.

— Понятно, дочка, понятно. Только ведь не такое это простое дело. У нас надо работать, и крепко.

— Я всегда работала. С тех пор, как живу на свете...

Бердеш в раздумье смотрит на девушку. Он никак не может себе представить, как она будет копать картошку или лущить стерню... Вот так выглядели в старое время господские барышни. Правда, Бердеш сам привез ее из Уйфалу в село на кооперативной телеге, он знает, что она собиралась поступать служанкой к аптекарю, но и только. Маловато, надо знать больше.

— Так, понятно... А откуда ты родом? Кто у тебя отец, мать?

— Нет у меня ни отца, ни матери,— печально говорит девушка и опускает голову. Пальцы ее растерянно теребят край передника.

Внезапно ее сердце переполняется горечью, нестерпимо жгучей, как никогда до сих пор еще не было. К горлу подступают горькие, судорожные рыдания. Ей хочется или расплакаться, или говорить, говорить без конца о своей жизни, о своих горестях. Пусть услышат эти люди, пусть узнает все село. Она гордо вскидывает голову. Лицо ее заливает волна румянца, в сияющих глазах искорки упорства. Эстер начинает говорить. Слова рвутся наружу, словно бурлящий родник пробивается сквозь камни и мхи.

— Я родилась в тысяча девятьсот тридцатом году, в больнице Уйфалу. Мать моя умерла сразу после родов. Воспитали меня больничные сиделки, главным образом Илона Надь; она заботилась обо мне, как родная мать. Я жила при больнице, ходила в школу. Но в один прекрасный день тетушка Илона Надь вышла замуж, а в больницу назначили нового главного врача, и мне пришлось поступить в трактир Листеша разносчицей хлеба. Было мне тогда тринадцать лет...

Дойдя до этого места, Эстер умолкает, словно прислушиваясь к отзвукам прошлого. Говорить дальше мучительно, но еще мучительнее сдерживать поток нахлынувших воспоминаний. Сказать — плохо, не сказать — еще хуже. Ведь, рассказывая о своей судьбе, она будет испытывать такое чувство, словно срывает с себя одежды, одну за другой, и потом предстанет перед этими суровыми крестьянами нагая, с обнаженной душой и дрожащим телом. И все-таки она продолжает.

— Я стала сама зарабатывать себе на хлеб, это была моя первая работа. Мне было там не так уж плохо, если бы не местный исправник... Он кутил в нашем трактире по нескольку дней подряд. Как-то вечером я принесла ему наверх в номер кофе, и он запер на ключ дверь... Я выпрыгнула через окно на улицу, побежала на вокзал, вскочила без билета в поезд, забилась в угол и не вылезала до самого Дебрецена. В Дебрецене устроилась служанкой в семейство одного сборщика налогов. Место было хорошее. Я служила там целый год... Только однажды хозяин вернулся ночью домой пьяный и... хотел залезть ко мне в постель... На утро я убежала. Потом поступила разносчицей папирос в какой-то ресторан. Там служила долго, пока однажды ночью в зале меня не подозвал к своему столу какой-то офицер, летчик. Я, конечно, подошла — обязана была подойти,— да и не подозревала ничего плохого, но потом... Одним словом, я не захотела пить вино и отказалась угождать ему... Ну, и...— Лицо Эстер уже пылает...— и опрокинула ему на голову весь лоток с папиросами. Что после этого было! Старший официант потащил меня в соседнюю комнату, хотел бить, но я вырвалась и, сама не помню как, оказалась на улице. Потом поступила горничной к судье. Место было бы ничего, но только... молодой барчук, его сын... Он оказался таким, как они все... От них я попала на хутор, к родителям одного дебреценского учителя, потом опять в Дебрецен, затем в Уйфалу, к тамошнему адвокату, и, наконец, сюда, в село, к аптекарю. Отца своего я ви-

дела всего два раза, в первый раз еще совсем маленькой, ничего не помню, а во второй, когда мне было одиннадцать лет.— Девушка умолкает и пристально смотрит на Бердеша.

Бердеш чувствует, что у него пересохло во рту.

— Кем был твой отец? — спрашивает он хрипло.

— Батраком у священника. После маминой смерти он женился вторично. Вскоре попала ему в глаз колючка, и он окривел. Вовремя его к врачу не отправили, и через некоторое время он ослеп на оба глаза. Он повесился, когда мне было четырнадцать лет. Теперь у меня опять нет крова, потому что к аптекарю я больше не вернусь.

Тишина. Все молчат. Нет слов, пожалуй, даже мыслей. Жужи Катона, не выдержав, громко всхлипывает, жена Йошки Папа трет глаза платком. Тронут и Бердеш, но, чтоб не показать вида, говорит даже несколько грубовато:

— Ты не обижайся, дочка, что мы тебя спрашиваем, но ведь нам надо знать, кого мы принимаем. Не тревожься, у нас тебе будет хорошо. Только, конечно, насчет дисциплины... не взыщи. Товарищей надо уважать. Ну, а как у тебя с политикой? Разбираешься?

— Я много читала, училась, но все сама. Думать о том, чтобы стать ближе к партии, пока не могла. Да и адвокат, мой бывший хозяин, этот сразу выбросил бы меня на улицу.

— Ничего, дочка, не беда. Поработаешь у нас, со временем и в партию вступишь. Место тут для тебя доброе. Ну, а теперь...— возвышает голос Бердеш.— Теперь ставлю вопрос на голосование: есть возражения против кандидатуры товарища Эстер Мольнар? — Он произносит эти слова таким тоном, словно готов съесть живьем каждого, кто осмелится это сделать.

В ответ — тишина. Трезвым рассудком нельзя даже представить себе, чтобы кто-нибудь мог быть против. Но вот кооператоры с усадьбы Кельчеи склоняются друг к другу, о чем-то шепчутся; поднимается рука Бени Гуяша.

— Товарищ Гуяш? Говори! — сердито обращается к нему Бердеш.

Гуяш привстает с места, словно опираясь руками на плечи обоих соседей.

— Уважаемое собрание, я возражаю против принятия Эстер Мольнар. Всех, кого только что приняли, мы знаем. Все они люди бедные, известно. А кто нам гарантирует, что Эстер Мольнар окажется достойным членом кооператива? Никто! Надо хорошенько разобраться, кого мы принимаем. Как бы потом не пришлось слезы утирать.— Гуяш садится очень довольный собой и своим выступлением. Зато Бердеш не скрывает недовольства:

— Дай тебе волю, ты бы в нашем кооперативе такое натворил — только держись! Ну, ладно! Кто против принятия Эстер Мольнар, прошу поднять руки, товарищи!

Все, кто были с усадьбы Кельчеи, дружно, как один, вскидывают руки. Только Балаж Фюрес, подняв было руку, тотчас одергивает ее назад и опускает голову. У Эстер кровь отливает от щек, она бледнеет, секунду стоит как вкопанная, затем падает на скамью и закрывает лицо руками. Плечи ее подергиваются от рыданий.

Вот тут-то и поднимается настоящая буря.

Крик, шум, люди вскакивают со своих мест и, размахивая кулаками, доказывают что-то соседям. Несмотря на общий шум, можно ясно определить, что подавляющее большинство все же за Эстер. Бердеш с минуту стоит, глядя в зал, затем слезает с помоста и, пройдя по проходу между рядами, останавливается возле девушки и кладет ей на голову свою большую ладонь. Голос его перекрывает шум.

— Не плачь, дочка. Не такие уж плохие наши люди, как кажется. Только боятся они за свой кооператив, это и мне понятно, да и ты со временем поймешь.— В словах Бердеша столько тепла и доброты, что не ответить просто невозможно.

— Но ведь я... я никогда никого не обидела...— отзывается девушка, поднимая глаза на Бердеша. Из них двумя ручейками текут слезы... Это уже слишком даже для Бердеша.

— Ты говоришь, у тебя нет отца, дочка? Я буду твоим отцом. У тебя нет дома? Отныне мой дом станет твоим домом. Для моих детей там хватает места, хватит и для тебя. Живо собирай свои пожитки, и шагом марш! Пирошка тебя проводит. Где твои вещи?

— У тетушки Жужи...— невнятно отвечает Эстер.

— Собирайся, и к нам!

Бердеш полон решимости сейчас же, немедленно исправить все то зло, которое жизнь обрушила на плечи этой девушки.— Ну, ну, живей! Одна нога здесь, другая там! Пирошка! — Тон его не допускает возражений. Бердеш уже шагает назад, к столу, садится на свое место и, покачивая головой, смотрит на притихший зал, но глаза его застилает туман.

Кульчар вдруг начинает аплодировать, и весь зал дружно подхватывает. Эстер пробирается через ряды аплодирующих людей к выходу, с ней Пирошка. Вслед за ними выходит и Жужи Катона.

— Почему они голосовали против? Непонятно! — тихо говорит Кульчар, обращаясь к Шаркези.

— Мне понятно. Эти люди с усадьбы мутят воду. Они собрались сегодня, кажется, делать здесь погоду. Вы разве этого не заметили, дядюшка Михай? — И Шаркези склоняется к сидящему рядом Михаю Бири.

— Я-то? Ничего не заметил. Да, по правде сказать, и не очень-то обращал внимание. Эх, чорт! Кто бы мог подумать...

— Напрасно мы не присматривались к ним. В усадьбе образовалась как бы отдельная группа. Вот почему я и не захотел

осенью перебираться туда. Люди там непрочь обособиться, тянут в сторону. Но об этом мы еще поговорим...— Шаркези записывает что-то в блокнот.

Бердеш тоже слышит его слова.

— Надо убрать оттуда либо Бени Гуяша, либо Фюреса, и все станет на место,— говорит он.

— Потом обсудим. Мне думается, наоборот... Не убирать их, а, напротив, послать в усадьбу побольше народу. Вот начнем там строить, все переменится,— отзывается Шаркези и еще что-то записывает.

Собрание притихло. Любители пошуметь удовлетворены, считая, что выполнили свой долг. Успешно или нет, это уже другой вопрос, но, во всяком случае, они довольны и теперь выжидающе смотрят на президиум.

Что же, собственно, еще на сегодня осталось? Ага, «разное»! Это такой пункт, который вмещает в себя чуть ли не все на свете. Нет такого предложения, мысли, пусть самой невероятной и сногсшибательной, которую нельзя подвести под этот пункт. Находится, к примеру, такой мудрец, который предлагает продать лошадей и завести мулов. Ведь мулы куда выносливее, а в кормежке неприхотливы. Разве не так? Но собрание хохочет.

— Садись, братец! Зачем нам заводить мулов, если ты один стоишь целой дюжины?

Другого товарища беспокоят вопросы животноводства. К чему столько возни с молочной фермой? Лучше разводить овец, от них и молоко, и мясо, и шерсть! Ничего путного из этих разговоров, конечно, не получится, зато, по крайней мере, те, кому невтерпеж, наговорятся в свое удовольствие.

В это время Жужи Катона, взволнованная и радостная, шагает вместе с Эстер и Пирошкой по направлению к своему дому. Она, разумеется, взяла бы Эстер к себе, но что поделать, если у нее еще двое своих ребят да старушка мать со слепым отцом, а бедность смотрит из каждого угла и хатенка так мала!

— Ах, душенька моя, Эсти! Видишь, как все хорошо получается,— говорит она.— У нашего председателя золотое сердце!

— Мне так хорошо, милая тетушка Жужи. Спасибо вам.— И Эстер пожимает ей руку.

В доме Катоны уже спят; все трое, тихонько перешептываясь, быстро собирают скромные пожитки Эстер и снова выходят на улицу. Жужи спешит назад на собрание, Пирошка и Эстер поворачивают к Новой слободке.

Молодая луна уже скрылась за горизонтом, и поздний вечер так странно тих, словно застыл, кого-то ожидая. Пирошка уверенно шагает впереди по тропинке, бегущей рядом с шоссе, с таким важным и покровительственным видом, какой бывает у подростка, когда он ведет старшего по незнакомым местам. Она увидела в первый раз Эсти недавно, в сельпо. Потом как-то встре-

тилась с ней в правлении кооператива. И хотя между ними нет неловкости незнакомых друг другу людей, но Пирошка все еще избегает прямого обращения к Эсти. На «ты» как-то неловко, на «вы» — тоже неудобно, а потому лучше обойти и то, и другое... Говорить, как Янош Васнаш-Надь, который предпочитает обращаться ко всем во множественном числе.

— Тут нам надо поосторожней,— предупреждает Пирошка. Дорога разбита колесами. Показывая путь, Пирошка переходит через глубокую колею и ступает на мостик перед воротами их двора. Это, собственно, даже и не мостик, а просто насыпь через канаву. Если случается большой дождь, Бердеш пробивает ее, чтобы дать сток воде.

— Вижу, вижу, Пирошка. Может быть, просто будем на «ты»?

Пирошка останавливается.

— Если вы так хотите, что ж... давайте на «ты». То есть если ты хочешь...

Они идут дальше. Эстер шагает следом за Пирошкой и вспоминает: вот точно так когда-то, кажется, уже давным-давно, она шла с вокзала в Дебрецене, вокруг было так же темно, и она не знала, куда и зачем идет.

В окне горит свет. Тетушка Бердеш сидит под висячей лампой возле стола. Младшая дочка уже спит, а средняя — Кати, примостившись у стола, читает книгу. Сама тетушка Бердеш выбирает рассыпанную на столе фасоль. За дверью обрадованно тявкает собака.

— Ну, вот и отец идет.— Жена Бердеша приподнимает голову, затем снова углубляется в свою работу. Порченые зерна направо, хорошие — налево. В этот момент раздается стук в дверь.

— Ладно уж, входи! — со смехом восклицает она, думая, что это муж. Иногда он любит вот этак подшутить над женой.

Неожиданно входят девушки. Впереди — Эстер, на руке у нее зимнее пальто, к груди прижата стопка книг. Позади — Пирошка с большим узлом. Тетушка Бердеш и Кати изумленно глядят на них, не понимая, в чем дело.

— Добрый вечер!..— просто говорит Эстер.

— Добрый вечер! — Несколько зерен фасоли скатываются со стола на пол.

— Это Эстер Мольнар, мама, я ее привела... Она твоя приемная дочь...— весело выпаливает Пирошка, тащит узел на середину комнаты и кладет его на скамейку.

Жена Бердеша не знает, что и подумать.

— Какая приемная дочь? Что ты мелешь?

— И вовсе нет. Отец всем сегодня вечером на собрании объявил. Снимай пальто, Эстер. Садись.

Эстер робко делает несколько шагов вперед. Тетушка Бердеш вскакивает и от волнения смешивает уже разобранную фасоль в одну кучу.

— Иисус, Мария! Вот старый дурень, всегда что-нибудь такое

выкинет...— Спохватившись, она вдруг поворачивается к Эстер.— Ах, что я говорю? Ты уж не сердись, доченька, не обижайся... Это я так, невесть что болтаю... Снимай пальто. Проходи, садись... Если так, значит так,— бормочет она про себя, скрещивая руки на груди, и, стоя перед Эстер, пристально всматривается в лицо девушки. Затем отбирает у нее пальто, вешает его на вешалку возле двери, возвращается назад, берет Эстер за руку, ведет к столу и усаживает.

— Вот так. Что ж, было у меня три дочки, будет четвертая. Одной больше, не все ли равно? — И с минуту в задумчивости смотрит перед собой, но лицо ее становится все веселее.— Пирошка, поставь-ка ужин на огонь. Пока он разогреется,— обращается она к Эстер,— мы, глядишь, уже и друзьями станем. Об одном вот только забота... как мне тебя устроить на ночь? Будь это днем, еще куда ни шло, а то поздно ведь... Если бы ты легла с кем-нибудь из девочек, тогда и горя мало.

— Мамочка, она может со мной лечь, не беспокойся! — отзывается Пирошка, хлопоча около плиты.

— С тобой? Ну нет, для вас кровать мала будет, вон вы какие!.. Вот если только с Кати... Хорошо еще, что Лаци не будет дома,— он ночует в усадьбе, вот у нас и места больше.

Кати смотрит на Эстер широко открытыми глазами. Ей очень нравится эта красивая девушка, и щеки ее заливаются румянцем, ярким, как пламя.

Затем все трое вдруг начинают говорить сразу. Эстер не знает даже, кого слушать и кому отвечать; она поворачивается то к одной, то к другой. Тревоги и волнения минувшего дня обессилили девушку, но тепло, исходящее от новой семьи, обволакивает ее так приятно, так нежно. Пирошка раздувает огонь в плите, подкладывает в топку сухие кукурузные початки, они весело потрескивают, а за столом все говорят, говорят без умолку.

С тех пор как Эстер ушла из больницы от тетушки Надь, ей ни разу не приходилось спать с кем-нибудь в одной постели, вот только аптекарша клала ей под бок капризничавшего малыша. Но он быстро засыпал, с ним не было никаких хлопот... Как же будет теперь? Она с тревогой смотрит на девочку.

Но все обошлось благополучно. Кати повернулась спиной к стене и заснула; сон ее был покоен и тих, Эстер ощущала ее нежное, словно бархат, дыхание. Некоторое время она лежала, прислушиваясь в темноте, затем повернулась к девочке и осторожно, обняв левой рукой свою новую сестренку, привлекла ее к себе. Через минуту она уже спала.

Эстер не видела, как вернулся домой Бердеш, как жена его зажгла лампу. Не видела и того, как супруги Бердеш, подойдя к кровати, долго молча стояли и смотрели на два юных создания, нежно обнявшихся во сне... И уже не Эстер обнимала Кати, а Кати обвила ее шею обеими руками.

Глава пятая

1

Лазар Цинцер — кирпичный мастер, и не какой-нибудь, а с дипломом. Родина его город Темешвар, там он женился, там же появился на свет его первенец, но где родились остальные, они с женой и сами, пожалуй, точно сказать не могут. Ведь сегодня он обжигает кирпич здесь, завтра — там, каждое лето на новом месте. Сколько он исколесил деревень, сколько сменил помещичьих усадеб, сколько кирпичей прошло через его руки! А на белом свете, между тем, столько всяких событий — первая мировая война, революция, белый террор Хорти, экономический кризис, забастовки, вторая мировая война, освобождение, народная демократия. Только Лазара Цинцера все это мало трогает. Его интересует одно — какое будет лето? Дождливое или сухое? Ведь если зарядят дожди, размокнет необожженный кирпич, отсыреет солома или сухие стебли кукурузы, которыми он топит свою печь. Вот почему, если бы Лазар Цинцер верил в бога, он непременно вымаливал бы у него только великую сушь. Обычно мастер остается зимовать там, где осенью разобрал свою последнюю обжиговую яму; из сырца или пережженного кирпича строит себе убежище — наполовину дом, наполовину землянку. Делает он это так: с одной стороны в яме для обжига роет вторую четырехугольную яму, переднюю стенку которой выкладывает из обломков кирпича, оставляя место для двери; сверху края этой ямы кругом в несколько рядов тоже обкладывает кирпичом, затем покрывает соломой либо стеблями кукурузы — это крыша. Таким образом получается полуземлянка с выходом в яму для обжига. При этом возможно одно из двух: либо яму зальет дождевой водой,— тогда Цинцер, поминая всех святых, вылезет на поверхность и будет пытаться соорудить какую-нибудь другую хибарку, либо не зальет,— тогда все в порядке. Жена его целый день что-то варит-парит — над хижиной с утра до вечера вьется дымок, ребятишки дерутся, возятся друг с другом, а если улыбнется солнышко, валяются на солнцепеке. Сам же Цинцер часов в двенадцать отправляется в село потолкаться у сельской управы либо посидеть в корчме,— а вдруг подвернется заказчик. Письмо старого Сильвы, его старинного знакомого, застало Цинцера именно в такой момент. Побрившись и приодевшись, он собрался идти в село.

Случись это не весной, а летом или осенью, ему не надо было бы тащиться пешком. Цинцер поехал бы автобусом или поездом, как другие «порядочные предприниматели» (так называет себя сам Лазар Цинцер). Но сейчас только начало весны — денег на билет не набрать, приходится шагать на своих двоих. Впрочем, что для него двадцать два километра? Пустяк. Весной расстояния

кажутся намного короче, чем летом, когда у Лазара Цинцера начинается работа или, по крайней мере, получен уже кое-какой задаток. Лазар — тщедушный человечек небольшого роста, одежда и кожа на лице цвета сырого кирпича. Пальцы у него на руках растопырены и напоминают вылепленные из глины дворянские гербы на фронтонах старинных барских домов.

Словом, в воскресенье утром Лазар Цинцер уже появился в усадьбе Кельчеи, позади парка, и осматривал местность и почву, выбирая, где бы вырыть яму для обжига кирпича. Это было нетрудно — здесь обжигали кирпич для нескольких поколений хозяев поместья чуть ли не со времени самого Ференца Кельчеи (правда, усадьба при разделе наследства досталась его младшему брату). Старые ямы сохранились, но в каком виде! Все обвалилось, осыпалось, густо заросло травой.

Во время наводнения буйные воды вздувшегося рукава реки Кереш сильно размыли местность. По всей равнине вздымаются намытые водой валы, один из них протянулся здесь, сразу же за парком. Покрывающая его зеленым ковром трава настолько густая, что кажется заботливо выращенным газоном. На деревьях распускаются почки, во рву, окружающем парк, цветет терновник; косые лучи солнца бродят между ветвями, и дотошный Цинцер не спеша, с важным видом шествует с одного холмика на другой. Остановится, копнет носком сапога землю и следует дальше. За ним по пятам Шаркези, его жена Рожи и Бердеш; неподалеку, у края рва, переминается с ноги на ногу кучка людей, человек двенадцать. Итак, мастер пока еще только осматривает будущую арену действий, а бригада уже тут как тут.

Цинцеру не нравится, что здесь так много людей. «И чего они тут торчат? — ломает он себе голову.— Просто так, из любопытства?» Притопнув, он еще раз ковыряет сапогом дерн, затем, решившись, вонзает лопату и выворачивает ком земли. Нагибается и, захватив горсть земли пальцами, растирает ее, берет пробу, разглядывает и качает головой.

— Я не хочу, чтобы сюда пришлось на тачках подвозить песок,— объясняет он.

— А какой процент песку нужен? — спрашивает Рожи Шаркези.

— Какой процент? Это зависит от многих причин, уважаемая! Вопрос в том, какая глина. Если, скажем, в ней большая примесь песка, то хороший кирпич не получится. Как его ни обжигай, он будет крошиться в пыль. Не пойму я, почему именно здесь раньше обжигали кирпич? Не нравится мне эта землица.

— Ну, а все-таки какой процент песку? — настаивает Рожи.

— Для меня довольно и своего глазомера — расчет верный, уважаемая,— уклоняется от прямого ответа Цинцер.

Рожи Шаркези вот уже несколько дней упорно изучает брошюру «Формовка и обжиг кирпича», присланную ей Кульчаром. Ей хочется проверить на практике то, что она вычитала. Но не-

мыслимая, видно, это задача — выучиться формовке и обжигу кирпича по книжкам... И все же, как бы ей хотелось вскопать землю на две-три лопаты и самой найти глину. Тогда она сказала бы этому мастеру, но... пусть уж он, наконец, начнет работу!

— Хитрит чего-то наш мастер, дочка! — тихо говорит ей Бердеш.

— Не хитрит, а просто набивает себе цену. Хочет из нас побольше выжать, вот и все.

Время уже близилось к полудню, когда мастер определил, наконец, где копать карьер, хотя это можно было бы сделать сразу. Рыть начали тут же, неподалеку от старых ям. Сняли один пласт, а дальше на три заступа в глубину пошла отличная земля, сняли пятый — чистый песок. Значит, и просеивать легко. От добра добра не ищут, лучше этого места все равно не найдешь. Но теперь на очереди самое трудное. Сколько запросит мастер?

— Ну вот... остановимся здесь, товарищ Цинцер. Теперь скажите, за сколько возьметесь?

— Зависит от того... сколько тысяч штук закажете!

— Может, сто тысяч, а может и все двести. Этого мы пока и сами наверняка не знаем.

— Сами не знаете? Как же так?..

— А так, что если мы с вами сойдемся, то двести. Иначе — тысяч пятьдесят, а то и сорок.

«Двести тысяч! Вот это да, это заказ!» — думает Лазар Цинцер и, не в состоянии скрыть восторга, восклицает:

— Пожалуйста, со мной столковаться всегда можно. Покажите мне человека, с которым бы я не договорился...

— Вот и хорошо. А теперь вы все-таки скажите, сколько возьмете за тысячу? Только учтите, товарищ Цинцер, что всю работу мы берем на себя, за вами — только руководство и надзор.

Цинцер в замешательстве.

— Вы мне даете рабочую силу? А что будет делать моя жена с ребятами?

— Жена будет стряпать, но если уж она так хочет работать, мы ей заплатим, что полагается. Ребятам тоже. Короче говоря, никого не обидим, товарищ Цинцер.

Цинцер так лихорадочно соображает, что на лбу у него выступает пот. С какими радужными надеждами он шел сюда, и вот что из этого выходит! Его нанимают, как простого поденщика. Но, с другой стороны, пожалуй... Так он еще не пробовал работать с тех пор, как стал мастером. А вдруг это выгоднее, чем, как прежде, быть подрядчиком?

— Сорок форинтов за тысячу — не дорого? — спрашивает он с трепетом в душе.

— Дороговато... Но знаете что? — вдруг говорит Бердеш.

— Что?

— Приступайте к делу, а мы пошлем подводу за инструментом и вашим семейством, привезем сюда и дадим вам... сорок

форинтов в день. Жене вашей, если она будет работать, еще двадцать. Ну, как, по рукам?

Цинцер начинает подсчитывать в уме, и из этого подсчета получается такая баснословная сумма, что его снова прошибает пот. Ведь формовка и обжиг такой уймы кирпича продлится до самой осени, а то перейдет и на следующий год. Перезимовать здесь, в селе, а весной опять за работу...

— По рукам! Можем начинать хоть завтра! — восклицает он и ударяет Бердеша по ладони.

— Что ж, завтра и начнем, дела много. А сейчас познакомьтесь со своими помощниками. Это — товарищ Рожи Шаркези, бригадир. А вот ее бригада.— Люди по очереди пожимают руку мастеру.

В конторе по всей надлежащей форме составляется договор, Цинцер получает сто форинтов задатка, его сажают на телегу и везут домой, чтобы завтра же утром он вернулся, захватив свою семью и инструменты.

2

Время идет, и дел в кооперативе день ото дня все больше. Выясняется, что люди порой нужны на такие участки, о которых раньше и не думали. Для кукурузного поля необходим сторож, ибо по соседству поселилась целая туча воронья, а они могут выклевать весь посев до последнего зернышка. Значит, надо раздобыть двух-трех стариков, дать им в руки дробовик — пугать непрошенных гостей. А когда ворон отсюда отвадят и они переберутся в более гостеприимные места, пусть старички спокойно греются на солнышке.

С тяглом тоже не оберешься хлопот. Теперь уже всем ясно, что лошадей мало, очень мало, но Йошка Пап обещает достать еще одну парную упряжку. И к тому же задаром.

Дело хорошее, но как это ему удастся? Очень просто. Племенного жеребца, что кооператив приобрел на зимней ярмарке, Йошка Пап выходил так, что загляденье. Коневодческая инспекция дает за него такую цену, что на эти деньги можно купить две приличных лошади и одну похуже.

— Верно! Это дело. Значит, у кооператива будет не четыре упряжки, а пять,— говорит Сито.

— А точнее... и все семь,— добавляет Бердеш, победоносно оглядывая своих соратников.

— Семь? Каким же образом?

— Этот сукин сын Янош Васнаш-Надь все еще не расплатился с государством; за ним четыре тысячи недоимки. На его трех лошадей и жеребчика назначены торги.

— В последний момент заплатит, я его знаю,— отмахивается Балаж Фюрес.

— Не тут-то было! Опустела у него нынче мошна,— возражает Йошка Пап.

— Итак, семь упряжек,— вслух размышляет Сито.— Но ведь это значит, что придется сократить размер аванса под трудодни. Дело неприятное, до нового урожая еще три месяца. Выдержат ли люди?

Мысль о семи упряжках приводит Бердеша в неописуемое возбуждение. Как-никак, нешуточное дело, настоящее большое хозяйство!

— Ничего, выдержат! Разве в старое время, при помещике, в нищете легче было? А потом, в крайнем случае, мы всегда можем попросить ссуду у государства. Сейчас у нас задолженности уже нет.

И правда, достаточно правлению потолковать о неполадках, кажется, их сразу становится меньше чуть не вполовину. В довершение всего, Шаркези объявляет, что с нынешнего дня «Свобода» по своему численному составу и объему хозяйства уже не производственная группа, а, согласно закону, самостоятельный производственный кооператив. Теперь они уже твердо стоят на собственных ногах и должны работать еще лучше, стараться для самих себя.

Слова Шаркези еще больше поднимают настроение собрания, создают уверенность в себе. Особенно, когда он заканчивает свое сообщение словами:

— А сверх того, товарищи, мы можем получить в области две конных упряжки из резерва; за ними нужно только съездить. Разумеется, не в подарок, а только в пользование. Осенью мы либо их выкупим, либо вернем обратно, для других, более молодых кооперативов, которые послабее нас.

— Вот это да!.. Девять конных упряжек! Чего же еще желать?

Однако на ясном, голубом небе вдруг появляется облачко — к девяти упряжкам нужно девять человек! Значит, полеводческая бригада не увеличится, а, наоборот, растает.

Но Бердеш не хочет расставаться со своей радужной верой в будущее.

— Ничего, найдем выход. Отправим в поле жен, всех до одной! — Это звучит успокоительно, и правление соглашается. В полеводческую бригаду пойдут женщины и девушки, и все будет в порядке.

Есть такие дела, которые можно разрешить звонком по телефону, вовсе незачем кататься в уезд. Но возникают и такие вопросы, когда телефон не помогает; приходится или дожидаться автобуса или садиться на велосипед и вертеть педали до самого уездного центра. Вот по одному такому делу как-то Шаркези с Сито собрались в уезд. Эта поездка, собственно, нужна была не столько им, сколько вновь организовавшимся в округе кооперативам. Их руководители собрались на совещание в Уйфалу рассказать о трудностях на первых порах, туда же пригласили и Шаркези с Сито, чтобы они поделились своим небольшим опытом — пусть другие используют у себя то, что смогут. На этом совещании и встал впервые вопрос о кооперативной молодежи.

— Вам непременно и как можно скорее нужно создать у себя в «Свободе» организацию Союза трудящейся молодежи,— обращается Кульчар к Шаркези и Сито.— Без него вам не обойтись. Если сумеете успешно это провести, ваша партийная группа приобретет себе отличного помощника.

Но у Бердеша вся эта затея не очень-то укладывается в голове.

— Э-э, нынче она девка красна, завтра мужняя жена, а послезавтра — здравствуй, кума! — заключает он. Особенно складно звучит эта прибаутка для уха городского жителя.

— Как, как, дядюшка Бердеш? — смеется Кульчар.

— А вот так. Возьмите хотя бы мою старшую дочь Пирошку. Сегодня она еще гуляет в девках. Но ей время выходить замуж. Или вот у товарища Шаркези старшая дочка Рожика. Она, как мне известно, тоже замуж собирается.

— Но не все же девушки выйдут разом замуж и не все парни сразу женятся, дядюшка Бердеш. Ребята подрастают один за другим, словно бежит веселый и чистый ручеек. И этот ручеек надо взять в свои руки, направить, проложить новое русло. Вот о чем речь, дядюшка Бердеш.

— Хорошо, будь по-вашему. Я ведь не против, я только так говорю. Можно попробовать...

— Наши ребята пойдут в эту организацию с охотой, об этом и толковать нечего. Но сомневаюсь, чтобы они сами сумели организовать такое дело,— высказывает свое мнение Шаркези.

Кульчар задумывается. Верно. Для того чтобы создать свою организацию, молодежи нужно помочь. Послать к ним толкового товарища, с опытом. Кому бы из уездных или обкомовских работников это поручить? Разве Бежи Кадар? Правильно, Бежи Кадар!

— Если хотите, мы командируем к вам Бежи Кадар, культуполномоченную. Я сегодня же созвонюсь с товарищем Фонадем и договорюсь с ним.

— Отлично! — восклицает Сито.

— Отлично? Гм... Выходит, мы должны платить ей жалованье только за то, что она организует наших ребят? Этак, пожалуй, даже больше, чем отлично! — отзывается Бердеш.

На это Йошка Пап возражает, что Бежи Кадар в остальное время могла бы работать в конторе. Ведь кооператив растет, значит, и конторской работы прибавится.

Что ж, тогда другое дело. На это Бердеш уже готов, пожалуй, и согласиться, но у него возникает еще одно сомнение.

— Ладно, допустим в конторе... Но вот напасть, ведь у Бежи Кадар жених, а он заправляет бумагами в сельской управе.

— Да, это, конечно, не очень хорошо. Тем более, что жених-то этот — сынок бывшего вице-губернатора... Вот что: мы переведем его работать в область. «Надо оторвать Бежи от этого барчука.

Жаль, если она выйдет замуж за подобного субъекта»,— думает Кульчар.

Сколько дел, сколько разговоров, сколько колебаний! Сколько веры и сколько неверия! Сколько всяких вопросов ставят перед кооператорами быстро бегущие дни! И во всем этом надо разбираться, надо решать. А ведь большинство из этих людей даже не окончили шести классов начальной школы — три-четыре, а то и меньше...

Но понемногу они начинают убеждаться в том, что воля и вера в свое дело стóят не меньше иной школьной премудрости, а порой и побольше.

3

Узнав о своем переводе в область, Дюрка Боди в первую минуту обрадовался, но затем настроение у него упало. Его в область, а Бежи Кадар сюда, в село? За этим что-то кроется, но что? Дюрка парень неглупый и понимает, что партийному комитету очень хотелось бы оторвать от него Кадар, но для Дюрки в этом положении жениха сейчас заключена вся жизнь. Если оно изменится, придется идти дороги мостить. И это бы куда ни шло, только ведь и там нужно умение.

Дюрка Боди решил заглянуть к пастору. Не потому, что надеялся получить от него помощь, а просто так, излить душу, поговорить о своем перемещении. Но у его преподобия нынче и своих неприятностей по горло, только ему и дела, что беспокоиться о судьбе Дюрки Боди!

Затея с евангелическим движением окончательно провалилась. Чем ощутимее дыхание весны, тем меньше становится активных евангелистов. А тут еще никак не может утихнуть скандал, возникший после того, как поросенок Шари Фейер нашел в кустах под пасторскими окнами некий предмет дамского туалета. Его преподобие охотно посмотрел бы на это сквозь пальцы, но настолько велико было возмущение — и не только среди прихожан, но и во всем селе,— что замять его уже нельзя было. Пришлось искать виновницу этого странного происшествия, но разве тут докопаешься?

Одна соседка утверждала, что речь идет о дочери Чикоштота, другая — будто до этого могла докатиться только дочка Эсеньи, тем более, что с ней такое не впервые. Ну, как тут разберешься? Поэтому его преподобие предпочел упомянуть об этом происшествии с амвона безлично, в третьем лице, и закончил свою красноречивую проповедь такими словами: «Так иди же, дочь моя, путем праведным и больше не греши».

Ладно сказано. Но так напутствовать дочку Эсеньи или Чикоштота — это все равно, что приказать воде не течь или ветру не дуть.

А поскольку затея с евангелистами провалилась, дохода от них тоже ни гроша. Так что у его преподобия своих напастей хоть отбавляй. Неудивительно, что Дюрке Боди визит к пастору

ничего не дал, и ему осталось только собрать свои вещички и сесть в автобус, отправляющийся после полудня.

И вот он сидит у окна и уныло смотрит на быстро мелькающие за стеклом дома, остающиеся позади деревья. Он покидает село, и нет никого, кто хоть на минуту остановился бы у дороги и сказал: «Гляди-ка... Дюрка Боди уезжает». Правда, полтора года назад, когда он поселился в этих местах, тоже никто не всплеснул руками от радости. Одним человеком больше, одним меньше, не все ли равно? Но что ждет его в областном городе? Какое он там получит назначение? Да и получит ли? Впереди ничего определенного, разве только вот невеста. Если, конечно, и она не... Ему хочется думать о своей любви к Бежи Кадар как о серьезном, большом чувстве. Любовь до гроба! Это, впрочем, не так-то уж трудно — ведь Бежи Кадар красивая, образованная девушка. Но, увы, даже в мечтах о невесте где-то глубоко, на дне души, копошится все та же мысль о нем самом, о его судьбе, о его существовании.

Он и теперь, шесть лет спустя после освобождения страны, не может представить себе, как он, Дюрка Боди, может заниматься каким-либо другим делом, кроме чистой работы в конторе. Он не может себе представить, что миллионы и миллионы людей живут тяжелым физическим трудом, подставляя плечи под мешок, толкая тачку с песком или до боли в пояснице взмахивая косой. Дюрка не в состоянии представить себе это. Если ему и приходится видеть в поле, на прокладке шоссе или строительстве новых мостов людей, перетаскивающих камни и бревна или сидящих за штурвалом или рулем машины, для него это то же, что ветер, дождь или снег по ту сторону застекленного окна, у которого он сейчас сидит. Кто для чего родился, с тем должен и умереть — таков смысл всей его философии. Да и понятия «жених», «невеста» имеют для него цену лишь в том случае, если это люди одного круга, одного класса, одного общественного положения. А Бежи Кадар? Кто она, к какому классу принадлежит?

Отец ее был учителем. Сама Бежи сейчас мечется между двух берегов. Эх, если бы они могли пожениться!.. Но не получается. Бежи член партии и дорожит этим, а он... его в партию не примут. Во всяком случае, пока — так ему кажется.

А автобус мчится дальше. Кондуктор занят своим делом, щелкает щипцами, пробивая билеты, в сумке у него позвякивает мелочь. За окном по обе стороны проносятся апрельские зеленеющие поля, луга, села, холмы и низины.

В это самое время перед зданием уездного комитета партии в Уйфалу стоит знакомая нам малолитражка «шкода». Шофер как обычно углублен в чтение очередного приключенческого романа. Из подъезда выходят двое — мужчина и девушка. У девушки в руке большой чемодан, который мужчина забирает у нее.

— Давай-ка сюда, я понесу,— говорит он и спешит к машине. Девушка задерживается на ступеньках, оглядывается по сторо-

нам, смотрит на ручные часы. Ей очень хочется сказать: давайте подождем еще пять минут, пока подойдет автобус, но она не осмеливается.

— Едем, едем же! — торопит ее мужчина, стоя у машины.

Девушка грустно вздыхает, затем входит в машину и усаживается на заднее сиденье. Мужчина следует за ней, шофер засовывает книжку в боковой карман на дверце и трогает машину. Оба пассажира сидят молча, глядя на бегущую дорогу. Это Кульчар и Бежи Кадар.

На окраине, при выезде из городка, им навстречу катит автобус. Бежи Кадар напряженно всматривается, но автобус с шумом пролетает мимо; усилия ее напрасны. Она не видит того, кого хотела бы увидеть,— Дюрку Боди. И странно, ей становится как будто легче. Ей так хотелось его увидеть, но не удалось. Что поделаешь! Надо ехать и делать то, что поручено.

Кульчар догадывается о мыслях своей спутницы.

— Не жалей о нем, Бежи. Пойми, наконец, этот парень тебе не пара,— говорит он, пожимая ей руку.

— О, да... я понимаю! Но не так это легко, как вам кажется.

— Откуда ты знаешь, что нам кажется? Но у человека должен быть разум, принципы, убеждения, вера... Если ты не можешь выкинуть его из головы сразу, положись на время. Сейчас у тебя будет новая, увлекательная работа. Ты будешь находиться среди молодежи, отличных товарищей, открытых, с горячим сердцем. Не пиши ему писем, иначе...

— Что вы хотите с ним сделать? — В голосе Бежи звучит тревожная нотка.

— Да ничего. В сельской управе он больше не нужен. Теперь к нам день за днем прибывают новые кадры, и в таких людях, как Дюрка Боди, мы больше не нуждаемся. Пусть такие, как он, ищут себе применения в другом месте. Пусть учатся быть полезными и себе и обществу; только не следует им пристраиваться к девушкам, подобным тебе, Бежи.

Бежи понимает, что Кульчар прав, она и сама сказала бы то же самое, если бы речь шла не о ней. Но совсем иное дело, когда приходится давать совет самой себе. Со вздохом Бежи отворачивается к окну.

Стекло в кабине шофера опущено, и в машину на крыльях встречного ветра врывается юный, цветущий апрель. Запах травы, зеленеющей по обеим сторонам дороги, смешивается с ароматом молодых листьев тополей, терновника, благоуханием цветущих сливовых и абрикосовых деревьев. Кульчар молчит, словно прислушиваясь к этим признакам весны, затем продолжает:

— Надеюсь, ты не забыла, по чьей милости сорвалось первое учредительное собрание кооператива? Главным образом по твоей. Так вот, теперь, работая с молодежью, ты будешь иметь возможность исправить свою ошибку. Если с чем-нибудь не справишься, звони мне. У тебя будет неплохая помощница — Эстер Мольнар,

приемная дочь Бердеша. Ну, а в общем, начинай, там видно будет... Передай это письмо Шари Фейер, я выходить не стану, поеду дальше,— и, вынув конверт, он вкладывает его в руку Бежи.

Бежи Кадар рассматривает письмо, машинально вертит его в пальцах. Мысли ее далеко. Между тем машина останавливается у дома правления кооператива «Свобода». Бежи, все еще держа письмо в руках, вылезает, прощается с Кульчаром, с минуту в нерешительности стоит, глядя вслед удаляющейся машине, затем входит во двор.

От свиней здесь нет и следа, Лайош Тержек-Виг сгреб оставшиеся во дворе навоз и грязь в аккуратные кучки, временные загоны разобраны; место, где они стояли, тоже нужно прибрать: вывезти щебень, мусор — не может же, в самом деле, двор правления походить на какое-то покинутое стойло. Взгляд Лайоша Тержек-Вига, занятого уборкой, падает на девушку.— Гляди-ка, никак Бежи Кадар! — Но в руке у него кусок кирпича, и, пока он бросает его в кучу, девушка, взбежав по бетонным ступенькам, успевает скрыться за дверью.

Уж близок вечер, смеркается. Шари Фейер, выйдя из кухни в переднюю, стоя, замешивает в миске тесто для блинчиков.

— Сабадшаг!..

— Сабадшаг!.. Да ведь это Бежи Кадар! — Шари ищет глазами, куда бы поставить миску, одновременно пытаясь вытереть правую руку о платок, повязанный вместо передника.— С чем пожаловала, Бежи?

— Я? С письмом, вот оно...

Шари ставит миску на подоконник и, вскрыв конверт, пробегает глазами письмо.

— Так... Значит, ты теперь на время моя дочь. Товарищ Кульчар пишет, чтобы я тебя приютила, кормила и все такое прочее. Что ж, очень рада, поставлю тебе здесь раскладушку, а потом...

Потом Бежи Кадар распаковывает свои пожитки, а через некоторое время принимается и за работу.

4

Первый шаг легок, легче не придумаешь. Вот тут и дочки Бердеша, и дочери Шаркези, и потом эта новенькая, Эстер Мольнар, Столько девчат — уже целая организация. Парни тоже, пусть поодиночке, но подбираются. Лаци Бердеш тут как тут, за ним Кари, старший сын Кароя Ханадя, затем младший братишка Балажа Фюреса, сын Сито — Пишта, которому хотя и минуло недавно пятнадцать, но он так тянется кверху, будто собрался проткнуть головой потолок. Да, в кооперативе «Свобода» нынче целый отряд молодых.

Вечер, половина восьмого. Девушки и ребята, сбившись в стайку, сидят в зале для собраний. Целый день они были в поле —

лущили стерню. В зале не топлено, и ребята поеживаются, намерзнувшись за день на весеннем ветру.

Бежи Кадар понимает, что сейчас не время произносить патетические речи, нужно что-то предложить, начать с конкретного дела, и поэтому в нескольких словах объясняет, чего она, собственно, хочет.

— Дорогие товарищи, мы собрались здесь, чтобы поговорить об организации ДИСа, которую надо создать в нашем кооперативе. Вы, очевидно, слышали, что это за организация. ДИС — Союз трудящейся молодежи всей нашей страны. Его задача — организовать молодежь так, чтобы она всеми силами помогала партии и государству строить социализм. Для вас, молодого поколения, самое главное — культурная работа. Тяга к культуре в душе каждого нашего парня и девушки. Одни еще только мечтают о ней, но не могут приобщиться, у других она, хоть и дала свои первые ростки, но никак не распустится в цветок, а ведь без культуры человеку жизнь не в жизнь. Но об этом можно говорить очень долго. Одним словом, мы с вами должны показать юношам и девушкам всего села: вот, мол, какая молодежь «Свободы»! Ждем вас к себе, вступайте в нашу организацию! Я предлагаю выбрать организационную комиссию. Времени у нас мало, и мне очень хотелось бы, чтобы к пасхе мы выступили с программой художественной самодеятельности, а затем провели официальное собрание и выбрали руководство. В состав организационной комиссии предлагаю Эстер Мольнар, Пишту Сито, Кати Бердеш и Пишту Бенце.

Предложение принимается единогласно.

В зале становится как будто теплее, и ребята смотрят веселей. В том, что они собрались вот так, все вместе и создают свою организацию, в том, что они говорят о таком важном, как культура, партия и государство, они чувствуют что-то большое и возвышенное. Бежи Кадар, сидевшая до того одна за столом на эстраде, сходит в зал и подсаживается к ребятам, заговаривает с одним, другим, третьим. И у них становится тепло на душе, каждый вдруг вспоминает какую-нибудь историю, которую непременно надо рассказать. Ребятам начинает нравиться эта чужая, сильная девушка, девочки помоложе жмутся к ней под крыло, как цыплята к наседке. Кати Бердеш берет ее под руку и прижимается щекой к плечу.

Разговор снова возвращается к тому, с чего началось собрание.

— Итак, ребята, к пасхе готовим вечер самодеятельности,— говорит Бежи.— Кто из вас, девочки, когда-нибудь танцевал на сцене?

Девушки переглядываются.

— Я,— отваживается Кати Бердеш.

Но Лаци насмешливо ее обрывает:

— Ты бы уж лучше помолчала, балерина! А вот Эстер, должно быть, действительно хорошо танцует!

Эстер встрепенулась.

— Я? Откуда ты взял? Нет, нет, я никогда еще не выступала перед людьми, ни разу в жизни!

— Не беда, надо же когда-нибудь начать!

Пишта Сито, новоиспеченный член комиссии, вступает в свои права.

— Факт! Главное — начать. Завтра я поговорю с учителем, товарищем Мислаи, он нам поможет разучить танцы!

Эстер молчит, перебирая в памяти события прошлого, и где-то в далеких тайниках ее души начинают оживать давно забытые мелодии.

— Правильно! Да здравствует Мислаи! — звонким хором откликаются все.

— Знаете что, ребята? Не будем откладывать до завтра. Ведь пасха-то на носу. Предлагаю пойти к Мислаи сейчас же, вот так, всем вместе,— говорит Бежи Кадар.

Отличная мысль! Ребята с шумом и гамом высыпают из зала и гурьбой направляются к школе.

Пишта Мислаи корпит над планами завтрашних уроков. Раздается стук в дверь. Он думает, что это кто-нибудь из учителей.

— Входите! — весело отзывается он, не поднимая головы.

В дверь вваливается орава ребят. Мислаи вскакивает, непонимающе моргает глазами. Затем, опомнившись, торопливо пододвигает табуреты, стулья.

— Садитесь, садитесь, ребята, очень рад... Сколько вас привалило!

Глава шестая

1

Концерт самодеятельности оказался не слишком продолжительным. Вначале четверо парней сплясали «Танец свинопасов», затем весь ансамбль лихо оттопал трансильванский чюрденгеле, а Лаци Бердеш исполнил вербункош. Эстер Мольнар выступила с сольным номером — учитель Мислаи специально разучил с ней танец, который плясали в те времена, когда он был студентом. Потом она же продекламировала несколько стихотворений Петефи. Рожика Шаркези и еще три девушки исполнили некий «шедевр» неизвестного автора под названием «Посиделки» (неизвестным автором был, повидимому, все тот же Пишта Мислаи), а в заключение Лаци Бердеш под аккомпанемент скрипача-цыгана Пицулы спел несколько песен. Вот и все.

Успех этого первого концерта молодых кооператоров превзошел все ожидания. Эстер вызывали несколько раз подряд, кричали: «Браво, бис!»,— и девушка танцевала снова и снова, чувствуя, что у нее вот-вот подогнутся колени и она упадет на эстраде

от изнеможения, но публика, не замечая этого, орала, вопила, топала сапожищами и башмаками от удовольствия, требовала еще и еще.

Выскользнув, наконец, в «артистическую» (так назвали молодые исполнители крошечную комнатушку, где они переодевались), она, чуть живая от усталости, прислонилась к стене и непонимающе смотрела на подмигивающую пятифитильную лампу, не в состоянии сообразить, чем обязана такому успеху. Ведь она только старательно выполнила то, что ей показал учитель Мислаи, и не больше.

Тесная каморка, получившая громкое название артистической, набита до отказа. Новоявленным артистам здесь негде повернуться — в углах навалены груды костюмов, две девушки переодеваются к выходу на сцену, а Лаци Бердеш никак не может снять сапоги. Дело в том, что он пожелал танцевать непременно в желтых сапогах, а таковых у него не оказалось, пришлось позаимствовать у Пишты Надя, сына Барны Надя. Но натянул-то он их довольно легко, а вот стащить никак не может. Другой артист ищет свою пропавшую шляпу. Кругом перешептывания, приглушенные восклицания, топот ног. В зале размещаются музыканты, тренькают струнами, настраивая инструменты, двигают стульями. От всей этой суматохи в артистической пыль столбом, при свете лампы она кажется желтой, словно расплавленная медь.

А Эстер Мольнар все стоит, прижавшись к стене, и прислушивается к биению своего сердца. По маленькой лестнице, спотыкаясь, спешит учитель Мислаи и, не замечая никого, подходит прямо к Эстер.

— Ну, Эсти, теперь уж я наверняка знаю, кем ты будешь! — весело говорит он девушке.— Поди сюда, дай я тебя обниму.

Эстер в испуге прикладывает руки к груди, и ей кажется, будто она кустик терновника, случайно занесенный сюда, в это село, попутным ветром, и теперь каждый, кому захочется, может подойти к нему, сорвать ветку, листик, цветок. Она теснее прижимается к стене, словно желая раствориться, слиться с ней воедино.

— Ты хотя бы сказала спасибо дядюшке Мислаи, Эстер! — восклицает Бежи Кадар, которая снимает в этот момент с плеч Кати Бердеш блузку. Блузка эта, разумеется, тоже не ее, а чужая. Если уж выступать, изображать на сцене что-то не свое, а чужое, то и платье должно быть чужое, а не свое, привычное... как же иначе!

Мислаи, этот милый маленький человечек, все еще стоит перед Эстер. Возраст у него неопределенный — молод ли он или стар, угадать трудно. Во всяком случае, Эстер об этом не думала.

— Ну? Так что же следует дядюшке Мислаи? — задорно спрашивает он, весело поблескивая глазами.

Эстер отрывается от стены и, заложив руки за спину, наклоняется вперед и целует учителя в щеку.

— Ура! Браво! — шумно выражают свой восторг юные артисты, продолжая, однако, заниматься каждый своим делом. Лаци с помощью приятелей освобождается, наконец, от проклятых сапог: один из друзей держит его, а второй стаскивает сапог.

Пишта Мислаи выкладывает все, что у него на сердце.

— Ты, Эстер, прирожденная артистка. В один прекрасный день вспорхнешь и — фьють! — улетишь от нас, как птица. Не знаю, где только были глаза у нашего уважаемого правления! Почему тебя до сих пор не приметили, не послали учиться? Прямо удивительно!..

В щель раздвинувшегося на миг занавеса просовывается голова Андриша Кеваго. Заметив Пишту Надя, который тоже не имеет отношения к кооперативу, Андриш прыгает на сцену и задергивает за собой занавес. Среди группы артистов и их друзей он ищет взглядом Эстер, но не найдя, протискивается в артистическую.

Возле Эстер трое — Бежи Кадар, Кати Бердеш и Пишта Мислаи, они о чем-то разговаривают. Андриш секунду прислушивается и подходит к ней как ни в чем не бывало, словно он находится здесь «за кулисами» с самого начала концерта.

— Ты была такая красивая, Эсти, просто прелесть!

— Ах, Андриш!..

— Всем больше всего понравилась ты, затем Лаци Бердеш и еще эти четверо «свинопасов». Остальные тоже неплохи, но танцевала ты так, что у меня даже дух захватило... я никогда не видел ничего подобного. А Лаци — он всегда хорошо поет. Впрочем, голос это ведь не его заслуга...

— Но если тебе понравился мой танец, то это заслуга не моя, а моих ног. А стихи написал Петефи, это тоже не моя заслуга, а...

— ...а твоего сердца. Но ведь и танец у тебя от сердца... Ну, а теперь пойдем, поучи меня танцевать.— Андриш берет девушку за руку и уводит в зал. А Бежи и Мислаи кажется, что с ним Эстер не идет, а парит как на крыльях.

«Новое сито вешай на гвоздь, чтоб не позабыть, где оно!» — гласит народная пословица. Это хотя и справедливо, но не всегда, бывает и по-другому. Вот и сейчас первое выступление Эстер на вечере самодеятельности так глубоко врезалось в память всех селян, что его ни за что не стереть.

Видно, и впрямь правильно поступило молодое поколение кооператива, решив устроить концерт самодеятельности. Они знали, что на вечер соберется молодежь всего села, а с ней придут и старушки, сопровождающие своих дочерей и внучек, и даже кое-кто из мужчин — ведь если на селе праздник, человеку не сидится дома, надо же сходить посмотреть.

После концерта, как об этом возвещали плакаты, должны были состояться «танцы до утра». Парни проворно вытащили скамейки, сложили их на широком крыльце, женщины постарше расселись в зале вдоль стен, мужчины отправились в корчму, по-соседству,

а которые посолиднее — в контору правления; девушки сбились в веселый круг, музыканты, пробуя струны, настраивали свои инструменты, и грянул чардаш.

Заметив, что Эстер пошла танцевать с Андришем Кеваго, Лаци Бердеш помрачнел. И в самом деле, у него прав на это побольше, чем у Андриша. Как-никак, ведь его отец, а не Кеваго удочерил Эстер. Но уныние его недолговечно. Он постарался утешить себя, выбрав другую девушку. А в них здесь недостатка нет!..

Доктор Элемер Барна тоже присутствовал на концерте. Задумчиво поглядывая на веселящуюся молодежь, смотря на ее не всегда, может, удачные выступления, слушая пение, наблюдая за танцующими, он чувствовал себя теперь в кооперативе не чужим, а своим, близким человеком. Что он мог бы для них еще сделать? Да-да, медицинский пункт в усадьбе. Надо его открывать поскорее, хотя бы завтра или послезавтра... Во всяком случае, нужно сейчас разыскать Бердеша и попросить, чтобы тот распорядился выбелить помещение,— пусть он наймет маляра или поручит это женщинам, все равно...

С Бердешем он договорился. На следующий день помещение медпункта побелили. Доктор привез из села необходимые врачебные инструменты, намалевал на стене красный крест, вдоль стен появились столы и стулья, уцелевшие в господской усадьбе,— и медпункт готов! Два раза в неделю, от пяти до семи, прием для всех членов кооператива. И посетители не заставили себя ждать.

Первым оказался старый Тодьер Монок. Дело в том, что у старика всего-навсего три зуба — два снизу, один сверху. Зато корней хоть отбавляй. И странное дело: раньше, бывало, они редко его беспокоили, поболят немного, и то в ненастье, а тут, кажется, ни холода, ни ветра и в помине нет, солнышко припекает с каждым днем все жарче, а в Монока словно бес вселился: болит и все... Слава богу, хоть врач объявился во-время.

Доктор входит в свою новую приемную и раскладывает инструментарий. За ним бочком пролезает в дверь Тодьер Монок и мнет в руках шляпу. Все жители усадьбы тоже тут как тут; заглядывают через порог, даже сам старый Бири подпирает дверной косяк.

— Ну вот, готово... На что жалуетесь, дядюшка Тодьер? — спрашивает врач.

— Да вот, зубы замучили... Не знаю, сколько дьяволов в них забралось... болят...

— Но который же? Покажите...

— Все. Каждый... вместе...— отвечает старик и разевает рот. Дядюшка Монок из словаков и обучился он венгерской речи уже в преклонном возрасте, с грамматикой Монок не в ладах, ну да это неважно.

— Да, зубки у вас действительно того... в запущенном состоянии. Сейчас удалим два корня. А через день-два еще пару, идет?

— Мне одна беда, тащите хоть все сразу...

— Если только вытерпите...— Доктор делает укол в десну,

возится на столике с инструментами. Старик сидит смирно, не шелохнувшись, только то закрывает, то разевает рот. Доктор вынимает из стерилизатора щипцы, подходит ближе...

У Монока клокочет в горле... Был корень, нет корня! Глаза у старика выпучены от страха, лицо перекошено, но все уже кончено, боли нет. И он расплывается в улыбке.

— Вот это добре, теперь уже не придется больше мучиться по ночам, а то ведь такая боль, хоть на стенку лезь!

В следующий приемный день посетителей уже больше. Один кашляет, как простуженный мул, второй по ночам потеет, третьего одолел насморк. Доктор дружески со всеми беседует, дает советы, по возможности такие, чтобы не тратиться на лекарства. Одному компресс, другому настой ромашки... Иногда он лезет в карман, достает оттуда таблетку аспирина или другое лекарство.— А ну, разиньте-ка рот!

Многие сельчане тоже направляются в усадьбу к доктору. Почему? Хотя вслух об этом и не говорят, но про себя подумывают, что в усадьбе он лечит лучше, чем в селе. Случается, что даже из соседней деревни привозят на телеге больного прямо в усадьбу. Если посетителей нет, доктор все равно ждет до семи часов, усаживается на крылечке и заговаривает со всяким, кому случится идти мимо. Нередко бывает, что у него находятся двое, а то и трое собеседников.

— Был тут у нас один доктор, чтоб ему ни дна, ни покрышки,— рассказывает как-то раз старый Бири.— Такой уж был человек, что... Да вот послушайте... В двадцать втором году вернулся из плена один наш мужик — Ференц Вираг. Вернулся, значит, и говорит жене: свари мне лапшу с творогом, целых семь лет не ел. Жена сварила. Ну, Ференц Вираг наелся до отвала, выпил малую толику и вдруг, не говоря ни слова, хлоп на пол — и все. Жена подняла крик, голосит во всю мочь: «Помер, помер!» Тут сбежались соседи, перенесли Ференца на диван, кто-то побежал за врачом. Пришел этот самый доктор, постоял возле больного, посмотрел и говорит: «Умер. Можете хоронить». Сказал, значит, и ушел восвояси. А жена, словно только теперь это до нее дошло, еще пуще плачет, соседи тоже ахают, носы утирают. Вдруг Ференц Вираг потянулся, сел как ни в чем не бывало и говорит: «Ты что, мать, орешь, словно белены объелась?» Так-то вот... и здравствует этот Ференц Вираг по сей день, а жаль. Окачурился бы он тогда, нынче одним кулаком на свете меньше было...

Врач внимательно слушает рассказ Бири. Хорошо вот этак посидеть, поговорить со стариками, с одним, другим, третьим... десятым. До чего же интересны эти крестьянские рассказы, были и небылицы про врачей, про больных, про все на свете.

То здесь вспоминают далекое прошлое, то неожиданно, без перехода, перескакивают на настоящее, потом переносятся в будущее — ведь фантазия человека бескрайна, как море или небо.

Два дня спустя после вечера самодеятельности состоялось

организационное собрание молодежи кооператива «Свобода». Первый раз в жизни девушки и парни вот так сидят вместе, одни, без родичей. Кое-кому из них только недавно исполнилось пятнадцать, но есть, правда, и такие, кому уже за двадцать пять; если разобраться, то в ином семействе оказывается столько взрослых сыновей и дочерей, что их может хватить на небольшую молодежную организацию. От семьи Бердеша здесь трое — Лаци, Пирошка и Кати. От Шаркези двое — Рожика и Жужика (ей только что стукнуло шестнадцать); у Сито, правда, только сын, ему неполных шестнадцать, складный парнишка, с таким старательным зачесом, словно корова зализала языком. Кроме того, здесь сыновья Бени Гуяша и Шерфезе, уже взрослые парни, еще дочь Шерфезе, младший братишка Йошки Папа — словом, молодежи хоть отбавляй, не на что Бежи Кадар пожаловаться.

На дворе вечер. Они сидят в большом зале, одетые по-праздничному, и чувствуют торжественность минуты; поэтому не шумят, не болтают между собой, а, изредка тихо перешептываясь и поглядывая на Бежи Кадар, сидящую за столом на эстраде, ждут.

Бежи Кадар думает о том, что непременно нужно рассказать о Зое Космодемьянской как об идеальном примере для всей молодежи, но она вспоминает свой провал прошлой осенью... Нет, нет, пока подождем... И она начинает по возможности просто.

— Товарищи, мы собрались, чтобы создать первичную молодежную организацию ДИС кооператива «Свобода». Разрешите мне по поручению и от имени уездного комитета Союза трудящейся молодежи открыть собрание. Молодежное движение в нашей стране началось сразу же после освобождения, еще в сорок пятом году. Организации союза справились с задачами, которые возникли в тот период. Насколько мне известно, и в вашем селе существовала ячейка ЭПОС *. Но в то время еще не было кооператива «Свобода». Теперь же коллективное хозяйство ставит перед вашими отцами и матерями совершенно новые задачи. Тем более остро они стоят и перед молодежью. Наша «Свобода» — одна крепкая, большая семья, и мы, молодежь, дети этой семьи. Права у нас такие же, как у взрослых, а обязанностей больше. Почему молодежи следует объединиться в свою организацию? Во-первых,— в этом вы убедились сами,— сплоченные, мы можем жить лучше, интереснее и культурнее. Во-вторых, жизнь теперь предоставляет нам гораздо большие возможности, чем старшему поколению, и следует лучше их использовать. К тому же у нас есть свои особые, молодежные вопросы, которые старшим понять трудно. Организация необходима главным образом для того, чтобы отдать делу кооператива «Свобода» наши молодые зоркие глаза и горячие сердца; стоять на страже его доброй славы, заботиться о том, чтобы он день ото дня рос и богател. Это нужно потому, что, собственно говоря, кооператив принадлежит не столько старикам, сколько нам, молодым... Итак, я предлагаю...— Бежи Кадар говорит спокойным, уверенным голосом. Только вот

ударения ставит не совсем правильно и звук «а» произносит с некоторым нажимом, словно ей щекочут в горле пером. Впрочем, это неважно! Главное, говорит она убежденно, тепло и проникновенно, так что кое у кого в уголке глаза даже поблескивает слеза.

Речь имела большой успех. Хотя возможно, что мягкость и теплота Бежи Кадар были адресованы не только этим парням и девушкам, но и тому, кто уехал из села в тот момент, когда она миновала его околицу.

Выступление Бежи воодушевило собрание. Молодежь вела себя с достоинством, без шума и гама. По-деловому прошли и выборы комитета. Секретарем избрали Эстер Мольнар, заместителем Пишту Бенце (младшего брата Бенце, бывшего мельника), организатором по культурно-массовой работе и спорту Пишту Сито (сына Иштвана Сито, которому и самому-то не больше тридцати восьми лет), уполномоченной по политико-воспитательной работе Жужику Шаркези и руководителем производственного сектора — Лаци Бердеша.

Бежи Кадар предложила наметить ближайшие задачи: во-первых, вовлечь в организацию всю кооперативную молодежь, во-вторых, организовать молодежную производственную бригаду для весенних полевых работ и, в-третьих, создать организацию ДИС не только в кооперативе, но и в селе для всей молодежи.

Последнее — самое трудное, это понимают все. Придется мобилизовать все свои силы и способности, чтобы преодолеть глухое равнодушие селян! Но равнодушных еще можно как-то расшевелить. А вот антипатию и враждебность преодолеть куда труднее. Но они вступили на новый путь, отступать нельзя, нельзя и останавливаться. Значит, вперед, только вперед!

Поздно вечером Бежи Кадар вызвал к телефону Кульчар. Он интересовался, удачно ли прошло организационное собрание. На следующее утро тем же вопросом встретили молодежь многие из членов правления, и ребята почувствовали, что теперь они выросли и как члены организации ДИС могут говорить со своими отцами и матерями, как с равными.

2

В конце апреля строительная бригада заложила кирпич в первую печь. Им повезло: погода стояла ясная, постоянно дул ветерок, и кирпич-сырец отлично просох. Мастер Цинцер питал самые радужные надежды и полагал, что для него настанет теперь не жизнь, а масленица, живи и наслаждайся! Печь зажжена, помощники поддерживают огонь, а он в послеобеденное время может спокойно пройтись по селу, заглянуть в корчму, в сельпо... Но не тут-то было!

— Товарищ Цинцер! У печи останется дедушка Шике, в шесть вечера его сменит товарищ Панкота. А вы немедленно переходите

на вторую площадку и начинайте закладку,— говорит ему Рожи Шаркези.

Цинцер никак не может с этим согласиться.

— Нет уж, прошу покорно! Если я сейчас брошу печь, то не отвечаю за качество кирпича!

— То есть как? Полностью отвечаете! Ведь отсюда до второй площадки всего несколько шагов, а кроме того, отвечаю и я, и дядюшка Панкота, и старик Шике. У нас все отвечают за все, товарищ Цинцер!

Цинцер больше не в силах сдерживать себя и одним духом выпаливает все, что накипело у него на душе.

— Вы у меня отняли мою специальность! Вам только и надо было выучиться моему мастерству! Грабеж! — вопит он во всю глотку.

На крик из-за кустов, где Цинцер соорудил себе летнее жилье, появляется его жена и поднимает визг. Ее, мол, обманули — тогда-то и тогда-то не заплатили — и тому подобное...

Рожи не знает, кого слушать, то ли Цинцера, то ли его жену.

— Все, что вам следовало, уважаемая, вы получили. Будете еще работать — еще заплатим, все до последнего филлера! Но вы ведь не работаете!

— Это я не работаю? Сколько мои щенки позволяют, столько и работаю...— визжит жена Цинцера и дает такой подзатыльник одному из подвернувшихся под руку отпрысков, что тот тоже начинает орать.

Члены бригады, хоть и продолжают свое дело, но словно чего-то выжидают, даже инструмент в их руках двигается медленнее.

— А ну, бросим-ка в печь эту ведьму, чтоб не вопила! — восклицает с угрозой один из них.

Это только подливает масла в огонь, скандал разгорается все пуще, и Рожи с грустью думает о том, какая горькая доля у Цинцера. Что можно поделать с таким человеком, как его жена, да еще с оравой ребятишек? Жизнь у них — хуже не придумаешь, но разве у крестьян было лучше? Если положиться целиком на одного Цинцера, кирпич не будет готов к сроку, больше того, не будет его и к будущему году. А кооператив должен построить ферму и свинарник непременно в этом году.

— Послушайте, товарищ Цинцер,— говорит Рожи примирительно,— я хочу вам кое-что предложить.

— Предложить? Что? — сразу сбавляет тон Цинцер, словно почуяв, что тут пахнет деньгами. В самом деле, что еще может предложить ему эта женщина?

— А вот что... Вступайте-ка в кооператив, это для вас самое лучшее. Тогда между нами не будет недоразумений и стычек.

— Чтобы я вступил в ваш кооператив? — Цинцер тотчас остывает, будто на него вылили ушат холодной воды.

— Ну да... Для вас это самый лучший выход. Не бойтесь, работы вам хватит на многие годы. Ведь по-настоящему мы начнем

строиться, когда справимся с коровником и свинофермой. Мы установим вам норму трудодней, а потом...— Но для Цинцера все, что следует за этим «потом», уже не представляет никакого интереса.

— Нашли дурака! Не выйдет! — гневно обрывает он Рожи и, повернувшись к ней спиной, неуклюже шагает по лугу к своей хибарке.

— Нет так нет! — бросает ему вдогонку Рожи, и мысли ее обращаются к тем «основным методам изготовления кирпича», которые она выучила по брошюре, подаренной ей Кульчаром. Нелегкое дело претворять эти методы в жизнь одним, без мастера. Ей-ей, нисколько не легче, чем втолковывать и разъяснять идеи партии женщинам из их села.

Старик Шике втыкает вилы в кучу соломы и, подхватив здоровенную охапку, сует ее в печь, затем размеренно, не торопясь, продолжает кормить прожорливую топку.

Солнце уже добралось до верхушек деревьев парка, становится жарко. Дым от печи для обжига поднимается высоко к небу, то черный, то розовато-огненный, в зависимости от того, как — вспышками или равномерно — горит солома.

Мимо усадьбы гонят кооперативное стадо свиней, для них еще в начале месяца арендовано пятьсот хольдов выгона в Бикери; луга там обширные, а скотины мало. При разделе земли село Бикери получило из бывших владений местного капитула пять тысяч хольдов пастбищ. Сами сельчане не в силах поднять такую махину и поэтому часть земли сдали в аренду кооперативу «Свобода».

Вдали, там, где бегущая среди полей дорога вытягивается в тонкую ниточку, виднеются темные пятнышки — это коровы и телята; они тоже направляются к выгону. Шерсть на них отросла, к концу зимы им пришлось так голодно, что, если дожидаться с перегоном на пастбище до первого мая, как заведено, они, пожалуй, и не выдержат.

Жужи Катона, «директор» птицефермы, хлопочет вокруг своих наседок. Тодьер Монок накладывает навоз на телегу; жена Балажа Фюреса развешивает мокрое белье на веревке, натянутой между двумя деревьями. Подоспела пора рыхления сахарной свеклы, но оказалось, что и для стирки самое время. Тетка Фюрес, конечно, объясняет это тем, что слишком много накопилось белья: мужу, мол, даже чистой рубахи нет; на самом же деле она еще просто не решила, пристало ли возиться со свеклой женщине, живущей теперь в барском доме? Эту проблему ей, повидимому, все же придется решить, но можно и обождать, хотя те, кто сознательнее, выходят в поле уже сейчас.

Сахарная свекла взошла на диво хорошо, растет так, что любо смотреть — стоит густо, сплошь, как зеленый ковер газона. Сколько семян, столько кустиков! Ее даже не столько надо мотыжить, сколько прореживать.

Эх, длинен путь от мотыги до сахара!

Сорок хольдов сахарной свеклы — большой клин, даже если окинуть его взглядом. А насколько больше он становится, когда человек выходит на край поля с мотыгой в руке и, согнувшись в три погибели, вонзает мотыгу около каждого кустика! Сколько взмахов, посчитайте-ка! Сколько раз надо опустить и поднять мотыгу, сколько работы пальцам, сколько раз надо распрямить и снова согнуть спину! Сколько ветров тебя обдует, сколько солнечных лучей опалит! Сколько облачков проплывет в вышине над твоей головой!

Бригадир полеводов Лайош Кошут-Киш получил в правлении брошюру. В ней говорится, как надо организовать соревнование при уходе за пропашными культурами. Но написано одно, а на деле получается другое. О каком соревновании может идти речь, если тут сам чорт ногу сломит? Лайош прикидывает и так и этак, но ничего придумать не может. Допустим, разбить бригаду на три звена, выделить каждому свой участок — пусть соревнуются... Нет, ничего не выйдет, здесь, на той части клина, что ближе к дороге, свекла взошла гуще, кустистей, дальше к центру реже, а по ту сторону она и совсем редкая. И опять же, с того края сорняков куда больше, чем с этого. Все это еще куда ни шло, но как разделить парней и девушек на три равные по силе звена? Как равномерно распределить стариков? Опять незадача... Парни и сами-то разные: одному едва стукнуло пятнадцать, другому перевалило за двадцать, один проворней, другой, как вареный рак. Так ничего и не надумав, Лайош пускает всю бригаду сразу по одной линии. Вот и получается, что одни вырвались и уже далеко углубились в поле, а другие — таких, к сожалению, больше — отстали, растянулись и все еще копошатся у дороги.

Эх, нелегко придется кооператорам!

А пока положение таково, что трое девушек — Рожика Шаркези, Эстер Мольнар и Кати Бердеш — далеко опередили остальных. На сердце у них легко и весело. Они движутся быстро, словно треугольник летящих в небе журавлей или диких гусей: в середине, на шаг впереди, Рожика, по бокам — Кати и Эстер. Борозды осенней вспашки разгладила минувшая зима, земля теперь рыхлая, так и рассыпается под пальцами, бодрящим холодком щекочет она босые ступни девушек.

Вдалеке, в селе, словно ствол какого-то гигантского тополя, белеет колокольня; солнечные лучи, танцуя, сбегаются вокруг нее, как бы образуя прозрачную, светлую изгородь. В вышине черной точкой кружит ястреб.

Будто рябь по зеркальной глади озера, на поле набегает ветер и треплет платья девушек. Не видно его, но обнаженные руки и ноги чувствуют его ласковое прикосновение. И в душе поднимается какая-то необычная легкость: человек в поле, и это поле без конца и края точно живет в нем самом. Человек не чувствует тяжести труда, все кажется ему легким, как легко у него на сердце.

Но это состояние быстро проходит. Мотыга как будто становится тяжелее, а земля тверже, словно между ними и человеком возникает какая-то враждебность.

— Ну как, не трудно тебе? — спрашивает Рожика у Эстер и, наклонившись над ее рядом свеклы, быстро-быстро выдергивает лишние кустики. Ей не хочется, чтобы Эстер от нее отстала.

— О, я даже не думала, что это будет так... легко,— отзывается Эстер и выпрямляется во весь рост. Но в эту минуту земля перед ней подергивается красным туманом.

— Работа и впрямь нетрудная, только, конечно, надо привыкнуть.

— Да, да. Я привыкну...

И ее руки, две маленькие руки, закаленные в труде, огрубевшие от стирки, мытья полов и чистки кастрюль на хозяйской кухне, все увереннее и привычнее делают новое для них дело. Эстер чувствует, что весь секрет успеха состоит в том, чтобы как можно меньше делать лишних движений. Когда еще только тянешь руку к ботве, нужно точно знать, какой кустик оставить, а какой выдернуть; когда вонзаешь мотыгу в землю, нужно это делать ровно, так, чтобы одним ударом захватить как можно больше! О, Эстер сразу поняла, как важно экономно расходовать свои силы!

Правда, натирать щеткой паркет или чистить пылесосом ковры — совсем не то, что мотыжить свеклу, но все же сколько сходного и в том и в другом! Время полдника еще не наступило, а ей уже не нужна была помощь Рожики Шаркези. Эстер приноровилась к работе.

Но тем труднее стало потом. Еще не было десяти часов, а она все чаще с надеждой поглядывала на солнце; время от времени земля казалась ей совсем красной, красными становились маленькие кустики свеклы, красной казалась и сорная трава и даже воздух, так что ей приходилось всматриваться словно сквозь густой, клубящийся туман, чтобы увидеть всходы. Красен даже ветер, который так приятно, свежо, до мурашек по коже, обдувает разгоряченное тело. Но все это еще терпимо! Хуже, что Эстер вовсе не чувствует поясницы. Выпрямишься немного, и какая-то неведомая сила тянет тебя вверх, распрямляет во весь рост, нагнешься ниже — что-то давит тебя вниз, к земле. Девушка пробует принять другую позу, но все напрасно. Первая обработка посевов сахарной свеклы имеет свои неписаные, но неумолимые законы.

Эстер окидывает взглядом огромное поле — всюду женщины, мужчины, ребята делают то же, что она. И ей кажется, что все они орудуют мотыгой так легко, словно она ничего и не весит. Ближе всего к ней, справа, мотыжат кукурузу. Впереди всех — Шаркези, он так ловко и проворно орудует мотыгой, словно чертит ею что-то на земле просто так, для забавы. Неужели только ей одной так тяжело?

Нет ни малейшего разнообразия, все одно и то же... Мотыга, земля, свекла, сорняк — здесь гуще, там реже... Все монотонно и

одинаково. Разве только нагретая под лучами солнца земля с ее неведомой до сих пор для Эстер жизнью вносит некоторое разнообразие. Ощупью пробираются на новые места черные муравьи, а большие красные спешат куда-то, но вдруг, остановившись, удивленно поводят усами; черный кузнечик выставит на мгновенье свою головку, быстро, словно украдкой, оглянется по сторонам и так же мгновенно скроется обратно; блестящие, с темной спинкой жуки важно шествуют мимо. Продефилирует один жук, и только несколько спустя за ним следует другой, медленно ползет вверх на земляной ком, затем спускается вниз, в канавку, и исчезает. Ведь для жуков эти комья, что человеку гора.

Однако надо двигаться, надо идти вперед... Человека манит к себе виднеющийся вдали край поля, а в спину его будто подталкивает тот, что остался позади. Так, вероятно, зовет и манит моряков далекая земля и словно подталкивает вперед покинутый ими берег.

Иногда вдруг закружится в голове рой мыслей, всплывут воспоминания о прежней жизни. Что-то из всего этого получится? Будет ли когда-нибудь конец этой свекле?

С тех пор как Эстер поступила к аптекарю, она часто слышала разговоры о механизации сельского хозяйства. И что же? Куда ни посмотри, нигде не видно ни одной машины. Она знает, что где-то неподалеку от села организуется машинно-тракторная станция, но пока от нее кооперативу никакого проку. А потом, если у них есть машины для пахоты, почему бы не завести и машину для рыхления и прореживания?

— Ничего, скоро за нас будет работать машина,— откуда-то сзади доносит ветер обрывок фразы или, скорее, вздох. Там работает какой-то пожилой мужчина. Но для Эстер это плохое утешение. Разве только из этого вздоха можно понять, что и у других поясницу ломит не меньше. А ей теперь кажется, будто поясница совсем отнялась. Эстер хотя и не раздумывает над этим, но чувствует — рыхление сахарной свеклы это, прежде всего, холодная и безжалостная действительность, которая сразу поставит на место всякое сентиментальное создание, и раньше других ее. Правда, она ведь осталась в селе и вступила в кооператив главным образом ради того, чтобы не разлучаться с Андришем. Но сейчас она почему-то думает об Андрише, как о чем-то далеком, кажется, что она не виделась с ним долгие годы. Воспоминания поблекли, отступили куда-то на задний план; ясно только одно — тяжкая работа с утра до полудня настолько лишила ее чувства реальности, что она начинает верить, будто выдержит до вечера.

— Кончай работу, рябятки! Полдничать! — кричит Лайош Кошут-Киш. Как старик ни напрягал силы, все же оказался в числе отстающих. Он втыкает мотыгу в землю, с трудом разгибает спину и глядит на солнце, затем не спеша бредет к своей котомке.

Полевой стан находится в конце свекловичного поля, у откоса плотины. Там длинной колонной выстроились ивы и осины, и ка-

жется, будто они маршируют прямо в село. Кое-где виднеются и редкие вязы, но вид у них такой грустный и хилый, словно им не по вкусу эти края. Под деревьями, здесь и там, на земле лежат котомки; они сложены в кучки, либо это одна семья, либо соседи.

Между тем фигуры работников, пестреющие на поле, уже приближаются к полевому стану. Некоторые из ребят на обратном пути собирают части одежды, сброшенной ими где попало по мере того, как все жарче припекало солнце: кто вязаный жилет, кто куртку, а Пишта Сито даже рубаху. Теперь, подобрав ее, он набрасывает рубаху на плечи, как гусарский ментик, а поношенную куртку волочит за собой по земле, за рукав.

— Ты знаешь... я прямо не живая,— говорит Эстер Рожике и, сев на траву, со смехом откидывается на спину.

— Ай, что ты... так не годится...— шепчет Рожика.

Эстер в испуге вскакивает, оправляет юбку на коленях и оглядывается кругом.

— А так хорошо бы полежать, растянувшись на траве. Ну, что ж, давай перекусим.

— Не надо забывать, что в поле есть свои обычаи, тем более, если мы среди парней,— поучает ее Рожика, развязывает котомку, шарит в ней и расстилает на траве косынку.

На несколько минут воцаряется тишина, усталые тела отдыхают, но вот парни уже поднимают возню, спорят между собой из-за какой-то сковородки; Лайош Кошут-Киш ломает хворост, затем начинает жарить сало. Двое-трое из бригады следуют его примеру, но большинство подкрепляется всухомятку, чем бог послал..

Над отдыхающими кружится сорока, перелетает с дерева на дерево, затем припадает к какой-то ветке и, дернув хвостом раз, другой, третий, вдруг начинает трещать, будто кто-то высыпал с чердака на ступеньки лестницы горсть мелких орешков.

Но что же едят эти люди, члены кооператива «Свобода», в большинстве молодежь, обрабатывая свекловичное поле в конце апреля?

Одна из девушек подкрепляется хлебом в прикуску с сахаром: отломит ломоть хлеба, откусит кусочек сахара; у другой — хлеб, намазанный сверху тонким слоем топленого сала, третья ест хлеб и закусывает орехами. Рядом парень вертит в руках крохотный ломтик сала, вроде и не вприкуску, а вприглядку. И впрямь, не очень-то богатая трапеза. Долгая была зима, ничего не поделаешь.

Коти, пожилой крестьянин — он еще в прошлом году гнул спину на кулака, арендуя у него клочок земли,— жует черствую мамалыгу со свежими свиными шкварками. Свинью он сумел все же откормить и заколоть, но хлеба в доме уже нет. Коти щурится, морщится, закрывает то один, то другой глаз, с остервенением вгрызаясь в мамалыгу. Видимо, не по вкусу ему такая еда.

— Отведай-ка! — говорит он расположившейся по соседству

жене Йошки Папа.— Ела ты что-нибудь хуже этой дряни в своей жизни или нет?

— И в самом деле,— попробовав, говорит она и растерянно смотрит на Коти. Старик встает, заворачивает остатки шкварок в бумагу и с силой швыряет об ствол осины. Пишта Сито вскакивает, сквозь густую траву пробирается к осине и, нагнувшись, ищет рассыпавшиеся шкварки. Найдя, сдувает с них пыль и с аппетитом ест. Видать, они ему пришлись по вкусу.

А Коти дожевывает свою мамалыгу, с такой злобой глядя на зеленеющую даль, будто все травинки на лугах и полях его заклятые враги.

Молодежь зубоскалит, хохочет, лица раскраснелись, от усталости не осталось и следа. Эстер Мольнар тоже начинает приходить в себя; боль в пояснице утихает, и с каждым ударом сердца она все острее ощущает дыхание полей, цвет травы, шелест деревьев, ласку игривого ветерка. К ней толпой плывут воспоминания. Что-то невыразимо прекрасное, поистине волшебное есть в этом колеблющемся желтом пламени костра среди изумрудной травы, в этом словно наполненном серебряным звоном безграничном просторе неба.

Она испытывает небывалый прилив сил; ее воля непоколебима, она уверена, что теперь уже непременно сумеет побороть непривычную усталость, все трудности и невзгоды, все, все! Утром ей казалось, что Андриш ушел далеко, а теперь она видит, что ошиблась.

Как она, секретарь молодежной организации, может отступить, сложить оружие перед обыкновенной физической усталостью?

— Ничего, не бойся! — словно угадав ее мысль, тихо шепчет Кати.— После обеда дело пойдет легче, завтра еще легче, послезавтра еще... а там и вовсе не станешь уставать.

И хотя предсказание девушки не совсем оправдалось, на другой день Эстер чувствовала себя действительно лучше, на третий — еще лучше; понемногу дело у нее наладилось, словно она всю жизнь трудилась в поле. Эстер начала понимать смысл того, что делает, яснее представлять себе связи одного явления с другим. Она даже похорошела на этом свекловичном поле. А маленькие, сиротливые кустики, которые сначала было приуныли, через несколько дней оправились, посвежели, налились соком и яркой зеленью, потому что земля вокруг стала такой чистой, будто на ней никогда и не росли сорняки. Разумеется, там, где поработали добросовестные и заботливые руки.

Сорок хольдов сахарной свеклы — не шуточное дело! Раньше никому не приходило в голову закреплять участки за каждым членом бригады в отдельности, но теперь уже ясно, что так и надо делать. Тогда каждый получит столько, сколько выработал. Что ж, опыт нынешнего лета будет использован в будущем году.

Взошла и кукуруза. Сначала показались из земли лишь маленькие раздвоенные стебельки с зелеными листиками, но затем

быстро пошли в рост. Здесь не обойтись без рыхления. Конечно, это намного легче, чем мотыжить свеклу. Тут можно пройтись конным культиватором.

Однако глазеть по сторонам не приходится — некогда. Надо работать на совесть. И люди и кони трудятся вовсю. А тут еще к десятому мая потянулся к солнцу и хлопок! Двадцать хольдов хлопка, боже праведный!

Хоть и сеяли хлопок на сорок сантиметров между рядами, казалось, следовало бы пройтись конным культиватором, но хлопок — растение такое нежное, что пока никто не осмеливается даже заикнуться об этом.

А время не ждет. Вскоре всем становится ясно, что если они немедленно не закончат первое рыхление свеклы, то опоздают с кукурузой, прозевают и хлопок, и подсолнух. Уже третий раз заседает правление, стараясь найти выход из создавшегося положения.

А тут новая беда: Лайош Кошут-Киш докладывает, что свеклу пожирает свекловичная блоха.

3

Сколько врагов у кооператива «Свобода»! И подземных, и наземных.

Пробежал слушок, и все село снова зашевелилось, зашепталось о том, что вот, мол, кооперативную сахарную свеклу глушат сорняки, часть клина под свеклой даже еще и не рыхлили. И свекла, мол, заросла так, что ее не видать. На самом же деле не видать ее только на одном участке в шестнадцать хольдов, что по соседству с пшеничным клином, и то потому, что там, собственно говоря, сеяли кукурузу, а она не взошла и участок зарос сорняками. Сельчанам это неизвестно, а враги делают свое дело. Правление собиралось было перепахать этот клин и заново засеять кукурузой, но с этим не управились во-время. Затем решили отвести его под скороспелую кукурузу-стодневку — для нее время еще терпит. Поэтому кооператоров мало тревожит то, что, проезжая мимо, на этом участке сельчане видят только буйные заросли весенних сорняков — васильков, куколи, дикого мака, овсюга и прочей нечисти... То ли еще может быть, когда из земли полезут летние сорняки!

Конечно, сельчане признают, что кукурузу кооператоры уже разок прорыхлили, но когда они успеют провести второе рыхление? После дождика в четверг? А хлопок? С хлопком у них и вовсе дела плохи!

— Если ждать, покуда из ихнего хлопка полотно будет, пожалуй, без штанов останешься,— говорит Карой Жила в сельской кузнице, где он подковывает свою лошадь.

Карой никак не может избавиться от своей страсти барышника. Ему больше ничего и не надо, как подобрать пару добрых коней, но теперь это не так-то просто.

— Это ты зря! — возражает Тарнок.— Вырастет, даже если прополки и не будет, поверь мне. Когда я был в плену, довелось мне видеть там такой хлопок!..— Нет на свете темы, чтобы у Тарнока не нашлось подстать ей подходящей истории. Вот и сейчас он непрочь кое-что рассказать, но Кароя это мало занимает. Интереснее, что скажет кузнец, а тот, по обыкновению, бубнит себе под нос так, что ничего не разберешь.

— Если не будет дождя, что бы они там ни затевали, а голод разгонит их на все четыре стороны, весь их кооператив прахом пойдет!..— заключает за него Карой.

Да, второй главный враг кооператива «Свобода» — это засуха. Зимой было много снегу и дождей, и в начале апреля выдался один обильный дождь, но с тех пор — ничего. А в такую сушь быстро плодится всякая нечисть: черви, блохи, жуки. На нежные листики сахарной свеклы накинулись полчища свекловичных блох; вначале на листочках появились мелкие дырочки, их становилось все больше и больше, лист стал похожим на решето, а потом и вовсе на какие-то изъеденные лохмотья. Внизу же, в почве, толстые белые черви с красной головкой продолжали грызть еще молодые корешки свеклы.

Или, может, такая напасть приключилась только на кооперативном поле? Нет, ничуть не бывало. Но у крестьян-единоличников участки под свеклой крохотные, и хозяева, заметив, что ботва начинает вянуть и клониться к земле, без конца возятся со свеклой. А попробуйте-ка это сделать на сорока хольдах! Их можно только пересеять заново или, по крайней мере, пройтись культиватором. Впрочем, пока не так-то уж много поедено блохами и червями. Но дело может обернуться куда хуже, если не выпадет проливной дождь или кооператоры что-нибудь не придумают.

Вот почему и заседает правление в полном составе вместе с бригадирами — полеводами и животноводами. Здесь же и представители молодежной бригады.

— Нам нужен агроном, который взял бы все это на себя,— горячится Бердеш, косо посматривая на Шаркези; еще месяц назад он говорил ему об этом.

— Если мы будем просить, дядюшка Бердеш... агронома нам дадут. Нас ценят и пойдут навстречу. Что вы скажете, товарищи? — Но все молчат, и Шаркези продолжает.— Какой толк от агронома, если не будет дождя, если мы не сможем закончить во-время рыхление, если не сумеем организовать соревнование, если червь попрежнему будет жрать свеклу, если мы не сможем привлечь к работе женщин, если... Нет, товарищи, один агроном ничего не сделает,— с некоторой досадой говорит Шаркези и тяжело вздыхает. Ответственность все тяжелей наваливается на его плечи. Ведь он должен был заранее предвидеть, какая это непосильная задача — сразу освоить все восемьсот шестьдесят хольдов земли. Но, с другой стороны, если начинать с оглядкой,

потихоньку да помаленьку, то пройдут годы, прежде чем кооператив докажет селу преимущества коллективного хозяйства.

— С блохами я управлюсь! — восклицает старый Бири.

— Что такое, дядюшка Михай? — вскидывает голову Бердеш.

— Про блох говорю. Уж я их выведу, дайте только мне в помощь пару мужиков, или женщин, или девиц, мне все равно, кого.

Все взгляды устремляются на старика. Вывести такую пропасть блох? Что он собирается предпринять? Но многие вспоминают, что еще при помещике бывало, вот этак, весной, по засаженным сахарной свеклой участкам возили взад и вперед густо обмазанную дегтем доску на колесиках. Может, старый Бири и затевает что-нибудь в этом роде?

— Но как? Доска с дегтем? — любопытствует Бердеш.

— Она самая. Даже колеса не нужны. Прицепим к концу две постромки, протащим по земле туда и обратно, потом еще... Уж поручите это дело мне.

— Отлично. Может, в самом деле что получится... Двух человек придется снять с мотыжения, ну да ладно. А что нам делать с червями? Ведь они, твари, в земле, истребить их трудней... Нельзя ли что-нибудь и тут придумать, товарищи? — с тревогой спрашивает Шаркези.

Увы, насчет борьбы с червями опыта ни у кого нет, разве только у Йошки Папа или у Сито: они кое-что знают.

Перекопать все поле еще раз и поскорей! Переворошить, взрыхлить землю так, чтобы выгнать червя наружу да придавить его, подлюгу, мотыгой! Другого выхода нет,— так полагают оба.

— Выходит, не успели мы как следует провести первое рыхление, как пора начинать второе?

— Выходит, так... Если не хотим запахать весь участок и заново сеять...

— Но ведь у нас еще и кукуруза, и хлопок, и подсолнух, и турнепс...

— Ну что ж? И их надо мотыжить.

Говорят все, каждому хочется высказать свое мнение. Кое-кто заикается о том, что все это зря — кооперативу с такой махиной не справиться. Особенно старается Бени Гуяш.

— Раньше нужно было заботиться, дорогие товарищи! О чем раньше думали?

Шаркези встает и начинает ходить из угла в угол. Он понимает, что если об этом прямо и не говорят, то в создавшемся положении мысленно обвиняют его. Ведь надо же на кого-то свалить вину.

— Давайте, товарищи, поговорим откровенно, напрямик,— негромко говорит Шаркези.— Кто при размежевании настаивал, чтобы мы взяли восемьсот шестьдесят хольдов? Я. А кто настаивал на том, чтобы четыреста хольдов засеять пшеницей, потому что ее не нужно мотыжить? Опять же я. Но я предполагал, что

к весне в нашем кооперативе будет уже, по крайней мере, восемьдесят семей. Будь так, мы бы и горя не знали. Но даже и теперь мы бы справились, если бы все члены семей, все женщины как одна вышли в поле. Но они не вышли! Посмотрите учетную книгу: мало найдется женщин, которые работали в поле больше трех дней кряду. В этом наша главная беда. Перед нами два выхода: либо сложить оружие, предоставить все на волю случая, и тогда дело наше пойдет прахом, либо собрать все свои силы, выправить положение, во-время закончить полевые работы, и тогда осенью деньги потекут к нам рекой. Да, товарищи, именно потекут!

Все молчат. Балаж Фюрес глотает слюну. Шутка ли сказать, столько денег!

— Все это, брат, правильно. Об этом мы и сами говорим. И кто поразумнее, верит, что так оно и будет. Но что поделаешь: люди у нас еще оборванные, с харчами тоже плохо. Вот на днях Коти ахнул о дерево свиные шкварки; не лезут они в глотку с мамалыгой! Я раньше не верил, а попробовал — и вправду, не лезут.

— Так получилось, потому что Коти католик, по пятницам у них пост, им скоромного нельзя! — возражает Бенце.

— Попы им вконец задурили голову, это факт! — присоединяется к нему Балаж Фюрес.

— Бросьте дурака валять. Коти теперь член кооператива «Свобода»!

— Нашим людям не поповские проповеди нужны, а авансы в счет трудодней, да побольше!

— Мы не можем каждый день выдавать авансы. Из чего? Покажи-ка расходную книгу,— обращается Шаркези к Сито.

Тот отпирает несгораемый шкаф, достает толстую бухгалтерскую книгу и кладет ее на стол перед секретарем парторганизации. Шаркези раскрывает ее и перелистывает.

— Не в том дело, что мы не выдаем авансов, сколько могли бы, а в том, что многие пришли в кооператив чуть ли не нищими. И сейчас нужно бы помочь им деньгами, зарядить их, как заряжают электричеством аккумуляторы. Но сделать этого мы сейчас не можем — не из чего; у нас пока только расходы да расходы, а доходов кот наплакал. И потом нельзя забывать, что если члены кооператива наперед по мелочам растратят весь свой заработок, то осенью при расчете им и получать будет нечего, а тогда понадобится и одежда, и обувь, и хлеб — зима-то будет не за горами. Вот посмотрите хотя бы личный счет старого Коти. Он выработал сорок трудодней да сын двадцать восемь, а в счет аванса они получили... четыреста пятьдесят форинтов.

— За эти деньги они купили кабана на девяносто пять килограммов,— кивком подтверждает Лайош Кошут-Киш.

— Конечно, теперь Коти может швыряться шкварками! Но шутки в сторону, товарищи, не до них!

Шаркези охватывает какое-то горькое чувство, а отчего, он и сам не знает. Допущена какая-то ошибка, что-то сделано не так,

но что именно? Руководство кооператива не в состоянии прочно держать бразды правления, а партийная группа не стала той твердой, сильной рукой, которая где нужно и приласкает, а где нужно поставит человека на место. Она не может поддерживать дисциплину, потому что — и это прискорбнее всего — сами коммунисты еще не являются примером для других. Но почему так происходит? Вот этого-то Шаркези и не может понять. Взгляд его цепенеет, лицо делается словно каменным, от щек отливает кровь. Он слышит слова жены, чувствует ее ласку, но все это почему-то кажется ему далеким и неясным.

— Имре, что с тобой?.. Побереги себя...— Рожи проводит рукой по его костлявому плечу, прикасается к исхудавшей щеке мужа, к рукам, словно состоящим из одних сухожилий, и огорченно вздыхает.

А Шаркези эти теплые, нежные слова удручают еще больше. От ласки жены он только острее чувствует свою усталость, тяжесть дня, проведенного в непрерывном труде. И парторганизация, и кооператив,— он разрывается на части и не может отдать себя целиком ни партийной организации, ни кооперативу. Сито не сумел добиться того, чтобы партийная группа стала ядром кооператива, каким она и должна быть, а он, Шаркези, не смог приблизить партийную организацию к кооперативу, хотя и обязан был это сделать... Где выход, как помочь делу?

Надо укрепить партгруппу, влить в нее новые, свежие силы. Если сильна партийная организация, крепок и кооператив.

Хорошо бы это обсудить с Кульчаром. Но только... у Шаркези внезапно мелькает мысль, что если он будет обращаться к Кульчару по каждому поводу, то это признак не только беспомощности, но и трусости.

Можно подумать, что он хочет взвалить на Кульчара тяжесть, которую должен поднять сам. Нет, нет, к Кульчару он не пойдет! Позже он сообщит о результатах, которых добьется сам, своими силами.

Мысли несутся одна за другой, словно бурная река, оставляющая за собой следы на прибрежных откосах, кустах, деревьях. Шаркези снова силен, его голос тверд.

— Сколько вы еще будете заседать, товарищи?

— До тех пор, пока что-нибудь не придумаем.

— Членов партии прошу не расходиться, пока я не вернусь,— решительно говорит Шаркези и быстро уходит, не сказав даже, куда идет.

Девятый час, для ранней весны время позднее, в окнах домов гаснет свет, кое-где уже запираются на ночь калитки. Хозяева говорят: «Побережем себя, завтра тоже день будет»... А Шаркези все идет.

Он идет, подобно тем героям из сказки, которые шли искать по свету родник с живой водой. И никто из них не вернулся домой с пустыми руками, а ведь возвратились все до единого. Неужели

ему будет меньше удачи, чем этим сказочным путешественникам? Это сразу станет ясно, как только он доберется до дома Яноша Форраша.

Янош Форраш живет на Большой улице; его старая, низенькая хибарка, крытая камышом, приютилась среди больших домов. Прогнувшуюся, почерневшую главную балку подпирают грубо отесанные бревна — это крыльцо. Шаркези, постучав, входит. Дверь еще не на запоре, но сам Форраш уже собирается на боковую; он сидит на лавке и стаскивает сапоги. Жена его просеивает муку в поставленной на козлы деревянной бадье, собираясь замесить тесто — завтра на рассвете надо печь хлеб. Она в белой нижней кофте и в юбке. Их взрослый сын сидит на табурете, на голове шапка, он курит. Постукивает сито, комната полна мелкой мучной пыли, похожей на туман, дымок от сигареты вьется к потолку.

— Сабадшаг!

— Сабадшаг, товарищ Шаркези! Что скажешь хорошего? Садись, гостем будешь! — отвечает хозяин и подвигается на скамье.

— Хорошего? Ничего, скорее напротив... Отгадайте, зачем я к вам пришел.

Форраш в раздумье сует руку в голенище и расправляет сапог. Всякий раз, встречаясь с Шаркези, он чувствует какое-то угрызение совести. Один вид секретаря бередит душу Форраша. Словно Шаркези делает большое, трудное дело, а он, Форраш, в это время отсиживается в кустах.

— Уж не стряслось ли что-нибудь в кооперативе?

— Нет, пока беды нет! Точнее, есть, да только в том, что вы, дядюшка Форраш, все еще не среди нас. Земли у нас много, урожай хоть куда, а людей не хватает. Когда мы начинаем агитировать крестьян, нам говорят: будь ваш кооператив хорош, он был бы хорош и для Яноша Форраша. А он, видите, не вступает, значит, не считает его таким.

— Я ведь тебе объяснял, товарищ Шаркези. Не вступаю из-за своих стариков...

— Лучше не повторяйте, ведь я знаю, что это неправда. Вы и сами не хуже меня понимаете, что наш кооператив уже настолько окреп, что может обеспечить и нескольких стариков. Взять хотя бы фруктовый сад, который отдал нам Йошка Пап. Там и для стариков нашлось бы дело, только нет их у нас.

Итак, лазеек больше нет, отговариваться, ссылаясь на стариков, дальше нельзя.

— Спасибо за прямоту, товарищ Шаркези. Если так, и я скажу прямо... Мне просто не хотелось отдавать свой клочок земли.

Шаркези с минуту молчит, затем говорит твердо и резко:

— Вы коммунист, товарищ Форраш?

— Верно.

— Странный коммунист тот, кто, с одной стороны, не прочь погреться под крылышком у партии, а с другой — ничего не хочет

делать, чтобы помочь ей, выжидая, пока другие вытащат для него каштаны из огня. Вы понимаете, что это значит?

— Думаешь, я боюсь? Трушу? — не глядя на Шаркези, спрашивает Форраш.

— Выходит так, дядюшка Янош, по крайней мере, до сих пор так было. А вы нужны в кооперативе, очень нужны,— особенно подчеркивает Шаркези.

Форраш нервными движениями снова обматывает ноги портянками, надевает сапоги и встает. В руке у жены на миг замирает мешалка, которой она размешивает тесто, но она молчит. Форраш быстро, словно боясь, что жена вмешается, решает:

— Идем! — И торопливо направляется к двери. У Шаркези отлегло от сердца. Теперь ему хочется сказать Форрашу что-нибудь ласковое, и он говорит:

— Там у нас в саду есть и опрыскиватель, и лестницы, и кадушки, словом, все, что нужно. Йошка Пап пристроит твоих стариков...

Вот и правление кооператива. Внутри — дым коромыслом, шум такой, что слышно на улице.

— Вывести все село на общественные работы, и свекла спасена! — громовым голосом предлагает Балаж Фюрес.

— Все равно блохи пожрут! — кричит Карой Ханадь.

— Я сказал вам, что блох истреблю! — стучит кулаком по столу старый Бири.

В эту минуту распахивается дверь, на пороге — Янош Форраш, за ним Шаркези.

— Сабадшаг!..

Мгновенно наступает тишина, и все взгляды устремляются на вошедших. Шаркези направляется к своему месту, но не садится, а только расправляет плечи. На его сухом обветренном лице краснеют выступающие скулы, глаза горят.

— Товарищи, только что в кооператив решил вступить Янош Форраш. Нашего полку прибыло; партгруппа получила еще одного старого члена партии. Надеюсь, его пример повлияет и на других коммунистов села. А сейчас, товарищи, за работу, время не ждет, дел у нас по горло. Мы отстаем. Спрашивается, почему? Да потому, что до сих пор не сумели организовать соревнование и не добились того, чтобы все женщины вышли в поле. Предлагаю контору временно закрыть, в крайнем случае, оставить одного дежурного у телефона. Далее — всех, без кого можно обойтись на других участках, всех членов семей мобилизовать на работу в поле. Молодежь будет работать отдельной бригадой, внутри бригады разбить людей по звеньям. Рожи Шаркези! Как у вас дело с кирпичом? — обращается он к Рожи, словно забыв о том, что она его жена.

— Первую печь заложили, начинаем закладку второй.

— Оставьте у печей двух человек, остальных с завтрашнего утра направить в поле!

— Только двоих? Как можно? Оставить всего двоих с этим Цинцером!.. Если он начнет обжиг сильным огнем, все пропало, вся печь пойдет прахом... Или слишком рано замажет...

— До того времени ты останешься там сама...

— Но Цинцер...

— Что Цинцер? И его в поле, мотыгу в руки и за дело!

— Но ведь Цинцер все-таки мастер, и он...

— Нет здесь никаких мастеров, а есть кукуруза, сахарная свекла и хлопок. Сорок форинтов в день он получает? Не захочет взять мотыгу, не будет сорока форинтов. Да, еще Шари Фейер! Где Шари Фейер?

Хлопает дверь — очевидно, кто-то побежал за Шари, и, пока Шаркези успевает раскурить сигарету, она уже стоит на пороге, испуганная, со всклокоченными волосами. На плечах второпях наброшенный на ночную сорочку халат, она старается поплотнее его запахнуть.

— Сабадшаг!..

— Прошу слушать внимательно. Завтра с утра контора закрывается, уборки в конторе тоже никакой. Вы и товарищ Тержек-Виг будете работать в поле. С утра, с восходом солнца, явитесь к бригадиру Лайошу Кошут-Кишу.

— Но как же?.. У нас даже мотыги нет,— бормочет перепуганная Шари.

Шаркези, не слушая, отмахивается и ищет глазами еще кого-то.

— Эстер Мольнар! Где Эстер Мольнар?

Эстер сидит сзади в углу. Она быстро встает, но вся дрожит, как осиновый лист.

— Почему до сих пор не организовано соревнование?

— Мы с Пиштой Бенце хотели было, но...

— Хотели! Хотеть мало, надо действовать. Отвечаешь за это лично ты. Завтра, с самого утра, проведешь летучку с членами ДИСа, прямо на месте, в поле! Бежи Кадар, где ты, Кадар?

Бежи Кадар встает рядом с Эстер Мольнар.

— Ты пойдешь с женщинами, организуешь женское звено. Объявишь, что каждая из них должна выработать не меньше тридцати трудодней. Ясно?

— Я-то не испугаюсь, но...

— Если ты не испугаешься, и другие тоже.

— Летучку мы соберем, но что на ней делать? — спрашивает Эстер Мольнар.

— Что делать? Разобьете бригаду на два звена, организуете между ними соревнование, а внутри каждого звена — индивидуальное. И, наконец, вызовете на соревнование звенья взрослых. То, что у вас разные виды работы, не беда. Итоги будете подводить по процентному выполнению нормы...— Шаркези и сам ощущает в себе небывалый прилив бодрости, он словно река, которая, прорвав плотину, с шумом вливается в море.

Форраш молча стоит позади всех и, не отрываясь, смотрит на

Шаркези. Какая огромная сила в этих людях! И у него вдруг словно открываются глаза — да, его место здесь, среди них, и уже давно.

Стрелки часов показывают начало двенадцатого. Лампа под потолком начинает коптить. В небе мерцают миллионы звезд, и под ними, словно не находя себе места, бродит густой мрак.

Где-то у околицы уже пропел первый петух, за ним второй, третий, проходит еще две-три минуты, и разноголосый петушиный хор раздирает тишину ночи.

4

Лайош Кошут-Киш провел беспокойную ночь. Лег он необычно поздно, и ему все казалось, будто он не на кровати, а где-то в открытом море, и волны швыряют его с гребня на гребень. Он то погружался в пучину — в сон, то снова выплывал на поверхность — просыпался.

С тех пор как Лайош стал членом кооператива, он все время будто бродит во сне. Он видит вокруг себя кипение жизни, слышит разговоры, иной раз и сам вставляет слово, но слово это идет не от сердца, а от ума. Если бы не совесть, и вовсе промолчал бы.

Он не знает, почему, но вокруг него постоянно точно витает облачко грусти, ему недостает самых, казалось бы, крохотных мелочей: выйти поутру в поле, взглянуть на собственный участок, на зреющие посевы, пустить воду через канаву или углубить межу. Часто, выходя с бригадой на работу, он останавливается и смотрит на широкое кооперативное поле, стараясь отыскать, где же затерялся его, Лайоша, клочок земли, но не находит. И он напоминает себе человека, который ищет иглу, затерявшуюся в стоге сена. Хоть и хорошо коллективное хозяйство, ничего не скажешь, дивно пшеничное море на четыреста хольдов, а все же — не то, не *его* оно, а *наше*. А его участочек растворился в этом четырехсотхольдовом массиве, растаял в нем и будто не только на поверхности земли, но и в ее недрах. Подобное чувство испытывал Лайош, когда вышла замуж его дочь, и во второй раз, когда уродилась у него богатая пшеница; он любовался ею целыми днями, но пшеница созрела и пришлось ее скосить. Была диво-пшеница, скосили, и нет ее. Была красавица-дочь, ушла, и ее нет...

И вот сегодня сон вдруг пропал. Сейчас ему кажется, что всю жизнь он больше не уснет. Он поднимает голову с подушки и вглядывается в темноту за окном.

Неотступно перед глазами его маленький участок земли. И вот он вдруг начинает расти, заполняет собой всю округу, вытягивается до горизонта, где земля смыкается с небом. Как из крошечного семени вызревают растения, цветы, деревья, так и из его четырех хольдов выросли четыреста кооперативных. Мал жолудь, а какой могучий из него поднимается дуб! Все семена малы, дыни ли, люцерны — все равно. Его клочок земли вместе с другими был именно таким семенем, но только сейчас, впервые за все

время с того дня, как он вступил в кооператив, Лайош Кошут-Киш увидел свой участок в необозримом море кооперативных полей.

И не только свою землю видит он среди полей, а и себя самого среди других кооператоров. Да, он не принимал близко к сердцу дел своей полеводческой бригады, относился с прохладцей к собраниям партийной организации, вот и обрушилось сразу столько бед. А Шаркези достаточно было сказать твердое, решительное слово, и результат налицо...

В поле нет еще ни единой души, а Лайош Кошут-Киш уже стоит у околицы на мосту перед статуей святого Яноша Непомуки.

Первым является Кеньереш. Он негромко здоровается, подходит ближе, затем, свернув цыгарку, закуривает и, повернувшись лицом к востоку, смотрит на разгорающуюся зарю.

Маленькими группками, весело, с шумом и гамом подходят и остальные, молодежь затягивает песню. Выкатившееся из-за горизонта солнце уже облокотилось на гребни дальних холмов, словно приветливый, с ясным лицом старик — на заборчик сада. Лайош Кошут-Киш оглядывает свою многочисленную бригаду, затем становится в голове нестройной колонны и направляется в поле.

Вот и свекловичный клин. Девушки и парни, весело перекликаясь, собираются в кучку, топчутся в ожиданье, им не терпится начать работу. Капли росы поблескивают всюду — на траве, на маленьких листочках свеклы, сверкают миллионами жемчужин.

— Не толпитесь, становитесь в ряд, товарищи! В одну шеренгу! — восклицает Эстер Мольнар. Молодежь впервые слышит в ее голосе решительные, командирские нотки. Ничего не поделаешь, надо подчиняться,— и ребята выстраиваются в шеренгу. Они уже кое о чем догадываются, знают, что вчера вечером состоялось партийное собрание, что в кооператив вступил Янош Форраш и что, начиная с сегодняшнего дня все пойдет по-другому. Поэтому они и сами стараются держаться иначе, чем вчера. Они строятся по росту, каждый быстро становится на свое место, один только культорг Пишта Сито не находит, куда приткнуться — ростом он мал, а рангом высок; но вот и он вклинивается в середину шеренги. Эстер Мольнар выходит на несколько шагов вперед и пересчитывает собравшихся.

— Двадцать восемь! — громко говорит она.— Итак, первые четырнадцать человек — это первое звено, отсюда,— она разделяет шеренгу надвое,— будет второе звено...— и внимательно оглядывает каждое звено. В первом оказывается Кати Бердеш и Рожика Шаркези, во втором — Лаци Бердеш и Пишта Бенце. К которому же примкнуть ей самой? Первое звено сильнее, это видно сразу, в него попали две самые работящие девушки, но во втором — Лаци, а ей не хочется оказаться вместе с ним. Но если пойти в первое, каждый может бросить ей упрек в несправедливости.

— Я пойду со вторым звеном. Пусть на одного человека у них будет больше, неважно, потом учтем. Итак, еще два слова о соревновании... Какое звено больше и лучше выполнит работу, то и получит больше трудодней. Это раз... Во-вторых, мы вызовем на соревнование звено нашего председателя, которое работает сейчас на кукурузе. Победителю слава, побежденному смерть! — смеется Эстер, но тут же спохватывается, видя, что остальные непрочь позубоскалить. Она, как никогда, чувствует прилив сил, затем вдруг ей приходит мысль, что неплохо бы сказать речь. Она даже знает какую, но, заметив едущего по направлению к ним на велосипеде Шаркези, сразу отказывается от этого.

— Начали! — отдает она команду, сама продолжая поглядывать на приближающегося Шаркези.

— Что это вы? Загорать собрались? — подъехав, восклицает секретарь и спрыгивает с седла.

— Живей, живей! — торопит Эстер. Молодежь, подхватив свои мотыги, углубляется в поле, каждое звено двумя цепочками.

Разумеется, сорняков после первой прополки стало куда меньше; они боязливо, едва заметно подымают голову лишь там, где раньше прошлась нерадивая рука. Полоть почти не приходится, прореживать тоже, и если только не жалеть рук и мотыги, работа подвигается быстро. Каждый исподтишка поглядывает на соседа: впереди он или отстал. Молодежь хорошо знает, что такое соревнование; уже в раннем детстве они спорили — кто кого обгонит, кто скорее съест, кто раньше встанет, и так во всем, во всех «важных» делах, которых так много в детстве. Позднее узнали они и соревнование в работе, на полевой страде, когда надвигался дождь или сохла под палящими лучами солнца трава во время сенокоса, а иной раз, когда хозяйскому приказчику удавалось подзадорить их ловким словцом. Но сейчас слово «соревнование» звучит для них совсем по-другому, по-новому. Им словно передалась искорка от вчерашней вспышки энтузиазма у Шаркези и всего правления. Кажется, будто вдруг прорвавшийся у Шаркези гнев, его сила и воля, заполняют собой все вокруг. Они идут и идут вперед. А Шаркези все еще стоит со своим велосипедом у края дороги, к раме машины привязана мотыга. Но вот он садится в седло и быстро катит дальше, к кукурузному полю.

Подъехав, секретарь соскакивает с велосипеда, отвязывает мотыгу и, пристроившись с краю в ряд, берется за дело. Изредка, разогнувшись, он посматривает вперед, где виднеется полотняная рубаха Бердеша.

Со стороны усадьбы Кельчеи приближаются трое: старый Бири, жена Балажа Фюреса и маленькая Шерфезе. Они несут длинную, метра в три, широкую черную доску, ухватив ее с обеих сторон. На ее гладкой поверхности играют солнечные блики.

У Бири в руке старое жестяное ведро, доверху полное жидким варом. Интересно, где он его раздобыл? А очень просто: в восьми

километрах отсюда проходит асфальтированное шоссе, сейчас оно ремонтируется. Есть там и гудрон, и вар. Сразу же после ночного собрания Бири отправился туда на велосипеде и достал, точнее стащил, большущий кусок вара, килограммов в двадцать пять — тридцать. Затем, растопив его в котле, разбавил бензином. Нынче погода жаркая: он не застынет. Теперь доска обмазана толстым слоем этого снадобья. На концах — две ручки из проволоки, и женщины, ухватившись за них, несут доску.

Вот они остановились на дороге, у края свекловичного поля. Бири объясняет женщинам, что надо делать, привязывает к середине доски тонкую бечевку, конец ее берет в руки и командует:

— Пошли!

Женщины, потоптавшись на месте (и чего только человеку не приходится делать!), нерешительно двигаются вперед, вглубь поля. Но вскоре движения их становятся увереннее, они меньше раскачивают доску на ходу и все ровнее ведут ее за собой на высоте двух-трех сантиметров над кустиками свеклы.

Нет, не так! Стоит им опустить доску немного ниже, чем следует, и она мнет еще слабую ботву, а поднять повыше — блохи на нее не прыгают, думают, просто мелькнула над ними тень. Но какой Бири механик, если бы он не нашелся и в этом случае? Неплохо бы приделать к доске небольшие колесики, только где же их найдешь? Но не беда, доску можно поставить на полозья, вроде саней, а полозья легко смастерить из обрезков любой доски. Любо-дорого, даже лучше колес! Полозья будут скрипеть, скрести по земле, а тут еще впереди две бабы, так они всех блох всполошат.

Итак, надо сбегать в усадьбу за досками, принести молоток, гвозди, пилу. Далековато только... Хорошо, что кое у кого из ребят есть велосипеды.

— Не бойся, сейчас вернусь! — успокаивает Бири владельца велосипеда, и когда тот что-то кричит ему вдогонку, он уже вовсю нажимает на педали.

В хозяйстве у помещиков бывали такие блохоловки и раньше, только на тачечных колесиках, но Бири уверен, что его аппарат окажется лучше и надежней. Большое дело, когда человек может проявить свою сметку! Как все это отличается от возни с паровиком. Вот уж глупая штука локомобиль, глупей не выдумаешь! Знай, пыхтит да ползет по своей дорожке, и дела-то с ним всего — продуть топку да спустить воду. Совсем другое — работать в поле: тут надо поворачиваться живей. Хочешь не хочешь, а научишься уму-разуму.

А женщины битый час сидят на обочине дороги, от нечего делать дергают травинки и без умолку тараторят. Такие попались кумушки, хоть пришей им языки, не перестанут. Обе любят поболтать, у обеих пропасть новостей, и каждая едва дождется, пока закончит другая.

Все сооружение Бири состоит из двух брусков сантиметров по десять толщиной; концы у них затесаны, а сверху, поперек — обмазанная варом доска; она укреплена чуть с наклоном. Раз, два — и аппарат собран, готов к действию.

— Ну, тронулись, бабоньки! — говорит Бири, и женщины двигаются вперед, таща за собой импровизированные сани. Полозья со скрипом волочатся по земле, подымая пыль. Спугнутые с земли и с листьев ботвы свекловичные блохи сперва подпрыгивают на добрых двадцать-тридцать сантиметров, затем, описав полукруг, отскакивают назад, прямехонько на клейкую доску. Стоп, теперь не уйдешь! Почему блоха скачет не вперед или в сторону, а только назад, на верную смерть? Кто знает! Видимо, они думают, что можно перехитрить человека, но где им! Черный аппарат тут как тут.

— Ишь, дьяволы, чтоб вас разорвало!..— бурчит себе под нос Бири. Он большими шагами шествует за своим аппаратом и не спускает глаз с доски, на которую, словно мелкий дождик, так и сыплются блохи.

— А ну, посторонись! — покрикивает он на встречных ребят, орудующих мотыгой. Те дают дорогу и с удивлением провожают глазами аппарат Бири с массой бьющихся, старающихся оторваться от доски блох. Некоторые делают отчаянные попытки спастись, но напрасно. Теперь уже им ничего не поможет.

После первого захода приходится остановиться, счистить с доски черную массу вместе с толстым слоем прилипших насекомых и снова обмазать доску. «Вагон свеклы есть!» — думает Бири, и ему очень хочется, чтобы все — и Шаркези, и Бердеш, и все правление — пришли сейчас сюда и полюбовались, какую штуку он изобрел.

И он прав — это действительно большое дело. Ведь «блошиный аппарат» дядюшки Бири — первое изобретение в истории кооператива «Свобода». А сколько их еще будет впереди! Но об этом люди пока не знают.

Точно так же, как не знают они о том, что благодаря вторичному рыхлению свеклы они не только начисто истребили всех белых, с красной головкой червей — стало быть, ущерб будет самый ничтожный,— но и спасли свеклу от засухи. Пока что они знают только, что прополка и рыхление идут настолько успешно, что на третий день в молодежной бригаде разгорелся спор о том, не повысить ли дневную норму.

Эстер Мольнар доказывала, что это, конечно, неплохо, но обязательно повлечет за собой пересмотр всех остальных норм, потому что соревнование началось на их основе, а поэтому... Неглупая она девушка, сразу же попыталась как-то связать свои первые наблюдения и непосредственные впечатления с действительностью, с работой в поле, и вот она теперь уже знает, что здесь, как и во всяком труде, все взаимосвязано и все зависит одно от другого.

5

Дни бегут, и Михай Бири с двумя помощницами уже в третий раз прочесывает своим аппаратом свекловичное поле. Листья ботвы залечили уже нанесенные блохами раны и похожи теперь на мужскую сорочку, аккуратно заштопанную заботливой женой. Свекла растет, наливается, нижние листья стелются по земле, зато средние разрастаются все гуще. Маленькие корешки постепенно принимают форму свеклы. Молодежная бригада уже переброшена на хлопок, но старый Бири, изучивший за это время до тонкости все сорок хольдов свекловичного клина, считает, что черви все еще продолжают свое вредное дело. В самом деле, то тут, то там еще можно встретить повалившийся и увядший кустик. Проклятый червь кидается на растения вслепую, без разбора, перегрызет пополам корень, и только. Съедал бы он его, можно было бы подумать, что червь им живет, а то все выглядит так, будто он задался только одной целью — навредить людям. Но если второе рыхление принесло такую большую пользу, то третье, несомненно, положило бы вредителям конец... (К слову, этот всем надоевший червяк не что иное, как личинка майского жука. Видно, тот, кто придумал милую песенку: «Майский жук, желтый майский жук...»,— не знал об его вредной деятельности под землей в первый период жизни.)

«Надо будет посоветоваться с Шаркези»,— думает Бири и подбадривает своих помощниц: — Ну, двинулись, бабоньки, поторапливайтесь, а то нам никогда не управиться!

Женщины оборачиваются, смеются и, удобнее ухватившись за рукоятки, прибавляют шагу. Бири ковыляет позади, изредка, когда что-нибудь мешает на пути, приподнимая доску за привязанную к ней бечевку. Взгляд его устремлен вперед, в поле.

Скоро лето, ясны бескрайние дали, и старику досадно, что их заслоняют от него развевающиеся по ветру широченные мокрые и грязные юбки его помощниц. Как может быть иначе, если по утрам роса, а днем — пыль и грязь да еще смола от аппарата и налипшие на нее блохи... В поле немая тишина, только и слышится пощелкивание падающих на доску блох, словно холодный осенний дождь отбивает дробь по сухой листве. Далеко улетели песни и смех парней и девушек, их пестрые кофточки и косынки отсюда чуть виднеются — молодежь сейчас работает на хлопковом поле.

Хлопок!.. Новая это культура в здешних местах, редким гостем был он здесь и прежде, тем более на таком большом участке. Поднялся он враз, прямыми, стройными стеблями; они гордо покачиваются на ветру, словно маленькие деревца, а не какие-нибудь нежные, слабые растения. Но за ним нужен глаз да глаз, стебельки его очень хрупкие, чуть надломился — и уже зачах. Удивительное растение хлопок! И глядит он на новый для него мир с любопытством — ведь многие тысячи лет он видел над собой совсем другие небеса. Другое солнце ласкало его, другие птицы порхали над ним, распевая свои песни. Трясогузки, завсегдатаи нашей

борозды, весело кружат над полем, садятся на землю и торопливо, мелким шажком разгуливают между рядами хлопка. Легкие белые облака проносятся в вышине, прозрачна синева над ними, и воздух словно звенит от налетевшего порыва ветра. У плотины, примостившись на одиноком тополе, кукует кукушка: закроет глаза — и чудится ей зеленая стена леса. После каждого «ку-ку» она открывает глаза, крикнет, сунет клюв под крыло, и опять сначала...

А молодежная бригада на хлопковом поле знай себе орудует мотыгами. Кто впереди, а кто отстал, они еще не знают. Да и у кого сейчас нашлось бы время подсчитывать, возиться с процентами, сравнивать, какой средний показатель у других бригад и какой у них? На кукурузе дневная норма шестьсот квадратных саженей — после рыхления культиватором, а у них на хлопке по первому заходу двести, по второму — триста... Как сравнивать — никому не известно. Они знают только, что норма у них легкая, уже на второй день большинство ее перевыполнили.

Да, у них произошло что-то не совсем обычное. В первый день молодежь со злостью набросилась на работу,— ну, погоди, себя не пожалеем, а что положено на день, выполним!.. И выполнили. На второй день волнений было не меньше, но всех заботило уже то, как бы сделать больше, чем вчера. Одолели и это. Сегодня впереди всех идет Лайош Кошут-Киш. Вонзая мотыгу в землю, старик чувствует, как в мускулах оживает привычное ощущение, такое знакомое еще с тех времен, когда он, молодой и здоровый, мотыжил бывало помещичье поле за треть или четверть урожая. Надо было беречь силы, и Лайош выучился так просто и ловко орудовать мотыгой, что со стороны это казалось настоящим искусством. Никаких лишних движений, незачем гнуться в три погибели, надо ударять точно и тянуть мотыгу на себя — в этом весь секрет. Если есть сноровка, дело двигается быстро и сил уходит вполовину меньше.

Вторым за Лайошем идет Кеньереш младший, ширококостный, весь словно сотканный из мускулов и сухожилий, и руки у него, будто стальные пружины. Эта работа для него — детская забава. И по части сноровки у него неплохо обстоит дело — от старого Лайоша он отстает всего лишь на шаг.

Вечером в полевом стане собираются все бригадиры и звеньевые, наскоро подсчитывают дневную выработку, определяют, насколько одна бригада опередила другую. И хотя никто об этом, кажется, раньше и не думал, но теперь всех охватывает волнение.

Возвращаясь домой уже в темноте, Йошка Пап толкует попутчикам о том, что если долго нет дождя и земля сохнет, высыхают и растения. Как можно этому помешать? Только с мотыгой в руках. Он говорит о влажности почвы, о капиллярности, о бактериях. Люди слушают — и диву даются. Как простой мужик может быть таким умным?

А Йошка Пап много знает в крестьянской науке. И утром,

когда члены бригады снова собираются у моста, он произносит настоящую речь:

— Товарищи, вы знаете, сколько нужно за день перекопать каждому такой земли, как наша?

— Сколько? — с тревогой спрашивает Модьороши.

— Раньше нам вдвоем с женой доводилось мотыжить по полтора хольда в день. Если мы все теперь достигнем такой нормы, товарищи, то осенью можем собрать по сорок центнеров кукурузы с хольда! Так и с сахарной свеклой. Если даже до лета не выпадет дождя, она все равно должна дать по полторы сотни центнеров с хольда. Прогоним засуху мотыгой, тогда нам ничего не страшно!

Хороший пример заразителен, и Пишта Сито в обеденный перерыв тоже разъясняет молодежной бригаде:

— Если даже и не будет дождя, наша свекла все равно даст по сто пятьдесят центнеров с хольда. А ну, подсчитайте, сколько мы получим сахара? Ведь за каждый центнер свеклы завод по договору дает нам два килограмма сахару, у нас сорок хольдов, сорок помножить на сто пятьдесят... шесть тысяч центнеров... Этакая пропасть сахару! Но кроме того, еще по десять форинтов деньгами... это же шестьдесят тысяч форинтов!

Такие же разговоры идут и на хлопковом поле, перед глазами людей встает картина будущего изобилия.

Нет, не засохнет свекла, не пропадет кукуруза, ни за что!

И все же то один, то другой украдкой поглядывают на небо. Хотя бы один хороший дождь, тогда не пришлось бы столько махать мотыгой! Но людям нет пощады; в небе ни одной тучки, даже величиной в соломенную шляпу. И жара такая, будто не одно, а целая сотня солнц сияет над землей.

Шари Фейер, которой было поручено организовать женщин, хоть и не добилась полного успеха, но все же ее влияние сказалось — с каждым днем на полевые работы их выходят все больше. Одна только жена Балажа Фюреса постоянно отговаривается: то у нее сегодня стирка, то с утра надо хлеб печь.

— А ты не днем пеки, а ночью, понятно?

— Значит, мне всю ночь не спать?

— Выспишься зимой, чего тебе летом приспичило отсыпаться?

Так и получается — ей люди слово, она в ответ десять. Но как бы там ни было, а женской бригады пока нет, кто помоложе, работает в молодежной, кто постарше — с мужчинами.

А сама Шари Фейер впервые за всю свою жизнь взялась за мотыгу только тут, в кооперативе. Эх, Шари Фейер! Нежна, слаба ты, а земля так тяжела, и так тверда рукоятка у мотыги! Да и мотыга твоя никуда не годится: рукоятка дугой, лопасть косая, с одного края сточилась больше, с другого меньше — словно тыква, усохшая с одного боку.

Вначале у Шари еще кое-как дело шло, но, добравшись до середины полосы, ей стало нестерпимо жарко, и она отстала от всех. Как она ни старалась захватить своей мотыгой поменьше земли,

работать ей становилось все труднее, словно кругом вовсе и не земля, а железо или свинец — опустишь мотыгу, не оторвать. Во время перерыва на завтрак она немного отдышалась, но ближе к полудню ей начало казаться, что у нее вот-вот отнимутся ноги и руки, переломится поясница, а кругом, куда ни посмотришь, бескрайнее поле, и на помощь со стороны надеяться нечего. Ее муж идет немного впереди и, чтобы хоть как-то показать ей свое сочувствие, нет-нет и копнет по ее борозде, но ему, бедняге, и самому-то не сладко.

К вечеру Шари надеется только на какое-то чудо, которое избавит ее от страданий, но в поле чудес не бывает. Здесь лишь всходит и заходит солнце да знай себе тянется вверх кукуруза. Если между двух рядов лечь на живот, подпереть кулаком подбородок и пристально, не отрываясь, смотреть, можно даже невооруженным глазом заметить, как поднимается кукурузный стебель.

Да, с великой охотой Шари понаблюдала бы сейчас за этим. Но где уж тут! Она только и может разглядеть, куда втыкает свою мотыгу и отваливает землю. Только это. А что если сбить мотыгу? Тогда ведь конец ее мучениям. О, это мысль! И теперь начинается выполнение, так сказать, заранее обдуманного плана: Шари втыкает мотыгу так, чтобы расшатать рукоятку. Мотыга всякий раз только жалобно поскрипывает.

— Чтоб тебя чорт побрал!..— шопотом ругается Шари с такой злостью, будто эта проклятая рукоятка и есть единственная причина всех ее мук. Наконец мотыга соскакивает с черенка. Как легко теперь ухватить ее, поднять вверх и показать всем, что вот, мол, ничего не попишешь!

Люди, идущие в голове шеренги, уже повернули обратно и делают второй заход. Они встречаются с Шари Фейер на дальнем конце поля. Лицо ее красно, как помидор, она пускается в объяснения.

— Посмотрите, какое несчастье. Соскочила рукоятка с мотыги, или, точнее, мотыга с рукоятки...

— Что в лоб, что по лбу — один чорт! — философски замечает Лайош Кошут-Киш.— Ладно, идем. У меня в котомке топорик, клинышки, все припасено...

И какие же, право, бессердечные эти старики. Чего только они не таскают в своих котомках: и топоры, и клинья,— лишь бы не дать Шари Фейер передохнуть лишнюю минутку.

По полю из конца в конец перекатывается взрыв смеха; работа приостанавливается. Один кричит одно, другой другое, но все не слишком лестное для Шари.

Несколько иначе было с Модьороши. Многие предупреждали, что с ним не оберешься хлопот: слабый он человек, хворый, не выдержит. Едва закончился обед и люди разошлись по своим участкам, кто где кончил в полдень, Модьороши, успев только пару раз взмахнуть мотыгой, вдруг ни с того ни с сего повалился навзничь. Он попытался было приподнять голову, но и это ему не удалось, и он остался лежать, безмолвно глядя в бездонное небо. Рабо-

тавшие неподалеку крестьяне сначала подумали, что он только хочет потянуться, расправить спину, и не обратили на него внимания, но, видя, что Модьороши не встает, подбежали к нему.

— Что с тобой, товарищ Модьороши?

— Не знаю... вдруг потемнело в глазах...

Подошел и встревоженный Шаркези, он ушел было далеко вперед, работая во главе бригады. Ведь это он поднял людей на битву за урожай, и вот один из рядовых бойцов уже вышел из строя... Если бы они не начали этой борьбы, Модьороши не лежал бы сейчас без движения. А ведь завтра это может случиться и с другими... Тогда все их хозяйство окажется под угрозой... Правда, люди умирают и лежа на перине, за всю жизнь не связав ни одного снопа. А сколько обессиленных людей, работая на помещиков, выбывало прежде за летнюю страду из батрацких артелей. Во время жатвы, уборки, молотьбы с рассвета и до поздней ночи продолжалась бывало жестокая гонка; тот, кто ее не выдерживал, падал, где стоял; часто на поле оставалось много измученных больных людей, словно после кровопролитного сражения. Выходит, тогда можно было не жалеть своих сил, а теперь нельзя хоть немного поднатужиться?

— Товарищи, нечего тут глазеть, давайте продолжать работу! — восклицает Шаркези и обращается к Шари Фейер: — А вы сейчас же отправляйтесь за лошадьми, отвезете Модьороши в усадьбу.

Шари Фейер рада освободиться от мотыги, хотя бы на сегодня, но она и вида не показывает.

— А вдруг врач не захочет к нему приехать?

— Это наш-то доктор не захочет? Если бы каждый член кооператива относился к своему делу так, как он, мы не были бы сейчас в таком прорыве!

Эти слова задевают Шари Фейер за живое, и она стремглав пускается через кукурузу к лошадям, тянущим культиватор. Волосы ее развеваются по ветру, она скачет через борозды, как резвая молодая кобылка (а, казалось бы, ее пора давно уж миновала!).

Вскоре подъезжает телега, Модьороши пытается добраться до проселка без посторонней помощи, но ноги у него подкашиваются. Его поддерживают Шаркези и Бердеш.

— Чем тебя только кормил этот Гербеди, что ты так ослаб? — любопытствует Бердеш.

Модьороши стыдно, стыдно до боли, и не только за себя, за свою немощь, но и за своего бывшего хозяина Гербеди.

— Да чем... неделями одна фасоль, а я ее есть не могу...

— Так... вас, батраков, фасолью потчевал, а сам, небось, в три горла жрал, будь уверен!

Шаркези охватывает гнев. Неужели кооператив должен еще расплачиваться за скаредность хитрого кулака Гербеди? Высосал все соки из этого Модьороши, а теперь кооперативу придется его откармливать?

— А ты почему не швырнул ему в морду эту чортову фасоль? — с раздражением кричит он на Модьороши.

Бедняга испуганно поднимает на него глаза и, собрав последние силенки, пробует сам взобраться на телегу. Но это ему не удается. Кари Вереш, кучер, неподвижно сидит на козлах, не оборачиваясь, будто это вовсе не телега, а коляска, в которую готовятся сесть господа. Шаркези и Бердеш подхватывают Модьороши подмышки, укладывают на телегу, затем Шаркези подзывает Шари Фейер:

— Поезжайте с ним, одного не оставляйте, слышите!

Шари Фейер только этого и ждет. Белотелая, дородная женщина мигом усаживается рядом с Модьороши. Она окружает вниманием этого тщедушного, изможденного крестьянина, ухаживает за ним, как за ребенком.

Кари Вереш трогает лошадей, и телега громыхает по проселку к усадьбе.

Волнение, охватившее было людей, утихает. Все берутся за работу с еще большим энтузиазмом. Пока настанет осень, они завоюют свое будущее!

А в половине пятого Лайош Модьороши уже сидит на верхней ступеньке лестницы нового медпункта. Веранда залита солнцем, и так хорошо сидеть здесь, ни о чем не думать, молча прислушиваясь, как где-то в листве старых деревьев парка кукует кукушка, пощелкивает дрозд и стрекочет сорока. Колени его подтянуты к подбородку, и если взглянуть на него издали, всякий скажет: «Ишь, какой-то мальчонка примостился у дверей на корточках!»,— но, подойдя ближе, необычайно удивится — у мальчишки усы и заросшие щетиной щеки. Модьороши сидит на ступеньке, состояние у него самое угнетенное; будь он сейчас в длинной детской рубашонке, натянул бы ее на коленки и, уткнувшись в нее, залился бы горькими слезами. Он не думает ни о чем: ни о жене, которая больна и лежит дома, ни о детях, только о своей печали. Не думает он и о том, что ослаб, что свалился в поле, выронив мотыгу, он чувствует одно — горькая у него доля. Почему у него такая жизнь, что он не может по-человечески поднять голову? Отчего он не такой же, как другие, сильные, веселые, здоровые?

Старый Тодьер Монок медленно бредет через двор, подмышкой у него грабли без рукоятки, в руках нож и жердинка — он ее обстругивает, чтобы надеть грабли. В конце аллеи слышится стрекот мотоцикла, затем он переходит в глухое пофыркивание, шелестят шины — приехал доктор.

— Что случилось, Модьороши? — бросив взгляд на бывшего батрака, спрашивает врач и приставляет мотоцикл к стене.

— Не знаю... вдруг закружилась голова, упал...

— Сейчас посмотрим. Прошу в приемную,— говорит врач и бодро взбегает по лестнице.

Модьороши с трудом поднимается и входит за ним. Доктор просит его снять рубаху, внимательно осматривает, выслушивает,

затем, отойдя к окну, садится на табурет и задумчиво смотрит на больного.

— Н-н-да... Здоров был бы, как огурчик, только... нужна работа полегче.

— А кто будет мотыжить? Дело важное, ждать некогда.

— Это верно. Но здоровье еще важнее. Я сегодня же переговорю с товарищем Бердешем, подберем для вас что-нибудь более подходящее.

Доктор в раздумье закуривает сигарету и протягивает портсигар Модьороши.

Глава седьмая

1

Великое бедствие обрушилось на поля. Наступила неслыханная засуха. Большинство крестьян-единоличников мечется на своих полосках земли, как взбесившиеся овцы. Озимая пшеница еще кое-как держится, но плохо с яровыми, особенно с пропашными культурами. А что будет, если в ближайшее время не выпадет дождь?

— Эй, люди, рыхлите вокруг каждого стебелька, не то все погибнет! Да поскорей! — уговаривает Ласло Рожа своих соседей.

Сам он встает чуть свет и первым выходит в поле. То, что еще никто из односельчан здесь не проходил, видно по тропе: на траве еще блестят капли росы. По утрам хоть выпадает роса, и это коечто значит для растений: за ночь они словно оживают, расправляют свернувшиеся листочки.

— Чтоб я даром землю своим потом поливал? Будет дождь — будет и кукуруза, не будет — зачем зря трудиться? — не соглашается с Ласло его сосед Иштван Болдижар. Покачивая головой, он обходит с мотыгой на плече островок своей кукурузы, осматривая ростки.

— Неладно делаешь, Иштван. Сейчас, в такую сушь, всходы, как больные, за ними нужен уход, словно за детьми. А осенью они тебя отблагодарят, это уж наверняка.

Но что ни говори, все как горох об стенку. Иштван да и другие крестьяне твердят одно. Какая бы ни была погода — мотыжить кукурузу по обычаю полагается два раза. И больше они не прикасаются к ней: ждут дождя.

А дождя все нет и нет... В томительном ожидании единоличники бродят с места на место. Взгляды слоняющихся без дела сельчан останавливаются на работающих полевых бригадах кооператива.

Мелькают мотыги в молодых крепких руках. А наблюдателям из-под навеса на хуторе Гербеди кажется, будто у края горизонта порхает стайка скворцов.

По дороге с мотыгой на плече шагает Янош Васнаш-Надь; его

правая рука на рукоятке мотыги, левой он держится за щеку — зубы болят.

В низине, неподалеку от луга,— злополучные шестнадцать хольдов кооперативной земли. Дойдя до этого участка, Янош Васнаш-Надь останавливается, раздвигает сорняки. Ни поблизости, ни вдали никого нет.

— И эти людишки собираются прокормить всю страну? — гневно потрясает кулаком Янош.— Они, которые засеяли такой большой клин и не удосужились даже прополоть его?

Если Васнаш-Надь так разошелся здесь, в поле, как же он будет вести себя в селе?

— Нет, что ни говорите, а так запускать землю — грех перед богом! — ораторствует жена Гербеди у колодца.— Если дождя нет, всякий порядочный хозяин берется за мотыгу, а они?

Тетка Гербеди ходит за водой всегда сама. Исключение составляют только те дни, когда в доме стирка и требуется побольше воды,— тогда ее носит тетка Петак.

Об этом злосчастном участке разговоров по всему селу не оберешься, да и не только здесь, но и в соседних деревнях, и по всей округе. Он лежит в стороне от основного земельного массива, и поэтому члены кооператива редко туда заглядывают. У них и без того есть на что смотреть. А кроме того, так уж устроен человек: если можно, старается не замечать неприятных для него вещей.

— Что там у вас с этими шестнадцатью хольдами? Будете вы их, наконец, пахать или не будете? — обрушивается Бердеш на Лайоша Кошут-Киша.

— Вот пройдет дождь, тогда и вспашем. Засеять стодневкой не поздно и через неделю. Да недурно бы и кормовой смесью... Корма-то нам понадобятся. Особенно, если не переменится погода.

— Тогда хоть скосите сорняки, не позорьтесь перед людьми!

Но до этого руки так и не доходят. Зато сахарная свекла обработана на совесть уже дважды. И по кукурузе прошлись во второй раз. Но нужно вернуть к своему делу строительную бригаду, а остальным продолжать работать в поле. Уже пора вторично мотыжить хлопок, а старики еще мучаются с подсолнечником... С ним и в самом деле не оберешься хлопот. Как-то получилось, что именно этот участок весной обработали хуже других. Да и земля здесь не из лучших, по составу пестрая, попадаются и солончаки. Но подсолнечник все-таки поднялся, растет хорошо.

А вот на корма виды плохие. Люцерна хоть и взошла, но даст урожай только на будущий год. На покос с Дикого урочища тоже надежды нет. Нынешней весной разлив до него не дошел, дождя не выдалось, так все и высохло. А ведь луг — добрых тридцать пять хольдов, если не больше... Правда, три участка там принадлежат Андрашу Кеваго, Шенебикаи и Гергею Матэ, но это только небольшая часть, а остальное — владения кооператива, и граница их обозначена аккуратными бетонными столбиками.

Если бы луг затопили весенние воды или во-время выпал

дождь, копен не счесть бы!.. Но не случилось ни того, ни другого: травы нет. Правда, кое-где под кустами зеленеет реденькая травка, но и только. Когда идешь лугом, из-под ног выскакивают испуганные кузнечики, словно струйки воды брызжут из садовой лейки. Здесь еще жарче, чем на полях, расположенных выше; солнце печет немилосердно.

Когда стало ясно, что рыхление будет закончено во-время и кооперативу не грозит опасность, все вошло в свою колею: снова начала работать контора, а правление опять занялось своими повседневными делами.

Не легко дались эти две недели, даже Бердеш так похудел, что штаны на нем еле держатся.

Объезжая владения кооператива, чтобы проверить, как обстоят дела, Бердеш и Пап заглянули на Дикое урочище.

— Здесь косить не будем; пусть пасутся коровы или свиньи,— решил Бердеш.

— Трава тут кислая, больше подойдет для коров,— почесывая затылок, заметил Йошка Пап.

Но как ни прикидывай, пышных стогов сена с этого луга не накосишь; хорошо, если скотине травы на несколько дней хватит. А чем кормить скот зимой?

Еще на съезде Бердеш много слышал об ирригационном и поливном хозяйстве, но считал это таким большим и сложным делом, которое никто не в состоянии одолеть без специалистов и солидных затрат. А между тем неподалеку от села есть канал. Когда-то, давным-давно, здесь была речушка; называлась она Инанд, но со временем, после того как провели каналы, использовав притоки реки Кереш, Инанд потеряла свое былое значение, а вместе с ним — имя. Сейчас ее называют просто каналом. К северо-востоку от села течет река Кереш, и совсем рядом, чуть южнее, другой канал; он регулирует режим Кереша. Если уровень воды в реке слишком высок, открывают шлюзы, если же в канале скапливается много воды от родников и талых вод, то насосом ее перекачивают в реку. В остальное время шлюзы недвижны, насосы замирают в бетонных гнездах. Но что если шлюзы поднять и пустить воду не в канал, а на луг? Пусть постоит с неделю или больше, покуда зазеленеет трава, а потом ее можно отвести в старое русло.

Эта мысль кажется Бердешу настолько простой, что он даже не осмеливается ее высказать.

А дождя все нет и нет; засуха грозит затянуться, и надо, в конце концов, поделиться с товарищами своей идеей. Мысль отличная, и нужно поскорее провести ее в жизнь. Разумеется, предварительно придется созвониться с уездным сельскохозяйственным отделом, чтобы и там были в курсе дела.

— Конечно, конечно, делайте, как задумали,— отвечают из уезда,— только не забудьте послать запрос в Министерство земледелия — к хозяину и над землей и над водами.

— Что это за хозяин, который так нерадиво распоряжается

своим добром, если вода у него, прогулявшись по Альфёльду, вливается где-то в Тису, а потом в Дунай и без всякой пользы уносится в море? Чорт знает что! — вскипает Бердеш.

Первого июня кооператоры уже с нетерпением ждут, когда откроют шлюзы — ключ у сторожа плотины, а он живет в соседнем селе. Приходится потерять еще пару часов, покуда появляется сторож.

— А у вас есть разрешение? — спрашивает он и, не получив ответа, уходит.

Тогда кооператоры решают сами открыть шлюзы, и к вечеру вода из реки устремляется на луг. На рассвете следующего дня сторож все же приносит ключи, но они теперь никому не нужны. Старику ничего не остается, как, стоя на плотине, лишь разевать рот от удивления.

И право, все дело с поливом оказалось таким простым, что удивительно, как они не додумались до этого раньше. Ведь это позволило бы им провести и второй укос.

А между тем дождя все нет. И хотя после захода солнца на темнолиловом горизонте играют зарницы, не видно ни облачка.

Ранним утром Андраш Кеваго с сыном и дочерью выезжает в поле. На телеге у него культиватор, мотыги. Кеваго отлично знает, что значит культиватор и мотыга в такое засушливое лето, и сейчас собирается рыхлить уже в третий раз. Кукуруза у него взошла не очень-то густо. Кто в этом виноват? Еще пахота удалась плохо, по свежей пашне ударил холодный дождь, потом наступила засуха, и комки почвы по сей день тверды, как камень. По высоте кукуруза хороша, но стебельки и листья у нее тонкие, как ниточки; их, кажется, можно продеть в игольное ушко. Да, если тут чем и можно помочь, то только мотыгой!

Большак обходит Дикое урочище стороной, но у Кеваго есть своя, проложенная им дорожка, по которой он ездит к себе на участок, когда сухо.

Телега спускается по откосу, но едва лошади ступают на луг, как под их копытами хлюпает вода, скрип колес глохнет.

— Смотри-ка! Неужто здесь прошел дождь? Что за чудо!..— удивляется Кеваго.

— Какой там дождь! Просто кооператив затопил весь луг,— Андраш, повидимому, осведомлен лучше.

— Неглупо, молодцы! — Но на лице у Кеваго такое выражение, словно у него заболели зубы. Ведь это как-раз то, о чем он думал — начать когда-нибудь поливное хозяйство, пусть хотя бы на небольшом участке! И вот полив уже начали, и обошлись без его участия. А ведь Кеваго был убежден, что кооператоры без него, без его разума и опыта ни на шаг не двинутся вперед. Ведь лучше его никто не разбирается ни в скотине, ни в земле, да и во всем крестьянском хозяйстве, а уж тем более этот Бердеш! Правда, кое-что соображает Йошка Пап, ничего не скажешь... Ну да ясно, до этого додумался Пап, а не Бердеш...

— Но-о, Сарча! Сворачивай! — Кеваго тянет левую вожжу — колеи совсем не видно.

Старые ивы на лугу словно помолодели, вокруг светлозеленые побеги свежей травки, наконец-то дождалась она живительной влаги! Луг вздохнул, ожил, зазеленел. Кое-где травы еще нет, лишь поблескивают лужи. А повыше, над лугом, на склоне холма точат косы. Там уже приступили к косьбе! И Кеваго прикидывает, где должна проходить межа, отделяющая его участок. Если у кооператива будет сено, значит, будет оно и у него.

А жара все пуще, словно сейчас не начало июня, а в самом разгаре лето. В низине, на лугу, зеленеет трава, а на полях чахнут, никнут к земле посевы.

Рожь — нынче ее посеяли немного — уже отцвела, легкий ветерок разносит серую пыльцу пшеницы, на солончаковых пустошах цветет солянка. Полчища шмелей, ос и жуков ползают по колосьям, глубоко запуская свои хоботки в нежную пыльцу.

Издали в знойном мареве кажется, что кусты у околицы трепещут, будто в огне. Сквозь вибрирующую дымку видно, как через мост движется какая-то пестрая процессия, насчитывающая десятка три женщин, мужчин и подростков. Во главе ее шествует патер Карой Пинцеш, за ним Анна Кокаш несет на шесте серую, полинявшую шелковую хоругвь с вышитым изображением святого Непомуки, покровителя урожая.

Они движутся медленно: патер впереди, за ним, словно остатки разбитого войска, горсточка людей... Издали кажется, будто не пастырь ведет их, а они гонят его перед собой.

Процессия переходит мост и поворачивает к статуе святого Яноша Непомуки. Люди опускаются на колени, склоняют головы и, крестясь, бормочут молитву. Поднявшись, они медленно движутся дальше, и за ними, как бы нехотя, встает тяжелое облако пыли. Славя святого Непомуку, крестный ход с песнопениями огибает луг, возле большака заворачивает по полевой тропе влево, к Новой слободке, а затем уже другой дорогой возвращается назад к селу, оставляя в стороне владения кооператива «Свобода». Дорога эта проходит мимо Дикого урочища. Внизу кооперативные конюхи косят траву.

— Глянь-ка, кум, и как им только в такое время не совестно слоняться без дела? — говорит один из них соседу.

— Этим они и живут. Ну, а мы — другим...— отвечает тот, с радостью чувствуя, как плавно ложится клевер под взмахами косы.

Навстречу крестному ходу идет человек в жилетке, с косой на плече. Он сходит с дороги, уступая путь процессии. Люди, как видение, проплывают мимо. Кое-кто останавливает на прохожем безучастный взгляд, словно он дерево или камень. Когда эти фанатики тянут свои псалмы, для них что чорт, что человек — все одно. Знай себе тянут, разевая рты до ушей, аж скулы трещат.

— Славьте Иисуса Христа! — бормочет католическое приветствие Ференц Тарнок, хотя он и протестант. Тарнок не может

этого не сказать: слишком величественны и вместе с тем презрительны взгляды, обращенные на него.

Процессия удаляется, направляясь дальше, вглубь полей. Тарнок же следует своим путем. Теперь ему стыдно, что он смалодушничал. И для очистки совести он сердито ворчит:

— Чтоб вы все на том свете сварились в собственном жиру!..

Шагая по дороге, он размышляет над тем, что, собственно, вышло бы из этой сдобной вдовушки Кокаш, если ее действительно сварить; потом тщетно пытается представить в таком же виде Яноша Васнаш-Надя — какой там от него навар! Ну, да чорт с ним! Занятый этими мыслями, Тарнок и не заметил, как поравнялся с косцами.

— Видали? — спрашивает он вместо приветствия, кивая головой в сторону крестного хода.

— Видали! Вот мы и говорим: вместо того, чтобы у господа бога насчет дождичка попрошайничать, носили бы лучше воду ведрами, и то проку было бы больше...— отзывается Кари Вереш. Он втыкает косу рукояткой в землю и, достав из котомки брусок, начинает ее точить. Остальные делают еще по два-три взмаха, затем тоже берутся за бруски.

— Жаль попа! — замечает Карой Ханадь.

— Это почему?

— Потому что у них поп — порядочный человек, не то что наш пастор. А его вишь водят туда-сюда, словно медведя на цепи.

Тарнок решает, что сейчас удобный случай поговорить с кооператорами. Для начала, разумеется, о попах, а потом и вообще о том, что творится на белом свете. Наговорившись вволю, он, будто собираясь уходить, бросает:

— Да, вот еще что! Отчего вы не запашете тот участок под свеклой, который так и не мотыжили? Зачем его выставлять на позор всему свету?

— Постой! О какой свекле ты толкуешь? — И косы в руках всех четырех косцов замирают.

— О той, что наверху, на краю дороги.

— Так то же не свекла, а кукуруза... А не взошла потому, что семена оказались прелые.

— Ах, вот как! Понимаю, значит... семена прелые. А раздвиньте сорняки, там свекольная ботва притулилась... Как взошла, так и завяла.

— Эка беда! Разворачивали сеялку, вот и просыпали малость!

— Я-то вам верю, но попробуйте убедить село. Люди по-другому думают, и не только наши, но и в соседних деревнях. Сейчас, например, видел я на этом участке двух каких-то чужих; подкатили на велосипедах и разглядывают. Не к добру это, ой, не к добру!..

Но в кооперативе «Свобода» хорошего куда больше, чем плохого, любуйся не налюбуешься! Свиньи во второй раз начали пороситься, и если нынешний приплод даже будет поменьше, чем

зимой, и то неплохо. Кормов не так много, как прошлой осенью, но при экономном расходовании их должно хватить. Кроме того, у кооператива много других забот: надо ускорить обжиг кирпича, наверстать упущенное время, когда пришлось снять людей и послать их на поля, а потом пора приниматься и за свинарник. Для этого нужны известь, песок, цемент, лес, черепица и прежде всего мастер. Не беда, найдется и мастер — старый Сильва тут как тут, только кликни.

Но прежде всего надо косить луг. Как его затопили, поднялась такая трава, какой никто здесь не видывал даже после самых обильных весенних дождей. Отводить воду обратно не пришлось — всю ее всосала жадная земля. Чего ж лучше!

Косить дело нетрудное, было бы что, только вот в самой низине пришлось потрудиться: на траве осел ил, и поэтому тупились косы. Два шага шагнешь — и опять точи!..

На третий день сено переворошили, на пятый его уже можно будет складывать в копны.

И действительно, через два дня взялись и за это. Начали с верхнего края, но не успели закончить и двух-трех копен, как на другом конце луга, ближе к селу, появились люди с граблями в руках. Кто бы это мог быть?

Кто как не Андраш Кеваго! Да еще с сыном и дочерью! Неподалеку виднеется и телега; она стоит возле межи, лошади распряжены и спокойно похрустывают свежим сеном. Тем самым, что будто с неба свалилось. И не дождь взрастил его, не благодатная весна, а вода, которую подвели сюда кооператоры.

Мало того, туда же направляется и телега Шенебикаи. Вон она переваливается по ухабам колеи, проложенной хозяевами этого участка. Не иначе как они собрались возить сено.

— Эй, не спеши! Не то боком выйдет! — кричит Кари Вереш, потрясая вилами. Он, собственно, кучер, но заготовка сена тоже входит в круг его обязанностей. Кроме него, на лугу трудится еще несколько конюхов, всего человек шесть-семь. Все они прекращают работу. Что же будет дальше?

Кеваго и его помощники слышат окрик, но и ухом не ведут, спокойно продолжают сгребать сено и складывать в копны.

— Помалкиваете? Ну, погодите! — угрожающе заявляет Кари Вереш и направляется к ним. На его лице такая решимость, словно он идет в штыковую атаку. Остальные косцы следуют за ним следом.

Кеваго видит надвигающуюся опасность, но это, повидимому, ни капельки его не тревожит. Все трое продолжают свое дело — сгребают, ворошат, выкладывают копны. Отряд под предводительством Кари Вереша подходит к границе, обозначенной каменными столбиками, и останавливается, словно наткнувшись на ров, наполненный водой.

— Вы это чем занимаетесь? — с угрозой спрашивает Кари Вереш.

— Мы-то? Фасоль выбираем, не видишь?— невозмутимо отвечает Кеваго, оглаживая вилами копну.

— Бросьте сейчас же, не то плохо будет!

— Плохо? Это отчего же? Вилами проткнешь, что ли? — Кеваго делает несколько шагов к меже.

В это время Шенебикаи выпрягает лошадей. Он то и дело поглядывает в сторону спорящих и, закончив, трусит к ним, волоча по земле вилы. Шенебикаи — не Кеваго; он не отличается спокойным характером и уже на бегу орет во всю глотку:

— И какого дьявола, кум, ты с ними разговариваешь? Холера им в бок!.. С нашего луга хотят сено забрать?

Кари Вереш чувствует, что тут добра ждать нечего, хоть и правда на стороне кооператива! Он меняет тон.

— Если бы мы не затопили луг, у вас бы и травинки не выросло...

— А зачем вы его затопляли? Почему не приказали воде, чтобы обошла наш участок? Почему не отдали приказ ветру, тучам...— Уж кто-кто, а Шенебикаи за словом в карман не полезет.

Кари Верешу становится стыдно. Эти люди, пожалуй, правы: ведь его товарищи, присутствующие здесь, даже не знают, что эта часть луга принадлежит Кеваго и его друзьям. Но косили-то они, а теперь скирдовать и увезти сено хотят эти. Когда Кари на днях спросил Бердеша, что делать, тот приказал — скосить весь луг, высушить, заскирдовать, увезти сено — и дело с концом. Почему бы, спрашивается, Бердешу самому сюда не приехать?

— Ладно, ладно. Только зачем орать...— бормочет обескураженный Кари и, круто повернувшись, шагает восвояси. Остальные идут за ним.

Словом, все три хозяина — Андраш Кеваго, Шенебикаи и Гергей Матэ — собрали свое сено и свезли его по дворам. Ездить им пришлось трижды: набралось на девять возов. Получилось, что кооператив затопил луг, скосил траву, а сено досталось другим — собственникам этой земли.

В правлении по этому поводу вышел крупный разговор. Бердеш, разбушевавшись, хотел немедленно вызвать полицию, но Шаркези не дал. Тогда позвонили в уезд Кульчару, тот стал на сторону Шаркези, и это окончательно взбесило Бердеша.

— На кой чорт я называюсь председателем, если мое слово не стоит ломаного гроша! — бушевал он.

— Неужели вы до сих пор не понимаете, что неправы? — удивлялся Шаркези.

— Я, неправ? Я? Скажи, выросла бы на этом лугу хоть былинка, если бы мы не пустили воду?

— Но они же не виноваты, что вода залила и их участок.

— А почему они ждали, пока мы скосим, если знали, что сено принадлежит им?

— Откуда же им знать, когда мы собираемся косить?

— Ну да, этого они не знали, а как на свой двор везти, так будьте любезны! Да что говорить, вам всем этот Кеваго милее, чем собственный председатель. Почему не скажете прямо, что я, старый дурак, стал вам поперек дороги?.. Скажите, я готов уйти хоть завтра...

Слово за слово, дальше больше, и оба не успели оглянуться, как поссорились.

Получилось так: пока в кооперативе ничего не было, жили мирно, а теперь, когда полно добра, начали ссориться.

— Ладно, дядюшка Бердеш. Если мы не можем между собой разобраться, перенесем вопрос на партийное собрание.

— А по мне разбирайтесь, где хотите. Если я больше не председатель, меня это не касается.

Шаркези не захотел больше спорить. Он думал о том, что работать с Бердешем становится все труднее. Кооператив крепнет, а Бердеш мельчает. В чем тут дело? Должно быть, Бердешу уже не по силам размах работы: хозяйство растет, число членов кооператива тоже. Когда их было мало, Бердеша хватало на все, а теперь не то. И если он не поймет этого, не пойдет в ногу со временем, неизбежно отстанет. Время не знает пощады.

2

Оставшиеся не засеянными шестнадцать хольдов беспокоили членов правления только время от времени. Потому получилось так, что земля сохла, сорняки росли, на месте прошлогодней межи расцвел болиголов, будто только для него и светило солнце. Дикий мак, васильки, куколь доходили человеку до пояса, а поверх чащи сорняков распластались усики ползучего ореха. Он чудесно цветет, смотреть на него одно наслаждение. И все эти шестнадцать хольдов словно кричат о себе на весь мир: художники, приезжайте, пишите нас! Но чорта с два, чтобы там появился хоть один художник! К этому участку иногда наведываются только недоверчивые, лукавые крестьяне. И не только свои, из села, а со всей округи. Однажды кто-то случайно остановил здесь свою телегу, увидал, что тут делается, и растрезвонил по всему селу, так что теперь сюда ходят, как к доброму колодцу по воду. Разумеется, только те, кто выискивает всякие доказательства против коллективного хозяйства,— вот вам, полюбуйтесь!

А между тем зимой, и в особенности весной, зашевелилась вся область, не осталось такого села, где не строили бы планов насчет коллективного ведения хозяйства. Но чем больше оказывалось сторонников кооперативов, тем активнее и злее становились его враги,— это ясно. Если первые выдвигали, скажем, десяток доводов за коллективное хозяйство, то у его противников всегда находилось доводов против на один больше. Да это, в конце концов, не страшно; пусть каждый сам борется за свою новую жизнь, сам побеждает в себе пережитки старого.

В этом, тысяча девятьсот пятидесятом, году лето выдалось на редкость сухое. Областному комитету партии пришлось затратить немало усилий, чтобы одновременно подготовиться к уборке и молотьбе. В то же время, используя тягу крестьян к коллективному хозяйству, в области приступили к созданию новых кооперативов.

В областном доме культуры в первое же воскресенье июня пригородный кооператив «Новый хлеб» провел собрание, на котором собирались принимать новых членов. Народу пришло много. Председатель кооператива — пожилой, степенный крестьянин — разъяснил преимущества коллективного труда.

— Своими глазами увижу, только тогда поверю! — нарочито громко заявил какой-то мужичок, успевший, повидимому, уже хлебнуть ради такого случая.

— Что ж, осень придет, сможете и на нашем примере убедиться, а пока... Есть неподалеку от нас кооператив «Свобода». Он тоже, как и мы, организовался только прошлой осенью, а каких успехов достиг за такой короткий срок! Любо глядеть!

Но подвыпивший мужичок, оказывается, на прошлой неделе случайно проезжал мимо злополучного участка в шестнадцать хольдов, и теперь, как коршун на свою жертву, накинулся на председателя.

— Это какой кооператив? «Свобода»?.. В Инанде? Эко, нашли чем хвастаться! Да у них там один участок под сахарной свеклой по сей день ни разу не прополот. За сорняками неба не видать, а свеклы на нем ни кустика!

По залу прокатился ропот. Видимо, новых членов на этот раз вовлечь не удастся. Народ шумит, волнуется.

Встревоженный секретарь обкома Фонадь шопотом что-то говорит то одному, то другому члену президиума, но против факта ничего не возразишь. И что самое обидное, речь идет о кооперативе, который Фонадь считал своим детищем, о котором он чуть ли не каждую неделю с гордостью сообщал в министерство! Ведь именно о «Свободе» как образцовом кооперативе писали в «Блокноте агитатора».

Не дожидаясь конца собрания, Фонадь возвращается в обком и вызывает к телефону Кульчара.

— Что там у вас происходит в кооперативе «Свобода»? — раздраженно спрашивает он.

— То есть как, что происходит?

— Из-за вашей «Свободы», товарищ Кульчар, у нас сорвалось важное собрание. И только потому, что люди там побывали и видели, что какой-то участок под сахарной свеклой еще даже ни разу не прополот!

— Экая чушь! Действительно, есть там один участок в шестнадцать хольдов под кукурузой, на нем были высеяны прелые семена, всходов не дали, но...

— Прелые? А разве нельзя было засеять заново?

— Конечно, можно.

— Так в чем же дело? Я не понимаю, как вы...

Словом, они крупно поговорили... Доводы Кульчара не могли убедить секретаря областного комитета. В самом деле, почему все-таки вторично не засеяли этот участок? Если не кукурузой, так чем-нибудь другим? Но Фонадь подозревает, что в действительности дело обстоит хуже, и почти кричит в трубку:

— Подождите, я сейчас же выезжаю к вам! Проверим на месте.

Выехал в уезд Фонадь не сразу: немало времени ушло на разговор по телефону, да и шофера едва удалось разыскать. Солнце уже садилось, когда он остановил машину возле уездного комитета партии.

Дом, где теперь располагался уездный комитет, раньше принадлежал нотариусу, который весной сорок пятого года обманным путем пробрался в ряды партии, но в сорок восьмом был разоблачен и отдан под суд. Об этом человеке много чего выяснилось. Когда подсчитали стоимость принадлежавших ему нескольких домов, мебели, драгоценностей и всего прочего, он оказался миллионером.

Дом этот представлял собой одноэтажный особняк, построенный со вкусом. К нему примыкал обширный двор с клумбами, розовыми кустами и подстриженным кустарником, а перед фасадом, вдоль тротуара, выстроились тополя.

Во дворе на лужайке разлегся какой-то крестьянин; одна его нога согнута в колене, глаза устремлены в небо. Секретаря обкома он, видимо, не знает, а потому, не вставая, лишь поворачивается на бок и с любопытством глядит ему вслед. У входа с десяток прислоненных к стенке велосипедов. В кабинете Кульчара облако табачного дыма; там сидят люди, которых уездный комитет партии выдвигает контролерами по молотьбе.

— Сабадшаг!

— Сабадшаг!

— Долго собираетесь заседать?

— Сейчас кончаем...— И Кульчар продолжает свою речь: — Одним словом, молотьбы налево не допускать! Ни одного килограмма, ни единого зернышка! Если с каждой молотилки уйдет налево хотя бы центнер зерна... прикиньте сами, товарищи, сколько у нас молотилок и сколько это получится?..— объясняет Кульчар, думая, однако, о другом.

Допустил ли он ошибку с кооперативом «Свобода»? Сейчас, хотя он и говорит о молотьбе, мысли его заняты тем, что там произошло. Урожай с этих злополучных шестнадцати хольдов — будь то пшеница, кукуруза, свекла — при всех условиях больше, чем можно потерять, допустив «левую» молотьбу. Ведь пшеница, обмолоченная тайком, без учета, все-таки попадает на рынок, хоть и втридорога, но с этих шестнадцати хольдов уже ничего не получишь... Да, теперь он сознает, что допустил большой и серьезный

промах. Конечно, вину можно свалить на уездный сельскохозяйственный отдел, но тогда, собственно, для чего же существует на свете он, Кульчар? Ведь крестьяне видят в нем партию! Но затем перед его мысленным взором встают люди из «Свободы», один за другим, а потом все вместе — сколько препятствий преодолели они! Что значит по сравнению с этим — засеяны ли шестнадцать хольдов!

И все-таки много значит! Не только такой большой участок, ни одна борозда не должна остаться не засеянной! Шестнадцать хольдов земли, шутка ли, сколько можно с них собрать? Кто виноват в том, что случилось? Он или кооператив? Совесть у него неспокойна...

А Фонадь, ожидая конца собрания, вспоминает... Он стал коммунистом еще в университете, в начале сороковых годов; писал под псевдонимом в газете «Сабад со» *, главным образом, о воспитании молодежи. Незадолго перед окружением Будапешта советскими войсками он был арестован фашистами, но во время одного из допросов крупнокалиберный снаряд со стороны Пешта ударил в стену крепости, где сидел Фонадь, и превратил целый блок крепостных казематов в кучи развалин. Фонадю даже не пришлось бежать — он просто вышел в пролом стены, а потом ночью переправился через Дунай в Пешт...

И вот сейчас он сидит, будто у него уйма свободного времени, и слушает, как Кульчар инструктирует контролеров. Хороший он оратор! Его доводы понятны и убедительны. Фонадь ценит Кульчара, он отличный работник, но... урожай с шестнадцати хольдов земли кооператива «Свобода» все-таки проморгал! А может, это не так?

Совещание заканчивается. Фонадь и Кульчар остаются вдвоем.

— Объясни же, что произошло с теми шестнадцатью хольдами? Что ты об этом знаешь?

— Примерно знаю. Случайно или умышленно, но кооперативу выдали прелые семена, они не дали всходов. То, что там была посеяна сахарная свекла,— сказки. После первого же дождя этот участок засеют кукурузой стодневкой или кормовыми травами. Вот и все.

— А не думаешь ли ты, что прелые семена — это результат вредительства?

— Возможно. В этом разберется народная полиция в Будапеште. А может быть, здесь не вредительство, а просто путаница.

— Такой путаницы быть не должно! А что если бы все семена кукурузы оказались такими? И так эта история причинила немало вреда; ведь враги сразу ухватились за нее и теперь везде трубят об этих шестнадцати хольдах...

— Пока есть враг, повод для клеветы у него всегда найдется, товарищ Фонадь.

— Это верно, ты прав. Поэтому мы и стремимся к тому, чтобы поскорее выкорчевать врага с корнем!

И они с чувством некоторой досады говорят о том, что мелкие, текущие дела едва не скрыли от них большого и главного... Конечно, виноват и кооператив; допущенную ошибку нужно исправить и как можно скорее; ведь эти шестнадцать хольдов оказались отличным оружием против кооператива «Свобода» в руках Яноша Васнаш-Надя, кулака Гербеди, Анны Кокаш и других противников коллективного хозяйства.

3

Все это привело к тому, что злополучным участком, наконец, занялись как следует. Бени Гуяш выгнал на него кооперативный скот. Однако результат получился совершенно неожиданный... Коровы охотно пошли на пастбище, но, когда скотина вошла в высокие сорняки, случилось то, чего никто не мог предвидеть. Сорную траву коровы не ели — им просто нравилось топтать ее, бодаться, бегать по полю.

А жара не спадала, дождя все не было. Твердая земля, казалось, звенела под коровьими копытами.

Чем беспощаднее зной, тем раньше просыпался и уходил в поле Бердеш. Его видели то на свекле, то на хлопке, то здесь, то там. Он полагал, будто только он один болеет за поля, пока однажды не встретил у хлопка Шаркези.

Солнце еще не взошло, жаворонки, выводя свои трели, купались в голубом небе, вдалеке порхали чибисы; жара еще не наступила, рассветная прохлада даже разбрызгала кое-где росу; местами виднелись распустившиеся цветы хлопка. Пока все в порядке. Кустики крепкие, темнозеленые, сплошь усыпаны бутонами.

Бердеш идет, постукивая по земле палкой. Шаркези слез с велосипеда и поджидает его.

— Доброе утро. Ну как, хорош хлопок?

— Хорош.

Оба в молчании смотрят на поле.

— Тут два бога надобно...— негромко повторяет Шаркези слова Ласло Рожи.

— Что надобно? — встрепенувшись, переспрашивает Бердеш.

Шаркези улыбается:

— Однажды говорил я с Ласло Рожей... Он сказал так: два бога надобно — чтоб один поливал, а другой прогревал... Ведь весь наш край таков: либо утопает в воде, либо солнце выжигает все живое. Вот и выходит, что единого господа бога в наших местах или вовсе нет, или ему на нас наплевать. А эти двое богов творят, что им вздумается. И нет такого человека, который вмешался бы в этот безжалостный произвол... Да, надо что-то предпринимать, чтобы наш край не зависел от погоды,— вот о чем я думаю, дядюшка Лайош.

— Хорошая мысль, братец, но как это сделать?..

— На примере луга мы уже показали, как.

— Там было легко, вода под рукой. А здесь?

— Когда-нибудь разгадаем и эту загадку.

Всходит солнце, по полю со стороны села движутся пестрые группы людей. Каждый берется за мотыгу там, где кончил работать вчера. И снова начинается упорный труд, чтобы к заходу солнца сегодня, как и вчера, и позавчера, и раньше, изменять лицо полей.

Постоянна и нескончаема эта работа на кооперативных полях; земля будто движется и меняет свой облик под ударами мотыги или под лапой культиватора. Нет неподвижности ни в земле, ни в растениях, ни в погоде. Солнце жжет, с работников пот льет ручьем, они просто не могут себе представить, чтобы на этой орошенной их потом земле не взошли благословенные плоды.

И у животноводов, и в строительной бригаде тоже все в движении, все меняется изо дня в день.

Издалека виднеется рубаха и белый, чисто выстиранный фартук старого Сильвы. Мастер суетится, вымеривая что-то планкой, строители уже выкладывают фундамент для свинарника: сейчас это самая срочная работа. Свиноматки поросятся вовсю, новорожденным поросятам нужно место.

— Эй вы, подержите-ка кто-нибудь шнурок! — распоряжается Сильва. Он в своей стихии; на нем лежит все строительство в кооперативе. Сильва строит свинарник, коровник, ремонтирует бывший барак для батраков и конюшню на четырнадцать лошадей, пожалуй, работы хватит на весь год.

С двух телег с грохотом сгружают бревна — их надо подвезти заранее, как кончат выкладывать фундамент, пусть они будут под рукой. Правда, не каждое бревно куплено на лесопилке, но этого старый Сильва не знает. Так же, как не знает он того, что недостающие бревна под косяки, перекрытия, стропила, продольные лежни собираются добыть в самой усадьбе, срубив деревья в парке там, где он переходит в рощу акаций. Не знает этого старый Сильва, да это и не обязательно. Ведь он подрядился работать за шестьдесят форинтов в день, и только. Не его дело, где возьмут материал.

Кто-то углубился в котлован уже по пояс, другой рядом все еще ковыряет землю на поверхности, третий держит конец шнура, а Сильва все меряет да вымеряет.

— Семь раз отмерь, один раз отрежь! — кричит он.

Теперь до самой осени, а то и до первого снега будет звенеть и гудеть от его голоса вся усадьба; тихого слова от мастера не услышишь.

Вскрыли яму для обжига. Кирпич еще не остыл, но его уже разбирают. Сейчас идет спор о том, складывать ли сначала кирпич в штабеля по две сотни каждый, как это обычно делают, или носить прямо к котловану.

— Зачем вам класть его в штабеля? — спрашивает Шаркези. Они с Бердешем уже здесь.

— Люди говорят, так полагается,— отвечает Рожи.

— Когда у кирпича много хозяев, удобнее, если он в штабелях — легче его сосчитать и заплатить мастеру поштучно за работу. Но у нас один хозяин — мы сами. У нас мастер получает поденно... Поэтому проще таскать кирпич прямо на стройку и складывать там... Но что нам делать с мастером, с господином Цинцером?

— Он и не уходит от нас, и не работает. Грозится нанять адвоката и подать в суд. «Засужу!» — кричит...

— Нам не страшно; мы ведь тоже придем на суд. Но все-таки поговорите с ним, пусть лучше возьмется за работу, тогда получит все, как с ним договорились. А как кирпич, хорош?

В ответ старик Шике берет в обе руки по кирпичу и, повертывая, показывает:

— Редко я видел на своем веку такой добрый кирпич,— говорит он.

Вокруг собираются люди, разглядывают, щупают кирпич. Старый Сильва тут как тут. Когда правление осматривает хозяйство, надо быть на виду.

— Кирпич-то добрый, только вот работать с ним плохо,— подходя, восклицает он.

— Это почему?

— Да потому, что он ломается, крошится!

— Но отчего же?

— Да бог его знает. Это мог бы объяснить мастер Цинцер, если бы захотел, да вот не хочет!

— А как ты думаешь, Рожи?

— Может быть... рано разобрали печь; кирпич не успел еще остыть. Может, и материал готовили плохо. А впрочем, так ли это? Откуда вы взяли, что наш кирпич ломается?

И Рожи, оглянувшись вокруг, поднимает с земли желто-красный брусок, стучит по нему пальцем — кирпич отличный, звенит, как стекло. Она вопросительно смотрит на окружающих и останавливает взгляд на Сильве.

— Бывает, конечно, попадается пара-другая неплохих, что и говорить...— вынужден признать он.

Люди молчат, поглядывают на разобранную печь, где кирпичи отливают разными цветами, словно начинка в слоеном свадебном пироге.

— Итак, все-таки неплох? — Шаркези улыбается и, взяв из рук старика Шике кирпич, любовно ощупывает его, поворачивая и так и сяк. Немало кирпичей прошло через его руки, когда он в свое время работал подручным у старого Сильвы.

А Бердеш пристально всматривается вдаль по направлению к парку. За ним оборачивается Рожи и Сильва, поднимают головы и люди, занятые на кладке фундамента. По аллее парка на велосипеде мчится Шари Фейер. Ее волосы и юбка развеваются по ветру. Подъехав, она соскакивает, вынимает из-за пазухи какую-то бумагу и торжественно докладывает:

— Телеграмма, товарищ Шаркези. И еще... звонил товарищ Кульчар.

— Что он сказал? — спрашивает Шаркези и распечатывает телеграмму.

— Спрашивал... получил ли уже товарищ Шаркези телеграмму?

Шаркези не слышит ее слов, как и Рожи, и остальные — все поглощены телеграммой.

— «В Советский Союз выезжает делегация крестьян...— читает вслух Шаркези,— из двухсот человек». В их числе и я...— Он протягивает телеграмму Бердешу.

На телеграмму хотят взглянуть все. Хотя из газет уже было известно о выезде крестьянской делегации, но о том, что и они примут в ней участие, никто даже не думал. А Бердеш тут же прикидывает, что будет означать для него, если Шаркези уедет сейчас, в самую страдную пору.

— Ну, а кооператив? Что с нами будет, братец?

— Ничего страшного не случится. Будете работать, как и теперь.

— Но товарища Шаркези у нас никто не может заменить! — заикается было Шари Фейер, но ее тотчас осаживает Рожи:

— Незаменимых людей не бывает. Нас тут останется достаточно. Поезжай, Имре, и будь спокоен.

Раз Рожи говорит так, значит, все в порядке. Шаркези еще раз пробегает глазами телеграмму и медленно, продолжая о чем-то думать, направляется к усадьбе.

— Пойдемте в правление. Надо потолковать.

В усадьбе уже оборудовано отделение конторы кооператива; это, собственно, означает, что на двери в бывшую столовую висит бумажка, на которой написано: «Контора»,— а окна в этой комнате раскрыты настежь.

Гурьбой все входят в дом, и даже старый Сильва присоединяется к ним, будто и он член кооператива. И больше того, будто Шаркези едет в Советский Союз и от его имени.

Кто присаживается, кто остается стоять, но все смотрят на Шаркези, который молча остановился у окна. Он думает о том, как прекрасно съездить в Советский Союз, хотя бы только за тем, чтобы все посмотреть. Но как же он может сейчас уехать, когда на чашу весов поставлена судьба кооператива? Когда все зависит от того, как возьмутся сейчас люди за дело, как уберут урожай, как будут продолжать строительство, сумеют ли, по крайней мере, четыре раза промотыжить хлопок, как управятся со свиньями и поросятами, во-время ли скосят горох. Сколько дел, сколько ответственности! Насчет членов правления, правда, нечего особенно беспокоиться: Бердеш сумеет справиться с людьми, Йошка Пап, Сито, Бенце и Лайош Кошут-Киш тоже в грязь лицом не ударят. Но все же возле них должен быть человек, который при любых обстоятельствах не потеряет головы.

Большинство, а особенно Йошка Пап, понимает, что не так-то просто обойтись без Шаркези, если он на несколько недель выключится из работы. Хотя и не Шаркези руководит кооперативом, но именно он часто спасал положение. Что же будет, если в самый разгар лета он вдруг уедет?

— Предлагаю, товарищи, выделить человека, ответственного за все летние работы,— говорит Пап.

— А тебе председателя мало? — вспыхивает Бердеш.

— Председатель это одно, но кто-то как его непосредственный помощник должен за всем наблюдать и обо всем заботиться. Предлагаю поручить это Рожи Шаркези. Согласны, товарищи?

— Почему же не согласиться? — говорит Бенце.

— Лучше и не придумаешь,— поддерживает его Сито.

Но Бердеш и Лайош Кошут-Киш молчат.

— Ну, а вы, дядюшка Бердеш?

— Я-то? По мне, отчего ж... пусть отвечает. Только... не вижу в этом большой нужды.

Шаркези тоже вступает в разговор:

— Сейчас больше, чем когда-нибудь, я хочу, чтобы вы, дядюшка Бердеш, правильно нас поняли. Речь не о том, будто мы на вас не надеемся. Но ведь вы сами лучше других знаете, что иной раз кажется, будто все в порядке, а откуда ни возьмись — бах: опять что-нибудь сваливается на голову. Вы председатель, у вас каждый день много заданий, а это значит, что всего сразу охватить вы не можете, а тем более не можете все предвидеть. Почему? Да потому, что у вас дел по горло. Вот почему нужен такой человек, у которого нет определенного участка на полевых работах, и поэтому ему легче обо всем позаботиться. Вот как, например, не было у меня. И видите, мы все же во-время провели рыхление, и неплохо, а ведь людей у нас было маловато. Так-то, дядюшка Бердеш...

Бердеш немного успокаивается и откликается уже веселее:

— А были и такие, как Шари Фейер... Только увидит мотыгу, чуть жива делается. А Модьороши и по сей день очухаться не может.

Люди смеются. Улыбается и Шаркези.

— Поймите, мы вынуждены так поступать! Ничего... Модьороши отлежится, а Шари Фейер тоже обижать не стоит: она ведь старается, но что делать, если мотыга не по ней. Одним словом, еще раз прошу вашего согласия, товарищи, чтобы меня замещала Рожи Шаркези.

— Ладно уж... Сам знаешь, человек иной раз и не так скажет,— гудит Бердеш.

Итак, все обошлось благополучно — Шаркези едет, Рожи поручают на время его отсутствия помогать Бердешу.

Все двести делегатов съехались в Будапеште, и после недолгих сборов, на другой же день, специальный поезд повез их в Советский Союз.

4

Рожи и Имре Шаркези женаты вот уже скоро двадцать лет, но около десяти прошли так, что они зачастую не виделись по целым месяцам. В тридцать седьмом году Имре призвали в армию и после двух лет службы отпустили домой. Но дома он не засиделся, его снова взяли на военную службу и в сорок первом году погнали до самой излучины Дона. Во время «великого бегства» он тоже бежал, пока не очутился в родных краях.

Тысячи, сотни тысяч солдат остались тогда лежать на заснеженных русских полях, но Имре вернулся домой. Сколько ему пришлось пережить, сколько смертей миновать, пока он добрался до родного порога! Он шел, борясь с жестоким морозом, спасаясь от артиллерийского огня, избегая немцев, забивших все дороги. Однажды ему вместе с десятью товарищами пришлось выдержать самый настоящий бой с отрядом эсэсовцев.

Шаркези хорошо знал, что за дезертирство полагается пуля в лоб, и поэтому вернулся в часть. Только в начале сорок пятого года он пришел домой в одежде трансильванского пастуха. С тех пор они с женой уже не разлучались. Но вот теперь он уезжает на три недели в Советский Союз, неделя уйдет на дорогу... целый месяц его не будет дома.

Четыре недели не бог весть какое время, зато он, если хорошенько ко всему присмотрится, действительно узнает новый мир, новые методы работы...

— Поезжай, Имре...— говорит Рожи и, не стесняясь дочерей, обеими руками обнимает его с любовью, которая, начавшись еще с первого дня их супружеской жизни, все сильнее и сильнее пламенеет в ее душе.

Имре ушел, и Рожи с тревогой встречает первый рассвет без него. За что ей теперь браться, с чего начинать?

Уборка подготовлена: в правлении на стене вывешен план. Четырехсотхольдовый клин, засеянный пшеницей, разбит на участки, и на каждом обозначено, сколько на него выделено косцов и вязальщиков. Беда лишь в том, что этот план трудно осуществим: за две недели нужно скосить все четыреста хольдов, за неделю свезти в скирды, чтобы сразу можно было взлущить стерню.

По плану предусмотрено сорок косцов и столько же вязальщиков. А сколько их будет на самом деле? Чтобы выполнить задание, каждой паре за две недели придется убрать, по меньшей мере, десять хольдов. Вот в этом-то и нельзя быть уверенным.

— А что если на время прекратить строительство? — говорит Бердеш.

— В таком случае успеем. Но, с другой стороны, и стройка должна быть закончена в срок. Если мы хоть на одном участке сорвем работу, все так спутается, что потом и концов не найдешь,— в раздумье отвечает Рожи. Она вызывает по телефону Кульчара и советуется с ним, как быть.

— Что вы делали во время прополки? — спрашивает Кульчар.

— Организовали соревнование между бригадами и в самих бригадах.

— Правильно! И теперь действуйте точно так же, иначе вместо того, чтобы руководить работой, вы окажетесь в хвосте событий.

Что ж, это верно, до того верно, что Рожи нечего возразить. Но и другие дела не терпят отлагательства уже хотя бы потому, что приходится слышать, как вокруг на все лады твердят: положено, мол, восемь часов спать, восемь часов работать, восемь часов отдыхать. Нужно разузнать, откуда идут эти разговоры? И непременно положить им конец еще до начала уборочной. Рожи присматривается к людям, к их работе, к их личной жизни и открывает то, чего до сих пор никто не замечал.

Вот у Шари Фейер, например, всего-навсего четыре курицы, но Рожи известно, что, несмотря на это, Шари часто жарит яичницу из четырех-пяти яиц. Садятся обедать они вдвоем с Лайошем Тержек-Вигом, на столе у них яичница и маринованная паприка... Шари Фейер говорит, что нет на свете ничего лучше этого блюда.

Рожи известно и то, что в это время года куры плохо несутся. Стало быть, Шари достает яйца где-то в другом месте. Но где? Только на птицеферме. Как же она туда попадает?

Клубок постепенно распутывается. Шари Фейер и Жужи Катона закадычные подруги, а Бежи Кадар, в свою очередь, дружит с Шари Фейер. Однажды утром Рожи слышит, как Шари зовет Кадар:

— Зайди-ка на минутку, Бежи!

Бежи Кадар выходит из конторы; и некоторое время спустя возвращается, вытирая на ходу рот.

В этот момент Рожи ничего не говорит девушке, зато на другой день спрашивает:

— Ты что, столуешься у Шари Фейер?

— Да, мне необходимо поправиться,— пытается отшутиться Кадар.

Тогда Рожи направляется к Шари Фейер.

— Послушай, Шари! Ты получаешь яйца с птицефермы?

— Получаю, потому что... часто кто-нибудь приезжает из уезда или из области, и товарищ Бердеш направляет их ко мне с наказом накормить...

Словом, положение сразу становится ясным. Значит, якобы для гостей забирают с фермы яйца и проделывают это так, что лучше и не придумать. Однако исчезают не только яйца, но и куры, гуси, утки. На днях зарезали курицу. Жужи Катона утверждала, будто курица была с изъяном. Если приезжих из уезда или области угощают куриным бульоном, им кажется, что это в порядке вещей. Ведь они видели в кооперативе немало всякой живности. С ними как-то раз обедал старый Бири; и он считал, что так и должно быть.

— Плохо хозяйничаешь, Шари! Ты не сердись, но я обязана сообщить об этом кому следует.

Шари Фейер уставилась на нее своими большими, невинными глазами и тут же расплакалась, как ребенок, который напроказничал. Плакала стоя, неподвижно, не закрывая лица. Оно у нее и так бледное, но сейчас, когда по нему катятся слезы, кажется еще бледнее.

— Ну, не плачь, ведь из-за этого свет не рухнет. Но ты пойми, я должна об этом сообщить, потому что не только вы любите яичницу; а кроме того, мне кажется, что тут есть и такие, которые любят не только яйца, но и кое-что поосновательнее.

Рожи приходится поговорить об этом и с Жужи Катоной. Та, ничего не скрывая, с перепугу рассказывает, что весной Балаж Фюрес унес домой для своей свиньи полкруга жмыхов.

— Что вам об этом известно, дядюшка Монок? — спрашивает Рожи у старика.

— Я знаю только, что... его свинья без этих жмыхов подохла бы с голоду,— просто отвечает старик.

— Говорите, подохла бы?..— в раздумье повторяет Рожи и направляется домой к Фюресам.

Но Балажа нет, дома только жена. Она начинает оправдываться:

— Что эти жмыхи? Пустяки! А почему вы не замечаете, что Бени Гуяш частенько тащит домой бидоны молока, говоря, что несет деткам водичку.

У Рожи стынет кровь в жилах. Ведь эти мелкие хищения начинают разрушать кооперативное хозяйство, и, если немедленно не положить им конец, они могут разрастись и представят серьезную опасность!

Нет, здесь одними упреками и увещеваниями каждого в отдельности не обойдешься! Этот вопрос надо поставить перед правлением. Но ведь в правление входят и Фюрес, и Бежи Кадар, и Бени Гуяш, то есть те, у кого рыльце в пушку. Правда, имеется и партгруппа! Стало быть, надо ее созвать, тем более, что следует обсудить мероприятия, связанные с уборкой. И вопрос о хищениях немаловажный. С чего же начать собрание?..

Начала она с вопроса о воровстве. И вот что выяснилось.

На днях о хищениях узнал и Сито, но не стал поднимать это дело до возвращения Шаркези; собственно говоря, все это мелочи, ведь как никак, а надо же принимать приезжающих в кооператив гостей. Но у Яноша Форраша на этот счет другое мнение:

— Точно так же бывало, когда в прежние времена приезжали уездные начальники, чиновники налогового управления или другие важные персоны. Помещики, сельские богатеи и писаря принимали их и угощали. Но даже тогда это считалось взяткой. А ведь теперь к нам приезжают люди не по милости божьей, а по долгу службы, точно так же, как мы выходим, скажем, мотыжить или косить. Стало быть, никакого угощения никому не полагается.

Это во-первых. А во-вторых, у кого нет кормов, тому нечего держать свинью. Пусть Фюрес продаст ее или прибьет топором, но отсюда не имеет права брать ни соломинки! — последние слова он произносит, все больше и больше распаляясь.— Что же касается истории с молоком у товарища Гуяша, нужно будет проверить удой коров на ферме. Если он не будет повышаться, немедленно отстранить товарища Гуяша, перевести его в полеводческую бригаду или куда-нибудь еще, но чтобы он не смел даже приближаться к молочной ферме. Тем, кто таскает яйца, вынести порицание, Балажа Фюреса наказать, Бени Гуяша предупредить!

Да, уж этот Форраш попал не в бровь, а в глаз! Но вот молодой Кеньереш задает вопрос:

— Скажите, товарищ Фюрес, на сколько бы вы оштрафовали другого за недостачу жмыхов?

Балажу Фюресу до того стыдно, что он готов сквозь землю провалиться.

— Один круг жмыхов стоит... около двенадцати форинтов, я думаю, что... сто форинтов штрафа было бы справедливо...— отвечает он.

— Вот видите, именно так. Остальное сами понимаете.

Фюрес понимает, но, тем не менее, при мысли, что скажет на это жена, бледнеет. Правда, жмыхи он унес домой по ее настоянию, но она такая женщина, что теперь не станет с этим считаться: для нее важны только деньги, эти самые сто форинтов.

Шари Фейер, Жужи Катоне и Бежи Кадар решено вынести общественное порицание на собрании членов кооператива. А теперь можно перейти к обсуждению вопроса об уборке урожая.

Бердеш докладывает о плане и отмечает, что при таком количестве косцов и вязальщиков нет полной уверенности в том, что удастся в срок закончить уборку. Но пусть товарищи выскажутся...

— Теперь положение иное, чем во время рыхления,— начинает Лайош Кошут-Киш.— Снимать людей неоткуда. Косцы и вязальщики пусть хоть разорвутся на части, а должны за две недели убрать четыреста хольдов. Они и уберут. Весь секрет в том, чтобы хорошо организовать соревнование,— я думаю, это каждый понимает.

Но среди присутствующих находятся и такие, которым создавшееся положение не кажется настолько простым. В особенности тревожит оно Кароя Ханадя.

— Как мне известно, наша страна получила из Советского Союза несколько комбайнов. Не могли бы мы попросить для уборки один из них? — обращается он к Бердешу.

— Почему именно мы должны получить комбайн?

— А что мы, хуже других?

— Но имеются же более достойные. Со временем, конечно, и мы заслужим.

Люди расходятся с единым мнением, что только соревнование поможет закончить в срок уборку и этим спасет пшеницу.

Рожи Шаркези успокаивается. Но остается нерешенным довольно серьезный вопрос о старом Сильве, руководителе стройки.

С ним в общем случилось то же, что и весной с Цинцером. Он так же подрядился поденно, думая, что будет работать с прохладцей, не спеша понемногу ковыряться в одиночку. Но не вышло!.. На стройку собралось сразу столько народу, что сам господь бог и тот не смог бы определить каждому место. Тем не менее Сильва против этого не возражал и предоставил членам своей многочисленной бригады самим возводить стены, никому ничего не объясняя и не руководя работой, хотя именно это он должен был делать и со всей строгостью. Когда же кто-нибудь неправильно укладывал кирпичи, он просто подходил с другой стороны и в один миг сбрасывал их. Работник начинал опять все сначала, не будучи уверенным, что мастер снова не разбросает его кладку. При таком методе строительство могло растянуться и на целых два года.

Не успели вырыть котлован под фундамент, не успел старик пронивелировать и разок-другой крикнуть, чтобы подавали кирпич, как два человека, словно заранее сговорившись, прыгнули вниз. Взяли в руки по кирпичу и, следя за тем, что делает старый Сильва, принялись их укладывать.

— Что вы делаете? — недоумевая спросил старик.

— Мы-то? Стенку выкладываем.

— Какая это стенка?.. Это не стенка, а фундамент! — прикрикнул на них старик. Он и не подозревал, что тем самым уже их учит.

И с Цинцером еще не все в порядке. Рожи пыталась поговорить с ним по душам, но ничего не вышло. Когда люди уже почти самостоятельно научились делать все: формовать кирпичи, ставить их на просушку, укладывать в печь и обжигать,— Цинцер шатался от навесов, где сушился кирпич, к селу и обратно, но за работу не принимался.

— Товарищ Цинцер, возьмитесь, наконец, за дело! — говорила ему Рожи.

— Не возьмусь, пока не выясним, кто будет формовать кирпич: ваши бригадники или я,— и он задирал кверху голову и смотрел куда-то в пространство.

Рожи не настаивала: всему придет свое время. Но старого Сильву надо прибрать к рукам теперь же; время для этого давно пришло.

Задняя часть фундамента уже поднялась над землей; строители как раз натягивали шнур, когда позади них остановилась Рожи. Двое держали шнур, а старый Сильва клал направляющий кирпич. Дело это не простое: кирпичи укладываются во всю длину, один возле другого, затем их пристукивают ладонью и выравнивают с таким расчетом, чтобы между кирпичом и шнуром оставался маленький зазор. Если его нет, стена либо завалится назад, либо выпрет вперед.

— Хорошо! — громко говорит старик, посматривая при этом на Рожи.

Шнур падает вдоль стены, и один из укладчиков сматывает его, как женщины пряжу. Подносчики кирпича, ожидавшие этой минуты, разом с грохотом опорожняют носилки; слышно, как скрипит тачка с раствором. Старый Сильва между тем лезет в карман, достает табак, но пальцы его перевязаны тряпкой... Каждый раз, пока он еще не привыкает к работе, Сильва всегда отбивает себе пальцы. Сейчас он хотел бы скрутить цыгарку, но все его попытки неудачны.

— Давайте сюда, дядюшка Сильва, я вам помогу! — дружески обращается к старику Рожи, подходит к нему, берет табак и бумагу. Она умело скручивает цыгарку, склеивает ее, не спуская пристального взгляда со старика. Потом протягивает ему готовую цыгарку.

Сильва торопливо достает зажигалку, закуривает, глубоко затягивается, и вот уже из-под седых, пожелтевших усов вырываются клубы дыма.

— А ну, давай, ребята, нажимай,— командует Сильва,— а то скоро шабашить будем... суббота... Подавайте кирпич, раствор, чего бездельничаете?

Рожи успокаивается. Сердце ее наполняется какой-то удивительной теплотой. Какие хорошие, понятливые эти люди, стоит только подойти к ним с лаской и умом.

Во время обеденного перерыва она снова возвращается на стройку, отзывает в сторону старого Сильву и начинает серьезно объяснять ему, насколько важно для кооператива это строительство. Если оно не будет закончено в срок, сорвется весь их план. Именно поэтому она и хочет узнать у него, как у опытного человека, удастся ли к концу уборочной подвести под крышу хотя бы свинарник?

Старик отвечает не спеша, взвешивая каждое слово, перечисляет людей, кого, по его мнению, нужно поставить на кладку стен. Словом, за ним остановки не будет.

На другой день старый Сильва даже не уходит после работы домой, а остается ночевать тут же, в усадьбе. Вечером он варит себе в казанке лапшу и начинает рассказывать собравшимся всякие истории. Человек он бывалый, знает уйму разных небылиц из жизни ремесленников, много ездил, многое сохранил в памяти, да помимо всего прочего весельчак, любит пошутить — в вечерний час усадьба всегда оглашается хохотом.

Но если с Сильвой удалось договориться и он с честью проведет всю работу до конца, то с другими ремесленниками дело обстоит сложнее. Кузнец, например, совсем не хочет иметь дела с кооператорами. Правда, иногда берет работу, но, пока до нее доходит очередь, она уже кооперативу не нужна. А с тех пор, как началось строительство, кузнечных работ становится все больше и больше: то нужны скобы, то болты, то еще что-нибудь. Никогда

заранее не знаешь, что понадобится, а как потребуется — немедленно подавай! Один из строителей только тем и занимается, что ездит на велосипеде из села в усадьбу и из усадьбы в село, то есть либо в кузницу, либо обратно. Есть, правда, в селе еще два кузнеца, но и с ними сговориться не легче.

Однажды поздно вечером Михай Бири уже скинул было сапоги и собирался лечь, как кто-то постучал в дверь.

— Войдите! — отзывается старик, расправляя на коленях портянку. В комнате темно, но через окно проникает яркий лунный свет.

Входит Рожи Шаркези, с ней Бердеш.

— Не спите еще, дядюшка Михай?

— Где там, только собираюсь,— и Бири переступает с ноги на ногу, так как на бетонированном полу холодно стоять. Затем, спохватившись, быстро натягивает сапоги.

— У тебя инструмент есть, дядюшка Михай? — спрашивает Бердеш.

— Какой инструмент?

— А чорт его знает какой!.. Одним словом, инструмент... молоток, щипцы, ну и все прочее.

Улыбаясь, Рожи объясняет, в чем дело. Оказывается, они не смогли договориться ни с одним кузнецом, а кузнечной работы здесь, на строительстве, хоть отбавляй!

Старый Бири на сей раз впервые рад тому, что в жизни ему приходилось иметь дело с паровыми машинами: ведь поэтому он и знает кузнечное ремесло. Инструменты у него имеются всегда под рукой, а как же иначе? Ведь когда он раньше переходил на работу из имения в имение, у него всегда оказывался и новый инструмент. Словно он заранее знал, что когда-нибудь организуется кооператив «Свобода» и его инструменты пригодятся.

— Остановка только за углем,— говорит он.

— Каким углем?

— Древесным.

— В лавке продают уголь для утюгов.

— И он подойдет. Но, пожалуй, мы и сами можем его обжигать.

— А вы, дядюшка Михай, умеете?

— А почему бы нет? Я все умею, иной раз даже сам себе не верю, что это так, доченька.

Сердце Рожи снова наполняется чувством радости. Вот человек, который так много знает. Весной истребил свекловичных блох, потом не успокоился, пока не соорудил крупорушку, а сейчас вот разрешает важный для кооператива вопрос о кузнечных работах. Все, что старик знает, он знал и раньше, но всегда был беден, как церковная мышь. Как же несправедлива была в прошлом жизнь к людям!

Во дворе, поросшем травой, нет-нет да и вспыхнет огонь костра. Старый Сильва рассказывает свои юношеские похождения... Как-то раз варили они на хуторе лягушечьи лапки. Подходит мо-

лодая хозяйка. Ей сказали, что в казанке варится куриная ножка, а она возьми и попробуй!..— И Сильва сам хохочет громче всех.

Балаж Фюрес пытается вставить слово. Ему хочется рассказать до конца о своих приключениях в плену, но никак не удается: все не находится случая. Может быть, ему повезет сейчас...

К костру подходят Лайош Бердеш, Рожи Шаркези и Михай Бири. Они останавливаются, и Рожи бочком усаживается на траву.

На этот раз Балажу Фюресу опять не повезло,— старый Сильва при виде гостей принимается рассказывать новую историю. Но она такова, что сидя ее не рассказать; поэтому старик встает.

Балаж Фюрес подбрасывает в огонь дровишек (на стройке в них никогда не бывает недостатка), и старый Сильва, освещенный пламенем, продолжает свое повествование. Он рассказывает о том, как однажды работал с одним пьяницей каменщиком, который вечно был пьян. Денег у него, разумеется, никогда не было, он клянчил их у товарищей по работе, а те, конечно, не давали. Как-то раз работали они в церкви. Священник оказался тоже беспробудным пьяницей, и они стали пить на пару. Пили до тех пор, пока поп не пошел в отхожее место и там заснул. Была у его преподобия дочка, красавица Шари. И вот эта самая Шари, стоя возле дверей уборной, умоляла отца отозваться, а пьяный каменщик, следуя за ней по пятам, требовал: «Барышня, дайте в долг пять медяков!» С одной стороны — пьяный отец в отхожем месте, с другой — пьяный каменщик, который увязался за ней... А в это время ее матушка принимает у себя молодого капеллана... Бедная девушка! А ведь она была красавица, ничего не скажешь,— наскоро заключает старый Сильва и после неудачной попытки самому скрутить цыгарку широким жестом протягивает Рожи табак и бумагу.

Рожи улыбается, свертывает цыгарку и подает ее старику. Сильва подсаживается к костру, берет уголек, перекатывает его на ладони и прикуривает.

На луну здесь никто не обращает внимания, никто и не заметил, что она внезапно исчезла. В ветвях деревьев зашумел ветер. В испуге заплакали тополя, заскрипели, заохали липы, тревожно засвистели сосны, с запада по небу неслось большое черное облако. Сверкнула молния, затем раздался гром. Страшный удар расколол небо над усадьбой, и над землей загромыхали грозные раскаты. В селе уже хлестал дождь. Все кинулись под навес бывшего барского дома.

Хлынул ливень, да такой, что в одну минуту во дворе образовалось целое озеро.

5

После проливного дождя с грозой целый день было прохладно; по небу блуждали встревоженные рваные облака, но к вечеру небо очистилось, и на другое утро снова ярко засияло солнце.

Лайош Кошут-Киш ежедневно приносил с поля колосья — то заткнув за ленту шляпы, то в руке, словно букет цветов. А в правлении по вечерам их рассматривали, растирали в ладонях, пробовали на зуб зерна.

Все чаще звонили из уездного сельскохозяйственного отдела, торопили со сводкой о подготовке к уборочной, по телефону и в циркулярах снова и снова разъясняли, когда и как нужно ее начинать. Циркуляры настойчиво твердили о том, что необходимо дождаться восковой спелости кукурузы, напоминали, что партия выдвинула лозунг: «Бороться за каждое зерно пшеницы!»

— Будто мы никогда не убирали урожая!..— досадует Бердеш.

— Ничего, это для тех, кто не убирал,— успокаивает его Лайош Кошут-Киш. Растирая пальцами пшеничный колос, он поднимает голову; взгляд его устремляется куда-то вдаль, далеко за пределы двора, дома и села...

Хоть и с трудом, но все отчетливее крепнет в нем сознание, что, убирая свой хольд пшеницы, он вместе с тем убирает и все четыреста. Четыреста хольдов или пшеница всего земного шара — это уже не существенно, их урожай сейчас — это урожай мира или... собственно, не так-то просто все это объяснить... Только бы удалось выразить свою мысль словами так, чтобы ее поняли!

Подобное чувство возникало у него уже в девятнадцатом году, когда он шагал с меркой в руке вдоль помещичьих полей, будто обмерял весь свет. Пусть за эти долгие годы ему пришлось перенести много лишений и горя; тем более ценны цветы радости, распускающиеся в душе теперь.

Но убрать четыреста хольдов пшеницы — это огромная, ответственная задача. Все-таки надо вызвать из уезда агронома; — пусть он посмотрит и скажет, когда начинать уборку. Впрочем, он приедет и так, сам пойдет бродить по полям, сбивая утреннюю росу и далеко углубляясь в пшеничный клин. Если на кооперативе лежит большая ответственность за уборку, то и на агрономе не меньшая. Ведь сколько хлеба окажется на столе у трудящихся, это зависит не только от того, как посеяли, но и как убрали. Если агроном упустит время и с каждого хольда снимут хотя бы на полцентнера меньше, то по всей стране это составит огромную цифру. А вдруг к началу уборки пшеница недозреет или, наоборот, перезреет — беда, которую в этом году уже не исправить.

— А вы что скажете, товарищи? — уже на следующий день спрашивает агроном, стоя на краю поля вместе с Кошут-Кишем, Бердешем, Сито и Йошкой Папом.

Лайош Кошут-Киш готов ответить, что пора браться за косу немедля, но помалкивает. Пусть раньше скажут те, кто помоложе. Йошка Пап в раздумье мнет колос, затем, раскрыв пальцы, сдувает шелуху; на ладони остаются чистые зерна.

— Пожалуй, надо бы пару деньков обождать... но тогда мы не управимся за две недели и неубранная пшеница осыплется. По-

этому лучше начать завтра же, с утра. А ты что скажешь, товарищ Сито?

— По-моему, правильно. В стебле сейчас столько силы, что зерно дозреет и в снопах.

— Тогда нечего мешкать, начнем косить! Пусть дядюшка Лайош сегодня же соберет звенья, даст задание, чтобы люди привели в порядок косы, а утром начнем.

Странное существо человек! Вот и сейчас — все так ждали уборку, а теперь, когда надо ее начинать, у них будто руки опустились, словно они что-то потеряли.

До конца дня успели оповестить всех, кто должен завтра выходить в поле, а сегодня еще занят на других работах. Пока их места будут пустовать, но это не смущает правление: придется лишь провести перестановку в звеньях.

Время уже перевалило за полдень, пока все собрались. До самого вечера отбивали, точили косы, прилаживали к ним грабли.

— Ну, голубушка, потрудись-ка последний раз в жизни! Больше не придется,— расчувствовавшись, говорит Лайош Кошут-Киш, вешая отбитую косу на ветку тутовницы.

Его сосед, любопытный старичок, чутко прислушивается ко всему, что делается за забором, у Лайоша, и чуть что сейчас же заглядывает к нему на двор. Сейчас он спрашивает загробным голосом:

— Ты что, Лайош? Уж не собрался ли на тот свет?

— Чорт пусть собирается, а я пока погожу, не время... А вот коса моя свое откосила, это верно. На будущий год за нее будет комбайн работать.

Вечером опять заседание правления. Надо было договориться, в котором часу начинать, когда кончать работу и, самое главное, определить дневную норму и условиться, как организовать соревнование.

А договориться не так-то легко: у каждого свое мнение. Один, к примеру, говорит: «Хватит пока на пару косцов и тысячи двухсот квадратных саженей, не у всех силы одинаковы; есть косцы и послабее». Другой доказывает, что эта норма недостаточна: они не управятся в две недели, пшеница перезреет и осыплется.

Косцы посильнее доказывают, что тысяча двести саженей — это мало. Те, что послабее,— наоборот, считают, что много.

— Ничего, пусть каждый выучится косить как следует,— заявляет, скорее выкрикивает, Кеньереш.

Ведь каждый крестьянин знает: чтобы косить, нужна не столько сила, сколько добрая коса и сноровка. Как держать косу, когда опускать острие, когда нажимать на пятку, как отмахивать...

— Зачем же учиться тому, что нужно только на этот год? Ведь будущей осенью мы уже будем косить по-другому,— шутливо замечает Модьороши. Если не все, то большинство кооператоров понимают, что он намекает на комбайн.

— Ну, ежели человек чему-нибудь раз научился, как знать,

где он сможет применить свою науку,— назидательно говорит Лайош Кошут-Киш и скребет подбородок, будто у него от мудрости выросла борода.

Именно потому, что нелегко договориться, норма остается прежней — тысяча двести саженей.

Косцы и вязальщики разбиваются на четыре звена. Тянут жребий; звеньевым первого звена выпадает быть Яношу Форрашу, второго — Лайошу Кошут-Кишу, третьего — Йошке Папу, четвертого — старику Шике, тому самому, что вступил в кооператив «на католической основе».

В заключение уславливаются, что на рассвете все соберутся у моста, возле памятника святому Яношу Непомуке, разделятся там на звенья и двинутся в поле.

Наступает утро. Из-за дальнего края нивы встает солнце, но отсюда кажется, будто оно вырвалось прямо из колосьев, где томилось всю ночь и ждало только, когда же косцы выйдут ему навстречу. В косых солнечных лучах пшеница чуть колышется, как желтое море, и сами лучи, отражаясь от миллионов колосков, словно становятся еще желтее. Над огромным простором, как синий шелк, натянуто небо. Косы вспыхивают, сверкают на солнце. (Правда, есть и такие, что сплошь покрыты ржавчиной. Ну, да ничего, уж их отполируют эти четыреста хольдов!)

Замеряют дневную норму уборки. Это идет легко: у многих шаг точно полсажени. Снова тянут жребий, и вот уже звеньевые с косами на плечах, глядя прямо перед собой, врезаются в стоящую перед ними стеной пшеницу — здесь исходный рубеж сегодняшнего наступления.

— Вот мы и начали уборку, дядюшка Бердеш,— стоя на дороге, мечтательно произносит Рожи Шаркези.

— Да, дочка, начали... Давай теперь сходим на кукурузу,— предлагает Бердеш.

— Ну что ж, пойдемте. Сколько там сейчас занято упряжек?

— Три.

Они идут рядом по извивающейся змейкой дороге, между ними на ухабах подпрыгивает велосипед; издали кажется, будто его никто и не ведет, а едет он сам по себе.

По окрестным полям разносится весть, что кооператив «Свобода» начал уборку. Ничего особенного не говорят, просто передают из уст в уста сам факт, но так многозначительно, будто еще могут возникнуть всякие неожиданности. Весть об этом достигает и села, но, как видно, не останавливается и там.

Еще только начало девятого, а в правлении уже начинает трещать телефон, трещит долго, пока не замолкает. Подойти некому — Пирошки еще нет в конторе, она придет только к полудню. Немного погодя опять звонок, но на этот раз в контору входит Шари Фейер.

Она с утра расположилась на крыльце и латает или, точнее, учится латать мешки для зерна. Перед ней высится целая гора

мешков — часть принесли из дому члены кооператива, и понятно, что большинство из них — сплошное рванье. Много мешков получено из области; эти выглядят так, будто их только что отгладили, но перед тем довольно долго они пролежали в кладовой и какая-то подлая мышь изрядно их погрызла. Или уж очень она была зла, или очень голодна, но столько вреда никакая мышь не причинит просто так, ни с того ни с сего... Залатать двадцать мешков в день — такова норма... Сейчас Шари Фейер еще не знает, сможет ли она ее выполнить; подойдет вечер, тогда видно будет. А пока надо бежать к телефону — трещит, не унимается.

Звонят из уезда. Но это не Кульчар, а из сельскохозяйственного отдела.— Уборку начали?..— Да, сегодня начали... Желаете успеха?.. Хорошо, спасибо...— И Шари Фейер возвращается к своим мешкам, но не надолго — через минуту она опять вскакивает: телефон снова трещит.

На этот раз звонок из области. Сам товарищ Фонадь интересуется, как дела.

— Сабадшаг, товарищ Фонадь! Это я, Шари Фейер. Ах, как давно я вас не видела...— на каждое слово у Шари десять, целый поток...— Почему я не в поле? Должен же кто-нибудь оставаться в правлении, да и потом, важное дело... я чиню мешки... Хорошо, завтра утром сообщим вам о результатах первого дня, а дальше будем докладывать ежедневно.

Да, результат — это главное, в нем смысл всей борьбы! А итоги за день вполне приличные, даже хорошие. Больше всех успело третье звено; первое отстало из-за того, что в одном месте полегла пшеница. Второе звено так и осталось вторым, видимо, потому, что в нем немало слабых косцов. Четвертое оказалось последним — не могут же все быть первыми.

— Ну-ка, поднажми, носатая! — восклицает Модьороши, чувствуя, что дело неладно, и желая подбодрить себя шуткой. При взмахе он расслабляет руки и напрягает их лишь тогда, когда жало косы наталкивается на нетронутые стебли. Ничего не поделаешь, это тебе не табачок растить!

Звеньевые идут впереди; взгляд на некошеную полосу, взгляд на косу — и пшеница ровно ложится валками сбоку, стебелек к стебельку, ни один не высунется поперек.

Лайош Кошут-Киш далеко выбрасывает косу — она у него хоть куда: срезает сразу на полметра, а размах ее добрых полторы сажени... Так идут они, шаг за шагом, будто впереди их ждет какой-то сюрприз или большая радость.

Но, как говорится, только конец делу венец... Первые два-три порядка идут дружно, потом звено начинает растягиваться; одни уходят вперед, другие отстают: тут уж видать каждого — какой он работник. Кто не так глубоко опускает косу, как начинал, кто потихоньку укорачивает взмах, хотя делает вид, что ничего не изменилось, и продолжает косить как ни в чем не бывало.

Во втором звене творятся странные вещи. Большинство поглядывает то на Лайоша Кошут-Киша, неутомимого, отличного косца, то на Модьороши, самого слабого в звене. Уж если человек не может угнаться за лучшим, то, по крайней мере, должен быть впереди слабейшего, и это неплохо.

— Нажимай, носатая!..— снова подбадривает себя Модьороши.

Ему приходится посматривать, как бы не отхватить полпятки идущему впереди вязальщику. Он готов ликовать — от былой усталости нет и следа: видно, за последнее время он славно отъелся и отдохнул в усадьбе, ухаживая за поросятами. После первого порядка у него заныла селезенка, но — клин клином вышибай! — от чего заболело, от того и прошло.

Соревнование началось только на третий день. Хотя молодежь успела завоевать в глазах стариков достаточно большой авторитет, но стоило начать уборку, как он заколебался. Здесь на уборке главная сила — старики: косят-то они, а вязальщики — по преимуществу молодежь — это только вязальщики, как было и в прежние времена. Если косцы о чем-либо говорят или спорят, вязальщикам вмешиваться не полагается. Все так же, как восемь или восемьдесят лет назад... Одно беспокоит и обижает стариков: вязальщикам насчитывают за день не половину платы косца, как бывало раньше, а целых три четверти трудодня.

— Пусти свинью в огород!..— ворчит под нос старик Шике; но высказывать свои мысли вслух он не решается. Подождем, мол, что скажут другие. Но и другие помалкивают. Люди чувствуют, что новый режим должен что-то принести и вязальщикам. Но кое-кому это не по вкусу.

— Прикуси язык, щенок! — прикрикивает Бени Фекете на Пишту Сито, когда часов около десяти тот предложил Фекете скосить еще один порядок и только после этого начинать вязать.

Пишта Сито вспыхивает от обиды. Хоть бы один человек заступился за него, но такого не нашлось; кое-кто даже рассмеялся. Эх, исполнилось бы ему шестнадцать!.. Но где там! Ему всего пятнадцать лет. Глаза его полны слез от стыда, он бредет к Эстер Мольнар, которая стоит с другими ребятами по ту сторону дороги. Мужики закуривают, отдыхают.

— И есть же еще такие грубияны! Ничего, не горюй! — ободряюще говорит Эстер Мольнар и отходит с ним в сторону.

Но обида Пишты Сито передается и другим ребятам. Сделать они, конечно, ничего не могут, только Кари Шерфезе, которому даже еще нет четырнадцати, кричит Фекете:

— Погоди, щенок еще вырастет!

Фекете, выругавшись, делает несколько шагов по направлению к мальчику, но Шерфезе удирает.

— Да не трогай ребят! — заступается Кошут-Киш.

Кое-кто начинает злиться на Фекете, но что толку: слово не воробей, вылетит — не поймаешь! Да, бывает такое в поле, бывало

и раньше: и в прошлом году и сто лет назад. Но ведь тогда вязальщики не были членами Союза трудящейся молодежи! Поэтому вечером, после работы, они проводят небольшое собрание, здесь же, посреди пшеничного поля, под сверкающими звездами.

На другой день рано утром, когда все снова вышли в поле, вязальщики помалкивали, даже не переговаривались между собой.

День выдался жаркий, было душно, вот минуло уже десять часов, а работа не прекращалась; скошенной пшеницы становилось все больше... Половина одиннадцатого, одиннадцать, словом, косили до тех пор, как вчера предлагал Пишта Сито. Затем немного передохнули, выкурили по трубке и начали вязать.

Кое-кто из косцов между делом поглядывает на небо: не разразилась бы гроза, не разметала бы это море снопов... Но небо безоблачно, солнце палит вовсю, и стерня едва не дымится. В горячем воздухе стоит неумолчный стрекот кузнечиков.

Пока мужчины попыхивают трубками, отложив косы так, чтобы кто-нибудь невзначай не наступил на них, Эстер Мольнар отзывает в сторону Пишту Сито.

— Послушай, Пишта, я ведь тебе ничем не могу помочь. Сама только учусь вязать...

— Не беда, Эсти, другие помогут. А ты становись рядом со мной и смотри, что я буду делать. Ничего, я еще отплачу Фекете, да и всем остальным...

— Эй, начали! — кричит Лайош Кошут-Киш, и вот он уже пошел.

Вязальщики тотчас поднимаются, и через две-три минуты все уже на своих местах.

Вопрос только в том, кому труднее, кто делает больше движений — вязальщики или косцы?

Конечно, вязальщики! А этот Фекете посмел сказать Пиште Сито: «Прикуси язык, щенок!» Эх, и отплатит ему за это Пишта!

Пишта Сито вяжет первым трем рядам, но как! Не просто как ловкий вязальщик, не как спокойный ветерок, он словно ураган! Наблюдателю со стороны виден только вихрь взметывающихся друг за другом валков — мелькнул и исчез.

Рядом с Пиштой идет Эстер Мольнар. Она прилагает все усилия, чтобы выдержать этот темп, но ей так жарко, что кажется, вот-вот все тело вспыхнет огнем. Она боится отстать от Пишты, но постепенно осваивается, руки ее делают все меньше и меньше лишних движений, свясла и колосья уже словно сами тянутся к ней, и кажется, будто даже земля под ногами старается ей помочь... Если она и отстала, то не намного, и расстояние это уже не увеличивается. Те, кто следует за ней, то обгоняют ее, то отстают.

Старики искоса поглядывают на вырвавшуюся вперед молодежь. Им трудно ускорять движения, но приходится: стыдно все

же плестись в хвосте. Кое-кто из стариков еще пытается тянуться за ребятами, но большинство безнадежно отстало.

— Что, прикусил язык? — теперь уже насмехается Пишта Сито. Правда, он обращается не к Фекете — тот далеко позади,— а в пространство, затем поворачивает назад и вяжет соседние три порядка. Остальные ребята равняются по нему. Да, еще никогда не бывало на этом поле, чтобы молодые вдруг подняли мятеж и восстали против издавна сложившихся обычаев на косовице, которых держались старики.

Обратно ребята движутся в том же темпе, и для Фекете остается одно лишь утешение:

— Мóлоды еще, поясница-то у них без костей! — пытается он сказать, но, смертельно уставший, произносит шопотом что-то нечленораздельное.

— Ну, кто из нас прикусил язык? — опять злорадствует Пишта Сито, поддавая жару — сноп сюда, сноп туда... Снопы тяжело плюхаются друг на друга, и кажется, будто в колосьях звенит налитое зерно.

Стоит чему-нибудь случиться в поле, как об этом тотчас же узнает вся округа. Иначе и быть не может: так и весть о «восстании» ребят быстро добежала до строителей, и Рожи Шаркези расцветает в улыбке. Она долгим взглядом смотрит туда, в сторону пшеничного поля,— так бы, кажется, обняла и расцеловала этих задорных мальчишек.

...А поздно вечером в правлении вместе с Бердешем и Кошут-Кишем она подсчитывает итоги дня. Итоги эти поистине удивительны. Больше всех скосило звено Лайоша Кошут-Киша, но, как ни считай, на всех остальных косцов тоже пришлось по хольду на каждого. А это великое дело! Теперь только надо стараться удержать этот результат, и тогда не пройдет и двух недель, как вся пшеница будет убрана.

Уже поздно, десятый час. Больше всех утомился Кошут-Киш, ведь он целый день махал косой, вязал снопы да выкладывал крестцы, но эта усталость не кажется ему тяжелой — она разливается по телу, будто тихая, нежная музыка. Даже губы его нет-нет, да и дрогнут в усмешке — вот желторотые сосунки! Так обскакать взрослых!

— Ну, ладно. Пора спать. Завтра тоже подниматься чуть свет...— негромко говорит он и встает со скамьи.

В этот момент раздается телефонный звонок. Мгновение все трое смотрят на аппарат: таким чужим и странным кажется сейчас, поздно вечером, после трудового дня, этот звонок. Бердеш подходит к телефону, снимает трубку, брови его поднимаются от удивления.

— Москва...— растерянно говорит он и протягивает трубку Рожи Шаркези.

Рожи машинально прикладывает трубку к уху, и лицо ее светлеет. Она не знает, что говорить, не знает даже, что хочет сказать,

но слова вдруг полились сами собой. ...Глаза ее устремлены куда-то в бескрайнюю даль.

— Боже мой... Имре! Да откуда ты говоришь? Из Москвы? Москва...— на минуту она замолкает и слушает, и глаза ее раскрываются все шире и сияют особенным, чудесным светом. Наверное, Имре засыпает ее вопросами, и она пытается ответить на все сразу, запинается, спешит, глотает слова: — Да, да, уже убираем... Получим ли жнейку?.. Не знаю... Пока, чтобы ускорить дело, начали соревнование звеньев, а потом организуем индивидуальное... Дома тоже все в порядке, не беспокойся, береги себя... Ой, ты не знаешь, как я рада, Имре! Подожди, послушай, как бьется мое сердце! — и она прижимает трубку к груди, а затем снова к уху.— Слышал?.. Не слышал?.. Говоришь, это гул в трубке, потому что далеко?.. Нет, это, правда, сердце, глупенький! — Она опять некоторое время прислушивается, затем вдруг оборачивается к мужчинам. — Имре спрашивает, который у нас теперь час?

— Десять минут десятого,— шепчет Бердеш так таинственно, будто боится, что его кто-то подслушивает.

— Десять минут десятого! — повторяет в трубку Рожи.— А у вас?.. Четверть двенадцатого? Вот интересно...— И опять умолкает; теперь, наверное, говорит Шаркези.

А мужчины стоят и, подавшись вперед, сосредоточенно слушают. У Бердеша даже приоткрыт рот и едва заметно шевелятся уголки губ. Вдруг Рожи хватает его за рукав и тянет к себе:

— Имре хочет вам что-то сказать! — и прижимает трубку к его уху.

Бердеш вытягивается по-военному и делает шаг вперед с таким видом, будто ему собираются вручить награду.

— Сервус, братец! Значит, и о нас вспомнил в той огромной стране?.. Как говоришь?.. Да, все в порядке, все здоровы, вот только пшеница поджимает. Но и мы не плошаем, сегодня по хольду в день на брата накосили. Так вот, закончим раньше чем через две недели...

В разговор вмешивается чей-то чужой голос, видимо, предупреждая, что десять минут истекло, и окошечко, отворившееся было в бескрайние просторы, захлопывается.

Рожи Шаркези подходит к мужчинам, а сердце ее все еще прислушивается к голосу издалека; она говорит, почти не сознавая своих слов:

— Двадцать пять... двадцать пять рублей...

— Каких рублей? За что?

— За десять минут разговора с Москвой. Не мы платим, а Имре,— и с сияющим лицом поправляет на голове платок.

И Бердеш, и Кошут-Киш разом спрашивают, что ей сказал Имре. Интересно, какая в Москве погода? Рожи смеется — разве можно рассказать все за короткие десять минут? Затем, уже серьезно, добавляет:

— Имре сказал, чтобы мы берегли пшеницу как зеницу ока. Очень жаль, если пропадет зерно, которым может год прокормиться целая семья... Поэтому... завтра и я пойду вязать снопы.

Бердеш, который уже оправился после великой спешки на обработке пропашных, подхватывает:

— Ну а я, дочка, сам стану за косца. Мне сдается, мы можем перебросить еще человек пять с кукурузы. И все, кто сейчас остался работать в правлении, тоже пойдут: товарищи Тержек-Виг, Шари Фейер... А из усадьбы можно послать Шандора Катону или старика Бири; на крупорушке пока справится один человек. Одним словом...

Одним словом, на другой день спозаранку косцов опять прибавилось. Из прибывшего подкрепления создали еще одно звено, получилось оно, правда, небольшое, но во главе его стал Бердеш, а вязала за ним Рожи. Во второй половине дня к ним подкатил на велосипеде Балаж Фюрес и, едва соскочив, с тревогой в голосе закричал:

— Товарищ Бердеш, беда! — и, хрустя по стерне сапогами, заторопился к ним.— Одна свинья обожралась горохом.

— Сколько в ней весу?

— Да так, кило на сто шестьдесят потянет...

— Сейчас же заколи и опали! До вечера надо ее разделать. Подойдут люди, выдать мясо всем поровну.

— Будет сделано,— облегченно бормочет Фюрес и вскакивает на велосипед. Он уже готов пуститься в обратный путь, но Бердеш его окликает.

— Погоди! Куда помчался?

— Слушаю,— и Фюрес покорно поворачивает велосипед.

— Нет ли у нас еще какой-нибудь свиньи, которая объелась горохом?

— Пока нет.

— Пока, пока... А должна быть! Вечером, когда все соберутся, чтобы было разделано две туши, понятно? — Бердеш ставит косу на землю, водит по лезвию бруском и говорит, обращаясь к Рожи: — Доброму работнику и поесть надо как следует. Не так ли, дочка?

Рожи смеется. Она вспоминает, как зимой Бердеш под горячую руку заколол свою собственную свинью.

Фюрес выполнил приказ, и каждому косцу досталась немалая толика и мяса и сала. Теперь вытянут уборку и те, у кого дома не было ни крошки сала... И точно — на другой же день средняя выработка переваливает за хольд.

Жара попрежнему не желает спадать, пшеница зреет, наливается прямо на глазах. Уже заходит речь о том, что одному из звеньев пора переходить на ячмень. В это время у дороги неожиданно останавливается маленькая «шкода» Кульчара.

— Получайте жнейку, товарищи! — радостно кричит он.

Бердеш на миг задумывается: «Ишь! Дают, когда уборка уже близится к концу!» Но вслух произносит:

— А откуда жнейка?

— Мы получили от соседней области четыре машины... Из них одну выделили вам.

— Что ж, очень хорошо. Значит, теперь можно перевести два звена на ячмень... Конечно, лучше бы получить жнейку пораньше...

— К началу уборки, товарищ Бердеш, машины направили более слабым кооперативам.

— Выходит, мы сильные?

— Еще бы! Ведь я всегда говорил, что «Свобода» — лучший производственный кооператив в области.

«Э-ге! А какой же тогда худший?» — хочется спросить Бердешу, но вместо этого он только разражается хохотом.

Что ни говори, а тракторная жнейка — вещь серьезная! И вот, через несколько дней выходит в поле трактор и тащит за собой жнейку. Вот это да! Вот это работа!

Трактор двинулся сперва на ячмень, аккуратно скосил его, так же аккуратно навязал снопы; людям осталось лишь сложить их в крестцы. Затем дошла очередь до овса... Члены кооператива получили теперь представление о том, что значит, когда на поле работает машина.

— Нам останется, видно, только семечки лузгать,— ворчит Фекете, и многим ясно, что у него и с машинами не все пойдет гладко.

Глава восьмая

1

В последний четверг июля около пяти часов пополудни Шаркези, весь увешанный объемистыми свертками и пакетами, сошел со скорого поезда и, с трудом перенеся свой багаж на платформу, проверил, на месте ли все свертки. Все оказалось в полном порядке. Сошедшие вместе с ним с поезда пассажиры быстро исчезли с перрона. Автобус, на котором он должен был следовать дальше, отправлялся только после шести вечера, и у Шаркези оставался целый час свободного времени. Но как он сядет со всем своим багажом в автобус и вообще пустят ли его с таким грузом в машину? А главное — как он донесет все эти тяжеленные свертки и пакеты до машины?

Поодаль от него стоял человек, который сначала разглядывал Шаркези, а потом подошел к нему.

— Сабадшаг, товарищ Шаркези!

Шаркези обернулся.

— Гляди-ка, товарищ Фонады! Что ты здесь делаешь? Ждешь кого-нибудь или уезжаешь?

— Я? Тебя встречаю. Пошли!..— И он наклонился за свертками, взял один, другой пакет и с удивлением взглянул на Шаркези.— Когда едешь за границу, много вещей с собой брать не рекомендуется — только намаешься с ними.

— Много вещей? А я туда ехал всего с одним чемоданчиком. Вот, смотри! — И Шаркези показывает на небольшой, потертый чемодан.

— А что же это?..

— Все подарки. Нас было двести человек, и всех нас советские товарищи так одарили, что мы еле могли увезти.

Шофер, до этого с любопытством прислушивавшийся к разговору, нерешительно подошел к ним, сунул подмышку один сверток, принял из рук Фонадя другой, взял чемодан и молча понес все к автомобилю.

— Я тебя доставлю домой, но раньше заедем в обком. Ты все расскажешь по порядку. С начала до конца. Все, товарищ Шаркези, понимаешь — все!

— Все? Это, пожалуй, трудновато. В таком случае придется просидеть у тебя день, а то и два.

От вокзала до обкома партии недалеко, и через несколько минут они уже там. В комнате налево стучит пишущая машинка, на которой работает молоденькая девушка,— через открытую дверь ей видно, как Фонадь и Шаркези проходят по коридору. Они встречают секретаря обкома по пропаганде, а затем и секретаря Союза трудящейся молодежи.

Оба хотят поговорить с Шаркези, но Фонадь буквально тащит его к себе в кабинет и запирает дверь на ключ.

— Пожалуйста, садись. Пить не хочешь?

— Нет.

— Закуришь? — И он протягивает ему сигареты.

— Пожалуй. А ты попробуй вот эту.— И Шаркези угощает Фонадя советскими папиросами.

Зажигаются две спички, и собеседники какое-то мгновенье следят за струйкой табачного дыма.

— Ну, рассказывай. Что в этих свертках?

— Радиоприемник — супер, скатерти из камчатного полотна и другие подарки. А в остальных пакетах все, что я сам купил.

— Да, богатые подарки. Ну, рассказывай, где побывал, что видел?

Шаркези задумчиво проводит рукой по волосам, восстанавливая в памяти впечатления, вынесенные из этой поездки.

— Ладно. Начну прежде всего с главного. Вкратце. А потом о деталях. Видел я свекловичное поле в тысячу гектаров. Урожай с него составит не меньше ста двадцати центнеров с га чистого сахара. Видел пшеницу, да такую, что с одного гектара нынче сняли пятьдесят центнеров. Больше того, довелось мне побывать на одном опытном участке, где с гектара взяли восемьдесят центнеров. Слушал я лекции ученых, которые утверждали, что урожай

в сто центнеров — вполне реальное дело. Видал и виноградник, расположенный на тысячу километров севернее границы этой культуры. И снимают с той виноградной лозы урожай по двенадцати килограммов с куста. Видел, как в московский порт вошел морской пароход...

Шаркези так увлекается рассказом, что его нельзя даже остановить. Богатые и разнообразные впечатления еще не улеглись в его душе и сами рвутся наружу. Иногда Шаркези закрывает на минуту глаза, словно переносясь на колхозный двор, на бескрайнее пшеничное поле, на животноводческую ферму, и кажется ему, что он еще попрежнему находится среди советских людей.

А между тем время бежит с такой же быстротой, как и воспоминания Шаркези. Приходится зажечь электричество. Давно уже пробило десять часов, когда Шаркези спохватывается и, взглянув на часы, спрашивает:

— Продолжать?

Фонадь порывисто встает с места, открывает окна на улицу, снова садится и закуривает.

— Рассказывай дальше.

— Так вот, слушай. Только сначала попробуй оторваться от наших местных условий. Пойми, что для роста производства нет пределов. И вот там, в Советском Союзе, я на каждом шагу убеждался в этих безграничных возможностях. Где бы я ни был, в какую бы область ни попадал — а надо тебе сказать, что у них область — это добрая половина нашей страны, вроде Задунайщины или Затисья,— словом, где бы я ни был, всюду постоянно сталкивался с огромными масштабами. Побывал в одном городе, на месте которого еще шестнадцать лет назад стоял дремучий лес, а теперь там семьдесят две тысячи жителей, много фабрик и заводов, в том числе и тракторный. С его конвейера ежесуточно сходит тридцать готовых тракторов. А ведь это далеко не самый крупный тракторный завод в Советском Союзе! Как я слышал, у них есть не меньше десяти-двенадцати таких заводов. Ты только представь себе: в первом цеху — листовое железо, прокат, сталь. И вот все это путешествует из цеха в цех, и, наконец, в последнем пролете у выхода появляется готовая машина. Механик садится за руль, запускает мотор, и... хоть прямо отправляй трактор в поле! Но самое удивительное то, что почти все процессы труда механизированы. Всюду, где я побывал, шло строительство, и я видел каменщиков и подъемные краны, горы металла и электросварщиков, но нигде не встретил ни одного землекопа: все делает машина — роет землю, вынимает грунт под котлован, вообще все.

— Ясно. Но это все механизация. А человек? Что делают люди, ну, скажем, в колхозе? Как они живут, как работают, как питаются?

— Я был во многих колхозах. Ну вот, к примеру, расскажу о

колхозе «Борец». Это небольшая сельскохозяйственная артель в Московской области. Я там осмотрел все самым тщательным образом. Указал наугад на один дом и говорю: «Хотел бы заглянуть сюда». Пошли мы, значит, туда с их парторгом и с переводчиком. Две довольно просторные комнаты, кухня, передняя. В горницах — дощатый пол, покрытый широкой ковровой дорожкой, добротная мебель, на потолке висит люстра, на стене — картины. У окон — всякие южные растения. Стол накрыт кружевной скатертью. Сама хозяйка одета в красивое платье, выглядит просто барыней. Дом этот принадлежит рядовому колхознику, который работает на животноводческой ферме, ухаживая за племенным скотом. А вот на месте колхоза имени Ленина тридцать лет назад вообще ничего не было: пустошь да леса, которые помещики хищнически истребляли. А сейчас там...

Проходит еще час, два, три, а Шаркези все продолжает рассказывать.

Город уже начинает просыпаться. На улице громыхают подводы, иногда промчится грузовая машина, тракторы тянут за собой молотилки, а Шаркези все говорит. Фонадь внимательно слушает, изредка задавая вопросы. Вдруг Шаркези вскакивает с места, с изумлением озирается кругом, гасит электричество, и в окно сразу врывается рассвет.

— Но скажи все-таки, что же на тебя произвело самое большое впечатление?

Шаркези проводит ладонью по лбу, потом по лицу и зажмуривается.

— Мне думается, самое важное в Советском Союзе — это план и наука. Партия дает установки, ученые разрабатывают план. И вот результат: тут и Москва — морской порт, тут и сто двадцать центнеров чистого сахара с гектара, тут и...— Шаркези долго перечисляет виденное, а затем продолжает свою мысль: — И вот, когда я вспоминал там о плане нашего кооператива, пока еще таком бедном и примитивном, то, откровенно скажу, мне стало совестно. И все же, с каким трудом мы его можем выполнить! Конечно, и в Советском Союзе колхозникам приходится напряженно работать, но им гораздо легче. Они со своими планами не одиноки. Был я в одном колхозе, который имеет четыре тысячи гектаров, и из них уже в этом году оросили третью часть. В следующем году будет орошена вторая треть земель, а через два года — вся колхозная пашня. И тогда колхозникам не придется больше мучиться от недостатка воды, от малого количества осадков. А меня дома вечно грызет страх: как бы все не сгубила засуха! Часто мне там вспоминались слова одного нашего односельчанина, Ласло Рожи. Он однажды мне сказал, что для наших земель два бога надобно: один — чтоб поливал, а второй — чтоб прогревал.

Фонадь заинтересовался:

— Так и сказал?

— Да, как-то весной разговорился с ним, он мне так и сказал.

— Толково, очень толково. Умный, видать, человек. Еще никто так метко не формулировал насущных потребностей нашего края. А что касается ваших мытарств со своими якобы убогими планами, ты неправ. Всегда самое трудное — начало. И каждый крестьянин рано или поздно вступит на ваш путь. Топтаться на одном месте долго нельзя. История не терпит застоя. Вы еще не знаете, что у нас в области создан плановый отдел, во главе которого поставлен Ласло Дежи — человек твердой воли и светлого ума. По поручению правительства он приступил к составлению плана борьбы с засухой, который навсегда избавит наш край от «двух богов» Ласло Рожи. Для этого и будет сделано все, на что только способен человеческий разум и воля. Я обещаю, что уже в составлении плана на будущий год вам поможет плановый отдел.

Шаркези вдруг чувствует, что он страшно устал.

— Да, план и наука... Если нам помогут, чего мы только не сумеем сделать! — И Шаркези закрывает глаза не потому, что ему хочется спать, а просто отяжелели веки.

— Ну, поедем, я отвезу тебя домой. В пути еще потолкуем. В воскресенье в селе соберем митинг, и там ты расскажешь обо всем виденном.

— Тогда придется говорить с утра до вечера.

— Ну, это уж слишком. Расскажешь самую суть.

— Попробую.

С трудом им удается разыскать шофера. Уже совсем рассвело, когда они, уложив вещи, усаживаются в машину.

— Тронулись! — говорит Фонадь, захлопывая дверцу.

Через Береттьо возводят мост. В глазах Шаркези теперь и строительные леса, и металлоконструкции, и полевые вагончики строителей — все представляется в ином свете, чем раньше.

— Вот, смотри!.. Представь себе, что в гораздо больших масштабах ты все это видишь в Советском Союзе! — начинает он опять.

О многом хочет расспросить Фонадь; ему нужно знать гораздо больше того, что рассказал Шаркези. А Шаркези уже не отвлечь от своей темы; он вновь и вновь возвращается к тому, на чем его прервал Фонадь.

Когда они подъезжают к селу, солнце уже стоит высоко в небе. В памяти Шаркези проносятся тысячи километров пути, бескрайние поля, города, непрерывный поток поездов, стук колес, бесконечная вереница меняющихся ландшафтов, леса, горы... советские люди... Какое это удивительное ощущение!

Домой, домой, скорей домой! Автомобиль заворачивает в переулок. Разбегаются по сторонам вспугнутые гуси, которых выгоняют в поле. У сельской околицы играет на рожке пастух. В общем та же картина, которая неизменно повторяется каждое утро

испокон веков. И Шаркези ловит себя на мысли, что ему вдруг опостылела вся эта картина. С тех пор как стоит село, каждое утро на том же самом месте останавливается пастух и играет на своем рожке, из крестьянских дворов на дорогу выгоняют скотину, и не имеет значения, что одна одряхлевшая корова уступает место другой, более молодой, и новый пастух приходит на смену прежнему; да и гуси сменяются, но, тем не менее, они все равно остаются гусями и всегда в одно и то же время их выгоняют в поле. Вот и сейчас дочка Шаркези, Жужика, выгоняет на луг гусей. Они переваливают через подворотню, в руках у Жужики прутик, она с удивлением смотрит на замедляющую ход машину и затем, бросив прутик, восклицает:

— Папа! Папочка! — всплескивает руками, подпрыгивает от радости и бросается к машине.

Шаркези выходит из автомобиля, разгибает спину, подхватывает на руки Жужику, высоко поднимает ее и целует.

— Ишь ты, черная, как цыганка! Где так загорела?

— Я? Урожай убирала. То есть... снопы вязала...— и она повисает на шее отца, воистину, как «плод на ветке дерева родного» *.

— Подумать только, чего ты здесь ни делала, пока меня не было.— И Шаркези опускает дочку на землю.

— Что привез? — шопотом спрашивает Жужика.

— Кое-что. Потом увидишь. Куда собралась?

— Гусей на луг выгоняю.

— Ну, гони и поскорей возвращайся. Где мама?

— Мама? А она давно ушла. И дед тоже... Одна бабушка дома.

Соседи сбегаются к машине. Крестьянки, засунув руки под передник, с любопытством смотрят на Шаркези. На мгновение задерживается у ворот и пастух, но тут же обходит собравшихся, как некое неожиданное препятствие, и шествует дальше. Отойдя несколько шагов, он все-таки оборачивается и смотрит назад своим единственным черным глазом — второй ему выколол рогами бык года два назад.

Свертки и пакеты укладывают на крыльце. Жужика выносит стулья. Бабушка хотела было выйти из огорода, но, застеснявшись постороннего, постояв с минуту около плетня, снова принимается за прополку. Ведь не может она зря тратить время!

Младший сынишка Ханадя мчится на велосипеде за женой Шаркези, которая вместе с другими косит отаву на пустоши. Через некоторое время распахивается калитка. Раньше показывается переднее колесо велосипеда, а за ним и сама Рожи. Оставив велосипед у изгороди, она бросается на шею мужу:

— Имре!..

От ее платья так и веет утренней свежестью лугов, и желтоватая пыльца полевых цветов покрывает голые ноги женщины.

— Дорогая!.. Так вот как ты меня ждешь?

— А мы отаву косим...

Фонадь слушает и размышляет: другие на солончаках еще и первого покоса не провели, а эти уже отаву косят!

2

В воскресенье сельский глашатай под барабанный бой известил селян, что митинг назначен на одиннадцать часов, после заутрени.

Бригада молодежи еще в субботу соорудила трибуну, а в воскресенье с утра украсила ее зелеными ветками, цветами, флагами и кумачом. Потом ребята разбежались по домам, чтобы умыться и переодеться к собранию. Но Пишта Сито как культорг остался охранять трибуну. Он слышал, что в одном селе во время собрания пытались взорвать трибуну. Пусть только посмеют сунуться сюда! Пишта, вытянув ноги, уселся на ступеньках, ведущих к трибуне, стал разглядывать чисто подметенную сельскую улицу и незаметно для себя задремал. К счастью, он облокотился на перила, и все, кто его видел, могли предположить, что парень вовсе и не спит, а только призадумался.

А народ все идет и идет по улице, поглядывая на разукрашенную трибуну, на прикурнувшего около нее парня, и, отметив про себя, что собрание будет именно здесь, проходит по своим делам.

— Шаркези из Советов воротился,— говорят некоторые, торопясь в церковь: ведь уже дважды звонили в колокола.

В реформатскую церковь теперь ходят только сторонники евангелического движения да те, у кого уже это вошло в привычку — ведь надо же человеку куда-нибудь пойти в праздник! Бедняки вроде Балажа Фюреса окончательно забросили католическую церковь, но тем рьянее посещают ее деревенские богатеи, такие, как Анна Кокаш, Гашпар Толвай со своими домочадцами, жена Эсеньи (сам Эсеньи ведь кальвинист) и иже с ними...

С пяти часов утра в католической церкви не перестает трезвонить колокол: сначала первая месса, затем семичасовая, а после девяти — заутреня... В противоположность католической службе реформатское богослужение куда проще и бесхитростнее. Ровно в девять раздается колокольный звон, в половине десятого собираются прихожане, пастор читает им проповедь о том, что его сегодня больше всего тревожит, и на этом все кончается. До остального ему нет дела; пусть каждый идет своей дорогой: верующий — в рай, а безбожник — в преисподнюю.

Стало быть, каждое воскресенье колокола в селе беспрерывно трезвонят с пяти до одиннадцати часов утра. Вот почему митинг был назначен на одиннадцать часов, когда церковные колокола должны, наконец, успокоиться.

Шаркези и его товарищи решили собрать крестьян, а кулак Янош Васнаш-Надь встал им поперек дороги... В воскресенье, около семи часов утра, в его дом пришла смерть... Правда, не за

ним, а за женой. Произошло это неожиданно; хозяйка совсем не болела, если не считать того, что в пятницу утром телка отдавила ей копытом босую ногу и на ноге осталась небольшая царапина. К полудню ранка начала слегка зудить — раз чешется, значит заживает, подумала женщина. К вечеру вся ступня уже горела огнем, ночью опухоль вздулась до щиколотки, а к утру следующего дня дошла до колена. Часам к девяти домашние вызвали доктора. Тот прямо сказал: «Следовало меня вызвать раньше. У нее заражение крови». Больной сделали укол, но все было напрасно — в воскресенье утром она скончалась.

Васнаш-Надь был католиком, и, разумеется, ему хотелось свершить погребальный обряд по ритуалу католической церкви. Умершая же была реформаткой, и ее родственники возражали против надругательства над покойницей.

Громко кряхтя и охая, Васнаш-Надь по-хозяйски обошел всю улицу, вплоть до самого крайнего дома патера Кароя Пинцеша — кто как не он, Васнаш-Надь, подарил землю общине! — а тем временем младший брат умершей обратился по поводу похоронного обряда к реформатской церкви.

Ее попечитель — очень скромный благочестивый человек, за всю жизнь и мухи не обидел; он неглуп, прилежен, никогда ни с кем не ссорился, не трогал чужого добра, но и своего никому не уступал. К нему-то и обратился брат покойницы.

— Не забыть бы сказать звонарю,— заметил попечитель.

— Пусть звонит в самый большой колокол,— попросил брат умершей.

В разговор вмешался пастор:

— Ну, конечно, в большой, господин фунератор *. Усопшая, правда, не часто ходила на богослужения, но воистину была благочестивой дочерью святой церкви.

Надо сказать, что у реформатской церкви не было большого колокола, предназначенного для особо торжественных церемоний, однако это возмещалось длительным звоном двух колоколов сразу, что считалось особенно торжественным и стоило заказчику, по меньшей мере, пятьдесят форинтов.

Прежде чем что-нибудь сказать, попечитель имел привычку хорошенько подумать. Так и сейчас он обратился к пастору только после некоторого раздумья.

— Господин пастор, изволите ли вы знать, что... после церковной службы назначена сельская сходка?

— Наша обязанность, господин попечитель, заботиться лишь о собственной пастве.

«Я свое сделал, предупредил»,— подумал попечитель и, не сказав ни слова, пошел на колокольню договориться о торжественном перезвоне.

— Вот что: скончалась жена Васнаш-Надя. Надо воздать ей почести.

Звонари, моргая, взирали на попечителя.

— Но ведь после богослужения будет сходка.

— Вполне возможно, но, как сказал господин пастор, она еще только будет, а покойница уже есть.— Попечитель был, как всегда, немногословен.

Сколько раз после сорок пятого года срывали митинги колокольным звоном! И сейчас звонари поняли свою задачу с полуслова: трезвонить с такой силой, чтобы или колокол треснул, или канат оборвался, или люди разошлись.

Один из звонарей ростом намного ниже другого; голова его, похожая на прошлогоднюю картофелину, отличается странной формой: черепная коробка — широкая, узловатая, а лицо — узкое и сморщенное. Водянистые тусклые глаза, бесцветные губы, покрытые пятнами,— признак застарелого катара желудка; время от времени на губах у него появляются болячки — следы лихорадки. Он постоянно кашляет, потом харкает и, как кролик, шевелит губами.

Оттрезвонив, звонари обычно не уходили с колокольни, а от нечего делать глазели вниз то из одного, то из другого слухового окна. Отсюда они могли видеть далеко вокруг. Окрестные поля, луга, река с каналом, пустошь, бесчисленные скирды, молотилки на току, стада, колодцы с журавлями — все виднелось отсюда, с высоты, как на ладони. Село же было так близко, будто они рассматривали его на фотографии. Взгляд звонарей поверх плетней и заборов проникал в крестьянские дворы, огороды, они видели во всю ширь и длину сельские улицы, которые лишь местами терялись на повороте или под густыми кронами деревьев, чтобы затем вновь вынырнуть и, наконец, скрыться вдали. Особенно хорошо сверху видна широкая площадь около сельской управы, по форме напоминающая правильный треугольник. Здесь и должен состояться митинг.

В церкви еще идет служба, а на площади уже толпятся люди. Они стоят группами и, беседуя, поглядывают на трибуну. Гудя, приближается машина, и крестьяне неохотно, молча уступают ей дорогу. Машина заворачивает на площадь, и они через плечо наблюдают за ней. Из автомобиля вылезают несколько человек и входят в дом правления. Потом к кооперативу, словно туда ведут все дороги, подъезжает и другая машина, побольше.

Когда первая группа женщин в черных платках показывается на усыпанной желтым песком дорожке у самого подножья колокольни, тот звонарь, что пониже ростом, тщедушный, неопрятный, хватает обеими руками веревку малого колокола и — бимм-бамм!..— начинает звонить с таким остервенением, будто бьет в набат, предупреждая о надвигающемся урагане.

Внизу, на площади, толпа людей все растет, все увеличивается. На собрание пришли даже те, кто с весны сорок пятого года ни разу не принимал участия ни в каких сходках. Прихожане, выйдя из церкви, останавливаются на площадке. После некоторого колебания — идти или остаться? — кое-кто уходит, а многие задер-

живаются и пристраиваются сзади, делая вид, будто они здесь уже давно. Иные, выйдя из церкви, проходят часть пути, на первом же перекрестке отстают, словно кого-то поджидают, и затем быстро, не оглядываясь, возвращаются на площадь.

На трибуне уже собрались секретари областного и уездного комитета партии, руководители отделов пропаганды уездного комитета партии и Союза трудящейся молодежи, Бердеш, Шаркези, Сито, Пап, Бенце, Бири, Кошут-Киш и представители сельской молодежной организации. Трибуна, украшенная ветками и кумачовыми полотнищами, переполнена. Культорг Пишта Сито примостился сзади, полагая, что чем меньше он будет заметен, тем скорее люди забудут о том, как он заснул на своем посту.

— Пора бы начинать! — обращаясь к Шаркези, говорит Фонадь.

— Пора-то пора, но вот этот проклятый трезвон...— И Шаркези смотрит вверх, на колокольню, находящуюся отсюда всего в каких-нибудь пятидесяти-шестидесяти шагах.

Несколько мгновений, и малый колокол умолкает. Шаркези встает и, как обычно, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, говорит:

— Уважаемые товарищи! В эту страдную пору мы созвали вас сегодня для того, чтобы рассказать всему селу о трехнедельной поездке делегации венгерских крестьян по Советскому Союзу и поделиться впечатлениями. Разумеется, на одном собрании всего не расскажешь, поэтому я лишь вкратце сообщу вам обо всем, что видел.

В этот момент один из звонарей, тщедушный хилый человечек, высунулся из слухового окошка колокольни, как он обычно делал во время похорон, чтобы разглядеть, дошла ли уже траурная процессия до ворот кладбища, и снова ухватился за веревку колокола. Сначала колокол только беззвучно качнулся; казалось, что язык его вот-вот готов был сорваться, а затем, как бы передумав, ударился о противоположный край колокола.

Со стоном и громким оханьем загудел металл, и во все стороны от колокольни понесся этот звук, как невидимое пламя, как бурный, незримый поток, как разбушевавшаяся стихия. Этот гул пронесся над селом и как бы осел на широкой площади, где Шаркези только что открыл собрание. И все невольно повернулись к колокольне. В ответ на голос своего собрата загудел и второй, большой, колокол — сначала одновременно, как бы в ритм с первым, но затем, отставая от своего партнера, звуча все реже и реже и, наконец, снова в такт первому с тем, чтобы вскоре опять разойтись. Большой колокол весит двенадцать центнеров, а меньший — только пять; они не могут все время согласно звонить. Но это обстоятельство интересует звонарей меньше всего. Они знают только одно — бить и бить в колокола. Звонарь, широко расставив ноги, раскачивается из стороны в сторону, словно

разминаясь, готовится к танцу, и время от времени через плечо поглядывает вниз.

Шаркези пытается продолжать свою речь, но его голос тонет в гуденье колоколов, словно перепелка, гибнущая в когтях коршуна.

— Я сейчас пойду и прибью этого мерзавца-попа!..— говорит Бердеш и уже готов привести в исполнение свою угрозу.

Шаркези тоже чувствует необходимость что-то предпринять, но понимает, что одному Бердешу дело не уладить.

— Хорошо бы и тебе сходить с ним, товарищ Фонадь, нельзя пускать его одного.

Сойдя с трибуны, Фонадь направляется вслед за Бердешем, догоняет его, и они быстро идут к церкви.

Колокола продолжали гудеть, охать, стонать. Люди на площади вели себя по-разному: кто кричал, грозя колокольне кулаками, кто громко смеялся, засунув руки в карманы, будто невзначай нашел там деньги. Шаркези не знал, что ему предпринять; он не садился, только молча смотрел на толпу, перебегая взглядом с одного на другого, как бы пытаясь проникнуть в души этих людей.

Он хотел рассказать им, что в социалистическом обществе никто не эксплуатирует трудящихся, что там они не зависят от прихотей природы. Он хотел рассказать о плане, о производстве, о науке — об основах строительства социализма. А это, в свою очередь, означает, что при социализме на столе у трудящегося человека хлеба становится все больше и больше. Но обо всем этом Шаркези не может поведать людям, ибо на колокольне продолжают звонить. Он собирался рассказать о торжествующей жизни, а в непрерывном гудении колоколов слышится лишь безысходное отчаяние и жалобные стоны. Из-за этого перезвона Шаркези не может рассказать о новой, счастливой жизни. А ведь души у этих людей, которые сейчас выжидающе глядят на него, так же жаждут новой жизни, как иссохшая земля в летний зной жаждет воды. Но тщетно... колокола все гудят и гудят.

Кульчар, покачав головой, поднимается с места, спускается с трибуны и тоже направляется к церкви.

Наконец-то! Колокола умолкли, однако их гудение еще некоторое время отдается в ушах. Но тут заговорил колокол в католической церкви. Он, собственно говоря, особенно не мешал собранию, так как звонил в отдалении и к тому же был гораздо меньше. Но все-таки у людей создалось такое впечатление, будто этот колокол глумится и насмехается над ними.

Шаркези, повернув голову по направлению к католической церкви, продолжает говорить, будто ничего и не произошло:

— Словом, уважаемые односельчане, я хочу кратко рассказать о своей трехнедельной поездке в Советский Союз прежде всего для того, чтобы с полной ответственностью и с чистой совестью засвидетельствовать замечательные успехи, которых добились советские труженики во всех областях своей жизни.

Все внимательно вслушивались в слова Шаркези, но то и дело с досадой поворачивали головы в сторону колокольни: ведь крестьяне знают, что эта скандальная история с колокольным звоном еще не кончилась, ведь в селе есть покойник (многим известно, что умерла жена кулака Васнаш-Надя), поэтому и звонят колокола. И не как-нибудь, а торжественно — такой перезвон обычно длится до самого полудня. В полдень же начнется обычный колокольный звон к обедне.

И крестьяне не ошиблись. Снова прозвучал малый колокол реформатской церкви, а вслед за ним опять загудел большой. У Шаркези такое чувство, словно по улице с хрюканьем носится огромная, тощая свинья с комками прилипшей грязи, а за свиньей с визгом гонится поросенок.

— Споемте «Интернационал»! — выкрикнул что было мочи Пишта Сито.

— Споемте «Призыв»! — орет кто-то из задних рядов. Это Керекеш, тесть Чикоштота, председателя местной организации партии мелких сельских хозяев. Керекеш затягивает: «Мадьяр, за родину свою... непоколебимо стой...» У него хороший голос, только слово «непоколебимо» он поет как «не-лю-би-мо». Но теперь песня сливается со звоном колоколов.

Шаркези оглядывается назад, подает знак своим товарищам встать. Люди на трибуне поднимаются и подхватывают песню.

В этот момент у священника происходит следующий разговор с подошедшими к нему посланцами.

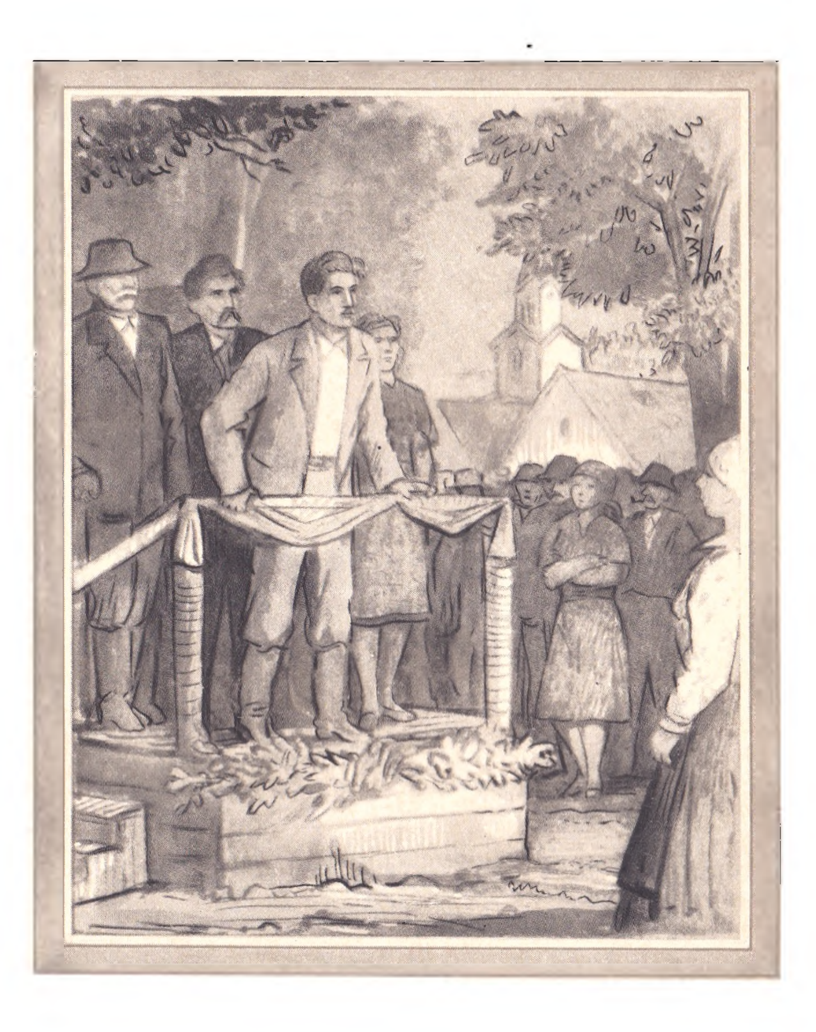
— Заставьте замолчать колокола, а то я остановлю их сам. Тогда хуже будет. Вышвырну этих псов с колокольни! — ревет Бердеш.

— В таком случае колокола действительно замолчат. Но только... отнять у них голос совсем вы не сможете, они будут звонить, обличая даже тогда, когда их служители лягут костьми у врат церкви.

— Поймите, что звонить в колокола именно сейчас, когда мы проводим собрание, возмутительно,— стараясь держаться спокойно, замечает Фонадь.

— Жизнь церкви определяется вековыми страданиями, верой и надеждой людей. И отойти от этого мы не можем. Наша почившая в бозе сестра по вере не обретет духовный покой, если мы не окажем ей последние почести.

Фонадь с трудом сдерживал себя от желания присоединиться к Бердешу и вместе с ним пристукнуть этого лицемера-церковника, подобного которому он еще не видал в своей жизни. Что за неслыханный фарисей этот здешний поп! В это время с улицы донесся необычный шум и, хотя на площади еще продолжали петь, неподалеку раздались крики, послышался топот бегущих ног. Фонадь подошел к окну, чтобы взглянуть, что происходит на улице.



К церкви через палисадник бежал Сито, за ним Бенце и еще трое. Вслед за ними спешили люди, но они остановились у церковной ограды, заглядывая через нее внутрь двора.

Наверху, на колокольне, почуяли, что происходит нечто непонятное, что стряслась какая-то беда. Но колокольня представлялась звонарям неприступной крепостью, куда не доберется ни вода, ни огонь, ни люди. Потому они продолжали вершить свое дело, били в колокола, отсчитывая каждый удар, воздаваемый как последняя почесть усопшей.

Звонарь на малом колоколе, Бали Ваш, был трусом; известно, что однажды, в ненастный день, он с криком сбежал вниз с колокольни, вопя о том, будто по крыше церкви бродят привидения. Вот и сейчас он все чаще и чаще с обеспокоенным видом посматривает то в одно, то в другое слуховое оконце, думая, что неплохо бы дать тягу и без оглядки бежать домой.

Вдруг Бали Ваш увидел, как над усадьбой Кельчеи поднялись клубы черного густого дыма. Вначале дым шел кверху, затем начал растекаться по небу, становясь таким плотным и буро-рыжим, словно тяжелые облака, предвещающие приближение бури.

— Пожар! — крикнул Бали и, схватив обеими руками язык колокола, сначала остановил его, а затем, привязав к нему веревку, изо всех сил забил в набат.

Старший звонарь не слышал, а только видел, что делает его товарищ, и тотчас же последовал его примеру, все время поглядывая в сторону усадьбы Кельчеи.

— Пожар! Пожар! — заорал кто-то внизу и помчался прочь от церкви.

— Ребята! Все за мной! — крикнул бросившийся к выходу Пишта Бенце. Раз не удалось провести собрание, по крайней мере, молодежная бригада покажет себя при тушении пожара.

В мгновение ока народ разбежался в разные стороны.

Жарко, почти знойно, кругом все тихо и ясно, и только тонкие струйки дыма мирно поднимаются из печных труб к небу. Повсюду в домах готовится воскресный обед. А два колокола продолжают зловеще и глухо гудеть.

— Кирпич... Это обжигают кирпич...— И старший звонарь, показав через северное окошко на усадьбу, остановил свой колокол, отвязал конец веревки и высунулся из оконца.

Бали Ваш, даже не успев отвязать веревку, куда-то неожиданно исчез.

Уже через несколько часов Канья-Киш повсюду разыскивал Бали Ваша, но не нашел его ни вечером, ни на другой день, ни на третий, а потом и вообще перестал им интересоваться. Разве не может скрыться человек там, где во тьме прячутся летучие мыши и совы? А кто же, спросите вы, кормил все это время Бали Ваша? На это ответил поп: «Тот, кто кормит зверей в лесу и цветы в поле!»

Оказывается, пожара нет, да и не было. Но сельская сходка была сорвана. После обеда многие крестьяне, преимущественно

члены кооператива «Свобода», собрались в правлении. Здесь и завязалась беседа.

И Шаркези снова остро ощутил, что именно эти передовые люди села — кооператоры, их жены и дочери,— от мала до велика, борются за то, чтобы все село вступило на путь новой жизни. У него сразу потеплело на сердце, и, мысленным взором окинув свой путь по стране Советов, он начинает речь словами, которыми раньше думал закончить свое выступление перед народом:

— Товарищи! Когда мы прощались с тружениками одного совхоза, в своем тосте председатель райисполкома сказал: «Товарищи венгры, вы видели наших людей в труде, в быту, в семье, за праздничным столом, и вот на свободу и счастье этого народа и хотят посягнуть иностранные империалисты. Мы показали вам все, ничего не скрывая. Когда вернетесь домой, расскажите вашему народу обо всем, что вы здесь видели». Дорогие товарищи! Вот мы вернулись домой, и я хочу рассказать вам то, что я видел своими глазами. Я видел советских людей всюду — и в труде, и в отдыхе, и в веселье, видел их в трудовом соревновании, которое помогает невиданными темпами увеличивать могущество советской страны...

Шаркези продолжал говорить, чувствуя, что советские поля как бы приближаются к его родному селу. Если теперь его речь и не затянулась до рассвета, как это было у Фонадя, то, во всяком случае, беседа продолжалась до позднего вечера, и односельчане слушали его, затаив дыхание. Они забыли о еде и даже не заметили, как надвинулась гроза!

Черная, свинцовая туча с буро-красной каймой заняла почти полнеба и, клубясь, приближалась к селу. Вскоре раздался гром, и в окнах зазвенели стекла. Небосвод, разрезанный зигзагами молний, разверзся с севера на юг, и на землю сплошным потоком хлынул дождь.

Теперь, если бы даже люди и захотели, они не смогли бы пойти домой. Застряли... но ничего, по крайней мере, они потолкуют о том, когда лучше провести пробный обмолот нового урожая.

3

По всему полю слышится гул молотилок. Как видно, кооператив «Свобода» соберет пшеницы больше, чем можно было думать после пробного обмолота. Тогда намолотили двенадцать центнеров с хольда, а сейчас уже ясно, что соберут по двенадцать с половиной, значит, у кооператива будет много хлеба.

Так и вышло. С каждого хольда намолотили даже по тринадцати центнеров пшеницы.

Мало-помалу на поле уменьшается количество крестцов, наполняются мешки, амбары, закрома, но и лето не стоит на месте. Оно убывает, словно кто-то отсекает у него день за днем.

Незаметно приближается осень, а сколько еще работы с пшеницей! Перевезти ее, ссыпать в мешки! И тем временем надо готовиться к рубке подсолнечника, к уборке кукурузы, к копке сахарной свеклы, к сбору хлопка и еще ко многому-многому!

Старый Бири пытается смастерить и приспособить к молотилке барабан, который обмолачивал бы подсолнечник. Такое приспособление уже существует, но механик недоволен им: оно сильно втягивает шапку подсолнечника и не выбивает как следует зерна из середины.

Свиноферма готова. Старик Сильва выходит на двор, чтобы полюбоваться делом своих рук. И как бы невзначай бросает Рожи Шаркези:

— Я всегда говорил, дочка, что никто сразу не родится мастером!

Они возвращаются к свинарнику. Сердце старого мастера преисполнено гордости. Самую младшую его дочь вчера из областного центра назначили контролером по сельпо. Для старика это известие настолько неожиданно, что умом он не в состоянии его постигнуть. Ему кажется, что назначение дочери состоялось вовсе не благодаря ее знаниям и способностям, а только, чтобы как-нибудь отметить его, Сильвы, заслуги в этой стройке. Ведь во всем здесь его труд, его опыт, от него перенимали мастерство простые крестьяне...

— Я хочу тебе что-то сказать, дочка,— совсем расчувствовавшись, обращается он к Рожи и облокачивается на ограду.

— Говорите, дядюшка Сильва.

— Я хотел тебе сказать... Помнишь, ты как-то раз намекнула, что я мог бы вступить в кооператив? Так вот, что ты тогда думала?

— Я думала, что... вы, дядюшка Сильва, как мастеровой получали бы сверх каждого отработанного трудодня по тридцать процентов надбавки, а потом... мы дали бы вам квартиру здесь, в усадьбе, чтобы вы всегда были на месте. Ведь настоящее строительство только начинается!..

— Тридцать процентов надбавки? Что ж, это уже кое-что значит. С осени до весны буду под крышей... Прилаживать окна, двери и прочее.

— Конечно, зимой будете заниматься столярной работой. Вчера как раз мы говорили с Михаем Бири, что к зиме надо будет организовать колесную мастерскую. Разумеется, мы там будем делать не только колеса, но и телеги, сани, рамы, двери — в общем, все, что потребуется. Это должна быть большая мастерская. Одного колесника мы уже имеем на примете — это Антал Балинт, а другим мастером были бы вы, дядюшка Сильва...

— Умею я, дочка, мастерить и телеги, и полозья для саней, и кузова, словом, все, что понадобится. Но сначала закончим коровник, ведь зима не за горами, и нас спросят, что мы делали летом? — При этом он поплевывает на ладони, потирает руки и

быстрыми шагами направляется к месту, где уже роют фундамент под коровник.

Теперь в кооператив «Свобода» деньги поступают отовсюду, только успевай их считать! За пшеницу, потом за сахарную свеклу, за хлопок... Как загудели молотилки, лошади только и делают, что непрерывно свозят урожай, а Йошка Пап относит деньги в кассу. И хотя лошади, как их не кормят, худеют от тяжелых перевозок, зато пополняется, разбухает несгораемый шкаф. «Брюхо себе набивает»,— как говорит Бердеш.

Расчеты по трудодням оказываются не менее трудными, чем первое рыхление сахарной свеклы. Хоть и не болит поясница, зато к вечеру человек не чувствует головы на плечах. К счастью, Сито так ловко считает, что это уже не просто умение, а талант. Сито таким и родился: кажется, он знал таблицу умножения, едва появившись на свет. Нет такой арифметической задачи, которую он не мог бы решить. Посмотрит снизу на колокольню и скажет, сколько в ней метров. Точно так же определит высоту дерева и, больше того, с поразительной точностью подсчитает, сколько кубометров дров с него получится. Во времена, когда он работал землекопом, эти знания приносили большую пользу не только ему, но и всей бригаде. Не было такого инженера-подрядчика, который мог бы его обмануть. Тогда, конечно, Сито и не предполагал, что его математические способности пригодятся кооперативу. Но сейчас дело не только в том, чтобы установить, сколько трудодней выработал тот или иной член кооператива и сколько надо платить за каждый трудодень, а в том, чтобы составить план на будущий год. В этом плане нужно учесть, сколько средств из доходов нынешнего года может зарезервировать кооператив на новое строительство. Но и это еще куда ни шло. А вот совсем уж трудно определить, как и на сколько расширить существующие рамки бюджета, чтобы не расходовать зря ни одного лишнего филлера; иначе говоря, продумать, как, когда и с какой прибылью возвратятся вложенные в то или иное предприятие деньги.

Вот уже несколько дней члены правления заседают: подсчитывают, складывают, вычитают, умножают, будто все вдруг стали бухгалтерами. Даже Шари Фейер и ту привлекли к этому делу — пусть, по крайней мере, записывает.

— Дадим людям все, что только можно, а то они совсем приуныли,— предлагает Кошут-Киш.

— Так-то оно так, но... тогда они станут рассчитывать на это и в будущем году. А мы не можем знать, какой нас ждет год.

— Если им теперь удастся поправить свои дела, они легче будут переносить лишения.

Но не так-то просто рассчитаться по трудодням. Хорошо бы всегда их оплачивать одинаково, но, увы, это-то заранее предусмотреть никак нельзя.

— В дальнейшем у нас доход по сравнению с нынешним го-

дом увеличится. Поэтому и впрямь дадим столько, сколько можем,— предлагает Шаркези.

— В таком случае, посмотрим, как это будет выглядеть... Сорок форинтов на трудодень... не мало? А? — вопросительно поглядывает на всех Бердеш.

— Сорок форинтов...

И все представляют себе эту цифру, потом каждый прикидывает в уме, что же можно купить на эти деньги: или полцентнера пшеницы, или три килограмма сахара, или два метра ситца. Это больше, чем раньше обычно платили за два дня поденщины.

— А сколько останется в резерве? — тихо спрашивает Пап.

— Шестьдесят тысяч форинтов, не считая дохода от кукурузы, от выкорма свиней, от продажи кур, гусей, уток и прочей живности.

— Шестьдесят тысяч форинтов?.. Оплата по трудодням членам кооператива составит...— прикидывает он вслух.

— Между нами говоря, каждому достанется и по кабанчику. Мое мнение таково: дадим по сорок форинтов на трудодень, пусть члены кооператива приоденутся, и, конечно, мы тут же скажем, что на каждую семью отпускается по свинье, чтобы они, чего доброго, не тратили на это деньги,— говорит Шаркези.

— Да, об этом надо предупредить.

Йошка Пап ухмыляется.

— Им и без того все известно. Когда мы отбирали подсвинков, они уже знали, для чего это делается. У них нюх хороший!

— Не беда, пусть и от нас услышат. Стало быть, по сорок форинтов на трудодень... Согласны, товарищи? — обращается к присутствующим Бердеш.

Согласны, а как же иначе? Согласны... И они ведь получат за трудодни, как все другие члены кооператива.

— Но это пока только предложение, его должно принять общее собрание,— в заключение напоминает Шаркези.

— А разве можно его не принять? Но как мы будем рассчитываться за свиней?

— По государственной цене за килограмм веса, а стоимость присоединим к будущему авансу.

— Тогда мы никогда не упорядочим взаимные расчеты между кооперативом и его членами.

— А это вообще невозможно. Ведь и единоличник не может заранее предвидеть, что он получит от своего хозяйства. Он вечно находится в зависимости от земли; тут ничего не поделаешь,— объясняет Шаркези. Правда, об этом можно рассуждать и спорить. Но в спорах рождается истина, и, кто знает, может быть, она родится и на этот раз.

В результате выясняется, что в первую очередь необходимо расплатиться за тот скот, который привели с собой члены кооператива: за лошадей, коров, а также за сельскохозяйственный инвентарь. Теперь те, кто тайком продал свою скотину, а затем

уже вступил в кооператив, не без некоторой зависти ожидают этих расчетов. Правда, и тогда они не были в убытке, но куда лучше получить деньги сейчас, хотя бы только потому, что вместе с теми, которые полагаются по трудодням, образовалась бы солидная сумма. Но что поделаешь? За одну кобылу дважды денег не получишь.

Наконец наступил день расчета по трудодням. В воскресенье утром члены кооператива собрались в правлении — на веранде и в самой конторе. Были среди них и такие, что оделись по-праздничному, а кое-кто за неимением выходного костюма пришел в чем обычно работал в поле или ухаживал за скотиной.

Люди переминаются с ноги на ногу, курят, слоняются из угла в угол. Сколько раз приходилось слышать «придет пора», а теперь, когда, наконец, наступило это время, не легко поверить.

Между тем в правлении все уже приготовлено. Только Сито еще продолжает проверять расчет трудодней. Авансы у всех разные, как не одинаково и количество выработанных трудодней.

— Давай начинать,— обращается к Сито Рожи Шаркези.

Она еще раз заглядывает в лежащий перед ней список. Сердце у нее бьется так сильно, что кажется, будто оно под самыми оборками блузки. Чего ей только не приходилось делать с тех пор, как она себя помнит! Этим летом даже кирпич обжигала, стены выкладывала, но никогда еще не случалось ей вызывать по списку членов кооператива «Свобода» для получения денег.

— Лайош Бердеш! — громко произносит она.

На противоположном конце стола поднимается Бердеш.

— Посмотрим-ка, что мы заработали летом...— говорит он, стараясь казаться равнодушным.

— И то, что ваши ребята заработали, тоже считать, дядюшка Бердеш? — спрашивает Сито.

— Конечно. Пока что я глава семьи, а не какой-нибудь бедный родственник.

Сито снова подсчитывает:

— Вместе с заработанными Лаци и Пирошкой, у троих всего трудодней... триста семьдесят восемь. Это составляет, считая по сорок форинтов... пятнадцать тысяч сто двадцать форинтов! — произносит Сито, отсчитывает деньги и придвигает их к Бердешу.— Пожалуйста, дядюшка Бердеш.

Бердеш молча сгребает деньги и делает вид, что пересчитывает их. Между тем, если бы даже от этого зависела жизнь, он все равно не смог бы их сосчитать. Столько денег, вот так сразу! Это колоссальная сумма, огромное состояние! Он знал, что ему причитается приблизительно столько — ведь и он подсчитывал свой заработок, точно так же, как и другие,— но совсем иное дело, когда деньги лежат перед тобой горкой на столе, а не просто цифры на бумаге.

Чего только не купишь на такую сумму! Это — обеспеченная человеческая жизнь без забот и тревог. При таких деньгах человек

гордо поднимает голову; мало того, ему не приходится думать, как бы отложить хоть толику на будущее, ибо раз этот год принес столько, то и будущий даст не меньше, а может, и больше.

Бердеш застегивает пиджак и отходит от стола. Он не в силах сдержаться, чтобы не поделиться со всеми своим чувством:

— Трудодни — это еще не все, товарищи! Правление решило, что... каждая семья в счет будущего аванса получит по одной откормленной свинье. Поэтому если вздумаете что-нибудь покупать, то не откладывайте денег на поросенка.

Шаркези улыбается. Вышло так, будто они молчали о свиньях только для того, чтобы Бердешу было чем похвастаться.

Рожи Шаркези зачитывает другую фамилию, Сито выплачивает деньги, Бенце делает отметку в книге. Затем вызывается третий член кооператива, а те, с кем уже рассчитались, выходят, но вовсе не собираются идти домой, а полные неведомых доселе надежд стоят группами и без умолку говорят, говорят...

Но вот очередь доходит до Модьороши, бывшего батрака богача Гербеди.

Модьороши еще к весне пообносился, а сейчас выглядит просто оборванцем — хуже огородного пугала. Куда ни ткни, всюду одни лохмотья. Остатки летней одежды висят на нем пластами, подобно слоеному пирогу или листьям капусты, а что скрывается под этим тряпьем — неведомо. Этот человек — некоронованный король оборванцев. Бледное исхудалое лицо его бескровно, и сам он как-то беспомощно стоит у стола.

— Лайош Модьороши,— повторяет Рожи.

Сито перелистывает три трудовые книжки, подсчитывает, складывает. Одна книжка принадлежит Модьороши, другая — его жене, а третья — старшему сыну. Сколько горя хлебнули эти люди, пока дожили до нынешнего дня! То один валился с ног в поле, то другой. Его четырнадцатилетний сын справлялся с работой насколько хватало сил. Парнишка до того худ, что, казалось, его сдует ветром, но он не сдавался. У них троих аванс больше, чем у остальных членов кооператива, поэтому сейчас приходится сделать довольно большой вычет. Но, тем не менее, и остается немало.

— Лайош Модьороши... У вас троих всего двести девяносто шесть трудодней, за вычетом аванса наличными получается... десять тысяч двести форинтов.

Сито отсчитывает деньги и придвигает их к Модьороши.

— Вот, получай, да расходуй с умом!

В первый момент Модьороши смотрит на эту груду денег широко раскрытыми глазами, затем набрасывается на них, как коршун, сгребая в кучу, прячет их в карман, даже не подумав пересчитать, чтобы ничем не нарушить охватившего его чувства радости. Он торопливо застегивает пиджак и взволнованно, как-то хрипло посмеиваясь, выходит.

Рожи вызывает другого члена кооператива. Сито опять отсчитывает деньги. Время от времени он встает, поворачивается к стоящему позади несгораемому шкафу и извлекает оттуда все новые и новые пачки ассигнаций.

А ожидающим своей очереди людям кажется, что деньги никогда не переведутся в этом волшебном ящике.

4

Поезд прибывает на станцию на рассвете, немногим позже четырех часов, и через одну-две минуты, в зависимости от количества пассажиров, снова двигается в путь. Пожалуй, именно поэтому остановка и называется «Минуткой».

Поезд еще не успевает совсем остановиться, а проводник уже спускается на подножку и, держась левой рукой за железный поручень, наклоняется вперед и вытягивает правую руку; на груди у него болтается свисток. Проводник смотрит, много ли пассажиров на платформе, и сообразно с этим подает сигнал. Едва остановился поезд, раздается протяжный свисток. Немногочисленные пассажиры обычно успевают вскочить на подножку, прежде чем машинист отправит состав. Однако на сей раз озадаченный проводник спрыгивает на землю и быстрыми шагами идет вперед вдоль вагонов. Что это? Переселение народов или свадьба?

Нет, и не переселение народов и не свадьба! А только и всего, что женщины из производственного кооператива «Свобода» едут в Дебрецен за покупками. Счастье еще, что к составу прицеплено два пустых вагона — на обратном пути в них поедут на стройку рабочие.

— Посадка! Посадка! — повторяет привычные слова проводник, разглядывая тем временем разношерстную толпу женщин. Некоторые матери взяли с собой и ребят, а другие дома сняли палочкой мерку с детишек, которым решено купить обувку, и бечевкой с тех, кому нужно приобрести пальто.

— Сядем все вместе! — командует Рожи Шаркези.

Напрасно машет рукой, напрасно кричит проводник — женщины облепили ближайшие два вагона и, стараясь опередить друг друга, со смехом и визгом толпой осаждают их. Женщин не интересует, удастся ли им сесть или придется стоять всю дорогу; поправляя сбившиеся платки, они без умолку тараторят, весело перекликаются из одного конца вагона в другой, будто заняли не только эти два вагона, а весь воображаемый рай. Мужчин среди них почти нет, раз-два — и обчелся. А точнее, всего двое: один — Модьороши, другой — Шандор Катона. Он мог уехать, потому что Бири согласился в этот день присмотреть за крупорушкой.

Проводник с изумлением останавливается в дверях вагона и пытается сделать невозможное: хотя бы для порядка проверить билеты.

— Прошу предъявить билеты! — проталкивается он вперед, туда, где спиной к нему стоит жена Бердеша и что-то объясняет Жужи Катоне и супруге Йошки Папа.

— Билеты? Да неужели? — поворачивает к нему голову тетушка Бердеш.

При этих словах все женщины дружно и весело хохочут. Сегодня они смеются по любому поводу.

Редкие пассажиры обоих вагонов вначале с раздражением хмурятся; шум и веселье мешают им дремать. Но вскоре сон окончательно слетел с их глаз. И не мудрено: женщины говорят хоть и по-венгерски, но понять их трудно. Трудодень... норма... сорок форинтов... шестьдесят тысяч в резерве... столько-то откормленных свиней... столько-то на хлопке... на кукурузе...

От «Минутки» до Дебрецена путь довольно долгий, но лишь потому, что уж очень медленно ползет паровичок — этот «Чоклапошский экспресс», как его в шутку прозвали жители Инанда.

Когда поезд прибыл в Дебрецен, все магазины были уже открыты.

— Соберемся здесь в два часа! — распоряжается Рожи Шаркези, и женщины из кооператива «Свобода» тотчас же рассыпаются по городу. Их поглощают улицы, магазины. Они разбредаются небольшими группами, смотря по тому, что нужно купить: ботинки или одежду, мужской костюм или женское платье.

Модьороши не спускает глаз со своих карманов. Раньше ему частенько приходилось слышать, что в городе водятся воры. В одном кармане у него лежат деньги, в другом он хранит мерки на ботинки и платьица для своих ребятишек, а также на блузку и туфли для жены. Еще никогда в жизни у него не было столько денег, он даже никогда не видел такой суммы. Понятно поэтому, что он бережет их как зеницу ока.

Сначала Модьороши только поглядывает на магазины снаружи, останавливается у витрин, присматривается к мужским костюмам, мысленно воображая себя то в одном, то в другом. Наконец решается и входит в магазин.

В магазине торговля, собственно говоря, еще не начиналась. Трое или четверо продавцов, зевая и искоса поглядывая друг на друга, снуют без дела взад и вперед.

— Что прикажете? — обращается один из них к Модьороши, но звучит это у него так: «Что вам здесь нужно?»

— Костюм на меня! — решительно, почти вызывающе отвечает Модьороши.

На этот раз скучающие от безделья служащие вскидывают глаза на Модьороши и принимаются рассматривать его лохмотья и не вызывающую никакого доверия физиономию; затем старший продавец, пробормотав что-то себе под нос, называет размер и фасон, а его помощник тут же снимает с вешалки костюм и показывает его Лайошу.

— И сколько же он стоит? — спрашивает Модьороши, не дотрагиваясь до костюма.

— Этот — триста двадцать форинтов. Прекрасный материал!

Но предложенный костюм не устраивает Модьороши. Он показывает на витрину, где успел присмотреть себе костюм и даже запомнил цену на ярлыке: шестьсот пятьдесят форинтов.

— Пожалуйста!..— говорит продавец таким тоном, словно Модьороши оскорбил его этой просьбой, и достает такой же костюм, как на витрине.

Но Лайош все еще сомневается. Выйдя на улицу, он осматривает костюм, выставленный на витрине, возвращается в магазин и снова разглядывает поданную ему пару. Затем опустив руку во внутренний карман по самый локоть, вытаскивает чистую полотняную тряпочку и разворачивает ее. Теперь уже все продавцы, прислушиваясь к разговору, смотрят на него. Кипа стофоринтовых бумажек сложена, вернее свернута, в этом необычном кошельке. Модьороши замечает оторопевших продавцов и считает необходимым дать им некоторые объяснения.

— «Свобода»...— назидательно произносит он и размахивает правой рукой с зажатой в ней пачкой денег, как бы показывая в сторону своего далекого села.

Такое объяснение, разумеется, ровным счетом ничего не дает продавцам.

— А теперь еще один костюм, в котором можно работать в поле,— распоряжается Модьороши и покупает грубый, скроенный из одного куска материала комбинезон, точь-в-точь такой, как носят шоферы, затем приобретает рубашку, шляпу, в другом магазине — ботинки...

А ведь только что продавец, пытавшийся заставить его примерить костюм, пришел в ужас, обнаружив, что на нем нет даже рубашки! Вместо нее Лайош носил какой-то поношенный женский свитер...

И вот Модьороши, шатаясь, словно у него кружится голова, бредет по улице с огромным свертком в руках. Вокруг него встречными потоками плывет народ. Модьороши осматривается: ну, теперь остается только немедленно переодеться! Ни минуты больше не носить лохмотьев, оставшихся от прежней жизни!

В кооперативе «Свобода» он стал новым человеком, а новому человеку нужна новая одежда, ибо, подобно тому, как изменилась вера и сила человека, точно так же должен измениться и его внешний облик. Модьороши оглядывается вокруг, но улицы становятся все более многолюдными. Над городом все выше и выше поднимается солнце.

Свернув в какой-то переулок, он выходит на окраину, где город постепенно превращается в деревню. Наконец, Модьороши оказывается в тупике, где не видно ни одной живой души. Лишь какая-то женщина на минуту выглядывает из-за невысокого забора, но и она тотчас же исчезает. Модьороши еще раз огляды-

вается, затем садится на землю, обтирает ладонью голую ступню, надевает носки, ботинки, потом, сбросив штаны, надевает новые, так же неторопливо, как будто он делает это, сидя на лавке у себя дома.

Теперь надо пристегнуть подтяжки... и пусть штаны будут подпоясаны еще ремнем, хоть в этом и нет особой нужды, но пусть... Натянув рубашку (одному богу известно, когда на этом человеке была в последний раз целая рубашка!), он уверенным движением, словно делал это ежедневно, закидывает подтяжки на плечи, надевает серый свитер, пиджак и, наконец, шляпу. Затем еще раз поправляет на себе все и глядит в лазурную синеву неба, словно это зеркало. Лицо его подергивается. Бывший батрак со слезами радости на глазах встречает будущее и провожает прошлое.

Модьороши переодевается так, словно благоговейно совершает какой-то обряд. Покончив с одеванием, он ищет в кармане носовой платок, но, разумеется, платка там нет. Он не успел еще его купить. Не стыдясь своих заплаканных глаз, Модьороши с силой отталкивает ногой сброшенную с себя кучу лохмотьев, да так, что она летит с тротуара на мостовую. При этом он испытывает такое чувство, словно отбросил от себя какую-то падаль.

— Что вы здесь делаете? — спрашивает у него женщина, вновь появившись за забором.

— Не видите? Хороню себя, чтобы сразу же воскреснуть! — отвечает Модьороши и, не оглядываясь, шагает обратно в город.

Около двух часов пополудни женщины начинают собираться на перроне вокзала; они приходят раскрасневшиеся, разгоряченные, с большими свертками в руках. На детях обновки: новые платья, новые ботинки, и поэтому они так серьезны, почти торжественны, что даже ходить и то остерегаются.

Женщины собираются группками и, разговаривая, показывают друг другу покупки. Ожидающие поезда пассажиры с любопытством обступают их и молча слушают, о чем те говорят. Но до них доносятся только шутки да обрывки фраз, которые им не совсем понятны. Женщины продолжают оживленно щебетать, украдкой поглядывая на зевак. Пусть знает вся страна, весь мир, что они из кооператива «Свобода», что они члены одного коллектива, что они могут себе позволить делать такие покупки!

Толпа любопытных все растет и растет. Но вот какой-то представительный господин, держа перед собой кучу свертков, то и дело повторяя «разрешите пройти», проталкивается сквозь толпу женщин.

Он чисто выбрит и одет с иголочки. Шляпа, костюм, ботинки — все на нем новое. Мужчина останавливается в кругу женщин, кладет перед собой свертки и, ничего не говоря, продолжает стоять.

Женщины умолкают и с удивлением поглядывают на подошедшего.

— Да ведь это же Модьороши! — вскрикивает вдруг Рожи Шаркези и, подойдя к представительному господину, обнимает и целует его на глазах у всех.

— Деньги — богатство, одежда — почет! — приосанивается Модьороши и вытягивается перед Рожи в струнку.

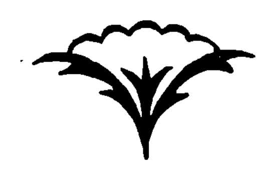
Все смеются. Известно, что женщины смеются по любому поводу. Затем все устремляют взоры в сторону вокзала. На перрон входят, нагруженные большими свертками, Жужи и Шандор Катона.

Больше года они старались не встречаться друг с другом на кооперативном дворе. Правда, избегала встреч скорее Жужи, а не Шандор,— и вот здесь, в Дебрецене, на главной улице они нежданно-негаданно столкнулись. Жужи направлялась в магазин, а ее муж Шандор как раз выходил оттуда. Встреча была до того неожиданной, что они застыли на месте, не решаясь ни войти, ни выйти, и лишь молча смотрели друг на друга.

Затем, ни слова не говоря, взялись за руки и медленно пошли вверх по улице. Прошлое разбило их жизнь, настоящее вновь соединило их.

КНИГА ТРЕТЬЯ

КАК ПРЕКРАСЕН ЧЕЛОВЕК





Глава первая

1

Тысяча девятьсот пятьдесят первый год, середина февраля.

Обильный урожай минувшего года изрядно приумножил количество членов кооператива «Свобода», и теперь в нем уже восемьдесят шесть семей. И немало таких, в которых все — и стар и млад — члены кооператива.

Сказать, что наступил решительный перелом, пока еще нельзя, но лед тронулся; коллективное хозяйство окончательно проложило себе путь в селе и в округе — это безусловно так. Один за другим в кооператив вступали коммунисты села, записывались и их жены, но в один прекрасный день приток заявлений прекратился — вступили все члены партии.

На двери парткома села пришлось сменить табличку. На ее месте появилась надпись: «Партийный комитет кооператива «Свобода». И это очень хорошо, ведь от порога парткома до правления кооператива всего каких-нибудь тридцать-сорок шагов.

Шаркези стал теперь секретарем партийной организации кооператива, вернулся, так сказать, домой, к своим, но дела у него от этого не стало меньше, а, наоборот, прибавилось, да и ответственности тоже. Правда, задача его стала конкретнее, определеннее. Но не малое это дело добиться, чтобы все село стало социалистическим, зажило по-новому.

Обсудив свои планы на будущее сначала между собой, руководители кооператива рассказали о нем Кульчару. Тот выслушал, но посоветовал им все как следует взвесить и, прежде чем посвящать в дело рядовых членов, хорошенько подумать, как проводить эти планы в жизнь. Будет ли им оказана помощь? Да, конечно, какая только возможна, и с его стороны, и со стороны обкома партии. План этот, однако, надо доработать, учитывая, что если будет и дальше расти число членов кооператива, то и земли прибудет.

Для такого обсуждения в субботу и созывается общее собрание.

Вырос кооператив, увеличился и состав правления. За столом президиума сидит теперь и Шике. Он считается уже заслуженным членом кооператива, хотя и по сей день все еще считает, что попал сюда, так сказать, «на католической основе», но вида не показывает, что он такой ревностный католик.

Кульчар, как представитель уездного комитета партии, разумеется, тоже здесь. Выступая, он говорит:

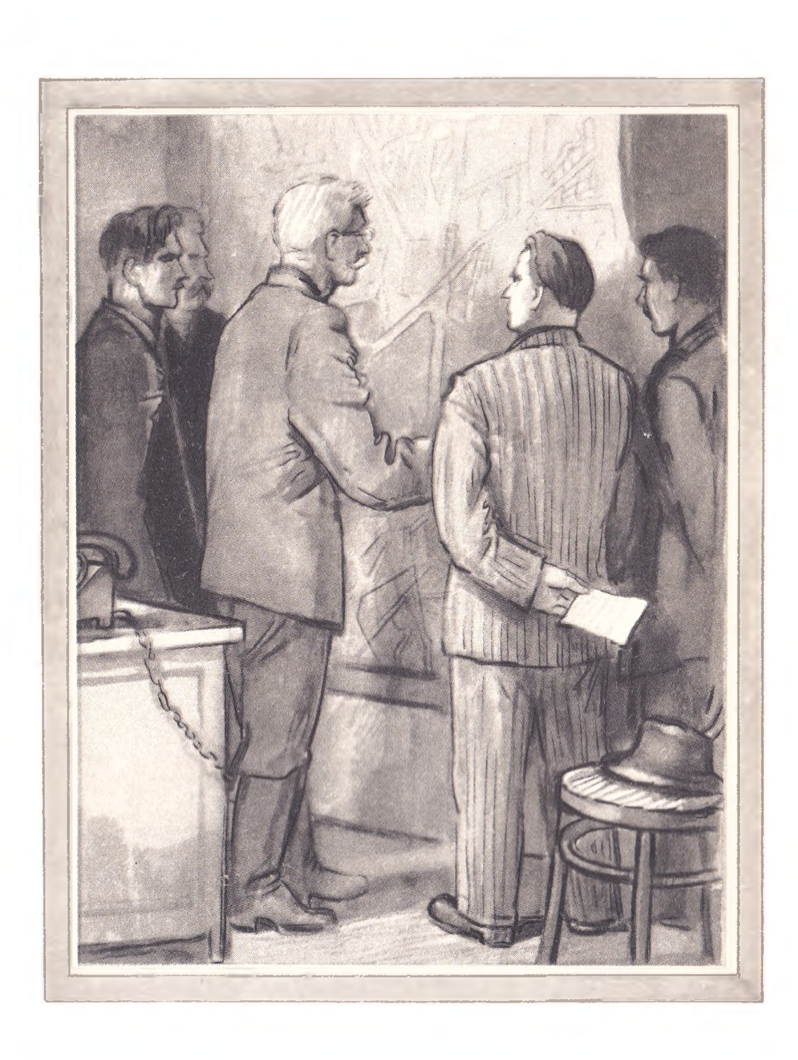
—...Вот и выходит, товарищи, что ваш новый план отличается от прошлогоднего только своими масштабами, но не показателями. Оно и понятно — земли стало больше, людей тоже. А партия, государство, да и собственные интересы кооператива требуют от вас не успокаиваться на достигнутых результатах, как бы хороши они ни были. Жизнь наша, товарищи, не стоит на месте. Легко сказать: «Мы добились немалого, зачем же нам идти дальше?» Но это неправильно. Прошлогодние показатели теперь хороши только для того, чтобы, изучив их, мы поняли: производство в кооперативе можно поднять гораздо выше, настолько, насколько позволит земля. А земля наша, товарищи, позволит и выдержит еще очень много. И мы с вами должны из года в год повышать свои знания, как школьники, переходя из класса в класс. В прошлом году вы недурно выдержали экзамен, но теперь, к примеру, вместо двадцати хольдов хлопка у вас будет уже тридцать, и это правильно. Вы расширяете молочную ферму — это тоже правильно. И все-таки ваш план на будущий год недостаточен. А что такое план и какое значение он имеет для всей вашей деятельности, вы, товарищи, знаете лучше меня. Пожалуй, можно смело сказать: каков план, таков и результат...

— Довольно с нас и прошлогодних доходов! — выкрикивает Бени Гуяш.

— Верно! Дай бог получить столько же! — поддерживает его Кари Вереш.

В зале по рядам пробегает ропот; люди наклоняются друг к другу, шушукаются, словно камыш на ветру. Кульчар, выждав, пока стихнет шум, продолжает:

— Если вы хотите достичь только того же, что и в прошлом году, у вас это наверняка не получится. Хозяйство, товарищи, не сберегательная касса — столько-то положил, столько-то взял обратно, столько-то осталось. Нет, хозяйство дело куда более сложное и вместе с тем более благодарное. Если я вложу в него мало, то не получу почти ничего, вложу побольше — получу кое-что, но если я отдам ему все свои силы — оно воздаст мне сторицей: и зерно, и деньги посыплются, как из рога изобилия. Вы думаете, товарищи, у вас были бы такие доходы в прошлом году, если бы вы не отдали хозяйству все свои силы? Ошибаетесь! Если бы вы по четыре-пять раз не мотыжили, если бы буквально на пустом месте не начали строительство, если бы не вставали на заре, если бы...



— Но все это мы будем делать и теперь! Так и в плане записано! — прерывает его маленький Шерфезе.

— И все равно не можем мы ограничиться тем, что сделано в прошлом году, товарищ Шерфезе!

— Почему не можем? Взять хотя бы наш луг. Мы опять откроем шлюз и пустим на него воду, как раньше...

Снова шум. Люди не понимают, почему плох план, который они составили исходя из прошлогодних результатов.

Бердешу теперь все чаще приходится задумываться. Кооператив вырос, и это изменило весь его облик. В прошлом году, когда людей в нем было немного, Бердеш чувствовал себя среди них, как в своей семье, но сейчас с каждым днем ему становится все труднее ориентироваться. Тем не менее он решительно встает.

— Итак, уездному руководству не нравится наш план. Что ж, на то и поговорка — кому поп, кому попадья. Значит, составим другой план, товарищи! И, главное, мы должны это сделать сами,— коротко заключает он и садится.

Наступает такая тишина, что, водись в феврале мухи, было бы слышно, как они летают. Люди смотрят веселее, а Бени Гуяш весь сияет от удовольствия, как полная луна.

— Товарищ Шаркези, ты что молчишь? Выступи! — шепчет Кульчар Шаркези.

Секретарь парторганизации нервничает, курит. Торопливо смяв недокуренную сигарету, он поднимается с места.

— Товарищ Кульчар прав. Наш план никуда не годится. И все потому, что мы его составляли с оглядкой на прошлое, а год в наше время — большой срок. Вспомните, сколько у нас произошло перемен хотя бы за прошлый год! В области организовалось много новых производственных кооперативов, в сельских управах мы, наконец, навели порядок, очистили их от разных Балинтов Эсеньи и Дюрок Боди, выгнали оттуда мироедов и их подпевал, создали сельские советы. За один этот год в любой области успехи значительно больше, чем за все предыдущие годы после освобождения. Да и на всей нашей планете тоже ведь произошло немало изменений. Вопросы мира все настоятельнее требуют от нас ответа. Чем мы ответим на них? Этим планом? Планом, составленным из опыта, который мы унаследовали от помещичьего уклада или от карликового крестьянского хозяйства? Ведь теперь изменились и условия нашего хозяйства, выросли и наши личные потребности. Каждый приобрел для себя на свои трудовые деньги и новую одежду, и домашнюю утварь. Кому это не известно? Невиданные у нас происходят дела, товарищи! И вы думаете, что вот, мол, накупили мы того, другого — и хватит, больше не надо? Нет, это не так. Тот, кто, к примеру, купил себе прошлой осенью три рубахи, в этом году захочет еще три, если не шесть,— нужно же иметь с дюжину рубашек! И так во всем... Примеров можно привести много. Вот дядюшка Шике, скажем, покрыл себе дом новой

черепицей, и хоть он не рассказывал, а мне известно, что он договаривается с плотником, хочет поставить новые двери и окна. У каждого из нас наверняка есть свои личные планы на будущее, и они куда больше, чем в прошлом году. Вот почему и плох наш план. Нам нужна такая общая программа, выполнив которую, мы могли бы осуществить все наши личные планы, желания и цели каждого члена кооператива в отдельности. Поэтому надо, чтобы общее собрание поручило правлению подготовить новый, более совершенный проект годового плана. Вот мое предложение! — Помолчав с минуту, Шаркези садится на место, не сводя глаз с собравшихся в зале.

На некоторое время воцаряется тишина. Каждый погрузился в свои мысли, словно Шаркези в своей речи упомянул именно о нем. Ведь это действительно так, планы и наметки на будущее есть у каждого! У одного дочь собирается выходить замуж, второй сам надумал жениться, третьему нужно поставить новый забор, четвертому — углубить колодец во дворе, пятому — заменить на крыше трубу, а тут еще жена давно поговаривает насчет новой плиты для кухни.

Правда, раньше без этого обходились долгие-долгие годы, а теперь подавай все сразу, да поскорей!

...И вдруг обрушивается шквал аплодисментов; он крепнет, становится все сильнее.

— Ставьте на голосование! — советует Кульчар Бердешу.

У Бердеша странное ощущение, словно все это происходит где-то в стороне, все дальше и дальше удаляясь от него. Будто выехал он на телеге в поле, одна вожжа в руке, а другая — то ли оборвалась, то ли ее и вовсе не было.

— Ставлю вопрос на голосование, товарищи, кто за то...— Его голос тонет в громе аплодисментов, зал гудит, как стальная наковальня под молотом.

После собрания, когда в конторе остается всего лишь несколько членов правления, Шаркези обращается к Кульчару:

— Ну, а теперь, товарищ Кульчар, скажи... сможете вы нам помочь в составлении этого нового плана?

Кульчар, прищурившись, смотрит на Шаркези с лукавым выражением человека, у которого припрятан в кармане приятный сюрприз.

— Я думаю, сможем. Ваш кооператив вырос; теперь он серьезная сила, и если мы пока не хвалим вас везде и всюду, то только потому, чтоб вы не зазнались. Но мы твердо убеждены, что вы не остановитесь на достигнутом и оправдаете наше доверие... Для обсуждения вашего плана приезжайте на днях в область, посоветуемся в плановом отделе.

Шаркези слушает Кульчара, и чудится ему, что маленький, сверкающий ручеек струится, журчит, бежит вдаль, блестя и переливаясь на солнце, а где-то далеко катит свои воды огромная река, уходя за горизонт. И ждет не дождется, чтобы заключить

в свои мощные, ласковые объятия маленький ручеек. А ручеек этот — кооператив «Свобода».

2

Кажется, никогда еще телефон не был так необходим, как в эти дни в Дебрецене.

Ранней весной на территории области должно начаться строительство одновременно на двухстах строительных площадках, чуть позже, с начала июня,— еще на двухстах. И это еще не все: к осени дожидаются своей очереди еще добрых две сотни различных строек — машинно-тракторные станции, дома культуры, детские сады, здравницы, амбулатории. Но и это не все. А подъездные пути, шоссе, мосты, виадуки, каналы, тоннели! Их уже либо начали сооружать, либо не сегодня-завтра начнут. Телефон трещит непрерывно, звонят со всех концов области. Помещение планового отдела областного совета выглядит как проходной двор — люди входят, уходят, снова возвращаются.

Начальник отдела сидит за столом в окружении телефонных аппаратов. Положит одну трубку, берет другую и, разговаривая, просматривает лежащие перед ним документы. Некоторые он подписывает, возвращает стоящему у стола сотруднику, другие откладывает в сторону. На столе стопка бумаг, чертежи, папки, пепельница, пресс-папье, на чернильнице ржавый гвоздь, вытащенный из задней шины мотоцикла — сегодня утром он едва не стоил жизни его владельцу. Чуть подальше — большой кусок аконита, пластина плотного, похожего на мрамор минерала, осаждающегося из воды горячего источника в Хайдусобосло по берегам отводного канала.

— Меня ваши доводы не интересуют, товарищ! —говорит в трубку начальник отдела как раз в тот момент, когда секретарь, открыв дверь, вводит к нему в кабинет четырех посетителей. Это Фонадь, Кульчар, с ними Бердеш и Шаркези из кооператива «Свобода». Начальник отдела жестом приглашает их сесть, а сам продолжает: — ...Да, да, не интересуют. Еще вчера вы должны были подвезти к Сентмартонскому мосту тридцать кубометров гравия. Где они?

— Но ведь мы никого не задержали, товарищ Деже, там еще не закончены земляные работы! — отвечает ему кто-то с другого конца провода.

— Я говорю, это меня не интересует. Никаких оправданий быть не может. По графику подвоз гравия вы должны были закончить вчера, и никаких уступок я вам делать не собираюсь. Подумайте сами, что получится, если мы начнем уступать сегодня здесь, завтра там. Заварится такая каша, что потом в ней век не разберемся! План — это закон, и от него нельзя отступать ни на один день, ни на один кубометр гравия. Понятно?..— Голос начальника тверд и категоричен.

Но Бердеш невольно сочувствует его невидимому собеседнику. В самом деле, если в данную минуту гравий не нужен, зачем же так распекать человека?

Бердеш рассеянно осматривает стены просторного, светлого кабинета. Да, план причиняет ему все больше хлопот дома, в селе, а теперь он явился за этим сюда, в город; видно, никуда от плана не скроешься.

И этот товарищ за столом кажется ему чужим, непонятным, а то, что он говорит, звучит словно не на родном, а на каком-то другом языке. Но вот звонит другой телефон, и начальник отдела снова берет трубку.

— Как? Тысяча семьсот метров? Глубже, товарищи, надо глубже! Если немцы могли опуститься на две тысячи двести, сможем и мы!

— Бурят скважину,— поясняет Фонадь. (А у Бердеша такое ощущение, словно это бурение отдается болью в его печени.)

— Я вас слушаю, товарищи,— обращается, наконец, к гостям начальник отдела, встает из-за стола, пожимает руку Фонадю, затем остальным.

— Это товарищи кооператоры, о которых я с вами уже говорил,— начинает Фонадь.

Ласло Деже пододвигает стул поближе к посетителям, садится, угощает всех сигаретами.

— Итак, если мы сделаем ставку на кооператив «Свобода», вы возьмете на себя, товарищ Фонадь, ответственность за то, что мы не убьем понапрасну труд и время?

— Разумеется. Ведь товарищ Шаркези и его друзья тоже от ответственности не отказываются, а этого нам достаточно.

«Ишь ты, и тут впереди не я, председатель, а товарищ Шаркези»,— думает про себя Бердеш.

— Признаться, знаем мы о вашем кооперативе немного, но кое-что нам известно.— Деже встает и, подойдя к задней стене комнаты, отодвигает часть деревянной панели, словно раздвижную дверь. Открывается громадная, во всю стену карта.— Вот мое сокровище,— говорит он.— Есть на этой карте и ваш кооператив. Вот он. Скажите, какая у вас земля?

— Разговаривал я как-то в прошлом году с одним стариком-крестьянином из нашего села, и он сказал примерно так: «Хороша наша землица, только одного бога ей мало — надобно два: один — чтоб поливал, а второй — чтоб прогревал»,— отвечает Шаркези.— Прошлый год был на редкость засушливый, так что кукурузу четыре раза рыхлили и не как-нибудь, а на совесть. С хлопком и того больше — пять раз возились! Зато и сняли хороший урожай. По трудодням рассчитались сполна, кое-что построили, увеличили поголовье скота и вообще укрепили хозяйство, стали богатыми людьми. А все-таки наш план на этот год уездный комитет партии не утвердил. И правильно сделал: разобравшись, мы теперь и сами поняли, что преуменьшили свои возможности. Нам нужен совсем

другой план, потому что на кооперативе «Свобода» лежит огромная ответственность. Между тем нашей земле не хватает влаги, вот в чем вопрос. Только подумать, что могло бы произойти, не подоспей во-время два добрых дождя! Мы не можем рассчитывать только на одни талые воды. А ведь наша святая обязанность, несмотря ни на что, снимать отличные урожаи. Поэтому мы и пришли сюда к вам, товарищи, за помощью.

— Дайте нам только разрешение на полив луга, а с остальным мы уже как-нибудь справимся,— добавляет Бердеш, и в голосе его чувствуется нетерпение.

Ласло Деже с минуту раздумывает, глядя на Бердеша, затем говорит:

— В этом году, товарищ Бердеш, каждый литр воды будет на учете. Вода для нас большая ценность, и транжирить ее мы не можем.— И, повернувшись к Шаркези, продолжает:

— Так, говорите, два бога нужны?.. Верно. Умный человек это сказал! На одного у него, видать, надежда плоха; вот потому ему два бога и понадобились. А между прочим, никто еще так верно не определял в двух словах природу нашего края, нашего Затисья. Нужны два бога... Здорово сказано! — На лице его появляется сосредоточенное выражение.— Ну, а теперь взгляните сюда! На этой карте, во-первых, изображен весь затисский край, все его холмы и долины, до последнего овражка, а также почвы, их расположение, структура и плодородность. Во-вторых, здесь указаны средние годовые осадки и число солнечных дней за последние сто лет. Из этих данных вытекает, что по количеству осадков мы стоим на последнем месте в Европе, а по числу солнечных дней на первом. Нигде, ни в одной стране, ни в одном уголке европейского материка земля не получает столько солнечных лучей. Что из этого следует? А вот что: если мы сумеем напитать землю водой, как этого требует наш исключительно щедрый солнцем климат, наш край будет давать самые высокие урожаи в Европе! Но это только одна сторона дела. Вторая состоит в том, что на этой карте (ее составили для нас наши друзья-ученые, так сказать, сверх плана, в свое свободное, предназначенное для отдыха время) изображено все, что мы хотим для этого сделать, как именно собираемся преобразить лицо Затисья! План преобразования природы у нас уже разработан и даже нанесен на эту карту. Здесь можно увидеть то, что должно быть сделано за год, за пять, за десять и даже за двадцать лет. Наше государство, как известно, живет сейчас по пятилетнему плану развития народного хозяйства. Нас в нем особенно интересует Тисалекский гидроузел и водохранилище. План Затисья — органическая часть общегосударственного плана; на нем он строится, из него исходит. Этот план должен осуществляться двумя этапами. К выполнению первого из них мы приступаем немедленно, а ко второму только после реализации ближайших задач. Итак, в чем же состоит первый этап? От Тисалека до Баконсега пройдет главный канал,

длина его — сто километров; у Баконсега он сольется с рекой Береттьо. От него будет ответвляться целая сеть мелких каналов, направления которых укажут ученые и инженеры. Таким образом, в любое время года можно будет орошать двести тысяч хольдов земли. Главный канал будет судоходным, по нему пойдут пассажирские и грузовые пароходы. По каналу повезут скот, зерно, машины — все, что потребует и будет производить преобразованное сельское хозяйство. Людей, животных, семена, строительные материалы можно будет транспортировать и вглубь края по мелким каналам на более легких судах. Все управление шлюзами будет электрифицировано. И, конечно, все сельскохозяйственные районы, примыкающие к сети каналов, также получат электроэнергию. А это значит, что приводимые силой электричества машины будут пахать, сеять, косить, молотить. Таков, в общих чертах, первый этап плана.

Второй его этап намного шире по объему и грандиозней по размаху; его конечная цель — полтора миллиона хольдов поливных земель! Главный канал будет продолжен дальше на юг, от Баконсега к Шебеш-Керешу, затем к Фекете-Керешу, Фехер-Керешу... Так же, как и первый канал, он включит в себя водохранилища и систему шлюзов. Естественно, что в стороне от плотин, каналов и новой сети дорог останется еще значительная часть территории, которая может быть эффективно использована только путем лесонасаждений и травосеяния, а это окончательно изменит лицо нашего уже значительно к тому времени преображенного края. Но при всем этом главное для нас всегда — наша кормилица-земля. Мы создадим в Хайдусобосло опытно-показательное хозяйство на пяти тысячах хольдов для поливных и других культур.

Чтобы увязать воедино все части нашего будущего плана, отныне без специального разрешения планового отдела во всем крае не будет допускаться никакого строительства. Самотек в этом деле может привести к тому, что, например, новая машинно-тракторная станция, усадьба или даже просто маленький хуторок может оказаться как раз на трассе канала или на месте будущего водохранилища. И в селах тоже нельзя строить где попало. Что получится, если там, где наш план предусматривает разбивку парка культуры или какого-нибудь сооружения, выстроят дом или амбар? Все это прежде всего затрагивает интересы производственных кооперативов.

После осуществления этого плана зерновое хозяйство и растениеводство в нашем крае получат совершенно другое направление. Внедрение новых культур приведет к новому подъему животноводства, а все вместе взятое сделает наше механизированное сельское хозяйство передовым. А оно, в свою очередь, будет способствовать и формированию нового человека. Население нашего края — плотность его на квадратный километр пока крайне незначительна — возрастет во много раз. От бедности и нищеты не останется и следа, вырастут новые населенные центры, вокруг

новых промышленных предприятий появятся рабочие поселки. Люди станут здоровыми, сильными, веселыми... Возможности социалистического производства безграничны, его неуклонный рост постепенно превратит наше Затисье в густо населенный цветущий и счастливый край...— Деже медленно задвигает панель на стене и поворачивается к гостям. Глаза его словно устремлены куда-то в далекое будущее.

Для Фонадя и Кульчара этот план не новость, они знают его, как свои пять пальцев. Разумеется, они никому о нем не говорили до утверждения Советом министров. Но и теперь, когда план уже одобрен, они еще не довели его до всеобщего сведения, дожидались, пока областной плановый отдел окончательно уточнит детали. Над этим трудился целый отряд ученых, специалистов, инженеров. Наконец они заявили — все готово, никаких сомнений. И вот оба, Фонадь и Кульчар, с нетерпением ждут, что скажут Бердеш и Шаркези.

— Ну как, товарищ Шаркези? — спрашивает Фонадь.

— Погодите, дайте собраться с мыслями... Даже голова закружилась...

Ласло Деже, очевидно, заранее подготовившийся к этой встрече, делает шаг вперед и продолжает:

— Нам теперь необходим такой кооператив, который был бы образцом для других, стал бы сердцем нашего плана. Он должен расти и развивать свое хозяйство в соответствии с плановыми темпами, а этого можно достигнуть только объединенными силами агрономической науки и механизации. Вот мы и подумали о вашей «Свободе». Что вы на это скажете?

Ошеломленный Бердеш и вовсе перестает соображать. Да и Шаркези тоже с трудом находит в себе силы ответить.

— Все это настолько неожиданно, что я не могу всего сразу охватить. Но смысл в целом мне понятен. Конечно, мы согласны! Мы не отстанем ни на шаг!

— А что скажет общее собрание? — замечает Бердеш.

— Наши люди поймут все, я уверен в этом, но, разумеется, мы спросим их мнение. Скажите только, с чего нам начинать?

— Мы пришлем к вам специалистов — агрономов и инженеров. Они помогут составить перспективный план развития кооперативного хозяйства. Затем, исходя из этого нового плана, вы сможете определить, что вам следует сделать в ближайшем году. Но для этого к концу текущего года все поля вашего села должны представлять собой один общий клин. Очевидно, все село перейдет к коллективной форме хозяйства, объединившись в один кооператив, то есть в ваш.— И Деже ясным и твердым взглядом пристально смотрит в глаза Шаркези.

— К осени все наше село будет социалистическим. Я в этом убежден,— негромко, но уверенно отвечает Шаркези.

— Я бы не решился так категорически утверждать, братец! — с оттенком иронии произносит Бердеш.

— А я думаю, человек должен говорить либо «да», либо «нет», дядюшка Бердеш! В таком деле середины быть не может.

Ласло Деже подходит к Шаркези и кладет ему руку на плечо.

— Нам предстоит совершить настоящую революцию в сельскохозяйственном производстве, товарищ Шаркези. Увидите, как зацветет земля в наших руках. Это такое великое дело, равного которому еще никогда не видел наш бедный, пустынный край за Тисой!

3

Бердеш сегодня не в духе. Он привык вставать рано, и ему хотелось бы, едва он сам откроет глаза, чтобы тотчас подымалось и все семейство.

— Что ты ворчишь? Если самому не спится, дай хоть другим выспаться,— огрызается жена: она-то любит поспать вволю. Подложив под голову руку,— семья большая, поэтому подушки тонки,— она снова засыпает.

Бердеш смиряется и некоторое время лежит тихо, глядя на светлеющий квадрат окна. Но ему чудится, будто и на нем вырисовываются цифры виденного вчера плана. Нет, это уж слишком! Мало того, что весь день контора правления от этого плана гудит, как улей, еще и ночью он не дает ему покоя...

Как-то сразу навалилась уйма всяких дел, и во всем надо разобраться как следует, до конца. Больше всего его донимает один вопрос: чего от них, собственно, хотят с этими новыми планами? И настолько ли уж достоверно, что они будут осуществлены? Не пойдет ли насмарку все, что до сих пор достигнуто в «Свободе»? Тут же возникает и второй вопрос. Что будет, если удастся объединить всех сельчан в коллективное хозяйство? Останется ли в таком случае их кооператив «Свобода»?

Нет, навряд ли. На что он тогда нужен? Ведь понадобится уже более крупная организация, охватывающая все село, и прощай, маленькая, столь милая сердцу «Свобода»! А для Бердеша в ней весь смысл, вся цель его жизни!

И дальше... Взять хотя бы эту девушку, Эстер Мольнар. Опять беспокойство. Девушка она самостоятельная, смышленая, хорошо себя ведет, умеет думать. Не зря же посылала ее партийная организация осенью на областные курсы культоргов. Он принял ее к себе в семью, как родную дочь, а она вместо благодарности хороводится теперь с этим Андришем, сыном Кеваго! К чему это приведет?

Ведь он, хотя никогда словом не обмолвился ни жене, ни детям, прочил ее в жены не кому иному, как собственному сыну Лаци! Да, тут есть над чем призадуматься. В этом, собственно, и причина того, что последнее время он так плохо спит. Несколько минут Бердеш пытается заставить себя уснуть, но напрасно. Так невыносима эта постель! Он громко зевает, кашляет, затем садится и, свесив ноги, шарит ими под кроватью, ища сапоги.

Лаци, в свою очередь, скрывает от родителей, что по уши влюблен в Эстер. Он ходит за ней по пятам, как верный пес; попробуй тронь — сразу вцепится. А Лаци в самом деле добрый малый. Разве не он записался в бригаду конюхов, чтобы день и ночь безотлучно находиться в усадьбе и не надоедать Эстер? Домой он заглядывает только по воскресеньям или в свободное от работы время.

В этих краях, как и на всей Альфёльдской равнине, леса мало, поэтому всякая постройка обходится дорого, но еще дороже обогреть свой дом зимой, если топить печи дровами или углем. Здесь же их топят соломой или сухими корневищами и стеблями. Раз в день протопят крестьянскую печь, если очень уж холодно — два раза, и все. На то, чтобы всю зиму отапливать обе половины дома — черную и чистую,— топлива, разумеется, не хватает, и поэтому почти вся семья зимует, как правило, в одной комнате. Тут вырастают дети, тут же умирают старики. На время, пока умирающий в агонии, ребятишек переселяют к соседям или к родне. Благодаря таким условиям в семьях сложился особый уклад жизни — друг у друга под ногами не мешаться. Днем это легче, но ночью, особенно если семья велика, комната набита до отказа; спят везде — на обоих кроватях, на лежанке, на лавках вдоль стен, на печи.

Утром, когда семья пробуждается, несколько минут царит суматоха, но потом все становится на свое место. Первой встает хозяйка дома. На ней уже надета нижняя юбка; повернувшись лицом к кровати, она завязывает шнурки. Особенно искусны одеваться тайком, спрятавшись за чем-нибудь, девушки, но в субботу вечером или в воскресенье утром этот обычай теряет силу. Ведь в эти дни все тщательно моются, приводят себя в порядок,— так и должно быть, это неизбежно. Девушки обычно ставят таз с водой на стул или табуретку и, отвернувшись к стене, опускают с плеч рубашку таким образом, чтобы ее легко было опять надеть, когда они начнут мыть ноги. Неудобно, но мыться надо, иначе человек начинает чувствовать, как зудит кожа, а это так неприятно... Особенно для Эстер Мольнар, которая хотя и была всего лишь служанкой у господ, но привыкла к чистоте, к ванной комнате. А здесь ее нет.

В том, что Лаци иногда заходил в комнату, когда девушки мылись и переодевались, Эстер первое время не находила ничего особенного. Вошла ли тетушка Бердеш, или сам Бердеш, или Лаци — не все ли равно, все свои. И Эстер, ни о чем не думая, поступала, как и ее названные сестры Пирошка и Кати. Как и они, Эстер одевалась, прикрываясь дверцей шкафа, и, если нужно было высунуться за тем или за другим, глаза ее частенько останавливались на своем изображении в зеркале. (Какая из девушек не любит поглядеться в зеркало?) Но однажды она испугалась. Взглянув в зеркало, она увидела, что Лаци стоит на середине комнаты по другую сторону стола и, выдвинув ящик, будто что-то ищет в нем, пристально смотрит на нее.

После этого случая одевание стало для нее пыткой. Стоит ей начать свой туалет, Лаци уже тут как тут, шарит зачем-то в ящике или слоняется по комнате.

Но тетушка Бердеш недаром вырастила столько детей, и парней и девушек, чтобы этого не заметить.

— Послушай, отец,— говорит она Бердешу,— дай этому бездельнику Лаци такую работу, чтобы он не торчал дома каждое воскресное утро.

— Это почему? — удивляется Бердеш.

— Он так глядит на Эстер, что у него вот-вот глаза выскочат.

— Глядит? А ты не глядишь? Каждый, кому хочется, может глядеть. На то и глаза у человека. А потом, ей-то что за беда? Авось не съест.

Одним словом, что можно поделать, если кто-то хочет или не хочет смотреть на девушку? Ничего. Но положение Эстер становится все сложнее, и она просто не представляет, чем все это может кончиться.

На курсах ее учили многим умным вещам; теперь она знает, что такое объективные законы развития общества, земельная рента, разбирается в противоречиях между трудом и капиталом и в основных проблемах человеческого мышления; читали там лекции об основах мироздания; изучала Эстер также диалектический материализм, много сама читала, но никогда никто из преподавателей не разъяснял ей, чтó нужно делать чистой, молодой и красивой девушке-сироте, которую пусть суровый, но сердечный человек — то ли по своей природной доброте, то ли из вспыхнувшей в нем минутной жалости — принял в свою многочисленную семью, и у которого есть сын, добрый молодец. Этот сын Лаци по уши влюблен в девушку и, пользуясь своим правом члена семьи, бесцеремонно пялит на нее глаза, в особенности когда она переодевается. Эстер думает об этом отнюдь не как чувствительная, сентиментальная барышня, а трезво и холодно, как человек, который в течение многих лет на собственном горьком опыте познал всю сложность отношений между мужчиной и женщиной.

На курсах она преуспела в политических науках и верила, что социализм расчистит путь для становления человеческой личности, сделает его настолько гладким и простым, что идти по нему можно будет чуть ли не закрыв глаза. Она верила в это, но неожиданно убедилась, что многое человек должен завоевать для себя сам в борьбе. И никто и ничто не в силах ему помочь. Это испугало ее. Самое большое — да и то гораздо позднее, на следующей, более высокой ступени развития социализма — это то, что общество сможет лишь облегчить решение личных проблем.

А Лаци совсем не виноват, что он, бедняга, так безнадежно влюблен в Эстер, точно так же, как и Андриш Кеваго не виноват в том, что Эстер влюблена в него. Ведь любовь приходит к человеку так же, как встает или заходит солнце, как распускаются или опадают листья на деревьях. Но каждое дерево цветет по-своему,

по-своему роняет листву, и восход солнца сегодня совсем не таков, каким был вчера. Ведь вещи, люди, живые существа по-своему проявляют свои, одним им присущие качества.

В одно воскресное утро Эстер, как всегда, укрывшись за дверцей шкафа, надевала блузку, а Лаци расчесывал перед зеркалом свою шевелюру. Тетушка Бердеш вышла на минутку в кухню. Заметив это, Лаци быстро нагнулся и неожиданно поцеловал Эстер в плечо и как ни в чем не бывало отвернулся к зеркалу, продолжая причесываться.

Эсти, держа в руке блузку, вышла из-за своего укрытия и, не говоря ни слова, дала Лаци звонкую пощечину, а затем, не спуская с него взгляда, медленно и спокойно надела блузку. Лаци, обернувшись, только растерянно моргал глазами.

— Значит... только это я и заслужил? — тихо произнес он.

— Нет, Лаци, не заслужил. Мне жаль тебя, поверь. Но пойми, ничего другого не остается. Мне это больнее, чем тебе...

Однако Лаци думает об этой пощечине совсем иначе, чем Эстер, точно так же, как и вообще о жизни.

— Никто тебя не любил и не может любить так, как я,— с грустью сказал он, затем, проведя гребенкой по ладони, словно он правит бритву, сунул ее в карман, повернулся на каблуках и вышел из комнаты.

Эстер подошла к зеркалу оправить блузку, поглядела в него, и у нее градом полились слезы.

Лаци же, выйдя со двора, свернул к селу и побрел по дороге. На душе у него горечь и обида. Он без памяти любит Эстер и поэтому не может найти себе места на земле. Когда работаешь в усадьбе, так и тянет домой, а придешь — получай пощечины!.. Вот какие они, эти девушки!

Девушки такие, какие есть. Две из них — красавицы и умницы — покинули в этом году своих подруг из «Свободы». В эту зиму Пирошка Бердеш вышла замуж за тракториста из другого села, а дочь Шаркези — за офицера-политрука, Лайоша Бердеша младшего.

Вот они и ушли из родного Инанда, но следы их ног еще на окрестных полях, дела их рук в кооперативе «Свобода» и теплые воспоминания о них в молодых сердцах. А молодежь знай себе растет; не беда, что старшие выходят замуж или женятся. Ведь сколько ни черпай воды из колодца, ее не убудет, она попрежнему бьет ключом, чистая, свежая. Место Рожики Шаркези занимает ее младшая сестренка — Жужика, Пирошку Бердеш сменяет Кати. Все эти девочки таковы, что с осени до весны превращаются из подростков во взрослых девушек. И как только они успевают вырасти и похорошеть за такой короткий срок? Но расцветают словно молодые яблоньки, и еще как!

Да и сама Эстер Мольнар сильно изменилась с осени, но эта перемена не столько внешняя, сколько внутренняя. Первого ноября она уехала на трехмесячные курсы при обкоме партии, а к

февралю уже была дома. Но за эти три месяца она стала смотреть на мир другими глазами. То, о чем Эстер прежде только смутно догадывалась, получило теперь определенные, четкие очертания, обрело свой смысл; связи и взаимоотношения людей стали ей ясны и понятны, изменилось даже ее отношение к Андришу. До сих пор она любила его безотчетно, безудержно, руководствуясь только чувством; теперь впервые за время их знакомства она, словно со стороны, смогла внимательно посмотреть, а кто же, собственно, тот человек, кого она любит?

Смотря на Андриша, она думала уже не о том, какое у него лицо, фигура, как он держится, а искала смысл, содержание его человеческого «я». И эти пытливые, требовательные искания принесли ей удовлетворение. Впервые за все время она определила свое и Андриша место и роль в этом мире не в случайно брошенном для красного словца значении этого слова, а именно в настоящем, живом мире, хотя пока рамки его, по крайней мере, для Андриша, были не слишком широки, не простираясь даже до кооператива «Свобода».

— Ты должен организовать молодежь нашего села, Андриш. Если дело пойдет успешно, к осени вся молодежь войдет в ДИС, а от союза молодежи до кооператива — будь то наша «Свобода» или другой — один только шаг.

— Я согласен, Эсти, но... что это, условие?

— Нет, что ты, но ведь прежде, чем мы поженимся, нам нужно показать себя на работе.

— Самое главное на свете в том, Эсти, что мы с тобой встретились. Но если ты так хочешь, будь по-твоему. Попробую, может что и получится.

И Андриш тут же перебирает в памяти своих друзей и знакомых. С парнями еще туда-сюда, но вот с девушками будет сложнее, уже только по одному тому, что всем им известно его отношение к Эстер. У влюбленного парня авторитет среди девушек невелик... Но, к счастью, у его сестры Марии немало подруг. Что ж, начать будет не так уж трудно!

— Всего можно добиться, Андриш, если сильно, по-настоящему этого захотеть.

— Послушай, что я тебе скажу, Эсти! Если мы поженимся, все пойдет гораздо легче, поверь.

— Мне очень хотелось бы, Андриш, но... пока нельзя. Наш кооператив начинает сейчас такое огромное дело, что я не могу устраняться от этой работы ни на минуту, ни на секунду.

— Новый план?

— Да. Новый и прекрасный.

— Тогда сегодня же созовем ребят на собрание!

Бежи Кадар попрежнему работает счетоводом и продолжает заниматься молодежными делами, лишь когда ей позволяет время. Но после возвращения Эстер Мольнар с курсов молодежная работа значительно оживилась. Ее, собственно, затем и посылали на

курсы, чтобы она по-настоящему этим занялась. Уж теперь-то она станет настоящим секретарем ДИСа!

Прежде всего она взялась за подготовку культбригады к уездному смотру художественной самодеятельности и решила обсудить этот вопрос с Пиштой Сито как культоргом и с Бежи Кадар.

— Тебе тоже надо выступить, Бежи,— предлагает Эстер.

— Мне? С такой фигурой? Что я могу делать?

— Все. Петь, плясать, играть в спектакле.

— Нет, Эсти, не будем обманываться. С такой фигурой только и можно, что выйти замуж,— с грустью возражает толстушка, встает и критически осматривает себя со всех сторон.— Знаешь, я думаю, что девушкам вообще не следует выходить замуж, пока у них не будет такой фигуры. Конечно, это не так дешево обходится, мне, например, стоило ровно двадцать шесть лет жизни...— Она горько усмехается.

Смеется и Эстер, и даже Пишта Сито принужденно улыбается.

— Что с тобой сегодня, Кадар? У тебя такой унылый вид! — с удивлением спрашивает Эстер.

— Унылый? Очевидно, предчувствую свою печальную судьбу...

— Хочешь, я тебе кое-что посоветую?

— Что?

— Выходи-ка за дядюшку Мислаи!

Бежи Кадар, оторопев от неожиданности, оборачивается к Эстер.

— За дядюшку Мислаи? Ну уж, нет...— начинает она. Но тут же замолкает. Она мысленно уносится в то время, когда была невестой Дюрки Боди. Чего греха таить — она думает о нем по-прежнему, но все же небрежно роняет:

— А может, он вовсе не такой уж «дядюшка»? Как ты считаешь, сколько ему лет?

— Наверное, лет сорок — сорок пять. Что-нибудь в этом роде.

— Тридцать девять! — трагическим тоном объявляет Пишта Сито и бледнеет. Никогда он еще не присутствовал при подобных разговорах.

Обе девушки с изумлением смотрят на него, затем, переглянувшись, улыбаются. Пишта уже совсем взрослый парень; его надо принимать всерьез: у него есть собственное мнение не только о художественной самодеятельности, но и об иных вещах.

Девушки переводят разговор на другую тему, и Пиште Сито кажется, словно перед его носом захлопнули окно и опустили штору.

— Вечером мне некогда, я занята. А ты отправляйся прямо к Мислаи и попробуй посоветоваться с ним насчет программы. Пойди и ты, Пишта. Найдешь время?

— Нет, мне тоже некогда.

— Тогда иди одна, Бежи.

— Хорошо. Мы с ним подумаем, как получше составить программу.

У Мислаи в этот вечер роскошный ужин. Хозяйка, у которой он столуется, решила побаловать своего постояльца жареными гусиными потрохами с рисом и капустой. И притом капустой не обыкновенной, белой, а синей. Понятно, что глаза вошедшей Бежи Кадар после обычного приветствия устремляются не столько на учителя, сколько на пышный стол.

— Заходи, Кадар, садись. А может, поужинаешь со мной?

— Ну что ж, если ты приглашаешь...— Она испускает глубокий вздох и присаживается к столу, прикидывая, с чего бы начать. (О Дюрка, Дюрка Боди, если бы ты, дорожный рабочий, мостящий столичные улицы, знал, что именно тебе предназначался этот вздох перед началом ужина!)

Принятие пищи и так-то дело будничное, скучное, а в особенности, если кто-нибудь видел, как ест Пишта Мислаи. Он тыкает вилкой туда-сюда, торопливо жует, капуста свисает с его губ, челюсти двигаются, как механизм, и весь его вид будто говорит: сейчас проглотим вот это, а теперь примемся за то, а дальше... Но Мислаи и это к лицу. Стал бы он есть иначе, это было бы притворством. А так даже и тут непосредственность ему только на руку. Зато Бежи Кадар ест аккуратно и красиво, не делая над собой никаких усилий. Что поделаешь, каждый ест по-своему.

Ужин окончен. Но непонятно, что случилось с Мислаи. То ли колдовские чары от одного только присутствия девушки в этот вечерний час, то ли что-нибудь другое, но, во всяком случае, учитель — вообще человек непьющий — неожиданно оказывается у прилавка корчмаря Губаштота и прячет под плащ литровую бутылку. Через короткое время он уже снова дома, за столом, под лампой с уютным абажуром чокается с Бежи.

— Прежде всего, Бежи, я должен сделать тебе одно признание... Мне не хочется, чтобы после этого вечера между нами оставалось что-нибудь неясным.

— Вот как? Тогда признавайся, не таи...

— Я хочу сказать, что я... в то время, когда еще был студентом, выучил наизусть две такие книги, которые еще никто и никогда не учил. Думаю, что после меня тоже никто их не одолеет,— холодно и обстоятельно повествует Мислаи, и Кадар не может даже предположить, какая тяжесть лежит у него на сердце. Но тяжелее всего все-таки тридцать девять лет жизни...

— Фашистские книги?..— в замешательстве спрашивает Кадар.

— Нет, что ты!.. Скорее одна либеральная, а другая космополитическая...

Кадар успокаивается и с важным видом наставительно поучает:

— Этого тоже не подобает делать настоящему коммунисту, Мислаи!

— Это я-то настоящий коммунист? Где уж там...— со вздохом машет рукой Мислаи.— Но сейчас я хочу, чтобы ты послушала. Я тебе их прочту напамять.

— С начала до конца?

— Разумеется.

— Неправда, напамять их знать невозможно!

— Ах, так? Ну, слушай! — Мислаи откидывается на спинку стула, затем вдруг наклоняется к столу.— Благодарю тебя, Кадар, за то, что ты согласилась меня выслушать, но сначала давай выпьем по маленькой, а то боюсь, как бы у меня не пересохло горло.

— Твое здоровье!

— Твое!

Мислаи ставит на стол пустой стакан, удобно располагается в кресле напротив Кадар и, скрестив руки на груди, без всяких предисловий начинает читать наизусть... зимнее расписание поездов, изданное десять лет назад. Вначале следуют наименования станций, затем часы, минуты прибытия, стоянки, часы и минуты отправления, пересадки и так далее. Бежи Кадар ошарашена, на лице ее застыло изумление. Ей чудится, будто у Мислаи изо рта вытягивается бесконечная вереница поездов, которые мчатся из одного конца страны в другой то днем, то беспросветной, темной ночью. Мислаи еще не успел добраться до конечной станции Чоп, а Бежи откидывается на диван и хохочет так, что кажется, будто начинает подпрыгивать лампа над столом и дрожат стены.

— Ну и ну! Такого сумасшедшего я в жизни не видела!

— Почему? — спрашивает несколько обескураженный Мислаи.— Подожди, это еще не все...

Когда он закончил, шел одиннадцатый час, а Кадар уже не смеялась, а задыхалась и корчилась от колик в животе, умоляя его прекратить, иначе она лопнет от смеха.

— Ой, больше не могу! Пощади же, наконец!

Безудержное веселье царит весь вечер. Мислаи сам то хохочет вместе с Кадар, то вдруг становится серьезным, пристально смотрит на девушку, затем, накинув пальто и спрятав под полой бутыль, исчезает.

Кадар прихорашивается, поправляет прическу и старается овладеть собой, ибо такое веселье впрямь начинает ее тяготить. «Вот он вернется, и я уйду»,— думает она про себя, хотя знает, что никуда не уйдет. Ей уже двадцать шесть лет, и так хочется склонить голову на плечо мужчины, хотя бы на минутку, на одну секундочку. Хочется припасть к его сильной груди и замереть, покуда не отсчитаешь десять ударов его сердца и своего...

...Стрелки часов приближаются к одиннадцати, а Бежи Кадар, сидя напротив Мислаи, тонким голоском напевает молодежные марши и песни, отстукивая такт носком ботинка по ножке стола. Мислаи, подбросив дрова в печку, долго возится, громыхая совком для золы, затем поднимается, подходит вплотную к Кадар и при-

нимается за свою вторую «книжную тайну» — начинает читать наизусть «Суровые времена» *.

— Ты опять за свое? С ума меня хочешь свести, что ли? Ну, погоди...— Кадар подскакивает к Мислаи и пытается зажать ему рот ладонью. Учитель оказывает яростное сопротивление, и в результате борьбы оба наконец так измучены, что, запыхавшись, ловят ртом воздух, как рыбы.

...Но вот уже пролетела, расплылась ночь, уже остыла комната, давно погасла печь, и Бежи Кадар в довольно скверном настроении одевается перед тусклым зеркалом. Вдруг она резко поворачивается и бросает Мислаи, стоящему на коленях перед печной дверцей:

— Бессовестный! Где у тебя совесть?

— А ты подожди, может, найдется! — отвечает он, раздувая огонь в печке.

Кадар молчит; в голове у нее неотступно вертятся два вопроса. Первый: как уйти отсюда, чтобы никто ее не заметил? И второй: выходить ей за Мислаи замуж или нет?

— Подожди, пока в церкви не зазвонят к заутрене. Тогда подумают, что ты только-что зашла на минуту и уже уходишь,— негромко говорит Мислаи. Огонь в печи ярко вспыхивает, он смотрит на пламя и вдруг разражается смехом, словно увидел что-то забавное.

— Чорт бы тебя побрал вместе с этими... «Суровыми временами» и расписанием поездов. Все это ужасно глупо и... вообще чепуха! — вздыхает Бежи Кадар.

А где-то далеко, над разобранной мостовой одной из улиц столицы, может быть, в этот час уже звякнули молотки в руках рабочих...

Вечером репетиция художественной самодеятельности шла как по маслу. Руководил ею Мислаи, Кадар усердно ему помогала, а парни и девушки разучивали те номера, которые распределила между ними «режиссура». Поздно вечером, около одиннадцати, когда репетиция закончилась, Мислаи зашел в контору, чтобы сообщить Бердешу, что он имеет намерение сочетаться браком с девицей Бежи Кадар, если, конечно, правление кооператива не имеет ничего против.

— Против? Отчего же! Ведь ты, товарищ учитель, выбираешь жену себе, а не нам,— посмеиваясь, отвечает Бердеш.

— Тогда спасибо, товарищи, большое вам спасибо! — и растроганный Мислаи по очереди пожимает руки всем присутствующим.

Итак, это уже третья свадьба. Нужно сказать, она не вызвала среди молодежи такого волнения, как первые две. Случись четвертая, тогда другое дело. «Вот поднялась бы кутерьма»...— думают девушки и парни, то и дело поглядывая на Эстер Мольнар. И эти многочисленные взгляды словно вопрошают: ну, а что же ты? Скоро выйдешь замуж?

А Эстер молчит, точно не замечает этих немых вопросов. Она с головой ушла в работу, в репетиции самодеятельности, словно вся судьба кооператива «Свобода» зависит от успеха их выступления на смотре. Эстер горит энтузиазмом и относится ко всему так, будто только этого и требует от нее сейчас ее новая семья — кооператив: танцевать, декламировать, снова танцевать... И она вкладывает в это всю свою душу. И не напрасно...

Самодеятельный ансамбль кооператива «Свобода» имел огромный успех. После концерта в селе весь коллектив выступал на уездном смотре, затем на областном и, наконец, в числе лучших был отобран для конкурса в Будапеште...

Эстер Мольнар и Лаци Бердеш получили премии Министерства культуры. Девушка — библиотечку из ста книг, Лаци — тысячу форинтов. О них писали в газетах, фоторепортеры щелкали аппаратами и вдобавок ко всему директор Театрального института предложил зачислить Эстер Мольнар в число студентов... Учиться, чтобы стать актрисой, причем бесплатно, и даже со стипендией.

Эстер задумалась, но только на минуту. Поблагодарив, она ответила, что принять такое предложение не может. Она вернется домой, в свой кооператив. Эстер упаковала в чемодан премию — библиотечку, которую ей прислали прямо в гостиницу; Лаци спрятал поглубже в карман свою тысячу форинтов, и они вместе со всем коллективом сели в поезд.

Лаци попрежнему ходит за Эстер, как тень. Он уверен, что не может без нее жить, а поэтому даже побыть около нее для него уже великое счастье. Однако, бедняга, изо всех сил старается не показывать Эстер своих чувств; он для этого и пошел добровольно в конюхи, чтобы всю неделю быть в усадьбе.

4

Первого марта прибыл молодой агроном, о присылке которого кооператив просил еще осенью. Он оказался пареньком двадцати одного года, стройным и худощавым, со светлым, почти белым вихром волос, так смешно топорщившимся, будто теленок провел по ним языком от затылка ко лбу. Агронома привез на своей машине Кульчар. По дороге молодой агроном рисовал себе первую встречу с кооператорами: что и как будет после того, как он по очереди представится всем членам правления? Но все получилось иначе. В конторе полно крестьян, шум голосов, все курят, дымят напропалую и в первую минуту как-то сердито смотрят на вошедших. Затем все вскакивают и радостно здороваются с Кульчаром.

— Вот ваш агроном! — представляет он своего спутника.

Бердеш несколько секунд пристально разглядывает паренька, затем внезапно садится и, кивнув головой, говорит:

— Садись, сынок, послушай, поучись пока,— и продолжает свою речь, которая была прервана появлением Кульчара и агро

нома. Дело в том, что правление обсуждает переработанный проект нового плана.

— Итак, триста двадцать хольдов под пшеницу... Зато двести хольдов — рисовая плантация... сто двадцать дойных коров... сто шестьдесят свиноматок.

Большие здесь обсуждаются дела, и агроном чувствует себя от этого таким маленьким! В академии его как будто учили совсем по-другому. Но самолюбие его задето. «Садись и поучись!» Нечего сказать! Это у кого же он должен учиться? Он ведь сам приехал сюда для того, чтобы учить! Учить этих невежественных крестьян, как нужно вести культурное современное хозяйство... Он переводит взгляд на инженера-землеустроителя. Тот встает и подходит к висящей на стене карте, что-то показывает и начинает разъяснять:

— Товарищи, положение таково: если мы желаем отвести под рисовую плантацию двести хольдов, то нам придется прирезать к кооперативному клину вот эту часть Дикого урочища, которая принадлежит сейчас единоличникам. Иначе ничего не выйдет!

— Ну что ж? И прирежем! — решительно заявляет Бердеш, который хотя и долго сомневался, но теперь окончательно уверовал в новый план.

— Нельзя так, товарищи! Это может плохо кончиться! — предостерегающе восклицает Сито.

— Это почему же? — вскипает Бердеш.

— А потому, что Кеваго с соседями не из тех, кем можно распоряжаться как твоей душеньке угодно! Или ты запамятовал, Лайош, что получилось в сорок пятом году?

— Нынче не сорок пятый год. Теперь у нас другие права.

Инженер опасается, что снова разгорится бесконечный спор, и, не желая этого допустить, предлагает:

— Есть и другой выход, товарищи!

— Какой? Говори, послушаем! — слышится со всех сторон.

— А вот какой: мы можем уменьшить рисовую плантацию с двухсот хольдов до ста двадцати. В этом случае граница пройдет здесь, у Сторожевого холма, к нашему клину прирежем только вот этот участок с двумя мелкими хуторами, и тогда луг Кеваго и его соседей нам не нужен... — Но ему не удается закончить, его прерывает Бердеш:

— Это не выход! Мы хотим разбить плантацию ровно на двести хольдов и ни на вершок меньше! Так и записано в новом плане.

Карой Ханадь надувается от злости, как рассерженная оса. С минуту он сдерживается, но потом взрывается:

— Вот как!.. Опять, значит, в этого кулака Барну Надя уперлись! Опять ни с места!

— А с Андрашем Кеваго разве не так?

— Кеваго середняк, да и человек порядочный, работящий!

— Да? А когда он в прошлом году увез сено с нашего луга, тоже таким был?

Опять спор! Теперь Бердеша унять нелегко. Кульчар сидит молча и грустно покачивает головой. И когда, наконец, люди поймут, что пора покончить с этими вечными раздорами? Молодой агроном и вовсе съежился в комок, словно гусеница. Увы, в академии ни в одном учебном курсе ни словом не упоминалось о том, что члены кооперативов имеют обыкновение иногда вот так набрасываться друг на друга, словно разъяренные коты. И как он будет жить среди этих сердитых венгерских крестьян!..

Сердце щемит не только у агронома, но и у Кульчара. Он прислушивается к перебранке, и ему кажется, будто люди как начали ссориться между собой еще позапрошлой осенью, в организационный период, так и по сей день не могут угомониться. Прошло полтора года, кооператив разросся, окреп, люди поправили свои дела, приоделись, построили молочную ферму, новый свинарник... Неужели все это для них ничто, лишь бы попрежнему каждому дуть в свою дуду, спорить да ругаться?..

Вопрос о рисовой плантации приходится отложить: так вот, сидя в конторе, его все равно не решить. Надо идти на место, в поле. А как туда попадешь, если весь луг залит талой водой? В низинах, которые намечены под плантацию, стоят огромные лужи, грязь по колено...

Но беда не велика. Разрешение на орошение луга водой из канала у них в кармане, остается запросить согласие властей прирезать нужные кооперативу участки единоличников. В конце концов, не так важно, где именно; там видно будет...

Сложнее обстоит дело с планом строительства: он предусматривает расширение молочной фермы в три раза. Вместо сорока коров — сто двадцать!

Коровник на сорок голов в прошлом году по сметам должен был обойтись в двести тысяч форинтов. Сколько же будет стоить новый, на сто двадцать голов? По меньшей мере, раза в три дороже. Правда, в прошлом году они добились немалой экономии, строили сами, и все обошлось значительно дешевле. Почему бы и теперь не поступить так же?

Однако и это еще не все. Ведь надо расширить свинарник, всерьез заняться птицефермой — для нее тоже пора строить помещение. Сколько же потребуется для всего этого кирпича, сколько песку, извести, леса, теса, цемента, гвоздей, черепицы?

— Экая прорва! Нет, не вытянем мы всего, ей-ей не вытянем! — сомневается Карой Ханадь.

— Нужно сеять кукурузу новым способом, чтобы потом меньше рыхлить ее вручную! — неожиданно вырывается у молодого агронома, но он тут же сам пугается своих слов. Он хоть и понимает, что прав — ничего умней здесь еще никто не предложил,— но готов провалиться сквозь землю. И не без основания.

— Каким это таким способом? Посеял, значит, и плевать, пусть растет, как бурьян? — наскакивает на него Карой Ханадь и неистово хохочет.

Его пример, повидимому, заразителен; вслед за ним громко смеются и остальные. Даже самые серьезные — Кульчар и Шаркези,— даже они не могут удержаться от улыбки. Но уж если начал, надо высказаться до конца.

— Да, да, товарищи, не смейтесь. Надо сеять продольными бороздами, скажем, с юга на север, а потом с востока на запад... Тогда можно будет проводить обработку лошадьми в любом направлении и рыхлить вручную либо совсем не потребуется, либо очень немного. Этот способ называется в агрономии квадратно-гнездовым,— продолжает отстаивать свое предложение агроном.

Члены правления просто ошеломлены.

— Нет, вы только поглядите! Уж не собираешься ли ты, товарищ агроном, на нашей шкуре опыты проводить? — возмущается Бердеш.

— Этак скоро мы до того дойдем, что у нас лошади кукурузу убирать будут! — иронически фыркнул Карой Ханадь.

Щеки юного агронома алеют от смущения, как у девушки. Он беспомощно переводит взгляд с одного на другого, в нем — почти мольба.

Шаркези перебирает в памяти то, что он видел в других краях.

— Был я в одном месте... Там всего года два-три как начали выращивать кукурузу. Ведь она обычно растет под той же широтой, что и виноград. А в Советском Союзе вывели такие сорта, которые легко переносят и суровый климат. Понятно, что кукуруза там стала любимым детищем.

Люди продолжают шумно переговариваться, размахивают руками, хлопают себя по коленям, только Йошка Пап и Сито, переглянувшись, молча попыхивают цыгарками.

— Смотрите, товарищи! Давайте включать в план только то, что сможем выполнить, а то мы тут такое напланируем...— предупреждает правление Бердеш.

— Ну, а ты что скажешь, товарищ Пап? — обращается к Йошке Сито. Тот еще раз затягивается цыгаркой, затем говорит:

— Товарищ агроном прав. Квадратно-гнездовой способ посева кукурузы дело отличное, это верно; оно мне знакомо, я и сам в сорок втором и сорок третьем году так сеял. Но есть много разновидностей этого способа. Если к тому же хорошо подготовить почву и умело, по всем правилам, удобрить ее, то урожайность кукурузы, вообще говоря, может не иметь предела...— И Йошка Пап продолжает выкладывать все тонкости и особенности квадратно-гнездового способа посева. Это целое искусство! У юного агронома широко раскрываются глаза, в них появляется надежда — значит, все-таки он со своими академическими знаниями тут не одинок! Он начинает чувствовать даже некоторую зависть. Ведь товарищ Пап не кончал академии, а как отлично во всем разбирается! И откуда только?

Но уж если обсуждать, так обсуждать. И не только говорить о кукурузе, а и об остальном, в особенности о сахарной свекле.

Что касается свеклы, то пока здесь в ходу привычные, испытанные способы, которые всем знакомы и понятны, как дважды два. Известны они каждому по собственной практике, а кроме того, ежегодно по этому вопросу издается немало специальных брошюр, где обобщаются результаты опытов того или иного образцового хозяйства или научной станции. Но все эти новшества вместе взятые еще не создают переворота. Мало этого для крестьян, в которых творческая, революционная инициатива бьет ключом. Ведь именно в сельском хозяйстве особенно необходим переворот. А у кооператоров уже есть исходная точка, на которую можно опереться, сосредоточить все свои творческие помыслы. Шаркези ведь немало повидал в Советском Союзе.

— Вот ты, братец, как приехал, много рассказывал нам про сахарную свеклу... Может, посоветуешь, как бы нам улучшить это дело? — спрашивает Бердеш у Шаркези.

— В Советском Союзе умеют хорошо растить сахарную свеклу. Какая там урожайность, я уже вам говорил. Конечно, производство там почти полностью механизировано: машина сеет, машина рыхлит, машина убирает и везет на склад. Об этом я говорю сейчас потому, что не за горами время, когда и у нас так будет. Но сейчас нас больше всего интересует одно: как лучше сеять? Там сеялка кладет в каждую ямку не клубочек в несколько слипшихся семян, а только одно-единственное зернышко. Поэтому всходы получаются не кустом, а одиночные; прорывать слабые ростки не надо, достаточно только как следует прополоть их, и все! Что это значит, сами понимаете — ручного труда сразу вполовину меньше. Стало быть, и нам тоже нужны семена не клубочками, а отдельными зернышками. Но таких семян у нас пока нет,— отвечает Шаркези.

Старый Бири вскакивает и, размахивая руками, словно собираясь вступить в ожесточенный спор, заявляет:

— Я дам вам такие семена! Я, Михай Бири, обещаю это! — И тут же садится.

Все, разинув рты, смотрят на старика. Если Михай Бири сказал, значит, сделает. Ведь соорудил же он в прошлом году аппарат для истребления блох и спас свеклу; потом устроил такую ладную кормушку для жеребят, которая работает автоматически, сама собой; он же смастерил и какие-то особенные гнезда для кур-наседок. Умелые руки старого Бири чувствуются повсюду. Почему бы, в самом деле, ему не придумать и что-нибудь с семенами?

— Но как ты думаешь это сделать? — спрашивает Бердеш.

— Сделаю, положитесь на меня,— коротко отвечает Бири.

Люди моргают и смотрят на старого Бири. Что он имеет в виду? Гадают, строят предположения, всяк по-своему. Карой Ханадь, например, думает о том, что не иначе как в этого старика вселился бес. И чего он только не умеет! За все на свете берется.

— Дело ясное. Если семена сухие, их можно пропустить через крупорушку,— высказывает предположение Йошка Пап.

Тогда Бири вынужден объяснить. Если он будет отмалчиваться, это только повредит его славе!

— Так-то так, только камень надобно направить по-особому: ни остро, ни тупо, а так, серединка-наполовинку...

— А что... ведь получится,— говорит Шаркези и с благодарностью глядит на старика.— Попробуйте, дядюшка Михай. Чем чорт не шутит, может, и нам удастся кое-что сделать, не дожидаясь, покуда мы получим такие же сеялки, как в Советском Союзе.

Михай Бири наверняка знает, что все получится. Еще бы, обдирка риса тоже ведь не простое дело, а вот вышло же. Правда, большой процент зерён при этом крошится, но они годятся в котел. Отчего же не справиться со свеклой? Все дело вдруг представляется ему настолько легким, что непонятно, как раньше никто до этого не додумался? Пусть так, но где же был он сам, Михай Бири? Ведь он-то всегда обо всем привык думать и заботиться.

Может, в том и беда, что обо всем. Его первым изобретением, или, скромнее говоря, рационализаторским предложением, была пятиконечная звездочка, выжженная в форме для кирпича. И теперь она сияет на каждом из них! Сколько кирпичей, столько и звездочек смотрит со стены на прохожего. Прошлым летом, например, изготовили сто двадцать тысяч штук — сто двадцать тысяч звездочек! Важное дело — звездочка на кирпиче.

Если поразмыслить, чего, кажется, проще, а все-таки кому-то нужно было додуматься выжечь ее на дне формы. Ведь все большие дела начинаются с малого. Теперь Михай Бири ходит вокруг коровника, конюшни, свинарника, амбара, заглядывает и на поле. Словом, повсюду, и будто вынюхивает, где бы обнаружить что-нибудь такое, к чему можно приложить свою смекалку.

Мир вокруг него полон тайн, а разгадаешь их — и человек сразу стал богаче. Сегодня все еще идет по старинке, по привычке,— другие делают так, и я вместе с ними,— а завтра, глядь, все повернется иначе, потому что так лучше. Вот что волнует Михая Бири!

Постройки усадьбы Кельчеи сооружены из кирпича, и их разъедает селитра. Если кирпич крепкий и хорошо обожжен, его-то разъесть, правда, не легко, но тогда тем сильнее селитра губит штукатурку.

Здание покрыто цементом, но и его прогрызает прожорливая селитра, проступая большими, величиной с головной платок, пятнами. Старый Бири, заметив это, не долго думая, шагает к новому коровнику — надо осмотреть и его.

Здание аккуратное, ничего не скажешь, точно такое, как было нарисовано на плане. Вот только, если повнимательней всмотреться, видно, что поверхность стен неровная, волнами, которые оставили непривычные к этой работе крестьянские руки. Если глядеть прямо, то это не так бросается в глаза, но, когда солнце косыми лучами освещает стену сбоку, волны проступают тенями.

Впрочем, это чепуха, мелочь. Несколько раз хорошенько побелить, и все выравняется. Другая беда поважнее; правда, в ней больше виноваты инженеры. Дело в том, что вентиляционные щели в стене коровника расположены вдоль яслей, не выше метра от земли. Проектировщики, наверное, перемудрили: они, видимо, рассчитывали, что в зимнее время влага от дыхания животных, конденсируясь в пар, будет через эти щели выходить наружу. Но просчитались: пар ведь поднимается кверху, оседает на потолке, и от него по штукатурке уже ползут яркозеленые пятна плесени...

— Надо пробить щели вот здесь, наверху, под самым потолком...— рекомендует Михай Бири старому мастеру Сильве.

Мастер, следя за рукой Бири, указывающей воображаемый путь испарений, долго соображает. Наконец соглашается.

— Верно, ты прав. Об этом мы не подумали. Когда будем строить большой коровник, сделаем так, как ты говоришь.

Еще нет и полугода, как построено здание, а на метр от земли и здесь уже начинает пробиваться сквозь штукатурку проклятая селитра. Михай Бири глаз не сводит с этих предательских пятен. И в голове у него рождаются самолюбивые мечты о том, как бы ему истребить эту селитру. Как сделать, чтобы она не попадала в глину, которая идет на кирпич... Или еще лучше, вытравить ее прямо из почвы, которая идет на приготовление массы...

5

Пришла пора готовиться к весне. Горячкой охвачены все: старики, взрослые и молодежь. Старики о многом думают, о многом спорят, а молодежь и подавно. У них для этого есть две серьезные причины.

Во-первых, к годовщине освобождения, то есть к четвертому апреля, надо подготовить новую программу художественной самодеятельности, еще лучше прежней.

Во-вторых, пришло, наконец, время организовать постоянную молодежную бригаду не только для плясок и песен, но и, самое главное, для работы на кооперативных полях. Эту бригаду — она должна быть совершенно самостоятельной — нужно разбить на звенья, которые будут соревноваться между собой. Таково единодушное желание всех парней и девчат. Конечно, следует избежать прошлогодних ошибок: ведь тогда молодежная бригада существовала больше на бумаге, чем на деле,— правление бросало ее на самые различные участки и даже объединяло со стариками.

Ребята внимательно изучили план рисовой плантации и хотят, чтобы ее целиком и полностью поручили молодежной бригаде. Но старики против: если молодежи дать волю, она и вовсе отобьется от рук. Молодой поросли лучше расти в тени старого дерева, пусть не выдумывают.

Ну да ладно, придет время, решится и этот вопрос. А пока молодежь больше всего волнует предстоящий вечер самодеятельно-

сти. За этим они и собрались вместе и пригласили учителя Пишту Мислаи. Пора, однако, нам познакомиться с ним поближе.

Получив диплом учителя, Мислаи сразу же был назначен в Инанд. С тех пор он безвыездно здесь живет и учит ребятишек. До освобождения в сельской школе было всего четверо учителей, сейчас их восемь. Прежде Мислаи обучал малышей, теперь он ведет старшие классы: седьмой и восьмой. Детишки приходят в школу совсем крошечными, едва им исполнится шесть лет, и, вырастая у него на глазах, уходят четырнадцати-пятнадцатилетними подростками, а потом становятся взрослыми, рассеиваются по белу свету. Жизнь идет своим чередом, и молодежь села течет мимо его учительской кафедры, как река, которая начинается где-то ручейком и куда-то впадает широким потоком. Сколько восторга, жизни, красок! Малыши, которые, казалось, только вчера испуганно споткнулись в первый раз о порог школы, растут, как молодые саженцы — пускают побеги, распускают листочки, наливаются в бутоны, а кое-кто успевает даже распуститься в цветок, но затем исчезает, и учитель не видит, не знает, как сложилась судьба этого распустившегося у него на глазах цветка.

Так было прежде, пока Мислаи не включился в культработу молодежи кооператива «Свобода». И вот теперь он снова видит своих воспитанников, которые, расправив молодые крылья, год-два назад вылетели из дверей школы. И в этом для Пишты Мислаи радость и полнота жизни.

При старом строе у него было столько неприятностей с власть имущими, что об этом можно было бы написать целую книгу. Мислаи враждовал с пастором, с майором, с аптекарем, со всем «господским кругом», объединившимся в своем клубе, словом, со всеми, кто жил за счет крестьянского пота. Это не было сознательной борьбой, просто такова уж была его натура.

Однажды его даже вызвал на дуэль местный почтмейстер, но он не пожелал обмениваться пулями, в результате чего сам пулей вылетел из клуба. Это и было причиной еще одного происшествия. Как-то воскресным вечером Мислаи отправился в корчму и там напился. Войдя, он тихонько примостился в уголке, молча вытянул бог знает сколько вина, а потом, уже около полуночи, так же тихонько поставил стакан на стол и, потирая руки, словно свивая из пакли веревочку, безмолвно встал и вышел во двор. Там он немного постоял и, расчувствовавшись, принялся изучать звездный купол над головой. Поглядел он на Млечный Путь (дело было в августе), затем на созвездия Большой и Малой Медведицы и все те небесные знаки, о которых некоторые думают, что они предсказывают судьбу.

— А дождя нет...— промолвил он со вздохом, казалось, совершенно беспричинным,— ведь нигде ни облачка, и небосвод был чист, как лицо удивительно красивой, но веснушчатой девушки. Поглазев еще немного на небо, учитель повернулся и, недолго думая, направил свои стопы прямо через двор к господскому клубу.

Там за одним из столов компания играла в модную тогда игру «калабер», за другим — господа и дамы предавались обычному развлечению, пили вино. Угощал врач — по поводу получения повестки на армейский сбор. Сегодня он платил за ужин, за вино, даже за шампанское.

— Милостивые государи!.. Позвольте напомнить, что шампанское должны пить только дамы! — разглагольствовал доктор, стоя перед столом и держа в руке объемистый, граммов на триста, бокал, наполненный вином пополам с содовой.

В этот момент распахнулась дверь, и в зал ввалился Пишта Мислаи.

Вино в бокале доктора покрылось мелкой рябью, карты застыли в пальцах у игроков, поднятая рука одного из них, собравшегося бросить козырь, так и замерла в воздухе, не дотянувшись до стола. Одним словом, все остолбенели, как громом пораженные. Лишь Мислаи твердо знал, чего он хочет. Он вытянул руки, пальцы его растопырились, затем скрючились и — гоп! — далее последовал замысловатый трюк — даже не прыжок, а какой-то шаг одновременно обеими ногами. (Пусть кто-нибудь повторит, если сумеет!)

Свалка продолжалась всего несколько секунд; дзинь — и от «лампы Аладина» остались лишь осколки на полу. Визг, вопли в темноте, грохот падающих стульев, хлопанье дверьми, и... Мислаи общими усилиями был выброшен за порог.

Когда принесли новую лампу, зал напоминал собой поле битвы. Его завсегдатаи безмолвно пялили глаза друг на друга. Над красиво очерченной, вернее намалеванной, бровью учительницы набухла здоровенная шишка, которая росла на глазах, словно ее изнутри надували через соломинку. Достигнув величины с добрую сливу, рост ее, наконец, прекратился.

— Вот скотина! И чем это он мог меня так угостить?..— недоумевал доктор, потирая левое предплечье.

В общем крике и шуме кое-кто пытался собрать с пола разлетевшиеся во все стороны карты, и тут выяснилось, что недостает джокера и валета. (Почему именно этих двух карт, одному богу известно.)

Скандал для «сливок местного общества» получился неслыханный. Был пущен в ход листок для сбора подписей, чтобы лишить Мислаи должности учителя. Но крестьяне в пику господам пустили другой листок — с требованием оставить учителя на месте. Кроме того, сам Мислаи знал кое-какие грешки, водившиеся за его преподобием пастором, и тот в случае ухода учителя боялся разоблачения.

Так Мислаи и остался на прежнем месте и не боялся своих врагов ни порознь, ни вкупе. Только в сорок пятом году он по-настоящему почувствовал освобождение.

По утрам, умываясь и одеваясь, он напевал теперь почти всегда одно и то же:

Гнет, рабство, невзгоды...
Так было тысячу лет...
Страдали народы...

Позавтракав и собрав нужные ему для уроков книги и тетради, он спускался по лестнице, напевая первый куплет «Интернационала», который он изменил таким образом:

Вставай, вставай, освобожденный,
Весь мир, свободный от господ...

Он считал, что после освобождения так будет правильнее. Голос у Мислаи был отменный, сильный. В былые времена в «День молодого вина» * он не раз пытался повторить подвиг легендарного певчего из сказки Яноша Араня *, от одного рыка которого спадали обручи с пустых винных бочек. Правда, ему удалось проделать это один-единственный раз, да и то его коллега по школе утверждал, будто он зря старался, так как обручи настолько проржавели, что и без того рассыпались бы.

Что здесь правда, а что выдумка, сказать трудно. Но независимо от всего, Янош Арань был для Пишты Мислаи любимым поэтом. Учитель утверждал даже, что состоит с ним в родстве. Семейство Арань, как известно, происходит не из Затисья, предки знаменитого поэта перекочевали сюда из-за Дуная еще в семнадцатом веке, и если так — а это несомненно так,— то... Далее следовала история, хотя и невразумительная, но чрезвычайно длинная, а потому вполне основательная для того, чтобы, исходя из этого скорее воображаемого, нежели доказанного родства, Пишта Мислаи называл Яноша Араня запросто Янко или Янчи.

И вот Мислаи на молодежном собрании. Он сидит за столом президиума между Эстер Мольнар и Пиштой Бенце на помосте, который молодежь использует как самую настоящую сцену. Перед учителем несколько тоненьких брошюрок. В них и песни, и скетчи, и короткие водевили, и даже несколько трехактных пьес.

Уже третий вечер собираются они здесь, читают вслух, обсуждают, спорят. Пока ничего подходящего не находится; им хотелось бы чего-то другого, большего, лучшего!.. Это нетрудно понять,— ведь в селе издавна установились прочные традиции в такого рода любительских спектаклях. Немало девушек удачно вышли замуж после того, как блестяще сыграли роль Рожи Финуи или Терчи Батки в пьесе «Гроза деревни» или учительницы из комедии «Солнце светит». А нынешняя молодежь жаждет успеха не меньше, чем те, кто подвизался на сцене прежде. Чем они хуже? Девушки, конечно, не думают теперь о том, как бы, подобно их предшественницам, получше выйти замуж, а только мечтают об успехе и о том удовольствии, которое доставляет им игра на сцене — и людям приятно, и себе радостно.

— Надо поставить какую-нибудь пьесу в трех актах, но с танцами, песнями и так далее,— предлагает Лаци Бердеш. Он надеет-

ся, что в таком спектакле найдутся подходящие роли и для Эстер и для него.

— Надо бы, да нет такой пьесы,— отвечает Пишта Мислаи и с таким удрученным видом перекладывает брошюрки с места на место, будто он сам в этом виновен.

— Тогда придумаем что-нибудь другое! — заявляет культорг Пишта Сито. Он не может себе представить вечер самодеятельности, на котором бы не танцевала Эстер Мольнар.

— Что верно, то верно! — решительно поддерживает его заместитель секретаря по пропаганде Пишта Бенце, но что именно «верно» — не говорит, а только думает про себя. Он, как и Сито, считает, что верный успех может быть только в том случае, если Эстер и на этот раз выступит с каким-нибудь танцем, как на предыдущих вечерах.

Бежи Кадар поднимает руку (но так, чтобы все видели — у нее на пальце обручальное кольцо).

— Говори, Кадар! — предоставляет ей слово Пишта Бенце.

— Я хочу обратить ваше внимание, товарищи, вот на что... Поскольку речь идет о праздновании дня освобождения, мы можем поставить только такую пьесу, в которой в какой-то форме раскрывается сознание нового человека. Ее действие должно происходить на заводе, на фабрике или на социалистических полях. Это обязательно.

— И вовсе не обязательно,— с задором парирует Пишта Сито.— Если выступить с такой программой, в которой мы будем петь, танцевать, играть, декламировать все, что нам нравится, этим мы лучше всего отпразднуем день освобождения. А то, что тебе хочется, можешь высказать на любом собрании или совещании. Положись на нас. Мы сами найдем, что нужно.

— Найдете, но только при моей помощи,— гордо заявляет Пишта Мислаи и смотрит поверх очков на своего молодого тезку.

— Конечно! Вы ведь не откажетесь нам помочь? — Пишту Сито обычно всякая неожиданность приводит в замешательство; так и сейчас. Мислаи все-таки учитель, как-никак из господ, и Пиште трудно понять ход его мыслей.

— Да, помогу. И вот как: устроим мы, ребятки, концерт. С пением и танцами у нас все в порядке, будут и сольные номера, и групповые, и хор, но недостает одного: какой-нибудь пьески или скетча. То, что напечатано в этих брошюрках, вам не нравится, да и мне тоже. Но я постараюсь помочь. Так и быть, выручу вас.

— Но как же, дядюшка Мислаи? — с трепетной надеждой спрашивает Эстер.

— А зачем у меня такой великий родственник, как Янчи Арань? Уж мы с ним это дело уладим, переговорим по душам, и все будет в порядке... Сами увидите!

Если Пишта Мислаи обещает, значит, можно не сомневаться. Увидим — значит увидим.

У Эстер Мольнар, однако, есть еще одно предложение.

— Товарищи,— говорит она,— молодежная организация кооператива «Свобода» только тогда сможет успешно работать, если мы привлечем в ряды ДИСа также и сельскую молодежь. Поэтому я предлагаю, чтобы в нашем вечере приняли участие те девушки и парни из села, которых мы собираемся вовлечь в наши ряды. Есть возражения, товарищи?

Поднимаются две-три руки, но Бежи Кадар снова нетерпеливо шевелит двумя пальцами, словно расправляет на них нитки.

— А я так думаю, товарищи: сейчас начинать организацию сельской молодежи нам не по силам. Лучше вовсе не браться, чем опозориться!

Кое-кто выражает шумное одобрение, и Эстер беспокойно ерзает на стуле, наскоро прикидывая, на кого можно рассчитывать, если дело дойдет до голосования.

— Товарищи, поймите, как важно для нас сейчас организовать сельскую молодежь. Очень важно! Если парни и девушки из села придут к нам и будут работать в нашей организации, они станут ближе к кооперативу, а вслед за ними понемногу раскачаются и старики. Ведь и мы с вами обязаны постоянно помнить о нашем новом большом плане... Ведь и мы исполнители этого великого плана и должны смотреть вперед, видеть, что будет завтра и послезавтра. Вот почему я прошу поддержать мое предложение и начать организационную работу в селе теперь же. Почти у всех вас есть там родные, друзья, знакомые, а у тех, в свою очередь, свои друзья и так далее. Каждое воскресенье будем устраивать собрания, вечера, встречи. На деньги, вырученные от спектаклей, купим книги для библиотеки, выпишем новые журналы...— Эстер говорит так убедительно, что ни у кого не хватает духу голосовать против. На самом деле, почти у всех присутствующих есть на селе кто-нибудь — двоюродный брат или сестра, или просто приятель или подруга, кого им хотелось бы вовлечь в Союз трудящейся молодежи.

Мислаи тоже соглашается и предлагает, чтобы сельских парней и девушек включить в подготовку праздничного концерта. Зачем откладывать дело в долгий ящик?

Ребята одобряют и это предложение и расходятся по домам с твердым намерением приступить к вовлечению новых членов в ДИС с завтрашнего же дня. Ведь завтра воскресенье.

А Пишта Мислаи, вернувшись домой, не теряя времени, уселся за стол со своим «родственником» Яношем Аранем и просидел с ним (точнее, с его книгами) всю ночь. В результате длительных переговоров с загробным миром он остановился на двух стихотворениях: «Соловей» и «Усы».

Уже брезжит рассвет, а в квартире учителя все еще горит лампа, освещая письменный стол и склоненную фигуру Пишты Мислаи. Перед ним — груда бумаг, в одной руке карандаш, другой он теребит волосы, заканчивая «беседу» со своим «родственником» — поэтом Яношем Аранем.

Глава вторая

1

В конце февраля из планового отдела областного совета в село приехали два инженера, техник-ирригатор, главный агроном области, геолог — лауреат премии имени Кошута и два профессора — специалисты по сельскому хозяйству. Они исходили всю округу, бурили то там, то здесь, производили съемки местности, шлепали в резиновых сапогах по набухшей земле. Добрую неделю пробыли они в селе, порядком взбудоражив крестьян, однако говорили мало; больше интересовались нижним слоем почвы, нежели ее верхним покровом; потом собрались и уехали. Два «виллиса» были нагружены не только инструментами и приборами, но и глиной, извлеченной из глубинных пластов. В ней были обнаружены прослойки голубой глины, образовавшейся еще в древние времена.

По возвращении в областной центр работа закипела вовсю: на основе изысканий предстояло составить перспективный план развития района! Начало этой работы ознаменовали товарищеским ужином, в котором участвовали также Фонадь и Кульчар. Старый Сиксаи, техник-ирригатор, поднялся с места, отставил в сторону стакан с вином и прочел стихи, навеянные пребыванием в селе:

Весна стучалась в дверь зимы,
На «виллисах» помчались мы
В район, где Береттьо струится,
Где всходит ранняя пшеница,
Где Инанд — старое село
(Кто не был в нем, тем повезло),
Инандцев много, всех не счесть,
Иные там, другие здесь.

Тяжеловато, конечно, звучали эти неуклюжие вирши, в большинстве своем заимствованные автором из старых журналов и перенесенные в наше время, в другое место, в иную обстановку. (Но ведь и спрос с поэта невелик: только раз прочесть, больше и не к чему.)

С каким жаром эти немолодые уже специалисты принялись за работу! Воля, энергия и знания, не находившие себе применения в годы беспросветного прошлого, отмеченного печатью бездействия, ожидания и бесцельной траты времени, как бы сконцентрировались в этом плане. Много пришлось потрудиться над составлением перспективного плана, но то была теория, рожденная в кабинете; теперь же она вышла на простор полей, проникла в землю, начала воплощаться в реальной жизни, определять будущее. Воодушевленные сознанием этого, все как бы помолодели и сейчас с таким удовольствием слушали вирши старого техника-ирригатора, словно его стихи были прекраснейшей поэмой в мире.

А спустя неделю главный инженер областного планового отдела, тéхник-ирригатор, главный агроном области, инженер-строитель и Кульчар выехали в Инанд с планом кооператива «Свобода» на ближайший год.

Материалы к плану были частью свернуты в рулоны, частью наклеены на листы картона; это — подробные карты местности, чертежи и планировка нового поселка как будущего центра и перспективный план развития сельского хозяйства всей округи.

У собравшихся сегодня приподнятое, праздничное настроение: те, кому удается проникнуть в помещение правления, внимательно смотрят и вдумчиво слушают.

На стене сменяются большие чертежи, карты; вместо прошлогодних вывешиваются новые. Для некоторых из присутствующих они непонятны, их рассматривают, словно какую-то картину. Однако перспективный план нового поселка ясен каждому.

— Смотрите, товарищи, в каком красивом месте мы живем!— показывает пальцем Балаж Фюрес.

Бывший барский дом в усадьбе Кельчеи останется, а конюшня подлежит сносу; она оказывается как раз на том месте, где по плану должна быть сооружена открытая эстрада для будущего оркестра кооператива «Свобода».

— А что будем делать со скотным двором, братец? — спрашивает у Шаркези Лайош Кошут-Киш.

— Ему давно пора на слом. Старое, полуразвалившееся строение, к тому же низкое и тесное.

И действительно, по плану предусмотрен и новый скотный двор, только он вынесен дальше от центра села. Намечена постройка хлева на сто двадцать коров, конюшни для лошадей, домиков для обслуживающего персонала. Будет проведена новая радиальная улица, выходящая к скотному двору. В этом и состоит в основном строительство текущего года.

План предусматривает, что кооператив начнет выращивать рис. Поэтому намечено создать рисовую плантацию площадью в двести хольдов. Это дело исключительной важности. Но еще больший смысл оно приобретает для того, кто знает, что рисовая плантация — это только первая ласточка тех, рассчитанных на многие годы работ, в результате которых село станет центром наиболее совершенного, современного поливного хозяйства! Пока только двести хольдов, но в будущем — уже триста, четыреста, а через двадцать лет — девять тысяч шестьсот хольдов!

Фюрес только моргает и глотает слюну, Бердеш недоверчиво перекладывает бумаги.

— Товарищи! Мы готовы выехать в поле и все посмотреть на месте,— говорит инженер.

— А ничего, что кругом грязь и вода? — беспокоится Шаркези.

Инженер бросает взгляд на свои непромокаемые сапоги; все они оделись так, словно собрались в далекую экспедицию.

— Ничего не поделаешь — нужно! Распутица нас не должна страшить, иначе работы по плану не начнутся во-время, а этого мы допустить не можем.

— Это верно. Сколько человек вам нужно в помощь?

— Достаточно двух, если они знают местность.

— Я думаю, надо пойти вам, дядюшка Бири, и вам, товарищ Пап. Не возражаете?

—. О чем разговор? Конечно!

Они уходят, а Шаркези, глядя им вслед, думает: какое большое дело началось сейчас, самое большое из всего того, что было до сих пор,— началась революция земли. Чем может помочь он, чем может помочь кооператив «Свобода», чтобы эта революция завершилась победой?

2

Буйные вешние воды еще поблескивают на Диком урочище, перекликаются лягушки, то тихо, подобно нежному звучанию арфы, то громко, напоминая звуки флейты. Высоко в небе кружат аисты, за Сторожевым холмом пронзительно кричит выпь. На сухом остове дерева у пруда примостилась цапля, озирающая окрестность. Над полями парит орел. В туманной дымке соседняя деревня словно поднимается с земли и повисает в воздухе. Весна неудержимо вступает в свои права.

На кустах дрока распустились почки; до чего же шелковисты они, словно бархатные пуговки или крохотные цыплята, белеющие и сверкающие издали, как серебро. На тополях тоже набухли почки. За садами на косогоре резвятся дети, ползают по земле и собирают тополиные сережки. Вдалеке, в поле, слышится веселая песня; сначала поет один голос, потом в него вплетается другой, а затем многоголосый хор подхватывает от сердца идущую песню:

> Прячется змейка в пшенице густой...
> Ранено сердце твоей красотой;
> Лучше б, как ведьма, ты страшной была,
> Мой бы покой ты украсть не могла.

Это первое звено молодежной бригады по стерне сгребает колосья и солому. Юноши и девушки словно растворяются в потоках света, и пение их так звонко разносится по всей округе, будто это поют не они, а само небо.

Старые ивы на лугу с молодым задором расправляют свои ветви; чернеют прошлогодние сорочьи гнезда; на зеленеющей траве белеет тропка, изгибаясь то вправо, то влево. Пешеходы, у кого есть дела в этой стороне, идут из села по тропке, тем же путем и возвращаются. Если уж идти пешком, то кратчайшей дорогой.

Сельсовет, да и сами крестьяне каждый год водружают с обоих концов поля колья в знак того, что здесь проход запрещен, но напрасно. Вначале их только обходят и слева и справа, но,

в конце концов, кто-нибудь натыкается в темноте на кол и в сердцах выдергивает его из земли, затем либо кладет себе на плечо и уносит, либо просто-напросто отшвыривает в сторону. И все остается попрежнему.

Часов в восемь-девять утра на краю луга появляется Андраш Кеваго; на плече у него сумка, в руках — сапа. Кеваго осматривается по сторонам, потом подходит к копне сена. Прошлым летом, после того как кооператив обводнил луг, было заготовлено так много сена, что осоку, лебеду и бурьян, перемешанные с ковылем, свалили отдельно, чтобы вывезти позже — пригодится зимой на подстилку для коров. Но все осталось на лугу. Зима так спрессовала копну, словно это и не сено, а какой-то большой коричневый гриб. Андраш Кеваго опускает сумку на землю, скидывает с плеч зимнее пальто и кладет рядом. Потом идет дальше и собирает в кустах и у старой ивы сухие сучья.

Но вот на лугу показываются его дети: Андриш и Мария; у них тоже сапы, а у Марии, кроме того, маленький узелок, с каким девушки обычно выходят в поле. На ней большая шаль и полотняный передник...

— Ну, идите же... разведите костер...— ворчит старик.

Мария кладет на землю свой узелок, наламывает маленьких веточек и разводит костер; Андриш втыкает в землю сапу, молча закуривает и, примостившись у старой копны, дымит сигаретой.

— Ты хоть бы таган поискал или новый сделал! — прикрикивает на него отец.

— А зачем делать-то? Он еще с прошлого года остался...— И Андриш показывает в сторону куста, где под ветвями спрятаны таганы.

По одну сторону костра располагается Кеваго, по другую — Мария, и вот уже из-под хвороста вьется дымок, а затем вспыхивает пламя.

Кеваго нарезает хлеб, а Мария следит за салом, которое жарится на тагане, и переворачивает его, чтобы не подгорело...

Вот они уже молча едят. Кеваго глотает большие куски; при этом всякий раз зажмуривает глаза, а лицо его перекашивается, словно в судороге.

— Ты что не ешь? — спрашивает он сына.

Андриш делает еще одну затяжку, потом бросает окурок и несколько мгновений смотрит, как над травой вьется слабый дымок.

— Не до еды мне сейчас...— грустно отвечает он.

Кеваго прожевывает кусок, глотает его и говорит:

— Как это — не до еды?

— Не могу. Сегодня еще до полудня приедут землемеры, будут размежевывать луг.

— Пусть приезжают! Из-за этого голодать не стоит. Какая в том польза? Или, может, и мне начать голодовку; и все потому, что приезжают землемеры забрать нашу землю?

— Пора понять, отец, что от кооператива нам никуда не уйти. Почему же мы не вступили в кооператив, когда это еще легко было сделать? Когда к нам приходил даже сам партийный секретарь Шаркези? Ведь уже осенью было ясно, что мы отстаем и в хозяйстве, и вообще в жизни — словом, во всем! Так чего ради мы умничали? Время упустили, а то, что сами напортили, трудно будет исправить, если только нам это вообще удастся... Отец...— продолжает он немного погодя, но уже совсем другим тоном.

— Ну, что? — сердито отзывается старик.

— Я видел большой план.

— Какой такой большой план?

— План, по которому отныне будет расширяться «Свобода». По этому плану создается рисовая плантация в двести хольдов, молочная ферма на сто двадцать коров, и все это — только за первые полгода. Во втором полугодии будет построен загон для овец на три тысячи голов и новая большая свиноферма. Кроме того, на полях будет введен травопольный севооборот.

Кеваго знает о плане, и все же сейчас ему особенно больно слышать об этом от сына. Он не в силах понять, как такое большое дело могли начать без него. Он всегда презирал и третировал Бердеша, а теперь просто не знает, что и думать. Неужели люди могут так меняться? Или, может быть, это просто удача? Нет. Удача сама не приходит; ее добивается тот, у кого есть голова на плечах.

С тех пор как Кеваго стал жить своим умом, он всегда что-то прикидывал, всегда что-то планировал, а в последние годы начал все больше задумываться над тем, как вести хозяйство на этой земле, чтобы капризы природы не превращали в ничто плоды изнурительного человеческого труда. То запоздавшие заморозки обожгут землю, то засуха выжмет из нее последние соки, а лет двенадцать назад вешние воды по всей округе превратили землю в сплошное море... А сейчас, пожалуйста,— появляется кооператив и лишает его даже возможности впредь задумываться над подобными вопросами.

— Давайте-ка вступим и мы в кооператив.

— Это не так просто, сынок. Высокий порог отделяет старую крестьянскую жизнь от новой; его не легко перешагнуть. Не будь Бердеш председателем... не скажу, но... Бросить все и пойти под начало к такому председателю, как этот Бердеш?..

— Мне говорили, что председателя выбирают не на вечно.

— Говорили? Я хорошо знаю, кто это сказал: сиротка, Эстер Мольнар...

— Да, она. Но ведь это каждому известно.

Кеваго молчит. Ведь и он хорошо знает, скорее чувствует, что ссылка на Бердеша — только отговорка, уловка, которой он пытается себя обмануть. В действительности же он просто не может решиться оставить свое маленькое хозяйство и вступить в коопе-

ратив. Хотя, вообще говоря, эта мысль ему отнюдь не чужда, ведь в сорок пятом он намеревался организовать на помещичьих землях крупное сельскохозяйственное производство, как в девятнадцатом году. Тогда вожаком безземельных крестьян был Лайош Кошут-Киш, а он, Кеваго, еще молодой парень, товарищ Лайоша, был командиром отряда Красной гвардии. Он до сих пор не понимает, как ему удалось так легко отделаться — всего лишь годом принудительных работ по месту жительства: в течение года он не имел права выезжать из села. С тех пор ему пришлось многое пережить; поистине сверхчеловеческим усердием, тяжелым трудом землекопа и другой черной работой он сколотил свое небольшое хозяйство.

Со временем Кеваго расплатился с долгами и оказался популярным в селе человеком, а в сорок пятом году за ним для совместной обработки помещичьей земли пошла бы большая часть села. Но тут он столкнулся с Бердешем и его приверженцами. Тогда-то Бердеш и собирался упрятать Кеваго за решетку, но это ему не удалось: возмутилось все село. И с той поры никак не проходит его злоба на Бердеша.

Если можно было бы отбросить гнев и болезненное самолюбие! Но Кеваго не может допустить, чтобы над ним стоял этот человек, которого он не уважает и ни во что не ставит. Нет, лучше пусть все провалится в преисподнюю!

Вот о чем думает Кеваго. А пока он размышляет и жарит сало, из села уже выезжает землемер. То, что он, Кеваго, может лишиться луга, ему хорошо известно, ведь осенью он сам был председателем комиссии по размежеванию. Кеваго даже не столько жаль луга, сколько само сознание своего поражения причиняет ему острую боль.

— Больше нельзя оставаться в таком положении, отец, нас просто сомнут,— звенящим голосом говорит Андриш, словно предвещает будущее.

— Чтобы меня подмяли эти... эти... Бердеши? Ну, тогда уж...

— Сами знаете, что речь идет не о них.

Кеваго горько вздыхает и собирает свою котомку.

— Знаю, сынок, хорошо знаю. Ведь не с завязанными же глазами ходил я по земле и до освобождения... Но что делать, что делать?

— Вступить в кооператив...— отзывается Мария.

— А мать вы и не спрашиваете?

— Мы уже с ней говорили об этом.

— А что вы скажете, если мы организуем другой кооператив?

— Неплохо, но... именно этого ждут не дождутся кулаки. Ведь вам, отец, это известно лучше, чем мне,— с грустью отвечает Андриш.

— Знаю, что кулаки этому обрадуются; они надеются стать соперниками кооператива, и, в конце концов... может, так и полу-

читься, вне зависимости от нашего желания. А почему никто не видит, что Бердеш кум Барны Надя, что они друзья-приятели и рисовую плантацию перенесли сюда, на мой луг, только для того, чтобы не размежевывать землю Барны Надя, чтобы...

— А с кем можно организовать другой кооператив? — спрашивает Мария.

— С кем, дочка? Если мы объединимся втроем, с соседом Шенебикаи да с Гергеем Матэ, к нам из «Свободы» перейдут многие, можете мне поверить. А пока рядом со мной верные друзья, у нас все будет в порядке,— заканчивает старик и глубоко вздыхает. Слабое утешение, если слова приходится подкреплять вздохом, и он снова задумывается.

Нельзя быть уверенным, что знакомые, друзья, верные товарищи не оставят его. Очевидно, кулаки сделают все, чтобы вбить клин между ним и кооперативом. Неделю-другую назад он как-то встретился с Гербеди, и тот завел с ним такой разговор,— дескать, надо бы ему, Кеваго, организовать свой производственный кооператив, вот это был бы настоящий кооператив! «Свобода» останется для бедноты, а для прежних мелких хозяев будет другой... Кеваго знает, что, как только он организует новый кооператив, туда постараются проникнуть кулаки, если на первых порах и не сами, то через родню, кумовьев.

Он ясно и отчетливо видит происки зажиточных хозяев, а между тем Бердеш водит с ними дружбу, может быть, даже собирается принять кое-кого из них в кооператив.

На лугу появляется Шенебикаи, на плече у него заступ. Он подходит, останавливается, вонзает заступ в землю и облокачивается на него.

— Бог в помощь, куманек!

— Бог в помощь, кум! Что собираешься делать?

— Хочу окопать по краям свой участок, потому что... опять эти... протоптали через него дорожку.— И он кивает головой в сторону кооперативного поля.

— Вокруг твоей землицы ходят, куманек, обхаживают ее...

— Чорт с ними, но почему им приглянулась именно моя земля?

— Не только твоя. Я так думаю, что в последний раз жарил на своем лугу сало...

Шенебикаи явно расстроен.

— Знаю. Хотят провести дополнительное размежевание. А против этого ничего нельзя придумать, кум? — Шенебикаи испытующе смотрит на Кеваго, как бы говоря: «ты был мне хорошим кумом, мы все шли за тобой, верили в тебя, сделай же сейчас что-нибудь, иначе не миновать беды».

Кеваго в раздумье охватывает руками колени.

— Что можно сделать? Вступить в «Свободу» или организовать другой кооператив.

Шенебикаи садится рядом с Кеваго.

— Эх, кум, ты ведь сам знаешь, сколько я страдал и мучился, пока, наконец, добился того, что могу трудиться на собственной земле, могу растянуться на этом вот лужке под сенью ивы или жарить себе здесь сало. Я достиг этого. Землю я не получил после освобождения, а заработал ее собственными руками. А сколько времени я жил впроголодь, отказывал себе во всем, износился до дыр!.. Детей заставлял работать, передышки не давал... И теперь я все это должен отдать?

— Ведь не кому другому, крестный, а самому себе,— вмешивается в разговор Андриш.

— То есть как это отдать самому себе?

— Послушай-ка, куманек! — пускается в объяснения Кеваго.— Ты только подумай: ведь если мы, настоящие хозяева, вступим в кооператив со всем своим добром — со скотиной, инвентарем,— сколько мы сумеем сделать за один только год?

— Все это я понимаю, кум. И все-таки не вступлю ни в «Свободу», ни в другой кооператив. Во всяком случае, пока — нет... А тебе, Андраш, я тоже скажу...

— Говори, куманек!

— Я хочу сказать, что мы никогда не оставляли тебя в беде. И в прошлом стояли за тебя горой, помогали тебе, когда это было нужно,— а так ведь нередко случалось. Мы поддержали тебя и в сорок пятом, когда Бердеш хотел упрятать тебя за решетку... А теперь мы ожидаем, чтобы ты постоял за нас, именно об этом мы и говорили вчера.

— Но что я могу сделать?

— Многое. Все. Если ты скажешь, что этому размежеванию не бывать, его и не будет. За это можно поручиться. Мы и теперь все как один поддержим тебя; тогда пусть Бердеш и его люди попробуют размежевать луг! Вот чего мы ждем от тебя, кум.

Перед Кеваго вдруг промелькнула вся его прежняя жизнь, его молодость, вспомнились друзья; всегда все его уважали, и сейчас радостно об этом вспомнить. Однако прошлое обязывает, это слишком дорогая цена. Он даже не волен поступать так, как хочет. Оказывается, он может делать только то, чего требуют от него друзья, кумовья, знакомые. Популярность в жизни приятна, она поднимает человека, но может случиться и так, что потом низвергнет его в пропасть... Кеваго молчит и только покачивает головой.

Снова на дорожке появляется человек — это Гергей Матэ; на плечах у него какое-то странное сооружение. Матэ направляется прямо к Кеваго.

— Что у тебя за штуковина, Гергей? — спрашивает Кеваго.

— Эта-то? Я воткну ее в землю на своей меже, а там посмотрим, кто осмелится притронуться к моей земле! — У Матэ в руках тоже заступ, который он вонзает в землю; затем снимает с плеча укрепленную на рейке табличку и показывает ее. На дощечке нарисован череп, под ним скрещенные кости — эмблема,

изображаемая обычно на столбах с проводами высокого напряжения. Под эмблемой надпись: «Смерть тому, кто притронется к моей земле!»

Два друга, опешив, рассматривают надпись. Мария лукаво хихикает, а Андриш громко хохочет.

— Не валяй дурака, Гергей! Эта затея ни черта не стоит,— сумрачно говорит Шенебикаи.

— Не стоит? Я хотел бы посмотреть на того, кто осмелится ступить на мою землю! — грозится Гергей Матэ и, снова подняв рейку с табличкой на плечо, выбрасывает вперед заступ, словно палку при ходьбе, и направляется к своему участку.

— Пойдем и мы. Посмотрим, кум Кеваго!

Кеваго, усмехаясь, встает, берет с собой сапу и идет следом за Шенебикаи.

— Пойдемте посмотрим, чем там дело кончится! — обращается Кеваго к сыну и дочери и быстро направляется к участку Матэ.

Брат и сестра пристально смотрят вслед трем удаляющимся фигурам. Мария даже прикладывает к глазам ладонь.

— Ой, Андриш, что это будет? — спрашивает она, затем подходит к прошлогоднему стогу, выдергивает из него добрую охапку сена, кидает ее в огонь угасающего костра и любуется разгорающимся пламенем.

— Ты спрашиваешь, что из этого получится, Марика? Это знает только всемилостивейший боженька,— подойдя к сестре, отвечает Андриш, сворачивает цыгарку и тоже, задумавшись, смотрит на огонь.

Костер вначале словно сердится, стонет, трещит, но вот в нем пробуждается сила, и мощный столб дыма раскаленной колонной взмывает к небу; затем пелена дыма, закрывшая все вокруг, начинает растекаться и тает в воздухе.

— Сейчас будет здесь, не бойся...— лукаво посмотрев на брата, неожиданно говорит Мария.

— Что? Значит... и ты знаешь, что...

— Еще бы мне не знать! Эсти мне все рассказывает, понимаешь, Андриш? Все.

— Все? Пожалуй, не все,— посмеиваясь, возражает Андриш и прислушивается: как бы паря в небе, откуда-то медленно плывут нежные звуки.

Брат и сестра стоят рядом и смотрят на столб дыма, который, будто чем-то растревоженный, то и дело меняет свое обличье; внизу еще потрескивает огонь, а сверху падают хлопья сажи.

— Нет, все. Мы с Эсти очень дружны и любим друг друга...— Мария с девичьей самоуверенностью пробует вернуться к интересующей ее теме, но Андриш к этому не склонен.

Мария преувеличивает, она очень мало знает, но ее разбирает любопытство, поэтому она и затеяла этот разговор. С другой стороны, Андриш не возражает, чтобы она все знала; но, увы, это «все» так незначительно, так мало, что ему даже самому неловко.

Одно, правда, бесспорно — это его большая любовь. Но она похожа на любовь к солнцу или какой-то далекой звезде — когда-то из нее что-нибудь получится? Он и Эсти — огонь и вода; когда и как можно соединить их воедино?

Андриш подходит к стогу, вырывает из него охапку сена и бросает в огонь. Та же вспышка пламени и тот же столб дыма, как и несколько минут назад. Сердце у юноши сжимается: это сигнал — так между ними условлено. Но что если ему придется спалить весь стог, а она либо не увидит, либо не сумеет прийти? В полях один урожай сменяет другой, меняются времена, на смену одному поколению подрастают другие, но, как видно, никогда не изменятся призывные знаки влюбленных... Андришу кажется, что этот дым бьет прямо из его горящего сердца и поднимается ввысь подобно призрачному знамени — либо найдется та, кто увидит его, либо на земле будет одним разбитым сердцем больше.

Вдруг в кустарнике слышится треск, хрустит сломанная ветка, поскрипывает сухая листва, кусты дрока раздвигаются, и на краю лужайки появляется Эстер Мольнар. Она с сияющим лицом смотрит на Андриша и его сестру.

— Сервус! — негромко говорит она.

— Сервус!..— Андриш делает шаг вперед, потом останавливается и только пожирает девушку глазами.

— Эй, где вы там запропастились? — доносится издалека голос старого Кеваго.

— Я пойду, а вы оставайтесь! — дружески говорит Мария и, подхватив свою сапу, бежит на зов отца; ее юбка развевается на ветру.

Андриш берет Эстер за руку, подходит к стогу, усаживает ее, сам садится рядом и закуривает.

— Что делает твоя бригада? — спрашивает он.

— Работает на стерне.

— А как дела с вовлечением молодежи в союз?

— Мы уже начали действовать.

— Моя сестренка только об этом и говорит.

— Мария очень хорошая девушка, я люблю ее...— улыбается Эстер.— Впрочем, мне кажется, и все наши полюбят ее.

— Ты только не очень-то раздаривай свою любовь, Эсти,— нахмурившись, говорит Андриш.

Улыбка снова освещает лицо Эсти, она тесно прижимается к Андришу.

— Ведь речь идет о твоей сестре, Андриш!

— Все это так. Но вот Лаци Бердеш — мне не брат, и не сват, он для меня никто и ничто.

На мгновение воцаряется молчание. Эсти кажется, что у нее нет ни одной мысли, силы покинули ее. Она делает над собой усилие и говорит:

— Ах, Лаци... Прошу тебя, Андриш... не будем ревновать друг друга. Ведь ты прекрасно знаешь, что у меня никого, кроме тебя,

нет, ты для меня — все. Однако для того, чтобы я действительно могла стать твоей, мне еще так много нужно сделать!.. Для того, чтобы я могла по-настоящему, до самой смерти любить тебя, нужно, чтобы я любила людей, любила наш кооператив, партию; ведь они — партия и кооператив — сделали меня такой, какая я сейчас. Я не только хочу беззаветно отдать тебе всю себя, но и принести тебе все, что я смогла получить в жизни. Я очень люблю жизнь, Андриш, и именно поэтому мне хочется сделать и нашу с тобой жизнь красивой и радостной... Ну, ну, не сердись!.. Ты не сердишься? — И она обвивает Андриша руками, притягивает к себе и склоняет голову к нему на плечо.

Андриш наскоро затягивается сигаретой, словно его ждет какое-то дело и он боится опоздать.

— Ты знаешь, что я... я не могу на тебя сердиться. Я ведь люблю тебя, люблю без оглядки. И что бы ты ни делала, Эсти, как бы ты ни вела себя, я все равно буду любить тебя. Я не знаю, почему это так, ведь... я рассказывал тебе свое прошлое; я повидал немало девушек и женщин... И не только здесь, но и в Дании... Но я не мог себе даже представить, что можно так любить. В тебе так много доброго и прекрасного, что в жизни не сыскать столько плохого, чтобы оно сумело победить это хорошее. Нет... и сейчас не то говорю. Я пытаюсь в своем воображении разобрать тебя по косточкам, убедить себя, что ты — самый обыкновенный человек, простая девушка, которая уже хлебнула немало горя; что ты, как и другие, ходишь в юбке, ешь то же, что и все — молоко, хлеб, сало; что у тебя маленькие натруженные руки, такие же плечи, ноги, глаза, уши, как и у всех людей,— но все это напрасно! Сердце мое так бьется при мысли о тебе, словно ты — какое-то волшебное видение. Пусть на меня обрушатся небеса, лишь бы только я хоть раз, хотя бы один-единственный раз мог поцеловать тебя в губы, как этого страстно жаждет моя душа!

— Не говори глупостей!

— Постой! Если бы, к примеру, в это самое мгновение кто-нибудь предложил мне на выбор, либо...

Эсти внезапно зажимает ладонью рот Андришу.

— Нет, не надо... Не продолжай! Ты думаешь, мне легко? Больница мне заменила родной дом... я прислуживала стольким хозяевам. Пожалуй, эти люди не были уж такими скверными и подлыми. Не в них был корень зла...

Андриш не чувствует ничего, кроме близости девушки, ничего не слышит, кроме звука ее голоса. Он неожиданно раскрывает объятия и порывисто обнимает Эстер.

— Милая... Все, что ты говоришь,— правда, я всему верю. Но я просто не в силах так больше...

Эсти, хоть и побледнела, но прекрасно владеет собой. Она холодно отстраняет Андриша и встает. Поправив платье, она говорит глухим голосом:

— Но почему ты думаешь, что мне легко? Ведь ты сам сказал,

что и я — человек. Ну, конечно, я — человек, и к тому же молодой, здоровый... но нельзя, Андриш, пойми, нельзя!

Андриш встает и так робко, покорно подходит к Эсти, что сам сатана и тот сжалился бы над ним.

— Нам нельзя больше разлучаться, Эсти. А раз это так, то не все ли равно — раньше или позже?.. Отдадимся нашей любви, Эсти. Я верю тебе без оговорок, и все же я должен убедиться, почувствовать, любишь ли ты меня! — Он берет ее обе руки в свои так ласково и нежно, словно это святые дары.

У Эсти сначала вспыхивает пламенем лицо, затем жар охватывает все тело. Голос ее прерывается от раздирающей сердце тоски:

— Нет, Андриш, нельзя. Верно, наша жизнь — наше личное дело, и мы ни перед кем не обязаны отчитываться в ней, и все же — нельзя. Чтобы принадлежать друг другу, мы оба должны быть так чисты, как если бы мы только что родились. Ведь мы с тобой — не только девушка и парень, мы члены ДИСа, молодежь нашего кооператива, нашего села. Ведь мы-то и будем выполнять большой план, Андриш! Наша жизнь должна быть примером для всей молодежи. Нам не позволено терять голову. Верно, Андриш?

— Сердце твердит мне «нет, неверно!», разум говорит «правильно!»

— Ну, а так как мы привыкли слушаться разума, то... веди себя как следует. Расскажи лучше, как дела в селе?

— В общем, неплохо.— Андриш роется в кармане и, вынув маленький блокнот, перелистывает его.— Больше девушек, чем ребят. Конечно, если бы мы вовлекли Пишту Надя и его дружков... Но ведь их нельзя, не правда ли?

— По-моему, нет. Но дядюшка Бердеш настаивает на этом. Сколько уже записалось?

— Тридцать два, а можно довести и до сорока трех.

— Вот видишь, это очень большое дело. Тебе оно по душе?

Андриш задумчиво мнет сигарету.

— Любопытное создание человек, Эсти! Сначала я взялся за это только потому, что обещал тебе, потом захотел убедиться, имеет ли какую-нибудь цену мое слово. И, наконец, меня очень интересует: неужели один парень может изменить жизнь молодежи всего села? Мне сдается, может. Конечно, здесь важно и то, что я могу быть впереди других. Пойми, это не старая, глупая деревенская спесь, а что-то другое...

— Раскрепощение личности при социализме?

— Возможно. Но я сейчас думаю о другом.

— О чем, Андриш?

— Давай встретимся вечером! Я возьму тебя за руку, проведу к нам в сад... Затем мы тихонько войдем во двор, дальше — на кухню, оттуда — в маленькую комнатку. Моя мать хорошая, добрая женщина... она нас поймет.

— Я вижу, ты малость рехнулся, Андриш.

— Как ты можешь так говорить? Чего ты боишься? Нам будет очень хорошо, и все сразу станет ясно.

— Нет, не будем даже говорить об этом. Возможно, что сегодня все и так прояснится и мы с тобой окажемся ближе к свадьбе, чем нам самим кажется. Сейчас приедут землемеры размежевывать луг; может возникнуть спор, и тебе придется решать, как быть. Если дядюшка Кеваго не пойдет к нам, то дело за тобой. Ты чем-то недоволен?

— Ты еще спрашиваешь? Прошел год, как я жду тебя, Эсти.

— Прошло двадцать лет, как я жду тебя, Андриш. Что больше?.. Ну, а теперь я пойду — меня ждут ребята.

— Они знают?..

— Конечно, знают. Не будем без особой нужды делать из этого тайны. Я говорила, что мы встречаемся по делам ДИСа. А разве это неправда? Ну, сервус! — Она протягивает Андришу руку, потом неожиданно бросается к нему на шею и целует его. Затем, немного отступив, сияющими глазами смотрит на Андриша.

Только было он открыл рот, чтобы что-то сказать, как на дорожке появляются люди, и оба влюбленных начинают осматриваться по сторонам, словно ища, куда бы им скрыться.

3

Впереди идет Бердеш, за ним движутся гуськом человек шесть-семь, кто с лопатой, кто с мотыгой. Они идут молча, прислушиваясь к доносящейся издалека песне,— это поет работающая на стерне молодежь. Бердеш останавливается и обращается к идущим сзади:

— Кажется, землемера еще нет. Что ж, подождем.— Он извлекает из кармана табак и закуривает.

Балаж Фюрес не может упустить случая, чтобы не поддеть отсутствующего землемера.

— Барин барином остался! Жди его, а он где-то прохлаждается.

— Думаешь, так просто взять да перемерить землю? Попробуй-ка сам,— одергивает Балажа Сито, садится лицом к солнцу под кустом дрока и сворачивает самокрутку.

Неожиданно Сито замечает недалеко от себя двух молодых людей. Он так и застыл с зажигалкой в одной руке и цыгаркой в другой. Но все обходится благополучно: юноша и девушка исчезают, как видение. Он — в одну, она — в другую сторону. Видно, Сито беспокоится за Эсти: ведь он оберегал ее и от Лаци Бердеша, и от злых языков. Жаль, если об Эсти пойдут досужие разговоры. Девушка отлично руководит молодежью, и в кооперативе она, как цветок в окне, которым любуются прохожие. А кроме

того, он столько слышал об Эсти от своего сына. Будто каждое слово ее — драгоценный камень... Если так пойдет дальше, чего доброго, Пишта скоро снимет для нее все звезды с неба.

Все ждут землемера. Нередко в большом и трудном деле люди стараются уклониться от ответственности. Вот и сейчас: за все ведь отвечает землемер. Они же только присутствуют и безмятежно загорают на весеннем солнышке. У всех хорошее настроение, люди перебрасываются шутками. Балаж Фюрес уверен, что теперь-то уж он сумеет довести до конца рассказ о величайшем приключении в его жизни, о пережитом в плену...— Он приступает к повествованию, но никто не настроен его слушать, и он сразу же умолкает.

Откуда-то слева доносится то рев, то урчание автомашины, пытающейся проехать по размокшей проселочной дороге, но вдруг все затихает.

— Едут! — вставая, восклицает Лайош Кошут-Киш. Прикрыв глаза ладонью, он всматривается в сторону, откуда только что слышался шум мотора. Действительно, на дороге показываются землемер, представитель уездного сельскохозяйственного отдела и агроном. За ними кто-то тащит геодезические приборы.

— Сабадшаг! — еще издали здоровается землемер.

Он шагает прямо по полю, перепрыгивает через небольшой ручей и подходит к ожидающей его группе кооператоров. Протерев очки, он с интересом осматривается вокруг.

— Сабадшаг! — приветствует землемера Бердеш, и они пожимают друг другу руки.

— Уже десятый час, товарищ землемер!

— Верно, я немного опоздал. Но на свете существуют еще и формальности, товарищ председатель. Мы улаживали их в сельсовете. А что если бы я по дороге умер? — шутливо спрашивает землемер.

— Тогда вас наверняка бы здесь не было... Итак, с чего мы начнем?

— Как я уже говорил, рисовую плантацию в двести хольдов можно создать только в том случае, если часть луга, которой владеют трое крестьян-единоличников, будет прирезана к земле кооператива.

— Значит, надо выделить им участки в другом месте,— предлагает Бердеш.

— Хорошо. Мне-то все равно, где. Если правление так считает, пожалуйста...— И землемер начинает устанавливать на треноге свой прибор, примериваясь, как бы лучше его укрепить.

Землемеры с их приборами всегда, при любых обстоятельствах вызывали почтение крестьян. И теперь в их взглядах сквозит почти благоговение. Этот прибор — какое-то колдовство, чудо. Где его установишь, там все меняется: земля, река, луг, даже пейзаж и тот сразу становится другим. Вот и сейчас кажется, будто в линзе уже виднеется рисовая плантация. Поэтому никто сразу

и не отзывается на предложение Бердеша. Несколько спустя молчание нарушает старый Бири.

— Нехорошо получится!

— Почему же нехорошо? — удивляется Бердеш.

— Но ведь мою землю в свое время хотели размежевать! Чем же отличаются от меня Андраш Кеваго и эти двое? — спрашивает Лайош Кошут-Киш.

Теперь заговорили все, каждый кричит свое:

— Андраш Кеваго — это другое дело! — Нельзя так обращаться с трудовыми крестьянами! — Нельзя уклоняться от линии партии!..

Бердеш прислушивается к разноголосому гулу, пытаясь разобраться в обстановке.

— Не будем трогать этот луг, поднимемся лучше на Сторожевой холм,— предлагает Карой Ханадь.

— Либо рисовая плантация на двести хольдов, либо ничего! — отрезает Бердеш.

Землемер прислушивается к спору; на прошлом заседании ему казалось, что дело улажено, а сейчас разговор вертится вокруг того же, на чем тогда будто уже порешили.

— Выходит, товарищи, нужно возвести плотину у межи мелких хозяев? — говорит Фюрес.

— Плотину? Этого нельзя. Главный канал необходимо провести через весь луг,— разъясняет землемер, показывая рукой направление, по которому пройдет канал.

— Ну, а ты что скажешь, товарищ? — обращается Бердеш к Йошке Папу.

— Землю мелких хозяев размежевывать нельзя! — решительно заявляет тот.

— Что же нам тогда с ними делать? — набрасывается на него Бердеш.

— Нужно убедить их, уговорить вступить в кооператив!

— Что ж, мы должны умолять их? У них был выбор, могли вступить!

— А нас разве кто-нибудь умолял? — выкрикивает Бени Гуяш, рьяный приверженец Бердеша.

Снова завязывается перебранка. Каждый стоит на своем, некоторые просто орут. Настолько велико возбуждение, что люди уже не могут говорить спокойно. Поэтому вполне понятно, что никто и не заметил, как подошли трое — Кеваго, Шенебикаи и Матэ,— стали в сторонке, хмурые и враждебные, и облокотились на свои сапы.

— Эй, Бердеш! Ты хочешь отобрать у нас землю? Так вот мы здесь; тут и наша земля. Что ж, иди и забирай!

Все как по команде поворачиваются к говорящему, словно это не человек, а само небо гремит раскатами грома.

— Однако спесивый же ты мужик, Андраш Кеваго! Ну, ничего, пообломается твоя спесь, не беспокойся! — говорит Бердеш.

— Это я-то спесивый мужик? Кто собирается отобрать чужую землю, я или ты?

— Я не отбираю, а только хочу обменять ее!

Сито медленными шагами подходит к трем крестьянам.

— За этот луг мы дадим хорошую пашню, дядюшка Андраш!

Но Кеваго, повидимому, даже не видит и не слышит Сито; он отвечает Бердешу:

— С сорок пятого года я у тебя поперек дороги, Лайош Бердеш! Но до сих пор мешал тебе только я, а теперь, выходит, и земля моя мешает. Что же об этом столько толковать? Иди и забирай землю!

Справедливости ради нужно признать, что, хотя члены кооператива «Свобода» сердцем и жизнью своей уже принадлежат кооперативу, все же сейчас они считают правым скорее Андраша Кеваго, нежели своего председателя. Они чувствуют, что правда на стороне Кеваго, а правда — это великое, огромное дело. Много раз они видели, как за правду Кеваго схватывался с попами, выступал против помещиков и сельских чиновников, так же храбро, ничего не боясь, как и сейчас стоит здесь перед ними.

Однако у Бердеша на этот счет другая точка зрения.

— Уходи с глаз долой, Андраш Кеваго, уходи подобру-поздорову, иначе я вызову полицию!

Это уже слишком не только для Кеваго, но и для Шенебикаи; он делает шаг вперед и громко выкрикивает:

— Так вот, значит, какие дела? Хорошие же вы коммунисты, скажу я вам! В прошлом, когда мы бастовали или хотели выбрать своего депутата, господа грозили нам жандармами. Теперь вы стращаете нас полицией,— а за что? За то, что мы не отдаем наши клочки земли, которые заработали своими руками? Мы ни у кого земли не крали, никого не разоряли...— Шенебикаи не успевает договорить, так как Гергей Матэ, совсем потеряв голову, выбегает вперед и, размахивая заступом, неистово кричит:

— Прочь с луга, не то убью!

Последующее оказалось для всех полной неожиданностью. Землемер сделал такой прыжок, что только куст ивняка удержал его, прибор опрокинулся, все кинулись к нему.

— Уйдите отсюда, отец! — просит Мария, вцепившись в руку Кеваго и пытаясь оттащить его.

— Пусти-ка меня, дочка, пусти!..

К ним подбегает Эсти — она пришла вместе с Пиштой Сито. Ей хотелось рассказать старому Кеваго о волшебном плане преобразования всего Затисья, маленькой, но важной частицей которого является план кооператива «Свобода»,— но как это сделать?.. Неожиданно она бросается к разъяренному Кеваго и с мольбой протягивает руки к спорящим.

— Боже мой... боже мой... дядюшка Кеваго, дядя Матэ!.. Почему вы не хотите выслушать нас?

— Если бы вы пришли к нам с добрым словом...— говорит Гергей Матэ и вытирает выступивший на лбу пот.

— Дядюшка Кеваго, поймите, мы обязательно должны создать рисовую плантацию! У нас ведь есть большой план, который нужно выполнить, ведь без плана никто не может работать, ни мы, ни вы...

Кеваго прерывает ее:

— Все это мне понятно, дочка. И давно известно, но... для того, чтобы удался мой план, я не могу раздавить другого человека! Иначе я — дрянь, подлая душа.

Эсти чувствует, как много, очень много хочется ей сказать. В возбуждении она перескакивает от одной мысли к другой.

— Мы никого бы не тревожили, но речь идет о рисе!

— Так не сейте рис! Выращивайте что-нибудь другое, как все порядочные люди! — ворчит Гергей Матэ, сверкнув глазами, словно стальными клинками. Всю свою жизнь он был известен как первый драчун в селе. Однажды, когда Матэ еще был помоложе и работал у помещика, в драке он один обратил в бегство девять парней, вооруженных вилами.

Эсти, наконец, находит правильный тон:

— Пожалуйста, послушайте меня, дядюшка Матэ. Речь идет о двухстах хольдах земли под рис. Если с каждого хольда собрать хотя бы по тридцать центнеров, значит, мы получим шесть тысяч центнеров риса! Если считать за центнер только по пятьсот форинтов, то это...

— Три миллиона форинтов! — тотчас же называет сумму Сито, известный своими математическими способностями.

Все замирают — и друзья и противники — и так смотрят на Сито, словно тот лишился рассудка. Вот уже несколько месяцев идут разговоры о рисовой плантации. Люди представляли еще очень смутно, что возделывание риса — это выгодная отрасль сельского хозяйства, никогда они не пытались подсчитать возможные результаты. И вот теперь каждый вдруг начинает проверять в уме эти цифры. Ошибки нет, все верно. Столько и получается.

— И это... может дать и наш луг? — спрашивает пораженный Гергей Матэ.

— Да. В той доле, что пришлась бы на ваши участки...

— Выходит, я должен отдать свою землю для того, чтобы вы стали миллионерами?

— И вы им станете, дядюшка Матэ, если вступите в кооператив.

Гергей Матэ — видавший виды человек; много всякого случалось на его жизненном пути, много неожиданностей обрушивалось на него, но такой еще никогда. Как старый землекоп, он тоже умеет считать, и сейчас цифры так и ворошатся в его голове, будто муравьи в муравейнике. Подсчетами занят и Шенебикаи, даже Андраш Кеваго и тот прикидывает; он здесь единственный, для которого эти три миллиона не были неожиданностью. Он-то знает,

какие богатые урожаи собирали в прудовом хозяйстве в сорок третьем — сорок четвертом году.

Молодой агроном давно уже хотел вмешаться в спор, но просто не решался раскрыть рта. Сейчас он делает несколько шагов вперед.

— Я гарантирую вам тридцать два центнера с хольда! — восклицает он, убежденный, что сказал сейчас нечто очень важное и смелое. Но никто не слушает его, хотя бы потому, что, наконец, заговорил Кеваго.

— Все это правда. И даже больше. В нашей местности, богатой солнцем, нельзя установить предела урожаю. Наша земля благословенная, только люди до сих пор не умели использовать свое счастье.

Сейчас каждому из членов кооператива кажется, что сто́ит и ему сказать свое слово, как вопрос с Кеваго и его товарищами немедленно будет улажен. Но Эсти опережает их:

— Ну, видите, дядюшка Кеваго и дядюшка Матэ! Ведь вы знаете это лучше нас. Тогда какой же нам смысл спорить? Вашу руку, дядюшка Кеваго, и ваши, дядюшка Матэ и дядюшка Шенебикаи, и... да будет мир! Идите к нам, давайте вместе работать и покажем, на что мы способны! — И Эсти протягивает свою маленькую ручку старому Кеваго, но не так, как обычно подают руку мужчины, а держа ее ладонью кверху.

Кеваго выдергивает сапу из земли, затем снова втыкает ее, смотрит на руку Эсти и переводит вопросительный взгляд на Гергея Матэ, с него — на Шенебикаи.

Шенебикаи шумно вздыхает и медленно двигается к членам кооператива. Потом поворачивается к Кеваго.

— Видишь ли, куманек... Мы столько делили вместе хорошего и плохого, столько раз ты заступался за нас, а однажды, помню, и меня выручил...— Он поднимает голову и продолжает, обращаясь уже к членам кооператива.— Как-то в давние времена заехал сюда секретарь управы... А я, между прочим, купил себе в ту пору по дешевке телегу... Вот, стало быть, впряг я в нее двух коров — дай, думаю, попробую. Конечно, нечего греха таить — не было у меня на телеге номерного знака. Ну, жандармы и придрались, записали. А я не хотел платить штрафа. Вот господин секретарь управы и велел посадить меня за решетку. На дверях подвала, куда меня засадили, не было запора; так он приказал натаскать бревен и заложить ими дверь, сам даже таскал... Тут как раз в сельскую управу зачем-то зашел мой кум Кеваго. Он отвалил бревна от двери подвала и выпустил меня... Словом, мы никогда не оставляли друг друга в беде! Вот и сейчас я так скажу: если мой кум Кеваго вступит в кооператив, то за мной дело не станет.

Эсти чуть не вскрикнула от радости:

— Дядюшка Кеваго, милый дядюшка Кеваго, дорогой товарищ Кеваго!

Keваго опускает голову и в раздумье ковыряет сапой землю. На сердце у него становится тепло. Вот и начало большого плана, а по мере его выполнения медленно, но верно здесь будет меняться жизнь, изменятся земля и воды, растения и люди. Как хорошо приобщиться к этому великому, граничащему с чудом преобразованию природы! Как хорошо отдать оставшиеся годы жизни новой земле, новым водам, новым растениям и новому подрастающему поколению!

— Хорошо, дочка, я не против, иду к вам, если примете.— Он поднимает голову и пристально смотрит сначала на Бердеша, потом на остальных.

Но Бердеша взорвало: сомнения и подозрения, скапливавшиеся в нем еще с осени, вырвались наружу.

— Если Кеваго вступит, меня-то уж здесь не будет, увольте,— решительно заявляет он.

Эсти, быстро обернувшись к Бердешу, бросает на него короткий взгляд — это длится мгновение. Затем, рыдая, падает на землю.

Люди приходят в страшное смятение; одни кричат, ругая Бердеша, другие заступаются за него; находятся и такие, которые даже потрясают кулаками. Только трое стоят неподвижно, как изваяния. Тут Кеваго поднимает сапу, словно подавая какой-то сигнал, потом снова опускает ее.

— Наконец ты показал свое настоящее лицо, Бердеш! Но я скажу тебе кое-что. Слушай! В плохие, очень плохие руки попала судьба этой прекрасной земли! Не забудь, что в Венгрии ровно двенадцать миллионов хольдов пахотной земли и из них еще не загублен ни один хольд. Значит, и тебе не удастся ничего навредить на этой земле. Твои кости сгниют, а это поле так и останется полем. Земля всегда останется землей! Э-эх! — И, махнув рукой, он добавляет уже не злобным, а скорей примирительным тоном, почти мягко: — Был ты дрянным человеком, им и остался! — Затем поворачивается и уходит к своему наделу.

— В полиции по-другому заговоришь! — кричит ему вдогонку Бердеш.

— Я и там останусь человеком,— на ходу, даже не оборачиваясь, отвечает Кеваго.

Все это так ужасно и так мучительно неприятно, что никто не решается заговорить. Два друга, Гергей Матэ и Шенебикаи, несколько мгновений молча стоят на месте, затем Матэ говорит:

— Пошли-ка и мы отсюда, кум! — И они уходят вслед за Кеваго.

Эсти смотрит по сторонам, словно впервые видит эти места, потом медленно подходит к небольшой группе парней, среди которых Пишта Сито и Пишта Бенце, и что-то говорит им. Затем они все направляются в поле, обходя кусты, то исчезая, то снова появляясь. У дорожки они встречаются с Шаркези.

— Что у вас тут произошло, Эстер? — спрашивает Шаркези, спрыгивая с велосипеда.

— Что произошло?!.— И Эстер торопливо рассказывает ему о случившемся.

Шаркези слушает, задумчиво играя звонком велосипеда.

— Не принимайте это слишком близко к сердцу. Продолжайте делать свое дело, как будто все в полном порядке,— говорит он и, идя рядом с велосипедом, спускается к лугу:

Сейчас следует быть начеку, нужно вести себя очень осторожно. Дело не в Бердеше и не в Кеваго; речь идет о всем Затисье, об огромной пустынной, обиженной богом и людьми, израненной земле, о кооперативе и чудесной мечте Ласло Деже,— о том, как он провел всю ночь напролет в думах об ее воплощении,— о прекрасной, расцветающей большой культуре, о приросте населения, о веселых ватагах ребятишек... Речь ведь идет о великом плане! О плане, который превратит эту землю в цветущий край, вытравит из души человека вечное ожидание двух богов! Да, речь идет о плане! Осуществление его — это триумф жизни, крушение плана — это смерть!

— Ну как, товарищи, ни тпру ни ну? — спрашивает он у людей на лугу.

— Да, вот топчемся на месте, потому как...— начинает объяснять Бердеш, но Шаркези не интересуют никакие объяснения; он обрывает Бердеша на полуслове.

— Знаю, знаю, вы очень плохо поступили, дядюшка Бердеш, в особенности как председатель кооператива. Следует знать, когда нужно отбросить личную обиду, а когда, может, и нет. А вы не понимаете этого. Ну, так вот: либо вы усвоите это, либо...

— А что «либо»? Что тогда будет, сынок? Скажи...

— Либо вы уступите место такому человеку, который понимает, что к чему, или, по крайней мере, стремится это понять...

Бердеш настолько ошеломлен, что с трудом может ответить:

— Неужели я только это от тебя и заслужил?..

— Если раз отрезать нос, он уже не прирастет. Поверьте, мне очень жаль, но вы, и никто другой, испортили все дело с Кеваго. Вам самому и надо исправить его, дядюшка Бердеш.

Землемеру все-таки хочется, наконец, выяснить, будет ли рисовая плантация.

— Как же, товарищи? Будем замерять участки или нет?

— Конечно, будем!

— На сколько? На сто двадцать хольдов? — спрашивает Йошка Пап.

— Нет, на двести, как предусмотрено планом. И мы от этого не отступим. Работу надо начать немедленно. Наметить каналы, стоки, запруды! А вы, дядюшка Бердеш, пойдете к Андрашу Кеваго и непременно исправите то, что сами натворили.

— Я ни перед кем шапки ломать не стану! — вспылил Бердеш. Тут уж Шаркези не выдерживает:

— Нет, пойдете! Иначе вы, дядюшка Бердеш, ни при каких обстоятельствах уже не сумеете поправить дело. Вы с жиру беси-

тесь! Разве это по-человечески? От ваших слов даже луг, и тот бы покраснел.

Люди стоят молча; одни считают правым Бердеша, другие — Шаркези, но никто не произносит ни слова. Как? Даже Бердеш не застрахован от такого урока? Значит, каждому нужно это хорошенько усвоить!

Только что ушедшие вместе с Эстер парни и девушки, и те обеспокоенно оглядываются назад. Кто же, собственно, прав?

— Мы всегда и во всем должны быть честными, чтобы никто не мог бросить камня в наш огород! — решительно говорит Бенце, когда бригада молодежи снова приступает к работе.

Но теперь дело уже не так спорится. Они безоговорочно верили в своего председателя Бердеша; всей душой верили в Шаркези. Все правление, казначея, ревизионную комиссию — они считали незыблемой основой, которая едина во всем, словно один человек. И вот теперь у них на глазах все спуталось.

Выйдя на пшеничное поле, они тотчас же собираются в кружок. Пишта Сито встает на кочку у межи — он хочет казаться выше, чем на самом деле. Но нога у него соскальзывает — вокруг кочки предательски поблескивает талая вода,— и он оступается, поднимая фонтан брызг. Вода окатывает девушек, да так сильно, что платья их мгновенно становятся пятнистыми, словно расписанные каким-то нелепым рисунком. Все смеются, а Пишта, твердо укрепившись на кочке, как на крепостном валу, патетически восклицает:

— Что же нам теперь делать, если старики все с ума посходили?

— Побыстрее закончить со стерней,— отвечает Эстер Мольнар.— Ведь уже начинаются работы на рисовом поле, мы там понадобимся.

— Значит, рисовая плантация все-таки будет?

— Конечно. Поймите же вы, наконец, что в этом году уже не столько люди делают план, сколько сам план формирует людей... Значит, разумеется, и нас... Очень плохо, что старики между собой грызутся, а нам с них в этом брать пример нечего. Если у нас и возникает какой-нибудь вопрос — а чем дальше, тем их будет больше,— мы должны собраться и открыто, без обиняков обсудить его. Тогда у нас никогда не будет неурядиц.

— Правильно! Ура! Да здравствует Эстер Мольнар! — зашумели кругом.

В этот день в поле не произошло больше ничего особенного, если не считать того, что агроном Кальман Циффра помогал работающим на стерне.

Кончив работу, он зашагал по полю наперерез гудящему невдалеке трактору и через несколько минут уже вступил в перебранку с трактористом:

— Говорю тебе: прицепи за плугом борону! Надо сразу и пахать и бороновать.

— Не прицеплю, я такого указания не получал! — Тракторист вынужден кричать, иначе за рокотом мотора ничего не слышно.

— Если не получал, так получи сейчас от меня!

— А мне до ваших указаний дела нет. Мне может приказывать только директор МТС! — И тракторист снова свернул с пашни.

Кальман Циффра беспомощно опустил руки, потом, вконец раздосадованный, повернулся и пошел к селу, чтобы переговорить по телефону с МТС. Отсюда до села добрых четыре километра... Четыре да четыре — это восемь, да на разговор уйдет время... Словом, хорошо, если он сумеет вернуться через два часа. И все же Циффра пошел. По дороге он думал, как хорошо бы иметь в поле телефон... или вот неплохо, чтобы агрономам полагалась автомашина или мотоцикл, а на худой конец — верховая лошадь, тогда бы они могли быстро объезжать поля... Нет, верховая лошадь не годится; ведь сколько агрономов, столько и коней, да еще председателям да бригадирам... Но и мотоцикл ничего не даст: земля часто раскисает, еще чего доброго завязнешь в грязи... Нет, только телефон! Вот что надо. Правда, еще лучше коротковолновая рация армейского образца. Мысли так и роятся, цепляются одна за другую,— Циффра не заметил, как оказался в селе.

Из конторы кооператива он соединился по телефону с МТС, но директор оказался в уездном комитете партии, а его заместитель, главный механик, не хотел на свой страх и риск давать распоряжение, потому что насчет бороны указаний сверху нет. Кальман Циффра ругался так, словно за время телефонного разговора превратился в злого бородатого старика. Но напрасно. Нет и нет!

Взбешенный, он бросился обратно.

— Останови сейчас же трактор и прицепи борону! — потрясая кулаком, заорал он во все горло.

Тракторист Йошка Тот, тоже молодой человек, въехал на межу и остановился. Посмотрел по сторонам, спрыгнул с трактора и спросил:

— Ну, а где твоя борона?

Кальман Циффра с ужасом озирался по сторонам, ища борону, но никакой бороны и в помине не было.

Теоретически он прекрасно ориентировался в этом огромном хозяйстве, но практика оказалась куда сложнее теории...

— Вот, видишь, я бы прицепил, да нет ее,— весело сказал Йошка Тот и развел руками, словно птенец крыльями.

4

Молодой месяц заволокло туманом, предвещавшим дождь, тускло мерцала вечерняя звезда. Как известно, собаки в новолунье обычно бывают спокойными и не очень-то лают. Но на этот раз собака Андраша Кеваго упорно лаяла на калитку; напрасно то Мария, то ее мать, то сам Кеваго выглядывали во двор — никого. Только какая-то старуха прошелестела юбкой вдоль забора.

«То ли юбка новая, то ли перекрахмалена»,— подумал Кеваго и вернулся на кухню.

Сегодня в доме свежеиспеченный хлеб, а к нему хозяйка обычно варит гороховое пюре; на этот раз она приготовила дикий горох, который охотно едят не только кролики, но и люди. И он действительно хорош. Горошек варят, пока он не станет мягким, потом протирают, затем тушат в жире лук и засыпают сверху, после чего кушанье обильно посыпают красным перцем...

Удивительно хорошее блюдо! Поев его, выпиваешь полковша воды... что и сделал только-что Андраш Кеваго. Но вот вновь залаяла собака, и Кеваго, еще держа ковш обеими руками, повернул голову и прислушался.

— А ну, сходи-ка посмотри, кто там!

Мария молча поднялась и вышла. С минуту постояла перед домом, потом медленно побрела по улице.

Тем временем хозяйка с лихорадочной поспешностью, звеня ложками и вилками, начала убирать со стола и потом загремела на плите кастрюлями. Женщины по этой части мастерицы, а особенно они любят наводить порядок, когда кто-то должен прийти.

Дверь в кухню отворилась; Мария, придерживая створку двери, пропустила вперед Бердеша. Переступая порог, он низко наклонился. Бердеш настолько привык к этому в годы батрачества, что и теперь никак не может отвыкнуть. Ведь хижины батраков, казалось, вросли в землю. Даже если там жил выездной кучер, они от этого не становились выше...

Несколько мгновений Бердеш колеблется; он не решил заранее, как ему поздороваться, но вдруг неожиданно говорит:

— Добрый вечер... Сабадшаг! (Чтобы он изменил самому себе и своей партии — нет, этого не позволяла ему совесть!)

— Сабадшаг!..— отвечает Кеваго и ставит ковш на стол.

— Добрый вечер! — здоровается хозяйка и снова переводит взгляд на плиту, затем дает пинок кошке, пытавшейся прошмыгнуть в духовку.

Андриш поворачивается на стуле и, кося глазом на гостя, неспеша скручивает цыгарку.

— Каким ветром занесло тебя, Лайош Бердеш? — спрашивает Кеваго. (Он старается владеть собой: у себя в доме нужно уважать и недруга.)

— Каким ветром?.. Не спеши... расскажу...

— Надеюсь. Нам пойти в горницу или здесь посидеть? — обращается он к жене.

— Как хотите, можно здесь, а можно и в горницу... Принеси стул, Мария.

Мария пошла было за стулом, но Бердеш останавливает ее — и так хорошо, не стоит беспокоиться — и опускается на край скамьи. Кеваго не спеша садится с другого края так, что между ними остается пустое пространство, словно ждут кого-то третьего.

Бердеш ерзает на лавке; он предпочел бы, конечно, пойти в горницу, но хозяйка, как видно, не хочет этого. Ну коли так, шут с ней!

— Как погода на дворе? — спрашивает Кеваго, а сам недоверчиво смотрит на Бердеша — и чего ему, на самом деле, надо?

— Погода ясная, но... думаю, молодая луна принесет дождь, уж больно заволокло... серп в тумане...

— Может, и так. Но дождь теперь не нужен. Многое нынче требуется, а дождь ни к чему.

— Оно-то так, да только ему не закажешь. А неплохо бы им управлять.

Кеваго смеется с таким видом, будто у него болит зуб. И ловко же умеют притворяться эти крестьяне! Если бы они встретились на улице, разговор пошел бы совсем по-иному. Но в доме у Кеваго — другое дело.

Заходит речь о том, какая была погода в эту пору в прошлом году. Кеваго, например, вспоминает, как однажды, лет восемнадцать-двадцать тому назад, двадцать третьего марта, подул северный ветер и начался снегопад, который продолжался три дня кряду.

— Утром, когда я вышел в свинарник, здоровенная свинья стояла в снегу по самую голову, только морда выглядывала. Совсем была засыпана снегом.

— Я тоже припоминаю. Мы как раз были в пути, по дороге домой из Дебрецена.

Тем временем жена Кеваго управилась со своими делами, убрала все, один горшок только оставила на краю плиты, и сейчас то поставит его поближе, то отодвинет подальше — не хочется ей оставлять мужчин вдвоем. Ее разбирает любопытство: зачем все-таки пришел Бердеш? Однако мужчины продолжают говорить о погоде, стараясь перещеголять друг друга воспоминаниями о былом. Наконец Кеваго говорит:

— Однако, думаю, ты... все же не за этим пришел, Лайош Бердеш.

Бердеш сжимает пальцы в кулак, они так хрустят, словно рука его полна орехов.

— Конечно, нет; ясно, не за этим, хотя никогда не вредно поговорить по душам.

— Это верно. Особенно, если речь идет о чем-нибудь хорошем.

— Именно так, Андраш Кеваго... Словом... чтобы не крутиться вокруг да около, я за тем пришел к тебе, слышишь... чтобы сказать... мне очень жаль, что так получилось там, на лугу. Вот я и прошу тебя... Давай считать, будто ничего и не было, и давай... продолжим наш разговор, который мы тогда прервали, когда... почти уже ударили по рукам на том, что ты вступаешь в кооператив...

Кеваго догадывался, что Бердеш пришел с чем-то подобным, он только не знал, как тот поведет разговор. Начал он его довольно неуклюже, что, впрочем, похоже на Бердеша: дескать, он не собирается унижаться, однако выскажет то, что должен сказать.

— Но только... Тогда ведь было раннее утро, а сейчас уже вечер, Лайош Бердеш.

— Это верно, но... и в священном писании сказано, что... ни дня единого не носи гнев его на себе...— говорит Бердеш с таким выражением лица, словно всю свою жизнь он терся возле попа.

Стоящая в дверях Мария не в силах сдержаться, громко смеется и, зажав рот ладонью, убегает в горницу. Смеется и жена Кеваго. Оказавшийся здесь же Андриш ухмыляется и незаметно выходит на крыльцо.

— О гневе и речи нет, Лайош Бердеш. Но почему тот, кто не нужен был утром, понадобился вечером?

Бердеш не может больше притворяться и, словно бросив поводья — будь что будет,— прямо без обиняков говорит:

— Язык мой — враг мой.

— Ну, наконец-то! Это уже откровенный разговор. Однако дело тут не только в этом, не так ли?

— А в чем же?

— А еще во многом другом. Тот, кто с легкой душой — обдуманно или сгоряча — хотел вступить в «Свободу», тот уже это сделал. Но большинство крестьян все еще колеблется, и это куда сложнее. А среди них я, пусть и не слишком большая величина, но все-таки не пустое место. Если вступлю я, за мной потянутся и еще многие. А уж за ними и все остальные. Вот в чем дело. Но если нам это ясно, то чего мы будем друг с другом в прятки играть? Поговорим откровенно.

— Ну что ж, поговорим. Давай руку — и делу конец. Я ошибался и ты ошибался, ведь мы же люди...

Кеваго смотрит на протянутую руку Бердеша, и то, что утром было таким естественным, сейчас вдруг кажется ему сопряженным с тысячью препятствий. А главное, он чувствует, что ему приятно унизить этого человека — нужно расплатиться сполна.

— Ты хорошо знаешь, Лайош Бердеш, что за мной пойдут многие. Как же мне взять на себя ответственность за людей, которые решат, что если это хорошо для Кеваго, значит хорошо и для них?

— А почему ты не берешь на себя ответственность за то, что они не вступают в кооператив именно из-за тебя? Задумывался ли ты, насколько велика эта ответственность? Нет, Андраш Кеваго, так популярность не завоюешь! Она имеет свою цену; все дело в том, чтобы в нужный момент сделать правильный выбор.

Кеваго не предполагал, что у Бердеша найдутся такие серьезные аргументы. Он считал Бердеша ограниченным человеком и ничего подобного от него не ждал. Кеваго даже испугался, что

ему не приходило в голову ничего такого, чем он бы смог отпарировать доводы Бердеша. Неужели тот окончательно возьмет над ним верх? Он оборачивается к своим домашним, как бы ища поддержки:

— Ну, мать, Мария, Андриш? Куда запропастился этот Андриш?

Андриш курил на крыльце и, конечно, прислушивался к тому, что происходит на кухне. Сейчас он вошел. Но в это время уже откликнулась мать:

— Вступать ли нам в кооператив? А что это такое? Все свое добро отдадим, а неизвестно, получим за это что-нибудь или нет.

— Да разве вы не слышали, не видели, как происходил расчет за прошлый год? Спросите любого из членов кооператива, хотя бы Модьороши или Фюреса, да кого угодно, пусть они вам скажут.

— Ладно, ладно, все-таки это не совсем так.— Но почему «не так», она объяснить не могла.

— Ну, а ты, Мария, что скажешь?

— Я? Мне все ясно. Я ведь уже... и так состою в ДИСе...— И она краснеет до корней волос. Мария вообще еще не привыкла разговаривать как взрослая.

Андриш же, напротив, спокойно садится на маленькую скамеечку поодаль от стола.

— Я взялся за организацию сельской ячейки ДИСа — значит, мой путь неотделим от кооператива. Почему бы и тебе не вступить, отец? Крестьянин-одиночка, который, несмотря на трудности, сводит концы с концами, и в кооперативе не оплошает. Что касается меня, то я скажу: хватит с нас этого крестьянского лиха, пора начинать жить по-новому. Пора, наконец, стать людьми. Я верю в коллективное хозяйство, верю в социалистическое сельское хозяйство, верю в великий план, который преобразует наше Затисье! Крестьянская жизнь, которую мы вели до сих пор, мне больше не по душе.

— Что тебе дался этот великий план? — пытается возразить ему мать.

— Я сказал, чего хочу.

— Ну и хорош ты. А если мы не вступим, ты все-таки войдешь в кооператив?

— Если вы с отцом против, то нет.

— Вот видишь!

— В таком случае я не вступлю. Но и дома не останусь, а уйду на машинно-тракторную станцию... Я так перепахаю все межи, что от них и воспоминания не останется.

— И у тебя хватит духу перепахать межу той земли, которую мы с твоим отцом пóтом добыли, отказывая себе во всем?

— Хватит ли у меня духу? Да. Ни одной межи больше! К дьяволу все эти межи! — И Андриш, вскочив с места, выходит.

— Вот каковы наши дела, сам видишь! — упавшим голосом говорит Кеваго и ударяет кулаком по столу.

— Вижу, но это как раз и хорошо, дружище,— тихо отвечает Бердеш. (Это теплое обращение он впервые употребил с тех пор, как они с Кеваго оставили школу.)

А в душе Кеваго сомнение уступает место какой-то неизъяснимой грусти. Мария, его любимое дитя, состоит в ДИСе. Андриш, милый его сердцу и уже взрослый сын, готов распахать его же межу. Тот, кто допустит, чтобы молодежь обогнала его,— потерянный человек. Молодых не остановишь, и, пока хватит сил, надо идти с ними в ногу.

— Ладно, быть по сему, Лайош Бердеш. Вступаю в кооператив. Разумеется, это еще не значит, что я уже член кооператива и делу конец. Сначала я поговорю со своими друзьями и посоветую им последовать моему примеру. Без них я не могу принять окончательного решения.

— Поступай, как знаешь, тебе виднее, старина!

— Да, так будет лучше. Люди никогда не должны бросать на произвол судьбы своих друзей. К тому же и ты давеча говорил нечто подобное.

Жена Кеваго глубоко вздыхает, потом садится на маленькую скамеечку перед плитой, опускает руки на колени и, не мигая, смотрит на висящую на стене лампу.

5

Всякое общество состоит из людей, и каждый человек занимает в нем свое, особое положение, но не найти двух людей, которых одинаково уважают. Об одном говорят, что он симпатичный, и только... Это словечко «только» обычно приклеивается, как ярлык, к подавляющему большинству людей. Крестьянская среда, которая на первый взгляд кажется одинаковой и однородной, на самом деле далеко не такая. Здесь существует настолько сложная иерархия, что постороннему трудно в ней разобраться. Сама среда медленно, но верно формирует ее. Что же возвышает одного человека над другим? Есть люди, которые считаются уважаемыми членами сельской общины; им остается только один-единственный шаг до завоевания всеобщей популярности. Но он-то и опасен. Популярность может или поднять человека или увлечь его в бездну.

Все это наиболее отчетливо проявляется в сельской общине; на ее горизонте не бывает светил, которые бы не закатывались. Внезапно они начинают тускнеть, затем исчезают с небосвода. Такому светилу только и остается, что, облокотившись о плетень, размышлять о превратностях судьбы в этом мире.

Андраш Кеваго попрежнему считал, что его звезда все еще в зените, когда на следующий день послал Марию к некоторым

из своих старых друзей, наказав передать: «Дядюшка Шандор или дядюшка Гергей... папа просил зайти к нам сегодня вечером».

Если Кеваго просит к себе, значит у него есть на то какая-то важная причина. Понятно, что сразу же после ужина в доме Кеваго собрались все приглашенные. Здесь, прежде всего, Шенебикаи, состоящий с Кеваго в родстве, здесь Гергей Матэ, Гашпар Чер, председатель местной организации национально-крестьянской партии *; среди гостей и Карой Чергете, которому место в партии мелких сельских хозяев, если бы он вообще состоял в партии. Шандор Ковач, Балинт Топа и еще несколько человек.

У кое-кого из них своя лошадь и подвода, у других в упряжке корова, впрочем, это еще не определяет степени их зажиточности. Например, у Гашпара Чера есть лошадь, в то время как Шандор Ковач ездит на корове, и все же он зажиточнее Чера.

Все эти люди по большей части школьные товарищи Кеваго; после школы, уже будучи парнями, они вместе куралесили, вместе нанимались к помещикам на жатву, на молотьбу, ходили и на земляные работы и на всякую другую поденщину.

В 1919 году многие из них принимали участие в революционном движении; позднее если они и не стали сознательными социалистами, то всегда и при всех обстоятельствах были в оппозиции.

Конечно, среди собравшихся есть и такие, которые никогда не нанимались ни косцами, ни землекопами, а кое-как перебивались, жили, как могли. Вот, например, Шандор Ковач, потомок старой зажиточной семьи; дед его набил себе карманы еще в то время, когда феодально-помещичьи земли были отделены от общинных. Много земли набрал себе тогда Ковач, но и детей у него было столько, что внукам остались только воспоминания о старике и о его земле. Правда, он породнился с зажиточным крестьянином Гербеди. Один из сыновей старика, отец Шандора Ковача, который сейчас сидит в гостях у Кеваго, растратил свое состояние, но впоследствии разбогател, женившись на дочери Гербеди.

Все приглашенные собрались по первому слову Кеваго. Но надолго ли они пришли? Один из гостей даже сидит в шапке, другой — в шляпе; но есть и такие, что сняли головные уборы и осматриваются, куда бы их положить, чтобы, когда придет время уходить, сразу их найти.

— Видать, все вы господа, вишь, поскидывали с голов покрышки,— возмущается Тарнок. Его, кстати сказать, никто не звал, но ведет он себя так, словно его пригласили первым.

— Ладно, ладно... не очень-то хорохорься! — бросает в ответ Гергей Матэ, искоса поглядывая на Тарнока и прикидывая, как бы половчей схватить его, если, паче чаяния, придется отсюда выкидывать.

— Друзья мои, я позвал вас для того, чтобы сказать, что я решаюсь на большое дело,— начинает Кеваго.

— Уж не хочешь ли ты вступить в кооператив? — изумляясь, спрашивает Карой Чергете.

Этот вопрос застает Кеваго врасплох: если бы он, следуя своему старому испытанному методу, обстоятельно, пункт за пунктом, растолковал людям, зачем он созвал их, а уже потом изложил суть дела — вступать или не вступать в кооператив,— все сложилось бы по-иному. Но вопрос был задан прямо, в лоб и требовал немедленного ответа; тут обиняками говорить уже нельзя.

— Именно так, друзья мои, я хочу вступить в производственный кооператив.

Тишина. Никто не произносит ни слова, даже не пошевельнется. Карой Чергете чуть поворачивает голову и ищет взглядом свою шляпу, брошенную на кровать, на гору подушек; несколько мгновений он еще колеблется, не зная уйти или остаться, но вот встает, нахлобучивает на голову шляпу и молча направляется к выходу.

— Эй, эй! Ты захватил мой колпак! — кричит вслед ему Тарнок, называющий шляпу то покрышкой, то колпаком, в зависимости от того, что ему взбредет в голову.

Карой Чергете с недоумением смотрит на шляпу, поворачивает ее, снова разглядывает, затем швыряет на кровать, берет другую и теперь уже уходит.

— А хорошо ли ты обдумал свой шаг, Андраш? — спрашивает Шандор Ковач.

— Обдумал, Шандор. Много ночей не смыкал я глаз.

— И напрасно: человек либо знает, что ему делать, либо не знает.

Андраш Кеваго ожидал, что друзья сразу же заговорят, начнут ему возражать, пустятся в рассуждения, станут предъявлять претензии, требовать... но ничего подобного не происходит. Гости только кряхтят и покашливают, некоторые закуривают. Потом завязывается разговор, тихий и размеренный, как неторопливый дождик после изнурительного зноя.

Начинается степенная беседа, но не о том, вступит ли Кеваго в кооператив, а совсем о другом. У кровати, стоящей напротив стола, четверо гостей, сгруппировавшись в кружок, спорят о том, действительно ли четыре племенных быка принадлежат теперь хозяевам или являются общественной собственностью?

— Хозяевам? На долю хозяев только лихо осталось! — отзывается со своего места Гашпар Чер.

У Кеваго такое ощущение, будто он погружается в какую-то пучину.

Двое сидевших вблизи двери, не сказав ни слова, встают; один поправляет на голове шапку, другой — шляпу; затем оба молча выходят на кухню. Слышно, как они там перебрасываются несколькими игривыми словами с хозяйкой, потом разговор затихает, хлопает дверь, и шаги слышатся уже на крыльце.

Оставшиеся гости еще продолжают сидеть, но каждый из них думает, как бы уйти. Теперь Кеваго ясно (как ясно и всем осталь-

ным), что из разговора, который он задумал, ничего путного не получилось.

Это как раз тот случай, когда популярный человек, к примеру Андраш Кеваго, сразу, без всяких околичностей лишается авторитета в глазах своих приверженцев. Сумеет ли он когда-нибудь восстановить его?

К девяти часам вечера остается только четверо: Гергей Матэ, Шенебикаи, Керекеш, тесть Чикоштота (у него-то и есть тот самый радиоприемник, что принимает все станции мира), и сам хозяин.

— Послушай, Андраш, нужно бы раньше малость прикинуть и обмозговать,— говорит Иштван Керекеш.

— Как бы мы не обмозговывали и не прикидывали, все равно придем к этому.

— Так-то оно так, но... знаешь, каковы люди...

— Шабаш! — откликается Гергей Матэ. А сам в это время думает о том, как жестоко он разочаровался в Андраше Кеваго. Как тот представлял себе последствия своего шага? Так вот собирался запросто перетянуть все село в кооператив? Думал и после этого сохранить свою популярность? Разве он не мог предположить, что останется побежденным? До сих пор он всегда брал верх, хоть и поднимался кверху на их горбах, но теперь это ему не удастся — дело ясное...

Гергей Матэ тоже уходит, так ничего и не ответив Кеваго.

Наконец Кеваго остается вдвоем с Шенебикаи.

— Ну, а ты, кум, что решил? — спрашивает у него Андраш.

— Я, куманек? Посмотрю еще, утро вечера мудреней,— отвечает Шенебикаи, встает и потягивается. Его сапоги медленно и мерно стучат по крыльцу,— ушел и он.

И тогда в доме воцаряется настороженная тишина.

— Твои друзья бросили тебя на произвол судьбы, Андраш! — печально говорит жена.

— На произвол судьбы? Пожалуй, не совсем так. Вернее, я их оставил в беде.

— Как же это так? Ты ведь, как и раньше, хотел им добра.

— Это верно, но добро измеряется по-разному. Когда-то нужно было поднимать село против властей, стало быть — против правительства, а теперь нужно перетянуть людей на сторону правительства. А это до них доходит с трудом.

— Вот Марика рассказывала, что там, на урочище, и Матэ и Шенебикаи хотели вступить в кооператив.

— Они и там не очень-то хотели, а только подсчитывали свою выгоду. Ну, ладно, хватит об этом, мать. Конец. Я был не последним человеком в селе, а сейчас я никто, и неизвестно, буду ли вообще кем-нибудь. Но важно, чтобы в своих собственных глазах я не был бы пустым местом. Человек должен оставаться человеком при любых обстоятельствах; если ему верят — хорошо, если не верят, каждый потом убедится в ошибке на своем горьком опыте.—

Кеваго встал и в раздумье принялся ходить взад и вперед по комнате.

Лампа горела еще долго, до полуночи, и если бы кто-нибудь полюбопытствовал, то увидел, как в окне то появлялась, то исчезала беспокойная тень Кеваго.

Глава третья

1

Бердеш от Кеваго пошел домой не сразу, хотя было уже довольно поздно, а направился в правление кооператива, где Шаркези с товарищами ждали его так же нетерпеливо, как иудеи ожидали прихода Мессии.

— Ну, с чем пришел, дядюшка Лайош? — спросил Шаркези, не дав ему даже переступить порог.

— Все в порядке, вступает! Но завтра вечером хочет еще созвать своих людей.

— Ну, тогда из этого ничего не получится,— с беспокойством заметил Сито.

— Раз я сказал «все в порядке», значит так оно и есть! — решительно заявил Бердеш.

— Подписал он?

— Что вы привязались с этой подписью, ведь вы же расхваливали Кеваго на все лады, дескать, он такой, да он этакий!.. А кроме того, вам что, недостаточно моего слова?

— Ладно, ладно, все в порядке, дядюшка Лайош, большое вам спасибо.— Шаркези протянул руку Бердешу и крепко ее пожал. Потом обратился к остальным: — Ну, а сейчас, товарищи, нужно наметить состав бригад.

— Надо бы привлечь молодежь, сняв ее со стерни...— предложил Кошут-Киш.

— Да, они очень рассчитывают на рисовую плантацию. Эстер Мольнар! Ты здесь, Эстер Мольнар?

— Я здесь! — отозвалась Эстер, сидевшая у окна и разговаривавшая с Лайошем Кошут-Кишем о результатах сегодняшнего дня.

— Как видишь, дело с рисовой плантацией на мази, так что поскорее заканчивайте с уборкой на стерне. В крайнем случае, разделитесь на две группы: одна останется там, а другая пойдет на рис. Согласны?

— Конечно. Если не сможем начать пораньше, то, во всяком случае, подольше задержимся.

— Ну, значит так. А сейчас я попробую связаться с инженером.— И Шаркези протянул руку к телефонной трубке...

Прошло два дня. Как обычно, молодежь работала в поле. К Эстер то и дело группками подходили девчата и парни, и она,

который уже раз, принималась рассказывать во всех подробностях новость о вступлении Кеваго в кооператив. Шедшие сзади недоумевали, чему радуются и кричат «ура» их товарищи, но узнав, в чем дело, поддались общему настроению, и их радостные голоса присоединились к остальным.

Солнце бросало на людей свои розоватые блики; захлопали крыльями чибисы, словно подброшенные чьей-то невидимой рукой; вспорхнули и, заливаясь звонкой песней, потянулись к небу жаворонки. А по необозримому пшеничному полю из края в край дул, гулял ветер.

Повсюду, куда достигал человеческий взор, поле просыпалось. Крестьянские телеги, как маленькие черные точки, были разбросаны по всей пашне; неподалеку от Сторожевого холма молодой тракторист Йошка Тот заводил трактор; туда по полю спешил Кальман Циффра.

Шенебикаи, который в эту ночь спал не многим больше, чем Кеваго, возился на своем поле, развязывая сумку. Про себя он подсчитывал: столько-то центнеров риса, по такой-то цене за центнер, а может, и по другой... цифры роились в его голове, словно она была заполнена маленькими сверкающими палочками. Потом его начали одолевать сомнения: теперь Кеваго так или иначе вступит в кооператив, но почему этот Кеваго должен его опередить, почему он, Шенебикаи, не может поступать как ему угодно?

— Хватит, поводил меня Кеваго за нос,— громко произнес Шенебикаи и стал прислушиваться к шуму, доносившемуся оттуда, где работала молодежь «Свободы»,— ведь у него тоже дети, и даже трое. Старший сын уже несколько дней как повадился в ДИС, или как там его называют. Здесь снова его мысль застопорилась: ведь в ДИСе-то верховодит сын Кеваго, Андриш! Неужели никогда не переведутся эти Кеваго! Однако он тотчас же вспоминает, что Кеваго всегда был ему верным другом, да и сейчас не сделал ничего такого, чтобы на него сердиться, разве только, что... хотел загнать его, Шенебикаи, в кооператив, как загоняют овец в хлев... Ну нет, пусть никто даже не пытается им помыкать!

Он поднялся вдоль своего участка кверху; сейчас его пшеница казалась намного слабее, чем вчера и позавчера,— стебли выглядели тонкими, худосочными; даже не верилось, что она когда-нибудь начнет выметываться. Шенебикаи дошел до конца своего участка, остановился и посмотрел туда, где на ветру плескались юбки девчат; потом прямо через посевы и пашни пошел к ним.

Мимо, таща корзины, проходили девушки и парни; они пели песни и балагурили. Случайно кто-то обернулся и удивленно сказал:

— Эй, гляньте, кто сюда идет!

Здесь всякое, даже самое маленькое событие вызывает интерес, и вот сейчас все с любопытством смотрели на приближающегося Шенебикаи.

— Добрый день, девчата, добрый день, ребята! Ну как, приходится пошевеливаться, а? — спросил Шенебикаи, подойдя к ним.

— Приходится, иначе дело не пойдет,— ответила ему Эстер Мольнар.

— Оно, конечно... так и надо. Подойди-ка сюда, дочка, я хочу тебе кое-что сказать.

Эсти очень удивилась, но, опустив на землю два пучка собранных стеблей, которые она держала в руках, подошла к Шенебикаи. Тот медленно, с опущенной головой, словно наугад, зашагал по полю; Эстер пошла рядом с ним.

— Так вот, дочка... В прошлый раз ты говорила тут насчет риса: скажи... сколько центнеров можно бы, если...

— Это же очень просто! Пусть с одного хольда будет, скажем, тридцать центнеров, а то и сорок... Но остановимся на тридцати. Со ста хольдов — три тысячи центнеров, а с двухсот хольдов — шесть тысяч центнеров.

— Это шестьдесят вагонов,— заключил Шенебикаи.

— Да, именно столько.

Тут Шенебикаи остановился и вскинул голову:

— Я, дочка, не какой-нибудь искатель наживы. А только, знаешь... человек, что ни говори, любит ясно представлять себе, что к чему. Я не хотел передавать через других — только через тебя: скажи Бердешу или кому надо, чтобы прислали мне заявление о вступлении в кооператив — я подпишу.

— Дядюшка Бикаи, дорогой!.. Знаете, ведь дядя Кеваго тоже вступает.

— То дело Кеваго, а это — мое. Вот я и говорю: попроси заявление, и лучше, если ты его сама и принесешь. Я завтра опять буду в поле...

— Я с удовольствием исполню вашу просьбу, дядюшка Бикаи, и вечером зайду к вам.

— Ладно... жду тебя. Сервус! — И он протянул Эстер свою большую корявую руку, потом повернулся и зашагал обратно.

Эсти с радостным чувством смотрела ему вслед.

2

Вечером контора и все смежные помещения полны людей. Тут собрались инженер, агроном, бригадиры, звеньевые и животноводы. Здесь же Кульчар. Снова все пришло в движение — многое нужно перекраивать. Выяснилось, что для работы на рисовом поле понадобится гораздо больше людей. Инженер раскладывает чертежи и схемы, называет цифры; для главного канала придется вырыть и вывезти столько-то кубометров земли; хватит работы и землекопам и грабарям.

— Откуда мне взять столько людей? — разводит руками Бердеш.

— Я всю зиму предупреждал дядюшку Лайоша, что нужно по-

другому обращаться с людьми, изъявляющими желание вступить в кооператив, а тем более с теми, кто пока нас сторонится,— говорит Шаркези.

— Почему? Я сделал все, что мог. Вы сказали, заполучить к нам Кеваго; пожалуйста — я его уговорил.

— Где он? Я его здесь не вижу! — выкрикивает Балаж Фюрес.

— Кеваго уже с нами. Правда, он сказал... что не хочет вступать с пустыми руками... Беспокоиться нечего, с ним все в порядке.

Кульчара попрежнему волнуют нужды кооператива.

— Может нехватить рабочих рук, потому что не все члены семей выходят в поле. Значит, надо либо мобилизовать их, всех до единого, либо провести запись в кооператив и среди членов семей... А что же произошло, почему друзья Кеваго не пошли за ним? — обращается он затем к Шаркези.

— Что произошло? Я всегда говорил, что Кеваго — не бог! — отвечает ему Бердеш и довольно усмехается.

— Ну, положим, это не совсем так, дядюшка Бердеш,— говорит Шаркези.— Уже одно то, что приверженцы Кеваго не могут больше на него рассчитывать, для нас очень важно. Вероятно, они сгруппируются вокруг кого-нибудь другого, а потом мы и того перетянем на нашу сторону. Так мы, хоть поодиночке, но постепенно завоюем все село, потому что останавливаться нам, товарищи, никак нельзя. Правда, кое-кто из единоличников к нам уже пришел... Вот вступил Шенебикаи... не вместе с Кеваго, но всетаки пришел к нам... Эсти говорила с ним, он уже наш. А это что-нибудь да значит! Теперь, следовательно, очередь за Гергеем Матэ... А сейчас давайте еще раз проверим, чем мы располагаем.

Но Кульчару этого все еще недостаточно:

— Не рассердитесь, дядюшка Бердеш, если я вам кое-что скажу?

— Чего мне сердиться!.. У меня и без того забот полон рот,— пробует отшутиться Бердеш.

— Мне хотелось, чтобы дело с Кеваго послужило для вас уроком. Кооператив «Свобода» растет с каждым днем, стало быть, и председателю нужно все больше и больше знать, учиться...

Кульчару, очевидно, хочется продолжить разговор на эту тему, но в это время появляется Кеваго.

— Наконец-то! — обращается к нему Шаркези.

— Сабадшаг, товарищи! — здоровается Кеваго и осматривается по сторонам.

— Сабадшаг, товарищ Кеваго! — Кульчар встает и протягивает ему руку.— Вот мы, наконец, и видим вас.

— Выходит, так... Я пришел... Генерал без армии... Что ж, меняется мир, меняются и люди. Мои друзья бросили меня на произвол судьбы. Или, если им верить, я оставил их в беде. Ведь придумают же подобную чепуху! Но это, в конце концов, неважно. Они вскоре одумаются и последуют моему примеру. Я считал этот шаг правильным; со временем и они со мной согласятся.

Думал прийти сразу же, на следующий день, но... не хотелось приходить с пустыми руками.— Тут Keвaгo засовывает руку во внутренний карман и продолжает: — Я слыхал о перспективном плане кооператива, хотя вы о нем и не говорили. Но разве это скроешь? Сел я в автобус, поехал в Дебрецен и зашел в плановый отдел к товарищу Ласло Деже. Вот это человек! Мы с ним вдоволь наговорились... и теперь я все знаю. Словом, к планам кооператива и у меня есть небольшое предложение! — И он протягивает Бердешу сложенную бумажку, но, когда тот сделал было ленивое движение, чтобы взять ее, Кеваго неожиданно отдает бумагу Шаркези.

— Что ж, посмотрим, товарищ Кеваго... Рыбоводство на рисовой плантации?.. Как вы себе это представляете?

— А так, что мы можем развести рыбу, по крайней мере, процентов тридцать — тридцать пять от принятой для прудов нормы без вреда для риса!

— А что же, это интересное предложение, но... осуществимо ли оно? — И Шаркези сразу подумал о Ласло Деже,— как хорошо, что есть с кем посоветоваться; какая бы сложная проблема не возникла перед ними, есть плановый отдел и товарищ Ласло Деже.

Шаркези тут же соединился по телефону с облсоветом, попросил плановый отдел.— Сию минуту, пожалуйста,— ответила секретарша, и вот уже у телефона Ласло Деже.

— Да, был тут недавно один пожилой крестьянин, ладно скроенный, не он ли говорил о двух богах?

— Нет, то был другой.

— Жаль, потому что на меня этот человек произвел очень хорошее впечатление. Представляю себе, как понравился бы мне тот, другой!

— И тот придет к нам... Как вы думаете, смогут ли кооператоры на рисовой плантации разводить рыбу?

— Вполне. Только для этого опять-таки нужен хорошо продуманный план, но мы и в этом поможем — только скажите!

Все присутствующие слышат телефонный разговор и делают свои выводы, а агроном Кальман Циффра от растерянности даже меняется в лице: тому ли их учили в академии? Изучали они многое, и вот сейчас он старается собраться с мыслями, вспомнить, что только возможно.

Кеваго стоит под перекрестным огнем стольких пар глаз! Одни всматриваются в него, пытаясь понять, почему он пользуется уважением почти всего села, другие — каким образом он, владея сравнительно небольшим клочком земли, мог так хорошо воспитать своих детей и жить в достатке? Что в этом человеке? Он немногим выше среднего роста, выглядит скорее худощавым, чем плотным, волосы его начали седеть; лицо не то чтобы полное, но гладкое, без единой морщинки, свежее и выбритое; живые, голубые глаза. На нем бархатная куртка зеленоватого цвета, штаны старинного покроя, на ногах черные башмаки. Никто раньше не видел его в подобной одежде, но у всех такое ощущение, будто он

всегда ходил в ней. А надо сказать, что в жизни крестьянина смена одежды — большая проблема.

В этот момент разыгрывается, наконец, фантазия у агронома.

— Да-да! Рыбоводство на рисовой плантации — наиболее целесообразное использование воды и территории. И притом рис нисколько не пострадает. Замечу, однако (эти два слова он произносит впервые в своей жизни), что для рыбоводства нужно иметь специальные знания, в противном случае оно вместо выгоды принесет только убыток.

Выслушали и это. И снова молчат, словно не понимают. Один только Йошка Пап ясно представляет, о чем идет речь.

— Мы, шарретские, и не сумеем развести рыбу? Мы, столько проработавшие поденщиками на рыбных промыслах? Да у нас это дело пойдет на славу, сто́ит только заняться им!

Кеваго продолжает излагать свои мысли:

— Рыбоводство — дело верное. Почва здесь полна перегноя и хороша для риса. В свою очередь, рис будет привлекать к себе множество бабочек, мотыльков и других насекомых, а рыбам это корм. Я уже навел кое-какие справки по этому вопросу. Кроме того, мне сдается, что насыпи вокруг рисовой плантации и те участки, которые мы не сможем оросить, нужно бы засадить ивняком, а вдоль главного канала насадить осину — она любит влагу. Легко подсчитать, какую это даст со временем материальную выгоду, а еще проще представить себе, как изменится природа края.

Агроном с трудом мог дождаться момента, чтобы высказать свое мнение, потому что чем больше говорил Кеваго, тем больше хотелось высказаться и ему, поделиться тем, что он читал, чему учился в академии. И раньше его восхищали уменье и практический опыт крестьян, а сейчас он просто диву давался, познакомившись с крестьянским разумом и смекалкой. И Циффра в таких красках стал рисовать ближайшее будущее села, что люди начали смотреть на него со все возрастающим уважением: поглядите-ка, какие у этого молодца мысли, кто бы мог подумать?

— Если мы осуществим хотя бы половину всего этого, и тогда мы сделаем большое дело! — говорит Балаж Фюрес.

— Почему половину? Пусть правление пошлет комиссию, которая договорится с директором рыбного питомника по поводу мальков. Но при планировке плантации надо учесть все; иначе, когда будут снимать рис, рыба останется на земле. Значит, нужно заранее подготовить место, куда ее перевести.

— Заняться рыбоводством — значит взять на себя большую ответственность! — снова говорит Балаж Фюрес.

— Конечно. Но за что ни возьмись в жизни, всюду ответственность.

— Ну как, дядюшка Бердеш?..— спрашивает Кульчар.

Бердеш, действительно, пошел к Кеваго с открытой душой, говорил с ним, как ему подсказывала совесть, и помирился, но

сейчас что-то кольнуло его в сердце. Да, Кеваго здесь, он сдержал свое слово. И вот он уже сразу предлагает нечто такое, что в корне меняет разработанные с таким трудом планы. И так тяжело, а тут еще — пожалуйста... Вот о чем думает Бердеш, однако беспокоит его другое. Он убежден, что пройдет год, может, и того меньше, и Кеваго станет председателем! Что тогда будет с ним, с Вердешем?

— Со всем, что хорошо, я согласен, но предостерегаю товарищей: мы должны браться только за то, что осилим.

Однако агроном теперь уже не может себе представить рисовой плантации без рыбы; он вынимает карандаш, придвигает стул к столу и принимается за подсчеты, сопровождая их пространными объяснениями.

К одиннадцати часам вопрос о рыбоводстве был решен. Кеваго назначили руководителем всех работ на рисовой плантации, а контроль за их выполнением возложили на Рожи Шаркези. Условились, что завтра же землемер приступит к разбивке плантации.

3

Свою работу землемер выполняет с двумя помощниками. Один из них Лаци Бердеш, которого с детства интересовало все, связанное с работой землеустроителей. Еще мальчиком украдкой он издали наблюдал за геодезистом на господских землях; когда помещик продавал или покупал землю либо собирался проложить оросительный канал, Лаци по целым дням торчал на поле. Но сейчас он ходит за землемером не из любопытства, а чтобы хоть чем-то помочь кооперативу. Он делает все, что может: тянет рулетку, забивает колышки, держит астролябию, пока землемер что-нибудь подсчитывает или делает заметки. Другой помощник — Пишта Сито.

— Они при землемере,— говорят кооператоры, но так значительно, будто эти молодые люди выставлены в витрине или гуляют на свадьбе,— словом, находятся где-то в очень хорошем и почетном месте.

Итак, и эта работа идет своим чередом.

Первая рабочая бригада начала земляные работы; формируется еще одна бригада — она будет возить на тачках землю, потом... впрочем, пока больше ничего! Но с таким количеством людей рисовая плантация не будет подготовлена к сроку. А ведь, кроме того, нужно во-время пустить мальков. Йошка Пап беседовал с директором рыбного питомника и закупил мальков по государственной цене.

— Мальков нужно забрать в течение двух недель,— обратился он к Рожи,— их там не могут больше держать.

Рожи ничего не остается, как пойти к Бердешу.

— Дядюшка Лайош! Нужны люди на рисовую плантацию, иначе беда!

В последнее время Бердеш всякий раз, как слышит упоминание

о беде, сразу же мысленно задает себе вопрос: а как идут дела у него самого, не натворил ли он опять чего-нибудь? Но сейчас беда кружит не над ним, а над другими.

— Вот видишь, сынок, я так и думал. Кто подставляет карман, получает пригоршню! — говорит он Шаркези.

Шаркези в эти дни тоже немало времени пропадает на рисовой плантации и сейчас задумчиво смотрит на старика. Чего это он начал изъясняться поговорками?

— Что опять стряслось?

— Мало нас. Оказывается, девяносто с лишним семей — почти ничто...

— Не ничто, но, конечно, маловато; что правда, то правда... Вечером на заседании партбюро обсудим, как быть.

В партбюро входят представители не только старого, но и молодого поколения. Шаркези ставит вопрос: людей мало, что предпринять?

Вносится много предложений. Большинство их касается членов семей, которые, в особенности у вновь вступивших, вовсе не выходят на полевые работы. Итак, прежде всего нужно мобилизовать их. Это с одной стороны...

С другой стороны, если даже перебросить людей на рисовую плантацию, это еще ничего не даст: когда наступит время прополки, их все равно не хватит. В этом году вместо двадцати хольдов хлопчатника кооператив засеял тридцать; значительно больше стало и сахарной свеклы, потому что прибавилось земли: вновь вступившие увеличили посевную площадь кооператива.

Поэтому было выдвинуто и второе предложение: снова начать вербовку новых членов кооператива. За Кеваго люди не пошли; стало быть, нужно найти человека, пример которого убедил бы их.

— Я предлагаю,— говорит Шаркези,— объявить соревнование по вербовке новых членов. Того, кто достигнет наилучших результатов, мы торжественно поздравим, собравшись на товарищеский ужин. Согласны, товарищи?

— Правильно, согласны...

— Ну, а как у вас, Эстер, обстоит дело с приемом новых членов в ДИС?

— Неплохо,— она роется в своей сумочке,— этим занимаются Андриш Кеваго и Рожи Серню. Кажется, пока набралось двадцать два человека.— И она показывает список.

Шаркези берет бумагу и читает: «Андриш Кеваго, Мария Кеваго...» — постой-ка, ведь эти уже и так наши.

— Теперь да, но список мы начали составлять раньше.

— Понятно... Этих ребят я хотел бы видеть даже кандидатами в члены партии... Ну, что ж, посмотрим дальше: «Като Ач, Бела Ач, Юлиана Чер, Геза Балог, Агнеш Балог... Пишта Надь, сын Барны Надя...» Не будет ли с ним неприятностей, а?

— Не знаю, но... сыновей Надя рекомендовал Лаци Бердеш.

— Что вы скажете на это, дядюшка Бердеш?

— Скажу только, что если, к примеру, дети Кеваго достойны быть в нашей партии, то ребята Надя, во всяком случае, подходят для ДИСа.

Шаркези еще раз смотрит на бумагу и говорит:

— Ну, что ж, ладно!.. Но на вашу ответственность, дядюшка Лайош.

— Если справлюсь с остальным, как-нибудь и этого не испугаюсь.

— Ты поможешь вербовать на работу членов семей кооператоров? — обращается к Эстер Шаркези, вновь возвращаясь к основному вопросу.

— Еще бы! — отвечает Эстер.

— Тогда по рукам! Будем соревноваться; кто быстрее справится — тот и выиграет.— Они обмениваются рукопожатием.

Шаркези кого-то ищет глазами.

— А вы, товарищ Бикаи? Почему бы вам не завербовать Гергея Матэ? Вы ведь большие друзья!

— Он бы и так пришел, но ему стыдно, ну, прямо как нашкодившей кошке, все из-за той полосы земли...

— Конечно, у него есть для этого основания, но пусть не упрямится и приходит к нам. Эти несчастные два хольда земли не будут помехой.

— Хорошо. Я с ним поговорю!

Тут звонит телефон. Кульчар интересуется общей обстановкой, и в особенности рисовой плантацией. Шаркези докладывает ему обо всем и говорит, что Эстер только что вызвала его на соревнование по вербовке на работу членов семей кооператоров (он несколько приукрашивает свою информацию в ее пользу).

Обыкновенный короткий разговор, но Кульчар все же передает о нем в областной комитет. Там, в области, при ДИСе работает молодой человек — корреспондент Венгерского телеграфного агентства. Так и случилось, что не прошло и суток, как имя Эстер Мольнар попало в центральные газеты; фотография ее уже как-то публиковалась в связи с зимним смотром художественной самодеятельности; сейчас ее поместили снова. Но тогда о ней писала только «Сабад неп», и Эсти была чрезвычайно удивлена, увидев свое улыбающееся лицо на страницах «Сабад ифьюшаг» *. Значит, не только артистки, но и простые трудовые девушки из кооператива могут быть знаменитыми? Теперь ей никак нельзя отстать, и Эстер решает вести вербовку не только среди семей членов кооператива, но и среди единоличников — тружеников села.

Расходились после собрания поздно. Эсти прошла в соседнюю комнату, где была размещена небольшая библиотека, которой она ведала. Один читатель должен был возвратить книгу, но так и не принес. Неожиданно позади нее вырос Бердеш.

— Дай-ка мне, дочка, еще какую-нибудь книгу,— сказал он.

— Пожалуйста, выбирайте, дядюшка Бердеш.— И она положила перед ним каталог.

Бердеш стал внимательно изучать маленькие, круглые буквы, тщательно выписанные рукой Эстер. Потом ткнул пальцем в одно из названий:

— Дай-ка мне опять вот эту!

Эсти немного удивилась, сняла с полки огромный том — ведь Бердеш уже раз брал его. Зачем ему снова понадобилась эта книга. Тогда он не одолел ее целиком, неужели прочтет сейчас?

— Давай, давай! Меня очень интересует «Капитал»,— и Бердеш сунул книгу подмышку.

Эсти молча смотрит на него; ей хочется сказать, что учебу не следует начинать сразу с «Капитала». Прочитал бы он сначала историю большевистской партии, а потом уже постепенно осваивал книгу за книгой, но она не решается говорить с ним об этом. Да и к тому же... как знать? Авось ему удастся что-нибудь усвоить, хоть он и начинает с самого сложного? Эсти еще раз осматривается, потом и она уходит; ей еще нужно зайти в сельскую ячейку ДИСа, разузнать, как дела у Андриша и его товарищей.

Помещение сельской ячейки ДИСа находится на Большой улице. Разумеется, это здание строилось в свое время не для ДИСа, а под корчму, которая постепенно расширилась и стала постоялым двором, а недавно власти за какие-то грехи и злоупотребления лишили владельца заведения патента. Сейчас молодежь при свете керосиновой лампы «Молния» сидит в зале этой бывшей корчмы на расставленных рядами стульях и скамейках и слушает Андриша Кеваго.

— Ладно, биллиардный стол можно здесь оставить; биллиард — это спорт или развлечение, как хотите. Шахматы, конечно, дело более серьезное. Ну, а кегельбан я бы не оставил.

— Почему? Это тоже спорт! — прерывает его сын Гашпара Чера, Гажи.

— Возможно. Я в нем не разбираюсь, так что уж вы сами решайте. Но самое неотложное дело — выписать молодежную газету «Сабад ифьюшаг» и несколько журналов. Кроме того, мы должны добиться создания своей, пусть на первых порах маленькой, библиотеки.

— А где деньги? — снова вмешивается Гажи Чер. Некоторые кивком головы выражают свое одобрение.

— Деньги? Ясно, что даром ничего не получишь. Неправильно, что газеты и журналы еще недавно давали, по сути дела, бесплатно. Нужно упорядочить сбор членских взносов, однако этих денег на газеты нам не хватит. Но мы будем устраивать платные лекции, доклады, интересные вечера; все это даст средства на культработу. Организуем футбольную команду, установим плату за вход на состязания, тогда наверняка покроем наши расходы. Словом, девчата и ребята, думаю, мы не ошиблись, обратившись к вам с призывом: «Вступайте в ДИС!» — ведь это ваша единственная массовая организация.— Он оборачивается, потому что

дверь осторожно открывается и в комнату тихо входит Эстер. У Андриша слова застревают в горле, он тотчас же подходит к ней.

— Сервус!..

— Сервус! Продолжай, пожалуйста! — И Эстер садится сзади на скамейку.

— Вот... И мы ни в коем случае не остановимся на достигнутых результатах; нужно разъяснять и агитировать до тех пор, пока все трудящиеся девушки и парни не будут среди нас, в ДИСе.

— Хорошо, но... я слышал, что молодежь «Свободы» устраивает четвертого апреля свой вечер! — запальчиво выкрикивает Гажи Чер.

— Верно, устраивает, но хочет провести его совместно с нами. Так что, правильнее сказать, мы устраиваем. Об этом сегодня еще поговорим.

Эсти сидит на уголке скамьи; ее охватывает какая-то безотчетная радость, к которой, однако, примешивается и печаль; Андриш, оказывается, умеет не только нашептывать ей на ухо ласковые слова, но и руководить молодежью села. Когда он разговаривает с кем-нибудь с глазу на глаз, голос у него звучит совсем по-другому. Ум его только сейчас по-настоящему раскрывается перед ней.

Эстер неожиданно вздрагивает — у нее чуть не закружилась голова при мысли о том, что с такой внешностью, с таким умом, как у Андриша, достаточно малейшего порыва — он вспорхнет и, горделиво расправив крылья, улетит, подобно орлу. Что же тогда будет с ней? «Я тоже не сдамся!» — думает Эстер, восторженно глядя на Андриша. Потом она снова размышляет о том, что правильнее — в интересах развития кооператива, да и всего села,— чтобы Андриш пока не вступал ни в партию, ни в кооператив, но... это может разрушить ее счастье! Нет! Никто этого себе не может пожелать... Впрочем, раз его отец уже кооператор, какой смысл Андришу оставаться в стороне?

Андриш кончил свою речь; сейчас говорят другие. В конце концов решают провести совместное собрание с ячейкой кооператива и принять участие в подготовке вечера самодеятельности. Около одиннадцати часов все расходятся по домам.

У дисовцев есть даже своего рода комендант здания, который принял по описи всю обстановку и теперь должен уходить последним, погасив лампу. Он прикрывает обе створки двери и навешивает железный замок. В вечерней тишине явственно слышится щелканье замка.

— Андриш, ты такой хороший, я так люблю тебя сейчас... так люблю!..— говорит Эсти, прижимаясь к молодому человеку.

— Только сейчас я мил тебе?

— Нет, не то, но знаешь... ты ведь и сам чувствуешь, какое счастье учить других.

Андриш тихо смеется, но больше своим мыслям.

— Знаешь, столько всего приходит в голову, пока что-нибудь объяснишь другому. Гажи Чер крикнул мне: «А где деньги?» И я только в тот момент понял, что у крестьянина могло не быть денег на одежду, на хлеб, на уплату налогов, а на палинку и на вино всегда находились. Когда в кармане у него было пусто, он пил в долг. Вот если бы у нас было так, что молодежь, да и вообще крестьяне могли бы приобретать в кредит предметы культурного обихода: книги, газеты, радиоприемники и многое, многое другое...

Эсти еще теснее прижимается к Андришу.

— Как я счастлива! Я так люблю тебя, что даже не могу выразить словами... Часто, задумываясь, я пробую сравнить тебя с каким-нибудь драгоценным камнем; на что бы я сменяла тебя? Что потребовала бы за тебя? Золото, какое-нибудь другое сокровище, хорошую жизнь, славу, популярность, а может, и всю землю? Сама даже не знаю, что. Нет, нет такого сокровища в мире!

Сзади послышались чьи-то быстро приближающиеся шаги, легкие, словно какая-то большая птица налету коснулась крыльями земли.

— Вам не удастся отделаться от меня! Не люблю я одна возвращаться домой,— запыхавшись, говорит догнавшая их Мария.

— Ну, иди сюда, проказница! — И Андриш берет сестру под руку.

Они выходят из села и идут по направлению к слободке: посредине юноша, по бокам, под руку с ним, две девушки.

— Среди двух ангелов идет...—начинает напевать Мария, но неожиданно обрывает.

Глава четвертая

1

В третье воскресенье марта с одиннадцати до двенадцати его преподобие господин Эрне Пепи проводил со школьниками реформатами урок закона божьего. После богослужения он на ходу заглянул в канцелярию, где обычно собирались члены церковного совета, отчасти по привычке, а отчасти потому, что всегда находится что-то такое, о чем имеет смысл осведомиться, разузнать. Однако официальный повод — посчитать деньги, собранные с прихожан.

Попечитель реформатской церкви записывает сумму и передает деньги пастору, а тот обращает их на то, о чем возвещал с амвона; отчет в израсходовании — такой же обязательный церковный ритуал, как и «Отче наш». Сегодня деньги идут на нужды бедных дебреценских школьников, завтра еще на что-нибудь, и так далее...

Урок закона божьего не обязателен; на него ходят только желающие. Разумеется, в мире не так уж много детей, которые учили бы закон божий по своей доброй воле, если этого не требуют родители.

— Не вредно, если они и это будут знать,— говорят одни.

— Я вот не учил слово божье, а живу не хуже других,— рассуждают другие.

— В писании сказано, что внимать нужно всему, а следовать добру,— изрекают третьи.

Но большинство крестьян отвечает на это так: «Даже лягушки и те квакают: «попы крутят, попы брешут». Поэтому понятно, что в комнате для занятий священник застает очень мало учеников.

— Милые мои дети,— начинает пастор,— сегодня мы будем говорить о добре и зле, о грехе и грехопадении, об Адаме и Еве.— И после минутной паузы продолжает: — Первая человеческая пара жила счастливой беззаботной жизнью. Господь бог предоставил Адаму и Еве все плоды рая, запретив вкушать их только с одной яблони. Если они ослушаются, то погибнут страшной смертью. Но они не устояли перед искушением дьявола, который притаился в обличии змея; они вкусили запретный плод, впали в грех, познали все — и добро и зло, ощутили свою наготу и скрылись с глаз господа бога. Небо потемнело, ветер начал трясти ветви райских деревьев, грянул гром, и в его грохоте послышались слова господни, обращенные к Адаму:

«Где ты, Адам?» — звучал голос господа, грому подобный.

«Я слышу твое слово, господь, и трепещу»,— отвечал Адам.

«Что ты сделал, Адам? — вопрошал господь.— Разве я не предупреждал тебя, чтобы ты пользовался всеми благами рая, но не вкушал плоды одного дерева, ибо в день, когда ты вкусишь их, ты познаешь добро и зло и уподобишься гонимому ветром листу?» — Так говорил господь и изгнал Адама и Еву из рая.

«Иди,— сказал он Адаму,— и в поте лица добывай свой хлеб насущный».

Адам и Ева покинули рай, и с тех пор люди тяжелым трудом зарабатывают свой хлеб...

Дети слушают сначала внимательно, потом понемногу начинают ерзать, пересмеиваться. Среди ребят выделяется один серьезный мальчик — уже восьмиклассник — сын заики-кондитера; он очень внимательно слушает пастора и изредка даже что-то записывает себе в тетрадь. Неожиданно он поднимает руку и выжидательно смотрит на пастора. Тот так увлекся проповедью, что с трудом может остановиться.

— Пожалуйста! — наконец говорит он и откидывается назад.

— Скажите, ваше преподобие, а что делали Адам и Ева в раю... тоже работали?

— Конечно, без работы и тогда нельзя было прожить.

— А что они делали? Ведь тогда еще не было ни лошади, ни плуга.

— Лошади не было, это верно, и плуга тоже не было, но они... во славу господа ухаживали за деревьями рая, подстригали кусты...

Сын заики-кондитера снова поднимает руку:

— Скажите, пожалуйста, ваше преподобие, а что... будет еще раз потоп на земле?

— Потопа больше не будет, милые мои дети. Залогом этому то, что бог ниспослал на землю радугу. Однако если господь снова будет разгневан людской неблагодарностью, то обрушит на землю огонь и воду, и тогда земля будет так опустошена, что на ней камня на камне не останется.

Дети испуганно смотрят на священника — кто знает, может быть, он говорит правду, и действительно так будет? Потоп — еще куда ни шло, особенно для тех, кто умеет плавать. Но что если забушует пламя? Тут уж спасения нет. Впрочем, сына кондитера история с огнем не занимает. Его интересуют только собственные записи.

— Скажите, пожалуйста, а как могло быть, что Иисус Христос, единственный сын бога, родился от девственницы? Что это означает?

— Я знаю, я знаю! — тянет кверху руку другой мальчик, года на два моложе сына кондитера.

— Ну, тогда объясни ему,— кивает головой священник.

— Рождение от девственницы означает, что... по ней не видно греха! — Мальчик краснеет, как перец; остальные ухмыляются, хихикают. Но есть и такие, которые вообще не понимают, о чем идет речь. Что значит виден или не виден грех... и вообще, что это за грех? Во всяком случае, возникает интерес к закону божию. Вот уже совсем маленький мальчик громко выкрикивает:

— Скажите, пожалуйста, а когда... когда опять наступят плохие времена?

— Вы об этом узнаете, когда увидите, что ваш духовный пастырь копает землю! — почти грубо отвечает его преподобие.

Дети уже не смеются, а только недоуменно посматривают на попа. Выходит, копать землю — это признак плохих времен? Стало быть, для их отцов и матерей мир всегда был и будет плохо устроен, потому что они с тех пор, как себя помнят, все время копаются в земле. Иначе сорняки заглушат кукурузу, картошку, горох, арбузы и дыни и все остальное, значит — нужно копаться. Выходит, для мужика — это благодать, а для попа — наказание божье!.. Эге, тут что-то не так!

В это же самое время другой священник, патер Карой Пинцеш, хоть и не обучает детей закону божьему, зато на собрании прихожан беседует со взрослыми о делах церкви. Суть разговора сводится к тому, что жизнь трудна, а доходов мало.

— Пока мы не оскудели, не в обиде будете и вы, святой отец,— благоговейно шепчет Анна Кокаш, что, однако, никак не успокаивает патера. Тем не менее он вскоре закрывает собрание.

— Я католик, им и останусь...— произносят прихожане только недавно затверженную формулу и расходятся. Один лишь Янош Васнаш-Надь слоняется в саду приходского дома, ожидая, пока выйдет духовный отец,— он хочет поговорить с ним наедине.

Наконец со стороны уборной, расположенной в конце коридора, появляется патер. Он оправляет свою одежду и еще издали спрашивает:

— Ну, что там еще, господин Васнаш-Надь?

Но, увидев Васнаш-Надя, патер опешил. На людях как-то незаметно, насколько изменился человек. Голова у Васнаш-Надя непомерно велика, лицо вытянутое, тонкая шея похожа на высохшего червяка; впрочем, все это еще полбеды, но он к тому же еще скрючен в три погибели. При ходьбе он тянет ногу, спина у него сгорблена, грудь впалая; словом, основательно надломила его жизнь.

— Я хочу сказать, что если и не получу полной стоимости своего участка, то будьте хоть вы, святой отец, так милосердны... ведь и мне нужно жить! — говорит Васнаш-Надь надтреснутым голосом, похожим на скрип ржавой проволоки.

— Ко мне с этим не обращайтесь, слышите!

— А куда же?

— К небу! — и патер возвращается в дом.

Васнаш-Надь смотрит ему вслед. Он бы закричал, но боится и только грозит кулаком.

Любопытно в воскресенье, в полуденные часы, заглянуть в каждый дом! Представить себе, будто у дома вовсе нет задней стены и можно видеть, кто чем занят... Во всяком случае, это было бы очень занятно. Здесь только еще возятся у плиты, а там уже обедают, тут все еще прибираются, а там дальше — уже моют посуду... Но и без этого ясно, что Пишта Мислаи сейчас обедает. И наверняка со своей невестой Бежи Кадар.

Мислаи — как и подобает в таких случаях — воплощенная любезность, но Кадар плохо настроена. Вчера она получила письмо от дорожного рабочего Дюрки Боди, который пишет, что хотел бы, но никак не может ее забыть. Он зарабатывает в месяц от тысячи до тысячи двухсот форинтов и просит ее приехать — они поженятся.

Кадар тяжело вздыхает. А как хорошо бы поменять их местами: пусть Дюрка будет учителем, а Пишта Мислаи — дорожным рабочим... Но этого никак не изменишь. Она задумчиво смотрит на Мислаи: он очень милый, интересный человек,— что верно, то верно.

— Послушай, Пишта! Откуда ты взял эту несуразицу — «Суровые времена», железнодорожное расписание и все прочее?

Мислаи, слегка ухмыльнувшись, объясняет:

— Когда я только начинал учительствовать, однажды я опоздал к поезду. Кто-то ввел меня в заблуждение — зато теперь меня никто не одурачит! Разозлившись, я тогда выучил наизусть железнодорожное расписание. Правда, оно имело обык-

новение иногда меняться, но теперь мне это уже безразлично. А с «Суровыми временами» было так. Сдавая экзамены на аттестат зрелости, я провалился по венгерской литературе как раз на «Суровых временах». Впоследствии на переэкзаменовке, когда я начал читать наизусть этот роман с начала до конца, преподаватели просто катались от смеха. А как я мог иначе объясниться тебе в любви! Ведь надо было с чего-то начать?

Кадар тоже смеется, но думает о том, что все-таки Дюрка Боди — славный парень. Что поделаешь,— продолжай и дальше мостить в Будапеште улицы, Дюрка!

2

Балинт Ходош, председатель сельского совета, созвал совещание, чтобы обсудить порядок празднования дня 4 Апреля.

Выяснилось, что все не так сложно, как он предполагал. Члены кооператива в полном составе примут участие в торжестве, к ним примкнет сельская организация ДИСа, уже достаточно оформившаяся. Утром оркестр сыграет торжественную зорю, потом будет демонстрация. После обеда до четырех часов отдых, затем футбольный матч, вечером — концерт художественной самодеятельности и, наконец, танцы до утра.

Но, конечно, все это нужно обсудить и зафиксировать на бумаге, чтобы не допустить ошибок. На совещании присутствовали от «Свободы» председатель и секретарь, от ДИСа — Эстер Мольнар вместе с руководителями сельской организации — Андришем Кеваго и Рожи Серню, от ДЕФОСа — Карой Чергете, от МНДС — Шари Фейер, медицинская сестра, а также четверо пропагандистов.

Выяснилось, что каждый делает все что может, лишь бы праздник удался на славу. А Карой Чергете усердствует больше всех, только бы его не трогали и оставили на своем маленьком наделе земли.

Когда стемнело, в здании правления кооператива загорелись все огни, впрочем, не одновременно, а так, что свет перекочевывал из одной комнаты в другую; это Шари Фейер зажигала лампы.

В каждой комнате — люди. Пока они от нечего делать курят сигареты, болтают: находится немало тем, о которых нужно поговорить.

В комнате Шари Фейер разместилась канцелярия ДИСа. А для Шари Фейер с мужем старый Сильва приспособил большой чулан в конце коридора.

В последнюю очередь Шари Фейер зажигает лампу в зале. Она осматривается по сторонам, все ли в порядке, затем выходит.

В пустом зале мертвая тишина. Но скоро здесь соберутся люди, и покой будет нарушен. Из отдаленных углов глухо, чуть слышно доносится какой-то шум. Внезапно распахивается дверь и

снова появляется Шари Фейер. Одну руку она держит на створке двери, другой подбирает юбку, словно ступает по грязи.

— Пожалуйста, заходите,— приглашает она.

Андраш Кеваго переступает порог, осматривается.

— Говорят, сегодня будет репетиция, я хотел бы посмотреть. Что, не состоится?

— Как не состоится? Сейчас все соберутся.

— Я пока вернусь к своим.

— Как хотите, можете и здесь подождать. Вот вам книга. Хотите, пока почитайте, дядюшка Кеваго! — И, сняв с полки книгу, Шари протягивает ее Кеваго.

Кеваго перелистывает книжку.

— Так ведь она же... не по-венгерски написана,— говорит он.

— Ничего, посмотрите хоть картинки,— успокаивает его Фейер и прикрывает дверь.

Кеваго то листает книгу, то смотрит на закрытую дверь. Покачивая головой и тихо посмеиваясь, он ставит книгу назад на полку. В этот момент в канцелярии звонит телефон. Слышится хлопанье двери, быстрые шаги, кто-то снимает трубку, потом отворяется дверь и показывается голова Шаркези.

— Эстер Мольнар здесь?

— Кажется, нет.

Шаркези возвращается к телефону. Эстер Мольнар вызывают из областного комитета ДИСа: туда приехал репортер от газеты «Сабад ифьюшаг». Нельзя ли им приехать в село?.. Что ж, пусть заезжают. Шаркези кладет трубку и снова возвращается в зал.

— Располагайтесь, дядюшка Кеваго. Чувствуйте себя здесь, как дома!

— Я так и чувствую себя, сынок. Но мне хотелось бы посмотреть, что здесь делает молодежь.

— Стоит посмотреть, дядюшка Кеваго. Они сейчас соберутся.

И действительно, в этот момент в дверях появляются юноши и девушки, все веселые, принарядившиеся. Вместе с ними приходит и Бердеш; подмышкой у него толстая книга.

— Вот, дочка, возвращаю книгу, пометь там,— говорит он Эсти, а сам косит глазом на Кеваго: куда бы он ни пошел, где бы ни был, в поле, здесь ли, все чаще и чаще натыкается на Кеваго...

Бердешу, как и всякий раз при встрече, начинает казаться, что все лебезят перед Кеваго, будто тот — пуп земли, а он, Бердеш, по сравнению с ним все больше и больше стушевывается. У него предчувствие, что в один прекрасный день Кеваго будет избран председателем, а его понизят до бригадира, а то и еще ниже.

Сколько он сделал для кооператива, в то время как Кеваго и пальцем о палец не ударил, а если что и делал, то только против кооператива, и сейчас пришел на готовенькое! И перед освобождением Кеваго не был гол, как сокол, подобно ему, Бердешу. Еще недавно Кеваго был сам себе хозяин, в то время как Бердешем помыкали, заставляли его в назначенный час подавать экипаж

к барской усадьбе; только Бердеш приходил домой, как снова надо было возвращаться, потом хорошенько присмотреть на конюшне, чтобы конюхи распрягли лошадей и как следует их почистили. Теперь, вспоминая о прошлом, он понимает, что по-настоящему плохо было не ему, а конюхам: они были слугами у слуги. И вовсе не потому, что господа хотели выделить его как выездного кучера, а потому, что боялись, как бы их кучер сам не пропитался тяжелым духом конюшни...

Выходит, что его примирение с Кеваго — только одна видимость. Он ревнует Кеваго, потому что его успехи только во вред ему, Бердешу, и во всем этом у него только и остается в утешение народная присказка: «Новое сито на гвоздь вешай». Ну, да ничего, они еще узнают, что собой представляет этот Андраш Кеваго!

В довершение ко всему его приемная дочь Эстер Мольнар любит не его сына, а сына Кеваго... И Бердеш, может быть, впервые в своей жизни чувствует сейчас, что у него уходит почва из-под ног; он даже не знает, нужен ли он теперь кооперативу «Свобода» или нет? На какое-то мгновение Бердеш пытается представить «Свободу» без себя. Кеваго — председатель... на вновь созданной рисовой плантации убирают рис... ловят рыбу...

— Эй куда вы? Постойте! — прикрикивает Мислаи на ворвавшуюся в комнату молодежь; но тут же с заботливостью наседки рассаживает всех по местам. Да, нелегко сплотить воедино дисовцев села и кооператива. Опять кто в лес, кто по дрова...

— Пора бы им свыкнуться друг с другом... Ну как, будем начинать или еще кого-нибудь ждешь? — обращается он к Эсти.

Эсти беседует с Кадар и делает вид, будто не знает, кто же отсутствует, но к ее облегчению как раз в эту минуту входит Андриш. Теперь Эсти озабоченно смотрит на дверь, ожидая Лаци, но того нет. С некоторых пор, с того знаменательного случая у шкафа, Лаци пристрастился к вину, причем выпивать он повадился с сыновьями Надя. Эсти подходит к Андришу:

— Сервус! Ты не видел Лаци?

— Видел, он в корчме.

— О господи, Андриш! Это может плохо кончиться.

— Но ведь я здесь, не бойся.

— Пора начинать, ребята! — командует Мислаи и, пятясь, отходит от сцены.

Появляются музыканты во главе с цыганом-скрипачом Пицулой; они входят гуськом на цыпочках, словно боятся оступиться в грязь или замочить росой ноги; затем забиваются в угол.

— Наконец-то! — успокаивается Мислаи.— Итак... тот танец, что мы разучивали, можно исполнять вот под этот мотив.— И он насвистывает цыганам старую мелодию, которую Пицула на лету подхватывает и сразу же начинает наигрывать. Затем Мислаи объясняет молодежи:

— Этому танцу я научился еще будучи гимназистом в Салонте; его и называли «Салонтайская зазывная». Эсти, танцуй

так, как если бы ты действительно кого-то завлекала, иначе танец не получится настоящим салонтайским. А это будет жалко.

— Ладно, дядюшка Мислаи, только сперва покажите вы.

Молодежь смеется, Мислаи тоже.

— Ну что ж, попробую... Смотрите!

Он всходит на сцену, подзывает к себе Эсти, бросает взгляд на цыган, и те ударяют по струнам. Мислаи пускается в пляс, однако вскоре хватается за колени и, прихрамывая, отходит.

— Нет в ногах былой силы! — оправдывается он.

Но вот появляется Лаци вместе с двумя братьями Надь. Они останавливаются у двери и молча смотрят. Мислаи мельком оглядывает их, потом обращается к остальным:

— Не знает ли кто-нибудь из вас этого танца? Знаменитого салонтайского танца?

— Я знаю,— говорит Андриш.

— Ну тогда... выходи на сцену, посмотрим, что у тебя получится. Начали?

Пицула снова ударяет по струнам и, играя, притопывает в такт ногой, разворачивая носок то вправо, то влево, как это делает Шербалог, когда правит бритву. Андриш начинает танцевать, но в этот момент Лаци злым срывающимся голосом кричит:

— Андриш! Только и слышно: «Андриш!» А кто такой этот Андриш?

Цыгане продолжают играть, но Андриш остановился и собирается уже сойти со сцены; он не сводит взгляда с троих парней, но Эсти берет его за руку.

— Андриш! Продолжай, Андриш!

А Лаци раз начал, уже не может остановиться:

— И потом, так не танцуют!

— Если умеешь лучше, покажи,— предлагает Андриш.

Эсти нервничает: она ежеминутно прижимает руку к сердцу. Подойдя к авансцене, она смотрит вниз в зал, будто заглядывает в пучину. Цыгане, чувствуя, что здесь что-то назревает, играют лихорадочно и нервно, как бы желая этим отвести в сторону надвигающуюся грозу. Ведь бывало и так, что своей игрой они просто-напросто не давали ей разразиться.

— Станцуем, Лаци! — говорит парню Эсти таким тоном, словно думает: если уж и через это надо пройти, пусть все произойдет как можно скорее.

Лаци поднимается на сцену и порывисто обнимает девушку за талию. Но движения его дикие, грубые, и это возмущает Эсти, в ней снова вспыхивает давнее и хорошо знакомое чувство неприязни, которое она испытывала ко всем назойливым мужчинам; маленькие упругие мускулы ее напрягаются, и Лаци понимает, что перед ним другая, гневная, Эсти, которую ему пришлось уже однажды видеть. Ему теперь становится стыдно не только перед самим собой, но и перед всеми окружающими, а отступать уже поздно. Однако Эсти без лишних слов высвобождается из рук

Лаци и отпускает ему такую пощечину, что у него на мгновение темнеет в глазах— исчезли девушка, лампа, словом, все. Он открывает глаза; Эсти невозмутимо смотрит на него, будто эта пощечина — не ее рук дело.

Но все вокруг затаили дыхание; так неожиданно все это случилось. Жужика Шаркези бросается к Лаци:

— Так тебе и надо! Чего ты водишь дружбу с кулацкими сынками?

— Надо обсудить его поведение! Наложить на него взыскание! — хором гудит молодежь. Но только — из кооператива. Остальные еще не привыкли к таким порядкам. То, что девушка отпустила пощечину парню,— это в порядке вещей. Но чтобы парня за это в придачу еще привлекали к ответу? Такого еще не бывало.

Мысли, слова, действия — все решает одно мгновение. Мислаи кажется, что только он может навести порядок.

— И правда, Лаци, ты сплоховал. Зачем лезешь, если не умеешь?

— Почему не умею? Я знаю, что делаю... Этот танец танцуют именно так...— пускается в объяснения Лаци, но его прерывают возгласы:

— Прочь! Нечего сюда ходить кулацким сынкам! — хором кричат юноши и девушки из «Свободы».

— Если они кулаки, то и Андриш Кеваго кулак! — огрызается Лаци, хотя бы затем, чтобы присутствующие забыли о полученной им пощечине.

На шум из конторы приходят кооператоры как раз в тот момент, когда Жужика Шаркези выкрикивает:

— Андриш не кулак!

— Нет, кулак, кулак! — раздаются голоса.

Бердеш чувствует, что он должен вмешаться.

— Позвольте уж нам разобраться, кто кулак, а кто нет.

Однако Андраша Кеваго такой ответ не устраивает:

— Нет, речь не об этом, Лайош Бердеш! Твой сын ждет другого ответа. Так что отвечай по совести!

— Я отвечаю так, как считаю нужным.

— Оно верно, если ты говоришь как Лайош Бердеш, но если как председатель кооператива, то не совсем так.

— Чего ты еще хочешь? Мы приняли тебя и твоего сына, и дело с концом.

— Дядюшка Лайош! — предостерегающе останавливает Бердеша Шаркези.

Однако теперь уже не может утихомириться и Кеваго: он высказывает все, что у него на душе.

— Приняли. Но если бы зависело от тебя, не приняли бы. Ты и сейчас хочешь, чтобы я вышел из кооператива. Но я этого не сделаю. Я не уйду отсюда, Лайош Бердеш. Пойми это и постарайся хорошенько запомнить!

— Пусть убираются кулаки! Вон ку-ла-ков! — скандируя, кричит молодежь.

— Мы тоже имеем право быть здесь! — восклицает Пишта Надь и, готовясь к нападению, выставляет вперед правое плечо.

Андриш обращается к Эсти:

— Что мне делать? Они ведь тоже подали заявление в ДИС.

— Сам должен знать. Ты секретарь.

— Ну, если так, тогда... Прошу вас удалиться. А завтра мы на заседании бюро обсудим этот вопрос.

— А мы отсюда не уйдем!

— Уходите подобру-поздорову!

— Вон кулаков! Вон кулаков! — все громче и громче гудит зал.

Андриш мгновение колеблется и стоит, почесывая ладонь, но затем решительно направляется к двери, ведущей в коридор, и открывает ее:

— Вон! — восклицает он и выталкивает Пишту Надя.

Младший брат Пишты, Бела, ладно скроенный парень, поворачивается к Андришу. Лаци спрыгивает со сцены и бежит к ним. Сестра Андриша, Мария, вскрикнув, кидается вперед:

— Лаци!..

Лаци оторопел. Никогда еще это восклицание так на него не действовало, может быть потому, что сейчас в его ушах звенит не только голос Марии, но и выпитое вино.

— Оставь!..— срывающимся голосом говорит он и собирается уйти, но в этот момент неожиданно наступает развязка.

Сын Антала Речеге-Киша, который силой пошел в отца — недаром тот запродал свой скелет дебреценской клинике,— хватает прыгнувшего на Андриша Белу и так толкает его к Лаци, что сбивает того с ног. Потом, широко расставив ноги, становится у двери, ведущей на террасу, мгновение смотрит по сторонам и уходит.

Лаци не знает, что предпринять. Он садится на скамью у стены и закрывает лицо руками так, что нельзя сказать, плачет он или просто расстроен.

— Продолжим, ребята!

— Продолжим! — восклицает Мислаи и хлопает в ладоши.— Эсти! На сцену! Андриш! Давай, Андриш!

Пицула ударяет по струнам и напевает:

В Салонтайской глуши
Лишь тростник да камыши,
Но уж парни здесь здоровые —
Смуглолицые, чернобровые.

У Эсти на глазах слезы, но она в паре с Андрищем отплясывает как может. До этого они разучивали самые трудные па, теперь остались более легкие.

— Не годится, Эстер! — останавливает ее Мислаи.— Ты двигаешься так, словно тебе все опостылело. Выше голову! Гордели-

вее! Не бойся сделать лишнее движение! Мы ведь не к похоронам готовимся, а к празднику 4 Апреля!

Эстер все это понимает. Но какая горькая и неблагодарная доля изображать веселье, когда у тебя на сердце кошки скребут. Однако близость Андриша и бурный ритм танца вскоре рассеивают ее грусть. Они репетируют танец несколько раз, теперь у них уже получается хорошо.

В это время на улице слышится гудок автомашины, затормозившей у самого дома. Это приехали корреспондент и фоторепортер, с которыми беседовал Шаркези. Мислаи с досадой смотрит на дверь:

— Ну, кто там еще?

— Репортеры из Пешта,— представляет прибывших Шаркези и сам уходит, оставляя гостей на попечение молодежи.

— Милости прошу...— Мислаи широким жестом руки приветствует молодых людей.

Фоторепортер сразу приступает к съемке; вспышки магния, озаряя зал, словно салютуют собравшимся. Фотограф знает, что этот снимок все равно нельзя будет использовать, но он не в силах устоять перед искушением: так ему хочется снять эту красивую и жизнерадостную молодежь.

Тем временем корреспондент выражает желание побеседовать с Эстер Мольнар.

— Это можно. Эстер, иди сюда! — подзывает ее Мислаи.

Эстер с тревогой смотрит на Андриша, потом подходит.

— Сабадшаг!

— Сабадшаг! Разрешите мне... Ах, простите... Месарош.— И журналист протягивает ей руку.

— Эстер Мольнар.

— Разрешите задать вам несколько вопросов, интересующих «Сабад ифьюшаг». Расскажите, пожалуйста, какими методами вы собираетесь вовлекать новых членов в вашу организацию?

— В ДИС или «Свободу»?

— Может быть, вы скажете и о союзе молодежи и о кооперативе?

— Но у меня нет каких-то особых методов.

— И все-таки!

— Легко вербовать, если люди сами хотят вступить.

— Ну, а все-таки. Нужно ведь убедить, доказать...— При последних словах он подает знак рукой фоторепортеру,—дескать, снимайте! Тот устанавливает аппарат, снова нацеливается в потолок, затем следует ослепительная вспышка.

— Я не могу рассказать ничего интересного, разве только вот что... Тот, кто агитирует, должен суметь найти подход к сердцу каждого. Ну и, пожалуй, еще вот что: надо правдиво обрисовать наше прекрасное будущее... и...

Корреспондент лихорадочно записывает.

— И?..

— И... больше ничего.

— Очень хорошо. Отлично.

Эсти удивленно смотрит на бумагу и карандаш в его руке. Ей кажется, будто карандаш водит руку, а не наоборот. Фотограф заходит с противоположной стороны, и снова — выстрел магния в потолок.

— Я могу идти, товарищ? — спрашивает Эстер.

— С моей стороны...

Эсти возвращается на сцену. Корреспондент прощается с Мислаи, делает широкий жест в сторону сцены, фоторепортер поспешно отходит назад, словно сцена — картина, и он ищет место, откуда на нее лучше всего падает свет.

Гости уходят.

Какое это событие! Впервые сфотографировали бригаду участников художественной самодеятельности «Свободы» и дисовцев села.

— Не нравится мне эта шумиха с фотографированием,— недовольно ворчит Андриш.

— Но я тут не при чем, Андриш. Я что ли этого добивалась? Мы потом поговорим, а теперь не дуйся. Давай лучше споем, сейчас будет репетировать хор.— И быстро, чтобы никто не видел, пожимает ему руку.

В это мгновение Андриш чувствует, как на сердце у него становится тепло и радостно. Если бы кто-нибудь сказал ему раньше, что он будет настолько влюблен в девушку, он рассмеялся бы этому человеку в лицо... И вот, пожалуйста! По одному кивку Эстер он покорно следует за ней.

Но это так приятно, что нельзя даже описать!

3

Чем больше старался Бердеш вернуть свой былой авторитет, тем получалось хуже, ибо положение дел все усложнялось.

Еще осенью издохла корова; ветеринар установил, что она проглотила вместе с кормом старый гвоздь,— это случается довольно часто. Большой беды в этом не было — корова, как и вообще весь скот,— была застрахована, но госстрах отказался выплатить положенную сумму около трех тысяч форинтов. Йошка Пап уже неоднократно напоминал об этом госстраху, но сначала ему ответили, что заявление еще не прибыло. В другой раз сказали: «После проверки документации вам сообщат решение». А потом вообще перестали отвечать.

Йошка Пап и Сито просмотрели бухгалтерские книги, переписку, нашли копию заявления, к счастью для Кадар, потому что Бердеш вот-вот уже готов был взвалить на нее ответственность за случившееся.

— Чего нам мудрить? Пошлем заявление сейчас, будто скотина околела только теперь,— предложила Кадар.

— Это, пожалуй, неплохо,— согласился Бердеш.

Но не тут-то было: госстрах направил ревизора, так как дело показалось подозрительным. Пусть, мол, проверит на месте, в кооперативе. Ревизор приехал. Но все объяснения были напрасны. Этого человека не удалось обвести вокруг пальца. В конце концов пришлось признаться, что корова пала не теперь, а осенью.

— Вот это другое дело. Но вы опоздали с подачей заявления. Значит, три тысячи форинтов уплыли.

Такой убыток кооперативу не страшен — тремя тысячами больше или меньше не имеет значения, но... Среди членов кооператива распространился кем-то раздуваемый и обрастающий, как ком снега, слух, будто в правлении обнаружены серьезные растраты.

А ревизор знай себе роется в бухгалтерских книгах; копия заявления обнаружена, но в книге отправки почты оно не зарегистрировано.

— Нет ли случайно этого заявления где-нибудь у вас, товарищ председатель? — как-то спросил ревизор у Бердеша.

Несказанно пораженный Бердеш вывернул все из письменного стола, бумаг там было множество, но заявления не оказалось. Тогда он неожиданно схватился за карман, извлек оттуда целую пачку бумаг и стал их разбирать.

— Вы подумайте, здесь! Чорт бы его побрал! — И он швырнул на стол заявление.

Ревизор с удивлением наклонился над столом — так вот почему кооператив не получил трех тысяч форинтов! Бердешу дали эту бумагу на подпись, каким-то образом она попала к нему в карман, и вот он с осени таскает ее с собой.

Ревизор есть ревизор, так же как цифра есть цифра. Они не знают пощады; оба они безжалостны, как погода: то холодно, то жарко,— сколько бы вы ни взывали к небу, ни возносили молитвы, ни били в колокола. И правила всегда остаются правилами: поскольку убыток возник по халатности председателя, стало быть, ему и платить три тысячи форинтов.

Правда, после такого решения даже часть членов кооператива пришла в замешательство. В конце концов, Кульчар вызволил Бердеша из беды. Будучи в Пеште по делам, он сумел убедить сотрудника госстраха, что по сути дела ничего незаконного не произошло. Просто оплошность. Словом, кооператив получил, наконец, три тысячи форинтов.

— Нужно что-то делать со стариком Бердешем, иначе он безнадежно отстанет...— сказал Кульчар Шаркези.

— А что можно сделать? Он ведь виноват только частично, потому что Кадар не справляется с обязанностями счетовода. Когда есть время, ей помогает Шари Фейер. В общем, вместо одного счетовода нам нужно завести бухгалтерию. Старика неплохо бы послать на курсы переподготовки председателей кооперативов. Подучившись, он наверняка будет лучше работать.

— Хорошо. Значит, договорились: вы берете еще одного счетовода в помощь Кадар, а Бердеша мы направим на курсы.

Однако эти вопросы следует обсудить с правлением. И вечером Кульчар уже снова был в селе.

— Чтоб я на старости лет поехал на курсы! — возмутился Бердеш.

— Человеку столько лет, товарищ Бердеш, сколько он сам за собой признает. А вам еще стареть рано,— утешает его Кульчар.

— Я бы даже с удовольствием поехал, но разве я могу теперь, когда на нас возлагается осуществление большого плана?..— хитрит Бердеш.

— Но ведь мы остаемся, дядюшка Бердеш. Не бойтесь, к вашему возвращению мы так шагнем вперед, что вы только диву дадитесь,— говорит Шаркези.

Бердеш молчит и думает: а что если во время его отсутствия председателем поставят Кеваго?..

— Когда мне выезжать?

— Этого мы и сами точно не знаем; возможно даже, что на курсах до осени не будет места.

— Ради нашей «Свободы» я все сделаю.

— Мы в этом не сомневаемся, дядюшка Бердеш. Ну, а теперь давайте подумаем, кого бы нам командировать на курсы бухгалтеров.

Конечно, послать можно многих, найдется достаточно подходящих кандидатур из молодежи. Но направить можно только одного.

— Я предлагаю, товарищи... послать дочь дядюшки Кеваго — Марию,— говорит Шаркези и осматривается по сторонам. Здесь собрались большей частью члены партии, и то, что он предлагает именно Марию, а не другую девушку или юношу, к примеру, хотя бы свою Жужику,— в этом, очевидно, своя политика. Нужно крепче привязать старого Кеваго к кооперативу, чтобы сердцем он считал себя принадлежащим «Свободе». И кроме того, следует сгладить неприятное впечатление от последней выходки Бердеша против Кеваго.

— Правильно. Пусть едет дочь Кеваго,— соглашаются все.

Один вопрос остается еще не выясненным до конца. Теперь уже не только молодежь, но и старики начинают догадываться о взаимоотношениях Эстер Мольнар и Андриша Кеваго.

— Эстер, где ты?

— Я здесь! — встрепенувшись, отвечает Эстер Мольнар и поднимается с места.

— Сиди, сиди! Собираешься ли ты выходить замуж за Андриша Кеваго? — в упор задает ей вопрос Шаркези.

Эстер краснеет до кончиков ушей и в отчаянии смотрит на Кульчара, но тот в это время что-то записывает.

— Я не совсем вас понимаю, товарищ Шаркези...

— Отвечай прямо, Эстер!

— Да, но ведь моя личная жизнь... то есть...

Кульчар прекращает писать и обращается к Эстер:

— Эстер, ты ведь умная девушка. Может быть, ты стыдишься того, кого выбрало твое сердце?

— Я хочу выйти замуж за Андриша,— чуть слышно выговаривает девушка, с удивлением отмечая про себя, что под ней не провалился пол. Она даже видит, как расплываются в улыбке лица.

— Мы должны знать и это, Эстер. Потому что речь идет о репутации нашего кооператива, а кроме того, Андриш теперь тоже наш. Ты все равно останешься для нас самой дорогой, Эсти. Подойди сюда! — И Кульчар протягивает ей руку.

Эстер подходит к столу, радостно улыбается Кульчару и мягко кладет руку на его ладонь. Люди любят трогательные сцены; лица озаряются улыбкой, но потом снова становятся серьезными.

Во всей округе говорят, что, очевидно, осенью Инанд станет социалистическим селом. Этот вопрос у каждого на языке; наконец Балаж Фюрес не выдерживает и спрашивает Кульчара, насколько верны эти слухи.

— Вы уже рассказывали о наших планах? — вместо ответа Кульчар задает вопрос Шаркези.

— Нет, никому! Но ведь народ сам к этому стремится, а кроме того, не исключено, что кто-нибудь из членов наших семей мог проговориться. Мне известно, что в селе об этом много говорят.

— А пожалуй, в этом нет ничего плохого...— и Кульчар на минуту задумывается.— По крайней мере, людям есть над чем поразмыслить, а это уже кое-что!..— Затем громко продолжает: — Действительно, товарищи, мы этот вопрос предварительно обсуждали. Уездный комитет партии придает большое значение единому плану. Прежде чем приступать к его выполнению, надо еще раз серьезно все продумать. Этот план следует обсудить с молодежью. Молодежь — вот основная сила в селе. Не так ли, Эстер?

— Пожалуй, да... Я тоже знаю, что на селе говорят об этом плане. Многие думали, что если Андраш Кеваго вступит в кооператив, за ним сразу потянется все село. Но вышло не так. Единоличники стали искать себе другого вожака; их на это подбивал кузнец... Словом, предполагали одно, а получилось другое...

— Стало быть, у единоличников новый вожак?

— Да. Ласло Рожа. Он всегда пользовался популярностью среди селян.

— Вы знаете его? — спрашивает Кульчар у Шаркези.

— Ну еще бы! Ему шестьдесят шесть лет. Двенадцатилетним пареньком он вместе со своим младшим братишкой выпускал в школе газету. Они назначили за нее цену в один крайцар *, но во всей школе не оказалось ни одного крайцара, и газету приходилось продавать то за пуговицу, то за жареную тыкву, то за пучок

щавеля. Так ведь, дядюшка Лайош? — обращается он за подтверждением к Кошут-Кишу.

— Это еще что! Когда Ласло Рожа отбывал воинскую службу, у него был дружок, один неудавшийся попик,— так вот они задумали основать новую религию, но вместо этого в девятнадцатом году он дважды перечитал все поэмы Петефи и стал одним из руководителей областного совета... Жена его всегда любила кур; у нее и сейчас двенадцать наседок. В прошлом году она выходила много цыплят. Государственные поставки они выполнили на двести процентов; еще в 1948 году Ласло Рожа стал образцовым хозяином, потом...

— Да погодите, дядюшка Лайош, дайте мне хоть слово вымолвить! — шутливо прерывает его Кульчар.— Как же могло случиться, что я сейчас впервые слышу об этом человеке?

— И, тем не менее, все это так.

— А вы что на это скажете, дядюшка Бердеш?

— Ничего. А какой толк в том, что Ласло выполняет поставки на двести процентов, если он вместо того, чтобы пойти нашим путем, погнался за наживой?

— Сколько у него земли?

— Да порядочно...

— Тринадцать хольдов,— добавляет Эстер.

— А ты откуда знаешь?

— Я часто с ним разговариваю.

— Товарищ Пап, а ты его знаешь?

— Еще бы. Все так и есть, как сейчас говорили. Но когда он стал образцовым хозяином, конечно...— И Пап пожимает плечами. Он сам немало колебался, прежде чем вступил в компартию. Понятно, что и Ласло Роже нелегко решиться вступить в кооператив.

Кульчар резким движением поднимается с места и начинает ходить взад и вперед по комнате, хотя это оказывается нелегким делом: он натыкается на колени то одного, то другого.

— Товарищи, а нехорошо это у нас получается. В двенадцать лет он выпускал газету! Дважды перечитал Шандора Петефи! Выполняет поставки на двести процентов! Так почему же, чорт возьми, я узнаю об этом только сейчас?

Шаркези решает, что ему нужно спасать честь коллектива.

— У меня такое ощущение, будто он всегда уклонялся от открытых выступлений.

— Тринадцать хольдов земли, двести процентов выполнения поставок!.. А в каких он отношениях с Кеваго, дружат они?

— Он — крестный Андриша,— тихо говорит Эстер.

— Ну вот, пожалуйста! Еще к тому же и крестный... А его жена?

— Ну, она, конечно, тоже крестная, а кроме того, член МНДС.

— Никогда нельзя винить народ; обвинять за неудачи, за топтание на месте нужно тех, кто им руководит, кто его организует,— с грустью говорит Кульчар, как бы обращаясь к самому себе,

а затем, повысив голос, продолжает: — Если этот человек будет в кооперативе, тогда, товарищи, село станет социалистическим гораздо раньше. Не так ли, товарищ Шаркези?

Шаркези смотрит сначала на Кульчара, потом на Эстер.

— Возьмись за это, Эстер,— говорит он.

— Возьмусь. Ведь и я... вроде как ему немного крестница...

И тут сразу выясняется, что о Ласло Роже многое известно: его сын — начальник отдела в одном из министерств в Будапеште, дочка служит в Радиокомитете, у Рожи одиннадцать внучат и два правнука...— словом, каждый что-нибудь да сообщает.

Кульчара охватывает радостное чувство. Милые, хорошие, дорогие люди, товарищи; они, хоть и спотыкаются, но идут вперед, и нет таких препятствий, которых они не смогли бы преодолеть. Но вдруг его словно окатили холодной водой: а он-то, он-то хорош! Только сейчас захотел узнать подробности о селе, о его людях, почему он об этом не подумал раньше?

Глава пятая

1

Отношения Андраша Кеваго и Ласло Рожи, как и всегда между кумовьями, носят несколько внешний, так сказать парадный, характер. Это значит, что в дни именин, будь то именины мужчин или их жен, кумовья всегда бывают в гостях друг у друга. Раз или два в году, обычно на второй день рождества и на пасху, они навещают один другого; потом снова не встречаются, и кто знает, когда еще увидятся. Их жены, собираясь в гости, надевают праздничные платья, памятуя, кто у кого был в прошлый раз: не надо даже договариваться — ясно, чья теперь очередь нанести визит. Это хорошо известно не только тем, кто направляется в гости, но и тем, кто ждет гостей.

— На второй день пасхи к нам придет кум Ласло Рожа с женой,— говорит накануне Кеваго, точно так же, как и Ласло Рожа напоминает своей жене, а вернее, самому себе.

— Андраш Кеваго с женой придут на твои именины. Так что, готовься.

Случается и так, что зимой и те и другие зайдут по разу воздать честь куму с кумой, погостевать у них — потому что это действительно честь, и означает она нечто большее, чем простой визит. Есть в этом нечто торжественное, даже обрядное... О политике, как правило, они не беседуют.

Однако истинные взаимоотношения между кумовьями не таковы. Они либо начинаются с дружбы и товарищества детских лет, либо устанавливаются случайно за чаркой вина где-нибудь на крестинах.

Кеваго все время, да и по сей день оставался человеком левых

убеждений, а Ласло Рожа за время между двумя революциями только и знал — обогащаться. Правда, большого состояния он не нажил, зато всегда прилично одевал свою большую семью и дал хорошее воспитание детям. Все это отнюдь не мешало добрым отношениям между обеими семьями. Вот и теперь, когда Ласло Рожа услышал, что Кеваго вступил в кооператив, он лишь покачал головой — только и всего.

— Эге, куманек, Андраш Кеваго! Ох, уж этот Андраш Кеваго!

Дважды произнес он его имя; это свидетельствовало, что оно вызвало в нем много дум. А главное то, что Кеваго не сказал ему о своем решении.

В тот же день на закате, когда на околице села уже показалось возвращающееся домой стадо, Ласло Рожа сидел на скамье у калитки, посматривал по сторонам, изредка бросая взгляд на заходящее солнце, проглядывавшее сквозь густые ветки акаций, и раздумывал о бренности бытия.

Хозяйка соседнего двора тоже открыла свою калитку, выглянула наружу, потом прикрыла за собою дверцу, так что из-за ограды виднелся только ее раздувавшийся по ветру платок. В это время жена Рожи загоняла в курятник цыплят и наседок самых различных пород — для домашней птицы у Ласло отделена часть двора. Этот так хорошо знакомый ему вечерний шум вызвал улыбку на лице Рожи; он с теплотой подумал о своей жене — мысли эти всегда приносили ему настоящее, большое успокоение. Ведь она с утра до поздней ночи занимается хозяйством. У них ровнешенько тринадцать хольдов земли — они вместе их заработали, но жена его не выходила в поле, наверное, уже лет десять. Хозяин работает в поле, а женщина, занимаясь дома птицей и другой живностью, немало приумножает доходы семьи. Сейчас идет только последняя неделя марта, а к этому времени жена уже сдала по поставкам годовую норму яиц! (В этом году государство впервые начало принимать у крестьян в счет поставок яйца.) Сколько бы она могла еще сдать до декабря? Вернее, сколько она еще сдаст? Другой вопрос — охотно ли она это делает и хватит ли яиц для хозяйства?

Так и сидит Ласло Рожа у калитки и раздумывает. Весь день он пробыл сегодня в поле, устал, а жена — она ему ровесница,— наверное, не устанет, даже если будет работать и два дня подряд.

Первые свиньи из стада уже показались в начале улицы. Ласло Рожа подумал о том, что пора, наверное, встать. Но в этот момент у изгиба дороги перед домом Чера выросли юноша и девушка. Рожа подождал, чтобы посмотреть, кто это.

— Кого я вижу! Крестник Андриш Кеваго и Эстер Мольнар! (Старики любуются красивыми молодыми девушками, словно перед ними только что распустившиеся розы.)

Но вот молодая пара поравнялась с Рожей, и Андриш здоровается.

— Добрый вечер, крестный! Посиживаете?

— Добрый вечер, крестник! Да вот присел. Жду стадо. А вы где были? Посидите-ка со мной малость.— Он подвигается в знак того, что действительно этого хочет, а не предлагает им место просто из вежливости.

Андриш, взглянув на Эстер, садится с краю. Эсти усаживается с другой стороны, так что старик оказывается между ними.

— Дни становятся длиннее, крестный; работаем больше, вот и устаем.

— А я ничего, еще держусь и неплохо себя чувствую. Не жалуюсь.

Немного помолчав, Андриш начинает разговор.

— А знаете, крестный, зачем мы пришли?

— Буду знать, если скажете.

— Эсти Мольнар хочет с вами кое о чем поговорить. Вот я и решил ее проводить.

Эстер приготовилась было начать разговор, но в этот момент к калитке устремляются две огромные свиньи, густо облепленные комьями засохшей грязи; покосившись на людей, они тотчас же одна за другой исчезают во дворе.

— Уже вернулись...— несколько разочарованно говорит Андриш.— Не во-время они...

— Ничего, там крестная. Между делом она шутя и со свиньями управится!

Теперь Эстер волей-неволей приходится говорить:

— Мы просим вас, дядюшка Рожа, о том, чтобы вы... дядюшка Рожа... словом... вступайте к нам в кооператив,— только и сказала Эстер и теперь выжидательно поглядывает на хозяина.

Старик, не моргнув глазом, вытягивает вперед правую ногу, потом снова подбирает ее.

— Был, дочка, у меня и товарищ Шаркези. Я объяснил ему, как смотрю на этот мир. Я уже человек пожилой, живу вдвоем со старухой, дети мои выросли; я их всех до одного воспитал для служения социализму. И все они честно работают. А мне, дочка, немного уже осталось жить на этом свете.

— И то, что осталось, куда лучше прожить в новой жизни, которую мы сейчас строим, дядюшка Рожа.

Ласло Рожа молчит — перед ним проходит прожитая жизнь. Нет, он никогда не бедствовал; правда, и работал до изнеможения; сколько раз первым сбивал с травы утреннюю росу! Заботливо воспитывал детей, а для самого не оставалось ничего другого, как до конца израсходовать на поле свою уже идущую к закату жизнь, а в свободное время посиживать у калитки. Чем сильнее захлестывают его воспоминания, тем больше сужается вокруг него мир; время, события проносятся мимо. И он начинает понимать: жизнь чего-то стоит только до тех пор, пока человек чувствует, что он необходим обществу.

— Много народу нужно для того, чтобы осуществить ваши планы?

— Много. Но что толку, если к нам осенью повалит все село, когда у нас не хватает рабочей силы сейчас?

— Ты права, дочка,— и немного помолчав, Рожа неспеша говорит: — Я... могу прийти к вам только в конце лета, когда уберу все свое, рассчитаюсь по поставкам с государством, исполню свой долг по отношению к селу... Вот тогда я и приду к вам, даю в том слово.

Эсти хочется тут же, немедленно броситься старику на шею, но нельзя этого делать на виду у всей улицы. И так уже, хоронясь за калиткой, подглядывает сосед, еще дальше — молодой Топа остановился как раз посредине улицы и делает вид, будто и не смотрит сюда... Поэтому вместо объятий Эсти, чуть не плача от радости, говорит:

— Спасибо, дядюшка Рожа... А можем мы об этом сказать на селе?

— Если вам этого хочется, говорите, пожалуйста. По крайней мере, никто не будет ко мне придираться. Пусть я не буду помехой ни на чьем пути.— И все же ему немного грустно. Нельзя сказать, что он тщеславен, но в течение стольких лет считаться образцовым хозяином, получать за это из года в год почетные грамоты — это немалое дело!

— А еще... если мы попросим в чем-нибудь вашего совета? Вы ведь не откажете нам, правда?

— Охотно помогу, дочка, охотно. Когда бы вы ни пришли, я всегда с удовольствием поделюсь с вами всем, что знаю.

— Ну и... поможете нам убеждать людей, правда?

Старик несколько мгновений молчит: он взвешивает расстановку сил в селе, оценивает настроение крестьян.

— Тогда, к концу лета, я ведь и так буду с вами. Но если вам понадобится моя помощь раньше, всегда приходите.— Потом, как бы испугавшись, что, пожалуй, много наобещал, вдруг торопливо добавляет: — А сейчас идите, проведайте крестную, потому что... ведь вы поженитесь, не так ли? — Рожа открывает калитку и веселыми, добрыми глазами смотрит на молодых людей, когда они друг за дружкой проходят мимо него во двор.

2

В былые времена у богатых хозяев вошло в обычай осенью без долгих разговоров закалывать жирную свинью, а позже, ближе к рождеству — уже сразу двух, потом к весне — опять одну, если не двух. Весь вопрос в том, насколько зажиточным считался хозяин и сколько у него было земли. Сало хранилось в кладовой, свисая с потолка и балок, подобно каким-то большим закопченным и пропахшим дымом летучим мышам. Любой посторонний, случайно зайдя туда в предвечерние сумерки, мог испугаться!

Нельзя сказать, чтобы Барна Надь принадлежал к самым крупным хозяевам, однако и он заколол в этом году трех свиней, хотя семья у него и небольшая: жена, два сына и старуха мать. Надо сказать, что теперь не так-то просто закалывать свиней: за первую свинью нужно сдавать государству по твердой цене килограмм жира, за вторую уже четыре, а за третью — шесть килограммов... О четвертой даже и подумать страшно. Все же свинью зарезать нужно: ребята очень любят сало. Да и оно в большой цене, в особенности к концу лета. Но как заколоть, чтобы об этом не узнали? Барна Надь нашел выход: утром пригоршней кукурузы заманил свинью в хлев, взмахнул топором и так ударил ее по башке, что она, не пикнув, рухнула на землю.

— Да колите же скорее, ну! Что вы рты поразевали? — прикрикнул он на сыновей.

Пишта вышел из-за двери, Бени держал миску; по всем правилам у свиньи пускают кровь, прежде чем она очухается от удара.

Никто не слышал ни визга, ни хрипа свиньи. Но как опалить тушу? И этого никто не увидит, потому что у каждого зажиточного хозяина есть укрепленный на стойке жестяной ящик, в боковых стенках его и в днище проделаны отверстия; в нем разводят огонь, подтапливая кукурузными початками, а когда останутся одни угли, на них можно хорошо опаливать щетину — даже волоска не останется.

В середине марта дни становятся длиннее; поэтому понятно, что к вечеру уже почти не осталось следов того, что здесь закололи свинью. Пожалуй, единственный след — это посоленное сало в кладовой да нашпигованные ливером кишки и домашняя колбаса в маленьком чуланчике, куда никто, кроме хозяйки дома, не имеет доступа.

Барна Надь, его жена и сыновья стоят у чуланчика и любуются обилием вкусных и действительно на редкость свежих продуктов.

— Кому мы пошлем на пробу гостинца? — спрашивает хозяйка.

— Вот уж и впрямь не могла придумать другой напасти, как посылать гостинцы. Если все станет известно, сам бог не избавит меня от восьми месяцев отсидки.

— И Бердешам не пошлем?

— Бердешам? Этим нужно. Положи-ка в корзинку, а вечером я отнесу.

Жена Барны отыскала корзинку для продуктов; стала снимать с крюков сырые колбасы; повертит в руках, вроде как мало — неудобно посылать, много — тоже не годится. А семья-то у Бердеша большая, не так легко рассчитать, сколько же послать. Самое правильное — наложить столько, чтобы корзинка не закрывалась. В этом двойной смысл: нельзя сказать, что мало, потому что больше не вошло, и, с другой стороны, послали бы больше, да

не влезает. Приходится хитрить, ничего не поделаешь... На селе все, буквально все имеет значение.

Бердеш весь день чувствовал себя преотвратительно. Напрасно утешал себя тем, что ничего не случилось; его даже посылают на такие курсы, где он многому научится, а стало быть, останется председателем кооператива. Он уже не может быть таким председателем, как раньше. До сих пор Бердеш делал все, что хотел, никого не слушал и ни с кем не считался. А по окончании курсов такому житью настанет конец.

Раньше бывало он еле успевал проглотить завтрак, как сразу нахлобучивал шапку и спешил в контору. Теперь же Бердеш не спеша бредет по двору, смотрит по сторонам, задумывается.

— Да где ты там? Иди сюда, к тебе пришли! — зовет его с веранды жена. Действительно, его ждет Шари Фейер, она на велосипеде. Срочно вызывают, нужно что-то подписать...

— Чего там? — огрызается Бердеш, разозленный уже тем, что получается, будто он годится только для того, чтобы ставить свою подпись. Подсунут готовую бумажку да еще ткнут пальцем — дескать, подпиши здесь.

Однако он все-таки направляется в контору: и то хорошо, что хоть нужна его подпись.

Шари Фейер идет рядом с Бердешем, ведя велосипед. Неприлично все же бросать председателя — пусть топает пешком, а она поедет на велосипеде.

— Почему товарищ председатель не купит себе велосипед? — вкрадчиво спрашивает она.

— Я? Велосипед? — удивляется Бердеш, потом горько улыбается: ведь и на велосипеде он тоже ездить не умеет.

— Я бы с большим удовольствием научила вас. Это легко.

— Я либо пешком хожу, сестренка, либо никак,— безапелляционно отрезает Бердеш и глубоко вздыхает. И в то же мгновение ему неожиданно становится ясно, что единственная причина всех его неурядиц это надвигающаяся старость.

Оказывается, его действительно вызывали только за тем, чтобы расписаться в приемке семенного риса и поставить печать. Потом нужно было подписать денежный документ... Подписать... Все время только подписывать!

В конторе всего несколько человек. Среди них и Бежи Кадар, как всегда свежая и аккуратная, но чуть похудевшая. Она записывает в регистрационную книгу письма, которые подлежат отправке. Потом начинает заклеивать конверты, а тем временем думает: обидно все же, что она не взяла себе роль в программе праздничного вечера. Впрочем, это еще можно обсудить с Пиштой Мислаи.

Мислаи тоже здесь. Он о чем-то разговаривает с Шаркези и Сито; они удаляются, подобно заговорщикам (по крайней мере, так кажется Бердешу).

Входит Кальман Циффра; он перекидывается несколькими словами с Шари Фейер, после чего оба исчезают — он столуется у Шари. Сейчас на завтрак ему подают тушеную капусту с куском жареного сала и кофе с молоком. Пока он ест, Шари Фейер примостилась рядом с ним, облокотившись одной рукой на угол стола, а другой — на ручку кресла, в котором сидит Кальман Циффра. Она так откармливает этого худощавого молодого человека, что скоро его не узнает собственная мать.

— Не могу я съесть столько... Целую вашу ручку,— заикаясь, произносит агроном, а у самого на глазах слезы — слишком большой кусок проглотил.

— «Целую вашу ручку?» Шлепну я тебя сейчас по губам, будешь помнить! Съешь хотя бы этот кусочек, ну! — И снова пододвигает вилкой кусок, который агроном отложил в сторону.— Нет, подумать только! Шея у тебя тонкая, как... у Яноша Васнаш-Надя. И ты еще хочешь быть агрономом?

— А я уже агроном.

— Агроном-то, агроном, да какой? Что о тебе девушки скажут?

Такие сцены между ними происходят довольно часто. Лучше уж Шари Фейер не перечить.

Вдруг звонит телефон. Из уезда спрашивают Шаркези, но его нет, поэтому трубку берет Бердеш. Оказывается, из обкома сообщили, что занятия нового набора на курсах начнутся в конце мая. Словом, пусть он готовится, к этому времени надо будет выезжать.

Бердеш ломает голову над тем, что же Кульчар собирался сказать Шаркези. Он чувствует себя безнадежно лишним, и это причиняет ему жестокую боль. Перед обедом Бердеш уходит домой, решив сегодня больше не возвращаться в контору. Дома сейчас жена и младшая дочка, Лаци и Кати работают в поле.

Бердеш пытается навести порядок во дворе, с конца зимы у него никак до этого не доходили руки. Он подвязывает сухие стебли растений и поправляет их: веревку, которой они были укреплены, исклевал гусь. Жена Бердеша тоже с чем-то возится, прибирается в доме, в кладовой, на дворе — пора прощаться с зимой. Вечереет. Бердеш поит у колодца Дюрку — красивого бычка, которого он купил прошлой зимой взамен проданной козы (он хочет вырастить племенного быка). В эту минуту входит Барна Надь. В одной руке у него клюка, в другой — тяжелая корзинка, из которой виднеется белая салфетка.

— Сервус, Лайош! — здоровается Надь.

— Сервус!.. — отзывается Бердеш, опуская ведро в колоду. В другое время он вылил бы воду, осторожно придерживая ведро, чтобы не помешать бычку, но сейчас ему не до этого.

Барна Надь подходит к Бердешу.

— Хороший у тебя бычок... Скольку ему?

— Да вот три года будет...

— Хороша скотинка! — И Барна Надь осматривает бычка со всех сторон.

— Всякая скотинка хороша, пока молода,— отзывается Бердеш.

— Это верно. И скотина частенько краше человека! Но что поделаешь — от нас это не зависит... Хозяйка-то дома?

— Она на кухне, заходи, я сейчас приду.— Он смотрит на Дюрку, гладит его, потом ведет в хлев, привязывает, дает корму, подметает пол; повозившись еще немного, он заходит на кухню.

Жена стоит перед дверью в чулан; Барна Надь сидит на стуле, теребит ручку пустой корзинки; они разговаривают о самых обыкновенных вещах, как это обычно бывает, когда люди беседуют просто так.

— Как ребята? — спрашивает хозяйка.

— Да что им делается, здоровы,— отвечает Барна Надь.

— Ну, а как жена-то, Клари? — снова спрашивает хозяйка, которую связывает с Надем старая дружба — они даже на «ты»; дружны между собой и женщины.

— Спасибо, неплохо, только жизнь наша становится все тяжелее и тяжелее...

Бердеш стоит в дверях и слушает их разговор. Какое-то подозрение мелькнуло у него при взгляде на пустую корзинку, но он не хочет ничего замечать. Вот на что это похоже: вдруг что-нибудь случилось, за что отвечает он, Бердеш, а его как раз нет на месте, стало быть, он не в ответе.

Барна Надь неожиданно поворачивается к Бердешу и говорит:

— Так вот, значит... как ты, кум Лайош, поумнее меня, скажи чего-нибудь...

— Если хочешь говорить с умным человеком, начинай не с меня,— балагурит Бердеш.

— Шутки в сторону, кум. Сейчас можешь помочь только ты, и никто больше.— И он так тяжело вздыхает, что, пожалуй, мог бы сдуть целую меру отрубей.

Бердешу от этих вздохов становится все неприятнее. Видит бог, совесть его чиста: он сделал все, что мог, но как Барна не поймет, что не может же Бердеш всю жизнь покрывать его?

— Ну, что там у тебя опять стряслось? — угрюмо спрашивает он.

— Одни неприятности. Но сейчас речь не об этом. Меня уже ничего не интересует: ни земля, ни дом, ни хозяйство, вообще ничего. Даже моя собственная судьба и та мне безразлична. Пока руки не отказывают, я как-нибудь проживу. Но вот с моими парнями дело хуже... Я хотел бы оградить их от напастей, которые выпали на мою долю. Ты ведь хорошо знаешь, что мы не дрянные люди. Если нельзя удержать землю, хутор, ну что ж, но...

— Кто сказал, что нельзя удержать? Ведь я именно ради этого и настоял, чтобы под рисовую плантацию отвели Дикое урочище.

— Знаю. И даже боялся, как бы у тебя не было из-за этого какой-нибудь неприятности. Но все равно в этом уже нет ника-

кого проку. Я слыхал, будто скоро наше село станет социалистическим.

— Это точно. Говорят...

— Ты и этим будешь заниматься?

— А как же мне, чорт возьми, не заниматься? Одно — перевести кого-нибудь на другой участок... Это еще куда ни шло, но тут дело серьезнее, против рожна не попрешь, да я бы и не советовал. Тебе пока бояться нечего. Пережди и положись на время. Я и дальше буду тебя поддерживать, в этом можешь не сомневаться,— заверяет его Бердеш, словно оправдываясь. Он понимает, что говорить обиняками трудно.

— Ну, конечно. Мы, хозяева, сейчас стали вам поперек дороги. Либо мы свернем с нее, уступим, либо вы нас раздавите. Вот поэтому-то я и думаю о своих парнях... Словом, сделай только одно: помоги им вступить в ДИС.

— Что от меня зависит, пожалуйста... Но у них свой секретарь и все прочее...

— Твой сын ведь тоже у них в начальниках ходит?

— Так-то оно так, только... словом, сделаю все, что в моих силах. За месяц, пока я еще буду дома, многое может произойти.

— А ты куда собираешься?

Бердеш знает, что не должен говорить, куда едет,— ведь это решение партийной организации, и все же не может удержаться:

— На курсы председателей.

Для Барны Надя это настолько значительная новость, что он едва не лишается дара речи. Ведь это значит, что должность Бердеша, его авторитет, можно сказать, обеспечены навеки. Он встает и протягивает Бердешу руку.

— Я не буду учить тебя, что надо сделать с моими парнями,— ты сам лучше знаешь... Сервус! Пойду, скотину пора поить, а мои шалопаи в поле...— И Барна Надь уходит.

Бердеш провожает его до самой дороги, останавливается и долго глядит Барне вслед. Ему не по себе: все-таки здесь что-то не то. Правда, он и раньше многое делал для Барны Надя; возможно, он уже и расплатился за заступничество Надя в девятнадцатом году. А может, и не расплатился? Если бы его тогда повесили или расстреляли, жена пошла бы по рукам, дети разбрелись бы по миру... Но может ли теперь он сам сделать для своего друга больше того, что уже сделал? А с другой стороны... сделал ли он вообще что-нибудь? Ведь то, что хутор Надя с его участком земли не прирезали к кооперативному клину ни осенью при размежевании, ни даже сейчас, при новом переделе,— это еще ничего не означает, потому что если село станет социалистическим, тогда все равно не удастся ничего уберечь, разве только одну усадьбу... Ну, допустим, годика на два он сумеет добиться для Барны Надя отсрочки, но только и всего... Бердеш заранее знал об этом и все же ничего не сказал, не объяснил Надю. Таким образом, сам того не желая, Бердеш очутился на поводу у Бар-

ны Надя; вышло так, что не он оказал Надю любезность, а тот продолжал считать, что Бердеш должен плясать под его дудку.

Пока Бердеш дошел до слободки, настроение у него окончательно испортилось.

Жена тотчас же заметила, что он чем-то удручен: если у мужа было нехорошо на душе, она сразу же определяла это по его лицу, словно на нем все было написано. Расставляя на столе посуду и глядя на мужа, она спросила:

— Что опять случилось? Ты выглядишь так, словно тебя обделили бахчой.

— А как мне иначе выглядеть? — И он осмотрелся по сторонам.— Скажи, зачем, собственно говоря, сюда приходил этот человек?

Теперь уже у хозяйки такой вид, будто она что-то хочет скрыть от мужа.

— Во всяком случае, он приходил не ко мне, а к тебе. Разве он не с тобой разговаривал?

Бердеш что-то промычал в ответ и начал расхаживать по комнате, точно искал чего-то; когда он хотел было войти в чуланчик, жена снова заговорила:

— Не входи туда — кошку впустишь!

— Ладно...— Бердеш решительно вошел в чулан и осмотрелся.

На верхней полке две тарелки: в одной кровяная колбаса, в другой шкварки, а поверх всего этого кольцом лежит добрый полукруг колбасы. Бердеш остановился, посмотрел на тарелки и задумался. Он снова вернулся к первой, еще неосознанной мысли, и за ней цепочкой последовали другие... Все понятно: Барна Надь тайком заколол свинью, это ясно, и вот сейчас принес гостинец, а он, Бердеш, вместо того, чтобы выбросить нежданный подарок, стоял и хлопал глазами! А чего он добьется, если выбросит? Разве этим будет исчерпан вопрос о незаконном убое свиньи? Впрочем, может быть, Надь и не совершил ничего противозаконного: ведь тот, кто выполняет свой долг перед государством, может забивать свиней сколько ему угодно.

Именно так: сколько угодно! Что же касается Барны Надя, то он пока аккуратно выплачивал государству все, что положено,— этого у него отнять нельзя. В конце концов, Бердеш цепляется за эту мысль. Однако, чтобы окончательно успокоиться, он входит в кухню и спрашивает:

— Скажи, как ты думаешь, Барна Надь зарезал свинью тайком?

— Да оставь ты, наконец!.. Неужели ты веришь всему, что на него наговаривают?

— Если не тайком, то чего ради он так прятал свой гостинец?

— А что, по-твоему, он должен был делать? Тянуть за собой колбасы по пыли?

— Пойду к нему и спрошу...

— Не делай глупостей! Что бы там ни было, дело уже сделано, и государство от этого не оскудеет.

Что правда, то правда: государство из-за этого, действительно, не оскудеет. Вопрос о том, заколол ли Надь свинью тайком или имел на то разрешение, постепенно отходит на задний план — не все ли равно, чорт с ним! И чего ради именно он должен до этого доискиваться? На то есть полиция. Пусть она этим и занимается!

И все же настроение у Бердеша испорчено, особенно плохим оно стало к вечеру, когда сели ужинать. Кати и Лаци были уже дома.

— Что это за колбаса? — удивленно спросила Кати и посмотрела на противень, на котором весело потрескивало сало и были так аппетитно разложены колбаски, что у нее даже слюнки потекли.

— Не твое дело, знай себе ешь! — отрезала мать.

Кати долго смотрела на куски колбасы: ей очень хотелось их отведать, она вообще очень любит колбасу, но редко приходится ею лакомиться. Однако Кати упрямо сжала губы и откинулась на стуле. Она напряженно думала. Дело в том, что, вернувшись домой, она в кухне увидела корзинку, забытую Барной Надем, и узнала ее. А сейчас на столе — колбаса, а в кухне — корзинка...

— Ясно... У Барны Надя закололи свинью! — проговорила она осуждающим тоном.

— Ну и что? — откликнулся Лаци и протянул руку к противню. Он обмакнул кусок хлеба в растопленное сало и тотчас же проглотил его: не мог дождаться, пока мать нарежет колбасу на кусочки.

— Надь свинью зарезал тайком, без разрешения! — снова заговорила Кати. Ей уже семнадцатый год, она многое понимает. Вот почему она с отвращением смотрит на противень.

— Ты что, рехнулась? — хмуро бросил отец.— Еще не хватает, чтобы ты вышла на улицу и раструбила об этом по всему свету! Сиди и ешь! Нечего тебе соваться в чужие дела.

Но Кати, хотя и многого еще не усвоила в ДИСе, однако хорошо знала, что убой свиньи в обход закона — это преступление.

— Не буду я есть этой колбасы,— чуть не плача говорит она, глотая от голода слюну. Теперь Кати смотрела уже не на противень — искушение было слишком велико,— а поверх стола — на стену.

Мать, опешив, уставилась на нее.

— Ты, может, и впрямь с ума сошла?

— Может быть. И все-таки я не дотронусь до этой колбасы.

Кати — любимая дочка Бердеша, однако и у него лопнуло терпение:

— Ешь сейчас же, иначе я тебе дам такого подзатыльника, что...

Но ему тут же становится стыдно: во-первых, Кати — уже взрослая девушка, и, во-вторых, она посмотрела на него с та-

ким упреком, даже с вызовом, что он умолк. Запихнув в рот кусок колбасы, он взял соленый огурец и откусил кусок хлеба.

Кати так и не притронулась к колбасе. Отрезав себе ломоть хлеба, она с аппетитом уплетала его, болтая под стулом ногами.

На нее набросился брат: нечего, мол, валять дурака; мать пыталась убедить ее лаской, да и отец положил ей на тарелку кусок жареной печенки, всячески соблазняя дочку: — Погляди только, какой замечательный ливер! — Но все безрезультатно. Кати знай себе уплетает за обе щеки хлеб.

Так ужин и не удался; было похоже, будто играют в молчанки — и куда девалось всегдашнее оживленье?

О том, что никто не должен знать о заколотой Надем свинье, не говорили. Старики не могли даже представить себе, что дети могут об этом кому-нибудь рассказать.

Но вся эта история настолько запала Кати в душу, что, помучившись пару дней, она не выдержала и поведала обо всем Эстер Мольнар.

Эсти хотя и разбиралась во многом, не знала, как поступить, если близкий друг председателя кооператива тайком закалывает свинью. Тем более, что этот председатель в свое время пригрел ее, сироту. А как быть, если именно сейчас председатель собирается на курсы переподготовки? Он должен был отказаться от гостинцев и сообщить обо всем в сельсовет. Нет, она не знает, что тут надо делать... И Эстер решила посоветоваться с Шаркези.

Шаркези выслушал рассказ Эстер с большим интересом и спросил:

— Что бы ты сделала на моем месте, Эстер?

— Я?.. Если бы дядюшка Бердеш не был председателем или... если бы он не принял гостинца...

— Но тогда мы ничего бы и не узнали, глупенькая. Барна Надь нанес ущерб государству. Мне жалко дядюшку Бердеша, но ничего не поделаешь. Этого стерпеть нельзя! Кто виновен, пусть понесет наказание. Мы себя не жалеем, работаем в поте лица, чтобы крестьяне зажили, наконец, настоящей жизнью, а эти Барны Нади обжираются, втайне забивают скот, обманывают государство. Нет, довольно, хватит! Таким людям место в тюрьме.— И Шаркези протянул руку к телефону, чтобы вызвать полицию. Однако при мысли о Бердеше у него помимо воли стало как-то тяжело на душе.

Но он опоздал: Канья-Кишу уже обо всем было известно. А узнал он об этом при следующих обстоятельствах. Накануне сыновья Надя, работая в поле, не придумали ничего другого, как в полдник полакомиться свежеподжаренными шкварками и колбаской. Оно и понятно: во время пахоты нет ничего вкуснее, как свежая колбаса... Только на беду мимо продефилировал верхом на лошади Тарнок, он направлялся к колодцу напоить лошадь, затем прошел старший сын Эсеньи, а вскоре мимо них промчался на велосипеде Андриш — он в это время работал на стройке и за-

ехал сюда потому, что разыскивал Лайоша Кошут-Киша (тот, оказывается, был на поле, там, где трактор пахал землю под хлопчатник).

Словом, трое видели, как братья полдничают, но что они ели, кто знает? Только Тарнок, остановив лошадь, вступил в разговор с братьями.

— Хороша землица для работы?

— Хороша. Лучше не бывает...— ответил Пишта и так впился зубами в здоровый кусок колбасы, что от удовольствия даже зажмурился.

— А подо что она? Под горох?

— Нет. Под сахарную свеклу.

— Тоже хорошее дело. Н-но, поехали, Альма! —И Тарнок хлестнул лошадь уздечкой.

Альма сразу же с шага перешла на рысь (никак Тарнок не может ее от этого отучить, сколько ни старается).

Однако на обратном пути он не остановился поболтать, а сделал вид, будто дремлет на спине лошади. Уже на следующее утро Канья-Кишу все стало известно: тайный убой свиньи, подарок и все прочее...

Полиция, случалось, обнаруживала то здесь, то там незаконный убой скота, и слух об этом всякий раз распространялся по селу. Крестьяне, прежде всего женщины, приукрашивали, преувеличивали, жалели или радовались в зависимости от того, по душе или не по душе был им нарушитель. Одному они прощали, другому нет. Всегда ведь одни готовы спасти преступника, тогда как другие рады засудить его... А что если блюсти правосудие доверили бы людям, не искушенным в законах? Один приговаривал бы к повешению, другой пытался бы начисто обелить. Ведь незаконно забивают скот не только зажиточные хозяева, но и неимущие. Так, осенью в этом уличили Антала Кешерю, который ко всему был еще и коммунистом (на суде в свою защиту он даже показал партийный билет).

— Вы член партии? Тогда вы заслуживаете более сурового наказания: коммунист должен знать, что можно, а чего нельзя! — сказал ему судья.

И вот к Барне Надю приходит Канья-Киш с полицейским. Стучит в дверь кухни, заглядывает, входит и, заметив хозяйку, останавливается.

— Доброе утро!..— Канья-Киш видит на столе куски мяса и копытца.

— Желаю вам доброго здоровья...— заискивает перед вошедшими жена Барны Надя, но у нее душа уходит в пятки, она тяжело опускается на стул и, не мигая, смотрит на полицейских.

— Итак, вы закололи свинью. Где у вас разрешение на убой?

Барна Надь выходит из чуланчика и объясняет:

— Что до разрешения, то у нас получилось так... Прошу покорно... Позавчера вечером она вдруг свалилась с ног, потом...

— Это вы расскажете потом, на суде; а сейчас давайте-ка соберем то, что осталось.

Напрасно Барна Надь приводил какие-то доводы, напрасно лебезила его жена — ничего не помогло. Еще счастье, что мимо проезжала телега Эсеньи, иначе пришлось бы Барне Надю взвалить на плечи и тащить до сельсовета на своем горбу остатки свиньи.

Барне Надю жалко свиньи, но куда хуже, что за нее придется отвечать перед судом. А в какую сторону повернется дело и чем оно кончится, никому не известно. Либо его оправдают, либо осудят. За незаконный убой скота можно получить и шесть месяцев и несколько лет тюрьмы. Все зависит от того, как пойдет судебное разбирательство, каковы в каждом конкретном случае семейные обстоятельства и имущественное положение обвиняемого. А сумеет ли Барна Надь найти такие аргументы, чтобы себя обелить?

Прежде всего Барна пошел, разумеется, к Бердешу и посмотрел на него с таким упреком, будто тот виноват, что полиция нашла заколотую свинью.

— Но не думаешь же ты, что... этот слух пошел от нас? — раздраженно буркнул Бердеш.

— К тебе никто не заходил, когда вы ужинали?

— А если бы и заходил! Глупо думать, что я буду кому-то давать отчет, что у меня в кастрюле или на противне?

Здесь Барна Надь не получил какой-либо ощутимой помощи, ему даже не посочувствовали. А дело уже вышло за пределы села. Тогда Надь, недолго думая, запряг лошадь и покатил в Дебрецен к одному старому известному адвокату.

В наше время у провинциальных адвокатов есть два основных профиля, вернее — два источника существования. Один — это бракоразводные процессы, другой — незаконный убой скота. Адвокат, к которому решил обратиться Надь, специализировался на последнем; он защищал крестьян, которые за нарушение закона об убое скота попадали под суд. Однако в этом году ему не удалось выиграть еще ни одного процесса. Люди не могли придумать в свое оправдание ни одного сколько-нибудь приемлемого довода, ни одного убедительного аргумента. Только и знали, что говорили: «Упала с ног... Вдруг повалилась на бок... Вечером она уже не съела ни крошки, а за ветеринаром посылать было уже поздно» и тому подобное...,

Крестьянин платит адвокату одинаково, выиграет ли он дело или проиграет. Но если адвокат не может выиграть ни одного дела, то постепенно теряет клиентов, и ему ничего не остается, как перейти на бракоразводные процессы. Поэтому нужно придумать приемлемые объяснения, разжевать и буквально вложить их в рот крестьянину, иначе его дела плохи.

— Ну-с, итак... Как же, стало быть, это произошло? — спрашивает Барну Надя адвокат.

— Как произошло, изволите спрашивать? А очень просто. Вдруг свалилась с ног и...

Для адвоката этот аргумент, как для быка — красный платок.

— Не болтайте глупостей... упала, свалилась! Если ничего умнее не сможете сказать, получите таких два-три годика, что закачаетесь!..

— А что же мне сказать, если это сущая правда? — в ужасе вопрошает Барна Надь.

— Правда? С такой правдой ничего путного не добьетесь. Слушайте меня. Какая цена этой свинье, если бы вы ее, скажем, продали?

— По государственной цене или как?

— Остановимся на государственной цене.

— Восемь раз по двести... тысяча шестьсот форинтов...

— Хорошо. Разделим пополам. Если я получу восемьсот форинтов, попробую вызволить вас из беды.

И попробовал... На судебном заседании Барна Надь рассказывал то, что разжевал и вложил ему в рот адвокат. А именно, будто свинью поставили на телегу, она испугалась, оборвала веревку, спрыгнула, упала на голову, перевернулась и больше уже не вставала. Пришлось сразу же зарезать ее.

Судья слушал солидного на вид и толково рассказывающего крестьянина; пока так еще никто не защищался.

— Ну-с,— судья посмотрел на прокурора, представлявшего обвинение.

— Прошу приостановить разбор дела и вызвать как эксперта уездного ветеринара,— предложил прокурор.

Был вызван ветеринар, который сказал, что это весьма возможно. Наука знает подобные случаи. Стоит только повредить шейный позвонок, и животному конец... Остается только один вопрос: почему о случившемся сразу же не сообщили в сельсовет?

— А как я мог вечером сообщить? Я и собирался в сельсовет, когда пришла полиция.

И это возможно. Словом, суд оправдал Барну Надя, признав обвинение в незаконном убое недоказанным.

Адвокат получил восемьсот форинтов, Барна Надь, вчистую оправданный, вернулся в село и с гордо поднятой головой расхаживал по улицам, вызывающе поглядывая по сторонам и думая про себя: чего ради он выбросил на ветер восемьсот форинтов?

Канья-Киш вовсе не был удовлетворен оправдательным приговором. Ведь факт незаконного убоя свиньи налицо — у Надя было изъято, по крайней мере, килограммов семьдесят жира, мяса и сала. Если считать, что дневной рацион на одного человека составляет полкилограмма, то этого рабочему хватило бы на многие месяцы. Как же можно было вынести такой приговор? Как можно забывать о классовой борьбе?

Оправдательный приговор обескуражил не только Канья-Киша; он смутил и Шаркези, который просто отказывался его понимать. Именно поэтому он и позвонил Кульчару.

— Ну, а теперь объясни, что нам делать? Мы пытаемся поддерживать в селе порядок, дисциплину, а суд оправдывает подобных субъектов?

— Судопроизводство — не рубка дров. А если действительно было так, как рассказал Барна Надь?

— Что свинья сломала себе шею?

— А почему бы ей и не сломать?

— Ну да, так уж мы и поверили... Просто это адвокатские штучки.

— Но ведь в качестве эксперта был допрошен ветеринар?

— Так ведь он конский лекарь! Что он понимает в свиньях?

Все напрасно. Суд оправдал Барну Надя. Со временем в суете повседневной жизни об этом случае стали забывать. Тем более, что у всех столько дел и все они не терпят отлагательства.

3

Бердеш продолжает жить и работать точно так же, как прежде: рано утром встает, чтобы быть в усадьбе, когда доят коров и кормят свиней. Потом он по очереди обходит все фермы, заглядывает на птичник, забредет посмотреть, как запрягают лошадей, затем зайдет полюбопытствовать на строительство, перебросится парой слов со старым Сильвой, начинающим закладывать конюшню, завернет туда, где обжигают кирпич, поговорит с Рожи о мирской суете, а то и о кирпичах, сунет нос в мастерскую к старому Михаю Бири, стрельнет у него в долг сигаретку (этим он несказанно злит старика), подойдет даже к крупорушке, поболтает там немного с Шандором Катоной, украдкой посматривая по сторонам, не скрывает ли кто по углам какой-нибудь пакет или мешок. Несколько минут постоит, облокотившись об изгородь свинарника, разглядывая свиноматок, поинтересуется поросятами, наконец, остановится на усадебном дворе и тяжело вздохнет.

Какое замечательное хозяйство! Какое изобилие, возникшее буквально на пустом месте! И вот теперь, когда все налажено, он должен все это оставить. И в довершение ко всему, надо ехать на курсы по переподготовке председателей... А под чьим руководством разросся и окреп кооператив? Бердешу сдается, что его только затем и посылают на курсы, чтобы устранить с дороги!

С ним поступают так, как бывало делали господа: если им кто-нибудь надоел, они назначали его на более почетную, но по существу ничего не значащую должность или переводили на пенсию.

Йошка Пап со своим сыном Лаци объезжает перед домом молодых жеребцов: вот сейчас, сдерживая на длинной узде, вывели одного, прогнали по кругу, потом другого. Но Бердеш не идет туда: ему не хочется разговаривать с Йошкой Папом. Ничего не поделаешь, но ему кажется, что, пока он будет на курсах, именно Йошка Пап примет от него обязанности председателя.

Иногда ему кажется то же самое и в отношении Кеваго и в отношении Сито; даже в Лайоше Кошут-Кише ему мерещится новый председатель. Однако, если бы кто-нибудь из них действительно стал председателем, это его не так бы расстроило, но стоит ему только подумать о Йошке Папе, как кровь приливает у него к голове.

Ведь отец Йошки Папа, будь он в живых, так и остался бы кулаком. Правда, Бердеш не только поэтому, но и по многим другим причинам считает Йошку человеком совсем иного склада, чем он, Бердеш, или остальные. Ему не нравится в Йошке и то, что он немногословен, и то, что он почти никогда ни в чем не ошибался. Он ввел на молочной ферме какой-то новый способ доения, и теперь удой молока растет буквально из недели в неделю. Коров стали доить три раза в день, даже если они и не дают много молока, всего каких-нибудь пару литров... Массируют вымя, трижды в день поят...

Нет, не выносит Бердеш этого человека. И зная, что «шила в мешке не утаишь», считает, что рано или поздно будет доказана правота его суждений о всяких там Йошках Папах.

Около полудня Бердеш с усадьбы через луга и посевы направляется домой, в Новую слободку, обедает и потом идет в село.

Он гордо шествует по Большой улице, точно так же, как вчера или позавчера; эта прогулка имеет своей единственной целью показать людям, что Бердеш существует. А кто станет вот так прохаживаться по селу, когда он будет на курсах?

Бердеш знает, что есть кому пройтись: и Йошке Папу, и Сито, и Лайошу Кошут-Кишу, и Кеваго...

Во дворе правления Шари Фейер учит молодого агронома кататься на велосипеде. Агроном сидит на велосипеде, как кошка на плетне; переднее колесо выписывает такие круги, словно оно только что было зрячим, а теперь внезапно ослепло. Кажется, что шина, само колесо, спицы — все как бы размягчилось и сию минуту развалится. Кальман Циффра бледнеет, как мертвец, и с такой силой сжимает руль, что у него даже белеют ногти! У Шари Фейер, наоборот, лицо так разрумянилось, что стало похожим на пион. Руки у нее обнажены до плеч: одной она придерживает за седло велосипед и, когда машина собирается упасть вправо, подталкивает ее влево, а когда велосипед заваливается влево, кренит его в обратную сторону и, шелестя юбкой, бежит рядом с ним.

— Эй, эй! Не туда! — весело кричит Шари и придает велосипеду нужное направление.

Толкая впереди себя велосипед, она помогает агроному удерживать равновесие. Со стороны создается впечатление, будто агроном и велосипед — это два резко отличающихся один от другого зверька, и вот сейчас она приучает их друг к другу. Кальман Циффра сидит на велосипеде так, словно все его тело растянуто на дыбе. Для него это одновременно и ад, и рай. Никто на всем белом свете не знает, что Кальман безнадежно влюблен в эту женщину и

готов на любые страдания, лишь бы находиться возле нее. Он только потому и согласился на это обучение, чтобы иметь возможность хоть полчаса побыть с ней. Он может сломать себе шею — ему все равно. И Кальман полностью вверяет себя мускулистым рукам Шари Фейер, а сам старается спокойно сидеть в седле.

Они описали круг по двору и теперь направляются к Бердешу, наблюдающему за этим зрелищем. Одной ногой председатель уже поднялся на ступеньку, но продолжает смотреть. Неожиданно ему становится грустно: эх, вернись к нему молодость, он тоже учился бы сейчас ездить на велосипеде, перед ним открылась бы большая, удивительная жизнь, а так... он уже стал обузой, вот его и отсылают на курсы... Бердеш тяжело вздыхает и медленно входит в контору.

В конторе инженер и техник-ирригатор планируют зимний затон для рыб: рассчитывают, сколько понадобится кубометров воды, как заполнять водоем, как отводить воду, и вносят кое-какие изменения в проект планировки нового сельского центра, который развернется вокруг усадьбы Кельчеи.

В это время доктор Элемер Барна, показывая на перспективный план, висящий на стене, разъясняет:

— Площадь мала, видите? Здесь следовало бы соорудить крытый павильон для рынка, здесь — круглую эстраду для оркестра «Свободы»; а тут, на южной стороне, должен быть построен Дом культуры; в центре площади — статуя, а вокруг цветники... Нужно расширить площадь, по крайней мере, метров на двадцать.

— Это, пожалуй, можно. Но ведь уже начали строить конюшни, а они запроектированы около площади.

— Это неважно. Расширяться можно к югу. Понятно?

— Понятно... А как же с бывшим барским домом?

— Ничего особенного. В крайнем случае, разобьем вокруг него парк, высадим цветы, и все будет выглядеть словно так и планировали,— продолжает врач и показывает на чертеже будущие здания, строения, их размещение.

Бердеш смотрит и слушает. Чертежи, планы — в этом он не разбирается. За последнее время тут начато столько дел, о которых председатель в лучшем случае имеет весьма смутное представление. Уж очень разросся, расширился кооператив, и Бердеш просто не может держать все в руках. Сколько бы он ни прилагал усилий, желания и воли, ему всего не охватить.

«Я ведь не семи пядей во лбу»,— думает он, прислушиваясь к тому, что говорит доктор.

— Ну, что вы скажете, товарищ Бердеш? Разве я не прав? — поворачивается к нему Элемер Барна.

Бердеш, задумавшись, подходит к стене, на которой висит перспективный план, и рассматривает его. Потом собирается с мыслями — хоть как-то, но надо показать, что он и в этом разбирается.

— Это что такое... вот здесь... такое узкое? — покачивая головой, спрашивает Бердеш.

— Здесь-то?

— Да, здесь.

— Это птицеферма, товарищ Бердеш; она выходит фасадом не на площадь, а прямо в поле.

— Словом, на запад,— замечает Бердеш.

— Да.

— Не годится,— безапелляционно заявляет Бердеш.

— Почему?

— Потому что... куры любят... солнце.

— Да, вы правы. Об этом мы и не подумали. Хорошо, что подсказали, товарищ Бердеш.— И врач обращается к инженеру:

— Если птицеферма обращена фасадом на запад, солнце будет там только после обеда, а если на юг, то и в утренние часы. Это нужно принять во внимание...

Выходит, он, Бердеш, кое-что понимает, а все-таки... кажется, не очень-то...

— Делайте, товарищи, как можно лучше...— говорит он и выходит из конторы.

В эту самую минуту агроном падает с велосипеда и растягивается на земле, распластав руки и ноги, словно лягушка, которую выронил из клюва аист. А заднее колесо велосипеда продолжает вертеться, поблескивая спицами на солнце. Шари Фейер испуганно подбегает к агроному:

— Расшибся?

— Кажется, нет.— Он с трудом приподнимается, осматривает себя.— Зачем вы обманули меня? Почему отпустили велосипед?

Шари Фейер хохочет.

— А как же ты хочешь научиться кататься? Не будешь же ты вечно цепляться за мою юбку?

— Шари Фейер! К телефону! — зовет из конторы врач.

Шари бежит к дому; агроном тем временем поднимает велосипед, а Бердеш выходит на улицу. Он направляется в поле: надо посмотреть рисовую плантацию, проверить пшеницу и яровые, словом, он побывает всюду, где только работают члены кооператива.

Ежедневно делает он этот круг и каждый раз с чувством горечи замечает, что все в «Свободе» идет своим чередом и без него, будто какой-то механизм приводит в движение всю машину.

А какой смысл в том, что он все это замечает, видит, но растрачивает себя на мелкую перебранку то с одним, то с другим? Он должен сделать что-то большое, значительное, повести за собой «Свободу», вдохновить членов кооператива, но на это его не хватает.

Ему следовало быть таким хозяином «Свободы», как у себя дома, во дворе или как когда-то в бытность выездным кучером на конюшне.

Что ж, может быть, когда он вернется с курсов...

Но как только он вспоминает об этом, другая тревожная мысль не дает ему покоя: а что если он не вернется с курсов таким — лучше ему вообще не возвращаться! Или, может быть, вовсе не ездить? Ведь после курсов кооператив будет ожидать от него большего, чем раньше. А сможет ли он действительно выучиться, набраться опыта, или он уже окончательно устарел и отстал?

Нет, он еще не стар! Он еще покажет, кто такой Лайош Бердеш!

4

В субботу жена Бердеша занялась большой весенней уборкой; поэтому дома остались и Эсти и Кати, только младшая девочка пошла в школу — уборка ее не касается. По сути дела, в этот день из дома выгоняли зиму и впускали весну. Двери и окна открыты, печь и приступок заново побелены известью, отовсюду стерта пыль, на кровати застелено чистое белье, пол комнаты промазан и посыпан свежим желтым песком. К полудню все сверкает чистотой.

В дом пришла весна. Но вместе с ароматом весны ощущается и запах керосина, которым промывали дверь — за зиму она потемнела.

Итак, с уборкой управились; теперь на очереди стирка белья. В понедельник около часу дня хозяйка варила лапшу, ничего другого в доме не было, но в семье все любят это блюдо. Бердеша все равно домой рано не ждали, а девчата быстро справились с едой. Кати занялась мытьем посуды, Эсти переодевалась.

В это время вошел молодой почтальон. Вероятно, его профессия самая легкая на земле: он раз в день обходит село; если кому-нибудь телеграмма, относит ее сразу и, замешкавшись, неохотно покидает дом — он не ждет чаевых, конечно, нет. Но если дадут, бог мой! Что ему остается делать, как взять и, не взглянув, сколько, опустить в карман (насколько изящно он это умеет делать, просто удивительно!). Новехонькая кожаная сумка висит у него на плече, в одной руке палка, другой он постоянно роется в сумке. Фуражка его чуть заломлена на бок, что придает ему лихой вид; не может быть и речи о том, чтобы хоть где-нибудь он снял ее (человек либо при полной форме, либо без оной!).

— Сабадшаг! Целую ручки! — Он входит в дом, продолжая шарить в сумке.

Эсти, смотрясь в зеркальце, причесывается.

— Ишь, как ты умеешь деликатно здороваться, Шани,— немного насмешливо говорит Эсти.

— Что поделаешь, привык.

— Отучись, члены ДИСа так друг друга не приветствуют.

— Ладно, попробую... пожалуйста. Это все тебе! — И он высыпает на стол целую груду писем.

Эсти, опешив, смотрит на это множество конвертов. Хозяйка выходит из своего угла за печкой и направляется к ним.

— Шани, да ты что, рехнулся? — спрашивает Эсти.

— Я — нет. Скорее те, кто писал,— весело отвечает Шани и садится напротив Эсти, облокотившись на стол.

К ним подходит Кати, а за ней мать. Эсти хотелось бы тут же просмотреть письма: ведь она никогда за всю свою жизнь не получала сразу столько писем. А возможно, и никто в селе... Но этот вертлявый парень на правах почтальона и нового члена ДИСа развалился и так смотрит на нее, что, кажется, у него сейчас глаза вылезут из орбит.

— Штук сорок будет,— говорит он со знанием дела.

— Возможно... будь добр, неси-ка почту дальше, ведь и другие ждут...

Парень что-то бормочет и, выпрямившись, захлопывает сумку.— Пардон! — говорит он и уходит.

Кати провожает его смехом, а Эсти злится.

— Ну и шут гороховый! — бросает ему вдогонку старуха.

Теперь наконец-то можно прочесть письма. О чем только ни думает Эсти, вскрывая первое из них!

Оно от молодого тракториста из МТС. Тепло и ласково он поздравляет Эсти в связи с появившейся о ней статьей и фотографией в «Сабад ифьюшаг»; он желает Мольнар успехов и в дальнейшем. «Пусть же расцветает наша социалистическая родина...» — заканчивает он. Другое письмо — совсем иного характера. Это просто-напросто признание в любви; автора не интересует ни статья, ни успехи Эсти в вербовке новых членов ДИСа, его занимает только любовь, одна любовь! «Я всегда мечтал о такой женщине...» — пишет он. К слову сказать, это служащий одной строительной конторы, и он готов, без долгих разговоров, тотчас же вступить с ней в законный брак, с приданым или без — для него это не имеет значения. Третье письмо написано слушателем Академии имени Петефи, будущим офицером; письмо исполнено достоинства и вместе с тем сдержанности. «Мы, слушатели Академии имени Петефи,— пишет он,— гордимся тобой и просим никогда не забывать той среды, из которой ты вышла...» И Эсти растерянно проводит рукой по лбу; из какого же класса она вышла? Из класса прислуг, из больницы в Уйфалу, из класса страдающих, больных, умирающих...

Ее очень удивляет такое обилие писем, но вместе с тем ей это приятно. Лицо ее то краснеет, то бледнеет, как только она доходит до любовных строчек. Она читает письма подряд, потом передает их жене Бердеша; та просматривает их, шевеля губами, глаза ее наполняются слезами, она передает письма дальше — Кати. Та тоже прочитывает их, вздыхая и охая, будто дело идет о чем-то очень важном не только для Эсти, но и для нее самой.

Сорок писем скоро не прочтешь; хоть некоторые и напечатаны на машинке — это из госхозов, из производственных кооперати-

вов,— но большинство написано от руки. И что интересно: письма, написанные от руки, как бы разговаривают; машинописные же доходят до сознания, только когда их внимательно прочтешь. Письма — наполовину любовные, наполовину товарищеские: сочувствие, ободрение, пожелание удачи...

— Ну и счастливица ты, Эсти!..— вздыхая, говорит Кати.

— Почему, Кати?

— Как тебя любят...

— Но погоди... А что ты скажешь на это? — спрашивает Эстер, передавая ей последнее письмо. Это не что иное, как повторное приглашение от Театрального института — первое она получила еще зимой, ее обещали даже освободить от платы за учение.

Кати берет письмо, пробегает его глазами.— О...— только и может она промолвить.

Однако ее мать высказывается гораздо пространнее.

— Это неплохо, Эсти. Ты перестанешь возиться с этими глупыми парнями и девчонками... Станешь артисткой, выйдешь замуж за доктора или инженера, и тебе не придется ничего делать, будешь только сидеть у окошка и глядеть на улицу... Правда... видела я раз в Дебрецене, в театре, красивую артистку, которая весь вечер ничего другого не делала, как только дрыгала ногами. Но тебе совсем не обязательно поднимать ноги... Ты могла бы делать на сцене что-нибудь другое...

Обе девушки хохочут так, что на глазах у них показываются слезы. Но жена Бердеша не унимается и хочет высказать все, что накопилось на душе:

— Ну, чего вы смеетесь? Разве это не лучше, чем выйти здесь замуж за любого... хотя бы и за Андриша Кеваго.

Снова разгорается спор между девушками и матерью. Тем временем Эсти сортирует письма.

— Что ты хочешь с ними делать? — спрашивает старуха.

— Хочу разложить... Хорошие, товарищеские письма — сохраню, а любовные...

— Уж не хочешь ли ты их сжечь?

— Сжечь — нет. Пожалуй, этого они не заслуживают. Лучше я их отдам Андришу.

Тут уж возмущается не только мать, но и Кати.

— Ну, Эсти, этого как раз и не нужно делать... ведь... Андришу не обязательно все знать!

— Нет, Кати. Он должен все знать! Я не хочу, не могу любить, хоть что-нибудь скрывая от любимого человека. Здесь речь идет не об Андрише, а обо мне, и только обо мне; я не могу носить это только в себе. Пусть он видит и знает, радуется или страдает! — И Эсти кладет любовные письма в свою сумочку, а письма, полные товарищеского участия,— в шкаф, где у нее есть своя полочка.

Глава шестая

1

Репетиции сплотили молодежь больше, чем что бы то ни было до сих пор. Теперь она все больше походила на одну большую, дружную семью.

Приближалось 4 Апреля. Участники будущего концерта стали собираться каждый вечер и, надо сказать, в большом количестве: ведь и хор был задуман с тем, чтобы вовлечь побольше молодежи в художественную самодеятельность. И действительно, что делать с теми, кто не играет на каком-нибудь музыкальном инструменте, не танцует, не поет? Записать в хор! Не велика беда, если голоса нет, лишь бы раскрывал рот! Часов в одиннадцать-двенадцать группами расходились по домам, чтобы завтра с наступлением вечера собраться снова.

Пишта Мислаи стал вывязывать галстук бантом. Как только начинает припекать весеннее солнце, сразу же меняется и его костюм: вот уже два дня, как он носит кофейно-коричневые брюки и пиджак из добротного синего материала. Старую металлическую оправу на очках он заменил модной массивной, роговой.

Днем молодежь занята делом — одни целый день работают на полях или на фермах «Свободы», другие трудятся дома, на маленьких приусадебных участках. Здесь же они все одинаковы! Ведь у молодежи так много общего! Завязываются знакомства, дружба, зарождается и пускает ростки любовь.

Эсти попрежнему приветлива и с парнями и с девчатами, так же и Андриш — то заговорит с одной девушкой, то с другой. Он старается быть ближе к Эсти, поэтому проявляет внимание и к ее ближайшим подругам — Кати Бердеш и Жужике Шаркези. Эти две девушки, как и многие другие, за последние два-три года расцвели, словно прекрасные цветы.

Можно с уверенностью сказать, что, не будь этих спевок и репетиций, Лаци и дальше продолжал бы терзаться пылкой любовью к Эсти, но, встречаясь каждый вечер со многими молодыми девушками, он стал больше обращать на них внимания. Лаци начал уже колебаться в выборе между Жужикой Шаркези и Марикой Кеваго. Чаще всего, особенно в перерывах между репетициями, он беседовал с обеими девушками, стараясь произвести впечатление и на ту и на другую.

Итак, с Лаци все бы обошлось, не будь у него еще третьей привязанности, на этот раз уже товарищеской, к Пиште Надю. И если его отец не покинет Барну Надя, то и он не оставит его сына Пишту.

В этом не было бы ничего плохого, но Пишта Надь и его брат никак не могли сдружиться с молодежью и привыкнуть к коллек-

тиву. Особенно после того, как суд оправдал их отца, обвинявшегося в незаконном убое скота.

Выходит, у кого есть деньги и адвокат, тот всегда прав? Значит, не так уж опасно и дальше бороться с коммунистами, расправляться с бедняками? Тогда они еще покажут, кто имеет право устраивать на селе вечера, развлекаться, танцевать!

Конечно, все это и многое еще похлеще говорит не Лаци, а братья Надь и их друзья. Лаци же мечется между Пиштой Надем и его компанией и парнями из ДИСа; а в довершение ко всему он еще и влюблен.

Влюблен и культорг Пишта Сито, и попрежнему в Эсти Мольнар; свою безнадежную любовь он переносит стоически, но, не будь этого чувства, он, наверное, зачах бы. Никогда он не говорит об этом Эсти ни слова, хотя они часто бывают вместе; ведь Эсти секретарь ДИСа, а он ведает культработой, им вместе нужно обсуждать новые газеты, журналы, книги. Еще не провели праздничного вечера, а они уже думают о том, какие нужно прочитать новые книги и как, по возможности, привлечь к этому других ребят, а потом пригласить на обсуждение и писателей.

Какие тут еще разгорятся страсти! Кто уже влюблен, кто вот-вот влюбится. Каждая девушка здесь уже кому-то отдала свое сердце, и каждый парень кому-то поклялся в верности.

Пылает страстью и агроном Кальман Циффра; он слоняется словно гусь, объевшийся белены. Тягостно, когда кажется, что всех любишь. Конечно, и он сумел бы выбрать девушку себе по сердцу. К примеру, ему доставляет большое удовольствие беседовать с Жужикой Шаркези, стоять подле нее, дожидаясь выхода на сцену, и все же он поминутно смотрит на дверь, не войдет ли Шари Фейер. Увы, даже если ему и нравится какая-нибудь молодая девушка, его сердце все равно навеки принадлежит Шари Фейер. Это так странно и так непонятно...

Ему одновременно и стыдно, что он влюблен в замужнюю женщину, и вместе с тем он хотел бы, чтобы все — пусть даже вся «Свобода» — знали, что он ее безумно любит. Но об этом, конечно, и не подозревают: это настолько невероятно, что никто не поверит. А Шари Фейер относится к нему не лучше, чем ко всем остальным, хотя по доброте сердечной и подкармливает этого тощего парня.

За отсутствием голоса и каких бы то ни было музыкальных способностей агроном зачислен в хор, да и то в последний ряд. Мислаи утешает его тем, что со временем все образуется. Трудно только начало...

На сцене шла репетиция «Соловья». Те, кто не участвовал в этой инсценировке, смотрели, сидя в зале и переговариваясь. Вошла Шари Фейер, на секунду остановилась, потом поманила пальцем агронома; он встал и быстро пошел к выходу.

В этот момент, как и каждый день, он думает: вот сейчас произойдет нечто значительное, что окончательно и бесповоротно

покончит со всеми его сомнениями и терзаниями. Однако сейчас, как и каждый вечер, Шари говорит: «Пора ужинать»... И больше ничего не происходит.

В комнате горит лампа, стол застелен белоснежной скатертью. Господин, то есть товарищ, Лайош Тержек-Виг поправляет перед зеркалом галстук, потом поспешно выходит. Сегодня в сельпо совещание членов промысловых артелей, на котором он представляет «Свободу». Представителей промысловой кооперации тоже волнуют вопросы будущей социалистической деревни. Что будет с ними, если все село войдет в производственный кооператив? Это ведь важный вопрос. Остаться обособленными или как-то объединиться со «Свободой»?.. Решить это нелегко.

Агроном смотрит на стол, на посуду, кажущуюся при свете лампы еще более тонкой, на поблескивающие стаканы, графин с водой и на слоеную капусту, которую Шари Фейер обычно готовит по субботам.

— Разве я буду ужинать один?

— Лайош спешил на совещание — мы не могли тебя ждать. Но так даже лучше—ты можешь поужинать, не торопясь. Садись и ешь!

Агроном поворачивается к Шари Фейер; глаза его вот-вот наполнятся слезами.

— И зачем только вы учили меня кататься на велосипеде? — почти в отчаянии говорит он.

— Что ты там бормочешь, не пойму...

— Зачем вы учили меня велосипедной езде? Ведь я влюбился в вас!

Шари Фейер просто остолбенела от изумления. Она только смотрит на парня, а потом всплескивает руками.

— Ах, боже милостивый, только этого еще мне недоставало! Откуда ты взял эти глупости?

— Для вас это глупости? Значит, вы не видите, как я мучаюсь, места себе не нахожу! — восклицает агроном, становясь все смелее.

— Ну, хорошо. Только сначала сядь, а потом мы все обсудим,— говорит Шари Фейер и, положив руку на плечо Кальмана, усаживает его на стул.— Сначала поешь, а там посмотрим, что к чему...— Она садится, облокотившись на стол, и смотрит на парня. Циффра нехотя и рассеянно принимается за еду.

— Сколько тебе лет? — спрашивает Шари Фейер.

— Исполнилось двадцать один,— давясь (в глотку не лезет эта капуста!), отвечает он.

— Так... значит, двадцать один... А мне сколько?

— Это меня не интересует. Я люблю вас и не знаю, что с собой делать.

— Вот когда я тебе дам хорошего подзатыльника — узнаешь. Я старше твоей матери — о чем ты думаешь?

— Зачем вы учили меня кататься на велосипеде? — снова упрямо твердит он.

— Осел! Я уже многих выучила, если понадобится, буду учить и других. Я о тебе забочусь не для того, чтобы ты влюбился в меня, а только потому, что не пристало агроному быть таким недотепой... У нас много хороших девушек, вот и выбери себе невесту...

Кальман раздраженно отодвигает тарелку. Шари снова ставит ее перед юношей.

— Так ты от меня не спасешься, дружочек! Ешь да поживей! Иначе тебе не сдобровать!..— И она подкладывает ему еще капусты.

Все это выглядит так, будто хозяйка ставит тощего гуся на откорм: он должен проглотить все, что дают, хочет он того или нет. Так и наш паренек глотает капусту и откусывает все бо́льшие куски хлеба. Если она не позволяет любить себя — что ж, хорошо и то, что он может быть так близко около нее.

Шари Фейер наливает ему стакан воды, угощает сигаретой, потом говорит: — Ну, а теперь пошли, посмотрим репетицию.

Кальман даже не чувствует особых терзаний любви: он плотно поел, выпил воды, выкурил сигарету; потом, тяжело вздохнув, еще раз оглядывает комнату и так смотрит на Шари Фейер, что, кажется, сам лукавый сжалился бы над ним.

— Ладно, ладно! Я тоже была молода,— говорит Шари Фейер, собирая со стола посуду. Затем она треплет Кальмана по щеке и неожиданно, наклонившись к нему, без разговоров, целует парня прямо в губы.

— Это чтобы... тебя ночью сны не мучили... А теперь пошли, пошли! И если ты не выкинешь из головы эту чепуху, я перестану тебя кормить и лишу своей дружбы, понял?

Кальман Циффра, агроном двадцати одного года, говорит срывающимся фальцетом. Такой же скрипящий звук издает луковичная головка, если наступить на нее утром, на росе. Сейчас все его тело наполняется каким-то чудесным чувством — нет, оно не имеет ничего общего с тем, что он до сих пор считал любовью. Это чувство недоступно никому, кроме него, оно принадлежит только ему одному; он разделит это чувство только с той, кого изберет его сердце.

Возвратившись в зал, он уже иными глазами смотрит на репетицию, на девушек. По сути дела за это время не произошло ничего существенного и все же случилось что-то большое; и девушки, даже хорошо ему знакомые, стали совершенно другими; ни одна из них не похожа на свою подругу, и все же самая лучшая среди них — Жужика Шаркези!

— Не ты забыла здесь вчера этот платок? — спрашивает он, подсаживаясь к Жужике и доставая из кармана маленький платочек.

Жужика смотрит сначала на сверкающие глаза Кальмана, а потом уже на платочек. Что с парнем? Как он изменился! Или она просто раньше не замечала?

— Если на нем вышито мое имя, то мой,— говорит Жужика.— А ну-ка, покажи...— И четыре руки сантиметр за сантиметром исследуют маленький кусочек пестрой материи, будто действительно ищут, не вышито ли на нем имя Жужики.

В этот момент со сцены сходит Эстер — она только что репетировала свой знаменитый танец. Мислаи объясняет ей па; нужна еще репетиция, чтобы она все как следует запомнила. Эсти слушает, а сама ищет глазами Андриша.

— Дай-ка мою сумочку,— обращается она к Кати, потом подходит к Андришу, который, уединившись в сторонке с Пиштой Сито, дымит сигаретой.— Андриш! Подойди-ка сюда на секунду,— говорит Эстер и идет впереди него в дальний угол.

Андриш безмолвно следует за ней.

— У тебя есть большой карман? — И она поворачивается лицом к юноше.

— Есть. А что?

— Вот, смотри, Андриш, я получила целую кипу писем... Это потому, что в «Сабад ифьюшаг» поместили обо мне статью с фотографией... Мне и впрямь кажется, что люди посходили с ума, потому что... половина этих писем — любовные.— И она вынимает из сумочки пачку перевязанных писем.— Пожалуйста. Они — твои.

Андриш, пораженный, берет из рук Эсти пачку писем, вертит ее в руках и смотрит то на Эсти, то на письма.

— Но, Эсти! Ведь это настолько твое, личное, что я вообще даже не требую, чтобы...

— Слушай, Андриш! Мы живем, можно сказать, на виду у всех. Наша жизнь протекает совсем не в таком узком кругу, чтобы другие не видели, как мы живем, что мы делаем. Сегодня пишут мне; может быть, завтра родина заметит и тебя. Поэтому мы должны начинать жизнь так, чтобы моя жизнь была и твоей, а твоя — моей. И мы не должны ничего, понимаешь, ничего не скрывать и ни о чем не умалчивать. Вот почему письма твои! Захочешь, прочти, не захочешь — порви, сделай с ними все, что сочтешь нужным. Хорошо, Андриш?

— Хорошо, Эсти... милая...— Голос его переходит в шопот, и он опускает письма в карман. От радости и неожиданности зрачки у него расширены; ему хочется сказать что-то ласковое и красивое, но тут раздается громкий голос Мислаи:

— Сейчас очередь Лаци Бердеша! Лаци, на сцену!

Лаци с явной неохотой отходит от Марии.

Андриш и Эсти стоят и только делают вид, что смотрят на сцену; на самом деле они проверяют свои чувства, раздумывают. Как близки стали они сегодня друг другу, и все-таки они еще не одно целое! Молодая прекрасная жизнь свела их друг с другом; остается сделать только один шаг, чтобы это сближение стало полным и навсегда. Именно в этом и состоит смысл жизни, ее цель и воплощение всех заветных желаний и чаяний молодости.

— Теперь я вместе со всеми вами, Эсти. Чего мы еще ждем? — тихо начинает Андриш.

— О, это еще не все, Андриш...

— Чего же не хватает? — спрашивает Андриш, и голос его звучит настойчиво, почти раздраженно.

— Разве ты забыл о рисовом поле?.. Когда мы соберем рис...

— Словом, только осенью?

— Немного раньше... Апрель, май, июнь, июль, август... Лето пролетит так быстро, что мы и не заметим.

— Все время нам что-нибудь мешает. А тогда встанет вопрос о социалистическом переустройстве села...

— Тогда мы уже будем вместе, Андриш!

В этот момент неожиданно раздается смех, и это сразу возвращает их к действительности.

2

Четвертого апреля около шести часов утра на улице начал собираться цыганский оркестр Пицулы. Этот оркестр хоть куда! В нем две первых скрипки, две вторых, два контрабаса (правда, только один из них настоящий контрабас, а второй — виолончель), цимбалы и кларнет. На всех музыкантах черные костюмы и желтые штиблеты (откуда они их взяли — одному богу известно), некоторые из них в шляпах, а кто вообще простоволосый.

Наступающий праздник вызывает в душе Пицулы самые возвышенные чувства, но у него не хватает слов для их выражения. В былые времена ему приходилось играть всевозможные веселые мелодии, и вот сейчас они одолевают его, будто требуя: «Сыграй меня, сыграй меня!» А играть надо совсем другое. Гимн... «Интернационал»... «Призыв»... В его голове, словно в оркестре, проносятся одна за другой эти мелодии. Одна звучит первой скрипкой, другая — второй, а сам Пицула то и дело со все возрастающим волнением посматривает на церковную колокольню. Через минуту — шесть часов, через минуту — шесть часов...

Музыканты с важным видом перешептываются, будто они не под открытым небом, а в переполненном публикой зале. Но публики-то вокруг нет; только в воротах сельсовета от нечего делать стоят сельский глашатай Жига Бере и пастух, который наблюдает за общинным пастбищем, да из-за ограды противоположного дома с любопытством выглядывают женщины. Из окна конторы кооператива, облокотившись на подоконник, высунулась Шари Фейер и глядит по сторонам.

— Начали! — взмахивает смычком Пицула и ударяет им по струнам.

Ровно в шесть часов, трепеща и взмывая ввысь, мягко, будто на крыльях, разносятся по всему селу звуки гимна. Словно в ответ на это, по всей улице одна за другой открываются калитки.

И вот уже издалека, со стороны усадьбы Кельчеи, доносится ржание лошадей, где-то совсем рядом, на соседней улице, раздается треск мотоциклов, и сразу же шум и гомон, подобно водопаду среди скал, заполняет все кругом. Оркестр продолжает играть. Музыканты извлекают из своих инструментов ликующие, победные звуки «Интернационала», и в душе Пицулы крепнет радостное чувство. Совсем позабыв о марше Ракоци *, он после «Интернационала» тут же переходит к грустной, печальной мелодии:

Лето настанет — саман замешаю,
В зимнюю стужу на скрипке играю,
Пусть моя скрипочка плачет-поет,
Грусть мою в песне пускай изольет,
Коль полюбила ты парня другого...

Уж коли праздник, так надо сыграть и ту песню, которая у него на сердце. Но все равно, что бы ни играл оркестр, никто его уже не слушает.

Молодые всадники из кооператива «Свобода» мчатся на лихих конях, у которых гривы украшены кукурузным лыком, а хвосты заплетены, да еще как! Туго, мелкими красивыми косичками... Какие же они будут волнистые, когда их распустят! Темные глаза лошадей сверкают, копыта яростно вытанцовывают на мостовой, и к неописуемому восторгу седоков кони становятся на дыбы, но потом все-таки выстраиваются в ряд.

Все ближе и ближе слышится рокот моторов, и навстречу всадникам выезжают мотоциклисты.

На площади появляются и велосипедисты, они скромно располагаются возле правления кооператива, но их так много, что все здесь не помещаются и цепочкой выстраиваются вдоль улицы до самой церкви. Сомкнутыми рядами со знаменами проходят члены молодежной организации ДИС — девушки в белых платьях, парни в праздничных костюмах.

Толпа все увеличивается. Один за другим появляются члены сельсовета и дают команду начать демонстрацию.

Никогда еще не было таким село, как сегодня. Вслед за членами сельсовета, сдерживая лошадей, шагом движутся всадники, за ними мотоциклисты — двадцать два мотоцикла, по два в ряд. Позади следуют велосипедисты, но их собралось столько, что кажется, им и конца не будет — все новые и новые пары, нажимая на педали, вливаются в колонну. С обеих сторон бегут дети и подростки, и по мере того, как шествие продвигается вперед, народу все прибывает и прибывает. Музыканты, выйдя на середину улицы, играют не переставая с таким рвением, что их слышно во всем селе. Одни мелодии грустные, другие веселые и бодрые, в зависимости от того, что в этот момент наполняет душу Пицулы. А люди все идут и идут, вливаясь из улиц и переулков в общий поток. Но, разумеется, не все вышли на улицу; некоторые, облокотясь на заборы, глазеют на шествие из своих дворов.

Праздник резко, решительно разделил людей на два лагеря. Недаром в священном писании говорится, что господь бог некогда разделил всех людей на праведников и грешников, и грешников оказалось больше, чем праведников. А тут большинство шествует по улице, а меньшинство стоит, облокотившись на заборы. Но кто же не решается выйти на улицу?

Это Ференц Вираг, Барна Надь, Гашпар Толвай, Эрне Пепи и им подобные. Даже Васнаш-Надь и тот, с трудом переставляя ноги, плетется в общем потоке, низко-низко, чуть не до земли, опустив голову.

Шествие оставляет позади себя дома, улицы, и все как бы приобретает другую окраску, другой вид: деревья, дома, воздух,— их словно умыл весенний дождь. Даже у тех, кто пристроился у своих ворот, глаза разгораются и ноги уже не могут устоять на месте. Они с трудом сдерживаются, чтобы не присоединиться к шествию и не позволить увлечь себя бурному потоку.

Словом, демонстрация удалась на славу. К полудню умолкли мотоциклы, разъехались велосипедисты, чтобы теперь пешими снова собраться возле сельсовета, где должен состояться митинг.

На митинге сначала говорил председатель уездного совета, потом председатель сельсовета Балинт Ходош и, наконец, от имени кооператива «Свобода» выступил Бердеш.

Пицула на сей раз сыграл сначала «Интернационал», но сразу же переключился на марш Ракоци, под бравурные звуки которого народ разошелся по домам, чтобы приготовиться к вечеру, когда все соберутся на концерт художественной самодеятельности.

Каждый готовится к вечеру по-разному, но у людей радостное сознание того, что этот праздник принадлежит им, поэтому они и повеселятся от всей души, изольют всю радость своего сердца. Но есть и такие, которые хотят быть только зрителями, посмотреть, на что способны кооператоры. А есть и такие, кому вообще безразлично, что и как будет — лишь бы праздник! О таких людях говорят: «Умри хоть сам господь бог, только чур не в воскресенье!..»

А как готовятся к праздничному вечеру церковники и кулаки?

Гашпар Толвай встретил праздник тем, что запряг лошадей и выехал в поле, чтобы даже не быть в этот день в селе. Но ему навстречу с грохотом выскочили мотоциклисты. Лошади, напуганные страшным шумом и треском, сломали дышло и понесли подводу вместе с хозяином вдоль Большой улицы вон из села. Возле моста, у статуи святого Яноша Непомуки, они попытались проскочить напрямик,— вниз им это удалось, а вверх уже не вышло. Лошади, подвода, хозяин — все смешалось в кучу. Спасли Гашпара мотоциклисты, повернувшие обратно у околицы села.

Эрне Пепи начал праздник с того, что пытался до начала концерта поговорить с глазу на глаз с Мислаи.

— Погодите одну минутку! — отвечает ему Мислаи и исчезает за занавесом.

В гардеробной и на сцене царит волнение. То один, то другой участник концерта приоткрывает занавес и в щелку посматривает в зал, прикидывая, много ли собралось публики. Парикмахер Шербалог по очереди гримирует парней; одному приклеивает усы, другому надевает седой парик. Да и с девушками тоже немало хлопот: молоденькую нужно преобразить в старуху, красивую сделать писаной красавицей. Парни меняются сапогами, меряют ботинки — Мислаи принес сюда всю свою обувь, целых три пары. Все ходят взад и вперед, на сцене становится тесно. Из зала доносится шум и гомон.

— Прекратите продавать билеты! Прекратите продавать билеты! — то и дело слышится предупреждение кассирам.

— Раз просят, не можем прекратить,— отвечает Сито, продолжая выдавать билеты.

Йошка Пап получает деньги, Андраш Кеваго приходует выручку, Михай Бири наблюдает. А народ толпой валит в зал. К восьми часам вечера буквально яблоку негде было упасть.

На вечере присутствуют члены кооператива «Свобода» с их семьями, дисовцы и их родные. Но пришли на вечер и те, на кого не рассчитывали. Если, например, Ференц Вираг остался дома, то здесь присутствуют его зять и сын. Нет Анны Кокаш, но пришел ее крестник.

Распорядитель вечера Антал Речеге-Киш, опершись о дверной косяк, смотрит в переполненный зал. К нему подходит Шаркези.

— Товарищ Речеге-Киш, прошу тебя, будь начеку, гляди в оба. Не нравится мне эта давка.

— Будь спокоен! Кто посмеет пикнуть, я того тут же вышвырну, он и очухаться не успеет! — утешает Речеге-Киш. Ему еще никогда не приходилось отвечать за порядок в общественных местах. Да, кроме того, он не очень уж часто и бывал там, разве только после того, как его, наконец, приняли в кооператив. И поэтому, а может и по многим другим причинам, он признает только крайние меры: вышвырнуть или заткнуть глотку! Может быть, это тоже неплохой метод.

Уже начало девятого. Публика волнуется, в зале раздаются хлопки. Взволнованный Мислаи собирает участников концерта. Но где участники инсценировки «Соловей»? Где Пишта Надь? На сцене его нет. Между тем он был здесь, его видели, но он куда-то исчез.

Реформатский поп буквально одолевает Мислаи: он подготовил веселый скетч — хотел бы привести сюда артистов — и просит включить этот номер в программу вечера.

— Какой скетч? — в недоумении спрашивает Мислаи.

— Там речь идет об одной супружеской паре, к которой приходит гость. Словом, этот гость садится прямо в помидоры...— расписывает поп. Мислаи делает вид, будто ему все ясно, но на самом деле он ровным счетом ничего не понимает из того, что рассказывает пастор. Мысли его заняты другим.

— Культорг! Куда он девался?

Культорг Пишта Сито здесь. Он с серьезным видом прислушивается к тому, что говорит поп.

— Хорошо. Приводите своих артистов.

— Весьма вам благодарен; через две минуты мы будем здесь,— благодарит пастор и быстро уходит.

— Дядюшка Мислаи! Дядюшка Мислаи! Идите сюда, скорей! — заглядывает в дверь Жужика Шаркези.

В коридоре учитель видит небольшую группу девушек, две из них стоят сбоку, стараясь прикрыть собой Эржи Тарнок. Эржи с заплаканными глазами смотрит на Мислаи. Она в одной комбинации и шелковой блузке, которую ей ради такого случая дала Эсти, но блузка не сходится у нее на груди.

— Что же мне теперь делать? — в отчаянии спрашивает она.

— Как что? — переспрашивает Мислаи и чувствует, что он уже ничего не соображает. Он только смотрит отсутствующим взглядом на Эржи.— Во всяком случае, надень юбку, не вздумай только выйти в таком виде на сцену...

В ответ Эржи заливается слезами и издает какие-то нечленораздельные звуки.

— Шари Фейер! Где Шари Фейер? — словно ошалелая овца, мечется Мислаи.

— Я здесь! — Шари выглядывает из артистической, где помогает Шербалогу гримировать парней.

— Дайте, пожалуйста, Эржи какую-нибудь блузку!

— Блузку? Что ж, это можно.— И она окидывает взглядом девушку.

— Начинайте! Пора! — все чаще доносится из зала, и ничего не остается, как и впрямь начать представление. Ведь стоит только поднять занавес, и все постепенно встанет на свое место.

Но вдруг куда-то исчез Кульчар. Где Кульчар? Только что он был здесь... а он ведь должен выступить с приветствием.

Кульчара находят, вот он уже на авансцене. Он говорит о дне освобождения, о жарких боях первых лет, о крепнущей ныне культурной революции, о мире. В первые минуты в разных уголках зала то и дело возникает шум, но потом речь увлекает всех присутствующих.

После Кульчара на сцену выходит Пишта Мислаи и объявляет, что сейчас выступит хор ДИСа с молодежными песнями. Один номер сменяется другим. Вслед за хором выступает танцевальный коллектив. Мислаи объявляет название танца — «Лущение кукурузы», но что общего у этого танца с лущением кукурузы, он, пожалуй, и сам толком не знает. Это, впрочем, не так важно, главное, что номер прошел с бурным успехом. Зрители неистовствовали, грохотали скамейками, стучали ногами по полу. Танец исполняли восемь девушек и восемь юношей под аккомпанемент оркестра Пицулы. Первым танцором был Андриш. Выйдя на сцену, он громко щелкнул плетеным кнутом. От этого щелчка и

до последнего такта танец был до того стремителен, что в зале те, кто помоложе, даже вскочили со своих мест и прихлопывали в ритм ладонями.

— Бис! Бис! — кричали зрители. И танцорам пришлось плясать до полного изнеможения.

Затем Лаци Бердеш исполнял старинные народные песни. Среди них была, например, такая: «Покинул я сторону родную... Отчизну славную мою». После Лаци танцевала Эстер Мольнар. Подыгрывал ей один Пицула, без оркестра.

Танец Эсти был встречен гробовой тишиной, никто даже не кашлянул; буря разразилась, только когда ее уже не было на сцене. Аплодировали без конца.

— Бис! Бис! — кричали в зале.

Эсти бросилась в артистическую, прислонилась спиной к стене, прижала руку к сердцу и во все глаза смотрела туда, в сторону зала, где нарастал грохот аплодисментов.

— Ты была прелестна...— сказал, зайдя к ней, Андриш и погладил девушку по щеке.

— Неужели хорошо получилось? Меня от души вызывают? Правда?

— Ну, конечно, от души. Тебя просто нельзя не вызывать. Иди... это твой долг.

Пицула не переставал играть, правда тихо, несколько приглушенно. Но когда Эсти снова выбежала на сцену, он ударил по струнам во всю мощь. И с этого момента мир словно заклубился в розовом тумане... Эсти танцевала уже не для публики, а для самой себя. В крови ее забурлили такие силы, которым она уже не могла воспротивиться, если бы даже захотела. Эсти и не помнила, как оказалась за сценой. Пришла она в себя только в артистической, где ее окружили Кульчар, Шаркези, Рожи и стали пожимать ей руки. И в эту минуту в душе ее окончательно померк соблазн ехать в Будапешт, в Театральный институт. Ведь если ей нужны аплодисменты, она может иметь их и дома. А чем отличаются здешние аплодисменты от будапештских?

Номера сменялись один за другим. Сейчас должен последовать гвоздь программы — стихотворение Яноша Араня «Соловей» в инсценировке Пишты Мислаи. Но вместо того, чтобы объявить номер, автор инсценировки сам декламирует первые строки стихотворения:

Меж мадьярами бывало
Поговорка бытовала:
— Коли ссора, пусть уж ссора!
И тому немало лет.
Жил у Тисы знаменитой
Пал, хозяин домовитый,
Рядом — Петер жил, сосед.

Вот и я скажу об этом:
Пал и Петер — праздник летом,
Пал и Петер даже в святцах

Скромно рядышком стоят;
А у Петера и Пала
Мира в доме не бывало,
Что ни утро — сущий ад!

Вечно ссора, вечно свара,
Нет покою, нет житья!
Ну и люди, ну и пара!
Вот так добрые друзья!

И затем вместе с раздвигающимся занавесом Мислаи исчезает.

На сцене начинается пьеса. Жена Пала — эту роль исполняет Эржи Тарнок — сходит с веранды во двор и трет рукавом глаза, так как из трубы соседнего дома, принадлежащего, должно быть, Петеру, дым валит прямо к ним во двор. Жена Петера вешает на заборную жердь кувшин. Завидя друг друга, женщины начинают переговариваться. «Как поживаете, соседушка?» — спрашивает одна. «Очень хорошо, любезная»,— отвечает другая и тут же так громко чихает, что вся сцена содрогается. В это время на дереве запел соловей. Ветка, на которой он сидит, нагибается в сторону дома Пала, но само дерево растет на дворе Петера. Пал, услышав на огороде пение соловья, произносит согласно тексту: «О боже праведный, до чего же хорошо поет моя пташечка!» — «Чорта с два, только тень от нее твоя!» — громко отвечает со своего двора Петер (это уже по Мислаи). Слово за слово, и они подбегают к забору, как разъяренные псы, поносят друг друга, забор трещит, ломается жердь, и, как следовало ожидать, Петер и Пал начинают дубасить друг друга.

Мислаи из-за кулис с тревогой следит за происходящим. Все было бы хорошо, если бы роль Петера играл не Пишта Надь, а еще лучше, если бы его вовсе не принимали в молодежную организацию. Но сейчас ничего не поделаешь; во всем виноват не столько сам Бердеш, сколько его сын Лаци, который дал понять, что без Пишты Надя он не будет участвовать в концерте.

Руководство молодежной организации после довольно долгих споров согласилось принять Пишту Надя — авось из «волка выйдет овечка». Вот почему так получилось, что Пишта на сцене играет Петера и ссорится так, будто все это происходит на самом деле.

— Огрей его разок! Не поддавайся, Пишта! Бей его, кулацкого ублюдка, Балинт! — кричат зрители, кому что больше по душе. (Пала играет младший брат Балажа Фюреса, Балинт.)

Пишта Надь явно навеселе, а Балинт Фюрес совершенно трезв; это-то как раз и плохо. Выпей, скажем, Балинт Фюрес, он просто уклонился бы от драки: у этого парня такая натура, что в трезвом виде он не боится даже самого чорта, а пьяный становится кротким и тихим, как муха в сметане. Наоборот, Пишта Надь, когда выпьет, никого не признает. Пожалуй, лучше всего будет, если мы воспроизведем здесь ту часть драматизированного

текста Пишты Мислаи, при исполнении которой и разразился скандал:

Пал (*кричит*). Заткни глотку! Я все равно не уступлю тебе трели моего соловья!

Петер (*отрывает от забора доску*). А он разве твой? Может, скажешь, и дерево твое, и дом этот, и двор этот твой?

В этот момент домочадцы Пала и Петера, женщины и дети, выбегают во двор.

Сын Петера (*он еще подросток*). Огрей его разок, папаша!

Жена Петера (*протягивает сыну палку*). На вот, бей его!

Сын Петера поспешно выхватывает из рук матери палку, пытается ударить ею по голове Пала, но мужчины уже дерутся, и поэтому, промахнувшись, он бьет по голове своего отца.

Петер (*оборачивается, вопит*). Дурак!

Жена Пала хохочет.

Пал (*со страшной силой бьет Петера по голове*). Получай! Это твое, а пенье соловья — мое!

Публика неистовствует. Оба парня, Пишта Надь и Балинт Фюрес, определенно спятили. Несколько мгновений казалось, что Пишта Надь, защищаясь, отступает. Илонка Речеге-Киш, исполнительница роли жены Петера, и Эржи Тарнок — жена Пала застывают на месте. Женщины смотрят на все происходящее с таким видом, будто дети и на самом деле принадлежат им.

Эржи Тарнок, эта крепкая, упитанная девушка, хватает жердь от развалившегося забора и подкрадывается к дерущимся. Голова Пишты Надя, то есть Петера, вдруг склоняется на бок: он получил такой оглушительный удар, что даже жердь затрещала. Эржи Тарнок так хватила его по голове, что он упал на колени и лишь немного погодя, опираясь рукой о пол, шатаясь из стороны в сторону, с трудом поднимается.

Часть публики требует опустить занавес, другая часть молча таращит глаза на сцену. Распорядитель, подозревая, что случилось неладное, верный своему обещанию, хватает за шиворот какого-то человека, стоящего рядом с ним, и выталкивает за дверь.

Пишта Надь предпринимает новое наступление. Эржи Тарнок, прицелившись обломком жерди, снова размахивается. Мислаи в отчаянии дергает за веревку, но занавес заело. В это время на сцену вбегает Кульчар и, задернув за собой занавес, обращается к парням:

— Вы что, с ума сошли?

На сцене поднимается страшная суматоха. Счастье еще, что удается прекратить скандал.

Некоторые зрители думают, что так и нужно было играть. Другие, кое о чем догадываясь, поглядывают во все стороны, как бы

намекая, что все это неспроста. Но есть и такие, которые, поднявшись со своих мест, не говоря ни слова, пробиваются к выходу. Но это не столь важно. Их уход даже незаметен в зале, на освободившиеся места тотчас же садятся другие.

Но представление этим не кончается; следует вторая картина. На сцене зал суда. Под глазами у Пала синяки, причем самые настоящие, голова Петера повязана, и не напрасно, потому что и на самом деле ему досталось от удара Эржи Тарнок. На сцене за столом сидит судья, сбоку два адвоката. На сей раз все разрешается мирным путем. Деньги крестьян перекочевывают в карман судьи... и занавес задвигается. Мислаи снова выходит на авансцену и декламирует последние строфы стихотворения своего «родственника».

Следующий номер программы — инсценировка стихотворения Араня «Усы».

Жужика Шаркези выглядит очень красивой цыганочкой. Дело в том, что она категорически отказалась уродовать лицо гримом. Поэтому зрители и разражаются громким смехом, увидев знакомое всему селу красивое личико в лохмотьях старухи.

Номер прошел без происшествий, если не считать того, что, когда по ходу действия безусого старосту заколачивали в бочку, у артистов под руками оказались лишь гвозди и молоток, а щипцы, чтобы вытащить гвозди и освободить исполнителя, забыли принести. С трудом, но все же, наконец, выбили у бочки дно. Тогда в зале поднялся такой рев, которого не слыхали эти стены. Игравший роль старосты Пишта Сито, находясь в бочке, приклеил себе огромные усы из кукурузного лыка и в таком виде показался на свет божий. Создалось такое впечатление, будто в бочке у него и в самом деле выросли усы. Такую концовку придумал сам Пишта и никому заранее о ней не говорил.

Только поп не смеялся; он даже не был среди зрителей, а без устали бродил за Мислаи, то и дело спрашивая, когда же будут выступать его артисты.

— Погодите...

— Я думаю, что сейчас как раз время...

— Ну ладно, давайте. Я объявляю.— И Мислаи выходит на авансцену.

Скетч, в том виде, как он был написан, собственно говоря, довольно безобиден. Беда только в том, что те, кто его ставил и играл, предназначали пьесу не для развлечения публики.

Несмотря на скандал во время инсценировки «Соловья», все же удалось избежать драки в зрительном зале. Но как только будет показан этот скетч, ясно, что она обязательно произойдет.

На сцене крестьянская семья и гость. Исполнители — три парня и две девушки. Парни для храбрости изрядно выпили. Одна из девушек, испытывая неловкость из-за грубых пошлостей своих партнеров, убегает со сцены. Но вторая девица выдерживает до конца.

Содержание скетча таково: гость садится в миску с помидорами. Хозяйка чуть не лопается от злости, но тем не менее старается быть любезной. Гость щиплет ее за ягодицы; муж, видя это, хохочет. Одним словом, уйма пошлости из программы какого-то старого кабаре. В зале все чаще и чаще слышится шум и ропот.

Но вот гость снимает сапоги. На дворе, мол, идет дождь, и он не пойдет домой, а останется здесь ночевать. Жена говорит мужу: «Видишь, как он пьян, не обращай на него внимания, отец».

— Где поп, я ему задам! — скрежещет зубами Пишта Мислаи и направляется на поиски пастора, но, конечно, не находит его. Пока представление не началось, пастор стоял у входа, подпирая спиной дверной косяк, а потом исчез.

— Кто разрешил им безобразничать на сцене?— спрашивает Кульчар у Шаркези.

— Мислаи что-то говорил мне, но кто мог думать, что они осмелятся? — отвечает Шаркези, тут же выбегает на сцену и задергивает занавес.

— Попрошу, товарищи, соблюдать тишину! Кто со мной не согласен, может оставить зал!

Грохочут стулья. Десятка полтора зрителей встают и пробиваются к двери.

— Пусть дрянь выметается! — звонко восклицает жена Балажа Фюреса, после чего распорядитель, подхватив первого попавшегося под руки парня, выталкивает его вон.

3

Около одиннадцати часов вечера концерт закончился. Пицула и его музыканты вскарабкались на сцену, зал зашумел, словно река во время паводка.

Артисты разыскивают свои вещи, обмениваются одеждой, Шербалог снимает с них усы, брови, грим. Жужика Шаркези, придерживая рукой чулок у ноги и потому прихрамывая, то и дело повторяет: «Никто не видел мою подвязку? Никто не видел мою подвязку?»

— Вот она! — отвечает Кальман Циффра. Вытащив из кармана подвязку, он делает вид, что только что поднял ее, и весело хохочет.

Все это шутки, но они безобидны и чисты.

Женщины рассаживаются вдоль стен, мужчины выходят в корчму, где продавались билеты на сегодняшний концерт, и ждут, пока им дадут выпить. Молодежь готовится к танцам, Антал Речеге-Киш торопит музыкантов, но Пицула со знанием дела изучает обстановку.

— Погодите-ка, товарищ, дайте присмотреться...— говорит он.

С незапамятных времен повелось, что первый танец танцуют те, кто уже приглянулся друг другу. Разумеется, выбор всегда принадлежит парням, и они стараются устроить так, чтобы никто

не мог их опередить. А девушки, зная с кем они будут танцевать первый танец, спешат отказать более проворному, потому что уже пообещали танец другому. И действительно, в последнюю минуту подходит их желанный.

На Эсти парни набрасываются, как ястребы на цыплят,— все хотят танцевать с ней.

Но у нее для них один ответ: — Почему ты раньше не пригласил...— И глазами она ищет Андриша. Странно, он только что разговаривал возле входной двери с Шаркези и Кульчаром, а сейчас его нигде не видно. Хорошо хоть, что он беседовал именно с ними, и она успокаивается.

Новый корчмарь Губаштот тем временем открыл бочку вина. На вопрос Канья-Киша, с чьего согласия он это сделал, Губаштот отвечает, что, дескать, по указанию «верхов». А этими «верхами» могли быть только Кульчар или Шаркези; стало быть, ничего плохого в этом нет. Вполне естественно, что участникам концерта захотелось пить: на сцене и впрямь было довольно жарко, а как же они переволновались!.. Парни торопливо опрокидывают стопки и стаканы с вином и содовой, боясь опоздать на первый танец. Кальман Циффра после целого вечера беготни и волнений выпивает залпом два больших стакана вина. Затем, несколько успокоившись и остыв, останавливается возле дверей и ищет глазами Жужику Шаркези.

Жужика, конечно, здесь, куда же ей деваться? Но вокруг нее, беспрестанно улыбаясь, увиваются два парня. Оказывается, подойти к ней не так уж просто, как он думал. Видимо, не только у него такие намерения... Ну что ж, со временем все образуется.

Только теперь, когда кооператив «Свобода» начал устраивать вечера и гулянья, ночью стало спокойно: парни больше не дерутся. Вечера проходят дружно и весело. Если один из парней начинает шуметь, возле него, как из-под земли, сразу же вырастают приятели и окружают его со всех сторон таким плотным кольцом, что у него сразу проходит всякая прыть. А сейчас и вовсе нечего помышлять о драке. Ведь в зале, во-первых, большинство сознательной молодежи, а во-вторых, здесь присутствуют и многие старики — члены кооператива.

— Никаких происшествий не ожидается! — заявляет Речеге-Киш, который, стоя у входа, пристально вглядывается в зал, не затевается ли где-нибудь ссора. Здесь разговор короткий: за шиворот, и вон из зала! Это, по его мнению, единственный действенный способ поддержания порядка. Но пока все идет своим чередом. Пицула начинает чардаш, и пары, положив руки друг другу на плечи, пускаются в пляс.

В зале ярко горят керосиновые лампы. Свет их слепит глаза, платья девушек еще не смяты, парни трезвы и оживленны, и Канья-Киш с радостью думает о том, какие они сегодня все пригожие. Он и сам еще молод, к тому же сегодня пришел сюда не по делам службы, а просто так — посмотреть на молодежь.

Девушки, сменяя друг друга, проплывают мимо в танце и каждый раз бросают на него ласковые взгляды. Почему бы не посмотреть — на то они и девушки. Одна из них, совсем еще молоденькая, лет тринадцати-четырнадцати, с уложенными веночком волосами, стоит возле стены рядом с матерью. С ней он сейчас станцует. И Канья-Киш боком пробирается сквозь кружащуюся толпу.

Но не закончился еще первый танец, как на улице раздается дикое гиканье, а затем слышится непристойная песня, которая никак не соответствует общему настроению.

Кульчар, Шаркези, Бердеш, Сито, Йошка Пап, Лайош Кошут-Киш, то есть почти все правление вместе с новым директором и бухгалтером сельпо, сидят за столом в отдельной комнате. Заслышав эти дикие выкрики, они с тревогой прислушиваются к происходящему на улице. Среди них и старый Бири, который попрежнему вовсе не пьет спиртного, но тем не менее, облокотясь на ручки кресла и нагнувшись вперед, не отрывает глаз от графинов с красным вином.

— Может, разогнать? — спрашивает он.

— Погодите,— отвечает Шаркези и снова прислушивается.

Кто-то дико вскрикивает, будто наступил на колючку, а потом затягивает песню:

Если деньги есть, ребята,
У хортистского солдата,
Все оставит в кабачке
У цыгана на смычке.

— Кто это? — спрашивает Кульчар.

— Как будто... сын Вирага и его собутыльники.

— Я скажу Речеге-Кишу,— не сидится на месте старому Бири.

— Не надо. Будем начеку и вмешаемся, как только они хватят через край.

Шум и крики стихают: очевидно, парни пошли дальше или угомонились. Но немного погодя к входу в зал со стороны улицы, крадучись, подходит какой-то парень. У него нет билета, да и одет он не по-праздничному, но тем не менее заглядывает внутрь и смотрит на танцующих. Кто-то неожиданно захлопывает перед ним дверь. Однако это не смущает парня. К концу танца он оказывается возле задней двери. В то же время кто-то говорит Пиште Надю, который уже почти совсем успокоился и веселится вместе с остальными.

— Пишта, тебя ждут!

Пишта Надь в смущении смотрит на Кати Бердеш, с которой он только что танцевал. (Эсти долго уговаривала ее принять это приглашение.)

— Я сейчас вернусь,— говорит Пишта и выходит.

Кати поводит плечами и облегченно вздыхает; рядом с ней оказывается другой парень. Он что-то говорит ей, и они медленно

выходят на середину зала. Через несколько мгновений к ним присоединяется вторая, третья, четвертая пара — вся молодежь хлынула из углов на середину зала.

Лаци Бердеш под руку с Марией Кеваго оказывается в самом центре круга и, ступая в тесноте мелкими шажками, разговаривает обо всем, что приходит в голову.

— Я слышал, ты уезжаешь на курсы. Это правда? — спрашивает он.

— Собираюсь. По крайней мере, мне хочется.

Лаци глухо покашливает.— Если ты, Марика, напишешь мне хоть пару слов, я буду тебе писать о всех наших новостях. Что ты на это скажешь? А?

— С радостью, но... не знаю, будет ли у меня там достаточно времени...

Мария не успевает сказать то, что ей хотелось, потому что сквозь толпу к ним пробирается какой-то паренек и шепчет Лаци, что его вызывают на улицу.

Лаци нерешительно освобождает свою руку из рук Марии. Он понятия не имеет, кто его может звать, да к тому же ему не хочется покидать Марию, но что поделаешь, надо идти!

— Прости! На одну минуту...— нехотя говорит он.

— Лаци! Смотри, не впутайся опять в какую-нибудь историю! — наставительным тоном, словно мать, говорит девушка и грозит ему пальцем.

— Нет, что ты! Не знаю, в чем дело... я сейчас вернусь,— уходя, говорит Лаци.

Мария растерянно смотрит ему вслед, затем разрывает круг танцующих и становится между двух девушек.

Лаци действительно ожидают на улице. Там собрались отпрыски богачей: сын Ференца Вирага, сын Гашпара Толвая, младший брат Пишты Надя — Бела. Здесь же Балог-Надь, который, собственно, далеко не юнец, он успел уже развестись с женой; тут же и участники злополучного скетча. Все они от нечего делать слоняются по улице. Кое-кто из них, правда, был на концерте, но сразу после его окончания все они собрались вместе. Разумеется, компания успела уже выпить. Правда, двери сельпо были для них закрыты и в корчму они не попали, зато клюкнули дома у корчмарки, которая тайком торгует и вином и дочерьми.

— Наконец дождались тебя! — говорят они Пиште.

— Надо же человеку и потанцевать немного,— пытается оправдаться Пишта. Очевидно, об этой встрече они договорились заранее.

— И ты еще можешь танцевать там, где тебя так огрели по башке? — издевается Фери Вираг.

— Меня? Ведь это же представление. И я в долгу не остался,— пробует спасти положение Пишта Надь.

— Благодарю покорно за такое представление, где человека с

ног сбивают,— продолжает подтрунивать Вираг, но в это время к ним подходит Лаци Бердеш. С этим нужно говорить иначе, он не так близок к их кругу, как Пишта Надь.

— Чего звали? — не то чтобы сердито, но и не дружелюбно спрашивает Лаци, подозрительно посматривая на парней.

— Мы вызвали тебя, Лаци, только потому, что спектакль уже кончился, а на вечере у тебя там никого ведь нет. Пойдем с нами, кутнем там, где на нас никто не будет таращить глаза. С Пицулой мы уже договорились... он пришлет нам музыканта. Мы и повеселимся на славу.

— Где? В корчме?

— Можно и там, но лучше у Фери Вирага. У его папаши такое крепкое вино, что...

Лаци молчит, по всей видимости, он колеблется.

— Кого тебе жалко там оставлять? Эстер Мольнар все равно плюет на тебя,— говорит Пишта Надь.

— Зачем гоняться за той подводой, на которой тебе не ездить? — изрекает Фери Вираг.

— А разве я гоняюсь? И не думаю, в помыслах у меня этого нет...— защищается Лаци и тут же соображает, что, пожалуй, не надолго можно бы и пойти, по крайней мере, разнюхать, что задумали, о чем будут говорить эти парни. Но ведь он теперь отвечает за свои поступки не только перед самим собой, но и перед молодежной организацией, да еще перед кооперативом «Свобода»... И вот так уйти сейчас с этими кулацкими сынками, никому не сказав ни слова?..

— Подождите минутку, я сейчас...

— Может, собираешься ябедничать? — язвительно спрашивает Балог-Надь.

Оторопев, Лаци застывает на месте. Внезапно рождающиеся мысли, подобно злым псам, терзают его душу. С одной стороны, прошлое обязывает его хранить тайну, не отклоняться от укоренившихся обычаев села, с другой стороны, он поклялся молодежной организации, что никогда, ни на минуту не забудет о долге члена ДИСа! Но беда в том, что, помимо всего прочего, он еще лично многим обязан Пиште Надю. Что бы сделал сейчас на его месте отец? Наверно, не покинул бы Надя...

— Ладно, пошли, но... только не надолго,— соглашается он.

Парни молча трогаются в путь, быстро удаляясь от освещенного зала, где в разгаре молодежный бал, и апрельская ночь поглощает их.

Дом Ференца Вирага стоит не на Большой улице, где, как правило, живут одни кулаки, а на отшибе, в Коццеге. Зато там выделяется и дом и его хозяин. Правда, Вираг получил в наследство не больше, чем другие мелкие крестьяне: не то дом, не то даже половину, да пару хольдов земли. Но ему еще не исполнилось и сорока лет, как он уже разбогател. Как же это могло случиться?

Все богатеют по-разному. Нет в мире двух таких крестьян, пути которых к обогащению были бы совершенно одинаковы.

Вираг еще в молодости понял, что, когда господа дерутся между собой, крестьянин, если у него есть голова на плечах, может на этом поживиться. Конечно, если он пользуется авторитетом среди сельчан. Как же его приобрести? А вот как: втереться к господам в доверие, ждать, пока они поссорятся, а тогда стать на сторону одного или другого. Разумеется, и здесь нужно сделать правильный выбор. Но когда так бывало, чтобы крестьянин заработал на ссоре господ? Ссорились они довольно часто, дрались на дуэлях, но это все пустяки, на этом не заработаешь. Зато, когда дело доходило до выборов депутатов парламента — вот это да! Тут действительно господа не щадили друг друга, топтали, давили почем зря.

Дело в том, что Ференц Вираг, как человек неглупый, знал, что «хрен редьки не слаще», то есть ему-то безразлично, кто будет депутатом. Вся эта шумиха затевалась для того, чтобы ежемесячно получать тысячу или больше крон, причитающихся депутату, и вместе с тем занять пост статс-секретаря или бог его знает какой еще.

Был здесь такой депутат из мелких адвокатишек, который потом стал главным уездным нотариусом. Короче говоря, приходилось топтать друг друга — игра стоила свеч. Но каждому кандидату в депутаты нужны были крестьяне, которые как-никак должны проголосовать за него. Вот тут-то и начиналась роль Ференца Вирага. Он, конечно, сначала протягивал руку за подачкой, а потом уже начинал вербовать избирателей.

Все прошло, богатство осталось; правда, теперь у него не больше десяти хольдов земли, остальные отобрали, но и с этих десяти хольдов в таком хозяйстве, как у Вирага, снять можно много.

Пока что у него еще сохранилось свое вино. Вирагу удалось обвести вокруг пальца фининспекторов: он выкатил бочки во двор, словно они пустые. Сборщики налогов ходили, ходили, обшарили подвал, чулан, амбар, прощупали скирду соломы, но на бочки, стоявшие во дворе, не обратили никакого внимания. А на самом деле одна из бочек действительно была пустая, а другая стояла возле колодца, как будто с водой, а на самом деле полная вина.

И вот парни пьют. О настоящем деле, ради которого они собрались, не говорят. Для всех ясно одно: их оскорбили, смешали с грязью и они за это отомстят. Пишта Надь после каждого выпитого стакана вина с особой остротой ощущает, как его унизили: выгнали с репетиции, донесли на отца, а вдобавок ко всему еще и отколотили. Все в нем взывает к мести.

— Пейте, голубчики, пейте! И закусывайте пышечками, не стесняйтесь! — угощает их жена Вирага, потом садится на диван и тайком, чтобы ребята не заметили, тихо плачет.

— Сервус, дружище Лаци! Пей, иначе хуже будет,— чокается Фери Вираг с Лаци Бердешем.

Лаци пьет. Все дальше и дальше удаляется от него молодежная организация, кооператив «Свобода», ответственность, долг, и мало-помалу мутнеет даже образ Марии — ее место снова занимает Эстер Мольнар. Что ни говорите, другой такой девушки нет на всем белом свете! Но вот Фери Вираг запевает свою любимую песню, которую, кроме него, пожалуй, никто больше и не знает в селе:

В седьмом часу пишу тебе письмо,
А здесь в Сорренто близок час заката.
Надеюсь, эти строки ты прочтешь
В веселии и здравьи, как когда-то.
Сердца больные лечит этот край,
Он вправду все болезни исцеляет,
И у кого кровоточит душа,
Пожалуй, здесь об этом забывает...

Откуда Фери взял эту песню, он, пожалуй, и сам сказать не может. А поет он ее только для того, чтобы не петь, что поют другие. Он не хочет иметь ничего общего с другими парнями в селе, особенно с теми, кто состоит в молодежной организации.

Итак, кулацкие сынки устроили бал здесь, у Вирага, а вся молодежь села веселится там, в зале сельпо.

После полуночи людей в зале становится все меньше и меньше, и, наконец, остаются только те, кто отвечает за проведение праздника. Сито и Йошка Пап подсчитывают деньги: вся выручка пойдет на пополнение молодежной библиотеки.

Глава седьмая

1

На улице уже брезжит рассвет.

На селе не осталось и следов вчерашнего веселья, разве что кого-то еще тошнит в углу двора сельпо да в корчме Губаштот собирается, наконец, приступить к уборке.

Тут же и Фери Вираг со своими приятелями. Все давно разошлись, а они только недавно явились. Теперь они уже не распевают песен, а только пьют и торопливо, бессвязно, как в лихорадке, о чем-то шепчутся.

Здесь далеко не вся компания, их всего-навсего пятеро, они озираются по сторонам ничего не видящими глазами: им досадно, что ночь прошла без происшествий.

Впрочем, они и не могли бы сразу ответить, что же должно было произойти; им хотелось бы повернуть вспять колесо истории

и снова сделаться первыми парнями на селе. В этом главное. О многом могли бы они поговорить, не будь у стен ушей.

— Еще литр! — бросает Фери Вираг, даже не глядя на корчмаря.

— Один? Пять и ни капли меньше! — восклицает крестник Анны Кокаш; по виду нельзя определить его возраст, но он сравнительно молод.

Губаштот не несет, а буквально тащит вино; постепенно свет от лампы тускнеет, и в корчму вливается рассвет.

В семь часов, когда солнце уже поднялось над горизонтом, от сельсовета, засунув руки в карманы, с задумчивым видом, бредет Тарнок. В воротах перед домом стоит пастор; посматривая вдоль улицы, он словно поджидает кого-то. Однако улица пуста, нет никого, кроме Тарнока.

— Доброе утро! — говорит Тарнок, протягивая пастору узловатый, толстый указательный палец. Стоит хотя бы на секунду остановиться на этом рукопожатии.

В рукопожатии проявляются все особенности и свойства человека. Есть люди, которые крепко сжимают руку и одновременно, чуть наклонившись вперед, заглядывают в глаза с таким видом, будто или собираются что-то шепнуть или заметили какой-то изъян на лице. Такому человеку хотелось бы казаться выше, чем он есть на самом деле. Есть люди и другого склада: протягивая руку, они делают это так, будто дотрагиваются до чего-то неприятного и грязного; сразу же после рукопожатия отворачиваются, стремясь показать своим видом, что им все наскучило или что им некогда. Вряд ли таких людей можно считать порядочными. Во всем их поведении чувствуется презрение к другим, они до самой смерти остаются убежденными в том, что как по знаниям, так и по человеческому достоинству стоят неизмеримо выше остальных. Напротив, открытое, искреннее рукопожатие как бы само говорит за себя. Оно кажется необыкновенно легким и нежным, какой бы тяжелой ни была рука.

«У него, очевидно, болит рука!» — думает священник и, дотрагиваясь ладонью до корявого пальца Тарнока, спрашивает:

— Откуда идете, почтеннейший Тарнок?

— Да вот, был в совете.

— В такую рань?

— В том-то и дело. А у них даже не ложились, все решают, пора ли начинать.

— Что начинать?

— Да все то же... разговор о социалистическом переустройстве села. В совете и обсуждают, быть этому или не бывать.— И он пристально смотрит священнику в глаза.— А вы что на это скажете, ваше преподобие?

— Мое мнение вряд ли представляет интерес, милейший Тарнок! — отвечает пастор, с трудом проглатывая слюну, словно у него в горле застрял комок.

— Ну, а все-таки, нам что же, прикажете терпеть?

— Терпение и страдания вознаградятся в раю, почтеннейший Тарнок.

— Нам туда не попасть. Не поместимся...— говорит Тарнок и, снова ткнувшись пальцем в ладонь пастора, идет дальше.

А пастору остается только размышлять, была ли это со стороны Тарнока шутка, или он говорил серьезно.

В Новой слободке, в доме Бердешей, чувствуется, что вчера в селе был праздник. Две девушки только что проснулись, зато третья, самая младшая, уже где-то во дворе или в саду. Хозяйка застилает постели. Кати умывается, а Эсти, еще не одетая и не причесанная, с красными полосами на лице — следами складок на подушке — пьет чай, закусывая его поджаренным хлебом.

— Кати, садись пить чай, а то остынет,— говорит мать, расправляя на постели покрывало. Глядя на то, как аккуратно жена Бердеша это делает, можно подумать, что она была на военной службе.

Кати, вытерев лицо полотенцем, подходит к столу. Зная, что поблизости нет мужчин, девушки держат себя свободно. Неожиданно, в тот момент, когда Кати одной рукой поправляет плечико рубашки, а другой размешивает сахар в стакане с чаем, на веранде слышатся чьи-то шаги. Кати в замешательстве пытается угадать, кто же это может быть, но ей это не удается. Она поспешно запахивается в халат Эсти. Та, в свою очередь, в спешке не найдя ничего другого, хватает пиджак Лаци, который он надевает только по праздникам, быстро набрасывает его на себя и снова присаживается к столу.

Входит почтальон.

— Сабадшаг! Целую ручки! — обращается он со своим обычным приветствием.

— Доброе утро. Что так рано?

— Да вот, почта. Вчера ведь был праздник...— говорит почтальон, кладя на стол пачку писем.— Тридцать два.

— А ты уже подсчитал, пострел! — замечает тетушка Бердеш.

— Это ни в коей мере не нарушает тайны переписки.— Почтальон умильно смотрит на Эсти, затем громко шмыгает носом, поправляет на боку сумку и говорит: — Ну пока, сабадшаг! Целую ручки.— И он уходит.

— Ну, что вы на это скажете? — спрашивает Эсти, переводя взгляд на пачку писем.— Придется опять заняться их разборкой, ничего другого не остается. Кати, помоги.

Это уже интереснее, и Кати, хихикая, начинает просматривать письма. Мать наблюдает, облокотившись на стол. В окно, выходящее во двор, ярко светит утреннее солнце, играя бликами на руках и шее девушек.

— Бог мой, как красиво...— вздыхает тетушка Бердеш.

В эту минуту в комнату входят Шаркези и Бердеш.

— Поили Дюрку? — неожиданно спрашивает у жены Бердеш.

— Подождет твой Дюрка, дойдет и до него очередь,— шутя отвечает ему Шаркези и подходит к Эсти.— А я к тебе, Эсти.

— Ой, я бы и сама зашла, только вот немного приведу себя в порядок...

— Какая разница, я уже здесь. У меня к тебе дело, Эсти.

— Пожалуйста, товарищ Шаркези! — говорит Эсти, выжидательно глядя на секретаря.

— Праздник наш прошел не совсем гладко — этим негодяям удалось малость напакостить. Но нас этим не запугаешь... Ты ведь знаешь — все идет к тому, что к осени наше село может стать социалистическим. Я не вижу к этому особых препятствий. Ласло Рожа почти уже с нами. Гергей Матэ вступает в кооператив, внося, кроме земли, двух тягловых коров (он сам об этом вчера сказал). Все больше становится тех, кто при встрече старается поздороваться первым... Даже Гашпар Чер и тот обратился ко мне вчера в сельпо: «Дай-ка спичку, сынок...» — И Шаркези тихо смеется.— Словом, наступило время, когда о социалистическом селе пора говорить нам не между собой, а со всеми крестьянами. Следовало бы раньше обсудить этот вопрос у вас в ДИСе вместе со всей сельской молодежной организацией. Словом, нужно приступать к делу. Что ты об этом думаешь?

— Мне кажется, мысль правильная, товарищ Шаркези. Однако, может быть, стоило бы сначала выяснить, поддержит ли нас ДЕФОС?

— В ДЕФОСе должны состояться перевыборы. Пока там во главе Чергете, мы ничего не добьемся. Вот будет новое руководство, тогда другое дело!

— А как ко всему этому относится сельсовет?

— В совете нет единого мнения. Одни — за, другие — против.

Кати Бердеш считает, что пора и ей сказать свое веское слово:

— Больше всех помогла бы организация МНДС. Там ведь секретарем Шари Фейер!

Бердеш с досадой смотрит на свою дочь.

— МНДС! Много они в этом понимают! С этим делом нужно подождать — вот что я скажу. Посмотрим, что нам принесет лето... И осень...— Но не успел он закончить, как вдруг на веранде слышатся чьи-то быстрые шаги и в комнату, не постучав, вбегает жена Барны Надя.

Остановившись в дверях, она оторопело смотрит по сторонам и, не поздоровавшись, молча перебирает руками, будто моет их над невидимым тазом. Все удивлены.

— Что случилось, почтенная Надь? Уж не стряслось ли чего? — обращается к ней Бердеш. Женщина тут же разражается рыданиями:

— О господи, господи, до чего же мне пришлось дожить!

Бердеш подходит к ней.

— Ну-ка, сядьте да расскажите толком, что случилось.

Но взволнованная Надь продолжает стоять.

— Мои дети не виноваты, они не вмешивались...

— В чем не виноваты? Во что не вмешивались? Когда? Где? — сыплются со всех сторон вопросы.

Жена Надя, довольно упитанная и крепкая женщина, опускается на стул. Раза два еще всхлипывает, вытирает глаза, шмыгает носом и говорит:

— Да в драку же!..

Все замолкают и удивленно смотрят на женщину. Бердеш резко поворачивается к жене.

— Наш мальчишка сегодня утром был дома?

— Лаци? Вернулся на рассвете, переоделся и ушел.

— И Лаци не виноват,— попрежнему моргает женщина, и слезы градом льются у нее из глаз.

Шаркези, выведенный из себя этими недомолвками, прикрикивает на нее:

— Да скажите толком, что случилось? О какой драке идет речь?

— Да в Тёкмате, где убили Андриша Кеваго.

Все замерли, как громом пораженные. Не смея взглянуть друг на друга, они напряженно смотрят на женщину. Вдруг Эсти встает и, уставившись в одну точку, машинально теребит борта праздничного пиджака Лаци. Забыв о присутствии людей, она снимает с себя мужской пиджак, как лунатик, подходит к шкафу, открывает дверцу и, даже не обращая внимания на то, что та распахивается настежь, спускает с плеч ночную рубашку. Привычным движением, прижимая ее локтями к бокам, она вынимает из шкафа комбинацию, натягивает ее на себя, и рубашка падает на пол. Затем быстро надевает блузку, юбку, туфли... поправляет пальцами волосы, накидывает на плечи легкое пальто и, ни на кого не глядя, идет к двери.

Бердеш преграждает ей дорогу.

— Что ты хочешь делать, дочка? Куда ты?

— Туда...— отвечает побледневшая Эсти дрожащим голосом и, не в силах сдвинуть с места Бердеша, бочком протискивается в дверь и выскальзывает наружу.

Надь тоже поднимается с места. Она уже несколько успокоилась.

— Мне надо идти...— И она направляется к выходу.

Шаркези бросается к ней и силой усаживает обратно.

— Ну-ка расскажите, что вы знаете об этой драке. Как все произошло?

— Я могу сказать только то, что сама слышала. На заре ребята повстречались с сыном Кеваго, завязалась ссора...

— И его убили? Кто там был, кроме ваших сыновей?

— Были и другие — например, Лаци.

— Моего сына не впутывай! — подбегает к ней хозяйка.

— Вот тебе и социалистическое село! — шепчет Кати, и рыдания сжимают ей грудь.

Вдруг слышатся чьи-то легкие шаги, и в комнату вбегает Мария Кеваго.

— Эсти! Где Эсти? — взволнованно спрашивает она и оглядывается вокруг.

Ее сразу же засыпают вопросами:

— Ну, как там? Что с Андришем?

— С Андришем? О! На него напали эти негодяи...— Она замечает Надь и набрасывается на нее: — И вы здесь? Как только у вас хватило наглости прийти сюда? Сама натравила сыновей на моего брата, а теперь выкручивается? Чего вам, собственно говоря, здесь нужно?

Надь вскакивает с места.

— Я могу и уйти, если кому мешаю. Только мне казалось, что... людская доброта не забывается...— И она выбегает из комнаты.

— Убирайся к чорту! — кричит ей вслед Мария и снова ищет глазами Эсти.— Где же Эсти?

— Как только она услыхала эту ужасную новость... сразу же убежала. Что с Андришем? — спрашивает Шаркези.

— Сейчас врач перевязывает его. Андриш жив и все время спрашивает об Эсти, хочет ее видеть и...— не в силах больше сдержать себя, Мария разрыдалась. Теперь уже и от нее нельзя толком узнать, что же, собственно, произошло.

Шаркези нахлобучивает на голову шляпу; Кати, дрожа всем телом, тоже поспешно одевается. Бердеш не может найти себе места; он чувствует: случилось что-то ужасное и непоправимое.

— Вот какие дела, дядя Лайош; напрасно, выходит, говорили вам, убеждали, что с семейкой Барны Надя связываться не следует. Вот и результаты. Выходит, во всем этом есть и ваша вина.

Бердеш молчит; жена его опускается на скамейку, бормоча:

— О господи, господи...

— Ну, пошли, узнаем, что с Андришем,— обращается к Бердешу хмурый Шаркези.

Комната, которая была полна народу, сразу пустеет. Только хозяйка мечется по дому — все смешалось у нее в голове. Она не знает, но догадывается, что у ее мужа не все благополучно; подозревает, что враждебные элементы снова выступили против кооператива «Свобода» и что в этом выступлении играет какую-то роль давнишняя дружба между ее мужем и Барной Надем; все это, наверное, имеет отношение к нападению на молодого Кеваго. Она лихорадочно одевается и, наконец, набросив на плечи платок, выходит из дому. Заперев кухонную дверь и сжимая в руках ключ, она направляется в село, к дому Кеваго, куда ее влечет беспокойство за своего сына, хотя идет она проведать Андриша.

2

В той части Тёкматы, где расположен дом Андраша Кеваго, царит полная тишина. На улице никого нет, не слышно даже лая собак, как будто поблизости никто не живет. Тихо и на дворе Кеваго; лишь у двери, ведущей в кухню, стоят несколько женщин. С улицы можно видеть только их спины; все они молча смотрят внутрь дома.

— Пустите...— говорит тетушка Бердеш, протискиваясь вперед.

В доме Канья-Киш беседует с Шаркези и Бердешем. Андриш лежит на кровати. Голова его туго перевязана бинтами. На краю кровати сидит Эсти, обнимает его и, не отрывая взгляда, ласково смотрит на него. Андриш — бледный, как смерть, то открывает, то снова закрывает глаза. Кожа его приобрела почти восковой оттенок. Доктор Элемер Барна стоит сбоку, не сводя глаз с больного. Андраш Кеваго, этот твердый, волевой человек, сидит на скамье, из груди его вырываются какие-то нечленораздельные звуки. У изголовья стоит Мария. Там же, чуть сзади, и мать Андриша. Прикрыв рот подолом передника, она тоже не отрываясь смотрит на сына. Жена Бердеша оглядывается вокруг; здесь много и посторонних: Шенебикаи, Гергей Матэ, но не их хотела видеть тетушка Бердеш. Она смотрит на всех только для того, чтобы прочесть на их лицах что-нибудь о ее сыне.

— Эсти! Не бойся, Эсти, я не умру! — превозмогая мучительную боль, тяжело дыша, шепчет Андриш, сжимая своей рукой руку девушки. Он не может шевельнуться, подвижна только левая рука, будто в нее переместилась вся жизнь.

Эсти с трудом сдерживает рыдания; она ничем не может ни помочь, ни утешить, она только глубоко, всей душой страдает и пристально смотрит Андришу в глаза, как бы стремясь вдохнуть в них жизнь.

— Я не могу взять на себя ответственность, его нужно немедленно отправить в больницу,— после длительной паузы говорит врач.

В ответ жена Кеваго причитает все громче и громче; такой уж у крестьянок обычай — чтоб заглушить слезы, они начинают охать и причитать. Если берут в больницу, значит конец... С тех пор, как на свете существуют больницы, туда кладут только тех, от кого уже отказались врачи, то есть тех, кто на пороге смерти.

— Да не бойтесь вы, тетушка Кеваго, ничего с ним не случится. Ведь мы его повезем туда для того, чтобы вылечить!

— В больницу? Ох...— И она широко всплескивает руками,— ведь больница — это сущий ад.

— В больницу так в больницу,— это лучше, чем смотреть на его муки! — Кеваго не находит себе места.— Пойду запрягать, что ли...

— Телегу? Нет, в телеге нельзя. Я вызову скорую помощь,— говорит врач и выходит.

Ну и день выдался на селе! По Большой улице из одного конца в другой к Тёкмате промчалась машина скорой помощи с красными крестами на бортах и, спугнув зевак, остановилась перед домом Кеваго. Одна из женщин, испугавшись резко затормозившего автомобиля, прыгнула в канаву. Страх ее был настолько велик, что, будь в канаве грязь, и это бы ее не остановило.

Андриша, притихшего и молчаливого, под непрестанные причитания матери внесли в машину. Кеваго, как обезумевший, метался из стороны в сторону. Доктор, вернувшийся на мотоцикле, быстро написал главному врачу больницы записку. Эсти с окаменевшим лицом, не плача, а словно прислушиваясь к чему-то далекому, несмотря на возражения санитарки, села в машину. Автомобиль дал сигнал, и через несколько секунд улица снова стала немой и безлюдной.

Зато перед домом правления кооператива «Свобода», перед сельсоветом и перед зданием полиции гул голосов все усиливается.

Шаркези вихрем мчится на своем велосипеде через село и, наконец, останавливается у полиции.

— Товарищи, как можно с этим мириться? — негодует он.

— Да подожди, не кипятись! — утихомиривает его Канья-Киш.

— Когда же этому будет положен конец?

— Я думаю, это последнее... Зайди-ка вечером, тогда я смогу тебе кое-что рассказать.

Шаркези возвращается в правление. Здесь собралось уже много кооператоров, взволнованных происшедшим. За несколько минут они выкладывают Шаркези все, что слышали, однако короткий и простой вопрос Балажа Фюреса — «умрет?» — заставляет всех затаить дыхание.

Никто не отвечает. Молчит и Шаркези. До его сознания внезапно доходит, что это может кончиться смертью! Это ведь была не драка, а покушение на убийство! Неужели первой жертвой в кооперативе должен стать этот хороший, способный парень, да еще при таких обстоятельствах? Сознавая свое бессилие, Шаркези в волнении ходит из угла в угол. Его охватывает гнев: выходит, все его разговоры с Бердешем напрасны.

— Товарищ Бердеш здесь? — даже не оглядываясь, сурово спрашивает он.

— На складе он,— тихо отвечает Шари Фейер, которая, чуть слышно всхлипывая, стоит в дверях.

— Ну-ка, позовите его!

Шари Фейер исчезает, и вскоре вместо нее на том же месте появляется Бердеш.

— Товарищ Бердеш, распорядитесь о срочном созыве общего собрания членов кооператива!

— Когда?

— Как можно быстрее. Хотя бы в воскресенье с утра, в крайнем случае, к вечеру. Но собраться обязательно нужно.

— Так ведь у нас было собрание всего две недели назад. Зачем еще раз беспокоить людей?

— Зачем беспокоить? Подумайте немного, товарищ Бердеш, тогда поймете. Чего только мы ни делали — и я, и другие,— чтобы разъяснить вам, убедить бросить ко всем чертям этого Барну Надя, не водить с ним дружбу, не связываться с его сыновьями! Вы нас не послушались. Вот и результат! Из-за вас чуть не убили преданного честного парня!

Все молчат. Молчит и Бердеш. До него только теперь дошло, что в этом несчастье, которое может кончиться смертью ни в чем не повинного человека, есть и его доля вины: он не должен был уступать Барне Надю.

— Мой сын в драке не участвовал,— тихо говорит он.

— Это была не драка, а покушение на убийство! — набрасывается на него Шаркези.— Если Лаци и не бил, то допустил, чтобы били другие, вам это понятно? Впрочем, этот вопрос мы обсудим на общем собрании, а может быть, и в парторганизации. Заварили кашу, сами и расхлебывайте! Хватит с нас вашей беспомощности. Если вы уже не можете помогать кооперативу, то хоть не вредите делу! Но, клянусь, этого больше не будет! — И ни на кого не глядя, ни с кем не прощаясь, Шаркези снова идет в полицию.

Арестовано уже двое; один из них Бела Надь, младший брат Пишты. Однако самого Пишту пока не нашли. Арестованные сидят и курят. Их охраняет всего-навсего один полицейский; он держит себя так, будто один в комнате: рассеянно играет со спичечной коробкой, то открывая, то закрывая ее, причем проделывает это с таким видом, словно отпирает какой-то сложный замок. С обоих парней уже давно сошел хмель, им хочется сейчас все рассказать, хочется, чтобы все уже было позади и их положение в какой-то степени прояснилось. Ведь нет ничего страшнее гнетущей неопределенности. Но полицейский молчит, точно совсем и забыл о том, что они здесь. Иногда слышатся то приближающиеся, то удаляющиеся поспешные шаги. Через комнату проходит какой-то полицейский и тоже не глядит на них. А стоило бы посмотреть на этих жалких парней. И куда только девалась их ночная пьяная удаль, предрассветное ухарство?

— Будьте добры, товарищ, скажите, который час? — вдруг спрашивает Бела Надь.

— Половина одиннадцатого,— сонным голосом отвечает полицейский и продолжает играть со спичечной коробкой, не отрывая от нее глаз.

В это время Канья-Киш вместе с другим полицейским в доме Ференца Вирага допрашивают хозяина:

— Вы скажете, наконец, где кирка?

— Кирка? — удивленно переспрашивает Вираг.— Да нет в доме никакой кирки и никогда не было...

Разговор этот происходит у террасы; полицейские уже собрались уходить, Канья-Киш все еще заглядывает то туда, то сюда; уже обыскали всё, облазили все углы, однако кирки не нашли. А Вираг не признается, где она спрятана.

— Ну, хорошо, Ференц Вираг. К тому времени, когда кирка нам понадобится, надеюсь, она найдется. А теперь собирайтесь, пойдем.

Когда они уходят, дверь кухни остается неплотно закрытой, и из горницы доносится женский плач; потом кто-то внезапно отшатывается от окна.

На улице суета; многие женщины почему-то считают своим долгом забежать к соседям именно в тот момент, когда полицейские проводят по улице Вирага. В дверях сельпо стоит Ференц Тарнок; засунув руки в карманы брюк, он глазеет по сторонам. Тарнок дожидается, пока мимо него проведут арестованного, затем спускается с лестницы и делает знак рукой Канья-Кишу, идущему позади. Тот оборачивается.

— Кирка-то в колодце,— еле слышно говорит Тарнок и, крякнув, лениво идет по пешеходной дорожке.

Канья-Киш на мгновение останавливается, а затем быстро догоняет идущих впереди. Перед зданием сельсовета он оставляет Вирага на попечение полицейского, а сам входит в дом. Отыскав председателя, он что-то говорит ему, председатель тут же вызывает участкового полицейского, тот садится на велосипед и отправляется на поиски начальника пожарной команды.

В общем не прошло и часа, как пожарные выкачали из колодца Ференца Вирага воду, и приблизительно в половине второго пополудни Канья-Киш уже принес в полицию кирку, положил ее на письменный стол и, опираясь локтями о стол, молча стал разглядывать арестованных — их уже стало значительно больше. Здесь сидят трое парней (Пишту Надя еще не нашли), Вираг, Барна Надь и Анна Кокаш со своим крестником.

— Я думаю,— говорит Канья-Киш,— мы могли бы начать разговор и до того, как отыщутся остальные.— Он снова оглядел всю компанию.

Барна Надь выступает вперед и возмущенно говорит:

— Это все хорошо, только интересно знать, какое отношение к этому имею я?.. Я уже был однажды здесь, был даже под судом, и суд меня оправдал... Для меня все это непонятно.

— Вам непонятно? Интересно. Суд вас оправдал! Это тоже интересно. Зато те, кому вы нанесли ущерб незаконным убоем скота, вас не оправдывают, ясно? И Андриш Кеваго, которого вы избили до полусмерти, тоже вас не оправдывает. А то, что вы собирались сорвать наш праздник? Об этом вы забыли? Те, кто ему радовался, тоже вас не оправдают... Никто вас не оправ-

дает... Что же делать, позволить вам снова нападать на людей? Нет уж, этому не бывать! Больше вам не удастся вредить нашему делу, клянусь вам! Но это еще не все, нам нужно распутать весь клубок. И мы добьемся этого! Давайте приступим к делу, иначе мы не сдвинемся с места. Садитесь, пожалуйста, почтеннейший Ференц Вираг, присаживайтесь сюда, напротив. Вот сигареты, прошу вас, курите, и начнем,— говорит Канья-Киш, вытряхивая из коробки сигарету таким движением, каким молотилка выбрасывает мякину.

Вираг с удивлением смотрит на Канья-Киша и осторожно садится на стул возле письменного стола, готовый в любую минуту, если понадобится, угодливо подняться.

В сопровождении полицейского входит Лаци Бердеш. Канья-Киш делает Лаци знак рукой, приглашая его сесть, затем снова смотрит на Вирага, делая одновременно какие-то пометки на листе бумаги.

Бела Надь, завидев Лаци, считает, что теперь опасность уменьшилась, и решает, что нужно во что бы то ни стало показать свою близость с ним.

— Лаци, дружище, у тебя не будет носового платка? — спрашивает он.

Однако Лаци теперь отчетливо сознает, что все беды и несчастья обрушились на него из-за того, что сыновья Надя обманули его, водили за нос, как собачонку. Из-за них он изменил и кооперативу, и ДИСу, и дому, всем своим друзьям и знакомым. Ему чудится, что на него с укором устремлены заплаканные глаза Марии Кеваго.

— Пошел ты!..— презрительно и зло огрызается он на Белу Надя, и тот за неимением платка только шмыгает носом.

Какими бравыми молодцами казались эти парни всего несколько часов назад и какими ничтожными стали они сейчас! Канья-Киш еще раз спрашивает Вирага:

— За что вы ударили киркой по голове Андриша Кеваго?

— На улице раздался крик, что убивают моего сына... Вот я и выскочил из дому... и ударил...

— Что? Неужели Андриш Кеваго один мог одолеть всех?

— Откуда мне было известно, что он один? Я знал только, что он враг моим ребятам: он выгнал с репетиции Пишту, пытается отбить у Лаци Бердеша Эстер Мольнар...

— Хорошо бы свалить теперь все на Лаци Бердеша, а? — спрашивает Вирага начальник полиции и, не дожидаясь ответа, уходит в другую комнату. Там он говорит Шаркези, что дело, по-видимому, гораздо серьезнее, чем казалось на первый взгляд.

— Нужно задержать всех, кто в нем замешан!

— А Лаци Бердеша?

— И его. Это, по крайней мере, послужит ему уроком, а то он докатится до чего-нибудь и похуже.

— А если в деле окажется замешанным поп или попы?

Шаркези усиленно думает и после долгой паузы говорит:

— Звони в уезд и в область, пусть приезжают представители и разбираются...

Вскоре в село уже прибыли Фонадь, Кульчар, начальник уездной полиции и следователь из области. Около полуночи выяснилось следующее.

Барна Надь и его сообщники боялись, что после праздника освобождения крестьяне гораздо охотнее пойдут в кооператив и село действительно станет социалистическим. Вот почему они пытались сорвать празднество. Сначала хотели спровоцировать драку во время инсценировки «Соловья», а если это не удастся, то вызвать скандал при исполнении скетча, который протащил на сцену поп. Стоило только завязаться побоищу, как звонарь тотчас же ударил бы в набат, и, таким образом, социалистическое преобразование села, если не навсегда, то, во всяком случае, надолго, оттянулось бы, и не только здесь, но и во всей области; ведь недаром «Свобода» — гордость всего Затисья. Однако народ оказался гораздо более организованным, чем предполагали злоумышленники. Увидев, что у них ничего не получилось, они на рассвете пытались убить Андриша Кеваго, считая, что и это вызовет в селе серьезное замешательство.

Пока все обстоятельства дела выяснились, Канья-Кишу пришлось немало попотеть.

Был освобожден только Лаци Бердеш, так как оказалось, что он возражал против драки. Остальных решили отправить в область.

Анна Кокаш, истошно плача и колотя головой о стену, кричала, что она не виновна и ничего об этом не знает, хотя ее крестник на очной ставке утверждал, что не кто иной, как она сама дала ему нож, который крестник Анны Кокаш и хотел вонзить Андришу в живот; это, однако, ему не удалось: нож только скользнул по пряжке ремня.

Вся эта история вызвала на селе большое волнение; впрочем, оно быстро улеглось: погода улучшалась, дел становилось все больше, а в страдную пору не до этого. Труд — вот что владеет умами людей, вот их подлинный хозяин, самый главный хозяин на свете.

Отсутствие нескольких кулаков чувствуется только в их семьях. Наиболее заметно это, пожалуй, в усадьбе Анны Кокаш: там никого не осталось. Секретарь сельсовета Жига Бере поставил вопрос об охране скота Кокаш, пока о нем не последует судебного решения.

Председатель сельсовета Балинт Ходош вызвал Эсеньи, как опытного хозяина и бывалого человека, раз даже висевшего в петле, и велел ему пока заботиться о животных. Эсеньи, как ближайший родственник Кокаш, сразу согласился. Он стал теперь таким кротким праведником, что не способен даже чуть замутить воду.

3

Главный врач больницы в Уйфалу сделал следующую запись в регистрационной книге больных: «Андриш Кеваго, холост, 26 лет; поступил с переломом черепа — следствие удара; мозговая оболочка не повреждена, в левой части груди, чуть ниже легкого, две ножевые раны по полтора сантиметра в поперечнике и три сантиметра глубиной; значительная потеря крови. Находится на излечении пятый день. Состояние больного удовлетворительное».

Пока главный врач записывает эти данные, сестра вынимает у Андриша градусник. Андриш спит, и ей не хочется его будить, но он просыпается, открывает глаза и озирается по сторонам.

— Ушла...— капризно тянет он, как ребенок, который, проснувшись, не видит матери.

— Ушла, но завтра или послезавтра опять придет,— отвечает сестра, глядя на градусник. Все в порядке. У больного только небольшое повышение температуры, это обычное явление.

Вот уже пять дней, как Андриш в больнице, но он все еще чувствует себя так, будто весь свет отодвинулся от него куда-то далеко, и лишь Эсти, появляясь, приближает его к жизни. Она — единственная цель и смысл всех его дум. Она для него — это жизнь, а стало быть — выздоровление...

Когда Андриша привезли сюда, Эсти целый день была возле него и уехала только с последним автобусом, чтобы через два дня вернуться снова. Сегодня она навестила его в третий раз.

В первые два дня в состоянии Андриша почти не наблюдалось улучшения, зато на третий и четвертый день он заметно окреп, и теперь ему кажется, что только ради него и выстроена эта больница, ради него здесь главный врач, ординаторы и сестры, ему кажется, что его жизнь — это и их жизнь, а появление Эсти для него — как солнечное сияние.

А когда Эсти занята, он пишет ей письма, всегда содержащие одни и те же строки:

«Эсти!

Я тебя очень люблю!

Андриш».

4

Общее собрание членов кооператива Шаркези предполагал провести в воскресенье утром, однако старик Шике возразил:

— Неудобное это время, товарищ Шаркези!

— Почему, товарищ Шике?

— Да потому, что... в это время люди как раз собираются в церковь.

Шаркези даже удивился.

— Как? Неужели вы, товарищ Шике, намереваетесь пойти в церковь?

— Я-то и в мыслях не имею. Это же не корчма... Мне там делать нечего. Но не обо мне речь, а о других.

— Что ж, по крайней мере, узнаем, кто больше любит нас, а кто — попа.

Повидимому, «Свобода» пользовалась большей любовью: на собрание явились почти все члены кооператива. Правда, некоторые остались дома, но не потому, что собирались в церковь, а потому, что не хотели ввязываться в дело Бердеша. Ведь главным пунктом повестки дня собрания был вопрос о председателе. С одной стороны, его вроде как не следовало бы посылать на курсы переподготовки, а с другой стороны, почему бы его туда и не направить? Именно об этом в первую очередь и пойдет речь на собрании.

Были и такие, кто ратовал за Бердеша, говоря: «А где же вы были, когда Бердеш делил землю?» и тому подобное... Вспоминали о его заслугах в девятнадцатом году; другие возражали, заявляя, что теперь нельзя жить девятнадцатым годом, требовали, чтобы Бердеш объяснил, почему он водит дружбу с Барной Надем. В такой обстановке началось собрание.

Бердеш сидит за столом президиума и смотрит на тех, кто шумит в зале. Так вот, до чего он докатился... Как неведомая болезнь, поразившая сердце, его постоянно мучила мысль о том, что когда-нибудь на общем собрании будет поднят этот вопрос. Она сверлила его мозг, как червь точит дерево. Но если собрание решило обсудить вопрос о нем, почему же об этом не говорили раньше, почему он должен был так томиться?

Затем ему приходит в голову, что на все требуется время: и вешнему потоку, чтобы войти в берега, и словам, чтобы они слетели с уст... и преступнику, чтобы его настигло заслуженное возмездие.

Он ни с кем ни о чем не говорил, ни у кого ничего не просил, а целиком положился на собрание, как человек, ложась спать, доверяет себя сну. От него не зависит, что ему приснится — хорошее или дурное.

— Не обязательно, чтобы тот, кто был хорош в сорок пятом году, остался бы таким и в пятьдесят первом! — слышит Бердеш чей-то голос, но даже не знает, кому он принадлежит. В довершение ко всему он как председатель должен открывать собрание, а затем предоставить Шаркези слово для доклада.

Шаркези говорит о том, что члены кооператива приглашены сегодня, во-первых, потому, что уже почти истекает срок очередного ежемесячного собрания, и, во-вторых, потому, что следует обсудить два таких вопроса, которые, безусловно, подлежат рассмотрению общего собрания. Надо решить, кого же направить на курсы председателей кооперативов.

— Дело, за которое взялась наша «Свобода»,— говорит Шаркези,— общее дело всего села; больше того, оно является частью великого плана по преобразованию природы Затисья, в осу-

ществлении которого большая роль принадлежит и нашему кооперативу. От имени партийной организации я приношу сердечную благодарность нашему товарищу, дядюшке Бердешу, за ту поистине сверхчеловеческую работу, которую он проводил в интересах развития кооперативного хозяйства. Однако я думаю, он сам лучше других понимает, что при все увеличивающемся объеме работы ему не справиться с обязанностями председателя. Товарищ Бердеш, конечно, понимает, что во главе правления необходимо поставить человека твердой руки, хорошо подготовленного как в хозяйственном, так и в политическом отношении. Вот я и предлагаю, пусть сам товарищ Бердеш расскажет нам, что он думает по этому поводу.

Бердеш снова поднимается; на мгновение его охватывает такое чувство, будто перед ним зияет бездонная пропасть — она и раньше была вокруг него, только он ее не замечал. Эта пропасть обнаружилась лишь теперь, да и то потому, что он ходил по ее краю все годы, пока водил дружбу с Барной Надем, и всякий раз, когда пытался взять его под защиту, нога его оступалась; чудо, что он до сих пор не свалился в бездну... Бердеш пытается уверить себя в том, что у него болит сердце, однако в действительности это не так; просто ему очень обидно за себя. Он приосанивается и, как всегда, с гордо поднятой головой спокойно заявляет, что отказывается от обязанностей председателя кооператива.

На минуту наступает тишина. Молчат те, кто настроен против Бердеша, молчат и его сторонники. Что бы они раньше ни говорили между собой, теперь, услышав от него самого это заявление, все ошеломлены.

— Но почему же? — громко спрашивает Балаж Фюрес, один из тех, кто осуждал поведение Бердеша.

— Товарищи,— говорит Бердеш не совсем обычным, приподнятым и чуть дрожащим голосом,— конь о четырех ногах и тот спотыкается, так разве не может споткнуться человек, у которого всего две ноги? К великому своему огорчению, я чувствую, что здорово споткнулся. Мне казалось, что на мою бескорыстную дружбу Барна Надь отвечает мне искренне, и пока до меня дошло, что это не так, что его дружба — неверная, произошло столько несчастий, что просто удивительно, как подо мной не разверзлась земля. Дорогие товарищи и друзья, я на себе испытал и теперь говорю в назидание каждому, что ни о какой бескорыстной дружбе не может быть и речи там, где к ней примешиваются шкурные интересы. Собственность по своей природе такова, что может озлобить и лучшего друга, даже если в общем он, возможно, не такой уж плохой человек. Это хорошо понимали наши отцы и деды — крестьяне, бедняки, когда говорили: «Живому — живое, а мертвому — мертвое». Другими словами, это означает: богатство, земельная собственность ставят между людьми такие преграды, что мир не знает дружбы, которая

могла бы их преодолеть. Я вот подружился и ошибся. Я считал, что должен вернуть все, что получил от Барны Надя в девятнадцатом и двадцатом годах. Однако только теперь я понял, что Барна Надь так ловко оделял меня своей дружбой, что ему это, собственно говоря, ничего не стоило. Даже денег. Больше того, благодаря этому его стали уважать бедняки. Очень уж замысловатой была наша дружба, ну да все равно — я ее принимал. А теперь приходится самому расхлебывать. Что ж, я готов. Нет на свете такой горькой чаши, которую бы я не испил для блага нашей «Свободы».

С замечательной речью выступил Бердеш, многие даже ему хлопали, а он еще раз оглядел собравшихся и тихо опустился на свое место.

Было выдвинуто много предложений; создали даже комиссию, которая поручила наметить достойного кандидата для посылки на курсы. Пока же в помощь Бердешу выделили двух заместителей — Йошку Папа и Андраша Кеваго.

Председателем остался Бердеш, однако ему вменили в обязанность посвятить во все дела еще двух товарищей. Эти трое и составят единое руководство.

Хотя Бердеш как временный председатель и сохранил свой авторитет, однако этот авторитет уже не был таким безоговорочным, как прежде.

Перераспределили обязанности и среди бригадиров. Во главе строительной бригады стал Дюла Шике; Рожи Шаркези назначили бригадиром на рисовом поле, помогать ей согласился Андраш Кеваго, потому что выращивание риса требует большой ответственности и особой осмотрительности.

Основные каналы и защитные насыпи на рисовом поле уже готовы, но запруды еще не сделаны. Однако пахоту можно уже начинать. Правда, здесь еще никогда не возделывали землю под рис; поэтому необходимо все основательно обсудить.

— Пахать можно как угодно, все равно вода зальет,— высказывает свое мнение Сито.

Однако Йошка Пап думает иначе:

— Вода-то зальет, но ведь семена должны расти в земле, да и питаться от нее. А как вы считаете, дядюшка Андраш? — обращается он к Кеваго.

Кеваго вместе с Рожи Шаркези и Кальманом Циффрой изучили уже целую кипу литературы о выращивании риса.

— Нужно пахать так же, как под пшеницу.

— Да, пожалуй, это самое правильное.

Для заключения договора в кооператив приехал сам директор МТС, отец секретаря уездного комитета партии Кульчара, в давние времена работавший кузнецом на окраине Эгера.

В нынешнем году уже нет таких неполадок, как в прошлом: семена риса прибыли во-время. Шаркези предложил провести их яровизацию,— он видел это в Советском Союзе. Если пока не

приступили к проращиванию семян, то, во всяком случае, уже начали прогревать их на солнце.

Семена по щиколотку насыпаны на расстеленном во дворе брезенте. Рядом сидит Шари Фейер с длинным прутом в руке, и как только на семена садятся воробьи или к ним подкрадываются куры — уж очень большое искушение видеть столько риса и не полакомиться им,— она ударяет прутом по земле; воробьи, чирикая, взлетают, а куры испуганно шарахаются в разные стороны.

Во дворе появляется верный и любящий муж Шари Фейер — Лайош Тержек-Виг с деревянной лопатой в руках. Он бросает взгляд на жену и начинает перелопачивать зерно. Шари Фейер, держа в руке ивовый прут, рассеянно наблюдает за его работой. Как приятно в такой погожий весенний день малость понежиться на солнышке. По небу плывут легкие кучевые облака. Шари Фейер как раз в таком возрасте, когда хочется иногда побездельничать, смотреть на уплывающие вдаль облака, слушать веселое чириканье воробьев и чувствовать, как через короткие рукава блузки ластится к телу свежий ветерок. Как хорошо, когда можно не думать о завтрашнем дне, ибо теперь у них всегда будет кусок хлеба, свой кров, одежда; словом, нынешняя жизнь так же прочна, как сама земля. Как умно они поступили, что сразу же, в первые дни, вступили в кооператив! Чего, собственно, им еще желать от жизни? Утром кофе с молоком и свежими булочками; днем — хороший обед; на ужин яичница из двух яиц, затем стакан свежего молока. Но главное, это сознавать, что тебя окружают добрые, хорошие люди! В «Свободе» им живется, как в большой дружной семье. Конечно, Лайош Тержек-Виг — уже начинающий стареть человек — бывает порой ей в тягость, но... в общем все хорошо... В конце концов, ведь он предоставил ей крышу над головой, когда она бродила по округе, как бездомная собака.

Пока Шари была молода, ей всячески хотелось достичь успеха, но так и не удалось. Насколько лучше жить в небольшом коллективе, честно трудиться и, к слову будь сказано, пользоваться все возрастающим уважением. Спокойная и сытая жизнь, хорошая одежда — разве этого не достаточно? Она принимает более удобную позу, и кожа ее ощущает приятное прикосновение шелкового белья.

Открывается калитка, сначала показывается велосипедное колесо, а за ним появляется агроном.

— Сабадшаг!..

— Привет. Ты чего вернулся? Разве не взял с собой обеда? — удивляется Шари Фейер.

— Да я не за тем, а... есть здесь кто-нибудь?

— В конторе Бежи Кадар.

— А Шаркези или Бердеш, или кто-нибудь из правления?

— Здесь их нет. А что-нибудь случилось?

— Ничего особенного, только директор рыбного питомника предложил немедленно забрать у них мальков: он больше не мо-

жет ждать — им нужно привести в порядок водоемы. Словом, мне срочно нужен кто-нибудь из правления.

— У них заседание в усадьбе. Только я тебе ничего не говорила — велели не мешать.

Агроном на мгновение смолкает, а затем не без ехидства говорит:

— Тому, кто думает разводить рыбу, нечего совещаться при закрытых дверях! — разворачивает велосипед и поспешно выезжает на улицу.

Хозяином на усадьбе Кельчеи попрежнему остается старый Монок. Сейчас он сидит на крыльце бывшего барского дома, грея на солнышке свои старые кости. Немного поодаль начинается аллея каштанов; они пробуждаются от зимней спячки, выбрасывая из узловатых почек листья. Старик сидит на верхней ступеньке, опершись спиной о колонну. Он держит в руках гладкую бурую дубинку, которой преграждает путь агроному, быстрыми шагами взбежавшему на крыльцо.

— Эй, товарищ! Погодите... Куда вы?

— Шаркези и остальные здесь?

— Здесь, но сейчас туда входить не разрешается.

— Так уж и не разрешается...— и агроном, перешагнув через палку, входит в дом.

Монок поднимается с места; он не знает, хорошо ли поступил. С одной стороны, ему строго-настрого наказано никого не пускать, с другой стороны, нельзя же так просто остановить агронома... Он отходит в сторону, садится у другой колонны и прислоняется к ней спиной.

В усадьбе идет заседание партбюро. Здесь же присутствуют и приглашенные бригадиры.

— Какие новости, товарищ Циффра? — спрашивает Шаркези у входящего агронома.

— Прошу прощения, но дело в том, что нужно начинать приемку мальков; директор рыбного питомника просит с этим не мешкать.

— А куда мы их сейчас денем? Поле под рис еще даже не вспахано.

«Наконец-то и я получил удовлетворение за свои прежние обиды. Вот как выглядит на деле знаменитый большой план Андраша Кеваго. Пусть теперь его расхлебывает кто может и кто хочет!» — думает Бердеш.

— А они не могут подержать мальков у себя, пока мы не пустим на поле воду?

— Говорят, не могут. Всех лишних мальков они отправляют в Сегед, а в водоемах размещают только своих. Стало быть, если мы не заберем наших мальков, их отошлют в Сегед.

— Да, далековато придется за ними ехать. Что же делать, товарищи?

— По одежке протягивай ножки,— говорит Бердеш.

Йошка Пап поднимает два пальца и чуть наклоняет голову. Это должно означать, что он просит слова.

— Пожалуйста, товарищ Пап!

— Я предлагаю заполнить водой крайний водоем, он уже готов. К вечеру там будет столько воды, что можно будет пустить мальков, а затем, когда подготовим рисовое поле, переведем их туда.

— Пожалуй, верно. В таком случае, будь добр, товарищ Пап, отправляйся с Кальманом. Посмотрите и сделайте все, что нужно.

Когда Пап с агрономом выходят, Бердеш пристально смотрит на Бени Гуяша; тот поеживается под этим взглядом, но не произносит ни слова. Сейчас несвоевременно поднимать вопрос об Йошке Папе, ведь Йошка ушел. У партбюро сегодня немало важных дел, однако Бени Гуяша они мало интересуют. Подумав, Бени решил, что его сообщение более важное. Он еще раз обдумывает, настолько ли оно важно, как кажется ему с Бердешем, и затем говорит:

— Считаю необходимым заявить, что у товарища Папа не все чисто. Иначе он сообщил бы, что его жена унаследовала четырнадцать хольдов земли!

Это сообщение действует ошеломляюще на всех, кто до сих пор не знал об этом. А не знали многие: Шаркези, Сито, Лайош Кошут-Киш...

— Словом, превратился в кулака,— констатирует Лайош Кошут-Киш.

— А верно ли это? — спрашивает пораженный Шаркези.

— Верно ли? А как же! Если он сам об этом умалчивает, то все можно проверить в сельсовете, где это и оформлялось...

— И о чем только думает этот Балинт Ходош? — недоуменно говорит Шаркези, покачивая головой.— Поскольку сейчас товарища Папа нет, вопрос этот придется отложить до другого раза... А сейчас давайте поговорим о плане полевых работ. В прошлом году мы слабо развернули соревнование; поэтому пусть правление подготовит предложение общему собранию; в нем должны быть разработаны показатели индивидуального соревнования и поставлен вопрос о персональной ответственности для всех, занятых в поле. В прошлом году некоторые кооперативы при установлении нормы трудодней учитывали не только количественные показатели, но и качество работы. А кто как работал, можно легко установить, когда начнется уборка. По-моему, у товарища Кошут-Киша уже есть кое-какие наметки.

— Есть, здесь они! — хлопает себя по карману Лайош Кошут-Киш.

— Очень хорошо. В таком случае изложите суть дела нам, а потом мы доложим общему собранию... И наконец, товарищи, вопрос о молодежной бригаде. Ну, докладывай, Эсти, что вы предлагаете!

— Организация ДИСа хочет участвовать в полевых работах отдельными звеньями. Около тридцати процентов членов нашей

организации заняты уходом за скотом, некоторые — на строительстве, однако подавляющее большинство работает в поле. На этот год мы просим поручить нам уход за рисовым полем. Нам кажется, что на этом участке мы принесем больше пользы; работа эта трудная — в воде, в грязи... А кроме того... рис — культура нежная, а у нас глаза зоркие, руки проворные... Мы просим поставить нас на этот участок.

Поднимается шум, все говорят разом, перебивая друг друга. Вдруг голос Балажа Фюреса разрезает шум, подобно ножницам, распарывающим материю.

— Ничего хорошего из этого не получится. Предоставь молодежь самой себе, она и совсем распояшется.

— А разве в прошлом году кто-нибудь из нас распоясался? — Эсти вспыхивает.— А как прошла бы уборка без молодежи?

— Тогда было другое дело, теперь-то вас стало больше!

Разгорается горячий спор. Все стараются вспомнить свои молодые годы, рассказать о том, как тогда складывались отношения между парнями и девушками.

— Мы ведь говорим о сознательной молодежи! — пробует вступиться за своих сверстников Эсти.

— Сознательной? Прощай ваша сознательность, когда у парня заиграет кровь в жилах! — грубо отвечает Фюрес.

Похоже на то, что из отдельных молодежных звеньев ничего не выйдет. Но Эсти приводит все новые и новые доводы.

— Мне кажется, молодежь пока что не оставалась в долгу перед коллективом и заслужила ваше доверие.

— А разве мы вам не доверяем? Но если в поле, кроме вас да птиц, никого — кто же будет в ответе, если с вами что-нибудь случится?

— В прошлом году на прополке именно мы развернули соревнование звеньев. Почему же этого нельзя осуществить теперь? Разве плохо, если молодежь будет работать своими звеньями?..— уже почти в отчаянии доказывает Эсти: молодежь поручила ей во что бы то ни стало убедить партийное бюро. Какие ей еще привести доводы? А надо добиться своего!

Почти у всех присутствующих есть сын или дочь. У одних — дочери помоложе, они подобны распускающимся почкам, у других — постарше, как уже распустившиеся розы, но какие бы они ни были, каждый отец одинаково боится за своего ребенка. А у кого нет дочерей, тот опасается за доброе имя «Свободы». Кроме того, общее для всех врожденное чутье заставляет их быть настороже. Наконец, после долгих споров слово берет Рожи Шаркези.

— Надеюсь, никто не сомневается в том, что, если с молодежью буду я и товарищ Кеваго, можно не беспокоиться.

Вот теперь — другое дело, отцам нечего опасаться за своих детей.

До этого никто даже не мог представить себе, что молодежи разрешат создать свои звенья, а теперь сразу это стало вполне

реальным. Итак, молодежь будет работать самостоятельно, но под наблюдением Рожи Шаркези.

Заседание заканчивается после полудня. Нужно пообедать или, по крайней мере, хотя бы перекусить, чтобы снова приняться за работу.

Бердеш голоден, ведь в последнее время ему не до еды и не до сна. И все же он почти весело сбегает с лестницы. Послать на курсы Йошку Папа? Ну, теперь из этого ничего не выйдет, это точно... А ведь ясно, что он был одним из кандидатов. Бердеш никак не может успокоиться; он никого над собой не признает. Хотя, к чести его будь сказано, он в душе сам хотел бы этого. Но что поделать, если у него такая натура!..

В ожидании конца заседания старый Монок заснул, прислонившись к колонне. Бердеш осторожно вынимает у него из руки дубинку, осматривается вокруг, срывает покрытую набухшими почками распускающуюся каштановую ветку и сует ее в руку спящего. Старик просыпается и ошалело смотрит на веточку. Затем испуганно отбрасывает ее прочь, вскакивает и, моргая, глядит на окруживших его смеющихся людей.

5

Кальмана Циффру бросает то в холод, то в жар, но он совершенно здоров. Просто у него голова идет кругом от дел. Впрочем, это и не удивительно; рис посеян, в один из затонов пущены мальки с тем, чтобы позднее, когда на рисовом поле будет достаточно воды, выловить, а вернее, выцедить их из водоема, как из бульона овощи и всякую другую приправу; мальки ведь не больше человеческого мизинца, а многие и того меньше. Если это оказалось по силам госхозу, почему не справиться кооперативу? И Кальмана снова то знобит, то пот прошибает,— никто не может уверенно сказать, что получится из этой затеи. Если посеять пшеницу, она взойдет: это так же верно, как восходит солнце. Но когда высевают столько риса и пускают в воду таких крошечных рыбешек... Он никогда еще не видел ничего подобного и ясно не представляет, как это происходит. Тем не менее Циффра делает вид, что ему все известно, что он все предвидит заранее. Он с важностью наблюдает за тем, как пускают в воду мальков, и чуть ли не бросается за ними, когда те в испуге выпрыгивают из ящика, а если кто-нибудь наступает на рыбешку и втаптывает ее в грязь, на его глаза вот-вот готовы навернуться слезы, словно вместе с этой рыбешкой гибнет все рыбное богатство кооператива.

Грязь, вода... Там, согнувшись в три погибели, трудится молодежь; на закате далеко разносятся их голоса. У горизонта по небу плывут черные тучи; в вечерних сумерках все становится бурым. А кругом во всем великолепии расцветает весна; дороги уже просохли, талые воды впитались в почву, на которой посеяна пше-

ница... Здесь же, на рисовом поле, полно грязи, повсюду, куда ни пойдешь, размякшая земля, люди по щиколотку проваливаются в вязкую жижу у запруд, а посевы риса кажутся черными, как деготь...

На поле постоянно находятся Рожи Шаркези и Андраш Кеваго. Эти-то наверняка не растеряются. Они так спокойно и уверенно чувствуют себя, будто всю жизнь только и делали, что выращивали рис. А ведь посеять рис не простое дело. Особенно если одновременно на рисовом поле хотят разводить рыбу.

Сито предлагает провести сев рядами обычной ширины, то есть около одиннадцати сантиметров, как написано в руководстве. Такого же мнения придерживается и Кальман Циффра.

С другой стороны, Кеваго считает, что, поскольку за недостатком времени они как следует не успели разравнять почву и речь идет о заросшей травой и бурьяном целине, поле вновь может зарасти сорняками, от которых при частом посеве трудно будет избавиться. Да и разведение рыбы пойдет успешнее, если ряды будут реже.

Йошка Пап и Лайош Кошут-Киш поддерживают это предложение.

— За план этого года, а стало быть, и за рис, отвечаем не только мы, но и областной плановый отдел. С ними и надо посоветоваться,— предлагает Шаркези. Так и решают.

Плановый отдел всегда подхватит любую новую идею. Если можно вырастить такой же урожай риса с меньшим количеством семян, почему бы этого не сделать? В принципе возможно и разведение рыбы на рисовом поле! Но целесообразнее поступить так: сто хольдов засеять обычным способом, а остальные — на расстоянии между рядами в сорок сантиметров. При современном уровне агротехники можно добиться хорошего кущения и при редкой посадке, значит так и нужно делать! С сорняками рекомендуют бороться, поднимая возможно выше уровень воды, но так, чтобы это не вредило посевам...

Молодежь учится новому для нее делу. Два звена молодежной бригады уже работают на рисовом поле; нужно подправлять запруды, пока они как следует не осядут. Чего только ни делали, когда их сооружали: топтали ногами, трамбовали, но всего этого мало. Только время утрамбует их как следует. В них нужно проделать отверстия для прохода воды, с тем, чтобы перекрывать то один, то другой участок, по мере того, как их будут наполнять водой и земля начнет пропитываться влагой. Есть и такие участки, где уже виднеются ростки риса. Теперь у агронома немного отлегло от сердца. Если рис взошел на одном участке, значит, взойдет и на других. По мере того как участки поочередно заполняются водой, поверхность земли сразу же становится ровной и гладкой, похожей на крышку стола.

Кальман Циффра стоит на насыпи, около небольшого шлюза, сделанного из осиновых досок (готовый тес довольно до-

рог, поэтому старый Сильва заказал напилить досок из осины), и смотрит, как рис покрывается водой.

— Хватит! — командует он Пиште Сито.

С дальнего края участка доносится тихая песня; сначала слышен только голос юноши, приятный и чуть грустный,— есть такие певцы, которые самые веселые песни исполняют с оттенком печали. Затем к нему присоединяется девичий голос; создается впечатление, будто за юношей идет девушка и протягивает ему руку. Вдали, около основного канала, слышится щелканье кнута свинопаса — это младший сын Речеге-Киша гонит с пастбища стадо свиней.

Итак, выращивание риса начато, мальки весело резвятся в мутной воде, словом, все должно пойти как по писаному, если, конечно, за всем этим будут хорошо ухаживать.

Повсюду, на всех участках кооперативных полей кипит работа. Кто занят на севе кукурузы, кто на дисковании почвы под хлопок. Уже издалека видны воздвигнутые стены новых построек. На пастбище пасутся стада свиней; в хлеву лениво развалились свиньи, которых откармливают на убой; в коровнике доят коров, а Бердеш носится с места на место, словно сразу хочет наверстать то, что до сих пор упустил.

— Эй! Не теряй кормов! — кричит он на Кари Вереша, который везет в конюшню воз сена, а так как везти недалеко, не уложил сено как следует, даже не перевязал, и оно при каждом толчке понемногу осыпается с воза на дорогу.

Кругом, хотя и многое еще выглядит не так как нужно, жизнь течет попрежнему. Бердеш ведь все равно не сможет навести порядка, так что не стоит ему и пытаться. Но он все еще председатель кооператива, пусть даже его и не направляют на курсы. Вряд ли теперь пошлют на курсы и Йошку Папа, кандидатура которого намечалась общим собранием.

Йошка Пап и на самом деле не поедет. Дело в том, что Шаркези и Кульчар беседовали с ним с глазу на глаз. Вышло это так: Шаркези попросил Кульчара поехать вместе с ним в рыбный питомник проверить, как обстоит дело с мальками.

По дороге, почти у самого питомника, они встретили Йошку Папа и спросили, верны ли слухи о том, что он получил какое-то наследство?

— Верно, наследство есть. По крайней мере, нотариус вызвал мою жену для обсуждения этого вопроса.

— А кем же оно, собственно говоря, завещано? — спрашивает Кульчар.

— Да теткой жены.

— Еще есть наследники?

— Нет, больше никого. Это старое, довольно запутанное дело, однако для меня неожиданное; должно быть, и сама покойница не предполагала, что так получится... О себе я вот что скажу... Живет на селе человек, старается построить свое будущее. Появляется

у него жена, ребенок, сам он работает не покладая рук, затем все его помыслы направляются на то, чтобы помочь расцвету того коллектива, в котором он живет, стало быть, нашей «Свободе». Он порывает со своим прошлым и живет только настоящим и будущим... Как раз в это время умирает старуха, у которой было четырнадцать хольдов земли. После ее смерти закручивается машина: чиновники копаются в каких-то книгах, ищут, кому бы передать дом, землю и всю движимость, и, не рассудив как следует, шлют извещение, что, мол, вы такая-то и такая-то являетесь наследницей и обязаны приехать, чтобы вступить во владение имуществом. И никто не задумывается, никто не замечает, что из-за этого проклятого наследства рушится семейная жизнь и может быть загублен честный человек. Чиновникам все нипочем. Какими бездушными людьми они были, такими и остались, вот! — без передышки выпаливает Йошка Пап и вопрошающе смотрит в глаза своим собеседникам.

Те некоторое время молчат, поглядывая то на Йошку Папа, то в сторону рыбного питомника, где под ольхой их ожидают директор и Сито.

— Большой трагедии в этом нет. Твоя ошибка только в том, что ты, товарищ Пап, не рассказал об этом сразу,— говорит Кульчар.

— Не хотелось мне рассказывать, пока сам от всего этого не отделаюсь, но вот не сумел. До сих пор не знаю, как все это уладить.

— Почему же?

— Почему? Во-первых, если есть завещание, то, как видно, должен быть и наследник. Я надеялся, что, если наследник не явится, земля перейдет к государству. Однако на самом деле это не так: оказывается, нужно сначала получить наследство, а потом уже передать его государству, если оно согласится принять.

У Шаркези оживают былые подозрения в отношении Йошки Папа.

— Жаль, что не сказал нам сразу, наследство приняла бы «Свобода» и тебе ничего не пришлось бы делать.

— Конечно, но... беда в другом: жене вдруг захотелось переселиться в дом тетки со стеклянной террасой и получить ее большое приусадебное хозяйство, словом...— он замолкает и стоит, уставившись глазами в одну точку.

— Чего же ей не хватает? Разве к ней плохо относился коллектив или кто-нибудь обижал ее? Почему же она не сумела так же искренне отнестись к нам, как тепло мы относились к ней? — удивляется Шаркези.

Йошка Пап, глубоко вздохнув, продолжает:

— Отчего? Об этом и я все время спрашиваю! Но она твердит свое. Беда вся в том, что мачеха не отравила ее отца, как это было с моим.

— Как? Что? — крайне удивленные, одновременно спрашивают Шаркези и Кульчар.

— Я никогда никому не рассказывал об этом, да и сейчас говорю не потому, что хочу себя оправдать, но...— и Йошка Пап поведал о трагедии своего отца, а следовательно, и о своей собственной.— Вот и все, товарищи,— волнуясь, закончил он свой рассказ.— Теперь вы видите: напрасно я считаю себя коммунистом. Выходит, прошлое еще довлеет надо мной; оно тянется ко мне своими цепкими руками и снова дало о себе знать, если не во мне, так в моей жене, а ведь мы очень любили друг друга; она подарила мне двух чудесных детей. Моя жена никогда не была кулачкой. Откуда она могла знать, что когда-нибудь получит наследство? Конечно, дело тут не в проклятии, тяготеющим надо мной, я не верю в это, да и у мачехи не было оснований проклясть меня, но вот... почему как раз моей жене сваливается на голову это окаянное наследство?

Кульчар и Шаркези успокаивают Йошку Папа, стараются помочь ему снова обрести душевное равновесие. У Шаркези исчезают подозрения, уходит недоверие. Да, Пап — сильный человек! Не всякий мог бы, подобно ему, похоронить ужасное преступление мачехи, сознавая, что причина этого преступления не столько в ней самой, как в собственности, в реестре недвижимого имущества. Чем можно его утешить, что ему сказать? Ведь нет лучшего работника во всей «Свободе»! За что бы Йошка ни брался, все горело у него под руками, и вдруг эта история с наследством — хоть бы и не было его вовсе, а раз уж оно появилось, хоть бы Йошка сказал об этом сразу! Но нет, не сказал; только молча переживал в себе. Кто знает, какие думы терзают его по ночам с тех пор, как получен в наследство этот дом с застекленной террасой и большими каменными колоннами и четырнадцать хольдов земли. Шаркези кажется, что Йошка Пап теперь не может ехать на курсы председателей кооперативов, но тут же спохватывается: «Свобода» не может лишиться такого ценного человека.

— Не такая уже большая беда, товарищ Пап, чтобы нельзя было тебе помочь. На днях я зайду и переговорю с твоей женой. Наследство нужно принять, а потом предложить его государству или нам — кооперативу.

— Дело в том, что и дом и земля находятся не в нашем селе, а в Багойоше.

— Ничего, и там можно все уладить. Правда, в Багойоше пока еще нет ни кооператива, ни производственной группы, но мы предложим государству...

— Говорят, государство теперь не принимает земли.

— И это не беда. Сельский совет возьмет ее под свое попечение. Послезавтра вечером будь дома, я непременно зайду.

— Хорошо...

— Только не делай глупостей, товарищ Пап. Выше голову! А сейчас иди, работай!

Йошка Пап уходит, а Шаркези вместе с Кульчаром направляются к рисовому полю.

6

У Эсти теперь даже нет времени, чтобы зайти к Андришу в больницу, и она вместо этого пишет ему длинные письма, на которые Андриш коротко, но все более горячо отвечает: «Эсти, я тебя очень люблю. Я тебя очень люблю, Эсти...» и тому подобное. И это правда; он считает, что любовь победила в нем смерть.

Как они готовились к встрече, когда он вернется домой! Однако на вечерний автобус он опоздал, а Эсти подумала, что, может быть, он приехал утренним, и помчалась к дому Кеваго. Оказалось, что Андриша еще нет...

Он прибыл с последним автобусом и, когда вышел, увидел, что в стороне, неподалеку от остановки, кто-то неподвижно стоит в темноте.

— Эсти!..— Андриш подошел ближе, они бросились друг другу в объятия и так и шли до самого дома обнявшись.

Им так много хотелось сказать, но они молчали. Да и зачем говорить, когда любишь...

Прошло несколько дней. Яблони уже в цвету... Абрикосовые деревья отцвели, и крошечные завязи плодов, не больше, чем капельки росы, впервые знакомятся со светом и воздухом; пока они словно колеблются, расти ли им или подождать? Уже чуть виднеются маленькие сливы, и только яблони все еще цветут каким-то на редкость красивым цветом, который даже невозможно точно определить, но скорее всего он напоминает бледнорозовый. Под этой легкой, нежной окраской угадывается какой-то жгуче-красный оттенок, который присущ не столько цветку и, пожалуй, даже не дереву, а всему окружающему миру, всей бездонной глубине вселенной. Его нельзя видеть, а можно только ощущать. Цветы яблони — самые красивые на свете, они подобны молодой и цветущей белокурой женщине... О, великая сила — цветение яблони!..

Еще рано, около десяти часов; под яблоней в кресле из тутового дерева спиной к калитке сидит Андриш и читает. Солнечные лучи почти не проникают сквозь роскошную крону цветущей яблони, и только, когда ветерок шевелит ветки, его блики падают на плечи и волосы Андриша, перебегая с места на место и словно играя с ним.

Из кухни выходит мать, держа в руках корзину, полную кукурузы. Она идет в сад, но звонкий смех Андриша заставляет ее обернуться.

— Ты над чем там смеешься? — удивленно спрашивает мать. Она даже не может себе представить, чтобы кто-нибудь мог смеяться за чтением. Сама она, если когда-нибудь и читала, обычно начинала плакать; ей никогда не попадалась книга, которая бы вызывала смех.

— Я? Да, вот смеюсь над... как бишь его... И чего только ни делали эти люди!

— Какие люди?

— В старину... те, о которых пишется в этой книге.

— А что за книга?

— «Зонтик святого Петра» Кальмана Миксата *.

— Ни одного слова правды в ней нет. Выдумано все это,— говорит мать, высматривая, куда девалась наседка с цыплятами.

А наседка прыгает около стога соломы и после каждого клевка с таким возбуждением глядит на плоды своих стараний, будто она только что клюнула самую вкусную солому во всем мире.

Цыплята, уже довольно большие, начинают расправлять крылышки, вместо мягкого пуха у них появляются перышки. Увидев хозяйку с корзиной, они, подпрыгивая, спешат к ней. Наседка бросает свое пустое занятие и бежит за ними. Тяжелые, твердые зерна кукурузы падают на землю, и цыплята тут же принимаются их клевать. Это не так просто; зерна крупные, а цыплята еще маленькие; подхватив зерно, цыпленок уединяется и остервенело расправляется с добычей, даже закрывает глазки; потом, щелкнув своим крошечным клювиком, он мчится за новым зернышком.

С улицы доносятся чьи-то быстрые шаги, через забор видна только женская голова, затем калитка тихо открывается, кто-то входит и на мгновение останавливается. Пес Букши, лежащий недалеко от Андриша, поворачивает голову, уши его приподнимаются, но затем пес снова опускает их, склонив голову на лапы. Это вошла Эстер Мольнар. Переведя дух и оглядевшись по сторонам, она на цыпочках подходит к Андришу и сзади прикрывает ему ладонью глаза.

— Отгадай, кто я? — спрашивает она; от радости сердце ее учащенно бьется.

— Кто? Сейчас...— он ладонью гладит руку девушки.

С незапамятных времен существует этот обычай, когда юноша или девушка прикрывают руками глаза другого, и все же как всегда нова и свежа эта невинная шутка! Многие тысячи лет существует она, а может быть, десятки и сотни тысяч лет юноша и девушка точно так же впервые познают любовь, думая, что прикосновение их рук самое нежное. Каждый считает, что именно он первым прибегнул к этой любовной игре. Тысячи поколений сменяют друг друга, а приметы любви остаются теми же; поколения стареют, уходят в могилу, на смену им приходят новые, и все начинается сначала.

Андриш захватывает губами пальцы девушки и начинает их чуть покусывать.

— Ой!.. Что за звереныш!..— вскрикивает Эсти и со смехом пытается освободиться от Андриша, но это нелегко, так как юноша обнимает девушку за талию, и она не успевает заметить, как оказывается у него на коленях.— Ну, не глупи... нет, это уже слишком!

За ометом жена Кеваго собирает цыплят. Их надо кормить. Это в порядке вещей... но она вспугивает молодых, которые, заметив ее, быстро отодвигаются друг от друга. В этот же момент от соседского забора отпрянула старуха Шенебикаи.

— Тогда садись вот сюда,— и Андриш усаживает Эсти на ручку кресла. Но и так неладно: ему хочется, чтобы она была ближе к нему.

— Нет, вы посмотрите на этого больного, чего он только не придумает!..— сопротивляется Эсти, но, наконец, смиряется, усаживается и кладет руки на спинку кресла.— Ну, теперь рассказывай, Андриш.

— О чем рассказывать? — спрашивает вынужденный сидеть смирно юноша и пристально смотрит на Эсти.

— Смотри, не съешь меня... Скажи, как ты себя чувствуешь? Лучше?

— Гораздо. Только, когда наклоняюсь, еще кружится голова.

— Это пройдет... все уже позади.

— Конечно... Когда мне было плохо, я горевал, что сатана возьмет меня раньше, чем ты станешь моей женой. Так тяжело было это сознавать... Дорогая моя...— Он хочет ее поцеловать, но Эсти, желая скрыть смущение, с трудом отстраняется, и Андришу не удается выполнить свое желание. Она старается разговаривать с ним как ни в чем не бывало, будто и сидит она не на коленях у Андриша, а рядом с ним.

— Мария получила вызов на курсы.

— Где она?

— Пошла к Мислаи. Он хочет сам вручить ей путевку.

— Наконец-то. А что делает дядюшка Бердеш?

— Дядюшка Бердеш? О, с ним было много хлопот! Из-за него, собственно говоря, тебя и избили.

— Я не сержусь на него. Путь к социализму не выложен розами.

— Где ты это вычитал, Андриш?

— Где? Да нигде. Полежишь в больнице, как я — избитый, до многого додумаешься.

— Да, дорогой ценой додумался ты до этого.

— Человек учится на всем... Мне хотелось бы узнать, примут ли меня обратно в молодежную бригаду?

— И как только у тебя поворачивается язык? Конечно, примут. Но мне кажется, тебе не следует идти на рисовое поле. Там все время приходится смотреть за другими, да и за собой тоже... а раз мы так близки... может, это неудобно... Я уже думала над тем, где бы тебе работать.

— Где же?

— В строительной бригаде.

— Это неплохо... Берешь кирпич, кладешь один на другой... Растет стена... И вот уже дом готов. Как в игре...— Тем временем руки их ведут борьбу: одна нападает, другая защищается.

По безлюдному двору идет жена Кеваго с пустой корзиной в руках и заглядывает во все уголки. В конюшне не топают лошади по настилу, никто не собирает в кучи навоз, из сарая не торчат оглобли, а там, где раньше разворачивалась телега, все уже ско-

пано, также и под сливами, что позади соседнего дома. Многое изменилось на крестьянском дворе. Однако, как и прежде, есть куры, наседки с выводками, которые и сейчас неотступно следуют за хозяйкой, будто им известно, что, как только она войдет на кухню, они больше ничего не получат.

Влюбленные слишком поздно замечают мать Андриша, но им, в конце концов, уже все равно, поэтому они остаются сидеть, как сидели. Эсти так краснеет, что, кажется, вот-вот ее лицо запылает. Андриш еще крепче обнимает невесту за талию — кажется, ни за что бы не отпустил. Мать Андриша косится на них одним глазом.

— И чего только вы все лижетесь! — негодует она и, обернувшись, швыряет корзину прямо в кур. Те разбегаются во все стороны, петух взлетает ввысь, а корзина описывает в воздухе полукруг и катится по двору.

— Видите, тетушка Кеваго... Андриш меня не пускает.

— Не пускает! Ну, конечно, если сама не хочешь. Вот обвенчаетесь, тогда... Не буду же я вечно следить за вами.

Андриш и Эсти заливаются смехом.

— Вы что же, мама, выходит, втихомолку подсматриваете за нами?

— Да ну вас, я совсем не то хотела сказать!..— она вздыхает, что означает у нее примирение, потом садится на скамеечку около веранды и, скрестив на коленях руки и подавшись вперед, смотрит куда-то вдаль.

Эсти отстраняется от жениха и, встав с кресла, поправляет волосы. Затем подходит к тетушке Кеваго, обнимает ее и шепчет ей на ухо:

— Не сердитесь на нас, поверьте, мы не сделаем ничего дурного.

— Ладно, ладно... Я не потому говорю... а все-таки, раз к тому идет дело, лучше бы вам скорей пожениться.

— Вот только уберем рис, тетушка Кеваго...

— Ну что ж, и то ладно. Если вы дотерпите, и я подожду...— Андриш и Эстер снова смеются, и тетушка Кеваго только теперь спохватывается: — И что это я разболталась сегодня, вроде как бы и не пила!..

Тут уже все трое весело и звонко хохочут на весь двор.

Глава восьмая

1

Йошка Пап живет в старом доме, который достался ему, как и его отцу, по наследству. Дом этот самый старый в селе; когда его строили — а это было лет двести пятьдесят назад,— хозяева хоть считались богатыми и именитыми, но крышу покрыли дранкой.

Когда же, несмотря на все заплаты, дранка окончательно сгнила, в моду начала входить черепица, тогда-то ею и заменили дранку. И поныне дом покрыт черепицей. В свое время он, по всей вероятности, был несколько выше, но десятилетия вдавили его в землю настолько, что кухня оказалась чуть ниже террасы.

Дом облицован известняком с пестрой мозаикой. В верхней комнате полы дощатые, в нижней — глинобитные, как и в других крестьянских хатах. Окна двести пятьдесят лет назад казались большими и внушительными, теперь же они выглядят маленькими и невзрачными; в нынешнее время даже меньшие дома строят с гораздо большими окнами. То, что дому ровно двести пятьдесят лет, можно узнать по дате, вырезанной на опорной балке. Хорошо бы списать эту надпись, но прочесть ее сейчас очень трудно, так как цифры и буквы, вырезанные по дереву, окружены затейливым орнаментом, очевидно, шедевром какого-то подмастерья-плотника. Все балки не сосновые, а дубовые, окрашенные временем в коричневый цвет, хотя из поколения в поколение их немало мыли и надраивали. Потолок в доме сделан из досок, а не из навоза и камыша, как в других крестьянских домах. Никто его никогда не красил, и он остался в своем естественном виде; только раз или два в году его протирали щелочным раствором, хоть это было и нелегко.

Итак, семья Папа с давних времен живет в этом доме; его обычно наследовал один из сыновей, а остальные разлетались, как рой из улья. Текло время, менялись радости и печали, веселье и трагедии; здесь умер, отравленный мышьяком, отец Йошки Папа, сюда привел Йошка свою жену, здесь родились его дети... Живя в этом доме, он вступил в «Свободу»... Сюда же принес почтальон вызов к нотариусу для переговоров. На семью это подействовало, как если бы вдруг рухнул потолок; но этого никогда не может случиться, потолок из такого дерева, которое срубили когда-то между двумя рождественскими праздниками — римско-католическим и православным,— поэтому его не возьмет древесный жучок, а другого врага у дерева и досок, как известно, не существует. Во время рождества лес скован самым глубоким сном; совестливые хозяева заготовляли лес только в это время, потому что, как говорят, тогда дерево ничего не чувствует.

Йошка Пап, даже не спрашивая жену, написал нотариусу: пусть он делает с наследством что ему заблагорассудится; жена не имеет на него никаких притязаний. Нотариус тотчас же ответил, но ни словом не обмолвился по поводу письма, а снова повторил свое приглашение, указав, что если гражданка Пап, урожденная Маргит Лазар, тотчас же не явится по вызову, то он, в соответствии с законом, все равно перепишет наследство на ее имя, но в этом случае она должна будет по исполнительному листу оплатить расходы, связанные с вводом в наследство.

Жена Папа ничего не сказала, даже не пыталась вмешаться, когда Йошка отдал «Свободе» свой фруктовый сад, землю,

скотину,— все это ее совершенно не касалось, ведь это принадлежало не ей, а мужу. У нее ничего нет, думала она, потому что отец все давным-давно промотал. К тому же Маргит так любила своего мужа, так верила в него, что он мог делать все что угодно, она без размышлений все одобряла. У нее не было никаких причин к тому, чтобы сомневаться в нем, ведь Йошка так заботился о ней, одевал ее ничуть не хуже, чем самые богатые хозяева своих жен. Иногда же она выходила в поле на работу; неуверенно вертела в руках книжку учета трудодней, стеснялась, когда бригадир вписывал в нее отработанный день и норму. Ко всему этому сразу не привыкнешь!

Отчуждение между ею и кооператорами началось, когда она из-за чего-то поссорилась с женой Шандора Катоны. Как? Такие женщины будут ею командовать? Но все-таки стерпела. Крепкая дружба связывала ее с Рожи Шаркези и еще несколькими умными и деловитыми женщинами, но с остальными она никак не могла сблизиться.

— Послушай, Йошка,— сказала она однажды мужу, когда они уже легли спать,— а что если мы примем это наследство?

— Это будет самой большой глупостью, какую только можно себе представить, Маргит (он всегда называл свою жену по имени).

— Почему же?

— Потому, что... мы против частной собственности, Маргит. Сколько раз мы уже говорили об этом, дорогая!

— Да, но...— только и сказала она, вслушиваясь в тишину ночи.

Ночная темнота зачастую плохой советчик, особенно для дочери человека, который когда-то был состоятельным... И вот она вдруг получает в наследство дом тетушки! Если теперь нельзя иметь собственную землю, то пусть, по крайней мере, будет свой дом — хороший и удобный, а не такой древний и затхлый, как этот.

Так слабые, поначалу робкие аргументы начали крепнуть; наконец она высказала то, что — кто знает, с каких пор,— скрывала в тайниках своей души.

— Я всему этому не верю, Йошка!

— Чему ты не веришь?

— Что им удастся сделать так... чтобы ни у кого ничего не было...

Йошка Пап чуть не остолбенел от этих слов. Значит все, что он до сих пор говорил и объяснял ей, было впустую? Напрасно раскрывал он перед Маргит свою душу — она ему не верила... И он впервые ощутил страшное чувство: ведь эта женщина — мать его двоих детей — ему совсем чужая! Мысль об этом была настолько мучительной, что ее нельзя выразить никакими словами. Ведь эта женщина была для него всем в жизни; почти все, что он до сих пор делал, он делал для нее.

А может быть, истина в другом? Когда человек любит женщину, разве он любит самого себя? Когда он больше жизни любит своих детей, когда он забывает о сне и об отдыхе, разве он делает это только для себя? Неужели и в своих детях он видит только себя, неужели действительно никогда нельзя освободиться от себялюбия? Сколько еще неразрешимых вопросов ставит перед людьми жизнь? Что может сделать человек, чтобы освободиться от этого гнета?

Если рассказать все Шаркези да сразу и передать наследство кооперативу? Пусть распоряжается по своему усмотрению. Только вот жена говорит, что ни за что не отдаст ни дома, ни земли. А речь идет о четырнадцати хольдах. Йошка свою землю отдал, до этого ей нет никакого дела, но от своей она и не подумает отказаться. Она ничего не имеет против того, чтобы Йошка оставался в «Свободе», но сама хочет вести хозяйство на своей земле.

— Но пойми же, Маргит, что к концу пятилетки все крестьяне перейдут к коллективному ведению хозяйства, неужели именно ты хочешь этому противиться?

— Йошка... Если ты хоть когда-нибудь любил меня, то поверь мне...— и, обняв обеими руками голову мужа, она прижимает ее к своей груди.

Йошка просто не может пошевелиться. Слезы навертываются ему на глаза. Разве он, похоронив отца, не покончил вместе с тем и с погубившей его отца любовью к своему хозяйству, к земле, домику с верандой, к частной собственности? Неужели никогда нельзя будет истребить это в людях? А жена продолжает свое:

— Я не верю всему этому, Йошка. Разве не лучше, если на всякий случай у нас будет на что опереться?

Мысль Йошки Папа работает без устали: почти непостижимое развитие «Свободы», создание нового села, преобразование Затисья, строительство нового общества...— обо всем он рассказывает жене, но все напрасно: эта женщина не понимает его, не способна понять.

— Оставь меня, дай выспаться! — тихо и печально говорит он и, повернувшись спиной, притворяется спящим. Но даже и после полуночи он слышит, как жена плачет, уткнувшись в подушку.

Споры и перебранка между Папом и его женой длились несколько дней; за это время о наследстве стало известно и в правлении «Свободы»: прощай курсы председателей, пришел конец и чести и уважению! Пожалуй, Йошка мог бы выгнать жену из дому — пусть идет и хозяйничает на своей земле,— но что будет с детьми? Допустим, девочку она заберет с собой, с ним останется мальчик, но он больше любит девочку... Может быть, наоборот... Но как бы в ответ на эту мысль на него с упреком смотрят глаза мальчика.

Все это, в конце концов, можно пережить, но теперь он сильнее, чем когда-либо, ощутил, что ни минуты не может прожить

без жены: он не сумеет работать, не чувствуя, что она рядом, что он живет для нее. Словом... эта женщина неотвратимо вошла в его существо, в его жизнь.

Через какие мучения прошла эта семья! Йошка Пап не уступал, да и не мог уступить; в конце концов, жена попыталась с ним договориться. Хорошо, они отдадут кооперативу землю, но дом оставят себе, лучше на худой конец сдать этот и переехать в Багойош — это недалеко, поля Инанда уже слились с ним.

С этим еще можно согласиться. Но Йошке до того надоели эти передряги — а кроме того, у него есть свои принципы,— что он все же не уступил.

На утро стряслась беда. Они не спали всю ночь, спорили и препирались, а рано утром, когда соседи выгоняли свиней, они увидели жену Йошки, которая с криками и причитаниями выбежала на улицу. В доме Папа что-то страшно зазвенело (Йошка Пап вдребезги разбил большое зеркало — жена принесла его в дом как приданое; оно ей было очень дорого), отчаянно завопили дети, потом с силой распахнулись двери кухни и во двор полетели подушки и перины.

Говоря попросту, умный, трезвый и сравнительно молодой Йошка Пап вдруг рехнулся.

Несколько мгновений остановившимся взором он смотрел на выброшенную постель, потом вбежал в комнату и начал успокаивать детей; те, наконец, утихли, но куда с ними идти? Что делать? Их нужно умыть, одеть, правда, они уже не такие беспомощные, чтобы не сделать этого самим: девочке четыре года, мальчику — шесть. Хоть бы они уже ходили в школу!

Он приготовил детям позавтракать, дал молока и хлеба, потом вышел во двор, собрал раскиданные подушки, постельное белье и бросил все это прямо в кучу на кровать, смел осколки разбитого зеркала, все время поглядывая на дверь, не покажется ли в ней милое лицо жены.

Но этого не случилось.

Если до сих пор он не знал, то теперь узнает, на что способны женщины, когда они злы, упрямы и своевольны.

Время шло, уже и ему пора идти, ведь в «Свободе» столько дел... Но как оставить дом, детей?

Дом никто не унесет, к тому же он запрет дверь, но что будет с детьми? Правда, жена, работая в поле, иногда отводила ребятишек к своей сестре, но разве может Йошка обратиться к ней после того, как выгнал из дому Маргит, ее младшую сестру? И тогда он вспомнил о кооперативе, ведь именно там его дом, больше, чем собственный, который оказался разрушенным семейной бурей.

— Идемте-ка, идемте, мои дорогие сиротки, мои бедные крошки!..— Он взял ребят за руки и повел в правление «Свободы». Там он отыскал Шари Фейер, поставил перед ней детей и сказал: — Вот двое ребятишек, будьте настолько добры, присмотрите за ними днем, пока... а там как-нибудь образуется...

Шари Фейер уже знает о несчастье в доме Йошки Папа, как знает об этом все село, и слезы застилают ей глаза.

— Будь покоен, товарищ Пап... я буду смотреть за ними, как родная мать. Я уже и так последнее время подумываю над тем, что... хорошо бы нам иметь свой детский сад. Пусть же эти двое детишек будут его первыми воспитанниками... А Маргит успокоится и вернется, не нужно смотреть на это так трагически, товарищ Пап. Вы — супруги, а как говорится: милые бранятся, только тешатся! — успокаивает его Шари Фейер.

А Йошка уже не слушает ее... Детский сад — отличная мысль! Не только потому, что это гнездо для его детей... Как будет хорошо, если женщины «Свободы» смогут ежедневно приводить в детский сад своих детишек: и маленьких и даже постарше — почти школьников. Тогда не придется о них беспокоиться, навязывать родственникам, старикам... К тому же здесь есть Шари Фейер, которая словно создана для того, чтобы любить чужих детей и ухаживать за ними... После этих мыслей его личное горе как бы становится меньше.

— И впрямь прекрасная мысль. Мы обсудим это предложение в правлении,— сказал он и глубоко вздохнул. Потом молча пожал руку Шари Фейер, приподнял и поцеловал девочку, погладил по головке сынишку и ушел.

В полдень у рисового поля он встретился с Шаркези, тот серьезно посмотрел на него и отозвал в сторону.

— Я слышал новость, товарищ Пап...

— Да, Маргит меня бросила.

— Жаль. Может быть, мне поговорить с ней?

— Не думаю, что это к чему-нибудь приведет. И как только я не старался ее образумить!.. Все напрасно! Мы очень любили друг друга... я так любил ее... Но я даже ударил ее по глазам, которые больше всего любил в ней. Я озверел и ничего не мог с собой поделать... И вот стал бобылем со своей любовью и своими доводами... Конец... Детишек я отвел к Шари Фейер, чтобы она днем присмотрела за ними, а потом что-нибудь придумаю...

«Создать детский сад!» — эта идея захватила Шаркези. Ведь это так же необходимо, как во-время вспахать или посеять, или пустить воду на рисовое поле. И тут же он вспоминает, как в прошлом году, будучи в Советском Союзе, он видел в одном из колхозов детский сад. Зеленый решетчатый забор, бесчисленное множество цветов в саду, и среди цветов дом — вилла с большими окнами. Они через забор любовались детишками; дети все свеженькие, чистые, среди них были и светленькие и смуглые, они окружили забор, словно гирлянда цветов. Да... это дело нужно поручить Йошке Папу, хочет он того или нет.—Дорогой товарищ, друг мой...— проговорил он и положил руку на плечо Йошки.— А что если нам организовать детский сад?

— Да, я думаю, пора этим заняться, товарищ Шаркези.

— Давно пора! Мы в ближайшее же время займемся этим.

2

Помимо работ на рисовом поле, самое срочное дело сейчас — прополка сахарной свеклы. Бригада, взявшаяся за это, еще не знает, что теперь работать будет легче, чем в прошлом году, потому что нынче сеяли другими семенами. Впрочем, семена-то, пожалуй, такие же, но только старик Бири на крупорушке раздробил клубочки семян на отдельные зернышки, и в этом году посеяли каждое зернышко отдельно. Правда, с ними пришлось немало повозиться.

Но теперь сев уже позади, и полольщики, выйдя в поле, смотрят на поднявшуюся свеклу. Лайош Кошут-Киш с двумя помощниками саженной меркой размечает поле, за ними следом ставят вешки. Каждый получит себе участок для прополки; если захочет, может полоть один, а может и с женой или с детьми — пожалуйста. Человек будет стараться для себя, все ему зачтется, а Кошут-Киш впоследствии определит не только количество, но и качество выполненной работы. На этом основании и будут начисляться трудодни.

На дальнем краю поля первое звено уже начало работу. Ну и хороша же в этом году свекла! Взошла она не кустом, а отдельными стебельками, как лук. Значит, ее не нужно будет прореживать, что в прополке неприятнее всего.

Вышел в поле и старик Бири. Заложив руки за спину, он любуется ровными рядами посевов — там идет прополка... И чувство гордости заставляет его сердце биться сильнее. Он, пожалуй, единственный человек во всей округе, который таит в себе гордость, чтобы другие ее не заметили. Скольких людей освободил он от усталости и ломоты в спине, сколько движений сэкономил такой обработкой семян! Ведь раньше в каждом кусте всходило пять и даже шесть побегов — значит, приходилось делать четыре-пять лишних движений... На сколько дней прополка будет окончена раньше, чем это бывало прежде!

О таком севе рассказывал Шаркези, он видел его в Советском Союзе, но там уже выведен такой сорт, семена которого дают не кустики, а отдельные растения; придет время, такие семена появятся и у них в «Свободе». И старик Бири уже думает над этим. Возможно, ему удастся и здесь чем-нибудь помочь кооперативу. Во всяком случае, нынче сев прошел удачно.

О новом методе сева стало известно областному плановому отделу, и в село приехали агроном и специалист-семеновод. Они тоже пробовали дробить клубочки на отдельные семена, но после этого пытались очищать каждое зернышко, словно семена люцерны или лука, а эта операция погубила зародыш. Сейчас их удивлению нет границ: оказывается, очищать зерно вовсе не обязательно!

На рисовом поле работает молодежь. Все здесь молодо: и люди и растения. Работа нынче состоит в том, что молодые коопе-

раторы целый день ходят по полю, выравнивают насыпи, запруды, устанавливают и поправляют желобки.

У стыка распределительного канала и запруды молодой человек по имени Иштван Пенадь, обучавшийся мастерству у Сильвы, сооружает сарай. Пусть будет место, куда можно спрятаться на случай дождя или непогоды, где можно держать вещи. Пенадь здесь за мастера, остальные ему помогают.— Рейку сюда! Подайте же топор!..— Дело пойдет, нужно только работать.

Рожи, стоя у края рисового поля в окружении группы людей, словно это ее штаб, держит в руках новенькую брошюру из серии «Сельскохозяйственная библиотека». На брошюре под заголовком — рисовое поле, где вода уже спущена; впрочем, если верить изображению, растение могло бы скорее сойти за дикорастущий камыш, за просо, словом, за что угодно.

— Если подать воду на десять-пятнадцать сантиметров, хватит ли ее для мальков? Если дать больше, не знаю, поднимется ли рис,— сокрушается Рожи.

— Да, но что будет, когда мальки станут большими рыбами? Хватит ли им воды? — спрашивает Кальман Циффра.

Насколько разведение рыб отличается от полевых работ на пропашных культурах, или, скажем, от ухода за скотом, или от строительства... Каждый день оно приносит новые волнения. Пока здесь больше работает разум, чем руки. Люди чувствуют себя так, будто они мчатся в телеге, запряженной лошадьми, подобными Буцефалу; вожжей, которыми можно было бы управлять конями, у них нет. И только усилием воли и мысли устремляются они вперед.

После сева поле сразу же начали заполнять водой, но нужно было решить, до какого уровня. Если залить мало — не хватит для прорастания риса, много — вода не впитается в землю, и это тоже плохо; сколько раздумий, сколько тревог! Насколько нужно сжиться с землей, чтобы знать и чувствовать, как прорастают семена! Но все обошлось благополучно. Правда, ежечасно Рожи, Эсти, Андраш Кеваго, Кальман Циффра и Пишта Сито следили, когда же покажутся всходы?

Наконец всходы появились.

Теперь пришлось тревожиться о другом. В брошюре сказано, сколько листиков должно быть у рисового стебелька, когда его нужно заливать вторично. А вдруг в брошюре что-нибудь не так? Если автор ошибся, тогда огромный труд, потраченный на обработку двухсот хольдов земли, надежды, будущие доходы — все должно пойти насмарку! А что если нужно делать наоборот?

Но нет, в книге все оказалось верно. Воду пустили на уровень в десять сантиметров и ждали, пробьется ли рис через такую водяную толщу. Зеркальную поверхность ласкал ветер, пригревало солнце, затем накрывала темнотой ночь. Так длилось несколько суток. Но вот однажды утром люди увидели, что то тут, то там

ветерок колышет слабые, еще редкие, как колеблемый ветром ковыль, маленькие стебельки риса.

А что будет, если они больше не покажутся над поверхностью воды? Но они взошли. Уже после обеда на ближнем участке показался еще реденький рядок стебельков риса. Рис одержал верх над водой; значит теперь уже больше ничего не случится. Можно запускать мальков.

Это уже опять новая работа, и такая, где требуется не сила, а разум. Старейший, потомственный обитатель воды — рыба. Известно, что нельзя долго держать рыб на суше: они, бедняжки, так отчаянно разевают рты, что их становится жаль. Где уж там думать о том, что эта с мизинец величиной мелюзга может вырасти настолько, что ей не хватит воды на рисовом поле.

Раньше нужно спустить воду из затона, чтобы выловить всю массу мальков, а это нелегко; затон намного ниже, чем отводные каналы.

— Придется воду вычерпывать ведрами,— огорченно говорит Пишта Сито, топчась возле Эсти, которая, в свою очередь, не отходит от Рожи,— она и сама не знает, как быть.

— Сбегайте кто-нибудь за Бири,— говорит Рожи.

Пишта Сито вскакивает на велосипед.

Вскоре он возвращается вместе со стариком Бири; тот тоже на велосипеде — впереди едет Сито, за ним, нажимая на педали, Бири,— и кажется, словно Сито тащит старика на буксире. Бири кладет велосипед на землю и оглядывает затон.

— Можно попробовать сифоном,— предлагает он.

— Каким сифоном? — удивляется Рожи.

— Да вот посмотри в этой книжке,— и он показывает на выглядывающую из кармана Рожи брошюру сельскохозяйственной библиотеки «Выращивание риса».

Рожи быстро перелистывает брошюру. Но вскоре выясняется, что сифоном выкачать воду невозможно. Тогда Бири начинает думать, как бы использовать трактор, чтобы насос мог качать воду. В крайнем случае, на пару дней придется остановить крупорушку... И он вызывает Шандора Катону.

Между тем время уходит, подобно спущенной воде. Люди стоят у затона, смотрят на воду и следят за тем, как резвятся крошечные рыбешки, которые никогда не прыгают из воды прямо вверх, а всегда чуть-чуть в бок. Вот сверкнет на свету их чешуя, и бесчисленные брызги, словно жемчужины, рассыпаются по воде.

3

Каждая эпоха создает своих героев. Вот придумает и смастерит что-нибудь Михай Бири, и о нем целыми днями будет говорить все село. Но и ему не всегда удается изобрести что-то новое — это ведь не так просто. Впрочем, Михай Бири, как тихая, медленно

текущая вода. Вроде и не видно, чтобы он мастерил, и вдруг сразу — есть, готово! И все это он делает бескорыстно, от всей души..

Сейчас Бири раздумывает, как бы воздействовать на кузнеца, может быть, даже взять его измором, чтобы тот вступил, наконец, в кооператив. И не потому, что в «Свободе» плохая кузница, а уж очень хорош кузнец — золотые руки! Старик Сильва совсем обосновался здесь. И Цинцер и Шербалог то и дело намекают, что только предложить им, и они сразу вступят в кооператив. Но вот кузнец...— это было бы хорошее приобретение! Правда, он уже не против кооператива, но и не за. Нужно выждать. Всякому овощу свое время.

Хотел Бири заполучить в «Свободу» и колесного мастера. Но тот все мудрил, требовал себе за день работы три трудодня. Бири это надоело, и он привел отличного работника Антала Балинта.

Балинт просил полтора трудодня, но правление решило дать ему двойной трудодень (пусть это привлечет кустарей). Словом, старик Бири сколачивает крепкий коллектив — тут дела идут на лад.

В кооперативе есть уже много строителей — крестьяне отлично осваивают мастерство. Есть уже квалифицированный кузнец, есть молотобоец и даже свой кондитер, который вообще-то работает животноводом, но в свободное время выпускает целыми килограммами конфеты — кислые, мятные, камфорные и всякие другие. Все они хороши на вкус, только вот выглядят, как плохо слепленные галушки. Отчаянно заикаясь, он говорит, что нет хорошей ф-ф-фурнитуры. Буквы «ф» он так нанизывает одну на другую, будто вбивает в землю колья. Лайош Тержек-Виг собирается примкнуть к кустарям и открыть в усадьбе сапожную мастерскую.

Нет такого дня, чтобы кто-нибудь не подал заявления с просьбой о приеме в кооператив; село словно лихорадит; повсюду — оживленные разговоры, пересуды. А что если заявления подадут жители всего села? Для этого «Свобода» организационно еще не подготовлена. Тогда нужно иметь не счетовода, а целую бухгалтерию, не агронома, а агрономов, не обойтись и без инженера, а ему нужна квартира, кабинет и, что не менее важно, приличная зарплата. Необходимо расширить медпункт, понадобится ветеринар... Сколько всего нужно, чтобы село стало социалистическим! А самое главное, дело должно идти так, чтобы правление без задержек рассчитывалось с членами кооператива.

Но для всего этого требуется такой председатель, который держал бы в руках все это большое хозяйство. Бердеш для этого не подходит, как, по правде говоря, и никто из членов кооператива. Значит, надо кого-то посылать на курсы председателей; пусть там подучится. Но кого?

Бердеш поехать не может. Долго он был популярным человеком,— в последние два года звезда его прямо-таки сверкала. А сейчас она закатилась.

Как известно, вместо закатившихся звезд восходят новые. Кооперативу нужен председатель: без него звезда «Свободы» может померкнуть. У Бердеша есть два заместителя, но они не могут заменить председателя, как и председатель их. Один из заместителей Йошка Пап, второй Андраш Кеваго. Йошка Пап ехать на курсы не соглашается, потому что его семейное положение, как он говорит, «в сильном расстройстве». Остается Кеваго.

— Пусть-ка едет на курсы Андраш Кеваго! — говорит Балаж Фюрес; он считает это правильным, хотя ни теперь, ни когда-либо раньше не чувствовал ответственности за свои слова. Выйдет — хорошо, не выйдет — не надо, такова его философия.

Все присутствующие смотрят на Андраша Кеваго. А, правда, почему бы ему не стать председателем? Даже сам Шаркези колеблется, не может сразу решить: то ли одобрить эту кандидатуру, то ли отвести... Но тут выступает сам Кеваго.

— Товарищи, мы с Лайошем Бердешем — однолетки. Это значит, что мы оба отживаем свой век. Всем, что знаю, я с вами поделюсь. Но не дело председателя вечно что-то выдумывать, это обязанность каждого члена кооператива. Председатель должен держать в руках всех членов и все хозяйство кооператива, как, к примеру, я держу в руках линейку. Если надо — положу сюда, а понадобится — туда. Кроме того, нам нужен молодой, сильный председатель и, что главное, чистый, как агнец божий, потому что речь здесь идет не о нем самом, а о всех, о кооперативе. Йошка Пап подошел бы, но он даже жену свою не сумел прибрать к рукам... А «Свобода» — это уже почти все село; вот почему нам нужен председатель, знающий свое дело, пользующийся авторитетом и всеобщим уважением. Я предлагаю послать на курсы подготовки председателей Рожи Шаркези. Я вместе с ней работаю на рисовом поле и убедился — от ее глаза ничто не укроется. Она сумеет взять в свои руки все наше кооперативное хозяйство...

И Кеваго всматривается в каждого так, как бывало смотрел, когда хотел посоветоваться с людьми о чем-либо очень важном: о выборах секретаря сельской управы, или о переговорах с директором рыбного питомника, или, еще раньше, о земляных работах, об уборке — обо всем, чем в былые времена он верховодил. Да и люди смотрят на него так, словно он вырос в их глазах.

Рожи от удивления широко раскрыла глаза. Никогда она еще так не ошибалась в людях. Вместе они работают на рисовом поле, и до сих пор она не могла заставить себя лучше, теплее относиться к Кеваго, считала его гордецом, который никогда не интересовался мнением других, замкнутым человеком, думающим, что он пуп земли, который... словом, у нее было достаточно подобных суждений! А сейчас именно он говорит то, что таилось в самой глубине ее души. А что, если вдруг?.. Теперь ей становится стыдно, выходит, что она не умеет разбираться в людях! Но Кеваго и сейчас словно отгадал ее мысли: — А мы будем рядом с ней, не так ли старина? — говорит он, хлопнув Бердеша по колену.

У Бердеша такое чувство, будто до сих пор было пасмурно, а теперь погода начинает проясняться: это не так уж плохо. Рожи будет председателем, а они вдвоем с Кеваго — ее заместителями, а потом...— в полете его безудержной фантазии будущее озаряется ярким светом.

4

Андрашу Кеваго в последнее время каждую ночь снятся какие-то удивительные в его возрасте сны. Всегда он спал крепко, а теперь каждую ночь ему снится нивесть что. Сегодня ему приснилось то утро, когда он на телеге привез в усадьбу Кельчеи весь свой хозяйственный инвентарь.

— Есть здесь кто? — спросил он и осмотрелся. Правда, тогда кругом стояли голые деревья, а теперь, во сне, все вокруг было в цвету; больше того, акации, тополя, каштаны, березы и сосны были покрыты одними и теми же цветами.

— Что такое? — отозвался старый Монок. Но тогда он был в потрепанном зипуне, а сейчас, во сне, одет по-праздничному, на его тужурке золотом горят пуговицы.

— Кто примет у меня телегу и лошадь?

— Могу и я,— проговорил старик,— но сначала их надо оценить.

— Оцените потом, успеете...— Он спрыгнул с телеги, повесил вожжи на люшню и...

Потом ему снится что-то очень неприятное, вроде того, будто у него нет семьи, он один-одинешенек плетется к усадьбе, и деревья уже не покрыты цветами, а только ветер свистит среди голых ветвей. Как бездомный, идет он через усадьбу, и вдруг, уже на обратном пути, встречается ему на дороге жена Цинцера. Она в ярком цветастом халате, на голове копна волос, черных как ночь.— «У вас нет сигареты?» — спрашивает она. «Нет, ничего нет»,— печально отвечает Кеваго и просыпается оттого, что жена толкает его в бок.

— Приснилось что-нибудь плохое? — спрашивает она.

— Плохое? А чорт его знает! Раньше эта Цинцериха, потом... будто у меня ничего нет.

Несколько мгновений жена молча вглядывается в темноту.

— Будто сейчас есть!

— Конечно есть. Хорошенько осмотрись, и увидишь, сколько у нас всего!

— У вас? А что есть у тебя? Впрочем... Спи, скоро начнет светать,— говорит жена, а у самой сон уже слетел с глаз.— Кто такая Цинцериха? — спрашивает она.

Кеваго уже засыпает и почти сквозь сон отвечает:

— Цинцериха? Жена кирпичного мастера.— Теперь он видит ее не в пестром, ярком халате, а в изношенной, потрепанной и вылинявшей короткой юбке, в которой она действительно ходит.

— Послушай, если ты на старости лет впутаешься в какую-нибудь глупость...— Жена вдруг приподнимается и, не мигая, смотрит в окно,— уже занимается заря.

Keваго громко смеется.— Ты хоть глянь на нее разок,— говорит он и отворачивается к стене...

Проснулся Кеваго сравнительно поздно. Андриша уже не было. Когда Кеваго пришел на рисовое поле, все были в сборе,— сегодня предстоит переноска мальков.

Воду перекачивают насосом с помощью трактора: трактор шумит, люди следят за тем, как на глазах убывает вода; однако только к десяти часам мальки замечают, что вода спадает, они испуганно сбиваются в стайки и ищут, где бы спрятаться поглубже. Наконец то тут, то там показывается дно, мальки сбиваются в «ложа», то есть к водосливу; здесь их собирают плотными сачками и перекладывают в ящики, а из ящиков выпускают в воду рисового поля.

Тут Рожи, Кеваго, Эсти, Циффра, Сито и еще три-четыре человека из молодежи. Никто из них никогда не занимался разведением мальков, поэтому никто толком не знает, что делать. Мальки в ящике бьются, раскрывают рты, прыгают в воду рисового поля и так быстро улепетывают, будто хотят сбежать с этого света.

— Не больно хорошо у вас получается, ребята,— говорит Кеваго.

— А что же нам делать, дядюшка Кеваго? — доверчиво глядя на него, спрашивает Рожи.

— Раньше всего нужно знать, сколько мы пускаем мальков.

Рожи раскрывает книжку, в которой изложены основы рыбоводства на рисовых плантациях, но не находит в ней ответа на этот вопрос.

— Я думаю, так... надо пересчитать, сколько мальков в каждом ящике, потом все сложить и записать. Другого ничего не придумать!

Все начинают быстро считать, перекладывая мальков в пустой ящик, так как долго их держать без воды нельзя. Маленькая рыбешка сникнет... и конец.

— Записывайте! — командует Кеваго, чувствуя себя в своей стихии. В общей работе он снова обретает себя.

Эсти нет-нет да взвизгнет от прикосновения рыбешки; рыбы — не такие уж кроткие создания, какими они представляются с суши. Они словно маленькие чертенята: брыкаются, бьются, прыгают, выскальзывают из рук; их маленькие тельца такие твердые, будто сотканы из застывших мышц.

По насыпи на велосипеде подъезжает Шаркези и уже издали приглядывается к работе. Видно, здесь главный Кеваго. Он так все ловко делает, так всем распоряжается, будто всю жизнь занимался только рыбой. Он диктует цифры, поправляет своих по-

мощников: — Берите не так, а этак.— И Шаркези уже думает, не лучше ли вместо Рожи все рисовое поле с мальками поручить ему. Правда, Эсти, возможно, станет невесткой бригадира, и тогда ответственность будет покоиться в некотором роде на семейной основе... А если Рожи уедет на курсы председателей, разве не так же распределится ответственность между ним и его женой? Ничего, как-нибудь и это наладится.

Когда наступил вечер, Андраш Кеваго стал уже популярным человеком среди членов кооператива, возвращающихся с рисового поля. Как он во всем разбирается, даже в рыбоводстве! И при обсуждении в конторе правления результатов работы за день, все сошлись на том, что «Свобода» сделала хорошее приобретение, приняв в свою семью Кеваго.

Глава девятая

1

Весь апрель стояла чудесная погода, только в самом конце месяца тучи заволокли небо, но, несмотря на ненастье, люди трудились не покладая рук.

Полеводческая бригада очень выросла. Лайошу Кошут-Кишу одному с ней и не справиться, к тому же с зимы он как будто еще больше постарел. Поэтому ему дали в помощники Йошку Папа, и теперь они оба действуют, как в эстафете, где один бегун, преодолев дистанцию, передает жезл другому, чтобы совместно добиться выигрыша. Люди работают иначе, чем в прошлом году: всему ведется учет, и каждый знает — чем лучше он будет работать, тем больше на его долю придется трудодней.

Агроном Кальман Циффра заметно возмужал, у него уже выросли усы, а от харчей Шари Фейер он окреп и стал куда солидней. Он и чувствует себя увереннее; все, чему он учился в академии, укрепилось и обогатилось практикой.

— Не запускайте так глубоко мотыгу,— поучает он тетушку Болдижар.

— Ну тогда покажите сами, голубчик, я иначе мотыжить не умею,— сердито отвечает ему женщина.

— Смотрите, вот так.

Агроном берет у нее из рук мотыгу, проворно опускает ее в рыхлую землю и, когда острие уходит в почву, чуть тянет к себе. Так рыхлят только сахарную свеклу; для каждой культуры — кукурузы, хлопка, картофеля — есть свой метод обработки. Кооператоры с удивлением смотрят на Кальмана. Гляди-ка, нашего агронома будто подменили — совсем другой стал человек.

В начале мая прошел слух, что сын Барны Надя, Бела, получил за хулиганство три месяца тюрьмы, а Пишта так и исчез — до сих пор никто не знал, куда он девался. Ференц Вираг был осужден

за покушение на убийство... то ли на пять, то ли на шесть лет. Повидимому, вражеский фронт разгромлен.

Известно, что всякий слух преувеличивается и приукрашивается. Так в селе разнеслась весть, будто жена Шандора Катоны посадила наседку на двадцать одно яйцо, а вылупилось из них... двадцать два цыпленка. Любая новость сразу распространяется по полям; словно носится в воздухе, доходит до людей, а затем исчезает, чтобы уступить место другой, более свежей.

Начали поговаривать о том, что Рожи Шаркези уезжает на курсы председателей кооперативов. И те, которые говорили, и те, кто слушал, сразу же представляли себе Рожи, ее чуткое, но вместе с тем требовательное отношение к людям; вспоминали, как она по-хозяйски следит за полями кооператива «Свобода», будто появилась на свет вместе со всем этим несметным богатством.

Рожи и в самом деле уезжает.

— Иди ко мне, мать...— зовет ее Шаркези утром накануне отъезда и отодвигается вглубь кровати. Рожи садится у него в ногах и обнимает колени мужа.

— Что же будем делать, Имре?

— На нашу долю всегда выпадает самое трудное. Раньше я уезжал, теперь ты покидаешь меня. Это уже слишком... Ведь мы очень любим друг друга. Каждый из нас — это только половина целого. Тебя на курсах наверняка будут и уважать и любить, за ученьем время пройдет незаметно. Но мне одному будет тяжко и одиноко. Ты будешь далеко, а с кем же мне посоветоваться, как не с тобой? Пожалуй, Сито еще кое-как разбирается в делах, но дядюшка Бердеш совсем отстал... Может быть, выдвинуть кого-нибудь из молодых...

— Поставьте на мое место молодого Кеваго.

— Может быть, он и справится, но... Я предпочел бы Эстер Мольнар...

— Почему? Не лучше ли выждать и приглядеться к Андришу.

— Насчет Андриша у меня имеются свои планы... И осуществить их я думаю в ближайшее время.

— Собираешься и его послать на курсы?

— Конечно. К весне нам понадобится не меньше трех специалистов: два по земледелию, один по животноводству.

— Стало быть, он... будет зоотехником, я угадала?

— Да, зоотехником.

— Слушай, Имре! Мне думается, что следовало бы послать учиться и Лаци Бердеша.

— Лаци поедет на три месяца в областную партшколу, только об этом пока никому ни слова.

— Зачем это нам нужно?

— Не нам, а молодежи. К осени все наше село, очевидно, станет социалистическим, и с нас раньше всего спросят, как выросла у нас молодежь... Но пока я ведь работаю в парторганизации один,

я очень устал, мать...— Он приникает щекой к подушке. Рожи наклоняется к мужу и целует его.

В комнату заглядывает старый Фаркаш, на плече у него поношенная котомка, в руках охотничье ружье Шаркези. Сейчас он собрался гонять ворон с кукурузы. Их двое сторожей, работают они посменно.

— Взять с собой разрешение на ношение оружия? — спрашивает старик, устремив глаза на печку.

— Не нужно, я объяснил Канья-Кишу, в чем дело. Столько развелось ворон, что из-за них неба не видать.

Старик в прошлом году еще мотыжил, но теперь рад новой профессии: посиживать под кустиком, да похаживать по полю, жарить сало, запивать ключевой водой из родника, толковать с прохожими да время от времени пугать из ружья ворон. Малина, а не жизнь — ничего не скажешь.

А люди, не сведущие в мирских делах, еще спрашивают, что, дескать, будет в кооперативе со стариками!

2

Через шесть недель стебли риса уже заметно выступают над водой, и на всем участке только и видать, что воду да колышащиеся стебельки. То здесь, то там из воды показываются рыбешки. Открыв рот, они пускают воздушные пузырьки. Но рыбы мало; перед глазами только мелькнет одна, другая... Неужели это все одни и те же, или каждый раз новые? В крае — большие рыболовецкие промыслы, стало быть, и много водоплавающей птицы, а с устройством рисовой плантации ее стало еще больше. Вот цапля-колпица; целыми часами неподвижно стоит она, лишь изредка бросая взгляд в сторону, если неподалеку всплеснет рыбешка. Цапля-колпица — птица хищная, с ней нужно быть начеку. Но еще опаснее серая цапля и ондатра. Они не только пожирают мелкую рыбу, но и подрывают насыпи, а это куда хуже. Появилась здесь и выдра и тоже начала истреблять рыбу. Сколько врагов у рыбы, а стало быть, и у кооператива!

Вскоре люди догадались, что воду на поле можно поднимать по мере роста риса. Таким образом, и для рыбы оказалось больше воды, и она стала нагуливать вес. Поймав сачком несколько рыбешек, агроном взвесил их. Оказалось, что попадаются и такие, что весят по восемьдесят, по сто граммов. Если так пойдет дальше, то в недалеком будущем из воды начнут показываться жирные рыбьи спинки!

Как-то утром Кеваго остановился на дамбе, осматривая рисовое поле.

Утро выдалось пригожее. С востока на запад солнце провело по воде сверкающую серебряную борозду. Вдруг вдали послышалась песня:

Эх! И славно было б жить,
Коль налогов не платить,
Коль не ездить за пшеницей
В ближний город на базар,
Коли петь да веселиться —
Никогда не будешь стар.

Кеваго прислушался и ухмыльнулся.

— Кого же это так взяло за живое?.. Шел бы в кооператив! У нас не помрешь, если только кондрашка не хватит,— и он, засмеявшись, продолжает осматривать посевы.

С большой дамбы он перешел к одному из участков, здесь ему что-то не понравилось. Поверхность воды словно посыпана каким-то порошком. Старик сбросил сапоги и, войдя в воду, запустил в нее руку: оказывается, бурьян, водяной болиголов, щетинник и болотница... Вода от них стала серой, а чуть подальше казалась такой, словно туча закрыла солнце. А ведь агроном утверждал, что от воды сорняки гибнут.

Кеваго немедленно сообщил об этом в сельскохозяйственный отдел. Оттуда сразу же прислали опытного мелиоратора. Повидимому, во время разлива воды чего-то недосмотрели, и теперь весь участок покрылся сорняками.

— Мы следили за уровнем воды точно, как полагается,— доказывает Кальман Циффра.

— Тогда сорняки погибли бы! — настаивает приезжий мелиоратор.

Но в разговор вмешивается Кеваго.

— Болотница, водяной болиголов? Да они пробиваются наружу даже если воды на добрых полметра.

Словом, что хорошо для щетинника и его семейства, плохо для болотницы и болиголова. Но всех их нужно выпалывать и без промедления. Выход один — мобилизовать молодежную бригаду!

Все это не было неожиданностью; давно уже кооператив собирался приступить к прополке риса; только непонятно, откуда появились растения, которых в этих краях никогда и не видывали. Болотница, правда, росла по низинам, а водяного болиголова и знать не знали! Но как бы там ни было, теперь он появился.

Кеваго разыскивает председателя, и они вдвоем ищут Лайоша Кошут-Киша. В этот же вечер Эсти составляет бригаду.

Речь идет о двухстах хольдах земли. Их придется обработать очень тщательно. Если считать по пятнадцати дней на хольд, выйдет три тысячи трудодней. И как ни перевыполняй норму, быстрее с сорняками не справишься. А это значит, что рис погибнет. Стало быть, всех нужно бросить на рис.

В одной бригаде объединили пятьдесят молодых девушек и всего лишь нескольких парней, потому что нельзя было оставлять без рабочих рук и другие участки. Девушки принесли с собой старые юбки, блузки и, посмеиваясь, начали переодеваться. Солнце уже высоко стояло в небе, когда Эсти первой вошла

в воду. Кеваго стоял на берегу и, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону, давал указания:

— Ты становись сюда! Тебе начинать! Да смотрите, не потопчите рядков!

Девушки одна за другой входят в воду.

Сначала работа не спорится; нужно приспособиться, чтобы рука наверняка отыскивала в воде сорняки. Сорняки видны над водой — они заметно выросли даже со вчерашнего дня. То одна, то другая девушка взвизгнет: одна — испуганно, другая — хохоча, словно от щекотки. Мелкие рыбешки в испуге ищут спасения, бросаясь в разные стороны; их чешуя сверкает под лучами солнца. Вода не так уж холодна, но прикосновение рыб наводит на девушек ужас — впрочем, это зависит от того, какой у кого характер.

Глубина воды достигает приблизительно тридцати сантиметров, но ноги увязают в грязи, и поэтому кажется глубже. Девушки повыше бродят в воде по колена, а тем, кто пониже, вода доходит почти до пояса. Через несколько минут все они вымокли, как суслики.

— Куда складывать сорняки? — оборачивается Эсти, в недоумении сжимая в руках пучок болиголова.

— Как куда? Оставляйте пока на воде,— говорит Кеваго, расхаживая по насыпи. Затем достает из кармана подаренную ему Рожи Шаркези записную книжку и нервно перелистывает ее.— Нужны бы грабельки! Я пойду скажу, пусть сделают в мастерской...— И он торопливо направляется в усадьбу.

Эсти успокаивается и советует девушкам оставлять сорняки на воде,— потом их уберут.

Девушки уходят все дальше и дальше вглубь поля, но до чего медленно идет дело! Однако не так уж это страшно — всему когда-нибудь приходит конец; кончится и эта работа.

После обеда принесли трое небольших грабель, и вот теперь девушки заняты только тем, что выволакивают ими пучки зеленых сорняков, а они мокрые и поэтому тяжелые. Да к тому же приходится внимательно следить, чтобы не примять стебельки риса. Словом, и эта работа тоже не очень-то спорится.

Счастье, что греет солнце и в воде не так холодно. Девушки работают весело, с песнями, то и дело вскрикивают от прикосновения какой-нибудь рыбешки и, конечно, промокают до нитки.

Побывали здесь и Бердеш, и Шаркези. Посмотрели на сорняки, которые, казалось, росли на глазах, проверили очищенные участки, потом ушли. Около четырех часов дня появился, наконец, и агроном.

Девушки идут по участку ему навстречу, слышится плеск воды, смех. Одна напевает, другая что-то рассказывает, опуская тем временем руку в воду и вытаскивая такой пук сорняков, что с трудом удается распластать его на поверхности.

Кальман Циффра, юноша двадцати одного года, стоит на вершине насыпи и не отрываясь смотрит на девушек. Он горько вздыхает, затем ложится ничком и подкладывает руки под подбородок. Парень, как и все в его возрасте, очень влюбчив, а представившееся ему зрелище окончательно распаляет его. У всех без исключения девушек одежда — и без того не очень широкая — совсем прилипла к телу. На некоторых ничего нет, кроме старой короткой юбчонки и разорванной блузки. За работой они на это не обращают внимания. А агроном смотрит на них во все глаза.

— Не лодырничай, Кальман! Лучше закатывай штаны да иди к нам на помощь! Чего смотришь? — кричит ему Эсти.

Кальман Циффра чувствует себя очень неловко. Он тут же снимает ботинки, закатывает как можно выше свои короткие брюки и лезет в воду. Через минуту-другую борьба с сорняками захватывает и его.

До сих пор дело выглядело так, будто рис борется с сорняками, и можно было только гордиться, что в этой борьбе он побеждает. Если сорняки тянутся вверх, не отстает и рис. Но это еще не все: рису нужно не только расти вверх, но и куститься. Там, где прошли по сорнякам в первые дни, рис выглядит совсем по-другому — он сочнее, кустистее.

Вначале правление собиралось установить норму работы для девушек хотя бы ради того, чтобы перевыполнение было заманчивым, но потом от этой мысли пришлось отказаться. Пусть уж работают как могут — другого выхода нет. К вечеру еще терпимо — за день вода нагревается, но по утрам до того свежо, что посылать девушек, почти подростков, в холодную воду — просто грех. Нужно немного повременить. А чтобы не пропадало время, завтракали до начала работы. Сегодня, наконец, закончили очистку половины поля, то есть сто хольдов; на это ушло целых десять дней. Но участок, где рис посеян реже, еще впереди, а там сорняков больше.

Так и сидят они в стане, под навесом, а солнце поднимается все выше и выше над горизонтом. Диск солнца желтый, почти прозрачный, да и небо такое же желтое, словно окрашено юным рассветом.

— Погода переменится, девчата, похолодает! — говорит Кеваго и с беспокойством посматривает на небо, затем переводит взгляд на участок, где сорняки уже почти совсем заглушили рис.

Эсти сразу забывает о еде.

— Дядюшка Кеваго, пойдите сейчас к товарищу Шаркези и расскажите ему, в чем дело. Если за четыре-пять дней мы не очистим все поле, быть беде!

— Я могу пойти, но не представляю себе, где взять столько людей. Здесь нужно, по меньшей мере, человек сто.

— Товарищу Шаркези это известно. Пусть пришлет канцелярских работников, ночных сторожей, словом, это уж его дело.

Keваго уходит, а девушки и парни поворачиваются друг к другу спинами и начинают переодеваться, чтобы начать работу.

Сегодня вода не такая холодная, как вчера утром. Но дует северный ветер, и по небу проплывают тучи, правда, не такие плотные, как летом, а какие-то разорванные — небо будто усеяно потемневшей прошлогодней щепой. Погода ухудшается, в воздухе становится все прохладнее.

В полдень на стан прибыло первое подкрепление. Кто же мог прийти, как не работники канцелярии? Шари Фейер явилась прямо в купальном костюме, в сандалиях на босу ногу, сверху накинув пестрый халат. Она сбросила халат и сразу же вошла в воду. У Лайоша Терджек-Вига при одной мысли, что ему предстоит войти в воду, начали стучать зубы.

Вторая группа прибыла к обеду. В ней были старый Тодьер Монок и молодежь из мастерской. Это уже более серьезная помощь, хотя бы потому, что их пришло гораздо больше. Новички начали раздеваться, а девушки и парни, уже поработавшие в воде, дрожа всем телом, принялись за обед. Хорошо бы сейчас посидеть на солнышке, но ветер не позволяет, и они вынуждены искать уголок, где бы укрыться от него. А вода на поле покрывается рябью, словно тело от холода — гусиной кожей.

Циффра, который вот уже несколько недель подряд ходит в коротких штанах, стуча зубами, отыскивает местечко, где можно немного согреться, перекладывает свою промокшую одежду то сюда, то туда и с завистью поглядывает на Шари Фейер, закутавшуюся в теплый сухой халат.

После обеда небо совершенно заволокло тучами, солнце исчезло, ветер усилился. Однако работа продолжается. Первой в воду входит Шари Фейер.

— Терпеть можно! — говорит она и тут же начинает выдергивать сорняки.

Эсти, посмотрев на измученных девушек, чуть колеблется, затем переодевается за сараем и идет в воду. Но как только касается ее ногой, по телу пробегают мурашки.

— Вода холодная, девушки. Кто согласен, пусть работает, но это не обязательно... кто не может, не надо.

Пробуют все, но многие сразу же выходят из воды, переодеваются и печальными глазами смотрят на смельчаков, которые не боятся холода. Циффра сначала решает не поддаваться холоду, но потом не выдерживает, и зубы у него начинают отстукивать дробь. Ну и пусть себе щелкают, если им так нравится!

Хотя в бригаде сейчас много людей, работают далеко не все. Погода срывает планы.

Эсти пытается немного согреться, но ей это никак не удается. Вода за день не стала теплее, к тому же в воздухе похолодало; но все это еще куда ни шло, если бы не резкий ветер. Эсти оглядывается: следом за ней идет Шари Фейер. Как раз в это время выходит из воды Кальман Циффра.

— Чего не могу, того не могу,— говорит он, и ему хочется плакать. Но ведь не плакать же, в самом деле, даже если от холода зуб на зуб не попадает.

— Давайте кончим, тетя Шари...— говорит Эсти. Ресницы ее часто и тревожно дрожат, и, наконец, не в силах сдержать слезы, она начинает плакать: — Как много еще осталось сорняков!.. Что будет, если такая погода продлится неделю?

— Не плачь, глупышка... А ведь и впрямь холодно,— нерешительно говорит Шари Фейер, затем берет Эсти за руку и уводит в сторону.— Идем, авось мы с тобой что-нибудь придумаем.

Эсти теперь уже плачет, не стесняясь; она сжимает руку Шари Фейер и бредет вслед за ней. Они взбираются на насыпь и оглядываются назад. Ветер настолько резкий, что кажется, будто он режет кожу.

— Укроемся где-нибудь от ветра,— предлагает Шари Фейер и ведет Эсти к куче камыша, который лежит здесь на случай, если где-нибудь прорвет плотину и надо будет заделать брешь.

Не отведав плохого, не познаешь хорошего... Они сидят, прижавшись друг к другу, и смотрят на раскинувшийся перед ними участок, где сорняки буквально заглушают посевы.

— Погибнет все... Как же нам быть с планом?..— В голосе Эсти чувствуется волнение.

— Ну, этого мы не допустим. Давай подумаем... Если бы удалось разом вырвать все сорняки!..

Эти слова заставляют Эсти призадуматься.

— Будь у нас такое приспособление, которое можно протащить между двумя рядками риса... тогда нетрудно работать и в холод.

— Конечно, если надеть теплые штаны, а сверху какую-нибудь юбку потолще и теплую блузку...

— Какое же должно быть это приспособление?

— Если бы я только знала! Но, может быть, старый Бири... Пойдем к нему! — Шари вскакивает, берет за руку Эсти и помогает ей встать.

Они обходят участок — в это время в воде уже никого нет. Юноши и девушки одеваются, выжимают мокрую одежду. Обе они, никому ничего не сказав, тоже наскоро переодеваются и молча идут к усадьбе Кельчеи.

Все с удивлением смотрят им вслед. Но больше всех заинтересован Кальман Циффра. Ему чудится что-то необычное в том, что Эсти и Шари, взявшись за руки так поспешно куда-то пошли.

3

Старый Бири выковал лезвие новой усовершенствованной им резки-мотыги и сейчас обтачивает ее в мастерской. Напильник в его руке нет-нет да и замедляет свой ход, когда то Шари Фейер, то Эстер Мольнар заговаривают с ним об инструменте, о котором они сами имеют весьма смутное представление.

— Сейчас...— И молчаливый Бири, положив напильник на верстак, идет к выходу.

— Эй, эй! — кричит он и машет рукой, словно разгребая воздух.

К ним приближается Шандор Катона.

— Сабадшаг! — здоровается он с женщинами и удивленно озирается.

— Послушай, Шандор,— говорит Бири,— речь идет о том, чтобы... словом, нужен инструмент, которым... впрочем, объясните вы сами! Вы же лучше знаете...

Женщины рассказывают то вместе, то по очереди. Тем временем старый Бири, вертя в руках напильник, погружается в размышления.

— Хорошо, а где нам найти колеса? — спрашивает Шандор Катона.

— Какие колеса? — удивляется Шари Фейер.

— Те, на которых он покатится.

Сейчас Катона ломает голову над таким инструментом, который имел бы одно колесо, а по обеим сторонам на конце оси были бы прикреплены косящие ножи; словом, нечто похожее на орудие древних ассирийцев.

— Не мели чепухи! — ворчит на него старый Бири. И продолжает невозмутимо работать своим напильником. Потом, взглянув на женщин говорит: — Сегодня я сделаю пару, а завтра с утра возьмусь за остальные. Будь у нас их хоть десять, работа пойдет много легче.

Это уже другие слова, и к тому же ясные и понятные. Шандор Катона тут же исчезает; и зачем Бири звал его сюда, если он сам все знает? Только для того, чтобы осрамить его перед женщинами?

Михай Бири тоже выходит из мастерской и направляется к углу здания, где на земле громоздится сваленный в беспорядке железный лом: старые косы, скобы, куски жести и еще какие-то предметы, первоначальное назначение которых сейчас никто бы не смог определить. Вот он перебирает сломанные косы, вытаскивает одну из них, вертит в руках, внимательно рассматривает.

Обе женщины переглядываются.

— Можем мы на него надеяться, тетушка Шари? — спрашивает Эстер.

— Даже если не на кого надеяться, Михай Бири все равно не подведет.

Эсти, успокоившись, садится на скамью, вырубленную из цельной осиновой колоды; ее немного знобит. Скрестив на груди руки, она словно хочет прикрыться ими.

— Да ты не простыла? — озабоченно спрашивает у нее Шари Фейер.

— Нет, не думаю... Просто устала, нам ведь пришлось много пройти.

— Зайди-ка быстренько к Терчи Фюрес, пусть она тебе сейчас

же вскипятит чай с ромашкой, и потом не вздумай так налегке возвращаться в село. Попроси у нее какую-нибудь теплую кофту или еще что-нибудь. А я уж подожду, посмотрю, что придумает старый Бири.

Балаж Фюрес живет в бывшем барском доме, но вся его семья уже знает, что жить им тут осталось недолго, потому что хозяйство кооператива растет, а стало быть, понадобится больше помещений для правления. Кроме того, за счет одной комнаты расширили медпункт. Но пока Фюресы живут здесь, всегда к ним на кухню завернет то один, то другой... О ком-нибудь спросит, что-нибудь расскажет... Выходит, что эта квартирка удобна, а жена Фюреса — вроде как диспетчер — все знает, всем распоряжается... Особенно зачастили сюда Андриш Кеваго и Эстер Мольнар. Они встречаются здесь не потому, что хотели бы скрыться от посторонних глаз; ведь в том, что они беседуют, нет ничего плохого. Просто им нравится побыть здесь вдвоем.

Дверь и окошко кухни выходят на восток, то есть в парк; сюда достигает дым от обжига кирпичей. Гонимый ветром, он напоминает дымок идущего поезда. К окну подходит Эсти, несколько мгновений смотрит на стелящийся дым, потом входит в кухню, где хозяйка готовит ужин.

— Добрый вечер, тетушка Терчи! Что стряпаете?

— Добрый вечер, милочка! Да вот варю галушки. Садись, милая.

— Большое спасибо... я зашла попросить, не можете ли вы быстренько вскипятить мне чаю с ромашкой... Я продрогла на рисовом поле.

— Ну еще бы, сейчас приготовлю! А пока присядь,— и она быстрым движением накрывает салфеткой миску, в которой вовсе не галушки, а разрезанный на куски заяц.

Хотя тетушка Терчи очень любит Эстер Мольнар, даже ей совершенно не обязательно знать, что, когда охота запрещена, Фюресы готовят на ужин зайца. Сейчас она мечется по кухне; за ромашкой нужно сбегать в чуланчик, а Эстер тем временем может увидеть зайца... Но все-таки она выходит. Эсти не к чему смотреть в миску, она ведь сразу все заметила. И теперь ей от этого становится грустно: как трудно приучать людей к порядку, к дисциплине... Она только не знает того, что известно в селе каждому: браконьерами-охотниками и рыболовами кишит вся округа.

Здесь с незапамятных времен все принадлежало помещикам: вода, дичь, земля, воздух; крестьяне ни к чему не имели доступа. Именно поэтому они сами себе разрешали то, что им запрещали другие. За несколько лет до освобождения как-то случилось, что жандармы обшарили все село, разыскивая браконьеров, и отобрали около полусотни ружей. Однако все обошлось. Дело предпочли замять, конфисковав лишь ружья: за то, что крестьяне обвели вокруг пальца все местные власти, могли последовать серьезные неприятности для начальства...

С рыбой же обстоит иначе. Сети не стреляют, да и рыба ведет себя гораздо тише; именно поэтому браконьерам будет легко проникнуть в рыбные заповедники «Свободы». Эсти ясно, что Терчи Фюрес, эта порядочная, веселая и добродушная женщина, нарушает закон, готовя на ужин зайца, как незаконно поступил и тот, кто застрелил его.

А хозяйка, словно пытаясь искупить свою вину, побежала на стройку, где в это время уже собирали инструменты; тут она увидела Андриша, который только что убрал бадью с известью, и позвала его:

— Зайди к нам, Андриш! — и поспешила обратно, чтобы заварить для Эстер ромашку.

Не в первый раз зовет она так Андриша; естественно, что если двое молодых людей уже столько времени любят друг друга, то им где-то нужно видеться. Андриш мог бы теперь заходить и к Бердешам, но он этого не делает. После всего, что произошло, он не может себя пересилить. Зимой встречаться было довольно трудно — только разве в клубе и в помещении союза молодежи, но с наступлением весны они стали видеться и в поле и здесь, в усадьбе, когда только выберут время. И все же чаще всего они заходят к Фюресам, где чувствуют себя как дома.

Немного погодя они уже сидят на диване друг подле друга. Эсти медленно тянет горячий настой ромашки, а Андриш молча смотрит на девушку. Слышно, как в парке воркуют голуби, где-то во дворе ругается старый Монок и кирпичный мастер Цинцер пререкается с возчиком из-за того, что тот сбрасывает солому слишком далеко от печи.

— Закройте дверь! — говорит тетушка Фюрес.

— Да что вы! Как вы можете подумать...— Эсти даже обиделась.

— Заприте дверь, потому что придет жена Шандора Катоны, а потом... ну да я сама запру,— решает Терчи Фюрес и, повертев в руках ключ, прикрывает дверь; они слышат, как снаружи щелкает запор и поворачивается ключ.

— Вот сумасшедшая! — шепчет Андриш, с трудом сдерживаясь, чтобы не расхохотаться.

— Что же это она сделала? — так же шопотом, замирающим голосом спрашивает Эсти. Она не может совладать с собой; внезапно ее охватывает какое-то странное чувство. Быть вместе с Андришем в одной комнате да еще запертой снаружи на ключ!..

Сама обстановка как-то располагает к тому, чтобы они чувствовали себя свободно. Эсти подбирает ноги, прикрывает их юбкой и кладет голову на колени Андришу.

— А почему тетушка Фюрес боится жены Катоны? — спрашивает Андриш, но говорит он с трудом — сухой язык словно прилипает к гортани. Он с удовольствием проглотил бы что-нибудь, да нечего.

Что и говорить, они попали в странное положение. Ведь они любят друг друга, иногда даже целуются, но впервые они остались вдвоем в комнате, и Эстер примостилась у него на коленях. И это такое большое событие, что голова у Андриша идет кругом. Его охватывает грубое, не знающее жалости, нескрываемое желание, которое он уже не в состоянии обуздать. Сперва он гладит ее волосы, потом плечи и вот уже его рука соскальзывает вниз по спине.

— Мне очень хочется спать...— говорит Эсти с такой мольбой в голосе, что порыв мгновенно гаснет в юноше. Он задерживает руку и подавляет в себе желание. Теперь он уже хочет только одного: ощущать, как бьется сердце девушки...

В маленькой прихожей слышен топот ног, шарканье, затем открывается кухонная дверь, слышится голос тетушки Катоны, потом говорит Терчи Фюрес, дверь снова закрывается; разговор доносится в комнату, как шум дождя, то усиливающегося, то затихающего.

Несколько минут Андриш прислушивается к чуть учащенному дыханию Эсти. Потом как бы со стороны смотрит на самого себя: он так устал, будто ему пришлось только что тащить на себе тяжелый груз. Вначале он пытается заснуть, склонившись к девушке, но вскоре у него затекает шея; тогда он осторожно и нежно снимает голову Эсти со своих колен и, бережно поддерживая ее, сам ложится на диван; через минуту их головы уже покоятся рядом на круглой диванной подушке.

В кухне вспыхивает спичка, загорается лампа; там уже не две, а три женщины. Жужи Катона просит в долг немного уксусу. Тетушка Фюрес наливает ей стакан, однако та не уходит, и разговор все продолжается. Тетушка Фюрес в третий раз прячет зайца, она и сердится и вместе с тем благодушие не покидает ее. Сердится она потому, что с таким трудом приходится готовить зайца, а довольна тем, что наконец-то сумела запереть молодых вдвоем.

Свидетель бог, она совсем не хочет ничего плохого этим юным существам. Можно даже сказать, что эта женщина — воплощение добродетели, но она считает, что они и так давно уже живут как муж с женой, так почему же им хоть раз не предаться любви так, чтобы никто не мешал? Ей известно, сколько пришлось им пережить, пока у каждого из них жизнь не вошла в свою колею, так пусть они, бедняжки, побудут вместе в теплом гнездышке.

В конце концов обе женщины уходят, но тогда приходит ужинать младший брат мужа — ведь это он принес зайца. Вчера он работал на хлопчатнике и этого зайца, говорит, убил вечером мотыгой. Впрочем, на зайце были видны следы пули, а не удара.

Совсем поздно возвращается муж; очень кстати, что он не пришел раньше, потому что иначе не был бы готов ужин. Пока мужчины едят на кухне, она под шумок относит на тарелке ужин в комнату, но там тишина и мрак. Только слышно, как меж деревьев

в парке бушует ветер, обрывая листву; через окна едва пробивается сумеречный свет. Наконец тетушка Фюрес замечает, что Эсти и Андриш, одетые, мирно спят рядом на диване.

«А где же нам-то придется спать?» — задумывается она, потом так же тихо, как и пришла, уходит, снова заперев за собой дверь на ключ.

Балаж Фюрес сегодня в ночном дежурстве на рисовом поле; поужинав, он закуривает и уходит. Брат его отпускает на одну дырочку брючный пояс — он всласть поел и выпил,— нахлобучивает шляпу, закуривает и тоже уходит.

Ночной ветер шумит над усадьбой; ночь поглощает все.

Наверное, до полуночи шумел и гудел ветер, потом воцарилась тишина; близился рассвет, не похожий на все остальные.

4

Общеизвестно, что даже спящие самым крепким сном обычно просыпаются раза два в ночь, а то и чаще, хотя утром этого не помнят. Эсти проснулась раньше и задумчиво посмотрела на чужой плед, потом заметила мужскую руку, обнимавшую ее. И сразу все прояснилось в памяти.

Она вспомнила все, что пережила за вчерашний день: как продрогла на рисовом поле, потом как вместе с Шари Фейер пришла в мастерскую поговорить со старым Бири, вспомнила вечернее свидание с Андришем и, наконец, запертую дверь... Внезапно ей становится страшно, но тут же ее захлестывает ликующая радость; нет, ничего плохого не случилось. Она чиста, как утренняя заря.

— Эсти, а теперь ведь все равно мы вроде как муж и жена,— неожиданно говорит Андриш. Как видно, он проснулся еще раньше.

Эсти приподнялась на локте, посмотрела сбоку на юношу, поцеловала его, погладила рукой его подбородок, потом внезапно сбросила с себя плед и потянулась.

— Нельзя, Андриш, все еще нельзя. Во-первых, мы должны дождаться уборки риса... Будет производиться расчет за трудодни, и мне нужно кое-что купить: мебель, платья, вещи... Если бы ты знал, как я люблю тебя сейчас, люблю за то, что ты не обидел меня. Видишь, мы были вместе, и это так хорошо! Поверь мне, Андриш, очень, очень хорошо...— и она начала разглядывать свое платье, которое, конечно, имело весьма непривлекательный вид.

— Ты иди сейчас, а я... хотя бы поглажу передник...

— Я даже не ужинал,— как бы жалуясь, проговорил Андриш.

— Попроси чего-нибудь у тетушки Фюрес. Она вчера готовила паприкаш из зайца, наверное, они не все съели.

— Да, но как же мне выйти, дверь-то ведь заперта снаружи?

Эсти рассмеялась:

— А через окно?

Андриш с довольно глуповатым видом уставился на окно.

— Что? Разве тебе это и раньше приходило в голову?

Эсти сбросила передник, сняла блузку и рассмеялась.

— Глупенький мой, ну, конечно, не трудно было догадаться, что мы могли выйти через окно и вечером. Но очень хорошо, что так случилось, что... ничего не случилось. Я пробыла с тобой целую ночь... Ну, а сейчас ступай, иди, да и мне пора... И как только бежит проклятое время...

...Андриш бродит около стройки; вокруг груды материалов: кирпича, песка, строительного леса, досок. Еще никого нет, он обходит большой коровник — стены его уже наполовину возведены — и размышляет над своим положением в «Свободе». Когда он вступил в кооператив, в правлении на другой же день спросили его, какую работу хотел бы он выполнять, что ему больше по душе.

Он хорошо разбирается в лошадях, знает, как обращаться с рогатым скотом, да и в поле не новичок: работал на пшенице, на сахарной свекле, на кукурузе; приходилось ему заниматься и земляными работами, кое-что смыслит он и в строительстве — две недели работал на стройке в Дании. Не пойти ли ему на стройку? Ну, что ж, охотно.

И вот сейчас он — лучший ученик Сильвы, ему собираются установить повышенную норму, потому что, как говорит старый мастер: «Кому много дано, с того много и спросится».

Над северо-восточной стороной парка всходит огненно-красное солнце. Горизонт чист, но в воздухе прохладно, особенно для этого времени года. Только что нет заморозков.

— Раз майские заморозки не завернули, глядишь, пожалует холодный июнь...— говорит подошедший старый Монок, по привычке держа руки в карманах; он пришел за тем, чтобы выяснить, какой материал нужен сегодня. Монок — ответственный за строительные материалы.

— Хорошо бы регулярно получать метеорологические сводки,— замечает Андриш. Закурив, он угощает сигаретой старика.

— Метеорология! — пренебрежительно отмахивается старый Монок.— Грош ей цена, если от нее холода не становятся меньше.

Потихоньку начинают собираться люди; в кузнечной мастерской уже позвякивает молот о наковальню, но далеко не так лихо, как это получается у кузнеца, а отрывисто, глухо. Впрочем, три новых резки уже выставлены снаружи у стенки.

— Только и всего? — спрашивает Эстер Мольнар, поднимая одну из них. Эсти такая чистая и свежая, что никто бы не сказал, что ночью она спала, не раздеваясь. На плечах у нее вместо шали накинут платок тетушки Фюрес.

— Сколько есть. Если они окажутся плохими, тогда вообще ничего не подойдет,— говорит старый Бири и, взяв одну резку, показывает, как с ней нужно обращаться. Опустить ее под воду между двумя рядами, а потом только тащить, тянуть от края до края и следить, чтобы она не врезалась в кустики риса.

Эсти пробует резку; она мало чем отличается от обыкновенной, той, что применяют для конопли, только нож насажен на легкую ручку под прямым углом да острие больше обращено к земле.

— Захватите с собой оселок, как затупится, наточите! — советует Бири.

— Да, да...— машинально повторяет Эсти, а сама смотрит на пришедшую в движение усадьбу. Она не знает, кто будет сегодня работать на рисовом поле. Только молодежная бригада или еще и те, кого вчера собрал Шаркези и другие члены правления. В любом случае она-то пойдет прямо к рисовому полю, а там видно будет...

В поле на рассвете Балаж Фюрес зажег костер, потому что даже в сарае он ночью мерз. У костра его и находит Андраш Кеваго.

— Что за погода, дядюшка Кеваго? — кричит Фюрес, едва завидев Кеваго.

— Погода? Ничего, как-нибудь образуется. Такая погода в начале лета не редкость, раньше или позже, а холода бывают.

— Чорт бы побрал эту погоду! А что будет с сорняками, посмотрите! — И он кивает в сторону рисового поля.

— И с этим образуется. За ночь ничего не произошло?

— Особенного ничего... только вот спугнул двух людей.

— Как так?

— Да с сетью пришли. В госхозе им, видно, не удалось поживиться, вот они и потянулись сюда.

— Да их сеть еще и не возьмет нашу рыбу.

— Все равно, но я загнал их в самое болото. Если бы только видели, как они шлепали там по грязи, еле выбрались! Один чуть было не увяз. Они так перемазались, что стали похожи на чертей. Вот их сеть, посмотрите! — Сеть действительно лежит здесь, на склоне насыпи.

Но вот уже парами и группами подходит молодежь. Девушки и парни останавливаются под навесом, там, где пригревает солнце, и с веселыми шутками начинают переодеваться.

— Подождем, пока потеплеет! — слышатся отдельные голоса.

— Можем и подождать,— говорит Эсти, раскачивая в руках резку; мысленно она пробует ее в воде.

— Как лед! — восклицает Мария; она присела на корточки у самой воды и опустила в нее руку.

— Вода холодная, пока в нее не войдешь! — замечает Пишта Сито.

— Прежде всего — это здоровье человека! — восклицает кто-то.

Пока обсуждают, насколько холодна вода, сами тем временем посматривают на солнце, все выше и выше карабкающееся по небу. А оно с таким равнодушием лезет вверх, будто ему нет никакого дела до того, холодно на земле или тепло. Оно совершает

свой извечный путь. Где-то образуется волна теплого или холодного воздуха, она движется в пространстве, приносит тепло или холод и плывет, плывет, пока не рассеется в бескрайних далях или пока что-то не преградит ей путь.

— Смотрите, дети мои, если бы там, на той стороне поля, была гряда акаций шириной, по крайней мере, в пятьдесят-шестьдесят метров, здесь не было бы так ветренно и холодно! — рассуждает Кеваго.

«Мог бы быть и осинничек»,— думает Эстер Мольнар, но вслух этого не высказывает.

Она заходит в сарай, переодевается, берет в руки новый инструмент и медленно входит в воду. Сначала ей кажется, что вода как бы обжигает, потом несколько мгновений она вообще ничего не чувствует, а затем у нее начинают мерзнуть не ноги, а живот. А может быть, вода не такая уж холодная, как ей кажется?

— Выходи, дочка, простудишься! — говорит заметно обеспокоенный Андраш Кеваго.

Эсти останавливается, смотрит на посевы — нужно быть внимательной, чтобы разглядеть и увидеть стебли риса, настолько они заросли сорняками. Если еще день-два не заняться ими, тогда вообще все будет напрасно. Трудно сказать, что произойдет, пока они прополют все сто хольдов.

— Попробуем немного, а там, если не выдержим, выйдем! — предлагает она, опускает резку в воду и тянет, стараясь вести ее по земле.

Она не чувствует, срезает ли что-нибудь, но только на поверхности воды неожиданно начинают колебаться сорняки — болиголов, болотница, щетинник — и сразу исчезают, чтобы через мгновение вновь вынырнуть, но уже в стороне.

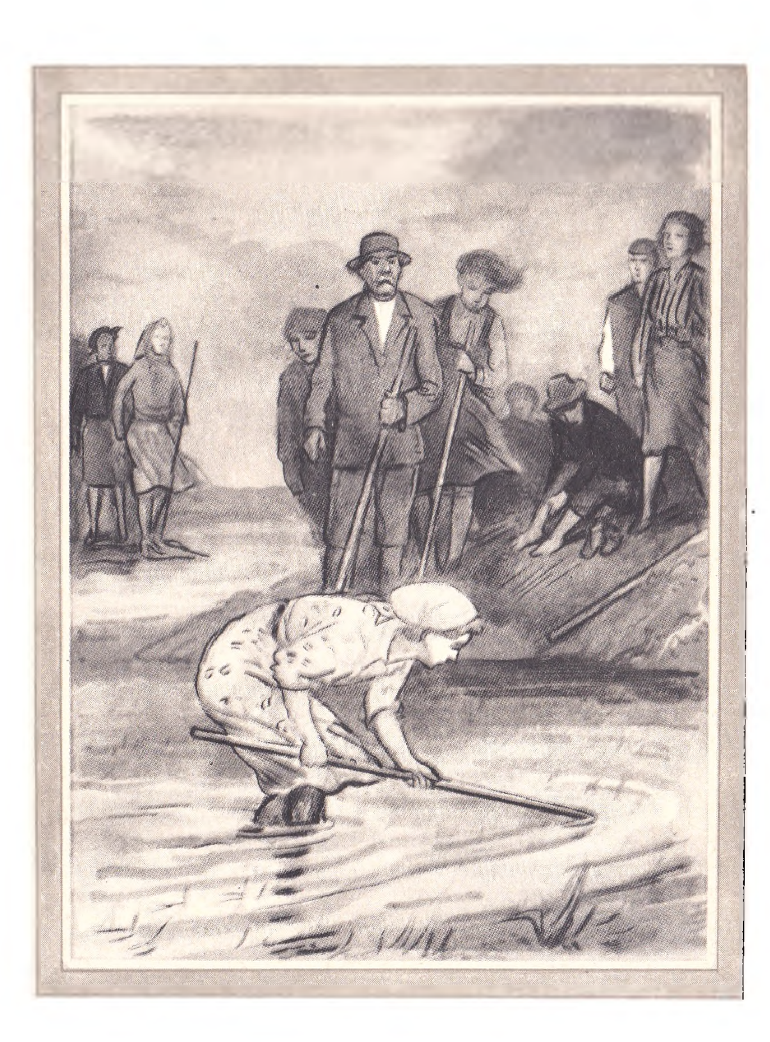
— Товарищи! Получается, получается! — радостно кричит Эсти, отходя назад, и тянет за собой под водой резку, придерживая ее между рядами. После этого междурядье становится совершенно чистым, сорняки лежат на воде. Теперь нужно бы собрать их граблями...

Пишта Сито колеблется, но потом решительно сбрасывает с ног ботинки, подворачивает штаны выше колен и с граблями входит в воду. Подцепляя сорняки, он вытягивает их из воды, словно какую-то падаль.

— Кто хочет работать, входи в воду, а кто не хочет, пусть отправляется домой и не коптит зря небо! — выкрикивает он нарочито громко только потому, что не хочет подать вида, как безжалостно холодна вода.

Этот призыв предназначается отнюдь не Андрашу Кеваго, однако старик тоже сбрасывает с себя сапоги — не смотреть же ему на этих дрожащих от холода ребятишек — и, взяв другую резку, входит в воду. Вот он следует за Эсти в двух рядах поодаль.

Теперь уже и ребята один за другим нехотя берутся за дело; поглядывая украдкой на солнце, некоторые нет-нет да тяжело



вздохнут. Они могли бы обратиться к солнцу, как некий цыган в одном старом анекдоте: «Взойди, если хочешь, а коль пропустишь срок — некому будет светить».

Появляется Бердеш. Он принес с собой еще две резки; удивленно смотрит он на работающую в воде молодежь и только покачивает головой.

Солнце чуть пригрело землю, но вода попрежнему холодна. Даже если бы стало совсем тепло, и тогда понадобился бы целый день, чтобы она прогрелась.

Около полудня приходит и Шаркези. Он с удовлетворением отмечает, как с применением нового инструмента продвинулась работа. Один человек с резкой успевает больше, чем десять голыми руками. Только вот погода, погода... Люди, верящие в науку, любят свою землю и свой народ, они создают великий план, который превратит пустынное и засушливое Затисье в цветущий край. Но тут вмешивается погода, да и сорняки начинают душить новые растения обновленной земли. Смогут ли справиться с ними эти юноши и девушки — почти дети?

— Ребята, меняйтесь, меняйтесь! Половина — работает час, вторая половина — другой! — кричит им Шаркези.

— Кому тяжело, поднатужьтесь, ребята! — выкрикивает Пишта Сито. Но на него, как ястреб, набрасывается Эсти.

— И тебе не стыдно так говорить? А если ты свалишься первым?

Пишта уверяет, что сказал это в шутку.

Однако совет Шаркези принимается: теперь не отдыхают только резки, а молодежь меняется каждый час.

После полудня потеплело и в воде стало работать легче, чем утром. Кое-где даже затянули песню. К вечеру Михай Бири переслал со старым Моноком изготовленные за день еще четыре резки; правда, на них он пожертвовал хорошую косу. Но ему ничего не жаль — только бы дело не стояло.

А работа действительно пошла на славу! Взялись бы так сначала, уже сейчас от сорняков не осталось бы и следа. Но и за сегодняшний день очищен большой участок. Еще каких-нибудь пару дней — и все будет закончено. Тогда можно считать, что беда миновала.

Только вот... Эстер Мольнар еще утром покашливала сухим, обжигающим грудь кашлем, чувствуя при этом покалывание в обоих боках. А во второй половине дня приступы кашля замучили ее настолько, что порой ей начинало казаться, будто болиголов становится красным, а резка словно тянет ее с силой за собой, стремясь утащить под воду. Мысли Эсти блуждали где-то далеко, далеко... В памяти всплывала ночь, проведенная вместе с Андришем, и бывали моменты, когда ей казалось, что случилось то, чего не было, потом внезапно вспомнилось детство... Но вдруг мысли оборвались. Тело ее охватил жар. Никому ничего не сказав, она вышла из воды.

— Что с тобой, Эсти? — испуганно спросила ее Мария.

— Сама не знаю, но кажется, я заболела...— и Эсти сделала мучительную попытку улыбнуться.

— О боже мой, так иди же, надень скорей сухое платье! — ласково, как младшая сестренка, уговаривала Мария Эсти. Она повела ее в сарай и помогла переодеться. Но тело Эсти пылало, будто она вышла из горячей парильни; она дрожала так, что у нее, как говорится, зуб на зуб не попадал.

Работавшие в воде тоже поняли, что Эсти стало плохо. Первой выбежала Жужика Шаркези, за ней остальные.

— Что случилось с Эсти? — шопотом спросил Пишта Сито у Кальмана Циффры.

Кальман Циффра утром узнал, что Эсти провела с Андришем ночь, и сейчас, словно сообщая какую-то тайну, прошептал в ответ:

— Я думаю, что... маленькое беспокоит большую, но, смотри, об этом никому ни слова — сам понимаешь, ведь речь идет об Эсти...— и проглотил слюну, как делал обычно в минуты волнения.

— Ага! — только и ответил Пишта Сито и в ту же минуту показался сам себе, несмотря на то, что он культорг, безнадежным глупцом.

Славные, милые девушки и юноши, невинные дети! Вы, юноши, задумывающиеся над смыслом жизни, влюбленные в каждое миловидное девичье личико, вы, тайно засматривающиеся на развешанное для просушки женское белье, вы, упивающиеся девичьим смехом, как опьяняющим нектаром, и близко знающие только одну женщину — свою мать, вы, усматривающие истинный и чистый смысл жизни в ребенке, хотя сами вы — едва расставшиеся с детством юнцы! Какие искренние и возвышенные человеческие чувства еще заложены в вас! Смотрите, чтобы не растерять их!

В сарае девушки кольцом обступают Эсти, словно цыплята несчастного цыпленка, которого переехала телега.

— Нужно укутать ее... Бегите за врачом! — командует Жужика.

— Сюда, сюда ее, на сено! И кто-нибудь сразу на велосипед за повозкой и врачом...— Всем кажется, что их врач настолько всесилен, что стоит ему только прикоснуться к больному, как тот сейчас же выздоровеет.

«Маленькое беспокоит большую»...— раздумывает Пишта Сито, вскочив на велосипед и нажимая на педали. До этого времени он втайне был влюблен в одну Эсти, а сейчас совсем запутался и сам не знает, что к чему...

Пишта еще не доехал до усадьбы, как Эсти начала бредить; то она бормочет что-то печальное и всхлипывает, то неестественно смеется каким-то отрывистым коротким смешком. Потрясенные подруги и товарищи не знают, что делать.

— Вот поднять бы воду, как какой-нибудь брезент, и так держать, пока не вырежем сорняки... Как это было бы хорошо...— без умолку говорит Эстер и прикрывает глаза. Потом она пытается сесть и с перекошенным от ужаса лицом смотрит куда-то вдаль: — Скажите Андришу, но только сейчас же, немедленно!.. О Андриш!..— и снова падает.

Но нет здесь ни Кеваго и вообще никого из взрослых; наверное, проходит целый час, и солнце уже начинает клониться к закату, когда появляются врач и Пишта. Прислонив к стенке велосипеды они входят в сарай. Бросив взгляд на Эсти, врач сразу же дает распоряжение:

— Соорудите из чего-нибудь носилки, ее немедленно надо унести отсюда.

Это ребята могут, это они умеют! Взяв две жерди, они связали их в нескольких местах проволокой и шпагатом, придали им форму носилок и набросали туда сена. Потом уложили Эсти и прикрыли ее. Пишта и Кальман приподняли носилки и двинулись через насыпь к усадьбе. Остальные смотрели им вслед.

— Ничего с ней не случится, пошли работать, а то уж скоро вечер,— сказала Марта Речеге и, приподняв резку, попробовала большим пальцем, не затупилось ли острие.

Верно, нужно работать дальше, даже если их бригадира унесли на носилках.

Ребятам пришлось бы нелегко нести Эсти до усадьбы — это ведь отсюда по прямой километра четыре, но они повстречались с Лаци, ехавшим на порожней телеге в усадьбу,— он вывозил оттуда искусственные удобрения для подкормки кукурузы.

— Эй! Что вы там тащите? — крикнул он, попридержав вожжи и поглядывая то на носилки, то на ребят, то на шагающего рядом врача с велосипедом.

— С Эсти очень плохо...

Мгновение — и телега уже мчала Эсти в усадьбу.

— Андриш!..— воскликнула Эсти срывающимся голосом, когда ее снимали с телеги; этот призыв она повторяла снова и снова, пока за ней не закрылась дверь приемной.

Весть о несчастье распространилась по усадьбе с быстротой молнии, и уже через несколько минут люди оставили строительные леса и кирпичную кладку, бросили ящики с раствором и поспешили к медпункту. Вскоре высокая терраса с колоннами заполнилась народом.

Андриш еще не знает, что случилось,— и никто толком не может ему ничего сказать,— но он слышит, как упоминают имя Эстер, и ужасное предчувствие овладевает им. Словно прося у окружающих помощи, он растерянно смотрит на всех, потом без долгих слов бежит в медпункт.

Закатное солнце светит в окно; Эсти без движения лежит на столе. Блузка снята, рубашка приспущена и золотой поток солнечных лучей льется через окно на ее прекрасную грудь. У изго-

ловья — плачущая тетушка Фюрес; врач с трубкой, склонившись над Эсти, выслушивает ее, пытаясь понять, какая страшная сила свалила эту здоровую, цветущую молодую девушку, словно буря, сокрушающая молодое нежное деревцо.

— Кто там? — спрашивает врач, даже не повернувшись.

— Андриш...

— О Андриш!.. Подойди сюда, Андриш!..— и девушка неуверенным движением простирает вперед руки, как бы стараясь отыскать Андриша.

Юноша подходит и останавливается около Эстер, ловит ее руку и нечеловеческим усилием воли сдерживает себя, чтобы не припасть к ней.

— Эсти, милая, что же это такое? Неужели теперь пришел твой черед?..

— О, это скоро пройдет, я думаю, что... ох, даже и не знаю. Но ты, Андриш, возьми на себя рисовое поле, сделай это вместе с дядюшкой Кеваго; ты знаешь, резка — очень хороший инструмент... Так вы следите за рисом, слышишь, за рисом...— и без всякой связи с предыдущим неожиданно начинает напевать какую-то мелодию, все крепче сжимая руку Андриша.

— Пока что — тяжелая форма воспаления легких, но боюсь, что дело этим не ограничится... Нужно немедленно вызвать скорую помощь! — говорит врач и пытается поправить на девушке рубашку.

— Но, товарищ доктор, неужели так бывает, чтобы... человек ни с того ни с сего заболел воспалением легких? — растерянно, чуть не плача бормочет Андриш.

— Бывает. К счастью, у Эстер хорошо развита грудная клетка; ее легкие справятся с болезнью. И все же мы перевезем ее в Уйфалу.

Терчи Фюрес уже в конторе; она взволнованно просит Бежи Кадар немедленно вызвать скорую помощь.

Бежи снимает трубку, нетерпеливо стучит по рычагу; наконец, ей удается связаться с больницей и вызвать скорую помощь.

— Куда, кому? — спрашивают из больницы.

— В усадьбу Кельчеи, к секретарю организации ДИС производственного кооператива «Свобода», бригадиру молодежной бригады...

— Хорошо, через полчаса будем у вас.

Солнце уже зашло, когда Эстер положили в карету скорой помощи. Приехавшая медицинская сестра устроилась у изголовья Эстер. Вдруг в карету вскочил какой-то молодой человек и сел рядом с сестрой.

— Простите, не разрешается...— попробовала возразить сестра.

Но он ничего не ответил, только расплакался, закрыв лицо руками.

Шофер дал сигнал, машина тронулась и сразу же развила скорость, чтобы доставить Эстер Мольнар туда, откуда когда-то, еще

в детские годы, судьба выбросила ее на улицу. В ту самую больницу, где потоком своих слез, как живой водой, она вернула к жизни своего израненного возлюбленного.

Глава десятая

1

Нынешнее лето выдалось богатое, как никогда: пшеница уже по плечо самому высокому парню; сахарная свекла к середине июля уже весит в среднем полкилограмма с корня; заросли кукурузы скрывают даже лошадей.

На рисовом поле теперь легко сохранить влажность почвы; хотя и жарко, но почти каждую неделю выпадают обильные дожди. Бурьян, цикуту, болотницу, осоку и другие сорняки окончательно поглотила вода, и им уже не вырваться на поверхность. На тех участках, где сорняки истребляли голыми руками, они нет-нет да еще и поднимут голову. Но это уже не страшно. Молодежная бригада, едва заметив сорняковые островки, идет в брод по рисовому полю и, вооружившись острыми, как бритва, резками, вступает с ними в поединок.

Кеваго упорно овладевал наукой разведения риса, все время опасаясь какой-либо новой напасти. Он прочитал много сельскохозяйственной литературы и, может быть, именно поэтому сейчас думает, что ни один посев риса не может избежать пагубных болезней.

Андриш взял на себя руководство полевой молодежной бригадой; настоятельное желание Эсти совпало с решением правления кооператива. Он вынужден был оставить свои мечты о работе на строительстве. Но верно говорят в народе, что добрый заряд никогда не пропадает даром. Действительно, Андриш по-настоящему увлекся созданием оросительной системы, хотя за нее и пришлось ему заплатить очень высокой ценой: ведь нет больше на поле той, кто ему милее и дороже всех на свете, и виной тому та же вода... И Андриш временами задумчиво глядит на зеркальную гладь, такую прекрасную и спокойную, тревожимую лишь подпрыгивающей меж рядов риса мелкой рыбешкой.

Дань, которую приходилось платить за выращивание риса, представлялась ему слишком большой: сегодня поплатилась его Эсти, завтра, глядишь, кто-нибудь другой. Но утопающее в живительной влаге поле все же мило его глазу, несмотря на то, что вода кажется ему временами то тихой и смиренной, то не знающей пощады стихией. А может быть, всему виной здесь не вода, а сорняки, которыми зарастают рисовые поля даже в холодную погоду?

Однажды, в обеденную пору, Андриш стоял на дамбе и смотрел на восток. Он не слышал, как к нему подошел Циффра.

— О чем задумался? — участливо спросил агроном. Как и все в кооперативе, он знал, что с недавних пор Андриш затосковал, безучастно взирал на веселье молодежи, слушал их песни, но не подтягивал им.

— Знаешь, Кальман, я думаю... что... оросительная система — полезное дело, если, конечно, не подведет погода. Но как только похолодает — сразу беда! Что тогда предпринять?

— С тех пор как с Эсти случилось несчастье, я и сам не перестаю об этом думать. Но, ручаюсь, мы одолеем стихию.

— Каким образом?

— Очень просто. В академии нас учили, что сорняки на рисовых полях можно затопить водой, если только удастся регулировать ее уровень. Воду надо подавать на поля постепенно, понемногу, чтобы сорняки все время находились под водой. До бесконечности поднимать уровень воды нельзя, так можно и рис загубить, но надо следить за тем, чтобы, с одной стороны, уровень воды не опережал роста риса, а с другой, чтобы сорняки постоянно оставались в воде, пока не погибнут. Вот тогда опасность и минует.

— Ты об этом знал и раньше, Кальман?

— В общих чертах знал, но на практике все получается несколько иначе, чем в теории. Главный недостаток в том, что весной у нас не хватило времени как следует выравнять участок. Как он весь был в буграх да выбоинах, так и остался. Но в будущем это не повторится, даю тебе слово. Не так уж много у нас таких девушек, как Эсти, чтобы каждый год кому-нибудь из них попадать в больницу.

Андриш бросил на Кальмана признательный взгляд. В этот момент к ним подошел старик Кеваго, и они, стоя втроем на дамбе, залюбовались рисовым полем. В залитых водой межах тут и там ныряют подросшие за лето рыбешки. Если так пойдет и дальше, то к осени они наберут по триста-четыреста граммов весу, на будущий год — по семьсот-девятьсот, а через два года кооператив, того и гляди, получит двухкилограммовых рыбин. Тогда уж будет из чего выбирать и на продажу и на разведение.

Так обстояло дело с рыбой. Но как все это ничтожно по сравнению с рисом! Его кусты настолько разрослись, что расстояние в сорок сантиметров между рядами не кажется большим. Между рядами осталась лишь узкая темная полоска, заполненная водой, да и та местами скрыта пышными зарослями риса.

— Пойдем-ка, проверим несколько кустов,— предложил Андришу отец и тут же сбросил сапоги, готовясь войти в воду. За ним последовал сын. Они выбрали не самый большой, но и не маленький куст. В нем оказалось сорок четыре метелки, напоминающие просо или метелки луговых злаков, только, разумеется, пышнее и гуще.

— Хорош. Давай-ка, посмотрим еще рядом...— и отец сделал несколько шагов в сторону; Андриш последовал за ним.

Тридцать, сорок, сорок пять, пятьдесят... Наконец они наткнулись на такой куст, который дал все семьдесят две метелки!

Отец и сын переживают такое чувство, будто они, по меньшей мере, открыли новую часть света. Урожай на этом поле сулит быть обильным. Они стоят у кустика по колено в воде и восхищенно разглядывают это чудо природы. Андриш снова вспоминает об Эсти, смутно ощущая какую-то связь, даже сходство между Эсти и дивным растением, полным чудесного очарования; как и в Эсти, в этом кустике собраны для Андриша большие надежды на изобилие и счастье. Только вот Эсти до сих пор еще грозит смертельная опасность, тогда как весь этот куст так и дышит здоровьем и красотой. А вдруг и с ним что-нибудь случится! Ведь однажды сорняки уже заключили его в свои смертоносные объятия. Кто знает, какое несчастье может опять навалиться на него? Ведь жизнь — это борьба; борьба не только за настоящее, но и за то будущее, о котором мечтает человек. Теперь-то уж видно, что путь к этой новой жизни лежит только через социализм.

Хорошо, что местный доктор, да и главный врач больницы — оба коммунисты — сделали все, что было в их силах. Иначе, кто знает, что бы стало с Эсти.

— Я вытащу этот куст, отец.

— Ты что, спятил?

— Вырву его вместе с землей и отнесу Эсти. Пусть она порадуется...

— Ах, Эсти? Тогда другое дело. Пускай взглянет, ради чего рисковала жизнью.

Сказано — сделано.

Стоит летний зной. Врачи, наконец, разрешили больной Эстер Мольнар посидеть в тени на скамеечке.

Больница блистала чистотой. Здание со всех сторон окружал парк, в котором поддерживался образцовый порядок. Все утопало в такой яркой зелени, словно деревья, кустарники и трава росли не вокруг больницы, а возле светлого дворца, где царят вечная радость, счастье и красота.

Жизнь в больнице идет своим чередом: по коридорам гулко раздаются шаги, из кухни в подсобном помещении слышится стук посуды, ночной сторож возится в стороне с мотоциклом, а молодой фельдшер с заложенными назад руками наблюдает за ним. Эсти сидит на садовой скамейке и читает. Одета она в бархатный халат, принесенный Шари Фейер на третий день после того, как Эсти поместили в больницу. Она осунулась, похудела, и кожа на ее лице стала почти прозрачной; на маленьких натруженных руках проступили синие жилки и выдались косточки на запястьях. О, сколько мучений ей пришлось перенести! Не удивительно, что исчезла ее девичья краса! Но куда она могла пропасть? Куда ушла налитая свежесть ее молочно-белого лица?.. Куда ушел ее смешан-

ный с загаром летний румянец, напоминающий спелое яблоко? Что сталось с гордой девичьей грудью, на которой алели еще никем невиданные бутоны двух роз, подобные тому цветку, что зовется горицветом и украшает бархат садовых клумб? Где ее веселый, заразительный смех, проникающий в тайники сердца? Куда исчезли ее надежды, мечты и любовь? И вот когда она, сидя на скамье, вся погружается в чтение дневников Дэринэ *, которые ей на днях привез Фонадь,— кажется, что от прежней Эсти не осталось и следа. Но уже и то хорошо, что она начала читать. Ведь целыми неделями она ничего не делала и только лежала на больничной койке, уставившись взглядом в потолок, снова и снова перебирая в памяти события своей жизни.

В лихорадочном бреду первых дней болезни только одна мысль постоянно поддерживала Эсти: ей нельзя умереть, ведь после той памятной ночи, которую они провели вместе, она считала себя женой Андриша. Но затем трезвая правда вернула ее к действительности, и она с болью подумала о том, как нелепо она тогда вела себя, и пожалела, что и в самом деле не стала его женой. В бреду она говорила о ДИСе, о молодежной бригаде, об Андрише, о рисовых полях, а к рассвету притихла и впала в забытье.

Тогда она еще не знала, что, помимо установленных дней посещения больных, к ней часто приходил Кульчар, из области наезжал Фонадь, сотрудники областной газеты, а однажды явился даже корреспондент «Сабад ифьюшаг». Наведывались к ней и ее друзья из кооператива «Свобода», больше молодежь, по двое, а то и целыми группами, словно делегации. Но чаще всего ее навещал Андриш.

— Ой, Андриш!..— первое, что воскликнула она, когда однажды в сумерках проснулась, вернее, пришла в сознание и увидела, что возлюбленный сидит у изголовья и держит ее исхудалую руку.

Рука Эсти была холодной и немного влажной, словно в эти мучительные часы и дни жизнь уходила из нее через поры кожи.

В больнице с Эсти обращались не как с обычной больной, которую нужно спасти от смерти. Казалось, речь шла не о ней одной, а о всей молодежи «Свободы», более того — о судьбе самого кооператива.

Воспаление легких, плеврит, воспаление поджелудочной железы — все это ей пришлось перенести. Болезни следовали одна за другой, словно по расписанию. В довершение всего недуг стал подбираться к самому сердцу девушки, а ведь оно теперь принадлежало не одной Эсти, а всему кооперативу «Свобода», всей сельской молодежи, а то, что оставалось для нее самой, было навсегда отдано Андришу. Другими словами, все ее горячее сердце принадлежало еще совсем молодой, только начинавшей жить и расти новой Венгрии.

Врач Элемер Барна сильно сдал за последнее время: за несколько недель он похудел на целых четыре килограмма. Ему

часто приходилось приезжать на мотоцикле в Уйфалу, что, впрочем, не слишком обременительно, если ездить туда на досуге, но он для этого вынужден был переносить свои многочисленные дела на ночные часы, а нередко засиживался за работой и до рассвета.

Обслуживающий персонал больницы, разумеется, не помнил Эстер, которая тринадцатилетней сироткой ушла к Листешу продавщицей хлеба. Правда, в старом здании больницы почти никого не осталось из прежних сотрудников. Вместо них пришли новые люди, и только в воспоминаниях старожилов еще жила память о девочке-сиротке. И эти воспоминания ожили благодаря тому, что взрослая Эстер Мольнар стала сейчас такой же гордостью для персонала больницы, какой была в свое время маленькая сиротка. Для нее устраивали консилиумы во главе с главным врачом. Санитары ночью срывали для нее цветы с газонов и украшали комнату Эсти букетами. Медицинские сестры вскоре прекратили при ней свои дрязги и мелкие ссоры и, перебирая одежду, прикидывали, какой бы халат лучше дать Эсти, когда она встанет на ноги.

Наконец Эсти стала поправляться. Выздоровление шло очень медленно, словно жизнь и смерть вступили из-за нее в единоборство.

Находясь в забытьи, она не чувствовала времени, которое мчалось, словно гонимое ветром перышко. Но тем тягостнее Эсти показалось потом, когда, уже выздоравливая, она холодно и трезво постигала рассудком смысл вещей, их взаимосвязь — все, что причиняло ей ощутимую боль. Затем она впала в какую-то дремоту, и окружающий мир по временам представлялся ей медленно пробуждающимся, словно после долгой спячки.

Эсти читала дневники Дэринэ в старом трехтомном издании. В самом начале книги она увидела много общего в биографии актрисы и своей жизни. Что будет дальше, Эсти еще не знала, но с жадностью перелистывая страницу за страницей, она переживала одно событие за другим. Невдалеке гудел мотор, и поэтому Эсти не слыхала, как зашуршал гравий под ногами идущего к ней Андриша, который нес в руках какой-то большой сверток.

— Эсти!.. — окликнул ее Андриш, подойдя к скамейке.

И мгновенно уносятся вдаль дела давно минувших дней, жизнь и судьба, радости и печали,— все, о чем она только что читала. На какую-то долю секунды у нее защемило сердце. Но тут же, увидев Андриша, она поднимается, подходит к нему близко-близко и тихо произносит:

— О, Андриш!..

— Как ты себя чувствуешь, милая? — Андриш берет ее за руки и пристально смотрит в глаза.

— Лучше. С каждым днем все лучше. А когда ты здесь, мне совсем хорошо.

— Если бы только можно... я бы все время был здесь, около тебя...— Андриш молча кладет свой сверток на скамью, затем сажает Эсти к себе на колени, ласкает ее, что-то нежно и трога-

тельно шепчет и поминутно целует. Он весь охвачен каким-то необычным, до сих пор неведомым ощущением, непохожим на то, которое он испытывал прежде, целуя Эсти в порыве нахлынувших чувств. Это нынешнее особое состояние вызвано не только любовью, а чем-то бо́льшим. Это высшая любовь, готовая отречься от всех радостей. Это любовь к идеалу, самозабвенная любовь на всю жизнь, даже без мыслей об обладании любимой... Это великое животворящее чувство, призванное вдохнуть благотворное тепло в этот поникший, поблекший цветок, чувство, которое должно придать ей новые силы, вдохнуть веру в себя, в свое выздоровление, в свое грядущее.

— Андриш!.. Задушишь меня...— прерывисто шепчет она.

Андриш осторожно усаживает девушку на край скамейки, и у Эсти случайно распахивается халат. У Андриша на глаза навертываются слезы при виде ее исхудавших ног. Он быстро овладевает собой и, взяв сверток, разворачивает его.

— Погляди, что я тебе принес!

Эсти с любопытством, как ребенок, ждущий гостинца, следит за его руками, развязывающими веревку. Бумага падает вместе с разорванным шпагатом, и Андриш ставит на дорожную гальку перед Эсти кустик риса, придерживая его рукой, чтобы куст не свалился.

— Что это? — спрашивает она, запуская пальцы в пышную, густую листву.

— Рисовый куст. Не самый маленький, но и не самый большой. Сосчитай-ка, сколько метелок. Точно семьдесят две.

— И это все от одного зернышка? — изумляется Эсти, обхватывая куст руками. Свежая зелень щекочет ей подбородок.

Стоящий поодаль мотоциклист поглядывает на молодых, фельдшер тоже оборачивается к ним, и в верхних окнах больничного здания появляются многочисленные наблюдатели.

— А ну-ка, беги, принеси мой фотоаппарат,— говорит главный врач санитару.— Эту сцену обязательно надо заснять. Уж больно трогательная картина: рисовый куст, парень и девушка, поправляющаяся после тяжелой болезни...

«Девушка с женихом возле рисового куста» — вот какое название мог бы дать художник своей картине, если бы захотел изобразить идиллию. Но в эти края редко, очень редко заглядывают художники. Только когда-то, лет тридцать назад, бродил в здешних местах какой-то опустившийся живописец, да и его под пьяную руку пристукнули в одной сельской корчме.

2

Время не ждало. Страдная летняя пора неотступно подгоняла людей, заставляя их напряженно трудиться. Все полевые работы нужно закончить к сроку, ничего нельзя откладывать, ибо за каждый потерянный день придется потом расплачиваться. Во-время

надо убрать пшеницу, пока она еще не осыпалась. А ведь в нынешнем году урожай выдался на славу; крестьяне поговаривали о том, что такого не было вот уже девять лет. Нужно было снова рыхлить кукурузу, в третий раз пройтись культиватором по междурядьям и, что особенно важно, снова и снова пропалывать рисовые посадки и не только в междурядьях, а по всему полю. Эта работа уже не так тяжела и кропотлива, как первые прополки. Девушки теперь идут по двое в ряд и с песней, с шуткой, плескаясь в воде, выдергивают то с одной, то с другой стороны стебля редкие сорняки. Работа спорится у них в руках.

Очень уж хороши эти молодые девчата летом, по колено в воде, в пышных зарослях риса. Метелки его ласково гладят по лицу тех, кто пониже ростом. Не удивительно, что агроном Кальман Циффра неизменно задерживается на рисовом поле.

— Тридцать центнеров с хольда будет,— говорит как-то вечером Шенебикаи старику Кеваго. Оба они стоят у запруды. Шенебикаи только что пришел на поле — он дежурит ночью, а Кеваго собирается домой: ему на сегодня хватит. Кеваго знает, что Шенебикаи льстит ему разговором о тридцати центнерах, надеясь возобновить их старую дружбу. Кто знает, может действительно так оно и будет.

— А что ж, возможно, коли ничего не случится. Хотя... вот тот участок, в конце поля, мне не очень нравится.

— Почему?

— Да вид у него какой-то болезненный.— Внезапно о чем-то вспомнив, он хватается за карман и достает оттуда истрепанную брошюру, которую начинает быстро перелистывать.

— Вот, гляди. «Явление пирикуляриоза риса»... вот что тут говорится. Прописано здесь и про то, как надо бороться с этой напастью... Но это длинная история... Утром я заставлю выкосить этот участок... Хотя в книге и не говорится, что эта болезнь заразная, но лучше ее и вовсе не знать.

Рисовые поля находятся под опекой у Кеваго. Что и говорить, они — в надежных руках. К тому же болезнь, к счастью, оказалась вовсе не пирикуляриозом. На целине, в особенности на солончаковых и болотистых почвах, она в первые годы и не может появиться. Следовательно, с рисом никаких хлопот, кроме прополки, не предвидится. Надо только время от времени проверять состояние запруд и подготовить отводные каналы к спуску воды.

Весть о выздоровлении Эсти быстро облетела всю округу до самых дальних уголков и несказанно обрадовала молодежь. Пишта Сито, который все это время мучился угрызениями совести за свои недостойные подозрения, сейчас, хотя и немного остыл, все еще продолжал вздыхать по Эсти. Всю свою общественную работу культорга он сосредоточил теперь на том, чем бы лучше отметить возвращение Эстер из больницы. Прежде всего он решил украсить зал клуба, обновить транспаранты с лозунгами, под-

готовить программу художественной самодеятельности — в общем его план мероприятий охватывал всю молодежь села. О своих пожеланиях он поведал Пиште Бенце, секретарю ДИСа по пропаганде. Сито разыскал его в поле на уборке, где тот, шагая с несколькими парнями вслед за комбайном, укладывал в стога солому. Ведь скоро должны прийти тракторы для вспашки: надо подготовить стерню.

— Потолкуй об этом с Андришем... Я слыхал, что, как только Эстер вернется домой, они сразу поженятся,— сказал Пишта Бенце, задумчиво выдергивая солому из стога.

Сито провел рукой за воротником своей рубашки, куда ветер занес ость от пшеничного колоска. Он вспотел, и ость больно колола ему шею.

— Неужто поженятся? Но ведь... Эсти тяжело болела...

— Ничего, не беспокойся. Семейная жизнь ей пойдет впрок!

— Ну, если так... что ж...— и Сито, толкнув по стерне свой велосипед, уходит.

После полудня тени удлиняются. Колеса велосипеда кажутся похожими на допотопные самокаты наших предков. Тени придорожных тополей ложатся на стерню тоже сильно увеличенными, словно кто-то вырезал их силуэты на огромном листе бумаги. Далеко, в рыбном питомнике, на прозрачной глади вод, как в зеркале, отражается небо. Вверху — голубой небосвод, внизу — голубая вода, и эта двойная голубизна слегка дрожит мелкой рябью, будто потревоженная ходом мощного комбайна.

Комбайн впервые в этих краях появился нынешним летом; он косит, молотит и ссыпает готовое зерно на телеги, а те, в свою очередь, везут его в амбары, вернее — пока в единственный имеющийся в кооперативе амбар. Остальное зерно ссыпают повсюду, где только возможно: в школе, в пустых сараях, в домах... Нынче уродилось столько пшеницы, что трудно найти подходящее помещение для зерна. В прежние времена на полях во время уборки урожая, где люди трудились в поте лица своего, царила немая тишина, а теперь все окрестные земли разбудила ликующая песня машины, которая непрерывно звенит в горячую страдную пору. Комбайн с молниеносной быстротой косит золотую пшеницу, словно фея из сказки, в которой говорится, что она одним волшебным жестом убирала весь урожай, пока молодой косец, ее герой, спал сном праведника.

И вот мечты крестьянина об избавлении, об освобождении от тягот крестьянского труда превратились в явь: по полям идет комбайн, убирающий одним заходом четырехметровую полосу,— перед ним колышется море высокой пшеницы, а позади ложится обмолоченная солома. Но где же косцы, где рабочий люд кооператива «Свобода»? Они разбросаны по всему большому хозяйству. Подростки, девушки и женщины — бывшие вязальщицы снопов — с песней ссыпают пшеницу в амбары и клети. От пшеничного поля, где идет уборка, до кооперативного амбара час пути. А ка-

кой нескончаемо долгой и тяжелой была эта дорога в прежние годы!

По вечерам молодежь собирается в помещении конторы кооператива; само правление теперь все чаще заседает на усадьбе Кельчеи. Вот и сегодня Мислаи собрал здесь молодежь для обсуждения вопроса об устройстве праздника в честь завершения уборки урожая. Но в действительности больше всего его волнует предстоящее возвращение из больницы Эстер Мольнар. Ознакомив собравшихся с планом проведения праздника, Мислаи, как бы мимоходом, упоминает и о встрече Эсти.

— Возвращение из больницы Эстер Мольнар — это праздник не только нашей кооперативной молодежи, но и всего села! — несколько напыщенно восклицает он.

— Так-то оно так... А вот вернется Эсти, тут же и выскочит замуж,— вмешивается в разговор Пишта Сито, и в его голосе звучит плохо скрытая досада и горечь.

— Замуж? — удивляется Мислаи.

— Конечно. За Андриша. Верно, Андриш?

— Ну, может и не совсем так скоро... Вот управимся с урожаем...

—Понятно,— задумчиво кивает головой Мислаи. Ему иногда думалось, что его брак был последним в истории человечества, но вот ведь еще находятся отчаянные люди... Мислаи полагает, что его семейная жизнь — это открытая книга, которую до дыр зачитала сельская молодежь. О чем, собственно, говорить? Его брачная жизнь отличается от холостяцкой тем, что началась она с явки в сельсовет двух свидетелей — директора школы и Шаркези. Пока они сидели в приемной, Кадар, облокотившись на стол, ковыряла ногтем мизинца в зубах и, как бы между прочим, прочла секретарше целую лекцию об оперативности в работе. Мислаи, обуреваемый разноречивыми чувствами, в смущении переминался с ноги на ногу. Несмотря на торжественность минуты, все вокруг казалось ему страшно прозаичным. А потом, после регистрации брака, Кадар даже не сочла нужным пойти с ним вместе домой и лишь мимоходом сказала, что забежит на минутку в контору. Прошло добрых полчаса, прежде чем она оттуда вышла. Дома она, что-то тихо напевая под нос, открыла шкаф, вытянула из него ящики, разделась, примерила новое платье и внезапно обернулась к Мислаи:

— Послушай, Пишта! Ведь мы с тобой — молодожены! — как бы с удивлением воскликнула она.

— Да, молодожены. А ты только сейчас об этом подумала?

— В таком случае... Иди сюда, поцелуемся.

Мислаи осторожно подошел к ней (точно так же он в детстве подбирался к яблоне в чужом саду), и Кадар обхватила его шею руками, словно пытаясь задушить; так цветы-мухоловы душат свою жертву.

Утром Мислаи проснулся от странного хихиканья Кадар, лежавшей рядом.

— Послушай, Мислаи! Как же было с этим расписанием поездов?..— смеялась она, дрыгая под одеялом ногами.

— Ну перестань! — досадовал Мислаи, но все было напрасно. Ему все-таки пришлось повторить вкратце эту историю — иначе Кадар грозила его задушить.

Примерно недели две назад, когда из-за проливного дождя Кадар раньше обычного вернулась домой, она заставила Мислаи продекламировать от начала до конца стихотворение «Ненастье». Мислаи возненавидел автора этого произведения Жигмонда Кемень еще пуще, чем ненавидел его в школьные годы... Но все было тщетно; Кадар не давала ему пощады... И молодежь все же не извлекла уроков из его печального опыта!

Да вот и сейчас Кадар сидит в дверях и, жестикулируя, что-то объясняет Шари Фейер. Та смеется и то и дело поглядывает в сторону Мислаи. Он знает, что женщины зубоскалят о нем, но что они говорят? О чем может поведать новоиспеченная жена своей старшей товарке? И Мислаи невольно сравнивает обеих женщин: нет, конечно, Кадар не только моложе, но и значительно красивее Шари Фейер, во всяком случае, его жена какая-то особенная. «Хороша моя голубка...» — мысленно говорит он в духе навязшего в зубах стихотворения «Ненастье» и, умиротворенный, обращается к сидящим в комнате:

— Первая свадьба среди нашей дисовской молодежи — большое дело, ребята. Следует ее особенно отпраздновать. (Если уж у него с Кадар не было традиционного свадебного торжества, пусть хоть оно будет у Эсти и Андриша.)

Парни и девчата улыбаются, хлопают в ладоши — ведь всякая женитьба и любое замужество в той или иной мере касается всех.

3

— Денег хоть отбавляй...— сказал утром следующего дня Мислаи и, приподнявшись в постели, уставился в окно.

Встрепенувшись, Кадар повернулась к нему.

— Где?

— Известно где. В кооперативе,— он спустил ноги с кровати и стал напевать мотив популярной песенки.

— Послушай, Мислаи...— с хохотом перебила его Кадар.

— Да?

— Ты лучше спой мне... расписание поездов.

Еще чего! Не хватало, чтобы Кадар принудила его и к этому!.. Хорошо бы он выглядел!.. Мислаи торопливо оделся, боясь, как бы ему действительно не пришлось исполнить ее прихоть. Он сам вскипятил молоко и принес на маленьком серебряном подносе с выгравированной надписью «Будапешт» чашку Кадар. Сделав это, Мислаи поспешно ушел из дома.

На строительной площадке четверо рабочих штукатурили стену, а пятый готовил раствор и накидывал его на дранку. Делал он это большим черпаком с отбитой ручкой. Один черпак раствора на полкубометра штукатурки. С хлюпаньем раствор ложился на стену, и сразу же начинала работать большая терка, которой орудовал штукатур.

— Плохо притираете, товарищи, плохо! — замечает Мислаи, придирчиво оглядывая стену. Штукатурка легла по ней волнами. Ясно, что здесь работали не по рейке, а так, на глазок. Косые лучи утреннего солнца оттеняют малейшую неровность, вмятину или бугорок.

— Ничего, будет хорошо, когда зайдет солнце,— отвечает старый Сильва и, перед притиркой, разглаживает рейкой свежий раствор на стене. Все эти штукатуры, в сущности, не кто иные, как обыкновенные крестьяне. Хорошо еще, что они смогли за короткий срок хоть кое-как овладеть новой специальностью.

— Покарай бог того, кто найдет здесь изъян! — громко говорит молодой штукатур, старший сын местного кондитера-заики. Этот парень, еще живя в Пеште, некоторое время работал каменщиком и теперь повсюду этим кичится.

— Для красавицы маленький изъян не в счет,— вторит ему Гергей Матэ, который тоже стал вроде как штукатуром, но продолжает все свои надежды возлагать на поля и главным образом на рис.

Мислаи, тихо посмеиваясь, подходит ближе. Он пожимает руку старику Сильве и кивком отзывает его в сторону. Оба медленно отходят.

Невдалеке роют большой колодец, из него будут брать воду для кооперативной конюшни. Мастер из города измеряет шагами расстояние между колодцем и конюшней, куда предстоит провести трубы к автопоилкам. Поодаль двое рабочих замешивают раствор для штукатурки: один из них кидает лопатой песок в бадью, другой перемешивает. Из усадьбы выходит тетушка Фюрес, останавливается у бадьи и наблюдает. Один из штукатуров, Лайош Модьороши, поднимает на лопате смесь и с размаху шлепает ее обратно в бадью. Летящие брызги обдают любопытную женщину с ног до головы.

— Ой!..— вскрикивает она и отскакивает от бадьи. Но поздно — и юбка, и блузка, и лицо забрызганы раствором.

Раздается громкий смех: хохочут все — и штукатуры, и плотники. Даже из колодца кто-то высовывает голову, улыбаясь, словно полная луна, а потом снова скрывается.

— Хотел у вас узнать, за сколько времени можно построить уютный домик с одной комнатой и кухней? Ну, конечно, чтобы с фасада была веранда, а сзади чулан и небольшая передняя? — спрашивает Мислаи.

— Крыть чем? Черепицей?

— Допустим, черепицей.

— Ну, обрешетка и кладка стен займут немного, для установки стропил достаточно двоих рабочих, словом... Если будет указание от правления, можно уложиться в две-три недели.

— Вплоть до навески дверей?

— Все полностью. Возьму из плотницкой двух ребят, они в два счета заготовят окна, двери — в общем все, что требуется. Словом, можно...

— Хорошо. Вы получите от правления такое задание.

— А чертеж нужен? — спрашивает старый Сильва. Чертежи для него самое уязвимое место. До последнего времени он не так часто ими пользовался: ведь заказчикам-мужикам чертеж ни к чему.

— Неплохо. Я мог бы показать его правлению...

Затем Мислаи случайно повстречал местного врача и рассказал ему о своем плане. Воображение доктора Барны, давно мечтающего о благоустройстве села, быстро разыгралось. Потом Мислаи побежал искать Шаркези. Тому тоже понравилась идея учителя: какой приятный сюрприз для бедной Эстер, подлинной героини борьбы за рис. Но сначала надо поговорить с членами кооператива и посоветоваться с Кульчаром.

— Но если весь кооператив об этом будет знать, где же тут сюрприз? — высказывает сомнение Мислаи.

— Ничего не поделаешь. Без этого нельзя. Ведь мы собираемся строить на кооперативные средства.

— Я жертвую на это все свое состояние. Потом сочтемся, либо с кооперативом, либо с молодоженами.

— Свое состояние, говорите? А какое у вас состояние, товарищ Мислаи?

— Правда, не такое уж большое, но все-таки кое-что есть: новый радиоприемник с проигрывателем, около двухсот пластинок.

Сквозь смех Шаркези говорит:

— Ну, хорошо, товарищ Мислаи. Если вы так уверены в поддержке кооператоров, действуйте!.. Присмотрите вместе с врачом место для постройки, и пусть старик Сильва немедленно приступает к работе. Но с тем условием, что строительная бригада за это возьмется сверхурочно, а молодежи трудодней засчитывать не будем.

— А что мне сказать строителям? Кому, мол, строим?

— Это уж ваше дело. Вы — мастера культуры, вот вы и придумайте какую-нибудь красивую историю.

— Прекрасно. За этим дело не станет! — удовлетворенно отвечает Мислаи, и фантазия его разыгрывается так же, как перед тем у доктора Барны. Главное поспеть со строительством к возвращению из больницы Эстер Мольнар.

Ну, что ж, надо будет обжечь нынче больше кирпича, только и всего... Словом...

Словом, уже на другой день спозаранку из области приехал

инженер, из уезда прибыл Кульчар. Обошли усадьбу, изучили план села, прошлись по Большой улице и, наконец, сделали зарубку будущей новой улицы, которая должна пройти от усадьбы Кельчеи на восток, к южной границе парка. Дом Эсти должен быть на этой улице первым. Его наметили построить посреди большого участка в двести пятьдесят саженей. Было решено не ставить никакой ограды, а разбить вокруг дома палисадник с цветами, несколькими кустами и декоративными или плодовыми деревьями. Комната с тремя широкими окнами должна выходить на юг, а дверь и оконце прихожей — на запад, в сторону кооперативной усадьбы. Кухонная же дверь пусть открывается прямо в усадебный парк: тому, кто будет готовить ужин в этой кухне или мыться и причесываться по утрам, пусть несут свои трели и песни пернатые жители векового парка.

Комната всего пять на пять метров, но она покажется более просторной, когда дом покроется кровлей. А этого уже недолго ждать; стены растут прямо на глазах. Старый Сильва пристроил к дому предназначенный для ванной комнаты маленький тамбур с круглым оконцем, похожим на иллюминатор в каюте корабля; оконце смотрит на восток.

По мере того как стройка близилась к концу и домик принимал свою форму, строителями все сильнее овладевало чувство чего-то прекрасного. Сильва смотрел на чертеж: здесь — отвесная линия, там — углубление,— и все-таки строение выходило каким-то иным, нежели задуманное первоначально. Старый мастер уже знает, для кого строится этот дом. Да это понимает теперь уже не он один, а буквально все, и, тем не менее, каждый делает вид, будто ему ничего неизвестно.

В нескольких шагах от дома, который уже существует не только на чертеже, но и в действительности, дома, который закладывает начало будущей новой улицы, стоит Бердеш и наблюдает за работой.

— Кирпич, раствор! — оглушительно, так что лес дважды отзывается эхом, орет сын кондитера-заики.

Бердеш прислушивается к этому эху и к веселому трудолюбивому жужжанию пчел над головой, потом окликает Сильву:

— Пойди-ка сюда, кум! — недавно на именинах Сильвы они выпили на брудершафт и с тех пор перешли на «ты».

— Что скажешь, кум? — отрывается от работы Сильва и подходит к Бердешу. Его вздувшиеся под рубахой мускулы еще вздрагивают от напряжения, как у гончей, унюхавшей дичь.

— Можете вы и мебель соорудить?

— Мебель... это, конечно, потрудней. Мебель — не легкое дело...

— Нужно бы, понимаешь... Я могу кое-что подкинуть сюда из барской усадьбы, пока я еще председатель...— и последние слова Бердеш произносит скорее с оттенком грусти, нежели горечи.

Настали самые жаркие летние дни, затем зной начал постепенно спадать. Пчелы облепили виноград и мирабель. Крестьянки уже мочат и треплют коноплю точно так же, как это делали пятьсот или тысячу лет назад. В руках у них мялки,— некоторые из них сработаны из древесины дикой груши не один десяток лет назад. В прошлом мало что изменялось в жизни деревенских женщин. А ныне они — полноправные члены кооператива «Свобода», они собирают хлопок, спускают воду с рисового поля и каждый день проверяют, можно ли уже приступить к массовой уборке урожая или следует еще немного подождать. Посмотреть на чудо-рис приходят теперь не только жители села, но и со всей округи.

Недавно приехала делегация даже из Ноградской области. Познакомившись с возделыванием риса, члены делегации, естественно, решили осмотреть и все кооперативное хозяйство.

Те, кто постоянно живут в селе, трудятся на кооперативной ниве, разумеется, не замечают многого из того, что сразу бросается в глаза приезжим: успехи кооператива велики!

Дело осложняется тем, что к гостям необходимо приставить экскурсовода, который, само собой разумеется, должен быть не очень молчаливым и отнюдь не бестолковым. Ясно, что, например, Кари Вереша нельзя приставлять к экскурсантам. Вот почему рисовые поля гостям показывает Андраш Кеваго. Но при этом Бердеш не устает повторять ему:

— Будь так добр, Андраш, обязательно сведи товарищей и на участок хлопка и на кукурузное поле. Покажи им, каких результатов можно добиться, если сажать кукурузу квадратно-гнездовым способом. А то мне надо уходить, опять совещание в сельсовете.

— Ладно. Пойду,— говорит Андраш Кеваго и первым направляется к автомобилю, который ждет его у главного оросительного канала.

Объясняя и показывая приезжим хозяйство, кооператоры сами впервые по-настоящему осознают то, чем они теперь располагают.

Изобилие — великое дело. Оно накладывает отпечаток на человека, делает его спокойным и уверенным. Для кооператоров ныне нет ничего более естественного, как искреннее желание, чтобы и у других было то, чего достигли они, чтобы и другие так же успешно хозяйничали на своем поле, чтобы и у других была такая же богатая кооперативная усадьба.

У рисового поля Кеваго остановил первую встретившуюся ему подводу и сказал возчику: — Слезай, товарищ, пошли, оглянись окрест!

Потом Балаж Фюрес задержал мчащуюся машину, а Жужи Катона у птицефермы загородила дорогу громыхающей по камням телеге. И в конце концов как-то само собой вошло в правило останавливать и местного крестьянина, и случайного проезжего: пошли, мол, с нами взглянуть на наше хозяйство! Эта традиция возникла стихийно, без всяких уговоров.

И добрая молва о кооперативе «Свобода» летела над полями, из края в край, с севера на юг и с запада на восток.

Андриш, Пишта Сито и Пишта Бенце, подвернув штаны, бродили по рисовому полю, проверяя спелость колосков: приступать к уборке или еще рановато?

— Куда запропастился агроном? — озирается Бенце.

Но вот появляется и он. Кальман Циффра, спустившись с насыпи, направляется к ним. По мере того как он приближается, его все больше скрывают высокие рисовые заросли.

— Давай скорее! Уже давно тебя ждем!

Кальман Циффра запыхался, толкая по полю свой велосипед, и едва может вымолвить слово. Весь день он гоняет по кооперативным полям, как угорелый. Еще счастье, что Шари Фейер дала ему на время, пока он приобретет собственную машину, свой велосипед. Впрочем, он давно мог бы это сделать, если бы не помогал родителям. Кроме того, голова у него забита мыслями о девчатах.

— Не так-то легко вырваться с хлопкового поля, там сейчас самая горячка.

— Еще бы, ведь как-никак там Жужка Шаркези работает...— перешучиваются его друзья, но тут же переходят на серьезный тон.

— Можем мы начать уборку или нет? — спрашивает Андриш, наклоняясь к корню рисового куста. Там в небольшой луже бьется мелкая рыбешка. Андриш ловит ее рукой, достает из воды, рассматривает трепещущих на ладони мальков, думая о том, что было бы преступлением оставить их здесь погибать. Каждая икринка должна дать малька, каждый малек со временем должен подрасти, стать рыбой, а рыба пойдет в пищу людям.

— Что это такое, Пишта? — обращается Андриш к Бенце, руководившему спуском рыбы в зимний затон.

— Рыба,— серьезно отвечает Бенце.

— Брось ее. Давай посмотрим рис,— перебивает их Сито.— Что скажешь насчет риса, Кальман?

— За него отвечает дядюшка Кеваго,— уклончиво произносит агроном, ибо понимает, как трудно назначить день уборки. Он еще ни разу в жизни не видел риса на полях и впервые попал на рисовое поле только здесь, в кооперативе «Свобода». Сколько ни учи агрономию по книгам,— все не то. Совсем другое дело, когда видишь перед собой поле в двести хольдов.

— Надо вызвать кого-нибудь из сельскохозяйственного отдела,— предлагает Пишта Бенце.

Но у Андриша Кеваго на этот счет другое мнение.

— Стыдно из-за каждого пустяка вызывать оттуда людей. У них и без того тысячи дел... Пораскинем мозгами и решим сами.— Он берет зернышко риса на зуб и начинает его жевать.

— По-моему, можно убирать,— заявляет Андриш.

Следуя его примеру, другие тоже пробуют рис и переглядываются.

— Посоветуемся еще с отцом... Я предлагаю сегодня же вечером составить бригаду, а завтра с утра начать...— говорит Андриш и опускает рыбешку, которую он до сих пор сжимал в руке: она уже перестает биться и лежит с широко раскрытым ртом. Андриш бережно опускает ее обратно в воду.

Нет более удивительного зрелища среди всех видов полевых работ, чем уборка риса. Девушки и парни режут стебли серпами, свивают и ставят в ряд снопы риса. Весело трудится молодежь, убирая богатый урожай. Весь день напролет окрестные поля звенят от песен, шуток и смеха. Никогда еще не было такого в этом крае, на этой земле!..

Агроном обвязал Жужику Шаркези рисовыми стеблями. Еще с давних времен вошло в обычай, что деревенские девчата прямо от пшеничного стога зачастую шли под венец. Но на рисовом поле обрученье происходит впервые. Ну, что же, пускай первый, но не последний случай... Всюду веселье, смех, хохот.

Несколько иначе обстояло дело у Марии Кеваго и Лаци Бердеша, которых кто-то, улучив подходящий момент, запер в овчарне. Лаци послали в овчарню за серпом, а Мария, не зная, что он там, забежала туда за точильным камнем. Оказавшись наедине, они едва обмолвились парой слов и уж, наверное, не дотронулись даже пальцем друг до друга. Но, когда они направились к выходу, Мария казалась немного румянее обычного, а Лаци — бледнее, чем всегда. Однако выйти им не удалось: дверь снаружи защелкнули на засов. С минуту они, огорошенные, стояли, глядя на пробивающийся в щель луч света, потом взглянули друг на друга. Мария всхлипнула, а Лаци со злостью подскочил к стене, сложенной из камыша, и стал ломать ее. Он ожесточенно вгрызался в камыш, словно дворовый пес, пробирающийся через плетень. Сначала на двор выбралась Мария, а следом за ней — Лаци. Никто не видел их, по крайней мере, так они думали. С этого времени и у этой молодой пары появилась своя тайна. Как ни говори, а в пору уборки заживают старые и открываются новые раны, и если об этом и не говорят, то глаза людей все равно видят, кто в кого влюблен. А подростки, самые юные члены кооператива, озорничают и веселятся, думая, вероятно, о том, что они-то не окажутся в таком положении.

Звенят серпы, растут ряды снопов, поднимаются кверху скирды. Кеваго идет следом за жнецами по мягкой, как пух, земле.

— Эй вы, ни одного колоска не теряйте! — кричит он и безжалостно возвращает обратно того, кто оставляет за собой колоски. Идти назад неприятно, ведь молодежь соревнуется, а коли воротишься, то потом не догонишь тех, кто вырвался вперед и первым дошел до края поля.

Глава одиннадцатая

1

Жизнь кипела и бурлила не только в кооперативе «Свобода», но и за его пределами. В каких-нибудь четырнадцати километрах от села, в Багойоше, строился поселок машинно-тракторной станции. Уже с весны туда непрерывным потоком шел кирпич, известь, песок, щебень, доски, бревна, железо, черепица.

Еще не закончилась стройка, а уже одна за другой сюда стали прибывать машины: сначала появились молотилки, которые тут же были собраны и смонтированы, затем прибыли и машины, которым предстояло привести в движение молотилки и поднять первую зябь. Машина вошла в крестьянскую жизнь прочно и навсегда, как свойственно входить большим делам в сознание крестьянина. Раз у них теперь есть своя машинно-тракторная станция, значит беда со двора ушла. Значит, кончились вечные муки и страдания крестьянина в страдную пору пахоты или сева.

Однажды в солнечный день перед зданием кооператива остановились три мотоцикла и в контору вошли трое: пожилой человек — директор новой машинно-тракторной станции — и два механика. Дружески встретили их кооператоры, но как они были приятно поражены, когда узнали, что пожилой директор был родным отцом Кульчара — секретаря уездного комитета партии.

Гости закурили и, беседуя по душам, в первую очередь поинтересовались кулацкими тракторами, которые в прошлом году должны были работать для кооператива...

— Тракторы целы, стоят в усадьбе...

— Один трактор, который нам пришлось почти заново собрать,— так он был изуродован — мы обратно не отдадим,— говорит Йошка Пап, оказавшийся в этот утренний час в правлении вместе с Бердешем, Сито, Шаркези и Кеваго.

— А как вы его используете? — спрашивает старый Кульчар. Его седые волосы под солнечными лучами отливают чистым серебром.

— Отремонтировали, значит, мы его. Обошлось тысячи четыре... Сейчас он гонит крупорушку и перекачивает воду из затонов для рыбы.

— Из-за трактора мы с вами не поссоримся. Как ты сказал, товарищ, затон для рыбы?

— Да, для мальков,— небрежно повторяет Йошка Пап так, будто всю свою жизнь он разводил рыб.

Для приезжих рыбоводство в кооперативе — новое дело, и они, естественно, интересуются им.

Гостям показали все хозяйство. Работники машинно-тракторной станции уже побывали во многих кооперативах, но такого образцового хозяйства им еще не доводилось видеть. Они с любо-

пытством обошли поля, осмотрели и рисовое поле, заглянули на усадьбу... Солнце стояло в зените, когда они закончили осмотр и, в свою очередь, пригласили кооператоров «Свободы» к себе в гости.

Так завязалась дружба между кооперативом «Свобода» и местной машинно-тракторной станцией. Пока осматривали машины и постройки, старый Кульчар, немного отстав от остальных, медленно шел вместе с Шаркези, беседуя с ним о том, как из числа членов кооператива «Свобода» набрать работников для машинно-тракторной станции. Правда, постановления на этот счет пока еще нет, но оно скоро будет, и тогда окончательно отрегулируются отношения между машинно-тракторной станцией и кооперативом, которые со временем, на каком-то этапе сольются в общее хозяйство... И хотя пока это еще дело будущего, но поговорить об этом можно и теперь.

Постройки машинно-тракторной станции решительно изменили внешний облик Багойоша. Старая деревенька теперь превратилась в современное село с большими зданиями в несколько этажей, которые расположились на южной околице села. И на этом фоне особенно выделялись бедные, покосившиеся крестьянские хибарки с камышовой кровлей; длинный ряд их только около церкви разнообразился несколькими более зажиточными и добротными домами.

Жители Багойоша зашевелились, словно муравьи, заметившие, что рядом с их муравейником происходят какие-то странные и неожиданные события. Вначале крестьяне растерянно суетились, но вскоре те, у кого имелись лошади, занялись извозом, а безлошадные подряжались на любую другую работу. Это, разумеется, относилось только к тем, кто собственными руками зарабатывал свой хлеб насущный.

На одном довольно обширном участке села стоял большой дом со стеклянной верандой, построенный в старомодном стиле с претензиями на роскошь. У этого дома была своя любопытная история. В начале тридцатых годов сын его владельца закончил архитектурный факультет политехнического института. Так как молодой архитектор не смог устроиться на работу в столице, он вернулся домой к своему богатому отцу. Здесь он первое время болтался без дела, чего-то выжидая, в надежде получить, вероятно, какой-нибудь крупный заказ в областном центре или в уезде, а на худой конец в каком-нибудь городке. Но все его ожидания оказались напрасными. Напрасно он повесил на своем доме табличку: «Михай Мадьяр, архитектор-строитель» — никто в то время не хотел строиться. Он прождал целый год и в конце концов уговорил собственного папашу поручить ему постройку дома, хотя бы с той целью, чтобы испытать способности своего сынка. Наряду с этим пусть, мол, все село, вся округа увидит, что архитектор может строить не только многоэтажные дома. Старый Балинт дал согласие на постройку не столько из-за того, что не мог про-

тивостоять сыну, сколько потому, что спасовал перед уже заготовленными сыном чертежами, которые изображали будущий особняк во всевозможных ракурсах, деталях и масштабах.

И дом был построен, несмотря на то, что старик на этом деле прогорел. Он лишился большей части своей земли, но зато остался с жильем. Вот этот самый дом и получила в наследство жена Йошки Папа. Она частенько бывала там еще ребенком, несколько реже приезжала в гости, будучи девушкой, и уже совсем редко появлялась, когда стала женой и матерью.

Как часто рисовала в своем воображении жена Йошки Папа этот большой, красивый особняк! И все-таки совсем иное дело, когда человек входит в дом хозяином, знает, что эти стены теперь его, что отныне он будет здесь жить!

Красивым и достойным зависти кажется этот большой дом человеку, проходящему по улице. Он пробует заглянуть внутрь через окна, защищенные железными решетками, или через забор. Но совсем другое чувство вызывает этот дом у человека, который в нем живет. Насколько никаких хлопот не причиняет он посторонним, кто приходит к хозяевам в гости, поболтать о том, о сем, настолько много забот возникает у человека, которому приходится здесь хозяйничать...

Прежде всего надо заново выкрасить все двери и окна: они покрылись копотью и налетом грязи. В свое время они были покрыты белой эмалевой краской, но где это видано, чтобы крестьянин красил окна и двери белой эмалью? Они в два счета не только загрязнятся, но и покроются пузырями от зимней топки,— ведь зимой печи топятся кукурузными стеблями и всякой всячиной, которая дает не только дым, но и чад, разрушающий краску. Ко всему прочему, краска разрушается и от времени.

Тетка жила в достатке, и поэтому в доме сохранилась старинная мебель. Но в каком состоянии! Никто, даже сам господь бог не смог бы ответить, какого первоначального цвета была кровать, на которой она спала, не говоря уже о столах, стульях, шкафах.

В углу горницы приютился большой буфет со стеклянными дверцами, густо смазанный подсолнечным маслом и распространявший вокруг резкий запах, усиливавшийся с годами.

Жене Йошки Папа посчастливилось по переезде в унаследованный дом встретиться с одной своей бедной родственницей, старой девой. Та вышла к ней навстречу, протягивая вперед руки, никогда не обнимавшие ни одного мужчину:

— Сервус, моя милая! — обнимая, приветствовала старая дева свою двоюродную сестру.

— Сервус! Хорошо,что ты здесь. Вот увидишь, как мы с тобой заживем,— сказала жена Йошки Папа, почему-то при этом вздохнув.

На днях она посоветовалась с одним адвокатом, который утверждал, что младшую дочку по закону должны присудить ей. Только, разумеется, надо возбудить дело о разводе.

Как легко, больше того — даже приятно было уйти из старого дома, но как трудно привыкнуть к новому, как трудно здесь жить и засыпать одной!

Днем еще кое-как убиваешь время: то забежишь в сельсовет, то поговоришь с испольщиками, которые договариваются будущей осенью засеять ее землю за половину урожая, то напишешь письмо адвокату. Но... уж очень недостает ей своих детей!

Сначала — детей, а потом и мужа... что поделаешь, недостает!

Все чаще и чаще перечитывает она врачебное свидетельство, в котором говорится, что гражданин Йошка Пап нанес ей повреждения в области левого глаза и от которых она оправилась лишь на восьмые сутки. Этим она пытается поддержать в себе злобу против мужа; ведь сколько раз, подлюга, он прежде целовал ее в то самое место, где сейчас красуется синяк!

Но главная беда в том, что, если в первое время она кое-как еще могла спать в новом доме, то чем дальше, тем больше овладевала ею бессонница. И вот однажды на рассвете, как раз на восьмые сутки после случившегося, она взглянула на себя в зеркало и не увидела больше ни шрама, ни синяка под левым глазом. И то, и другое зажило и исчезло, оставив лишь шелушащуюся кожицу.

Ей вдруг страшно захотелось самой поцеловать это место, куда ее ударил муж. Более того: она была готова даже поцеловать руку мужа, занесенную над ее головой, и взять обратно каждое свое слово, больно ранившее его сердце. И сразу с беспощадной ясностью она вдруг почувствовала себя негодной, скверной, злой. Почему все это произошло? Неужели все из-за этого поганого сарая! Из-за земли и богатства! Ее тетка была страшной скупердяйкой. По приезде в новый дом жена Йошки Папа нашла в кладовой сохранившийся еще с прошлого года огромный бидон масла, большой запас прогорклого сала, подвешенного на жерди, почти полный сундук муки, а в хлеву — поросенка, нескольких кур,— словом, она переехала не в пустой дом. Но радости от всего этого не было, скорее, наоборот, теперь она возненавидела новый дом и больше всего свою двоюродную сестру. Чего только не проделывала со своим лицом эта старая дева перед тем, как лечь спать! И все для того, чтобы избежать морщин, которых, собственно говоря, у нее на лице еще не было. Сестра разговаривала всегда так, будто стремилась подчеркнуть свое гимназическое образование. Перекладывая книги с места на место, она как бы говорила: вот, смотрите, я еще не только миловидна, но и умна. Нет, сестра была ей просто ненавистна!

А вскоре ей опостылело и все село. Спозаранку выходила она, чуть не плача, во двор и, стоя перед просторной верандой, глядела на восход солнца, стараясь представить себе, как собирается сейчас молодежь на рисовое поле.

Эта женщина потеряла все, растеряла и самое себя. Неужто она еще сможет когда-нибудь встать на ноги?

Но вот до нее дошли слухи, что ее бывший муж с головой погрузился в работу, отдал обоих детей в детский сад и дал обет никогда больше не жениться. Последнее особенно больно кольнуло ее в сердце, которое все это время продолжало ныть и болеть.

Скоро ей должно исполниться тридцать лет. Здоровье у нее крепкое, руки сильные, и, что еще важнее, она хороша собой. Не удивительно, что к ней стали усиленно захаживать некоторые селяне. Кто же они были, эти сельские ухажеры, пытавшиеся приволокнуться за ушедшей от мужа молодой женщиной?

Один из них был арендатор, с которым она лишь несколько раз беседовала о делах. Он был сыном разорившегося помещика; до войны готовился стать доктором, но, не закончив института, бросил учебу и теперь, приобретя двух меринов, занимался извозом на строительстве поселка машинно-тракторной станции. Однажды он заглянул к ней днем, а во второй раз пришел к вечеру. Сестра, сидя у стола, читала какой-то роман, а она перебирала свое белье, скрывая незаметно набежавшую слезу: ей в руки попалась рубашка Йошки, которая случайно оказалась сложенной вместе с ее бельем.

Арендатор уже тут как тут. Одна половина его лица нервно подергивается, кривя некрасивый рот, похожий в эту минуту на древесный лист, подточенный гусеницей-шелковицей.

— Итак, мой ангелочек, нам надо в конце концов договориться... Что мы будем делать с землей? — спрашивает он и, развалившись на стуле, широко, по-домашнему раскидывает колени. Одновременно он так пристально смотрит на женщину, что, кажется, того и гляди съест ее глазами.

— Что значит «мой ангелочек»? — побледнев, спрашивает она.

— А как же иначе, моя красавица? Ведь это не оскорбление, звездочка моя. Только так и следует называть такую красивую женщину, как вы.

Она ни слова не ответила ему, тихо и спокойно вышла из комнаты, будто на минуту. Губы ее трепетали: ведь уже не в первый раз с тех пор, как она поселилась здесь одна, к ней обращались в подобной форме. Остановившись у стеклянной двери веранды, она долго всматривалась в вечернее небо, где уже поднялась луна. Затем спустилась на ступеньки крыльца и снова долго стояла в нерешительности, не отрывая глаз от восходящей луны. И путь луны по небосводу представлялся ей таким же чистым и прямым, как совесть людей, живущих в мире друг с другом: там, в поднебесье, нет ни преград, ни даже крохотного облачка. Перед взором Маргит открылась бездонная глубина неба, та самая глубина, которая не столько различима взором, сколько ощущается душою.

«Двенадцать километров...» — зашептал ей какой-то голос, и она медленно, задумчиво спустилась с крыльца, вышла на улицу, затем миновала слободу и, все ускоряя шаг, пошла через поле в сторону большака.

Как и обычно в последние дни, Йошка Пап лег поздно. Теперь это в его власти. У него ведь нет других забот, кроме как о кооперативе и самом себе. Дети его ночуют у Шари Фейер, где днем собирается целая орава — одиннадцать, а то и двенадцать ребятишек. Но на ночь оставались лишь его двое. Они укладывались спать в комнате Шари, и Йошка теперь приходил домой, когда ему заблагорассудится. Он мог ложиться спать в любое время. Вот сегодня, например, он лег около полуночи; нужно было приготовить на завтра отчет в трех экземплярах: один — в уезд, другой — в плановый отдел, третий — для областного комитета партии.

Йошка полюбил порядок во всем — и на работе, и дома. Его одежда аккуратно сложена на стуле, а сам он сейчас спит, лежа на спине. На его лицо и на кровать падает свет полной луны. Первый сон — самый сладкий. Йошка спит сейчас именно таким сном.

Примерно в половине первого ночи, когда луна уже собиралась покинуть окно, тихо отворяется дверь и на пороге появляется женщина. Она останавливается посередине комнаты и глядит, глядит на спящего. Потом медленно, не спеша, снимает с себя сначала верхнюю одежду, затем юбку, потом туфли — все это она делает стоя, то наклоняясь, то выпрямляясь,— и взгляд ее ни на одно мгновение не отрывается от лица спящего. Склонив немного на бок голову, женщина косится на комод в углу, где лежит белье. Может, надеть ночную рубашку? Но затем передумав, она осторожно становится коленями на край кровати, легкая сорочка, которая еще оставалась на ней, спадает с ее плеч. И женщина скрывается под одеялом. Рыдая, она закрывает своими горячими губами рот проснувшегося Йошки.

2

Когда на току устанавливали молотилку, старый Кульчар, директор машинно-тракторной станции, тоже вышел в поле. Здесь уже собрались Ласло Деже — начальник планового отдела, инженер Балла, старый ирригатор Сиксаи, инспектор областного сельхозотдела и Фонадь — от областного комитета партии, ну и, конечно, Кульчар — секретарь уездного комитета партии.

Ясно, что молотьба риса имеет большое значение не только для кооператива «Свобода», но и для всей области, для всего Затисья; более того, если говорить о рисоводстве в целом,— это дело всей страны.

Молотьбу начали с небольшого четыреххольдового участка, где рис был посеян редкими рядами и где ожидался средний урожай. По этому участку можно было примерно определить среднюю урожайность по всему рисовому полю.

Сейчас заработает молотилка, и кооператоры занимают свои места; все так возбуждены, что никто даже не замечает, что жена

Йошки Папа стоит в группе молодежи и разговаривает с Андришем Кеваго.

— Ну, давай запускай машину! — нетерпеливо понукает Бердеш.

Молотилка заработала... один за другим снопы риса бегут вверх и исчезают в чреве машины. А оттуда с одной стороны сыплется рис, с другой выбрасывается солома. Хриплый рев молотилки разносится далеко над осушенной топью.

Четыре хольда посева дали сто шестьдесят восемь центнеров первоклассного риса.

— Подсчитайте еще раз! — говорит Фонадь, не веря своим ушам.

Сито снова подсчитывает, но как ни считай, а результат один.

— Ну, товарищ Дьенеш, теперь скажи, что лучше — редкие или густые посадки риса? — обращается к инспектору сельхозотдела старый Сиксаи.

— По этому вопросу я выскажусь после опытной молотьбы на остальных участках. Пока ясно одно: на редких посадках рис капризничает. Агротехника здесь еще не достаточно разработана.

Крестьяне горячо спорят, считают.

— А сколько получится урожая со всех двухсот хольдов? — спрашивает Фонадь.

— С двухсот хольдов? Одну минуту, сейчас...— и Сито снова углубляется в расчеты. Он считает раз, потом другой и наконец объявляет: — Двести хольдов... нам дадут... восемь тысяч четыреста центнеров.

— То есть... восемьдесят четыре вагона,— в тон ему поддакивает Бенце, утвердительно кивая головой.

Не все сразу могут поверить в такой урожай риса. А ведь каждый из них читал в газетах о том, что в прошлом году один кооператив собрал урожай в сорок четыре центнера с хольда. Тогда многие подумали, что... в газетах-то писать легко, а вот на деле как?.. Ну, а поверят они сейчас, если про них напишут в газетах, что в кооперативе «Свобода» получен урожай риса в сорок два центнера с хольда, всего на два центнера меньше?

Все заговорили сразу, каждому захотелось обязательно рассказать какой-нибудь эпизод, имеющий отношение к труду на рисовом поле, словно жертвой борьбы за рис была не Эстер Мольнар, попавшая из-за этого в больницу, а каждый из рассказчиков.

Рис сегодня — герой дня в кооперативе «Свобода», и слава о нем пошла по всему селу и разнеслась далеко по округе.

Среди собравшихся и корреспондент областной газеты, который бывал здесь и в прошлом году, и нынешней ранней весной. Сейчас он убеждает кооператоров в том, что урожай риса можно поднять до пятидесяти-шестидесяти центнеров.

Представители области возвратились домой. Если и до сих пор они были убеждены в реальности своих планов, то сейчас их уверенность подтверждалась бесспорными, неоспоримыми фактами.

В селе тем временем изо всех сил приналегли на строительство. Не успевали закончить постройку одного объекта, как тут же принимались за другой. Сейчас начали возить стройматериалы на большой солончаковый пустырь, где было запланировано строительство скотного двора для овец. Правда, овец пока нет, но они скоро будут. Строительство скотного двора вопреки расчетам инженеров решено максимально упростить, использовав местные строительные материалы, которые стоят гроши. Вы спросите, что такое местные материалы? А это кирпич собственного обжига, акация и солома. Да, да, та самая солома, которой замечательно кроют кровли, кладя ее стогом. В этом случае не потребуется даже стропил, достаточно одних перекрытий из стволов акаций. И будет, во-первых, тепло, а во-вторых, дешево, чуть ли не даром.

Вот почти готов и маленький домик, плотники навешивают уже двери и окна. Какой-нибудь придирчивый опытный мастер, вероятно, найдет в них недостатки, но это не столь существенно.

Стены домика сияют белизной, а двери и окна снаружи покрашены зеленой краской. Хотя о дверях и окнах говорится во множественном числе, но их не так уж много: всего одно большое окно и два маленьких, если не считать круглого окошка наподобие корабельного иллюминатора. Но в этом домике есть целых пять дверей: парадная, дверь на кухню, в кладовую, в комнату и в ванную.

Днем окна и двери маленького домика открыты настежь, чтобы поскорее изгнать запах свежей краски, штукатурки, извести и прогреть комнату лучами уже почти осеннего солнца. Вокруг дома с чудодейственной быстротой выросли цветы, а края дорожки кто-то выложил дерном. Здесь же зеленеет молодой кустарник и маленькая елочка; этого не было еще вчера вечером, и вдруг появилось нынешним утром. Другие деревья сажать еще рано, придется обождать до осени.

Проходит еще день, и вот в распахнутых настеж окнах уже колышутся белые занавески.

Днем Андриш не успевал взглянуть на новый дом и заглядывал туда либо поздно вечером, либо на рассвете. О том, сколько мыслей проносилось в голове у парня, когда он расхаживал вокруг этого домика, знал только он один, только он мог это чувствовать.

А в кооперативе тем временем царят мир и спокойствие, и над всем этим господствует деловой ритм труда, благодаря которому изо дня в день все краше становится облик нового села. Кто бы ни работал на селе, мысли его обращаются туда, где гудят на току молотилки. Разведение риса теперь представляется людям таким доходным делом, которое сторицей возмещает вложенные силы, труд и знания.

Чем больше обмолачивают риса, тем чаще засиживается в конторе Сито вместе с Бердешем. Председатель кооператива сидит за своим столом, а Сито звонит по телефону то в уезд, то в область: у кооператива много расходов — нужны деньги и главным образом для того, чтобы хоть частично рассчитаться по трудодням.

Кооператив может получить деньги в кредит? Еще бы! Сразу даже не перечислить всего кооперативного богатства, но сейчас главным образом они надеются на рис.

До окончательного расчета по трудодням еще много времени. Однако какой-то предварительный расчет складывается уже с начала лета, исподволь, как кирпичи на строительной площадке. По всему чувствуется, что в селе назревает радостное событие и, если оно произойдет, этот день превратится в подлинный народный праздник. Пусть к этому времени будут деньги у тех, кто их заслужил,— и праздник можно будет тогда отметить как следует.

Дни, к счастью, становятся все короче, а вечера длиннее: к счастью — потому, что местная организация Союза трудящейся молодежи вечерами сможет лучше подготовиться к празднику.

— К какому, собственно, празднику мы готовимся? — задала однажды вопрос Рожи Серню, заменявшая Андриша на должности секретаря сельской организации молодежи. То была ладная дивчина, всегда говорившая скороговоркой: наверное, именно поэтому Бежи Кадар в разговоре с ней испытывала такое чувство, будто что-то щекочет у нее в ушах.

— Мы готовимся к двойному празднику. Во-первых, двухлетняя годовщина образования кооператива «Свобода», а во-вторых... отметим дату начала преобразования нашего села в социалистическое...

— О! — воскликнула Рожи Серню. Она, хотя и часто слышала упоминание о социалистической деревне, но только сейчас вдруг почувствовала себя веточкой, которую могучее весеннее половодье несет в дальние, теплые солнечные края. Где-то далеко-далеко ослепительно сияет солнце, и весь тот край словно звенит от его лучей. Ветку волной прибивает к берегу, и она пускает корни в ил и в землю, чтобы вскоре раскинуть свой шатер из листьев над проносящимися мимо временем и водами.

В уме Рожи вдруг мелькнула мысль, что каждая девушка чем-то напоминает собой мягкий теплый шатер, притягивающий под свою сень маленькую частицу большого мира.

3

Уже во второй раз прощается Эстер Мольнар с уйфалуской больницей, но нынешнее прощание носит совсем другой характер, чем в далеком детстве. Тогда она собрала свои пожитки в узелок — кое-какое бельишко у нее было,— а вот с верхним платьем оказалась просто беда, из всего она выросла. С трудом добралась она тогда до постоялого двора Листеша. Иное дело теперь. За железной оградой на улице ее ждет машина Фонадя (он специально приехал за ней из области), рядом стоит мотоцикл Элемера Барны. Озабоченный доктор возится с мотором, не желая в пути отстать от автомобиля.

Так уж повелось, что стоит остановиться машине на дороге и

шоферу или мотоциклисту полезть в мотор, как его тут же обступают ротозеи. Для любопытных нет таких срочных дел, которых нельзя отложить, чтобы взглянуть на машину. Вот и сейчас возле мотоцикла остановилось трое селян: у одного из них на плечах вилы, у другого — заступ, а третий — худой верзила, босой, в невообразимо изношенной одежде — грызет тыквенные семечки и молча смотрит на то, как доктор безрезультатно нажимает ногой на стартер мотоцикла.

— Ишь лягается как!.. Попробуй, свою мамашу так лягни!..— зло говорит парень, выплевывая шелуху от семечек.

Возмущенный доктор хочет проучить наглеца, но тот, хохоча, отскакивает в сторону и уходит, шаркая ногами по дороге.

— Кто этот болван? — удивляется доктор.

— Точно, болван. Дурак и есть,— отвечает один из любопытных.

— С барином да с дураком лучше не связываться,— назидательно замечает другой.

Но Элемер Барна никак не может успокоиться. Он направляется было вслед за парнем, но тот пускается наутек так, что только пятки сверкают, и кажется, он вовек не остановится.

Шофер Фонадя выходит из машины, захлопывает дверцу и неторопливо идет к Барне.

Тем временем наверху, в больнице, настают минуты прощания.

— Ну как, она уже совсем здорова? — шопотом спрашивает Фонадь у главврача.

— В полном здравии. Организм у нее крепкий и очень выносливый. Но, конечно, ей теперь следует остерегаться чрезмерного холода или неумеренной жары, надо за собой следить,— заключает вполголоса доктор, но так, чтобы его могла услышать и Эстер.

— Значит, тронулись...— Эстер берет свой чемоданчик и еще раз окидывает взглядом палату. Но один из молодых врачей берет у нее из рук чемодан, и процессия двигается к выходу в следующем порядке: впереди молодой врач с чемоданом Эсти, за ним — она сама, а за ней — главврач, Фонадь и две медсестры. Так же они спускаются и по лестнице. Со всех сторон к ним присоединяются люди. Выздоравливающие выглядывают из окон второго этажа. Главврач берет Эсти под руку и дружески напутствует ее:

— Только пока излишне не геройствуйте. При малейшем недомогании звоните или являйтесь сами. Ведь вы были и остаетесь нашей приемной дочерью. Пока стоит наша больница, мы вас не забудем...

— Спасибо, большое спасибо... Вы все так добры ко мне...

Фонадь открывает дверцу машины, Элемер Барна наконец-то торжествующе заводит мотор мотоцикла. Эстер усаживается в автомобиль рядом с Фонадем. Шофер дает газ, и машина трогается; за ней выруливает мотоцикл. Не только врачи, но и весь обслуживающий персонал больницы машет им вслед, пока машина не скрывается за поворотом дороги.

Было одиннадцать часов утра, когда они выехали из Уйфалу, а еще через полчаса машина уже свернула к усадьбе Кельчеи.

Листья придорожных осин дрожат и трепещут, как золотые пластинки. У въезда в усадьбу молодежь мастерит арку к завтрашнему празднику. Хотелось бы, чтобы и Эсти въехала через эту арку, но ребята немного запоздали. Увидев машину, они все бросают и бегут следом за ней.

— Берегись! Берегись! — слышится окрик, и ребята шарахаются в сторону от пронесшегося, как вихрь, мотоцикла Барны.

Вся работа на усадьбе приостановилась, люди спешат к машине, которая медленно заворачивает к новенькому домику с палисадником и цветочными клумбами. Еще вчера здесь не было никакой изгороди, а уже сегодня двор обнесен решетчатым забором с небольшой распахнутой настежь калиткой,— строители решили, что так будет красивей.

— Куда мы заехали? — с изумлением спрашивает Эсти, глядя через стекло машины.

— Сейчас увидишь,— весело говорит Фонадь и открывает дверцу машины. Из дома гурьбой выходят Кульчар, Шаркези, Бердеш, Кошут-Киш и Кеваго.

Из-за угла выбегают Жужика, Мария, Рожи Серню и еще несколько девушек. Ветер треплет их волосы, развевает юбки, и октябрьское солнце обливает девушек своими последними, но еще яркими лучами.

— Эсти! Эсти! — кричат они, в мгновение ока окружив ее плотной стеной.

Бердеш пытается угомонить шумливых девчат и отогнать их от Эстер, но стоит ему отстранить одну, как другая тотчас же льнет к ней с другой стороны. Бердеш хочет что-то сказать, но это ему не удается.

— Ну, раз так, то давай, заходи!..

— Пошли! Мы тебе кое-что покажем,— подхватывает Жужика и, взяв Эсти под руку, ведет ее в дом. Остальные идут следом.

В комнате стоит деревянная резная кровать, напротив нее — кушетка, покрытая покрывалом ручной работы. Стол и два стула, на столе — ваза с цветами. Единственно, не хватает шкафа, но зато на стене возле двери прибита новая вешалка. В распахнутую дверь врывается ветер и, словно паруса, надувает белоснежные кружевные занавеси на окнах. Вместо буфета в простенке между окнами стоит старомодный комод с четырьмя отделениями, а на нем графины, стаканы, чашки, тарелки.

— Все это — ваше,— с гордостью говорит Кати Бердеш.

— Как так наше?.. Что-то не пойму...

— Ваше: твое и Андриша.

Эстер растерянно смотрит на подруг, затем поворачивается к молча стоящим мужчинам, закрывает на секунду глаза и вдруг, протянув руки, бросается на шею первому попавшемуся, ей все равно кому... Лишь только потом выясняется, что первый попав-

шийся был не кто иной, как Сито, вошедший в дом именно в этот момент.

— Ну, что же... Я... не прочь, с полным удовольствием,— в замешательстве говорит он.

— Что не прочь? — спрашивает его Бердеш.

— Как что? Быть шафером на свадьбе... Полагаю — об этом идет речь?

Смех и оживление. Иногда и старые деревья могут спеть дивную песню, если в листве зашумит ветер.

— Давайте присядем,— весело говорит Эстер, и сама опускается на кушетку, положив руки на колени. Девчата толпятся вокруг нее, а мужчины — кто присаживается на стул, кто продолжает стоять из-за недостатка мебели.

Шаркези садится на край кушетки и овладевает беседой. Он рассказывает о том, что произошло за лето в кооперативе, а в заключение сообщает о завтрашнем большом митинге в парке, после чего состоится народное гулянье с танцами и товарищеским ужином, а затем снова танцы до упаду. На этом митинге их село будет торжественно провозглашено социалистическим. К тому времени обещали вернуться домой жена и дочка Шаркези, да и Пирошка Бердеш.

Эсти слушает его с напряженным вниманием, и ей вдруг становится как-то грустно, что она не смогла участвовать в подготовке такого большого праздника. Она то и дело с беспокойством поглядывает на дверь: куда же запропастился тот, о котором она постоянно думала во время своей долгой и мучительной болезни?

— Где же Андриш? — не выдержав, спрашивает она.

— Андриш на станции, договаривается с железнодорожным начальством насчет вагонов. Рису у нас уродилось столько, что его не так просто перевезти!

Вечером Эсти впервые легла спать в собственном доме, на собственной кровати. Она уже дремала, а тетушка Бердеш все еще прибиралась в их новой квартирке. Андриш уже дважды хотел отойти от ее постели, на краю которой сидел, но Эсти даже в полудреме не выпускала его руку из своей.

— Не бойся, сегодня я переночую здесь,— успокаивает ее тетушка Бердеш.

Андриш снова пытается встать, но Эсти, тихо застонав, еще крепче сжимает его руку.

Лишь поздно вечером удалось разжать руку Эсти: Андриш держал ее за запястье, а тетушка Бердеш по одному разгибала пальцы девушки.

4

Когда-то очень давно, в конце прошлого века, в округе вспыхнул крестьянский бунт из-за того, что мимо села хотели провести железную дорогу. Мужики взялись за вилы и разогнали инжене-

ров, чиновников и полицейских (тогда еще не было жандармов) во главе с самим приставом.

Но железную дорогу, тем не менее, проложили, правда несколько дальше от села. Вначале крестьяне шумели, что никто-де из них не сядет на ту самую машину, которая только разоряет мужика, лишая его заработка на извозе. И действительно, первое время поезда пустовали; если кто из крестьян и ездил по железной дороге, то лишь тайком. Паровоз обычно останавливался на станции, свистел, потом трогался дальше, не обращая внимания на то, садились ли в вагоны пассажиры или нет. А потом однажды случилось так, что в разгар зимы на городскую ярмарку поехало столько народу, что к поезду пришлось прицепить дополнительный вагон.

А в еще более отдаленные времена крестьяне отказывались сажать картошку, а если и сажали ее, то есть ни за что не хотели. Появление картофеля вызвало в селе, как, впрочем, и в других деревнях, большую сумятицу. Но когда люди отведали картошки, то признали, что это вовсе недурно, и начали есть ее во всех видах — вареную, жареную и печеную. А что бы они делали теперь, если бы тогда, в далекие времена, изгнали картофельную культуру из страны?

Сколько раз пытались крестьяне, кругозор которых всегда был ограничен, преградить путь неумолимо наступавшему экономическому прогрессу!

Становится понятным, почему с таким нескрываемым недоверием вначале была встречена идея организации производственных кооперативов. Но когда люди увидели своими глазами, что это не обман, что все идет к тому, чтобы в наибольшей мере удовлетворить интересы крестьян, плотина недоверия прорвалась, и могучая река разлилась, как в половодье, вышла из берегов, залила луга, орошая плодоносную землю. После уборки риса недоверие к кооперативу рассеялось как дым. Теперь уже вопрос не в том, вступать ли в кооператив или нет, а в том, можно ли войти в него всем селом?

Одним из первых начал разведывать обстановку для вступления в кооператив местный кузнец. Этот день для него начался с того, что Жила привел подковать лошадь. В последнее время он пришел к выводу, что, несмотря ни на что, ему выгодно возиться с лошадьми. В городе образовалась стройконтора, которая предоставляла большие возможности для частного извозного промысла. Разумеется, эта контора пользовалась услугами тех крестьян, которые не были привязаны к земле и держали лошадей для извоза или для продажи. Закон позволял конторе брать у хозяев в аренду по достаточно высокой цене те конские упряжки, которые могли бы отработать на извозе без перерыва шесть месяцев.

Учтя это обстоятельство, Жила уже сплавил конторе втридорога пару своих лошадей. На половину полученных денег он купил на ярмарке новую пару коней, которых он сейчас подковывал, чистил и усиленно кормил. А через полгода Жила надеялся снова

взять за них хорошую цену и опять с выгодой обернуть капитал... Дело это верное, надо только действовать умеючи.

— Чего ты возишься с этими клячами? Сбывай их поскорее с рук и вступай в кооператив,— одним духом выпалил кузнец, но до сознания Жилы этот совет так и не дошел, ибо барышник был поглощен своими заботами. А кузнец после обеда приоделся по-праздничному, взял в руки палку с серебряным набалдашником и направился в усадьбу Кельчеи. Он шел не спеша, смотря по сторонам и все время прислушиваясь к доносящемуся издалека звону наковальни. Идя прямо на этот звук, он вскоре нашел кооперативную кузню, где и застал Михая Бири.

— А-а... наконец-то и тебя здесь вижу, чортов сын! — шутливо воскликнул Бири, идя ему навстречу.

— Пришел, вот... А что мне остается делать?

— Вижу, что пришел. Стало быть решился? Ну что ж, иди к нам! Становись к горну.

— Это можно. А сколько будете платить?

— Сто тридцать процентов на трудодень.

Пришедший уже знает, что такое трудодень, но как будут высчитывать проценты, по отношению к чему их начисляют,— это для него пока еще не ясно. А может, трудодень так невелик, что тут никакие проценты не помогут?

— Давайте четыреста форинтов в месяц — и вот моя рука!

— Да ты одурел? Ведь четыреста форинтов — сущий пустяк!

Но кузнец качает головой и, раздумывая, уходит.

И в сапожной мастерской, и в парикмахерской, и в поле — повсюду, где встречаются люди, они говорят сегодня только о вступлении в кооператив.

И вот уже на следующий день село зашевелилось: казалось, все крестьяне плотной толпой подошли к глубокому рву, через который нужно было кому-то перепрыгнуть первым, чтобы его примеру последовали остальные. Кто будет этот первый, кто прежде всех решится на такой шаг?

Собрался народ и в корчме. В руках у Ференца Тарнока стакан вина, и он, стоя, разглагольствует перед односельчанами:

— Вот жизнь будет! Подумать только! Ни налогов платить, ни попов на своем горбу содержать! Живи себе, пока не сковырнешься, а там уж...

— Смотри, как бы ты первый и не сковырнулся,— резко одергивает его какой-то крестьянин.

В доме у кузнеца горит яркий свет, хотя там и нет гостей, только своя семья, да и то небольшая. Жена суетится вокруг хозяина, зять расхаживает по кухне из угла в угол, опирась на кнутовище с такой силой, что оно выгибается дугой. То и дело он искоса поглядывает на тестя, а тот все подсчитывает.

Всякие расчеты он привык делать только мелом. В кузнице он обычно помечает все свои изделия, ставя на них мелком имя заказчика. А на стенке горна или на наковальне он мелом же произво-

дит расчет, во сколько обойдется натянуть обод, починить втулку, подковать коня! Но сейчас он подсчитывает другое: сколько ему обычно удавалось заработать в месяц? Рой цифр и планов проносится в голове этого человека!

Но вот наступило утро, светлое и пригожее утро октябрьского воскресного дня. Что станет с ночными раздумьями и расчетами кузнеца при свете этого дня?

Жена Ласло Рожи справила обычные утренние дела по дому: подоила коров и под звук пастушьего рожка выпустила их на улицу, задала корм свинье и тоже выгнала ее пастись, ибо свинопас уже продудел, собирая стадо. Затем она выпустила на двор птицу, налила свежей воды и насыпала ей зерна, затопила плиту и даже не заметила, что солнце уже поднялось довольно высоко. Ее муж Ласло постоял с минуту у изгороди сада, посмотрел на яблоню, поникшие ветви которой ломились под тяжестью плодов, затем вошел в дом, побрился и умылся. В тот момент, когда хозяин занялся на крыльце своими сапогами, начищая их до блеска, по-гусарски, во двор вошли двое:

— Доброе утро, дядюшка Ласло,— поздоровались они.

— Доброе утро. Что так рано поднялись, а?

— Рановато, это верно... Но ведь, слыхать, сегодня наше село объявляют социалистическим.

— Так-то оно так. Но если бы вы проспали до полудня, от этого ничего бы не изменилось.

— Это верно... Ну, а мы как же? Что нам-то делать, скажите?

— Ничего я вам не скажу. У кого есть хоть крупица ума, тот знает, что делать, а у кого нет, тому и советовать нечего.

Один сапог Ласло Рожи уже начищен, и он ставит на табуретку вторую ногу. Двое мужиков некоторое время в нерешительности переминаются, затем один из них говорит:

— Ну, а вы, дядюшка Ласло, что собираетесь делать?

— А я вам об этом еще летом сказал. Подожду до осени, расплачусь с долгами... Вот осень и пришла. А теперь пойду на свое место, где меня ждут. Каждого ждет свое место. Эй, мать, дай чистый платок! Где ты, мать?

Крестьяне переглядываются, затем прощаются с хозяином и плетутся к калитке. Шаги их напоминают топтание на месте, и кажется, словно не они идут, а земля под их ногами тянется вспять.

Между тем на усадьбе Кельчеи молодежная бригада убирает кооперативный двор, собирает граблями листья под деревьями и на дорожках, сгребает их в кучу.

Под вековыми деревьями парка расставлены столы и скамейки на деревянных или кирпичных столбиках, а поодаль возвышается трибуна для президиума и ораторов. Для оркестра Пицулы построена специальная эстрада. Едва стрелки часов перевалили за восемь, появляются музыканты — все с непокрытыми головами, в черных костюмах и желтых штиблетах. У ям для обжига кирпича Кари Вереш с двумя помощниками разделывают бычьи туши.

Здесь же околачивается и Карой Чергете: видать, готовятся к празднику, да без его участия. Старый Бири тоже наблюдает и ломает себе голову, как бы механизировать и это. Вот бы придумать такую машину, которая одним махом разделывалась бы с тушами!.. К ним подходит жена Бердеша, которая сегодня является главной стряпухой. Она проверяет, как идут дела. Надо все успеть во-время, если хотят получить добрый паприкаш.

Какое оживление царит сегодня кругом!

Старый Тодьер Монок медленно и важно бродит взад и вперед, его колючие глазки так и бегают в разные стороны, словно острия вил, когда ими размахивают в драке. Пока все, кажется, на месте, но кто знает, что может произойти? Того и гляди кто-нибудь стащит жердь или дощечку. А ведь это убыток.

— Эй, чего там трогаешь? Оставь в покое! — покрикивает он на Тарнока, который рассматривает ручной насос для подачи воды в новую конюшню.

— Да я только гляжу, как он устроен...— пытается объяснить Тарнок, но Монока не так-то легко убедить. Он начинает еще пуще кричать, и Тарнок уходит прочь, ощупывая мимоходом рукой скамью, прочно ли она стоит на месте.

Эстер причесывалась в своем новеньком доме, когда до нее донеслось хлопанье наружной двери: это вошла Терчи Фюрес.

— С добрым утром, миленькие мои! — здоровается она и оглядывает комнату, ища кого-то глазами. Она никак не может допустить, что Андриша здесь нет. Но вот входит и Андриш. Обращаясь к Фюрес, он озабоченно говорит:

— Вы бы там присмотрели, тетушка Терчи, за мясом. Чтобы на кухне все было в порядке...

— Иду, душа моя, иду. Что правда, то правда... Скажем прямо: эта Бердешиха не знает толку в стряпне. Уж коли говорить правду, то...— Тщеславия в этой женщине хоть отбавляй. Даже больше, чем любопытства, поэтому она так быстро и согласилась пойти присмотреть за мясом.

— Наконец-то,— говорит Андриш и, подойдя к двери, поворачивает в ней новенький ключ.

— Что ты делаешь, Андриш? Ведь окна-то открыты,— говорит Эсти, добродушно смеясь.

— Будем надеяться, что тетушка Фюрес все же не решится влезть в окно,— с улыбкой отвечает Андриш, подходя к Эстер. Он берет ее руку и приподнимает на своей ладони, как бы взвешивая.

— Ты хорошо поправляешься, Эсти, очень хорошо!

— Да, я и сама чувствую, что пополнела. Гляди! — она плотно запахивается в халат и, обтянутая его тканью, с минуту стоит, не сводя глаз с жениха. Длинные распущенные волосы едва не достигают бедер... В окно врывается октябрьский день... Слышно, как где-то вбивают колья, как гремит чья-то подвода и на кого-то ворчит Тодьер Монок; из села доносится шум автомобиля.

— Вот такой ты, наверное, была в семнадцать лет.

— О, если бы ты меня тогда знал! Я была тогда красивой, очень красивой. Взгляни-ка, руки уже не такие худые... косточки уже не выпирают.

Андриш снова берет ее за руку, оглядывает с головы до ног. Какая она, его Эсти?..

— А волосы оставишь так?

Эсти встряхивает головой, берет в руку прядь волос и долго рассматривает их.

— В больнице я иногда пыталась представить себе свою мать. У нее были такие печальные глаза! Я много слышала про нее от тетушки Жужи — жены Шандора Катоны. Она мне рассказывала, что у моей мамы были густые, красивые волосы, и тогда я тоже решила отрастить косы, по крайней мере до тех пор, пока не выйду замуж. Чем еще я могу отблагодарить маму? Мне говорили, что если бы не нужда, моя мать была бы очень красивой... Волосы и глаза у нее были такие же, как мои... И мне хочется быть похожей на нее, только, чтобы глаза у меня не были грустными! Я не хочу больше грусти, Андриш, не хочу! — переходит она на шопот и, задрожав всем телом, обхватывает руками шею юноши. Из груди ее вырываются судорожные вздохи.

— Отчего бы им стать грустными? Почему у тебя должны быть печальные глаза? Ведь все тебя так любят — и старые, и молодые! Я уже не говорю о себе.

— А ты говори, говори, милый... Это так приятно слышать... Любить... Ведь это превыше всего на свете!

За дверью слышен разговор, топот ног, стук. Эсти поспешно открывает дверь и приглашает:

— Пожалуйста, входите!

Входит Рожи Шаркези, за ней ступает какая-то незнакомая, красивая, смуглая женщина; Эсти догадывается, что это жена Фонадя. Она слыхала о ней, но ни разу еще не видела. К дому подходят и подходят люди, больше мужчины,— это прямо паломничество.

— Эстер!.. Сервус!..— Рожи подходит и обнимает ее.— Ну вот, наконец ты и выздоровела! Хорошо себя чувствуешь?

— Что же делать больным, как не поправляться? Верно ведь? — говорит жена Фонадя и протягивает Эстер руку.— Так, значит, вот ты какая, знаменитая красавица Эстер Мольнар? Приехала я однажды в больницу, чтобы увидеть тебя, но врачи не пустили. И правильно сделали: ведь больного можно совсем замучить посещениями.— В том, что говорит жена секретаря обкома, нет ничего особенного, и тем не менее у Эсти остается такое впечатление, что она говорит нечто очень приятное, не только для нее, Эсти, но и для всего кооператива. Эстер глядит на эту высокую стройную женщину с открытым и решительным взглядом; на старомодный пучок волос на затылке: неужто и она так же, как Эсти, носит пучок в память о ком-то?

— Ну собирайся и пошли! — торопит Рожи Эстер.

— Куда? Ведь еще рано.

— Вот соберемся, потолкуем, а потом... Надо посмотреть, как все приготовлено. Ведь праздник сегодня организуем мы, женщины. А молодежь нам только помогает. Ну, пошли!

Обе женщины взяли Эстер под руки и пошли к выходу. Мужчины еще немного постояли в комнате, поговорили о том, о сем, прикинули, все ли к сегодняшнему празднику сделано, как надо, не забыто ли что...

— Ну, пусть сегодня поп велит звонить в колокола, сколько влезет! — шутит Балаж Фюрес.

Кари Вереш тут как тут, он ловит обрывки разговора.

— Поп нынче тоже поумнел,— замечает он.

Между тем женщины вместе с Эсти уже пришли на праздничную площадь, где все кругом гудело от людского гомона.

Пишта Сито сидит и сочиняет объявление:

«Сегодня утром в 7 часов 45 минут — музыка, в 10 часов — сельский митинг, от 1 часа 30 минут до 3 часов — обед, после обеда на открытой эстраде — концерт самодеятельности, в 8 часов вечера — ужин, потом — танцы до утра.

Кто еще не заплатил за обед и ужин, может внести деньги кассиру в конторе кооператива: цена обеда и ужина с вином (по пол-литра) — восемь форинтов».

Женщины останавливаются рядом с Пиштой, смотрят на дело его рук, а сам художник с беспокойством ждет приговора: хорошо ли он написал? Объявление их удовлетворяет, и женщины идут дальше, туда, где поварихи готовят обед.

Временная плита сложена из кирпича под открытым небом. Пока в одном медном котле закипает вода, жена Йошки Папа споласкивает посуду, но, увидев Рожи Шаркези, смущается и еще ниже склоняется над котлом, будто желая спрятаться. Но Рожи подходит ближе.

— Гляди-ка... Маргит!.. Сервус, Маргит!

— Сервус...— отвечает пунцовая от смущения жена Папа.

Рожи подходит к ней вплотную.

— Видать все-таки наше место у семейного очага. Вот за то, что ты вернулась к нему, я тебя люблю,— говорит Рожи и шепотом что-то договаривает ей на ухо.

Немного поодаль Йошка Пап разговаривает с Андрашем Кеваго.

— Никак не могу успокоиться, дядюшка Андраш, ведь такой богатый урожай риса собрали, что просто диву даешься. А что было бы, если вдруг, скажем, в начале сентября или в конце августа настали холода? Рис бы вырос, заколосился, а не созрел! Меня в дрожь бросает от такой мысли. Вот я и думаю на будущее: чтобы обезопасить себя от всяких капризов погоды, надо поставить на поле сушилку. Помните, какая была у нас когда-то в селе для сена?

— Как же, помню. Топили ее, чем попало.

— Даже соломой... Тогда ничто нас не застанет врасплох.

Гудит автомобиль — это едут представители области. В открытой машине стоит старый техник-ирригатор Сиксаи. Настроение у него приподнятое. Если бы он мог высказать все, что сейчас ощущает! Немало праздников урожая видел он на своем веку, но сегодня его чувства ни с чем не сравнимы. Еще бы — видеть нескончаемую вереницу людей, идущих к кооперативной усадьбе, пеструю толпу нарядно одетых селян!

— Как прекрасен человек!..— расчувствовавшись говорит старик.

Еще далеко до десяти часов, но крестьяне парами и группами уже собираются на праздник. Сюда идут не только кооператоры, но и многие единоличники, которые собираются вступить в «Свободу». И те и другие смешались в одной шумной людской массе, и распознать и отделить их друг от друга теперь можно только, выкликая по списку.

Люди останавливаются у кооперативных построек, осматривают новые строения, амбары, конюшни... Сзади напирает народ, и толпа катится дальше, доходя до места, где обычно обжигают кирпич. Но вот уже девять часов, в селе ударяют в колокол, зовущий к заутрене.

Бим...бом...бим...бом...— плывет перезвон церковного колокола; его подхватывает на свои крылья октябрьский ветерок и разносит во все стороны. И все же колокольный звон доходит сюда так, словно он идет из-под воды, словно село затоплено наводнением. То ли в этом повинен октябрь, то ли что другое, но это впечатление не может изменить даже гул большого колокола. Интересно, как звучит колокольный звон в самом селе?

Его преподобие Эрне Пепи в последние две недели только и делал, что обходил крестьянские дворы, организуя религиозные вечера: сегодня — на одной, завтра — на другой улице. Он понимал, что в селе что-то готовится, более того — он знал, что все селяне уже склонны сплотиться в один коллектив и что задумано осуществить это на митинге в честь двухлетия кооператива. Пастору было ясно, что он уже не в силах воспрепятствовать этому движению, и все-таки продолжал действовать, напоминая собой того павшего в сражении воина, который, корчась на поле боя в предсмертных муках, с отчаянием обреченного пытается хотя бы укусить за ногу победившего его противника. Объявив на сегодня в церкви большое богослужение по случаю освящения хлеба нового урожая, его преподобие хотел этим отвлечь селян от участия в кооперативном празднике... Почему не попытаться? Пусть колокольный перезвон сзывает прихожан в церковь.

Из всех дворов народ валит на улицу, и людской поток течет в одном направлении, за исключением маленького ручейка, который отделяется от общего русла и вливается в церковь. Основная же масса людей поворачивает к усадьбе Кельчеи... Перед домом

сельсовета тоже собирается толпа, но пастор, стоя у окна, так и не может разобрать, что же, собственно говоря, там происходит.

Колокол ударяет в последний раз, и пастор входит в церковь.

Его поражает зияющая пустота. Стук его башмаков гулко и тревожно раздается под сводами, и, еще не доходя до амвона, он в нетерпении считает про себя число прихожан — сначала женщин, потом мужчин. Хорошо, если всех вместе наберется человек сорок, а может и того меньше.

Однако служба идет так, будто церковь полна: люди поют псалмы, певчая запевает, нажимая на клавиши органа, раздаются трубные звуки, потом снова звучит хор, и вот, наконец, настает время проповеди.

Пастор, как всегда, начинает горячо, но вскоре его внимание привлекает ласточка, которая залетела под купол церкви и никак не может оттуда вырваться: она трепещет, без устали кружится, бедняжка, бьется от одной стены к другой, облетает купол по кругу, ища выхода, но... спасенья нет. Ее подруги, другие ласточки, сейчас парят на свободе, в дальних краях, разрезая крыльями бескрайнюю голубизну южного неба, и взирают вниз на талую землю, на проносящиеся под ними реки, деревья и зелень их второй, зимней родины. Ласточки летают на воле высоко в небе, и лишь одна она застряла в этой ужасной, пугающей пустоте, которая грозит ей погибелью. Странные звуки и голоса людей доносятся до нее. Они ударяются о своды церкви, гремят под самым куполом и снова падают на землю. Скорее прочь отсюда, прочь!.. И ласточка носится под куполом церкви по кругу, все время по кругу, по кругу... Временами она натыкается на оконное стекло, затем, пугаясь резкого света, в страхе шарахается от него. До сих пор бедняжка не ведала, а теперь на своем горьком опыте познает, что обманчивый свет в окне может обломать птице крылья. У ласточки не хватает смелости хоть разок спуститься вниз и попытаться вырваться на волю через церковные двери. Нет, ласточка не понимает этого. И даже если бы она увидела распахнутую дверь, наверняка приняла бы ее за то же обманчивое стекло, которое слепит глаза, ломает крылья и больно ударяет в нежную грудь. Прощай, надежда, прощай, свобода, безграничная и голубая, как море и небо!.. Ей нет передышки... Остается одно: летать и летать по кругу... Иногда ласточка вдруг замирает на мгновение, садясь на резную башенку церковного амвона, складывает крест-накрест, будто ножницы, свои маленькие крылышки, но вскоре снова расправляет их и опять пускается в свой роковой полет все по кругу, по кругу... Пастор пытается оторвать взгляд от бьющейся птицы, силится не замечать ее, но тщетно... Он все чаще и чаще обращает взор вверх и невольно следит за кружащейся птицей...

Теперь он уже ясно вспоминает, что не в первый раз видит здесь эту ласточку... Почему он не выпустил ее отсюда, почему не

открыл ей окно? Не хотел, вот и не открыл. Его не интересовала непрекращающаяся борьба всех созданных богом живых существ, тварей и деревьев за гармонию жизни, преисполненной счастьем. Его не занимала эта борьба, и он не желал поспешествовать ей хотя бы тем, чтобы выпустить заблудшую ласточку в церковное окно. И вот теперь словно кто-то кулаком ударил его в грудь. Ведь служение жизни — это служение не только замкнутой духовной секте, а всему живому на земле! И не только тому, что живет сейчас, но и тому, что будет жить,— то есть будущим деревьям, травам, животным, людям...

Думая обо всем этом, пастор читает проповедь, но его речь и мысли диаметрально противоположны друг другу, и от этого пастор мучительно устает. Мысли его разбегаются, но он все же продолжает свою проповедь, а взор его меж тем продолжает следить за отчаянно кружащейся и тщетно бьющейся в западне ласточкой, которая все еще пытается то здесь, то там пробиться сквозь стекло, сквозь стену и вырваться, наконец, на свободу.

— Аминь!..— глухим голосом произносит пастор. И это слово падает в пустой, безлюдной церкви, будто какой-то никому не нужный предмет катится с амвона под скамью.

Малочисленные прихожане встают; это его поредевшая паства. Сегодня в церковь пришли лишь те, кто обычно посещал религиозные вечера и слушал чтение библии. В своих приземистых лачугах они выглядят более внушительно, но здесь, в большом церковном зале, кажутся ничтожной кучкой. Жалкое подобие когда-то великого духовного движения, увядание отжившей культуры!

Примерно в тот же час подавляющая масса селян уже собралась в усадьбе Кельчеи.

Без четверти десять грянул марш Ракоци и народ повалил на площадь, где веселой, шумливой гурьбой резвились ребятишки.

Эстер поднимается на возвышение и покрывает стол кумачовой скатертью. Андриш ставит в вазу цветы,— делает он это не очень ловко: ведь стебли цветов нежны и хрупки, а руки у парня большие и грубые.

— Гляди, Андриш... сколько народу! Неужели это все к нам? — восхищенно спрашивает Эсти.

— А к кому же? Куда же им еще идти? — Андриш смотрит на людей и не может оторвать от них взгляда.

Народу прибывает все больше и больше, кажется, что сегодня все жители покинули село и пустились в путь на поиски своего счастья.

Немного поодаль, на холме, где высится помещичий дом, в котором когда-то слагал свои песни Кельчеи, собрались мастеровые; сейчас они окружают Михая Бири и старого Сильву:

— Если положите мне в месяц пятьсот форинтов, вступлю, пойду с вами! — заявляет кузнец.

— Не валяй дурака! Будешь получать наравне со мной. Сколько тебе надо об этом твердить?

— А ты много получаешь?

— Много ли? Сколько полагается мастеровому: трудодень да еще тридцать процентов надбавки.

— Тридцать процентов, тридцать процентов...— шевелит губами кузнец и перебирает пальцами: он не может считать иначе, чем с помощью мелка, к которому он так привык. Чорт побери, жаль — забыл дома...

Слышны гудки приближающихся машин. Вот подъезжает одна, за ней заворачивает во двор усадьбы другая. Люди раздаются в стороны, как вода в озере под ветром. Правление кооператива и гости занимают места за столом президиума. В центре садится Рожи Шаркези, будущий председатель кооператива, по одну сторону от нее — жена Фонадя, по другую — Эстер; рядом с ними усаживаются Бердеш, Шаркези, Жужи Катона, Балаж Фюрес и многие, многие другие...

— Как прекрасен человек!..— с воодушевлением говорит старый Сиксаи, сидящий в первом ряду напротив трибуны...

Бердеш ищет глазами Лаци, делая ему знак запевать.

И вот под вековыми деревьями мощно и торжественно звучит «Интернационал», и звуки гимна победно несутся в прозрачном воздухе ясного октябрьского дня.

*Сабадшагхедь *, 1952.*

ПРИМЕЧАНИЯ

Стр. 6. *Бетяры.* Так называли в старой буржуазно-помещичьей Венгрии разбойников. Отряды бетяров, в основном, состояли из крестьян-бедняков, бежавших от гнета помещиков или дезертировавших из австрийской императорской армии. Бетяры грабили и поджигали барские усадьбы и вместе с тем нередко оказывали помощь деревенской бедноте.

«Новые хозяева» — бывшие батраки и безземельные крестьяне, которые получили землю в результате земельной реформы 1945 года.

Стр. 7. *Сабадшаг* (по-венгерски «свобода») — общепринятое приветствие венгерских коммунистов, вошедшее в обиход после освобождения Венгрии в 1945 году.

Стр. 8. *Хольд* — венгерская мера земли, равная 0,57 *га.*

Стр. 9. *Партия мелких сельских хозяев.* Основана в 1929 году, объединяла зажиточные слои деревни, часть крестьян-середняков и мелкой городской буржуазии. Ныне входит в состав Отечественного народного фронта.

Стр. 11. *Паприкаш* — венгерское национальное блюдо из картофеля или мяса, приправленное красным перцом (паприкой).

Стр. 14. *«Образцовый хозяин»* — звание, присваиваемое в Венгрии крестьянам-единоличникам, с вручением почетной грамоты за высокие показатели урожайности, достижения в области животноводства и внедрение передовых методов сельскохозяйственного производства.

Стр. 15. *Левентэ* — милитаризованная молодежная организация фашистского типа, существовавшая при хортистском режиме с 1921 по 1944 г.

Стр. 16. *Сервус* — широко распространенное в Венгрии приветствие, соответствующее русскому «Привет!», «Здорово!» и предполагающее обращение на «ты».

Стр. 31. *«Вихаршарок»* («Бурный край») — местная газета, издающаяся в городе Бекешчаба. Свое название получила от юго-восточного района Венгрии — Вихаршарок, где в прошлом часто вспыхивали крестьянские бунты.

Стр. 42. *Матяш Корвин* (1443—1490) — венгерский король (1458—1490). Осуществляя централизацию государственной власти и отстояв независимость Венгрии от турецких завоевателей, провел в стране прогрессивные, по тому времени, реформы, снискавшие ему широкую популярность в народе. Отсюда и прозвище «Матяш Справедливый».

Стр. 46. *Баратшаг* (по-венгерски «дружба») — партийное приветствие венгерских социал-демократов.

«Китарташ» — «стойкость» и в то же время боевой клич нилашистов — венгерских фашистов; *«бетарташ»* примерно означает «держи язык за зубами».

Стр. 47. *Форинт* — денежная единица, имевшая хождение в Венгрии до 1892 года. Вновь была введена в связи с финансовой реформой 1 августа 1946 года вместо изъятого из обращения пенгё. 100 форинтов = 34 руб. 10 коп.

Стр. 52. *Крона* — денежная единица, имевшая хождение в Австро-Венгрии с 1892 года, а затем в Венгрии до 1927 года. 10 золотых крон = 3,079 грамма золота.

Стр. 71. *Ирредентизм* — националистическое движение, первоначально возникшее в Италии в 70-х годах XIX века, ставившее своей целью присоединение к Италии пограничных земель с населением, говорящим на итальянском языке. После поражения в первой мировой войне реваншистские буржуазно-помещичьи

круги Венгрии широко использовали лозунги ирредентистов в целях ревизии границ, установленных Трианонским мирным договором, и реализации своих притязаний на территории соседних стран, частично населенные венгерским национальным меньшинством.

Лорд *Ротермир* (1868—1940) — английский политический деятель, бывший издатель консервативной газеты «Дейли мейл», инициатор пропагандистской кампании, развернутой в 20-х годах в поддержку венгерского ирредентизма.

Стр. 74. Автор имеет в виду буржуазно-демократическую революцию в Венгрии в октябре 1918 года.

«Национальная армия». Была создана контрреволюционным «правительством» в Сегеде в 1919 году из белогвардейских офицерских банд во главе с адмиралом Хорти для борьбы против Венгерской Советской Республики.

Карой IV (1887—1922) — бывший император Австро-Венгрии, последний король Венгрии из династии Габсбургов. Во время буржуазно-демократической революции король Карой в ноябре 1919 года был вынужден отречься от престола. В 1921 году дважды — и оба раза неудачно — путем вооруженного путча пытался добиться реставрации в Венгрии династии Габсбургов. Карой был захвачен в плен хортистскими войсками, а затем интернирован Антантой на острове Мадейре, где и умер.

Граф *Бетлен, Иштван* (1874—1947) — венгерский реакционный политический деятель, премьер-министр Венгрии с 1921 по 1931 год, лидер правящей партии, представлявшей блок крупных помещиков и магнатов монополистического капитала.

Стр. 75. *Баранкович, Иштван* (род. в 1906 году) — буржуазный журналист, глава католической народно-демократической партии, состоявшей из реакционных и клерикальных элементов. В 1947 году эта партия была распущена за подрывную деятельность, направленную против народно-демократического строя в Венгрии.

Витязь — звание, учрежденное в 1920 году в Венгрии реакционной милитаристской организацией «Орден витязей», служившей опорой хортистскому режиму. По уставу ордена звание витязя переходило по наследству к старшему сыну.

Стр. 77. *Евангелическое движение* — движение церковников-кальвинистов, под личиной религиозной проповеди занимавшихся враждебной народной демократии пропагандой и собиранием сил реакции.

Стр. 79. *«Толнаи вилаглапья»* — популярный еженедельный иллюстрированный журнал, основанный известным венгерским издателем Шимоном Толнаи в 1895 году в Будапеште.

Пятнадцатое марта — годовщина венгерской революции 1848 года. В этот день в Венгерской Народной Республике премией имени национального героя, одного из вождей венгерской революции Лайоша Кошута награждаются за трудовые подвиги лучшие представители венгерского народа.

Стр. 96. Автор имеет в виду оккупацию Венгрии войсками румынского королевства после поражения Венгерской Советской Республики в 1919 году.

Стр. 102. *Троецарствие* — период китайской истории с 220 по 280 год нашей эры.

Стр. 143. *Вереш* — по-венгерски «красный».

Стр. 158. *Дугович, Титус* — легендарный герой Венгрии; в 1456 году во время штурма венгерской крепости в Надорфехерваре сбросил в пропасть турка, пытавшегося водрузить на башне вражеское знамя, и погиб вместе с ним. Его имя стало для венгров символом героизма и любви к родине.

Стр. 202. *Гёргеи, Артур* (1818—1916) — генерал, главнокомандующий венгерской армией в период революции 1848—1849 годов. Опираясь на реакционное офицерство, Гёргеи предал национально-освободительную борьбу венгерского народа и привел к капитуляции венгерскую революционную армию.

Стр. 218. *Кельчеи, Ференц* (1790—1838) — венгерский поэт, публицист, автор многочисленных патриотических стихотворений и текста венгерского национального гимна.

Стр. 219. *Имреди, Бела* (1891—1946) — реакционный политический деятель хортистского режима, неоднократно занимавший министерские посты. С 1938 по

1939 год был премьер-министром. Активно содействовал проникновению гитлеровцев в венгерскую экономику. По приговору народного суда казнен как военный преступник.

Стр. 225. *Филлер* — мелкая медная монета, равная 0,01 форинта.

Стр. 259. *«Призыв»* — патриотическое стихотворение видного деятеля венгерского национально-освободительного движения поэта Михая Вёрёшмарти (1800—1855).

Стр. 282. *Кинижи, Пал* (ум. в 1494 году) — легендарный полководец при короле Матяше; неоднократно одерживал победы над турками. Отличался исключительной отвагой и необычайной физической силой.

Стр. 287. *Коалиционное правительство.* После освобождения части территории Венгрии в декабре 1944 года Временное Национальное Собрание образовало на коалиционной основе Временное национальное правительство из представителей коммунистической, социал-демократической, национально-крестьянской партий и партии мелких сельских хозяев.

«Магветё» («Сеятель») — специализированное издательство, выпускающее литературу, рассчитанную на сельских читателей.

Стр. 327. *ЭПОС* — молодежная организация, возникшая после освобождения и существовавшая до 1950 года.

Стр. 366. *«Сабад со»* («Свободное слово») — ежедневная газета, орган национально-крестьянской партии.

Стр. 394. Автор цитирует здесь известные строфы из стихотворения Шандора Петефи «Неудавшийся замысел».

Стр. 396. *Фунератор* — устроитель похорон.

Стр. 432. *«Суровые времена»* — исторический роман венгерского писателя Жигмонда Кемень (1814—1875). Написанные в высокопарном стиле исторические романы Ж. Кемень пользовались успехом в аристократических салонах и тенденциозно превозносились реакционной буржуазной критикой.

Стр. 442. *«День молодого вина»* — традиционный праздник сбора винограда в Венгрии; крестьяне его обычно справляют в октябре.

Арань, Янош (1817—1882) — классик венгерской поэзии, участник революции 1848—1849 годов.

Стр. 472. *Национально-крестьянская партия.* Основана в 1939 году, объединяла в основном деревенскую бедноту и часть прогрессивной интеллигенции. Ныне входит в состав Отечественного народного фронта.

Стр. 483. *«Сабад ифьюшаг»* («Свободная молодежь») — ежедневная газета, орган Союза трудящейся молодежи.

Стр. 500. *Крайцар* — мелкая медная монета. В 1897 году была изъята из обращения.

Стр. 530. *Марш Ракоци* — походный марш куруцев — участников венгерского национально-освободительного движения, руководимого Ференцем Ракоци II (1676—1735) — выдающимся борцом за свободу и независимость Венгрии.

Стр. 570. *Миксат, Кальман* (1847—1910) — классик венгерской литературы. В своих многочисленных романах и рассказах, проникнутых подлинно народным юмором, Миксат правдиво изображал действительность, обличал феодальные пережитки в стране, клерикальную реакцию, произвол и разложение венгерского дворянства. Роман «Зонтик святого Петра», в котором Миксат рисует ханжество и корыстолюбивые нравы католического духовенства, является одним из наиболее популярных в современной Венгрии произведений писателя.

Стр. 608. *Дэринэ* (урожденная Роза Сеппатаки) (1793—1872) — выдающаяся венгерская певица и драматическая актриса XIX века. Ее дневники представляют ценный источник для изучения истории развития венгерского национального театрального искусства.

Стр. 642. *Сабадшагхедь* (Гора Свободы) — одно из живописных дачных мест в окрестностях Буды, получившее свое название в честь освобождения Венгрии.

От редакции

Пал Сабо, представитель старшего поколения венгерских писателей, родился в 1893 году в семье крестьянина-бедняка. С юных лет он батрачил и узнал всю тяжесть крестьянской жизни.

Литературная деятельность Пала Сабо началась сравнительно поздно — в 1930 году, в мрачную пору хортистского режима. За четверть века напряженного творческого труда Пал Сабо создал свыше двух десятков произведений, явившихся своеобразной энциклопедией жизни венгерского крестьянства.

В последнем большом романе «Новая земля», удостоенном в 1954 году национальной премии имени Кошута, Пал Сабо развертывает широкую картину жизни современной венгерской деревни и становления в ней нового, связанного с переходом на коллективные формы ведения сельского хозяйства.

Роман печатается в русском переводе с незначительными сокращениями редакционного характера, одобренными автором.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Пал Сабо

НОВАЯ ЗЕМЛЯ

Редактор *Е. Н. КОСТРОВА*
Технический редактор *И. Я. Думбре*

Сдано в производство 13/IX 1955 г.
Подписано к печати 8/XII 1955 г. А 06597.
Бумага 60 X 92[1]/16 = 20,8 бум. л.
41,5 печ. л. в т/ч. 8 вкл. Уч.-изд. л. 44,6.
Изд. № 12/2584. Цена 24 р. 40 к.
Зак. № 713.

Издательство иностранной литературы.
Москва, Ново-Алексеевская, 52.

8-я типография «Красный пролетарий»
Главполиграфпрома
Министерства культуры СССР.
Москва, Краснопролетарская, 16.